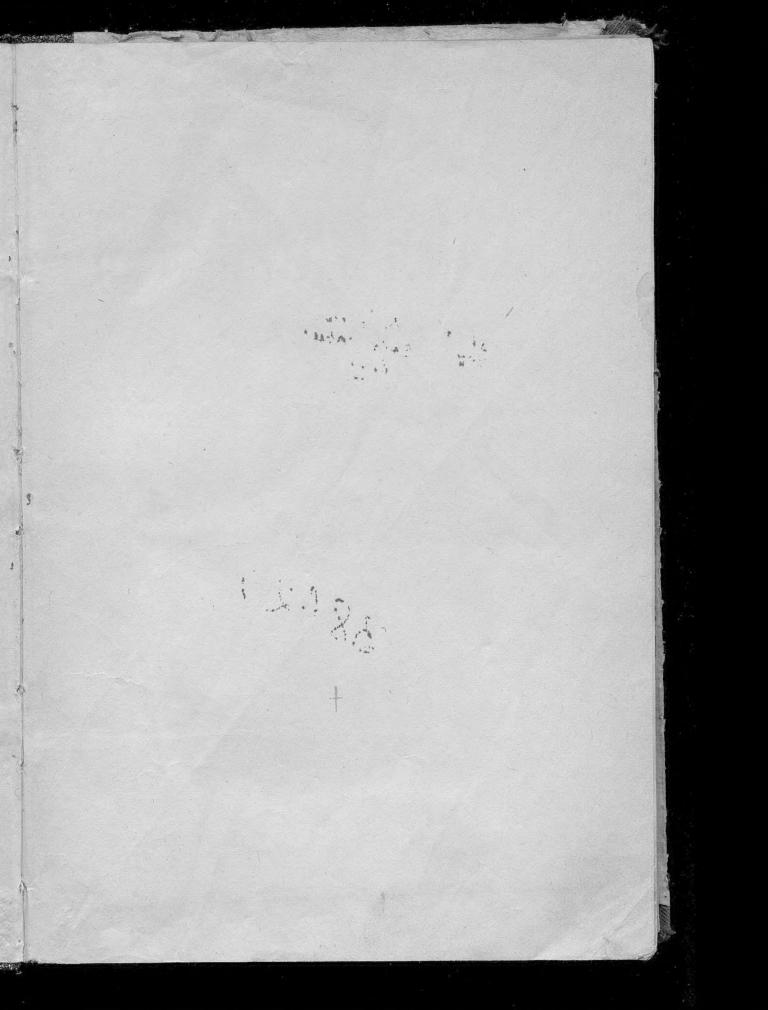
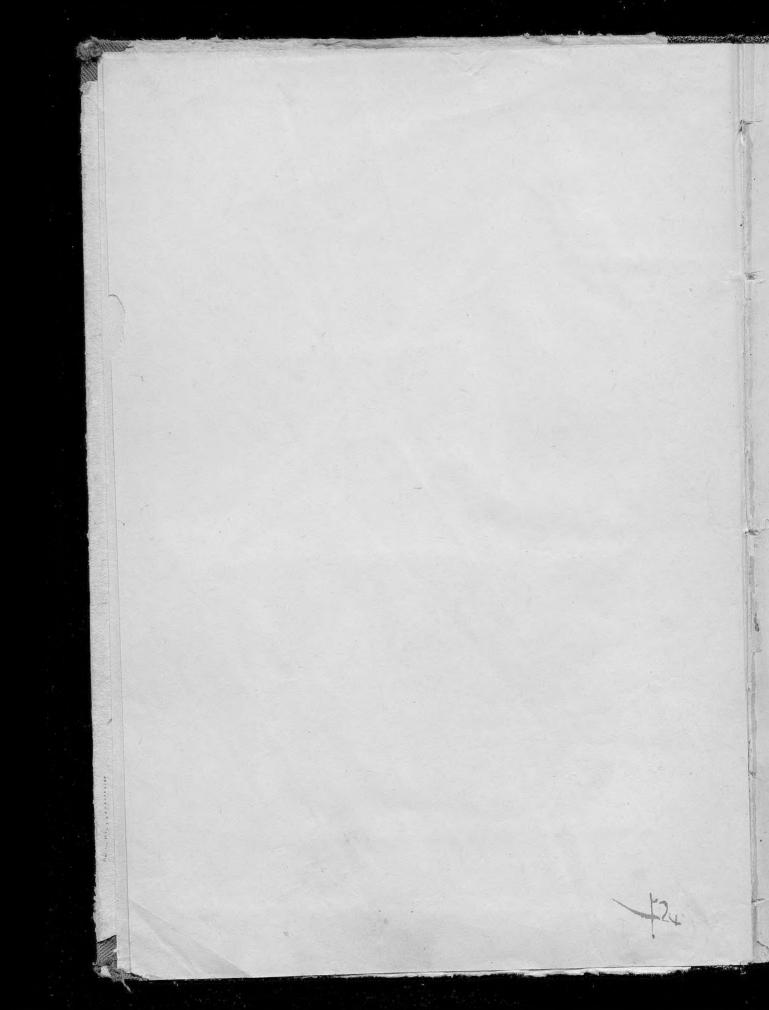
801p 38620 E 430 B. T. bennekun Coepmerse modeax more III





Пр.1955г.

8(0) P 5 432 449

# СОЧИНЕНІЯ

# В. Г. БЪЛИНСКАГО.

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Бълинскаго.

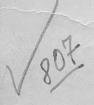


справочнымъ указателемъ соч. Бълинскаго.

Изданіе 4-е.

томъ третій.

1842-1844.



W 1611



Южно-Русское Книгоиздательство

Ф. А. ІОГАНСОНА.

КІЕВЪ-ПЕТЕРБУРГЪ-ОДЕССА.



## Сочиненія Евгенія Баратынскаго.

Сумерки. Москва. 1842. Стихотворенія. Двѣ части. Москва. 1835.

Пытливый духъ изследованій и анализа, по преимуществу характеризующій новійшую эпоху человъчества, проникъ въ таинственныя нътра земли и по ея слоямъ начерталъ исторію постепеннаго формированія нашей планеты. Естествознание еще прежде, чрезъ классификацію родовъ и видовъ явленій трехъ царствъ природы, опредълило моментальное развитіе духа жизни, отъ низшей его формы-грубаго минерала, до высшей — человъка, существа разумно-сознательнаго. Все это богатство фактовъ, добытыхъ опытнымъ знаніемъ, послужило къ оправданію апріорныхъ воззрѣній на жизнь мірового духа и очевидно доказало, что жизнь есть развитіе, а развитіе есть нереходъ изъ низшей его формы въ высшую и, слъдовательно что не развивается, т. е. не измъняется въ формъ, пребывая въ однообразной неподвижности, то не живеть, то лишено плодотворнаго зерна органическаго развитія, рождаясь и погибая чрезъ случайность и по законамъ случайности. Такое же зрѣлище представляютъ и историческія общества, ибо и они-или существують по тому же въчному закону развитія, т. е. перехожденія изъ низшихъ формъ жизни въ высшія, или вовсе не существують, потому что одно фактическое, одно эмпирическое существование, какъ лишенное разумной необходимости, слъдственно случайное, равняется совершенному несуществованію: кто докажеть теперь человіку, непросвіщенному и необразованному, что Греція и Римъ существують?—а между тьмь для человьчества они и теперь существують несомивнию: кто не докажеть всемъ и каждому, что Китай подлинно существуетъ? — а между тъмъ Китай все-таки существуеть для человъчества меньше, чъмъ китайскій чай...

Впимательное изследование открываетъ, что и жизнь обществъ такъ же, какъ и жизнь

планеты, на которой они обитають, слагается изъ множества слоевъ, изъ которыхъ каждый въ свою очередь, подобно разноцвътнымъ волнующимся лентамъ, отличается множествомъ слоистыхъ пластовъ. Пласты этипокольнія, изъ которыхъ каждое, удерживах въ себъ многое отъ предшествовавшаго покольнія, тымъ не менье и отличается отъ него собственнымъ колоритомъ, собственнымъ характеромъ, собственной формой и собственной физіономіей. Каждое послѣдующее поколъніе относится къ предшествующему, какъ корень къ зерну, стебель къ корню, стволъ къ стеблю, вътвь къ стволу, листь къ вътви, цвътъ къ листу, илодъ къ цвъту. Но это сравнение только относительно, только вижинимъ образомъ върно и не обнимаетъ сущности предмета; дерево совершаетъ вѣчнооднообразный кругь развития: выходя изъ зерна, оно зерномъ вновь становится, чъмъ и оканчивается вся органическая его дъятельность. По новъйшимъ открытіямъ, жизненная сила и прототипъ каждаго растенія заключаются не только въ зернъ, но и во всякомъ листкъ его: отпадая и разносись вётромъ, листья вновь являются деревьями, и черезъ нихъ пагія степи покрываются льсами. Но отъ листа дуба и родится дубъ, совершенно во всемь подобный тому, отъ котораго произошель, и темъ дубамъ, которые самъ произведетъ въ свою очередъ. Стало быть, здёсь только повтореніе одного и того же типа во множествъ одинаковыхъ его проявленій; здісь, стало быть, то или другое дерево-пвленія совершенно случайныя, а важна только иден рода дерева, который, возникни разъ, въчно повторяеть себя черезъ однообразный процессъ органическаго развытія. Не таково общество: никто не помнить его историческаго начала, теряющагося въ тумачной дали безсознательнаго младенчества; никто не скажеть, гдв конецъ его развитія, ни того, что будеть съ нимъ завтра, судя по вчера. И между тімъ, хотя его завтра и всегда заключено въ его вчера, однако завтра никогда не походить на вчера, если только общество живеть исторической, а не одной эмпирической жизнью.

Цёлый циклъ жизни отжила наша Русь, и возрожденная, преображенная Петромъ Ведикимъ, начала новый циклъ жизни. Первый продолжался болве восьми въковъ; отъ начала второго едва прошло одно столътіе: но, Боже мой, какая неизмъримая разница въ значении и объемъ жизни, выраженныхъ этими восемью въками и этимъ однимъ въкомъ! Иногда въ жизни одного человъка бываетъ день такого полнаго блаженства и такого глубокаго смысла, что передъ этимъ днемъ всв остальные годы жизни его, какъ бы они многочисленны ни были, кажутся только мгновеніемъ какого-то темнаго, смутнаго и тяжелаго сна. То же самое бываеть и съ народами; то же самое было и съ Русью. Здёсь мы опять должны сдёлать оговорку, чтобъ добрые люди, любящіе толковать навывороть чужія мысли, не вздумали буквально понять нашего сравненія: единичный человъкъ (индивидуумъ) и народъ-не одно и то же, какъ и счастливый день въ жизни человъка и великая эпоха въ исторіи народа-не одно и то же. Подвигъ Петра Великаго не ограничился днями его парствованія, но совершался и послів его смерти, совершается теперь, и будеть безконечно совершаться въ грядущихъ временахъ, и все въ болве громадныхъ размврахъ, все въ большемъ блескъ и большей славъ... И до Петра Великаго текло время, и поколінія смёнялись поколёніями; но эта смёна состояла только въ томъ, что старики умирали, а дъти заступали ихъ мъсто на аренъ жизни, а не въ живой последовательности живыхъ идей. Покольніе смынялось покольніемь, а идеи оставались все тв же, и последующее покольніе такъ же походило на предшествующее, какъ одинъ листокъ походить на тысячи другихъ листьевъ одного и того же дерева. Правнукъ вѣнчался въ нарядномъ кафтанѣ прадіна, а внучка-въ той же тілогрійкі, въ которой вънчалась ея бабушка, и все тъ же туть свахи, тъ же дружки, тъ же пиры и проч... Ходъ времени измърялся круговращеніемъ планеты, ся вічной весной, за которой всегда следовали лето, осень и зима, да еще лицами и именами, а не идеями, -- случайными фактами, а не стройнымъ развитіемъ. Война или потрясала на время внѣшнее благоденствіе государства, или укрѣпляла и расширяла его извив, а внутри все оставалось неизмѣннымъ... Явился исполинъ-преобразователь, привилъ къ плодородной и девственной почвѣ русской натуры зерно европейской

жизни, -- и съ небольшимъ въ столътіе Русь пережила нъсколько стольтій. Развитіе Руси и досель носить на себь отпечатокъ могучаго ха рактера ен преобразованія: она растеть не по днямъ, а по часамъ, какъ ен сказочные богатыри. Изъ многихъ сторонъ возьмемъ ближайшую къ предмету нашей статьи-литературу по отношенію къ обществу: давно ли завелась она у насъ, а уже сколько слоевъ осълось на днъ ея недавняго прошедшаго, сколько поколеній різко обозначилось въ сферъ ен движенія! И теперь еще на Руси есть цалая публика, хотя и небольшая, которая отъ всей души убъждена, что Ломоносовъ «нашихъ странъ Малербъ и Пиндару подобенъ», что Херасковъ-«нашъ Гомеръ, воспрвшій древни брани, Россіи торжество, паденіе Казани», что Сумароковъ въ притчахъ побъдилъ Лафонтена, а въ трагедіяхъ далеко оставилъ за собой Корнеля, и Расина, и Вольтера, и что съ этими тремя поэтами кончился цвётущій вёкъ россійской словесности. Поклонники Державина уже холодиве къ нимъ, хотя все еще высоко ставять ихъ въ своемъ понятіи: извъстно, что Державинъ съ горестью признавался, «сколь трудно соединить плавность Хераскова съ силой стиховъ Петрова». Вообще до Карамзина особенно трудно прослѣдить измѣненіе литературныхъ понятій въ поколініяхъ; но съ Карамзинымъ начинается совершенно новая литература и совершенно новое общество; къ стукотит громкихъ одъ до того прислушались, что ужъ больше писали и хвалили ихъ (и то по преданію), чёмъ читали; илакали надъ «Бъдной Лизой», твердили нъжные стихи ел творца «Пой зо мракъ тихой рощи, нѣжный, кроткій соловей», «Кто могь любить такъ страстно» и пр.; зачитывали до лоскутковъ книжки умно, ловко и талантливо составляемаго имъ «Въстника Европы»; въ умныхъ, прекрасно по своему времени, обработанныхъ стихахъ Дмитріева думали видъть бездну поэзіи... Литературное покольніе до Карамзина было торжественное; парадъ и иллюминація были неисчернаемымъ источникомъ его вдохновеній, его громкихъ одъ. Остроумный Дмитріевъ мѣтко и ловко характеризовалъ это покольніе въ своей прекрасной сатирь «Чужой Толкъ». Следовавшее затемъ поколение было чувствительное: оно охадо, проливало токи слезны и воздыхало въ стихахъ и въ прозъ. Любовь замънила славу, миртовые вънки вытеснили давровые, горлицы своимъ томнымъ воркованіемъ заглушали громкій клекть орловъ. Права на любовь состояли въ нѣжности, въ одной нѣжности. Счастливый любовникъ восклицалъ свеей Хлов: «Мы желали—и свершилось» Не счастный, отъ разлуки, или отъ измены

иротко и умиленно говорилъ милой или жестокой:

> Двъ горлинки укажутъ Тебъ мой хладный прахъ, Воркуя томно, скажутъ "Онъ умеръ во слезахъ!"

Нравственность при всемъ этомъ не забывалась и шла своимъ путемъ. Для доказательства этого стоитъ только упомянуть о стократы-внаменитой пѣснѣ: «Всѣхъ цвѣточковъ болѣ», которая оканчивается слѣдующей сентенціей:

> Хлоя, какъ ужасенъ Этотъ намъ урокъ! Сколь, увы, опасенъ Для красы норокъ!

Въ этомъ чувствительномъ періодъ русской литературы есть, конечно, своя смёшная сторона, и надъ ней довольно посмъялись последовавшіе за темъ періоды, воспроизводя его въ «Эрастахъ Чертополоховыхъ» и тому подобныхъ болве или менве остроумныхъ, болье или менье плоскихъ сатирахъ, какъ онъ самъ, въ «Чужомъ Толкъ», зло подтруниль надъ предшествовавшимъ ему торжественнымъ періодомъ. Это круговая порука: въ томъ и состоить жизненность развитія, что последующему поколенію есть что отрицать въ предшествовавшемъ. Но это отрицаніе было бы пустымъ, мертвымъ и безплоднымъ актомъ, если бъ оно состояло только въ уничтожении стараго. Послъдующее поколъніе, всегда бросансь въ противоположную крайность, однимъ уже этимъ показываетъ и заслугу предшествовавшаго покольнія, и свою отъ него зависимость, и свою съ нимъ кровную связь: ибо жизненная движимость развитія состоить въ крайностяхъ, и только крайность вызываеть противоположную себѣ крайность. Результатомъ спибки двухъ крайностей бываеть истина, однако жъ эта истина никогда не бываетъ удѣломъ ни одного изъ покольній, выразившихъ собой ту или другую крайность, но всегда бываеть удъломъ третьяго поколенія, которое, часто даже смёнсь надъ предшествовавшими ему торжественными и чувствительными покольніями, безсознательно пользуется плодомъ ихъ развитія, истинной стороной выраженной ими крайности; а иногда, думая продолжать ихъ дъло, творитъ новое, свое собственное, которое само по себъ опять можеть быть крайностью, но которое тамъ выше и превосходнъе кажется, чъмъ больше воспользовалось истинной стороной труда предшествовавшихъ покольній. Такъ, Жуковскій-этотъ литературный Колумбъ Руси, открывшій ей Америку романтизма въ поэзіи, повидимому, дёйствовалъ какъ продолжатель дёла Карамзина, какъ его сподвижникъ, тогда какъ въ самомъто дълъ онъ создалъ свой періодъ литера-

туры, который ничего не имъль общаго съ Карамзинскимъ. Правда, въ своихъ прозаическихъ переводахъ, въ своихъ оригинальныхъ прозаическихъ статьяхъ и большей части своихъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскій быль не больше, какт даровитый ученикъ Карамзина, шагнувшій дальше своего учителя; но истинная, великая и безсмертная заслуга Жуковского русской литературь состоить въ его стихотворныхъ переводахъ изъ нёмецкихъ и англійскихъ поэтовъ и въ подражаніяхъ нёмецкимъ и англійскимъ поэтамъ. Жуковскій внесъ романтическій элементь въ русскую поэзію: воть его великое діло, его великій подвигь, который такъ несправедливо нашими аристархами быль приписываемъ Пушкину. Но Жуковскій, нисколько не зависимый отъ предшествовавшихъ ему поэтовъ въ своемъ самобытномъ дёлё введенія романтизма въ русскую поэзію, не могь не зависьть отъ нихъ въ другихъ отношеніяхъ: на него не могла из дъйствовать криность и полётистость поэзіи Державина, и ему не могла не помочь реформа въ языкъ, совершенная Карамзинымъ. Карамзинъ вывелъ юный русскій языкъ на большую ровную дорогу изъ дебрей, тундръ и избитыхъ проселочныхъ дорогъ славянизма, схоластизма и педантизма; онъ возвратилъ ему свободу, естественность, сблизиль его съ обществомъ. Но связь Карамзина и его школы (въ которой послъ него первое почетное мъсто долженъ занимать Дмитріевъ) съ Жуковскимъ заключается не въ одномъ языкъ: пробудивъ и воспитавъ въ молодомъ и потому еще грубомъ обществъ чувствительность, какъ ощущение (sensation), Карамзинъ черезъ это самое приготовилъ это общество къ чувству (sentiment), которое пробудилъ и воспиталъ въ немъ Жуковскій. Какъ ни безконечно-неизмѣримо пространство, отдёляющее «Бёдную Лизу», «Островъ Борнгольмъ» Карамзина, его же и Дмитріева нѣжные и чувствительные нѣсни и романы отъ «Эоловой Арфы», «Кассандры», «Ахилла», «Не узнавай, куда я путь склонила», «Орлеанской дівы» Жуковскаго; но общество не поняло бы послъднихъ, если бъ не перешло черезъ первыя. И этоть переходь быль темь естественнее, что у самого Жуковскаго были пьесы, посредствующія для такого перехода, какъ-то: «Людмила», «Свътлана», «Двънадцать спящихъ Девъ», «Пустынникъ», «Алина и Альсимъ» и т. п. Новый элементь, внесенный Жуковскимъ въ русскую литературу, быль такъ глубоко знаменателенъ, что не могь ни быть скоро понять, ни произвести скорыхъ результатовъ на литературу, и потому Жуковскаго величали балладинкомъ, пъвцомъ могилъ и привидъній, -а подража-

тели его наводняли и книги, и журналы чудовищными кладбищными балладами, - въ чемъ и заключается смѣшное этого періода русской дитературы. Впрочемъ, Жуковскій такъ же виноватъ въ смъщномъ этого періода, какъ Шекспиръ въ уродливыхъ и нелъпыхъ немецкихъ трагедіяхъ Грильпарцера, Раупаха, Шенка и подобныхъ имъ. Кромћ того надо замътить, что смыслъ поэзіи Жуковскаго обозначился для общества позднее. уже при Пушкинъ, а до тъхъ поръ, особенно при началъ поприща Жуковскаго, литература русская представляла собой смѣшеніе разныхъ элементовъ, новое и старое, дружно дъйствовавшее: Капнисть допъвалъ свои длинныя элегическія разсужденія въ стихахъ; Озеровъ сдёлаль изъ французской трагедін все, что можно было сдёлать изъ нея для Россіи, и въ лицѣ его французскій псевдо-классицизмъ совершилъ на Руси полный свой циклъ, такъ что Озеровъ былъ у насъ последнимъ даровитымъ его представителемъ; Крыловъ продолжалъ созданіе народной басни, Пушкинъ (Василій) считался однимъ изъ знаменитъйшихъ поэтовъ; Батющковъ, какъ талантъ сильный и самобытный, былъ неподражаемымъ творцомъ своей особенной поэзіи на Руси; князь Вяземскій быль творцомь особенной, такъ-называемой свётской поэзіи и по справедливости почитался лучшимъ критикомъ своего времени, блестящимъ, живымъ и несвязаннымъ классической схоластикой, которая такъ много повредила критическому вліянію Мерзлякова на общество. Съ появленіемъ, Пушкина все измѣнилось, и новое покольніе різче, чімь когда-либо, отдівлилось отъ стараго. Между прочими элементами началъ проникать въ русскую литературу элементъ историческій и сатирическій, въ которомъ выразилось стремление общества къ самосознанію. Пользуясь этимъ направленіемъ времени, нѣкоторые ловкіе литературщики съ успъхомъ пустили въ ходъ разные нравоописательные, нравственно-сатирическіе и исправительно-исторические романы и повъсти, которые будто бы изображали Русь, но въ которыхъ русскаго было одни собственныя имена разныхъ Совъстдраловъ и резонёровь. Но туть были и достойныя уваженія исключенія, изъ которыхъ самое яркое - романы и повъсти талантливаго, но не развившагося Наражнаго. Въ Гоголъ это направление нашло себъ вполнъ достойнаго и зогучаго представителя.

Но мы здвеь пишемъ не исторію русской литературы, а только слегка обозначасть моментальную послідовательность общественнаго развитія, которое въ каждомъ поколідній имісло своего представителя. Еще и теперь есть люди, которые съ восторгомъ

повторяють монологи изъ «Димитрія Самозванца» и «Хорева» и даже печатають восторженныя книжки о поэтическомъ геніи Сумарокова: эти люди-утлые остатки нъкогда юнаго, живого и многочисленнаго покольнія; въ ихъ хрипломъ старческомъ голось, въ ихъ запоздалыхъ восторгахъ слышится голосъ невозвратно прошедшаго для насъ времени. Другіе вздыхають о «Титовомъ Милосердіи», «Рославль» и «Сбитеньщикъ» Княжнина, говоря про себя: «что теперь пишуть-и читать нечего!» Третьи со слезами на глазахъ, но уже не споря, говорять равнодушному новому поколенію о томъ, что послѣ «Эдипа», «Димитрія Донского», «Поликсены» и «Фингала» не зачёмъ и вздить въ театръ. Есть люди, для которыхъ русская поэзія умерла съ Ломоносовымъ и Державинымъ, которые хотя не оспаривають заслугь Жуковскаго, однако и не охотно говорять о нихъ. Есть люди, которые не иначе могутъ восхищаться Жуковскимъ, какъ отрицая всякое поэтическое достоинство въ Пушкинъ. Но сколько теперь такихъ, которые, юношами встрътивъ первые опыты таланта Пушкина, остановились на Пушкинъ, не въ силахъ ни на шагъ двинуться впередъ и откровенно признаются, что не видять ничего особеннаго и необыкновеннаго въ Гоголъ. Другіе же, которыхъ первыя созданія Гоголя застали еще въ пор'в юности, въ порѣ живой и быстрой воспріемлемости впечатлѣній и способности умственнаго движенія-высоко цёнять и Пушкина, и Гоголя; но даже и не подозрѣваютъ существеннаго значенія Лермонтова. Это, впрочемъ, не значитъ, чтобъ они не признали въ Лермонтовъ таланта: нътъ, кто отъ поэзіи Пушкина перешель черезь поэзію Гоголя, тотъ уже поневолъ видитъ дальше и глубже людей, остановившихся на Пушкинъ, и не можетъ не восхищаться опытами Лермонтова; но восхищаться поэтомъ и понимать его-это не всегда одно и то же... И всь эти поклонники разныхъ мненій живуть въ одно и то же время, раздѣляясь на пестрыя групны представителей и прошедшихъ уже, и проходящихъ, и существующихъ еще покольній... И ихъ существованіе есть признакъ жизни и развитія общества, въ которое царственный Преобразователь-Зиждитель вдохнуль душу живу, да живеть въчно!... И чъмъ больше количество. чёмъ пестрее разнообразіе представителей прошедшихъ вкусовъ и мнвній, тъмъ ярче и поразительнъе выказывается жизненность общественнаго развитія. Отсталые могутъ возбуждать сожальніе и состраданіе, какъ люди заживо умершіе, какъ дряхлый старецъ, окруженный однёми могилами милыхъ ему существъ, живуній одними воспоминаніями

о невозвратно - прошедшей порѣ счастья, чуждый и холодный для всёхъ надеждъ и обольщеній, которыми кинять пе-родныя ему новыя покольнія; но едва ли справеддиво было бы презпрать этихъ отсталыхъ, а темъ более обвинять ихъ. Благо тому, кто «отличенный Зевеса любовію», неугасимо носить въ сердив своемъ Прометеевъ огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идев и никогда не покориясь оцвиеняющему времени или мертвищему факту, — благо ему: кбо эта божественная способность нравственной движимости есть столько же редкій, сколько и драгоцінный даръ неба, п не многимъ избраннымъ ниспосылается онъ! Прочувствовать великаго поэта, вполнѣ выразившаго собой моменть общественнаго развитія, — это значить пережить цёлую жизнь, принять въ себя цёлый, отдёльный и самобытный міръ мысли, следовательно, дать своему нравственному существованію особенную настроенность, отлить духъ свой въ особую форму. И потому только слишкомъ глубокая и сильная натура способна бываетъ принимать въ себя все, ничамъ не переполняясь, и носить въ груди своей цълые міры, всегда жаждая новыхъ По большей части людямь трудно отрываться отъ того, что разъ наподнило ихъ, разъ овладело ими, и они враждебно, какъ на ересь, смотрять на то, что наподняеть и владветь уже чуждыми имъ покольніями. Всякая литература не безъ живыхъ примеровъ въ этомъ родь. Такъ, иной пожилой критикъ, сі-devant поборникъ высшихъ взглядовъ и новыхъ идей, а теперь отсталый обскуранть, такъ же точно и теми же словами нападаетъ на новаго великаго поэта и его почитателей, какъ нъкогда нападали люди стараго поколвнія на прежняго великаго поэта и его почитателей... Онъ и не подозръваеть, что онъ повторяеть жалкую роль тахъ самыхъ людей, которыхъ нѣкогда, можеть быть, онъ первый заклеймиль именемь «отсталыхь», что онъ теперь бросаеть въ молодое поколеніе тою же грязью, которой некогда швыряли въ него классические парики, и что, подобно имъ, онъ только себя мараетъ этой грязью... Такое зрълище можеть возбуждать лишь бользненное сострадание-больше ничего.

На такія мысли навела насъ маленькая книжка Баратынскаго, названная имъ «Сумерками». Все, сказанное нами,—нисколько не ототупленіе отъ предмета статын, не вступленіе съ янць Леды: нъть, эти мысли возбудила въ насъ воэтическая дъятельность Баратынскаго, и подъ вліяніемъ этихъ мыслей хотимъ мы разсмотръть ее критически. Кто скоро ъдеть, тому кажется, что онъ стоить, а все мимо его мчится: вотъ

почему Россіи и не зам'втенть ся собственный ходь, между тыть какть она не только не стоить на одномъ м'всты, но, напротивъ, движется впередъ съ неимов'врной быстротой. Эта быстрота движенія выразилась и въ литературъ. Голова кружится, когда подумаень о разстояніи, которое разд'ьляетъ предпрошлае десятильтіе (1820—1830) отго прошлаго (1830—1840); а прошлое десятильтіе—оть этихъ двухъ протекшихъ лъть настоящаго! Подлинно скажень:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

Давно ли было наводнение альманаховъ, которое затопило, было, всё библіотеки; давно ли издавался «Телеграфъ», котораго мивнія были такъ новы и глубоки, и который такъ справедливо величался своимъ чрезвычайнымъ расходомъ, опираясь на 1200 постоянныхъ подписчиковъ? Давно ли литература наша гордилась такимъ множествомъ (увы! забытыхъ теперь) знаменитостей, которые были потому велики, что одна написала плохую романтическую трагедію и дюжину водяныхъ элегій, другая издала альманахъ, третья затьяла листокъ, четвертая напечатала отрывокъ изъ неоконченной поэмы, иятая тиснула въ пріятельскомъ журналѣ нѣсколько невинныхъ и довольно пріятныхъ разсказовъ?... Давно ли Марлинскій быль геніемъ? Давно ли повъсти не только Полевого, по и Погодина считались необходимымъ украшеніемъ и альманаха, и журнала? Давно ли на «Ивана Выжигина» смотрвли чуть-чуть не какъ на геніальное сочиненіе? Давно они наводить на грустную думу о непостоянствъ этого треволненнаго міра...

Нѣтъ, еще одинъ вопросъ! Давно ли Баратынскій, вмёстё съ Языковымъ, составляль блестящій тріумвирать, главой котораго быль Пушкинь? А между темь, какъ уже давно одинокою стоить колоссальная тынь Пушкина и мимо своихъ современниковъ и сподвижниковъ подаеть руку поэту новаго покольнія, котораго таланть засталь и оценилъ Пушкинъ еще при жизни своей!.. Давно ли каждое новое стихотворение Варатынскаго, явившееся въ альманахъ, возбуждало вниманіе публики, толки и споры рецензентовъ?.. А теперь тихо, скромно появляется книжка съ последними стихотвореніями того же поэта по ней уже не говорять и не спорять, о ней едва упомянули въ накихъ-нибудь двухъ журналахъ, въ отчеть о выходь разныхъ книгъ, стихотворныхъ и прозаическихъ... Да не подумаютъ, что мы этимъ котимъ сказать, что дарованіе Баратынскаго незначительно, что оно пользовалось незаслуженной славой: нъть, мы далеки оть подобнаго мивнія; мы высоко уважаемъ яркій, замічательный таданть поэта уже чуждаго намъ покольнія, и потому именно, что уважаемъ его, котимъ въ обозрѣнін его поэтической дѣятельности показать, почему его произведенія, будучи и теперь изящными, какъ и всегда были, уже не имѣють теперь той цѣны, какую имѣли прежде.

Такія явленія им'єють всегда дв'є причины: одна заключается въ степени таланта поэта, друган-въ духв энохи, въ которую двиствоваль поэть. Никто не можеть стать выше средствъ, данныхъ ему природой; но историческій и общественный духъ эпохи или возбуждаеть природныя средства действователя до высшей степени свойственной имъ энергін, или ослабляеть и парализируеть нхъ. заставляя поэта сдёлать меньше, чёмъ бы онъ могъ. Огношенія поэта къ его эпохъ бывають двояки: или онъ не находить въ ея сферѣ жизненнаго содержанія для своего таланта; или, не следя за современнымъ духомъ, онъ не можеть воспользоваться темъ жизненнымъ содержаніемъ, какое могла бы представить его таланту эноха. Въ каждемъ изъ этихъ случаевъ результать одинъ-безвременный упадокъ таланта и безвременная утрата справедливо стяжанной славы. Открытіе причинъ такого печальнаго конца блестящимъ образомъ начатаго поприща не принесеть пользы ноэту, о которомъ идеть дело; но уроки прошедшаго полезны для настоящаго и будущаго, — и одна изъ обязанностей основательной критики-обращать внимание на такие уроки.

Было время, когда русская критика состояда изъ замётокъ объ отдёльныхъ стихахъ. «Какой гармоническій стихъ! какъ удачно воспользовался поэть звукоподражаніемъ: въ этомъ стихі слышенъ рокотъ грома и завываніе в'втра! Но слідующій затімь стихъ оскорбляетъ слухъ какофоніей, и при томъ послъ отрицательной частицы не поставленъ винительный падежъ, вмъсто родительнаго. А вотъ въ томъ стихъ и ударенія неправильны, и усьченія многочисленны; конечно, пінтическія вольности дозволиются стихотворцамъ, но онъ до тны имъть свои границы. Какъ удачно воть въ этомъ стихъ выражена нъжность пастушки, и сколько простодушія и невинности въ ея отвътъ!» Такъ или почти такъ критиковали поэтовъ наши аристархи добраго стараго времени. Съ двадцатыхъ годовъ текущаго стольтія стали критиковать пначе. Вмёсто филологическихъ, грамматическихъ и просодическихъ замътокъ, вмъсто потвалъ или порицаній отдільно взятымъ стихамъ, стали дёлать эстетическія замёчанія на отдёльныя мёста поэтического произведенія: такой-то характеръ выдержанъ, а такой-то не выдержанъ, такое-то місто поразительно

своимъ драматизмомъ или своимъ лириз момъ, а такое-то слабо, и т. п. Эта критика была большимъ шагомъ впередъ; но теперь и она пеудовлетворительна. Теперь требують отъ критики, чтобъ, не увлекаясь частностями, она оценила целое художественнаго произведенія, раскрывъ его идею и показавъ, въ какомъ отношении находится эта ндея нь своему выраженію, и въ какой степени изящество формы оправдываеть върность идеи, а върность идеи способствуеть изяществу формы. Если же дъло идеть о цылой поэтической дыятельности поэта, то отъ современной критики требують не восвлицаній въ род'в сл'вдующихъ: «сколько души и чувства въ этой элегіи г. N., сколько силы и глубокости въ этой его одъ, какими поразительными положеніями изобилуеть его поэма, какъ върно выдержаны характеры въ его драмѣ!» Нѣть, оть современной критики требують, чтобъ она раскрыла и показала духъ поэта въ его твореніяхъ, проследила въ нихъ преобладающую идею, господствующую думу всей его жизни, всего его бытія, обнаружила и сдълала яснымъ его внутреннее созерцаніе, его паоссъ.

Если мы скажемъ, что преобладающій характеръ поззіи Баратынскаго есть элегическій, то скажемъ истину, но этимъ еще ничего не объяснимъ, пбо характеръ чьей бы то ни было поэзін еще не составляеть ея сущности, какъ физіономія не составляєть сущности человъка, хотя и намекаеть на нее. Чтобъ объяснить то и другое, должно раскрыть идею и въ ней найти причину и разгадку характера и физіономіи. Что такое элегическій тонъ въ чьей бы то ни было поэзіи?грустное чувство, которымъ проникнуты созданія поэта. Но чувство само по себ'в еще не составляеть поэзін: надо, чтобъ чувство было рождено идеей и выражало идею. Безсмысленныя чувства - удёль животныхъ; они унижають человека. Къ чести Баратынскаго должно сказать, что элегическій тонъ его поэзін происходить оть думы, оть взгляда на жизнь, и что этимъ самымъ онъ отличается отъ многихъ поэтовъ, вышеднихъ на литературное поприще вмёстё съ Пушкинымъ. Разсмотримъ же идею, которая проникаеть собой созданія Баратынскаго и составляеть паеось его поэзіи. Возьмемъ для этого одно изъ лучшихъ, хотя и позднайшихъ его произведеній Последній Поэть. Въ этой пьесь поэть высказался весь, со всей тайной своей поэзіп, со всеми ся достоинствами и недостатками. Разберемъ же ее всю отъ слова до слова.

Вѣкъ шествуетъ путемъ своимъ желѣзнымъ. Въ сердцахъ корысть, и общая мечта Часъ отъ часу насущнымъ и полезнымъ Отчетливъй, безстыдпъй занята.

11)

10

11-

Исчезнули при свётё просвёщенья Поэзім ребяческіе сны, И не о ней хлопочуть поколёнья, Промышленнымъ заботамъ преданы.

По этой энергін и поэтической красоть стиховь ужь тотчасъ видно, что поэть выражаеть свое profession de foi, передаеть огненному слову давно накипъвния въ груди его жгучія мысли... Настоящій вікь служить исходнымъ пунктомъ его мысли; по немъ онъ дълаетъ заключение, что близко время, когда проза жизни вытъснитъ всякую поэзію, вызохнутъ растленныя корыстью и расчетомъ ердца людей, и ихъ върованіемъ сдълается «насущное» и «полезное»... Какая страшная картина! Какъ безотрадно будущее! Поэзіи болье нъть. Куда же дъвалась она? — «исчезла при свътъ просвъщенья»... Итакъ, поэзія и просвѣщеніе-враги между собой? Итакъ, только невыжество благопріятно поэзін? Неужели это правда? Не знаемъ: такъ думаетъ поэть- не мы... Впрочемъ, поэтъ говорить не о поэзіи, но о «ребяческих» спахъ поэзіи», а это-другое дело! Но посмотримъ, какъ разовьется далье мысль поэта.

Для двкующей свободы
Вном Оллада ожила.
Собрама свои народы
И столицы подняла:
Въ жий опять цвътуть науки,
Дышитъ роскошь, блещеть вкусъ;
Но не слышны лиры ввуки
Въ первобытномъ рав музъ!
Влеститъ зима дряхлъющаго міра,
Блеститъ! Суровъ и блъденъ человъкъ:
Но зелены въ отечествъ Омира
Холмы, лъса, брега лазурныхъ ръкъ;
Цвътетъ Парнасъ! передъ нимъ какъ въ оны

Кастальскій ключь живой струєю бьеть: Нежданный сынъ последнихъ силъ природы, Возникъ поэть: идеть онъ и поеть.

Теперь любонытно, о чемъ онъ поетъ: любонытно потому особенно, что въ его пъснъ ясно должна высказаться мысль автора этой пьесы.

Воспъваетъ простодушный Онъ любовь и красоту, И науки, имъ ослушной, Пустоту и сувту: Мимолетныя спраданья Легкомысліемъ укля, Пучпе, смертный, въ дни незнатьъ Радость чувствуетъ земля!

А, воть что! теперь мы попимаемь! Наука ослушна (т. е. непокорна) любви и красоть; наука пуста и суетна! Нёть страданій глубокихь и страшныхь, какъ основного, первосущнаго звука въ аккордів бытія; страданіе мимолетно—его должно псцілять дегкомысліемь; въ дни незнанія (т. е. нев'вжества) земля лучше чувствуеть радость!..

Это стихотворение написано въ 1835 году отъ Р. Х!..

Какъ жаль, что люди не знають языка, напримърь, птичьиго: какіе должны быть удивительные поэты между птицами! Въдь птищи не знають глубокихъ страданій ихъ страданія мимолетны, и онъ цълять ихъ не только легкомысліемъ, но даже и совершеннымъ безсмысліемъ—что для поэзін еще лучше; а о наукахъ птицы и не слыхнвали, стало быть, и понятія не имъють о пустоть и суеть наукъ; что же касается до незнанія—птицы ушли дальше его—онь пребывають въ ръщительномъ невъжествь. Какія благопріятныя обстоятельства для поэзін, и какъ жаль, что по незнанію птичьяго языка мы незнакомы съ птичьей поэзіей!...

Но, полно, правъ ли поэтъ въ своей основной мысли? Полно, невѣжествомъ ли сильна поэзія? По крайней мъръ до сихъ поръ извъстно всему грамотному свъту, что сильнайшее развитіе изящныхъ искусотвъ совершалось только у просвъщениъйшихъ народовъ міра—грековъ, римлинъ, итальянцевъ, англичанъ, французовъ и нъмцевъ,—а не учукчей, коряковъ и самоъдовъ...

Поклонникамъ Ураніи холодной Поеть, увы! онъ благодать страстей: Какъ нажити Эолъ бурнопогодный. Плодотворять онъ сердца людей; Живительнымъ дыханіемъ развита, Фантазія подъемлется отъ нихъ, Какъ нѣкогда возникла Афродита Изъ пѣнистой пучины волнъ морскихъ.

И зачёмь ве предадимся Снамъ улыбчивымъ своимъ? Жаркимъ сердцемъ покоримся Думамъ хладнымъ, а не имъ? Върьте сладкимъ убъжденьямъ Васъ ласкающихъ очесъ И отрадиымъ откровеньямъ Сострадательныхъ небесъ!

Какіе чудные, гармоническіе стихи! Не грѣхъ ли заставить ихъ выражать такін неосновательныя мысли? И удивительно ли, что

Суровый смёхъ сму отвётомъ; персты Омъ на струнахъ своихъ остановилъ, Сомкнулъ уста въщать полуотверсты (?), Но гордыя главы не преклопилъ. Стоиы свои онъ въ мысляхъ направляетъ Въ нёмую глушь, въ безлюдный край; но свътъ Ужет празднаго вертепа не являетъ. И на землю уединенья нъте!

Сила грустнаго чувства словно молнія проблеснула въ посліднихъ стихахъ этого куплета: видно, что мысль стихотворенія явилась въ скорбяхъ рожденія! Видно, что она вышла не изъ праздно-мечтающей головы а изъ глубоко-растерзаннаго сердца... И тыть не менье все-таки она ложная мысль!

Человъку непокорно Море синее одно: И свободно, и просторно, И привътливо оно; И лица не измънило Съ дня, въ который Аполлонъ Поднялъ въчное свътило Въ первый разъ на небосклонъ.

Эти стихи такъ хороши, такъ хороши, что напоминаютъ собою строфы, переведенныя Жуковскимъ изъ стихотвореній ПІпллера. посвященныхъ древнєму міру.

Оно шумить передъ скалой Левкада. На ней пъвецъ, мятежной думы полиъ, Стоитъ... въ очахъ блеснула вдругъ отрада: Сія скала... тънь Сафо!.. голосъ волиъ... Гдъ погребла любовница Фаона отверженной любви песчастный жаръ, Тамъ погребетъ питомецъ Аполлопа Свои мечты, свой безполезный даръ!

Именно-безполезный даръ!.,.

И попрежнему блистаетъ Хладной роскошію свътъ: Серебритъ и позлащаетъ Свой безжизненный скелетъ; Но въ смущеніе приводитъ Человъка гласъ морской, И отъ шумныхъ водъ отходитъ Онъ съ тоскующей душой.

Опять повторяемъ: какіе дивные стихи! Что, если бы они выражали собой истинное содержаніе! О, тогда это стихотвореніе казалось бы произведеніемъ огромнаго таланта! А теперь, чтобы насладиться этими гармоническими, полными души и чувства, стихами, надо сдёлать усиліе: надо заставить себя стать на точку зрёнія поэта, согласиться сънимъ на минуту, что онъ правъ въ своихъ воззрёніяхъ на поэзію и науку; а это теперь рёшительно невозможно. И оттого впечатлёніе ослабѣваетъ, удивительное стихотвореніе кажется обыкновеннымъ.

Бъдный въкъ нашъ - сколько на него нанадокъ, какимъ чудовищемъ считаютъ его! И все это за желѣзныя дороги, за пароходы - эти великія побёды его, уже не надъ матеріей только, но надъ пространствомъ и временемъ! Правда, духъ меркантильности уже черезчуръ овладёль имъ; правда, онъ уже слишкомъ низко поклоняется златому тельцу; но это отнюдь не значить, чтобъ человъчество дряхльло и чтобъ нашъ въкъ выражаль собою начало этого дряхленія: неть. это значить только, что человъчество въ XIX въкъ вступило въ переходный моменть своего развитія, а всякое переходное время есть время дряхлінія, разложенія и гніенія. И пусть за этимъ дряхленіемъ последуеть смерть-что нужды! Человъчество совстмъ не то, что человъкъ: умирая, человъкъ уже не существуеть болье на земль; но человь чество, какъ идеальная личность, составляющаяся изъ милліоновъ реальныхъ личностей. которыя если и убывають, зато и прибывають, — человъчество старымъ и дряхлымъ

умираеть на земль для того, чтобы на земль же воскреснуть юнымъ и крепкимъ. Уже не разъ оно было и младенцемъ, и юношей, мужемъ и старцемъ, умпрало и воскресало, подобро фениксу, изъ собственнаго пенла. Развъ последніе дни древне-языческаго міра, дни отъ царствованія Августа почти до царствованія Августуда, не были днями раздоженія, гніенія и смерти, и развъ за ними не послъдовало воскресенія и новаго младенчества человъчества? Развъ послъдовавшія потомъ девять стольтій не были эпохой пылкой юности человъчества, а съ пятнадцатаго въка не вступило оно въ свой возрастъ мужества? Восемнадцатый въкъ былъ въкомъ его старости... А сколько было частныхъ смертей, означившихъ собой эпоху перелома и возрожденія? И развѣ не были эпохами смерти крестовые походы, когда вся Европа въ ужасъ ожидала страшнаго суда, и всъ народы ея двинулись въ Азію, чтобы въ своей колыбели найти и свой гробъ; или тридцатилътняя война, когда выжженная, обгорьлая Германія походила на разграбленный стань?.. Итакъ, думать, что человъчество когда-нибудь умреть, и что нашъ вѣкъ есть его предсмертный въкъ, значить не понимать, что такое человъчество, значить не имъть высокой въры въ его высокое значеніе... Если нашъ въкъ и индустріаленъ по преимуществу, это нехорошо для нашего въка, а не для человъчества: для человъчества же это очень хорошо, потому что черезъ это будущая общественность его упрочиваеть свою побъду надъ свопми древними врагами-матеріей, пространствомъ и временемъ. При этомъ не худо не забывать, что нашъ индустріальный вівь гордо называеть своими сынами Гёте, Бехтовена, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Купера, Беранже и многихъ другихъ художниковъ. Неужели же это-все последніе поэты?.. Много же ихъ?.. Мы еще помимаемъ трусливыя опасенія за будущую участь человъчества тъхъ недостаточно върующихъ людей, которые думають предвидьть его погибель въ индустріальности, меркантильности и поклоненіи тельцу златому; но мы никакъ не понимаемъ отчаянія тіхъ людей, которые думають видёть гибель человёчества въ наукъ. Въдь человъческое знаніе состоить не изъ одной математики и технологіи, въдь оно прилагается не къ одивмъ желвзнымъ дорогамъ и манинамъ... Напротивъ, это только одна сторона знанія, это еще только низшее знаніе, —высшее объемлеть собой міръ нравственный, заключаеть въ области своего въденія все, чемъ высоко и свято бытіе человъческое, все, что составляетъ достоинство и величіе имени человіческаго, всі ті великіе вопросы, которые присущны самой натурѣ человека, съ которыми ока родится и которые носить въ груди своей... Кромѣ математики и технологіи, есть еще философія и исторія, одна какъ наука развитія въ мышленіи довременныхъ и безплотныхъ идей; другая—какъ наука осуществленія въ фактахъ, въ дѣйствительности, развитія этихъ довременныхъ идей, таниственныхъ и первосущныхъ матерей всего сущаго, всего рождающагося и умирающаго и, несмотря на то, вѣчно живущаго!..

Намъ, можетъ быть, скажутъ, что стихотвореніе не есть философская система, и что особенно по одному стихотворенію нельзя заключать о мыслительномъ возэрѣніи поэта на міръ. На первое мы дадимъ отвѣтъ ниже; вмѣсто же отвѣта на второе перейдемъ къ другимъ стихотвореніямъ Баратынскаго: они отвѣтъ за насъ.

Иока человъкт естества не пыталъ Горниломъ, въсами и мърой; Но дътски въщаньямъ природы внималъ. Ловилъ ея знаменья съ върой; Покуда природу любилъ онъ, она Любовью ему отвъчала, О немъ дружелюбной заботы полна, Языкъ для него обрътала. Почуя бъду надъ его головой. Вранъ каркалъ ему въ опасенье, И замысла, въ пору смирясь предъ судьбог. Воздерживалъ онъ дерзиовенье. На путь ему выбъжаль изъ лѣсу волкъ, Крутясь и подъемля щетину, Побъду пророчиль, и смъло свой полкъ Бросалъ онъ на вражью дружину. Чета голубиная, въя надъ нимъ, Влаженство любви прорицала: Въ пустыпъ безлюдной овъ не быль одними, Не чуждая жизнь въ ней дышала. Но чувство презръвг, онг довърилг уму; Вдался въ суету изысканій...

И сердце природы закрылось ему

И нтътъ на землт прорицаній!

Коротко и ясно: все наука виновата! Безъ нся мы жили бы не хуже прокезовъ... Но хорошо ли, но счастливо ли живуть прокевы, безъ науни и знанія, безъ дов'єренности нь уму, безъ науки изысканій, съ уваженіемъ къ чувству, съ томагоукомъ въ рукъ п въ въчной ръзнъ съ подобными себъ? Нътъ ли и у нихъ, у этихъ счастливыхъ, этихъ блаженныхъ прокезовъ, своей «суеты пспытаній», нъть ли у нихъ своихъ понятій о чести, о правъ собственности, своихъ мученій честолюбія, славолюбія? II всегда ли вранъ успѣваеть предостерегать ихъ отъ беды, всегда ли волкъ пророчить имъ побъду? Точно ли они — невиниыя дъти матери-природы?.. Увы, нётъ, и тысячу разъ ньть!.. Только животныя безсмысленныя, руководимыя однимъ инстинктомъ, живуть въ природъ и природой. Дикарь-человъкъ татуируеть свое тело, произаеть свои ноздри и уши (въ последнемъ недалеко ушелъ отъ него и просвъщенный европеецъ, по крайней мъръ въ лицъ своего прекраснаго пола,-

знакъ, что еще много ему работы для освобожденія себя отъ первобытнаго варварства), пронзаетъ свои ноздри и уши, чтобъ украшать ихъ блестящими привъсками: варварство и грубость — безъ сомнанія; но уже этимъ самымъ варварствомъ онъ стоитъ выше животнаго. Животное родптся готовымъ; чего не вырастеть на немъ, того не приділяеть оно себь искусственно; оно не можеть сдълаться ни лучше, ни хуже того, какимъ создала его природа. Человъкъ бываетъ животнымъ только до появленія въ немъ первыхъ признаковъ сознанія; съ этой поры онъ отдъляется отъ природы и, вооруженный искусствомъ, борется съ ней всю жизнь свою. Это мы видимъ на дикаряхъ: они—тъ же люди, что и просвъщенные свропейцы, и существенное ихъ различе от последнихъ заключается только въ толъ, что ихъ искусственность неразумна: озарите ихъ свётомъ разума, и они свое татуирогание замёнять одеждой, т. е. дожную искусственность замьнять истинной. Но въ самыхъ дикостяхъ и нельпостяхь этихь несчастныхь дьтей природы видно уже порывание выйти изъ оковъ природы, порывание отъ инстинкта къ разуму. Въ XVIII въкъ величайшіе умы были паклонны видъть въ дикаряхъ образецъ неиспорченной человъческой природы; тогда эта мысль, вызванная крайностью гнившаго въ ложной искусственности европейскаго общества, была и нова, и блестяща. Въ XIX въкъ эта мысль и стара, и пошла.

Все мысль, да мыслы художникъ бъдный словая

О жрець ся! тебѣ забвенья нѣть; Все туть, да туть, и человѣкь, и свѣть. И смерть, и жизнь, и правда бсзъ покрова, Рѣзець, органь, кисть! счастливъ, кто влекомъ Къ нимъ чувственнымъ, за грань ихъ не

Есть хмёль ему на празднике земномы! Но предъ тобой, какъ предъ нагимъ мечомъ, Мысль, острый лучъ! блёднееть жизнь земная!

И это понятіе объ отношенін мысли къ искусству совершенно гармонируеть съ понятіями Баратынскаго объ отношенін ума къ чувству, науки-къ жизни. Что такое искусство безъ мысли? — То же самое, что чедовъкъ безъ души, - трупъ... И почему разумъ и чувство-начала, враждебныя другь другу? Если они враждебны, то одно изъ нихълишнее бремя для человѣка. Но мы видимъ и знаемъ, что глупцы бывають лишены чувства, а безчувственные люди не отличаются умомъ. Мы видимъ и знаемъ; что преимущественное развитие чувства насчеть ума дьлаетъ человѣка, самымъ счастливымъ образомъ одареннаго отъ природы, или фанатикомъ-зверемъ, или старой бабой, суеверной и слабоумной; такъ же, какъ одинъ умъ безъ чувства дёлаеть человёка или безиравствен-

нымъ существомъ, эгонстомъ, или сухимъ діалектикомъ, безжизненнымъ педантомъ, который во всемъ видить одив логическія формальности и ни въ чемъ не видить дущи и содержанія. Очевидно, что разумъ и чувство — двъ силы, равно нуждающіяся другъ въ другь, мертвыя и ничтожныя одна безъ другой. Чувство и разумь - это земля и солнце: земля въ своихъ тапиственныхъ иъдрахъ скрываетъ растительную силу и всѣ зародыни плодовъ своихъ; солице возбуждаеть ея растительную силу — и радостно рвутся на свъть его изъ темной роковой страны зеленьющіе стебли ея порожденій... Такъ въ груди человѣка — въ этомъ подземномъ царствъ темныхъ предчувствій и нъмыхъ ощущеній, скрываются, словно въ земль, корин всвхъ нашихъ живыхъ стремленій и страстныхъ помысловъ; но только свътъ разума можетъ и развивать, и кръпить, и просвътлять эти ощущенія и чувства до мысли, -- безъ него они остаются или животнымъ инстинктомъ, или дикими страстями, черными демонами, устрояющими гибель человька... Чувство въ свою очередь есть дъйствительность разума, какъ твло есть реальность души: безъ чувства иден холодны, свътять, а не гръють, лишены жизненности и энергіп, неспособны перейти въ діло. Итакъ, полнота и совершенство челов' в ческой натуры заключаются вь органическомъ единствъ разума и чувства. Горе дому, который раздыляется самъ на себя, горе человъку, въ которомъ чувство возстанетъ на разумъ или разумъ возстанетъ на чувство! И однако жъ это горе неизбъжное, необходимое, и мертвъ, ничтоженъ тотъ человѣкъ, который не испыталь его! Чувство по натурь своей стремится къ положенію, любить останавливаться на положительныхъ результатахъ; разумъ контролируеть положенія чувства и если не найдегь ихъ основательными, отрицаеть ихъ. Отсюда происходить мука сомнинія. Но безъ эгого сомнанія человакь, остановившись разъ на извъстномъ положеніи, и закоснълъ бы въ немъ, не двигаясь впередъ, следовательно, не развиваясь, -- не дёлался бы изъ младенца отрокомъ, изъ отрока -- юношей, изъ юноши - мужемъ, изъ мужа-старцемъ, но до смерти своей оставался бы младенцемъ. Духъ сомненія гонить человека оть одного определенія къ другому, -и благо тому, кто сомнъвался въ извъстныхъ истинахъ, не сомиъваясь въ существовании истины, ибо истины преходящи, но истина въчна!

Помнится намъ, Баратынскій гдів-то сказаль что-то вы родів слівдующей мысли: положеніе поэта трудно потому, что въ одно и то же время оны находится поды противо-положнымы вліяніемы огненной творческой фантазіи и обливающаге колодомы разсудка.

Мысль, не скажемъ несправедливая, но не точная: обливающій холодомъ разсудокь дійствительно входить въ процессъ творчества, но когда? — въ то время, когда еще поэть вынашиваеть въ себъ концеппрующееся свое твореніе, с гідовательно, прежде, нежели приступить къ его изложенію, ибо поэть излагаеть уже готовое произведение. Разумбется, здесь должно предполагать высшіе таланты, потому что только низшіе сочиняють сь перомъ въ рукъ, еще не зная сами, что сочиняють они; или затрудняются въ выраженіи собственныхъ идей. Истинный поэтъ темъ и великъ, что свободно даетъ образъ каждой глубоко прочувствованной имъ идећ, выражаеть словомъ постижимое для одного ума и невыразимое для каждаго, кто не поэтъ.

Этотъ несчастный раздоръ мысли съ чувствомъ, истины—съ върованіемъ составляетъ основу поэзіп Баратынскаго, и почти всъ пучтія его стихотворенія пропикнуты имъ. Въ одномъ изъ нихъ ему предстаетъ въ горькую минуту истина и объщаетъ успокоить путемъ холоднаго безстрастія. Она говоригъ поэту:

Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь, Пускай, узнавъ людей, Ты, можетъ быть, испуганный, разлюбишь И ближнихъ, и друзей. Я бытія всё прелести разрушу, но умъ наставлю твой, Я оболью суровымъ хладомъ душу, Но дамъ душё покой.

Поэть въ тренеть отказывается отъ страшнаго дара «неземной гостьи»; но въ заключения просить его у ней такъ:

......Когда мое свётило
Во звёздной вышинё
Начнеть блёднёть, и все, что сердцу мило,
Забыть придется миё,
Явись тогда! открой миё очи,
Мой разумъ просвёти,
Чтобъ, жизнь презрёвъ, я могъ въ обитель

Безропотно сойти.

Такъ, въ другомъ стихотвореніи поэть окрылнеть надеждами обольщеній безумную юпость, но, обращаясь къ «знающимъ», говорить:

Но вы, судьбилу испытавшіе, Тщету надеждъ, печали власть, Вы, знанье бытія пріявшіе Себъ на тягостную часть! Гоните прочь ихъ рой прельстительный: Такъ! доживайте жизнь въ тиши, И берегите хладъ спасительный Своей бездъйственной души. Своимъ безчувствіемъ блаженные, Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ, Волхвы, словами пробужденные, Встають со скрежетомь зубовь; Такь вы, согрѣвь въ душѣ желанія, Безумно вдавшись въ ихъ обманъ, Проснетесь только для страданія, Для боли новой прежнихъ ранъ:

Большое, отличающееся превосходными стихами, стихотвореніе «Послідняя Смерть» есть апоосоза всей поэзін Баратынскаго. Въ немъ вполив выразплось его міросозернаніе. Поэтъ представляєть въ яркой картинь кипящій жизнью міръ; потомъ, въ другой картинь—увяданіе міра, а въ третьей—

Прошли въка, и тутъ монмъ очамъ Открылася ужасная картпна: Ходила смерть по сушь, по водамъ, Свершалася живущая судьбина. Гдв люди, гдв? скрывалися въ гробахъ! Какъ древніе столны на рубежахъ, Последнія семейства истлевали; Въ развалинахъ стояли города, По нажитямъ заглохнувшимъ блуждали Везъ пастырей безумныя стада; Съ людьми для пихъ исчезло пропитанье. Мив слышалось ихъ гладное бленье И тишина глубокая во слъдъ Торжественно повсюду воцарилась, И въ дикую порфиру древнихъ лътъ Державная природа облачилась. Величественъ и грустенъ былъ позоръ (?) Пустынныхъ водъ, лъсовъ, долинъ и горъ Попрежнему животворя природу, На небоскловъ свътило дня взошло; Но на землъ ничто его восходу Произнести привъта не могло: Одинъ туманъ надъ ней, синъя, вился И жертвою чистительной дымился.

Великольная фантазія, но не болье, какъ фантазія! И главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что она вездѣ является чернымъ демономъ поэта. Жизнь какъ добыча смерти, разумъ какъ врагъ чувства, истива какъ губитель счастья, — вотъ откуда проистекаеть элегическій тонъ поэзіп Баратынскаго, и воть въ чемъ ея величайшій недостатокъ. Зданіе, построенное на пескі, не долговьчно: поэзія, выразпвшая собой ложное состояніе переходнаго покольнія, и умираеть съ тёмъ поколёніемъ, пбо для слёдующихъ не представляетъ никакого сильнаго интереса въ своемъ содержаніи. Мало того: сдёлавшись органомъ ложнаго направленія, она лишается той силы, которую могъ бы сообщить ей таланть поэта. Конечно, этотъ раздоръ мысли съ чувствомъ явился у поэта не случайно, -- онъ заключался въ его эпохъ. Кто не знаетъ и не помнитъ Пушкинскаго «Лемона»? Пушкинъ, какъ первый великій поэтъ русскій, котораго поэзія выходила изъ жизни, первый и встрътился съ демономъ. «Печальны были напи встръчи!» восклицаеть онь о своемъ демонъ.

Его улыбка, чудный взглядъ, Его язвительныя рвчи Вливали въ душу хладный ядъ. Неистощимой клеветою Онъ провидвиье искушалъ; Энъ звалъ прекрасное мечтою; Онъ вдохновенье презиралъ; Не върилъ онъ любви, свободъ, На жизнь насмъщливо глядълъ— И пичего во всей природъ Влагословить онъ не хотълъ.

Въ самомъ дёлё это страшный демонъ, особенно для перваго знакомства! Впрочемъ онъ опасенъ не темъ, что онъ на самомъ дёлё, а тёмъ, чёмъ онъ можеть показаться человъку. Люди имъють слабость смъшивать свою личность съ истиной: усомнившись въ своихъ истинахъ, они часто перестаютъ вѣрить существованію истины на земль. Воть туть-то демонъ и бываеть опасень, туть-то онъ и губить людей. Оть него можеть спасти человъка только глубокая и сильная, живая втра. Пусть онъ во всемъ разочаровался, пусть все, что любиль и уважаль онь, оказалось недостойнымъ любви и уваженія, пусть все, чему горячо вёриль онъ, оказалось призракомъ, а все, что думалъ знать онъ, какъ непреложную истину, оказалось ложью, — но да обвиняеть онъ въ этомъ свою ограниченность или свое несчастіе, а не тщету любви, уваженія, вѣры, зпанія! Пусть самое отчанние его въ тщеть пстины будеть для него живымъ свидътельствомъ его жажды истины, а его жажда-живымъ свидътельствомъ существованія истины: пбо чего нътъ, о томъ несродно страдать человъческой натуръ. Пусть прошло для него время познанія истины, и онъ отчается навсегда узръть ея обътованную землю, но пусть же не смышиваеть онъ себя съ истиной и не думаетъ, что если она не для него, то уже и ни для кого. Но какъ же, скажутъ, върить, если вся действительность есть отрицаніе всякой втры?... Дтиствительность?—Но что такое действительность, если не осуществленіе въчныхъ законовъ разума? Всякая другая дъйствительность — временное затменіе свъта разума, бользненный витальный процессь, -- а развѣ можеть быть вѣчное затменіе содица, развѣ содице не является послѣ затменія въ большемъ блескѣ и большей лучезарности; развѣ страданіе, претерпъваемое младенцемъ при проръзывании зубовь, бываеть продолжительно и не составляеть необходимаго временнаго зла для продолжительнаго добра? Скажутъ: младенцы часто умпрають отъ процессовъ физическаго развитія. Правда, умирють младенцы, которые подчинены необходимо бользненнымъ процессамъ органическаго развитія и которые смертны, но не человъчество, которов подчинено бользненнымъ процессамъ историческаго развитія и которое безсмертно. Надо умъть отличать разумную дъйствительность, которая одна действительна, отъ неразумной действительности, которая приврачна и преходища. Въра въ идею спасаеть, въра въ факты губить. Есть люди, которые отрицають добродьтель и достоинство женщины, потому что случай сводиль ихъ все съ пустыми и легкими женщинами, потому что они не знали и одной женщины

высшей натуры. И это безвъріс, какъ проклятіе, служить достойнымь паказаніемь безвірію, ибо въ душі благодатной долженъ заключаться идеаль женщины, -- въ дъйствительности же должно искать не идеала, а только осуществление идеала; найти или не найти его, это дело случая. То же можно сказать и о людяхъ, которыхъ разложение и гніеніе элементовъ старой общественности, продаж ность, правственный разврать и оскудьніе жизни и доблести въ современномъ-заставляють отчаиваться за будущую участь человъчества... Здъсь, очевидно, демонъ губитъ ихъ на фактъ, за которымъ они не видятъ иден, не понимая, что умираеть и гність только отжившее, чтобъ уступить мёсто новому и живому. Если бъ вмѣсто того, чтобъ испугаться демона, они испытали его, -- онъ указаль бы имъ на последнее время умиравшей древности, которая въ амфитеатрахъ своихъ тішилась кровавымъ зрілніцемъ, какъ звърп терзають христіань, и которая въ слёноть своей не подозрывала, что этой нобъдой надъ мучениками она сама была побъждена со своими опошлившимися богами... Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означаетъ смерти истины вообще... Демонъ по своей демонической натуръ золъ и насмъщливъ. Онъ презпраетъ безсиліе и веселится, терзая его; но онъ уважаеть силу и сторицей воздаеть ей за временное здо, которымъ ее терзаетъ. Онъ сдужить и людямъ, и человъчеству, какъ въчно движущая сила духа человъческого и историческаго. То странный и мрачный, то веселый и злой, онъ, какъ Протей, неистощимъ въ формахъ своего проявленія, какъ Антей, неистощимъ въ своихъ средствахъ. Овъ внушалъ Сократу откровенія его нравственной философіи и помогаль ему дурачить софистовъ ихъ же обоюдо-острымъ орудіемъ. Онъ внушаль Аристофану его комедін; онъ нашептываль ритору Лукіану его «Діалоги Боговъ»; онъ помогъ Колумбу открыть Америку; онъ изобръль порохъ и книгопечатанье; онъ продиктовалъ Ульриху Гутгену его злую сатиру "Epistola obscurorum virorum"; Бомарше — его «Фигаро», и много философскихъ сказовъ и сатирическихъ поэмъ продиктовалъ онъ Вольтеру; онъ уничтожиль ошейники вассаловь и рыцарскіе разбои феодальныхъ бароновъ, священную инквизицію и благочестивое ауто-да-фе. Гёте ехватиль его только за хвость въ своемъ Мефистофель, а въ лицо только слегка заглянуль ему. Зато колоссальный Байронь, не трепеща, смотрълъ ему въ очи и гордо мфрился съ нимъ силой духа и, какъ равный равному, подалъ ему руку на въчную дружбу. Изъ русскихъ поэтовъ первый познакомился съ нимъ Пушкинъ, и тягостно

было ему его знакомство, и печальны было его встрвчи съ нимъ... Онъ не патъ отъ него, но и не узналъ, не понялъ его... И не удивительно: ничто не двлается вдругъ. Зато другой русскій поэтъ, явившійся уже по смерти Пушкина, не испугался этого страшнаго гостя; онь знакомъ былъ съ нимъ еще съ двтства, и его фантавія съ любовью лельяла этотъ «могучій образъ»; для него:

Какъ царь пъмой и гордый, онъ сіяль Такой волшебно-сладкой красотою, Что было страшно...

Онъ былъ избранъ героемъ пламеннаго бреда его юности, и ему посвятилъ онъ цѣлую поэму, гдѣ за всѣ утраченныя блага жизни этотъ страшный герой сулитъ открыть «пучину гордаго познанья...»

Человѣкъ страниятся только того, чего не знаеть; знаніемъ побъждается всякій страхъ. Для Пушкина демонъ такъ и остался темной, страшной стороной бытія, и такимъ является опъ въ его созданіяхъ. Поэть любилъ обходить его, сколько было возможно, и потому онъ не высказался весь и унесъ съ собой въ могилу много нетронутыхъ струнъ души своей; но, какъ натура сильная и великая, онъ умёль, сколько можно было, вознаградить этоть недостатокъ, тогда накъ другіе поэты, вышедшіе съ нимъ вмѣстѣ на поэтическую арену, пали жертвой неузнаннаго и неразгаданнаго ими духа, и для нихъ навсегда мысль осталась врагомъ чувства, истина-бичемъ счастьи, а мечта и ребяческіе сны поэзін-высшимъ блаженствомъ жизни...

Изъ всёхъ поэтовъ, появившихся вмёстё съ Пушкинымъ, первое мъсто безспорно принадлежить Баратынскому. Несмотря на его вражду къ мысли, онъ по натурѣ своей призванъ быть поэтомъ мысли. Такое противоръчіе очень понятно: кто не мыслитель по натуръ, тотъ о мысли и не хлопочетъ: борется съ мыслыо тотъ, кто не можетъ овладъть ею, стремясь къ ней всьми силами души своей. Эта невыдержанная борьба съ мыслью много повредила таланту Баратынскаго: она не допустила его написать ин одного изъ тёхъ твореній, которыя признаются капитальными произведеніями литературы, и если не навъчно, то надолго переживають своихъ творцовъ.

Взглянемъ теперь на нѣкоторыя стихотворенія Баратынскаго со стороны мысли. Въ посланіи къ Г-чу поэтъ говоритъ:

Врагъ суетныхъ утѣхъ и врагъ утѣхъ позор-

Не уважаещь ты безділокъ стихотворныхъ, Не угодить тебі сладчайшій изь півцовь Развратной прелестью изпіженныхъ стиховь: Возвышенную цюль поэто избрать обязано.

Затымь опъ объясняеть Г-чу, почему не мо жеть принять его вызова

Оставить мпрный слогъ И, ъдкой жолчію напитывая строки, Сатирою возстать на глупость и пороки.

И чёмъ же?—Тьмъ, что сатирой можно нажить себѣ враговъ, а благодарность общества—плохая благодарность, ибо онъ, ноэтъ, не вѣрвтъ благодарности. Вотъ заключеніе этого стихотворенія:

Неть, неть! pазумный мужь идеть путемь инымъ,

И снисходительный къ дурачествамъ людскимъ,

Не выставляеть ихъ; по сносит благонравно, Онъ не пытается, увъренный забавно Во всемогуществъ болтанья своего, Имъ въ людяхъ измънить людское естество; Изъ насъ, я думаю, не скажеть ви единый Осинъ: дубомъ будь, иль дубу: будь осиной; Межъ тъмъ—какъ странны мы!—межъ тъмъ любой изъ насъ

Перенначить свътъ задумываль не разъ.

Подобныя мысли, безъ сомития, очень благоравумны и даже благонравны, но едва ли онт поэтически-великодушны и рыцарски-высоки... Благоразуміе не всегда разумность: часто бываеть оно то равнодушіемъ и анатіей, то эгонзмомъ. Но воть еще нѣсколько стиховъ изъ этого же стихотворенія:

**Полевенъ** обществу сатирикъ безиристрастный,

Дыша любовію къ согражданамъ своимъ, На ихъ дурь чества онъ налуется имъ; То укоризнами возставъ на злодъянье, Его приводить онъ въ благое содроганье, То ъдкой силою забавнаго словца Смирлетъ полыхи надменнаго глупца; Онъ правовъ опекунъ и вмъсть правды воинъ.

Сличивъ эти стихи съ приведенными выше, легко понять, почему такое стихотвореніе, даже если бы оно было написано и хорошими стихами, не можетъ теперь читаться...

«На смерть Гёте» есть одно изъ лучшихъ между мелкими стихотвореніями Баратынскаго. Стихи въ немъ удивительны; но стихотвореніе, несмотря на то, не выдержано и потому не производить того впечатлівнія, какого бы можно было ожидать отъ такихъ чудесныхъ стиховъ. Иричина этого очевидна: неопреділенность идеи, невірность въ содержаніи. Поэть слишкомъ много и слишкомъ бездоказательно приписалъ Гёте, го вори, что

....ничто не оставлено имъ
Подъ сожицемъ живыхъ безъ привъта;
На все отозвался опъ сердцемъ своимъ,
Что проситъ у сердца отвъта;
Крыматою мыслыю опъ міръ облетълъ,
Въ одномъ безпредъльномъ нашелъ онъ
предълъ.

Прекрасно сказано, но не справедливо! Не было, нътъ и не будеть никогда гепін, который бы одинъ все постигь или все сдълалъ. Такъ и для Гёте существовала цълан сторона жизни, которая, по его нъмецкои натуръ, осталась для него terra incognita. Эту сторону выразилъ Шиллеръ. Оба эти поэта знали цену одинъ другого, и каждый изъ нихъ умълъ другому воздавать должное. Обидно видъть, какъ люди, не понимая дъла, все отдають Гёте, все отнимая у Шиллера... Если ужъ надо сравнивать другь съ другомъ этихъ поэтовъ, то, право, еще нерѣшенное льло, кто изъ нихъ долье будеть владычествовать въ царствъ будущаго; -- и многіе не безъ основанія догадываются уже, что Гёте, поэть прошеднаго, въ настоящемъ умеръ развѣнчаннымъ царемъ... Вмѣсто безотчетнаго гимна Гёте-поэту следовало бы охарактеризовать его, и онъ сдѣлалъ это только въ четвертомъ куплетв, въ которомъ довольно удачно схваченъ пантенстическій характеръ жизни и поэзіи Гёте:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ: Ручья разумълъ лепетанье, И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье, Выла ему звъздная книга яспа, И съ нимъ говорила морская волна.

Слъдующе затъмъ заключительные куплаты слабы выраженемъ, темны и неопредъленны мыслью, а потому и разрушають эффектъ всего стихотворена. Все, что говорится въ пятомъ куплоть, такъ же можетъ быть примънено ко всякому великому поэту, какъ и къ Гёте; а что говорится въ шестомъ, то ни къ кому не можетъ быть примънено, за темнотой и сбивчавостью мысли.

Теперь обратимся къ поэмамъ Баратынскаго. Въ нихъ много отдёдьныхъ поэтическихъ красотъ; но въ цёломъ ни одна не выдержитъ основательной критики.

Русскій молодой офицеръ, на постов въ Финляндін, обольщаеть дочь своего хозянна, чухоночку Эду — добродушное, любящее, кроткое, но ничемъ особеннымъ не отличное оть природы созданіе. Покинутан своимъ обольстителемъ, Эда умираетъ съ тоски. Вотъ содержаніе «Эды», — поэмы, написаниой прекрасными стихами, исполненной души и чувства. И этихъ немногихъ строкъ, которыя сказали мы объ этой поэмъ, уже достаточно, чтобы показать ен безотносительчую неважность въ сферъ искусства. Такого рода поэмы, подобно драмамъ, гребують для своего содержанія трагической коллизін, — а что трагическаго (т. е. поэтически-трагическаго) въ томъ, что шалунъ обольстилъ дъвушку и бросилъ ее? Ни характеръ такого человъка, ни его положение не могутъ возбудить къ нему участія въ читатель. Почти такое же содержаніе, напримірь, въ повісти Лермонтова «Бэла»; но какая разница! Печоринъ-человыкь, пожираемый страшными силами своего духа, осужденнаго на внутреннюю и вивш-

нюю бездейственность; красста черкешенки его поражаеть, а трудность овладъть ею раздражаеть энергію его характера и усиливаеть очарованіе ожидающаго его счастья; холодность Вэлы еще болье подстрекаеть его страсть, вмісто того, чтобъ ослабить ее. Но когда онъ упился первыми восторгами этой оригинальной любви къ простой и дикой дочери природы, онъ почувствовалъ, что для продолжительнаго чувства мало одной оригинальности, для счастья въ любви мало одной любви,-и его начинаеть терзать мысль о гибели милаго, хотя и дикаго, женственнаго существа, которое, въ своей естественной простоть, не умьло ни требовать, ни дать въ любви ничего, кромъ любви. Трагическая смерть Бэлы, вмёсто того, чтобъ облегчить положение Печорина, страшно потрясаеть его, съ новой силой возбуждан въ немъ вспышку прежняго пламени,-и оть его дикаго хохота содрогается сердце не у одного Максима Максимыча, и становится понятно, почему онъ послѣ смерти Бэлы долго былъ нездоровъ; весь исхудалъ и не любилъ, чтобъ при немъ говорили о ней... Это не волокита, не водевильный донъ-Жуанъ; вы не вините его, но страдаете съ нимъ и за него, говоря мысленно: «о горе намъ, рожденнымъ въ свътъ!» Для нъкоторыхъ характеровъ не чувствовать, быть внѣ какой бы то ни было духовной діятельности-хуже, чімь не жить; а жить, это больше чёмъ страдать, - и воть является трагическая коллизія, какъ мысль неотразимой судьбы, достойная и поэмы, и драмы великаго поэта...

Горавдо глубже, по характеру героини, друган поэма Баратынскаго—«Балъ»:

Презрънья къ мнънію полна. Надъ добродътелію женской Не насмъхается ль она, Какъ надъ ужимкой деревенской? Кого въ свой домъ она манить: Не запасныхъ ли волокить, Не новичковъ ли миловидныхъ? Не утомленъ ли слухъ людей Молвой побъдъ ея безстыдныхъ И соблазнительныхъ связей? Но какъ влекла къ себъ всесильно Ея живая красота! Чьи непорочныя уста Такъ улыбалися умильно? Какая бы Людинда ей, Смирясь, лучей благочестивыхъ Своихъ лазоревыхъ очей И свъжести ланить стыдливыхъ Не отдала бы сей же часъ За яркій глянецт черныхъ глазъ, Облитыхъ влагой сладострастной, За пламя жаркое ланить? Какая фев самовластной Не уступила бъ изъ харить?

Какъ въ близкихъ сердцу разговорахъ Выла плънительна опа! Какъ угодительна пъжна! Какая ласковость во взорахъ У ней сіяла! Но порой, Ревнивымъ гибвомъ иламенты, Какъ зла въ словахъ, страшна собой, Являлась повая Медея! Какіе слезы изъ очей Потомъ катилися у ней! Терзая душу, проливали Въ нее томленье слезы тъ: Кто бъ не отеръ ихъ у печали Кто бъ не оставиль красотъ?

Страшись прелестинцы опасной, Не подходи: обведена Волшебнымъ очеркомъ опа; кругомъ ен заразы страстной Исполненъ воздухъ! Жалокъ тотъ, кто въ сладкій чадъ его вступаетъ: Ладью пловна водоворотъ Такъ на погибель увлекаетъ! Въги ее: пътъ сердца въ ней! Страшися вкрадчивыхъ ръчей, Одуръвающей цриманки; Влюбленныхъ взглядовъ не лови: Въ ней жаръ упившейся вакханки, Горячки жаръ—не жаръ любви,

И этоть демоническій характерь въ женскомъ образь, эта страшная жрица страстей, наконецъ, должна расплатиться за вов гръхи свои:

Посланникъ рока ей предсталь, Смущенный взоръ очароваль, Поработилъ воображенье, Сліялъ всё мысли въ мысль одну И пролиль страстное мученье Въ глухую сердца глубину.

Въ этомъ «посланникъ рока» должно предподагатъ могучую натуру, сильный характеръ, — и въ самомъ дълъ портретъ его, слегка, но ръзко очерченный поэтомъ, возбуждаетъ въ читателъ большой интересъ:

Красой изпъженной Арсеній Не привлекаль къ себъ очей: Слъды мучительныхъ страстей, Слъды печальныхъ размышленій Носиль онь на чель; въ очахъ Безпечность мрачиая дышала. И не улыбка на устахъ-Усмъшка праздная блуждала. Онъ незадолго посъщалъ Края чужіе; тамъ искалъ, Какъ слышно было, развлеченья, И снова родину узрълъ; Но, видно, сердцу псцъленья Дать не возмогъ чужой предвлъ. Предсталь онь въ домъ моей Лаисы, И остряковъ задорный полкъ, Не знаю какъ, предъ нимъ умолкъ-Главой поникли Адонисы. Онъ въ јазговоръ поражалъ Людей и свъта знапьемъ ръдкимъ, Глубоко въ сердце проникалъ Лукавой шуткой, словомъ вдкимъ, Судиль разборчиво пѣвца, Вналъ цвну кисти и ръзца, И сколько ни быль хладиз сжатымъ Привычный складъ его ръчей. Казался чувствами богатымъ Онъ въ глубинъ души своей

Нашла коса на камень: узелъ трагед**та** вавл**зался**. Любопытно, чъмъ развяжеть его

поэть, и какъ оправдаеть онъ, въ дъйствии, портретъ своего героя. Увы! все это можно разсекавать въ короткихъ словахъ: Арсеній любилъ подругу своего дътства и приревновалъ ее къ свсему пріятелю; на упреки его Ольга отвічала дітскимъ сміхомъ, и онъ, какъ обиженный ребенокъ, не понимая ея сердца, покинулъ ее съ презріжнемъ... Воля ваша, а портретъ не въренъ!.. Что же потомъ? — Потомъ Нина получила отъ него письмо:

Что жъ медлить (къ неп писалъ Арсения), Открыться должно... небо! въ чемъ? Едва владъю я перомъ, Ищу напрасно выраженій. О, Нина! Ольгу встрътилъ я; Она понынъ дышитъ мною, И ревность прежиляя моя Была неправой и сминото. Удъть ръшенъ. По старинъ Я въренъ Ольгъ, върной миъ. Прости! твое воспоминанье Я сохраню до позднихъ дней: Въ немъ понесу я наказанье Ошибокъ юности моей.

Несмотря на трагическую смерть Нины, которая отравилась ядомъ, такая развязка такой завязки похожа на водевиль, вмъсто изтаго акта придъланный къ четыремъ актамъ трагедін... Поэть, очевидно, не смотъ овладъть своимъ предметомъ... А сколько поэзія въ его поэмъ, какими чудными стихами наполнена она, сколько въ ней превосходныхъ частвостей!..

«Цыганка», самая большая поэма Баратынскаго, было издана имъ въ 1831 году подъ названіемъ «Наложница», съ предпсловіемъ, весьма умно и д'яльно написаннымъ. «Цыганка» исполнена удивительныхъ красотъ порзін, - но опять-таки въ частиостяхъ; на цъломъ же не выдержана. Отравительное зелье, данное старой цыганкой бедной Саре, ничъмъ не объясняется и очень похоже на deus ex machina для трагической развязки во что бы то ни стало. Чрезъ это ослабляется эффекть целаго позмы, которая кроме хороших: стеховъ и прекраснаго разсказа отличается еще и выдержанностью характеровъ. Очевидно, что причиной недостатка вь цёломь всёхъ поэмь Баратынскаго есть отсутствіе определенно выработавшагося взгляда на жизнь, отсутствіе мысли крінкой и

Кроме этих трехь поэмь, у Баратынскаго есть и еще три: «Телема и Макаръ», «Переселеніе Душъ» и «Пиры», Первыхъ двухъ—признаемся откровенно—мы совершенно не понкмаемъ, ни со стороны содержанія, ни со стороны поэтической отдёлки. «Пары» собственно не поэма, а такъ—шутка въ началъ и элегія въ концъ. Поэтъ, какъ будто принявшесь воспѣвать пиры, замѣтилъ, что уже прошла пора и для пировъ, и для воспѣванія

Соч. Бълпнскаго. Т. ІН.

ппровъ... У времени есть своя логика, противъ которой никому не устоять...

Въ «Пирахъ» Баратынскаго много прекрасныхъ стиховъ. Какъ хороши, напримъръ, эти:

Любви слвпой, любви безумной Тоску въ душт моей тая, Насилу, милые друзья, Дълить восторгъ бестаы шумной Тогда осмъливался я. Что потакать мечт унылой, Кричали вы, смълте ней! Завеселись, товарищъ милый, Для насъ живи, забудь о ней! Вздохнувъ, разстянно послушный, Я пилъ съ улыбкой равнодушной, Сегъплубла мрачлая мечта, Толпой скрывалися печали, И задрожавштя уста "Бого съ ней!" невнятно лепетали...

Говоря о поэзіп Баратынскаго, мы были чужды всякихъ предубѣжденій въ отношеніи къ поэту, котораго глубоко уважаемъ. Не скрывая своего мивнія и открыто, безь уклончивости, высказывая его тамъ, гдв оно было не въ пользу поэта, мы и не старались въ пользу нашего мнѣнія скрывать его достоинства и выписывали только такіе отрывки изъ его стихотвореній, которые могли дать высокое понятіе о его талантв. Стихъ Баратынскаго не только благозвучень, но часто крѣпокъ и спленъ. Однако жъ, говоря о художественной сторонъ поэзіи Баратынскаго, нельзя не замётить, что онъ часто грёшить противъ точности выраженія, а иногда впадаеть въ шероховатость и прозанчность выраженія.

Кром' стихотвореній, на которын мы уже ссылались, въ сборникъ Баратынскаго особенно достойны памяти и вниманія еще слъдующія: «Финляндія»; «Завыла буря»; «Я возвращусь къ вамъ, поля монхъ отцовъ»; «Лета»; «Паденіе листьевь»; «Глупцы не чужды вдохновенья»; «Когда печалью вдохновенный»; «Тебя изъ Тьмы не изведу я»; «Идилливъ новый на искусъ»; «Элизійскія поля»; «Когда взойдеть денница зологая»; «Когда исчезнеть омраченье»; «Напрасно мы, Дельвигь, мечтаемъ найти»; «Не бойся вдкихъ осужденій»; «Разувъреніе»; «Старивъ»; «Притворной нѣжности не требуй отъ меня»; «Болящій духъ врачуеть піснопінье»; «Черепъ»; «О, мысль, тебъ удълъ цвътка»; «Наяда»; «Мудрецу»: «На что вы, дни!»; «Осень», и проч.

Нельзя върнъе и острусстрастные охарактеризовать безотносительное достоинство поэзін Баратынскаго, какъ онъ сдъдаль это самъ въ следующемъ прекрасномъ стихотвореніп:

Не ослъпленъ я музою моею, Красавицей ее не назовуть, И юноши, узръвъ ее, за нею

GOTH ero 1 драж Baer: LOLOX страс KOPI opuri черп проде налы любв гибез суще HDOC. въ л смерт TOLOI ero, вспы каго Макс почем незло прп кита, BHBH LOBOL ВЪ €: 4YBC1 духон а жи явля: Heory драм.  $\Gamma_0$ 

друга

Влюбленною толной не нобъгуть. Приманивать изысканнымъ уборомъ, Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ Ин склонности у ней, ни дара ифть, Но пораженъ бываетъ мелькомъ свътъ Ел лица необщимъ выраженьемъ, Ел ръчей сцокойной простотой, И онъ, скоръй чъмъ факимъ осужденьемъ, Ее почтитъ небрежной нохвалой.

Не беремъ на себя тяжелой обязанности определять поэтическое достоинство Варатынскаго относительно къ другимъ поэтамъ и въ отношении историческомъ, т. е. въ отпошеній къ выраженной имъ эпохъ, къ настоящему и будущему положенію и значенію его въ русской литературф. Скажемъ только-и то, чтобъ чёмъ-нибудь закончить нашу статью, а не для какого-нибудь поучительнаго вывода, -- скажемъ, что всв поэты, по нашему мнѣнію, раздѣляются па два разряда. Одни называются великими, и ихъ отличительную черту составляеть развитие: по хронологическому порядку ихъ созданій можно проследить діалектически развивающуюся живую идею, лежащую въ основании ихъ творчества и составляющую его пасосъ. Неподвижность, т. е. пребывание въ однихъ и

тыхь же интересахь, воспивание одного и того же, однимъ и темъ же голосомъ, есть признакъ таланта обыкновеннаго и бъднаго. Беземертіе — удёль движущихся поэтовъ. Если и прошли навсегда интересы ихъ времени, -- пхъ поэзія не преходяща, именно потому, что представляеть собой памятникъ эпохи: такъ въчна исторія, написанная великимъ историкомъ, хоть она и содержить въ себъ давно прошедшіе дъла и интересы. Другіе поэты болье или менье могуть приближаться къ первымъ, особенно, если они выразили своими созданіями то, что было въ ихъ эпохъ существенно-историческаго, а не одни ен недостатки. Для такихъ поэтовъ всего невыгодные являться въ переходныя эпохи развитія обществъ; но истинная гибель ихъ таланта заключается въ ложномъ убъжденіи, что для поэта довольно чувства... Это особенно вредно для поэтовъ нашего времени: теперь всв поэты, даже великіе, должны быть вивств и мыслителями, иначе не поможеть и талантъ... Наука живая, современная наука, сдёлалась теперь пестуномъ искусства. и безъ нея-немощно вдохновение, безсилек-

### Сочиненія Державина.

Четыре части. Спб. 1843.

T.

Съ іюля 3-го текущаго года начнется второе стольтие отъ дня рождения Державина... Итакъ, цёлый вёкъ раздёляетъ молодыя покольнія нашего времени отъ првца Екатерины... Но отъ смерти Державина едва прошло четверть ввка, и, несмотря на то, кажется цълые въка легли между нимъ и нами... Читая его стихотворенія, теперь уже почти ничего не понимаешь въ нихъ безъ историческихъ нравоописательныхъ комментарій на в'якъ, котораго онъ быль дрганомъ... Языкъ, образъ мыслей, чувства, интересы — все, все чуждо нашему времени... Но не умеръ Державинъ, такъ же, какъ не умеръ въкъ, имъ прославленный; въкъ Екатерины приготовилъ вѣкъ Александра, приготовившій нашъ въкъ, — между Державинымъ и поэтами нашего времени существуетъ та же кровно-родственная историческая связь. которая существуеть и между этими тремя эпохами русской исторіи...

Искусство, какъ одна изъ абсолютныхъ

сферъ сознанія, имбетъ свои законы, въ его собственной сущности заключенные, и выв себя не признаеть никакихъ законовъ. Кто уже по натуръ своей или по духовной своей неразвитости не въ состояніи постигать законовъ искусства въ его идеѣ,-тотъ не въ состояніи ни цінить искусства въ факті. ни наслаждаться имъ. До постиженія идеи мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слѣдовательно, идея сама по себѣ есть только одна сторона предмета, искусственно отдёляемая нами отъ живой всецёлости предмета для того, чтобъ намъ можно было отрёшиться отъ непосредственнаго. эмпирического способа понимать этотъ предметь. И потому нъть идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется, какъ фактъ, какъ предметъ или какъ дъйствіе. Осуществленіе идеи въ фактъ имбетъ свои непреложные законы, изъ которыхъ главнейшие - последовательность и постепенность. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имъющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, раз-

вивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этогъ непредожный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человѣчествѣ. Природа явилась не вдругь готовая, но имфла свои дни или свои моменты творенія. Царство ископаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое-животному. Каждая былинка проходить черезъ нёсколько фазисовъ развитія, и стебель, листь, цвёть, верно суть не что иное, какъ непреложно-последовательные моменты въ жизни растенія. Человъкъ проходить черезъ физические моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соотвътствують правственные моменты, выражающіеся въ глубинь, объемь и характерь его сознанія. Тоть же законъ существуєть и для обществъ, и для челевъчества. Тотъ же законъ существуетъ и для искусства. У искусства есть свой въчный, пензмънный идеалъ совершенства, составляющій предметь эстетики, какъ науки изящнаго; но искусство не вдругъ а постепенно достигаетъ своего идеала, -- и исторія искусства есть картина моментовъ его развития. Такъ, напримъръ, Индія— страна, гдв впервые пробудилось въ людяхъ стремленіе къ сознанію абсолютной нстины, и въ которой это сознание остановилось на своемъ первомъ моментъ и, какъ бы окаменълое, дошло до насъ черезъ рядъ тысячельтій почти въ томъ самомъ видь, въ какомъ первоначально возникло, подобно вершинамъ Гималая, которыя и теперь почти ть же, какими узръль ихъ міръ въ первые дни своего созданія. Подобно религін и философін, пскусство въ Индін представляется на первой ступени своего проявленія, въ первомъ моменть своего существованія: оно посить тамъ характеръ чистосимволическій, ибо его образы условно, а не непосредственно выражають идею. Таково должно быть, и цнымъ не можеть быть нскусство въ своемъ началь. Чтобъ образы выражали идею не условно, а непосредственно, для этого необходимо идей быть полной и ясной для художника; но какъ идеп первобытныхъ и младенчествующихъ обществъ состоять изъ темныхъ предотущеній и неопредъленныхъ, смутныхъ предчувствій, то и выражение иден у нихъ естественно должно гостоять изъ однихъ намековъ, иносказаній и затыйливыхь символовъ. Въ Египты искусство сделало уже большой шагъ, приблизившись нёсколько къ простотё и природё, по крайней мёрь, египетскія изваянія представляють уже не однихъ сфинксовъ, но п людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны. Въ Греціп искусство уже отръпридось спиводизма, и его образы облеклись

въ простоту и истину, которыя составляють высочайшій идеаль красоты.

Искусство никогда не развивается независимо-одиноко: напротивъ, его развите всегда бываеть связано съ другими сферами сознанія. Въ эпоху младенчества и юношества народовъ искусство всегда болбе илв мен'ве-выражение религіозныхъ идей, а вт эпоху возмужалости - философскихъ понятій. Индійскій пантензмъ есть обожествленіе природы, и потому даже въ поэзін индустанской пграють такую важную роль растенія, зман, птицы, коровы, слоны и прочія животныя, а изваннія боговъ представляють дикую и уродливую смёсь членовъ человёческаго тыла съ членами животныхъ. Индійское пскусство не могло возвыситься до изображенія красоты человіческой, ибо въ пантеистической религіи индусовъ богь есть природа, а человѣкъ-только ея служитель, жрецъ и жертва. Египетская минологія занимаеть уже середину между индійской и греческой: среди животно - чудовищныхъ образовъ ея боговъ уже замътны и человъческие лики, послуживние типомъ для изваяній греческихъ; между Озприсомъ и Аполлономъ есть средство, и мись Өеба, который сражаеть Пифона, занять греками у египтянъ. Однако жъ это борение между животнымъ и человъкомъ разръшилось только въ сфинкса--чудовище съ женоподобной головой и грудью, съ туловищемъ звъря. Сфинксъ егинетскій мудрѣе человѣка: онъ загадываеть человъку хитрыя загадки и пожпраеть его за неумвные разгадать ихъ. Но грекъ Эдипъ разгадалъ мысль и нащелъ слово; звёрь бросился въ море и утонулъ: человькъ вступилъ въ свои права, -и боге Греціп не что иное, какъ образы идеальнаго человъка, обожествление человъка. Звъри вошли въ искусство, какъ выражение силъ природы, повинующихся человъку: кони возять колесницу Аполлона, Церберъ стережегъ входъ въ царство Ада, отвратительныя гарнін служать бичемъ злодійства; Зевсь принимаеть образы вола и лебедя для скрытія оть Геры такихъ похожденій, источникомъ которыхъ были чисто естественныя поползновенія. Образъ человіческій просвітленъ и возвышенъ: его назначение въ греческомъ нскусствъ - выражать высшую идеальную красоту. Въ греческомъ искусствъ символистика и аллегорія кончились; искусство стало некусствомъ. Объясненія этого должно искать въ греческой религіи и глубокомъ, вполнъ развившемся и опредълившемся смыслъ ея мірообъемлющихъ миоовъ.

Кром'в всего этого, на развите и характеръ искусства много им'ьють вліянія еще разныя совершенно случайныя обстоятельства, особенно же природа и м'єстность стра-

ном его драз вает холо стра когд орин черв прод

31

прод нали люби гибе сущи прос въ ј смер ноло его, вснь каго Маке

поче незд при кита вини гово въ с чувс духом а же явля неот драм

 $\Gamma_0$ 

друг:

ны, климать и проч. Огромность архитектурныхъ зданій, колоссальность статуй индійскихъ-явное отражение гигантской природы страны Гималаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ изваяній находится въ большей или меньшей связи съ благословеннымъ климатомъ Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной громадности, всякихъ чудовищныхъ крайностей, не могла не пивть вліянія на чувство соразм'врности и соотв'єтственности, словомъ, гармонін, которое было какъ бы врожденно грекамъ. Бъдная и величаво-дикая природа Скандинавіи была для нормановъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой поэзіп. Политическія обстоятельства также имъютъ вліяніе на развитіе и характеръ нскусства: римлине занили у грековъ классическую гармонію и благородную простоту архитектуры, но прибавили къ ней отъ себя огромность и громадность размфровъ, какъ бы выразившихъ колоссальность ихъ государства и ихъ политическаго величія.

Изъ этого видно, какъжестоко ошибаются ть умозрительные судын изящнаго, которые хотять видёть въ искусстве совершенно отдельный міръ, существующій независимо отъ другихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметь искусства не временное и относительное, а въчное и безусловное, они думають, что искусство унижаеть себя, если подчиняется какимъ бы те ни было историческимъ и временнымъ влія ніямъ. Но это значить смотрьть на «вычное» и «безусловное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности: ибо «въчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формой проявленія, «безконечное» ділается доступнымъ созерцанію въ конечномъ. Если эстетика возьметь за основание однъ иден в ихъ діалектическое развитіе, оставивъ въ сторонъ върованія и исторію, -то по ней выйдеть, можеть быть, что произведенія греческаго искусства прекрасны, а индійскаго и египетскаго не имѣють ничего общаго съ творчествомъ и суть порожденія невѣжества и дикости; готическая архитектура-воплощенное безвкусіе; французская литература хороша, а немецкая-вздоръ, или наоборотъ, смотря по тому, отъ какого начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоить не въ томъ, чтобъ рашить, чамъ должно быть искусство, а въ томъ, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусстве, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеаль, который можеть осуществиться только по ея теоріи; нѣтъ, она должна разсматривать искусство, какъ предметь, который

существовалъ давно прежде нея, и существованию котораго она сама обязана своимъ существованиемъ.

ществованіемъ. Другіе знатоки и любители искусства начинають съ противоположной крайности, думая, что изящиое не имбеть никакихъ непредожныхъ: законовъ, и что стоить только изучить исторію и правы какого угодно народа, чтобъ понять его искусство. Узнавъ изъ біографіи какого-нибудь художника, что онъ былъ несчастенъ, они думаютъ, что нанили ключь къ тайнъ его грустныхъ созданій. «Видите ли,—говорять они,—онъ быль несчастень въ жизни, и оттого меланхолія составляеть отличительный характерь его произведеній.» Коротко и ясно! Этакъ легко можно объяснить и мрачный характеръ поэзім Байрона: критика будеть и не долга, и удовлетворительна. Но что Байронъ былъ несчастенъ въ жизни-это уже старая новость: вопрось въ томъ, отчего этотъ одаренный дивными силами духъ былъ обреченъ: несчастью? Эмпирические критики и туть не задумаются: раздражительный характеръ, иппохондрія, скажуть одни изъ нихъ, — и разстройство пищеваренія, прибавять, пожалуй, другіе, добродушно не догадывансь въ низменной простотъ своихъ гастрическихъ воззрвній, что такія малыя причины не могуть имъть своимъ результатомъ такія великія явленія, какъ поэзія Байрона. Всякому извъстно, что иной меланхоликъ отъ природы бываетъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ счастливъ, и что самый веселый человькъ дълается иппохондрикомъ оть несчастья, что раздражительность нервовъ служитъ не только къ живъйшему ощущенію горестей, но и къ живъйшему ощущенію радости. Всякому также извістно, что великіе компки по большей части бывають людьми раздражительными и наклонными къ иппохондрін, и что весьма редко появляется улыбка на устахъ тёхъ, которые заставляютъ другихъ хохотать до слезъ... Ни одинъ поэть не можеть быть великь отъ самого себя и черезъ самого себя, ни черезъ свои собственныя страданія, ни черезъ свое собственное блаженство; всякій великій поэтъ потому великъ, что корни его страданія и блаженства глубоко вросли въ почву общественности и исторіи, что онъ, следовательно, есть органъ и представитель общества, времени, человъчества. Только маленькие поэты и счастливы, и несчастливы отъ себя и черезъ себя; но зато только они сами и слушають свои птичьи ивсии, которыхь не хочеть знать ин общество, ни человъчество. Чтобъ разгадать загадку мрачной поэзін такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ Байронъ; должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно

факеломъ философіи освѣгить историческій дабаринть событій, по которому шло человѣчество къ своему великому назначенію—быть олицетвореніемъ вѣчнаго разума, п должно опредѣлить философски градусъ широты и долготы того мѣста пути, на которомъ засталъ поэтъ человѣчество въ его историческомъ движеніи. Безъ того всѣ ссылки на событін, весь анализъ нравовъ и отношеній общества къ поэту и поэта къ обществу и къ самому себѣ—ровпо ничего не объяснятъ

Но прежде чемь определить историческое значеніе поэта, должно опредёлить его чи-(сто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметь, ночему критика или эстетика признаеть одного поэта поэтомъ, другого нътъ, и почему въ одномъ она видить великаго, а въ другомъ обыкновеннаго поэта. Вотъ здёсь эстетика иметъ право основываться на одномъ философскомъ началъ искусства, не относясь ни къ исторіи, ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здісь получаеть свой великій смыслъ искусство, какъ искусство, какъ такая сфера деятельности, которан сама себъ цъль и внъ себя цъли не имъетъ. Естественно, прежде чёмъ опредёлить, къ зодчеству какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежать зданія такого-то архитектора, и великій ли онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творчество, полеть фантазін, словомъ-поэзія, или эти зданія-только груды камней, складенныя по правидамъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или, пожалуй, и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можеть быть ръшенъ только на основании философіи изящнаго эстетики. Но здісь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступають въ свои права исторія и философія исторіи. Это не вначить, чтобы эстетика въ какомъ бы то ни было случав отказывалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дъль искусства: это значить только, что эстетика, окончивъ разсмотрѣніе художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонъ, столько же присущной искусству, какъ и сторона художественная-къ сторонъ его содержанія, и, нисколько не отказываясь оть своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаеть въ союзъ съ другой родственной ей сферой—сферой исторіи. Всь сферы выс-. шаго сознанія такъ родственны и тъсно связаны между собой, что только чрезъ искусственное дъйствіе разума можно раздълять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдъ въ человъкъ оканчивается тело и начинается душа, гув конецъ чувства и начало ума, и т. д.

А между тымъ, какъ въ понятіи о природъ человъка существуютъ преданные отвлеченіямъ идеалисты, которые за душой не замъчаютъ организма, и матеріалисты, которые за массой тела не могуть провидеть душу, такъ и въ понятін объ некусствъ существують свои идеалисты (умозрители) и свон матеріалисты (эмпирики). Мы показали, въ чемъ состоитъ учение тъхъ и другихъ; прибавниъ къ этому, что эмпирики, не признающие эстетики и превращающие ее въ сухой, неоживленный мыслыю каталогь изящныхъ произведений съ практическими и случайными комментаріями, пишають искусство его высокаго значенія! Не признавая содержаніемъ искусства той же въчной, въ свободной необходимости діалектически развивающейся иден, которая составляеть содержаніе и исторіи, и философіи, эмпирики низводять творческія произведенія на сгепень предмеговъ, имѣющихъ цѣлью пріятно развлекать скуку и занимать праздное бездъйствіе, — а это значить ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изніцно-сдѣланной мебелью и тѣми красивыми бездѣлками, которыми мода и прихоть украшають въ комнатахъ камины, столы и этажерки. Идеалисты доходять до той же крайности, только противоположнымъ путемъ. По ихъ ученію, жизнь должна итти своей дорогой, а искусство-своей, не соприкасансь друг съ другомъ, не завися другъ отъ друга и нъ имън никакого вліянія другь на друга. Був квально-върные свему основному положенію, что искусство само себѣ цѣль, они доходять, наконець, до того, что лишають некусство не только цели, но и всякаго смысла. Сначала они доводять искусство до аскетизма, а наконецъ, и до индифферентизма, что весьма естественно: Индія исно доказываеть, что отшельничество и равнодушие гораздо ближе другь къ другу, нежели какъ кажется съ перваго взгляда.

Отвлекающій идеализмъ во всемъ ведеть къ произвольности въ воззрѣніяхъ и построеніяхъ, потому что факты отвергаемой имъ дъйствительности не мъшають ему принимать свои карточные домики за настоящіе рыцарскіе вамки. Кто смотрить на искусство исключительно съ эстетической точки, не принимая въ соображение ни его истории, ни исторін развитія человічества, тому весьма легко открыты тождество между «Иліадой» Гомера и «Мертвыми Душами» Гоголя. Заблужденіе глубокое, но понятное! Оно можеть происходить не отъ ограниченности умственной, а только отъ односторонняго взгляда на предметь. Принявъ за непреложную истину какое-нибудь на досугъ предуманное положеніе и отвергнувъ историческую сторонупреднета, можно надълать десятки и сотни Гомеровъ и Шекспировъ: идеализмъ знаетъ.

43

31

ния его драз вает ходо стра когд орин

чері прод нали любі гибє сущ прос

прос въ ; смер поде его, вспь каго Мак

поче незд при кита вина вина

въ с чувс духо а жі явля неот

драм Го друг что законы творчества всегда и везда одинаковы, что они въ Россіи таже, что были въ Греціи,—егдо почему же и въ Россіи не быть Гомеру и Софоклу?.. Отсюда проистекаетъ всевозможная ложь и неправда въ сужденіяхъ о достоинства поэтовъ; какъ легко превознести одного, такъ легко и унизить другого, и въ обоихъ случаяхъ —заматьте на основаніи мысли и ея строгаго діалектическаго развитія...

Очевидно, что какъ эмпиризмъ, такъ и пдеализмь (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждыя истины: истина же состоить въ свободномъ примиренія объихъ этихъ крайностей. Но кромѣ того, что такое примиреніе не такъ-то легко для всякаго---и сама истина, если бы кто и нашелъ ее, принимается съ большимъ трудомъ, и то весьма немногими. Это потому именно, что живая истина состоить въ единствъ противоположностей; Чамъ одностороннае мнаніе, тамъ доступнае оно для большинства, которое любить, чтобъ хорошее непремённо было хорошимъ, а дурное-дурнымъ, и которое слышать не хочетъ; чтобъ одинъ и тотъ же предметъ вмѣщалъ въ себъ и хорошее, и дурное. Вотъ почему толна, узнавъ, что за какимъ-нибудь великимъ человъкомъ водились слабости, свойственныя малымъ людямъ, всегда готова сбросить великаго съ его пьедестала и ославить его негоднемъ и безнравственнымъ человъкомъ. Толпа не понимаетъ, что все живое темъ и отличается отъ мертваго, что въ самой сущности своей заключаеть начало противорьчія. Толпа не понимаеть, что одинъ и тоть же человькь можеть отличаться и великими добродътелями, и великими пороками, что одно хорошее начало въ немъ могло быть развито, а другое задавлено и заглушено въ самомъ зародышь своемъ; что одно дурное начало въ немъ могло быть подавлено еще въ зернъ, а другое развито, что причины этого должно отыскивать и въ духъ времени, когда явился великій человікь, и вь общественности, среди которой возрось и воспитался онъ, и что на основаніи этихъ причинъ иные пороки его можно извинить, а иные даже и поставить ему въ заслугу такъ же точно, какъ иныя добродетели его возвысить, а съ иныхъ сбавить цвну. Если бъ въ наше время какой-нибудь воинъ сталъ мстить за падшаго въ честномъ бою друга или брата своего, заръзывая на его могилъ пленныхъ враговъ, -- это было бы отвратительнымъ, возмущающимъ душу звърствомъ; а въ Ахилль, умиляющемъ тынь Патрокла убійствомъ обезоруженныхъ враговъ, это міценіе доблесть, ибо оно выходило изъ нравовъ и религіозныхъ понятій общества его времени. Не понимая этого, толпа признаеть наукой одну математику, которая действитель-

но никогда сеоб не противорвчить, а исторію и философію считаєть вздоромъ, ибо, по ея мивнію, онб на каждомъ шагу противорвчать сеоб... Между тъмь въ глазахъ той же толны мертвець, лежащій въ гробу, уже не такъ важенъ, какъ живой человькъ, хотя первый ил въ чемъ не противорьчить самому сеоб, а другой на каждомъ шагу противоръчить... Такова ужъ, видно, натура толны!..

У насъ можно смёдо говорить о всякомъ писатель, о которомъ мньніе еще не успыло установиться въ толпь; но быда говорить о писатель старинномъ, о которомъ въ любомъ учебникъ можно найти однъ и тъ же напыщенныя фразы и общія міста... Въ такомъ случав безопаснве всего сказать разкую одноеторонность: если одни осердятся, зато другіе согласятся, и об'в стороны по крайней мірв ноймуть, въ чемъ дело. Такъ точно у насъ ужъ лътъ пестъдесятъ повторяются одиф и тъ же фразы о Державинъ, что выше его не было и не будетъ поэта въ подлунномъ мірь, что онъ пъвецъ съвера и потомовъ Багрима... Съ этимъ всѣ согласны, тѣмъ болѣе, что до этого никому нътъ дъла, ибо Державина давно ужъ никто не читаетъ, и всѣ знають его только по журнальнымъ фразамъ да школьнымъ воспоминаніямъ. Но люди такъ устроены, что если они привыкли о какомънибудь предметь думать такъ, то хотя бы они уже и совствить не заботились о немъ, однако жъ непременно осердится на васъ, если вы осмълитесь думать объ этомъ предметъ иначе. Когда въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ первый разъ было сказано, что Лержавинъ для нашего времени уже не можеть быть темь, чемь онь быль для своего, и что хотя онъ былъ одаренъ и великими поэтическими силами, однако не создалъ ничего такого, что прошло бы чрезъ въка въ нетленной красоте, -- тогда на «Отечественныя Записки» не шутя разсердились даже такіе люди, которые не прочли въ жизнь свою ни одного стиха Державинскаго, и вследъ за другими съ важностью стали повторять: «Какъ же можно такъ дерзко отзываться о такомъ великомъ поэть? -- въдь пъвецъ сввера, потомокъ Багрима»... И причину этого неудовольствія легко понять: если бъ «Отечественныя Записки» совершенно отняли у Державина всякое достоинство. поставили бы этого богатыря повін русской на ряду съ Тредьяковскимъ, тогда имъ меньше было бы хлопоть; потому что если бъ одни еще сильнъе ожесточились противъ нихъ, зато нашлось бы много другихъ, которые ухватились бы за ихъ митніе съ радосты льнивыхъ и немыслящихъ любителей новыхъ идей. Но въ мивніп «Отечественных в Записокъ» было противорвчие: у Державина не отнималось его величія, а о поэзіи его говориI

И

И

5.

и

лось только какъ объ историческомъ фактѣ: не понятно, а потому и досадно!... Правда, потомъ, какъ привыкли къ новому мнѣнію, то стали повторять его и печатно, хотя и не поняли...

Дъйствительно, ни объ одномъ поэтъ не можеть существовать столь противоположныхъ мивній, какъ о Державинь. Если разсматривать его съ эмпирически-исторической точки, то каждый стихъ его окажется чудомъ совершенства, а самъ онъ явится однимъ изъ величайшихъ поэтовъ древняго и новаго міра. Если же взглянуть на него съчистоэстетической точки, то можно поставить его чуть-чуть не наравнъ съ Сумароковымъ. Но то и другое заключение равно будутъ ложны и нелъпы: для того-то мы и почли за нужное предварительно сказать нѣсколько словъ о недостаточности и ложности эмпирической и (отвлеченно) идеальной точки врвнія на искусство.

Какъ обще-человъческое искусство, такъ и искусство наждаго народа, отдельно взятаго, имћетъ свою исторію, которая есть не что иное, какъ картина развитія искусства оть его первоначальнаго псходнаго пункта до последняго заключительнаго звена. Постепенность и послёдовательность—законъ всякаго развитія. Если бы кто-нибудь напечаталъ въ газетахъ, что посаженное имъ въ землю зерно изъ яблока взошло не стебель. комъ, а прямо яблокомъ, -- вев стали бы надъ этимъ смѣяться, какъ надъ нелѣпостью, хотя бы это и было напечатано. Но когда писали и печатали, что лётъ черезъ тридцать послё первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина») явился на Руси поэть, одинъ совитстившій въ себъ и Пиндара, и Горація, и Анакреона, и превзопедшій вськъ ихъ, порознь и вмъсть взятыхъ, - надъ этимъ и теперь еще не смѣются, какъ надъ нелѣпостью...

Мы сказали выше, что ни одно стихотвореніе Державина не выдержить самой сипеходительной эстетической критики. Дъйствительно, ничего не можеть быть слабъе художественной стороны стихотвореній Державина. Содержаніе ихъ по большей части составляють нравственныя сентенціи, расположенныя и распространенныя риторически, въ формъ разсужденія или диссертацін. Отъ этого многія оды его непом'єрно длинны, непомфрно прозанчны и... непомфрно скучны. Истина составляетъ такъ же содержаніе поэзіи, какъ и философіи, и со стороны содержанія поэтическое произведеніето же самое, что и философскій трактать; въ этомъ отношени изтъ никакой разницы между поэзіей и мышленіемъ. И однако же поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: они ръзко отдъляются другь отъ друга своей формой, которая и составляеть существенное свойство

каждаго. Философія или (выразимъ это понятіе болье общимъ терминомъ) мышленіе дъйствуетъ прямо черезъ разумъ и на разумъ; и если мыслитель или ораторъ, проникаясь эепрнымъ пламенемъ изследуемой имъ истины, иногда возвышается до паноса, прибъгаеть къ посредству фантазін и говорить огненнымъ языкомъ чувства и радужными образими фантазін, у него и въ такомъ случав чувство и фантазія являются второстепенными элементами,-первое какъ результать глубокаго проникновенія въ истину, раскрытую путемъ анализа, а втораякакъ вспомогательное средство сдёлать истину ощутительной и видимой. Въ мышленіп разумъ лицомъ къ лицу становится къ мысли, не нуждаясь въ посредствъ чувства и фантазін, но только допуская ихъ по собственной воль, какъ слъдствіе мгновенно охватившаго душу мыслителя увлеченія, надъ которымъразумъ не перестаетъ однако же царить и котораго обаятельной силы онъ уже не боится, какъ произведения собственной своей діалектики. И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только темъ мыслителямъ, которые окрыпи и закалились гимнастикой строгой логической мысли, обнаженной оть всъхъ покрововъ непосредственнаго представленія, и которые уже не могуть покоряться авторитету ощущеній, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда повіряють ихъ діалектикой разума. Въ поэзін, напротивъ, фантазія является главной действующей силой, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія разсуждаєть п мыслить-это правда, ибо ея содержаніе есть такъ же истина, какъ и содержание мышленія; но поэзія разсуждаеть и мыслить образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобы быть поэтическими. Накоторые аристархи, сами писавшіе нікогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто земная, ибо «оземленяеть» безплотную чистоту идей: такой взглядь на поэзію обнаруживаеть въ этихъ аристархахъ решительное отсутствіе эстетическаго чувства, натуру грубо-прозапческую и чуждую всякаго предощущенія поэзін. Нападать на поэзію за то, что она оземленяетъ иден, все равно, что нападать на математику за то, что она все исчисляеть и измаряеть. Въ томъ-то и состонть сущность поэзін, что она безплотной идет даеть живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случай идея есть только морская пъна, а поэтическій образъ богиня дюбви и красоты, родившаяся изъ морской приы. Кто не одаренъ творческой фантазіей, способной превращать иден въ

образы, мыслить, разсуждать и чувствовать образами, тому не помогуть сдълаться поэтомъ ни умъ, ни чувство, ни сила убъжденій и върованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И если бы не такъ, то всего легче было бы сдълаться поэтомъ: стоило бы только узнать правила версификаціи, да благословясь, и начать инсать диссертаціи размъренными

строчками, завостренными риомой. Одно изъ главнъйшихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соотвътственность идеи съ формой и формы съ вдеей, и органическая целостность его созданій. Поэтому всякое художественное произведение прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основаніп чувства или мысли, а слідовательно, и формы. Мысль въ пьесъ можетъ быть схвачена или въ одномъ своемъ моменть, или развита во всъхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитіе должно относиться къ ней самой, какъ относятся въ музыкальномъ произведении варіаци къ мотиву. Если мысль пьесы переходить въ другую, хотя бы и имъющую къ ней отношеніе мысль, тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно, единство и сила впечатленія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое произведение, чувствуениь себя только обезпокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ; утомленіе и досада заступають місто наслажденія.

Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой себъ, ясна и опредъленна для поэта, если произведеніе върно концепировано и достаточно выношено въ душт поэта,—то въ немъ не можеть быть ни уродливыхъ частностей, ни слабыхъ мъстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, пи педостатка во внъшней отдълкъ. Произведеніе въ такомъ случать органически цълостно: въ немъ нътъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводитъ читателя въ его смыслъ, послъднее слово замыкаетъ собой все его содержаніе, такъ что читатель вполнъ удовлетворенъ и не можеть спросить: «что же дальше?»

Стихотворенія Державина не выполняють ни одного изъ этихъ условій. Во-первыхъ, всю они болье или менье отличаются характеромъ риторическимъ, и, по крайней мъръ, большая часть ихъ походить на диссертаціи въ стихахъ. Мы не можемъ подкрыпить выписками этого миньнін, ибо въ такомъ случав намъ пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всюхъ передъ глазами, и каждый самъ можеть повърить справедливость нашей мысли. Впрочемъ, при разборь нькоторыхъ стихотвореній мы будемъ имъть случай мимоходомъ указывать на эту черту

недостатка поэзім Державина; пока ограничимся только указаніемъ на нѣкоторыя, особенно замъчательныя въ этомъ отношении пьесы, каковы, напримъръ: «Везсмертіе души» (192 стиха), «Величество Божіе» (132 ст.), «Христосъ» (320 ст.), «Сленой Случай» (200 ст.), «Успоксенное Невъріе» (108 ст.), «Истина» (144 ст.), «Гимнъ Богу» (96 ст.), «Тоска Дуни» (104 ст.), «Добродътель» (120 ст.), «Слава» (112 ст.), «Ц'вленіе Саула» (450 ст.), «Гимнъ Солицу» (100 ст.), «Облако» (80 ст.), «Громъ» (90 ст.), На умъренность» (110 ст.), и пр. Такихъ пьесъ у Державина гораздо больше можно Читать ихъ тяжело. Это все равно, что читать арпометику, написанную стихами: читатель согласенъ съ нею, что дважды два-четыре, но онъ темъ не мене въ отчаянін. что такія простыя, почтенныя и съ малолътства всякому извъстныя истины не изложены обыкновенной прозой, безъ поэтическихъ затъй. Такъ п въ поименованныхъ нами стихотвореніяхъ Державина всь мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: ихъ можно найти у любого илохого стихотворца того времени. А это уже признакъ отсутствія поэзіи: у истиннаго поэта и старая мысль является новой, ибо истинный поэть даеть чувствовать живую сущность мысли, которую толпа безсмысленно повторяеть, какъ мертвую букву. По величинь своей, поименованныя нами оды Державина ръшительно не имъють ничего общаго съ лирической поэзіей. Лирика есть выражение преимущественно чувства, и въ этомъ отношения она приближается къ музыкѣ, которая исключительно изъ всѣхъ искусствъ дъйствуетъ прямо и непосредственно на чувство. Одна пьеса не можеть быть выраженіемъ двухъ различныхъ чувствъ, я чувство проходить по душь мгновенно, какъ тотъ тренетъ восторга, отъ котораго священный холодъ пробываеть по тылу и «встревоженной ратью» поднимаеть волосы на головъ человъка... И если такое чувство неослабно будеть владъть читателемъ во все время, необходимое для прочтенія даже восьмидесяти, не только четырехъ-согъ-иятидесяти стиховъ, - человъческая натура читагеля не выдержить этого, и результатомъ восторженнаго чтенія должна быть болізнь, утомленіе... Поэма, драма и особенно романъ - другое діло: тамъ умъ часто даеть отдыхать чувству; тамъ комическія сцены и, по сущности выражаемыхъ предметовъ, прозаическія м'єста возбуждають въ читатель разнообразныя ощущенія. Но держаться въ продолжение добраго получаса или болъе въ одномъ чувствъ, въ одинаковой настроенности души-это неестественно, и потому невозможно. Державинъ въ поименованных нами пьесахь, кажется, всего мене разечитываль на чувство: стихотворенія эти холодны и прозаичны, какь школьная диссертація, стихи въ нихъ дурны до послідней степени, и рідко, очень рідко койгар проблескивають искорки одушевленія, сейчась и погасая въ воді риторики. Кажется, главной его заботой было высказать о предметі все, что только могь онь придумать о немь. Порядка въ его мысляхь ніть никакого, и потому его длинныя и резонерствующія оды не иміють достопиства даже хорошо расположеннаго и округленнаго школьнаго разсужденія.

Конечно, не всъ оды Державина таковы, какъ тъ, на которыя мы сейчасъ указали, но главный характеръ указанныхъ нами-длиннота, резонерство, риторика, безъ-дбразность -- болье или менье преобладають рышительно во всёхъ одахъ. Гармонической соответственности идеи съ формой, пластичности образовъ-въ нихъ нечего и искать. Читая иную оду Державина, иногда вы вдругь увлекаетесь возвышенностью мысли, энергіей чувства, размашистымъ полетомъ фантазін,—и вдругъ неловкій стихъ, натянутый оборотъ, странное выражение, а пногда и риторика охлаждають вашъ восторгь, — и вы испытываете это нъсколько разъ при чтеніи одной и той же оды, и по окончании ея чувствуете себя утомленнымъ и встревоженнымъ, но не удовлетвореннымъ и услажденнымъ. Такъ, напримъръ, «Водопадъ» принадлежитъ къ числу блистательнъйшихъ созданій Державина, -- а между тымь въ немъ-то и увидите вы полное оправдание нашей мысли объ общихъ недостаткахъ его поэзіп. Уже самая огромность этой оды показываеть, что въ ея концепцін участвовала не одна фантазія, но и холодный разсудокъ. Поводомъ къ этой одъ была высть о кончинъ Потемкина, поразившая поэта скорбнымъ чувствомъ и представившая его духовному оку въ новомъ свъть полоссальный образъ величайшаго изъ современныхъ ему героевъ. Это скорбное чувство, это возвышенное созерцаніс и должно было бы составлять содержание оды. Но поэть припледъ сюд же и Румянцева, который, сидя подъ наклоннымъ кедромъ, мечтаетъ о славъ и времени, потомъ засыпаетъ и видить во снъ свои подвиги; потомъ просыпается отъ грома соврушенной ели и падшаго холма, и видить предъ собою Россію въ образъ вопиственной жены, которая взываеть къ нему «проснись!»; при видь ея онъ

Вздохнуль, и испустя слезь дождь, Въщаль: "Знать умерь нъкій вожды!"

и началь разсуждать объ обязанностяхь истиннаго вождя, о томь, что дучше быть «менье извъстнымъ», и т.п.

Весь этоть эпизодъ занимаеть тридцать одну строфу, т. е. сто восемьдесять шесть стиховъ!!... Конечно, въ этомъ эпизодъ, невыдержанномъ въ цъломъ, есть прекрасныя мъста; но онъ не идеть къ дълу, безъ нужды плодить оду и охлаждаеть восторгь читателя, -- такъ что прочесть «Водонадъ» съ одного раза, да еще вслухъ-трудъ изнурительный и для ума, и для груди... Всъ эти 186 стиховъ можно выкинуть, и ода ничего не проиграетъ, напротивъ, много выиграетъ: въ ней будеть меньше риторики и больше поэзін... Первыя семь строфъ, заключающія въ себъ картину водопада посреди дикой и мрачной природы въ осеннюю ночь, прекрасно настраивають душу читателя къ возвышенно-скорбному чувству, которымъ должна поразить его мысль о внезанномъ паденіи колосса, — и послѣ седьмой строфы:

Ретивый конь осанку горду Храня, порой къ тебъ идеть, Крутую гриву, жарку морду Поднявъ, хранитъ, ушми прядетъ, И подстрекаемъ бывъ, бодрится... Отважно въ хлябь твою стремится...

можно прямо перейти къ тридцать девятой:

Но кто идеть тамъ по холмам. Глядясь, какъ мъсяцъ, въ воды черны; Чъя тънь спъшить по облакамт Въ воздушныя жилища, горны: На темномъ взоръ и челъ Сидить глубоко дума въ мглъ

А тридцать одну строфу, между седьмой и тридцать деватой, можно не читать: тогда впечатльние отъ «Водопада» будеть гораздо сильные; тогда останется для чтения сорокъ шесть строфъ, или двысти семьдесять шесть стиховъ... И туть сколько еще воды риторической! Какъ часто изнемогающее отъ возвышеннаго наслаждения чувство внезапно охладываеть? Но чтобъ мижне наше не показалось произвольнымь, подкрыпимъ его выписками

Какой чудесный духъ крылами Отъ Съвера парить на Югъ? Вътръ медленъ течь его стезями Обозръваеть царство вдругъ, Шумить и какъ звъзда блистаетъ, И искры въ слъдъ свой разсынаетъ.

Этотъ духъ—твнь Потемкина; но что же это за прозаическое описаніе, ничего не выражающее! И неужели духъ Потемкина непремвино долженъ обгонять вътеръ, обозръвать царства вдругъ, шумътъ, блистать, подобно звъздъ, и сыпать искрами по своему слъду? Раторика

Чей трупъ, какъ на распутън мгла Лежитъ на темномъ лонъ ночи? Простое рубище чресла, Двъ ленты покрываютъ очи, Прижаты къ хладной груди персты, Уста безмолвствуютъ отверсты!

Чей одръ—земля; кровъ—воздухъ синь; Чертоги—вкругъ пустынны виды? Не ты ли, счастья, сласы сынъ, Великолюньй инязь Тавриды? Не ты ли съ высоты честей Недавно палъ среди степей? Не ты ль наперсинкомъ близъ трона

у съверной Минервы быль; Во храмъ музъ, другъ Аполлона, на полъ Марса вождемъ слылъ; Ръшитель думъ въ войнъ и миръ, Могущъ—хотя и не въ порфиръ?

Не ты ль, который взвъсить смълъ Мощь росса, духъ Екатерины, II, опершись на нихъ, хотълъ Вознесть свой громъ на тъ стремвины, На коихъ древній Римъ стояль II всей вселенной колебаль?

Не ты ль, который орды сильны Сосвдей хищныхъ истребилъ, Пространны области пустынны Во грады, въ нивы обратилъ. Покрылъ Понтъ Черный кораблями, Потрясъ среду земли громами?

Не ты ль, который зналь изорать Достойный подвигь росской силъ, Стихіп самыя попрать Въ Очаковъ и въ Измаилъ, И твердой дерзостью такой Быть дивомъ храбрости самой?

Се ты, отважнойний изо смертных, Парящій замыслами умо!
Не шело ты средь путей извостныхо, Но проложило ихо само, — и шумо Оставиль по себь въ потомки, Се ты, о чудный вождь Потемкины!

Се ты, которому врата Торжественныя созндали; Искусство, разумъ, красота— Недавно лавръ и миртъ сплетали; Забавы, роскошь вкругъ цвъли И счастье съ славой слъдомъ шли!

Вотъ это поэзія, не риторика! Правда, и въ этихъ стихахъ не безъ недостатковъ; но они извиняются духомъ времени. Во времена Державина нельзя было сказать: «достойный подвигь русской силы»; это было бы низко и не согласно съ пареніемъ оды, непременно нужно было сказать: «достойный подвигь росской силы»: слова «росскій» и «россъ» казались тогда не только необыкновенно звучными, по и отмънно умными... Выраженія: «наперсникъ у съверной Минервы, другь Аполлона во храмъ музъ, вождь на полъ Марса» для насъ слишкомъ прозаичны, но, по понятимъ того времени, въ нихъ-то и заключалась вси сущность ползіи. За этими прекрасными поэтическими строками опять следуеть риторика, и при томъ довольно не-

Се ты, небеснаго плодъ дара
Кому едва я посвятилъ;
Въ созвучность громкаго Пиндара
Мою настроить лиру мнилъ;
Воспълъ побъду Измаила.
Воспълъ побъду Измаила.
Воспълъ но смерти тебя скосила!
Увы! и хоровъ сладкихъ звукъ
Монхъ въ стенанье превратился;
Свалилась лира съ слабыхъ рукъ,
И я тамъ въ слезы погрузился.

Гдії бездна разноцвѣтныхъ звѣздъ Чертогъ являли райскихъ мвстъ.

За этой риторикой онять следуеть порвіл:

Увы, и громы онъмъли,
Ревущіе тебя вокругь;
Полки твои оспротъли,
Наполнили рыданьемъ слухъ;
И все что близъ тебя блистало,
Уныло и печально стало.
Потухъ лавровый твой вънокъ,
Гранена булава унала,
Мечь въ полножны войти чуть могь.—
Ежатерина возрыдала!
Полсятта потряслось за ней
Незапной смертию твоей!

#### Теперь опять голая риторика:

Оливы свъжи и зелены
Принесъ и бросилъ Миръ изъ рукъ:
Родства и дружбы вопли, стоны,
И музъ ахейскихъ жалкій звукъ
Вокрутъ Перикла раздается:
Маронъ по Меценаплъ рвется.
Который почестей въ лучахъ.
Какъ нъкій царь, какъ бы на тронъ,
на сребророзовыхъ коняхъ,
на златозарномъ фаэтопъ,
Во соимъ всадниковъ блисталъ,
И въ смертный, черный одръ упалъ!

За риторикой опять следують проблески поэзін:

Гдв слава? гдв великолвиье? Гдв ты, о сильный человвкъ? Мавусаила долгольтье Лишь было бъ сонъ, лишь твиь нашъ ввкъ; Вся наша жизнь не что иное, Какъ лишь мечтаніе пустое.

Иль нвть! тяжелый нвкій шаръ, На нвжномъ волоскъ висящій, Въ который бурь, громовъ ударъ И молніп небесъ ярящи Отвеюду безпрестанно быютъ. И, ахъ! зевиры легки рвуть.

#### А вотъ и чистая поэзія:

Единый чась, одно мгновенье Удобны царства поразить. Одно стихіевь дуновенье Гигантовъ въ прахъ преобразить; Мхъ ищуть мъста—и не знають: Въ имли героевъ попирають! Героевъ? Нътъ! но ихъ дъла Изъ мрака и въковъ блистають: Нетлъпна память, похвала И изъ развалинъ вылетаютъ; Какъ холмы, гробы ихъ цвътуть: Напишется Иотемкинъ трудъ.

#### Теперь опять риторика:

Театръ его быль край Эвксича. Сердца обязанныя—храмъ; Рука съ вънцомъ - Екатерина; Гремяща слава - фиміамъ; Жизнь - жертвененкъ торжествъ и вреза. Гробица - ужаса, любови.

Следующія за теме пять строфъ, изображоющія страхъ турокъ при мысли объ Наманль и радость «россіян», при наглядь за русскій флоть въ Черномъ морѣ,—преисполнены риторики и въ мысли, и въ исполненіи. Остальныя девять строфъ исполнены поэзін, особливо эти двѣ:

По утру солнечнымъ лучемъ Какъ монументъ златой зажжется, Лежатъ объяты серны сномъ, И паръ вокругъ холмовъ віется, Ипришедши, старецъ надпись зритъ: "Здѣсь трупъ Потемкипа сокрытъ!" Алцибіадовъ прахъ! И смѣетъ Червь полвать вкругъ его главы? Взять шлемъ Ахилловъ не робѣетъ, Нашедши въ полѣ, Өнрсъ? Увы! И плоть, и трудъ коль истлѣваетъ: Что жъ нашу славу составляетъ? ...

Мы разобрали одно изъ лучшихъ стихотвореній Державина, и это даетъ намъ иј аво не дѣлать дальнѣйшихъ разборовъ такого рода, ибо они загромоздили бы статью выписками. Итакъ, повторяемъ, что невы держанность въ цѣломъ и частностихъ, преобладаніе лидактики, сбивающейся на резонерство, отсутствіе художественности въ отдѣлкѣ, смѣсь риторики съ поэзіей, проблески геніальности съ непостижимыми странностями — вотъ характеръ всѣхъ произведеній Державина.

Какая же, спросять насъ, причина этого: та ли, что Державинъ не ноэтъ; та ли, что его талантъ былъ незначителенъ, или что у него вовсе не было таланта? Ни то, ни другое, ни третье... Отвётъ на этотъ вопросъ уже сдёланъ нами въ началъ статьи: что было тамъ высказано нами въ общихъ чертахъ, какъ теорія, то приложимъ мы теперь къ вопросу о поэзін Державина, какъ кл. факту. Державинъ былъ человъкъ, одаренный великими творческими силами, -и онъ сдълалъ все, что можно было ему сделать въ то время. Не его вина, что онъ явился въ то, а не въ наше время; не его вина, что поэзія не падаеть готовая прямо съ неба, а вырастаеть на земль, переходя черезь вст степени развитія, какъ все растущее.

Поэзія въ каждой странь имьеть свою исторію; поэтому неудивительно, что и въ Россін она имѣла свою исторію. Отецъ русской поэзін, патріархъ русскихъ поэтовъ быль не столько поэтъ, сколько ученый: мы говоримъ о Ломоносовъ. Поэзія русская не была туземнымъ свътомъ, свободно и самобытно развившимся изъ почвы національнаго духа: но, подобно нашей европейской цивилизаціи и нашему европейскому просвъщенію, она была прививнымъ пли-еще върпъе сказать - пересаженнымъ растеніемъ. И воть эдћеь-то заключается живая связь Петра Ведикаго съ Ломоносовымъ, какъ причины со следствіемъ. Наши критики обыкновенно упускають изъ виду это обстоятельство: они обвиняють русскую литературу въ подражательности, въ отсутстви оригинальности. и

въ то же время признаютъ Пушкина, Грибовдова и другихъ новъйшихъ инсателей оригинальными поэтами, не понимая того, что есди бъ наша поэзія до Пушкина не была подражательной, то и поэзія отъ Пушкина не могла бы быть орвгина ьной и народной... Да, подражательность первыхъ нашихъ поэтовъ искупила оригинальность последую щихъ. И это обстоятельство даетъ особенный характеръ нашей поэзін и ея историческому развитію. Исторія нашей поэзін до Пушкина вся заключается—въ усилін изъ риторики едълаться поэзіей, изъ книжной и школьной стать естественной, изъ подражательнойоригинальной. Ломоносовъ сообщилъ русской поэзін характеръ чисто-риторическій, чистошкольный и книжный, - и велико діло его, свять его подвигь! Намъ нужна (ыла поэзія, во что бы то ни стало, — и Ломоносовъ далъ намъ именно такую поэзію, кромъ которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому генію, дать было невозможно. О Ломоносовъ восбине утвердилось мивніе, что онъ былъ ученый и нисколько не поэтъ: этого мивнія нельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положимъ, что Ломоносовъ былъ столь же поэтическая натура, какъ и самъ Пушкинъ; но вотъ вопросъ: какъ и въ чемъ бы влекавалась его поэтическая натура? Откула бы почеринулъ онъ сознательную идею о существовании поэзін и о (в емъ поэтическомъ призваніи?—Изъ общества? Но тогдашнее общество не имело никакого поинтія о поэзіп и еще менте потребности въ ней, и если оно смотрело на стихи Ломоносова не какъ на пустое балагурство, а на него самого не какъ на шута, такъ причиной этому быль не таланть Ломоносова, а покровительство Шувалова, внимание императрицы... Слъдовательно, для сознательной иден поэзін Ломоносову быль одинъ путь-книга, ученіе, наука, знакомство съ Европой. Такъ оно и было. Теперь вопросъ: могъ ли Лемоносовъ не подчиниться вліянію своихъ півменкихъ учителей, и образцы тогданней нѣмецкой поэзін могли ли дать поэтической діятельности Ломоносова другое направленіе, нежели то, которое они дали ей? Скажуть: истинный геній не покоряется чуждому вліянію и руководствуется только собственнымъ творческимъ духомъ. Да, это правда, но только тогда, когда уже выработаны матеріалы, изъ которыхъ геній можеть творить; пначе въ историческомъ процесст не бываетъ. И вотъ ночему иногда пришествіе одного генія пріуготовляется столькими другими, изъ которыхъ ниые, можеть быть, потому только кажутся меньше его, что явились прежде его, что исторія осудила ихъ на низшія предварительныя работы. Петръ Великій, въ одно и

го же время работавшій и умомъ, и топоромъ, представляеть собой въ этомъ отнощени дивное исключение изъ общаго правила. Итакъ, что же оставалось делать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теорін, тогда какь въ поэзін другихъ народовъ практика родила теорію, фактъ возбудиль потребность сознанія. И воть Ломоносовь думаеть о томъ, что такое поэзія, какъ она должна быть, и, разумъется, смотритъ на этотъ предметь, какъ смотрвли на него нъмцы того времени. Потомъ ему нужно было подумать о языкь, о версификаціи, пбо до него не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написаннаго не силдабическимъ разміромъ, чуждымъ духу и несвойственнымъ гибкости и богатству русскаго языка. (Тредьяковскаго туть нечего брать въ расчетъ.) Что же было ему пъть? Любовь?-но для выраженія той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народныхъ свадебныхъ пъсенъ, а о другой оно и не заботилось. Неть, Ломоносовь пель то, что было ближе къ дълу, что заключалось въ самой дыствительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертью Петра Великаго и освътило ее вновь только съ восшествіемъ на престолъ Екатерины Великой; послъ ужасовъ Бироновской тираніи царствованіе Елисаветы по справедливости казалось эпохой столь же счастивой, сколько и славной, -- и Ломоносовъ ивлъ «блаженство дней своихъ», пвль «любезныя ему науки въ дражайшемъ отечествь». Больше нечего было бы пъть въ то время и самому Шекспиру. Говорять, стихи его обличають оратора, а не поэта; да иначе и быть не могло даже и вь такомъ случав, есян бы Ломоносовь быль столько же поэтическая натура, какъ и Пушкинъ. Но вотъ еще вопросъ: почему стихи Ломоносова такъ необыкновенно хороши по своему времени? Почему изъ его современниковъ никто не нисаль такихъ хороннихъ стиховъ? Почему стихи Сумарокова, болье, чемъ Ломоносовъ, преданнаго поэзіи и явившагося послѣ него, такъ далеко хуже Ломоносовскихъ стиховъ? Отчего стихи Державина сдълали послъ стиховъ Ломоносова такой малый шагь впередъ, и то въ самыхъ лучшихъ его стихотвореніяхъ, тогда какь въ большей части не лучшихъ они хуже, чёмъ стихи Ломоносова въ одъ «Къ Іову», въ «Утреннемъ» и «Вечернемъ размышленін о величествѣ Божіемъ, которыя отличаются чистотой языка, обличающей въ творцѣ ихъ человѣва ученаго? Конечно, «Мокрый Амуръ» Ломоносова далеко не пойдеть въ сравнение съ анакреонтическими стихотвореніями Державина, но по своему времени это удивительное стихотвореніе. Итакъ, вопросъ о поэтическомъ при-

вваніп и таланть Ломоносова пока все еще только—вопросъ, и єдва ли ёсть возможность ръшить его положительно или отрицательно.

Обратимся къ Державину. Никто самъ собой ничего не дълаеть ни великаго, ни малаго; но, оглядывшись вокругь себя, всякій начинаеть лли продолжать, или отрицать здыланное прежде его: это законъ историческаго развитія. Чувствуя наклонность къ поэзін, имя которой было уже печатно выговорено въ Россіи, и о которой носились уже темные слухи въ небольшомъ грамотномъ кругь людей общества того времени, - Деркавинъ естественно не могъ не остановить своего вниманія на Ломоносовъ и не подчинаться его вліянію. И Державина за это такъ же можно упрекать, какъ младенца за то, что онъ лепечеть языкомъ отца своего, звуки котораго впервые огласили его слухъ, а не языкомъ, котораго онъ звуковъ не могъ слышать. Державинъ добродушно удивлялся генію Хераскова, высокому паренію Петрова; но его чутью дівлаеть большую честь, что онъ ръшился подражать только одному Ломоносову. Еще большую честь дёлаеть Державину го, что съ 1779 года онъ пошелъ собственнымъ своимъ путемъ. Не думайте, однако жъ, ттобъ онъ на это ръшился по сознанию недостатковъ поэзіи Ломоносова или по убъжденію, что подражаніе ни къ чему не ведеть, а надо всякому быть самнить собой: ныть! для такого сознанія и такого убъжденія еще не наставало время, и Державину не откуда было взить ихъ. Вотъ что говорить онъ самъ о произведеніяхъ первой своей эпохи до 1779 года: «Всъхъ сихъ произведеній своихъ авторъ самь не одобрялъ, потому что хотыль подражать Ломоносову, но чувствовалъ, что талантъ его не былъ внушаемъ одинаковымъ геніемъ: онъ хотёдь парить, но не могь постоянно выдерживать красивымъ наборомъ словъ, свойственнаго единственно россійскому Пиндару велельнія и пышности; а для того въ 1779 году избралъ онъ совершенно особый путь, будучи предводимымъ наставленіями Баттё и совътами друзей своихъ: Никодая Александровича Львова, Василья Васильевича Капниста и Ивана Ивановича Хемницера». Не думайте также, чтобы «совершенно особый путь» означаль полную независимость отъ Ломоносова и совершенную самобытность: такой быстрый переходъ въ то время былъ бы скачкомь, а въ исторіи нъть скачковъ. Державинъ дъйствигельно пошель своимь особымь путемь, но не выходя изъ-подъ вліянія Ломопосовской чоэзін; въ поэзін Державина явились впервые яркія вепышки истинной поэзіп, м'єстами даже проблески художественности, какая-то ему одному свойственная оригинальность во взглядь на предметы и въ манеръ выражатьси, черты народности, столь неожиданный и мыль болье поразительныя въ то время, — и вмысть съ тымь поэзія Держанна удержала дилактическій и риторическій характерь въ своей общности, который быль сообщень ей поэзіей Ломоносова. Въ этомъ видень естественный историческій холь.

Кструн о дидактикв. Она была явленіемъ неизбёжнымъ и необходимымъ. Занятіе поэзіей должно было чёмъ-нибудь быть оправдано въ глазахъ общества. Теперь всякій бумагомаратель, назвавшись поэтомъ, найдеть кружокъ, который будетъ смотръть на него сь авкоторымь уважениемь за то, что онъчэ простой человькь, а «поэть». Но это мистическое уважение къ слову «поэть» не жругь же явилось въ русскомъ обществъ: оно развилось въ немъ временемъ и, конечно, составляеть его прогрессь въ сравнении съ предшестве завшими эпохами. Во время Ломоносова слова «ноэзія» и «поэть» или, потогдашиему, «пінть» звучали довольно дико и былы къ кому же нѣсколько опошлены характерами нервыхъ двухъ русскихъ «пінтовъ»— Трекъмковскаго и Сумарокова. Если на поэтовъ общество обратило внимание, то не иначе, какъ велъдствіе покровительства, которое оказывалось имъ высшей властью. «Даютъ чины, педарки за стихи,-стало быть, стихи что-нибудь да значать же»: такъ думало само съ собой тогдашнее общество. Но надобно же было ему представить пользу оть поэзіп, чтобъ омо не считало поэзію за одно съ шутовствомъ. Да что общество!—сами гоэты того времени те умёли объяснить себё свою страсть къ поэзіп иначе, какъ ея высокимъ призваніемъбыть полезной для нравовъ общества. И если хотите, они были правы: поэзія дійствительно есть провозвъстинца великихъ пстинъ, въ историческомъ движеніи человічества развивающихся; но прежде всего она-поэзія, свободное творчество, самостоятельная сфера сознанія, которой нельзя и не должно см'єшивать съ философіей, хотя у нихъ объихъ одно и то же содержание. Но наши первые поэты стараго времени поняли поэзію, какъ пріятное правоученіе, и Мерзияковъ, теоретикъ этой поэзін, такъ выразиль ен сущность и цти въ стихахъ, заимствоелиныхъ MML y Tacca:

Такъ врать болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счестливецъ сбольщенъ, пьетъ горькое цъленье. Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье! Выраженсь, прозой это значитъ, что поэзія

есть позолота на горькой пилюль нравоучепія... Мабніе ограниченное и жалкос, по подъ его эгидой начинается всякая поэзія, возникшая не непосредственно изъ народной жизни, а явизшаяся какъ нововведеніе, какъ како-то общественное учрежденіе...

И за то спасибо ему: оно, это мивите, поддержало у насъ и дало укръпиться зародышу поэзін Ломоносова и Державина. Посль этого понитно дидактическое и риторическое направленіе поэзін Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить имъ въ вину это. Въ дъйствіяхъ великихъ людей бываеть два рода недостатковь и ошибокъ: одии происходять оть ихъ личиего произвола, ихъ личной ограниченности; другіеизъ духа и потребностей самаго времени. За недостатки и ошибки перваго рода можно и должно обвинять великихъ действователей; недостатки же и ошноки второго рода можно и должно называть ихъ собственными именами, т. е. — недостатками и ошибками, но ставить ихъ въ вину великимъ дъйствователямъ не можно и не должно

Итакъ, очевидно, что Державинъ не могъ быть, а потому и не быть поэтомъ-художникомъ; его поэзія—лепетъ младенческій, исполненный жизни и прелести, но не ръчъ разумная мужа. И откуда же взять бы онъ художественность образовъ, пластическую отдълку формы, если въ его времи о такихъ хитростяхъ не было понятія, а слъдовательно, не было въ нихъ и потребности? И потомъ можно ди винить его за риторику и дидактику, входящія, какъ эдементъ, во всъ, даже дучиня его созданія, а въ посредственныхъ и слабыхъ играющія первую роль?

Конечно, за это никто и не обвинить его: но, съ другой стороны, есть ли какой-нибудь смыслъ обвинять, какъ въ преступлении, какъ въ дерзкомъ неуважении къ священнымъ предметамъ, людей, которые называютъ вещи собственными ихъ именами и не хотять видёть въ нихъ больше того, что есть въ нихъ на самомъ дѣлѣ? Можно насчитать болѣє полусотни стихотвореній Державина, въ которыхъ нътъ и искры поэзіи, а въ которыхъ злоупотребление «пінтической вольности» съ нзыкомъ доведено до крайней степени: неужели гръхъ и преступленіе сказать объ этомъ прямо! неужели критика должна состоять изъ одижкъ лицемърныхъ фразъ и натянутаго восторга, выражаемаго общими мъстами дрянныхъ учебниковъ по части словесности? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ,—тѣмъ болье ныть, что подобная пекренность ниеколько не можеть повредить славь Державина, ни затмить его великаго таланта, ни унизить его великихъ заслугъ! Неудачныя стихотворенія могуть быть у всякаго великаго поэта, и если у Державина ихъ больше чвиъ у другихъ, — это вина времени (если только время можеть быть въ чемъ-нибудь виновато), а не поэта. Жуковскій тоже поэть необыкновенный; онъ явился уже послъ Державина, когда самый языкъ сдёлать большіе усп'яхи черезъ Карамзина и Дмитріевя:

Жуковскій самъ подвинуль языкь впередь и много едіблаль для стиха и для поэзін; по и у Жуковскаго есть длинныя посланія, которыхь достопиство заключается совсімь не въ поэзін, а развів въ звучности стиха и краспорічні, и котерыя въ сущности немногимъ важибе риторическихъ и дадактическихъ разсужденій въ стихахъ Державина, добродушно называемыхъ имъ одами. И въ этихъ длинныхъ посланіяхъ Жуковскаго виденъ историческій ходъ развитія нашей поэзін: у Пушкина уже изтъ подобныхъ произведеній, но потому именно и ність, что они уже были у Жуковскаго, и что уже пришло время кончиться имъ.

Итакъ, пекого обвинять и нечего жалѣть. что Державинъ не былъ поэтомъ-художникомъ; дучше подивиться тъмъ свътозарнымъ проблескамъ позвін и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко веныхиваетъ дидактическая, по преобладающему элементу своему, поэзія этого могучаго таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художественная, но время и обстоятельства положили непреоделимыя преграды ея развитію, и потому въ созданіяхъ Державина нътъ позвін, какъ искусства, -есть только элементы и проблески истипной поэзін. Это уже не чисто-подражательная поэзія, какъ у Ломоносова: въ ней уже слышатея и чуются звуки и картины русской природы, но перемъщанные съ какой-то искаженной, на французскій манеръ, греческой миноологіей. Возьмемъ для примъра прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто-русской природы съ Богъ-въдаетъ какой природей. — очаровательной поэзи въ непонятной риторикой:

Спустиль сёдой Эоль Борея Съ цёней чугунныхъ изъ нещеръ; Ужасны крылья расширяя, Махнулъ по свъту богатырь; Погналъ стадами воздухъ спий, Эгустилъ туманы въ облака, Цавнуль—и облака разсълись, Спустился дождь и восшумъль.

Къ чему туть Эоль, къ чему Борей, пещеры и чугунныя цъпи? Не спранивайте. Къ чему пужны были пудра, мушки и фижмы? Во время оно безъ нихъ нельзя было показаться въ люди... И какъ нейдетъ русское слово «богатырь» къ этому нѣмцу «Борею»!.. Можно ли гонять стадами синій воздухъ? И что за картина: Борей, сгустивъ туманы въ облака, давнулъ пхъ; облака разсѣлись, и оттого спустился дождь и восшумѣлъ?.. Вѣдь это—слова, слова, слова!.. Но далье:

Уже румяна осень носить Снопы златые на гумио. Какіе прекрасные два стиха! По нимъ вы думаете, что вы въ Россіи...

И роскошь винограду просить Рукою жадной на вино;

Тоже прекрасные стихи; по куда они перепосять вась — Богь зъсть!

Уже стада толнятся птичьи, Ковынь сребрится по стенямъ; Шумящи красножелты листья Разстлались всюду по тропамъ. Въ опушкъ заяцъ быстроногій, Какъ колинкъ неевдівъ, лежитъ; Ловецки раздаются роги, И выжлять лай и гулъ гремитъ; Запасшися крестьянинъ хлъбомъ, Ъсгъ добры щи и ниво пьетъ; Обогащенный добрымъ небомъ...

Туть вы ожидаете, что онъ благословляетъ въ простотъ сердца имя Божье за дары его; ничуть не бывало: онъ —

Блаженство двей своихъ поетъ!

Не на лиръ ли?..

Борей на осень хмуритъ брови, II Зиму съ Съвера зоветь: Идетъ съдая чародъйка, Косматымъ машетъ рукавомъ, II спъгъ, и мразъ, и иней сыидеть, II воды претворяеть вь льды, отъ кладнаго ея дыханья Природы взоръ оцвиенълъ. На мъсто радугъ испещренныхъ Висить на небъ мгла вокругь, А на коврахъ полей зеленыхъ Лежить разсыпань бълый пухъ; Пустыни сътують и долы, Голодны волки воють въ нихъ; Древа стоять и холмы голы, И не пасется стадъ при пимъ. Ушелъ олень на туплры министы И въ логовище легъ медвъдь.

И вельдъ за этими чудными стихами-

Но селамъ нимфы голосисты Престали въ хороводахъ пъть, Небесный Марсъ оставилъ громы; И легъ въ туманы отдохнуть...

Какой «небесный Марсь» и въ какіе «туманы» легь онъ на отдыхъ? Что за «Нимфы голосисты»—ужъ не крестьянки ли?.. Но называть нашихъ крестьянокъ инмфами все равио, что назвать Меланіей Маланью...

Что въ Державинъ былъ глубоко-художественный элементъ, это всего дучше доказываютъ его такъ-называемыя «анакроонтическия» стихотворения. И между ними нътъ ни одного, вполнъ выдержаннаго; но какое созерцание, какие стихи! Вотъ, напримъръ, «Побъда красоты»:

Какъ храмъ Ареопагъ Палладъ, Нептуна презря, посвятилъ, Притекъ къ асинской левъ оградъ, И ревомъ городу грозилъ. Она копъя непобъдима Ко онолченъю не взяла, Противу льва неукротима
Съ Олимпа Гебу призвала.
Попла—и подъ оливой стала.
Влистая легкою броней:
Младую нимфу обнимала,
Сидящую въ тъпи вътвей.
Левъ шелъ,—и подъ его стопою
Приморскій влажный брегъ дрожаль;
Но встрътясь вдругъ со красотою,
Какъ солнцемъ пораженный; сталъ.
Вздыхалъ и палъ къ ногамъ левъ силь-

Предестну руку добываль

И чувства кроткія, умильны,
Въ сверкающихъ очахъ являлъ.
Стыдлива дъва улыбалась,
На молодого дъва смотря,
Кудрявой гривой забавлялась
Сего звъринаго царя.
Миневра мудрая повпала
Его родящук ся страсть.
Цвъточной цънью привязала
Н отдала любен во власть.
Не разъ потомъ уже случалось,
Что умъ смиряль и ярость львовъ,
Красою мужество сражалось,
А побъждала все любовь.

Изъ этого стихотворенія видно въ Державинь живое сочувствіе къ древнему міру, какъ свидьтельство глубоко-художественнаго элемента въ натурь поэта. Но пьеса «Рожденіе Красоты» сще болье обнаруживаеть это артистическое сочувствіе поэта къ художественному міру древней Греціи, хотя эта пьеса и еще менье выдержана, чьмъ первая. Доказательствомъ же того, какими превосходными стихами могъ писать Державинъ, служитъ его стихотвореніе «Русскія Дъвушки»:

Зрълъ ли ты, пъвецъ тінсе Какъ въ лугу, весной, быч. Пляшуть дввушки россійски Подъ свирълью настушка? Какъ, склонясь главами, ходятъ Вашмачками въ ладъ стучатъ. Тихо руки, взоръ поводять, И плечами говорять? Какъ ихъ лентами златыми Чела бълыя блестять, Подъ жемчугами драгими Груди нъжиыя дышать? Какъ сквозь жилки голубы. Льется розовая кровь, На ланитахъ огневыя Ямки врёзала любовы Какъ ихъ брови соболины, Полный искръ соколій взглядъ, Ихъ усмъшка-души львины И сердца орловъ разять? Коль бы видълъ дъвъ сихъ красныхъ, Ты бъ гречанокъ позабыль, И на крыльяхъ сладострастныхъ Твой Эроть приковань быль.

lo

ce

0=

0-

0-

III

Оставимъ въ сторонѣ достолюбезную наивность мысли— заставить Анакреона удивляться россійскимъ дѣвушкамъ, пляшущимъ весной на лугу «бычка», и отдать имъ первенство передъ богинями и нимфами древней Эллады, оставимъ также въ сторонѣ кинжное и не идущее къ дѣлу слово «гла-

вами», ошибку противъ языка, которыћ велитъ поводить руками и взорами и не позволяеть «поводить руки и взоры»; оставимъ все это въ сторонъ, какъ погрешности, неизбъжныя по духу времени, и спросимъ: можно ли согласиться, что стихи этой ньесы, какъ стихи-прекрасны? Стало быть, Державинъ могъ всегда писать прекрасными стихами? - Конечно, могъ, ибо онъ по натурі своей быль великій поэть.—Отчего же онъ такъ ръдко писалъ хорошими стихами?-Оттого, что въ его время не было ни понятія о необходимости прекрасныхъ стиховъ, ни погребнести въ нихъ; оттого, что въ его время о поэзін всего менье думали, какъ о красотъ, не подозръвая, что поэзія и красота-одно и то же. Поэтому Державинъ всего менте заботился о стихв, а такъ какъ онъ началъ писать очень поздно, то и не могъ овладеть ни языкомъ, ни стихомъ, обладаніе которыми и величайшимъ поэтамъ достается не безъ тяжкаго труда. Оттого же Державину такъ трудно было поправлять свои пьесы, и всв его поправки были большей частью неудачны. Что касается до неточности въ выражени, -- отъ того времени и требовать невозможно точности, а страшное насилование языка, т. е. произвольныя усьченія, ударенія, часто пскаженіе слова, должно принисать тому, что Державинъ въ молодости не имёлъ возможности пріобрѣсти по части языка ни познаній, ни навыка.

Сколько бы ни разобрази мы пьесъ Державина, - все пришли бы къ одному и тому же результату: великъ былъ естественный талантъ Державина, а поэтомъ-художникомъ онъ всс-таки не быль; и цълый кругь его тоэтической деятельности представляеть собой только порывание къ поэзіи и достиженію ен лишь мгновенными вспышками и неожиданными проблесками. Даже лучшія, самыя поэтпческія его произведенія, какъ, напримъръ, «Фелица», могутъ намъ нравиться не иначе, какъ только подъ условіемъ изученія, какъ факты историческаго развитія русской поэзіп. Читая пхъ, мы должны оторваться отъ своего времени и своихъ поня-/ тій, и силой размышленія, такъ сказать, заставить себя видъть поэзію и талантъ въ томъ, что въ современномъ намъ писателъ назвали бы мы прозой и бездарностью. Однимъ словомъ, стихотворенія Державина, рансматриваемыя съ эстетической точки, суть не что иное, какъ блестящая страница изъ исторіи русской поэзін, пекрасивая куколка, изъ которой должна была выпорхнуть на очарование глазъ и умиление сердца роскошно-прекрасная бабочка... Повторяемъ: таланть Державина великь, но онъ не могъ едълать больше того, что позволили ему его отношенія къ историческому положенію общества въ Россіи. Державинъ великъ и въ томъ, что онъ сдёлалъ: зачёмъ же приписывать ему больше того, что могь онъ сдёлать? Державинъ великій поэтъ русскій,—и этого довольно; нётъ никакой нужды величать его Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ, съ которыми у него нётъ ничего общаго. Пиндаръ, Анакреонъ и Горацій дъйствовали на почвѣ всемірно-исторической жизни и были по превосходству художниками, какъ органы художественнаго древняго міра, особенно Пиндаръ и Анакреонъ—извцы народа эллинскаго, народа-художника...

Во второй статъв мы разсмотримъ стихотворенія Державина съ исторической точки, безъ которой всякое сужденіе о такомъ поэть было бы односторонне и неполно.

#### II.

Такъ какъ искусство со стороны своего содержанія есть выраженіе исторической жизни народа, то эта жизнь и имъетъ на него великое вліяніе, находясь къ нему въ такомъ же отношени, какъ масло къ огню, который оно поддерживаеть въ лампъ, или, еще болже, какъ почва къ растеніямъ, которимъ она даетъ питаніе. Сухая и каменистая почла неблагопріятна для растительности; бъдная содержаніемъ историческая жизнь неблагопріятна для искусства. Содержаніе исторической жизни составляють иден, а не одни факты. Всв великіе народы, въ исторін которыхъ міродержавный промыслъ осуществилъ судьбы человъчества, жили и живуть идеей, и умирають, какъ скоро ихъ истогическая идея изжита ими вполяв. Но такіс народы умирають только эмпирически: идеально же ихъ существование безсмертно. Доказательство этому-древній міръ. Доселі вновь открытая улица Помпен, вновь открытый домъ въ ней, съ его утварью и мельчайшеми признаками быта жителей,—для насъ, гражданъ новаго міра, составляють важное событіе, возбуждая вниманіе всёхъ образованныхъ людей во всёхъ пяти частяхъ свъта. А какое было бы торжество для образованныхъ міра, если бъ нашлись утраченныя части твореній Геродота, Эсхила, Софокла, Эвринида, Плутарха, Тита Ливія, Тапита и другихъ?... Многіе негодують на то, что наши дъти прежде именъ отечественныхъ героевъ узнають имена Солоновъ, Ликурговъ Өемпстокловъ, Аристидовъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Александровъ и Цезарей: негодованіе несправедливое и неосновательное!въ деспотизмъ такого умственнаго, идеальнаго гладычества древняго міра нътъ ничего оскорбительнаго и возмущающаго; это власть законная, почесть эзслуженная! Идея древнеэллинской жизни была такъ глубока и много-

стороння, что нёть никакой возможности даже намекнуть на нее въ нъсколькихъ словахъ, -- особенно, если говоришь о ней мимоходомъ, какъ говоримъ мы теперь. Другое дъло-пдея исторической жизни римлянъ: она сколько глубока, столько же и одностороння и по тому самому даеть возможность сколько-нибудь удовлетворительнаго на нее намека. Пульсъ исторической жизни Рима, ея сокровенный тайникъ, ея животворная идея, ен альфа и омега, ен первое и последнее слово, -- это право (jus). Что было одной изъ многихъ сторонъ исторической жизни Греціи, то было единой, исключительной и полной жизнью Рима—и зато Римъ вполнъ развиль, разработаль и изжиль этоть основной элементь своей жизни. Скажуть: римдане велики еще и какъ народъ воинственный, какъ всемірные завоеватели. Такъ! но и кром' римлянъ много было народовъ-завоевателей, а одни только римляне, умън завоевывать, умёли и упрочивать свои завоеванія. Чёмъ же упрочивали они ихъ?-Своимъ правомъ, своей гражданственностью. Побъжденные народы принимали ихъ законы, обычан и нравы, даже самый языкъ ихъ, по тому непредожному вѣчному закону историческаго развитія, по которому тьма уступаеть мъсто свъту, невъжество-разуму. Право было источникомъ всёхъ событій, всёхъ волпеній и переворотовъ въ исторической жизни римлянъ, и вся исторія ихъ-развитіе иден права въ хронологической последовательности фактовъ; оно, это право, было въчнымъ движителемъ и рычагомъ государственной и общественной жизни римлянъ; изъ него и для него длилась эта упорная борьба патриціевъ и плебеевъ, за него волновался народъ и умирали Гракхи; пріобщенія къ нему добивались побъжденные города и народы. Процессъ гражданской борьбы и вивичей войны почти всегда имѣлъ въ Римѣ своиме результатомъ-успъхъ права. Скажутъ: несмотря на то, что въ основъ исторической жизни римлянъ лежала иден, ихъ искусство было подражательное, не оригинальное? Такъ, но причина этого заключалась, можеть быть, въ односторонности и псилючительности ихъ пден, равно какъ и въ томъ, что римляне были по преимуществу народъ практическій, чуждый всякой созерцательности. Поэзія явилась у нихъ, какъ наслъдіе умершей Грецін, на закать ихъ собственной жизни, когда уже дряхлое общество не могло быть питательной почвой для цвътовъ поэзіи. Оттого латинская поэзія и носить на себя отпечатокъ не только подражательности, но и старческой дряхлости: отпущенникъ Мецената, Горацій, добровольно остался рабомъ и холопомъ своего милостивна, и создалъ меценатскую поэзію, воспіввая миръ и тишину Рима, A

П

п

П

Ъ

0=

0-

ы

Б

ря

HE

ЛО

H0

ВЪ

ΧЪ

1110

iŭ,

311-

pe-

гда

Ta-

010

qa-

ap-

ara,

OL.

IaT"

ıma,

купленные цыной упадка доблести и доброділем. Виречемъ, и кромі Виргилія, этого поддельнаго Гомера римскаго, римляне имели своего истанцаго и сригинальнаго Гомера въ лиць Тита Ливія, котораго исторія есть національная поэма, и по содерж нію, и по духу, и но самой риторической форм'в своей. Но высмей поэзил римлянъ была и навсегда осталась поэзія ихъ діль, поэзія ихъ права: первая и теперь возвышаеть и укрупляеть всякую благородную душу въ святомъ чувству, патріотического геропзма, а Юстиніановъ кодексъ-зралый илодъ исторической жизне римлянъ-ссвободилъ Европу отъ оковъ феодальнаго права. Сначала принятый ею какъ фактъ, онъ потомъ вошелъ въ ея жизнь и въ свою очередь принялъ въ себя христіанскіе элементы и теперь продолжаеть развитіе своего безсмертнаго существованія: въ немъ-то и чресъ него-то доселъ живетъ древній Римъ въ новомъ міръ.

Изъ народовъ новаго человъчества испанцы первые выступили на поприще всемірно-исторической жизни. Нація экзальтированная в фантастическая, Испанія должна была на время слиться съ чуждымъ ей по происхолядению, по родственнымъ ей (по пылкости чувства и воображенія) племенемъ правитинь и сделалась представительницей рыцарственности среднихъ вѣковъ, съ ея восторженными понатими о чести, о достопнствь привилегированной прови, о любви, о храбрости, о великодушін, съ ея фантастической и сустврной религіозностью. Отсюда это множество рыцарскихъ романовъ и еще большее множество романсовъ на испанскомъ языкъ; отсюда же объясняется и появленіе Сервантесова «Донъ-Кихота»: ибо всякая крайность тамъ же, гдв возникла, и вызы-

ваетъ противъ себя реакцію.

Италія была второй страчой новой Европы, гав загорвася свыть просыщения. Италио можно назвать, не боясь слишкомъ оннонться, кристіанской реставраціей изящнаго міра древняго. И потому, какъ Пспанія представляла собой чудесное зрёлище фантастическаго сліднія аравійскаго духа сь европейсиммь христіанствомъ, такъ Италія представляла не менье чудное заблище фантаствческаго сліянія древняго съ европейскимъ христіанствымъ, котораго «вічный городъ» быль главей и представителемъ. Возникшая на классической почвк, среди развалинь и камятниковъ древняго испусства, тевтонскан Италія возродилась въ чувствъ красоты и изящества. Отъ этого идея искусства сдълалась источникомъ жизни итальяща, и каждый итальнецъ сталь или художинкомъ, или диллегантомъ. Итальянское искусство осталось вірно своему к насепческому небу, евоей классической природь, и въ новых в

формахъ отразило древнюю жизнь, съ ея изящной ибгой, съ ел обяятельными формами. Самое богословіе католицизма какъ-то чудно слилося съ предавіями классической древности: Виргилій чуть-чуть не считался святымъ, п въ «Вожественней Комедіп» онъ провожаеть великаго творца ел по мрачнымъ областямъ ада и чистилища. Чувственный и соблазинтельный пъвецъ рыцарскихъ и любовныхъ похожденій, Аріостъ больше Тасса былъ втальянскимъ Гомеромь. У самого Тасса героемъ поэмы скорбе можно назвать Армиду, чимъ Годфреда: обольстительный образъ первой есть болье искрениее и задушевное, а слъдовательно, и живое созданіе поэта, чёмъ суровый образъ второго. Критики новъйнаго времени изъявали большія сомивнія насчеть «идеальности» мадоннъ, созданныхъ кистью великихъ художниковъ Италін; сверхъ того они видять въ энихъ мадониахъ болъе дань повитіямъ времени, чём в свободное творчество, которому были посвящены другія творенія, болье искреннія и задушевныя, и потому болье близкія къ типу обантельной и совершенно земной

красоты.

Въ наше время трп націн являются по преимуществу представителями человъчества —Германія, Франція п Англія. Въ пдеализмЪ заилючается источникъ раціональной жизни Германін. Міръ вдей составляеть сферу, которой, такъ сказать, дишить ивмець. Цвль жизни итмца - знаніе, и знаніе его заключено въ идев; постичь идею предмета для него-значить овладъть предметомъ. И потому только въ знаніп и соприкасается нізмець съ міромъ и жизиью Отоюда его нравственный аскетнямъ; понявъ идею предмога, онъ равнодушенъ къ тому, что этогь предметъ не сообразенъ со своимъ идеаломъ. Отсюда и аскетическій характеръ нозоін пімцеть; мірообъемлющая по пдеямь, воплощеннымъ въ ней, она призываеть иъ миру съ дайствительностью, какова бы ин была эта дъйствительность; она настранваетъ ч ловъка къ одинокой созернательной жизни внутри самого себя, далагть его властелиномъ въ сферъ мысли и маниной въ сферъ дейс вительность. И оттого-то выменкая поэзія такъ дрбить избирать своимъ псилючительнымъ предметомъ или внутренніе процессы въ духв чедоввка, или мистику сердца человвческаго. А отсюда объясичются великіе успіхи прийска ва чибилеской ноззін и мазикр к ихъ неусп1ън въ другахъ родахъ поззін. Но уже аск-тическая поэзія иўмцевъ исчерпала все свое содержине и совершила полный кругь свой: тенерь жаждеть она цных элементовъ, иныхъ могивовъ. Кикъ бы то ни было, но внутренній міръ души человікавелний мірь, и прмин опазали челопрлоству

Соч. Бълинскаго. Т. 111.

великую услугу ученой и поэтической разработкой этого міра. Конечно, великое достопиство аскстической поэзін измисьть составляеть и велькій недостатокь ся, какъ всего односторонняго и пеключительнаго; по пее же сфера этой поэзін— сфера всемірноисторическая, и въ ней не могли не явиться сликіс, міровые поэты.

Советмъ иной характеръ имъютъ жизненная идея и навосъ французской націн: это въчно-тревожное стремление къ пдеалу и уравнение съ нимъ дъйствительности. Искусство во Францін всегда было выраженіемъ основней стихім ся національной жизни: въ въль отрицанія, въ XVIII вѣкѣ, оно было исполнено провін и сарказма; теперь оно одно исполнено страданіями настоящаго и надеждами на будущее. Всегда было оно глубоконаціональнымъ, даже го времена исевдо-классицизма. патянутаго подражанія древнимъ, -и Кориель, Расинъ, Мольеръ-столько же національные поэты Франціи, сколько Вольтеръ, Руссо, а теперь Беранже и Жоржъ Зандъ.

Англія сеставляєть прямую противоположность и Германів, и Франціи. Сколько Германія идеальна, стелько Англія практически положительна; какъ велики усибхи нъмцевъ въ философін, такъ начтожны понытки англичанъ въ абсолютной наукь; у англичанъ источникомъ всёхь ихъ историческихъ событий бываеть польза общества. Человъкъ въ этомъ обществъ иччего не значитъ самъ по себъ, но получаетъ большее или моньшее завреше оть того, что онь имветь или чымь онь владееть. Покорение силь природы на службу обществу, побъда надъ матеріей, пространствомъ и временемъ, развитие промышленности, какъ основной общественной стихи, какъ краеугольнаго камия зданія сощества, - воть въ чемъ сила и величіе Англіи и ен заслуги передт. челоивчествомъ. Во многомъ похожая на древний Римъ, практическая Англія довет шастъ свое сходство съ инмъ и огромиции завоеваніями, причина которыхъ-корыстные расчеты, а результать - распространение цивилизацін по всему міру. Но пь отношенін къ некусству Англія инчего общаго съ девнимъ Рамомъ не имфетъ: тестонское племя, двумя слоями-саксовскимъ и нормандекимъ дегшее на почвъ ен историческаго формировація, и христіанство, какть глубоко вошедшій въ жизнь ен элементъ, заронили въ націопальный духъ англичанъ плодовитыя съмена поэзін. Но п въ поэзіп Англія різко отличается отъ Германіи и отъ Франціи. Какъ въ странь по превосходству общественной и практической, въ Англін особенно развились драма и романт, недоступные для ибмцевъ; отъ французской же поэзін англійская отличается

и своей художественностью, и своимъ равнодушіемъ къ върно-изображаемой ею дьйствительности, безъ скорби о неразумности и безъ радости о разумнести этой действительности, безъ порыванія подвигнуть ее возвыситься до идеала. Но какъ Англія есть страна всевозможныхъ противоръчій нравственныхъ, то и невозможно подвести явленій ем повзін подъ какую либо опредъленную точку врьнія: такъ, наприміръ, объ руку съ ея равнодушіемъ къ лобру и слу дійствительности идеть самый глубокій юморь, а въ Байронв Англія иміла поэта, который по навосу своей поэзіп всего родственнѣе Францін и всего враждебите своему отечеству. Правда, Вольтеръ и Руссо имъли сильное вліние на Байрона; но правда п то, что юморъ, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличають въ немъ сына Британія. Вообще Байронъ такъ же есть намекъ на будущее Англіи, какъ Шиллеръ-намекъ на будущее Германін: оба эти поэта были рьзкими противоръчіями національному духу своихъ странъ, и въ то же время каждый изъ нихъ могъ явиться только въ своей странъ. Но съ Шиллеромъ скоро помирилась его Германія, которую сначала такъ дико озадачило его явленіе: Байронъ же и умеръ въ непримиримой вражить съ своей родиной, и великая нація въ свою очередь двинулась въ срвтение только гробу его...

Если въ этомъ очеркъ національностей, пгравникъ или пграющихъ первыя роди на позорищь всемірной исторіи, и въ очеркв отношенія исторической идеи жизни народовъ въ поэзін мы не выразили определительно нашей мысли (чего невозможно было сдълать, говоря мимоходомъ о такомъ предметь, котораго стало бы на огромное отдельное сочиненіе), то по крайней мірт сдівлали на него опредълительный, сколько могли, намекъ. Прибавимъ къ сказанному, что основная идея національно-исторической жизни народа существуеть всегда, какъ сумма понятій и правиль общества; она даеть себи чувствовать даже въ самыхъ, повидимому, мелочныхъ обычаяхъ и нравахъ общества. Такъ, напримёръ, страсть французовъ къ баламъ, театрамъ и всякаго рода публичнымъ увеселеніямъ, ихъ природная въжливость и любезность, охота и умінье вести легкій и бітлый свытскій разговорь, ихъ пскусство понуляризировать всякое знаніе, ділать доступнымь черезъ ясное изложение всякий предметь, самое непостоянство ихъ модъ въ одеждъ и житейскихъ удобствахъ, -- все вытекаеть изъ основной идеи ихъ національноисторической жизни. Англичане суровы, важны и недоступны въ обществъ, они легче сходятся другь съ другомъ въ нарламентв, въ трибуналь, на биржь, чемъ въ салопь, и

въ последнемъ опи этикствы: ихъ пвры и объды выражають не свътскую, а политически-граж ванскую общительность; они преданы семейной жизин, гдв глава семейства является маленышимъ деснотомъ и гдъ осдовные принципы отвываются маленькамъ варвиретномъ феодальных временъ; въ свътской же жизни англичане стилетны и скучны съ достоинствомъ. Въ общественныхъ правахънхъцарствуютъч морность, pruderie, и самая сграниченная, самая мелкая ственительная моральнесть. Что то жестокое п грубое есть въ ихъ правахъ, какъ необхолимый результать вычило торганиества и вьчной борьбы премышленияго духа съ ввъшними пренятетвіями. Энергія національнаго духа англичанъ, которой они обязаны своимъ государственнымъ величіемъ, своей всемірной торговлей и споими всемірными завоеваніями и поселеніями, трагически выражалась въ политическихъ и религозныхъ переворотахъ. Отсюда эта мрачность и суровое величие ихъ поэзін; отсюда же происходять и ихъ великіе успёхи въ драматической порвіг: сама исторія Англіп есть рядъ трагедій, — и Шекспиру легко могла войти въ голову мысль инсать трагическія хроники Англін: матеріалы были у него подъ рукой, - стоило только оживеть ихъ духомъ поэзін. Пімецъ не рожденъ ин для світской, ин дли политически-гражданской общительности: что для француза салонъ, маскарадъ, театръ, гуляне, бульваръ, что для англичанина парламентъ и биржа, - то для ивмца университеть, ученый съвздъ, ученый комитеть. Отсюда это удивительное множество университеговъ, существующихъ цълые въка; отсюда эта особенность унинерситетскихъ правовъ и обычаевь, эта противоположность буринества съ филистерствомъ. До тридцати летъ немецъ бываетъ буршемъ, и какъ скоро часовая стрѣлка станеть на последней минуте его тридцати лъть, онъ тотчась же дълается филистеромъ. Многіе изъ ивми из даже родятся филистерами, и ни одной минуты въ своей жизии не бывають буршами, тогда какъ буршами они никогда не родятея, а тольчо прикидываются ими на время — ужъ никакъ не долье тридцаги лыт. Ивмень уживается, гдв угодно; ему везда хорошо, везда отечество, и при всемъ этомъ опъ вездъ првенъ себъ, вездь тоть же угловатый и странный ивмень. Это явленіе въ самой жавей связи съ основной идеей паціокально-петорической живни немцевъ: они въ внаит признають то, чего еще ивтъ, но что должно быть по разуму, и отвергають то, что есть въ дъйствительности, но чего бы не должно быть по разуму, а живуть въ ладу и въ мирѣ со всякой дъйствительностью; для ифица знать

и жить — дый совершенно различныя вещи. Намецъ болбе семьянинъ, чемъ ито-нибудь, и ничего не можетъ быть возвышените и сладостиве, а вивств съ темъ и пошиве его семейнаго счасть»: таково свойство всякой односторонности и исключительности!.. Сахаръ-хорошая вешь, но попробуйте сдълать объдъ изъ однего сахара или на одномъ сахаръ-будетъ и приторно, и нездорово. Ни на одномъ языкъ нътъ столь высокихъ пъсенъ любви, какъ на нѣмецкомъ, и на немъ же больше, чёмъ на другихъ, написано приторныхъ до пошлости сердечныхъ изліяній. II это относится не къ одиниъ мелкимъ талантамъ, не къ одной бездариости: что можеть быть приториве и пошлве «Стеллы», «Брата п Сестры». «Германа и Доротеп»? а Гёте быль великій геній!

Такимъ образомъ, основная идея напіонально-исторического значения народа, какъ воздухъ - основной элементъ всякаго существованія, пропикаетъ насивозь и внутреннюю, и вибинию жизнь народа, давая себя чувствовать, и какъ сумма нравственныхъ убъжденій и принциповъ общества, и какъ образъ и форма жизни, то есть какъ правы и обычаи парода. Великій поэтическій таланть, являющійся среди такого народа, такъ сказать, съ молокомъ своей матери всасываеть въ себя готовое уже содержание для своей будущей поэзін, для своихъ будущихъ творевій, — и свободно, безъ всякихъ усилій и натяжекъ, выражаеть въ нихъ и достониство, и недостатки основной идеи національно-исторической жизни своего народа.

Смотря на Державина, какъ на русскаго Пиндара, Горація и Анапреона вмъсть, должно прежде рышить вопрось: были ли въ это время историческіе и общественные элементы, которые могли бы дать готовые матеріалы для его таланта, готовое седержаніе для его поэзін? Вогъ въ чемъ вопрось, а совсьмъ не въ томъ, что Державить билъ потомокъ Багрима, съверный бардъ, и что въ его поэзін щелрой рукой разсыпаны алмазы, сапфиры, изумруды и яхонты...

Пакую идею предназначено выражать Россіи – опреділять ото тівмі труд ве и даже невозможиве, что европолеми исторія Россіи началась только съ Петра Водимаго, и что поэтому Россіи есть страна будущаго. Россія въ лиції образованных в долей своего общества носить въ душії своей непобідимоє предчувствіе великости своего назначенія, великости своего будущаго. И не увлемансь ни дітекими фантавіями, ни ложнымь патріотивмомъ, межно сказать сміло, что есть факты, провращающіе это предчувствіе въ уб'єкденіе. Всії великіе пароды

имъли своихъ великихъ представителей или въ историческихъ, или въ мионческихъ лицахъ. Много имъла первыхъ древияя Греція, но ни одина изъ нихъ не выразилъ собой такъ полно національнаго духа, какъ мпонческое лицо божествениего Ахилла, воспътаго царемъ греческихъ поэтовъ -- Гомеромъ. Мы, русскіе, имъли своего Ахилла, который есть неопровержимо историческое лицо, пбо отъ дня его смерти протекло только 118 лъть, но который есть мнопческое лицо со стороны необъягной великости духа, колоссальности д'ять и невіроятности чудесть. имъ произведенныхъ. Петръ былъ полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и если бы между его натурой и натурой русскаго нарола не было кровнаго родства. его преобразованія, пакь пидивидуальное д'яло сильнаго средствами и волей человъка, не имъли бы усивха. Но Русь неуклопно идеть по пути, указаниому ей творцомъ ся. Петръ выразиль собой великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно развившейся пародности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни Этой высокой способисстью самоогрицанія обладають тольно великіе люди и великіе народы, и ею-то русское илемя возвысилось надъ вевми славянскими племенами; въ ней-то и заключается источникъ его настоящаго могушества и булущаго величія. До Петра русская исторія вся заключалась въ одномъ стремления къ сочленению разъединенныхъ частей страны и сосредоточению ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случав помогло и татарское иго, и грозное паретвование Іоанна. Цементомъ, соединившимъ разрозненныя части Руси, было преобладание московскаго великокизпескаго престола надъ удблами, а потомъ уничтожение ихъ, и единство патріархальнаго обычая, замінявшаго право. Но эпоха самозванцевъ показала, какъ еще недовольно твердь и достаточень быль этоть цементь. Въ протвование Алексъя Михайловича обнаружилась живая необходимость реформы и сближенія Руси съ Европой. Было еделино много попытокъ въ этомъ родь; но для такого великаго дьта нужень быль и великій творческій геній, который и не замедлиль явигься въ лиць Петра. Со смертью его надолго закагилось солнце русской жизни, и до царствованія Екатерины II едва подтерживались установленных Пегромъ формы, безъ дальныйшаго развитія, движевія впередъ. Великая продолжила дёло Великаго, и Русь быстро двинулась но пути преуспыния. Екатерина И заботилась не о поддержании уже; устарывшихъ формь эпохи Петра, в о ихъ развитін. Это была велик ія эпоха въ исторіи

Руси, хоти въ то же время эта эпоха почти столько же доманиее двто въ отношени къ Руси, сколько и эпоха Петра: обб онб были залогомъ будущаго всемірно-петорическаго содержанія. По для поэзіи просто, безъ дальнійшихъ свронейскихъ претензій, эпоха Екатерины II была благопріятна: въ продолженіе ся могь явиться по крайней мірів зародышть поэзіи.—и онъ явился.

Скажутъ: Россія еще до Екагерины Великой держала твердый голось на сеймв европейскомъ, и ен политическое значение тяжело лежало на въсахъ европейской политикп. Это совершенная правда, которой мы и не думаемъ оснаривать; но мы говоримъ не о политическомъ всемірно-историческомъ значении, а о правственномъ всемірно-историческомъ значени, которое проявляется въ наукт, въ некусствт, къ современно исторической идев самаго политическаго стремленія. Намъ опять скажуть, что въ паретвованіе Екатерины II Россія была уже образованной страной, и что духъ XVIII въка въ ней такъ же отражался, какъ и въ Пруссіи при Фридрихъ II; что Россія не только читала въ подлинникъ тогданинихъ внаменитыхъ писателей Франціп, во что эти знамепитые писатели деже нереводились на русскій явыкъ. Это опревединно, ролько съ этимъ нельзи согласиться сезуслевно. Въ царствованіе Екатерины II просвінцевіе и бразованность были двистветельно европейский и болье или менье въ духѣ XVIII въна: но оне сосредоточивались при дворік не выходи за его предълы. Тогда только единъ классъ общества быль причастень европейскому проевъщению и образованности: это высшее дворанство, имбишее доступъ ко дверу, кли, лучше сказать, вельможество, не имъвисе въ этомъ отношенін ничего общаго съ другими классами общества. Но одинъ, и при томъ самый меньшій по числу, классь общества еще не составляеть цілаго общества, особенно, если онъ своимъ высокимъ положениемъ разъединенъ съ другими къзсовми. Въ царствоваше Александра Влагословеннаго и среднев дворянство, зилчительное по числу, явидось просвыденныйшимь и образованныйшимъ сословіем в сравнительно съ другими. Поэтому очень ноимгно, что въ то время всв замвчательивиние писатели наши принадлежали исключительно этому сословію. Въ настоящее благополучное царствование просвыщение и образованность замътно распространились не только между срединмъ сословіемъ (разумівя подъ этимъ словомъ такъ-называемыхъ «разночинцевъ»), но и между низшими классами: по крайней мъръ теперь не рыдкость образованные и даже просвъщенные люди изъ купеческаго и мыцанскаго сословія, изъ которыхъ накогорые даже пользуются болве или

менье почетной извыстностью въ литературъ. И потому никакъ нельзя сказать, чтобы теперь не было въ Россіи общества и даже общественнаго мивнія. Но въ царствованіе Екатерины ничего этого и быть не могло, по закону исторической последовательности. Тогда д'яйствительно переводили по русски философскія сказки Вольтера и «Новую Элопоу. Руссо, по ихъ читали, какъ читали «Несчастнаго Инканора. Русскаго Дворянина», «Приключенія Мирамонда» Эмила, «Инсьмовникь» Курганова и тому подобныя книги, добродунию не подозравая инкакой разницы между теми европейскими творепикінэрэденоди пиланагаромся имитс и имкін домашией стряпни. И XVIII въкъ отразплея только на одномъ вельможествъ, какъ мы выше замътили. Но какъ Державниъ за свой талангъ вошелъ въ знать, то и на немъ не могь не отразиться болье или менье ХУПП выкь. Можно сказать, что въ творениять Доржавина ярко отпечатлёлся русскій ХУПП вфкъ. Но прежде, нежели разсмотримъ мы. какъ и до какой степени отпечатлълся этотъ вѣкъ на Руен Екатерининской эпохи, и какъ тоть же выкь отразился на поэзін Державина, скажемъ, что всѣ сочиненія Державина, вм'всть взятыя, далеко не выражають въ такой полноть и такъ рельефно русскаго XVIII въка, какъ выраженъ онъ въ превосходномъ стихотворении Пушкина «Къ Вельможь». Этоть портреть вельможи стараго времени дивная реставрація рунны въ первобытный видь зданія. Это могь сділать только Пушкинъ. Кромъ его художинческой способностя переноситься всюду и во все по водъ фантазін своей, ему помогла и отдаленность его отъ того времени, представлявшагося ему въ перспективъ. Прошедшее всегда и видибе, и понятиве настоящаго. Отъ Державина, какъ современника, нельзя и требовать такой мастерской картины русскаго XVIII въка, который много разнился отъ европейскаго XVIII въка. Эта разность върно схвачена Пушкинымъ въ строкахъ-

.... И скромно ты внималь За чашей медленной аесю или деисту. Какъ любонытный скифъ аепискому софисту.

Но Державинъ не могъ стать наравий и съ этимъ скиномъ: онь относился къ этому скиноу, какъ тоть скинъ къ аннекому софисту. Лишенный всякаго образования, не зная французскаго языка, Державинъ не былъ слишкомъ причастенъ ни правственной порчъ, ни истинному прогрессу того времени, и въ сущности нисколько не понималъ его. Хваля дебро того времени, онъ не прозръваль связи его со зломъ, и, нападая на вло, не провидълъ связи его съ добромъ.

Съ двухъ еторонъ отразился русскій XVIII выкъ въ поэзін Державина: это со этороны наслажденія и пировъ и со стороны трагическаго ужася при мысли о смерти, которан махиеть косой—и

Гдъ пиршествъ раздавались клики, Надгробные тамъ воють лики.

державинъ любилъ восивать «умвренность»: но его умвренность похожа на гераціанскую, къ которой всегда примвинвалось фатериское... Бросимъ взглядъ на его прекрасную оду «Приглашеніе къ Объду».

Шексиниска стерлядь волотая, Кайманъ и борщъ уже стоятъ: Въ графинахъ вина, пуншъ, бигстая, То льдомь, то некрами манять; Съ курильницъ благовонья льются, Плоды среди корзинъ смѣются, Не смъють слуги и дохнуть, Тебя стола вкругъ ожилая; Хозяйка статная, младая, Готова руку протянуть. Приди, мой благодътель давній. Творець чрезъ двадцать лъть добра Приди-и домъ хоть непарадныя, Безъ ръзьбы, злата и сребра, Мой посъти: его богатство Пріятный только вкуст, опрятенно, И твердый мой, нельстивый правъ. Приди отъ дълъ попрохладиться, Пофсть, попить, повеселиться, Безъ вредныхъ здравію приправъ!

Какъ все дынить въ этомъ стихотворени духомъ того времени-и пиръ для милостивца, и умфренный столь, безъ вредныхъ здравію приправъ, но съ золотой шехснинской сгерлядью, съ винами, которыя «то льдомъ, то некрами манетъ», съ благовоніями, которыя льюгся съ курильницъ, съ илодами, которые смѣются въ корзинкахъ, и особенноеъ слугами, которые не смъють и дохнуть!.. Конечно, понятіе объ «умъренности» есть относительное понятіе, -- и въ этомъ смыслъ самъ Лукуллъ быль умъренный человъкъ. Нать, люди нашего времени искренные: они любять и пойсть, и попить, и за столомъ любить поболтать не объумеренности, а о роскони. Впрочемъ, эта «умъренность» и для Державина существовала больше, какъ «півтическое украшеніе для оды». Но воть, словно мимолетное облако печали, пробъгаетъ въ веселой одв мысль о смерти:

И знаю я, что выкъ нашъ—тёнь; Что, лишь младенчество проводимъ, Уже ко етарости приходимъ, И смерть къ намъ смотритъ презъзаборъ.

Это мысль искренияя; но по тъ въ ней же и находитъ способъ къ утвиненю:

Увы! то какъ не умудриться, Хоть разъ цвътами не увиться И не оставить мрачный взоръ?

Затьмь опять грустное чувство:

Слыхаль, слыхаль я тайну эту. Что иногда грустить и царь: Ни почь, ни день покой изг., Хотя имъ вси покойна тварь, Хотя овга громкой славой знатенъ. Но ахи! и троиз всегла дь пріятенъ Тому, кто выка свой вы хлонотаха! Туть зригь обмань, тамъ зрить унадокъ: Како бюдней иссовой пото медлоль, Который вычно на часае!

Но не бойтесь: грустное чувство не овладветь ходомъ оды, не окончить ея элегичесинмъ аккордомъ,—что такъ любить наше время; поэть опять паходить поводь къ радости въ томъ, что на минуту повергло его въ унылое раздумье:

И такъ, доколь еще ненастье, Не помрачаеть красныхъ дней И приголубливаеть счастье, И гладить насъ рукой своей; Доколъ не пришли морозы, Въ саду благоухають розы,— Мы посиъшимъ имъ обонять. Такъ будемъ жизнью наслаждаться, И тъмъ, чъмъ можемъ, утъшаться,— По платью ноги протягать.

Заключеніе оды совершенно неожиданно, п къ немъ видна характеристическая черта того времени, непремънне требовавшаго, чтобы сочиненіе оканчивалось моралью. Поэтъ нашего времени кончилъ бы эту пьесу стихомъ «по платью ноги протягать»; но Державинъ прибавляетъ:

А если ты, иль кто другів Изъ званыхъ милыхъ мий гостей, Чертоги предпочтя златыв И яства сахарны царей, Ко миъ пе срядитесь откушать, Извольте вы мой толкъ послушать: Блаженство не въ лучахъ порфиръ, Не въ вкусъ яствъ, не въ пътъ слуха, Но въ здравьи и въ спокойствъ духа. Умъречность есть лучшій пиръ.

Ту же мысль находимь мы во многихь стихотворенияхь Державина; но съ особенной ръзкостью высказалась она въ одъ «Къ Цервому Сосъду», одномъ изъ лучшихъ произведений Державина.

Кого роскошными пирами, На влажныхъ невскихъ островахъ, Между твинстыми древами, На муравъ и на цвътахъ, Въшатрахъ перендскихъ, златошвейны уъ, Изъ глинъ китайскихъ драгоценныхт. Изъ вънскихъ чистыхъ хрусталей, Кого столь славно угощаемь, И для кого ты расточаешь Сокровища казны твоей? Гремить музыка, слышны хоры, Вкругъ лакомыхъ твоихъ столовъ. Сластей и ананасовъ горы, И множество другихъ плодовъ Прельщають чувство и нитають; Младыя дъвы угощають, Подносять вина чередой И аліатико съ шампанскимъ, И ниво русское съ британскимъ, И мозель съ зельтерской водой. Въ вертенъ мраморномъ, прохладномъ, Въ которомъ льегся водоскатъ,

На ложів розъ благоухавномъ. Средь ийги, лени и отрадъ, Любовью распаленный страстной, Съ младой, веселою, прекрасной И съ ніжной нимфой ты сидищь; Опа поетъ,—ты страстно таешь, То съ пей въ весельи утопаешь, То, утомленъ весельемъ, синшь.

Сколько въ этихъ стихахъ одушевленія и восторга, свидетельствующихъ о личномъ взглядь поэта на пиршественную жизнь такого рода! Въ этомъ виденъ духъ русскаго XVIII въка, когда великолтніе, роскошь, пиры, казалось, составляли цьль и разгадку жизни. Со всеми своими благоразумными толками объ «умъренности» Державинъ невольно, можеть быть, часто безсознательно, вдохновлиется восторгомъ при изображении картинъ такой жизни, - и въ этихъ картинахъ гораздо больше искренности и задушевности, чёмъ въ его философскихъ и нравственныхъ одахъ. Видно, что въ первыхъ говорять душа и сердце; а во вторыхъ-резонерствующій холодный разсудокъ. И это очень естественно: поэть только тогда и искрененъ, а следовательно, только тогда и влохновененъ, когла выражаетъ непосредственно присущія душів его убіжденія, корень которыхъ растеть въ почвъ исторической общественности его времени. Но, какъ мы заматили прежде, —ппринественная жизнь была только одной стороной того времени; на другой его сторонъ вы всегда увидите грустное чувство отъ мысли, что нельзя же въкъ нировать, что переворотъ колеса фортуны или безпощадная смерть положить же рано или поздно конецъ этой прекрасной жизни. И потому остальная половина этой прекрасной оды растворена грустнымъ чувствомъ, которое однако же не только не вредить внутреннему единству оды, но въ себъто именно и заключаеть его причину, пбо оно, это грустное чувство, является необходимымъ следствіемъ того весело восторженнаго праздничнаго чувства, которое высказалось въ первой половинъ оды.

> Ты спишь-и сонъ тебъ мечтаетъ, Что въ въкъ благополученъ ти: Что само небо разсынаеть Блаженства вкругь тебя цвъты: Что парка дней твоихъ не коситъ; Что откупъ вновь тебъ приноситъ Сибирски горы серебра, И дождь златой къ тебф ліется. Влаженъ, кто поутру проснется Такъ счастинвымъ, какъ былъ вчера! Влажент, кто можеть веселиться Безперерывно въ жизни сей! Но ръдкому пловцу случится Безбъдно плавать средь морей: Тамъ бурно дышатъ непогоды, Горамъ подобно гонять воды И съ пъною песокъ мутятъ. Петрополь сосны освияли, Но вихремъ поражены пали:

Теперь кориями вверхъ лежать. Непостоянство—доля смертныхъ: Въ премънахъ вкуса—счастье ихъ; Среди утъхъ своихъ несмътныхъ желаемъ мы утъхъ иныхъ. Придутъ, придутъ часы тъ скучны, когда твои ланиты тучны Престанутъ граціи трепать; И, можетъ быть, съ тобой въ разлукъ Твоя ужъ Пепелона въ скукъ коверъ не будетъ распускаты Не будетъ, можетъ быть, лелъять Сульба ужъ больс тебя, И вътръ благопріятный въять Въ твой парусъ; —береги себя!

Въ заключительныхъ стпхахъ оды Державинъ особенно въренъ духу своего времени:

Доколь текуть часы златые И не приспъли скорби злыя,—
Ней, ташь и веселись, состдъ!
На свити экипь нама время срочно:
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коимъ нътъ.

Чувство наслажденія жизнью принимало иногда у Державина характеръ необыкно венно пріятный и граціозный, — какъ въ этомъ прелестномъ стихотвореніи — «Гостю», дышащемъ кромѣ того боярскимъ бытомъ того времени:

Сядь, милый гость, здёсь на пуховомъ Диванъ мягкомъ отдохни; Въ семъ тонкомъ пологу перловомъ, И въ зеркалахъ вокругъ усни; Взлремни послъ стола пемножко; Пріятно часнкъ похрапъть; Златой кузнечикъ, съра мошка Сюда не могуть залетъть. Случится, что изъ сновъ прелестныхъ Приснится здёсь тебъ какой: Хоть кладъ изъ облаковъ небесныхъ Златой посыплется ръкой, Хоть дъвушки мои домашии Рукой тебъ махнуть, - я радъ: Любовныя пріятны шашин, И поцелуй въ сей жизни кладъ.

Пракъ, вотъ созерцаніе, составляющее основной элементъ поэзіи Державина; вотъ гдъ и вотъ въ чемъ отразилея на русскомъ обществѣ XVIII вѣкъ; и вотъ гдѣ является Державинъ выразителемъ русскаго XVIII въка. И ни въ одномъ изъ его стихотвореній этотъ мотивъ не высказался съ такой полнотой пден, такой торжественностью тона, такою полётнетостью и яркостью фантазіи и такимъ громозкучіемъ слова, какъ въ его превосходной одь «На смерть князя Мещерскаго», которая вибств съ «Водонадомъ» и «Фелицей» составляеть ореоль поэтическаго генія Державина, -- лучшее пат всего, написаннаго имъ. Несмотря на ибкоторую напряженность, на нѣскольке риторическій тонъ, составлявите необходимое условіе и неизбъжный недостатокъ поэзін того времени,еколько величія, силы чувства, и сколько искренности и вадушевности въ этой чудной

одъ! Да и какъ не быть некренности и задушевности, если эта ода-исповедь времени, вопль эпохи, символъ ел понятій и убъждени! Какъ колоссаленъ у нашего поэта страшный образь этой безпондадной смерти. отъ роковыхъ когтей которой не убъгаетъ никакая тварь! Сколько отчаннія въ этой характеристика вооруженнаго косой скелета: и монархъ, и узникъ-снёдь червей; злость стихій пожпраеть самыя гробницы; даже славу зіяеть стереть время; словно быстрыя воды льются въ море- льются дни и годы въ въчность: нарства глотаеть алчная смерть; мы стопиъ на краю бездны, въ которую должны стремглавъ низринуться; съ жизнью получаемъ и смерть свою-родимся для того, чтобъ умереть; все разить смерть безъ жалости:

> И звёзды ею сокрушатся, И солнцы ею погушатся, И всёмъ мірамъ она грозить!

Отъ этого страшнаго міросозерцанія потрясенный отчанніемъ дужь поэта обращается уже собственно къ человѣку, о жалкой участи котораго онъ слегка намекнулъ.

> Не ментъ лишь смертный умирать И быть себя онъ въчнымъ чаетъ,— Приходить смерть къ нему, какъ тать, И жизнь внезаппу похищаетъ. Уры! гдъ меньше страха намъ, Тамъ можетъ смерть постичь скоръе; Ея и громы не быстръе Слетаютъ къ горнымъ вышинамъ.

Что же навело поэта на созерцаніе этой страшной картины жалкой участи всего сущаго и человька въ особенности?—Смерть знакомаго ему лица. Кто же было это лицо? Потемкинъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкій или другой кто изъ историческихъ дъйствователей того времени?—Нъть: то быль—

Сынъ роскойна, прохладъ и пътъ! О, XVIII въкъ, о, русскій XVIII въкъ!...

Сына роскоши, прохлада и ньга, Куда, Мещерскій, ты сокрылся? Оставиль ты сей жизни брегь, Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился: Здёсь персть твоя, а духа нъть. Гдь жъ онь?—Онъ тамъ.—Гдь тамъ?—Не знаемъ

Мы только плачемъ и взываемъ: "О горе намъ, рожденнымъ въ свътъ!"

Вникните въ смыслъ этой строфы—и вы согласитесь, что это воиль подавленной ужасомъ души, крикъ нестериимаго отчания... А между тъмъ исходнымъ пунктомъ этого страшнаго созерцания жалкой участи человъка—ие иное что, какъ смерть богача. Можно подумать, что бъднякъ, умерший съ голоду среди оборванной семыи, въ предсмергной агонии просящий хлъба, не возбудилъ бы въ поэтъ такихъ горестныхъ чувствъ

сакихъ безотрадныхъ воилей. Что дваать! у веякьто времени свои бельзнь и свой педостатокъ. Время наше лучие проилато, а не мы лучие отцевь нашихъ; если мотивы нашихъ страданій выше и благородиве, если ропоть отчаннія вырывается изъ ствененной, сдавленной груди нашей не при видв богача, умершаго отъ индижестіи, а при видв цепривианнаго таланта, страждущаго достоинства, сраженнаго благороднаго стремленія, несбывшихся порывовь къ великому и прекрасному.

Умыми, радосты и любовь Гоб куппа съ здравість блистали, У вебкъ тамъ цъненветь кровь И дукъ мятетея отъ печали: Гль столь быль яствь намъ пробъ стоите. Гль инричетвь раздавались клики— Надграбные тамъ воють лики, И блъдна смерть на всёхъ глядить....

Здвсь опять непосредственнымъ псточникомъ отчаянія-противоположность между утъхами, радостью, любовью и здравіемъ и между зръзницемъ смерти, между столомъ съ яствами и столомъ съ гробомъ, между кликами ппринествъ и воемъ падгробныхъ ликовъ... Дъти пиговали за столомъ-грянулъ громъ и обратиль въ прахъ часть собесв никовъ: остальные въ ужасъ и отчаяния... II какъ не быть имъ въ ужась, когда ихъ поразила ужасная мысль: къ чему же и инры, если и ими нельзя спастись отъ смерти, -а безъ пировъ къ чему же и жизнь?.. Да. наше время лучше времени отцовъ нашихъ... Если хотите, и мы жадно любимъ пиры, и многіе изъ насъ только и ділають, что нирують; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и съ усердіемъ продолжаются и въ наше время,это правда; но отчего же это уныніе, это чувство тяжести и утомленія отъ жизни, эти изнуренныя блідныя лица, омраченныя тоской и заботой, этотъ-

> .... Увядшій жизни цвётъ Безъ малаго въ восьмиалцать лётъ?..

Нѣтъ, намъ жалки эти веселенькіе старички, упрекающіе насъ, что мы не умѣемъ веселиться такъ, какъ веселились въ старые, давніе годы...

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ добросовъстный, ребяческій разврать...

Говоря о невърности и скоротечности жизни человька, поэть обращается къ себъ самому,—и его слова полны вдохновенной грусти:

Какъ сопъ, какъ сладкая мечта, Истезла и моя ужъ младость; Не сильно ивжитъ красота, Не столько восхищаетъ радость, Не столько легкомысленъ умъ. Не столько я благонолученъ; Желаніемъ честей размученъ, Зоветъ, я сланы щумъ

Итакъ, вотъ новое обольщение на вечергей маръ дмей ножта; но, укы! его разочаров: нное чувство уже инчем; не довържетъ, п онъ восилищесть въ порывъ грустнаго негодованья:

> По так', и мужество пройдеть, И вибетй къ стави съ нимъ стремленье; Вогатетвъ стяжание минетъ И въ сердци всихъ етрастей волненье Прейдетъ, прейдетъ иъ чреду свою. Подите счастъп прочь возможны! Вы вей премънчивы и ложим: Я въ дверяхъ въчности стою!

Казалось бы, что здвеь и конець одв; по поэзія того времени страхъ какъ любила выводы и заключенія, словно послів порядковой хрін, гдів въ конців повторялось другими словами уже сказанное въ продложеніи и приступів. Итакъ, какой же выгодъ сділаль поэть изъ всей своей оды? —поемотримъ:

Сей день иль завтра умереть, Перфильевь, должно намь, конечно; По что жь терзаться и скорофть, Что смертими другь твой жиль не ввчно? Жизнь есть иебесь мгновенный дарь: Устрой ее себта на покою, И съ чистою твоей душою Влагословляй судебь ударь.

Видите ли: поэть въренъ духу своего времени и самому себъ: оно, конечно, тяжело, а все-таки не худо подумать о томъ, чтобъ жизнь-то устроить себъ къ покою... Не таковы поэты нашего времени, не таковы и страданія ихъ; воть какъ живописаль картину отчаннія одинъ изъ нихъ:

То было тьма безъ темпоты;
То было бездил пустоты,
Везъ протяженья и границъ;
То были образы безъ лицъ;
То страшный міръ какой-то былъ,
Везъ неба, свёта и свётилъ,
Безъ времени, безъ дней и лётъ,
Везъ Промысла, безъ благъ и бёдь,
Ни жизнь, ни смерть—какъ сонмъ гробовъ.

Какъ океанъ безъ береговъ, Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и нъмой.

Прочитавъ такіе стихи, право, потернень охоту устранвать жизнь себъ къ покою...

Мысль о скоротечности и преходящности всего существующаго тяготила Державина. Она высказывается во многихь его стихотвореніяхь, и ее же силились выравить хладющіе персты умирающаго поэта въ этихъ последнихъ стихахъ его:

Ръка временъ въ своемъ стремленьи Уноситъ всъ дъла людей, И топитъ въ пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрезъ звуки лиры в трубы, То въчности жерломъ пожрется—И общей не уйдетъ судьбы!

Мысль эта также принадлежала XVIII вѣку, когда не понимали, что проходить и мѣня-

ются личности, а духъ человъческій живеть въчно. Идея о прогрессъ еще только возникала, когда немногіе только умы понимали, что въ потокъ времени топутъ формы, а не идея, преходять и мвияются личности человъческия. И из этой мысли о споротечности и преходищности всего земного, такъ томигшей Державина, такъ перазлучно живыей сь его душой, мы видимъ отражение на русское общество XVIII века. Но здъсь и конець этому отраженію: Державниъ совершенно чуждъ всего прочаго, чемъ отличается этоть чудный выкъ. Впрочемь, XVIII выкъ выразился на Руси еще въ другомъ писатель, не раземотравь котораго нельзя судить о стенени и характеръ в ияния XVIII въка на русское общество: мы говоримъ о Фонвизинъ. Конечно, и на немъ въкъ отразился довольно поверхностно и ограничение; но втдругемъ харантерѣ и другой стороной, чѣмъ на Дермавинъ.

чъмь разнообразиве произведения поэта, тымъ болье критика должна заботиться объ опредвленія ихъ достопиства относительно одинхъ къ другимъ. Въ эгомъ случай критика должна принимать въ соображение, какия изъ произведений поэта особенно нравились его современинкамъ, какія особенно уважались ими; различмъ образомъ, какими изъевоихъ произведений особенно дорожиль самъ поэтъ или на капихъ опъ особенно основывалъ заслуги свои передъ непусстномъ. Но критика должна принимать кь сведённо подобныя обстоятельства и основывать на инхъ свое сужденіе тогда только, когда они не противоръчать высшему критеріуму достопнства всякихъ поэтическихъ произведеній, то естьискренности ихъ и задушевности. Случается иногда, что поэть по духу своего времени особенно дорожить самыми холодными и сухими своими произведениями, въ которыхъ участвоваль одинь разсудокъ и инсколько не участвовали чувство и фантазія. То же случается и въ отношении къ современникамъ поэта. Въ эту ошибку обыкновенно введитъ ихъ содержание или предметъ произведения. Они не думають о томъ, что предметь стихотворенін можеть быть важень, великь, даже священиъ, а само стихотворение тъмъ не менье можеть быть очень плохо. Такъ, напримъръ, никто не станетъ спорить, чтобъ содержаніе «Александронды» Свічина не было неизмъримо выше содержанія «Руслана п Людмилы» или «Графа Нулина» Пушкина; но никто также не станетъ спорить, что «Русланъ и Людмила» и «Графъ Нулинъ» —прекрасныя поэтическія произведенія, а «Александроида» — образецъ бездарности и ничтожности. Въ первомъ томѣ «Русской Бесъды» напечатана большая ода Державина «Слыпой Случай», мысль которой—несомийн-

ность личного беземертія, —и тогда же явкоторые изъ господъ сочинителей какого-то плохого періодическаго изданія раскі пазлись объ этой новонайденной одъ, словно о новооткрытой Колумбомъ Америкъ. Опи увидъли въ этей одб величайшее создание величайшаго ноэта, не замытивь, какъ люди безъ остетическаго чувства, что дільная и сысокан мыель этой оды высказана до крайности илохими стихами, и что по своей поэтической отдёльё и самому расположенію мыслей вся -наоги зоналоми ви вжохом авего вдо вто ческое упражнение, холедное, сухое и общими мъстами наполненное. Таковы почти всь Державнискія переложенія исалмовъ: мало сказать, что они ниже своего предметаможно сказать, что они рёшптельно педостойны своего высокаго предмета,-п кто знакомъ съ прозапческимъ переложеніемъ исалмовъ, какъ на древне-церковномъ, такъ н на русскомъ языкъ, тотъ въ переложеніяхь Державина не узнаеть выскихъ, боговдохновенныхъ гимновъ порфироноснаго извца Вожія. Исключеніе остается только за переложениемъ 81-го псалма «Властителямъ и Судіямь», въ которомъ таланть Державина умълъ приблизиться къ высоть подлининка:

> Возсталь всевышній Богь, да судить Земныхъ боговъ во сонмъ ихъ. "Доколь-рекъ-доколь вамъ будетъ Щадить неправедныхъ и злыхъ. Вашъ долга есть: охранять законы, На лица сильныхъ не взпрать: Безъ помощи, безъ обороны Сиротъ и вдовъ не оставлять. Вашъ долгъ: спасать отъ бъда невиниыхъ, Несчастливымъ подать покровъ; Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ, Исторгиуть быдныхы изь оковь" Не внемлють! видять и не знають! Покрыты мглою очеса! Злодвиствы землю потрясають, Неправда зыблеть небеса.

Переложение псадмовъ и подражание имъ въ собраніяхъ сочиненій Державина обыкновенно помъщаются вмъсть съ его одами духовнаго и правственнаго содержания и вывсть съ ними образують какъ бы особенный отдълъ Державинской поэзіи. Весь этоть отдель, обыкновенно высоко ценимый критиками добраго стараго времени, отличается одними и теми же качествами: длиннотой, вялостью, водяностью и илохими стихами. Редко, редко вспыхивають въ одахъ этого отдела искорки поэзін. Одна изъ этихъ одъ очень и очень замъчательна по поэтическимъ мъстамъ и даже по высокости мыслей; но неопредъленность идеи цълаго повредила и поэтическому достоинству целаго. Мы говоримъ объ одъ «Безсмертіе Души». Явно, что поэть смышаль въ ней два совершенно различныя понятия безсмертие идеи, не умпрающей въ преходящихъ фактахъ, и личное безсмертіе человька или беземертіе дуни. Оттого въ одной одѣ очунились двѣ еды, несвизавным внутрешнимъ единствомъ, перебитым и перемъщанным олиа съ другой. Н что же? Тѣ строфы этой оды, въ которыхъ проблескиваетъ первая идея, столько исполнены позви и мысли, сколько строфы, выражающія вторую мысль, прозапчны и поверхисстны. Говоря о прекрасныхъ мѣстахъ оды «Безсмертіе Души», нельзя не указать на 8, 17, 18 и 19 стрефы.

Зато нѣкоторыя изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія поражають невообразимыми странностями. Кто бы, напримѣръ, подумалъ, что вотъ эти стихи—Державина, а не Тредьяковскаго:

> Накъ птица въ мглъ упывна, Оставлена на здъ (на кроблю), Иль схохленна, пустынна Сидяща на гнъздъ. Въ нощи, въ лъсу, въ трущобъ, Лію стенаньемъ гулъ.

А между тъмъ это дъйствительно стихи Державина изъ оды «Сътованье», начинающейся стихами:

Услышь, Творецъ, моленье И вопль моей души!

Но огромная поэма, а не ода «Цѣленіе Саула» представляеть собой примѣръ особенной нестройности. Она состоить болѣе, чѣмъ изъ 400 стиховъ, которые всѣ въ родѣ слѣдующихъ:

Внимаеть пъснь монархъ: но сила звуковъ, словъ
Такъ отъ него скользитъ, какъ лучъ отъ холма льдяна;
Снъдаеть грусть его, мысль черпая, печальна,
Пъвецъ то зритъ—и взявъ другихъ строй голосовъ,
Поетъ ужъ хоромъ всъмъ, но сонио, полутонно,
Смятенью тартара, душъ смятенной сходно.

И кто бы могь думать, чтобъ за такими стихами слъдовали вотъ какіе:

На пустыхъ высотахъ, на зыбяхъ Божій духъ Искони до въковъ въ тихой тьмъ возносился, Какъ орелъ надъ яйцомъ, подъ зародышемъ вкругъ Тварей всёхъ теплотой, такъ крылами гиёздился Огнь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбъ Межъ собой, внутрь и вив, безпрестанно сражались. И лишь жизнь тъмъ они всьмъ являли въ себъ, Что тамъ стукъ, а тамъ трескъ, а тамъ блескъ прорывались; Громъ на громъ въ вышинъ, гулъ на гулъ въ глубинъ, Какъ катясь, какъ вратясь, даль п близъ оглушали; Бездны бездиъ, хляби хлябь, колебавъ въ THURS Безъ устройствъ естество, ужасъ, мракъ представляли.

Впрочемъ, эти стихи, прекрасные и сильные, несмотря на свою грубую отдълку, суть единственный оазисъ въ несчаной пустынъ этой ноэмы.

Ода «Богъ» считалась дучней не только изъ одъ духовнаго и правственнаго содержания, но и вообще лучней изъ всвхъ одъ Держанина. Самъ поэтъ былъ такого же мибий. Какимъ мистическимъ уважениемъ пользовалась въ старину эта ода, можетъ служить доказательствомъ нельная сказка, которую каждый изъ насъ слышалъ въ дътствъ, будто ода «Богъ» переведена даже на китайский языкъ и, вышитая шелками на иштъ, поставлена надъ кроватью богдыхана. И дъйствительно, это одна изъ замъчательнъйшихъ одъ Державина, хотя у него есть много одъ и высшаго сравнительно съ ней достоинства.

Изъ одъ Державина иравственно-философскаго содержанія особенно замѣчательны сатирическія оды—«Вельможа» и «На счастье». При разсматриваніи первой должно забыть эстетическія требованія нашего времени и смотрѣть на нее, какъ на произведеніе своего времени: тогда эта ода будстъ прекраснымъ произведеніемъ, несмотри на ея риторическіе пріемы. Первыя восемь строфъ просто превосходны, особенно вотъ эти:

Кумиръ, поставленный въ позоръ, Носмыслениую чериь илбияетъ; Но коль художниковъ въ пемъ взоръ Прямыхъ красотъ не ощущаетъ; Се образъ ложиыя молвы, Со глыба грязи позлащенной! И вы безъ благости душевной Не всъ ль, вельможи, таковы?

Не перлы перскіе на васъ И не бразильски звъзды—ясны: Для возлюбившихъ правду глазъ Лишь добродътели прекрасны,—Онъ суть смертныхъ похвала. Калигула, твой конь въ сенатъ Не могъ сіять, сіяя въ златъ: Сіяютъ добрыя дъла!

Осель всегда останется осномъ, Хотя осынь его звъздами: Гдъ должно дъйствовать умомъ, Онь только хлонаеть униами: О. тщетно счастія рука, Противъ естественнаго чина, Везумца рядить въ госнодина, Или въ шумиху дурака.

Какихъ ни вымышляй пружинъ, Чтобъ мужу бую умудриться, Не можно въкъ ноенть личниь, И истина должна открыться. Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ, въ совътахъ царскихъ сопостатовъ: Всякъ думастъ, что я Чуцятовъ Въ мароккскихъ лентахъ и звъздахъ.

Оставя съппетръ, тровъ, чертогъ, Бывъ странникомъ въ ныли и въ потъ, Великій Петръ, какъ жъкій Богъ, Влисталь величествомъ въ работъ: Почтепъ и въ рубищъ герой! Екатерина въ пизкой долъ, И не на царскомъ бы престолъ Была великою женой.

И впря ь, коль самолюбья лесть Не обуяла бъ умъ налменный: Что наше благородство, честь, Коль не наящности душевны? Я князь коль мой сіяеть духъ: Владбленъ коль страстьми владбю; Воляринъ—коль за встхъ болъю, Царю, закону, церкви другъ.

Да, такіе стихи никогда не забудутся! Кром'в замвчательной силы мысли и выраженія, они обращають на себя вниманіе еще и какъ отголосокъ разумной и нравственной стороны прошедшаго въка. Остальная и большая часть оды отличается риторическими распространеніями и добродушнымъ морализмомъ, въ которой объ истинахъ. въ родъ дважды два-четыре говорится, как в о важныхъ открытіяхъ. Впрочемъ, 10, 11 и 12-я строфы, изображающія вельможескую жизнь людей XVIII въка, отличаются значительнымъ поэтическимъ достоинствомъ. Вт. одъ «На Сластіе» виденъ русскій умъ, русскій юморъ, слыніктся русская річь. Кромі: разныхъ современныхъ политическихъ намековъ, въ ней мпого резкихъ и удачныхт. юмористическихъ выходовъ, свидетельствуюшихъ какое-то добродушіе, какъ, наприміръ. это обращение къ счастью:

> Катаешь кубаремъ весь миръ: Какъ ръзвости твоей примъровъ, Полна земля вся кавалеровъ, И пълый свъть сталъ бригадиръ.

Тонко хваля Екатерину, поэть говоритт:

Наволить царствовать правдиво. Не жжеть, не рубить безь суда; А развъ кое-какъ вельможи, И такъ и сякъ, пахмуря рожи, Тузятъ пнова иногда.

Сатирически описыван свое прежнее счастье, когда, бывало, все удавалось ему, и въ милости бояръ, и въ любви, и въ игръ, и въ поэзін, поэтъ очень забавно и вийстъ колкожалуется на безвременье преклонныхъ лътъ своих:

А нынв пятьдесять мив било: Полеть свой счастье премвиило; Безь лать я горе-богатырь: Прекрасный поль меня лишь бвенть, Амурь безь перьевь нетопырь, Едва вепорхиеть и пось повъсить. Сокрылся и въ игрв мой кладь: Не страстны мной, какъ прежде, музы: Бояре понадули пузы. И я у всёхь сталь виновать.

Умоляя счастье снова осыпать его своими дарами, поэть остроумно подшучиваеть надъ Гораціємь, объщаясь писать школярнымъ могомъ:

"Веатуст—брать мой, на волахъ Собою самъ поля орющій, Или стада свои насущій!" Я буду восклицать въ пирахъ. Къ числу такихъ же одъ принадлежитъ и «Мой Истуканъ». Въ ней особенно замъчательны ифкоторыя черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнъйшие стиха:

Злодъйства малаго мев мало, Большого двлать не хочу.

Замъчательна и слъдующая строфа: поэть говоритъ, что ин за какія дъла не стоилъ бы опъ кумира—

Не стоиль бы: всв знаки чести Дозволены самимы себь, Илоды тщеславія и лести. Монархы! постыдны и тебь Желаєть хваль, благодаренья Лишь низкая себь душа. Живущая изъ награжлены: Но смерти слави гороша. Заслуги во гробо со развають, Герои во втаности слать!

Досель говорили мы о Державинь, какъ о русскомъ поэть, въ извъстной степени и въ извъстномъ характеръ отразившемъ на себь XVIII высь вы той степени, вы какой отразило его на себъ тогданинее русское общество. Теперь намъ следуеть показать Державина, какъ пъвца Екатерины, какъ представителя целой эпохи въ исторіи Россін. Царствованіе Екатерины Великой, посл'ь царствованія Пегра Великаго, было второй великой эпохой въ русской исторіи. Досель для него еще не насгавало потомства. Мы. люди настоящей эпохи, такъ близки къ временамъ Екатерины, что не можемъ судить о нихъ безпристрастно и върно. Эта близость лишаеть нась возможности видьть ясно и опредъленно то, что обнаруживается только въ одной исторической перспективъ, на достаточномъ отдаленін. И потому мы съ одной стороны слишкомъ увлекаемся громомъ побъдъ, блескомъ завоеваній, многосложностью преобразованій, множествомъ людей замвчательныхъ, и не видимъ изъ-за веего этого внутренняго быта того времени. Съ другой стороны, справедливо гордясь нашимъ общественнымъ и гражданскимъ счастьемъ, мы, можеть быть, слишкомъ строго судимъ лесть, низконоклонство, патронажество, милостивцевъ и отцовъ-благодѣтелей, составлявшихъ характеристику быта того времени. Мы не можемъ живо представить себв тогдашинго историческаго положенія Россіи, того ръзкаго контраста между тираніей Бирона и труднымъ, но безплодной, хотя и блистательной войнь съ Пруссіей, временемь, — и между царствованіемъ Екатерины этой эпохой блестящей и великихъ делг мудрыхъ преобразованій, разумнаго и гуманнаго законодательства, котораго основой было: «лучине простить десять виновныхъ, чвиъ нагазать одного невиннаго, - возник-

наго просвыценія и возникавней лигерагуры, какъ илело в правственнаго простора, емвинаннаго удунгрондую твеногу, какъ творенія мудрасти и благости, воцаривнейся на троив. Близніе нь темъ временамъ, мы такъ далеки отъ нихъ усовершенствованими велкаго рода, такъ горды и такъ счастливы велиними усибхами двухъ последнихъ царствораній, что не можемъ смотріть на наше прошединее, не сравнивая его съ настоящимъ,--а это сравненіе, разумбется, выгоднье для настоящого. И потому намъ теперь должно не столько судить обь эпохв Екатерины Великой, сколько изучать ее, чтобъ пріобрѣсти данныя для сужденія о ней. Къ числу ташхъ данныхъ, безь сомивнія, принадлежать свидьтельства современниковъ,-а встив извъстно, какъ великъ быль ихъ энтузіазмъ къ своему премени и творцу его-Екатеринъ. Здъсь мы говоримъ о царствованін Екатерины только въ отношенін къ поэзін. Поэзін Державина—самое живое п самое вірное свидітельство того, до какой степени эта эноха была благопріятна поэзіп и до какой степени могла она дать поэзіи разумное содержаніе. Въ этомъ отношенін должно обращать внимание не на похвалы Екатеринь пъвца ея, которыхъ, какъ похвалы современника, не могуть имъть той неоподозръваемой достовърности и искренности, каеъ голосъ потомства; но здась должно обращать внимание на ту свъжесть, ту теплоту искренияго и занушевнаго чувства, которыме провекнуты гимны Державина Екатеринь, на тоть смылый и благородный тонь, которымъ они отличаются. Итакъ, намъ остается только выбрать тѣ строфы изъ разныхъ одъ его, которыя представляють особенно характеристическія черты громко и торжественно воспетаго имъ царствованія.

Ода «Фелица» — одно изъ дучинхъ созданій Державина. Въ ней полнота чувства счастливо сочеталась съ оригинальностью формы, въ которой виденъ русскій умъ и слышится русская рѣчь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникцута внутреннимъ единствомъ мысли, отъ начала до

конца выдержана въ токъ.

Олицетворяя въ себъ современное общество, поэтъ тонко хвалитъ Фелицу, сравнивая себя съ нею и сатирически изображая свол пороки. Исповъдь его заключается стихами;

Таковъ, Фелица, я развратенъ! Но на меня весь свътъ похожъ.

Не оставляя шуточнаго тона, необходимаго ему для того, чтобъ похвалы Фелицъ не были ръзки, поэтъ забываетъ себя и такъ рисуетъ для потомства образъ Фелицы:

Едина ты лишь не обидишь, Не оскорбляешь никого: Дурачества сквозь пальцы видишь, Линь вла че терпинь одного; Проступен енисхожденьемъ правишь; Какъ во игъ овецъ, людей не давишь;— Ты знаешь прямо цъну и уъ: Царей они подвластны в тв, Но Богу правосудну болъ, Живущему въ законахъ ихъ.

Неслыханное также дъло, Достойное тебя одной. Что будто ты народу смъло О всемъ, и въявь, и подъ рукой, И знать, и мыс ить позволлень, И о себъ не запрещаень И быль, и небыль говорить: Что будто самымъ крокодиламъ, Твоихъ всъхъ милостей зоиламъ, Всегда склоияенься простять

Стремятся слезъ пріятныхъ рѣки Нзъ глубины души моей. О скоть счастливы человѣки Тамъ дотжны быть судьбой своей. Гдв ангелъ крогкій ангелъ мирный, Сокрытый въ свътлости порфириой, Съ небесъ писпосланъ скинтръ носиъ! Тамъ можно пошентать въ бесъдахъ И, казии не боясь, въ объдахъ За здравіе царей не инть.

Тамъ съ именемъ Фелицы можно
Въ строкъ описку поскоблить,
Или и ртрегъ неосторожно
Ел на землю уронить;
Тамъ свадебъ шутовскихъ не парятъ,
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарятъ,
Не щолкаютъ въ усы вельможъ;
Князъя насъдками не клохчутъ,
Люоимцы въявь имъ не хохочутъ,
И сажей не мараютъ рожъ.

Ты въдаешь, Фелица, правы И человъковъ, и царей: Когда ты просвъщаешь правы, Ты не дурачишь такъ людей; Въ твои отъ дълъ отдохновенья Ты пишешь въ сказкахъ поученья, и Хлору въ азбукъ твердишь: "Не дълай пичего худого — И самого сатира злого Лжецомъ презръпнымъ сотворишь".

Заключительная строфа оды дынеть глу-бокимъ благоговъйнымъ чувствомъ.

Прошу великаго пророка, Да праха ногъ твоихъ коснусь, Да словъ твоихъ сладчайна тока И лицеэрвиъя наслаждусь! Небесныя прошу я силы, Да ихъ простря сафирны крылы, Невидимо тебя хранягъ Отъ всъхъ болъзней, золъ и скуки, Да дълъ твоихъ въ потомствъ звуки, Какъ въ небъ звъзды, возблестятъ.

Оду эту Державинъ писалъ, не думая, чтобъ она могла быть напечатана; всвиъ изввстно, что она случайно допила до свъдвий государыни. Итакъ, есгь и вибший доказательства искренности этихъ полныхъ думи стиховъ:

Хвалы мои тебв примвтя, не мии, чтобъ шапки иль бешметя За нихь и отъ тебя желаль. Почувствовать добра пріятство—Такое есть души богатство, какого Крезь не собпраль.

Ода «Изображение Фелины» расгинута и разведена водой раторики; но въ ней есть прев сходныя строфы въ ренdант къ одт «Федица», почему мы и выписываемъ ихъ здъсь.

Праномин, что Она въщала Вевтистеннымъ Ея ордамъ: "Я счастья вашего искала И въ васъ его нашла я вамъ: Ставъ сами вы себъ послушны, Колико можетъ человъть.

Колико можеть челогысь.

"И камъ даю своболу мыслить
И разумъть себя, цънить,
Не из рабствь, а из подданствъ числить,
И въ поги миъ челомъ не бить;
Даю вамъ право безъ препоны
Мить вачни пужды представлять,
Читать и знать мон законы,
И въ нихъ описки замъчать.

"Даю вамъ право собиралься,
И въ лумахъ золото копить,
Ко миъ послами отправляться

И не всегда меня хвалить: Даю вамъ право безприст астно Въ судьи другъ друга выблрать, Самимъ дъла свои всевластно И начинать, и окончать. "Не воспрещу я стихотьориамъ

"не воспренну и стихотьсриамъ Инсать и ченуху, и лесть, Халдеямъ, повымъ чудотворцамъ Махать съ духами, пить и тель. Но я во всемъ, что лишь не глобно, Потидуси равиодушной быть; Великолънно и спонойно Мои благодъянья лить".

Ремла бъ! "Почто висать уставы, Коль ихъ въ динанахъ не творять? Развратные вельможей правы--Народа цълаго развратъ.

"Вашъ долгъ монарху, Вогу, царству Служить и клитвой не пграть; Пеправдь, слобъ, мядъ коварству Пути повеюду пресъкат.: Пристраствый судъ разбол элъе; Судън—враги, гдъ сипть законъ: Гредъ вами гражданина шея Протянута безъ оборонъ".

Представь, чтобы вст царевна средства Въ несобіе себъ брана Предупреждать народа бъдства И сохранять его отъ зла; чтобъ отворнла всъмъ дороги чрезъ почту письма къ ней инсать; Велъла бы въ свои чертоги Для объясненья допускать.

«Видбије Мурзы» приводлежатъ къ лучшимъ одамъ державина. Какт вев оды къ Фелицв, она написана въ шуточномъ тонв; но этотъ шутечный тенъ есть истинно-высокій лирическій тонъ—сочетаніе, свойственное голько Державинской изэлін и составляющее ем оригинальность. Какъ жаль, что Державинъ не зналъ или не могъ знать, въ чемъ особенно онъ силенъ и что составляло его истинное призваніс. Онъ самъ свои риторически-јвысокопарныя оды предпочиталъ этимъ шуточнымъ, въ которыхъ онъ былъ такъ оригиналенъ, такъ народенъ и такъ возвышенъ,— тогла какъ въ нервыхъ опъ и надутъ и натянутъ, и безивътенъ. «Видъніе Мурзы» начинается превосходной картиной ночи, которую созерцалъ поэтъ въ комнатъ своего дома; поэтическая ночь настроила его къ иъснопънью, и опъ воспълъ техое блаженство съоей жизии:

> Что карлой онт и великономъ. И лизомъ свъта не рожденть, И что по созданъ пстука юмъ И оныхъ чтить не принужденъ.

Далье заключается превосходный, поэтически и довко выраженный намект на подарокъ, такъ неожиданно полученный имъ отъ монархини за оду «Фелица»;

Блежень и тоть, кому паревны Какой бы ни было орды. Изъ теремовь своихъ янгарныхъ И сребророзовыхъ свътлицъ, Какъ будто изъ улусовъ дальныхъ, украдкой отъ придворныхъ лицъ, За розсказни, за растобары, За вирши, имъ за что-нибудъ, Исподтишка другіе лары И въ доскандахъ чергонцы шлютъ.

Явленіе гивыной фелицы, но всіхъ атрибутахъ ея царственнаго величія, прерываетъ мечты поэта. Фелица укоряетъ его за лесть; она говоритъ ему:

Позвія не сумас родегво, но вышній дарь боговъ: тогда Сей дарь боговъ, кромв лишь къ чести и къ порученью ихъ путей Быть должень обращей з.—не къ лести и тлънной нохваль люди тъ же, въ пихъ страсти, хоть на нихъ въщы; ядъ лести имъ вредить не ръже: А гдъ поэты по листецы?

Отвіть полт на укоры асчелнувшаго видінія Фелицы дынить пекренностью чувства, жаромь поэзін и заключаєть въ собі и автобіографическім черты, и черты того времени:

Возможно ль, кроткая царевна! И ты къ мурзъ чтоот, своему Била сурова столь и гитвив. И стрълы къ сердцу моему И ты, п ты чтобы сросала, И пламени луши моей Къ себъ и ты не одобряла? Довольно безъ тебя людей, Довольно безъ тебя поэту, За кажду чысль, за каждый стихъ, Отвътствовать лихому сръту. И оть сатиръ щитилься злыхъ! довольно золотых кучпровь. Безъ чувствъ мон что нъсни чли; Довольно каліевъ, факировъ, Которы въ зависти сочли Тебъ ихъ неприличной лестью; Довольно нажилъ и враговъ1 Иной отнесь ссоть по без истого. Уто не деруть сел усовъ: Иному показалось больно, Уто онь настольни не гиолть; Thomy ovents e a solution

Съ тобой мурза твой говорить; Пной вивнямь мав въ преступленье, Что я послапницей сь побесъ Тебя быть мыслиять въ восхищеныи II лиль нь восторгь токи слезь; И словомъ: тогъ хотваъ арбуза, А тоть соленыхъ огурцовъ: Но нусть имъ здёсь докажеть муза, Что я не изъ числа льстеновъ; что сердца моего товаровъ За деньги и не продаю, И что не изь чужихь амбаровъ теоб паряды я крою; По въпценосна добродътелы! Не лесть я пълъ и не мечты, А то, чему всеь міръ свидътель: Твои дёла суть красоты. A mises, now wheme var bydy, И въ инткахъ правду возвини; Татарски пъсни изъ-подъ спиру, Какъ лучъ, потометеу сооба з Ишкъ солице, какъ луну постивлю Тэна пораль сусущимый кай амь. Превознесу тебя, прославлю; Тобой беземертень буну самъ.

Пророческое чувство поэта не обмануло его: поозія Державина из тімъ пемногихъ чертахъ, которыя мы представиля здісь нашимъ читателямъ, есть прекрасный намятникъ славнаго царствованія Екатерины ІІ п одно изъ главныхъ правъ півца на поэтическое безсмертіе.

Другое значение имъють теперь для насъ торжественныя оды Державина. Въ нихъ онъ является болбе ефиціальнымъ, чемъ истинно вдохновении мъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніц онъ разко отдаляются оть одь, посвященныхъ Фелиць. И не мудрено: последнія пмын корепь свой въ двиствительности, а первыя были инодомъ нохвальнаго обычая согласовать лирный звукъ съ громомъ нушенъ и блескомъ илошекъ и нигликовъ. При томь же легче было чувствовать и новимать мудрость и благость монархини, чемъ провидьть значение войнъ и побыть ся, объясияющихся причинами чисто политическими. Исантические вопросы тогда только могутъ служить содержанісмъ поззін, когда они вміств и вопро ы исторические и правственные. Такова была великая вейна 1812 года, когда объ взъ тяжунияхся сторонъ-и колоссальное могущество Наполеона, и напіональное существованіє Россіи - сошлись рашить вопросъ: быть или не быть? Побъды надъ турками, какъ бы ни блистательны были онъ, могутъ дать прекрасное содержание для реляцій, но не для одъ. Сверхъ того торжественныя оды Державина еще и потому утратили теперь свою цену, что самыя событія, породившія ихъ, намъ уже не могуть казаться такими, каними видели ихъ современники. Типомъ всьхъ торжественныхъ одъ Державина можеть служить ода «На взятие Варшавы». Она такъ всъмъ взвъстна, что мы не почитаемъ за пужное дълать изъ нея выниски.

Ее можно разделить на эри части: первая изъ нихъ есть экстатичес ое изліяніе чувства удивленія къ Суворо: у и Екатеринѣ II. Дъйствительно, вступление оды восторжение; но этогъ восторгь весь заключается не въ мысляхъ, а въ восклицаніяхъ, и пъ немъ есть что-то напряженное. Мфсто, начинающееся стихомъ «Черная туча, мрачныя крыла», долго считалось въ нашихъ риторикахъ и пінтикахъ образцомъ гиперболы, какъ выражения высочайшаго восторга: тенерь эта гипербола можеть служить образномъ натянутаго восторга, стихотворнаго крика-не больше. Поэть чувствоваль самъ нустоту всёхъ этихъ громкихъ фразъ, и потому хотвль во второй части своей оды занять умъ читатели какимъ-нибудь содержаніемъ. Что же онъ сділаль для этого?-онъ показываеть сонмъ русскихъ царей и вождей, сидящій въ «небесномъ вертоградь» на злачныхъ холмахъ, въ прохладъ благоуханныхъ рощъ, въ прозрачныхъ и радужныхъ натрахъ»; передъ ними поетъ нашъ звучный Пиндаръ, Ломоносовъ, и его хвала пронзаеть ихъ грудь, какъ молнія; въ ихъ «пунцовыхъ» устахъ «блистаеть злать медъ», а на ицекахъ играють зари: возлетии на «мягкихъ зыблющихъ (ся)» перловыхъ облакахъ, они внимають тихострунный хорь небесныхъ арфъ и поющихъ дъвъ (что, однако жъ, не мѣшаетъ имъ впимать и лирѣ пашего звучнаго Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалда для христіанскихъ царей и вождей? Для этого подлупнаго міра стихи Ломоносова, конечно, имѣють свое назначеніе; но безпрестанно слушать ихъ и на томъ свътъ-воля ваша - скучно. Далъе поэтъ заставляеть Пегра Великаго прогозорить річь къ Пожарскому и потомъ скрыться въ «свнь». Все это-годая риторика, свидътельствующая о ватрудинтельномъ положении поэта, задавшаго себъ воспъть предметь, когораго иден онъ не прочувствоваль въ себъ. Третья часть оды кончилась даже смінно плохими четверостиньями съ припавомъ къ каждому:

Славься симъ, Екатерина, О великая жена!

Въ первой части оды поэть называеть своего герои, т. е. Суворова, «Адександромь по бранимь»; сравнение крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезаремъ, ибо въ живни и положенияхъ обоихъ этихъ лицъ было много общаго; но что же общаго между дъйствательно великимъ полководиемъ русской монархини, превосходнымъ выполнителемъ ем политическихъ предначертаний, и между монархомъ-завоевателемъ, героемъ древняго міра, связавничъ Востокъ съ Европой?.. Вообще Державниъ не умѣлъ хвалить Суворова: онъ восхащается только его непобѣ

димостью, заблеви, что этимъ были славны и Тамерланы, и Атилы, и что въ Суворовѣ было что-инбудь замѣчательное и кремѣ этого. Хваля Суворова, Державинъ долженъ былъ бы настроить лиру на тотъ чисто-русскій ладъ, которимъ воспѣвалъ онъ Фелину: но чтъ хотътъ видѣть своего героя въ ригорической ановеозѣ, а нотому въ его одахъ Суворовъ не возбуждаетъ къ себѣ пикаюто сочувствія.

У Пункциа есть два стихотворенія, порожденным почти такимъ же событіємъ, какт и ода Державина, о которой мы говоримъ. Даже по тону оба эти стихотверенія Пункциа напоминають торжественную музу Дермавина; но какая же разница въ содержанія! Пушкинъ поднимаетъ историческіе вопросы, говоря, что это—

. . . . . споръ славянъ между собою, Домашній, старый споръ, ужъ вавъщемный судьбою.

Пушкиць не изреклетъ оскорбительныхъ цриговоровъ надшему врагу, но благородно, какъ представитель теликей націи, восклацаєть:

Въ боренъи падшій певредимъ; Враговъ мы ьт прахв не топтали;

Они пародной Немезиды Не узрить готеннаго лица, И не услышать ийсив обизи Отъ лиры русского ийсиа.

Оды «На веятие Измалла» и «Переходъ Альнійскихъ горъ» но солему евоему «цьлыя ноэмы, герей которыхъ—Суворовъ. () нихъ можно сказать то же, что и обо вебхъ торжественныхъ одахъ Державина: онъ исполнены вдохновенія, но риторическаго, и ихъ можно сравнить съ исхвальными словами Ломоносова —много грома, много блеска, но мало дунав. И потому въ чтенія онъ утомительны и даже скучны. Что коремь вхъ былъ не въ жизни, не въ двиствительности, а въ гінтикъ в риторимъ того времени, могуть служить доказательствомъ эти стихи шъь оды «На взятіе Илманда»:

Злыдыйство что ин вымынильно, Поверглось, россы, все на васъ! Зрю ядры, камик, варъ п бревны.

Какъ! неужели защищать отчанию премость везми въ гойнъ употребляемыми средстилми отъ осаждающихъ се враговъ, отчанино биться съ изми и честно умирать за свою въру и своего государя есть злолъйство?.. О, пътъ! Державинъ этого не думалъ, по это требовалось высокимъ нареніемъ оды, по пінтикъ того времени. Вирочемъ, эта ода не безъ замъчательныхъ частностей, какъ, напримъръ, слъдующая строфа:

Чего не можеть родь сей славный, Любя царей своихъ, свершить? Умъйте лишь, главы вънчалиы, Его безцънну кровь щадить; Умъйте дань ему вы льготу, Къ дъламь великемъ духъ, охоту, И правотой сердца плънить. Вы можете его рукою Всегда, войной и не войною, Весь мірь себи заставить чтять. Война, какъ съверно сіянье, Лишь удивляеть чернь одиу: вакъ събтой радуги блисталье, Веякъ мудрый любигъ тишину.

Державинъ былъ пъвцомъ всехъ замечательных в людей, которыми такть богать быль въкъ Екатерины; всъхъ чаще и охотиве онъ ивлъ Суверова - го былъ его любичый герой; но лучше вежкъ воспълъ онъ Потемкина. П не мутрено: этотъ «книяний замыслами умъ, не ходившій по пробитымъ дорогамъ, но пролагавний ихъ самъ». быль дивнымъ, поэтическимъ явленіемъ. Это не быль любимецъ счастья, какъ привыкли величать его: счастье любить больше глупцовъ и дюжинныхъ людей, немели геніевъ,—а Потемкинъ былъ геній, заставивній преклоняться передъ собой счастье. Это была натура одного типа съ Наполеоговской: Потемканъ могъ жить только въ замыслахъ и замыслами, и отсюда его аналія въ бездійствін. Видіть невозможность действонать - приговоръ из смерти для такихь людей. Каждый изъ нихъ хотыть бы покорить всю землю и наль бы отъ своего успъха, если бы не напиль средства слъдать высадау на луну и взать ее приступомъ. Пеляясь во времени отмивающаго историческаго міра и не предчувствуя новаго, они дълають себя пентромъ всей вселенной п падають жертвами своего грандіознаго эгоизма. Такъ палъ и Наполеонъ. Нашъ русскій «сынъ судьбы» не могъ быть и нять своимъ временемъ; ис въ самыхъ его странностихъ было что-то тапиствение зысовое, и вев смотрели на него со страхом в и любонытствомъ. Поэтическая патура Державина глубже другихъ прозръда въ тайникъ этого великаго духа, хота вполнв и не разгадала его - и «Водопадъ» остатся навсегда свидътельствомъ этого поэтпческиго полусозначія и одной изъ лучинхь одъ Державина. -- Державинь быль пвиномъ нарствующате дома вт. Россія, п нельзя съ удивленіемь не остановиться на его пророческихъ одахъ на рождение царстренныхъ младенцевъ, впостьдствін Александра Благословеннаго и пынъ благополучно царствующаго императора Николая. Кому не извъстна прекрасная ота «На ромленіе на съверъ порфиророднаго отрока»; въ ней есть два стиха, невольно останавливающіе на себ'в вниманіе изумленнаго чита-Tean:

> Вудь страстей сво ухъ владътель, Вудь на троит четовъжь!

Другая пророческая ода Державина «На крещеніе великаго книзи Пиколая Павдовича»; въ ней поражають стихи:

Дим равинется съ царями! Родителямъ по крови, По сапу—неполниъ; По благости, любови полевъта властолниъ! Онъ будеть славенъ, Думой Емагоринъ равенъ.

Державият пътъ воцареніе Александра и многія событія его царствованія, особенно событія 1812—1814 годовъ. Въ посліднихъ слышны уже слабіющіе звуки пъкогда громкой лиры: но въ одахъ, которыми онъ привітствоваль повое благотворное спътпло Руси, мъстами проблескивають лекры позвін. Таково, наприміръ, начало оды «На восшествіе на престоль императора Александра 1-го»:

Въгъ новый! Царь младой, прекрасный Пришелъ днесь къ намъ весны стезей! Мон предвъстья велеглаены Уже сбылись, сбылись судьбой.

Въ одъ «Паревичу Хлору» старикъ Державинъ настроилъ свою музу на прежий ладъ, которымъ увалилъ Екатерину, и воспълъ Александра. Въ ноэтическомъ отпошенін эта ода далеко не то, что «Фелица», и кажется подражащемъ ей: но по мыслимъ, по содержанію это-одна изъ замбчательнойнихъ одъ Державина. Ее стоило бы вычисать здъсь вею до послъдниго стиха. Она лучие всянихъ разсужденій показываеть, въ какой связи находится поэзія съ положеніемъ общества. Но это была прснь дебедя: знамепитый и прославленный въ царствованіе Александра болве, чемъ въ царствование Екат рины, Державинъ быль человъкомъ, отживнимъ свой въкъ. Явленіе Крылова, Карамзина, Дмитріева, потомъ Озерова и, наконець, Жуковскаго п Батюшнова показало, что въ обществъ уже созръли новые элементы для поэзін, и что, но мірь полпоты этихъ элементовъ, являлись и иввцы разнообразные, а не поющіе, какъ прежде, всв на одинъ голосъ. Это былъ успъхъ времени, и не вина Державина, что опъ принадлежаль къ другому въку и останся ему въренъ въ чуждомъ для него повомъ времени: онъ сделаль все, что могь въ то время слелать человькъ съ такимъ огромпымъ царованіемъ. Не будь Екатерины, не было бы и Державина: цвъты его поэзін распустились отъ луча ея просвъщеннаго вниманія. Этому вниманію онъ быль обязань и своей славой: общество не нуждалось въ стихахъ Державина и не попимало ихъ, а имя его знало, дивись, что за стихи дають и зедотыя табакерки, и чини, и мъста, дълаютъ вельможей бъднаго и незнатнаго дворянина. Но таковъ

ходь иден: она идеть из своей ціли даже и танний путими, которые, казалось бы, скорье отвели се отв ціли, тімь привели и ней: простое дюбонь, тетво многихь незамітне познакомило со стихами и пристрастило из нимь. И когда презъ размижене училищь и гамназій, презъ основаніе новых университетокъ въ парствованіе Алексантра распространилось просвішеніе, тогда Державина стали читать, и узнали его, кайъ выста, а не тольку кайъ знатраго человіна.

Во многихъ стихотвореніяхъ Державина личный характеръ его, какъ человъка, является съ весьма хорошей стороны. Иссмотря на то, что его въкъ былъ въкъ милостивцевъ, и что лесть и угодничество считались добродьтелями, онъ льстиль больше накъ риторъ, чемъ какъ поэтъ. Когда Суворовь, въ отставив, передъ походомъ въ Италію, проживаль въ деревив безъ діла, Державинь не боялся квалить его нечатио. Ото «На возвращение графа Зубова изъ Персін» принадзежить къ такимъ же сміздымь его поступкамъ. «Водопадъ», написанный послё смерти Потемкина, есть, безъ сомивнія, столько же благородный, сколько и ноэтическій подвигь. Суля по могуществу Потеминия, можно было бы предположить, что больная часть стихотвореній Державина носвящена его прославленію; но Дершавинъ при жизни Потемкина очень мало писалъ въ честь его. Опъ упоминаеть о немъ въ одъ «Осень во время осады Очакова»; его восивть онъ подъ иметомъ Ранемысла прилично и скромно; есть еще ода подъ иззваніемъ «Побідителю»: въ ней Потеминнъ превознесенъ превише звъздъ довольно плохими стихами. Но вотъ и все: а это слиикомъ немного, даже стинкомъ мало для такого могущества, какое представляеть собой Потемкинъ! Сверхъ того, въ отношени къ лести нельзи строго судить Державина: онъ жиль въ такія тершественныя и хвалебныя времена, когда изть и дьстить - зидчило одно и то же, и когда инкакая спла характера не могла спасти человька отъ необходимости уклоняться лестью отъ біздь. Должно сказать правду: за многін діля и самый сатирикъ не можеть не чтигь Державина. Къ числу такихъ дълъ принадлежитъ его ода Памятникъ Герою», наинсанная въ честь Рыпинау. который науодился въ то время подъ опалой у Потемкина и который впоследствии очень дурно заплатиль за нее поэту. По службь, въ дъл правосудія, Державинъ прослылъ даже «безнокойнымъ» человъкомъ, -- энитетъ, который, какъ извъссно. дается только такимъ людямъ, которые безъ ужаса и негодованія не могуть видіть подлостей и несправедливостей, чменемъ правосудія и закона совершаемыхъ ябедниками и крючко-творцами...

Чтобъ върно характеризовать и опредълить значеніе Державина, какъ поэта. должно обратить внимание на его собственный взглядъ на позвію и поэта. Въ артистической душів Державина пребывало глубокое предчувствіе пеликости искусства и достоинства художинка. Это доказывается многими истинновдохновенными мъстами въ его произведеніяхъ п даже превосходными отдільными стихотвореніими. Мы непремінно должны указать на нихъ, какъ на факты для сужденія о Державнив, какъ поэтв. Въ одв «Любителю художествъ, неудачной и даже странной въ целомъ, внимание мысляшаго читателя не можеть не остановиться на следуюшихъ стихахъ:

> Боги взоръ свой отвращають Отъ нелюбящаго музъ; Фурін ему влагають Въ сердце чорство грубый вкусъ, Жажду злата и сребра. Врагъ онъ общаго добра! Ни слеза вдовицъ не тронетъ, Ни спротъ несчастныхъ стонъ: Пусть въ крови вселенна тонетъ, Быль бы счастливъ только онъ; Вольше бъ собралъ серебра. Врагъ онъ общаго добра! Напротивъ того, взираютъ Воги на любимца музъ; Сердце нъжное влагаютъ И изящный нъжный вкусъ: Всвиъ душа его щедра. Другъ онъ сбщаго добра!

Если бъ эти стихи прозапчностью и шероховатостью выраженія не поражали нашего вкуса, избалованнаго изяществомъ новійшей поэзіи, ихъ можно было бы принять за нереводь изъ накой-пибудь пьесы Шиллера въ древнемъ внусів. Сознаніе высокаго своего призванія Державинъ выразиль особенно въ трехъ пьесахъ. Странная и невыдержанная въ ціломъ пьеса «Лебедь» есть какъ бы прелюдія къ превосходному стихотвореяію «Памятникъ»:

Необычайнымъ я пареньемъ
Отъ тлъна міра отдълюсь,
Съ душой безсмертною и пъньемъ,
Какъ лебедь въ воздухъ поднимусь.
Въ двоякомъ образъ нетлънный,
Не задержусь въ вратахъ мытарствъ;
Надъ завистью превозпесенный,
Оставлю подъ собой блескъ царствъ.
Да, такъ! хоть родемъ я не славенъ;
Но будучи любимедъ музъ,
Другимъ вельможамъ я не расенъ
Й самой смертью предомица.
Не заключить меня гробница,
Средь звъздъ пе превращусь я въ прахъ,
Но, будто нъкая пъвица,
Съ небесъ раздамся въ голосахъ.

Ватвиъ поэтъ воображаетъ, что его станъ обтягиваетъ пернатая кожа, на груди является пухъ, а спина становится крылата, Соч. Бълинскаго. Т. III.

и что онъ лоспится лебяжьей бѣлизной; въ видѣ лебедя паритъ онъ надъ Россіей, и всѣ племена, населяющія ее, указываютъ на него и говорятъ:

> "Воть тоть летить, что, строя лиру, Языкомъ сердца говориять И, проповъдуя мпръ міру, Себя всёхъ счастьемъ веселиль!"

Мысль изысканная и неловко выраженная; но последній куплеть очень замечателень:

Прочь съ пышнымъ, славнымъ погребеньемъ, Друзья мон! Хоръ музъ не ной! Супруга! облекись теритивемъ! Надъ мнимымъ мертвецомъ не вой!

«Памятникъ» такъ хорошо извёстенъ всёмъ, что нътъ нужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходнаго стихотворенія взята Державинымъ у Горація, но онъ уміль выразить въ такой оригинальной, одному ему свойственной формъ, такъ хорошо примъинть ее въ себъ, что честь этой мысли такъ же принадлежить ему, какъ п Горацію. Пушкинъ по-своему воснользовался, по примеру Державина, применениемъ къ себе этой мысли въ собственной оригинальной формъ. Въ стихотворенін того и другого поэта різпо обозначился характеръ двухъ эпохъ, которымъ принадлежатъ они: Державинъ говорить о беземертін въ общихъ чертахъ, о беземертін кинжномъ; Пушкинъ говорить о своемъ намитникъ: «Къ нему не зарастетъ народная трона», и этимъ стихомъ одинетворяеть ту живую славу для поэта, которой возможность настала только съ его времени.

Не менве «Памятника» замвчательно сти; котворное посвящение Державниа Екатерия в П собрания своих сочинений: оно дыринтъ и благоговъйной любовью поэта къвеликой монаржинь, и пророческимъ сознатиемъ своего поэтическаго достоинства:

Что смёлая рука повгін писала, Какъ Бога истину Фолицу во плоти И добродітели твои изображала, Дерзаю къ твоему престолу принести, Не по достоинству изящивйшаго слога, Ио по усерлію къ теб'й души моей. Какъ жертву чистую, возженную для Бога, Ирими съ небесною улыбкою твоей. Прими и освяти своимъ благоволеньемъ, И музій будь моей подпорой и щитомъ, Какъ мий была и есть ты оть клеветь спасеньемъ.

Да веселясь она и съ бодрственнымъ челомъ, Пройдетъ сквозь тьму временъ и станетъ средь потомковъ,

Суда ихъ не страшась, твои хвалы въщать; И алчный червь когда, межъ гробовыхъ обломковъ.

Оставшій будеть прахь костей монхъ глодать: Забудется во мив послёдній родъ Вагрима, Мой вросшій въ землю домъ никто пе посётить; Но лира коль моя въ пыли гдв будеть зрима И древнихъ струнъ ея гдё голосъ прозвенить, Подъ именемъ твоимъ громка она пребудеть! Ты славою—твоимъ я эхомъ буду жить. Героевъ и пъвцовъ вселенна не забудеть: Въ могиль буду я, но буду говорить.

И одиако жъ въ стихотвореніяхъ того же Державина есть міста, доназывающія, что опъ очень невысоко цінплъ поэзію и свое поэтическое призваніе. Такъ, въ оді «Фелица» онъ говорить:

Повлія теб'я любевил, Пріятна, сладоства, полезна: Какт лютомо внусный лимонадъ.

Въ одъ «Мой Истуканъ» онъ говорить:

. . . . Мон бездълки Безумно столько уважать,

и если считаеть себя достойнымъ мраморнаго бюста, то развъ за то, что восивалъ «Фелицу», а не за то, какъ восивалъ ее, слъдовательно, за предметъ, а не за талантъ пъснопъній. Такихъ мьстъ много можно найти въ его стихотвореніяхъ. Сверхъ того извъстно встмъ, — да и есть стихотвореніе, подтверидающее этотъ фактъ («Храповицкому»), — что Державинъ свое чиновническое поприще считалъ выше, т. е. дъльнъе своего поэтическаго поприща.

Но что все это доказываеть? то ли, что Тержавинъ былъ изменчивъ въ своихъ мивніяхъ, или что онъ только въ стихахъ, а не на діль высоко думаль о стихотворствь? Ни то, ни другое! Въ этомъ видна нервингельность, неопредаленность идеи поэзін въ то время. Державниъ дъйствительно въ разныя времена думаль о ней розно: то приходиль въ восторгь отъ своего призканія, гордясь имъ въ свётломъ и вдохновенномъ созданін, то погружался въ уныніе при мысли о немъ, стыдясь его, какъ пустой забавы. Въ первомъ случав скрывалась его глубоко-поэтическая натура, во второмъ-высказывалось въ немъ общество нашего времени. Теперь всякій посредственный писака съ гордостью говорять о себъ, что опъ-литераторт, или поэть, и находить добродушныхъ людей, которые, даже и подсибиваясь надъ нимъ, все-таки увиваются подлѣ него. чтобъ при случав похвастать своимъ знапомствомъ или пріязныю съ литераторомъ и поэтомь. Истинный таланть теперь вездё и всегда сміло можеть назвать себя по имени; а геній въ области поэзім теперь — сила и власть въ сферъ общественнаго мивнія. Но это сдълалось не вдругъ, а ностепенно. Дер-MEBURE HE EMBLE PLATORS CROSMY TOLIANTY: ему не могли простиль не таланта, котораго не понимали, а полученных выть знаковъ почестей. Среди невъждъ и умному человъку легко межеть прійти ва голову мысль: ужъ не онь ин глупъ, и не эти ли люди умны, нбо напъ же могуть ошибаться вст, и быть правъ одинъ?..

Вотъ откуда происходили прогиверачи держаения ит его испалнить о поэзия. Это

можетъ служить ключомъ и ко множеству другихъ его противорвчий. На иную прекраспую оду его можно насчитать ивсколько имохихъ, какъ будто написанныхъ въ опровержение первой. Причина этого та, что не было общества, не было общественто мивнія, — были только умныя личности, икредка сталкивавшияся другь съ другомъ ва необъятномъ пространству. Всякая нетикная поэзія есть идеальное зеркало действительности, а разумная сторона действительности того времени выражалась только въ нткоторыхъ людяхъ, блязкихъ къ монархипѣ; по нѣсколько людей не составляють общества. Мы видели, что въ посвін Державина отразился XVIII вікъ, одностороние в слабо отразивнийся на высшемъ кругъ русскаго общества, - ъругв, съ которымъ всо остальное не пита ничего общаго, ничтыть не было связано, а этого было слишкомъ мало, чтобъ дать такое содержание поэзи, которое упрочило бы за ней безсмертіе, сообщивъ ей неумирающій отъ переміны нравовъ и отношеній интересъ. Мы виделя. что Державинъ понималь великую монархиню и върно изобразиль ее въ нъсколькихъ чертахъ; но онъ выразилъ свое поинтіе о ней, а не понятіе целаго общести, которое не умьло нонимать тахъ благъ, которыми пользованось, - и потому мы дивимос образу Екатерины только въ немногихъ стихотворениях Державина, и именно только въ техъ, где изображаль онь ее подъ именемъ. Фелицы. Ода его «Фелица» превосходна в въ примъ, и вр астиостихъ; и ить же прекрасно «Виденіе Мурзы»; но въ «Изобреженіп Фелицы прекрасны только ибкоторык строфы. Торжественныя оды его потерыли весь свой интересь для нашего времени. Такъ-называемыя анакреовтическія оды Доржавина свидательствують о его артистической натурь; но ни содержание нав, всегда едносторониее и не глубокое, ни иля форма, всегда невыдержанная въ цімомъ 🖈 ызбинения только частностими, тоже не мегуть быть предметомъ эстетического постиденія въ паше время. Драматическіе опыт его не стоять и упоминовенія.

Мы уже доказали въ первой статъе, что в весетическомъ отношечи поэзи Державили представляеть собой бегатый веродынть генусства, но еще не есть искусство. Это блестимая страница вев исторіи русской поезія, коеще не саман поэзія. Читая даме лучнія оди Державина, мы должны ділать кадь собо усиліс, чтобъ стать на точку эріння это промени относительно поэзів, и должим каучиться видіть прекрасное во многомъ, что время казалось безусловно крекраснымь. Птакъ, Державинь и въ эстетическом отношенія есть поэть историческій,

котораго должно изучать въ школахъ, дотораго сты но не знать образованному русскому, но который уже не можеть быть и для общества тъмъ же, чъмъ можеть и долженъ быть для людей, посвящающихъ себя основательно изучению родного слова, отечественной поэзін. Ломоносовъ быль предтечей Державина, а Державинъ-отецъ русекихъ поэтовъ. Если Пушкинъ имелъ сильпое влінніе на современныхъ ему и явивнихся послѣ него поэтогъ, то Державинъ нивдъ сильное вліяніе на Пушкина. Поэзія не родится гаругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной поэзіп русской. Съ этой точки зрвийя должно опредълять его достоинства и его недостатки,-и съ этой точки зрёнія его недостатки явятся такъ же необходимыми, какъ и его достоннства. Называть Державина русскимъ Пиндаромъ, Анапреономъ и Гораціемъ могли только во время дітства нашей критики. Пиндара, Анакреона и Горапія читаеть весь

просвъщенный міръ на ихъ родныхъ языкахъ и въ безчисленномъ множествъ переложеній: въ Державинь ничего не найдетъ ни французъ, ни англичанинъ, ин нъмецъ. Богатырь поэзін по своему прпродному таланту, Державинъ, со стороны содержанія и формы своей ноэзіп, замьчателень и важень для насъ, его соотечественниковъ: мы видимъ въ немъ блестящую зарю нашей поэзін, а поэзія его— «это (какъ справедливо сказано въ предисловін къ изданнымъ нына его сочиненіямъ) сама Россія Екатеринига віка-съ чувствомъ исполнискаго своего могущества, со своими торжествами и замыслами на Востокъ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предразсудковъ и повърій, -- это Россія пыниная, роскошная, великольпная, убранная въ азіатскіе жемчуги и камии, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная, — такова посвія Державина во всехъ ен красотахъ в недостаткахъ.»

## Сочиненія Зенеиды Р-вой.

Спб. 1843. Четыре части.

Въ Россіи женщины мало пишуть. Впрочемь, этому нечего удивляться: въ Россін и мужчины почти совстыв не пинуть. Смотря ов этой точки зрвнія, вы увидите, что у насъ женицины нишуть лиенно не больше и не меньше того, сколько могуть онв писать. Вваніе писательницы пока еще конграбанда не у одникъ насъ. Лживый взглядъ на женщину осуждаеть ее на молчаніе. Этотъ взглядъ, эмпрещающій женщик выходить изъ заколдонаннаго круга простить свътсенхъ огноменій, не есть принадзежнесть собствению русскаго общества: онъ равис принадаежить и просв'иценному западу Евроны. Правда, тамъ. какъ и у насъ. женщена дагно уже пріобрыть право говорить печатно,-но какъ в о чемъ говорить? вотъ вопрось, подробное решение котораго завело бы далеко-далеко... въ самую Азію. Никакая ининушая женицина въ Европъ не избъгнетъ пошлыхъ намековъ и названія синяго чулка, мановъ бы не быль ел таланть, равно всъми признанный. Никто тамъ не оснаривлетъ у женщины права высказаться печатно ж позможности быть одаренной даже великимъ творческимъ талантомъ; никого не оскорбияеть и не соблазияеть эрвлище пишущей женщены; но въ те же време едва ин кго

упустить случай, говоря о пишущей женщинь, посмыться надъ ограниченностью женскаго ума, болће будто бы приноровленнаго для кухии, дътской, шитья и вязанья, чъмъ для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчинъ: если они давно перестали бить женщинъ, то еще не отстали отъ привычки грозить имъ кулакомъ или дразнить языкомъ въ ознаменование права своей свлы. Привычка-вторая натура, а потому отстать оть нея трудно. Для женщины-писательниды это первое, и при томъ еще самое нежьнее спо. Хуже всего, что она осуждена общественнымъ мибніемъ на самыя невпиныя латературныя занятія, именно-вічно повторять старыя обветивлыя встины, исторымъ не върять даже и дъгн, но которыя тімъ не мен'я считаются почтенными. Немыя унотребить большаго насилія падо женщиной, нельзи оказать ей большаго презрвия. Монечио, ей не воспрещается закономъ быть оригинальной в гаубовой въ своить мыскить. могущественной и великой вы творчествыпо правней мъръ на степито, на скольно не воспрещается это закономъ мужчинъ; во если BRECHE OCTABILLE MENUENY BE HOROK, TOTAL противъ нес двиствуеть общественное кактіз. Тысслеглавоз чудовище объявляють сэ

104

безиравственной и безпутной, грязнить ея благородивйшія чувства, чиствиніе помыслы и стремленія, возвышенивищія мысли, грязинть ихъ грязно своихъ комментаріевъ; объявляеть ее безобразной кометой, чудовишнымъ явленіемъ, самовольно вырвавшимся изъ сферы своего пола, изъ круга своихъ обязанностей, чтобъ упонть свои разнузданныя страсти и наслаждаться плумной и поворной извъстностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо?.. А воть вамъ и смъшное: то же самое общество не читаеть женщинь, пишущихь въ духв его те собственной морали, и обходить ихъ самымъ презрительнымъ невниманіемъ, потому что оно само не въритъ своей морали и смъется надъ ней. Впрочемъ, оно противоръчнтъ такимъ образомъ самому себъ не въ отношении къ однъмъ только женщинамъ. Возьмемъ, напримъръ, современное французское общество. Представители его-набитые золотомъ мѣшки, пріобрѣтатели, люди, поклоняющіеся золотому тельцу. Кого читаеть это общество? — писателей въ духъ чуждой ему морали. Это общество недавно воехищалось двумя романами Эжени Сю «Mathilde» n «Mystères de Paris», и эти романы не что иное, какъ страшный доносъ на это общество. Это же общество не хочетъ уже читать какого-нибудь мосье де Бальзака, до сихъ поръ върнаго моральному принциму выскочившаго въ люди богатаго м'вщанства, оно смъется надъ нимъ, презпраетъ его, и вмъсто его читаетъ Жоржъ Занда, въ которомъ имѣло бы право видъть своего обвини. теля, изобличителя и нравственную кару. Послъ этого извольте угождать обществу и сообразоваться съ его моралью! Вст явленія дъйствительности инутри себя самихъ зажимчають свою необходимость: воть отчего люди толкують свое, а дъйствительность идеть своей дорогой, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нея. Привычка мало-по-малу делаеть дюдей равнодушными къ явленію, которое вначалѣ поразило ихъ, и со временемъ они начинаютъ не только считать это явление естественнымъ, но даже и приносить ему дань удивленія и восторженныхъ похвалъ. Таково теперь во Францін положеніе Жоржъ Зандъ, какъ пивательницы; но не таково было ен положение назадъ тому нѣсколько лѣтъ. И что же? явись другая писательница съ такимъ же геніемъ, —и на нее сперва польется обильный дождь клеветь, браней, оскорбленій, лжи,--и все это во имя будто бы оскорбленной ею морали, и при всемъ этомъ будутъ раскупать ея сочиненія и твердить ихъ наизусть: а потомъ клеветы, лжи и брани умолкнуть, сменившись на восториъ и удивленіе..! А въ то же время сколько женщинъ-

ппсательницъ въ духѣ общественной морали, ппчкающихъ свои сочинения пошлыми сентенціями, пройдутъ незамѣченныя, пеудостоенныя пичьего вниманія!..

Сказанное нами не можетъ имъть примънения къ русской литературъ. У насъ литература имћеть совећмъ другое значеніе, чемъ въ старой Евроив. Тамъ она-выраженіе мысли, служащей поточникомъ жизна для общества въ каждую эпоху его историческаго развитія. У насъ литература-пріятное и полезное, невинное и благородное препровождение времени и для писателя, и для читателя. Исключенія изь этого правила такъ ръдки, что не стоптъ упоминать о нихъ. Наши ппеатели (п то далеко не вев) только одной ступенью выше обыкновенныхъ изобрѣтателей и пріобрѣтателей: наши читатели (и то далеко не всв) только одной стуненью выше дюдей, которые въ преферансъ и сплетияхъ видятъ самое естественное препровождение времени. Оттого у насъ всв писатели, и хорошіе, и худые, равно читаются и почитаются, равно имбють ограниченный кругь нравственнаго вліянія и равно скоро забываются. Исключение остается только за писателями, которые ужъ слишкомъ по илечу обществу и слинкомъ хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностямы: таковы, напримъръ, Марлинскій и Бенедиктовъ, которыхъ и теперь еще очень любяти. даже въ столицахъ, а въ провинціи знают: наизусть. Поэтому женщина у насъ смёл можеть пускаться въ писательство: если она не всегда можеть наденться стать слишкомъ высоко, зато никогда не должна бояться затеряться въ задинхъ рядахъ инсакъ. Эте темъ вериве, что женщины, когорыя когдалибо нускались на Руси въ авторство, всегда обладали извъстной степенью образованности, знаніемъ хоть французскаго языка; при этомъ имъ не мало служить и врожденный женской натуръ тактъ приличія и здраваго смысла; тогда какъ несравненно большая часть пишущихъ въ Россіи мужчинъ понала въ писатели нечаянно и безъ всякаго приготовленія, а потому и не знають даже первыхъ основаній грамматики своего родного языка, да и припадлежать еще къ такому кругу понятій, изъ котораго совсьмъ не ельдовало бы показываться въ печати. Въ доказательство справедливости нашихъ слова указываемъ на длинную вереницу сочинителей въ роде Милькева, Славица, Кузьмичева, Зотова, Воскресенскаго, Классена, Сигова, Антипы Огородникова, Тимоееева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражсковскаго, Ильина и многихъ другихъ, которыхъ перечесть недостанеть ни теривнія, ни времени, ни мъста въ статъв. Скажутъ: бездар-

ные люди всегда заваливали литературу мусоромъ своихъ сочиненій. Правда, и преждевъ добрее классическое время нашей литературы, бездарныхъ писакъ такъ же, какъ и теперь, было больше, чёмъ даровитыхъ писателей; но тогда не было между пишущимъ народомъ людей безграмотныхъ; тогда вев старались писать въ тонв порядочнаго общества и не воситвали въ стихахъ «россійскаго спеолдая» и «кабаковъ» (какъ это недавно сдълалъ Милькфевъ), и не восхищались темъ, что Ломовссовъ былъ подверженъ несчастной страсти невоздержанія, оть которой и погибъ рано. Въ прежнія времена пришли бы въ ужасъ отъ такого романтизма. Но въ изше время такъ называемый романтизмъ освободилъ писакъ отъ здраваго смысла. вкуса, грамматики, логики, порядочнаго тена, даже опрятнести и чистоилотности, и всв эти господа-сочинители сталь выбажать въ свеихъ романтически наредныхъ произведенияхъ на разбитыхъ носахъ, фонаряхъ подъ глазами, зинувахъ, лаптяхъ, мужицкихъ ј Бчахъ и поговоркахъ, кабакахъ и харченняхъ. II все это ими представляется и описывается безъ всякаго юмора, безъ всякой сатирическей цьли, но съ дебродушнымъ и добросовъстнымъ и сторгомъ и удивленіемъ къ своимъ неопрятивымъ вымысламъ; ссылаемся опять на того же Мильквева, который, вдохновивинсь сивухой, воспіль ее въ диопрамов, безътенией проини, важнымъ, торжественнымъ и патетическимъ тономъ.

Къ чести русскихъ женщинъ писательницъ надобно сказать, что между ними примвры подобнаго романтизма или безграмотности составляють истлючения изъ общаго правила, — пеключенія, которыя остаются за немногими теми, которыя, соблазнившись некоторыми журналами, пустились «гуторить» въ нихъ народной (т. е. огороднической) ръчью... Всё другія, обладая большимъ или меньшимъ талантомъ, все-таки отличаются большей или меньшей грамотностью, уваженіемъ къ приличію и отвращеніемъ къ площадной и харчевенной народности. Между тымь въ ихъ носледовательномъ явленій одна за другой есть нічто въ родъ прогресса, — и Анна Бунина, и Зененда Р-ва представляють двё совершенныя противоположности не по одному таланту, но и по направленію и духу ихъ произведеній. Здъсь мы считаемъ кстати сдълать короткое обозрвніе литературной діятельности русскихъ женщинъ. Въ каталогъ Смирдина мы встръчаемъ имена стъдующихъ женщинъ, занимавшихся переводами съ пностранныхъ явыковъ на русскій: Марья Супікова (перевела «Инки» Мармонтеля, въ 1778 году). Марыя Орлова (1788), Катерина и Анна Волконскія (1792), Корсанова (1792), Нилова (1793), Ба-

скакова (1796), Марыя Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1801), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтахъ (1810), Катерина де-ла-Маръ (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Аниа и Полагея Вельяшевы-Волынцовы, Въра и Надежда Кусовниковы Настасья Гагина, Катерина Меньшикова. А. Мухина. Изъ этого списка видно, что наши дамы рано приняли участіе въ стечественной литературв. Въ 1789 году были изданы «Лучшіе Часы Жизип Моей» Марын Поспъловой; а въ 1801 г. ся же «Черты Прпроды и Пстины, или Огтини Мыслей и Чувствъ моихъ». Еще ранте, именно въ 1774 г. (стало быть, щестьдесять девять лътъ назадъ тому), Катерина Урусова издала свою эпическую поэму въ пяти ибсияхъ «Поліонъ, или Просвѣтившійся Нелюдимъ». Александра Хвостова издала въ 1796 году «Каминъ и Ручеекъ». Москвины излали свои стихогворенія подъ заглавіемъ «Аонія» въ 1802 г. Дъвица Волкова излала въ 1807 г. свои стихотворенія. Наумова издала свои симотворенія въ 1819 году подъ пменемъ «Уединенной Музы Закамских Береговъ». Любовь Кричевская обнаружила особенную плодовитость въ сравнении съ печисленными нами писательницами: она издала «Мои Свооодныя Минуты, или Собраніе Сочиненій въ Стихахъ и Прозъ, Любови Кричевской, (Харьковъ. 1818); драму вь трехъ дійствіяхь «Нѣть Добра безь Награды» (Харьковъ, 1826); «Двъ Повъсти» (Москва, 1827) и «Исторические Анекдоты и Избранным Изреченія Извъстныхъ Людой» (Харьковъ, 1827). Хотя сочинение Анны Волковой «Утренняя Бесьда Сльпого Старца съ своей Дочерью» издано въ 1824 году, но, по напвному заглавію и, віроятно, по такому же содержанію, оно можеть быть сміло отнесено къ произведениямъ семисотъ-семидесятыхъ годовъ. Впрочемъ это произведение той же самой Волковой, которая въ 1807 году нздала свои стихотворенія, и въ 1826 еще писала стихи. Титова издала въ 1810 году драму въ пяти действінхъ «Густавъ Ваза, или Торжествующая невпиность ; Катерина Пучкова — «Первые Опыты въ Прозѣ» (Москва, 1812); а въ 1817 году Марыя Болотникова издала «Деревенскую Лиру, или Часы Уединенія». Но что вст эти писательницы передь знаменитой въ свое время Анной Буниной? Она писада въ журналахъ и потомъ отдельно издавала труды свои, писала и переводила въ стихахъ и прозв, занималась не только поэзіей, но п теоріей поэзіи. Въ 1808 году она издала трудъ свой подъ названіемъ «Правила Поэзін, сокращенный переводъ аббата Батё, съ присовокупленіемъ

россійскаго стопосложенія»; въ 1810 году издала она «О Счастін, дидактическое стихотвореніе»; въ 1811 г. издала она свои «Сельскіе Вечера»; въ 1809-1812- «Неопытную музу Анны Буниной» въ двухъ частяхъ; въ 1819-1821 вышло «Собраніе Стихотвореній Анны Буниной» въ трехъ частяхъ. Знаменитьйшее произведение Буниной была нравственная поэма ея «Фаетонъ». Она, кажется, перевела также и «Науку о Стихотворствъ » Буало и вообще не уступала графу Дмитрію Ивановичу Хвестову ни въ таланть, ни въ трудолюбін, ни въ выборт предметовъ для своихъ пъснопъній. Собраніе стихотвореній Анны Буниной было издано Россійской Академіей. Но и Буниной не оканчивается еще блистательный списокъ старинныхъ нашихъ писательницъ. Есть еще одна, не менње знаменитая, хотя и менње извъстная. Знаете ли вы дівниу Марью Извікову? читали ли вы романы дъвицы Марін Извъковой?... Если вътъ, то бътвте въ киржную давку, попросите книгопродавца порынься въ его погребахъ и кладовых т — этпъъ книжныхъ кладбищахъ- и отыскать рамъ романы дівины Маріи Извіковой, если ихъ еще не събли мыши, и прочтите вхъ какъ можно скорте. Чтобъ помочь вамъ въ вашихъ поискахъ, мы попменуемъ ен романы. Ихъ немного, всего три, да зато куда хороши! «Эмилія, или Печальныя Слёдствія Безравсудной Любви» (4 ч. 1806), «Милена, или Ръдкій Примъръ Великодушія» (1809), «Торжествующая Добродётель надъ Коварствомъ и Злобой» (3 ч. 1809). Каковы одни заглавія—такъ и дышатъ чистейшей нравственпостью! А содержаніе — еще лучше, еще правственнъе, хотя, надо признаться, и невообразимо скучно. Его составляють, происшествія, въ которыхъ дійствують лица безъ образа; герои же, а особенно героини отличаются необыкновенной говордивостью. Такъ, напримъръ, вы уже знаете черезъ самого автора, что тогда то и тогда-то было съ героиней: нътъ, она сама начнетъ намъ пересказывать, и гораздо длиннье, чымъ авторъ уже разсказалъ вамъ, хотя и самъ авторъ не любить выражаться коротко. Романы Извъковой, вром'ь чистыйшей правственности, насквозь проникнуты еще и нѣжнѣйшей чувотвительностью и, въроятно, многихъ слезъ стоили они прекраснымъ читательницамъ того времени, теперешнимъ почтеннымъ нашимъ тетушкамъ и бабушкамъ. И неблагодарное потомство забыло дівницу Марью Извъкову, забыло совствы!.. Что жъ послъ этого прочно подъ луной? Гдь Греція, гдь Римъ? спрашивалъ Байронъ въ своемъ «Чайльдъ Гарольдь»; где романы девицы Марын Извъковой? часто спрашиваю я самого себя съ глубокой тоской и печально смотрю на со-

временным произведения русской литературы . Увы! вездъ мрачное царство смерти, вездъ ея ужасное владычество, вездъ-даже и въ кинжномъ мірѣ! Эта мысль съ особенной силой поражаеть насъ, которые столько пережили, еще не успѣвъ состариться, которые съ такой надеждой, такой гордостью встрътили столько великихъ произведеній, теперь уже умершихъ для свёта. Гдё теперь всь эти «киргизскіе» и другіе «плынники»? гдъ все это множество романтическихъ поэмъ, длинной вереницей потянувшихся за «Кавказскимъ Пленинкомъ» Пушкина и «Чернецемъ» Козлова? Увы! не только эти скороспѣлыя произведенія недопеченаго романтизма, тогда такъ восхищавния насъ, не только они не могуть теперь останавливать нашего вниманія, по мы не нашли бы въ себъ достаточной отваги, чтобы перечесть и «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказскаго Пленника» мы теперь перелистываемъ съ улыбкой. Гдв теперь вравоописательные и вравственно-сатирическіе романы Булгарина, гдѣ его пресловутый «Иванъ Выжигинъ», котораго такъ сильно бранили назадъ тому летъ четырнадцать?-Гдѣ «Черная Женщина» Греча и «Фантастическія Путешествія з барона Брамбеуса? Все тамъ же, гдв и «Корсаръ» Олина, и «Киззъ Курбскій» Бориса Ф(Ө)едорова, и романы дъвины Марын Извъксвой!.. Давно ли «Московскій Телеграфъ» казался чудомъ учености, глубокой философіи и здравой критики; давно ли казалось, что въ своемъ ходѣ онъ опережалъ самое время? Давно ли «Юрій Милославскій» считался великимъ національнымъ романомъ? А гдъ слава нашихъ романтическихъ поэтовъ? И кто не считался назадъ тому около двадцати лѣть, кто не. считался тогда великимъ романтическимъ поэтомъ? Даже Шевыревъ и самъ считалъ себя, и другими многими считался поэтомъ -и все это за довольно илохіе стишонки. Давно ли этоть великій мужь россійской словесности хлопоталъ о введенін въ русское стихосложение скрипучихъ октавъ? И какъ напрасно теперь силится онъ, помия старину, блеснуть то плохимъ стихотвореніемъ, то неслыханно оригинальной критической статьей? И какъ напрасно вмёстё съ нимъ, помня доброе старое время, Языковъ и Хомяковъ. стараются спастись отъ волнъ Леты, хватаясь за обломки утлаго въ славянской журналистикъ челнока-«Москвитяннна»... А колоссальная слава Марлинскаго и Бенедиктова-гдѣ же теперь она, если не тамъ. глѣ слава романовъ дівнцы Марьи Извіковой?

Съ появленія Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщинъ-писательинцъ; но изв'єстных вименъ между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, д'яз-

ствовавникъ въ началъ зарождающейся литературы, пользуются извъстностью даже и безъ отношения къ ихъ таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтобъ получить въ ней почетное имя, аужно имъть замъчательный талантъ. Итакъ, им помнимъ въ Пушкинскій періодъ русской литературы только четыре женскіл ямени: кпягини З. А. Волконской, которой Пушкинъ посвятилъ своихъ «Цыганъ», Лисицыной, Готовцевой и Тенловой. Въ стихотвореніяхъ трехъ посліднихъ проглядываеть чувство, особливо въ стихотвореніяхъ Теплозой; это уже большая разница оть произведеній прежинкъ стихотворицъ: то были плоды невинныхъ досуговъ, поэтическое вязапіе чулокъ, риемотворное нитье, а здёсь уже проблесинвала поэзія. Правда, помянутын нами стихотворины мало писали, и только стихотворенія одной Тепловой собраны въ отдъльную книжку-малютку; но можетъ на быть плодовита поозія, основанная не на чысли, а на одномъ непосредственномъ чувствъ?... Чувства инкакъ нельза отнять у стихотвореній Тепловой, и это чуветво высказывалось у ней въ болте или менње поэтическихъ стихахъ. Напомиимъ здёсь нашимъ читателямъ хоть одно стихотвореніе Тепловой; возьмемъ наудачу такъ-называвичеся «Къ сестрі».

> Когла наступить часъ желанный Разлуки съ жизнію туманной, И отъ вемныхъ тяжелыхъ узъ Я равнодушно отложусь: Миръ въчной жизни, тихій, ясный, Тогда почіеть на чель: Но пережить тебя ужасно, Покинуть тяжко на землъ! Тогда въ душв, для услажденья Минуты смертнаго томленья, Я положу завъть святой. И жди меня въ часы полночи, Когда людей смежатся очи. И мъсяцъ встанетъ надъ ръкой, Приду на краткое свиданье, Скажу, что я узнала тамъ. И замогильныя желанья, И тайну неба передамъ.

Оставн въ сторонѣ ребяческую мысль этого стихотворенія, кто однако же не согласится, что оно вылилось изъ души и полно чувства?

Теперь скажемь по нёскольку словь о кенщинахь-писательницахь, явившихся въ послёднее время. Елизавета Кульмань оставила послё себя претолстую книгу, свидётельствующую о ея необыкновенно возвышенной душё, страстной къ изящному и умёвшей черезъ строгое и основательное взучене обрёсти въ эллинской поззін осуществленный идеаль этого изящнаго, но вмёсть съ тёмъ свидётельствующую и о томъ, что любовь къ поэзін и способность пони-

мать ее и наслаждаться ею не всегда одно н то же съ талантомъ поэзіп.- Навлова (уровденная Япишь) обладаеть необыкновенным в даромъ переводить стихами съ одного языка на другой; съ равнымъ успѣхомъ переводить она съ англійскаго, німецкаго и францувскаго языковъ на русскій, и съ русскаго языка на нъмецкій и французскій. Жаль только, что этому превосходному таланту Павловой переводить не соотвътствуеть ея таланть выбирать пьесы для перевода. Такъ, напр., съ англійскаго она перевела на русскій нѣсколько шотланденихъ и англійскихъ народныхъ балладъ, которыя, несмотря на превосходный переводь, не могутъ имъть на русскомъ инкакого значенія, именно потому, что онів-народныя. На пъмецкій языкъ вмість съ нікоторыми ньесами Пушкина перевела она приоторыя прест Напиова и Хомикова, и темъ самымъ, несмотря на превосходный переводъ, отбила охоту у нѣмцевъ интересоваться русской поэзіей. И въ то же время Павлова съ такимъ удивительнымъ искусствомъ передала на французскій языкъ, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую Дѣву и Ипплера. Однимъ словомъ, если бъ способность выбора соотвътствовала ен таланту, Павлова своими превосходными переводами усвоила бы себъ прочную славу не въ одной только русской литературъ.-Графиня Е. П. Растоичина, выступившая на литературное поприще съ 1835 года, въ первыхъ опытахъ своей поэтической двятельности обнаружила много чувства и одушевленія, при отсутствін, вирочемъ, какой бы то ни было могучей мысли, которая проникла бы собой всв ен произведения. То, что въ стихотвореніяхъ графини Растоичиной можеть инымъ показаться мыслыю, есть не что иное, какъ отвлеченныя понятія, одътыя въ более или менее удачный стихъ.. Это особенно замътно въ ея послъднихъ стихотвореніяхъ (начиная съ 1837 года по ныпѣшнее время), въ которыхъ нельзя узнать прежняго стиха даровитой стихотворицы, и въ которыхъ вев мысли и чувства кружатся, словно подъ музыку Штрауса, и скачуть, словно подъ музыку моднаго галопа, или около я автора, или въ заколдованномъ кругу свътской жизни, не выходя въ сферу общечеловъческихъ интересовъ, которые только одни могуть быть живымъ источникомъ истинной поэзіп. — Въ 1839—1840 годахъ были изданы въ прозанческомъ русскомъ переводъ стихотворенія графина Сары Толстой, писанныя ею на нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ. Эти стихотворенія понятны только въ паломъ и въ связи съ жизнью юной стихотворицы, похищенной смертью на восемнадцатомъ году ея жизни. Всв эти стихотворенія проникнуты однимъ

чувствомъ, одной думой, и то чувство-меланхолін, та дума-мысль о близкомъ конці, о тихомъ поков могилы, украшенной весенними цветами. У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказались поэтпчески. Стихотворенія Сары Толстой недьзя читать какъ только произведенія поэзін; выбств съ тыть они и поэтическая біографія одной изъ самыхъ странныхъ, самыхъ оригинальныхъ, самыхъ поэтическихъ и по натуръ, и по судьбъ, и по таланту, и по духу личностей. Это прекрасное явленіе промелькнуло безъ сліда и памяти. Да в кому нужно у насъ замвчать такія явленія, не состоящія ин въ какомъ классь?... Можетъ быть, въ этомъ случав заслуженная извыстность Сары Толстой много потеряда отъ того, что ел стихотворенія изданы не для публики, а для твенаго круга ея родныхъ и знакомыхъ, и при томъ въ довольно плохомъ переводъ и съ дурно написаннымъ предисловіемъ. - Къ замічательнымъ явленіямъ послъдняго времени русской литературы принадлежать повысти Жуковой. Въ нихъ много чувства, и онв отличаются прекраснымъ разсказомъ: воть ихъ неотъемлемыя достопиства. Но выбсть съ темъ оне чужды проніп, жизнь въ инхъ представляется не въ ея собственномъ цвъть, а раскрашенная розовой краской поддільной идеализаціи, и оттого характеры дыйствующих в линъ пиогда невыдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замъчается отсутствие цълаго, при прекрасныхъ частностяхъ. Однимъ словомъ, даровитая Жукова принадлежить къ тому разряду писателей, которые изображають жизнь не такой, какова она есть, следовательно, не въ ея истинв и двиствительности, а такой, какой имъ хотелось бы ее видеть. Но при всемъ этомъ въ повестяхъ Жуковой уже видно какъ бы невольное стремление, вслилствіе духа времени, пскать сюжетовъ въ дъйствительной современной жизни и заботиться объ естественномъ изображении подробностей быта и ежедневной жизни героевъ, сообразно съ ихъ положениемъ въ общестев и степенью ихъ образованности. Вообще главное достопиство новъстей Жуковой — теплота чувства, и главный ихъ недостатовъотсутствие такта дъйствительности.

Нельзя сказать, чтобъ въ повъстихъ Зенеиды Р—вой русская повъсть достигла, талантомъ жениницы, своего полнаго развити, чтобъ она стала выраженемъ созръвшей мысли и върной картиной современиаго общества; но въ то же время нельзя не сказать, что ни одна изъ русскихъ писательниць не обладала такой силой мысли, такимъ тактомъ дъйствительности, такимъ замъчательнымъ талантомъ, какъ Зенеида Р—ва. Создакная ею повъсть, какъ ез талантъ

в жизнь, остановились на полудорог и не дошли до своего полнаго и конечнаго развитія. Мы не хотимь и упоминать о полнот чувства, которымь проникнуты повъсти Зененды Р—вой: это должно само собой подразумъваться, когда дъло идеть о сильном талантъ: какого же порядочнаго математика хвалять за способность комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступия къ тому, что составляеть существенное достопиство повъстей Зененды Р—вой—къ куъмысли.

Въ пстинцо-поэтическихъ произведенияхъ мысль не явлиется отвлеченнымъ понятіемъ, выраженнымъ догматически, но составляетъ ихъ душу, разлитая въ нихъ, какъ свътъ въ хрусталь. Мысль о поэтических в созданіяхъ -это ихъ навосъ, или патосъ. Что такое павосъ? -- Страстное проинкновение и увлечение какой-нибудь идеей. Отсюда происходить в слово «патетическій». Что вызывается «патетическимъ» въ драмъ? -- Энергія раздра женнаго чувства, которое бурными волнами: огненной ръчи изливается изъ устъ дъйствующаго лица. Въ такихъ монологахъ всегда видно трепетное, страстное проникновение дъйствующаго лица той изеей, которая составляеть собой исвидимую пружину всей его дъятельности, всей эмерти его воли, го товой на все для достиженія своей ціли Вотъ этоть-то наоосъ и составляеть собой базись и фонъ твореній всякаго замічательнаго поэта. Что же составляеть навось повъстей Зенепды Р-вой?-Безъ сомивнія, ли бовь, ибо всв ен повъсти основаны исключительно на одномъ этомъ чувствъ. Но любовь есть понятіе слишкомъ общее, которое у всякаго истиннаго таланта должно принять болье или менье индивидуальный оттынокъ или представлиться подъ особенной точкой зрвнія. Поэтому мало сказать, что любовь составляеть навось повъстей Зенеиды Р-вой, надо прибавить-любовь женщины. Всв повъсти этой даровитой писательницы проникнуты однимъ страстнымъ чувствомъ, одной живой идеей, одиныъ могучимъ созерцаніемъ, не дающимъ нокон автору и тревожно его наполняющимъ, - созерцаніемъ, которое можно выразить такими словами: какъ умъють любить женщины и какъ не умьють любить мужчины. Итакъ, основная мысль, источникъ вдохновенія и завітное слово поэзін Зененды Р-вой есть апологія женщины и протесть противъ мужчины. Обвинимъ ли мы ее въ пристрастін, или признаемъ ея мысль справедливой?... Мы думаемъ, что справедливость ея слишкомъ очевидна, и что намъ лучне попытаться объяснить причину такого явленія, чёмъ докавывать его действительность.

Овинемъ бъглымъ взглядомъ содержаніс

вськъ повъстей Зененды Р-вой. Перзая-«Пдеалъ». Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волей родныхъ въ позорное рабство продажнаго брака, обращаеть всю силу страстнаго стремленія своей любящей натуры на восхитившаго ее своими созданіями поэта; и потомъ, самымъ ужаснымъ для себя образомъ, узнаеть, что этоть поэть, ея идеаль, безсовъстно нградь ею, завлекая ее мнимой своей взаимностью. Это открытіе стопло ей влой горячки и потомъ полнаго разочарованія въ возможности какого бы то ни было счастья на в млѣ; а поэгу, пдеалу. это ровно ничего не стоило-онъ остается здоровъ и счастливъ вполнъ... Вотъ каковы мужчины въ любви! А женщины? -- Посмотрите, какъ описываетъ авторъ, своимъ цвътистымъ и энергическимъ языкомъ, состояніе бідной, разочарованной геронии ел повъсти:

. инкиж ко в несе в в курнти окубоком видини В она въ нервый разъ выпорхнула изъ теплаго гиъзда; ей представились небо, красное солице и міръ Божій; какъ радостно забильсь ся сердце, какь затрепетали крылья? Заранъе она обыкмаеть ими пространство; заранћа готовител жить и съ первымъ стремлениемъ попадается въ руки ловчаго, который не окозываеть ел цвиями, не запираеть въ клотко, поль, онъ выкалываеть ей глаза, подръзываетъ крылья, и бедная живеть вь томь же мірть, гдт были ей объщалы сво бода и столько радостей; ее грысть то же солице, она дышить тъмъ же воздухомъ, но рвется, тоскуеть и, прикованная кт. холодной земль, можеть только твердить: не для меня, не для меня! Если бъ заперли ее въ же гваную штвику, она бы исклевала ее и пробилась на волю, или, метаясь, израненная остріемъ желіза, безъ сожальнія разсталась бы съ остальной половиной жизни, когда лучшая половина у велогията. Но она не въ клатка; не кранкія станы окружають ее; она свободна и между тъмъ ввчная мгла, ввчное бездъйствіе-вотъ удъль моей птички! Воть удълъ Ольги".

Героиня повъсти «Утбалла» встив жертвуеть —даже жизнью, ръшаясь на страшную смерть отъ руки дикихъ изверговъ, —чтобъ доставить милому минуту упоенья любовью. И Утбалла, эта очаровательная калмычка, — гибнеть жертвой своей великолушной ръшимости; а ен возлюбленный, тоть, кому пранесла она въ жертву молодую жизнь свою? — Черезъ итсколько лъть его видъли въ Петербургъ, въ чинъ полковника, гулнющаго по Англійской набережной подъ руку съ преместной женщиной... Кто она, эта женщина — родственница или подруга жизни? «Которому извъстію върить?... (говорить авторъ) кажется, второе достовъриъе!...»

Въ повъсти «Медальонъ» представлены двъ великодупныя, любящія женщины противъ одного негодия, изверга-мужчины. Одна изъ нихъ — жертва обольщенія коварнаго свътскаго человъка, ослъпла отъ слезъ, узнавъ его въроломство; другая, сестра ея, зав е

каетъ его тонкимъ кокетствомъ, влюбляетъ въ себя, и когда онъ готовъ на все, даже жениться на ней, отказываясь отъ выгодной партін, она читаетъ ему при многочисленномъ обществі, будто бы сочиненную ею повість, а въ самомъ ділів—разсказъ о его преступномъ поступкі съ ея сестрой; открываетъ мелальонъ и показываетъ ему портретъ его жертвы, своей сліной сестры... Модный извергъ вполнів почувствовалъ ядовитую горечь женскаго миценія...

Въ повъсти «Судъ Свъта» представленъ мужчина, способный къ любви на жизнь в на смерть, но все-таки не умъющій любить: недостатокъ довъренности и дикая, звърстав ревность къ любимой женщинь увлекають его къ безумному убійству и губять навссила предметь его любви. А эта женщина умъщ любить—и зато погибла жерткой того, кого любиль

«Теофанія Аббіаджіо» — рышительно лучимя изъ вебхъ повыстей Зенеиды Р—вой есть самая злая сттира на мужчинъ, самая неумодимая улика имъ въ ихъ тупости и близорукости въ дълъ любви. Александръ Долиньи, герой поврети, человъкъ съ глубокимъ чувствомъ, съ благородной душой, съ характеромъ не только возвышеннымъ, но и сосредоточеннымъ, непоколебимо твердымъ.и несмогря на все эго, въ вопросв о любви онъ такъ же ничтоженъ, такъ же пошлъ, какъ н всь вообще мужчины.-- И зато въ какомъ колоссальномъ величін является передъ нимъ Теофанія, которую онъ въ мужской слінотв своей считаль за натуру холодную и неспособную къ любви, и которую онъ промвиялъ на светскую кокетку правда, не лишенную страсти, но пустую и мелочную... Какъ жалокъ и смѣшонъ этотъ Долиньи, сконфузившійся оть вопроса своего знакомаго о висьвшемъ у него на фракъ орденъ и догадавнийся изъ разскиза знакомаго, какой глубокой страстью горбла къ нему Теофанія... И какъ возвышенна эта Теофанія въ ея молчаливомъ и гордомъ страданіи, въ ен свободномъ примиреніи съ мыслью о безплодно погибшей жизни и о разрушенныхъ навъки лучшихъ надеждахъ ея!..

Вь «Любпнькь» опять мужчина, не умёющій понять любимой имъ женщины, сліпой и ограниченный въ ділів любви, несмотря на всів свои достоинства въ другихъ отно-шеніяхъ, несмотря на то, что онъ—человікъ благородный, душа восторженная и любящая... И опять женіщина подавляеть мужчину сво-имъ великодушіемъ, своей безграничной преданностью и свётлымъ самоножертвованіемъ въ ділів любви...

И воть мы насчитали уже шесть повъстей, прониклутыхъ все одной и той же мыслью. Есть, правда, у Зенеиды Р—вой двъ

повісти, въ которыхъ мужчины показаны даже очень и очень передочными людьми. Въ «Джеллалединь» двло предоставлено даже совствиь наобороть. Иламенный, мечтательный, благор дный татарскій князь ділается жертвой своей безумной страсти къ пустой, легкой женщинь. Сочинительница говорить отъ себя въ концѣ, что она встрѣтила геронню своей повъсти уже бабушкой и старой силетницей, лицемърной моралисткой. По не довъряйте въ этомъ случав искренпости сочинительницы: подлъ пустой жепщины она вь своей картинь искусно помьстила интересную фигуру молодой татарки Эмины, которая... но мы лучие напоминмъ о ней чигателямъ словами самого автора. Описавии погребеніе ошибкой убитаго Джеллалединомъ Вылоградова, сочинительница продолжаеть:

"Неподалеку оттуда, у взаморья, гдв меж го грудами камней растуть можжевельникъ и кольчій терпъ, валялось другое тъло, не удостоенное даже погребенья... Ужасны были черты поколенка, въ которыхъ самая смерть не могла воз становить спокойствія; на посинъломъ лицъ, въ полуоткрытыхъ глазахъ еще отражались страсти и горе; одежда его была изорвана, грудь обнажена и облита кровью, въ широкой ранъ торчало еще лезвіе кинжала, пальцы замерли и окостеятьи, кръпко сжима: рукоить...

"Напраено Эмина молила татаръ и русскихъ предать тьло несчастного земль: магометане видъли въ немъ въроотступника и справелливое мщение пророка; христіане отвергали, какъ преступника и самоубійну. Сердце, истерванное заживо людьми, осуждено было и по смерти на истерзаніе хищнымъ птицамъ. Одна върная подруга не покинула его; безъ слезъ, безъ стона она сидъла у трупа на камиъ, сметала сухіе листья, падавшіе ему на голову, и порой отгоняла ворона, который съ крикомъ опускался къ своей добычъ. Не скоро одинъ старый казакъ, тронувшись положениемъ молодой дъвушки, вырыль на томъ же мъстъ могилу и съ молитвой опустиль въ нее полуистивьшее тъло. Дъвушку ответи въ деревню, она убъжала; ее заперли, она избилась, порываясь на волю. Татары ръшили, что ею овладълъ шайтанъ, который загрызъ ихъ князя, и выпустили ее изъ деревни. Безуиная поселилась у ваморыя; ни осеннія бури, ни зимнія метели не могли прогнать ея; днемъ и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проважая мимо, бросали ей хлёбъ и спешили удалиться... долго бълое покрывало въяло у взморья и пугало суевърных в, наконецъ, и оно исчезло. Дъвушку нашли лежащей ницъ на могиль, пальцы ея врылись въ землю, даже роть быль полонь земли: видно, бъдняжка въ припад-къ безумія хотьла отнять у могилы ея достояніе —своего незабвеннаго, въчно милаго друга..."

И этотъ Джеллалединъ при жизни своей никогда не догадывался и не подозрѣвалъ, что Эмина любитъ его со всѣмъ пыломъ восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы замѣтить ему,—и вмѣсто Эмины привизался всей силой глубокаго, энергическаго чувства къ пустой, легкомысленной дѣвчопкѣ... Знаете ли что?—намъ кажетси, что

мы, назвавь эту повъсть исключеніемъ изъ общаго направленія вебхъ повъстей Зененды Р—вой, должны взять назадъ наше слово. Ивть, это еще болье злая сатира на мужчинь, чъмъ всъ прочія повъсти...

Вотъ другое дъто новъеть — Номерованная Ложа»; ся искренности можно повърпть, котя въ ней мужчина представленъ очень и очень порядочнымъ человъкомъ въ его отношенияхъ къ любимой имъ жениципъ. Но зато эта повъегь, съ такой счастливой развизкой, ужъ черезчуръ сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развизка, какъ всикая ложь, часто портитъ повъсть...

Содержаніе семи пов'єстей, такъ, какъ оне изложено нами, достаточно знакомить читателя съ наоосомъ ноззін Зепенды Р—вой. Теперь мы укажемъ на м'єста, въ которыхъ прямо и сознательно выговаривается задушевная мысль сочинительницы. Воть что говорить она въ конці пов'єсти «Джеллалединъ»:

"Отрадная мысль, что наши заботы, тревога пр летають какт гуль въ безгранцчности пустыни, вздымая лишь итсколько песчинокъ, пробуждая только слабый отголосокъ эха, и оставляють но себъ едва замътное потрясеніе въ воздухі, которое, разбътаясь въ невидимых кругахъ, все слабье, чтмъ далю отъ точки удаленія, исчеваеть подобно самому звуку въ пространствъ.

Но грустно думать, что въ этой бъдной связкъ дней, называемыхъ жизнью, такъ мало мгновеній, достойных в названія жизви! Грустно видеть, какъ часто души чистыя, возвышенныя, прекрасныя сродняются съ душами слабыми, мелочными, созданными только для матеріальнаго прозябанья въ болотахъ земныхъ. Опутанная нерасторгаемыми узами своихъ собственныхъ чувствъ, сильная не можетъ покинуть своей ничтожной подруги, она порывается съ ней къ поднебесью, хочеть унесть ее въ свою родину, отогръть ее лучами любви своей, облить ее своимъ блаженствомъ... Напраспо! душа слабая не окрылится, не взлетить изъ холодныхъ долинъ въ страны заоблачныя, порой, на мигъ восторженная любовью прекрасной подруги своей, она стремится взоромъ къ небесамъ, но ее пугаютъ н блескъ солнца, и стрълы молнін; она стращится доли сына Дедалова и, притягивая къ себъ свою невинную добычу, медленно губить ее или безжалостно разрываеть узы, связывающія ее съ нею, не номышляя о томъ, что узы тв срослись съ жизнью ея подруги, составлены изъ фибровъ сердца ея, и что, расторгая ихъ насильственной рукой, она убиваеть ея существованіе!.. Воть почти обыкновенная доля душъ, которыхъ люди называють возвышенными, прекрасными, и которымъ Провиденіе, давая всё способности, всю силу постигать, чувствовать и ценить счастье жиани, отказываеть только ... въ самомъ счасты!.. "

И роль чистыхъ возвышенныхъ и прекрасныхъ душъ, по мивнію сочинательницы, выпала преимущественно на долю женщинъ, тогда какъ роль души слабой досталась исключительно мужчинамъ. Хотите ли доказательства, что такъ именно думала даровитая Вененда Р—ва?—Вотъ ея собственныя слова:

"Любовались ли вы ипогда облаками въ часъ вечерній, когда они стелятся на небосклопъ, развиваются безпредфльной цфпью, и сквозь сумракть обманывають взоръ наблюдателя, рисуясь то стинми горами, то лисомъ, воздушнымъ дворцоми фен? И воть они сжимаются, ть сиятся и образуют. одну гр зную, черную тучу. Издалека несется глухой рекоть; онъ вырывается изъ груди ея, будто стонъ людекого предчувствія, и вдругъ огленная струя проразываеть мглу, извивается вижемъ, гаснеть, изрыгнувъ пожаръ и воду на оробі вшую землю. Безпрерывные удары грома котрясають воздухъ, окрестность вторить его нерокатамъ, дождь льетъ ручьями, вихрь ломаетъ деревыя, люди съ трепетомъ думають, что насталъ послъдній день міра. Не проходить часъ, - гроза умолкла, черная туча разсвялась и пе осталось никакихъ слъдовъ мятежа стихій: небо опять чисто и ясно, и земля какъ испуганное дитя улыбается сквозь слезы, которыя еще дрожать на ел лицъ. Еще часъ, и все возвратится къ прежиему спокойствію. Поэты до сихъ поръ донеживаются тайнаго нравственнаго смысла этого велика: представленія природы а я такъ думаю, что это просто-паредія печали и стчаянія мужчинъ.

"Но есть облако другого рода: оно медлени» вкопляется изъ наровъ сухой, безплодной почвы. ни одинъ живой источникъ, ни одко озеро не посылаеть ему должной доли, и, незамітное какъ твиь, оно скитается по поднебесью, не имъя силы на жить, ни умереть. Съ зарей вы видите его на востокъ: оно ожидаетъ появленія солица и, кажется, молить светило, чтобъ первые лучи истребили его, чтобъ огонь полудня растопилъ несчастную горсть паровъ. Солице всходить п гордо совершаеть свой путь, не замічая блізднаго облака. Въ часъ вечера, когда шаръ безъ людей опускается въ морскую пучину, вы видите то же самое облако на западъ; оно просится въ бездну, жаждеть утонуть въ ея холодныхъ объятіяхъ. Солеце снова отталкиваеть его, бросаеть въ лазоревое ложе, а облако, попрежнему печальное. одинокое, идетъ скитаться въ пустынъ подни бесной Это облако - печаль и отчанніе жен-

"Тоска женщины не пугаетъ людей бурными порывами: ея никто не видитъ и не замъчаетъ: она западаетъ глубоко въ сердце и точитъ его, какъ червь точитъ корень водяной лилін. Если веселье мелькнетъ случайно на лицъ страда лицы, ея улыбкой полюбуется равнодушный прохожій, какъ бълоситжными листьями цвътка, илавающаго на поверхности волъ, не думая даже о томъ, что въ корень бъдной лиліи всосался болотный червь, что въ груди ея гумитъный недугъ, что ядъ струится по всъмъ жинамъ, и что этотъ червь умретъ только подъ гнетомъ камея могильнаго".

Мы совершенно согласны съ авторомъ насчетъ превосходства женщинъ надъ мужчинами въ дъдъ любви: мы принимаемъ это превосходство за фактъ, не подлежащий никакому сомнънію, и только постараемся, какъ сумъемъ, объяснить причину такого явленія.

Качнемъ съ того, что женщина болве, чъмъ мужчина, создана для любви самой природой. Женщина—представительница земного, производительнаго и хранительнаго начала, тогда каки мужчина — представитель начала умственнаго, отвлеченного, олимпійскаго. Отсюда происходить великая разница въ семейственномъ значенін женшины и мужчины. Женщина-мать по призванию, по душт и по крови. Мать есть понятіе живое, дъйствительное, фактически-существующее; тогда какъ отенъ есть понятіе болье или менье условное, болье или менье относительное. Мать любить свое дитя серднемъ, кровыю, нервами, любетъ его всъмъ существомъ своимъ: ея любов: прежде всего физическая, естественная, слідовательно, любовь по преимуществу, любовь какъ любовь. Она носитъ свое дитя у себя подъ сердцемъ, девять мъсяцевъ пятаетъ и растить его своей кровью, чувствуеть въ себъ первыя жизненныя его движенія; оно, это дитя,-илоть отъ илоти ея и кость отъ востей ея; она рождаеть его на свъть въ мукахъ и страданіяхъ, и вміт того, чтобъ возненавидьть именно за нихъ-то, за эти муки и страданія, еще болье побить его. Это маленькое, слабое, врикливое, неопрятное и деспотическое существо съ перваго дня своего появденія на свёть делается предметомъ нёжнъйшихъ попеченій и неусыпныхъ заботъ своей матери: она любуется его безобразіемъ, какъ красотой; его красная, морщиноватая кожа только манить ея поцелун; въ его безсмысленной улыбкв она видить чуть не разумную рачь и готова начать съ нимъ говорить: ей не противно наблюдать за чистотой отого маленькаго животпаго; ей не тяжело не спать ночи. бодретвуя надъ его ложемъ. II она — бъдная мать — будетъ любить его всегда, и прекраснаго и безобразнаго, и умнаго и глупаго, и добраго и злого, и добродътельнаго и порочнаго, и славнаго и неизвъстнаго... Она равно рыдаеть и надъ гробомъ своего дитяти-младенца, и надъ гробомъ своего сына-старика или своей дочеристарухи. Ангелъ-хранитель младенчества дътей своихъ, она другь ихъ юности, возмужалости и старости. Нътъ жертвы, которой бы не принесла она для детей; ихъ счастье - ея счастье: ихъ несчастье-ея несчастье. Нать ничего святье и безкорыстиве любви матери; всякая привязанность, всякая дюбовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна въ сравненіи съ ней! Любовница, жена любить васъ для себя самой, ваша мать любить васъ для васъ самихъ. Ея высочайшее счастье видъть васъ подлъ себи, и она посылаетъ вась туда, гдв. по ея мнвнію, вамъ веселве; для вашей пользы, вашего счастья она готова рѣшиться на всегдашнюю разлуку съ вами. Конечно, такихъ матерей не много на бъломъ свътъ; но въдь и женщинъ тоже мало въ этомъ мірѣ, а много въ немъ самокъ... Совсемъ иначе любить отецъ своихъ детей. Во-первыхъ, онъ любить ихъ тогда, когда к мать ихъ любима имъ; во-вторыхъ, онъ на-

чинаеть ихъ любить только съ техъ поръ, жакъ они начнуть становиться и милы, и забавны. Ихъ крика и докуки онь не любить. нги вдлеев амкад ам врто набол, аминеотоН эгонзмъ, или рефлексія, и нькогда —природа. мно-ижохоп в и эм и ино-изад поможи-они продолжать мое имя-я прижиль ихъ оть моей милой — они обнаружнымоть больнія спозобнести-они много объщеють въ будущемъ.» -думаеть про себя дражаний родитель, -и онъ въ восторгь от в мысли, что онъ любитъ своихъ дътей, что онъ не только ивжиний супругъ, но и примърный отецъ! Правда. и отець межеть страстно любить дьтей своихъ, вогда его съ ними соединить правственное, духовное родетво; но такъ же точно можегъ онъ любитъ и прісмыша даже еще больше, тымъ собственныхъ дътей.

Что мать есть понятіе дійствительное, а отець — понятіе отвлеченное (говоря философекнить языкомъ), этому можеть служить доказательствомъ и то, что мать не можеть не знать, что именно ота сама, а не кто-инбудь другая, мать этого ребенка; ибо она девить місяцевь несила его подъ сердцемъ и въ болізнихь діторожденія пра извела его на світь... Отцы считають себя отцами дітей своихъ, опираясь только на свидітельстві жень своихь, не всегда непраложно истинномъ... Для всякаго человіжа — большое несчастье не знать свой матери; для млогихъ большое счастье — и знать своихъ отцьвь...

Всь люди равно родится для любви, и безъ любви ин для кого изъ людей пътъ ни истиннаго счастья, ни пстинной жизни, по любовь женщины есть бо ве любовь, чемъ любовь мужчины; въ любва женщины больше кровнаго, а потому и больше сграстнаго, -- тогда вакь вь любви мужчины больше мыслительнаго, если можно такъ выразиться. Давно уже было замъчено, что женщина мыслить сердцемъ, а мужчина и любитъ головой. Эту разницу въ характеръ любви того и другого пола показали мы въ разницъ любви матери и любви отца. Та же саман разница найдется и во всякой другой любви. Замъчено, что мужчины въ любви больше эгопсты, чемъ женщины. Если женщина эгоистка, она уже совстмъ не живетъ сердцемъ, не ищетъ любви и не требуеть ея; ен вся жизнь въ расчеть. Если же сердце женщины жаждеть любви,онъ предается мужчинъ со всьмъ самозабвеніемъ, со всёмъ безразсудствомъ сленого великодушія. Мужчина безь любви не любить жить и готовь на все жертвы и на всикое безразсудство, пока не достигь своей цели. Удовлетворивши своей страсти, онъ вспоминаеть о своей будущности, о своихъ обязанностяхъ, о святыхъ интересахъ своей души, и пр., и чемъ болье делается эгоистомъ, темъ болве видить въ себь герон. Отгого жен-

прины-конетки, женицины, умьющій владыть собой и сдающися не иначе, какъ долго мучивъ влюбленнаго въ нихъ мужчину, и даже вь связи съ нимъ умьющія мучить его, върнье и дольше втадьють его сердцемь. Мужчины не дорожать легкими нобъдами, хотя бы причина ихъ легкости заключалась въ прямоть и безхитростности преданнаго женскаге сердца. Женщины постояниве въ любви, к мужчины почти всегда первые охладываютт къ старой связи и жаждутъ предаться новой Эта способность внезанно охладъвать и в фугь чувствовать странную пустоту и безотв тность вы сердив, которое недавно еще было такъ полно и такъ дружно отвъчало біенію друга сердца, — эта несчастная способность бываеть для благородныхъ мужекихъ натуръ погочникомъ не только невыносимыхъ страданій, но и совершеннаго отчалнія. Женщины всегда готовы любить, -- мужчина можеть любить только при известной наегроенности своего духа; женщань япкогда и пичто не мъщаетъ любить; -- у мужчины есть много интересовь, могущественно борюжиниом ст любово и часто побътдающихъ ее. Женщина всегда готова дли замужества, независимо отъ ея льтъ и опыта; --мужчана только вы известным лага и при известномъ развитін черезь жизнь и опыть пріобрагаеть правственную возможность жениться; ему надо дорасти и развиться до нея; иначе онъ несчастивній человых чрезъ ивсколько же дней пость своей свадьбы. Женщина, вдруга охладьвшая къ своему мужу и увлеченияя рековой страстью къ другому. - есть исключение изь общаго правила; мужчина съ поэтическиживой чатурой, всю жизнь свою привязанный къ одной женщинь, -есть тоже очень ръдкое исключение. Все это совершенная правда; но, основываясь на всемъ этомь, еще не следуетъ изрекать ни безусловнаго благословенія на женщинъ, ни безусловнаго проклятія на мужчинъ: ибо все имъетъ свои причины, слъдственно, свое разумное оправдаціе.

Мы охотно соглашаемся въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изъ этого еще не слъдуеть, чтобъ женщина только на одно то и родилась, чтобь любить: напротивъ, изъ этого слъдуеть, что женщина подъ преимущественнымъ преобладаніемъ характера любьи п чувства создана действовать въ техъ же самыхъ сферахъ и на тыхъ же самыхъ поприщахъ, гдв действуеть мужчина подъ преимущественнымъ преобладаниемъ ума и сознанія. А между тімь общественный порядокъ обрекъ женщину на исключительное служение любви и преградилъ ей пути во всъ другія сферы человіческаго существованія. Гаремы только фактически принадлежать Восгоку: въ идећ, они — принадлежность и

просвъщенной Европы, и всего міра. Извъстно физіологически, что каждое наше чувство съ особенной силой развивается на счетъ другихъ чувствъ: потеривние слухъ лучше начинають видьть, ослышие - лучие силиать, тоныне осязать. Удивительно ли, что вся сила духовной натуры женщины выражается въ любви, когда у женщины не отнято только одно право любить, а всё другія человіческія права рішительно отняты? Удивительно ли вмъсть съ тьмъ, что тогда въ женщинахъ становится педостаткомъ именно то, что должно бы составлять ихъ высочайшее достопнство? Исключительная преданность люби дълаеть ихъ односторонними и требовательными: онв кромв дюбви не хотять признать ничего на свътъ и требують, чтобъ мужчина для любви забылъ всь другіе интересы-и общественные вопросы, и общественную деятельность, и науку, и искусство, и все на свъть. Это разрушаеть равенство: ибо тогда мужчина не совсёмъ безъ основанія начинаеть видіть въ женщині низшее себя существо. Не совстив безь основанія сказали мы: ибо дійствительно, какой скълало ее воспитание и разныя общественныя отношенія, она -- низшее въ сравненія съ нимъ существо, котя въ возможности, какой создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и не выше. Это неравенство рождаеть разныя отношенія одной стороны къ другой. Въ мужчинъ явлиется родъ презранія и мъ женіцинь, и къ чувству дюбви, а вследствіе этого охлажденіе, которое двлаеть невыносимой неразрывность связывающихъ ихъ узъ. Въ женщинъ, напротивъ, самая опасность потерять сердце любимаго ей человъка только усиливаеть ен любовь и двлаеть ее навязчивве и требовательные. Сверхъ того, продолжительность или неизмъняемость чувства можеть быть дорога и почтенна только какъ призракъ того, что объ стороны нашли другь въ друге полное осуществление тайныхъ потребностей своего сердца; иначе это -или простая привычка (дело тоже очень хорошее, если результать бываеть счастье), или донъ-кихогская добродътель, способная удивлять и восхищать только сухихъ и мертвыхъ моралистовъ-резонеровъ, да еще романтическихъ поэтовъмечтателей. Если внезапныя охлажденія чувства къ однимъ предметамъ и столь же внезанныя возгаранія чувства къ другимъ предметамъ, если они бывають действительно, вначить возможность ихъ заключена въ природъ сердца человъческого, и тогда они-не преступление и даже не несчастье. Ито способенъ понять это, тому всегда легче перенести подобный разрывъ, и тотъ всегда носяв него сохранить свое нравотвенное здоровье и свою опособность вновь быть счастанвымы любовые.

Изъ мужчинъ нѣкоторые это понимаютъ, и очень многіе чувствують это безсознательно; что же касается до женщинъ, изъ инхъ могуть понимагь это развѣ только одаренныя геніальной натурой. Женщина съ колыбели воспитывается вы убъждении, что она всю жизнь должаа принадлежать одному, принадлежать въ качествъ вещи. II потому нъкоторыя изъ нихъ иногда обрекають себя послѣ смерти мужа вѣчному вдовству-родъ индійскаго самосожженія на костр'в умершаго мужа!.. Влагодаря романтизму среднихъ въковъ, право, мы въ дель желщинъ ушли не дальше индійцевъ и турокъ!.. Итакъ, способность привязываться всеми силами души къ одному предмету зависитъ нь женщинахъ не отъ одной только природной способности къ любви, но оть нравственнаго рабства, въ которомъ держить ихъ общественное мивніе, и которому онв сами покоряются съ такой добровольной готовностью, съ такимъ даже фанатизмомъ. Получая воспитаніе хуже, чёмъ жалкое и пичтожное, хуже, чемь превратное и неестественное. скованныя по рукамъ и по ногамъ желъзнымъ деспотизмомъ варварскихъ обычаевъ и прилачій, жертвы чуждой безусловной власти всю жизнь свою, до замужества - рабы родителей, послъ замужества-вещи мужей, ечитая за стыдь и за гредат предаться вполив какому-нибудь нравственному интересу, напримерь, некусству, наукт. - опв. этп бедныя женщаны, всв запрещенныя имъ кораномъ общественнаго мивнія блага жизни хотять во что бы ин стало найти въ одной любви,и, разумвется, нечти всегда горько и страшно разочаровываются въ своей надеждъ. Изивнила мужчинь надежда на что-инбудь,сколько у него выходовъ изъ горя, сколько дорогь на поприще жизни, которыя могуть вести его из той ила другой цели! Пзивиниз женщань любовь, -- ей ничего уже не остается въ жизни, и она должна насть, погебнуть подъ бременемъ постигнато се бъдствія или умереть дунюй для остального времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь. Не говорите ей объ утвшении, не маните ее надеждой, не указывайте ей на очарованіе искусствъ, на усладу науки, на блаженство высокаго нодвига гражданскаго: ничего этого не существуеть для нея! Возвратите ей любовь любимаго ею, пусть вновь сидать онь подлё нея, да глядить въ упоенін страсти въ ся сіяющія блаженствомъ очи! Ведная, для ноя въ этомъ стольно счастья, тогда какъ только Маниловъ-мужчина способень найти въ этомъ все свое счастье...

Итакъ, даровитая Зененда Р—ва, сознавин существованіе факта, была чужда сознажія причикъ это факта. Но къ чести ся вадо знавать, что она глубоко понимала унк-

женное положение женщины въ обществъ и глубоко скорбкла о немъ; но она не видъла связи между этимъ униженныхъ положеніемъ женщины и си способностью находить въ любви весь емыслъ жизни. Мысль объ этемъ состоянія униженія, въ которомъ находится женицина, составляеть вторую живую стихію повістей Зененды Р-вой. И потому недьзя сказать, чтобъ весь навосъ ем порзін ваключался только въ мысли: какъ умћотъ любить женщины, и какъ не умъють мужчины дюбить; итать, онь заключается еще и въ глубокой скорби объ общественномъ унижении женицины, и въ энергическомъ протеств противъ этого униженія. Повъсть «Судъ Свъта» написана преимущественно подъ вліяність этой идел, которая однако жъ органически связывается съ идеей о высокой способности женщины къ безграничной любан. Повъсть «Напрасный Даръ» меключительно посвящена выраженію пдем объ общественномъ невольничествъ царицы общества, пенольничества столь великомъ и безвыходномъ, что для женщивы величай. шее несчастье имъть призвание въ чему-нибудь возвышенно-человическому, кроми любви. Въ повести «Идеалъ» эта мысль высказана прямо устами герония въ разговорв ен съ своей подругой:

"Но какой злой геній такъ исказиль преднавначение женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчинъ рядиться, плясать, владычествовать въ обществъ, а на дълъ быть бумажнымъ царькомъ, которому наяцъ кланяется въ присутствін зрителей, я котораго онъ бреслеть въ темный уголь наедний. Намы воздвигають вы обществахъ тропы; наше самолюбіе украглаєть пхъ, и мы не замъчаемъ, что эти мишурные престолы-о трехъ пожкахъ, что намъ стоитъ немного потерять равновъсіе, чтобъ упасть и быть растоптанной ногами инчего не разбирапщей толны. Право, иногда кажется, будто міръ Божій созданъ для оденкъ мужчичь: емъ открыта вселенияя со всеми тапиствами; для вихь и слава, и искусства, и познани; для вихъ своб до и вет радости жизни. Женщичу отъ колыбели сконывають дъпями приличій, епутывають ужаснымъ "что скажегь свыть?"и если ей надежды на семейное счастье но соудутся, что остается ей вив себя? Ея бъдное оградиченное восныталие не позволяють ой даже но--эноп дво в живіткив лимника вово дтаткар вода должна броситься въ омуть съвта или до могилы влачить осъцватное существоване!...

"— Или избрать мечту и привязаться ил ней всей силой дуни, влюбиться заочно, носыдать то почть зефирова вздахи и изъяснения свозму илосчу на два тысячи версть в интиться этог илалонической любовыю Не такь ли?"...

Первое странию нотому, что слинком серьеню, а второе страние нотому, что слинком момъ смънно м нешло—не правда ли?.. А между тъмъ все смаганное сочинительницев —такая счевидная, такая умасная мотина... Но воть еще изпально стрекъ изъ исновъза менщина въ новъети «Судъ Сейта»:

"При безпрестанномъ движеній войскъ я всюду слёдована за мужемъ: везде всегда была одинакова, не измънила ни мивній, ни поступковъ монхъ. Люди съ умомъ вездъ дарили меня винманіемъ; глунцы сплетали противъ моня нелъныя выдумки. Но есть третій сорть людей, наиболью онасный для всего, что выходить изъ круга обычнаго. Часто эти люди обладають умомъ и многими достоинствами, но умъ ихъ ни довольно силенъ, чтобы укротить владычествующее надъ ними самолюбіе, на довольно слабъ, чтобъ, ослъщившись дерзкой самоувъренностью, ставить собя выше прочаго видимаго творонія, Они чувствують свои недостатки, и всякое превосходство ближняго принимають . оскорбленіе; опи не могуть простить и тъни совершенства. О, эти люди с вачумленныхъ. Надъ пошлымъ злок дурака смінтся; по нкъ осторожныма тамъ, ихъ обдуманной правдоподобной г не могуть не върить. Эти-то вольноопред щіеся кандидаты въ генін и составляют ховное судилище: они-то наиболже ожес лись противь меня, и отъ нихъ разсъва ядовитьйшія въсти.

"Люди—двти, ввчио озабоченимя, ввчио суетящіяся. Торонясь за неуловимымъ "завтра", имвють ли они досугъ разбирать и раздагать сущность вещи, поражающей ихъ взоры?.. Мимоходомъ они бросають бытымй взглядъ на ся варужный видъ и только объ этой наружности упосять съ собой воспоминаніе. Не ихъ випа, что взоръ часто падаеть на предметь не съ настоящей точки зрфиія: они какъ видъли, такъ

равсудили и осудили Они прави!
"Горе женщить, которую обстоительства или собственная неопытная воля возносять на пьедесталь, стоящій на распутьи быгущихь за сустностью народовы! Горе, если на ней осгановится винманіе людей, если къ ней они обратять свое легкомысліс, ее наберуть цілью взоровь и сужденій! И горе, стократь горе ей, если, обольщенная своимъ опаснымъ возывшеніемъ, она взглянеть презрительно на голиу волиующуюся у ногъ ел, не раздь шть съ ней игрь ипристей, и не преклопить головы предъ елкумирами!
"Я поняла, наконець, эту великую истику, и отъ

этехъ указаній и выписокъ слинкомъ костаточно для того, чтобы читатели наши укидівли, какъ неизмірнмо выше всіхъ предшествовавшихъ ей писательнидъ, и въ стихахъ, и въ презъ, стоить Зенеида Р—их. Ен повісти не наполнены сладвими чувствованьниями и розовыми мечтаньниями; ибтъ, опъ проникнуты одной могучей мыслию, которая преслідовала ее всю жизнь и не давала ей покоя. Какъ авторъ, какъ пость, Зенеида Р—ва имъла бы право претывить къ себі эти стихи Лермонтова:

Я зналъ одной импь думы власть, Одну-но инименную страсть: Она, какъ червь, по миъ жила. Изгризла душу и сожгла.

Я эту страсть во тымв почной вскормиль слезами и тоской, Ее предъ кобомь и землой и имив громко признам И о прощеным на колю.

Веземысленным чувства и резовочькім чув-

() -

0-

To

0-

A,

0-

y

Ъ

нашей личер пурк. Право на общее вниманіе генерь могуть иміть только писатели, возвыснящієся до мысли. Зепенда Р -- на принадлежить мь тісному кругу такихъ писаталей и есть единственная у насъ писательница въ этомъ родо.

Теперь о степени таланта и художественномъ достоинствѣ повыстей Зепенды Р—вой. Одинъ журналъ, хвали слогъ Зепенды Р—вой и давая подъ рукой знать, что этимъ слогомъ она была обязана сколько своей понятливости, столько и замъчаниямъ, намекамъ и ос мъ его (журнала),—вотъ что между проговоритъ о Зепендъ Р—вой объявана

. говорить о Зенендѣ Р-вой, объявляя A00 посмертнымъ ен другомъ: «Ен Убталлюбт , «Джеллалединъ» и «Медальонъ» безрно-одив изъ лучинхъ повъстей, какія ями въ то время написаны въ Европъ: онъ Бщали русской словесности талантъ ислино-писательскій (?!), равный по оригипальности таланту Жоржа Занда (sic!), но еще болве пріятный и несравненно болве прочный (воть какь!).» Для знающихъ этотъ журналъ итъ ничего удивительнаго въ этомъ возглась: это тотъ самый журналъ, который шутить и потвиваеть наукой, искусствомъ, притчкой и правдой, и который и когда, упавъ на кольни, закричаль: «Великій l'öre! великій Кукольшикъ! Мивніе этого журнала э Зенендь Р-вой-явно шутка. Это доказывается и тымь, что онъ сътустъ, зачымъ изданы ссчиненія Зенепды Р - вой, не считан нхъ заслуживающими особениаго изданія; это же доказывается в языкомъ, которымъ написана рецензія о повъстяхъ Зененды Р-вой, Послушайте: «Эти забытыя (?!) вещи перебыють дорогу многому изъ того, что лругіе могуть вновь выдумать. Что вы теперь помните взъ сочиненій Зененды Р-вой? Возьмите книгу ч прочитайте вторичие, поемотрите, макъ это ново, какъ свежо, какъ благоухаеть теклой весной сердца, какъ всегда будеть свыжо, ново и благоухание, потому что эти страницы, полныя тески, страданья, огненныхъ, но неопределенныхъ желаній, вырвались изъ блестищихъ далекихъ обланъ (?) юной мечны, унали на землю съ дождемъ безотчетных слезъ (і), съ громсвими удерами мелодего сердца (!!), сезданнаго для благогодины страстей, стремившихся из высоному, из прекрасному, нь отвлеченному, пъ тому, чего не существуетъ на земль -блаженству ангеловъ, - пь счастью, которое нестигають едив только женидины, которымь онь врамо стараются окладеть к которое вычно оты нимъ ускользаетъ.» Протія этотъ наборъ слевь, кто не скажеть, что мивніе помянутаго журнала о сочтненіяхъ Зененды Р-вой-просто шутка или мистифинація?

Нать, мы не скажемъ, чтобъ Зепенда Р-ва

была по таланту выше Жоржъ Занда или равиялась съ нимъ; мы даже думаемъ, что между этими двумя талантами — неизмъримое пространство... Это только со стороны таланта, а между тымъ выдь талантъ не составляеть еще всего въ писатель: промв таланта, должно еще быть направление таланта, содержаніе его твореній. Такая погзія, какъ поззія Жоржъ Запда, приготовлена огромнымъ общественнымъ развитіемъ, нерешедшимъ черезъ многія изміненія п процессы историческіе; наши же писатели, даже н повыше Зененды Р-вой, подобно эхо, новторяють въ своихъ твореніяхъ отблески в отзвуки чуждыхъ намъ цивилизаціи и общественностей.

что у Зененды Р-вой быль таланть, к при томъ замѣчательный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ дарованій вь ивть никакого сомивнія, но что ся таланть не быль развить, что онь вычно колеба ил въ какой-то первиниельности-эго также правда. Воть почему ея повъсти имъють большой недостатокъ со стороны художественноста. Харакгеры дъйствующихъ лицъ не довольно ръзко очерчены и часто похожи другь на друга, разнясь только положеніемъ, въ какомъ описываетъ ихъ сочинительница. Подробности быта и колорить мыстности не довольно поражають своей върностью и яркостью. Но главный и существенный недостатокъ сочиненій Зененды Р-вой это-отсутствіе пронін и юмога и присутствіе какого-то проведціальнаго идеализма à la Марлипскій. Для доказательства справед інвости нашего мивнія возьмемъ для примъра повъсть «Плеаль». Полковница Гольцбергъ влюбляется заочно въ новаго п эта, начитавшись его произведеній; «но тщетно Ольга стремить къ нему душу и мысли свои; онъ высовь, далекъ и не замвчаеть ен въ толив своихъ поклоницъ.» Случилось ей по несчастью быть вь Петербурга из театръпри представления новой драмы ея «идеала». Когда вызвали автора (у насъ, вызваете, вызывають гродко и долго), щеки Ольги элгорвинсь багровымъ цвътомъ пылающел прови, и въ ту мичуту можно было приныть ее за жрочу дельфійскую, ожидающую съ унованісьь и тоской появленья духи.» Но поэть не вышель. Мужь зоветь Опыту долой, а она нь вибливь не двигается съ мвети изв своей ложи. Вдругь въ соседною лочу входить челогать, моторато привыствують, кинь автора пгранной пьесы, поздравдиють съ уситькомъ и называють Анатоліемь. Ольга всирикиваеть: «Анатолій», хватается за сипьку кресла. чтобъ не упасть, плачеть и не спуснаеть глазь съ своего «плеала»; а сочинительница слогомъ повъстей Мариневаго оправлываеть свею геропню въ ен скіонной

ныходкв. Вообще эта Ольга любыть выражаться въ обществъ восторженнымъ языкомъ. который, будучи неумъстенъ, всегда бываеть смёшонъ. На бале спросили ее, любигь ли она стихотворенія Анатолія Т-га; она отвъчала: «Люблю ли и? Укажите миъ женщину, которая не находида бы въ его чебесныхъ твореніяхъ отголоска собственныхъ чувствъ? которая не бредить имъ, не обожаеть его?» Подруга ея юности спрашиваеть у нея: неужели холодъ годовъ и оныта не остудилъ ем ребяческой страсти къ невнакомому человьку? Ольга отвъчаеть ей словно по книгъ: «Къ незнакомому человъ ку? Вфра! что это значить? И ты можень говорить, что онъ незнакомъ мић? Мив невнакомъ Анатолій? Мой пдеалъ? Мой поэтъ, котораго пъсин пробудили мое дътское воображение, одушевили его жизнью, образовали мою душу? Кто же услаждаль мое одиночество, кто утбиналь меня въ горф, кто удванвыть мон радости, какъ не онъ, не Анатолій? И ты говоришь, что я люблю невнакомаго мив человъка! Нътъ, я сродинлась съ каждой его мыслыю; я знаю вей изгибы его благороднаго сердца; я его обожаю; я пожертвую постедней радостью жизни моей, небогатой утъхами, послъдней каплей крови. я отдамъ душу свою для продолжения его жизни... Да, да; я люблю его, но я люблю по земною любовью, я люблю не человъка...» Такая любовь именно ребяческая и смінная любовь, а такой способъ выраженія очень сбивается на риторику. Да и вообще все это очень неестественно и неправдоподобно. Восторженная Ольга встрвчается съ своимъ «идеаломъ» въ одномъ знакомомъ домь; разъ онъ ин съ того, ин съ сего начинаеть ей объясняться въ любви, говоря ей «ты»: страницахъ на трехъ тянется самый фразистый разговоръ. Удивительно, какъ Ольга не захохотала, слушая всю эту натянутую галиматью; она даже повърила ей и увлеклась ею. Поэтъ скрылся на въсколько дней отъ Ольги, распустивъ слухъ о своей тяжней бользии. Въдная женщина ръшается уйти съ бала, чтобъ навъстить тайкомъ умирающаго поэта... Его не было дома,-- и Ольга прочла на его столъ письмо къ прінтелю, въ которомъ онъ смѣется надъ Ольгой и си любовью и съ цинической откровенпостью говорить о своихъ намеренияхъ. Ольга бросилась вонъ... Но вы сами можете прочесть повысть, если еще не читали ея, и увидъть, какъ ребячески-идеально и дътскинеправдоподобно ея содержание. Прибавимъ только, что когда эта повъсть была напечатапа въ одномъ журналъ, сцена возвращенія демой поэта была исполнена самыхъ грязныхт, циническихт подробностей, а поэть быль представленъ пьянымъ: это была

дружеская услуга досужаго журналиста, охотника поправлять чумій сочиненія. Въ изданія «Сочиненій Зененды Р—вой», печатавшемся въ подлинной рукописи покойной сочинительницы, эти позорныя для намяти женщины прибавки, разум'ются, исключены.

Развизка повъсти «Медальонъ» довольне изысканно основана на литературныхъ вечерахъ и чтеніяхъ посьтителей кавказскихъ минеральныхъ водъ, - черта, совершенно чуждая русскому обществу! Развизка повъсти «Судъ Свъта» чрезвычайно изысканно и натянуго основана из сходствъ лицъ и на qui pro quo, велъдствіе котораго неистовый обожатель геропни певаети брага ея приняль за ея любовника. Притомъ же героиня этой повъсти ужь черезчуръ ребячески и приторно идеальна, какъ это можно видъть изъ этихъ словъ ея: «Знаете ли что, если бъ въ ту пору какой-нибудь случай, возвративъ мив свободу, дозволилъ намъ открыть чувства наши предъ глазами всего свѣта, я отвергла бы соединение съ вами изъ опасенія гласности любви моей, изъ одной боязии, чтобъ двусмысленная ръчь людей. завистливый взоръ ихъ не осквериили ен чистоты, чтобъ ихъ нескремным улыбии, даже случайная неосторожность не оскорбили ея непорочности?» И естественно ли чтобъ паъ усть такой женщины вышли эти гремовых слова, свойственныя только душь великой в приной: «Судь свита теперь тяготиеть на насъ обоихъ: меня, слабую женщину, онъ сокрушилъ, какъ ломкую тросточку; васъ, о! васъ, сильнаго мужчину, созданнаго боротьем со свътомъ, съ рокомъ и со страстями людей. онъ не только оправдаетъ, но даже возвеличить, потому что члены этого страшнаго трибунала все люди малодушные. Съ позорной нлахи, на которую опъ положилъ голову мою, когда уже роковое желёзо смерти занесено падъ моей невинной шеей, я еще взываю къ вамъ последними словами устъ монхъ: Не бойтесь его!.. онъ-рабъ сильнаго и губитъ только слабыхъ...» Такія строки могуть вырываться только изъ-подъ пера писателей съ великой душой и великимъ талантомъ...

Героиня «Номерованной Ложи» не хочеть выйти за мужь за человъка, доказавшаго ей свою безграничную любовь и предавность,—не хочеть за него выйти, потому что еще живъ ен мужъ, который, ограбичее, разведся съ нею... Она—видите—боптем увидъть въ себъ илитвопреступницу, и выходить замужъ за своего обожатели тогда только, какъ прежній мужъ былъ убитъ гдъ-то на дуэли... Воть ужъ подлинно романтизмъ, который чи въ средніе въка удивить бы всёхъ своей нелёпостью!.. Но провинціи онъ нравится и теперь—разумѣется,

въ повъстяхъ...

«Джеллалединъ и по завязкѣ, и по колориту прѣнко отзывается марлинизмомъ...

«Любинька» при первомъ появленіи своемъ въ печати возбудила, какъ говорится, фуроръ въ публикъ. Неудивительно: повъсть эта, по содержанию и по характерамъ, самое пансіонское произведеніе. Одинъ только характеръ въ ней мастерски отделанъ: это характеръ здой мачихи, Антонины Михайдовны. Смішнів всіхь характеры Евгенія Задодьскаго и Валеріана Стральнева, особенно послёдняго, ибо онъ преуморительно идеаленъ и преидеально смёнюнь со своей Оттиліей, своими страданіями и своимъ ужасомъ при мысли о незаслуженномъ проклятін обманутаго отца, слабаго, полоумнаго старика. Характеръ Любиньки хорошъ отвлеченно, но не живымъ поэтическимъ образомъ. Завязка повъсти основана на недоразумъніи, которое могло бы разрѣшиться личнымъ свиданіемъ сына съ отцомъ, а развязка основана на Deus ex machina. Вообще повъсть и длиниа, и скучна. Сама сочинительница чувствовала это. Объщавъ ее въ нашъ журналъ, она прислада вмѣсто ен первую часть «Напраснаго Дара», объясняя въ письмѣ къ намъ причину этого такимъ образомъ: «можетъ быть, вамъ покажется страннымъ, что, объщавъ прислать готовую повесть, я посылаю ноловину другой, еще не совсемъ оконченной. Что дълать! Та повъсть, о которой и говорила, точно лежить у меня и ожидаеть только последней поправки, чтобъ явиться свету; но у меня, какъ дъти у капризныхъ матерей, есть повъсти любимыя и не любимыя. Та повъсть длинна, я долго работада надъ ней, она надовла мив-пусть полежить, забудется, тогда я опять примусь, окончательно исправлю ее и отпущу на волю.» Намъ, впрочемъ, весьма нравится одно мъсто въ «Любиныкъ»; оно не длинно, и мы можемъ его эдесь выписать: «Онъ поняль, что въ жизни человъка существенность, такъ унижаемая поэтами, одна существенна, следственно, одна можеть быть источникомъ всего прекраснаго, возвышеннаго, какъ и всего дурного; онъ понядъ, что эта существенность есть корень нашего бытія, корень нерѣдко грязный, всегда некрасивый, но дающій соки и силу лучшимъ цвътамъ міра-мыслямъ и чувствамъ человека; и что отъ насъ зависить облагородить происхождение растения, стараясь, чтобы цвёты его не были пустоцветомъ, чтобъ, пройдя пору цвѣтенія, они не разлетымсь напрасно по вытру, а дозрым бы въ илодъ пользы и добра.» Глубокая мысль!

Повъсти: «Судъ Божій» и «Воспомпианіе Жельзноводска» пиже всякой критики и не стоягъ упоминовенія. Это самая смізиная марлиніцина.

Лучшая повъсть Зененды Р—вой это безъ-Соч. Бълинскаго. Т. III.

сомнънія «Теофанія Аббіаджіо». Содержаніе ея глубоко, завязка, развязка и разсказъ благородно просты, при необыкновенномъ искусствъ, съ какимъ они выведены. Характеры очеркнуты превосходно, особенно характеръ героини. Слогъ новъсти-образцовый. Можно указать на одинъ только недостатокъ: зачемъ Долины разсказываетъ свою исторію подъ вымышленнымъ именемъ своего небывалаго друга, и кому же разсказываеть? — Ольгъ, которая знаетъ, о комъ идетъ рьчь, и Теофаніи, которая ничего не знаеть. Это замашка старинныхъ романовъ, эффекть довольно истертый. За исключеніемъ этого, вся повъсть — одинъ изъ перловъ русской литературы.

Несмотря на нѣкоторую изысканность и неправдоподобность въ завязкѣ, «Утбалла» кажется намъ дучшей повѣстью послѣ «Теофаніи Аббіаджіо»: въ ея разсказѣ много

увлекающей силы. Первая половина «Напраснаго Дара» нѣсколько изысканна по содержанію. Дѣвушка, мучимая призваніемъ къ поэзін, —мысль довольно отвлеченная, корень которой не дъйствительность, а рефлексія поэта. И не въ такомъ быту, какъ тоть, въ которомъ поместила сочинительница свою вдохновенную Анюту, неизбъжная гибель благородныхъ существъ происходитъ у насъ не столько отъ поэтического ихъ призванія, а отъ противоположности ихъ человъческихъ (гуманныхъ) натуръ съ окружающими ихъ животными натурами. Эта мысль проще, зато върнъе и болье годится въ основу повъстей, сюжеть которыхъ берется изъ міра русской жизни. Вообще вся первая часть «Напраснаго Дара» такъ и дышитъ какимъ-то бурнымъ порывистымъ, но невыдержаннымъ вдохновеніемъ, и потому она шевелить, будить душу читателя, но не удовлетворяеть ен. Въ ней есть что-то, но чего-то и недостаеть. Вторая часть была удовлетворительиве, но она не окончена и прервалась на самомъ интересномъ мъстъ. Мысль ен проще. Воть что писала о ней къ намъ сочинительница: «Первая и вторая части этой повъсти соединяются только одней идеей; межъ ихъ лицами и происшествіями ніть ничего общаго, это дві ставльныя фантазін на одинъ тонъ. Въ первой я говорила о силь умственной, во второй выражу силу чувствъ.» Значить: во второй части подъ напраснымъ даромъ разумьлось бы не призвание къ какому-нибудь искусству, а просто сильная способность чувствовать. Это было бы лучше.

Что сказали мы о первой части «Напраснаго Дара», то болье или менье можеть относиться вообще къ повъстямъ Зенеиды Р—вой. Почти во всякой изъ нихъ чувствуете стращную внугреннюю силу, и потомъ не видите

пележителі ныхъ результатовъ этой силы. Почти каждая изъ нихъ есть могучій взмахъ, но за которымъ не слёдуетъ столько же могучаго удара. Читая повёсти Зененды Р—вой, вы чувствуете, что любопытство ваше раздражено, вниманіе напряжено, вы виё себя, и съ замирающимъ сердцемъ ждете — вотъ явится оно, желанное слово, вотъ разгадается загадка, и вся путаница судьбы разрёнится въ ясную и опредёленную идею, а тревога души вашей—въ чувство полнаго удовлетворенія, — и вы остаетесь недовольвымъ и неудовлетвореннымъ. Отчего это?

Намъ кажется, что это объясняется жизнью даровитой писательницы нашей. Жена военнаго человъка, она слъдовала за нимъ изъ губернін въ губернію, изъ убзда въ убздъ, и случалось ей кочевать даже въ степяхъ Новороссін. Огдаленіе оть столичной жизни есть большое несчастье и для души, и для таланта: они или увядають въ апатіи, или въ бездъйствін, или принимають провинціальное направление, которое комизмъ полагаетъ въ илоской піутливости, а высокое-въ дътскомъ отвлеченномъ пдеализмъ. Какъ бы ни сильна была натура человъка и какъ бы ни великъ быль таланть его, но невозможно же ему долго бороться съ подавляющими впечатлъніями окружающаго его міра, и волей или неволей, болье или менье, ранье или позже, но долженъ же онъ принять на себя ихъ отпечатокъ. Зенеида Р-ва знала итальянскій, нъмецкій, англійскій и французскій языки, хорошо была знакома съ великими поэтами, писавшими на этихъ языкахъ: это видно даже п изъ эпиграфовъ, которыми испещряла она главы своихъ повъстей. И вмъсть съ ними ны находите эппграфы Кукольника и Бенедактова. Въ провинціи-навъстное дълоидеаломъ нувеллистовъ добродушно считаютъ Марлинскаго, идеаломъ лигиковъ-Венедиктова, идеаломъ драматурговъ-Кукольника, а идеаломъ юмористовъ-барона Брамбеуса... Мы знаемъ изъ достовърнаго источника, что дучшими повъстями на русскомъ языкъ Зенеида Р-ва считала «Амаллатъ Бека» Марлинскаго и «Блаженство Безумія» Полевого. Нельзя не сознаться съ горестью, что на ея повъстяхъ замътенъ отпечатокъ вліянія повъстей Марлинскаго и Полевого.

Но волотая руда блещеть и въ землянистой массъ. Яркій и сильный таланть Зененды Р—вой не могуть затмить недостатки въ ел произведеніяхъ. Таланть ел принадлежить ей самой; нед статки — обстоятельствамъ жизни. Не являлось еще на Руси женщины столь даронной, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература но праву можеть гордиться си именемъ в ег произведеніями.

Бенецда Р- ва, по натурѣ своей, чувствовала спльную потребность высказываться па бумагь; но она была чужда печатнаго самолюбія, и только вижиняя необходимость заставляла ее печататься. «Безъ этой необхедимости (писала она къ одному изъ своихъ знакомыхъ) ничто не принудило бы меня бросилься въ этотъ омуть и взять на себя несносное званіе женщины-писательнины. Опытность, пріобратенная ею въ прежних к литературныхъ ен сношенияхъ, особенно двлала для нея отвратительнымъ омуть печатной извъстности: это мы знаемъ изъ ел собственныхъ писемъ. Но и не одно это делало для нея несноснымъ званіе женщины-писательницы. Въ началъ нашей статьи мы говорили, какъ еще тернистъ путь женщиныписательницы въ Европъ. У насъ онъ не гладокъ по-своему, ссылаемся на свидътельство самой Зененды Р-вой:

"Въ обществъ такъ любятъ танцоровъ съ блестящими эполетами, что ихъ не подвергаютъ строгому разбору; помущицы и горожании принимаютъ ихъ съ благоволеніемъ, помъщин и горожане приглашають ихъ на объды и вечера, въ угожденіе своимъ повелительницамъ. Но жезы военныхъ,—о, это другое дъло! Судън женскаго роду осматриваютъ своихъ вновь прибывшихъ соперницъ не всегда лоброжелательнымъ окомъ, строго разбирають ихъ наряды, черты лицъ, характеровъ. Это двъ чуждыя между собой націи, двъ разпородныя стихіи—не легко и не скоре соединяются онъ въ одно дружное цълое.

Что же, если по несчастью одна изъ этихъ налетныхъ госпожь отличается чемъ-инбудь от в прочихъ, - красотой, талантами, богатство чъ.--Если влодъйка молва, опережая ее, прино итъ въсть о ней на новыя квартиры и еще до прівадь ея возбуждаеть любонытство, подстрекаеть с >перничество, язвить самолюбіе, задаетт осному зависти, — и эта тощая, желтолицая фурія зарая ве точить зубокь на незнакомую, но уже ненавистную жертву?- "Но что можеть такъ сильно расшевелить страсти женщинъ? Какое превосхолство, какое отличіе? " скажуть мои добрыя чит тельницы.—Ахь, Боже мой! повторяю: малелья... отступление или выступление изъ общаго круга обыкновенностей; рельефъ на гладкой ствив общества. Вообразите себъ поручицу чудной, пор. 4жающей красоты, капитаншу-уроженку Съвсоной Америки, переброшенную случаемъ съ бер :говъ Миссисини на берега Оки, вмъстъ съ милліономъ приданаго, - или хоть съ приложеннем ... какого угодно чина, писательницу, т. е. же щину, написавшую когда-нибудь въ досужій часъ двъ, три повъсти, которыя попались впослъдствін подъ типографскій станокъ

"Что! Капитания или поручица писательница!... Да это вздоръ! этого вътъ и быть не можетъ!—возразятъ миъ многіе и многіе, —правля, писала Жанлисъ, такъ она была придворамя, графиня, писала Сталь, —такъ отецъ ея быль прафиня, писала Сталь, —такъ отецъ ея быль министромъ, —объ нолучили высокое образованіе, но ван...". Однако жъ предноложимъ, котъ для шутки, что въ толиъ вновь прибывшилъ офицеровъ является рука объ руку съ одинитизънихъ женщина-писательница —Всъ зараят изънихъ женщина-писательница — ней зараят ука объ ся прибытіи, собираютъ о ней слухи. разсказываютъ въсти бывалыя и небъякълыя — ваконецъ, она прибыла, она здъст

жимымъ доказательствомъ, что литература, наконець, укоренилась на почвѣ русской національности, вошла въ жизпь общества, одѣлалась его обычаемъ и живой потребностью и уже перестала быть внѣшнимъ нововведеніемъ, модой или книжнымъ педантизмомъ. Поэтому ничего иѣтъ удивительнаго, что у нашего общества литература стоитъ на первомъ планѣ. и что у насъ съ важностью разсуждаютъ и съ горячностью спорятъ о томъ, о чемъ за-границей говорятъ хладнокровно, какъ объ интересѣ важномъ, но уже второстепенномъ и отнюдь не меслючительномъ.

Послѣ всего этого должно казаться страннымъ, что въ современныхъ русскихъ журналахъ, за исилюченіемъ «Отечественныхъ Записокъ», пътъ ни историческихъ, ни годовыхъ и никакихъ обозрѣній русской литературы. И это тімь странніе, что съ небольшимъ за десять лётъ назадъ обозрѣнія такого рода были въ большемъ ходу: пми напеднялись журналы, безъ нихъ не могли обходиться альманахи. Потомъ вдругь какъ и не бывало литературныхъ обозрѣній! Кромъ равнодушія къ дълу литературы, этому не можеть быть другой причины: по словамъ мудрой руссией пословицы-что у кого болить, тоть о токъ и говорить. Скажуть: вольно же ребячиться и толковать о пустявахъ! Хорошо; но если литература дин кого-инбудь- нустяки, такъ пусть же тоть и не издаеть литературныхъ журналовъ, чтобъ не противоръчить самому себъ и не обнаружить, противъ своей воли, какихънибудь совсёмъ не литературныхъ цёлей, а, напримъръ, торговыхъ и т. и. Кто на литературу смотритъ какъ на что-то важное, въ глазахъ того обозрѣнія литературы не могугъ не имъть большой важности. Литературныя обозранія-это живая латопись мианій различныхъ эпохъ; а какъ Россія во многыхъ отношенияхъ развивается непомърно быстро, то у наст что годъ, то и эпоха, следовательно, и летописи нашей литературы не могуть не быть разнообразны, живы и интересны. Любопытно наблюдать за процессомъ мивнія объ одномъ в темъ же предметь въ разное время, у разныхъ покольній; любонытно видіть, какъ думали, напримёръ, о Ломоносове пли Державине въ ихъ время, и какъ думають о нихъ теперь. Любопытно видъть итоги важдаго года и по нимъ следить за каждымъ успехомъ литературы, за каждымъ ея шагомъ впередъ. И потому мы думаемъ, что публика не можетъ не одобрить принятаго нами намъреніяначинать каждую первую книжку новаго года «Отечественныхъ Записокъ» взглядомъ на прошлогоднюю литературу, -- намёреніе, когорое уже сряду третій годъ постоянно выполимется нами не въ примъръ прочимъ журналамъ.

Литературныя обозрвнія первый началь Марлинскій. Его статьи въ этомъ родъ имъли презвычайный успёхь въ публикв. На нихъ смотръли какъ на что-то необыкновенное, геніальное. Теперь они не болве, какъ интересный факть для исторіи русской литературы. Теперь уже никого не изумять фразы, что Ломоносовъ озарилъ своимъ явленіемъ Русь, подобно сіверному сіянію, что стихи Пушкина-жемчугъ, разсыпанный по бархату, и т. п. Но въ свое время обозръиія Марлинскаго были действительно необыкновеннымъ явленіемъ, которое не могло не псказаться великимъ. Критика до Марлинскаго была книжной и педантической, безъ истинной учености, безъ всякаго отношенія къ современному состоянію науки объ изящномъ. Истинному глубокомыслію и истанной учености прощается и тяжеловатость, и педантизмъ, если они какъ-нибудь приросян къ ней; но педантизмъ и школьничество. невыкупаемые мыслью и основательностью,саман отвратительная вещь въ мірт. Наша ученая критика того времени не справлялась съ ходомъ времени и повторяла избитыя общія мѣста о старыхъ писателяхъ, упорно не признавая въ Пушкинъ ни таланта, ни заслуги. Марлинскій заговориль о литературѣ языкомъ свѣтскаго человѣка, умнаго, образованнаго и талантливаго, заговорилъ языкомъ новымъ, небывалымъ, острымъ, блестящимъ. Ради этихъ новыхъ тогда достоинствъ, никто не замѣтилъ жидкости содержанія въ его часто до изысканности оригинальныхъ и блестящихъ фразахъ, неопределенности въ его характеристикахъ. Удержавъ, по старой памяти, кое что изъ мивній прежняго времени, Марлинскій все это выражалъ однако жъ новымъ образомъ, отчего и старыя мысли приняли у него видъ новыхъ; увлекаясь очень понятнымъ пристрастіемъ къ современному, онъ иное хвалилъ не по достоинству, но зато умълъ восхищаться всемъ истинно-прекраснымъ д тяжко поражаль своимъ фейерверочнымъ остроумісмъ посредственность и бездарность. Одно уже то, что онъ былъ страшнымъ врагомъ ложнаго классицизма и сильнымъ союзникомъ плохо понимаемаго и новаго тогда, такъ - называемаго, романтизма, -- одно уже это облекало въ мистическое величее его достопнство какъ критика. Послъ Марлинскаго неутомимымъ «обозрѣвателемъ» быль весьма извъстный въ свое время, но теперъ совершенно забытый Оресть Сомовь. Въ его статьихъ не было никакого литературнаго мнёнія, имкакого основанія, никакого блеска, и онъ скоро всвиъ надобли и обратились въ предметъ насмъщекъ со стороны

всяхъ журналовъ. Потомъ замьчательньйжей статьей въ этомъ родъ было «Обозръніе русской слоге эности 1829 года» П. Кир вевскаго, напечатанное въ «Ленницъ» Максимовича. Въ статът Киръевскаго чувствуется присутствіе мысли; по крайней мірь, есть пісколько отдългныхъ мыслей, върныхъ и оригинальных; но приложение ихъ отзывается неопредъленностью и не идеть къ двлу. Бирвевскій не только безусловно и безотчетно превознесъ, а не оцънилъ, нбо оцънка есть сужденіе, а не гимнъ хвалебный, Псторію Караменна, но и разныя маленькія знаменитости того времени. Такъ, напр., онъ накинулъ : «душегръйку новъйшаго унынія» на греческую музу Дельвига, между тъмъ какъ въ подражаніяхъ Дельвига древнимъ еще менье античнаго, пластическаго и антологическаго, чемъ русскаго въ его русскихъ ивсияхъ. Даже въ стихотвореніяхъ Шевырева Киръевскій нашель только одинь недостатокъ-не отсутствіе поэзін, которой въ нихъ совершенно нътъ, не дикую вычурность абстрактныхъ идей и папряженнаго выраженія, а--«излешество мысли»!.. Это обозръніе возбудило противъ себя сильную враждебность въ журналахъ, сколько по своимъ парадоксамъ, столько и по нъкоторымъ истинамъ, горькимъ и ръзко высказаннымъ, которыя не всёмъ могли понравиться. - Вообще главный отличетельный характеръ всъхъ прежнихъ литературныхъ обозрѣній состептъ въ томъ, что они обольщались мнимыми литературными сокровищами. Отрывокъ изъ неоконченной поэмы считался важнымъ пріобрътеніемъ для литературы; плансивая элегія, напечатапная въ альманахъ, возбуждада толки и споры; всякая повъстца считалась дивомъ. Теперь смъщно и вспомнить, какъ вев были запитересованы коротенькими отрывочками изъ повъсти Байскаго «Гайдамаки», -- повъсти, дъйствительно, не дурной по разсказу, но тянувшейся нѣсколько лѣть и оставшейся безъ конца и связи. Даже романъ **В.**  $\Phi(\Theta)$ едорова «Андрей Курбскій» возбуждаль ожидание и толки. Числительное богатство принималось за качественное, и этому богатству конца не видёли. Книгь было немногимъ больше теперешняго, но зато почти каждая книга считалась важнымъ явленіемъ въ литературъ; крохотные отрывочки въ крохотныхъ альманахахъ, каждое стихотвореньице, даже эпиграмма, - все это поименовывалось въ «обозрѣніяхъ» и причислялось къ общей суммъ литературнаго богатства. Иначе и быть не могло. Всякая важная новость, смёняющая собой надобвшую старину, принимается за одно съ достоинствомъ и совершенствомъ. Такъ-называемый романтизмъ былъ тогда еще новостью, и потому почти всякое «романтическое»

произведение почиталось «пребосходнымъ» произведениемъ. Восхищение отнимало способъ думать и судить.

Въ чемъ же долженъ состоять характеръ литературныхъ обозрѣній нашего времени? И даже есть ли теперь что-нибудь, что обозрѣвать? Вѣдь теперь и книгъ меньше, и журналовъ меньше, стало быть, и литература вообще бѣднѣе!

Такъ можетъ казаться, но не такъ это на дёль. Мы сейчась сказали, что богатство прежняго періода пашей литературы было больше числительное, нежели качественное, больше воображаемое, нежели существенное. Истинное ея богатство состояло въ произведеніяхь Пушкина, да въ «Горь отъ Ума» Грибовдова; кое-что изъ остального имвло свое относительное достоинство, а большая часть-ровно никакого, между тёмъ какъ все это принималось тогда почти съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и новыя произведенія Пушкина. Кто не считался тогда поэтомъ, кто не былъ знаменить? - Теперь едва ли повърять, если сказать, что съ небольшимъ лътъ за десять имена Олина, Кардьгофа, Сомова, Писарева, Аладына, Ранча, Погоръльскаго, Яковлева (автора «Удивительнаго Человька»), Илличевскаго, Ротчева, Глаголева и многихъ, многихъ другихъ считались чуть не знаменитостями литературными... Что касается до журналовь,ихъ было больше, потому что ихъ легче было издавать. Страсть печататься доставляла издателямъ или за самую умъренную цьну, или-и это большей частью-совершенно безденежно переводныя и оригинальныя статьи, которыми они и наполняли тощенькія и маленькія книжки своихъ журналовъ. «Телеграфъ» столько же по величинъ своихъ книжекъ и по вившиему пзяществу изданія, сколько и по внутреннему достоинству справедливо считался первымъ и лучшимъ журналомъ въ Россін; а между тъмъ каждый томъ «Телеграфа», заключавній въ себъ четыре книжки за два мъсяца, едва ли не въ половину меньше былъ каждой книжки «Отечественныхъ Записокъ», выходящей одинъ разъ въ мѣсяцъ. Если разница во внѣшнемъ изяществъ изданія «Телеграфа» не слишкомъ велика съ нынышними журналами, то взгляните на картинки модъ «Телеграфа» и сравните ихъ съ нынѣшними. Конечно, все это не составляеть сущности журнала, но мы и говоримъ не о сущности, а о трудности, съ которой, по причинъ усилившихся требованій со стороны публики, теперь сопряжено изданіе журнала сравнительно съ прежними временами. Что же касается до сущности, то и тутъ какая огромная разница! Тогда «Телеграфъ» щеголялъ повъстями Мардинскаго, которыя считались созданіями ве-

дичайшаго генія и приводили въ восторгь и маумленіе почти всю читающую публику. Повъсти Полевого почитались тоже такими произведеніями, которыя могли бы служить украшеніемъ любому европейскому журнаду,-и, върно, многіе, подобно намъ, не могуть теперь вспоминть безъ улыбки живъйшаго удовольствія, какой сильный интересъ возбудили въ публикъ «Живописецъ», Блаженство Безумія» и «Эмма»: воспоминанія дътства такъ отрадны и сладостны, что мы не безъ сердечнаго трепета испоминаемъ ипогда романы Радилифъ, Декре-дю-Мениля и Августа Лафонтена и, смінсь надъ ними, всетаки любимъ ихъ, какъ добрыхъ друзей напего мечтательнаго дътства, какъ ослъщимо отъ старости собачку, съ которой мы играли. догла сна была еще щенкомъ!... И что говорить о повъстяхъ Полевого: - повъсти Погодина многимъ нравились въ свое время; трудно повърпть, а это было точно такъ: «Черная Немочь» наделала шуму... И воть опо-то богатство, какимъ горда была наша автература предшествовавшаго періода, который можно, не рискуя ошибиться, назвать Франтичесьнито!

Добрый и невинный романтизмъ! какъ боились тебя классическіе парики, какимъ буйнымъ и неистовымъ почитали они тебя, сколько зда пророчили они отъ тебя, - тебя, бывшаго въ ихъ глазахъ страшнве чумы, опаснъе огня! А ты, добрый и невинный романтизмъ, ты былъ просто - ръзвое, шаловлявое дитя, проказдивый школьникъ, который смётиль, что его «классическій» учитель ужасно глупъ, да и давай надъ нимъ нотъшаться, сдергивая колпакъ съ его дремлющей лысой головы, и нацёпляя бумажки на заднія пуговицы его старомоднаго кафтана... И что же такое сделаль, если разсмотрать хорошенько, ты, такъ гордившійся п величавшійся своими заслугами!—Черезь Летурнёра, поправленнаго съ грѣхомъ пополамъ Гизо, ты кое-какъ познакомился съ Шекспиромъ, да и началъ, съ голосу парижскихъ романтиковъ, кричать о сердцевъдъмін, о глубині идей, о силі страстей, о вірпомъ изображеніи дъйствительности; а въдь празнайся (дёло прошлое!): тебь въ Шекспиръ полюбились только побранки мужиковъ и солдать, разнообразіе и множество персонажей, да несоблюдение, действительно неживаго, драматического тріединства?.. Написалъ ли ты хоть одну драму въ роде Шекспировыхъ драмъ? Перевелъ ли ты одну изь нихъ такъ, чтобъ можно было видеть, что ты понялъ Шекспира? Правда, переведены у насъ двъ драмы Шексипра достойяымъ его образомъ, да не тобой, мой верхоглядый романтизмъ: ты только изуродоваль «Гамлета» да «Виндзорскихъ Проказниць»,

позводивъ себъ передълывать ихъ по своему идеалу... Такъ или сякъ познакомился ты в съ Шиллеромъ, но что понялъ ты въ немъ! ты понядъ, и то по-своему, по-дътски, «ді ву неземную», да «любовь идеальную», а волнаго глагола разума, а божественной любии къ человъчеству-ты и не предчувствовалъ въ Шиллеръ; ты и не подозръвалъ въ немъ провозвёстника двухъ великихъ словъ великаго будущаго — разума и челов чества... II воть ты съ радости, что не ноняль Шиллера, давай писать благозвучными Расиновскими стихами Шиллеровскую драму, гдв донскіз казаки мечтають «о Шиллерь, о славь, о любви»... Также сводиль тебя съ ума и «Гецъ фонъ-Берлихингенъ» Гёте-и ты пренельно перевель его романтическимъ языкомъ русскихъ мужичковъ... Много ты наслышался и о «Фаусть» Гёте, наболталь о немъ съ три короба и, наконецъ (не дрогнула же у тебя рука на такое беззаконное дъло!) — и его перевелъ... Частью по французскимъ переводамъ, частью по дряннымъ россійскимъ переложеніямъ, ты познакомился съ Вальтеръ-Скоттомъ, и тебъ, самонадъянному юношъ-самоучкъ, ноказалось, что ты разгадаль тайну таланта великаго шотландца, и что тебъ ничего не стоить самому еделаться такимъ же «романтикомъ».—И воть ты началь тайкомъ перелистывать Псторію Карамэнна, браня ее вслухъ (какъ «классическое» произведеніе), у и, бывало, возьмешь изъ нея на-прокатъ какое-нибудь событіе, да лица два-трп, завяжень ниъ глаза, да и пустинь ихъ играть въ жмурки съ картонными маріонетками собственнаго твоего изобрътенія... И сколько повъстей надылаль ты изъ степенной русской исторіи, заставивъ чинныхъ русскихъ бояръ мстить по-черкесски, клясться не иначе, какъ смертью и адомъ, и кричать на каждой страниць: га!.. Злодый, ты уцыпился за новышую исторію, которую изучиль изь «Московских» Въдомостей»; ты не пощадилъ и Наполеона, не убоялся оскорбить его развинчанной тыни, и смёло заставиль его играть престранную родь въ твоихъ илощадныхъ сказкахъ, сводить и знакомить его съ разными романтическими чудаками, незаконными детьми твоей фантазіп... На горе себь, какь-то познакомился ты съ геннальнымъ сумасбродомъ, съ нѣмцемъ Гофманомъ, забредилъ фантасгическимъ», переболгалъ его съ «идеаль нымъ», подбавиль въ эту амальгаму сентиментальной водицы изъ памятныхъ тебъ по дътству романовъ Августа Лафонтена, — н потянулись у тебя длинной вереницей безобразныя повъсти и романы: съ блаженствующими оть сумасшествія, съ лунатиками сомнамбулами, магнетизёрами, идеальными кухарками, мізцанскими поэтами, медгателями, пряничными Аббаддоннами, сахарной любовью, мышинымъ геронзмомъ, и тому подобнымъ разнымъ вздоромъ... Но всёхть болёв виноватъ ты передъ пёвцомъ «Глура» и «Манфреда»: лишь только заслышалъ ты о немъ, какъ и началъ проклинать жизнь, ненавидёть человёчество, любоватьем адомъ з вяло воспёвать

. . . Ноблекшій жизни цвёть Безь малаго въ восьмиадцать лёть...

Ты провозгласиль Байрона півцовь отчаянія и эгонзма, блуждающей кометой, озарившей міръ кровавымъ заревомъ... Добрякъ! говорю тебъ-ты не поняль его, этого Байрона, ты не поняль ни его идеала, ни его навоса, ни его генія, ни его кровавыхъ слезъ, ни его безотраднаго и гордаго, на самомъ себъ опершагося, отчаянія, ни его души, столько же нёжной, кроткой и люблщей, сколько могучей, непреклонной и великой! Байронъ — это былъ Прометей нашего въка, прикованный къ скаль, терваемый коршуномъ: могучій геній, на свое горе, заглянулъ впередъ, п не разсмотръвъ, за мерцающей далью, обътованной земли будущаго, онъ проклялъ настоящее и объявидъ ему вражду непримиримую и въчную; нося въ груди своей страданія мплліоновъ, онъ любилъ человъчество, но презиралъ и ненавиделъ людей, между которыми видьлъ себя одинокимъ и отверженнымъ съ своей гордой борьбой, съ своей безсмертной скорбью... Не кометой, блуждающей и безобразной, быль онь, а новымь духомъ, поборавшимъ за человъчество, въ огнепернатомъ пплемь на головь, съ пламеннымъ мечомъ въ рукь, съ эгидой будущей нобыды, близкаго торжества... А ты, добрый и невинный романтизмъ русскій, создаль себь, въ своемъ ребячествь, какой-то призракъ Байрона, столько же похожій на Байрона, сколько тьнь, отбрасываемая на солнць человькомъ, похожа на человѣка. Да и гдѣ, изъ чего было тебь создать истинный идеаль Байрона?-Гдъ взяль бы ты глубокаго сочувствія ко всему человъческому, глухихъ рыданій, никому невидныхъ, но твиъ болве сокрушительныхъ, ты, добрый юноша, съ глазами унылыми, но отъ модной тоски, -со щеками нъсколько бледными, но отъ ночныхъ ппровъ я дикихъ хоровъ московскихъ египтянокъ, вь просторьчій называемыхъ цыганками,съ характеромъ раздражительнымъ и нѣсколько нелюдимымъ, но отъ разсгроеннаго пищеваренія, вследствіе неразсчитаннаго усердія къ Вакху и Кому, —съ душой праздной и скучной, но отъ излишней любви къ «сладостной ліни»?... Не только ты, добрый и невинный романтизмъ, не только ты не поно нь поваго воителях его не поняль и тоть

великій русскій поэтъ, котораго такъ несправедливо называлъ ты своимъ отцомъ и котораго еще несправедливе называлъ ты то съвернымъ, то русскимъ Байрономъ...

Итакъ, гдѣ же твои заслуги, о нашъ безвременно скончавшійся романтизмъ? Ужъ не разгрульныя ли пѣсни, писанныя бойкимъ четы рехстопнымъ ямбомъ, «торопливымъ скорохъдомъ», въ которыхъ все такъ исполнено невинности и романтизма—и похмѣлье, и явонъ разбиваемаго стекла, и разгульный вѣнокъ, и иламенныхъ восторговъ кинятокъ?.. Ужъ не подражанія ли древнимъ, въ которыхъ греческаго—одни гекзаметры, да и то русскіе, одни длинные составные эпитеты, клонящів ко сну? Ужъ не...

Но довольно. Всёхъ проказъ нашего романтизма не перескажешь. Какъ гсв эпохи переходныя, когда старое безусловию отрицается во имя новаго, которое непонятно,-романтизмъ нашъ былъ пустъ и безплодень; отъ этого изъ него и не вышло зичего, кромъ великольпнаго вздора программъ и подписокъ на ненаписанныя и неоконченныя сочиненія... И не у насъ однихъ романтизмъ былъ такъ безплоденъ, по и у французовъ, у которыхъ окъ также былъ переходнымъ моментомъ и не чьмъ-нибудь положительнымъ, а только реакціей псевдо-классицизму. Въ самомъ дель, что прочнаго, великаго, въкового и безсмертнаго произвели эти мнимо-геніальные представители юной Франціи? Люди они были дъйствительно съ блестящими дарованіями, въ ихъ произведеніяхъ много блестокъ ума, живости, увлеченія; но эти легкія и скороспълыя произведенія были литературные полснъжники, пророчившіе весну, а не пышныя, благоуханныя розы роскошнаго мая. Минута родила ихъ-съ минутой и исчезли они, и кто теперь взглянеть на эти увядшіе, высохшіе и выдохниеся цвёты, кто питается ими, кромъ тъхъ, кому сама природа назначила въ пищусвно?... Что такое теперьколоссальный геній-Викторъ Гюго? — Человъкъ, у котораго когдато быль блестящій таланть, -- челов'я в, который написаль несколько прекрасных лирическихъ стихотвореній вивств съ множествомъ посредственныхъ и плохихъ, и котораго лирическая поэзія, взятая какъ нічто целое, какъ отдельный міръ творчества, чужда всякаго характера, всякаго значенія, всякаго общаго паеоса. Что такое его препрославленная "Notre Dame de Paris"? Тижелый плодъ напряженной фангазін, tour de force блестящаго дарованія, которое раздувалось и пыжилось до генія; пестрая и лишенная всякаго единства картина ложныхт положеній, ложныхъ страстей и ложяшть чувствъ; океанъ изящной риторики, дикакъ мыслей, натянутыхъ фразь, сэгвомъ.-- всего, что способно приводить вь бышений кос-

торгъ только пылкихъ мальчиковъ,.. Что такое его драма? — Жалкія усилія безповойнаго самолюбія, уродливыя клеветы на природу человька... А этоть «скромный» Дюма, этоть полу-негръ, полу-французъ, который такъ гордъ бъщенствомъ и свиръпостью своихъ ощущеній, который, по собственному признанью, браль у Шекспира свое, какъ скоро находиль его, и который съ добродушной наглостью и невиннымъ безстыдствомъ говорить о самомъ себѣ, какъ о великомъ геніи; -- этотъ Жаненъ, авторъ сатанинскихъ романовь и паясинческихъ фельетоновъ; этотъ господинъ де-Бальзакъ, Гомеръ Сенъ-Жерменскаго предивстья, знакомаго ему только съ удицы; этотъ чопорный де-Виньи, съ его вічнымъ идеаломъ страждущаго поэта, съ его въчной враждой къ успъхамъ времени и постоянной вірностью віку маркизовь и аббатовъ; этотъ мрачный Эженъ Сю, этотъ непстовый Жакобъ Библіофиль, съ шутовской макабрской пляской его фантазіи, прикованной къ мусору историческихъ древностей; этоть сладко-мечтательный Ламартинъ... что такое теперь всв они? Они такъ шумбли, такъ силились выдать себя за титановъ, осаждающихъ Зевеса на его неприступномъ Олимпъ! Всъ думали, что они поворотятъ землю на ен оси; а вышло, что они-просто маленькіе-великіе люди, добрые ребята, которые очень довольны жизнью, когда у нихъ есть деньги, и которые еще до гроба нережили и свою славу, и свои творенія, и, не доживъ до старости, дожили до равнодушія и презрынія той толпы, которая нікогда видъла въ нихъ своихъ идеаловъ... А кто пережилъ свои творенія и свою славу, тоть-не великій писатель: велико только то, чго переходить въ погомство... Величественный дубъ растеть медленно, но живеть долго; осина быстро бъжить въ вышину, но не бываеть огромнымъ деревомъ, и не въками, а годами измъряется ея краткое существованіе. Въ то время какъ французские романтики, эти маленькіе великіе люди, уже пользовались всемірной изв'єстностью, на судъ современнаго общества предстала женщена съ великимъ, истиннымъ дарованіемъ; ея не поняли и за это оклеветали. Но она шла своимъ путемъ, и рядъ созданій, одне другого глубже, ознаменовалъ ея победоносное шествіе, п ея слава началась только съ того времени, какъ слава маленькихъ-великихъ людей уже кончилась. Причина этой разности очевидна: тамъ начало внѣшиее, снѣговое; тутъ-подземное, родниковое, внутреннее... Такъ называемый романтизмъ хлопоталь изъ формъ, не понимая сущности дела, —и для формы онъ дъйствительно много сдълалъ: онъ развязаль руки таланту, спеленатому ложными вравилами предапія. И нашъ романтизмъ

принесъ такую же пользу нашей литературь: онъ расчистилъ ея арену; заваленную соромъ и дрязгомъ исевдо классическихъ предразсудковъ; онъ далеко разметалъ ихъ деревянные барьеры, уничтожиль ихъ австралійскіе табу, и тімь предуготовиль возможность самобытной литературы. Теперь едва ли повърятъ тому, что стихи Пушкина классическимъ колпакамъ казались вычурными, безсмыеленными, искажающими русский языкъ, нарушающими завътным правила грамматики; а это было действительно такъ, и между тьмъ колпакамъ върили многіе; но когда расходились на просторъ «романтики», то вев догадались, что стяхъ Пушкина благороденъ, изящно-простъ, національно-въренъ духу языка. Очевидно, что въ этомъ случав ром штики играли роль шакаловъ, наводящихъ льва на его добляу. Равнымъ образомъ теперь едва ли позърять, если мы скажемъ, что созданія Пушкина считались нъкогда дикими, уродливыми, безвкусными, неистовыми; но продзведенія романтиковъ скоро показали всемъ, какъ созданія Пушкина чужды всего дикаго, неизтоваго, какимъ глубокимъ и тонкимъ эстетическимъ вкусомъ запечатлены они. Очевидно, что въ этомъ случав самое злоупотребление романтической свободы послужило къ угвержденію истинной свободы творчества. Кто воспитанъ на Корнель и Распив, тому помышаеть понять Шекспира одна уже новость формы его драмь; кто привыкъ къ формамъ, нередко дикимъ, чудовищнымъ и неленымъ «романтиковъ», кто восхищался смолоду драмами Гюго, Дюма, Вернера, Грильпарцера и т. п., тому легко будеть понять потомь Шекспира; ибо того уже никакая форма не поразить изумленіемъ, отнимающимъ способпость вникнуть въ сущность поэтическаго созданія.

II чго бы, вы думали, убило нашь добрый и невинный романтизмъ, что заставило этого юношу скоропостижно скончаться въ цвъть лътъ?--Проза! Да, проза, проза и проза. Общество, которое только и читаеть, что стихи, для котораго каждое стихотвореніе есть важный факть, великое событіе, такое общество еще молодо до ребячества, оно еще только забавляется, а не мыслить. Переходъ къ прозъ для него -- большой шагъ впередъ. Мы подъ «стихами» разумбемъ здбсь не одив рлзивренныя, заостренныя ривмой строчки: стихи бывають и въ прозв такъ же, какъ и проза бываетъ въ стихахъ. Такъ, напр., «Русланъ и Людмила», «Кавказскій Пленникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ» Пушкина - пастенціе стихи; «Онѣгинъ», «Цыганы», «Полтава», «Борисъ Годуновь»—уже переходъ къ прозв, а такія поэмы, какъ «Сальери и Моцарть», «Скупой Рыцарь», «Р. залка», «Галубъ», «Каменный Гость»,—

уже чистая, безпримъсная проза, гдъ уже совевмъ пъта стиховъ, хоть эти поэмы писаны и стихами. Напротивъ, повъсти и романы Полевого: «Симеонъ Кирдяпа», «Живописецъ», «Блаженство Безумія», «Эмма», «Лурочка», «Аббаддонна» и пр.—чистъйшіе стихи безъ всякой примеси прозы, хоть и писаны и прозой, и хотя въ нихъ нътъ ни одного стиха, развѣ только въ эпиграфахъ... Мы, право, не шутимъ, и вы сами согласитесь, если не захогите прозу принимать какъ что-то противоположное стихамъ, а стихи какъ что-то противоположное прозъ. Стихи н проза-тутъ вся разница только въ формъ, а не въ сущности, которую составляють не стихи и не проза, а поэзія. Вотъ другое дьдо, если прозу противополагать поэзін, а поэзію—прозѣ; но мы здѣсь имѣемъ въ виду и не эту противоположность: мы подъ «провой» разумѣемъ богатство внутренняго поэтическаго содержанія, мужественную врълость и крѣпость мысли, сосредоточенную въ самой себъ силу чувства, върный тактъ дъйствительности; а подъ «стихами» разумъемъ неземную двву, идеальную любовь, двтское порываніе къ высокому и прекрасному, въ которыхъ нёть никакого содержанія, прекрасныя, но чуждыя мысли чувства, глубокія, но лишенныя чувства и богатыя словами мысли, и т. и. Но какъ же въ такомъ случав первыя поэмы Пушкина попали въ одну категорію съ пов'єстями и романами Полевого? О, сохрани Богъ! Стихи въ стихахъ могутъ иметь свои достоинства, накъ-то: богатство фантазін, жаръ чувства, художественность формы, и т. п., но стихи въ прозь, но крайней мъръ теперь, ръшительно никуда не годится: они походять то на младенца въ англійской бользни, то на старца съ нарумяненными щеками, то на юношу добраго, чувствительнаго, живого, пламеннаго, мечтательнаго, но темъ не менъе пустого, - нѣчто въ родѣ того, что называется «ни рыба, ни мясо»...

Но наша мысль можеть показаться многимъ не совстмъ ясной, и потому прибавимъ еще нёсколько словь. Всякая идея проявлнется въ двухъ крайностяхъ и серединъ. Поэтому есть люди, которые какъ будто совершенно лишены дупп и сердца, въ которыхъ ивтъ никакого порыва къ міру идеальному — это крайность; другіе, напротивъ, какъ будто состоятъ только изъ души и сердца и какъ будто родятся гражданами идеальнаго міра-это другая крайность; между ними занимають мъсто люди ни то, ни сё, люди недоноски, люди, которые по-немножку понимають все истинное, никогда не проникая въ глубь его, люди, у которыхъ есть чувство, но похожее на нервическую раздражительность, есть умъ, но похожій на мечта-

тельность, есть порывы къ высшему міру, но у которыхъ этоть «высшій міръ» вив действительности, что-то въ родъ мечты, выражаемой словами: «куда-то, гдв-то, тамъ» и т. п. — это середина. Несносны люди перваго разряда; эти последніе еще несносиве. У нихъ все слова, столько же громкія и отборныя, сколько и неопределенныя, по дела никогда не бываеть; они исключительно преданы чувству, отъ ума ихъ въеть холодомъ, оть дыйствительности-разочарованіемъ; мечта составляеть блаженство ихъ жизни; мысли они не любять и не понимають. Подобные люди бывають такими или по натурь (и это самыя несносныя существа въ мірѣ), или вследствие неразвитости, ложнаго развития и т. п. Тѣ и другіе вѣчно исполнены глубокихъ чувствъ и мыслей, для выраженія которыхъ, по ихъ словамъ, бъденъ языкъ человъческій. Но это клевета на языкь человъческій: что прочувствуєть и пойметь человъкъ, то онъ выразитъ; словъ недостаеть у людей только тогда, когда они выражають то, чего сами не понимають хорошенько. Человъкъ ясно выражается, когда имъ владъетъ мысль, но еще яснье, когда онъ владьеть мыслью. Если, напр., какой-нибудь критикъ, длинно и пироко разглагольствуя о Державинь, наполнить свою статью одними возгласами о величім этого поэта, не опредыливъ ни содержанія, ни характера его поэзін, а произведенія его будеть уподоблять алмазамъ, рубинамъ, сапфирамъ, изумрудамъ и другимъ предметамъ ископаемаго царства (вийсто того, чтобъ раскрыть содержаніе этихъ произведеній и показать отношеніе содержанія къ формѣ), и потомъ все это сдобрить фразами: «съверный бардъ, потомокъ Багрима» и т. п., такъ что читатель, прочтя длинную критику, не въ состояни будеть передать изъ нея другому ни одной мысли,это значить, что нашъ критикъ ровно ничего не поняль въ Державинъ или свои ощущенія, возбужденныя въ немъ поэзіей Державина, принялъ за мысли, да и давай жаловаться на бедность языка человеческого... Есть и поэты, похожіе на такихъ критиковъ: воть у нихъ-то и въ прозѣ выходять все стихи, хотя безъ мъры и безъ риемъ... Говорять они-любо слушать; замолчать-никакъ не сообразишь, что они котвли сказать, и поневолъ принимаеть ихъ прозу за стихи... Теперь самое неблагопріятное время для такихъ поэтовъ, ибо теперь никто не признаетъ великимъ полководцемъ того, кто не одержаль ни одной побъды, ни великимъ писателемъ-того, кто, за бъдностью человъческаго языка, не сказаль того, что силился сказать. Такіе люди теперь напоминають собой знаменитаго Ивана Александровича Хлестакова, который сказаль о себь, въ письмъ

къ другу своему Тряничкину, что опъ «хотътъ бы заняться чёмъ-вибудь высокимъ, но свътская чернь не понимаетъ его.» Другими словами, такіе люди — настоящіе «романтики», хотя бы они и выдавали себя ва людей съ высшими взглядами...

Итакъ, романтизмъ пашъ убить прозой. Съ 17:9 года всв писатели наши бросились въ прозу. Самъ Пушкинъ обратился къ ней. Альманахи, какъ вгрушки, всёмъ падойли и вышли изъ моды. Цтна на стихи вдругъ упала. Вскорѣ явился новый поэтъ, сильное влінніе котораго на литературу не замедлило обнаружиться. Велёдствіе этого вліянія ужасно понизилась цёна на русскіе псторпческіе и особенно правственно-сатирическіе романы; прежнія пов'єсти, особенно-пдеальныя,-ть, которыхъ проза такъ похожа на стихи, совстмъ вышли изъ моды: протилъ Марлинскаго началась сильная оппозиція; всь романисты и нувеллисты пустились въ юморъ, начали брать содержание для своихъ повъстей изъ дъйствительной жизни, рисовать чудаковъ и оригиналовъ; герои добродътели были отнущены на отдыхъ. 1835 и 1836 года были эпохой для русской литературы: въ первомъ вышли въ светъ «Мпргородъ» и «Арабески», во второмъ появился и въ печати, и на сценъ «Ревизоръ»... Въ то же время напечатались стихотворенія Бенедиктова, надълавшія столько шуму въ Петербургъ и возбудивния такой восторгъ въ одномъ московскомъ критикъ, что онъ поставилъ Бенедиктова выше Жуковскаго и Пушкина... Стихотворенія Бенедиктова были важнымъ фактомъ въ неторіи русской литературы: они повершили вопрось о стихахъ, и съ того времени стихи (въ томъ смысль, въ какомъ мы принимаемъ это слово) совершенно окончили на Руси свое земное поприще... Являнись и другіе, паходили себ'в даже поклонниковъ, но на мануту, — отъ нахъ скоро отступали самые друзья ихъ: то были послъднія всиышки угасающей лампы... По смерти Пушкина начали печататься въ «Современникъ» оставшися послъ него въ рукописи последнія произведенія его; но то была уже чистая проза въ стихахъ и ужасный ударъ стихамъ. Явился Лермонтовъ съ стихами и съ прозой, — и въ его стихахъ и прозъбыла чистая проза! Прошайте, стихи! Будетъ ребячиться нашей литературь, довольно пошалила-пора и деломъ заняться...

И дъйствительно, последний періодъ русской литературы, періодъ прозапческій, ръзко отличается отъ романтическаго какою-то мужественной зрелостью. Если хотите, онъ не богатъ числомъ произведеній, но зато все, что явилось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это или не пользовалось никакимъ успёхомъ, или имёло только успёхъ

мгновенный; а все то немногое, что выходило изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зрвлой и мужественной силы, — ости лось навсегда, и въ своемъ торжественномъ победоноспомъ ходе, постепенно пріобретая вліяніе, прор'єзывало на почв'є литературы и общества глубокіе следы. Сближеніе съ жизнью, съ дъйствительностью есть примая причина мужественной зредости последняго періода нашей литературы. Слово «идеалъ» только теперь получило свое истинное значеніе. Прежде подъ этимъ словомъ разумѣли что-то въродъ: не любо не слушай, лгать но мынай, - какое-то соединение въ одномъ предметь всевозможныхъ добродътелей или всевозможныхъ пороковъ. Если герой романа такъ уже и собой-то красавець, и на гитаръ играеть чудесно, и пость отлично, и стихи сочиняеть, и дерется на всякомъ оружіи, н силу имъетъ необыкновенную:

Когда жъ о честности высокой говорить, Какимъ-то демономъ внушаемъ— Глаза въ крови, лицо горить, Самъ плачетъ, а мы всъ рыдаемъ!

Если же влодьй, то и не подходите близко: съътъ, непремѣнно съѣстъ васъ живого, извергъ такой, какого не увидишь и на сценъ Александучнскаго театра, въ драмахъ нашихъ доморощенныхъ трагиковъ. Теперь подъ «идеаломъ» разумъють не преувеличеніе, не ложь, не ребяческую фантазію, а факть действительности, такой, какъ она есть, но факть, не списанный съ дъйствительности, а проведенный черезъ фантазію поэта, озаренный свётомъ общаго (а не исключительнаго, частнаго и случайнаго) значенія, «возведенный въ перлъ созданія» к потому более похожій на самого себя, более върный самому себъ, нежели самая рабская кошя съ дъйствительности върна своему оригиналу. Такъ на портрегъ, сдъланномъ великимъ живописцемъ, человъкъ болъе похожъ на самого себя, чъмъ даже на свое отраженіе въ дагерротинь, нбо великій живописецъ ръзкими чертами вывелъ наружу все, что тантся внутри того человъка и что, можета быть, составляеть тайну для самого этого человька. Теперь дыйствительность относится къ искусству и литературъ, какъ почва къ растеніямь, которыя она возращаеть на своемъ лопѣ.

Все сказанное нами для людей мыслящихъ не можетъ показаться отступленіемъ отъ предмета статьи, потому что все это не отступленіе, а характеристика и исторія послъдняго періода русской литературы, въ отношеніи къ которому 1842 годъ былъ блистательнъйшимъ пополненіемъ. Мы уже выше сказали, что обозръвать не значить пересчитывать по пальцамъ все, что вышлс въ продолженіе извъстнаго времени, но указать

на замъчательныя произведенія и опредълить ихъ значеніе и ціну, а этого мы не могли сдълать, не опредълнать предварительно характера и значенія всей литературы послідняго времени. При обозрвнін понменномъ не на многое придется намъ указывать и не о многомъ говорить. Причина этого-немногочисленность замьчательныхъ явленій въ литературъ прошлаго года, также принадлежащая къ особымъ чертамъ всей русской дитературы последняго ея періода. Но эта бъдность не долина насъ опечаливать: это благородная бёдность, которая лучше мнимаго богатства прежняго времени. Ноявленіе въ одномъ году «Миргорода» и «Арабесокъ», въ другомъ «Ревизора» стоить огромнаго количества даже хорошихъ, но обыкновенныхъ произведений за многие годы. Такимъ образомъ 1840 годъ былъ ознаменованъ выходомъ «Героя Нашего Времени» и перваго собранія стихотвореній Лермонтова; 1841-изданіемъ трехъ томовъ посмертныхъ сочиненій Пушкина; 1842—выходомъ «Мертвыхъ Душъ», одного изъ техъ капитальныхъ произведеній, которыя составляють эпоху въ литературахъ.

Много было писано во всёхъ журналахъ о «Мертвыхъ Душахъ»; много говорили и мы о нихъ. Повторять сказанное и нами, и другими нътъ никакой надобности. Впрочемъ, изъ этого еще нисколько не следуеть, чтобъ о «Мертвыхъ Душахъ» было сказано все, какъ нами, такъ и другими: мы собственно и не говорили еще о нихъ, а только спорили съ другими по новоду ихъ, и намъ еще предстоитъ впереди изложение окончательнаго, критически высказаннаго мнѣнія объ этомъ произведенін; что касается до другихъ, они не перестали и долго еще не перестанутъ говорить о «Мертвыхъ Душахъ», всеми силами стараясь увърить себя, что имъ нечего бояться этого произведенія... Итакъ, скажемъ здісь лишь нісколько словь для уясненіяне произведенія Гоголя, а вопроса, возникшаго о немъ и въ публикъ, и въ литературъ.

Какъ мивніе публики, такъ и мивніе журналовъ о «Мертвыхъ Душахъ» раздълились на три стороны: один видять въ этомъ твореніи произведеніе, котораго хуже еще не инсывалось ни на одномъ языкъ человъческомъ; другіе, наобороть, думали, что только Гомеръ да Шекспиръ являются въ своихъ произведеніяхъ столь великими, какимь явился Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ»; третьи думають, что это произведение - дъйствительно великое явленіе въ русской литературь, хотя и не идущее по своему содержанію ни въ какое сравнение съ въковыми всемірно-историческими твореніями древнихъ и новыхъ литературъ западной Европы. Кто этиодни, другіе и трегьи- публика знаетт, и по-

тому мы не имвемъ нужды никого называть по имени. Всъ три мивнія равно заслуживають большого вниманія и равно должны подвергаться разсмотрінію, ибо каждое изъ нихъ явилось не случайно, а по необходимымъ приченамъ. Какъ въ числъ иступленныхъ хвалителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, и не подозрѣвающіе въ простоть своего дътскаго энтузіазма истиннаго значенія, слідовательно, и потиннаго величія этого произведенія, такъ и въ числі ожесточенныхъ хулителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, которые очень и очень хорошо смекають всю огромность поэтическаго достоинства этого творенія. Но отсюда-то и выходить ихъ ожесточение. Некоторые слии когда-то тянулись въ храмъ поэтическаго безсмертія; за новостью и дітствомъ нашей литературы, они нивли свою долю усивха, даже могли радоваться, и хвалиться, что имьють поклоиниковъ. — и вдругь является неожиданно, непредвидинно совершенио новая сфера творчества, особенный характеръ искусства, вследствіе чего идеальныя и чувствительныя произведенія нашихъ поэтоьъ вдругъ оказываются ребяческой болговней, дътскими невинными фантазіями... Согласитесь, что такое паденіе безъ натиска критики, безъ недоброжелательства журналовъ очень и очень горько... Другіе подвизались на сатирическомъ поприщъ, если не со славой, то не безъ выгодъ иного рода; сатиру они считали своей монополіей, сміхъ-исключительно имъ принадлежащимъ орудіемъ, — и вдругъ остроты ихъ не смешны, картины ни на что не похожи, у ихъ сатиры какъ будто повыпадали зубы, охрипъ голосъ, ихъ уже не читають, на нихъ не сердятся, они уже стали упогребляться вмёсто какого-то аршина для измьренія бездарности..., Что туть дылать? перечинить перыя, начать инсать на новый лаць? -- но вёдь для этого нуженъ таланть, а его не купишь, какъ пучекъ перьевъ... Какъ хотите, а осталось одно: не признавать тадантомъ виновника этого крутого поворота въ ходъ литературы и во вкусъ публики, увърять публику, что все написанное имъвздоръ, нельпость, пошлость... Но это не помогаеть, время уже рышпло страшный вопрось-новый таланть торжествуеть, молча, не отвъчая на брани, не благодаря за хвалы, даже какъ будго вовсе отстраняясь отъ литературной сферы; надо перемьнить тактику: является новое твореніе таланга, далеко оставившее за собой всв прежнія его произведенія, — давай жальть о погибщемъ таланть, который такъ много объщаль, такъ хорошо писаль и вкогда (именно тогда, когда эти господа утверждали, что онъ писаль все вздоры и нелѣпости); его, видите, захвалили пріятели, а ихъ у него такъ много, что яныхъ

онъ и вълицо не знаетъ, съ иными же едва знакомъ... На что бы такое напасть въ новомъ творенін таланта?-На сальности, на дурной тонъ; это понравится тёмъ людямъ, которые, никогда и во сив не видавъ большого свъта, только о немъ и хлопочуть, какъбудто бы считая себя принадлежащими къ нему... Не мъщаеть замътить, что эти витязи большого свёта чрезвычайно довольны были тономъ и острогами враговъ новаго таланта: живя въ неизмъримой дали отъ большого свъта. они считали этихъ сатирическихъ сочинителей людьми большого свыта... Второй пунктъ-грамматика: къ ней прибъгли при этомъ важномъ случав даже тв, которые отвергали ея существованіе... Третій пункть: -незнаніе русскаго языка; за этотъ аргументъ ухватились даже тв, которые пишутъ: «морь (вм. морей), мозговъ человъческихъ, мечтъ» и т. п. Нападки на незнаніе грамматики и искажение языка-характеристическая черта исторіи русской литературы: славянофилы утверждали, что Карамяннъ не зналъ духа и правилъ русскаго языка и ужасно искажаль его въ своихъ сочиненияхъ; классики въ томъ же самомъ обвиняли Пушкина; теперь очередь за Гоголемъ... Вспомнили мы еще довольно забавную черту въ этомъ родь: Гречъ и Булгаринъ доказывали нъкогд г печатно, что Полевой не знаетъ грамматики, а Калайдовичь напечаталь въ «Московскоу ъ Въстникъ» статью объ «Исторіи Русскаго Народа» въ отношени къ грамматикъ и языку, и на каждой страницѣ этого превосходнаго, но кь сожальнию по сю пору неконченнаго творенія нашель по крайней мірт по десяти грубыхъ ошибокъ противъ грамматики и языка.. Господа! не пора ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нътъ ошибокъ противъ грамматики, да только чьей? -воть вопрось! Караменнь самь быль грамматика, передъ которой всв ваши грамматики ничего не значать; Пушкинъ тоже стоить любой изъ вашихъ грамматикъ...

Твореніе, которое возбудило столько толковъ и споровъ, разделило на котеріи и лигераторовъ, и публику, пріобрѣло себь и жаркихъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ, на долгое время сдёлалось предметомъ сужденій и споровъ обществи; твореніе, которое прочтено и перечтено не только тыми людьми, которые читають всякую новую книгу или всякое новое произведение, сколько-нибудь возбудившее общее внимание, но и такими лицами, у которыхъ нътъ ни времени, ни охоты читать стишки и сказочки, гдъ несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпъніи разныхъ бедствій, и вь довольстве, почете и счастін проводять остальное время жизни; -твореніе, которое въ числі почти 3.000

экземпляровъ все разоплось въ какіе-нибудь полгода,—такое твореніе не можетъ не быть неизмъримо выше всего, что въ состояніи представить современная литература, не можеть не произвести важнаго вліянія на литературу.

Полное собраніе стихотворсній покойнаго Лермонтова вышло въ послідней половині декабря прошлаго года и должно быть причислено къ литературнымъ явленіямъ новаго гола.

Сборниками стихотвореній прошлый годъ очень небогать. Самымъ лучшимъ и пріятивишимъ явленіемъ въ этомъ родь, безъ всякаго сомнівнія, была книжка «Стихотвореній Аполдона Майкова». Этоть молодой поэть одаренъ отъ природы живымъ сочувствіемъ къ эллинской музь; онъ овладёль всей полнотой, всей свежестью и роскошью антологическаго стиха, такъ что антологическія стихотворенія Майкова не только не уступають въ достопиствъ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, по еще едва ли и не превосходять ихъ. Это большое пріобратеніе для русской поэзіп, важный факть въ исторіп ея развитія. Но жаль было бы, если бъ только на этомъ остановидся Майковъ. Антологическія стихотворенія, какъ бы ни были хороши,-не болье, какъ пробный камень артистическаго эдемента въ поэтъ. Ихъ можно сравнить съ ножкой Психен, рукой Венеры. головой Фавна, превосходно высёченными изъ мрамора. Конечно, превосходно сдёланная ножка, ручка, грудь или головка, каждая изъ этихъ деталей можетъ служить доказательствомъ необыкновенныхъ скульптурныхъ дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства; но еще не составляеть скульптуры, какъ искусства, и превосходно едблать ножку, ручку, грудь или головку далеко не то, что создать цёлую статую. Сверхъ того исключительная преданность древнему міру (п при томъ далеко не вполнъ понятому), безъвсякаго живого, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можеть еделать великимъ или особенно замъчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому еще должно присовокупить, что одно да одно, теряя прелесть новости, тернетъ и свою цену. Итакъ, мы жедалибы. чтобъ Майковъ или предался основательному п общирному изученію древности и передаваль на русскій языкъ своимъ дивнымъ стихомъ вѣчныя, неумирающія созданія эллинскаго искусства, или обрёль въ тайникъ духа своего тъ сердечныя, задушевныя вдохновенія, на которыя радостно и привытиво отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторять здесь уже сказаннаго нами вь статьй о стихотвореніяхь Майкова, что почти всв его анголо-

гическія стихотворенія пока не об'віцають въ будущемъ ничего особеннаго. Намъ было бы очень пріятно ошибиться въ этомъ приговорћ, - и мы первые вспомнили бы сърадостью о своей ошибкв, если бъ Майковъ подарижь русскую публику такими стихотвореніями, которыя обнаружили бы въ немъ столь же примъчательнаго и столь же много объщающаго въ будущемъ современнаго поэта, сколько и антологическаго. Антологическая муза Майкова не ослабъла ни въ силъ, ни въ діятельности, и послів выхода кинжки его стихотвореній публика прочла въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Библіотекъ для Чтенія» нѣсколько прелестньйщихъ его стихотвореній въ любимомъ его антологическомъ родъ, но они уже не возбудили въ ней прежняго восторга. А между темъ-повторяемъ - они такъ же прекрасны, какъ и прежнія. въ доказательство чего достаточно привести изъ нихъ следующее «Барельефъ»:

> Воть безжизненный отрубокъ Серебра: стопи его И вмъстительный мнъ кубокъ Слей искусно изъ него! Ни Кипридиныхъ голубокъ, Ни медвъдицъ, ни плеядъ, Не лъпи по стъпкамъ длиннымъ. Нарисуй въ саду пустынномъ, Между розъ, толны менадъ, Выжимающихъ созрълый Налитой и пожелтълый Съ пышной вътви виноградъ; Вкругъ сидять умно и чинно Дъти передъ бочкой винной, Фавны съ хмълемъ на челъ, Вакхъ подъ тигровою кожей, II Силенъ румянорож а На споткнувшемся ослъ.

Зато вотъ еще одно изъ послъднихъ ститотвореній Майкова, доказывающихъ, что чуть только выйдетъ онъ изъ сферы антологическаго созерцанія, какъ изъ его стихогворенія тотчасъ же ничего не выйдетъ:

Море бурно, небо въ тучахъ. Опъ примчался на конъ Примчался на конъ Прямо къ брывтамъ водъ кипучихъ. г. Старий! чолнъ скоръе мив!" И старикъ запылокъ чешетъ... — "Полно, будетъ, господинъ! По ию, баринъ (?!), бъса тъшить (?), Нашизъ въ моръ не одинъ (?)— "Пусть ихъ гибнуть! Подъ водою Рыбъ рыбы и гроба! Знай, я Пезаръ: а со мною Мвъ послушна и судьба!"

Отраниая фантазія— свести Цезаря съ русвкимъ мужикомъ и заставить его объясняться до такой степени посредственными стихами...

«Сумерки», маленькая книжка Баратынскаго, заключающая въ себъ едва ли не последнія стихотворенія этого поэта, тоже принадлежить къ немногимъ примъчательнъйшимъ ярденіямъ по части поэзін въ прошломъ году. По поводу ен мы обозрѣли всю поэтическую дѣятельность Баратынскаго. Тенерь же прибавимъ только, что едва ли это и дѣйствительно не послѣдиін стихотворенія знаменитаго поэта; вотъ пьеса изъ «Суметрокъ», доказывающам это:

На что вы, дин? юдольный міръ явленья Свои не измѣнить!
Всѣ въдомы и только повторенья Грядущее сулить.
Не даромъ ты металась и кипѣла, Развитіемъ ситына, Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла, Беземертная душа!
И тъсный кругъ подлунныхъ впечатлъвій Сомкнувшая давно, Подъ въяньемъ возвратныхъ сновидѣній Ты дремлешь; а оно Беземысленно глядитъ, какъ утро встанетъ,

Безъ нужды ночь смѣня; Какт въ мракъ холодный вечеръ канегъ, Вѣнецъ пустого дня!

Страшно чувство, которымъ внушено это выстраданное стихотвореніе! не объщаетъ оно новыхъ и живыхъ вдохновеній, и лучше совсѣмъ не писать поэту, чѣмъ писать такін, напримѣръ, стихотворения:

Сначала мысль воплощена
Въ поэму сжатаго поэта,
Какъ дъва юпая темна
Дли невнимательнаго свъта;
Потомъ, осмълившись, опа
Уже увертлива, ръчиста,
Со всъхъ сторонъ своихъ видна,
Какъ искушенная жена,
Въ свободной прозъ романиста;
Волгувья старая, за тъмъ
Она, подъемля крикъ нахальный,
Плодитъ въ полемикъ журнальной
Давно уже въдомое всъмъ.

Что, что такое? Неужели стихи, поэзія, мысль?.. Вышедшая въ прошломъ же голу маленькая книжечка стихотворсній Полежаева, подъ названіемъ «Часы Выздоровленія», подала намъ поводъ въ отдівльной критической статью обозріть всю поэтическую дівтельность этого замічательнаго поэта. Первая часть стихотвореній Бенедиктова, пзданная въ 1835 г., достигла второго изданія въ прошломъ 1842 г. Наше мивніе объ этомъ поэтів извістно нубликів.

Вообще прошлый годъ былъ не богать стихами, а будущій—это можно сказать сміло—будеть еще бъдніве... Лермонтова уже пібть, а другого Лермонтова не предвилится... коть совсімть не пиши стиховь... И нять въ самомъ ділів пишуть или по крайней мірів печатають теперь меньше. Столичные посты сділались какъ-то уміренніве—отгого ли, что один уже повыписались, а другіе догадались, что стихи должны быть слишкомъ и слишкомъ корони, чтобы нять стали теперь читать, не только хвалить... Зато господа провинціальные посты годь отъ го-

да стаповятся неутомимъе. Публика ничего не знаетъ о ихъ пламенномъ усердіи къ дълу истребленія писчей бумаги; но журналисты— увы!—слишкомъ знаютъ это и дорого платять за это зпаніе—платятъ деньгами за доставленіе къ нимъ на домъ этихъ страшныхъ накетовъ, платятъ временемъ, скукой и досадой, прочитывая эти груды риомованнаго вздору...

Теперь обратимся къ прозъ по части изищвой словесности. Загоскинъ каждый годъ дарить публику новымъ романомъ; не знаемъ, какимъ новымъ романомъ обрадуеть онъ ее въ 1843 году, а въ 1842 году онъ утъшилъ ее «Кузьмой Петровичемъ Мирошевымъ». Собственно это не романъ, а повъсть, до того мъстами растянутая, что изъ нея вытянулся романъ въ четырехъ частяхъ, т. е. въ четырехъ маленькихъ книжкахъ, красиво и разгонисто напечатанныхъ. Въ «Мирошевь» ть же достоинства и ть же недостатки, какими отличались всё прежніе романы Загоскина, т. е. съ одной стороны истипнорусское радущіе и хлібосольство, съ какимъ почтенный авторъ угощаеть читателя издъліями своей фантазіи, добродушное восхищеніе созданными имъ характерами слугъ, дадекъ и мамокъ, добродушная увъренность, что добродътельные люди въ его романъточно добродътельны, а влодъи-не шутя злодви; мъстами веселенькія сцены въ забавномъ родь, всядь искрепнее увлечение въ нользу старины и ея немножко дикихъ для нынёшняго времени понятій, гладкій, пловучій слогь; сь другой стороны бъдность содержанія, отсутствіе идеи, повтореніе того, что читатель знаеть уже по прежнимъ романамъ автора. «Альфъ и Альдона» Кукольника обнаружили, было, большія претензіи на титло исторически-поэтическаго романа, но историческая часть въ этомъ романт положа на сказочную, а поэтическая-на самую скучную и вялую прозу. Одна изъ четырехъ частей «Альфа и Альдоны» больше всёхъ четырехъ частей «Мирошева»; но «Мирошевъ былъ прочитанъ до конца всеми, кто только решался его читать, а «Альфъ и Альдона» испугаль читателей на половинъ же первой части и остался недочитаннымъ. Но неутомимый Кукольникъ этимъ не удовольствовался и тиснуль въ «Библіотекъ для Чтенія» новый романъ свой «Дурочка Луиза». Этотъ романъ-близнецъ съ «Эвелпной де-Вальероль»: тамъ пружиной всыхъ дъйствій служить цыгань Гойко, здёсьжидъ Бенке; тамъ множество дицъ, такъ похожихъ одно на другое, что и отличить нельзя-и здёсь тоже! разница въ томъ, что тамъ скучно, а здёсь скучнёе, тамъ еще на чтовибудь похоже, а здёсь ни на что не похоже. Героиня ромапа, дурочка Луиза, еще довольно

похожа на дурочку-умпой ее дійствительно никто не назоветь, но курфирсть Фридрихъ-Вильгельмъ изображенъ какимъ-то сентиментальнымъ повъреннымъ въ любовныхъ тайнахъ своихъ приближенныхъ, всеобщимъ сватомъ и отцомъ-посаженымъ, и только мимоходомъ силится авторъ выказать его героемъ и великимъ государемъ. Вообще сентиментальность, приторная, сладенькая, составляетъ главный характеръ этой безсвязной, пустой по содержанію, натянутой въ изображенін характеровъ сказки. Тенерь того только и ждемъ, что «Дурочка Лунза» появится отдёльной книжкой въ двухъ частяхъ; но мы рады, что ваблаговременно отделалися оть нея.—Какими романами еще ознаменовался 1842 годъ? — «Два Призрака», «Сердце Женщины», «Человькъ съ высшимъ взглядомъ», «Любовь Музыканта»; вновь издакные романы Калашникова: «Дочь Купца :Колобова» и «Камчадалка», «Московская Сказка о Чудѣ Поганомъ», «Козелъ Бунтовщикъ», «Грошовый Мертвецъ», «Гуакъ, рыцарская повъсть», и пр., и пр. Все это едва ли принадлежить къ какой-нибудь литературь, и еще менье къ той, которой характеръ определяли мы въ начале статьи... Что дълать? У каждаго дома бываеть два дворапередній и задній; у каждой литературы двъ стороны-лицевая и изнанка...

На повъсти 1842 годъ былъ счастливъе, чёмъ на романы. Въ «Москвитянинъ» было напечатано начало новой повъсти Гоголя «Римъ», равно изумляющее своими достоинствами, и своими недостатками. «Современникъ» была помъщена уже извъстная, но передъланная вновь повъсть Гоголя «Портреть», отличающаяся нѣкоторыми превосходно концепированными и отделанными подробностями, и неудачная въ цёломъ. Графъ Соллогубъ нацечаталъ въ прошломъ году только одну повъсть «Медвъдь», которая заставляеть искренно сожальть, что ея даровитый авторъ такъ мало иншетъ. «Медвёдь» не есть что-нибудь необыкновенное и, можеть быть, далеко уступить въ достоинствъ «Аптекаршѣ», повъсти того же автора; но въ «Медвѣдѣ» образованное и умное эстетическое чувство не можетъ не признать тъхъ характеристическихъ черть, которыми мы въ начадъ этой статьи определили последній періодъ русской литературы. Отличительный характеръ повъстей графа Соллогуба состоить въ чувствъ достовърности, которое охватываетъ всего читателя, къ какому бы кругу общества не принадлежалъ онъ, если только у него есть хоть немного ума и эстетическаго чувства: читая повъсть графа Соллогуба, каждый глубоко чувствуеть, что изображаемые въ ней характеры и событія возможны и дъйствительны, что они-върная нартина

дъйствительности, какъ она есть, а не мечты о жизни, какъ она не бываетъ и быть не можеть. Графъ Содлогубъ часто касается въ евонхъ пов'єстяхъ большого світа, но хоть онъ и самъ причадлежить къ этому свъту, однако жъ повъсти его тъмъ не менъе-не хвалебные гимны, не аповеозы, а безпристрастно върныя изображенія и картины большого света. Здесь кстати заметить, что страсть къ большому свъту-что-то въ родъ бользии въ русскомъ обществъ: всъ наши сочинители такъ и рвутся изображать въ своихъ романахъ и повъстяхъ большой свътъ. И, надо сказать, ихъ усилія не остаются тщетными; въ повъстяхъ графа Соллогуба только немногіе узнають большой свёть, а большая часть публики видить его въ романахъ и повъстяхъ именно тъхъ сочинителей, для которыхъ большой свътъ-пстинная terra incognita, истинная Атлантида до открытія Америки Колумбомъ, и которые рисують большой свёть по своему идеалу, добродушно въруя въ сходство адяноватаго синска съ невиданнымъ оригиналомъ. Такъ, недавно въ одномъ журналѣ романъ «Два Призрака» торжественно объявленъ произведеніемъ человька, принадлежащаго къ большому свъту и знающаго его. Всѣ толкуютъ о свѣтскости,-и пьеса Гоголя надаеть на Александринскомъ театръ, а «Комедія о войнъ Оедосьи Сидоровны съ Китайцами» и «Русская Боярыня XVII стольтія» возбуждають фуроръ въ записныхъ посътителяхъ того же театра, - и все по причинъ «свътскости». А между темъ дело кажется такъ очевиднымъ; стоило бы только сравнить, напр., повъсти графа Соллогуба съ романами и повъстями нашихъ «свътскихъ» сочинителей, чтобъ окончательно решить вопрось о деле, къ которому такъ многіе и такъ напрасно считаютъ себя прикосновенными.

Простота и върное чувство дъйствительности составляють неотъемлемую принадлежность полъстей графа Соллогуба. Въ этомъ отношении теперь, посль Гоголя, онъ-первый писатель въ современной русской литературъ. Слабая же сторона его произведеній заключается въ отсутствім дичнаго (извините-субъективнаго) элемента, который бы все проникаль и отгіняль собой, чтобъ вірныя изображенія дійствительности, кромів своей върности, имъли еще и достоинство идеальнаго содержанія. Графъ Соллогубъ, напротивъ, ограничивается одной върностью действительности, оставаясь равнодушнымъ къ своимъ изображеніямъ, каковы бы они ни были, и какъ будто находя, что такими они и должны быть. Это много вредить успъху его произведеній, лишая ихъ сердечности и задушевности, какъ признаковъ горячихъ убъжденій, глубокихъ върованій.

Болье субъективности, но менье такта дыйствительности, менње врћлости и крћиости таланта, чёмъ въ повъстяхъ графа Соллогуба, видно въ повъстяхъ Панаева. Вообще Панаевъ гораздо болће объщаетъ въ будущемъ, нежели сколько исполняеть въ настоящемъ. Что-то нерѣшительное, колеблющееся и неустановившееся замѣтно и въ его созерцаніи, какъ идеальной сторонъ его повъстей, и въ ихъ практическомъ выполненін; каждая новая повъсть его далеко оставляеть за собою всъ прежнія: очевидное доказательство таланта замъчательнаго, но еще не опредълившагося. Въ прошломъ году онъ напечаталъ только одну повёсть «Актеонъ» въ «Отечественныхъ Запискахъ», которан возбудила живъйшее вниманіе и интересъ со стороны публики и далеко оставила за собой всъ прежнія его повъсти, такъ же, какъ и «Барыня», написанная имъ незадолго передъ «Актеономъ», далеко оставила за собой всъ другія, прежде ея написанныя. Въроятно, чувство своей неопределенности препятствуеть Панаеву писать столько, сколько отъ его таланта въ правъ ожидать публика: въ такомъ случав самый недостатокъ въ двятельности заслуживаеть уваженія, какъ залогь будущей многоплодной дъятельности.

Три новыя повъсти напечатанны въ прошломъ году даровитой и безвременно угасшей Ганъ (Зенепдой Р-вой); «Напрасный Даръ» и «Любонька» въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Ложа въ Одесской Оперв»-въ «Дагеротинъ». «Любонька» принята публикой съ восторгомъ, въ которомъ не должно мѣшать ей оставаться; «Напрасный Даръ», сверкающій искрами высокаго таланта, хоги и невыдержанный въ цёломъ, восхитилъ только немногихъ: такова участь вевхъ произведеній, въ которыхъ при блескахъ яркаго вдохновенія есть что-то недоговоренное, какъ бы перавное самому себъ. Въ такомъ случав чёмь сильнее и выше взмахь, темь недоступнъе для всъхъ и каждаго внутреннее значение произведения: толпа видить одни внъщніе недостатки... «Ложа въ Одесской Оперъ» принадлежить къ самымъ слабымъ произведеніямъ Ганъ. Впрочемъ, по выходъ полнаго собранія ся сочиненій мы скоро будемъ иметь случай подробно изложить наше мнъніе объ этой необыкновенно даровитой писательниць.

Кукольникъ напечаталъ въ прошломъ году нѣсколько повъстей, изъ которыхъ двъ заслуживаютъ почетнаго упеминовенія: «Благодъгельный Андронекъ или романическіе характеры стараго времени» (въ «Библіотекъ для Чтенія») и «Позументы» (во П томъ «Сказки за Сказкой»). Содержаніе объихъ этихъ повъстей взято талантливымъ авгоромъ изъ эпохи Петра Великаго. Мы

уже не разъ имѣли случай говорить о неподражаемомъ мастерстве, съ какимъ Кукольникъ изображаетъ въ своихъ повъстяхъ. нравы этого интересивишаго момента русской исторіи и, вірные нашему правилуsui cuique, не разъ отдавали должную справедливость достоинству повести Кукольника въ этомъ посчастливившемся ему родъ. Если бъ Кукольникъ издаль отдёльно эти повъсти, разсъянныя въ журналахъ и альманахахъ, — онъ имъли бы большой и притомъ заслуженный успёхъ въ публике. Не понпмаемъ, что за охота ему, вмѣсто того, что такъ сродно его таланту, тратить время и бумагу на романы и повёсти, въ которыхъ онъ изображаетъ страны, имъ невиданныя, и эпохи, знаемыя имъ только по изученію п какому-то отвлеченному представленію?... Ужъ если писать романъ, не лучше ли писать его изъ временъ столь живо и ясно присутствующихъ въ созерцанін автора.—Г. А. Н. (авторъ «Звёзды» и «Цвётка») напечаталъ въ прошломъ году только одну повъсть - «Живая картина» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), впрочейъ, уступающую въ достоинствъ прежнимъ его повъстямъ.-Вельтманъ помъстилъ въ «Библіотекъ для Чтенія» весьма занимательный и живо наппсанный разсказъ «Карьера», которому, впрочемъ, какъ типическому очерку, приличнъе было бы явиться въ «Нашихъ». — Казақъ Луганскій напечаталь въ прошломъ году только одну повъсть «Савелій Грабъ или Двойникъ» (во II томѣ «Сказка за Сказкой»); въ Библіографической Хроникѣ этой книжки читатели найдуть пашъ отзывъ объ этой повъсти. - Къ замъчательнъйшимъ повъстямъ прошлаго года принадлежитъ повъсть графа Растопчина «Охъ, Французы!» (въ «Отечественныхъ Записиахъ»). Въ этой повъсти совсьмъ пътъ никакахъ французовъ, но зато она сама есть върное зерьало нравовъ старины и дышить умомъ и юморомъ того времени, котораго знаменитый авторъ быль изъ самыхъ примъчательнъйшихъ представителей. Юмористическія статьи, печатавшіяся въ «Нашихъ», все болье или менъе замъчательны по ихъ стремленію -- быть выражениемъ дъйствительности, а не пустыхъ фантазій.

Воть и полный бюджеть всего, что было самаго замёчательнаго по части повёстей вы прошломъ году. Немного, очень немного, но, какъ сказаль поэть:

Выть такъ-спасибо и за то!

Изъ сборниковъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ былъ «Утрения Заря», альманахъ Владиславлева. «Утренняя Заря» на нынѣшній 1843 годъ по содержанію гораздо выше всѣхъ предшествовавшихъ годовъ. Если бъ въ

этомъ альманахъ была только одна статья покойнаго генерала М. Ө. Орлова «Капитуляція Парижа», а все остальное не превышало посредственности, - п тогда бы онъ быль замьчательнымь явленіемь; но въ «Утренней заръ», кромъ превосходной во всъхъ отпошеніяхъ статьи М. О. Орлова. есть еще повъсть графа Соллогуба, о которой мы говорили выше, большое стихотворение Лермонтова и два очень интересные разсказа Кукольника и Гребенки. — Третій томъ «Русской Бесьды», вышедшій въ прошломъ году, не оправдалъ ожиданій публики: окъ состояль изъ разнаго хлама нѣкоторыхъ старыхъ и уже выписавшихся сочинителей, чоторые быди рады куда-нибудь сбросить жалкіе плоды своихъ старыхъ досуговъ, и разныхъ новыхъ сочинителей, которые рады были, что, наконецъ, нашли пріютъ своимъ литературнымъ уродцамъ и недоноскамъ.-«Альманахъ въ память 200-лътняте юбълся Александровскаго университета» быта издапъ по случаю и содержить въ себф изсколько интересныхъ статей, относящихся дъ странв п событію, которое было причиной его по-

Рэскопныя изданія болье и белье вхэдять въ обычай въ нашей литература. Пентаъ «Нашихъ» возбудилъ и въ други і фоту пздавать нёчто въ томъ же родъ. гзд. вазваніемъ «Картинокъ Русскихъ Езавичи, которыя, какъ красивенькія перушне, имъ тъ свое достоинство, но какъ книги-инкакато, ибо это сборъ или стараго, давно извъстнаго, или новые пустяки, на скорую руку намазанные для такого казуса. Успахъ издангой Семененко-Крамаревскимъ «Исторіи Новолеона» съ политинажами картинъ Отжа Верне породиль компиляцію Ламбина сь чудовищными политипажами работы плохихъ рисовальщиковъ, и «Исторія Суворова» Полевого-начто въ рода обыкновенной коминляцін съ посредственными по изобрѣтенію и довольно недурными по выполненію политипажами; и еще другую исторію Суворова, которая грозить скоро появиться... «Театральный Альбомъ» — истинно великоленное изданіе, имбеть свое значеніе и пдеть своимъ путемъ. Доселѣ вышло его два выпуска. «Константинополь и Турки» тоже принадлежить къ хорошимъ и полезнымъ изданіямъ сь картинками. «Картины Русской Живописи» представляють собой изданіе, заслуживающее вниманія и участія публики. Къ такого же рода изданіямъ должно отнести и «Архитектурныя Фантазін» Шрейдера. Великольпное изданіе «Робинзена Крузо» Даніеля Дефо, съ рисунками Гранвиля, въ цереводъ съ англійскаго Корсакова, принадлежить къ числу действительно роскошныхъ с полезныхъ книгъ.

Шумно затьянный какими-то молодыми людими переводъ всёхъ ссчиненій Гёте остановился на второмъ выпускъ. Едва ли кто пожальеть о прекращени этой дътской ватин. Напротивъ, пертлодъ «Шекспира», предпринятый Кетчеромъ, хотя не быстро, но тъмъ не менъе прочно подвигается впередъ. Прошлый голь оставиль его на лесятомъ выпускъ. Драматическія хропики Шекспира уже кончены, и скоро появятся «Комедія Ошибокъ» и «Макбетъ». — Изъ отдёльно вышедшихъ кригь по части изящной словесности почти не о чемъ и упомянуть, кром'в того, о чемъ мы уже говорили, приступая къ этому обозрѣнію. Можно только аспомныть развів о второй части «Парижа въ 1836 и 1839 годахъ» В. Строева; впрочемъ, эта вторая часть вышла вмёстё съ первой, напечатанной въ 1841 году. — Неужели говорить о «Комарахъ», о «Снопахъ», о «Дагеротипахъ» и тому подобныхъ плевелать на поль русской литературы?... Если еще можно о чемъ упомянуть здёсь кстати, такъ разъв о «Драматическихъ Сочиненіяхъ и Переводажъ» Пелевого, — и то для того только, чтобъ замётить, что наша драматическая литература составляеть какую-то особую сферу гиз русской литературы. Геній ея-Кукольникъ; ея первоклассные таланты - Полевой и Ободовскій; за неми идеть уже мелочь ...

Мзъ отдёльно вышедшихъ книгъ серьезнаго содержанія нельзя не упомянуть о слъдующихъ: «Кесари» Шампаньи (Неронъ); «Римскіе Папы, ихъ церковь и государство въ XVI и XVII стольтіяхъ» (последняя изъ этихъ книгъ столь же дурно переведена, сколько первая хорошо); «Политическая и Военная Жизнь Наполеона» (часть 6 и последняя); «Юридическія Записки» Редкина (томъ II); «Всеобщая Географія» Бланка (томъ І,-переводъ небреженъ, изданіе неопрятно); «Сочиненія Платона» (томъ II); «Филологическія Наблюденія протоіерея Г. Павскаго надъ составомъ русскаго языка» (три части); «Замьчанія объ Осадь Тронцкой Лавры»; «Записки Данилова» (любопытнёйшан картина нравовъ русскаго общества за сто лѣтъ передъ этимъ); «Записки Нащокина», изд. Языковымъ, съ примъчаніями издателя; «Священная Исторія» (автора «Путешествія ко Святымъ Мфстамъ»; «Историческое Описаніе Одеждъ и Вооруженія Россійскихъ Войска» съ превосходно налитографированными рисунками -- одно изъ тъхъ монументальныхъ изданій, какія могуть предприниматься, особенно у насъ, только развѣ правительствомъ. Текстъ этого превосходнаго творенія — трудъ Висковскаго. Вышли вторымъ изданіемъ «Сказанія Князя Курбскаго». Пятое изданіе (компактное, въ 4 томахъ).

«Исторія Государства Россійскаго», предпринятоє Эйнерленгом», было бы истиннымъ подвигомъ со стороны издателя, если бъ дешевизна изданія соотвѣтствовала красоть,

изяществу, удобству и полнотъ. Теперь слова два о журналахъ. Кромъ псчисленныхъ выше сочиненій по части изящной сдовесности, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помъщены еще слъдующія: «Бъснующіеся. Орлахская Крестьянка», князя Одоевскаго, номѣщающаго статьи свои подъ псевдонимомъ Безгласнаго; «Сеня», повѣсть Гребенки; «Ямицикъ, или Шалость Гусарскаго Офицера», драматическая картина въ одномъ дъйствін, графа Соллогуба. Изъ переводныхъ статей по части изящной словесности — романъ Диккенса «Бэрнеби Роджъ»; романъ Жоржъ Занда «Орасъ», повъсть ен же «Мельхіоръ»; повъсти и романы: Эли Берте «Соколъ»; Фредерика Сулье «Маргарпта»; Огюста Арну «Колесо Фортуны»; Артюра Дюдлэ «Красная Звызда», и испанская драма, переведенная съ подлинника: «Никто кромъ Короля». По части наукъ и пскусствъ публикой, в роятно, были замвчены статьи: «Гёте» Липперта; «Коперникъ» Д. М. Перевощикова; «Система Жельзныхъ Дорогь въ Германіи» Фридриха Листа; «Изъ Записокъ Оренбургскаго Старожила»; разсказъ и повъствованіе, касающіеся Афганистана В. И. Даля; Осада «Силистрін въ 1828 году» и «Дунайская Экспедиція 1829 года» П. Н. Глібова; «Выставка Санктнетербургской Академін Художествъ въ 1842 г.» В. П. Б-на; «Лъченіе Бользней Искусствомъ и Натурой» (-и-о-), и пр. По части домоводства, сельскаго хозяйства и промышленности вообще: статьи Пензенскаго Земледъльца, статья Русскаго Помъщика (XI книжка). «Замѣчанія на статью Хомикова: «О Сельскихъ Условіяхъ»; «О Пьянствъ въ Россіи» Н. Б. Герсеванова, и пр. Такъ какъ критическія статьи всегда бывають выраженіемъ мнёнія самой редакцін, то мы можемъ назвать въ отдёль критики нашего журнала интересными статьями только статьи Герсеванова и Мордвинова о Сибири, Галахова о грамматикахъ Перевльсскаго, какъ доставленныя въ редакцію отъ постороннихъ сотрудниковъ; а нѣкоторыя изъ прочихъ почитаемъ себя въ правѣ поименовать, предоставляя самой публикъ судить о ихъ достоинствъ или недостаткахъ: «Русская Литература въ 1841 году», «Стихотворенія Аполлона Майкова», «Руководство къ «Всеобщей Исторіи Фридриха Лоренца», «Стихотворенія Полежаева», «Кесари Ф. де-Шампаньи», «Ричь о Критики, профессора А. В. Никитенко» (три статьи), «Объясненіе на Объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души», «Стихотворенія Баратын-

скаго», и пр. Равнымъ образомъ мы имѣемъ право, не нарушан скромности, сказать, что Библіографическая Хроника въ «Отечественныхъ Запискахъ» всегда была живой современной лётописью русской литературы; въ ней не пропущено ни одной книги, изданной въ Россін на русскомъ и пностранныхъ языкахъ, и потому полнотой она превосходитъ вев подобные отдёлы въ другихъ журналахъ. Въ отдёлѣ «Иностранной Литературы» редакція всегда старалась представлять свопмъ читателямъ по возможности полную картину современныхъ литературъ Франціи, Англіи и Германіи. Въ «Смѣси» читатели наши находили подробный отчеть о русской драматической литературъ и много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ достаточно указать на рядъ статей подъ рубрикой «Повадка въ Китай», которыя будуть продолжаться и въ нынтинемъ году.

Судить о дух и направленіи «Отечественныхь Записокъ», характер в критики, сравнительно съ критикой другихъ журналовъ,—

предоставимъ публикъ.

«Библіотека для Чтенія» дебютировала въ своей первой книжкъ за прошлый годъ второй частью повёсти барона Брамбеуса «Идеальная Красавица, или Дева Чудная», которой первая часть была напечатана въ последней книжке «Библіотеки для Чтенія» за 1841 годъ. При первой части было замъчено, что повъсть выйдеть въ 1843 году вполнъ и отдъльно. Не знаемъ, съ нетерпъніемъ ли ждетъ публика выхода окончанія «Дѣвы Чудной» или, подобно намъ, воесе не ждеть ея; но знаемь, что повъсть скучна и незанимательна, и что въ ней нётъ никакой повъсти, есть только длинныя разглагольствованія о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Кромъ «Дѣвы Чудной», въ «Библістекѣ для Чтенія» пропілаго года были напечатаны и еще дей повисти, тоже, кажется, барона Брамбеуса: «Паденіе Ширванскаго Царства» и «Лукій, или первая повъсть». Первая очень потъшна, а втораядовольно неудачное искажение извъстной сказки Апулея «Золотой Осель», переведенной по-русски Ермиломъ Костровымъ еще въ 1780 году подъ титуломъ «Луція Апулея платопической секты Философа превращеніе, или Золотой Оселъ. Перевелъ съ латинскаго Императорскаго Московскаго Университета баккалавръ Ермилъ Костровъ. Въ Москвъ въ Университетской типографіи у Н. Новикова, 1780 года. > Кром'в этихъ повъстей, «Дурочки Луизы», «Благодътельнаго Андроника» Кукольника и «Карьеры» Вельтмана, въ «Впбліотекъ для Чтенія» прошлаго года находятся еще: «Три Жениха», итальянская повёсть Каменскаго, «Закубанскій Харамзаде», отрывокъ изъ г ~

мана псевдонима «Хамаръ-Дабанова», не лишечный нъкотораго интереса, и «Мамзель Бабеть и ея Альбомъ» С. Победоносцева, тоже отрывокъ изъ большого сочиненія, но представляющій собой нічто цілое-родъ юмористическаго очерка, игриво написаннаго, которому настоящее мфсто было бы въ «Нашихи», ибо это совстмъ не повтсть. Изъ отдёла «Иностранной Словесности» въ «Библіотекъ для Чтенія» замьчательна драма Бернара фонъ Бескова «Густавъ Адольфъ», переведенная съ шведскаго В. Дерикеромъ. Это одно изъ прекраснѣйшихъ, возвышеннъйшихъ и благороднъйшихъ созданій скандинавской музы, въ которомъ просто, но върно и рельефно воспроизведенъ историческій образъ рыцарственнаго короля Швеціи-утішенія и чести человічества, славы и гордости XVII въка. Жальемъ, что время и місто не позволяють намъ распространиться объ этомъ произведении. Чтобъ познакомиться ифсколько съ его духомъ и паоосомъ, выпишемъ нёсколько строкъ. Оксеншіерна отговариваеть Густава-Адольфа отв союза съ Франціей и вообще отъ вившательства въ дёла Германін. «Теперь (говорить Оксеншіерна) вся Германія пылаеть, какъ Гекла, и выбрасываетъ раскалените каменья въ соседнія страны. Но большах часть этихъ изверженій все-таки падаеть навадъ въ горящее жерло. Вулкана не въгасишь; онъ самъ должекъ выгореть. Этого требуеть природа. Уставъ-Адольфъ отвъчаеть своему минксгру и другу: «Но спасти изъ давы, что вобиняло, велить человоколюбіе. Землетрясеніс-Сіеніе сердца земли. Времена тоже страктуть этой бельзныю. Цьдыя покольнія гибнуть для спасенія другихь покольній. И когда въ эту бурю ударить сващенный набать, каждый, въ комъ есть благородное мужество, спѣшитъ въ бой за правое діло. Мы пойдемь, будемь биться, и если падемъ, то новая рать съ новыми знаменами пойдеть по нашимъ трупамъ. Пусть человькъ умираеть, но человьчеству должно жить! Пусть сердце разрывается, но цаль должна быть достигнута!» Превосходно изображено въ этой драмъ мрачное лицо свиръпаго и невъжественнаго фанатика и великаго полководца-Тилли. Вообще публика должна быть вдвойнъ благодарна Дерикеру-и за прекрасный переводъ, и за прекрасный выборъ такого освъжающаго душу произведенія.—Изъ статей ученаго отділа въ «Библіотекъ для Чтенія» не на что указать въ особенности. Статья «Жизнь Шилдера» была бы чрезвычайно интересна, ибо заимствована изъ прекрасно составленной книги Гофмейстера, обнимающей жизнь великаго германскаго поэта до самыхъ мелочныхъ п темъ ещо болье интересныхъ подробностей, но чего

можно ожидать и требовать отъ статьи въ два печатные листа, въ которую скомкано содержание огромныхъ четырехъ томовъ? Самое дучшее въ этой статъв-ея заглавіе, а самая статья - фальшивая тревога. Въотделъ "Наукъ и Художествъ" помѣщена также статья Севковскаго: "Сокъ достопримъчательнаго. Записки Ресми-Ахметь Эфендія, турецкаго министра иностранизмъ дълъ, о сущности, началъ и важитйщихъ событіяхъ вейны, происходившей между Высокой Портов и Россіей отъ 1182 по 1190 голъ гиджры (1768-1776)". Мивие объ этой стать разделено на две крайности: одни думають, что это-повъсть, и при томъ фантастическая, во вкусѣ барона Брамбеуса; другіе убъждены, что это-переводъ псторическаго сочинения съ турецкаго подлинника. Не зная турецкаго языка, мы не можемырыинть вопроса и держимся середины, т. е. думаемъ, что это дъйствительно переводъ съ историческаго сочиненія, не украшенный въ приличныхъ мѣстахъ Брамбеусовскимъ юморомъ, выдумками и шутками для красоты слогу. Статья «Александрійская Школа» интересна фактически, но лишена истиннаго взгляда на этоть величайшій факть въ исторін древняго міра. «Александрійская Школа»--это послёдній плодъ философіи древняго міра, и ея исторія — исторія философіи древнято міра, а «Библіотека для Чтенія», какъ чавьогно всемь, не любить, не знаеть и не понимаетъ никакой философіи — ни древней, ни новой. - Прочія ученыя статьи въ «Библі)текѣ для Чтенія», каковы: «Лапласъ», «Вольта», «Тихояъ Браге», «Іоаннъ Кенлеръ» и т. п., которыми этотъ журналъ съ особеннымъ усердіемъ угощаеть своихъ читателей, должны были бы давно уже выйти изъ моды, какъ безполезныя и скучныя. Смёшно и думать, чтобъ можно было следить по журнальнымъ статьямъ за ходомъ такихъ наукъ, какъ математика, астрономія, физика, химія, физіологія, естествознаніе, особенно разсматриваемыя исключительно съ эмпирической точки зрѣнія. Чтобъ едѣлать такую статью доступной для публики, читающей исключительно литературные журналы, надо устроить ее до такой степени, что въ ней не останется никакого ученаго содержанія; а изложить ее для ученыхъ-значить сдёлагь ее недоступной для публики: въ обоихъ случаяхъвыходить много шума изъ пустяковъ. Для всякаго интересна біографія такого человька, какъ, напримъръ, Галилей: но въ ней великій ученый преимущественно долженъ быть изображень съ его нравственной стороны, какъ человькь, какъ мученикъ знанія, дышавшій религіознымъ благоговѣніемъ къ святости истины, которая составляеть предметь науки. Такан біографія будеть имѣть интересь об-

щій, будеть всёмь доступна и полезна. Біографія же, им'вющая предметомъ показать и оціннть ученыя заслуги великаго человіка, можеть имъть мъсто только въ спеціальноученыхъ изданіяхъ, гдф нфтъ нужды разжижать и опонливать ихъ строго-ученаго содержанія. А воть такія статын, гдв Сократь представляется надувалой, по-настоящему не до ижны бы имъть мъста ни въ какомъ журналь... О критикь «Вибліотеки для Чтенія» нечего говорить: всемь известно, что это критика сухая, состоящая большей частью изъ выписокъ и при томъ занимающаяся книгами, которыя не могуть возбуждать общаго интереса. Литературная Л'вгопись въ «Библіотекъ» совсъмъ, было, заснула, если бъ ее не раз. будили «Мертвыя Дуніи»: тогда она проснулась, начала вопить, кричать: но въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ отвътъ на эти крики была пропета такая песенка, отъ которой Летопись, повидимому, снова погрузилась въ летаргическій сонъ. «Смісь» въ «Библіотекъ» попрежнему состояла изъ разныхъ переводныхъ статескь, большей частью касающихся до разныхъ предметовъ физики, химін, медицины и естествознанія.

Въ «Современникъ» попрежнему номъщались стихотворенія Баратынскаго, Явыкова, ки. Вяземскаго, графяни Растопчиной, Мятлева, Айбулата и проч., и интересные разсказы и повьсти Основьяненка, барона Корфа и другихъ; ученыя статьи Невъдомскаго, Петерсона, критака и библіографія отличались попрежнему сжатой краткостью слога. Самыми замыча гельными статьями въ «Современникъ» прошлаго года были «Хроника Русскаго въ Парижъ», «Нибелунги», критика, «Мертвыя Души» и «Портретъ», повъсть Гоголя.

Въ «Москвитянинъ» бездна стиховъ: это оттого, что въ Москвъ вообще много пишется стиховь; а гдв нишуть много стиховь, тамъ почти совстмъ не иншутъ прозы или отдають ее въ петербургские журналы, - п потому въ «Москвитянинъ» почти совсьмъ нътъ прозы. «Римь» Гоголя попаль въ этоть журналь не изъ Москвы, а изъ Рима. Кромь этой повъсти, въ «Москвитянинъ» есть еще: отрывовъ изъ «Мирошева», прибывшій въ Летербургъ вмёстё съ цёлымъ и отдёльно вышедшимъ «Мирошевымь»; «Сердечная Оксана», переводъ малороссійской пов'єсти Основьяненка; «Мѣсяцъ въ Римь,» изъ дорожныхъ записокъ Погодина, которыя всемъ доставили столько разнообразнаго удовольствія красотой слога, энергической краткостью выраженія и небывалой еще въ подлунномъ мірѣ оригинальностью мыслей; «Колшичизна и Степи», разсказъ Эдуарда Тартье, переведенный съ польскаго; «Черная Маска», повъсть барона Розена; «Неаполь» (еще изъ

записекъ Погодина); «Вологда» (еще-таки нзъ записокъ Погодина); «Одна изъ женщинъ XIX вѣка», повѣсть Б...; «Женщина, Поэтъ н Авторъ», отрывокъ изъ романа А. Зражевекой. Это, должно быть, превитересный романъ: въ немъ изображено высшее общество дъйствуютъ все князья и княжны, графы и графини; имена героевъ самыя романическія -Лировы, Альмскіе, Сенирскіе, Минвановы, Дивстровскіе, Пермскіе и т. п. Туть изображена «поэтка», выражаясь языкомъ сочинительницы, которая пишеть и читаеть вслукъ, впрочемъ, довольно плохіе стихи. Жальемъ, что по недостатку мъста не можемъ сдълати выписокъ изъ этого отрывка; зато, когда выйдеть романъ, мы вдоволь насытимся этимъ удовольствіемъ. По отрывку видно, что такихъ романовъ, послъ дъвицы Марьи Извъковой, на Руси эще не было. Мы сказали, что прозы въ «Москвитянинѣ» мало, а сами выписали столько заглавій статей: это не покажется противоръчіемъ для тъхъ, кто читаль эту коротенькую «прозу». Изъ ученыхъ статей въ «Москвитятинъ» замъчательна статья профессора Лунина: «Взглядъ на исторіографію древивниихъ народовъ Востока.» Критика «Москвитянина» составляетъ душу этого журнала и замъчательна въ той же мъръ, какъ и онъ самъ. При томъ только критика да стихи и представляють собой литературную сторону «Москвитянина»: все остальное въ немъ какая-то пестрая смёсь неважныхъ историческихъ матеріаловъ съ газетными извъстіями. Изумительнъе вевхъ возможныхъ матеріаловъ — «Письма Пушкина къ Погодину» (№ 10 «Москвитянина»); мы думаемъ, прахъ Пушкина пошевелился въ могилъ отъ напечатанія въ журналь этихъ писемъ, писанныхъ совстмъ не для печати. Въ нихъ Пушкинъ увъряетъ Погодина, что его «Мареа Посадница» — великое Шекспировское произведение; это, върно, иронія, которая непонята авторскимъ самолюбіемъ... «Москвитянинъ» взяль на себя ръшение важной задачи о самобытности русскаго развитія, мимо Запада, и, въроятно, ръшить ее удовлетворительно и положительно въ нынъшнемъ году, а въ прошломъ замьтно только отрицательное рышеніе. Подождемъ. Богъ не безъ милости, а «Москвитянинъ» не безъ средствъ и не безъ охоты рашить вса интересные для себя вопросы.

О «Сынъ Огечества» и «Русскомъ Въстникъ» мы можемъ сказать только, что первый изъ этихъ журналовъ запоздалъ въ прошломъ году четырьмя кипжками; а «Рус-

стій Вѣстинкъ», запоздавшій въ 1811 году двумя книжками, въ прошломъ запоздалъ щ стью, выдавь въ одной книжкѣ 5 и 6 нумера и помъстивъ въ нихъ «Мать-Испанку», драму Полевого...

«Репертуаръ», по свидѣтельству собственныхъ опекуновъ своихъ, былъ такъ илохъ въ прошломъ году, что совершенно охладилъ къ себѣ публику. См. № 256 «Сѣверной Пчелы».

Кстати о «Сѣверной Пчелѣ»: она все та же, какой была и всегда, и потому, не желая повторять сказаннаго о ней въ прошлогоднемъ обозрѣніи русской литературы, мы ни слова о ней не скажемъ. Лучше виѣсто того пожелаемъ, чтобы преобразовываемый съ начала нынышняго года «Русскій пявалидъ» былъ во всѣхъ отношеніяхъ настоящей офиціальной, политической и учено-литературной газетой, чего мы имѣемъ полное право надѣяться.

«Литературная Газета» была върна своему назначенію. Представляя публикъ повъсти и разсказы, она исправно извыщата ее сбо всъхъ литературныхъ и театральныхъ новостяхъ и разсуждала съ дамами о модахъ.

Новый ділскій журналь «Звіздочка», изданаемый Ишимовой, оправдаль ожиданія публики и рекомендацій другихь журналовь. Вірный своему назначенію, онъ доставляль своимъ маленькимъ читателямъ сколько пріятное и разнообразное, столько и полезное чтеніе. Слогъ статей его не оставляеть желать ничего лучшаго.

Можеть быть, многіе увидять противорьчіе въ нашемъ воззрвній на русскую литературу въ последнее время съ отчетомъ о ея бюджеть за прошлый годь, быдности котораго мы сами не скрываечъ. Для такихъ читателей замѣтимъ, что мы въ своемъ возэрвній руководствовались не числомъ, а качествомъ произведеній. Сущность и духъ литературы выражаются не во всъхъ ея произведеніяхъ, а только въ избранныхъ. Пусть число этпхъ «избранныхъ» будетъ невелико, но какъ они дучшія, то они и представители литературы. Когда литература умираеть на своей засохней почвь, тогда не можетъ явиться ни одного превссходнаго творенія, а прошлый годъ подарилъ насъ «Мертвыми Душами...» При томъ же, если теперь и много представляется явленій посредственныхъ и плохихъ, то развъ нельзя назвать успъхомъ литературы и общественнаго вкуса то обстоятельство, что такія произведенія тотчасъ же оціниваются какъ сабдуеть, и не пользуются никакимъ успъхомъ?..

## Русская литература въ 1843 г.

Литература наша находится теперь въ состоянін кризиса: это не подвержено никакому сомнёнію. По многимъ признакамъ замѣтно, что она, наконецъ, тгердо рѣшилась или принять дёльное направление и недаромъ называться «литературой», иликакъ говоритъ у Гоголя Иванъ Александровичъ Хлестаковъ-«смертью окончить жизнь свою». Последнее обстоятельство, прискорбное для встхъ, было бы очень горестно п для насъ, если бъ мы не утъщали себя мудрой и благородной поговоркой: «все или нпчего!». Въ смиренномъ сознаніи действительной нишеты гораздо больше честности, благородства, ума и мужественнаго велико. душія, чімь въ дітскомъ тщеславін и ребяческихъ восторгахъ отъ мнимаго, воображаемаго богатства. Изъ всехъ дурныхъ привычекъ, обличающихъ недостатокъ прочнаго образованія и излишество добродушнаго невъжества, самая дурная-называть вещи не настоящими вхъ именами. Но, слива Богу, наша литература тенерь решительно отстаеть оть этой дурной привычки, и если изъ кое-какихъ латературныхъ захолустій раздаются еще довольно часто самохвальные возгласы, публика зигеть уже, что это не голост истины и любви, а копли или литературнаго терганиества, которое жаждеть прибытасьь на счеть добродушныхъ читателей, или самолюбивой и задорной бездарности, котерая въ лености и апатін, въ своемъ бездъйствін и своихъ мелочныхъ произваденіяхъ думаеть видёть неопровержимыя доказательства неисчернаемаго богатства русской литературы. Да, публика уже знаетъ, что это торгашество и эта бездарность, по большей части соедпеяющіяся вмъсть, спекулирують на ея любовь въ родному, къ русскому-- и свеи пошлыя произведенія называють «народными», сколько въ надеждъ привлечь этимъ вниманіе простолушной толны, столько и въ надежде зажать ротъ неумолимой критикъ, которая, признавая патріотизмъ святымъ и высокимъ чувствомъ, по этому самому съ большимъ ожесточеніемъ преследуеть лже-патріотизмъ, соединенный съ бездарностью. Публика знаеть, что ей уже нечего искать въ романахъ и повъстяхъ изъ русской исторіи или преданій старины, ибо она знаетъ, что русская исторія и русская старина сами по себів, а таланты нашихъ сочинителей и взглядъ ихъ на

вещи-сами по себь, и что русскій быть, исторический и частный, состоить не въ однихъ только русскихъ именахъ действующихъ лицъ, но въ особенностяхъ русской жизни, развившейся подт. неотразимымъ вліяніемъ містности и исторіи, такъ же, какъ патріотизмъ состоить не въ пышныхъ возгласахъ и общихъ мъстахъ, но въ горячемъ чувствъ любви къ родинъ, которое умъеть высказаться безъ восклицаній и обнаруживается не въ одномъ восторгъ оть хорошаго, но и въ болъзненной враждебности къ дурному, неизбѣжно бывающему во всякой земль, сльдовательно, во всякомъ отечествъ. Больше же всего и яснъе всего публика сознаетъ, что ей нечего читать, несмотря на возстание и воздвижение разныхъ непризнанныхъ оживителей и воскресителей русской литературы и несмотря на громкіе возгласы ихъ хвалителей. Это истина пеоспориман. Книгопредавцы то и діло выпускають въ светь объявленія о новыхъ внигахъ, которыя они издали и которыя они намърены издать, -- объявленія, печатаемыя на листахъ чудовищной величины, гигантскимъ и медкимъ прифтомъ, безъ подитипажей п съ политинажами и съ великолъцными похвалами этимъ книгамъ, написанными книгопродавческимъ слогомъ; возвъщаемыя книги действительно выходять въ светь п продаются по объявленнымъ цѣнамъ, а читателямъ отъ этого не легче, потому что читать все-таки нечего! Библіографы и рецензенты въ отчаяніи: имъ совсемъ неть работы, нечего разбирать, не надъ чемъ потрунить, да нечего и похвалить; въ беллетристическихъ книгахъ картинки хороши или сносны, а тексть плосокъ до того, что не за что заціпиться; потомъ большая часть книгь все учебники, паръдка корошіе, но чаще невинные и въ добре, и злв. Отдель библіографін въ журналахъ со дня-надень теряетъ свою занимательность въ глазахъ публики, которая всегда читала рецензію съ большей жадностью, большимъ вниманіемъ и бельшимъ удовольствіемъ, чёмъ самую книгу, на которую написана рецензія. Журналы также въ отчаяніи; имъ остается разбирать только другъ друга: занятіе невинное и забавное, которое, впрочемъ, едва ли можеть занять публику больше преферанса и домашнихъ сплетней!

Куда же девались наши книги? где же

наша литература? «Да ихъ поглотили тол стые журналы!» кричать со всёхъ сторонъ «Какихъ книгъ, какой литературы хотите вы, если любая книжка толстаго журналы въ состояніи поглотить въ себё литературный бюджеть цёлаго гола?» А, воть въ чемъ вло: толстые журналы виноваты! Но сколько же у насъ издается толстыхъ журналовъ?—Два: «Отечественныя Записки» и «Библіотека для Чтенія». Попробуемъ провёрить фактически справедливость этого умозрительнаго обвиненія.

«Отечественныя Записки» состоять изл. восьми отдёловъ, изъ которыхъ цёлые пять совершенно невинны въ поглощении русскихъ книгь: мы говоримъ объ отдёлахъ Современной Хроники Россів, Критики, Библіографической хроники, Иностранной Литературы и Смфси, въ которые никоимъ образомъ не могутъ войти статьи въ книгу величиной или статьи, которыя могли бы быть изданы отдёльно и не были рождены срочной и дневной потребностью журнала. Въ отдълы: Наукъ и Художествъ и Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще иногда входять статьи до того огромныя, что могли бы составить порядочной величины книгу: таковы были въ отдель Наукъ и Художествъ «Отечественныхъ Записокъ» 1841 года статьи: «Альбигойцы и крестовые противъ нихъ походы: «Греція въ нынѣшнемъ своемъ состояніи (1841), «Гёте» (1842), «Средняя Азія по новъйшимъ источникамъ Гумбольдта» (1843) и др., и въ отделе Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышденности вообще «Отечественныхъ Записокъ» 1842 года огромная статья Сабурова «Записки Пензенскаго Земледельца о теоріи и практике сельскаго хозяйства». Каждая изъ этихъ статей есть большая книга; но, во-первыхъ, такихъ большихъ статей немного бываеть въ журналахъ, а во-вторыхъ, онъ своимъ появле ніемъ въ печати обязаны только журналу. Упомянутыя статьи въ отделе «Наукъ» переводныя или сокращенныя изъ нфсколькихъ книгъ, изданныхъ на иностранныхъ языкахъ: «Отечественныя Записки» никому не помѣшали бы перевести или составить ихъ и издать въ свъть, тъмъ болье, что нъкоторыя изъ этихъ сочиненій изданы были въ подлинникъ нъсколько лътъ назадъ, н однако жъ никто и не подумалъ приняться за нихъ. А почему?-Да потому, что въ журналъ ихъ прочли всъ читающіе журналь, а явись они отдёльной книгой, то переводчикъ или составитель остался бы невознагражденнымъ, издатель въ убыткъ, и прекрасное сочинение было бы прочитано много-много нѣсколькими десятками человвкъ; для большинства же публики они

остались бы совсёмъ неизвёстными. И мало ли на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ хорошихъ историческихъ сочиненій, которыя соединяють въ себъ ученость содержанія съ популярностью изложенія? Кто же мъшаетъ ихъ кому-нибудь переводить и издавать? Неужели толстые журналы? Въдь они, кажется, не пользуются правомъ монополін касательно переводовъ иностранныхъ сочиненій? При томъ же всѣ наши журналы безъ нсключенія грѣхъ обвинить въ скорости и посифиности, съ которой они представляли бы въ переводахъ своимъ читателямъ новыя учено популярныя иностранныя сочиненія, и которая препятствовала бы кому-нибудь переводить и издавать ихъ отдельно. Что же касается до статьи Сабурова, то и ей ничто не мѣшало явиться отдёльной книгой, кром'в разв'в естественнаго для книги желанія быть прочитанной не ограниченнымъ числомъ присяжныхъ любителей книгъ такого содержанія, а цёлой публикой... Теперь остается одинъ отдълъ, на который въ особенности должно надать обвинение въ поглощении книгъ и литературы: это отдёлъ Словесности, гдё поміщаются стихотворенія, повёсти и другія балдетристическія статьи. Но, во-первыхъ, стихотвореній въ нынёшнихъ журналахъ, и толстыхъ, и тонкихъ, печатается немного, потому что посредственныхъ никто не хочеть читать, хорошія же рідки, а превосходных послі Лермонтова уже никто не пишеть; во-вторыхь, въ отделе словесности помещаются не одни русскіе пов'єсти и романы, но и переводные, и самые больше всегда бывають переводные; въ-третьихъ, ни тѣмъ, ни другимъ никто не мѣшалъ бы являться отдѣльными книгами, если бъ они сами этого захотыли, нбо, повторяемъ, толстые журналы не пользуются правомъ монополіп для печатанія оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и повъстей.

Все сказанное объ «Отечественныхъ Запискахъ» можно приложить и къ «Библютекъ для Чтенія»: слишкомъ большія статьи и въ ней помыщаются изрыдка, въ отдылахъ Наукъ и Художествъ и Промышленности и Сельскаго Хозяйства,—чаще въ отдыль Русской Словесности и очень часто въ отдыль Словесности Иностранной, гдъ передыльваются на русскій языкъ иностранные повъсти и романы.

Многочисленны же должны быть русскія книги и богата же должна быть русская литература, если онъ цъликомъ поглощаются тремя отдълами двухъ журналовъ, -- тремя отдълами, состоящими на половину изъ переводныхъ статей!!..

Однако жъ, скажутъ намъ, до существованія толстыхъ журналовъ книгъ выходило гораздо больше!..

Это справедливо: но причана этого не въ толстихъ и не въ тонкихъ журналахъ. Для книгь ученаго содержанія у нась ніть ещпублеки, и наши ученые, если бъ они много инсали и много издавали, дълали бы это для собственнаго удовольствія в сами были бы и читателями, и покупателями собственныхъ своихъ книгъ. Это фактъ, противъ очевидной дъйствительности котораго не устоять никакіе фразы и возгласы, какъ бы ни были они великольпны. Ученая литература наша всегда была до того бъдна, что странно было бы и называть ее литературой, какъ странно называть библіотекой шкафъ съ нъсколькими десятками разрозленныхъ книгъ. Но прежде ученыхъ книгъ выходило еще меньше, чемъ теперь. И все лучшее по этой части является теперь только или черезъ прямое посредство правительства, или нодъ его покровительствомъ, особенно книги спеціальнаго содержанія, какъ-то: историческіе акты, сочиненія по части статистики, по части инженерной, горной и т. п. Сочиненія медицинскія болье независимы, и потому врачеоная литература, въ сравнени съ другими, болъе богата, пбо въ значительномъ (по числу своему) сословін врачей все же есть люди, болье или менъе слъдящіе за ходомъ науки, которая по крайней мъръ даетъ имъ хлъбъ. Учебныя книги у насъ можно издавать только при условіи, чтобъ онь быди приняты въ руководство въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ послёднее время учебная литература обогатилась многими хорошими кнкгами, изъ которыхъ первое мъсто по достоинству занимають руководства, изданныя для военно-учебныхъ заведеній. Итакъ, при всей бъдности ученой и учебной литературы настоящее время все-таки имфетъ большое преимущество предъ прежинмъ, когда истории Кайданова, географін Зябловскаго, грамматики Греча и риторики Толмачева и Кошакскаго считались отличными учебниками. Что касается до собственно-беллетристической литературы или, какъ ее называютъ иначе, - изящной словесности, въ прежнее время, т. е. отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, она казалась столь же богатой и процвътающей, сколь теперь кажется бъдной и увядающей. Но если она казалась богатой, изъ этого не слъдуетъ, чтобъ она и была богата въ самомъ деле. Въ двадцатыхъ годахъ публика была въ восторгѣ отъ избытка литературныхъ сокровищъ. Но въ чемъ состояли эти сокровища? Вь крошечныхъ альманахахъ, наполненныхъ крошечными отрывками изъ крошечныхъ поэмъ, крошечныхъ драмъ, крошечныхъ повъстей, которымъ большей частью никогда не суждено было явиться вполнъ, т. е. съ началомъ и концомъ. Вспомните, сколько, бывало, шума

и радости производило появление «Съверных» Цвытовы!» А что было въ нихъ? Двы-три новыя пьесы Пушкина или Жуковскаго, которын, конечно, были бы всегда драгоциными перлами во всякаго рода изданіяхь; но вивств съ ними съ восторгомъ, равно детскимъ. читались, перечитывались, учились наизусть п нереписывались въ тетрадки стихотворе нія и другихъ поэтовъ, изъ которыхъ одик были точно съ замъчательными талантами. а другіе вовсе безъ таланта, владвя гладкимъ стихомъ и модной манерой выражать бывшія тогда въ модъ чувства унынія, грусти, лівни, разочарованія и тому подобное. Сверхъ того въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» были литературнын обозрвнія Сомова, аллегоріи О. Глинки, даже статьи Владиміра Измайлова. Въ наше время такіе альманахи ужъ невозможны: и самыя стихотворенія Пушкина или Лермонтова не заставили бы никого заплатить десять рублей за маленькую книжечку, въ которой, за исключениемъ трехъ-четырехъ пра восходныхъ стихотвореній, все остальнозили посредственность, или просто вздоръ. Мы не говоримь о другихъ альманахахъ, нотянувшихся длинной вереницей за «Свверны» ми Цвътами», какъ-то: «Ураніи», «Съверной Лирв», «Невскомъ Альманахв», «Сиріусь», «Царскомъ Сель» и многомъ мисжествъ другихъ. Что же выходило тогдајкромѣ альманаховъ? - Поэмки въ стихахъ, ко торыхъ теперь и названій нельзя вспомнить, равно какъ и именъ ихъ сочинителей; разныя драматическія произведенія, теперь забытыя вивств съ именами ихъ производителей, да еще безобразные и чудовищные переводы поэмъ и романовъ Вальтеръ-Скотта вмъсть съ глупыми романами виконта Дарленкура... Въ такомъ положен и была наша литература отъ начала такъ-называемаго романтизма до 1829 года. Лучиня и многочисленнъйшія статьи вь тогдашнихъ журналахъ, преимущественно въ «Московскомъ Телеграфѣ», были переводныя, а оригинальныя большей частью состояли изъ отрывковъ. Стихи преобладали гогда надъ провой и наводняли журналы и альманахи; въ то же время стихи издавались и отдельными книжками, то подъ именемъ «поэмъ», то подъ именемъ «собраній сочиненій» такого-то. И, несмотря на то, изъ замѣчательныхъ поэговъ никто не быль издань въ то время. «Горе отъ Ума» ходило въ рукописи по већиъ краяма обширнаго русскаго царства. Стихотвореній Пушкина была издана только небольшая книжка въ 1826 году. Настоящее издание собранія сочиненій Пушкина началось уже съ 1829 года. Сочиненія наиболье уважавшихся ноэтовъ того времени, какъ-то: Баратынскаго, Веневитинова, Языкова, Подолинскаго. Козлова, Давыдова, Дельвига, Полежаевз

были изданы уже въ тридцатыхъ годахъ. \*) Итакъ, гдв же это богатство книжной производительности днадцатыхъ годовъ, которое уличило бы наше время въ литературной бъдности? Это богатство было мнимое, призрачное; оно заключалось въ новизнѣ, которая добродушно принималась въ то время за геніальность, въ отрывкахъ, которые считались за цълыя великія творенія на честное слово сочинителей, -- въ потопъ стиховъ, которые, благодаря гладкости, сладостной лічи и унылому раздумью, принимались за поэзію. И это множество стиховъ являлось не оттого, чтобы поэты того времени писали много, но оттого, что сдинкомъ много поэтовъ писало въ то время. Десять тысячъ стихотворцевъ, написавъ каждый по десятку стихотвореній, подарять свёть такой громадой стиховь, въ сравнении съ которой полное собрание сочиненій такихъ плодовитыхъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте, Шиллеръ, будетъ небольшая книжечка. Нашихъ поэтовъ грёхъ обвинять въ плодовитости: это грахъ, въ которомъ они ръшительно невинны. Самъ Пушкинъ, дъятельнайшій и плодовитайшій изъ всахъ русскихъ поэтовъ, писалъ слишкомъ мало и слишкомъ лѣниво въ сравнении съ великими европейскими поэтами. Но это, конечно, была не его вина: наша дъйствительность не слишкомъ богата поэтическими элементами и немного можеть дать содержанія для вдохновеній поэта, — такъ же, какъ нашъ плоскій материкъ, заслоненный стрымъ и сырымъ небомъ, не много можеть дать видовъ для пейзажнаго живописца. Пушкинъ, впрочемъ, взяль все, что могь взять. Но что сделали другіе поэты, вмість съ нимъ вышедшіе на литературное поприще? Одинъ изъ нихъ представилъ публикъ собраніе многольтнихъ поэтическихъ трудовъ въ двухъ томикахъ, другіе—въ одномъ миніатюрномъ томикъ. Зато вев они были изданы очень красиво и съ большими пробълами. Скажутъ: «но въдь **г**отоинство поэта измфряется качествомъ, а не количествомъ написаннаго имъ.» Иногда и чаще всего-темъ и другимъ, отвечаемъ мы. Источникъ поэтической дъятельности есть творческая натура, - и чъмъ болье одарень поэть творческой силой, тымь естественно онъ дъительные, подобно пароходу, который темъ быстрве летить, чемъ огромнье его машина и чемъ жарче она топится. Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіп зависять отъ объема ея содержанія, и чёмъ глубже, шире, универсальнъе иден, одушевляющія поэта и составляющія павось его жизни, тъмъ естественно разнообразите и многочислениве его произведенія: тучная,

богатая растительными силами почва не истощается одной богатой жатвой, а сухая и песчаная не даеть и одной порядочной жатвы. Если поэтъ мало писаль-значить, ему было не о чемъ больше писать, потому что вдохновлявшей его иден по' ея поверхпости и мелкости едва стало на два, на три десятья болье или менье однообразныхъ, хотя въ то же время болье или менье и прекрасныхъ пьесокъ. Вотъ почему, когда иной знаменитый поэтъ нашъ соберется, наконецъ, издать собраніе своихъ стихотвореній, всімъ извѣстныхъ прежде изъ журналовъ и альманаховъ, то очень должно остерегаться читать ть его стихотворенія, которыя посль изданія этого сборника будеть онъ израдка печатать въ журналахъ. Причина очевидна: наши поэты большей частью издають собранія своихъ поэтическихъ трудовъ, какъ намятники, дорогіе ихъ сердну, лучшихъ дней ихъ жизни, когда они любили и мечтали. Но когда человъкъ перестаетъ мечтать, истративъ на мечты лучшую половину своей жизни, въ которую следовало бы мыслить, и когда волей или неволей сходится и мирится онъ сь пошлой действительностью, за незнаніемъ разумной действительности, открывающейся только мысли и сознанію, а не чувствамъ и мечтамъ, - тогда талантъ оставляетъ его, и въ такомъ случав всего лучше поторониться ему издать свои сочиненія. Жаль только, что эти счастливыя дёти своего времени въ сборникъ часто являются гостями, опоздавшими на пиръ и прищедними въ старомодныхъ костюмахъ: они бываютъ непріятно поражены холоднымъ пріемомъ даже со стороды тьхь самыхъ людей, которые пять-шесть льть назадь были оть нихъ въ восторгв...

Но обратимся къ двадцатымь годамъ русской литературы. Въ это ультра-романическое и ультра-стихотворное время проза была въ самомъ жалкомъ состоянии. Пушкинъ почти ничего не писалъ прозой. Нъсколько статей Веневитинова принадлежить въ прозв теоретической, а не поэтической, а въ этомъ родъ прозы было кое-что болье или менье замьчательное. Кромь мыслящих в статей Веневитинова, въ сферь поэтической прозы отличились тогда трескучія эффектами и фразой повъсти Марлинскаго и приводили добродушную публику въ неописанный восторгъ. Чтобъ несколькими словами охарактеризовать бёдность изящной прозы того времени, стоить только замітить, что даже и повісти одного московскаго ученаго, совершенно дишенныя фантазін, ниція талантомъ, богатыя черствой сухостью чувства и грубымъ цинизмомъ понятій и выраженій, многимь и очень многимъ нравились, хотя тогда же многіе смінлись надъ этими жалкими порожденіями цезаконных в продазаній на таланть

<sup>\*)</sup> За исключеніемъ только первой части сочивеній Вепевитинова, изданной вт 1829 году.

и воззію. Посла этого удигительно ди, что для большинства того времени дивомъ-девнымъ вазалесь повъсти Полевого, чундыя всякаго творчества, но не чуждыя нѣкоторон изобрътательности, бъдныя чувствомъ, но богатыя чувствительностью, лишенныя идеи. но достаточно нашипперванныя высшими взглядами, — повъсти, представлявнія вмьсто характеровъ образы безъ лицъ, т. е. неопредаленныя полумысли автора, - повъсти. не щеголят шія слогомъ, но ловко владъвшія фразой и не безъ основанія претендовавшія на и вкоторое достопнство разсказа, обличавшее въ авторъ литературное образование и навыкъ, - повести, невинныя въ какомъ бы то ни было такта дайствительности и способности хотя приблизительно понимать действительность, но очень и очень виновныя въ мечтательности и натянутомъ, приторномъ абстрактномъ идеализмѣ, который презпраетъ землю и матерію, питается воздухомъ и высокопарными фразами и стремится все «туда» (dahin!)-въ эту чудную страну праздношатающагося воображенія, въ эту вѣчную Атлантиду себялюбивыхъ мечтателей?.. Удивительно ли, что и люди, не принадлежавшіе къ большинству, считали эти повъсти за весьма пріятное явленіе въ русской литературь? Въдь тогда еще не было ни «Пиковой Дамы», ни «Капитанской Дочки» Пушкина, ни повъстей Гоголя, ни «Героя нашего времени» Лермонтова...

Впрочемъ, Погодинъ и Полевой слишкомъ много писали повъстей только съ 1829 года. Этотъ годъ быль довольно замътнымъ поворотомъ отъ стиховъ къ прозъ, и нельзя не согласаться, что, считая оть этого времени до 1826 года, литература наша была болѣе оживлена и болње ботата книгами, чемъ прежде и послъ того. Въ этотъ промежутокъ времени появились «Вечера на Хуторъ близъ Диканьки», «Арабески», «Миргородъ» и «Ревизоръ» Гоголя, и самъ Пушкинъ началъ обращаться къ прозъ, напечатавъ лучшія свои повъсти-«Ппковую Даму» и «Капитанскую Дочку». Это уже слишкомъ девольно, чтобъ не только считать это время богатымъ и обильнымъ литературными произведеніями, но и видіть въ немъ новую, прекрасную эпоху русской литературы. Чнслительное богатство книгъ и обиліе литературныхъ повинокъ было еще значительнъе. Въ 1829 году О. Булгаринъ издалъ своего «Выжигина», а въ следующемъ году—«Дмитрія Самозванца». Первый изъ этихъ романовъ имълъ большой успъхъ; онъ въ короткое время былъ весь раскупленъ и особенно понравился низшимъ слоямъ читающей публики, поторые, повірнвъ на слово сочинителю, не затруднились увидёть въ его безличныхъ изображеніяхъ върную картину со-

временной русской действительности. Очевидно, что въ это невинное заблуждение ввели ихъ русскія имена дёйствующихъ лицъ въ «Выжигинъ», названія русскихъ городовъ и областей, а главное-запутанныя и неестественныя похожденія продувного героя романа. Добряки не замътили, что все этостарыя погудки на новый ладъ, какъ говорить пословица, т. е. Дюкре-дю-Менилевскія романтическія пружины съ Сумароковскими нападками на лихоимство и мошенничество. При этомъ не должно забывать, что нервыя попытки въ новомъ родъ всегда принимаются хорошо. Нубликъ того времени показался повостью романъ съ русскими именами. Она забыла, что какой-то А. Измайловъ въ этомъ отношении предупредилъ Ө. Булгарина цёлыми тридцатью годами, ибо въ его романъ «Евгеній, или пагубныя слъдствія дурпого воспитанія и сообщества», изданномъ въ 1799 году, дъйствіе происходить въ Россіи, и герой романа называется Евгеніемъимя столь же русское, сколько и иностранное. Фамилія Евгенія—Нег дяевъ, фамиліи прочихъ действующихъ лицъ романа: Лицемъркина, Вътровъ, Тысячниковъ, Бездъльниковъ, Простаковъ, коллежскій асессоръ Назарій Антоновичь Миловзоровь, Воровь, Подлянковъ, Развратинъ и пр. Въроятно, эти остроумно придуманныя А. Измайловымъ русскія фамиліи и подали Ө. Булгарину счастпвую мысль назвать гороевъ своего романа Вороватиными, Ножовыми п пр. Это обстоятельство также доставило «Выжигину» значительный успёхъ. Впрочемъ, «Выжигинъ», пзобрѣтательностью, манерой, яркимъ изображеніемъ характеровъ, движеніемъ сердца человѣческаго и нравственно-сатирическимъ направленіемъ живо напоминавшій собой «Евгенія» А. Измайлова, далеко превзошелъ его въ правильности языка, хоть и уступиль ему въ живониси разсказа. Публика того времени по свойственной ей забывчивости не догадалась также, что Ө. Булгаринь предупреждень быль, какъ романисть, писателемъ новымъ и даровитымъ, и что въ 1824 году вышель «Бурсакь», а въ 1825-«Два Пвана, или страсть къ тяжбамъ» Наръжнаго. Эти два замъчательныя произведенія были первыми русским и романами. Они явились въ такое время, когда еще публика не была въ состояніи оценить ихъ, и лучшіе юмористические очерки характеровъ и сцепъ простонароднаго быта назвала сальностями, а немножко таланта увидела въ романической развязкъ «Бурсака». Все это было съ руки О. Булгарину п номогло ему прослыть первымъ романистомъ на Руси. Однако жъ его «Дмитрій Самозванецъ» оборвался; его убиль уснёхь «Юрія Милославскаго», вышеднаго въ свътъ нъсколькими недълами

прежде «Самозванца», который безъ этого прискорбнаго для него обстоятельства безъ сомнинія получиль бы еще большій успахь, чъмъ «Выжигинъ». Послъдующіе романы Ө. Булгарина уже имёли самый посредственный успѣхъ, и то благодаря только овладѣвшей публикой страсти къ романамъ, которая тогда смѣнила ея страсть къ стихамъ. «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» имѣлъ несчастье столкнуться съ «Рославлевымъ»; несмотря на слабость второго романа Загоскана, онъ былъ все-таки неизмѣримо выше «Петра Ивановича Выжигина», хотя въ этомъ романъ выведенъ и самъ Наполеонъ, къ несчастью, обрисованный столь неудачно, что его такъ же трудно отличить отъ. Петра Ивановича Выжигина, какъ и Петра Ивановича Выжигина отъ Наполеона. Четвертый романъ Ө. Булгарина «Мазена» уналъ рѣшительно, несмотря на искусную и усердную поддержку со стороны «Библіотеки для Чтенія»; публика уже не хотьла читать повторенія того, что уже надобло ей въ прежнихъ романахъ О. Булгарина. Еще менње замътила и опънила она неподражаемый юморъ этого нравственно-са тирическаго сочинителя, разлитый въ его «Запискахъ Титулярнаго Совътника Чухина»; это было полнымъ паденіемъ — chûte complète! Мода на романы такъ была сильна, т. е. романы такъ хорошо расходились въ то время, что даже сочинитель множества граммативъ, прочитавшій, по словамъ «Библіотеки для Чтенія», въ корректурѣ всю русскую литературу, Н. Гречъ-издалъ до вольно длинную и сообразно съ темъ довольно скучную повъсть— «Поъздка въ Германію» и потомъ длинный романъ, начиненный разными чудесами на манеръ Анны Радклейфъ -«Черная Женицина». Сплыный въ то время на поприщъ журналистики баронъ Брамбеусъ силился искусной и усердной рецензіей. наполненной разсужденіями о магнетизмі, дать ходъ первому пзданію «Черной Женщины», ставилъ ее выше романовъ Вальтеръ-Скотта и считалъ за счастье, по собственнымъ словамъ его, бъжать за колесницей тріумфатора, т. е. Греча. Такова была тогда романоманія, что все сходило съ рукъ благополучно, и всякая сказка давала болве нли менъе върный барышъ! Но второе взданіе «Черной Женіцины», поступившее въ составъ вышедшихъ въ 1858 году въ пати частяхъ «Сочиненій Николая Греча», потонуло въ Леть вмъсть со всвин нятью частями этихъ сочиненій.

Послѣ романовъ О. Булгарина намъ тотчасъ же слѣдовало бы говорить о судьбѣ романовъ Загоскина, которые начинали являться послѣ «Выжигина» и убили на-поваль всѣ романы О. Булгарина; но послѣ имени О. Булгарина какъ-то невольно ло-

жится подъ перо имя Н. Греча, да и романы обоихъ этихъ сочинителей похожи другъ на друга, какъ діти одного отца, отличансь мертвой правильностью и грамматической чистотой языка при отсутствін всякихъ другихъ качествъ. «Юрій Милославскій» былъ въ свое время. безъ всякаго сомнѣнія, пріятнымъ и замъчательнымъ литературнымт явленіемъ. Его действующія лица не только носять русскія имена, но и говорять русской рѣчью и даже чувствуютъ и мыслять по-русски, что было въ то время совершенно новымъ явленіемъ въ русской литературь. Присовокупите къ этому добродушное увлеченіе автора, мъстами очень похожее если не на вдохновеніе, то на одушевленіе, разсказъ плавный, не патянутый, языкъ не всегда правильный, какъ у Ө. Булгарина и Н. Греча, но всегда живой, - и вы поймете причину чрезвычайнаго успѣха этого романа. Загоскинъ радушно, отъ души, со всемъ хлесосольствомъ старыхъ временъ угостилъ русскую публику своимъ «Юріемъ Милославскимъ». Но этимъ все и оканчивается. Историческаго въ этомъ романъ нътъ ничего: всь лица его списаны съ простолюдиновъ нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа-все обнаруживаеть въ авторъ русскаго драматическаго писателя, навыкшаго поддельную сценическую действительность почитать за зеркало настоящей русской жизни. Въ 1812 годъ онъ перенесъ отдёльныя сцевы 1812 года, подміченныя имъ въ деревенхъ, -- и былъ убъжденъ, что остался въренъ исторіп. Въ «Рославлевъ» онъ принялся болье за свое дъло-за изображение того, что видыть самъ на Руси въ 1812 году. И если бъ онъ остался въренъ своему таланту и призванію-рисовать отдъльныя сцены и картины простонароднаго и помъщичьиго деревенскаго быта, -- его второй романъ былъ бы не безъ достоинствъ. Но авторъ почелъ нужнымъ основать все на мелодраматической завизкъ, а главное возымѣлъ немножко смѣлую претензію-изобразить, словно въ поэмъ, великій 1812 годъ со всемъ его историческимъ значениемъ в характеромъ, - н какимъ же образомъ? черезъ мелодраматическую любовишку, черезъ портреты безцвътнаго героя, Рославлева, избитаго въ комедіяхъ лица добраго мадаго Зарѣцкаго, черезъ нѣсколько добродушныхъ орпгиналовъ въ родъ Буркина и Иволгина и посредствомъ нъсколькихъ отдъльныхъ и вымыпіленныхъ сценъ бородинской битвы, въ которыхъ разговариваютъ между собой пріятели, забавные героп романа... Очевидно, что автора ввелъ въ заблужденіе непонятый имъ Вальтеръ-Скотгъ и непонятное значение исторического романа. Какъ бы то ни было, но чемъ большаго ожидала нетеривливая публика от «Рославлева», темъ меньше домдалась она. Последующе романы Загоскина были уже одинъ слабъе другого. Въ нихъ онъ ударился въ какую-то странную, псевдо-патріогическую пропаганду и политику, и началъ съ особенной любовью живописать разбитые носы и свороченныя скулы извъстнаго рода героевъ, въ которыхъ онъ думалъ видъть достойныхъ представителей чисто русскахъ правовъ, и съ особеннымъ павоссмъ прославлять любовь къ соленымъ огурцамъ и кислой капустъ.

За Загоскинымъ вышелъ на литературное поприще въ качествъ романиста Лажечниковъ. Онъ дебютировалъ историческимъ романомъ «Послідній Новикъ», дійствіе котораго происходить то въ Лифляндін, то въ Россіи, и дъйствующія лица котораго немцы и русскіе. Это обстоятельство делить романъ какъ бы на два стороны, изъ которыхъ первая какъ-то лучше обрисована и занимательное представлена авторомъ, чемъ последняя. Какъ первый опыть въ этомъ родь, романъ Лажечнигова слишкомъ полонъ и многоричнвъ во вредъ художнической соразмфриости и пропорціальности; но, несмотря на этогъ недостатокъ, онъ необыкновенно живъ, какъ всякій плодъ слинкомъ горячей и запаличньой діятельности. Втогой романъ Лажечникова-«Леляной Домъ» уже не стелько сложенъ и юношески горячъ, какъ «Последній Новикъ», зато болье строенъ и простъ, безъ ущерба занимательности; а нъкоторыя главы, какъ, напримъръ, «Соперники» и «Родины Козы», могутъ считалься украшеніемъ не только «Ледяного Дома», но и замъчательными произведениями русской литературы. Въ «Басурманъ» очень удачно сдъланъ очеркъ характера Іоанна III н вообще хороши тъ сцены, гдъ авторъ выводить это грозное и великое лицо русской исторін. Во всемъ остальномъ нельзя сказать, чтобъ авторъ очень удачно воспользовался прекрасно-придуманной основой своего романа-представить противоположность европейскаго элемента жизни азіатскому и нарисовать потрясающую сердце картину гибели человъчески-развившагося и образованнаго существа, сделавшагося жертвой дикихъ нравовъ, среди которыхъ забросила его судьба. Вообще, скажемъ откровенно, романамъ Лажечникова особенно вредятъ два обстоятельства. Во-первыхъ, авторъ не довольно отръшился отъ стараго литературнаго направленія — видіть поэзію вні действительности и украшать природу по произвольно-задуманнымъ идеаламъ. Оттого въ его русскихъ романахъ есть что-то не совстмъ русское, что-то похожее на европейскій быть въ русскихъ костюмахъ. Такова,

напримёръ, любовь Велынскаго къ Маріо риць, невърная исторически и невозможная по тически, по ея несообразности съ климатомъ, мъстностью и правами. Она какъ будто изъ Италін или Пепанія прівхала въ Петербургъ, чтобы доставить автору ифсколько эффектныхъ сценъ. Что же ка ается до украшенія природы — оно не есть исключительная принадлежность псевдо-классицизма: перемвнились слова, а сущность діла оста--еоп ахинпанын ахилонм кид эж вт азык товъ, — и псевдо-романтикъ Викторъ Гюго еще съ большимъ усердіемъ по-своему украшаетъ природу въ романахъ и драмахъ, чемъ украшали ее псевдо-классики Корнель, Р.синъ и Вольтеръ. Второй недостатокъ романовъ Лажечникова, имвющій твеную связь съ первымъ, -- это неровный, какъ будто неправильный и тяжелый языкъ. Многіе по этому случаю упрекали Лажечникова въ неумьнін писать по русски и незнаніи русскаго языка: - обвинение смѣшное и нелѣшое, достойное грамматистовь-ругинеровъ! Нъть, не отъ незнанія языка, не отъ неспособности владыть имъ, Лажечниковъ шишеть неровнымъ слогомъ; даже не стгого, что будго бы онъ не занимается его отделкой, а развъ отгого, что онъ слишкомъ занимается огдълкой, и еще отъ ложной манеры, которую многіе наши писатели волей или неволей. сознательно или безсознательно, больше или меньше заняли у Марлинскаго, и которая заставила ихъ пещись больше объ эффектной красоть, чъмъ о благородной простоть, строгой точности и ясной определенности выраженія. Во всякомъ случав ручскій романъ, начатый Загоскинымъ, въ произведеніяхъ Лажечникова сдълалъ большой шагь впередъ, - и если романы Загоскина проще, напвиће и легче романовъ Лажечникова, зато романы последняго далеко выше по мысли и вообще гораздо удовлетворительное для образочаннаго класса читателей. Нельзя не пожальть, что Лажечниковь не избынулъ общей участи многихъ русскихъ писателей — замолчать посль двухъ или трехъ опытовъ и лишить публику надежды дождаться отъ него чего-нибудь такого, что напоминло бы его первые опыты, столь много объщавшіе...

Если рѣчь зашла о прозанкахъ-романистахъ этой впохи, то было бы несправедливо умолчать о Вельтмань. Онъ дебютировалъ забытымъ теперь «Странникомъ» — калейдоскопической и отрывочной смѣсью въ стихахъ и прозѣ, не лишенной однако жъ оригинальности и казавшейся тогда занимательной и острой. Потомъ онъ издалъ какую-то поэму въ стихахъ. Первымъ и, по обыкновеню большей части русскихъ писателей, дучнимъ его романомъ былъ «Кощей Без-

смертный»— странная, но поэтическая фантасмагорія. Гадо сказать правду, у Вельт мана несравненно больше фантазін, чемъ у романистовъ, о которыхъ мы говорили выше, и потому онъ гораздо больше поэтъ, чёмъ они. Но его фантазін стаетъ только на поэтическія м'єста; съ цізлымь же произведеніемъ она пикогда не въ состоянін управиться. Оригинальность фантазіи Вельтмана часто сбивается на странпость и вычурность въ вымыслахъ. Прочитавъ его романъ, помнишь прекрасныя, псполненныя поэзін м'єста, но цылое тотчасъ изглаживается изъ намяти. Къ романтическимъ и поэтическимъ вымысламъ Вельтманъ примъшиваетъ какой-то археологическій мистицизмъ и вносить свою страсть къ этимологическимъ объясненіямъ историческихъ и даже доисторическихъ вопросовъ. Все это очень безобразить его романы. Туманность и неопредъленность въ вымыслахъ и характерахъ также принадлежитъ къ недостаткамъ романовъ Вельтмана. Каждый новый его романъ былъ повтореніемъ недостатковъ перваго съ ослабленіемъ красотъ его. Все это сдълало то, что Вельтманъ пользуется гораздо меньшей извёстностью и меньшимъ авторитетомъ, нежели какихъ бы заслуживало его замъчательное дарованіе.

Почти въ то же время явились на сцену и другіе романисты, пмівніе больній или меньшій успахъ, какъ, напримаръ, Ушаковъ, котораго «Кпргизъ-Кайсакъ» не лишенъ былъ кое-какихъ относительныхъ достоинствъ. Романъ скрывавшаго свое имя автора-«Семейство Холмскихъ» имёлъ замёчательный успѣхъ; въ немъ попадаются довольно живын картины русскаго быта въ юмористическомъ родъ; но онъ утомителенъ избитыми пружинами вымысла и избыткомъ сентиментальности, соединенной съ резонерствомъ. Марлинскій гарцовалъ въ журналахъ своими трескучими повъстями до 1836 года; особо и вполнт онт были изданы въ 1838-1839 годахъ. Изъ новыхъ нувеллистовъ въ началъ тридцатыхъ годовъ явился даровитый казакъ Луганскій со своими оригинальными розсказиями на русско-мододецкій ладъ, которыя онъ потомъ мало-но-малу началъ оставлять для лучшаго топа и содержанія. Какъ сказки, такъ и повъсти Луганскаго были плодомъ сколько замвчательнаго дарованія, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многосторонией житейской опытностью автора, человіка бывадаго и коротко ознакомившагося съ бытомъ Россіи почти на всёхъ концахъ ся. Погодинъ и Полевой, съ особеннымъ усердіемъ принявшіеся за пов'єсти съ 1829 года, издали въ тридцатыхъ годахъ собранія этихъ повъстей. Въ началъ же тридцатыхъ годовъ неожиданно вышла первая часть дотолъ ни-

кому неизвъстныхъ стихотвореній Бенедиктова, котораго талантъ въ стихахъ то же, что талантъ Марлинскаго въ прозв; время уже доказало справедливость приговора, какимъ встръчены были критикой первые опыты Бенедиктова. Но не всё критики были такъ строги къ этому блестящему стихотворцу; одинъ московскій кригикъ и словесникъ, при томъ же самъ пінта, объявилъ, что до Бенедиктова поэзія наша (представителями которой, разумвется, были Державинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибовдовъ) была чужда мысли, и что только въ изящныхъ произведенияхъ Бенедиктова русская поэзія въ первый разъ япилась вооруженная мыслыю...- Еще прежде Бенедиктова вышелъ на литературное поприще Кукольникъ съ лирическими стихотвореніями, драмами въ стихахъ, а потомъ съ новестями, романами, журнальными статьями и пр. Въ его литературной и поэтической дъятельности замытные всего-усилие обыкновеннаго таланта подняться на высоты, доступныя только генію, и потому если нельзя отрицать въ немъ таланта, то нельзя и опредвлить степени характера и заслугь этого таланта. Мы, можеть-быть, забыли и еще коекакія произведенія, им'ввнія въ то время большій или меньшій успёхъ и умножившія собой число интересовавшихъ публику книгъ; но не обо всъхъ же говорить! Л чие скажемъ, что князь Одоевскій, почти ничего отдъльно не издававшій досель по іт. своимъ именемъ, съ 1824 года постоянно нечаталъ въ повременныхъ изданіяхъ пов'єти и разсказы особеннаго рода, въ которыхъ нравственныя иден облекались то въ поэтическіобразы, то въживое слово, исполненное илвоса краснорѣчія... Но о нихъ мы скоро будемь имьть случай говорить подробиве.

Съ 1839 года въ русской литературѣ совершился замътный переломъ. Книжная торговля унала, книгъ стало выходить гораздо менье, и литература начала казаться бъднъе прежняго. Пушкинъ умеръ, и два года печатались въ «Современникъ» его посмертныя произведенія. Это были последнія и самыя высокія, самыя зрёдыя созданія вполив развившагося и возмужавшаго его художническаго генія. Въ первомъ томѣ «Ста Русскихъ Лигераторовъ» были напечатаны его «Каменный l'ость» и отрывокъ изъ романа. Все остальное дотолъ неизвъстное публикъ, появилось только въ 1841 г. въ трехъ последнихъ томахъ полнаго собранія его сочиненій. Долго тянулось для нублики изданіе новыхъ, неизвѣстныхъ ей сочиненій Пушкинь, п этимъ утомилось не вниманіе, а ожиданіе публики!.. Съ 1837 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Лермонтова, въ первый разъ изданныя особо въ 1840 году, равно какъ в

его «Герой нашего времени». Съ 1837 же года начали появляться повъсти графа Соллогуба, Панаева и другихъ болье или менье замъчательныхъ молодыхъ писателей. Въ числі молодыхъ съ 1838 года явился слинъ старый: это покойный Основьяненко, между безчисленными повъстями котораго, написанными въ продолжение какихъ-нибудь четырехъ льть, особенио замьчателень «Пань Халявский» — сатприческая картина старинныхъ нравовъ Малороссін; во всёхъ другихъ повъстяхъ и романахъ своихъ онъ повторялъ или сантиментальность своей «Маруси» или юморъ «Пана Халявскаго» и въ последнее время значительно выписался. Еще съ 1828 года все новое въ русской литературъ начало прятаться въ журналахъ, и особыми книгами большей частью стали появляться только или альманахи, или сборники уже гзвъстныхъ публикъ изъ журналовъ сочиненій, или, наконець, новыя изданія старыхъ сочиненій. Новое, вив журналовъ и альманаховъ, показывалось ръже и ръже, а послъ смерти Лермонтова, последовавшей въ 1841 году, что печаталось и въ журналахъ, состояло изъ оставинихся стихотвореній этого поэта. столь рано умершаго для русской литературы, которую его великій таланть одинъ быль бы въ состояни сділать интересной не для однихъ насъ, русскихъ. Бѣдность и нищета болье и болье начали вторгаться даже въ журналы-эти теперь почти единственные представители «богатства» русской литературы. Бёденъ быль хорошими повёстями 1842 годъ, но прошлый 1843 оказался еще бъльве. Объ отдъльно выходившихъ книгахъ теперь много нельзя разговориться. Въ 1842 году вышли «Мертвыя Души» Гоголя, —твореніе столь глубокое по содержанію и великое по творческой концепціи и художественному совершенству формы, что оно одно пополнило бы собой отсутствие книгь за десять лътъ и явилось бы одинокимъ среди изобилія въ хорошихъ литературныхъ произведеніяхъ. Впрочемъ, 1842 годъ все-таки быль богаче прошлаго отдельно вышедшими книгами, равно какъ и замъчательными повъстями, помъщенными въ журналахъ и альманахахъ.

Выведенный нами изъ этого обзора результать, повидимому, противоръчить началу статьи. Мы хотъли доказать, что литература настоящаго времени только по наружности бъднъе литературы прежнихъ временъ, а въ сущности выше ея, —и между тъмъ фактами доказали совсъчъ противное. Но мы начали съ того, что литературная бъдность нашего времени по своимъ причинамъ почтенна, и въ этомъ смыслъ составляеть пріобрътеніе, а не утрату... Объяснимся. Какъ отъ литературы двадцатыхъ годовъ прочныя и дъйствигельныя пріобрътенія эстались

тодько въ сочиненіяхъ Иушкина \*) и вь «Горъ отъ Ума» Грибовдова, все же прочее пиветь болве или менве относительное, такъ сказать, историческое значение, точно такъ и огъ литературы тридцатыхъ годовъ у насъ есть прочныя и действительныя пріобрътенія только въ сочиненіяхъ Гоголя и Лермонтова, а все остальное или уже получило свое относительное историческое значеніе, или за недостаткомъ времени еще не выдержало пробы, могущей определить его безусловную ценность. И если отъ 1823 года до начала четвертаго десятильтія вышло много (сравнительно съ прежнимъ и послъдующимъ временемъ) романовъ, драмъ и другихъ произведеній изящной словесности, то не должно забывать, что это была пора опытовъ и попытокъ,-пора, въ которую все новое не могло не удаваться. Вѣдь и «Выжигины» съ «Самозванцемъ» по мнимой ихъ новизнъ сначала имъли успъхъ, да еще какой!-- неужели же и ихъ должно считать сокровищами русской литературы теперь, когда читавшіе ихъ уже совстить забыли, а нечитавшіе вовсе не им'єють инкакого желанія прочитать? Нападки на пьянство, воровство и лихоимство, какъ на пороки гибельные для внышняго и внутренняго вблагосостояній людей, - неужели эти нападки, состоявиня въ истертыхъ моральныхъ сентенціяхъ. и теперь должно принимать за пдеи; а бездушныя риторическія олицетворенія пороковъ и добродътелей, выдаваемыя за характеры, действительно должно принимать за живыя лица, вмъсто того чтобъ видьть въ нихъ куклы, раскращенныя грубой мазилкой и безобразно выръзанныя ножипцами изъ оберточной бумаги?.. Конечно, первые романы Загоскина всегда будутъ удостоиваемы почетнаго упоминанія отъ историка русской дитературы, и никто не станеть отрицать ихъ относительнаго достоинства для времени, въ которое они явились, и даже ихъ болье или менъе полезнаго вліянія на современную имъ русскую литературу; но изъ этого еще не следуеть, чтобъ мы ихъ читали и перечитывали, какъ творенія всегда новыя, или чтобъ мы въ «Юріи Милославскомъ» и теперь видыли върную картину русскихъ 1612 года, а въ «Рославлевъ» -- русскихъ 1812 года. Подобныя мысли и двінадцать літь тому назадъ едва ли кому входили въ голову: а теперь всякій видить въ этихъ романахъ не болье, какъ литературные (а отнюдь не художественные) очерки не русскихъ 1612 и

<sup>\*)</sup> Мы не упоминаемъ имени Жуковскаго потому, что двятельность этого поэта не относится исключительно къ двадцатымъ годамъ; она пачалась раньше этого времени около семнадцати лътъ и къ славъ и чести русской литературы не кончилась до сихъ поръ.

1812 годовъ, а русскаго простонародья во всѣ года, какіе вамъ угодно... Многое бываетъ хорошо для своего времени, и иное живетъ вѣкъ, иное десятъ лѣтъ, иное годъ, а иное одинъ день... Всѣ эти «Поѣздки въ Германію», «Черныя Женщины, «Кпргизъ-Кайсаки», «Коты Бурмосѣки», «Семейства Холмскихъ» и тему подобныя произведенія не могли не нравиться въ свое время; но время это прошло, уже не воротится для нихъ, и теперь, если бы кто сталъ ими угощать публику, выхваляя ихъ достоинства, иублика могла бы отвѣтитъ: «хороши были покойники—вѣчная имъ память, не будемъ тревожить ихъ праха...»

Отчего же, спросять, теперь не является такихъ же болбе или менбе удовлетворительныхъ для нашего времени сочиненій, какія выходили тогда въ такомъ значительномъ числъ? — Въ этомъ вопросъ - вся сущность дъла. Мы сказали выше, что то время было временемъ опытовъ и попытокъ въ разныхъ родахъ. Теперь это время миновалось: все уже испытано, и чтобъ проложить въ искусствъ новую дорогу, нуженъ геній или по крайней мёрё великій таланть, а геній и великіе таланты не родятся десятками и дюжинами. Вы хотите отличиться, напримъръ, на поприщѣ лирической поэзіи—за что вамъ приняться: за оды?-ихъ вѣкъ давно прошель; за элегін? — хоропю; но вы должны сказать въ нихъ что-нибудь новое. О грусти, разочарованіи, идеалахъ, неземныхъ дівахъ, лунь, сладостной льни, разгульныхъ пирахъ, шипучемъ винѣ, отчаянін, ненависти къ людямъ, погибшей юности, измѣнъ, кинжалахъ, ядахъ — обо всемъ этомъ уже было сказано и пересказано тысячу разъ и въ изящныхъ созданіяхъ Пушкина, и толиой его подражателей. Теперь уже вась не стануть читать, если вы захотите удивлять размашистостью бойкой фразы, яркой звонкостью стиха, восторженными диопрамбами въ честь годубоокихъ младыхъ дъвъ и шумныхъ вировъ удалой юности, потому что въ этомъ васъ предупредилъ Языковъ - и предупредиль, какъ человъкъ съ талантовъ, который шелъ своей дорогой, какая бы ни была она, и умъль быть оригинальнымъ, какова бы ни была эта оригинальность. Языковъ уже самымъ этимъ временнымъ успѣхомъ своей поэзін навсегда уничтожиль возможность тажой ноэзім: - въ этомъ-то и состоить его неотъемлемая заслуга русской литературъ и неотъемлемое право на мѣсто въ исторіи русской литературы. Если бъ неизбъжно было читать кого-нибудь изъ васъ, такъ уже, конечно, его, а не васъ: оригиналы всегда предпочитаются копіямъ. Хотите ли вы блеснуть выписными чувствами, выраженными ослинительно-вычурными фразами и натянуто-смалой мета-

форой, — васъ и тутъ предупредилъ Бенедиктовъ, и тоже предупредилъ, какъ человѣкъ съ дарованіемъ, который самъ проложиль себъ дорогу, какова бы она ни была, и быль оригиналенъ, что бъ ни говорили объ его оригинальности. Бенедиктовъ темъ и оказалъ важную услугу русской литературь, что самымъ успѣхомъ своей поэзін сдѣлаль навсегда смѣшной такую поэзію Для этого тоже нуженъ таланты! Геній или великій таланть уничтожаеть для другихь возможность прославиться на его счетъ посредствомъ подражанія, а такія маленькіе, хотя и яркіе и самобытные таланты, призванные показать приміръ уклоненія искусства отъ настоящей его ціли, спасають въ будущемъ искусство отъ этихъ уклоненій именно невозможностью для другихъ подражать имъ въ ихъ ложномъ направленін. Это заслуга отрицательная, но и для нея нужно имъть талантъ, нужно, чтобъ въ основъ такого ложнаго вдохновенія была своя истинная струя поэзін, подобно золотымъ крупинкамъ въ массъ ръчного песка. Теперь уже невозможны такіе поэты, какъ Языковъ и Бенедиктовъ, или, лучше сказать, невозможенъ сколько-нибудь значительный успъхъ со стороны такихъ поэтовъ. Недавно въ Москвъ нъкто Милькъевъ, о близкомъ пришествін котораго въ литературный міръ заранъе трубили пріятельскіе журналы, какъ о чудь-чудномъ и дивь-дивномъ, издалъ книжку стихотвореній, которыя по формѣ показали въ немъ ученика Языкова и Бепедиктова, а по содержанію-ученика Хомякова; не чувствуя въ себъ довольно сплы, чтобъ хоть сравняться съ своими образцами не только превзойти ихъ, а вибств съ темъ желая во что бы то ни стало ноказаться оригинальнымъ, онъ не придумалъ ничего лучшаго, какъ превзойти свой образецъ въ направлении своей поэзін и, взявъ за основаніе неопреділенно и темно понятую мысль о народности, довести ее до последней нелепости. Для этого онъ началь воспрвать восторженными стихами русскую сивуху и доказывать, что Ломоносовъ оттого только и сделался преобразователемъ русскаго слова, что имълъ несчастную страсть невоздержности, которую московскій поэть поставиль ему въ великую заслугу... Видите ли, какъ трудпо теперь сделаться поэтомъ на чужой счеть, безъ таланта, безъ образованія, безъ иден, безъ призванія!... Пушкинъ при жизни своей не былъ понять: при началь его поприща имъ поверхностно восхищались и думали походить на него, усвоивъ себъ не тайну, не жизнь, а только дегкость его стиха,при концѣ его поприща негкомысленно къ нему охладели, считали себя выше его потому только, что не были въ состояни понять его, указывая на его ошебки и про-

махи. Дъйствительно важные, и не умъя измърить высоты, дъйствительно недосягаемой, на которую сталь его возмужавшій творческій геній. Но посмертныя его сочинешя, которыми онъ при жизни своей не торонняся угощать русскую публику, столь хорошо знакомую ему по долговременному опыту, многимъ невольно открыли глаза на истинное значение Пушкина. Кратковременная, но изумптельная своей огромностью дъятельность Лермонтова на поэтическомъ поприщъ окончательно лишила насъ надежды видьть частыя появленія новыхъ замбчательныхъ поэтовъ и новыя замѣчательныя произведенія поэзіп: послѣ Нушкина и Лермонгова трудно быть не только замѣчательнымъ, но и какимъ-нибудь поэтомъ! Мечъ и шлемъ Ахилла изъ всёхъ греческихъ героевъ могли оспаривать только Аяксъ и Одиссей. И теперь въ журналахъ изръдка появляются стихотворенія, выходящія за черту посредственности; но когда въ томъ же нумеръ журнала находищь стихотворенія Лермонтова, то не хочется и читать другихъ. Въ 1842 году вышли стихотворенія Майкова; п ть изъ нихъ, которыя имъ написаны въ антологическомъ родь, обнаруживають таланть необыкновенный: пхъ читали, ими восхищались, ихъ хвалили, за авторомъ безспорно осталось титло замъчательно даровитаго человька, но уже не было преувеличенныхъ похвалъ и толковъ о геніальности; поэть заняль свое мфсго, очень почетное, но которое однако жъ не показало его всемъ на особенный высоть, ибо всь поняли, что прекрасное опыты въ антологическомъ родъ еще не разгадка последняго слова современности и не удовлетворение всёхъ ен потребностей. Къ тому же всь не антологическіе опыты Майкова почти нпчтожны и не объщають въ будущемъ особеннаго развитія и особенныхъ успыховъ со стороны поэта. А между тымъ было время, когда люди съ несравненно меньшимъ талантомъ, чемъ талантъ Майкова, считались едва не геніями, и стихотворенія ихъ были всъмъ извъстны. Непріятели «Огечественныхъ Записокъ» не разъ ясно и намеками старались внушить публик мысльбудто бы мы для успъха нашего журнала производимъ въ геніп поэтовъ, пом'єщаю: щихь свои произведенія въ нашемъ журналъ. Здъсь мы считаемъ кстати не словами, а фактами доказать несправедливость подобнаго обвиненія.

Наиболье превозносимые нами поэты изъ новыхъ—Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ и Гоголь. Изъ нихъ только одинъ Лермонтовъ былъ постояннымъ вкладчикомъ «Отечественныхъ Записокъ»; Пушкинъ и Грибовдовъ ничего не могли печатать въ журналь, начавшемся послв ихъ смерти, а Го-

голь хотя и живъ, и иншетъ, но досель не помъстилъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ни одной строки своей. Мы хвалимъ gratis, и наша любовь, наше уважение къ великимъ умеринмъ всегда были и будутъ жарче и благоговьйнье, чьмъ къмалымъ живымъ, хотя для нашего журнала последніе могли бъ быть полезиће первыхъ... Мы цѣнимъ въ поэтѣ таданть и геній независимо отъ его сотрудничества или несотрудничества въ нашемъ журналь. Мы были бы въ восторгь, если бъ явился новый Лерментовъ, и безъ умолка хвалили бы его, если бъ онъ печаталъ свои стихи хотя бы даже въ «Маякъ». Но - увы! - несмотря на весь пыль нашихъ желаній привътствовать на Руси появленіе новаго великаго таданта, мы ни въ чужихъ, ни въ нашемъ журналь не видимъ не только новаго Лермонтова, но и что-нибудь похожее на него!..

Итакъ, о стихахъ нечего говорить. Настоящее время неплодотворно и неудобно для нихъ, ибо требуетъ отъ стиховъ или очень много, или ничего.

До сихъ поръ говоря о стихахъ, мы разумы и преимущественно лигическую поэзію. Обратимся къ тому роду погзін, который является въ стихахъ и въ прозъ Назадъ тому льть десять ньито Зиловъ издаль книжку басенъ и послъ въ одномъ стихотворении горько жаловался, что-де теперь читають все неистовые романы, а басенъ не читаютъ. Изъ этого видно, что Зиловъ только въ половину постигь дёло; правда, для басип давно уже и безвозвратно прощло время, но Зилову следовало бы обратить внимание и на то, что его басни были плохи, и что ему не следовало бы съ такими баснями являться после Хемницера, Дмитріева и Крылова. Сказка въ родъ «Модной Жены» и «Причудницы» Дмитріева и «Странствователя и Домосѣда» Батюшкова тоже давно отжила свой въкъ; но сказка въ родъ «Графа Нулина» Пушкина и «Казначейши» Лермонтова можетъ здравствовать и теперь

Да за нее не всякъ умъетъ взяться!..

Она въ особенности требуетъ юмора, а юморъ есть столько же умъ, сколько и талантъ. Однимъ еловомъ, такая сказка и теперь—претрудная вещь. Романъ въ родѣ «Онѣгина», поэмы въ родѣ поэмъ Пушкина и Лермонтова могутъ быть и теперь; по нхъ всѣ какъ-то боятся, и мы знаемъ только одинъ счастливый опытъ въ томъ родѣ, явившійся въ послѣднее время, именно маленькую поэму «Парашу», вышедшую въ прошломъ году. Этотъ родъ поэзіи гораздо труднѣе лирической, ибо требуетъ не ощущеній и чувствъ мимолетныхъ, которыя мегутъ бытъ и у мксгихъ, но и дара поэзіи, и образованнаго, у м н а г о взгляда на жъзнь — что бываєть

очень не у многихъ. Инсать же поэмы, накъ писали ихъ, напримъръ, Козловъ, Подолинскій и прочіе, и теперь бы могли многіе; даже лътъ инть назадъ за нихъ принялся, было, поэть не безъ дарованія—Бернеть: но попытка оказалась неудачной: новое время, новыя и требованія, болье трудныя для исполненія, чемъ прежнія. Опять вина не поэтовъ, а времени, -- и ясно, что теперь нашу литературу объднило время съ его неудобоисполнимыми требованіями, а не недостатокъ въ охотникахъ писать и въ такихъ талантакъ, какихъ довольно было во время дно... Драматическая поэзія допускаеть равно и стихи, и прозу, даже то и другое висств. Въ числительномъ отношенін это у насъ самая богатан отрасль литературы. Еще въ 1786-1794 гг. быль издань «Россійскій Өеатръ» въ сорока-трехъ частяхъ: судите же, какое богатство! Трагедін писали у насъ и Тредьяковскій, и Ломоносовъ, и Сумарсковъ, и Херасковъ, и Княжнинъ, и Озеровъ, и Крюковскій и многіе, многіе; а писавшихъ комедіи пътъ возможности перечесть на-скоро. И однако жъ порядочныхъ трагедій въ псевдоклассическомъ французскомъ родъ только четыре — Озерова; трагедію въ родѣ шекспировскихъ драматическихъ хроникъ мы имвемъ только одну-«Бориса Годунова» Пушкина, и въ его драматическихъ сценахъ – нъсколько опытовъ трагедін собственно («Пиръ во время Чумы», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость»). Больше не на что указать. Что касается до коменіи, ьъ которой съ большимъ или меньшимъ успъхомъ упражинлось множество писателей, какъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Княжнинъ, Капнисть, Крыловь, князь Шаховской, Загоскинъ, Хмъльницкій, Писаревъ и проч., и проч.,-несмотря на огромное богатство нашей литературы въ произведеніяхъ этого рода, все-таки решительно не на что указать. кром'в «Бригадира» и «Недоросля» Фонвивина, «Горя отъ ума» Грибовдова, «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя и его же «Сценъ» («Игрови», «Тяжба», «Лакейская» и проч.). Итакъ, чтобъ написать теперь трагедію, которая была бы не хуже «Бориса Годунова» и другихъ драматическихъ опытовъ Пушкина, -- надо имъть талантъ Пушкина. Нъкоторые писатели действительно отважно решились допытываться своего счастья на этомъ треводненномъ морф. Хомяковъ написалъ драмы «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванець», изъ котерыхъ первая даже была поставлена на сцену. Но всъ скоро признали въ казак хъ Хомякова не казаковъ XVI столетія, а скоръе нъмецкихъ студентовъ добраго стараго времени; вмѣсто характеровъ увидѣли одицетворение извъстныхъ дирическихъ ошущеній и чувствованій и вообще нѣчто въ родѣ

пародін на драматическій лиризм в Шиллера, пародіи, написанной, впрочемъ, бойкими, гладкими и даже иногда живыми стихами. Въ «Самозванцъ» уже не только одни лирическія ошущенія и чувствованія, но и кое-какія доморощенныя иден о русской исторін и русской народности; стихи такъ же хороши, какъ и въ «Ермакъ», мъстами довольно удачная поддёлка подъ русскую річь, и при этомъ совершенное отсутстве всякаго драматизма; характеры -- сочиненные по рецепту; герой драмы-идеальный студенть на грменкую стать; тонъ дътскій, взгляды невысокіе, недостатокъ такта действительности-совершенный... Потомъ выступилъ на драматическое поприще Кукольникъ съ своими драмами изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Отвлеченная идеальность, мъстами хорошія лирическія выходки, изрёдка педурныя драматическія положенія; но въ общности невърность концепців, монотонность вымысла и формы, недостатокъ истиннаго драматизма и вследствіе того непобедимая скука при чтеніи-воть характеристика этихъ драмъ Кукольника. Но у него есть еще и другой родъ драмъ-это русско-историческія, какъ, напримъръ: «Рука Всевышняго отечество спасла», «Скопинъ-Шуйскій» и «Кінязь Холмскій». Въ этихъ нѣтъ ничего общаго съ «Борисомъ Годуновымъ», который до того проникнуть вездъ истинно-шекспировской върностью исторической дійствительности, что самые недостатки его, -- какъ-то: отсутстве драматическаго движенія, преобладаніс эпическаго элемента и вследстве этого какое то холодное, хотя и величавое спокойствіе, разлитое во всей пьесъ, происходять оттого, что она слишкомъ безукоризненио върна исторической действительности русской жизни. Въ драмахъ Кукольника нътъ и признаковъ этой действительности: все ложно, на ходуляхъ; лучшія мѣста-просто сценическіе эффекты, и сквозь русскіе охабни, кафтаны и сарафаны пробивается что-то не русское, какъ въ русско историческихъ повъстяхъ Марлинскаго, какъ въ русскихъ песняхъ Дельвига. Доказательствомъ справедливости нашехъ словъ можеть служить и то, что этотъ родъ драмы ловко быть усвоенъ Ободовскимъ, Полевымъ, В. Зотовымъ и другими соченителями этого разряда. Но у Кукольника есть еще особый родъ драмы-это передъланные вь драматическую форму анекдоты изъ жизни Петра Великаго (напримъръ, «Пванъ Рябовъ, рыбакъ архангелогородскій»); въ нихъ много хорошаго, хоть и нътъ драмы, пбо изъ анекдота никакъ нельзя сдёдать драму. Подевой не упустиль изъ вида отличиться и въ драмѣ, какъ отличился уже въ лирической поэзін, въ романъ, въ повъсти, въ критикъ, въ исторін, въ журналистикь, въ политической эко-

номін, въ эстетикъ, въ филодогіи, въ философін, въ лингвистикъ и проч., и проч. Особенный характеръ трагедій (или «драматическихъ представленій»), комедій, кодевилей, анекдотическихъ драмъ Подевого-всеобъемдемость, универсальность: въ нихъ все найдете: немножко Шекспира, немножко Мольера, немножко Вальтеръ-Скотта, не-множко Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена. Дюма гдв-то сказаль, что онъ не похищаеть чужого въ своихъ сочиненіяхъ, но, подобно Шекспиру и Мольеру, береть свое, гдв только увидить его; эти слова можно приложить къ Полевому: ему все годится, все подручно- п исторія, и повъсть, и романъ, и ансклоть, Шекспиръ и Коцебу, Шиллеръ и Кукольникъ: онъ все береть и у всёхъ учится; его драмы родятся и умирають десятками, подобно лётнимъ эфемеридамъ. Нашъ Вольтеръ и Гёте — онъ все; онъ единъ цълая литература, цълая наука. Извольте же угоняться за нимъ! примитесь за драму: онъ взяль или возьметь всевозможные сюжеты, какіе бы вы ни придумали, воспользуется всякими новыми драматическими эффектамивсе вмъстить онъ въ свою драму, во всемъ предупредить вась. Нать, лучше и не беритесь за драму: кром'в Полевого, вамъ загораживають дорогу Хомяковъ и Кукольникъ. Вамъ поневолъ придется выдумать свою драму, новую, небывалую, а это невозможно, потому что уже всв источники изобрътенія истощены, всв роды перепробованы, всв дороги избиты. Нуженъ геній, нуженъ великій талантъ, чтобъ показать міру творческое произведение, простое и прекрасное, взятое изъ всемъ известной действительности, но вьющее новымъ духомъ, новой жизнью. Если бъ вы даже вздумали сочинить произведеніе въ родѣ «Разбойниковъ» Шиллера, васъ, и тутъ предупредиль еще въ 1800 году Нарѣжный своимъ «Дмитріемъ Самозванцемъ.» Не пишите и романтической трагедіи съ дико-завывающими фразами, бѣдными смысломь, но богатыми неистовствомь, съ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ поэмы Байрона: васъ уже предупредилъ Олинъ своимъ «Корсаромъ». Да, теперь потому ничего не пишуть, что уже все написано; потому и трудно прославиться, что нужно для этого не новизну выкинутой штуки, а много, много таланта, если не генія!..

Комедія еще болбе приводить въ отчанніе, нежели драма. Въ драмѣ посредственность можетъ похитить что-инбудь у Шекспира, Вальтеръ-Скотта, Мольера, подняться на дыбы, ослбинть толиу дикими и грубыми эффектами, пѣніемъ, пляской, родственными обниманіями и т. п.: но въ комедіи совсѣмъ не то. Искусство смѣшить трудні в скусства трогать. Нерээрчтого человѣка можно растро-

гать поддёльной чувствительностью, крикомъ вмѣсто чувства, эффектомъ вмѣсто потрясайщей сцены; но чтобъ заставить разсмыться, даже грубымъ сибхомъ, нужны природизи 23селость и своего рода юморъ. Скажуть: толиу можно смышить въ сценическихъ пьесаль переодъваніями, оплеухами, толчками, потасовкой, неприличными и грубыми двусмысленностями, плоскими шутками и тому подобными компческими эффектами. Такъ и дълаеть большая часть доморощенныхъ нашихъ драматурговъ, сочинителей и передьлывателей комедій и водевилей: верхняя публика громко хохочеть, нижняя аплодируеть; но это обманъ сцены: ловкую пгру актера принимають за достоинство пьесы, которая по-своему позабавить одинъ вечеръ толцу, на другой вечеръ уже не правится самой этой толив, а въ чтенін никуда не годится съ перваго раза. Если на минуту она была пріобрътеніемъ сцены, то ни на одну минуту не составляла пріобрътенія для литературы. Такія пьесы десятламы 🧓 катся сегодня и десятками умирають завита. Водевилистовъ и комиковъ нашихъ въ педълю не перечтешь по пальцамъ, таъ произведениять исть числа, а дгамать чослой литературы нътъ у насъ! Ни эдинъ цетербургскій чиновинкь, получающій до 1000 рублей жало занья и поработавшій нь какой-нибудь газеть по части объявленій о сигарочныхъ и объ овощныхъ лавочкахъ, не затруднится написать комедію, изображающую высшій свёть, котораго онь, беднякь, и во сне не видаль и о тонь котораго онь судить по манерамъ своего начальника отделенія. Комедія требуеть глубокаго, остраго взгляда въ основы общественной морали, и при томъ надо, чтобъ наблюдающій ихъ юмористически своимъ разумѣніемъ стоялъ выше ихъ. Наши же доморощенные драматурги, -- по большей части люди среднихъ кружковъ, въ которыхъ сь успёхомъ отличаются своей любезностью и остроуміемъ, -- стараются въ своихъ комедіяхъ и водевиляхъ быть «критиканами» (критиканъ-тривіальное слово, равнозначительное зубоскалу) и возбуждать смёхъ или пошлыми каламбурами, или плоскими остротами надъ модными костюмами, бородами и прическами à la russe, на ъ простотой провинціала, прівхавшаго въ Петербургъ, словомъ, - надъ всякой странной внешностью. Не таковъ истинный комизмъ и истинный юморъ. Для него внёшность смёшна не сама по себъ, но какъ выражение внутрежняго міра души человіка, отраженіе его понятій и чувствъ. Мы могли бы привести изъ комедій Гоголя тысячу приміровъ истиннаго комизма, но ограничимся двумя: вспоминте сцену, гдъ городничій распекаетъ купцовъ за ихъ доносъ ревизору: «Жало-

ваться? а кто тебв помогь сплутовать, когда ты строиль мость и написаль дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебъ, козлиная борода! Ты позабыл это. Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Сибирь... Что скажень, а?»... Воть это комизмъ, отъ котораго какъ-то тяжело смфешься! Человъкъ безъ стыда, безъ совъсти ставить себѣ въ заслугу, что онъ помогь другому сплутовать, и, словно оскорбленная добродътель, съ благороднымъ негодованіемъ упрекаеть другого въ неблагодарности, какъ въ черномъ и низкомъ дёлё. Это онъ говорить при жень и дочери, и это же онъ сказалъ бы при сынъ, если бъ у него былъ сынъ. Фамусовъ въ «Горѣ оть Ума» говорить Скалозубу:

Нътъ! я передъ родней, гдъ встрътится, полз-

Сыщу ее на днѣ морскомъ!

При миѣ служащіе чужіе очень рѣдки;
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.
Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой,
И то затѣмъ, что дѣловой.

Какъ станешь представлять къ крестишку иль
къ мѣстечку,

Ну, какъ не порадъть родпому человъчку?

Черта глубоко комическая! Въ Петербургъ, слава Богу, эта черта не слинкомъ бросается въ глаза, но въ провинціальной глуши принципъ родства такъ силенъ, что тамъ скорѣе рвинатся десять льть сряду не играть въ преферансъ, чемъ ноказать холодность къ родственнику въ семьдесятъ-седьмомъ коленъ. Будь онъ илуть отъявленный, и человёкъ съ самой дурной репутаціей, но если онъ вамъ родственникъ, онъ, отъ роду не видавъ васъ, не только лівзеть съ своими губами къ вашему лицу, но и селится въ вашемъ домѣ съ семьей, съ дворней и заставляетъ васъ втайнъ проклинать судьбу, которая дала вамъ возможность имъть собственный домъ. И онъ правъ: не останавливаться же ему въ трактирь, прівхавъ изъ своего помъстья въ губернскій городъ, когда у него есть родственники; выдь они же обидылись бы такимъ грубымъ съ его стороны поступкомъ!.. И что же? здёсь еще не конецъ смёшному: они дъйствительно обидълись бы, если бъ онъ остановился не у нихъ, и они же проклинали бы втайнь и его, и себя, а наружно дъдали бы сладкія мины сквозь слезы, если бъ онъ у нихъ остановился... Вотъ онъ, неисчерпаемый источникъ истиннаго комизма! Онь вокругь насъ и даже въ самихъ насъ. Влагодаря ему, мы смішны въ собственных глазахъ. Но чугь только начнемъ мы писать комедію, выходить кинга, въ которой много словъ, много пошлостей, много вздора, и нътъ нисколько истины, дъйствительности. Интрига всегда завязана на пряничной любви,

увънчивающейся законнымъ бракомъ, по преодольній разныхъ препятствій. Любовь у насъ во всемъ-и въ стихахъ, и въ романахъ, и въ повъстяхъ, и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Подумаень, что на Руси люди только и дёлають, что влюбляются, да, по преодольній разныхъ препятствій, женятся, п, зам'ятьте, всегда безкорыстно, безъ расчетовъ на приданое, на связи, на выгодное мѣсто, всегда на дѣвѣ идеальной, дочери бъдныхъ, но благородныхъ родителей. Гоголь сказалъ правду: «Теперь сильнъе завязываеть драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отметить за пренебреженье, за насмъшку. Не болъе ли им'ноть теперь электричества денежный капиталъ, выгодная женитьба, чъмъ любовь?..> Но нашимъ комикамъ этого и въ голову не входило. Пошлый любовникъ съ пряничными фразами; пошлая барышия вѣчно въ родѣ сентиментальной servante endimanchée; разлучникъ негодяй и дядя-резонеръ-неизмвнныя лица ихъ комедій. Вев говорять, словно по книгъ читають; не услышинь живого слова, и нътъ признака того, что бываетъ въ дъйствительности. Оно и лучше: никто не узнаеть себя и не осердится. Волки сыты и овцы цёлы. Зато если среди кучи этихъ вздорныхъ произведеній появится водевильчикъ со смысломъ и хоть съ легонькимъ намекомъ на то, что въ самомъ деле бываетъ, хоть сь искрой истины и върности дъйствительности, — Боже мой! сколько шума, какой тріумфъ! Словно появилось въковое произведеніе!.. Такое событіе совершилось недавно, и въ одной газетъ авторъ хорошенькаго водевильчика приглашался передёлать драматическія сочиненія Гоголя, чтобъ сдітать ихъ сносными!.. Мы совътовали бы сочинителямъ оставить Гоголя въ поков и пріпскать себъ какого-нибудь водевилиста, который бы исправиль и едьталь сколько-нибудь сносными ихъ собственныя, изъ чужихъ доскутьевъ сшптыя, «праматическія предста-4. 11. 42

И воть, мы перебрали всё роды поэзін, чтобъ показать, что теперь ни въ одномъ пѣтъ возможности съ усиёхомъ дѣйствовать не только бездарности, посредственности, по и людямъ не безъ таланта. Бѣдностъ согременной литературы происходить оттого, что все перепробовано, и новизной уже нельзя блеснуть какъ талантомъ. Это бѣдность честная, благородная, которая въ тысачу разъ лучше минмаго богатства. Это усиѣхъ, а не паденіе, огромный шагъ впередъ, а не пазадъ. Теперь уже запертъ путъ къ извѣстности и знаменитости всякому, у кого нѣтъ большого таланта. Вслѣдствіе этого безталантность, посредственность и мед-

кін дарованія, которыхъ еще больше на бъдомъ свътъ, чъмъ людей совершенно бездарныхъ, принялись за свое діло, на которое назначены они природой и судьбой: они составляють историческія компиляцін и статейки о нравахъ для политипажныхъ изданій. Когда картинки плохи, тексть читается столько винмательно, сколько это нужно для объясненія картинокъ; когда картинки хороши (такъ, напримъръ, картинки Тимма). текстъ вовсе не читается; но сочинители отъ этого ничего не теряють: ихъ книги покупаются для картинокъ, и читатели не въ претензін за вздорную галиматью текста. И читатели правы: простительные восхищаться хорошими картинками, чемъ пустыми книгами...

Время дітскихъ восторговъ прошло, и настаетъ время мысли. Публика сділалась требовательные. Правда, она сама не отдала себь отчета въ томъ, чего требуетъ, но уже не удовлетворяется всёмъ, чымъ не попотчуетъ ее досужая дъятельность писакъ. Время сознанія еще не настало, но уже близко начало этого сознанія. Пышные возгласы п великольпныя фразы ужъ всымъ кажутся понилыми, и ими ужъ никого нельзя запитересовать. Никто не станетъ сомитваться въ существованій русской литературы; но всякій имбеть право требовать настоящаго взгляда на ея объемъ и степень ея важности, и всякій имбеть право сміяться при пышныхъ сравненияхъ ея съ иностранными литературами. Что у насъ есть литература, для этого достаточно звать, что у насъ есть Пушкинъ, и что мы, кромѣ Пушкина, съ гордостью можемъ указать еще на нѣсколько именъ. Наша литература имбеть и свою исторію, потому что всв замвчательныя ея явленія исторически последовательны и одни факты объясняются другими предшественникам:. Все это такъ; но вмъстъ съ этимъ мы не должны забывать, что наша литература вначаль была пересаженнымъ цвъткомъ, жизпенность котораго долго поддерживалась искусственно, за стеклами теплицы. Очень и очень недавно начала она пускать кории въ русскую почву. И такъ еще доселѣ тѣсна эта почва! Гдѣ та сплочепная масса, изъ жизни которой, какъ цвътокъ изъ почки, возникла бы наша поэзія и обратно дъйствовала бы одинаково на всю эту массу? Какое отношение имъетъ наша современная поэзія съ поэзіей народной? Онъ не только не родня одна другойдаже незнакомы другь съ другомъ. Прочтите пьесу Пушкина не только мужику, но хоть пному и купцу первой гильдін: что онъ о ней скажеть?... Гдв наша публика, которая силой своего мивнія уронила бы безстыдноторговый журналь или по крайней мъръ ограничила бы его дерзость и наглость? Она на многое сердится, многимъ недовольна, но

чъмъ именно, этого она сама не знаетъ, потому что она-не сплопиая масса, а собраніе людей различныхъ состояній, круговъ, требованій, понятій, привычекъ, собраніе людей, не связанных между собою единсгвомъ мнънія. Выходять «Мертвыя Души»: большинство публики ими недовольно, гохотно соглашается съ журпальной бранью враговъ автора-и въ то же время читаетъ, перечитываеть и въ короткое время раскупаеть двойное изданіе (2,400 экземпляровъ) «Мертвыхъ Душъ». Это факть, и очень многозначительный! Для удовлетворенія своей жажды къ чтенію (а жажды къ чтенію въ ней нельзя отринать), она ницеть все новаго, большей частью забывая старое. Попробуйте сказать слово, что въ Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ есть не только достоинства, чио и недостатки, и что, писатели прошлой эпохи, они для насъ уже далеко не то, чвиъ были для отцовъ и дедовъ, и тотчасъ же многіе запричать, что у вась исть уваженія къ заслуженнымъ авторитетамъ, что вы нагло топчете въ грязь великія имена п т. п. И въ публикъ сейчасъ же раздадутся голоса: «да. да, въ самомъ дълъ! какъ это можно, на что это нохоже!» И. вы думаете, это говорять люди, изучившие Ломоносова, Державина. Карамзина? Нисколько; они даже, и не читали этихъ писателей, но они привыкли по наслышкъ уважать эти имена. В Оттого-то инымъ и легко ихъ увърять, въ чемъ угодно, и заставлять смотрёть на дёльную критику, которая силится показать истинное значение писателя, какъ на злонамъренную брань.

Та же незрѣлость и шаткость и въ нашей литературъ. У насъ есть поборники вевропензма, есть славянофилы и др.; ихъ называють литературными партіями. Смішное названіе! Всякія партіи им'єють свои корни въ обществы и бывають отголосками или выраженіями различій и противорьчій общественнаго мибнія. Наши же партін составляются изъ литературныхъ кружковъ, изъ которыхъ въ каждомъ случайно набралось человъкъ десятокъ, сошедшихся на вечеръ за чаемъ въ нѣкоторыхъ невинныхъ і литературныхъ мивніяхъ и вкусахъ. И эти-то кружки называють себя «партіями». Въ добрый чась! Чёмъ бы дитя не тёшилось, лишь бы не илакало! Литераторство у насъ-дъло пежду другими важивишими двлами, отдыхъ отъ служебныхъ занятій, а чаще всего оно имъетъ простое значение лишнихъ полутора или двухъ тысячъ рублей въ годъ вдобавокъ къ жалованью. Много ли у насъ литераторовъ, которые посвятили себя одной литературъ по призванію, по страсти къ ней? У насъ уже понимаютъ, что занятіе литературой между прочимъ-дъло очень почтенное, особенно, если оно прибыльно...

При такомъ направлении публики странно было бы требовать литературы въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Съ другой стороны, в дитература наша только въ немногихъ своихъ исключенияхъ выше этой публики; но, взятая вообще, совершенно по илечу ей. Наши литераторы большею частью не артисты, а диллетанты, которые между дёломъ и бездёльемъ почитывають и пописывають. Они убъждены, что можно прежде всего дълать что-нибудь, хоть спекуляцін, а потомъ, въ свободное отъ главныхъ занятій время, почему и не написать чего-нибудь-въдь оно же и выгодно между прочимъ. Они убъждены, что если кто написаль въ жизнь свою три порядочныхъ романа, то уже великій писатель; а кто настрочиль десятокъ фельетоновъ-тотъ уже знаменитый литераторъ. Два-три стихотворенія дають у насъ право на извѣстность; водевиль отворяетъ ворота въ храмъ славы. Оттого, при всей бъдности нашей литературы, у нась литераторовъ бездна. Особенно богать ими Петербургь. Затьйте новый журналь, новую газету или, какъ теперь это болбе въ ходу, воскресите старый журналь или газету,---вы ни за милліоны не найдете издателя, который даль бы новому изданію направленіе, жизнь и ходъ; зато сотрудниковъ и особенно переводчиковъ не оберетесь. Даже не нужно искать и звать лхъ — сами придутъ. Сто или двъсти изъ нихъ принесутъ вамъ на первый случай по сотиж стихотвореній, въ которыхъ нётъ ни поэзін, ни смысла; пятьдесять принесугь объщаній-къ такому-то числу представить по повъсти и, при сей върной оказін, спросять васъ, по-чемъ вы платите съ листа; десять принесуть вамъ, въ самомъ дёль по новъсти, исполненной канцелярского юмора и чиновнической пронін или высоваго трагическаго паооса à la Марлинскій— что однако не снабдить васъ матеріаломъ для вашего журнала. Что касается до критики и библіографіи, - въ Петербургъ столько критиковъ и библіографовъ, что при ихъ номощи вамъ легко было бы издавать сто толстыхъ и тысячу тонкихъ журналовъ. И не мудрено: вѣдь въ Петербургѣ родился тотъ знаменитый Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, который сочиниль и «Сумбеку», и «Фенеллу», и «Юрія Милославскаго», издаваль «Вибліотеку для Чтенія» и всѣ журналы, издававшіеся въ Петербургъ... Критика у насъ считается самымъ легкимъ ремесломъ; за нее берутся всъ съ особенной охотой, и рёдко кому входить въ голову, что для критеки нужно имъть талантъ, вкусъ, познанія, начитанность, нужно уміть владіть языкомъ. Большая часть, напротивъ, думаетъ, что для этого нужно только знать, что всь чаши--генін и таланты, а вев не наши--

люди не безъ таланта, если они намъ не мъшають, и люди бездарные, если мъшають. Теорія, какъ видите, самая простая, и чтобъ понять ее сразу, не нужно учиться, трудиться, думать, развиваться, имъть мивніе. взглядъ, убъждение. И потому нътъ ничего обыкновеннье, какъ услышать жалобы въ родъ слъдующихъ: «Скажите, пожалуйста, за что онъ (имя рекъ) разбранилъ мой романъ, мою повъсть драму, водевиль, журналъ или книгу? Что я ему сдёдаль? Вёдь мы съ нимъ пишемъ въ разныхъ родахъ, или въ разныхъ журналахъ, и помѣшать другь другу не можемъ?» Почти никому въ голову не входить, что можно безъ всякихъ личныхъ отношеній къ человъку, и даже зная его съ хорошей стороны, уважая его характеръ и сердце, не любить его взгляда на тогъ или другой предметь и энергически противодъйствовать этому взгляду, такъ же, какъ можно, любя и уважая человъка, не уважать его сочиненій, какъ оскорбляющихъ вкусъ и умъ. Значитъ, понимаютъ энергію антипатіи за соцерничество по деньгамъ, по самолюбію, по извъстности и другимъ мелкимъ страстишкамъ и пристрастыникамъ; но не понимають энергіи антипатія къ тому, что кажется ошибочнымъ мивніемъ, ложнымъ убъжденіемъ, умышленнымъ или неумышленнымъ заблужденіемъ, безвкусіемъ, бездарностью. Кто-нибудь издалъ плохой романъ, въ которомъ удачно польстилъ грубому вкусу большинства и чрезъ то пріобрѣлъ большой успыхь, - а вы написали критику, въ которой показали въ истинномъ свъть незаконное чадо площадной фантазіи: вы-завистникъ, ибо вамъ никто не повъритъ, чтобъ можно было разсердиться на книгу, которая до васъ не касается; но всь повърять, что можно взбъситься на чужой усивхъ... И такіе-то «нравы» существують между классомъ такъназываемыхъ литераторовъ!.. Отгого наши критики не занимаются старыми писателями, отъ которыхъ имъ уже ни пользы, ни потери быть не можеть. Сегодия умерь писатель, котя бы великій, а завтра уже нечего толковать о немъ, исключая развъ случая, если его сочиненія издаются, и расходъ ихъ можеть повредить расходу сочиненій критика или его пріятелей. Безъ эгого случая критики наши говорять только о современныхъ явленіяхъ, какь бы они ни были ничтожны, особенно если эти сочиненія-ихъ собственныя. Зато какъ тяжка у насъ роль критика, проникнутаго убъжденіемъ и не отдыляющаго вопросовъ объ искусствъ и литературъ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляеть сущность и цель его нравственнаго существованія!.. И темъ хуже ему, если онъ столько уважаеть истину и столько смиряется передъ ней, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищаль съ жаромъ и съ энергіей, но которое, въ процессъ своего безпрерывно движущаост сознанія, онъ уже не можеть болье признавать за справедливое!.. Не смотрить на то, что перемъна мнънія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его, или могла поставить, въ непріятное положеніе къ людямъ. которые довъряли его авторитету, - не говоря уже о томъ, что отречься оть своего мивніязначить признаться въ ошибкъ, а это не совстмъ лестно для человтческого самолюбія. которое всегда наклонно поддерживать, что дважды два-пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогранительнымъ. А имати свой взглядъ, свое убъжденіе, судить на какихъ-нибудь основаніяхъ, а не по голосу толны-да это значить ни больше, ни мень ше, какъ прослыть человъкомъ безпокойнымъ и безправственнымъ. Вздумайте писать не отрывочныя фразы, но большія и дільныя статьи, которыя бы стоили вамъ много труда и размыпіленія, напримірь, о Державині, Жуковскомъ, Батюшковъ, Пушкинъ, Лермонтовь,--и на васъ польется проливной дождь брани. Нужды нътъ, что вы говорите съ доказательствами, съ доводами; пусть въ вашихъ статьяхъ видны будуть любовь и уваженіе къ разбираемымъ вами инсателямъ, сейчасъ найдутся люди, которые закричатъ вь одинъ голосъ: «ложь, пристрастіе, неуважение къ великимъ именамъ, дет зкое презръніе къ признаннымъ всеми авторитетамъ!» И тщетно стали бы вы говорить въ ответъ на эти брани, что вы отнюдь не признаете себя непограшительнымъ и очень хорошо знаете, что можете ошибаться, подобно всёмъ людямъ, но желаете, чтобъ вамъ доказали вашу ошибку и показали, въ чемъ именно и почему именно вы ошибаетесь: ваше желаніе, ваше справедливое требованіе пикогда не будуть выполнены, потому что противники ваши находять свои причины видъть ваши мивнія ложными и пристрастными, но не находять въ себъ ни силъ, ни умънгя, следовательно, и ни охоты доказать справедливость своего обвинения противъ васъ. А что же дълаетъ въ это время публика? Большая часть ея всегда охотнъе присоединяется къ этимъ крикунамъ, ибо если и большая часть нашихъ литераторовъ, заправляющихъ мивніемъ публики, подъ «критикой» разумьють брань, а слово «критиковать» объясняють словомъ «ругать», то какъ же иначе стали бы понимать критику большинэтво, толпа? У насъ ужъ такъ изстари ведется: если кого хвалить, такъ ужъ все надо находить безусловно хорошимъ, и позволяется слегка замътить что-нибудь, развъ только о неисправности изданія, опечатки и т. п.; а если кого бранить, такъ уже бей съ плеча! Поэтому

критики съ самостоятельнымъ взглядомъ у насъ всегда играли очень непріятную роль. Для доказательства этого предлагаемъ здѣсь на выдержку нѣсколько строкъ Мерзлякова, выписанныхъ нами изъ «Вѣстипка Европы» 1813 года (часть XLVII, стр. 224—227:

"Можетъ быть, нъкоторые скажутъ, что у насъ литература еще не весьма богата и не можеть удовлетворить всёмь требованіямь общества; что критика еще не найдетъ обильнаго для себя поля, и что ею заниматься рано. Но правда ли, что мы такъ бъдны? Для чего обижать самихъ себя! Мы уже имъемъ превосходныхъ инсателей почти во всёхъ родахъ словесности. Одинъ Державинъ представляетъ огромнъйшій, разнообразный садъ для ума и вкуса разборчиваго! Кому не пріятно винмать величественной лиръ Ломоносова? Кто откажется слъдовать за Богдановичемъ въ очаровательные чертоги Амура? или, оживясь патріотизмомъ, стремиться на крылахъ пламенныхъ за важнымъ Херасковымъ подътвердыни казапскія, къгроз-нымъ пожарамъ Чесмы! Но на что, возразять, касаться сихъ почтенных именъ? Опи уже освящены общимъ мижніемъ!-Странное благоговъніе къ мужамъ великимъ-думать, что мы дѣлаемъ имъ честь, когда не смъемъ заглянуть въ ихъ сочиненія, не смъемъ сказать объ нихъ ни слова! Такого рода уважение похоже на набожность китайцевь, благоговьющихь передъ старыми своими книгами, которыя, будучи пеприступны для ума просвъщеннаго, остаются корыстью мышей и времени! И у насъ есть китайцы въ семъ смыслъ! Для чего жъ и для кого трудились эти великіе писатели! Хотёли ль они быть полезными будущему покольнію? Если хотъли, то дали право разбирать свои сочиненія! И кого жъ другого почтить разборомъ, какъ не ихъ? Голько твердые камни полируются; слабые и легкіе не стоять и не выносять полировчи.

"Странное мижніе имфемь мы о критикъ! Дитя не смотрить только на подаренныя ему куклы, но ихъ раскладываетъ, даетъ имъ мъста, разговариваетъ съ ними! хорошій библіотекарь не кидаеть книгъ въ кучу, но даеть имъ порядокъ, знаетъ каждой цёну и достоинство; садовникъ такъ же поступаеть съ своими любимыми цвътами и деревьями; онъ пользуется отъ трудовъ своихъ. Почему же мы, имъя такія сокровища на языкъ россійскомъ, хотимъ знать ихъ только по имени или, что еще хуже, новторять сбъ нихъ чужія мысли, часто певърныя? Для чего самому не имъть своего мнънія, самому не наслаждаться? Мнв докажуть, что мнънія мои ложны — отступаюсь; но я человъкъ — и имъю право мыслить. Но у насъ мало писателей! Итакъ, хотите ли, чтобъ ихъ число умножалось? Будьте къ нимъ внимательнье или тоже разбирайте ихъ; отъ этого они умножаются и скоръе достигають совершенства. Умножаются, почему? Вниманіе публики возбуждаеть соревнованіе. Увид'явь, что истинное достоинство отлично, слабость обнаружена, увидъвъ, сколь почтенно выйти изъобыкновеннаго круга людей, всякій захочеть испытать силы на столь блистательномъ поприщъ. Докажите важность искусства, - атлеты не замедлять явиться. Я сказаль: скоппе дестигають совечшенства; писатель не достигаеть его, если публика не въ силахъ или не хочетъ судить о немъ, ибо въ рукахъ публики-его награды, она раздражаеть его честолюбіе и возбуждаеть къ великимъ усиліямъ. Равнодушіе наше-убійство словесности. Публика и писатель другь друга награжда-

206

критическія статьи.

ють: писатель даеть ей пищу, она его образуеть; одинъ доставляеть ей удовольствіе, другая вѣнчаеть его славой! Свидътели той и другой истины -всв просвъщенныя государства Европы. Ни въ какое время не было у нихъ столько хорошихъ писателей, какъ при царствованіи критики".

Итакъ, на что жаловался умный литераторъ и что силился онъ растолковать назадъ тому ровно тридцать леть, на это же можно жаловаться и это же должно объяснятьтеперы! Воть какъ быстро и шибко подвигается впередъ наше литературное образованіе!.. Сказано, что Державинъ великъ: такъ зачёмъ намъ знать, какъ, чёмъ и почему онъ великъ; а если онъ великъ, какіе же у него могуть быть недостатки? Чтобъ узнать, почему онъ великъ и какіе въ немъ есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о немъ, а чтобъ знать, что онъ ведикъ и никакихъ недостатковъ не имъетъ, для этого не нужно прочесть ни одной его оды, что въдь гораздо легче! Такъ думають, хотя и не такъ говорять. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомеръ и Шекспиръ и несравненно выше пержавина, однако жъ и они, оставаясь попрежнему великими геніями, все-таки для нась не то, чёмъ были въ свое время, ибо жизнь неистощима въ проявленіяхъ творческой силы, и всякое время должно имъть свою поэзію, соотв'єтствующую требованіямъ этого времени. Васъ не будуть слушать, ибо требують словь, а не идей, детскихь споровъ за имена, а не объясненія значеній этихъ именъ. «Какъ!--кричатъ вамъ:--пересчитывая знаменитыхъ вашихъ писателей, вы имя Жуковскаго поставили послѣ имени Батюшкова; -- конечно, Батюшковъ былъ человькъ съ талантомъ, но все же нельзя его равнять съ Жуковскимъ!» Или: «вы Пушкина поставили на одну доску съ Баратынекимъ!» При этихъ крикахъ остается только заткнуть уши; вы видите, что васъ не поняли, ващимъ словамъ придали дътское значеніе, о которомъ вы и не думали, -- п вамъ невольно становится стыдно собственныхъ своихъ словъ, вы дучше хотите, чтобъ вамъ приписывали какія угодно неліпости, нежели оправдываться и объясняться. Вы, напримъръ, сказали, что есть два рода великихъ поэтовъ: одни, съ печатью олимпійскаго происхожденія на чель, изображають міръ, какъ онъ есть, принимая его дійствительное состояніе во всякій данный моменть за непреложно-разумное: и таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ-Шекспиръ, и къ такому разряду поэтовъ принадлежить нашъ Пушкинъ; другіе, недовольные уже совершившимся цикломъ жизни, носять въ душъ своей предчувствие ея будущаго идеала: таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ-Байронъ,

и къ такому разряду принадлежить нашъ Лермонтовъ. Вы сказали это для того, чтобъ обозначить характеръ и духъ поэзіи Пушкина и поэзіи Лермонтова, попимая всю неизмъримость разстоянія, раздъляющаго великаго мірового поэта Шекспира отъ великаго русскаго поэта Пушкина, и громаднаго Байрона отъ безвременно погибшаго юнони, а вамъ кричать: «О-го! воть какъ! Пушкинъ наравив съ Шекспиромъ, Пушкинъ-Шекспиръ, а Лермонтовъ — Байронъ!..» Что туть говорить! Все важное такъ легко сдълать смёшнымъ въ глазахъ толпы, которая не вникаеть въ дело и увлекается плоской шуткой... Вотъ еще примъръ дътскости понятій въ русской дитературѣ о критикъ: сколько литераторовъ, сколько критиковъ писало, иншеть и, въроятно, еще долго будеть писать, что діло критика-гладить по головкъ всякаго писаку въ надеждъ, что авосьлибо выйдеть изъ него геній или таланть, что строгая критика можетъ убить возникающій таланть, а о таланть-де нельзя судить по первому произведенію. Напрасно станете вы возражать на это, что истиннаго призванія не убьеть никакая критикани строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею. особенно теперь, даже посредственность и бездарность, и что не стоить жальть с талантъ, струсившемъ по самолюбію перваго суроваго приговора критики, ибо дороги таланты, а не талантики...

Но не будемъ вдаваться въ крайности. Смѣшно было прошлое добродушное самохвальство русской литературы, которая такъ смъло мърилась силами съ любой европейской литературой и на французскую даже смотръла съ презръніемъ, живя и дыша въ то же время займами у нея; такъ же смъшно можеть быть и отчаяние за русскую дитературу. Будемъ смотръть на то, что есть, смъло, не прикрашивая д'яйствительности мечтами и призраками, но будемъ смотръть на нее безъ ненависти и страха. У насъ есть немного,это правда, но есть же; не будемъ преувеличивать того, что имбемъ, но не будемъ и отказываться отъ того, что есть у насъ. Наша литература началась съ 1739 года (отъ появленія первой оды Ломоносова), и для какихъ-нибудь ста четырехъ лъть мы имъемъ даже много, если не будемъ считаться, словно съ ровнями, съ европейскими литературами, которыя развились въками. Но важите всего то, что наша юная, возникающая литература, какъ мы замътили выше, имъеть уже свою исторію, ибо всѣ явленія тѣсно сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси, и всь находится въ болье или менье живомъ, органически послъдовательномъ соотношении между собой.

Бъдность русской литературы въ настоящее время — также необходимое слъдствіе историческаго развитія и хода ен вообще. Мы уже говорили объ этомъ; но намъ еще остается сказать кое-что. (Мы съ особенной подробностью развили ту мысль, что всв роды попытокъ и опытовъ ужъ истощены, а потому обыкновенно таланты дишены возможности въ чемъ-нибудь успавать; но мы только мимоходомъ замътили, что въ то же время даны образцы истиннаго творчества, которымь подражать нельзя и которые если не мъшають съ большимъ или меньшимъ успъхомъ дъйствовать талантамъ, то уже не подражательнымъ, а самобытнымъ, и которые убили совершенно возможность усивха для обыкновенных дарованій, досель игравшихъ такую важную рель. Объ этомъ стоитъ ноговорить подробиве и обстоятельные.

Въ нѣкоторыхъ русскихъ журналахъ публика встрѣчаетъ постоянныя выходки и нападки на Гоголя, уже давно начавшіяся. Въ нихъ обыкновенно смѣются надъ малоросстаскимъ жартомъ, надъ украинскимъ юморомъ и т. п. Недавно въ одномъ изътакихъ журналовъ по поводу разбора какойто книги въ юмористическомъ тонъ сказано:

"Надо сказать по совъсти: велика сила подражательности въ нашей литературъ. Мы долго не шутили; насъ считали въ Европъ за народъ серьезный и нъсколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поемъ, но никогда но смъсмся; все это могла быть правда въ прежнее время: но дъло въ томъ, что у насъ не было только образчиковъ порядочной шутки, настоящаго степного жартованія. Съ тъхъ поръ какъ малороссійская фарса посътила нашу важную и чинную литературу подъ именемъ, юмора, остроуміе и веселость вдругь у насъ развязались. Вотъ что значить-не испытать двло лично! Нъкогда остроуміе казалось намъ мудреной вещью! Мы съ такимъ почтеніемъ снима ін шляпу передъ всякимъ остроуміемъ! Попробовавъ сами этого чуднаго искусства, мы удивились его легкости... Се n'est que ça?.. спросилъ каждый изъ насъ у своего сосъда съ изумленіемъ.-И шутливость вспыхнула изъ насъ волканомъ. Теперь мы шутимь, жартуемь, фарсимь, какь чунаки въ степи".

Авторъ этихъ строкъ котълъ сказать одно, а вышло у него совсвиъ другое. Онъ котълъ пошутить, посмъяться, уколоть к о ек о г о, не называя его по имени, —и указаль на фактъ современной русской литературы, —фактъ, который трудно сдълать смъшнымъ и не такому остроумному перу, какимъ владъетъ авторъ выписанныхъ нами строкъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что со времени выхода въ свътъ «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое паправлене. Можно сказать безъ преувеличенія, что Гоголь сдълаль

въ русской романической прозъ такой же перевороть, какъ Пушкинъ въ поэзін. Тутъ дъло пдегъ не о стилистикъ, и мы первые признаемъ охотно справедливость многахъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нетъ, здесь дело идетъ о двухъ болве важныхъ вопросахъ: о слогв и созданін. Къ достопиствамъ изыка принадлежать только правильность, чистога, илавность, чего достигаетъ даже самая пошлая бездарность путемъ рутины и труда. Но слогъ это—самъ талантъ, сама мысль. Слогъ—это рельефность, осязаемость мысли, въ слогъ весь человъкъ; слогь всегда оригиналенъ какъ личность, какъ характеръ. Поэтому у всякаго великаго писателя свой слогь; слога нельзя раздёлить на три пода-высокій, средній и низкій: слогь дёльтся на столько родовъ, сколько есть на свёте великихъ или, по крайней мъръ, онльно даровитыхъ писателей. По почерку узнають руку челозым п на почеркъ основывають достовърность собственноручной подписи человъка; по слогу узнають великаго писателя, какъ по кисти — картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умѣным до того ярко н выпукло излагать мысли, что онъ кажутся какъ будто нарисованными, изваянными изъ мрамора. Если у писателя ивтъ никакого слога, онъ можеть писать самымъ превосходнымъ языкомъ, и все-таки неопределенность и -- ея необходимое следствіе -- многословіе будуть придавать его сочиненію характеръ болтовни, которая утомляеть при чтеній и тотчась забывается по прочтеній. Если у писателя есть слогь, его эпитетъ рѣзко определителенъ, всякое слово стоигъ на своемъ мѣсть, и въ пемногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему гребующая многихъ словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочинение иностраннаго писателя, имѣющаго слогъ: вы увидите, что онъ своимъ переводомъ расплодитъ подлинникъ, не передавъ ни его силы, ни определенности. Гоголь вполне владееть слогомъ. Онъ не пишетъ, а рисуетъ; его фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своей яркой върностью природъ и дъйствительности. Самъ Пушкинь вь своихъ повъстяхъ далеко уступаетъ Гоголю въ слогь, имън свой слогь и будучи сверхъ того превосходнъйшимъ зуилистомъ, т. е. владъя въ совершенствъ женкомъ. Это происходить отъ того, что Пушкинъ въ своихъ повъстяхъ далеко не то, что въ стихотворныхъ произведеніяхъ или въ «Исторіи Пугачевскаго Бунта», написанной по-Тацитовски. Лучшая повъсть Пушкина, «Капитанская Дочка», далеко не сравнится

ни съ одной изъ дучшихъ повестей Гоголя, даже въ его «Вечерахъ на Хуторф». Въ «Капитанской Дочкв» малс творчества и нътъ художественно - очерченныхъ характеровъ, вийсто которыхъ есть мастерскіе очерки и силуэты. А между тёмъ повъсти Пушкина стоять еще гораздо выше всёхь повёстей предшествовавшихъ Гоголю писателей, нежели сколько новъсти Гоголя стоять выше повъстей Пушкина. Нушкинъ имълъ сильное влінніе на Гоголя—не какъ образецъ, которому бы Гоголь могь подражать, а какъ художникъ, сильно двинувшій впередъ искусство, не только для себя, но и для другихъ художниковъ открывний въ сферв искусства новые нути. Главное вліяніе Пушкина не Гоголя заключалось въ той народчести, которая, по словамъ самого Гоголя, ссостоить не въ описаніи сарафана, но въ самочъ лухв народа». Статья Гоголя «Нескольве 1703% о Нушкинты лучше всякихъ разстаний показываеть, въ чемъ состояло влияни на него Пушкина. Пріученная къ тону и манеръ повъстей Марлинскаго, русская публика не знала, что и полумать о «Вечерахъ» Гоголя. Это былъ совершенно новый міръ творчества, котораго никто не подозрѣваль и возможности. Не знали, что думать о немъ, не знали, слишкомъ ли это что-то хорошее, или слишкомъ дурное. Пэвъсти въ «Арабескахъ»: «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго», потомъ «Миргородъ» и, наконецъ, «Ревизоръ» вполнь обрисовали характеръ Гоголевой поэзін, и публика, равно какъ и литераторы, раздълились на двъ стороны, изъ которыхъ една, преусердно читая Гоголя, увърплась, что имжетъ въ немъ русскаго Поль-де-Кона, котераго можно читать, но подъ рукой, не ветмъ признаваясь въ этомъ; другая увидьда въ немъ новаго великаго поэта, открывшаго новый, неизвъстный досель міръ творчества. Число последнихъ было несравненно меньше числа первыхъ, но зато послъдніе въ этомъ случав представляли собой публику, а первые-толну. Наша толна отличается невёроятной чонорностью, достойпой міщачскихъ нравовъ: она всего больще длопочеть о хорошемь тонь высшаго общества и видить дурной тонъ именно въ тах произведеніяхъ, которыя читаются въ салонахъ высшаго общества. Между темъ реформа въ романической прозъ не замедиила совершиться, и всё новые инсатели романовъ и повъстей, даровитые и бездарные, какъ то невольно подчинились вліянію Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали въ самое затруднительное и самое забавное положение: браня Гоголя и говоря съ презрѣніемъ объ его произведеніяхъ, они невольно впадали въ его тонъ и неловко

подражали его маперъ. Слава Марлинскаго сокрушилась въ нѣсколько лѣть, и всѣ другіе романисты, авторы пов'єстей, драмъ, комедій, даже водевилей изъ русской жизни внезанно обнаружили столько неподозрѣваемой въ нихъ дотолъ бездарности, что съ горя перестали писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать вниманіе только на молодыхъ талантливыхъ писателей, которыхъ дарованіе образовалось подъ вліяніемъ поэзін Гоголя. Но такихъ молодыхъ писателей у насъ немного, да и они пишуть очень мало. И воть еще одна изъ главныхъ причинъ бъдности зовременной русской литературы! Если кто больше всего и больше всёхъ виновать въ ней, такъ это безъ сомнънія Гоголь. Безъ него у насъ много было бы великихъ писателей, и они писали бы и теперь съ прежнимъ успъхомъ; безъ него Марлинскій и теперь считался бы живописцемъ великихъ страстей и трагическихъ коллизій жизни; безъ него публика русская и теперь восхищалась бы «Дівой Чудной» барона Брамбеуса, видя въ ней пучину остроумія, бездну юмору, образецъ изящнаго слогу, сливки занимательности и пр., и пр.

Гоголь убиль два ложныя направленія въ русской дитературь: натянутый, на ходуляхь стоящій идеализмъ, махающій мечомъ картоннымъ, подобно разруминенному актеру, и потомъ-сатирическій дидактизмъ. Марлинскій пустиль въ ходъ эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляній поддільного байронизма; всі принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркъ, то Лировъ и Чайльдъ-Гарольдовъ въ канцелярскомъ вицъ-мундиръ. Можно было подумать, что Россія отличается оть Италін и Испаніи только языкомъ, а отнюдь не цивилизаціей, не правами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило. что пи въ Италін, ни въ Испаніп люди не кривляются, не говорять изысканными фразами и не безпрестанно ръжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту ръзню высокопарными монологами. Презръніе къ простымъ чадамъ земли дошло до последней степени. У кого не было колоссальнаго характера, кто мирно служилъ въ департаментъ или довко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ словомъ въ земскомъ или увздномъ судв, говорилъ просто, не читаль стиховь и поэзіи, предпочиталь существенность, тотъ уже не годился въ герои романа или повъсти и неизбъжно дълался добычей сатиры и правоучительной цёлью. II, Боже мой! какъ стращно бичевала эта сатира всёхъ простыхъ, положительныхъ людей за то, что они не герои, не колассальные характеры, а ничтожные пигмеи человьче

ства. Она такъ безобразно отдълывала ихъ своей мочальной кистью, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не ръщался брать взятокъ, ни предаваться пьянству, илутовству и пр. Прошло это время-и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такой литературой, теперь часто ссорится съ ней, говоря: какъ можно писать то-то, выставлять это-то, выдумать такое-то,--и многіе изъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что ничего не бываетъ, напримеръ, подобнаго тому, что выставлено въ «Ревизорѣ», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безиравственно и проч. И всь, довольные и недовольные «Ревизоромъ», знають чуть не наизусть эту комедію Гоголя... Такое противорвчие стоить того, чтобъ обратить на него внимание.

Прежде сатира смёло разгуливала между народомъ среди бълаго дня и даже не заботилась объ инкогнито, но прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. сатирой, — и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? Оттого, что никто не узнаваль себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имъетъ полное право не принять на свой счетъ; оттого, что она была кингой, печатной, бумагой, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу реторики... И давно ли нраво-описательные, нравственно-сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки являлись стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло?-и на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лѣтомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называлъ себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъ,--и гонимые люди безъ боязии подходили къ своему гонителю, дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шев и охотно кормили его избыткомъ своей трапезы. Отчего это?—Оттого, что пороки, которые гналъ сатирикъ, были совсемъ не пороки, а развъ отвлеченныя идеи о порокахъ, реторическія тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражале.. сатирическій Донъ-Кихоть, такъ же, какъ добродьтель, за которую онъ ратоваль, была для него воображаемой Дульцинеей, а для другихъ-толстой, безобразной коровницей. Теперь нътъ сатиры, и только развъ какой-нибудь старый сочинитель рышится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ «сатирика»: теперь пишутся романы и повъсти безъ всякихъ сатирическихъ намереній и целей,—

а между тымь всь на нихъ сердятся. Отчего жъ это? -Оттого, что теперь и великіе, и малые таланты, и посредственность, и бездарность-вев стремятся изображать двйствительныхъ, не воображаемыхъ людей; но такъ какъ дъйствительные люди обитають на земль и въ обществь, а не на воздухь, не въ облакахъ, гдв живутъ один призраки, то естественно писатели нашего времени вмёстё съ людьми изображають и общество. Общество также-ивчто двиствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляють не одни костюмы и прически, но и нравы, обычап, понятія, отношенія и т. д. Человъкъ, живущій въ обществъ, зависить отъ него и въ образъ мыслей, и въ образъ своего дъйствованія. Писатели нашего времени не могутъ не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стараются вникать въ причины, отчего онъ таковъ или не таковъ и т. д. Вслъдствіе этого естественно они изображають не частные достопиства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдъльно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ-то и видить личности, гдв ихъ ньть и быть не можеть. Прежніе такъ-называемые сатирики именно списывали съ извъстныхъ имъ лицъ--и казались въ глазахъ всъхъ не подлежащими упреку въ личностихъ. II это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другого лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи отвлечены отъ живой личности, превращались въ образы безъ лиць. При томъ же эти сатирики смотрёли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какь на что-то произвольное, что это лицо могло имъть и не имъть по своей воль и что пріобръсти или отъ чего избавиться оно легко могло по прочтении убъдительной сатиры, гдъ ясно, по пальцамь; доказаны выгода и сладость добродьтели и опасныя, пагубныя следствія порока. Вотъ почему эти добрые сатирики брали человѣка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормошили на досугв это созданное ихъ воображениемъ чучело. Въ основание своего сатирическаго донъ-кихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозрѣвая того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественную правственность, ужасно противоръчили этой нравственности. Такъ, напримъръ, въ числь первыхъ добродътелей они полагали безусловное повиновение родительской власти и въ то же время толковали

юношеству, что бракъ по расчету — дъло безиравственное, что низкопоклонство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство-тоже дёла безнравственныя. Очень хорошо; но что иному юношъ дълать, если онъ съ малолетства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговъніе къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мъстамъ, къ значительности въ обществь, къ богатству, къ хорошей партін, блестящей карьеръ; если его младенческій слухъ быль оглушень не словами любви, чести, самоотверженія, истины, а словами: «взяль, получиль, пріобрёдь, надуль» и т. п.? Положимъ, что такому юношѣ природа не отказала въ человъческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бѣдной, простого званія дівушкі, любовь, запрещающая ему соединиться съ противной ему богатой дурой, на которой по расчетамъ приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношѣ пробудилось человъческое достоинство, запрешающее ему кланяться богатому илуту или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совъсть, запрещающая употреблять во зло ввъренные ему высшей властью вѣсы правосудія и расхищать ввѣренныя его безкорыстію общественныя суммы: что ему тугь дёлать? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса и, не задумавшись, отвътптъ «жениться на предметь любви своей, служить честно и върно отечеству»... Прекрасно; но тдь же повиновеніе родительской власти, гдь уважение къ родительскому благословению, навьки нерушимому, гдь страхъ тяжкаго отцовскаго проклятія!... И потомъ, гдъ уваженіе къ общественному митию, къ общественной нравственности? Въдь общество не спрашиваеть вась, по любви или не по любви женились вы, а спрашиваеть, сколько вы взяли за женой, и приличная ди она вамъ партія; общество не спрашиваетъ васъ, какимъ образомъ сделались вы богачемъ, когда ему извъстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни копъйки, а за супругой вы взяли ни Богъ знаетъ что или вовсе инчего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и потому считаеть вась очень хорошимъ-- «благонамъ" реннымъ» человекомъ... Послушайся нашъ юноша сатирика, что бы вышло? — Отецъ его бросиль бы, жалуясь на неповиновеніе и преврвніе къ его власти; потомъ онъ прошель. бы съ женой и дътьми черезъ всъ мытарства, черезъ всв униженія голодной, неопрятной, оборванной бъдности; видълъ бы къ себъ презр'вніе общества, а за свою правоту, за свое 🐒 безкорыстіе быль бы заклеймень оть всіхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и «неблагонамъреннаго» человъка, вольнодумца и проч., и проч. И неужели вы, «бла-

гонамъренные сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощась и обезсильвь въ тижелой и безплодной борьбь, онъ дойдеть до страшнаго убълденія, что его бъдность, его несчастія -- необходимыя следствія отцовского гитва, заслуженная кара за презръніе общественнаго митнія и общественной нравственнести?... Но, къ счастью или къ несчастью-не знаемъ, право,-такіе случан весьма ръдки, какъ исключенія изъ общаго правила. По большей части бываеть такъ: юноша не долго колеблется между любовью и выгодной женитьбой, между «завиральными идеями» о безкорыстій и правотъ и уваженіемъ общества: онъ женится, на комъ прикажуть дражайщіе родители, живеть съ женой, какъ всѣ, т. е. прилично содержитъ ее, воспитываетъ дътей своихъ, какъ всъ, т. е. придично кормитъ и одъваетъ ихъ, учитъ пофранцузски и танцовать, а после этого перваго и важивищаго періода воспитанія отдаеть въ учебное заведение, потомъ выгодно пристропваеть въ службу, выгодно женитъ (или выдаеть замужъ) и, умирая, отказываеть имъ «благопріобрѣтенное» на службѣ имѣніе. И что же? Въ началъ его поприща всв превозносять его, какъ почтительнаго сына, въ конць поприща-какъ нъжнаго супруга, примърнаго отца, «благонамъренчаго» чиновника, и заключають такь: «воть что значить уважение къ общественной нравственности! воть что значить родительское благословеніе, навъки нерушимое!» Итакъ, нашъ «благонамъренный» сатирикъ, бичъ пороковъ, самымъ нельпымъ образомъ противорьчилъ самому себь: поставивь выше всьхъ добродътелей повиновение не Богу, не истинъ, а эгоистическимъ расчетамъ, онъ въ то же время училъ юнопу следовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещаль ему торговать священньйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уваженіе общества, онъ въ то же время училъ юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ, онъ это делалъ, самъ не зная, что делаеть, и потому его сатиры не производили никакихъ слъдствій. Бывало, выйдеть сатприческій романъ съ похожденіями 🦛 какого - нибудь 🙈 пройдохи, въ родъ извъстныхъ похожденій Совъстдрала-Большого Носа, проманъ, въ которомъ уже самыя имена действующихълицъ-Ухорезовы, Надуваловы, Шлюхины, Правосудовы, Безпристрастовы, Безкорыстины, Миловидины, Правдолюбовы и т. д.-обнаруживали нравственную мысль сочинителя, — и что же? — самый отъявленный взяточникъ, самый безчестный казнокрадъ, самый э отчаянный шулеръ читаль этоть романъ съ удовольствіемъ и везд'є расхваливаль его вслухъ,

говоря: «какой славный слогъ! во всемъ чиствашая нравственность; добродьтель торжествуеть, порокъ наказанъ—чего же больше? чудесный романъ!»

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно вмёсть съ дётствомъ нашей литературы. Теперь выходять изъ моды п героп добродьтели, и чудовища влодейства, ибо ни ть, ни другіе не составляють массы общества. Вмёсто ихъ действують люди обыкновенные, какихъ больше всего на свътъ-ни злые, ни добрые, ни умные, на глупые, по большей части положительно необразованные, положительно невъжды, но отнюдь не дураки. Ихъ смѣшное заключается въ противорѣчіи ихъ словъ съ дълами, въ лицемърномъ и превратномъ смыслѣ, въ какомъ они говорятъ о добродътели, о безкорыстін, о благонамърепности. А они говорять всь. какъ одинь: следовательно, этоть «одинъ» или эти «всё» есть общество, - неужели же, скажуть намъ. наше общество стопть на такой низкой степени, что начего не можеть дать писателю кромъ смънного и комическаго? Неужели наше общество ужъ до такой степени хуже и ничтоживе общества всвхъ другихъ государствъ Европы?--На этотъ вопросъ мы можемъ отвъчать и искренно, и удовлетворительно. Кто знакомъ съ современными европейскими литературами, тоть не можеть не знать, что ихъ направленіе, взятое вообіце, а не частно, еще болбе юмористическое, чвмъ направленіе нашей литературы. Прочтите напримѣръ, «Олпвера Твиста» и «Бэрнеби Роджа» Диккенса, перваго теперь романиста Англін, и вы уб'вдитесь, что въ просв'єщенной Англіи, гордищейся тысячельтней цивилизаціей, такъ же много чудаковъ, оригиналовъ, невъждъ, глупцовъ, плутовъ, мошенниковъ, воровъ, какъ и вездъ, да еще, въ придачу, много такихъ злодвевъ и изверговъ, которые въ другихъ странахъ попадаются только какъ редкія исключенія. Прочтите "Les Mystères de Paris" Эжена Сю, — п вы порадуетесь тому, что живете въ Петербургъ, а не въ Парижѣ, и что если въ тѣсной толпъ рискуете иногда лишиться платка, часовъ, кошелька, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, скажуть намъ, въ «Бэрнеби Годжъ» и въ «Парижскихъ Тайнахъ» есть нъеколько и такихъ лицъ, на которыхъ отдыхаеть душа читателя, утомленная эрълищемъ злодъйствъ. Правда; но зато нельзя не согласиться, что добродьтельныя лица въ ронанъ Диккенса безцвътны и скучны; таковы: идеальная Эмма, ея возлюбленный Эдвардъ Честеръ, Гэрдаль и мать Бэрнеби; а въ «Парижскихъ Тайнахъз-невъроятны. Изъ добродътельныхъ лицъ романа Диккенса всъхъ дучше милая, грацісвная и кокетливая Долди, забавный оригиналь ея отепъ, мистеръ

Уарденъ, и ея возлюбленный Джой; вы въ нихъ видите и слабости, и странности, но еще болве любите ихъ за эти слабости и страиности, черезъ которыя и узнаете въ нихъ живыя человъческія дица, дъйствительные характеры, а не картонныя куклы съ надписями на лбу: «гонимая добродьтель, несчастная любовь, идеальная дѣва», п т. п. Въ «Парижскихъ Тайнахъ» также лучшія лица-не самыя добродьтельныя, какъ идеальный и небывалый Родольфъ, а тв, въ которыхъ добрыя природныя начала борются съ искусственными, т. е. привитыми обстоятельствами и враждебнымъ вліяніемъ общественнаго устройства, какъ, напримъръ, Шуринеръ, Марсіаль,—и, право, гризетка Риголетта правдоподобнье Гуалёзы... Люди-вездѣ люди; ни одинъ народъ не хуже другого; вездъ есть злоупотребленія, пороки, странности, противоречія словъ съ делами и дель со словами, правственныхъ понятій съ истинной нравственностью. Вся разница въ формахъ и отношеніяхъ. У насъ проситель иногда заходить съ задняго крыльца къ своему судьт съ секретными доказательствами правоты своего дела; въ Англін и Францін кандидаты на разныя выборныя должности низкими интригами и подкупами располагають избирателей въ свою пользу. И туть, и тамъ-богатая жатва для наблюдательнаго живописца общества. Здёсь опять могутъ намъ сказать, что нечего и хлопотать попусту, не изъ чего и раздражать того и другого, третьяго и четвертаго, если люди всегда были людьми и всегда будуть ими. Да, люди всегда будуть людьми — прежніе не лучше и не хуже ныибшнихъ, ныибшије не лучше и не хуже прежнихъ, но общество улучшается и на его улучшеній основанъ законъ развитія цълаго человъчества. Было время, когда даже истинно добрые, благородные и умпые люди были убъждены въ существование чернокнижия и съ ревностью, одушевляемые желаніемъ общаго блага, жгли чернокнижниковъ; теперь и злые, и глупые, и невъжественные люди уже не върять чернокнижью и чужды желанія жечь живыхъ людей даже и за дъйствительныя преступленіж. Что это значить?—То, что люди и теперь остались теми же, какими были, а общество улучшилось. Во всѣ вѣка бывали мудрые и благіе законодатели, но только въ XVIII въкъ могли огласить міръ изреченныя съ трона божественныя слова: «Лучше простить десять виновныхъ, нежели наказать одного невиннаго». Что это значить, если не то, что люди все тъ же, а общество улучшается?.. Ссвременники благословляли въ Россіи вікъ Екатерины Великой; мы, ихъ потомки, подтвердили правднвость этого благословенія, но вмёсть сь тёмъ мы имбемъ

218

свои причины быть гордыми и счастливыми, что живемъ въ настоящее, а не въ другое какое-инбудь время... Что это значить, если опыть не то же, что люди и теперь тъ же, а общество ушло далеко впередъ?.. Вотъ здъсьто и обнаруживается вся благодетельность роди, какая назначена книгопечатанью самимъ Провидвијемъ. Что прежде шло и развивалось съ трудомъ и медленно, то теперь идеть и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будеть не забавой празднаго бездёлья, а сознаніемъ общества, когда она будетъ заниматься не стишками, да сказочками, гдъ влюбились и женились, а будеть върнымъ зеркаломъ общества, и не только върнымъ отголоскомъ общественнаго мивнія, но и его

ревизоромъ и контролеромъ. Общество не то, что частный человъкъ: человька можно оскорбить, можно оклеветать, общество выше оскорбленій и клеветы. Если вы не върно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которыхъ въ немъ нѣтъ, - вамъ же хуже: васъ не станутъ читать, и важи сочиненія возбудять сміхь, какъ неудачныя карикатуры. Указать же на истинный недостатокъ общества-значить оказать ему услугу, значить избавить его отъ недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитье, язвительные Гогарта изображаль англійское общество въ лиць вебхъ его сословій?-- и однакожъ Англія не осудила Гогарта за lése-nation. но гордо именуеть его однимъ изъ любимъпшихъ и достойнъйшихъ сыновъ своихъ. Да и есть ли какая-инбудь возможность оскорбить сословіе, выставивъ съ смінной или даже предосудительной стороны одного изъ его членовъ? Всякое сословіе состоить изъ большого количества людей, а во всякомъ, даже небольшомъ количествъ дюдей найдутся всякаго рода недостойные и низкіе характеры, —не говоря уже о томъ, что не можетъ быть сословія, которое бы не имѣло вмѣстѣ съ добрыми сторонами и своихъдурныхъ сторонъ; честь сословія состоить не въ томъ, чтобъ не имъть дурныхъ сторонъ (ибо это ръшительно невозможное дело), а въ томъ, чтобъ умать открывать глаза на свои дурныя стороны и отрышаться отъ нихъ. Кто усомнится въ томъ, чтобъ рыцарство среднихъ въковъ не было цватомъ государствъ, красой общества своего времени, его благородивишимъ сословіемъ, что опо не совершило блистательнъйшихъ подвиговъ, не обезсмертило себя великими дѣлами? И между тѣмъ кому не извѣстно, что это же самое рыцарство, веледствіе духа тёхъ грубыхъ и варварскихъ временъ, грабило на большихъ дорогахъ купеческіе обозы, разбойнически ръзало мирнаго путешественника, звърски злоупотреблядо свою

феодальную власть надъ вассалами и рабами? И, несмотря на то, потомки этого рыпарства — цевть аристократіи современной Англіи— нисколько не думають ни стыдиться, ни скрывать этого; они съ восторгомъ читають романы Вальтеръ-Скотта и гордятся ими, вмъсто того чтобъ ненавидъть ихъ, какъ пятно на чести своихъ предковъ, слъдственно, и на ихъ собственной чести. Это доказываетъ сколько сознаніе національнаго величія, столько и зрълость развитія общественности въ Англіи.

Ни чему другому, какъ робкому несознанію собственнаго національнаго величія п незрълости нашей общественности, можно приписать эту раздражительность, которая во всемъ видитъ неуважение то къ тому, то къ другому сословію. Какъ скоро выведенъ въ повъсти чиновникъ, на шеъ котораго пренельно повязань галстукъ, а на рукахъ блестягь засаленныя желтыя перчатки, какъ свидътельство его тщетныхъ претензій на щегольство хорошаго тона, тотчасъ всв чиновники обижаются, говоря: «воть какъ насъ отдёлывають; служи послё этого!» Они какъ будто и не хотять знать, что можно быть неуклюжимъ, неловкимъ въ обществъ и въ то же время можно быть умнымъ, благороднымь челов комъ и хорошимъ чиновникомъ, -- не хотять знать, что если одинъ чиновникъ дурно и неопрятно одъвается, имъя претензін на світскость, изъ этого еще нисколько не следуеть, чтобъ все чиновники походили на него. Если воинъ окажетъ на сраженій чудеса храбрости и получить георгіевскій кресть, відь его товарищи, не участвовавшіе въ діль, или не отличавшіеся въ немъ, не почитаютъ себя въ правѣ жаловаться, что имъ не дали этого креста: какое же будуть имъть право оскорбляться всъ военные, если объ одномъ изъ нихъ (и то вымышленномъ лицъ) напечатають въ сказкъ, что ему случилось струсить на сраженіи, какъ, напримъръ, князю Блёсткину, выведенному въ романѣ Загоскина «Рославлевъ, или русскіе въ 1812 году?» II если Загоскинь, самь участвовавшій въ великой отечественной войнь, вывель между многими храбрыми лицами своего романа одного труса, -- можеть ли такая, впрочемъ, всегда п вездъ возможная, черта служить пятномъ для армін, которая сражалась подъ Бородинымъ и въ числъ предводителей своихъ нмъта Барклая-де-Толли, Кутузова, Багратіона, Ермолова, Милорадовича, Раевскаго и многихъ другихъ, извъстныхъ и славныхъ въ мірь?.. Было время, когда наши писатели только и делали, что нападали на русское общество высшаго и средняго круга за его страсть къ французскому языку. Это быль дъйствительно недостатокъ со стороны нашего общества; но могли ли оскорбить его

нагады, и при томъеще не совсёмъ несправедливые, писателей, когда оно знало, что тё же самые офицеры гвардіп, которые порусски объясиялись только по оффиціальнымъ дёламъ службы, геройски жертвовали своей жизнью въ битвахъ противъ тёхъ же самыхъ францувовъ, языкъ которыхъ они больше любили и лучше знали, чёмъ свой родной?..

Сатира-ложный родъ. Она можетъ смъшить, если умна и ловка, но смёшить, какъ остроумная карикатура, набросанная на бумагу карандашемъ даровитаго рисовальщика. Романъ и повъсть выше сатиры. Ихъ цъльизображать върно, а не карикатурно, не преувеличенно. Произведенія искусства, они должны не смъшить, не поучать, а развивать истину творчески втрнымъ изображеніемъ дъйствительности. Не ихъ дёло разсуждать, напримёръ, объ отеческой власти и сыновнемъ погиновении: гхъ діло - представить гля норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленін ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженін къ своєму человіческому достогнству, въ своимъ человъческимъ правамъ; или изобразить уклонение отъ этой нормы-произволъ отечественней власти, для корыстныхъ расчетовъ истребляющей въ дітяхъ любовь жъ истинъ и добру, и необходимое слъдствіе этого-нравственное искаженіе дётей, ихъ неуваженіе, неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ върна-ее поймуть безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазін картину, какъ осуществленіе возможности, скрывавшейся въ самой дёйствительности; и кто ни посмотрить на эту картину, всякій, пораженный ся истинностью, и дучше почувствуеть и сознаеть самъ все то, что вы стали бы телковать и чего бы никто не захотьль оть вась слушать... Только берите содержаніе для вашихъ картинъ въ окружающей васъ действительности и не ущ ашайте, не перестранвайте ея, а изображайте такой, какова она есть на самомъ діль, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закоптёлыя очки морали, которая была истиниа во время оно, а теперь превратилась въ общія міста, многими повторяемыя, но уже никого не убъждающія... Идеалы скрываются въ дъйствительности; они-не произвольная пгра фантазін, не выдумки, не мечты; и въ то же время идеалы- не списокъ съ дъйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазіей возможность того или другого явленія. Фантазія есть только одна изъ главньйшихъ способностей, условливающихъ поэта; но она одна не составляеть поэта: ему нужень еще глубокій умь, открывающій идею вь фактв, общее значеніе въ частномь явленіи. Поэты, которые опираются на одну фантазію, всегда инцуть содержанія своихъ произведеній за тридевять земель въ гридесятомь царстві или въ отдаленной древности; поэты, вмісті съ творческой фантазіей сбладающіе и глубокимь умомь, находять свои идеалы вокругь себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сділать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріаловъ построить такое преврасное зданіе...

Этой творческой фантазіей и этимъ глубокемъ умомъ обладаетъ въ замъчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ старое становится новымъ, обыкновенное-изящнымъ и поэтическимъ. Поэть національный, болбе нежели кто-нибудь изъ нашихъ поэтовъ, всвми читаемый, всёмъ извёстный, Гогольвсетаки не высоко стоить въ сознаніи нашей публики. Это противоръче очень естественно и очень понятно. Комизмъ, юморъ, проніяне всемъ доступны, в все, что возбуждаетъ смёхъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждаеть восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключаеть въ себъ смыслъ противоположный тому, который выражають слова ея. Комедія— цвёть цивилизацін, плодъ развившейся общественности. Чтобъ понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ последнимъ великимъ поэтомъ древней Греціи. Толпъ доступенъ только внѣшній комизмъ: она не понимаетъ, что есть точки, гдв комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а бользненный и горькій смыхъ. Умирая, Августъ, повелитель полу-міра, говориль своимъ приближеннымъ: «Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыграль свою роль - рукоплещите же, друзья мон!» Въ этехъ словахъ глубокій смыслъ: въ нихъ высказалась пронія уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не пойметь такой проніи. Такимь образомь поэть, который возбуждаеть въ читатель созерцаніе высокаго и прекраснаго и тоску по идеалъ изображеніемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толны никогда не можетъ казаться жрецомъ того же самаго изящнаго, которому служатъ и поэты, изображавшіе великое жизии. Ей всегда будеть видёться жартъ въ его глубокомъ юморъ, и смотря на върно воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности, она не видить изъ-за нихъ незримоприсутствующіе туть же свётлые образцы. И еще много времени пройдеть, и много

покольній выступить на поприще жизни прежде, чьмъ Гоголь будеть понять и оцьнень по достоинству большинствомъ.

«Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ томахъ означены 1842 годомъ, но вышли они въ февралъ прошлаго года, а потому и должны принадлежать къ литературнымъ явленіямъ 1843 года. Имітя въ виду въ скоромъ времени, въ особой статьй, въ отдела Критики раземотрѣть подробно всѣ сочиненія Гоголя, ты не будемъ теперь распространяться насчеть этихъ четырехъ томовъ. Это повлекло бы насъ слишкомъ далеко и заставило бы выйти изъ предъловъ журнальной статьи, ибо объ одномъ «Театральномъ Разъвздв послв перваго представленія комедін» можно написать цёлую статью. Въ этихъ четырехъ томахъ между стај ымъ много и новаго, а нъкоторыя пьесы или поправлены и дополнены, или вовсе передвланы авторомъ.

Изъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замъчательнъйния суть не болъе, какъ изданія разныхъ сочиненій, уже бывнихъ извъстными публикъ изъ журналовъ и альманаховъ. Да и того такъ немного, что безъ труда можно перечесть.

«На сонъ Гридущій» — вторая часть сборника сочитеній графа Сомлосуба. Въ ней помъщены уже ызвъстных публикъ пьесы: «Приключеніе на Жельзис дорогь», «Аптекарша» «Ямицикъ, или шалости молодого гусаречаго офицера» (драгатическая картина), «Левъ», «Медвідь и новая пьеса: «Неокончевлыя повъсти». — «Аптекарша» и «Медвыдья и инадлежать къ числу дучшихъ произведеній даровитаго автора; читателямъ уже извъстно это митніе объ этихъ двухъ повъстяхъ графа Солдогуба. «Привлючение на Жельзной дорогь»—легонькій по содержанію разсказъ, исполненный, впрочемъ, простоты и истины и изложенный съ обыкновеннымъ некусствомъ автора «Аптекарши». - «Ямщикъ» не чуждъ прекрасныхъ подробностей и върно схваченныхъ чертъ русскаго быта, но въ целомъ это-довольно слабое произведеніе. Герой (генералъ Сѣверинъ) этой драматической картины — лицо до крайности сентиментальное и неправдоподобное; монологи его-реторика. Въ представленіи быта крестынскаго много промаховъ противъ истины дъйствительности, зато превосходно лицо Саввы Саввича, равно какъ и его неотлучнаго Ларьки: оба они въ высшей степени върны. «Левъ» — мастерской типпческій очеркъ одного изъ самыхъ характеристическихъ явленій свътской жизни. «Неоконченныя повъсти» объщають намъ цълый рядъ прекрасныхъ разсказовъ, если только авторъ захочеть въ самомъ дёлё воспользоваться этой счастивой мыслыю. Первая повъсть,

которою и чинается рядъ «Несконченныхъ повъстей», исполнена сильнаго интереса и потрясаеть душу читателя благородной простотой из юженія глубоко прочувствованнаго авторомъ содержанія. А содержаніе это такъ же просто, какъ и его изложеніе: это одна изъ тысячи исторій, которыя такъ часто совершаются въ глазахъ всъхъ при свътъ дневномъ и которыя все-таки немногими замьчаются...

О сочиненіяхъ Зинанды Р—вой была вь «Отечественныхъ Запискахъ» особая статья, въ которой подробно изложено наше мивніе о повъстяхъ этой даровитой писательницы, столь рано похищенной смертью у русской литературы. Въ четырехъ частяхъ «Сочиненій Зинанды Р—вой» только одна новая, нигдъ прежде не папечатанная повъсть: это—вторая часть «Напраснаго Дара», неоконченная по причинъ внезапной смерти автора...

Небольшая книжка «Повъстей А. Вельтмана», вышедшая въ прошломъ году, содержить въ себъ иять разсказовъ, изъ которыхъ четыре были уже давно напечатаны въ разныхъ журналахъ. При бъдности современной русской дитературы эта книжка была пріятнымъ явленіемъ.

Въ прошломъ же году вышли второй и третій томы «Сказки за Сказкой». Въ нихъ были между прочимъ поміннены весьма интересные повісти и разсказы Кукольника: «Позументы», «Монтеки и Капулетти, или Чернышевскій міръ» и «Часовой»; особенно хороша повість «Позументы». Въ этомъ же безсрочномъ изданіи напечатана богатая хорошими частностями повість казака Луганскаго: «Савелій Грабъ или двойникъ».

Въ прошломъ же году, вышли два тома «Повъстей и Разсказовъ» Кукольника. Въ первомъ изъ нихъ помъщено шесть уже извъстныхъ публикъ разсказовъ изъ временъ Петра Великаго: «Лихончиха», «Новый Годъ», «Благодътельный Андроникъ», «Капустинъ», «Сказаніе о спиемъ и зеленомъ сукнѣ», «Прокуроръ». Всь эти повъсти и разсказы исполнены большого интереса и обнаруживлють въ авторъ много поэтической сноровки и исторического такта. Но повъсти и разсказы второго тома, за исключеніемъ «Исихеп», богатой прекрасными частностими, не заслуживають никакого вниманія н. могуть быть употребляемы только развъ какъ лъкарство отъ безсонницы, и въ этомъ случат съ большой пользой.

Въ началъ прошлаго года вышли «Сочиненія Державина» въ четырехъ частяхъ, наданіе во всъхъ отношеніяхъ болье неудовлетворительное, чъмъ удовлетворительное, какъ мы и имъли уже случай доказать въ свое время. Изъ повыхъ прлизведеній, появившихся въ прошломъ году, можно указать только на небольшую поэму «Параша», которая по необыкновенно умному содержанію и прекраснымъ поэтическимъ стихамъ была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не въ такое бѣдное для лигературы время, какъ наше.

«Сельское Чтеніе», издаваемое кизмемъ Одоевскимъ и Заблоцкимъ и дважды изданное въ прошломъ году, по своей цъли и назначенію должно относиться больше къ числу полезныхъ, чъмъ беллетристическихъ книгъ. Необыкновенный успѣхъ этой прекрасно составленной книжки породилъ мисжество

неудачныхъ подражаній.

По части оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній, вышедшихъ въ прошломъ году, больше не о чемъ говорить: въдь не начать же разсуждать о такихъ твореніяхъ, каковы: «Были и Небылицы» Ивана Балакирева, многочисленныя творенія автора «Мужа подъ Башмакомъ»; «Дочь Разбойника, или любовникъ въ бечав» О. Кузмичева; «Клятва при гробъ Матери, или Метитель за убійство», драма Голощанова; разсказывающій «Старичокъ-Весельчакъ, давнія московскія были» (Москва, изданіе четвертое), «Разгулье купеческихъ сынковъ въ Марыной рощъ, или проваливай! наши гуляють!» Истинно сатирическая повъсть 1835 года съ цыганскими пъснями (Москва, изданіе пятое); «Козелъ Бунтовщикъ или Машина свадьба» Базилевича (Москва, изданіе третье); «Стенька Разинъ, атаманъ разбойниковъ»; «Казаки» Кузмичева; «Князь Курбскій»  $\Phi(\Theta)$ едорова, и разныя сочиненія Скосырева, Куражсковскаго, Калачилина, Классена, Мильквева, Графчикова, Колотенко и пр.

Изъ переводныхъ книгъ оеллетристическаго содержанія, вышедшихъ въ прошломь году, замѣчательны: «Мысли Паскаля», переводъ Бутовскаго; тринадцатый выпускъ, издаваемый Кетчеромъ, Шексипра, заключающій въ себѣ комедію «Укрощеніе Строптивой»; первый и второй выпуски издаваемаго Тимковскимъ «Испанскаго Театра», заключающіе въ себѣ комедіи «Жизнь есть Сонъ» и «Саламейскій Алькадъ»; прозаическій переводъ фанъ-Дима «Вожественной комедіи» Данте, превосходно изданный, съ рисунками Флаксмана, и стихотворный переводъ Шиллерова «Вильгельма Телля» Ө. Миллера.

Изъ оригинальныхъ сочиненій учебнобеллетристическаго содержанія въ прошломъ году замінательны: «Прогулки Русскаго въ Помпеи» Левшина; «Описаніе Турецкой войны въ царствованіе Императора Александра, съ 1806 до 1812 года», новое твореніе значенитаго нашего военнаго историка, гене-

ралъ-дейтепанта Михайловскаго-Данилевска го; «Странствованіе по Сушѣ и Морямъ» (двѣ книжки), интересные и живые разскавы, самымъ пріятнымъ образомъ знакомящіе читателя съ разными странами, народами и племенами земного шара; «Описаніе Бухарскаго Ханства», Н. Ханыкова; третій томъ компактнаго изданія «Исторія Государства Россійскаго» Карамзина; пятнадцатый (и послѣдній) томъ второго изданія Голикова «Дѣяній Петра Великаго»; второе изданіе «Руководства къ познанію средней исторіи, для среднихъ учебныхъ заведеній» Смарагдова; «Исторія Малороссіп» Маркевича и «Исторія Петра Великаго» Полевого.

Спеціально-ученая литература все болю и болю представляеть самые утышительные результаты, для чего достаточно указать только на «Акты Археографической Коммиссів» и на изданіе «Остромирова Евангелія»; но какъ предметь нашей статьи—пренмущественно книги по части изящиой словесности или беллетристики, им'кощія интересь не для нікоторых только ученыхъ, но общій—для всіхъ образованныхълюдей, то мы не будемъ распрастраняться о спеціально-ученыхъ явленіяхъ прошлогод-

ней литературы.

Намъ остается теперь сділать перечень всего замічательнаго по части изящной литературы, оригинальной и переводной, что явилось въ продолженіе 1843 года въ журналахъ, ненасытимую жадность которыхъ обвиняють въ поглощеніи всей русской литературы. Посмотримь, сколько сочиненій успіло съйсть эго чуловище, т. е. наша журналистика. Но, увы! мы боимся, чтобъ этоть левіаеанъ литературнаго міра не пре-

тился въ одну изъ тъхъ тощихъ коровъ, которыхъ видълъ во сиъ Фараоиъ, и которыя не потолстъли, съъвъ тучныхъ коровъ!... Наши сочинения не такъ жирны и не такъ миогочислениы, чтобъ отъ нихъ могли слинкомъ жирътъ наши журналы, — и если бъ мы не ръшились въ этой статъъ говорить объ общемъ значени современнаго состояния литературы, а приступили бы прямо къ обзору литературныхъ явлений прошлаго года, показавшихся отдъльно и помъщенныхъ въ журналахъ, наша статъя поневолъ вышла бы очень коротка.

Начнемъ съ стихотвореній. Прошл. 1843 годь, вёроятно, послёдній богатый въ этомъ отношеніи годь; въ продолженіе его напечатано (въ Отечественныхъ Запискахъ») нёсколько посмертныхъ стихотвореній Лермонтова. Изъ нихъ: «Незабудка», «Избави Богь», «Смерть», «Когда весной разбитый ледъ», «Ребенка милаго режденье», «Они любили другь друга», «Къ портрету стараго гусара», «Посвященіе, принисан-

ное въ концъ поэмы «Демонъ», равно какъ и отрывочно напечатанная поэма «Измаилъ-Бей» принадлежать къ самой ранией эпохъ поэтической дъятельности Лермонтова и замичательны не столько въ эстетическомъ, сколько въ психологическомъ отношении, какъ факты духовной личности поэта. Въ эстетическомъ отношеніи эти пьесы поражають то энергическимъ стихомъ, то могучимъ чувствованіемъ, то яркой мыслью; но въ цёломъ онѣ довольно слабы и отзываются юношеской незрълостью. Пьесы «Романсъ къ \*\*\*», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски». «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Сонъ», равно интересныя какъвъ эстетическомъ, такъ и въ психодогическомъ отношеніи, принадлежать, безь всякаго сомивнія, къ эпохѣ полнаго развитія могучаго таланта незабвеннаго поэта, а пьесы: «Утесъ», «Дубовый листокъ оторвался отъ вътки родимой», «Морскан Царевна», «Тамара» «Выхожу одинъ и на дорогу»—принадлежать къ дучшимъ созданіямъ Лермонтова. Всё эти пьесы составять четвертую часть паданныхъ въ 1842 году «Стихотвореній М. Лермонтова», кот ран скоро должна выйти въ свътъ. Въ «Современникъ» была помъщена корсиканская повъсть «Матео Фальконе», передъланная Жуковскимъ изъ Шамиссо стихами, съ присовокупленіемъ интереснаго письма автора къ издателю «Современника»; письмо это заключаеть въ себъ изложение теперешняго взгляда знаменитаго поэта на поэзів).--Стихотворенія нынче мало читаются, но журналы, по уважению къ преданию, почитаютъ за необходимое сдабриваться стихотворными продуктами, которыхъ, поэтому, появляется еще довольно много. Изъ нихъ можно указать въ особенности на довольно многочисленныя стихотворенія Фета, между которыми встръчаются истинно-поэтическія, и на стихотворенія Т. Л. (автора «Параши»), всегда отличающіяся сригинальностью мысли. Попадаются въ журналахъ стихотворенія и другихъ поэтовъ, болѣе или менѣе исполненныя поэтическаго чувства, но они уже не имфють прежней цены, и становится очевиднымъ, что ихъ творцы или должны, сообразунсь съ духомъ времени, перестроить свои диры и запъть на другой ладъ, или уже не разсчитывать на внимание и симпатию читателей.

Оригинальными повъстями прошлогодніе журналы значительно бъднье журналовъ третьяго года. Мы разумьемъ здъсь качественную, а не количественную бъдность. Въкаждой книжкъ каждаго журнала (за исключениемъ «Москвитинина») непремыно есть русская повъсть, но какая—это другое дъло. Вотъ перечень лучшихъ оригинальныхъ повъстей въ прошлогоднихъ жур-

палахъ: «Тля» Панаева; «Чайковскій» Гребенки; «Изъ Записокъ неизвѣстнаго», юмористическій очеркъ Сергія Нейтралінаго (въ «Отечественныхъ Запискахъ»); «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ» В. Луганскаго; «Райна, королева Болгарская» Вельтмана (въ «Библіотекъ для Чтенія»); «Жизнь Чэловька, или прогулка по Невскому проспекту» Луганскаго; «Хмѣль, сопь и явь» его же (въ «Москвитянинъ»); «Черный Тараканъ» (фантастическій романъ изъ жизни одного чиновника) В. Зотова (въ «Репертуаръ и Пантеонъ»). Сверхъ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помъщены повъсти: «Ярмарка» Закревской; «1812 годъ въ провинции», разсказы Г. О. Основьяненко; «Ничего. Хроника Петербургскаго Жителя» барона Ө. Бюлера; «Двъ сестры» Жуковой; «Дженнатъ и Бока», чеченская повъсть Л. Ф. Ексльна; «Необыкновенный Завтракъ» Н. А. Некрасова;-въ «Библіотекв для Чтенія»: «Хозника» О. Фанъ-Дима; «Историческая Красавица» Н. В. Кукольника; «Гримаса моего Доктора» И. И. Лажечникова; «Волгинъ» В.; «Хижина подъ Скалами» Корсакова; «Идеальная Красавица» барона Брамбеуса.

«Тля» Панаева отличается свойственной этому писателю сатирической мъткостью. Собственно это не повыть, а очеркъ, отличающійся вірностью дійствительности. Жаль, что этогь очеркъ имъетъ слишкомъ мѣстное значеніе и внѣ Петербурга теряеть много своего интереса. «Чайковскій» Гребенки исполненъ превосходныхъ частностей, обнаруживающихъ въ авторъ несомивиное дарованіе. Характеръ полковника, отца геронни повъсти, многія черты поторическаго малороссійскаго быта поражають своей поэтической върностью. Но цьлое этой повъсти не выдержить строгой критики. Особенно вредить ей мелодраматизмь. Мстительная цыганка-колдунья, злодьй Герцикъ, кстати укусившая его зивя-все это мелодраматическіе эффекты. Тамъ не менье повасть Гребении была одной изъ лучшихъ повъстей прошлаго года. «Изъ Записо ъ Неизвъстнаго» — очеркъ, исполненный легкаго юмора и пріятный въ чтенін. «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ» — одна изъ лучшихъ повъстей казака Луганскаго, исполненная питереса и върно схваченныхъ чертъ русскаго быта. Заивчательно по ловкому и пріатному разскаву его же «Жизнь Человъка»; но «Хмъль, Сонъ и Нвь имбеть достоинство исихологическа портрета русскаго человъка, мастерски схваченнаго съ патуры. Эта повъсть имъла бы большой интересь и была бы очень полезна и для читателей низшаго разряда: почему ее пріятно было бы увидіть перепечатанной въ «Сельскомъ Чтенін». «Райна, королева Болгарская»—не повъсть, а фангасмагорія,

подобно вебыть произведеніямъ Вельтмана. Действующія лица говорять вы ней двумя манерами: то языкомъ совершенно понятнымъ для насъ, но отличающимся колоритомъ древне-болгарскимъ, то языкомъ романовъ нашего времени. Одинъ изъ главныхъ героевъ фантасмагорін русскій князь Святославъ, котораго Вельтманъ рисуеть намътакъ обстоятельно, какъ будто бы самъ жилъ въ его время и все видълъ своими глазами. Удивительнье всего въ этой повъсти, что мъстами она не лишена интереса... «Черный Тараканъ>- разсказъ не безъ юмора и не безъ занимательности. Намъ нужды нътъ знать, тотъ ли это Зотовъ написалъ ее, который иншетъ такія ужасныя драмы, стихотворенія, «Театраловъ», «Побрякушки» и пр., или совсъмъ другой Зотовъ: мы знаемъ только, что его «Черный Тараканъ» — очень недурная вещь.

Нать драматическихъ произведеній, напечатанныхъ въ журналахъ вийсто повъстей, замѣчателенъ, какъ мастерской эскизъ, но не больше, драматическій очеркъ Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность». Въ «Библіотекъ для Чтенія» были помѣщены: «Монументъ», историческій анекдотъ въ трехъ картинахъ, въ прозъ, Кукольника (несмотря на налянутость павоса, вещь не безъ достоинства); «Ломоносовъ, или Жизнь и Поэвія» Полевого, «Проэктъ» его же; «Братья», драма въ пяти дъйствіяхъ Каменскаго.

Воть и всв наши беллетристическия сокровища за прошлый годь! Нисколько неудивительно, что отъ этой пищи наши журналы не стали здоровъе... Говоря о переводныхъ пьесахъ, мы будемъ упоминать только о болъе замічательныхъ, а о посредственныхъ или обыкновенныхъ умодчимъ вовсе. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены: «Андре», романъ Жоржъ Занда, одно изъ лучшихъ произведеній этого автора, даже по сознанію самихъ враговъ его. «Эме́ Веръ», романъ какого-то француза, очень ловко прикидывающагося Вальтеръ-Скоттомъ, доказываетъ ту истину, что когда геній проложить новую дорогу въ искусствъ, то и обыкновенные таланты могуть ходить по ней съ усийхомъ. Впрочемъ, у автора «Эме́ Вера» много дарованія; романъ его исполненъ интереса; многіе характеры, и особенно пастора-фанатика Барбантана, братьевъ Рено и Гаспара, матери ихъ, г-жи Монторъ, обрисованы мастерски; многія сцены исполнены необыкновеннаго драматизма. «Солидный Человъкъ», романъ Шарля Бернара, отличается обыкновенными достоинствами всёхъ сочиненій этого даровитаго писателя. Это мастерская картина современнаго французскаго общества. Не по изложенію, а по содержанію, заслуживаеть упоминанія «Жена Золотых» Дель Мастера», повъсть Шарля Ребо; писатель съ

большимь талантомъ могъ бы чудеснымъ образомъ воспользоваться подобнымъ сюжетомъ.-Въ «Вибліотекъ для Чтенія» лучийя переводныя повъсти-«Лавка Древностей», романъ Диккенса. «Лавка Древностей» слабъе другихъ романовъ Диккенса: въ ней онъ повторяеть самого себя, и лица этого романа, равно какъ и его пружины, уже не поражають новостью. «Уминцы» — передыка изъ романа мистрисъ Троллопъ, интересна какъ картина, хотя уже не новая, но всегда върная, нравовъ современнаго англійскаго общества. «Последній изъ Бароновъ», романъ Больвера, довольно занимателенъ, какъ историческая картина положенія ученаго въ варварскіе средніе въка. — Въ «Современникъ» въ продолжение всего прошлаго геда тянулся начатый еще въ 1842 году романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство, или домашнія радости и огорченія». Онъ вышелъ теперь весь отдёльно, и потому мы изложили наше мивніе о немъ въ Библіографической Хроннкі этой же книжки «Отечественныхъ Записокъ». — Въ «Репертуаръ» были помъщены вполнъ «Парижскія Тайны» Эжена Сю. Романъ этотъ надълалъ много шума во всей Европъ и унасътакже и. несмотря на всв его недостатки, принадлежить къ замъчательнымъ явленіямъ современной литературы. Онъ порожденъ романами Диккенса и, далеко уступая имъ въ достоинствь, возбудиль такой энтузіазмъ, котораго не производилъ ни одинъ романъ даровитаго англійскаго романиста: таково умьнье французскихъ писателей дьйствовать всегда на массу! Такъ какъ съ «Парижскими Тайнами» только теперь ознакомились многіе изъ русскихъ читателей, и такъ какъ толки о нихъ еще не прекратились ни въ публикъ, ни въ журналахъ, то, можетъ быть, мы еще п поговоримъ объ этомъ романъ подробиъе въ отдълъ Критики. Въ «Репертуаръ» же переведенъ разсказъ Жоржа Запда «Муни Робэнъ», весьма замѣчательный не по сюжету, а по мысли и ея изложению. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Репертуаръ» помъщено по отрывку изъ Гётева «Вильгельма Мейстера». Отрывокъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» представляетъ пъчто цълое, какъ то показываетъ его названіе: «Маріанна». О достоинствъ перевода нечего говорить: довольно сказать, что онъ принадлежить Струговщикову. Въ «Баблютекъ для Чтенія поміщень переводь съ испанскаго, сдёланный Тимковскимъ, прелестной комедін Лопеса де-Веги: «Собака на Сѣнъ». Въ «Репертуаръ и Пантеонъ» помъщенъ переводъ прозой драмы Шекспира «Троилъ и Крессида».

Изъ замвчательныхъ статей учено-беллетристическихъ въ прошлогоднихъ журналахъ

следующи: въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца» живая картина русскихъ нравовъ временъ Петра Великаго, писанная очевидцемъ; «Гёте и графиня Штольбергъ» (эта же статья помъщена и въ «Репертуаръ»); «Философія Анатоміп», превосходно составленная Галаховымъ статья, представляющая современный взглядъ на одно изъ величайшихъ человъческихъ знаній; «Пуло-Пенангъ, Сингапуръ и Манила» (изъ записокъ русскаго морского офицера во время путешествія вокругъ свъта въ 1840 году) А. И. Бутакова; «Нижий-Новгородъ и нижегородцы въ смутное время» П. И. Мельпикова; «Рубини и итальянская музыка»—ва: «Дворъ королей англійскихъ»; «Кипгопечатаніе»; «Іосифъ II, императоръ германскій»; три статьи А. II. Ис-ра- «Диллетантизмъ въ Наукъ», его же-«Буддизмъ въ Наукѣ» и его же статья «По поводу одной драмы». Къ числу ученобелдетристическихъ же статей можно отнести и напечатанную въ отдёле Сельского хозяйства «Отечественныхъ Записокъ»—«Табачная промышленность въ Россіи» А. В., потому что авторъ умёлъ придать этой статью общій интересь и изложить ее съ замічательной степенью литературнаго изящества.-Въ отдель Наукъ и Художествъ «Библіотеки для Чтенія» особенно замічательны статьи: «Плинъ англичанъ въ Афганистани», «Записки о Сфверной Америкъ» Диккенса и «Томасъ Бекетъ». — «Современникъ» тоже не имбетъ недостатка въ ученыхъ статьяхъ, особенно касающихся до Скандинавіц; но лучшая ученая статья «Современника», равно какъ и одна изъ лучшихъ учено-беллетристическихъ статей во всей прошлогодней журналистикъ это — Исторические Очерки М. С. Куторги: «Людовикъ XIV». Въ «Москвитянинъ»: «О законахъ благоустройства и благочивія, или что такое полиція?», «Смерть Карла XII», статья, очень хорошо составленная Головачевымъ изъ исторін Карла XII, изданной Лундбладомъ и Больмеромъ.

По части критики въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были слёдующія статьи: «Русская литература въ 1842 году», «О сочиненіяхъ Державина», «О «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя (Голосъ изъ провинціи), «Объ Исторіи Малороссіи» Маркевича; четыре статьи: «О Жуковскомъ, Батюшковъ и Пушкинъ» и «О сочиненіяхъ Зинанды Р—вой». Сверхъ того въ «Отечественныхъ Запискахъ» постоянно помъщались подробные отчеты о французской, англійской и нъменкой литературахъ. Въ «Москвитянинъ» замъчательна критическая статья «О Путевыхъ Письмахъ изъ Германіи, Франціи и Италіи» Греча.

Теперь намъ слъдовало бы говорить о духъ

и направленіи русскихъ журналовъ за прошлый годъ; но мы уже говорили объ этомъ не разъ; а какъ это дело остается все въ томъ же видь, то лучше ужъ больше не говорить. Наше дёло было указать на духъ, направленіе и замічательные поступки того или другого журнала. Мы исполняли это въ продолжение пяти лётъ, и исполняли усердно можеть быть, усердиве, нежели сколько нужис было. Теперь нать надобности въ этомъ: журналовъ новыхъ нѣтъ, а въ старыхъвсе по старому, и говорить о нихъ- значиле бы повторять сказанное ифсколько разъ. Всякое повтореніе скучно, а тімь болье повтореніе истинъ, сділавшихся теперь, благодаря «Отечественнымъ Запискамъ», убъжденіемъ большей части образованныхъ читателей. Пусть всякій идеть своей дорогой. Наша публика разнообразна до безконечности, и каждый изъ составляющихъ ее слоевъ найдетъ, что ему нужно. Пусть всъ читаютъ, кому что правится, лишь бы читали. Скажемъ нъсколько словь въ общихъ чертахъ. Въ «Библіотекъ для Чтенія» лучшимъ отдъломъ попрежнему была Смёсь, а самыми бёдными, сухими и тощими-отдълы Критики и Литературной Літописи. Въ Сміси «Отечественныхъ Записокъ», между переводными, много было и оригинальныхъ, болье или менье замьчательныхъ статей, каковы: «Повздка въ Китай» Дэ-Мина (двѣ статьи); «Два инсьма изъ Пекина» В. Горскаго; «Замъчанія и анекдоты о южно-американскомъ львь» А. Бутакова; «Сцены изъ жизни бурять» А. Мордвинова; «Поъздка на Алтай» Мейера; «Итальянская опера въ Петербургъ» (Рубини, Віардо-Гарсія, Тамбурини, Ассандри, Пазини и Тадини); «Отвътъ Шевыреву на разборъ его русской Хрестоматін Галахова»; «Москвитянинъ» о Конерникъ» и «Записки Вёдрина»; прекрасный разсказъ Н. Ковалев скаго «Переселеніе Ивана Ивановича изъ Гадичскаго увзда въ Миргородскій»; юмористическій очеркъ: «Баль у писарей или дежурство въ новый годъ». Изъ переводныхъ особенно интересны: «Семейная жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ»; «Шутти, или сожиганіе вдовъ въ Индін»; «Патеръ Мэтью» и проч.—«Современникъ» съ прошлаго года выходить ежемъсячно, что еще болье должно было придать ему интереса. - Къ числу прошлогоднихъ литературныхъ новостей принадлежить возстановление «Репертуара и Пантеона»: это изданіе въ прошломъ году значительно поправилось, такъ что представляеть теперь собой очень занимательный и пестрый сборникъ разныхъ статей по части театра, повъстей, біографическихъ очерковъ жизни художниковъ и проч. Если печатаемыя имъ драматическія произведенія, даваемыя на пусской сцень, но больмей части плохи, — это не его вина: онъ объщался быть между прочимъ и зеркаломъ русской сцены, а по русской пословиць: «нечего на зеркало пенять, если лицо криво». Зато въ немъ есть хорошія переводныя пьесы и пьески, которыя не были даны на русской сценъ, и цъликомъ помъщены «Парижскія Тайны» Эжена Сю.

Изъ этого обозрѣнія читатели могуть видъть фактическое доказательство, что толстота нашихъ журналовъ отнюдь не причина крайняго убожества современной русской литературы. Да и что за дело, какъ появилось хорошее литературное произведеніеотдёльной книгой или въ журналё? Дёло въ томъ, чтобы какъ можно больше появлялось такихъ произведеній. Что касается до журналовъ - несмотря на ихъ толстоту, наша журналистика былна, и надо желать, чтобъ журналовъ было больше. Даже въ томъ, что они поглощають въ себя все лучшее и замъчательныйшее, появляющееся въ литературы, есть явная подьза: благодаря этому обстоятельству, всякое литературное хорошее произведение прочитывается не десятками, не сотиями, а цілыми тысячами читателей. Конечно, такое произведение, какъ «Мертвыя

Души» Гоголя, не имбеть нужды въ посредствъ журналовъ для пріобрътенія себъ многочисленныхъ читателей; но въдь то-«Мертвыя Души», одно изъ такихъ произведеній, которыя составляють исключения изъ общаго правила и бывають рёзкимъ нвленіемъ во всякой литературь. Обыкновенно у насъ замьчательный успьхъ всякой книги состоитъ въ расходъ пяти или много семи сотъ экземпляровъ; будучи же помѣщены въ журналахъ (разумбется, не во всёхъ, а въ какихънибудь двухъ, не больше), они находять себъ тысячи читателей. Итакъ, вмёсто пустыхъ и неосновательныхъ нападокъ на журналы, лучше пожелать увеличенія ихъ числа и большаго ихъ распространенія въ публикъ. Слъдующіе стихи, написанные ки. Вяземскимъ назадъ тому лътъ пятнадцать и теперь еще новые истиной своего содержанія, очень идуть къ вопросу, о которомъ мы говоримъ, почему мы и заключаемъ ими нашу

> Дай Богъ намъ болве журналовь Илодять читателей они. Гдв есть повътріе на чтенье, Въ чести тамъ грамота, перо; Гдв грамота—тамъ просвъщенье: Гдв просвъщенье—тамъ добро.

## Парижскія Тайны.

Романь Эжена Сю. Перевель В. Строевь, Спб. 1844. Два тома, восемь частей

Исторія европейскихъ литературъ особенно въ последнее время представляетъ много примъровъ блистательнаго успъха, какимъ увѣнчивались нѣкоторые писатели или нѣкоторыя сочиненія. Кому не памятно то время, когда, напримъръ, вся Англія нарасхватъ разбирала поэмы Байрона и романы Вальтеръ-Скотта, такъ что издание новаго творенія каждаго изъ этихъ писателей расходилось въ нёсколько дней, въ числё не одной тысячи экземпляровъ. Подобный успёхъ очень понятенъ: кромъ того, что Байронъ и Вальтеръ-Скоттъ были великіе поэты, они проложили еще совершенно новые пути въ нскусствъ, создали новые роды его, дали ему новое содержаніе: каждый изъ нихъ былъ Колумбъ въ сферѣ искусства, и изумленная Европа на всъхъ парусахъ мчалась въ но вооткрытые ими материки міра творчества, богатые и чудные не менье Америки. Итакъ, въ этомъ не было ничего удивительнаго. Не удивительно также и то, что подобнымъ усиъхомъ, хоти и мгновеннымъ, пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть свои гепін, какъ у человьчества есть свои-Такъ, во Франціи въ послѣднее время реставрацін выступила, подъ знаменемъ романтизма, на сцену литературы цълая фаланга писателей средней величины, въ которыхъ толпа увидёла своихъ геніевъ. Ихъ читала и имъ удивлялась вся Франція, а за нею, какъ водится, и вся Европа. Романъ Гюго «Norte Dame de Paris» имълъ успъхъ. какимъ бы должны пользоваться только вели чайшія произведенія величайшихъ геніевъ, ирехолящихъ въ міръ съ живымъ глаголомъ обновленія и возрожденія. Но вотъ едва прошло какихъ-нибудь четырнадцать льтъ-н на этотъ романъ уже всѣ смотрятъ, какъ на tour de force таланта замъчательнаго, но чисто вибшняго и эффектнаго, какъ на плодъ фантазін сильной и пламенной, но не дружной съ творческимъ разумомъ, какъ на произведение ярко блестящее, но натянутое, все составленное изъ преувеличеній, все наполненное не картинами действительности, но картинами исключеній, уродливое безъ величія, огромное безъ стройности и гармоніи. бользненное и нельпое. Многіе теперь о немъ даже совстмъ никакъ не думаютъ, и инкто не хлопочетъ извлечь его изъ Леты, на глубокомъ див которой покоптся оно сномъ сладкимъ и непробуднымъ. И такая участь постигла лучшее создание Виктора Гюго, сіdevant мірового генія; стало быть, о судьбъ всьхъ другихъ и особенно последнихъ его произведеній нечего и говорить. Вся слава этого писателя, педавно столь громадная и всемірная, тенерь легко можеть умъститься въ орбховой скордунь. - Давно ли повъсти Бальзака, эти картины салоннаго быта, съ ихъ тридцатилътними женщинами были причиной общаго восторга, предметомъ всёхъ разговоровъ? давно ли ими щеголяли наши русскіе журналы? Три раза весь читающій міръ жадно читалъ или, лучше сказать, пожираль исторію «Одного изъ Тринадцати», думая видѣть въ ней «Иліаду» новѣйшей общественности. А теперь у кого стапетъ отваги и терпѣнія, чтобъ вновь перечитать эти три длинныя сказки? Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ теперь ничего хорошаго нельзя было найти въ сочинеціяхъ Бальзака или чтобъ это быль человъкъ бездарный: напротивъ, и теперь въ его повъстяхъ можно найти много красотъ, но временныхъ и относительныхъ; у него былъ таланть и даже замъчательный, но таланть для извъстнаго времени. Время это прошло и таланть забыть, - и теперь той же самой толив, которая оть него съ ума сходила, ни мало нътъ нужды, не только существуеть ли онъ нынче, но и быль ли когда-нибудь.

При всемъ томъ, едва ли какая-инбудь эпоха какой-нибудь литературы представляеть примъръ успъха сколько-нибудь подобнаго тому, какимъ увѣнчались въ наши дни пресловутыя «Les Mystères de Paris». Мы не будемъ говорить о томъ, что этотъ романъ или, лучше сказать, эта европейская Шехеразада, являвшаяся клочками въ фельетонъ ежедневной газеты, занимала публику Парижа, следовательно, и публику всего міра, гдь получаются французскія газеты (а гдь же онъ не получаются?), ни того, что по выходв этого романа отдельнымъ изданіемъ онъ въ короткое время былъ расхватанъ, прочитанъ, перечитанъ, зачитанъ, растрепанъ и затертъ на всёхъ концахъ земли, гдь только говорять на французскомъ языкъ (а гдъ не говорять на немъ?), нереведенъ на всь европейскіе языки, возбудиль множество толковъ, еще болве нелитературныхъ, нежели сколько литературныхъ, и породилъ великое желаніе подражать ему, --ни того, что въ Парижь готовится новое великольниое изданіе его съ картинами работы лучшихъ рисовальщиковъ. Все это въ наше время еще не мърка истиннаго, дъйствительнаго успъха. Въ наше время объемъ генія, таланта, учености, красоты, добродътели, а слъдовательно, и успёха, который въ нашъ вёкъ считается выше генія, таланта, учености, красоты и добродьтели, -- этоть объемъ легко измъряется одной мърой, которая условливаетъ собой и заключаетъ въ себъ всъ другія: это-деньги. Въ наше время тотъ не геній, не знаніе, не красота и не добродѣтель, кто не нажился и не разбогатель. Въ прежиня добродушныя и невъжественныя времена геній оканчиваль свое великое поприще или на костръ, или въ богадъльнъ, если не въ домъ умалишенныхъ; ученость умирала голодной смертью; добродътель имъла годну участь съ геніемъ, а красота считалась опаснымъ даромъ природы. Теперь не то: теперь всв эти качества иногда трудно начинають свое поприще, зато хорошо оканчивають его; сухія, тоненькія, блёдныя смолоду, они въ льта опытной возмужалости, толстыя, жирныя, краснощекія, гордо и безпечно покоятся на мышкахъ съ золотомъ. Сначала они бывають и мизантропами, и байронистами, а потомъ делаются мещанами, довольными собой и міромъ. Жюль Жаненъ началъ свое поприще «Мертвымъ Осломъ и Гильотинированной Женщиной», а оканчиваеть его продажными фельетонами въ «Journal des Débats», въ которомъ основалъ себъ доходную лавку похваль и браней, продающихся съ молотка. Эженъ Сю въ началъ своего поприща смотрѣлъ на жизнь и человѣчество сквозь очки чернаго цвъта и старался выказываться принадлежащимъ къ сатанинской школъ литературы: тогда онъ былъ не богать. Теперь онъ принялея за мораль, потому что разбогатыль... Кромы большой суммы, полученной за «Парижскія Тайны», новый журналисть, желающій поднять свой журналъ, предлагаетъ автору «Парижскихъ тайнъ» сто тысячь франковъ за его новый романъ, который еще не написанъ... Воть это успёхъ! И кто хочетъ превзойти Эжена Сю въ геніальности, тотъ долженъ написать романь, за который журналисть даль бы двьсти тысячъ франковъ: тогда всякій, даже неумьющій читать, но умьющій считать, пойметь, что новый романисть ровно вдвое геніальнье Эжена Сю... Эстетическая критика, какъ видите, очень простая: всякій русскій подрядчикъ съ бородкой и счетами въ рукахъ можетъ быть величайшимъ критикомъ нашего времени...

Кажется, вопрось о «Парижскихь Тайнахъ» рёшился бы этимъ и коротко, и удовлетворительно; но, вёрные нашимъ убёжденіямъ, когорыя для всёхъ обладающихъ вначительнымъ капиталомъ нравственности, людей могутъ почесться предубѣжденіями, мы хотимъ взглянуть на «Парижскія Тайны»

съ другой точки и помбрить ихъ другимъ аршиномъ, кромъ ихъ успъха, т. е. кромъ ваплаченныхъ за нихъ денегъ. Это мы считаемъ даже нашей обязанностью, потому что «Парижскія Тайны» иміли большой успіххь и въ Россін, какъ и вездѣ. Благодаря хорошему, хотя и неполному переводу Строева, съ этимъ романомъ теперь познакомится и та часть русской публики, которая не можетъ читать иностранныя произведенія въ оригиналь. О «Парижскихъ Тайнахъ» говорять и толкують у насъ и въ провинціи, а нъкоторые столичные журналы отпускають прегромкія фразы о геніальности Эжена Сю и безсмертіп его «Парижскихъ Тайнъ», оставляя, впрочемъ, для своей публики непрожицаемой тайной причины такой геніальности и такого безсмертія. Въ свое время мы уже сказали наше мибніе и въ отділь «Иностранной Словесности» представили мивніе одного изъ лучшихъ современныхъ критековъ во Франціи о «Парижскихъ Тайнахъ». Этого было бы и довольно; но могли ли мы тогда думать, чтобъ «Парижскія Тайны» до такой степени могли заинтересовать русскую публику? Говорить же о предметахъ сбщаго интереса-дело журнала. Итакъ, будемъ еще говорить о «Парижскихъ Тайнахъ».

Основная мысль этого романа истипна и благородна. Авторъ хотълъ представить развратному, эгоистическому, обоготворившему влатого тельца обществу зрёмище страданій несчастныхъ, осужденныхъ на невъжество и нищету, а невъжествомъ и нищетой-на порокъ и преступленія. Не знаемъ, заставила ли эта картина, которую авторъ нарисовалъ, какъ умълъ, заставила ли она содрогнуться это общество среди его торговыхъ и промышленныхъ оргій; но знаемъ, что она раздражила это общество, - и оно обвинило автора въ безнравственности! Въ наше время слова «нравственность» и «безнравственность» сдълались очень гибкими и ихъ тенерь легко прилагать по произволу, къ чему вамъ угодно. Посмотрите, напримъръ, на этого господина, который съ такимъ достоинствомъ носитъ свое толстое чрево, поглотившее въ себя столько слезъ и крови беззащитной невинности, - этого господина, на лиць котораго выражается такое довольство самимъ собой, что вы не можете не убъдиться съ перваго взгляда въ полноть его глубокихъ сундуковъ, схоронившихъ въ себъ и безвозмездный трудъ бъдняка, и законное наслъдство спроты. Онъ, этотъ господинъ съ головой осла на туловищъ быка, чаще всего и съ особеннымъ удовольствіемъ говорить о правственности и съ особенной строгостью судитъ молодежь за ея безнравственность, состоящую въ неуважении къ заслуженнымъ (т. е. разбогатъвшимъ) людямъ, и за ея вольнодумство, заключающееся въ томъ, что она не хочетъ вёрить словамъ, неподтвержденнымъ дёлами. Такихъ примёровъ можно найти тысячи, и ни мало не удивительно, что въ наше время являются люди, которые Сократа называютъ надувалой, мошенникомъ и опаснымъ для правственности юношества безумцемъ. Къ особенной чертв характера нашего времени принадлежитъ то, что за всякую правду, за всякое благородное движеніе, за всякій честный поступокъ, непосредственно и фактически объясняющій значеніе нравственности и неумышленно обличающій развратныхъ моралистовъ, васъ сейчасъ назовуть безнравственнымъ.

Этимъ ужаснымъ словомъ встръченъ былъ въ Парижъ и романъ Эжена Сю: значитъ, авторъ достигъ своей цъли, — письмо его дошло по адресу... «Парижскія Тайны» даже подали поводъ къ административнымъ преніямъ въ Палатъ Депутатовъ: таковъ былъ

успъхъ этого романа...

Чтобъ для большинства русской публики сдёлать понятнёе чрезвычайный уснёхъ «Нарижскихъ Тайнъ», надо объяснить мъстныя историческія причины такого успіха. Причины эти принадлежать теперь исторіи; о нихъ перестала говорить политика; следовательно, онъ сдъдались уже предметомъ исторической критики. Королевскими повельніями въ 1830 году была изменена французская хартія; рабочій классь въ Парижь быль искусно приведенъ въ волнение партией средняго сословія (bourgeoisie). Между народомъ и королевскими войсками завязалась борьба. Въ слъпомъ и безумномъ самоотвержении народъ не щадилъ себя, сражаясь за нарушеніе правъ, которыя нисколько не ділали его счастливве и, следовательно, такъ же мало касались его, какъ и вопросъ о здоровьъ китайскаго богдыхана. Сражаясь отдёльными массами изъ-за баррикадъ, безъ общаго плана, безъ знамени, безъ предводителей, едва зная противъ кого и совстмъ не зная за кого и за что, народъ тщетно посылалъ къ представителямъ націн, недавно засъдавшимъ въ абонированной камеръ: этимъ представителямъ было не до того; они чуть не прятались по погребамъ, блёдные, трепещущіе. Когда дъло было кончено ревностью народа, представители повыползли изъ своихъ норъ и но трунамъ ловко дошли до власти, оттерли оть нея всёхъ честныхъ людей и, загребая жаръ чужими руками, преблагополучно стали гръться около него, разсуждая о нравственности. А народъ, который въ безумной ревности лилъ кровь за слово, за каждый пустой звукь, котораго значенія самъ не понималь, что же выиграль себь этоть народь? --Увы! тотчасъ же послѣ іюльскихъ происшествій этоть б'ёдный народь съ ужасомъ увидълъ, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось противъ прежняго. А между темъ ися эта историческая комедія была разыграна во имя народа и для блага народа! Аристократія пала окончательно; мъщанство твердой ногой стало на ен мѣсто, наслѣдовавъ ен преимущества, но не наслъдовавъ ся образованности, изящныхъ формъ ей жизни, ен кровнаго презръны, высокомърнаго великодушія и тщеславпой щедрости къ народу. Французскій пролетарій передъ закономъ равенъ съ самымъ богатымъ собственникомъ (propriétaire) и капиталистомъ, тотъ и другой судится одинакимъ судомъ и по винѣ наказывается одинакимъ наказаніемъ; но бъда въ томъ, что отъ этого равенства пролетарію ни чуть не легче. Въчный работникъ собственника и каниталиста, пролетарій весь въ его рукахъ, весь его рабъ, ибо тотъ даеть ему работу и произвольно назначаеть за нее плату. Этой платы бъдному рабочему не всегда станеть на дневную ппицу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственникъ съ этой илаты беретъ 99 процентовъ на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимой въ холодномъ подвалж или на холодномъ чердакъ съ женой, съ дътьми, дрожащими отъ стужи, не вышими уже три дня, будто легче такъ умирать съ хартіей, за которую пролито столько крови, нежели безъ хартін, но и безъ жергвъ, которыхъ она требуетъ?.. Собственникъ, какъ всякій выскочка, смотрить на работника въ блузь и деревянныхъ башмакахъ, какъ плантаторъ на негра. Правда, онъ не можеть его насчльно заставить на себя работать; но онъ можеть не дать ему работы и заставить его умереть съ голода. Мъщане-собственникилюди прозаически положительные. Ихъ любимое правило: «всякій у себя и для себя». Они хотять быть правы по закону гражданскому и не хотятъ слышать о законахъ чедовічества и нравственности. Они честно платять работнику ими же назначенную плату, и если этой платы недостаточно для спасенія его съ семействомъ отъ голодной смерти, и онъ съ отчаянія сделается воромъ или убійцей пак сов'єть спокойна: в'єдь они по закону правы! Аристократія такъ не разсуждаетъ: она великодушна даже по тщеславію, по принятому обычаю. По тому же самому она всегда любила умъ, талантъ, науку и искусство, и гордилась темъ, что покровительствовала имъ. Мѣщанство современной Франціи подражаеть аристократіи только въ роскоши и тщеславін, которыя у него проявляются грубо и пошло, какъ у Мольерова мъщанина во дворянствъ (bourgeois gentilhomme). И воть за кого народъ жертвоваль своей жизнью! По французской хартіи

избирателемъ и кандидатомъ можетъ оыть только собственникъ, который съ своей недвижимости платить подати не менте четырехсоть франковъ въ годъ. Следовательно, вся власть, все вліяніе на государство сосредоточены въ рукахъ владельцевъ, которые ни единой каплей крови не пожертвовали за хартію, а народъ остался совершени отчужденъ отъ правъ хартіи, за которую страдалъ. У насъ, въ Россіи, гдъ выраженія «умереть съ голода» унотребляется какъ ги пербола, потому что въ Россіи не только трудолюбивому бъдняку, но и отъявленному льнтяю-нищему пьть рышительно никакой возможности умереть съ голода, - у насъ, въ Россіи, не всь повърять безъ труда, что въ Англіи и во Франціи голодная смерть для бъдныхъ-самое возможное и нисколько не необыкновенное дело. Несколько недель, два три мъсяца бользии или недостатка въ работь, и бъдный пролетарій долженъ умереть съ семействомъ, если не прибриеть къ преступленію, которое должно повести его на гильотину. Вотъ почему мы и разпространились объ эгомъ предмегь; такъ тьсно связанномъ съ содержаніемъ «Парижскихъ Тайнъ». Бѣдствія народа въ Парижѣ выше всякой мёры превосходять самыя смё-

лыя выдумки фантазін.

Но искры добра еще не погасли во Францін-онъ только подь пепломъ и ждуть благопріятнаго вътра, который превратиль бы нхъ въ яркое и чистое пламя. Народъдитя; но это дитя растеть и объщаеть сдълаться мужемъ, полнымъ силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показа то ему конституціонную мишуру въ ея истиниомъ видь. Онъ уже не въритъ говорунамъ и фабрикантамъ законовъ и не станетъ больше проливать своей крови за слова, которыхъ значение для него темно, и за людей, которые любять его только тогда, когда имъ нужно загрести жаръ чужими руками, чтобъ воспользоваться некупленнымъ тепломъ. Въ народъ уже быстро развивается образованіе, и онъ уже имфеть своихъ поэтовъ, которые указывають ему его будущее, дыя его страданія и не отдылясь оть него ни одеждой, ни образомъ жизни. Онъ еще слабъ, но онъ одинъ хранитъ въ себъ огонь національной жизни и свёжій энтузіазмъ убёжденія, погасшій вь слояхъ «образованнаго» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили съ его судьбой свои объты и надежды, которые добровольно отреклись отъ всякаго участія на рынкъ власти и денегъ. Многіе изъ нихъ, пользуясь европейской извістностью, какъ люди ученые и литераторы, имъя всъ средства стоять на первомъ планъ конституціоннаго рынка, живуть и трудятся въ добро-

вольной и честной бёдности. Ихъ добросовъстный и энергическій голосъ страшенъ продавцамъ, покуніцикамъ и аукціонерамъ администрацін, п этоть голось, возвышаясь ва бъдный, обманутый народъ, раздается въ ушахъ административныхъ антрепренеровъ, какъ звукъ трубы судной. Стоны народа, передаваемые этимъ голосомъ во всеуслышаніе, будять общественное мивніе и потому тревожать спекулянтовъ власти. Съ этими честными голосами раздаются другіе, болье многочисленные, которые въ заступничествъ за народъ видять върную спекуляцію на власть, надежное средство въ низверженію министерства и занятію его м'єста. Такимъ образомъ народъ сделался во Францін вопросомъ общественнымъ, политическимъ и административнымъ. Понятно, что въ такое время не можетъ не имъть успъха дитературное произведение, героемъ котораго является народъ. И надо удивляться, какъ духъ спекуляціи, обладающій французской литературой, не догадался ранве схватиться за этогъ непсчерпаемый источникъ върнаго дохода!...

Эженъ Сю былъ эгимъ счастливцемъ, которому первому вошло въ голову сдёлать выгодную литературную спекуляцію на имя народа. Эженъ Сю не принадлежить къ числу тъхъ немногихъ литераторовъ французскихъ, которые, махнувъ рукой на мерзость запустыныя общественной правственности. добровольно отказались отъ настоящаго и обрекли себя безкорыстному служенію будупјаго, котораго, вфроятно, имъ не дождаться, но котораго приближенію они же содійствовали. Неть, Эжень Сю-человекь положительный, вполнъ сочувствующій матеріальному духу современной Франціп. Правда, нъкогда онъ хотълъ играть роль Байрона и кривляться въ сатанинскихъ романахъ, въродъ «Атаръ-Гюля», «Хатино». «Крао»; но это оттого, что тогда книгопродавцы и журналисты еще не бъгали за нимъ съ мъшками золота въ рукахъ. Сверхъ того мода на поддъльный байронизмъ уже прошла, да и лъта Эжена Сю давно уже должны были сдёлать его благоразумнымъ и заставить сойти съ ходуль. Онъ всегда быль добрымъ малымъ и только прикидывался демономъ средней руки, а теперь онъ-добрый малый вполнъ, безъ всякихъ претензій, почтенный міщанинъ въполномъсмыслъслова, филистеръ конституціонно-мізщанской гражданственности и, если бъ могъ попасть въ депутаты, былъ бы именно такимъ депугатомъ, какихъ нужно теперь хартін. Изображая французскій народъ въ своемъ романъ, Эженъ Сю смотритъ на него какъ пстанный мъщанинъ (bourgeois), смотрить на него очень просто-какъ на голодную, оборванную чернь, певъже-

ствомъ и ницетой осужденную на преступленія. Онъ не знаеть ни истинныхъ пороковъ, ни истинныхъ добродътелей народа, не подозрѣваеть, что у него есть будущее, котораго уже нътъ у торжествующей и преобладающей партін, потому что въ народъ есть въра, есть энтузіазмъ, есть сила нравственности. Эженъ Сю сочувствуеть бъдствіямъ народа: зачёмъ отнимать у него благородную способность состраданія, тімь болье, что она обівщала ему такіе вірные барыши? Но какъ сочувствуеть -- это другой вопросъ. Онъ желалъ бы, чтобы народъ не бедствоваль и, переставъ быть голодной, оборванной и частью поневоль преступной чернью, сдълался сытой, опрятной и прилично себя ведущей чернью, а мъщане, теперешніе фабриканты законовъ во Францін, оставались бы попрежнему госпедами Францін, образованнъйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю показываеть въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы французскіе безсознатольно покровительствують разврату и преступленію. И, надо сказать, онь показываеть это очень довко и убъдительно; но онъ не подозръваетъ того, что эло скрывается не въ какихъ-иибудь отдёльныхъ законахъ, а въ цёлой системъ французскаго законодательства, во всемъ устройствъ общества. Чтобъ показать, какъ Эженъ Сю обнаруживаетъ невольное покровительство нѣкоторыхъ французскихъ законовъ и самаго судебнаго порядка пороку и преступленію, выписываемъ изъ романа разсказъ Анпы:

"Мой мужъ быль добрый ремесленникъ, потомъ разстроился... бросилъ меня съ дътьми, продавъ все, что у насъ было. Я работала, добрые люди помогали мив; я поправлялась, макъ Вдругь явился мужь мойсь какой-то женщиной и отняль у меня послъднее... Надобно было разводиться по закону, а французскій закон: слишкомъ дорогъ для бъдныхъ людей!.. Вотъ что случилось: назадъ тому три дня я сидъла съ дътьми и работала... входить мужь. По лицу его я увидъла, что онъ пьянъ... "Я пришелъ за Катериной", говоритъ онъ. Я тотчасъ обняла дочь и отвъчала ему: "Куда поведешь ее?"- "Не твое дъло; она-моя дочь и должна итти за мной". -Вся кровь бросилась мив въ голову; язнаю, что та женщина, которая приходила къ намъ съ моимъ мужемъ, давно подбиваетъ его на черное

"Не отдамъ дочери! кричала я Дюпору:— внаю, что вы хотите съ ней сдълать!"— "Не упрямься, или я убью тебя", отвъчаль оит; губы его поблъднъли отъ гаъва. Катерина съ плачемъ бросилась ко мнъ на шею и кричала: "Я хочу остаться у маменьки!..." Дюпорт вабъсился, вырваль у меня дочь, ударилъ меня ногой въ грудь, я упала... О! онъ върно не поступилъ бы такъ дурно со мной, если бъ былъ не пьянъ...

"Онъ билъ меня ногами, ругалъ меня... Дътв бросились на колбии просить за меня... Тутъ онъ, какъ бъщеный, сказалъ дочери: "Ступай за мной, или я непремънно убью мать!" Кровь текла у меня горломъ... я не могла двинуться, но все еще кричала Катеринъ: "Но уходи, лучше пует

убьеть меня".—,Замолчишь ли ты?" вскричаль Дюпорь и удариль меня такь, что я упала безь намяти...

"Когда я пришла въ себя, мальчики мон плакали."

- А дочь ваша?

 Онъ увелъ ее, — отвъчала несчастная мать, рыдая. — Онъ прибилъ и увелъ ее.

- И вы не пожаловались комиссару?

— Я объ этомъ и не подумала въ первую минуту; я только могла плакать о Катеринъ.. Скоро все тъло мое разболълось... я не могла ходить. Тутъ я вспоминла, что говорилабрату: мужь такъ прибьетъ меня, что мнѣ придется итти въ больницу, и тогда, что будетъ съ моими дътъми?. Воть я въ больницъ: что жъ будетъ съ моими дътъми?.

- Такъ во Франціи нъть правосудія для

бѣдныхъ людей?

— Опо слишкомъ дорого!.. Сосъди мои послали за комиссаромъ. Опъ пришелъ съ письмоводителемъ... Миъ не хотълось жаловаться на мужа, по мысль о дочери принудила меня... Я сказала только, что во время ссоры за дочь опъ толкнула меня... Это ничего, но я хочу, чтобы мил возвратили дочь... чтобъ не развратили ее.

— Что же отвъчать вамь письмоводитель?
— Что мужь мой имъеть право увести дочь, потому что онь не разведень со мпой; что жаль будеть, если моя дочь испортится оть дурных основать жалобы на одинхъ предположенія, а вельзя основать жалобы на одинхъ предположеніяхъ. "Требуйте развода, сказаль письмоводитель: побон, нанесенные вамь мужемь, его поведеніе съ дурной женщиной, все это послужить въ вашу пользу и вамъ отдадуть дочь. а иначе онь имъеть право оставить ее у себя." Требованіе развода! а у меня пъть денегь, да еще я должна кормить дътей...—, что жь мпѣ дълать? отвъчаль письмоводитель: такъ надобно".. И потому, что макт набобно, дочь моя мъсяца черезътри будеть таскаться по улицамъ"... (Часть 8-я, стр. 52—44).

Этого огрывка достаточно, чтобъ дать понятіе объ идев "Парижскихъ Тайнъ" даже и не читавшимъ этого романа, и потому больше выписывать не нужно. Авторъ водить чигателя по тавернамъ и кабакамъ, гдъ сбираются убійцы, воры, мошенники, распутныя женщины; — по тюрьмамъ, гдв подозрвваемые въ преступленіп посажены въ одну комнату съ уличенными во множествъ преступленій, съ быжавиними не одинъ разъ съ галеръ; -въ больницы, гдв для пользы науки бъдная женщина должна разсказывать своему доктору, при множествъ его учениковъ, симптомы своей бользни, а посль этого, если въ ней есть женскій стыдъ, чувствовать усиленіе бользни; -- въ дома умалишенныхъ, которые, по описанію автора, представляють глазамъ филантрона болье утвинтельное эрвлище, чыть всв другія общественныя заведенія;по чердакам в и по подваламъ, гдъ скрываются бъдныя семейства, круглый годъ блъдныя оть голода и изнуренія, а зимой дрожащія оть стужи, потому что они не знають, что такое дрова. Въ эгихъ чердакахъ и подвалахъ, --жилищахъ нищеты и отчаянія, часто живуть высокія добродітели, но еще чаще гивздится разврать и преступление. Но что

говорить о тёхъ несчастныхъ, которые сами себя называють «дётьми мостовой» и съ малолётства служать предметомъ спекуляціи для подобныхъ имъ нищихъ! Разврать и преступленіе, такъ сказать, ждуть ихъ на порогівжизни, чтобъ схватить въ свои когти и повлечь по всёмъ мытарствамъ побой, голода, обидъ, презрічія, угнетенія, наказаній, тюремъ, гадеръ, воспитывая въ нихъ закоренізыхъ злодівевъ. Все это составляетъ содержаніе романа Эжена Сю. Мысль его—какъ изъ этого достаточно видно—благородная и прекрасная; взглянемъ на псполненіе,

Съ этой стороны «Парижскія Тайны» являются самымъ жалкимъ и бездарнымъ произведеніемъ. Завязка романа основана на лжи и призракв, камими погнушалась бы въ наше время даже сколько-нибудь порядочная мелодрама. И эта ложь, эта призрачность въ особенности бросаются въ глаза даже самому невзыскательному читателю въ геров и геровив романа. т. е. въ его свътлости принцъ Родольф' Герольштейнскомъ и ея свъглости, единородной дщери его, Пъвуньъ, воспитанниць Сычихи и нахльбинць Яги-Бабы. Оставивъ свои наследственныя владенія, въ которыхъ, видно, по ихъ микроскопической мелкости, его свътлости нечего было дълать, Родольфъ живеть въ Нарижь, занимансь такимъ деломъ, которое можетъ прійги въ голову развъ только какому-нибудь подрядчику повъстей въ фельетонъ журнала, но которое, слава Богу, въ нашъ прозапческій выкь не придеть въ голову никому, тымъ менье принцу. Переодъгый въ блузу работ. ника, Родольфъ шатается по кабакамъ п тавернамъ Сите и дерется тамъ на кулачки сь убійцами, ворами и мошенниками, защищая, какъ истинный Донъ-Кихотъ, слабыхъ и невпиныхъ, наказыван порокъ и награждая лобродътель. По словамъ автора, Родольфъ «отличался красотой, но не мужественной: его блідность, его полузакрытые черные глаза, ленивая походка, разсвянный взглядь, ироническая улыбка показывали человька, отжившаго въкъ (хотя ему было не болье тридцати лътъ); казалось, онъ быль разслабленъ аристократической невоздержанностью (хотя онъ легко одольваль страшныхъ бойцовъ и силачей).» Мы бы никакъ не догадались о причинь побыдоносности его свытлости, если бы наперсникь его, Мурфъ, въ разговорѣ съ нимь же не подсказаль намъ о немъ следующихъ біографическихъ подробностей: «Креббъ научилъ васъ боксировать, Лакуръ передаль вамь искусство бороться и драться на палкахъ, знаменитый Бертранъ превратиль вась вь удивительнаго бойца на шиагахъ; вы убиваете ласточку на-лету изъ иистолета; у васъ стальные мускулы.» Видите

ли, все, что нужно для искателя приключеній, для Донъ-Кихота XIX вѣка, для наполненія невозможными и небывалыми приключеніями пошлаго романа въродѣ Шехеразады! Играя въ приключения и въ опасности, Родольфъ играеть и въ добродътель, и въ высокія чувства,-и во всёхъ родахъ этихъ игръ онъ ужасный эффектеръ. Освободивъ Пѣвунью изъ-подъ опеки Яги-Бабы, онъ не сказываеть ей этого, везеть ее за городь будто для прогулки, привозить на свою собственную мызу, и только тамъ Првунья узнаеть, что она уже не зависить больше отъ Яги-Бабы и что для неи есть честное и прекрасное убъжние, даже добродътельная мать, въ особъ г-жи Жоржъ. Все это делается сюрпризомъ и съ эффектами; все это могло имъть преилохія слёдствія для бёдной protegée, которой влан судьба вельла быть предметомъ эффектнаго покровительства. Такъ и случилось: Пъвунью увезли злодъи, и если Сычиха не непојтила ея прекраснаго лица купоросной кислотой, такъ это потому, что для эффекта романа автору нужно было и въ гребъ положить свою геропню прекрасной. Для этого онь придумаль чудесное средство: злодею Мастаку послать страшный сонъ, пробудив шій въ немъ раскаяніе, которое и побудило его помѣшать Сычихѣ изуродовать Пѣвунью, хотя этого, по слепоте своей, онъ совсемъ не быль въ состояни сдёлать. Между тёмъ Пёвунью поместили въ тюрьму, потомъ выпустили, утопили въ ръкъ, спасли, вылъчили, п Родольфъ ничего этого не знаетъ, за множествемъ дѣлъ. Все это ужасно глупо и попіло, но все еще далеко не конецъ глупостямъ и пошлостямъ романа. Родольфу нужно завладьть Мастакомъ, но онъ самъ запутывается въ своихъ сетяхъ и долженъ погибнуть. Однако жъ не бойтесь: романъ только начинается, а Родольфу предстоить еще надълать много разныхъ эффектовъ. И вотъ онъ ухитряется написать въ карманъ нъсколько строкъ и довко выбросить бумажку за окно кареты, а върный Мурфъ ловко ее подхватываетъ. Все это не поменало однакожъ Родольфу полетъть въ погребъ. Тамъ онъ долженъ былъ захлебнуться смрадной водой, на его груди уже спасаются крысы, онъ уже задыхается, падаетъ безъ чувствъ; но не трепещите, читатели, вѣдь это еще только первая часть романа—впереди цълыя семь частей, да еще съ энилогомъ; а куда онъ годятся, если Родольфъ не будеть въ нихъ эффектировать? И вотъ почему Рѣзака такъ счастливо, т. е. такъ натянуто, спасаеть его. Такимъ же чудомъ Мурфъ получаетъ не смертельную рану отъ руки Мастака, который во всякомъ другомъ случав не умфетъ поражать кначе, какъ на смерть. Судъ надъ Мастакомъ и ослбиление его возбу-

дили негодование въ нъксторыхъ туманныхъ французскихъ крптикахъ. И въ самомъ делъ, это было бы возмущающей душу картиной, если бы не было смѣшной мелодрамой, пошлымъ театральнымъ эффектомъ. Посмотрите, какъ затъйливы судъ и эта казнь! Что ни черта — то мелодраматическій фарсъ. Монологъ Родольфа къ Мастаку-пародія на любой мо нологъ Шиллерова Карла Моора. Кстати с черномъ докторъ Давидъ: какъ и въ его истерін выказывается донкихотство Родольфа! Плантаторъ такъ гнусно-безчеловѣчно поступиль съ негромъ Давидомъ и креолкой Сесили, что всякій честный человъкъ не могъ не почесть себя въ правъ спасти ихъ, имъя къ тому средства. Но Родольфъ эффектеръ; онъ не любить делать добро просто: онъ задалъ себъ вопросъ, имъеть ли онъ право самоуправно лишать господина слуги? И вслъдствіе этого онъ разсчелъ, сколько стоило плантатору воспитание Давида, что стоить рабъ-негръ и раба-креолка, и сонному, пьяному плантатору въ полночь отдаетъ двойную противъ расчета сумму. Скажите, Бога ради: если вы найдете возможность изъ берлоги разбойника вырвать попавшагося къ нему въ плънъ несчастного, - неужели вы будете разсчитывать, что стоило этому разбойнику содержание его пленинка, и заплатите вдвое болъе противъ расчета?... Какъ эта черта отзывается мъщанствомъ и капитализмомъ, которые законность и справедлиность допускають только въ денежныхъ дълахъ? И отчего же совъстливый ичуждающійся самоуправства Родольфъ не усомнился почесть себя въправъ лишить зрѣнія, конечно, великаго злодѣя, но для кары котораго были правительство, законы, энафоть?-Онъ котёль его лишить возможности делать зло-и даль ему возможность еще надълать ему вла; онъ хотьль дать ему возможность раскаяться-и въ чемъ же мы видимъ это раскаяніе? неужели въ убійствъ Сычихи, убійствь, учиненномъ въ изступленін ярости, которое однако же не помѣшало Мастаку на нѣсколькихъ страницахъ читать Сычихъ-исполненные риторической шумихи монологи, забывъ, что Сычихъ совсъмъ не до нихъ, а для Хромушки они, какъ в следовало, были ужасно смешны?..

Такимъ же точно выказывается Родольфт въ своихъ отношеніяхъ къ маркизѣ Дорвиль. Маркизъ женился на ней обманомъ, утанвт отъ нея, что онъ страдаетъ надучей болѣзнью. Съ горя она влюбилась въ Родольфа, но, какъ женщина безъ ума и такта, позволила играть собой графинѣ Сарѣ, которая возбудила въ ней недовърчивость къ Родольфу и любовь къ Шарлю Роберу, набитому дураку. Маркиза рѣшается даже на тайныя свиданія съ этимъ глупцомъ, и только одна нерѣшитель-

ность спасаеть ее оть слёдствій этихъ свиданій. При послёднемъ ее чуть, было, не поймаль мужъ; но всезнающій и вездіз послёвающій Родольфъ спась ее. Въ эту-то женщину влюбленъ Родольфъ. Онъ предлагаль ей для разсізній дізлать добро, и она начинаеть играть въ добро. Все это приторно до послідней стенени.

Но до сики поръ Родольфъ только эффектеръ и фразеръ; мы увидимъ, что онъ просто глупъ. Онъ вънчается съ умирающей Сарой, чтобъ имёть право объявить Пёвунью своей заксиной дочерью. А для чего это? И что за принцесса, что за владътельная княжна, окруженная штатсь-дамами и фрейлинами,—Пѣвунья, воспитанница Сычихи, дѣвушка шестнадцати льть, всю жизнь проведшая съ ворами и мошенниками, растлънная и оскверненная всей грязью порока, хотя и невольнаго и безсознательнаго, но тъмъ не менъе порока? Къ лицу ли ей, возможна ли для нея роль владътельной княжны? Не лучше ли, не естественные ли было бы, если бъ Родольфъ оставиль ее на рукахъ г-жи Жоржъ, или ужъ если ее убивало присутствіе людей, знавшихъ о прежней ся жизни, найти ей уголокъ въ Германіи и видъться съ ней инкогнито, какъ съ своей дочерью?

Теперь, что за лицо эта Иввунья? Сначала, въ трактиръ съ Родольфомъ и Рьзакой, она довольно естественна и даже интересна; но когда она вдругъ освобождается отъ грязи, въ которой болье десяти льтъ топтали ее погами убійцы, воры и мощенники, и вдругь ни съ того, ни съ сего дълается «дівой пдеальной» и «неземной», она перестаетъ быть естественной и дълается пошлой, скучной. Мы не споримъ противъ того, что сердце ея было чисто по своей натурь; что она способна была къ раскаянію и страдачно при мысли о прежней жизни; но все эко должне было проявиться въ ней естественно, безъ идеальничанья; на ея жизни навсегда должны были остаться слёды грязи, которой не смыли бы воды цёлаго океана. А ей, видите ли, довольно было рукомойничка водицы, чтобъ сдълаться чище голубки, невинеће младенца. Какая пошлая натяжка! И потому нельные, пошлье, приторные, натянутъе и скучнъе эпилога къ роману, гдъ дъйствіе перенесено въ Герольштейнъ, ничего нельзя вообразить. Въ сравненін съ этимъ эпилогомъ, даже «Семейство», чувствительный романъ Фридерики Бремеръ, кажется чѣмъ-то сноспымъ!

Между тімь на этихь двухь неестественныхь и невозможныхь во всіхъ отношеніяхь дицахь основано все зданіе романа. Почему вмісто нихь автерь не придумаль лиць интересныхь, но возможныхь, пронешествій занимательныхь, но простыхь? Потому, что

для этого нужень быль таланть, и при томъ большой таланть, ибо истинно-изящное просто и естественно. А у добраго Эжена Сю дарованія можеть хватить на какую-нибудь пов'єсть въ роді «Полковника Сюрвиль»—не больше; взявшись за что-нибудь большее, онъ по необходимости долженъ стагь на хо-

дули и впасть въ мелодраму.

Мы не видимъ достаточной причины, почему бы Пѣвунья непремѣнно должна была оказаться дочерью иѣмецкаго князя. По крайней мѣрѣ изъ этого ничего не вышло, кромѣ сентиментальнаго вздора и пошлыхъ эффектовъ. Явно, что авторъ въ этой завязкѣ разсчитывалъ на чувствительныхъ читателей, которые любятъ въ романахъ необыкновенныя столкновенія, особенно родственныя, годныя только для наполненія пустоты романа, чуждаго всякой концепшій всякаго творчества.

Г-жа Жермень и сентиментальный, безличный и безобразный сынъ ея—лица, совершенно лишнія въ романь. Между тыть изъжеланія Родольфа отыскать Жермена вытекають въ романь всь до пошлости чудесныя

похожденія его.

Мастакъ, Сычиха, Полидори, Сесили лица неестественныя и невыдержанныя. Что они такое по мысли автора? Чудовища ли природы, или жертвы воспитанія и другихъ неотразимыхъ причинъ? Но въ первомъ случат не следовало бы автору быть столь щедрымъ на такія рідкія произведенія натуры; а во второмъ-показать намъ причины ихъ искаженія и найти въ ихъ душахъ хотя какіе-нибудь следы человечности, какъ онъ показаль ихъ въ Резаке. Что эти липа мелодраматическія, сшиты на живую чиску, довольно привести для доказательства одну черту. Полидори, котораго Родольфъ принуждаетъ быть палачемъ Феррана, говорить ему: «Киязь наказываеть преступленіе преступленіемъ, сообщинка - сообщинкомъ... Я не долженъ покидать тебя, по его приказанію; я возл'є тебя, какъ т'єнь... Я заслужиль эшафотъ, какъ ты...» и проч. Подумаете, это говорить обратившійся на путь заблудшій человькь? -- ничуть не бывало: это говорить нераскаянный извергь, отравитель, убійца, воръ, все, что угодно... И это поэзія, творчество! Нѣтъ, это просто-шехеразада! Лучше всёхъ этихъ изверговъ очерченъ Жакъ Ферранъ. Самая мысль--изобразить гнуснаго злодья, пользующагося въ обществъ репутаціей нравственнаго человіка, достойна вниманія; но авторъ не выдержаль ея, перехитрилъ, принесъ ее въ жертву великому господину Родольфу-и вышла мелодрама! Везумная любовь Феррана къ Сесили кажется ужасной натяжкой и не возбуждаеть въ читатель ин довърія, не интереса. Полидори, умирающій отъ ядовитаго кинжала Сесили, и Родольфъ, случаемъ спасающійся отъ той же смерги, — эффектъ. Лучше в вхъ другихъ влодвевъ изображены — вдова Марсіаль (не вездь, впрочемъ, выдержанная), дочь ея Тыква (очень хорошо очерченная) и Скелетъ. Графиня Макъ - Грегоръ обрисована довольно удачно, хотя и переутрирована; но брагецъ ея Томъ очень похожъ на болвана, съ которымъ играютъ въ вистъ, когда недостаетъ четвертаго. Онъ потому только вертится въ романъ, что безъ него Сарѣ нельзя таскаться по кабакамъ и харчевиямъ...

Что же, спросять нась, неужели въ «Парижскихъ Тайпахъ» нътъ ничего хорошаго, и есть только одно дурное? Нътъ, въ цъломъ эготъ романъ-верхъ нелъности, но частности въ немъ недурны. Таковы характеры-Рызака (впрочемъ, невыдержанный), Марсіаля и особенно Волчихи, Пикъ-Венегра, Риголетты, доктора Грифона, г. и г-жи Пипле. Не дурны нъкоторые эпизоды, какъ-то: разсказъ въ тюрьмъ Пикъ-Венегра, страданія баронессы Фермонъ и ея дочери, картина страданія семейства Морель, исторія Луизы, сцены на островъ Грабителя. Но все это не болье какъ не дурно, и во всемъ этомъ виденъ не даровитый живописецъ-творецъ, а ловкій ученикъ академін, набившій руку, присмотръвшійся къ картинамъ мастеровъ и кое-какъ умѣющій съ плеча чертить фигуры, иныя такъ себъ-не дурныя, а иныя очень плохія, и никогда не ум'єющій написать ничего полнаго и стройнаго. Многое, что въ русскомъ писателѣ показалось бы талантомъ, во французскомъ-не болье, какъ образованность, навыкь, привычка. Языкъ французскій до того выработань, что рідкій французъ не умѣетъ прекрасно владъть имъ; стихін общественной жизни до того разнообразны и опредъленны, что есть, откуда брать готовые матеріалы для сочиненій умьй лишь копировать хорошо; литература французская до того богата, что всякому дегко блистать чужимъ умомъ и чужниъ талантомъ при небольшомъ количествъ своихъ собственныхъ.

Но въ цѣломъ, повторяемъ, романъ Эжена Сю—верхъ нелѣпости. Большан частъ характеровъ, и при томъ самыхъ главныхъ, —безобразно нелѣпа, событія завязываются насильно, а развизываются посредствомъ deus ех machina. Мы уже говорили о томъ и другомъ; прибавимъ еще нѣсколько чертъ касательно послѣдняго. Многочисленныя дѣйствующія лица поставлены въ насильственныя отношенія другъ къ другу. Такъ, напримѣръ, Полидори развращаетъ Родольфа въ его юности, помогаетъ Сарѣ Макъ-Грегоръ, — и онъ же помогаетъ потомъ г-жѣ Роланъ отравить графиню Дорбиньи, мать маркизы Дорвиль; сверхъ того онъ—сообщникъ Жака Фервиль; сверхъ того онъ—сообщникъ Жака Фервиль обържань отравань отра

рана во вскув его влодействахъ и участвоваль въ погибели семейства Фермонъ: видите ли, какой гордіевъ узелъ разныхъ хитросплетеній! Но всезнающій, везді успівающій великій Родольфъ не хуже Александра М:кедонскаго справляется съ этимъ узломъ. Случайная покупка комода на толкучемъ рынки и попавшееся въ немъ письмо наводять Родольфа на следы баронессы Фермонъ; а квартира въ домѣ «Красной Руки» даеть ему возможность напасть на следы Полидори, котораго онъ узнаеть въ ложномъ Брадаманти, и во-время послать Мурфа въ Нормандію для спасенія глупаго графа Дорбиньи отъ яда. Въ самомъ дълъ, опоздай маркиза Дорвиль съ Мурфомъ хоть минутой-графъ Дорбины быль бы отравлень. Такимъ же точно образомъ Родольфъ успълъ заблаговременно узнать о влодейскихъ умыслахъ Скелета и другихъ преступниковъ на жизнь Жермена; кстати воротился туть Рызака, о которомъ Родольфъ думаль, что онь уже въ Африкъ, и очень успъшно и еще болье эффектно защитиль Жермена. Смерть самого Разаки воспосладовала также очень эффектно: во первыхъ, онъ умеръ за своего благодътеля, и во-вторыхъ, умеръ отъ ножа, которымъ самъ убиваль другихъ. Отчего же Мастакъ не погибъ оть ножа и даже нашель себъ върное пристанище въ дом' умалишенныхъ? За раскаяніе?—Но въдь Ръзака тоже раскаялся и еще искрениве, не говоря уже о томъ, что онъ никогда не былъ такимъ извергомъ, какъ Мастакъ? Отчего же Сычиха погибла отъ рукъ, а не отъ кинжала, которымъ она въ эготъ же день смертельно ранила графиню Сару Макъ-Грегоръ? А знаете ли, зачемъ она ее ранила? — Затъмъ, чтобы дать Родольфу возможность жениться на маркизъ Дорвиль. За темъ же застрелился и маркизъ Дорвиль... Какъ все это пошло!

Нѣкоторые смотрять на «Парижскія Тайны», какъ на дидактическій романъ, и доказывають ими возможность и законность дидактическаго рода поэзін. «Парпжскія Тайны» дъйствительно-романъ дидактический, но онъ-то именно и доказываетъ невозможность и незаконность дидактическаго рода поэзін. Однако жъ, скажуть намъ, - этотъ романъ достигъ своей цёли. Правда, онъ заставиль общество потолковать нѣсколько времени о народъ-до новой новости; можетъ быть даже, что вследствие его французские законодатели поторонятся подумать о какихънибудь способахъ къ улучшенію участи несчастныхъ бъдняковъ, - и въ такомъ случав романъ полезенъ; но темъ не мене онъ всетаки не романъ, а сказка, и при томъ довольно нельная. Если бъ кто-нибудь, узнавь о тайномъ убійствъ, написалъ повъсть, которая навела бы полицію на слѣды преступленія, посту-

покъ быль бы прекрасенъ, а повъсть была бы плоха, и вев помнили бы случай, а повъсть тотчась же забыли бы. Такал же участь ожидаетъ и «Парижскія Тайны». Теперь пишутся уже «Лондонскія Тайны»,-и кто знаеть, можеть быть, годъ-другой всё литературы и всь театры завалятся тайнами и нетайнами разныхъ городовъ, благодаря торговому стремленію разныхъ мелкотравчатыхъ писакъ! Но въ такомъ случав нелвность пожреть сама себя и погибнеть отъ своего собственнаго излишества, а о «Парижскихъ Тайнахъ» черезъ годъ ничего не будетъ слышно, словно кануть онв въ воду. Такова судьба всвхъ дидактическихъ произведений! Жоржъ Зандъ не сделала романа изъ исторіи Фаншетты: она описала въ своемъ журналѣ дѣло, какъ оно было, но результаты этой небольшой статейки будуть посущественные результатовъ всевозможныхъ «Парижскихъ Тайнъ»...

Нельзя не удивляться бездарности Эжена Сю, когда читаешь его «Парижскія Тайны»: въ нихъ такъ и виденъ выписавнійся сочинитель, какіе есть и у нась на святой Руси. Мы сказали, что завязка и ходъ его романаверхъ нельности: и что же? - мысль этой завязки и вообще весь характеръ его романа не ему принадлежать. «Парижскія Тайны» неловкое и неудачное подражание романамъ Диккенса. Этотъ даровитый англійскій писатель довольно извъстенъ у насъ, въ Россіц; всв читали его «Николая Никльби», «Оливера Твиста», «Бэрнеби Роджа» и «Лавку Древностей»: стало быть, всякій можеть самь повърить справедливость нашего замъчанія. Большая часть романовъ Диккенса основана на семейной тайнь: брошенное на произволь судьбы дитя богатой и знатной фамиліи преслёдуется родственниками, желающими незаконно воспользоваться его наслёдствомъ. Завязка старая и избитая въ англійскихъ романахъ, но въ Англіи, землъ аристократизма и мајоратства, такая завязка имветъ свое значеніе, пбо вытекаеть изъ самаго устройства англійскаго общества, слідовательно, имфеть своей почвой дійствительность. При томъ же Диккенсъ умфетъ пользоваться этой истасканной завязкой, какъ чедовакъ съ огромнымъ поэтическимъ талантомъ. Во Франціи теперь подобная завязка не пиветь никакого смысла, и потому бъдный Эженъ Сю принужденъ быльвъблагородные отцы ангажировать ифмецкаго владътельнаго князька. Мы уже видъли, какъ умно и правдоподобно умѣлъ онъ развить эту пошлую завязку. Злоден, воры и мошенники, равно какъ и сцены нищеты въ романъ Эжена Сю-тоже плохія копін съ мастерскихъ, дышащихъ страшной истиной дійствительности и художественной жизнью картина Диккенса. Но особенно злодън Эжена Съ

смъщны и жалки въ сравненіи съ слодъями Ликкенса.

Отчего же ни одинъ изъ романовъ сильнодаровитаго Диккенса не имълъ и сотой доли того успёха, какимъ вогнользовался романъ почти бездарнаго Эжена Сю? На это есть двъ причины, изъ которыхъ одил дулаеть честь Диккенсу, а другая—Эжену Сю. Во-первыхъ, толна любить больше такія произвеленія, которыя ей по-плечу, и хотя Диккенсъ не принадлежить къ числу великихъ поэтовъ, однако его талантъ все-таки выше разумбнія и вкуса толпы. Во-вторыхъ, Диккенсъ – англичанинъ, а Эженъ Сю-французъ. Какъ истинный англичаницъ, Диккенсъ исполненъ сухого фарисейскаго морализма націн, привыкшей подчинять справедливость политикъ, а правственность-общественнымъ выгодамъ. Какъ истинный художникъ, Диккенсъ върно изображаегъ злодъевъ и изверговъ жертвами дурного общественнаго устройства; но какъ истинный англичанинъ, онъ никогда въ этомъ не сознается даже самому себъ.

Какъ французъ, Эженъ Сю не чуждъ симпаніи къ падшимъ и слабымъ. Гуманность и человъколюбіе---одна изъ самыхъ ръзкихъ чертъ національнаго характера французовъ. Это отразилось събольшей или меньшей силой и истиной въ «Парижскихъ Тайнахъ». Если Сю нарисоваль ийсколько отвратительныхъ и неправдоподобныхъ чудищъ, каковы Мастакъ, Сычиха и Полидори, -- это для мелодраматического усибха, столь несомивннаго въ расчетахъ на толпу; но въ другихъ злодьную авторъ старался показать неизбъкныхъ жертвъ недостатковь французскаго общественнаго устройства. Дъти, брошенныя на мостовую, попавшіяся во власть грубыхъ н жестокихъ промышленниковъ, не могутъ не говорить безь восторга о славномъ жить в ихъ въ тюрьмѣ!... Чего же хотите вы отъ нихъ? И какое имъете вы право считать себя лучше пхъ и строго судить пхъ? Развъ вы увърены, что при подобномъ образѣ жизни въ лѣта дътства вы остались бы людьми честными и нравственными? Преступника казнили за убійство-п его семейству, не участвовавшему въ преступленін, нътъ прохода на улиць оть оскорбительныхъ восклицаній в упрековъ; ему нътъ работы, нътъ средствъ къ существованію: ему остается или умереть голодной смертью, или приняться за воровство, а потомъ-за убійство... Воть вопросы, которые расшевелиль Эженъ Сю въ своихъ «Парижскихъ Тайнахъ», и этимъ-то вопросамъ обяванъ его романъ своимъ необыкновенными успъхомъ.

Но все-таки туть не меньшую роль пграеть к та причина, о которой мы говорили выше. Назначение гения—проводить новую, овыжую струю въ потокъ жизни человъчества и народовъ. Но брошенная геніемъ идея принкмалась бы слишкомъ медленно, если бъ не подхватывали ее на-лету таланты и дарованія, роль и назначеніе которыхъ—быть посредниками между геніями и толпой. Даже искажая и дѣлая пошлой мысль генія, они тѣмъ самымъ приближають ее къ понятію толпы. Напиши Эженъ Сю свой романъ безъ мелодраматическихъ прикрасъ, просто, естественно, съ строгой вѣрностью дѣйствительности,—его опѣнили бы только тѣ, для которыхъ заключенная въ немъ идея отнюдь не новость, и его не прочли бы именно гк, для когорыхъ эта идея совершенно новость. Гля-умъется, Эженъ Сю не могъ бы дучше написать, если бъ и хогълъ, но потому-го в успъль онъ, что талантъ его по-илечу десяткамъ и сотиямъ тысячъ читателей, и котому эти десятки и сотии тысячъ члятелей теперь думаютъ о томъ, о чемъ прегле не думали, и знаютъ то, чего прежде не знали.

## Сочиненія князя В. О. Одоевскаго.

Спб. 1844. Три части.

Князь Одоевскій принадлежить къ числу наиболье уважаемыхъ изъ современныхъ русскихъ писателей, - и между тъмъ ничего не можетъ быть неопредъленнъе извъстности, которой онъ пользуется. Скажемъ болье: имя его гораздо извъстиве, нежели его сочинения. Это насколько странное явление имаеть два причины: одну чисто-вившинюю, случайную, другую-внутреннюю и необходимую. Князь Одоевскій выступпль на литературное поприще въ 1824 году, въ эпоху совершеннаго переворота въ русской литературь, когда новыя понятія вооружились противъ старыхъ, новыя славы и знаменитости начали противопоставляться авторитетамъ, которые до того времени считались непогращительными образцами и далье которыхъ итти въ мысли или въ формъ строжайше запрещалось литературнымъ кодексомъ, получившимъ имя классическаго и по давности времени пользовавшагося значеніемъ корана. Эта борьба стараго и поваго извѣстна подъ именемъ борьбы романтизма съ классицизмомъ. Если сказать по правдъ, тутъ не было ни классицизма, ни романтизма, а была только борьба умственнаго движенія съ умственнымъ застоемъ; но борьба, какая бы она ни была, ръдко носитъ имя того дела, за которое она возникла, и это имя, равно какъ и значение этого дела почти всегда узнаются уже тогда, какъ борьба кончится. Всь думали, что споръ быль за то, тоторые писатели должны быть образцамидревніе ли греческіе и латинскіе, и ихъ рабскіе подражатели — французскіе классики XVII и XVIII стольній, или новые-Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Шиллеръ и Гёте; а между тъмъ въ сущности-то спорили о томъ, имъетъ ли право на титло поэта, и еще при томъ великаго, такой поэть, какъ

Пушкинь, который не употребляеть тупти ческихъ вольностей», - вмъсто шертвило. тяжелаго, скринучаго и прозапческаге зама употребляеть стихъ гладкій, легкій, казмоническій, -- вивсто одъ пишеть элегіл такого надутаго и натянутаго слога держится слога естественнаго и благородно-простоборы жормами называеть маленькія повісти, гді действують люди, вмёсто того, чтобт разумьть подъ ними холодныя описавля на одинъ н тоть же ходульный тонъ знаменитыхъ событій, гдь дьйствують герон сь ил наперсниками и въстниками; -- смовомъ, жертъ, который тайны души и сердца ч лежька дерзнулъ предпочесть плошечнымъ влиюминаціямъ. Вследствіе движенія, данкаго креимущественно явленіемъ Путікина, молодые люди, выходившіе тогда на литературное поприще, усердно гонялись за новисной, очитали ее за романтизмъ. Стихи ихъ были глацев н легки, фраза блистала новыми осоротими, мысли и чувства отличались какой-то севжестью, потому что не были повторением в перебивкой уже всёмъ знакомыхъ м мерезнакомыхъ мыслей и чувствъ. Въ презе видно было то же самое стремление-найтв новые источники мыслей и новыя фермы для нихъ. Разумфется, источникомъ всего этого «новаго» служили для нихъ иностранныя литературы; но для большинства жылоб читающей публики того времени все это дъйствительно было слишкомъ ново, а нотокж и казалось ярко-оригинальнымъ и смъло-са мобытнымъ. И вотъ почему въ ть блаженски времена слава доставалась такъ легко. такъ дешево, а извъстность была просто ни-почекть. Разумъется, подобная новизна не могла 🗱 состаръться скоро, и вслъдствіе этого мнагіе люди, о которыхъ думали, что они подавали

блестящія надежды, оказались совершенно безнадежными; другіе, которые пользовались больной извъстностью, вдругь пришли въ забвение. Но какъ движение, произведенное такъ называемымъ «романтизмомъ», развязало руки и ноги нашей литературь, то оно все продолжалось и продолжалось: новое сеголня становилось завтра если еще не старымъ, то уже и не повымъ; на мъсто одной забытой знаменитости являлось нъсколько новыхъ; въ литературу безпрестанно входили новые элементы, содержание ея расширялось, формы разнообразились, характеръ становился самобытнъе. И теперь уже немногіе помнять эти споры и эту борьбу; писателей делять по эпохамь, въ которыя они действовали, и по таланту, который они выказывали; но уже нътъ болъе ни классиковъ, ни романтиковъ; ни содержаніе, ни форма уже не приводять въ изумление своей оригинальностью, но чёмъ онё оригинальнее, тёмъ больше возбуждають вниманіе. Лучшія стихотворенія Майкова, одного изъ особенно замічательныхъ поэтовъ нашего времени, принадлежать къ антологическому роду,и потому онъ гораздо больше, нежели всв наши поэты старой школы, имъетъ право называться классическимъ поэтомъ; и однако жъ его такъ же никто не называеть классикомъ, какъ и романтикомъ. Въ поэзін Пушкина есть элементы и романтические, и классические, и элементы восточной поэзін, п въ то же время въ ней такъ много принадлежащаго собственно нашей эпохв. нашему времени; какъ же теперь называть его романтикомъ? Онъ просто поэтъ, и при томъ поэть великій! Теперь каждый таланть, н великій, и малый, хочеть быть не классикомъ, не романтикомъ, а поэтомъ, следовательно, хочеть равно брать дань со всего человъческаго - и благо ему, если онъ, не чуждансь ни древняго, ни стараго, ни новаго, во всемъ этомъ умветъ быть современнымъ!.. Эту многосторонность, эту свободу наша литература пріобрела все-таки черезъ борьбу мнимаго романтизма съ мнимымъ классицизмомъ!

Между множествомъ эфемерныхъ явленій, вызванныхъ тогда новизной и обязанныхъ ей своей минутной извъстностью, были яркіе таланты, которые считали за необходимость не останавливаться на первомъ успъхъ, но итти за временемъ. Конечно, не всъ изъ нихъ шли до конца, но иные остановились на полудорогъ, и едва ли хоти одинъ дошелъ до конца пути своего, то есть сдълалъ все, чего могли отъ него ожидать, и что въ силахъ былъ бы онъ выполнить... Вообще доходить до конца какъ-то не въ судьбъ русскихъ писателей, особенно съ нъвстораго времени. И если Державинъ, Дми

тріевъ и Крыловъ дожили до сѣдинъ, обременеппыть даврами, зато сколько путей, различнымъ образомъ прерванныхъ! Ломоносовь умеръ пятидесяти лътъ съ полнымъ сознаніемъ, что онъ могъ бы еще много сделать и что онъ гораздо меньше сделаль, нежели сколько надвялся. Великій человівкь винилъ себя и въ своей преждевременной смерти, и въ томъ, что онъ, по его сознанію, сдёлалъ такъ мало; но его жизнь и деятельность зависели не отъ него, а отъ той дійствительности, въ которой такъ одиноко быль онъ вызванъ судьбой дъйствовать. Фонвизинъ написалъ свое последнее и лучшее произведение на тридцать-седьмомъ году отъ рожденія, и посав того провель цълыя десять льть разбитый параличомь и въ состояніи совершенной недіятельности. Карамзинъ сошелъ въ могилу хотя уже и въ летахъ, но еще въ поре силъ своихъ и далеко не кончивъ своего великаго труда. Озеровъ написалъ всего пять трагедій и умеръ на сорокъ-шестомъ году вслёдствіе долговременной бользии, съ которой было сопряжено разстройство умственныхъ силъ. Батюшковъ погибъ для литературы и общества во цвъть лъть и силь своихъ, подавь такія блестящія, такія богатыя надежды... Нужно ли говорить о томъ, какъ прервадась поэтическая діятельность трехъ великихъ славъ нашей литературы — Грибовдова, Пушкина и Лермонтова?.. А сколько менье огромныхъ и столь же безвременныхъ потеры! Веневитиновъ умеръ почти при самомъ началѣ своего столь много объщавшашаго литературнаго поприща. Полежаевъ паль жертвой избытка собственных силь, дурно уравновъшанныхъ природой и еще хуже направленныхъ воспитаніемъ и жизнью... Всь эти утраты какъ-то невольно приходять въ голову теперь, по случаю внезапной въсти о смерти Баратынскаго, -- поэта съ такимъ замвчательнымъ талантомъ, одного изъ товарищей и сподвижниковъ Пушкана. И сколько въ последнее десятилетие было подобныхъ утрать!.. только и слышишь, что о паденін прежнихъ бойцовъ, сраженныхъ то смертью, то - что еще хужежизнью... Ужасно умереть прежде времени, но еще ужасные пережить свою діятельность, и только изредка новыми, но уже слабыми произведеніями напоминать о прекрасной порь своей прежней двятельности. Эта нравственная смерть производить въ нашей литературь еще больше опустопеній, чъмъ физическая. Причина ея столь же понятна, сколько и горестна, и лучше скорбъть о ней, нежели высокоумно разсуждать о томъ, какимъ бы образомъ могь он избъгнуть тотъ или другой авгоръ, или гордо осуждать его за то, что онъ не могъ ея

мэбъгнуть. Увы! выходя на поприще жизни, мы всі: сміло и гордо смотримь въ ен неизвъданную даль, и для насъ паденіе есть преступленіе; но, перешедши сами дучшую часть своей жизни, мы, при видів всякаго падшаго бойца, съ грустью обращаемся на самихъ себя... Кто наль, почему не сказать о немь, что уже въть его? Но діло критики говорить не о томъ только, что могъ бы сділать авторъ и чего онь не сділаль, но и о томь, что сділаль онъ и чімь благодатна была для общества жизнь его...

Итакъ, князь Одоевскій вышель на литературное поприще въ 1824 году. Онъ былъ изъ числа техъ счастливо-одаренныхъ натуръ, которыя начинають дъйствовать сознательно въ духъ своего истиннаго призванія и въ кругь своихъ собственныхъ силъ. Мы помнимъ первую повъсть его «Элладій, картину изъ свётской жизни», напечатанную въ одномъ изъ тоглашнихъ журнатовъ-альманаховъ («Мнемозпив»). Эта повъсть теперь всякому показалась бы слабой, дътской и по содержанію, и по формь; но тогда она обратила на себя общее вицманіе и пріятно всёхъ удивила. Пов'єсть дъйствительно слаба; но усиъхъ ея былъ тымь не менье вполны заслуженный. Это была первая повёсть изъ русской дёйствительности, первая попытка изобразить общество не идеальное и нигдъ не существующее, но такое, какимъ авторъ видълъ его въ действительности. Со стороны искусства и вообще манеры разсказывать она была произведеніемъ оригинальнымъ и дотоль невиданнымъ; было что-то свъжее въ мысли, во взглядъ автора на предметы н въ чувствахъ, которыя старался онъ ею возбудить въ обществь. Къ тому же времени, въ которое былъ напечатанъ «Элладій» князи Одоевскаго, относятся его «аподоги» — родъ поэтическихъ аллегорій, въ которыхъ ясно и опредалительно высказалось направление таланта ихъ автора. Такъ какъ теперь уже немногіе помнять ихъ, а многіе и совеймъ не знають, и такъ какъ, неемот я на это, мы приписываемъ имъ значительную литературно-историческую важность и видимъ прямое указаніе на призваніе князя Одоевскаго, какъ писателя, то и считаемъ за нужное познакомить съ ними чашихъ читателей. Для этого приводимъ дась апологь:

Старики, или Островъ Панхан.

Какъ памятно мив время перехода изъ юно сти въ возрастъ зрълый, время сего перехода, когда человъкъ внезапно, пораженный опытностью,—ръшается оставить ту простосердечную довърчивость, которая составляетъ блаженство младенца, ръшается и — еще жалъетъ с ней, любить ее!

Прежде еще сего перехода я помню - одна мечть,

какъ игрушка, занимала меня, съ величайшимъ спроговъніемъ взираль я на старость. Вожественнымъ казался мийсей возрасть, въ которомъ, минлъ я, укрощаются буйныя п постыдныя етрасти, умолкаютъ мелкія, суетныя желанія,ничтожными становятся препопы, залерживающія человъка ва пути къвысокой мечть его-совершенствованію! На покрытомъ морщинами челъ старца я читалъ сладкое чувствованіе усталаго путника близкаго къ желанной цъли и уж го товаго въпрахъ сбросить изапыленную одежду, и ношу, къ которой, несмотря на тягость, привыкли плечи его; каждый старецъказался миб счастливцемъ, покорившимъ силу бренія-силой духа; и до того даже доходила моя слвпота въ семъ случав, что тотъ пріобреталь право на мое нелицемърное почтеніе, кто былъ меня хотя пъсколькими годами старъе Еслибътогда старшій мивсказаль: я-мудрюйшій изг смертныхг, я бы н не повърилъ ему-но не смълъ бы противоръчить: онъ опытните меня, сказалъ бы я самому себъ!

Теперь же—вы знаете меня, другья!—суетная наружность не ослёпляеть глазъ монхъ! Грозный взоръ вельможи, потрясающій всю нерв-ную систему твари, имъ созданной, производить во мив лишь улыбку, столь неръдко бывающую на устахи монхъ: я привыкъ, дерзостной рукой срывая личину съ спрсивой знатности, - находить отсутстве всехъ достониствъ, а подъ мишурой пышныхъ словъ-вядое слабоуміе. Но чувство благоговъція къ старости до сихъ поръ еще сохранилось въ душъ моей, только съ той разницей, что прежде всякій старецъ казался мив существомъ совершеннымъ, теперь же и въ старцахъ я умью открывать недостатки. Но таковыя открытія всегда были тягостны моему сердцу: они, разочаровывая меня возмущали душу мою; въ семъ только случав я не могь смъяться Нъсколько же дней тому назадъ произошла со мною большая перемъна и въ семъ отношени, и вотъ какимъ образ мъ.

Прижавшись въ углу въ моемь кабинеть, съ Діодоромъ Сицилійскимъ въ одной рукт и съ греческимъ словаремъ въ другой, я путешествовалъ по Аравіи, по цвътущему острову Панхан, наслаждался видомъ колесиицы Урано-

вой и стоящаго на оной храма.

Воды, омывавшія сей храмъ, названныя всдами солнца, имъли, какъ говорятъ, даръ чуд ный: испившій отъ нихъ молоділь постепенно и, дошедши до возраста юноши, содълывался безсмертнымъ; но горе тому, который хотълъ въ одно мгновеніе сдълаться юнымъ! Желаніе его исполнялось, по безразсудный продолжаль молодъть безпрестанно и умиралъ, пришедши въ состояніе однодневнаго младенца.- На свъчв моей нагорбло, глаза утрудились отъ долгаго чтенія, голова отяжельна отъ греческихъ аористовъ, сумракъ, усталость, басн с товнов сказаніе, мною читанное, - все это вм'яст'я погрузило меня въ то сладостное состояніе, которое извъстно всякому, знакомому съ умственными папряженіями, — въ то состояніе, когда мы еще не можемъ отдать себъ отчета въ новыхъ впечатленіяхъ, нами полученныхъ, когда родившіяся оть нихъ бъгчыя, разнородныя мысли роятся въ голова нашей и машаются съ чуждыми, часто безобразными призраками

Вътакомъ состояніи быль я: не знаю, сналъли или нётъ,—но слушайте друзья мон, что нарисовало предо мною причудливое воображеніс:

Взору моему представился храмъ Гемноеи, остнонный пальмовыми деревьями.—мять слышалось журтавіе воду солнца, тихій зефиръ втяно втющій надъ ними волами, касался лица моего. Берега сихъ всдъ были покрыты толпами

людей обоего пола, вслув народоль и состояній, но ин одного старца не было видно въ сихъ толнахъ: вездъ были дівти.

Приближаюсь, всматриваюсь;-и какое удивленіе меня поразило, когда я увидълъ, что всв тв, когорые мив казались издали млаленцами,-были ими только по телесной исмощи и по своимъ запятіямъ; лицо измъияло имъ: почти у всехъ оно было нарыто морщинами; виалые, сузившіеся глаза, беззубый ротъ, трясущімся коліна и другія припадлежности глубокой старости спорыли съ младенческимъ растомъ и ребяческимъ выраженіемъ. Нельзя описать, какое сильное отвращеніе производияъ видъ сихъ старцевъ-младенцевъ! Я содрогнулся, хотълъ бъжать, но невидимая рука остановила меня и невидимый голосъ говорилъ мит: "Наблюдай. Здёсь видишь ты свёть и людей, жипущихъ въ немъ, въ истинномъ ихъ видъ. Тотъ свъть, въ которомъ ты обитаешь, ссть мечтательный, всв двиствія, здесь происходящія, кажутся тамъ совствы иными.

Я послушалъ и, скръпя сердце, продолжалъ продпраться сквовь толну младенцевъ. О! сколько тугь знакомыхъ монхъ я увидълъ, и какъ странны были ихъ занятія. Многіе изъ младенцевъ подходили другъ къ другу; одинъ изъ инхъ съ величайней важностью вынималъ мищурный мячикъ и кидалъ къ своему товарищу, товарищъ съ такой же важностью отвъчаль сму тъмъ же мячикомъ; перекивувни еще изъсколько разъ такимъ образомъ, младенцы, не терия своей важности, расходилися!

"Что это за игра такас?" спроснать я.—"Сна намывается, отвечаль мие невидимый голось, свымскими разговорами. Эта игра весьма скучна, какъ ты видишь, по любимая игра у младенцевъ. Есть многіе изъ нихъ, которые до самой смерти безпрестанно занимаются ею и инчемъ болье."

Къ дереву, возяв котораго я стоялъ, была прислонена топенькая жердочка; многіе изъ младенцевъ старалися взобраться по ней на дерево; чего ни дълали они для достиженія своей цёли! и низко сгибали спину, и ползли, и то хваталися за младенцевъ, окружавшихъ дерево, то отталкивали ихъ; странно было то только, что, когда кто подинмался нъсколько выше другого по жердочив, то младенцы старались того назадъ отдергивать и между тъмъ ; рукоплескали и кланялися ему, упавшаго же гнали и били немилосердно. Я замътилъ, что продметь, привлежавшій болье всего младенцевь къ этому дереву, были прекрасные плоды, на немъ висъвшіе. Младенцы съ низу но замвчали, что эти илоды были прекрасны тольжо издали, но въ самомъ дълъ были гиплы. . П это-нгра, сказаль мив голось; она называется почестями безъ заслуги.

Весьма жалко меб было смотръть на некоторыхъ юношей, которыхъ старики-младенцы приводили къ дереву и, показывая имъ плоды, па немъ роспіє, съ важностью говорили, что эти плоды чрезвычайно вкусны и должны быть целью жизни человъческой,—что единственное средство для достиженія оной есть декусное перекидываніе мишурнаго мячика. Тщетю злополучные юноши обращали вворы къ чему-то высшему, непонятному для старикъ сосъ-младенцев; упрямые старики, не даван имъ отдыха, заставляли перекидывать мячикъ.

"Не жалви! сказанъ мнв голосъ: это также игра, навываемая свътскимъ воспитанцемъ. Старики-младенцы, правда, соблавнятъ мно-

Соч. Бълинскаго. Т. ИП.

гихъ вношей, но не отгановить истинно преза раношихъ эту пичтожную игру. Посмотри сида, и ты увидишь подтверждене словъ монхъ."

Я обратился и увидьль... О! какъ мет выразить словами то, что увидьль я?—Небесным огнемы пламентым исто очи, ихъ не тумавило инчтожное земное; душевная дъятельность пылала во встьх чертахъ, во встях движентяхъ; они презирали шумный, сустный крикъ младелцевъ,—ихъ взоры быстро стремились къ 6036 - шеннолу

"Ито сін невідомые?" воскликвуль я оть на бытка сердца.

Это безсмертные!"—отвъчалъ голосъ. "Старики-младенцы не замъчають, что симъ безсмертнымъ юношамъ они обязаны почти существованиемъ, что сии юпоши, стремясь къ возвышенной цъли своей, мимоходомъ, съ отеческой нъжностью разливають на нихъ дарк свои; неблагодарные не понимають ни дъйствія, ин цъли безсмертныхъ; одни смъются надъними, другіе презирають, иные не обращають вниманія. большая часть даже не знаетъ о существованіи сихъ юношей. Но вращають въть быстрые круговороты времени поглощають въбезлив забвенія вичтожную толиу старимостимайсниемъ, и живуть безсмертные—живуть в нъть предъла ихъ возвышенной жизни."

Кружовъ стариковъ-младенцевъ привлекъ мсе вниманіе. Всь, составлявніе оный, сидъли на-морщивъ брови и съ важностью тщательне складывали неечинку къ песчинит; имъ хотъ-лось такимъ образомъ соорудить зданіе, по-лось такимъ образомъ соорудить зданіе, по-лось такимъ образомъ соорудить зданіе, по-лось такимъ окраму Гемнеен. "У васъ нѣтъ основалія, —сказалъ, улыбаясь, одинъ нать безсмертныхъ юношей: — у васъ нѣтъ даже ссязи, которая бы могла соединить ваши песчинки."

Младенцы преврительно посмотръли на вношу—и сивсиво уназали ему на десять кос-какъ сложенныхъ песчинокъ, какъ бы говоря: вот: гдв истинная мудрость!

"Тщетно! — сказалъ мев голосъ: — ото ото! игры ихъ не отучниь; она называется эпыт ными знаніями "

Возл'я сего кружка пьсколько стариковъмла денцевъ, еще бол'я угрюмыхъ, разм'яривала землю для построенія того же здапія; по никакъ у нихъ дізло не ладилось; только что безпрестанно ссорились и бранились!—и не мудремо! у встхъ были разном'ярные аршины.

"Мъряйте однимъ и тъмъ же аршиномъ" сказалъ безсмертный юноша. — "Мой лучше! Мей дучше!" закричали они всъ вмъстъ.

"Эти старини-младенцы думають, сказаль голось, что они нескальними степенями выше младенцевь, складывающихь песчинки, но высамомь двлё также са игрушки играють, лишь съ той развищей, что эта игра имбеть другос назване, она называется офранцуменными месоріями "

Возлё меня несколько стариновъ-младенцевъ пграли въ игру весьма странную; одинъ възнихъ завизывалъ себъ глаза, приходилъ въмъсто, совершенно ему незнакомсе, и приказывалъ некоторую онъ, не видя, имъ указывалъ. Вълные юноши спотыкалися безпрестанно, следуя въточности руководству его; но упрямый старинъ увёрялъ, что юноши спотыкаются отъ нес вершеннаго исполнения его настъялений, и ежеми нутно твердилъ о своей олимностии.

"Эта игра въ большомъ употреблени у стариковъ-младенцевъ, — сказалъ мяв голосъ: — она истинное торжество для их сипбоумія—и называется: испусствомо подавать соототы."

Удаменний отк гежхъ, подъ твиью миртоваго кусточка, сияталь балет изъ старимовъли аденств; сив подвыраль каждаго проходящаго и съ глупой радостью показываль свою работу, но игито не собращать на нее венмания по стому и по роготему иланочку я тотчасъ узналь моего друга Ахальина: ведхожу—и что же? отъ выръзывать селлансковъ изъ листочковъ разы и мышъ такой арміей въ прахъ разравить състо грознато Ари торха! Повъяль леглий вътерокъ—печевти труды Ахальина! только на линт его осталось никъмъ не замъченее выражене, которое не знато, какъ настать, — инстол илу значемъ, лишь внаю, что сво было ствраниель ю.

Капь нечислить мить вев сустных занятія старатовым занятія старатовым засек, ссі, какт печислить непечислиме старати, что для сего потребым величайщи усилія и умь высокій: другіе вили вы кудри свые педосмі и весупилися своей безобразной прасоскі; третій проложим вы бездъйствін, но у ветую на языкть вертълась опытиность.

Не знам, долго ин продолжанось мое видъніе, но когда «но исчезно, я сдылатея гораздо спонойные

Теперь, слышу ли я старика, порицающаго ученость, потому что самъ не имьеть ел, порицающаго велкую новислу ав 10, что она ногимана:—выму ли старика, который хочеть обмануть время не преференены познаній, но подкрашеннями волосами, ихъ невыжество и слабоуміе не возмущають меня болже; я вспомиямо о мосмъ видьній и спокойно говорю себы "то старикъ-маления».

Звы, и уже виру поднамающуюся грозносмвшанную то, сторинобъ-м. саденцев; они обвиняеть ме, лаже за то, что мив могло представиться такое видбие. Но вы, оные дружья мен, скажите мив: не тогда ли только донгая жизнь можеть содънать человъка опытвыме, кегда такжей день онои есть новый рядь умствовании:—Тды же опытность стариновъмласел (ст. кет рай они ст. лько хванятся, когда бездраственность кан инчтожныя запятія истушили въ ихъ геловахъ и посявдиюю некру ва мымленія?

Выест по имлеть нама спы, говорили древню. Мее индине- не делжно возбудать непочтеню къ старости, во, напротивъ, еще больше провывать благоговъна къ стариама въ истинистъ. высокомъ звачени сего слева...

Думый унибеу старинель-мумын шлг и ва колила вускь откологыми стар захаг

Нать снора, что все это мололо, незрало то можеть быть, слишкомъ напвно, но недьзя ет ниать, чтобъ въ этомъ не было одущевленія, жизни и мысли, хотя и выраженной въ формѣ, кет рая уже по самой супности своей прозанчиа, какъ сбивающаяся на аллегорію. Нечего в доказывать, что теперь такой родь сочиненій быль бы страненъ и не могъ бы имѣть успьха; по въдь это было писано двадцать лѣтъ назадъ, — а что является въ свое время, вдохновенное самобытной мыслыю и запечатлѣнное талантомъ, то если не всегда сому аниетъ свою первоначальную свѣжесть и спадастъ съ цѣны отъ времени, зато всегда

имъеть въ глазахъ мыслящаго человъка свог относительную, свою историческую важность. Эти апологи замвчательны ужъ тъмъ, что опи не походили ин на что, бывшее до нихъ вс. русской литературъ; они не пользовались популярностью, потому что могли нравиться не всемь. Старички острова Панхаи называли ихъ безправственными; большинство публики, не находи въ нихъ ничего для фантазін и не люби пищи, предлагаемой препыущественно для ума мыслицаго, пропустило ихъ безъ особеннаго вниманія; но зато юношество, одушевленное стремленіемъ къ идеальному, въ хорошемъ значеній этого слова, какъ протпвоноложности пошлой прозъ -даж съ жи опатпи онгочноно отс-,писим: ностью, и благодатны были плоды этого чтенія. Мы знаемъ это по собственному опыту, и кто умветь судить о достоинствы вещей не по настоящему времени, а по вхъ историческому смыслу, кто помнить состояніе нашей литературы вь эту эпоху, когда лучиними журналами въ Россін были «В'встникъ Европы» и «Сынъ «Отечества», и еще не было «Московскаго Телеграфа», когда читающая публика была несравнение малочислениве иынъшней, - тв согласятся съ нами.

Но князь Одоевскій не остановился на этихъ юношескихъ опытахъ; онъ скоро понялъ, что этогъ избранный или, лучие сказать, созданный имъ родъ литературы прозапченъ и однообразенъ. Онъ такъ мало живтыпо жимныкарановоря жинте мийр жтэкд своимъ, что не захотълъ даже помъстить ихъ въ собраніи своихъ сочиненій... Послідующіе его опыты, разбросанные преимущественно по альманахамъ, уже обнаружили въ немъ писателя, столько же возмужалаго, сколько и даровитаго. Не измѣняя своему истинному призванію, попрежнему оставаясь по преимуществу дидактическимъ, онъ въто же время уміль возвисеться до того ноэтическаго краспортчія, которое составляеть собой звено, связывающее оба эти искусства-краснорвчіе и поэзію, и которое составляеть истипную сущность таланта Жанъ-Поля Рихтера. Для доказательства ссылаемся на три дучшія произведенія князя Одоевскаго — «Бригадиръ», «Валъ» и «Насмъшка Мертвеца». Это уже не апологи, не аллегорін: это живыя мысли созрѣвшаго ума, передакныя въ живыхъ поэтическихъ образахъ. Несмотря на дидактическую цель этихъ произведеній, въ нихъ все горять и блещеть приниць ванная пісьтими фантазін, въ них слышится одушевленный языкь живого, страстнаго убъжденія, они проникнуты павосомъ истины. они-не холодныя поученія, не резонерскія нападки на пороки людей, не риторическія похвалы добродьтели: они-пламенным фи-эвоправно и выправния по пророчежаго негодованія противъ ничтожности и мелочности подожительной жизни, валяюприса въ гризи этоненическихъ расчетовъ,-10 молніеносныхъ образовъ надзвіздной страны идеала, гдв живуть высокія чувствованія, світлыя мысли, благородныя стремленія, доблестные помыслы. Ихъ цаль-пробудить въ синшей душь отвращение къ мертвой действительности, къ пошлой прозъ жизни и святую тоску по той высокой действительности, идеалъ которой заключается въ сивломъ, исполнениомъ жизни сознании человическаго достоинства. Но кроми того важное препиущество этихъ пьесъ состадля етъ ихъ близкое, живое соотпошеніе къ обществу. Съ этой стороны онв - не выдумки, не игрушки праздной фантазін, не динорических одицетворения отвлечениыхъ чыслей, общихъ добродътелей и пороковъ, но уроки высокой мудрости, тъмъ болъе плодотворные, что ихъ корин скрываются глубоко въ почет русской дійствительности. Ilpoчтите «Бригадира»: это исторія многихъ тысячь нашихъ бригадировъ, - исторія къ несчастью всегда одинаковая. Безпокойный п страстный юморъ составляеть также одно ист. неотъемлемыхъ достоинствъ этнхъ ньесъ и придлеть имъ карактеръ положительности, безъ котораго овъ казались бы слишкомъ фантастическими, а потому и нодостаточно дельными. По какъ фантастическое лежить въ этихъ плесахъ на существенномъ основанін, то оно придасть имъ только еще боліе сильный и увлекительный характеръ, поражая мысль черезъ посредство фантастическихъ образовъ, сверкающихъ яркими и причудливыми красками поэзіи. Для доказательства этого достаточно указать на то мъсто изъ «Бала», гдъ съдой капельмейстеръ хвалится своимъ уменьемъ оживлять (алъ искуснымъ подборомъ музыкальныхъ пъесъ... Еще богаче и внутреннимъ содержаніемъ, н стремительнымъ навосомъ, и фантастичесви-поэтическими образами пьеса — «Насмъшка Мертвеца». По нашему мивнію, это една ди не лучиее произведение князя Одсевскаго и въ то же время одно изъ заивчательнайшихъ произведеній русской литературы, темъ белбе, что оно въ ней единственное въ своемъ родь. Мысль автора... но пусть эта мысль скажется сама, во всей премести и во всей силь ея поэтическаго выраженія. Красалина, бдущая на балъ со своимъ мужемъ, встрътила на дорогъ гробъ и смутилась при взглидъ на мертваго молодого человіка. лежавшаго въ гробу.

"Прасавина нъкогда видала этого человъка. Виласа! она знала его, знала всъ изгибы души его, понимала каждое трепетаніе его сердца, жаждое недоговоренное слово, каждую неза-

малиую черну на лика его: она зиала, понимала все это, но на ту пору одно изъ техъ люденихъ мибній, которыя люди называють въчнымъ, необходимымъ основаніемъ семейственнаго счастья, и которому приносять въ жертву и геній, и добродѣтель, и состраданів, и вдравый смысть, все это на ифеколько масяцевъ, - одно изъ такихъ мивній поставляло непреоборимую преграду между красавицей в молодымъ человъкомъ. И красавица покорилась. Покорилась не чувству! — нътъ, она затонтала святую искру, которая, было, затеплилась въ душт ея, и, надши, поклонилась тому демону, который раздаеть счастье и славу міра, и демонъ похвалилъ ен повиновение, далъ ей "кородичем партію и назваль ся расчет вость добродьтелью, ся подобострастіе — благоразуујемъ, ея оптическій обманъ-влеченіемъ сердца, и прасавица едва не гордилась его похвалой.

Не въ любен юноши соединялось все святое и прекрасное человька, ся росконнымъ огнемъ жила жизпь его, какъ блестящій благоухающій алоэсь подъ опалою солица, юношъ были родными тъ минуты, когда надъ мыслыю промедить дыханіс бурно, тъ менуты, въ которых живуть въка, когда ангелы присутствують таниству души человъческой, и таниственные зародыши будущихъ покольній со страхомъ внимають ръшенію судьбы своей.

Да! много будущаго было въ этой мисм, въ этом чувствъ. Но имъ ли окогать лънвоо сердце свътской красавицы, безирерывно охлаждаемое расчетами приличій? Имъ ли плънить умъ, безирестанно сводимый съ толку тъм судьями общаго мнънія, которые ностигли истусство судить о другихъ по себъ, о чувствъ по расчету, о мысли но тому, что имъ случилось видъть на свътъ, о поэзи по чистой прибыли, о въръ по политикъ, о будущемъ мо прошедшему:

И все это преардно: и б гормствая любовь юпоши, и силы, которыя она свинтията... Красавица назвала страсть юпоши порывомъ воображеція, его мучительное терзаніе—преходягию облавнью ума, мольбу его взорось—модисе поэтической причудой. Все было презране, в было забыто. Красавица провела его чрезъ вс мытарства оскорбленной любви, оскорбленной

надежды, оскорбленнаго самолюбія... Что я разсказываль дол ими ръчами, то въ одно мгновеніе пролетьло чрезъ сердце краса-вицы при видъ мертваго: ужасной показалась ей смерть юноши,-не смерть твла, нътъ! черты искаженнаго лица разсказывали страшную повтесть о другой смерти. Кто знаеть, что сталось съ юношей, когда, сматыя колодомъ страданія, порвались струны на гармоническомъ орудін души его: когда изнемогь онь, замученный педоговоренной жизнью, когда истощилась душа на тщетное бореніе и, униженная, но неубъжденная, съ хохотомъ отвергла даже сомивніс-послъднюю святую искру души умпрающей. Можетъ быть, она вызвана наъ ада всь изобрътенія разврата; можеть быть, ностигла сладость коварства, нъгу мщенія, выгоды явно безстыдной подлости: можеть быть, сильный юноша, распалирши сердце свое моличной, прокляпъ все доброе жизни! Мометъ быть, вся за дъятельность, которая была предназначена ка святой подвигь жизни, углубилась ва науку норока, исчернала ел мудрость съ тою же си-лой, съ которой она пъкогда исчернала бы науку добра: можеть быть, та деятельность, 140торая должна была помирить раскаяніе съ смиреніемъ въры, слила горькое, удушающее раскаяніе съ самой минутой преступленія...

Каргина бала и см. т. п.п. произведеннаго страхомъ потопа, деполнены вдохновения бурнаго и порывистаго, негодованія пророчески энергическаго. Зд'ясь краснорічіє возвышаєтся до поэли, а поэзія станопител трибуной. Чтебъ выписать все лучшее и ль этой чесы, надобно было бы списать ее всю. Но мы думаємь, что и этой выписки уже слишьюмь достаточно, чтобъ показать и высокій талантъ автора, и высокое его прияваніе.

Было времь, когда поэзію разділяли на эническую, лирическую, драматическую и еще андактическую. Но не столько ложность разтвленія, сколько пошлость образцовъ дидактической поэзіп нагнада изъ употребленія замое слово «дидактическій», какъ синонимъ скуки, водянистости и прозаизма; но это нееправедливо. Хотя сатира, напр. и принадлежить къ лирической поэзів, какъ выраженіе субъективнаго чувства, однако сатира не есть произведение собственно поэзін, какъ пъсия, элегія, ода, потому что въ ней всегда видна слишкомъ опредъленная цъль, и въ нее входить слишкомъ большой посторении эдементь. В в сатирь поэть является обличителемъ, адвокатомъ, проповъдникомъ, а ползія въ сатирѣ является больше какъ средство, нежели какъ самобытное искусство. Сатира одно изъ тъхъ произведеній, въ которыхъ поэзія становится краснорічіемъ, краснорвчіе -- поэзіей. Знаменитые въ прошломъ выт «Сады» Делиля не принадлежать вь дидактической поэзін, нотому что ови чужды какой бы то ни было поэзін; но сатиры Ювенала, ямбы Барбье, пьеса Пушкина «Поэть и чернь», пьесы Лермонтова «Печально я гляжу на наше покольнье» п «Поэть» суть произведения столько же дидактическія, сколько и поэтическія. Дилактическая поэзія въ томъ смысль, какъ мы ее понгмаемъ, есть то громящее апаоемой поученіе, то страствая річь зашитника добра; это годъ поэзін напболье соціальный п гражданскій. Отеюда понятно, что у римлянъ явился величайний сатирикь въ міръ. Изъ этого однако жь не следуеть, чтобы поэзія должна была попрежнему раздыляться на эпическую, лирическую, драматическую и дидактическую: дидактической поэзіи пѣтъ, но есть дидактизмъ, который, какъ преобладающий элементь, можеть вхедить во всь три рода поэзів, преимущественно же въ лирическую. Безъ паооса невозможна нинакая поэзія, и дидактизмъ, чтобъ не убивать поэзін, долженъ быть всегда прецеполненъ страстнаго одушевленія. Въ древности были пъвцы, обрекавние себя на возбуждение въ гражданакъ чувствъ доблести и любви нь отечеству во время войнь, и до насъ дошло прсколько одъ Тиртея, котораго антипоэтические, не любивы е изящныхъ ис-

кусствь снаранны выпросная у ловикавь, чтобь онь воспламеняль своими песнями духъ храбрости въ ихъ воинствъ во времи кровавой борьбы ихъ съ мессинцами. Почему же не быть поэтамъ, которые служили бы обществу, пробуждая и поздерживая въ его членахъ стремление къ сознанию, къ жизви умомъ и сердцемъ, единой сообразной съ человвческимъ достоинствомъ жизии? И неужели эти гражданскіе Тиртен ниже Тиртеевь войны? Храбрость составляеть одно изъ лостопиствъ человъка, особенно важное во время войны, по челов вчность всегда и вездь, въ войнь и мирь есть высшая добродътель, высшее достоинство человъка, потому что безъ нея человыкь есть тольке животное, тъмъ болье отвратительное, чтс вопреки здравому смыслу, будучи внутри животнымъ, снаружи имбетъ форму человъва...

Мы выше сказали, что въ русской литературь пъть произведеній, которыя бы по своему духу и форм'в могли относиться къ одному разряту съ тъми пьесами князя Одсевскаго, о которыхъ говорено выше. Ихъ прототипа надо пскать вь сочиненияхъ Жень-Поля Рахтера, который, не будучи поэтомъ въ смыслъ творчества, тъмъ не менъе обладаль замвчательно сильной фантазіей и нерёдко умьть ею счастиво пользоваться для выраженія философскихъ и преимущественно нравственных в пдей. Поэтому мы смотрямь на Жанъ-Поля Рихтера, какъ ил дидактическаго поэта. Талантъ этого рода имъстъ еще то отличе отъ таланта чисто поэтическаго, чисто творческаго, что онъ тесно связань съ одушевленіемъ одареннаго имъ лица къ правственнымъ идеямъ. И потому мы нередко видимъ. что люди, обладающие чиего поэтическимъ талантомъ, сохраняють его долго, независимо от в ихъ отношеній къ жизни; но когда инситель, котораго направленіе преимущественно лидактическое, или привыкаеть, наконець, къ холоду жизин. прежде возбуждающему вь немъ громовое негодование, или допускаеть сомивнию ослабить въ себъ энергію убіжденія, -тогда его талангъ исчезаетъ виботь съ упадкомъ его правственной силы. Это потому, что такой таланть есть своего рода добродатель.

Намъ пе безъ основанія могуть замѣтить, что такія произведенія, какъ «Бригадиръ». «Балъ» и «Насмѣнка Мергвеца», могуть читаться не всегда, и при томь не во всякомъ расположеніи духа, и что для умовь прѣтыхъ и закаленныхъ въборьбъ съ жизтью подобный дидактизмъ не вполив поучителенъ. Не споримъ противъ эгого. Но какъ различны потребности возрастовъ и состояній, такъ различны и средства къ ихъ удовлетворенію. Есть люди, которые съ восторгомъ будуть читать трагедію Инилера, в

на которыхъ «Ревизоръ» или «Повъсть о гомъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Пваномъ Никифоровичемъ: могутъ возбулеть скорве бользиенно-непріятное чувство, нежели удовольствее и восторгъ; и есть люди, которымъ геніальная комедія изъ современней жизни громче говорить о значени и емыслъ великато и прекраснато на землъ, нежели пная восторжениям, исполненная зиньніемъ юнаго чувства трагедія. Не будемь разсуждать, которан изъ этихъ сторонъ права, которая неправа; мы даже думаемъ, что объ онь равно правы, ибо каждая изъ нихъ требуеть того, что ей нужно, и объ достигають одной и той же цели, идя но разнымъ путямъ. Какъ бы то ни было, но чтение такихъ произведений, какъ «Пригадиры». «Баль» и «Насмышка Мертвеца». производить на молодую душу, свыжую, неподвергничнося нечистому прикосновению жигейской сусты. Дьйствіе электрическаго у гара, мотрясающаго всю нервную систему. И подобный правственный ударъ оставляетъ въ чной, исполненной благороднаго стремленія чунів самыя благодачныя слівдствія. Мы значить это по соблевенному примъру: мы чомынить то время, когда избранная молодежь сь восторгомь читала эти иносы и говорная о нихъ съ тьмъ важнымъ видомъ, т какимъ обыкновенно неофиты говорятъ о тапиствахъ евоего ученія. И вогъ одна лаъ причинъ, почему имя князя Одоческаго, закъ писателя, болъе извъстно и знакомо вермь, нежели его сочинения: его сочинения гаковы, что могуть или сильно правиться, иля сововыть не могуть правиться, потому что годятся не для всехъ: а между темъ мирніе трак, которых они могать сильно ин гересовать, едишкомъ важно и дъйствительно даже для тубъ, поторые сами не могуть находить въ нихъ для себя особеннаго лигереса. Къ этому надо присовокупить еще и то обстоятельство, что сочинения князя Одозвенаго долго были разбросаны во множествъ разныхъ альманаховъ и журналовъ, и что ихъ многіе нечатно и хвалили, и бранили, но инкто не почелъ за пужное отдать публикь отчеть, почему онь пхъ хвалить или бранить. Вирочемъ, и не легко было бы дать такой отчеть, потому что для эгого критикъ принужденъ быль бы прежде всего завалить свой столь альманахами и журналами разныхъ годовъ. Вообще пельзя не упрекнуть князя Одоевскаго, что онъ не собпралъ и не издавалъ своихъ сочиненій по итрт ихъ накопленія. Это было бы для него весьма важно; ему легче было бы судить о потребностихъ времени по пріему публикой каждой книжки своихъ сочинений и закть заранве; можеть им имыть успых в измынение ихъ въ направлении

Посль всего, сказаннаго нами по новоду пьесь - «Бригалиръ», «Балъ» и «Насмънка Мертвеца», было бы безнолезно распространяться о достоинствъ такого рода произведеній, о высокомъ таланть ихъ автора, равно какъ и о неоспоримой важности его направленія и призванія. Но навсегда ли или по крайней мере надолго ли авторъ остался ему въренъ?--вотъ вопросъ. Кромъ этихъ трехъ ньесъ, номѣшенныхъ въ первой части. въ савдующихъ частяхъ мы находимъ еще итоколько въ такомъ же родь, каковы «Городъ безъ имени», «Новый Годъ», «Черная Перчатка», «Живой Мертвець», и отрывки изъ «Пестрыхъ Сказокъ», но въ этихъ уже, за исключениемъ первой, преобладаетъ юморъ, и онв, не терля своего дидактического карактера, начинають наклоняться къ повьети. Изъ нихъ лучие другихъ кажется намъ «Новый Годъ». - «Живой Мергвенъ» написань какъ будто въ pendant къ «Бригадиру»: въ немъ та же мысль, съ одной стороны выраженная болье дыствительнымъ, нежели поэтическимъ образомъ, можеть быть, болбе уловимая для большинства, но, съ другой стороны, лишенная торжественности лирическаго одушевленія, которое составляеть лучшее достопиство «Бригадира». Что же касается до пьесы «Городъ бечъ имени», она нацисана совершенно въ дужь лучшихъ произведений въ этомъ родъ князя Одоевскаго; по основная мысль ея нъсколько одностороння. Авторъ нападаеть на исключительное пидустріальное и утилигариое направление обществъ, думая видъть въ немъ причину будго бы близкаго ихъ наденія. Автору можно возразить, что могуть быть общества, основанным на преобладаній идеи утплитарности, но что общества, основанным на псключительной идев практической пользы, совершенно невозможны. Сколько можно замьтить, авторъ намекаеть на Свверо-Американскіе Шлаты; но что можно сказать положительнаго объ обществв, которое такъ юно, что еще пе доросло до эпохи уравновъшиванія своихъ силъ и полной общественной организацін? И кто можеть сказать утвердительно, что въ этомъ странномъ зарождающем и обществъ не кроются элементы болье двйствительные и благородиые, чемъ исключительное стремление къ положительной пользё? Вообще мысль о возможности смерти для обществь вслыдстве ложнаго направления слишкомъ пугаеть авгора. Въ пьесь «Последнее Самоубійство» онъ рішился даже нарисовать картину смерти всего человъчества, которому уже ничего не осгалось ни знать, ни дълать, потому что все уже узнано и сдъ-

Иьесы. "Opere del Cavaliere Giamba-

tista Piranesi". «Последній Квартеть Бетховена», «Нмировизаторъ» и «Себастіанъ Бахт». •бразують собой осебенную серію лидактическимъ произведеній, и вей опт возбудили при своемъ появленін больное вниманіе. Въ нихъ развинается какая-нибудь или испусдогическая мыель, или взглядь на некусство и хуложника. Первая паъ нихъ, "Среге del Cavaliere Giambatiste Piranesi", ecre кто бы могъ подумать? - аповеоза сумасшествія!.. Пбо что другое, какь не желаніс ановеозировать сумасинествіе, могло заставить автора взять на себя трудъ представить архитектора, котерый помьшался из мысли строить зданія изъ горъ, переставлять горы съ мъста на мъсто и дълать тому подобное?.. Такое состояніе, но нашему мивнію, отнюдь не показывають геніальности, но, напротивъ, свидьтельствуеть о слабой нервической натуръ, которая не выдеј живаетъ тяжести разумной действительности, и Пиранези таковъ, какимъ представляетъ его князь Одоевскій. достыннъ жалости, какъ всякій сумасшеднів, но не вниманія, какъ всякій замічательный человькъ. Геній творитъ великое, но возможное: о громадномъ, но невозможномъ можеть мечтать только разстроенная и божышенная фантазія.--Въ «Импровизаторь» прекрасно развита мысль о безплодности и вредв знанія, пріобрѣтеннаго безъ труда и усилій, какъ петочникъ самаго пешлаго и твыть не менте мучительного скентицизма. результатомъ котерато всегда бывает в искренжее примарение съ пошлостью виблиней жизни. «Себастіанъ Бауь» - родъ біографін-повъсти. въ которой жизнь художника представлена въ связи съ развитимъ и вначениемъ его тазанта. Это скорве біографія таланта, чвиъ біографія человіка. Она вводить читателя въ святилище генія Баха и критически знакомить его съ нимъ. Жизнь Себастана Баха изложена вияземъ Одоевскимъ въ духв н вмецкато воззрвнія на искусство и німецкаго музыцальнаго вёревзнія, которое на итальянскую музыку смотрить какъ на расколь, которое, вмысть съ этимъ геніальнымъ и простодушнымъ стариннымъ мастеромъ, боится дучшаго въ мірь музыкальнаго инструмента—человъческаго голоса, какъ слишкомъ исполненнаго страсти, профанирующей искусство въ той заоблачной и по тому самому ньсколько колодной сферь, въ которой эксцентрические нёмцы хотять видёть царство истиннаго некусства. Однако это нисколько не мышаетъ поэтической біографіи Себастіана Баха быть до того мастерски изложенной, до того живой и увлекательной, что ое нельзи читать безъ интереса даже людимъ, которые недалеки въ знаніи музыки. Это значить, что въ ней авторъ коснулся тъхъ обинкъ сторонъ, которыя и въ музыкантъ

прежде всего показывають худежника, а.г. томъ уже музыканта.

..lmbroglio", «Сильфида», «Саламандра «Южный Берегь Финляндій въ началь XVI!!! стольтія». «Княжна Мими» и «Княжна Виэн» — всё эти пьесы образують собой ряд новастей собственно. Аучная между нами одно изъ дучинкъ произведелій кияза Одосвекаго есть «Княжна Мими». Несмотр. на ея нисколько не лирическій характеръ. она върна тому направление таланта автора. которое мы стелько уважаемъ и которое мы: видимъ въ его ньесахъ «Бригадиръ», «Бажь» и «Насмъшка Мертвеца». Это мастерски написанная картина изъ свътскаго быта. Со--задлячи акодич :отооди анэго ко вінажцок ной женщины, которую ожидало счастье вдвоемъ и которая вчотив была достойна этого счастья. глобель этой женщины ста силетии, сочиненной старой дъвой. Върных своему направленно, авторъ выводить изружу внутренній напосъ пов'єсти въ этихъ немногихъ, но пророчески обличительныхъ словахь: «Есть постунки, которые пресладуются обществомъ: погибають виновные. погибаютъ невинные. Есть люди, которые полными руками съютъ бъдствіе, въ дущахъ высокихъ и ивжныхъ возбуждають отвращеніе къ человъчеству, словомъ, торжественн подиндивають основанія общества, п бщество согрѣваеть ихъ въ груди своей, кахъ беземысленное солнце, котором равнодушье всходить и надъ криками битвы, и надъ модитвой мудраго. > Но героиня повъсти, княжна Мими, не принесена авторомъ въ жертву моральности: онъ раскрываеть передъ читателями т/к неотразимыя причины, всяблетвие которыхъ она должна была савдаться злой сплетницей; онъ показываеть. что гораздо прежде, нежели она начала подпиливать основы общества, это общество сгубило въ ней все хорошее и развило все дурнов. Она была старая дваз и знала, что такое «тихій інопотъ, непримітная улыбка, явныя или воображаемыя насмёшки, падающія на бізную дівушку, которая не иміла довольно искусства, или имъта одипромъ много благородства, чтобъ продать себя въ замужество по расчетамъ. Превосходный разсказъ, простота и естественность завъзки и развизки, выдержанность характеровъ, знаніе свыта-дылають «Княжну Мими» одной изъ дучинхъ русскихъ повъстей.

Новветь «Княжна Зчи» уступаеть въ достопиствъ повъсти «Княжна Мими»,—что однако жъ не мъщаеть и ей быть интересной и занимательной. Основная идея—положение въ обществъ женщины, которан по своему сердцу, по душъ, составляеть исключение изъ общества и дорого илатить за свое незнание людей и жизни, которымъ слишкомъ довърняесь, потому что судила о нихъ по самой себъ.

«Сильфида» принадлежить къ темъ произведеніямъ князя Одоевскаго, въ которыхъ онъ рашительно началь уклоняться отъ своего прежняго направленія въ пользу какого-то страннаго фантазма Отсюда происходить то. что съ этихъ поръ каждое изъ его произведеній имбеть дві стороны-сторону досто инствъ и сторону недостатковъ. Пока авторъ держится действительности, его талантъ увлекателенъ цопрежнему и проблесками поэзіи. и необыкновенно умными мыслями; но какъ скоро онъ впадаеть въ фантастическое, изумленный читатель поневоль задаеть себь вопросъ: шутитъ съ нимъ авторъ, или говорить серьезно? Герой повысти «Спльфида» очень занимаетъ насъ, пока мы видимъ его въ простыхъ человъческихъ отношеніяхъ къ людямъ и жизни; но наше участіе къ нему, несмотря на искусство и высокій таланть автора, тотчасъ погасаеть, какъ скоро онъ началь отыскивать какую-то Сильфиду на див миски съ водой и бирюзовымъ перстнемъ. Авторъ (сколько можемъ мы понять при нашемъ совершенномъ невъжествъ въ дълахъ волиебства, виденій и галлюцинацій) хотель въ геров «Сильфиды» изобразить идалъ одного изъ техъ высокихъ безумцевъ, которыхъ внутреннему созерцанію (будто бы) доступны сокровенныя и превыспрения тапиы жизни. Но, увы! уважение къ безумцамъ давно уже, и при томъ безвозвратно, прошло въ просвъщенной Европъ, и вдохновенныхъ сантоновъ уважають теперь только въ непросвыщенной Турцін!.. Точно то же можно сказать и о двухъ большихъ повъстяхъ, которыя, впрочемъ, не особын повъсти, а двъ части одной и той же повъсти — «Саламандра» и «Южный Берегь Финляндін въ началь XVIII стольтія». Туть есть прекрасныя картины русскаго быта финновъ, прекрасная финиская легенда о борьбѣ Петра Великаго съ Карломъ XII-мъ; есть картины русскаго быта при Петръ Великомъ и вскоръ послъ него; есть удачные очерки характеровъ; сама эта полудикая Эльса, въ прогивоположность съ образованной Марьей Егоровной, такъ интересна.. Но Саламандра, ея рель въ повести, разным магнетическія и другін чудеса, исканіе философскаго камня и обретеніе его, — все это было для насъ непонятно: а чего мы не понимаемъ, тъмъ не можемъ и восхишаться... При томъ же мы имвемъ глубокое и твердое убъщление, что такін пружины для возбужденія пятереса вы читагелихъ уже давно устаръли и ни на вого не могуть действовать. Теперь ввимавіе толны можеть поворять зелько сознательно-разумное, телько разумно-дъйствительное, и нолшебство и виденін людей съ

разстроенными первами принадлежать къ зѣдѣнію медвины, а не искусства. И что было плодомъ этого новаго направленія князи Одоевскаго?—«Необойденный Домъ», въ которомъ едва ли что-нибудь поймуть какъ образованные люди, не для которыхъ писана эта странно-фантастическая повѣсть, такъ и простолюдины, для которыхъ она писана, и которые, вѣроятно, никогла не узнаютъ и о ея существованіп!..

Но это направление явилось ыъ сочининіяхь князя Одоевскаго не въ последнотолько время Еще въ 1833 году издаль онъ свои «Пестрыя Сказки», въ которыхъ был. и всколько прекрасныхъ юмористических в очерковъ, какъ, напримъръ: «Поторія о пл.тухв, кошкв и лягушкв», «Сказка о том». по какому случаю коллежскому совътняку Отношенью не удал сь из свытлое воскресенье поздравить своихъ начальниковъ съ праздникомъ», «Сказка о мертвомъ тьль, неизвыстно кому принадлежащемы. Но между этими очерками была пьеса «Игоша», въ которой все понятно, отъ кеј-ваго до последняго слова, и которая поэтому вполны заслуживаеть название фантастической. Мы имбемъ причины думать, что за это фантастическое направление нашего даровитаго писателя ималь большое вліяніе Гофманъ. Но фантазмъ Гефмана составлялъ это натуру, и Гофманъ въ самыхъ нелъныхъ дурачествахъ своей фантазии умыть быть върнымъ идев. Поэтому весьма опасно подражать ему: можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовавь его достоинствь. Сверкъ того финтазиъ составлиеть самую слабую сторону вь сочиненіяхь Гофмана; петинную и высокую сторону его таланта составляеть глубокая любовь къ искусству и разумное постижение его законовъ, Били юморъ и всегда живая мысль.

Можетъ быть, это же вліяніе Гефмана заставило князя Одоевскаго дать странную форму первой части его сочинений, которую онь отдичиль оть другихъ странным в названіемъ «Русскихъ Ночей» Полобно знаменитымь «Сераціоновымъ Брагьямъ», онь заставиль вёсколько молодых в людей бесёдовать по вочамъ о жизни, наука искусствъ и тому подобныхъ предметахъ Всявдетво этого лучшія пьесы его— «Бригадиов», «Баль» «Насмешва Мертвеца», «Импровазаторь» н «Себастіанъ Бахъ», написання имъ гераздо прежде, нежели. можеть Силь родилась у него мысль о «Русских» Нечахь», явилась въ вавой-то неестественной и насильственпой связи между собой они читаются Фау. стомъ (предсёдателемъ «Руссиихъ Ночей») изь какой-то рукониси по новолу разговорсяв его съ друзьями о разныхъ дредметахъ Разумвется эти разговоры пригизам авторомъ

къ разек амъ, а потому разеказы не совеймъ важутся съ разговорами. Но это еще не все: разговоры ослабляють впечатлёніе разсказовъ. Пр: вда, эти разговоры или беседы нивыть Сольшую жинимательность, исполнены инслей; но петому же не страать автору изъ нить особой статьи? Онь отчасти и едвааль это въ «Эпилогь», который имветъ большое достоинство, но безъ всякаго отношения къ разсказамъ, и къ которому мы еще обратимся. Вторая часть названа «Домашиними Разгопорами», котя это название можеть относитьон только развы къ повысти «Книжна Мимп», а ко вевыт другимъ разека жить и повъстямъ, вошедшимъ въ эту часть, инсколько и йдеть. Не понимаемъ, къ чему все это, если не къ тому, чтобъ давать противъ собя оружіе свониь литературнымь индобромелателямь, которыхъ у киязя Одоевскаго, какъ у всикаго сильнаго даровитаго инсателя, очень много, в воторые рады будуть обратить все свое внимание на оти мелечи, чтобь не обратить пикакого вниманія на существенныя стороны его сочинений!

Вь «Зимлогь», какъ въвыводъ изъ преджествовавшихъ разговоровъ, развивается мысть о правственномъ гијени Запада въ настоящее время. Вы линь Фауста, который праеть главную родь во всехъ этихъ разговорахь и въ «Эпилогь» особенно, -авторъ хотель изобразить человька нашего времени, вывшаго въ отчание сомибнія, и уже не въ зачнія, а вы призводства чувства пидицаго зарт пелія на свои вопросы. Следовательно, эти-проего рода повёсть, въ которой авторъ представляеть извёстный характеръ, не отвачея за его дъяствія или за его мльнія. Другими словами: этогь «Эпилогь петь вопросъ. который авторь предлагаеть общ-ству, не приняман на себя обязанности раплать его. Мы очень рады, что вы лиць этого выдуманнаго Фауста мы можемь отвытин. на важный вопрось вевыь дійствительнымъ Фаустомъ такого рода. Фаустъ князи Одоевскаго-надо отдать ему полную сприведлигость-говорить о дель съ знаніемъ дъза, говерить не общими мъстами, а со всей оригинальностью самобытнаго взгляда, со вевмъ олуш влениемъ искренняго, гарячаго убъщдения И между твиъ въ его словахъ столько же парадоксовь, сколько пстинь, а въ общемь выводъ онъ совершенно сходень сь такъ называемыми се навянофилами. Пова он в говорить объ унасакь нарегвующаго въ Европъ пауперизма (бідности), о страшномь положенія рабочато клаеса, умирающаго съ голоду въ кр-пожадныхъ, разбоничныхъ когтяхъ фабрикантова и разнаго рода подрядянкова и собственнувовь; о иссобщемъ члентицизмъ и равнодущів въ ділу истины и уобиденія,-

когда говорить онъ обо всемъ этомь, недья не соглашаться съ его доказательствами, потому что они онираются и на логикь, и на фактахъ. Да, ужасно въ правственномъ отношенін состояніе современной Европы! Скажемъ болье: оно уже инкому не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомь и говорять, и иншуть еще съ гораздо больчимъ знаніемъ діла и большимъ убъжденіемь, нежели въ состоянія двлать это ктолибо у насъ. Но какое же заключение должно едьлать изъ этого взгляда на состояние Евроны?-- Неужели согласиться съ Фаустомъ, что Европа, того и гляди, прикажеть долго жить, а мы, славяне, напечемъ блиновъ на весь міръ, да и давай номинки творить по покойниць?.. Подобная мысль, если бъ о ек существованін узпала Европа, инкого не ужаснула бы тамъ... Нельзя такъ легко дъдать заклютелія о такихъ гяжелыхъ вещахъ, какова смерть-не только народа (морить народы намъ ужъ нк-почемъ), но целой, к при томъ лучшей, образованнъйшей части евъта. Европа больна, - это правда; но не бой гесь, чтобъ она умерла: ея болёзнь отъ илбытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силь; это бользнь временная, это кризись внутренней, подземной борьбы стараго съ и вымъ: - это усиліе отрѣниться отъ общестанингъ основаній среднихъ врковъ и замынить ихъ основаниями, на разумы и нагуры чиловъка основанными. Европъ не въ первый разъ быть больной: она была больна во времи престовыхъ походовъ и ждала тогда конца міра; она была больна передъ реформаніей и во время реформаціи, - а выдь не умерла же къ удовольствио господъ-душеприказчиковъ ея! Идя своей дорогой развитія, мы, русскіе, имбемъ слабость всё явленія западной неторін мірять на свой собственный аршинъ: мудрено ли послъ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умалишенныхъ, то безнадежной больной? мы кричимъ: «Западъ, Востокъ! Тевтонское племя! Славянское илемя!»-и забываемъ, что подъ этими словами должно разумьть человьчество... Мы предвидимъ наше великое булущее, но хотимь непременно иметь его насчеть смерти Европы: какой, по истипь, братскій взглядь на вещи! Не лучие ли, не человъчнъе ли, не гуманнъе ли разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развигіе, велиме успъхи вь будущемъ, но и развите Европы и ея успыхи пойдуть своимь чередомъ? Неумели для счастья одного орага непременно нужна гибель другого? Какая не философскан, не цивилизованная и не храстіанскай мыслы...

Говоря о хаотическом в состояній науки и искусства Европы, Фаусть, вы книгь книзи Одоевскаго, много говорить справедливаго

т ф.н.наго; во в глядь его вообще твить не менье односторонень, пералоксалень. Все, что говорить они о пресода сейн опытныхъ наблюденій и меточного анализа въ естепренных в науках в, - все это отчасти справ дливо; тамъ не менье нельзи согласиться то нимъ, чтобъ это происходило стъ правтвеннаго гліенія, отъ погасающей жизни: чкорбе можно думать, что для естественныхъ начеть не настало еще время общахъ филотучнить оснований именно по педостатку вед совъ, которые могутъ быть добыты только лытными наблюденіями, и что этотъ-то сопременный эмпиризмъ и долженъ со времечемъ пріуготовить фил: софское развитіе - эт ственных в наукъ. Тотъ же смыслъ имбетъ .: «та пробность знавій, вслідствіе которой динь, данимаясь математикой, считаеть себя вы правы не амъть невятія объ исторіи, а в угой, занимансь пелитической экономіей, полагаетъ своей обязанностью быть невъждой жь теорін пскусства. Но что въ этомъ должно видать только переходное, сладовательно, временное состолије, переломъ, а не косжине, какъ предвъстинкъ близкой смерти,это доказывають слова самого Фауста, что всв чувствоеть и сознають недостатокъ общихъ пачалъ въ наукахъ и необходимость знанія, макъ чего-то цілаго, какъ науки о жизни, о бытін, о сущемъ, въ обширномъ значеній этого слова, а не какъ науки то объ этомъ предметь, то о томъ. Смерть обпредпри всегда предпреструется полнымъ самодовольствомъ, вессбиен удовлетворенноти мелочами, полнымъ примиреніемъ съ тымъ, что есть и какъ есть. Въ умирающихъ обществахъ нътъ криковъ и воплей на недостаточность настоящаго, ньть новыхъ идей, мовыхъ учений, ивтъ страдалещевъ за истину, ньть борьбы. - все тахо подъ зеленой плъстивю гипоштго болота. То ян мы видимъ вь Евроић? Фаустъ видитъ тамъ совершенную гибель искусства, говорить о Россини, Белании—и не говоритъ о Мейерберѣ. И давно ли были тамъ Моцартъ и Бетховенъ? И неужели Европа каждый годъ обязана представлять по новому генію во всёхъ городахъ, -- иначе она умерла? Четыре такіе мыслителя, какь Канть, Фихте, Шеллингь и Тетель, непосредственно явившеся одинъ за другимъ: неужели этого мало? II если тенеръ даже философія Гегеля относится въ Германін къ ученіямъ, уже совершившимъ свой кругъ,-теперь, когда самъ великій Шеллингь, имъвшій несчастье пережить свой разумъ, не успълъ никого обморочить своими ганиственными тетрадками, которыми столько леть объщаль разрёшить альфу и омегу мудрости: неужели все это не показыгаеть. жаной великій шагъ сділало въ Германіи

мениленіег. По фаусть приладлежить по своей натурб къ тымъ замвчательно эластическимъ, инпрокимъ, но вибств съ темъ робкимъ умамъ, которые врчно обманываются оттого, что слишкомъ боятся обмануться. Для такихъ умовъ быстрое паденіе доктринъ и системъ есть доказательство ихъ ничтожности. Они върятъ только въ истину абстрактную, которая бы вдругъ родилась совсвит. готован, катъ Паллада изъ головы Зевса, и вев бы тотчасъ единодушно признали ее и поклонились ей. По недостатку историческаго такта, эти умы не могутъ понять, что истива развивается исторически, что она свется, поливается потомъ и потомъ жнется, молотитея и ввется, и что много шелухи должно отвіять, чтобъ добраться до зеренъ. Кантъ п Фихте должны были увидъть въ Шеллингъ свой конецъ, но не потому, чтобы онъ доказаль безплодность ихъ труда, а потому, что все сдъланное ими послужняю основаніемъ для его труда, пли вошло въ его трудъ какъ плодотворный элементъ. Такъ и все ндетъ въ исторіи подобнымь же образомъ: одно событие рождаетъ другое, одинъ великій человыкь служить ступенью для другого; люди туть могуть терять, и какому-инбудь Шелингу, конечно, не легко сознаться, что не только его, нъкогда великаго вождя времени, но даже и того, кто первый заслонилъ его собой и кто давно уже спить сномъ въчности, даже и того далеко обогнали имъ же вызванныя на трудъ и дело новыя поколенія!.. Удивительно ди, что Фаусть не видить прогресса въ наукахъ, угверждая, что древніе знали больше нашего въ тайнахъ природы, что алхимики среднихъ въковъ владъли чуть ли не тайной философскаго камии, который могь и золото ділать, и людямь безсмертіе физическое давать? Удивительно ли. что Фаусть въ исторін видить только хаосъ фактовъ, которые, будто бы, теперь всякій толкуеть по-своему?-Для кого настоящее не есть выше прошедшаго, а будущее выше настоящаго, тому во всемъ будетъ казаться застой, гніеніе и смерть. Умы въ род'в Фауста - истичные мученики науки: чьмъ больше они знають, тъмъ меньше они владыють знапіемъ. Знаніе делаетъ ихъ маятинками, пони лучше весь въкъ будуть качаться, нежели на чемъ-нибудь остановиться, боясь остановиться на непетинь. Это люди, жаждущи нстины, съ благородной ревностью стремящісся къ ней, и въ то же время скентики поневоль. Но ужь проходить время сментицизма, и тенерь всякое простое, честное убъждение, даже ограниченное и одностороннее, цвинтся больше, чвиъ самое многостороннее сомпьніе, которое не смысть стать ни убъжденісмъ, ни отрицаніемъ и по наволь становится безпрытной и бользиенной минтельностию.

Но фаусть не останавливается на сомивнен и идеть къ убъждению. Посмотримъ на его убъждение. Онъ ищеть шестой части въбта и народа, хранящаго въ себъ тайну спасения міра... находить его и туть же епрашиваєтъ себя: «не мечта ли это самолюбіе?» — Неужели это убъжденіе!..

Фаустъ между прочимъ доказываетъ, что мы угадали исторію прежде исторіи, иссредствемъ неотиче каго магизма, безъ предварительной разработки матеріаловъ, — и указываетъ на историо Барамзина!.. Неужели же Фаусту неизвестно, что теперь всв бресили мысль писать исторію и принялись за разработки историчесьную матеріаловъ, ибо убъдились, что исторія прежде исторіи межетть быль только попыткой, пожалуй, и прекрасной, но паъ которой выходитъ не исторія, а неторическая поэма?.. Велькое дело видить Фаустъ въ томъ, что наша поэзія началась сатирей-судемъ народа надъ самимъ собой... А ларчикъ престо открывался! Такъ накъ наша поэзія была запиствованіе, нововведение, то наши поэты и пустились подражать, кто кому вздумаль, и какой-вибудь Сумароковъ быль и трагикъ, и комикъ. и лерикъ, и баснописецъ, писалъ и оды на илломянаціп. н сатиры на подъячихъ. Пунквикъ (Генерить Фаусть) разгадаль характерь русчито лътопиеца въ «Бориев Годуновь»; расталь ли, полно! Не заставиль ди онь ето но Гердеру, но только русскимъ складель, двлать ановеозу исторіи, т. е. говорать вещи, которыя не могли прикти въ голову ин одному лътописцу, ин свроиенокуму, ни русскому? Покажите намъ хоть одну лѣтопись, которая бы опривдывала возмежность такого взгляда на значение историка со стороны простодушнаго лътописца XIV вѣка?--Но Хомяковъ, по мныпю Фауста, глубоко проникнуль въ характеръ еще тудиваний, въ характеръ русской женщиныматери (въ «Димитрін Самозванив»), а Лажечниковъ воспроизвелъ характеръ и еще трудньйшій — древней русской дівушки (въ «Басурмань»)... Что сказать на это? Мы ничего не скажемъ...

И между тёмъ, повторяемъ, въ «Энилогь» столько ума: многіе даже изъ парадоксовъ его такъ остроумны и оригинальны, наинмать онъ такъ живо и увдекательно, что отъ него нельзя оторваться, не дочитавъ его до монца.

Отъ «Эпилога» перепдемъ къ «Сназкъ о томъ, какъ опасно дъвушкамъ ходить толной по Невскому проспекту» и «Той же сказкъ, только наизворотъ». Она была напечатана еще въ 1833 году, въ «Пестрыхъ Сказкахъ», к еп содержание извъстно многимъ. Героиня

ея- «славянская діва», которая, какъ вей славянскія ділы, была бы чудомъ красоты. ума и чувства, если бъзаморскій басурманъ, при номощи безмозглей французской головы, чуткаго ивменкаго неса, съ ослиными ушами и туго-набитаго англійскаго живота, не выръзалъ изъ нея души и сердца и не превратилъ ее въ куклу. Эта скезочка навела насъ на мысль объ уливительной сметливости русскаго челогика всегда выйти эн игээ унин атикэгэ и ыддо аги амынаари на сосћда, то на чорта, а если не на чорта. то на какого-инбудь мусье... Девушка има ло Невскому проспекту съ десятью своимв подругами, въ сопровождении трехъ маменекъ, которыя ум'ян считать телько до десили, какъ ворона умбетъ считать только де четырехъ. Нътъ спера, что полобныя дамы были въ состении лать превосходное воспитание своимъ дочерямъ, еслибъ не подветвулся проклятый басурманъ... Г. Киванель токе, должно быть, воспитанъ былъ басурманами, а оттого и получелъ способность жить только трубкой и дошальни...

И между твиъ, какое положение, екомимо таланта истрачено на эту сказкуј...

Но мы рекомендуемъ читатолямъ вибете этой скарки прочесть деманиною драму—
«Хороше» жалованье, призначая квартира, столъ, осъбисне и отока не», чтобъ наследиться произведенемъ столь за препраснымъ по мысли, сколько и по выполнене Это одно изъ лучинхъ произведеней князи Одоевскаго.

Особенно замъчательна токже последняя статья въ третьей части: «О враждь къ ньесвъщению, замьчаемоя въ новышей литературь». Она была написана еще въ 1836 году и напечатана вь «Современии». Пушкина. Въ ней авторъ нападаетъ на времениую расчетливость изкоторыхъ литераторовъ, неторые льстять невъжеству толиы, браля просвъщение... Увы! съ 1836 г. много веды утекло, и мы жальемъ, что князь Одоевский не передълалъ своей прекрасной стаги. чтобъ воспользоваться огромным в мисжествомъ новыхъ фактовъ о гоненін, возданснутомъ противъ просвъщения и литературы твми же самыми людьми, которые изылваются то учеными, то литераторами. Остроумному и энергичному неру киязя Одоевскаго много дали бы матеріаловъ один такъ-называемые «славянолюбы» и «квасные натріоты», которые во всякой живой, современной человьческой мысли видять вторженіе лукаваго гніющаго Запада.

Статья «О враждё къ просвещенио важна еще и накъ объяснение ивкоторыхъ крктикъ на сочинение князя Одоевскаго. Въ самомъ дёлё, какъ иному критику можно находить что-нибудь хорошее въ сочиненияхъ этого автора, если онъ имѣлъ неудовольствіе вычитать въ нихъ строки о томъ, какъ пимутси у насъ историческіе романы и трагедін,— о томъ, какъ смѣются у насъ надъ умомъ человѣческимъ, называя его надувадой и тому подобнымъ!

Не хотите ли знать, какъ пишутся у насъ исторические романы и трагедии?

"Тогда догадались и напи такъ-называемые сочинители: попробевали- трудно; наконецъ, взялись за умъ, раскрыли "Исторію" Карамзива. выръзали изъ нея ивсколько страницъ, склеили вмысть, и къ неописанной радости сдълалитри открытія: 1) что такее произведеніе, читалели, съ небольнимъ усиліемъ могуть принять за романъ или за трагодію, 2) что съ русскаго переводить гераздо удобиње, вежели съ иностраннаго, и 3) что, следетвенно, сочинять совсемъ не такъ трудно, какъ прежде полагали. Въ самомъ дълъ, смотришь - русскія имена, а та же французска:. мелодрама. И многіе, многіе пустились въ драмы и особенно въ романы; а кризика-этотъ поворъ русской литературы, уставила для сихъ произведеній особыя правила; за ведостаткомъ историческихъ свидътельствъ ръшила, что настоящіе русскіе правы сохранились между ныньшими навозчинами, и всягьдстіе того ссудила какого-либо потомка Ярославичей читать взображение характера своего знаменитаго предка, въ точности списанное съ его кучера; вслъдствіе тахъ же правиль, кто употребляль русскія вмена, того критика называла національнымъ трагиноси, ито безсовъстиве выписываль изъ Караменна, то называла національнымъ романистомъ, в. тг. А, В, в хвастались перетъ читачечини, в читачели радовались, что въ томант изть ви одного слова, которое не было ваято пов истории; многіе находили это средство очень полежнымъ для распространенія историческимъ полианій."

Не хотите ин знать, какъ у насъ обра-

жактся съ наукой?

"Отличительнымъ характеромъ пашихъ сатириковъ сдълалось нопадать ръдко и мътить всегда мимо. Два, три человъка занимаются у насъ агрономіей; благомыслящіе люди дівлають неимовфрныя усилія, чтобъ распространить прямое знаніе о сей наукъ, которое одно можетъ отвратить грозящее нашимъ нивамъ безплодіе; два, три человъна собираются толковать о философскихъ системахъ, по слуху извъстныхъ нашимъ литераторамъ; такъ-называемию ученые (т. с. между литераторами) съ гръхомъ помоламъ щечатся вокругъ словарей и энциклопедій: а наши правоописатели толкують о вредъ, происходящемъ отъ излишней учености, о вредъ машинъ, пишутъ романы в повъсти. комедін, въ которыхъ выводятся на сцену какісто господа Верхоглядовы, не только не существующіе, но не возможные въ Россін; выводятся философы, агрономы, нововводители, какъ булто бы существопаніе этихъ лицъ было характерной чертой въ нашемъ обществъ! Названія наукъ, неизвъстныхъ нашимъ сатирикамъ, служатъ для жихъ обильнымъ источникомъ для шутокъ, словно для школьниковъ, досадующихъ на ученость своего строгаго учителя; лучніе умы нашего и прошедшаго времени: Шампольйонъ, Шеллингъ, Гегель, Гаммеръ, особенно Гаммеръ, снискавшіе признательность всего просв'ященнаго міра, обращены въ предметы дакейскимъ насмещекь; "лакейскихь", говоримь, ибо ин-низмъ ихъ таковъ, что можеть быть переждень

лишь грубымъ, неблагодарнымъ невъжеством Отъ этого созданія въкоторыхъ изъ нашихърома нистовъ доходять до совершенной нелілостя ...

Но воть черта, еще болье характеристическая, и которую особенно следуеть принять къ сведению:

"Любопытиве всего знать: что денали читые ли?.. А читателямъ что за дъло: Выли бы книги Случалось ли вамъ стралимать у дъвушки ведавно вышелней изъ нансіова: какую віл читаете книжку? "Французс уют, отвъчаеть овевъ этомъ отвътъ разгидка венмовърнато усиъх з многихъ книгъ скучныхъ, и авныхъ, папитанныхъ плонаднымъ лухомъ да, читатели хотят читать, и потому читатот чест двигуми я иги права къ объду, -говориян спартавны, -голодъ А печего сказать, обламх: чинателей нолч; ють довольно горыным вельемы; но, вирочем романисты и комики ументь исделаетить еги это зное зелье многимы прихолится по вкус / Вотъ какимъ образомъ это чион ходитъ, Воо разите себъ деревенски, о в маллика, живущая въ степной глуши: от живель весело: но угру они вадить съ собтами, вет ромъ раскладываеть гранъ-пасьянот и въ промежутокъ проматываеть свой доходь въ несли: чато у нег въ деревив изгълниваних и востей, ви знглій. скихъ илуговъ, ни скетирия повъ, ни шкел: ни картојеля; онъ всего повъ перивть н можеть. Помъщикь не въ дуль, да и не мудр: но: земля у пето что-то испортилась; онъ твер, держится тахъ же правиль вы земледыйи, пртерыхъ держанись и долг. и отець его,-и зо мля п въ половину тего ве принссить, что преждел чудное дъло. Да еме съ бо выней досад у сосъда, у которято семли придцате лътъ том. назадъ была гораздо хуже. оч и в справилает. и приносить втрое болье дохода: а разв на этимъ ли соебломъ не смълчен навал добрата помъщикъ, и налъ его изугами. в надъ его экстириаторами, и налъ може выглей, и надъ въязкой! Вотъ къ помъщему прівадаеть ел племянникъ изъ университе:а, видитъ горьго: хозяйство своего дидичики и совитуеть... наче бы вы думали?... совътуеть подражать сосьду. толкуеть дидошкь обь апрочомия, о пъсоведствъ, о чугунемуъ дорогахъ, о несобіяхъ, воторыя правительство щедрей рукей предлагаеть всякому промышленному в ученому чельвъку. Дядюшкъ ото не не сердку: съ горя онъ от-крываетъ инигу, которую рекомендовалъ ем; пріятель наз вемскаго суда, съ когорынь оч с въ близкихъ связихъ по развим: процессимъ Дядюшка читаеть и что же: о восторгъ! о восхищенье! Сочинитель, который напачаталь книгу. и потому, следственно, долженъ быть человъкъ умный, ученый и благомыслящій, говорить чл тателю или, по ярайней марь, чигатель такж понимаеть его: "Повърьте мив, всь учениядураки, всв науки-сущій ведоръ, знаменит: Гаммеръ - невъжда, Шамиольновъ- врадь, Гомфрій Деви вольнодумент: вы, милостивый : сударь, настоящій мудрець, жнипте попремнему, раскладывайте гранъ-пасьянет, не думайте сбвевхъ этихъ шлугахъ, машинахъ, отъ которыхъ происходить только зло; на что вамъ агроном мі она хороша тамъ, глъ мало земли; на что вемл минералогія, зоологія? вы знасте лучшую науку -правдологію..." II помъщикть смівется; одъ понимаеть остроту, онъ очень довомень; дочитываеть прекрасную книгу до конца. Когда тожерить племянникь объ агрономія, онъ обличает: его заблужденіе нечатными строками, рекомы дуеть утвинтельное произведение ев ныв забратіямъ, и у удивленнаго надателя квижотос По числения и син, с чилу темь вы потийм доб, был поменчиеть все смениваети, очносумстве се в чени действими про сейдения молотим с. св затерим безнокойных в голом, во вежи че м. услено ис видеть пини голом, во вежи че м. услено ис видеть пини голом, во вежи че м. услено ис видеть пини голом, во вежи че м. услено во пини своих чениму и лени — ченимиро ченим, инстолици дуга они неко ист. исть ыт мисний своихъ крестиль о гомь, че ме должи свить каргофель, и что вед ченить и ченими остав ить третье и че коль нат т.

комъ пантуть, и видять въ немъ одного изъ сочинителей ихъ собственнаго разряда. Нькоторыя изъ произведений князя Одоевскиго можно находить менье другихъ удачными. но ни въ одномъ изъ нихъ недъзя не признать замвчательнаго таланта, самобытнаго взгляда на вещи, оригинальнаго слога. Что же касается до его лучшихъ произведеній, они обнаруживають въ немь не только инсетеля съ большимъ талангомъ, но п человвка съ глубокимъ, страстнымъ стремленіемъ къ истипь, съ горячимъ и задушевнымъ убъктениемъ, человъка, котораго волнують вопросы времени и котораго вси жизнь принадлежить мысли. Пеуваженіе къ таланту есть признакъ невіжества, а неуваженіе къ живой и страстной мысли человыка показываеть, что въ отношении къ мысли неуважающій «свободенть отъ ностоя». Можно не все чаходить хоронимъ въ талантв, по нельзи не признать таланта; можно не во всемъ согланаться съ мыслящимъ человъкомъ. но нельзя безъ уваженія къ нему даже не со гишаться съ шимь.

## Сочиненія Александра Пушкина.

Свини тербургъ. Отливанить томовъ 1838 - 1811 г. ж

## Обозрѣніе русской литературы етъ Дэржавина до Пушинна.

м вло уже обышам мы полный разборъ сечя предлагаемая статья соть в чало выполнения пашего объщения. эапеливилаго с по причинамъ, изложение моторых в не булеть забув изтишнимъ. Всемь пред чист что долеме томого сочинений Пушишь и ины полів мерти его весьма неfrom to be behave order tourists a ramorpade-"А. ТВ (плочан б л. га некраствыл прифть, эпечатки, а кое гиз и некаженный смысть егиж ж. и редисло июль пьесы расположены н. въ хроно, бистемът порядкъ по времени тув вольдения гольподъ чера автора, а ноу мамъ, ввобобленнымъ Богъ знаетъ чешь. ист жествомът. Но что всего хуже въ этомъ наданія -это его неполнога: пропущены проделять поменненным самими высовоми ви четырехъ-гомиомы собрании его сочинений. не в боря уже с лесахъ, нанечатанныхъ эт. «Современникь и при жизни, и посль жет св. Иувания. Последние три тома сделаны номнагай под телей-кингопродавиевт. жо, рые что могли слыдать, какъ издатели. едилан хороно, т. е. изнали эти три тома

красиво и опрятно, но такъ же ненотно, какъ были изданы (не ими, вирочемъ) первые восемь томовъ. Спрачедливый ронотъ публики, когорая, заплати за одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина шесть тесять пять рублей асе. (сумму, довольно значительную и для кинги, хорошо и полно изданной), все-таки но имѣла въ рукахъ полнаго собранія сочинений Пушкина, -эготъ ропоть, соединенный съ столь же дурным в расходомъ трехт последнихъ, какъ и восьми первыхъ томовъ, и справодливое негодование нькоторыхъ журналистовь на такое оскорбление тып великаго поэта; все это побудило издателей трехъ остальныхъ томовъ сочинений Пункина объщать отдельное дополнение къ нимъ, въ которомъ нублика могда бы найти рънштельно все, что написано Пушкинымъ и что не вошло въ оденналцать томовъ полнаго собранія его сочинскій. А пропущено такъ много, что изъ дополненія вышель бы цѣний томъ, -- и тогда полное собрание сочиненій Пушкина состояло бы пока изъ двънадцати томовъ. Говоримъ-пока, ибо въ рукониси остаются еще матеріалы къ исторік Петра Великаго, предпринятой Пушкинымь. Говорить, что этихъ матеріаловь стало бы на добрый томъ, и только одному Бо-

<sup>)</sup> Четыре горым статьи этого разбора были попечатаны вы "Отечественныхъ Запискахъ" 384 г.; статьи 5, о. 7 и 8—1844 года, статьи 9 и 10—въ 1845, а статьи 11—въ 1846 году.

гу извъстно, когда русская публика дожлется этого тома... Итакъ, пока хорошо было бы дождаться хоть дополненія-то, об'вщаннаго издателями трехъ последнихъ томовъ. О немъ много толковали, и мы даже видъли опыты приготовленія къ этому ділу, которое интересовало насъ еще и какъ удобный предлогь къ началу объщанной нами статьи о Пушкнив. Но время шло, а вожделънное дополнение не являлось, и мы, право, не знаемъ, явится ли оно когда-нибудь; если же явится, то не потребуеть ли еще другого дополненія?.. Это решило насъ, не дожидансь исполнения чужихъ объщаний, приняться, наконець, за пеполнение своихъ собственныхъ.

Но кром'в того была и еще другая, болье важная, такъ сказать, болье внутренняя причина нашей медленности. Година безвременной смерти Пушкина съ теченіемъ дней отодвигается отъ настоящаго все далве и далве, нечувствительно привыкають смотреть на поэтическое поприще Пушкина не какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполнь. Много творческихъ тайнъ упесъ съ собой въ раниюю могилу этотъ могучій поэтическій духъ; -- но не тайну своего правственнаго развитія, когорое достигло своей апоген, п потому объщало только рядъ великихъ въ художественномъ отношени созданій, но уже не обыцало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывлется не только новыми твореніями, по и новымъ духомъ. Исключительные поклониики Пушкина, съ нимъ вмъсть вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшіеся эстетически, уже різко отдъляются отъ новаго нокольнія своей закеснълостью и своей тупостью въ дъль разумьнія смінившихъ Пушкина корифесвъ русской литературы. Съ другой стороны, новое покольніе, развившееся на почвъ повой обиноственности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатавий оть новзін Гоголя и Лерм энтова, высоко цвия Пушкина, въ то же время судить о немь безпристрастно и спокойно. Это значить, что общество деижется. идеть впередъ черезъ свой вычный процессъ обновленія пекольній, и что для Пушкина настаеть уже потометво. На Руси все растеть не по годамъ, а по часамъ, и иять дыть для нея-почти выкь. Но новое микніе о такомъ великомъ явленіи, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругь и явиться совсемь готовое; но какъ все живое, оно должно было развиться изъ самой жизни общества: каждый новый день, каждый новый факть въ жизии и въ литературф должиы были изминять и образь возэрвнія на

По мірт того, какъ рождались вь обще-

отвы новыя погребнести. папъ вамычился егхарактеръ и овладъвали умомъ его новых думы, а сердце волновала новым печали. новый надежды, порожденных совокупностывсьхъ фактовъ его двиму ченем жизни, -- всь стали чувствовать, что Изликинъ, не утрачиная въ настоящемъ и булушемъ своетс значенія, какъ поэть воликій, тімъ не менье быль и поэтомь своего времени, своей энохи, и что это времи уже проинде. это эпоха смінцавсь другов, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслідствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства ужвъ двойственномъ видъ: это уже не исътъ. безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ быль для прошедикго, но ноэть, въ которомъ есть достопнетел безусловныя и достоинства временныя, исторый имбеть значение артистическое и значеніе историческое, - словомъ, полть, только одной стороной принадлежащій настоящему и будущему, которыя болве или менве удевлетворяются и будуть удовлетворяться имъ. а другой, большей и значительный шей отороной внолив удовлетворнений своему настоящему, которое онъ вполнъ выразилъ Т которое для насъ--уже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадаежаль къчислу тых творческихъ геніевь, тахъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, пріугоговиноть будущее, и по тому самому уже не могуть принадлежать только одному проинединему: но въ томъ-то и состопть задача здравой критики, что оп: должна определить значение поэта и для его настоящаго, и для будущаго, его жеторическое и его безусловное художественное значение. Задача эта не можеть быть ръшена однажды навсегда на основани чистаго разума: нъть, ръшение ен должно быть результатомъ историческаго движенія общества. Тымъ выше явленіе, тымь оно жизненпре, а прит жизненире ивление, трит болве зависить его сознание отъ движения и развлтія самой жизни. Лучшее, что можно спавать въ похедлу Пункину и въ доказательство его величія. -то, что при самомъ ноявленіп его на поэтическую арену, онъ встрьченъ быть и безусловными похвалами необдуманнаго энтузіазма, и ожесточенной бранью людей, которые въ рождении его ностической славы увидели смерть старыхь литературных в понятій, а вмість съ ничи и свою правственную смерть, что запальчивые крики похвадъ и порицаний не умолчали не на минуту ни въ продолжение всей его жизни, ни посль самой его жизин, и что каждое новое произведение его было яблоковъ раздора и для нублики, и для привилегированныхъ судей литературныхъ. Теперь утика-

жть эти прики: знакь, что для Пункциа тастало потоменво, ное запальчивость при мивній существуєть только для предметовъ толь блазичь изавить современниковъ, что им не въ состоянім видьть ихъ исно и тполив не причинь самей этой близости. Гудь современинковь быслеть пристрасень; однако жь въ его пристрастін всегда бываеть евоя законная и основательная причиность, объяснение которой есть тоже за-289а ИСТИНЕСА Критики.

На одно провиведение Иуппинна - ни даже -гамъ «Опътянь» — не произвело столько шума и криковъ, какъ «Русланъ и Людинла»: здан видьян зъ немъ всличаниее создание творческаго генія, другіе - нарушеніе всіхь правиль віклики, оскербленіе здраваго эстелическаго вичеа. То и другое мивніе теперь могло бы показаться равно нельнымъ, если же подверенуть ихъ историческому раземорвнію, которое покажеть, что въ нахъ оботахъ былъ смыслъ и сба они до извъстной тенени были справедливы и основательны. Тля нась теперь Русланъ и Людинла» - не больше какъ сказка. лишенияя колорита мъстности, втемени, народности, а потому и неправдополобная: несмотья на прекрасные чили, которыми она написана, и проблески поэзін, которыми она поражаеть местами, ча колодна, не признание самого поэта! и эъ наше время не у всякаго даже юноши танеть охогы и терпіній прочесть ее всю, чть начала до конна. Противъ этого едва .ти ито станеть теперь спорить. Но вь то время, когда явилась эта поэма въ свъть, ча дъйствитем по должна была показаться необыкновенно великимъ созданіемъ пскусства. Вепоминго, что до нея пользовались ещ безотчетнымъ уваженіемъ п «Душеньна: Боглановича, и :Двиадцать Спящихъ ДББЪ Муковокаго: какимъ же удивлениемъ дужна была поразыть читателя того времени свасочная посма Пушкина, въ которой вее было такъ ново, такъ оригинально, такъ оботьстительно-и стихъ, которому подобнаго дотоль начего не бывало, стихъ легw'a, и складъ рфчи, и смелость кисти, и яркость прассы, и гранизныя шалости юной фантазін. и пгривое остроуміе, самая вольность не цалому, ренныхъ, но тъмъ не мечье исстических в картинь!.. По всему этому Фуслань и Людинла - токая поэма, явлеміе которой сдіванно опеху въ исторіи русской лигературы. Если бы какой-нибудь даровитый поэть написаль въ наше времи ганую же спазку и гакими же прекрасными зтихами, въ авторъ эгой сказки никто не увидиль бы великаго таланта въ будущемъ, и сказки никто бы читать не сталь; но :Руслянь и Людистах, какъсказка, во время -ог, атимуль в темерь межеть служить до-

казатела твом в того. что не ошиблись предшественныки наши, увидывь въ ней живопророчество появленія великаго пола из Руси. У венкаго времени свои требования, и теперь даже обыкновенному таланту, не только генію, нельзя дебютировать чвив-инфульвъ родъ «Руслана и Людиилы» Пушкина. «Оберона» Виланда, или - ножалуй, и «Отlando Furioso» Apioera: но вев эти неэмы, шуточныя, волинбиым, рыцарскія ж сказочныя, явились въ свое время и подъ этимъ условіемъ прекрасны и достойны вилманія и даже удивленія. Птакъ, юноши двалцатыхъ годовъ сизъ когорыхъ многимъ теперь уже далеко за сорокъ) были правы вь энтузіазмі съ когорымь они ветрілили

«Руслана и Людмилу».

Съ другой стороны, имфла причину в враждебность, съ когорой литературные старовъры встрътили поэму Пушкина: въ ней не было инчего такого, что привыкли она почитать поэзіей: эта поэма была въ пхт глазахъ буйнымъ отрицаніемъ пхъ литературнаго корана. Такъ-называемая война классицизма (мертвой подражательности утвержденнымъ формамъ) съ романтизмомъ (стремленіемъ къ свободѣ и оригинальности формъ) была у насъ отголоскомъ такон же войны въ Европъ и первая полма Пушкина посдужила поводомъ къ началу этой войны, пережитой Пунимнымъ. Стадовавния затъмъ поэмы и лирическія стихотворенія Пушкина быди для него рядомъ поэтпческихъ тріумфовъ. Энтузіасты провозгласили его съверным в Байрономъ, представителемъ современнаго человичества Причиной этого неудачнаго сравиенія было не одно то, что Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушкинъ быть на Руси полнымъ выразителемь своей эпохи. Однакомъ какъ скоро начало устанавляваться въ немь брожено кипучей молодости, ъ субъективное стремление начало исчезать вт. чисто-художественномь направленін, —кь нему стали охладьвать, толна ожесточенцых з противниковь стата возрастать въ чискъ даже самые поклоницки пли начали примыкать къ толив поринателей, или переходить къ нейгральной сторонв. Наиболье зрыния глубокія в прекрасивнийн созданія Пункина были приняты публикой холодно, а критиками оскорбительно. Н'вкоторые изъ этихъ критиковъ очень удачно воспользовались общимъ расположениемъ въ отношении къ Пушкину, чтобъ отомстить ему или за его къ нимъ презраніе, или за его славу, которая имь почему-то не давала покон, или, наконець, за тяжелые уроки, которые онъ проповедываль имь иногда въ легкихъ стихахъ летучихъ эниграммъ.

Съ другой стороны, люди, искрыние и страсти» любившие искусство, въ холедности

публики къ лучинить созданіямъ Пушкина зидван только одно неввжество толны, увлеизмицейси юноисскими и незрълыми произведеніями, но неуміньнися ціннть обдуманныхь твореній строгаго искусства. Смотря на искусство съ точки првиня исключительвой к односторонней, его жаркіе поборники не котван нонять, что если симпатии и анганатін большинства бывають часто безсознательны, зато ръдко бывають беземыеленны и безосновательны, а, испротивъ, часто заключають въ себь глубоків смысль. Странно же вь самомъ двав сыло думать, чтобъ го самое общество, которое такъ дружно, такъ радостно, словно потрясенное электрическимъ ударомъ, въ нерыви еще разъ въ жизви своей отканкнулось на голосъ пъвца и нарекло его своимь любимымъ, своимъ изроднымъ поэтомъ,-странно было думать, чтобъ то же самое общество вдругъ охололись къ своему поэту за то только, что онъ тозрыть и возмужаль въ своемъ генін, сділален выше и глубже въ своей творческой двагельности: А между тымь это охлажденіз-факть, достоварность котораго можно локазать свидетельствомъ самого поэта въ его запискахъ: въ ивкоторыхъ местахъ «Опъчния», ъъ стихотворении «Полъ» слышится горгизи жалоба оскорбленной народной славы. Изъ этого вельзя было не заключить, что если публика была не совевив права во стеся холодиссти къ посту, то и поэть иле же не быль жертвой ен прихоти и, по инив или безь вины съ своей стороны, но не случайно же, а по какойнибудь причинт, испыталь на себъ ен охлаждение. Но отвыта на эту загадку еще не было: отвътъ скрывался во времени, и тольжо время могло дать его. Безвременная смерть Пунканна еще больше запугала вопросъ: какъ и должно было ожидать, она снова и съ бодыней силон обратила из падшему поэту сочувствие и любовь общества. Восторженные поклонники искусства тымы болье были поражены смертью полна и тьмъ болье скорбын о ней, что вскорь затьмъ появившіяся въ «Современникъ» поемертныя сочинения Пушкина изумили ихъ своимъ жудожественнымы совершенствемы, творческой глубиной. Образь Пушкина, украшенный страдальческой кончинов, предстояль предъ ними во всемъ блескъ поэтической апоосозы: это быль для инхъ не только великій русскій поэтъ своего времени, но и великій пооть вейхь народовь и вейхь выковъ, геній европейскій, слава всемірная... Но не успъло еще войти въ свои берега раводнованное утратой поэта чувство общества, какъ подняла свое жумижаще и шингьміе на страдальческую тынь великаго злонамятная посредственность, мучимая болью

отъ глубокихъ царанинъ, еще незаживнихъ стедовъ левиныхъ когтей... ()на начала и прямо, и косвенно толковать о поэтическихъ заслугахъ Пушкина, стараясь унизать ихъ: невионадъ и кстати начала сраввивать Пушкина и съ Мининымъ, и съ Пожарсками съ Суворовымъ, вийсто того чтоль срав имвать его съ поэтами своей родины... П. добным нелъпости не заслуживали бы инчего, кром'ь презранія, какъ выраженіе безсильной злобы; но веселое скаканіе водовозныхъ существъ на могиль надшаго въ бою льва возмушаеть душу, какъ зрълище неприлитное и отвратительное, а наглее безстыдство назости имфеть свойство выводить изъ терпънія достопиство, сильное одной петиной... Мудрено ли, что и такое инчтожное само по себъ обстоятельство, раздражая людей, способныхъ понять и оценить Пушкана какъ должио, только болёе и болье увлекало ихъ въ благородномъ, но вмёсть съ темъ и безотчетномъ удивленій къ великому но-3TT?...

Между тымъ время шло впередъ, а съ нимъ има виередъ и жизнь, порождая изъ себя новыя явленія, дающія сознанію нов зе факты и подвигающія его на пути развитін. Общестью русское съ невольнымъ удивленіемъ, полнымъ ожиданія и надежды чегото великаго, обратило взоры на новаго поэта. смъло и гордо открывшаго ему новыя стороны жизни и некусства. Равенъ ли по силь таланта, или еще выше Пушкина былъ Лермонговъ-не въ томъ вопросъ: несомавние телько, что даже и не булучи выше Пушкина. Лермонтовъ призванъ быдъ выразить собой и удовлетворить своей поэзіей насравнение высшее по своимъ требованіямъ и своему характеру время, чинь то, котораго выраженіемъ была ползія Иушкина. И менте чемъ вь какія-нибудь пять літь, щ отекшія оть смерти Цушкина, русское общество успано и радостно встръгить пышный восходъ, в горестно проводить безвременный закатъ неваго солниа своей поэзін!.. Другой ноэть, вышедній на литературное поприще при жизни Пушкина и привытствованный имъ, какъ великая надеж та будущаго, послё долгаго и скорбнаго, безмодвія, подариль, наконець, публику такимъ творениемъ, которое должно составить эноху и въ льтописяхъ литературы, и въ льтописих в развития общественнаго сознания... Все это было безмольной, фактической философіей самой жизни и самого времени для рвиенія вопроса о Иупкинь. Толки о Пушкинь, наконець, прекрагились, но не потому, чтобъ вопрось о немъ переставаль интересовать публику, а нотому, что нублика не хочеть уже слышай повторения старыхъ, односгороныму мивши, требул мивнія поваго и независимаго отъ предупи скленій въ мольву или несыгоду нерга. Повторлемы: миви. это могло выработаться только временемь и времени, и-чуждые ложнаго стыда.не побоимся сказать, что одной изъ главныхъ причинь, почему не могли мы ранье выполнить своего объщния нашимъ читателямь масательно зазбора сочиненій Пушкина, было совнание немености и неопределенности собственнаго нашего попятія о значеній этого поэта. Знаемъ, что такое признание пробудить остроуміе нашихъ доброжелателей: вь добрый часъ — нусть еебъ острятея! Мы не завидуемь готовымъ натурамь, которыя все узнають за одинь присветь и, узнавин разъ, одинаково думають о предметь всю жизнь свою, хвалясь неизмънчивостью своихъ мивній и неспособностью синпбаться. Да, не завидуемъ, нбо глубоко убъждены, что только тотъ не оппибался въ петинь, кто не пекаль истины, и только тоть не измёня в своихъ убъжденій, въ комъ ибть потребнооти и жажды убъкденія: петорія, фалософія и искусство — не то, что математика съ еп въчными неподвижными истинами: движение математиен, какъ науки, состоять не ыъ движени ея истинъ, а въ открыни новыхъ и кратчайшихъ путей къ достижению пенамънныхъ результатовъ. Въ царствь математики ивть случайности и произвола, зато ивть и жизни; но исторія, философія и искусство живуть какъ природа, какъ духъ человъческій. выражаемые ими, живутъ, вбчно измвняясь и обновляясь; ихъ единство скрыто въ иногоразличии и разнообразии, необходимость въ свободь, разумность — въ случайности. Кто хочеть уловлять своимъ сознаниемъ законы ихъ развитія. тотъ самъ, подобно имь, долженъ газвиваться и доходить до резуль татовъ истины не въ легкомъ наслаждении апатического спокойствія, а въбользняхъ и мукахъ рожденія: зерно исгины въ благодатной дунь то же, что младенець въ у гробьматери,предметь изаменной любви и трудныхъ попеченій, источникъ блаженства и скоро й...

Кром в того насъ останавлива и еще предын замышляемой нами статьи. Набазодая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были вы прошедмемъ отыскивать причины настоящаго и прозръвать въ поторическую связь явленій. Чамъ болбе думали мы о Пушкинь, темъ глубже прозръвали въ живую связь его съ проинединить и настоящимъ русской литературы и убъждались, что писать о Пушкинъзначить писать о цьтой русской литературь, ибо накъ прежије писатели русскје объясияють Пушкина, такъ Пушкинъ объясияетъ последовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истиниа, столько и утжинтельна: она показываеть, что, несмотря на бълность нашей литературы, въ ней есть жи меньное движение и органическое раз истіе, одбаственно, у неи есть исгорія. Мы долени оть самолюбивой мысли удовлетворительно развить это воззріние на русскую литературу и желаемь только одного - хоть наменнуть на это воззріние и проложить другимь дорогу тамь. гді еще не протоптане и тропники. Пусть другіе сділають это дучие нась: мы нервые порадуемся ихъ успіху, в сами для себя будемь довольны и тімь, если намь наменомь на это воззрініе удастся положить конець старымь толькамь о русской литературі и произвольнымь личнымь оущеннямь о русскихъ писагеляхь...

Вотъ для чего, приступая къ кригическом; раземотренію сочиненій Пушкина, мы почин за необходимое сперва обозрѣть ходъ и раввитіе русской поэзін (пбо предметь нашихъ статей будеть не литература въ обширномъ смысять, а только поэзія русская) съ самаго ея начала. Выходъ новаго изданія сочиненій Гержавина доставиль намъ удобный случай взглянуть съ нашей точки зрблія на его творенія, и нашу статью о Державинів чи считлемь началомь статьи о Пушкинь, вочему и намфрены связать обвоти стагьи обзоромъ негорическаго развигія русской поэзів отъ Державина до Пушкина, через что статы: наша о Державнић будетъ еще поночнена и уяснена сбитей и рей, которая должик быть основой всего ряда этихъ статей, образующихъ собой критическую исторіж «изящной литературы» русской. Всейдь эт статьями о Пушкинь, мы немедление ириступимъ къ разбору (тоже давно нами объщанному) сочиненій Гоголя в Лермонтовь. И хотя въ нашемъ журналь не разъ к не мато быто говорено объ этихъ писте-

Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе. Это обстоятельство даста особенный характеръ ей самой и ея исторін; не понять этого обстоятельства или не обратать на него всего впиманія - значить не ненять ин русской литературы, ни исторіи. Мыначали ея характеристику сравнениемъ -- Е продолжимъ сравненіемъ же. Один растемін, будучи перенесены въ повый климать г пересажены въ ковую почву, сохраниять звой прежній видь и свои прежнія качества: другія изміняются въ томъ и другомъ но вліннію ил инхъ новаго климата и новой почил Русская литература можеть быть сравниваема съ растеніями вгорого рода. Ен исторія, особенно до Пушкина (отчасти еще н до сихъ поры), состоить въ постоянномъ стремленіи — отръшиться отъ результатовъ искусственной пересадки, взять кории въ новой почвё и украниться ея интательными

лихь, -однако же объщаемыя статьи инсполь-

ко не будугъ повтореніемъ сиззаниате.

соками. Идея поэзін была выписана въ Россью по почтъ изъ Европы и явилась у насъ какъ заморское пововведение. Ее понимали, какъ искусство слагать вирши на разные торжественные случан. Тредьяковскій быль привилегированнымъ придворнымъ пінтой и «воспъвалъ» даже балы и маскарады придворные, словно какъ государственныя событія. Ломоносовъ, первый русскій поэть, тоже понималь поэзію, какь «воспѣваніе» торжественныхъ случаевъ, и перван ода его (и въ то же время первое русское стихотвореніе, написанное правпльнымъ разміромъ) была пъснью на взятіе русскими войсками Хотина. Это было въ 1738 г.; стало быть, теперь этому сто четыре года. Впрочемъ, «пѣснопѣвческій и воспѣвательный» взглядъ на поэзію созданъ не нашими первыми поэтами: такъ смотръли тогда на поэзію по всей просвіщенной Европі. Всеобщей извъстностью тогда пользовались только древнія литературы, изъ которыхъ греческая была или по наслышкъ извъстна, или искаженно и превратно понимаема, а датинская, лучше знаемая и болье доступная и любимая, считалась идеаломъ всякой изящной литературы. Изъ новейшихъ литературъ пользовались всеобщей извъстностью только французская и итальянская, особенно первая, ибо она наиболье находилась поль вліяміемъ латинской, по крайней мірь, во внішнихъ формахъ. Нёмецкой изящной литературы тогда еще не существовало; испанская и англійская не были извѣстны за предѣлами своихъ земель.

Итакъ, изъ новъйшихъ литературъ франпузская царила надъ всеми другими, гордо презирая англійскую и испанскую, какъ выраженіе крайняго безвкусія, почитая Данта уродинвымъ поэтомъ и восхищаясь по-своему Пеграркой и Тассомъ. Вліяніе древнихъ литературъ на французскую (а слъдовательно, и на всѣ другія въ Европѣ того времени) стояло въ условныхъ понятіяхъ о высшей формъ поэтическихъ произведеній и уподобленіяхъ кстати и не кстати изъ языческой минологіи. У древнихъ стихи не читались, а говорились речитативомъ съ аккомианьеманомъ музыкального инструмента-лиры; оттого у древнихъ «пѣть» — значило въ переносномъ значеніи «сочинять стихи». Въ новомъ міръ стихи не пълись, а читались, и лиры совсемь не существовало; но приличе требовало, чтобъ въ стихахъ не обходилось безъ «ною» и «лиры». Миоологія была выраженіемъ жизни древнихъ, и ихъ боги были не аллегорінми, не символами, не риторическими фигурами, а живыми понятіями въ живыхъ образахъ. Въ новомъ мірѣ царпла религія Христа и, стало быть, боговъ не было; но, песмотри на то, нельзи было напи-

сать никакого стихотворенія, гда бы не страляли изълука Амуры и Купидоны, не выли Бореи, Нептунъ не воздымалъ моря, Зефпры не дышали прохладой и т. д. А почему?-Потому что такъ было у грековъ и римлянъ! По воззрѣнію грековъ, трагедія могла быть только апооеозой государственной жизни, а оттого у нихъ дъйствовали въ ней только представители стихій государственности: цари, герои, военачальники, правители, жрецы (а по связи ихъ жизни съ религіей и боги); народъ же могъ присутствовать на сценъ только въ видъ хора, выражавшаго лирическими изліяніями свое участіе не въ происходящемъ передъ его глазами событія, но свое участіе къ происходившему передъ его глазами событию. Единство основной идеи считалось у грековъ столько необходимымъ условіемъ для трагедін, какъ и для всякаго другого произведенія поэзін; единство же міста и времени отнюдь не считалось необходимостью, но часто соблюдалось какъ по простоть и немногосложности действія, такъ и по обширности сцены. Драматурги новъйшаго міра поняди это по-своему. Набожно хранили они въ трагедіи правило тріединства; допускали въ нее только царей и героевъ съ ихъ наперсинками, а изъ простого народа позволяли появляться на сцень однимъ «въстникамъ». Воть что значить принять факть за идею! Созданія греческой поэзін, вышедшія изъ жизни грековъ и выразившія ее собой, показались для новыхъ поэтовъ нормой и первообразомъ для поэзін народовъ другой религін, другого образованія, другого времени! Это особенно видно изъ понятія псевдоклассиковъ объ эпосъ: греческій эпось «Иліаду» и рабскій сколокъ съ нея — «Эненду» приняли они за эпосъ всеобщій и думали, что до окончанія міра всь эпическія поэмы должны писаться по ихъ образцу, безъ мальйшаго отступленія, даже начинаться не иначе какъ «муза, воспой». или «пою». Поэтому истинная «Иліада» среднихъ вѣковъ-«Божественная Комедія» Данта, выразнишая собою всю глубину духовной жизни своего времени въ свойственныхъ этой жизни и этому времени формахъ, казалась имъ не эппческой поэмой, а уродливымъ произведеніемъ. Да и какъ могло быть пначе?-она начиналась не съ глагода «пою» и называлась -о, ужась! - комедіей!.. Эпическая поэвія, по понятію псевдо-классиковъ, должна была «воспъвать» какое-пибудь великое событие въ жизни человъчества или въ жизни народа,-и въ какую бы эноху, у какого бы народа ни произопило это событе, оно должно быть наряжено въ багряницу или тогу, лишиться мъстнаго колорита, приводиться въ движение сверхъестественными силами, выражаться напыщенно и безцвѣтно, — чего необходимо требуеть всякая поддѣлка подъ чужую форму и тѣмъ болѣе подъ чужую жизнь. Воть происхожденіе р ито р и ч е с к о й поэзіи. Основаніе ея — отложеніе отъ жизни, отпаденіе отъ дѣйствительности; характерь — ложь и общія мѣста. Такая-то поэзія была перенесена на Русь.

Домоносовъ былъ первымъ основателемъ русской поэзін и первымъ поэтомъ Руси. Для насъ теперь непонятна такая поэзін: она не оживляеть нашего воображенія, не шевелить сердца, а только производить въ насъ скуку и зъвоту. Но если сравнивать Ломоносова съ Сумароковымъ и Херасковымь — стихотворцами, вышедшими на поприще послъ него, то нельзя не признать въ Ломоносовъ значительнаго дарованія, которое пробивается даже въ ложныхъ формахъ риторической поэзін того времени. Только одинъ Державинъ былъ несравненно больше поэть, чёмъ Ломоносовъ: до Державина же Ломоносову не было никакихъ соперниковъ, и хоти Сумароковъ и Херасковъ цънились современниками не ниже его, но имъ до него-

Какъ до звъзды небесной далеко!

Сравнительно съ ними, языкъ его чистъ и благороденъ, слогъ точенъ и силенъ, стихъ исполненъ блеска и паренія. Если же не всякій могь такъ писать, какъ Ломоносовъ, вначить — нужно имьть таланть, чтобъ писать такъ, какъ писалъ онъ. Поэзія Корпеля и Расина для насъ — ложная риторическая поэзія, и намъ отъ нея спится такъ же сладко, какъ и отъ поэзіи Сумарокова, но, чтобъ и теперь писать такъ, какъ писали въ свое время Корнель и Расинъ, надо имъть большой таланть; писать же такъ, какъ Писалъ Сумароковъ, не нужно было никакого таланта и въ его время, а нужна была тольно охота и страсть къ писанию. Въ одахъ Ломоносова: «Къ Іову», «Утреннее» и «Вечернее размышленіе о величествъ Божіемъ», кромъ замъчательнаго искусства версификаціи, видны еще одушевленіе и чувство, чего незамътно ни въ одномъ стихотвореніи Сумарокова или Хераскова. Поэзія Ломоносова — хвалебная и торжественная по преимуществу. Сумароковъ писаль по крайней мъръ комедіи, эклоги, сатиры, кром'в трагедій и одъ; Ломоносовъ инсаль только оды, и кромъ нихъ написалъ двѣ трагедін, да неоконченную поэму «Петріаду». Таковь быль духь времени; такъ понимали тогда поэзію въ Европъ, и разстояніе между «Петріядой» Ломоносова и «Генріадой» Вольтера, право, не велико. Въ «Петріадъ» Ломоносовъ описываеть дворень Нептуна на днъ Бълаго моря: нашъ поэть не подумаль о томъ, что отвелъ слиш-

комъ холодную квартиру обитателю Средиземнаго моря и греческаго архинедага. Петръ Великій и--Нептунь, морской богь древнихъ грековъ, какое сближение! Понятно, почему не кончилъ Ломоносовъ своей дикой, напыщенной поэмы: у него было отъ природы столько здраваго смысла и ума, что онъ не могъ кончить подобнаго tour de force всображенія, поднятаго на дыбы. Трагедін Ломоносова похожи на его «Петріаду». Сумароковъ писалъ во всёхъ родахъ, чтобъ сравняться съ господиномъ Вольтеромъ, и во всёхъ равно быль безталантенъ. Но о поэзін тогда думали иначе, нежели думаютъ теперь, и, при страсти къ писанію и раздражительномъ самолюбін, трудно было не одблаться великимъ геніемъ. Современники были безъ ума отъ Сумарокова. Воть что говорить о немъ одинъ изъ замвчательнвишихъ и умивищихъ людей Екатерининскихъ временъ, Новиковъ, въ своемъ «Опытъ историческаго словаря о россійскихъ инсате-

Различныхъ родовъ стихотворными и прозаическими сочиненіями пріобръль онъ себъ великую и бевсмертную славу не только оть россіянъ, но и отъ чужестранныхъ академій и славнъйшихъ европейскихъ писателей. И хотя первый изъ россіянь онъ началь писать трагедіи по всвыть правиламъ театральнаго искусства, но столько успълъ въ оныхъ, что заслужилъ название съвернаго Расина. Его эклоги равияются знающими людьми съ Виргиліевыми и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ россійскаго Парнаса; и въ семъ родъ стихотвореніями далеко превосходить онъ Федра и де-на-Фонтена, славнъйшихъ въ семъ родъ. Впрочемъ, всъ его сочиненія любителями россійскаго стихотворства весьма много почитаются." (Стр. 207—208).

Такія похвалы Сумарокову теперь, конечно, очень смінны, но оні иміють свой смысль и свое основаніе, доказывая, какъ важны, полезны и дороги для успіховъ литературы ті смілые и неутомимые труженики, которые въ простоті сердца принимають свою страсть къ бумагомаранію ва великій таланть. При всей своей бездарности, Сумароковъ много способствоваль къ распространенію на Руси охоты къ чтенію и къ театру. Современники дорожать такіми людьми, добродушно удивляясь имъ. какъ геніямь. Воть что говорить тоть же Новиковъ о Василіи Кирилловичт Тредья ковскомъ:

"Сей мужъ былъ великаго разума, ммогаго ученія, обширнаго впанія и безпримърнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, итальянскомъ и въ своемъ природномъ языкъ; также въ философіи, богословіи, красноръчіи и въ другихъ наукахъ. Полезными своими трудами пріобрълъ себъ безсмертную славу, и нервый въ Россіи сочинилъ правила новаго россійскаго стихосложенія, много сочинилъ книгъ, а перевель и

того больше, да и столь много, что кажется невозможнымъ, чтобъ одного человъка достало кътому столько силъ; ибо одну древною Ролленеву жеторію неревель онъ два раза... При томъ, не обннуясь, къ его чести сказать можно, что онъ первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а наче къ стихотворству: при чемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворедъ и первый, положившій толико труда и прилежанія въ переводъ на россійскій языкъ преполезныхъ кпигъ" (стр. 118—119).

Мы не безъ намъренія дълаемъ эти выписки; свидътельство современниковъ, какъ всегда пристрастное, не можетъ служить доказательствомъ истины и послъднимъ отвътомъ на вопросъ; но оно всегда должно приниматься въ соображеніе при сужденіи о писателяхъ, ибо въ немъ всегда есть своя часть истины, часто невозможная для потомства. Поэтому мы не разъ еще прибъгнемъ къ подобнымъ выпискамъ въ продолженіе нашей статьи, чтобъ показать ими, какъ смотръли на того или другого писателя его современники, изъ чего нъкоторымъ образомъ можно судить о степени его важности и въ исторіи литературы.

Громкой славой пользовались у знатоковъ и любителей литературы того времени четверо писателей изъ школы Ломоносова — Поповскій, Херасковъ, Петровъ и Костровъ. Поповскій обязанъ своей громкой изв'єстностью въ то время лестнымъ отзывамъ Ломоносова о переведенномъ имъ стихами «Опытъ о Человъкъ» Попа. Вотъ что говорить о Поповскомъ Новиковъ:

"Оныть о человёкё славнаго въ ученомъ свъть Попія перевель опь съ французскаго языка на россійскій сь такимъ искусствомъ, что, по мивнію знающихъ людей, гораздо ближе подошель къ подлиннику и не знавъ англійскаго языка, что доказываеть какъ его ученость, такъ и проинцапіе въ мысли авторскія. Содержаніе сей книги столь важно, что и прозой исправно неревести ее трудно, но онъ неревель сь французскаго, перевель въстихи и перевель съ совершеннымъ искусствомъ, какъ философъ и стихотворецъ; папечатапа сія книга въ Москвъ 1757 года. Онъ переложилъ съ латинскаго языка въ латинскіе стихи Гораціеву эпистолу о стихотворствъ и нъсколько изъ его одъ; также перевелъ прозой книгу о воспитани дътей, состоящую въ двухъ частяхъ, славнаго Лока: сей переводъ, по мнюнію знающих людей, едва не превосходить ли и подлинникь. Онъ сочиния в въсколько ръчей, читапныхъ въ публичныхъ собраніяхъ, и также писалъ торжественныя оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображенія просты, ясны, пріятны и превосходны" (стр. 168—169).

Поповскій умерь 30 літь и сжегь свой переводь Тита Ливія (котораго перевель больше половины) и переводь многихь одъ Апакреона, будучи педоволень своими переводами и боясь, чтобы послів его смерти они не были напечатаны. Стихи Поповскаго, по своему времени, дітвительно хороши, а недовольство его песовершенствомь трудовъ

своихъ еще болве обнаруживаеть въ немъ человска съ дарованіемъ. Замвчательно, что многія мвста переведеннаго имъ «Опыта» были не пропущены тогдашней цензурой.

Херасковъ написалъ цёлыхъ двёнадцать томовъ. Онъ былъ и эпикъ, и лирикъ, и трагикъ, писалъ даже «слезныя драмы» и комедін, и во всемъ этомъ обнаружилъ большую страсть къ литературъ, большое добродушіе, большое трудолюбіе и-большую безталантность. Но современники думали о немъ иначе п смотрѣли на него съ какимъ-то робкимъ благоговъніемъ, какого не возбуждали въ нихъ ни Ломоносовъ, ни Державинъ. Причиной этого было то, что Херасковъ подарилъ Россію двуми эпическими или героическими поэмами-«Россіадой» и «Владиміромъ». Эпическая поэма считалась тогда высшимъ родомъ поэзіи, и не имъть хоть одной поэмы народу-значило тогда не имъть поэзіи. Какова же должна быть гордость отцовъ нашихъ, которые знали, что у птальянцевъ была одна только поэма - «Освобожденный Герусалимъ», у англичанъ тоже одна-«Потерянный Рай», у французовъ одна, и то недавно написанная, - «Генріада», у нъмцевъ одна, почти въ одно время съ поэмами Хераскова написаннан, -- «Мессіада», даже у самихъ римлянъ только одна поэма, а у насъ, русскихъ, такъ же какъ и грековъ, цълыя двь! Каковы эти поэмы, -обь этомъ не разсуждали, темъ более, что никому въ голову не приходила мысль о возможности усомниться въ ихъ высокомъ достоинствъ. Самъ Державинъ смотръль на Хераскова съ благоговъніемъ и разъ, безъ умысла, написалъ мадригалъ въ стихотвореніи «Ключь», который оканчивается следующими стихами:

Творца безсмертной "Россіады", Священный Гребеневскій ключь, Поиль водою ты стихотворства.

Дмитріевъ такъ выразиль свое удивленіе къ Хераскову въ этой надписи къ его портрету:

Пускай отъ зависти сердца зоиловъ ноютъ; Хераскову они вреда не принесуть: Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Мы увидимъ ниже, какъ долго еще продолжалось мистическое уважение къ творцу «Россіады» и «Владиміра», несмотря на сильныя возстанія противъ его авторитета нѣкоторыхъ дерзкихъ умовъ: оно совершенно окончилось только при появленіи Пушкина. Причина этого мистическаго уваженія къ Хераскову заключается въ риторическомъ направленіи, глубоко охватившемъ нашу литературу. Кромъ этихъ двухъ стихотворныхъ поэмъ, Херасковъ написалъ еще три поэмы въ прозъ: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармонія» и «Нума Помиилій, или Процвытающій Римъ». «Похожденія Телемака» Фенедона, «Гонзальвъ Кордуанскій» и «Нума Поминлій» Флоріана были образцами прозаическихъ поэмъ Хераскова. Замъчательно предисловіе автора къ первой изъ нихъ: «Миъ совътовали переложить сіе сочинение стихами, дабы видъ эпической поэмы оно пріяло. Надітось, могуть читатели поверпть мне, что я въ состояніи быль издать сіе сочиненіе стихами; но я не поэму писаль, а хотель сочинить простую токмо повесть, которая для стихословія не есть удобна. Кому извъстны пінтическія правила, тоть при чтеніп сей книги почувствуєть, для чего не стихами она написана.» Далъе Херасковъ возстаетъ противъ мпѣнія Тредьяковскаго, утверждавшаго, что поэмы должны писаться безъ рпомъ, и что «Телемакъ» именно потому не ниже «Пліады», «Одиссеи» и «Энеиды» и выше всёхъ другихъ поэмъ, что писанъ безъ риемъ. Дътское простодушие этихъ мненій и споровъ дучше всего показываеть, какъ далеки были словесники того времени оть истиннаго понятія о поэзіп, и до какой степени видъли они въ ней одну риторику. Въ «Полидорь» особенно замъчательно внезапное обращение Хераскова къ русскимъ писателямъ. Имена ихъ означены только заглавными буквами-характеристическая черта того времени, чрезвычайно скрупулезнаго въ дълъ печати. Но мы выпишемъ ихъ имена вполнъ, кромь тыхь, которыя трудно угадать:

"Такова есть сила ивснословія, что боги сами восхищаются привлекательнымъ музъ пъніемъ, музъ небесныхъ, пиринества ихъ на холмистомъ Олимпъ сопровождающихъ; и кто по восхитится стройностью лиръ пріятныхъ? чье сердце не тронется сладостнымъ гласомъ музами вдохновенныхъ пінтовъ!-сердце суровое и нечувствительное, единый наружный токмо слухъ имбющее, или пріятности стихотворства ощущать не сотворенное. Можеть ли чувствительная душа, можеть ли въ восторгъ не прійти, внимая громкому и важному птнію наперсника музь, нарящаго Ломоносова? Можетъ ли кто не плъниться пъжными и прілтными твореніями С? \*) Я пою въ моемъ отечествъ, и пінтовъ россійскихъ исчисляю; миъ они путь къ горъ парнасской проложили; свътомъ ихъ озаряемый, воспила я россійскихъ древнихъ царей и героевъ; воситела Кадма не стопосложнымъ, но простымъ слогомъ; нынъ повъствую Полидора, не винмая сужденію нелюбителей россійскаго слова, ни укоризнамъ завистливыхъ человъковъ, въ упижении другихъ славу свою поставляющихъ. Но пусть они гиппокренскаго источника прежде меня достигнутъ, тогда, уступивъ имъ лавры, спокойно за ними послодую; слабыя и недостойныя творенья забвены будуть. А вы, мон предшественники, вы, мои достославные современники, въ намяти нашихъ потомковъ впечатленны и славимы въчно будете, -- и ты, барда времень нашихъ, превосходный пъвецъ н' тщательный списатель кра-

соть натуры! \*) И ты, Державинь, во въки не умрешь по твоему вдохновенному свыше изреченію. Но не давай прохлаждаться священному пламени, въ духъ твоемъ музами воспаленномъ музы не любять, кто, ими призываемъ будучь, ръдко съ ними бесъдуетъ. Тебъ, любимецъ музъ, русскій путешественникъ Карамзинъ; тебъ, чувствительный Нелединскій; тебъ, пріятный цъвецъ Дмитріевъ; тебъ, Богдановичъ, творецъ "Душеньки", и тебъ, Петровъ, инсатель одъ громогласныхъ, важностью преисполненныхъ, то же я въщаю. А вы, юные музъ питомцы, вы, россійскаго пъснопънія любителні шествуйте ко храму ихъ медленно, осторожно и рачительно; онъ воздвигнутъ на горъ высокой; стези къ нему пробирають сквозь скалы крутыя, извитыя, перенутанныя. Достигнувъ парпасскія вершины, изліянный потъ вашъ, реченіе, тщатель пость ваша, осъняющими гору древесами прохлаждены будуть; чело ваше пріосънится вънцемъ неувядаемымъ. Но помятуйте, что ядовитость, самолюбіе и тщеславіе музамъ неприличны суть; онв дввы, и любять непорочность нравовъ, любятъ нъжное сердце, сердце чувствующее, душу мыслящую. Ненивющіе правиль добродътели главнымъ своимъ видомъ, вольнодумцы, горделивые стопослагатели, блага общаго нарушители друзьями ихъ наръчься но могуть. Буди цъломудръ и кротокъ, кто без-смертныя пъсни составлять хочеть! Таковы строги суть уставы горы парпасской, на коей возсъдять безсмертные пінты, витіи и прочіе дру-ги Өнвовы". ("Тв. Хераск." Т. XI, стр. 1—3).

Бъдный Херасковъ! думалъ ли онъ, пиша эти строки, что, всю жизнь свою строго исполнявъ нравственныя правила своей эстетики, онъ тъмъ не менъе самъ будетъ забытъ

неблагодарнымъ потомствомъ?

Странно однако, что отзывъ Новикова о Херасковъ сдёланъ въ довольно умеренныхъ выраженіяхъ: «Вообще сочиненія его весьма много похваляются, а особливо трагедія «Бориславъ»; оды, пъсни, объ поэмы, всъ его сатприческія сочиненія и «Нума Помпилій» приносять ему великую честь и похвалу. Спихотворство его чисто и пріятно, слогъ текущъ и твердъ, изображения сильны и свободны; его оды наполнены стихотворческаго огня, сатирическія сочиненія остроты и пріятныхъ замысловъ, а «Нума Помпилій»философическихъ разсужденій; и онъ по справедливости почитается въ числъ лучшихъ нашихъ стихотворцевъ и заслуживаетъ великую похвалу» (стр. 237).

Петровъ считался громкимъ лирикомъ и остроумнымъ сатирикомъ. Трудно вообразить себъ что-нибудь жестче, грубъе и напыщениве дебелой лиры этого семинарскаго пъвца. Въ одъ его «На побъду россійскаго флота падътурецкимъ» много той напыщенной высокопарности, которая почиталась въ то время

<sup>\*)</sup> Должно быть, дёло идеть о Евстафіи Станешет, весьма плохомь вінть гого времени.

<sup>\*)</sup> Здъсь, въроятно, идеть двло о Воброеть, авторъ описательной поэмы "Херсонида, или пътпій день на полуостровъ Херсопидъ" и разныхъ лирическихъ стихотвореній. Вобровъ замъчателечь тъмъ, что быль знакомъ съ англійской литературой и подражаль ся писателямъ Поновской писолы.

лирическимъ восторгомъ и піитическимъ нареніемъ. И потому эта ода особенно восхищала современниковъ. И дъйствительно, она лучие всего прочаго, написаннаго Петровымъ, потому что все прочее изъ рукъ вонъ плохо. Грубость вкуса и площадность выраженій составляють харантерь даже ніжныхъ его стихотвореній, въ которыхъ онъ воспъвалъ живую жену и умершаго сына своего. Но такова сила преданія: Каченовскій еще въ 1813 году, когда Петрова давно уже не было на свётё, восхваляль его въ своемъ «Вѣстникъ Европы»! Странно, что въ «Опытъ исторического Словаря о россійскихъ писателяхъ» Новиковъ холодно и даже насмъщдиво, а потому и весьма справедливо, отозвался о Петровъ: «Вообще о сочиненіяхъ его сказать можно, что онъ напрягается итти по следамъ россійскаго лирика; и хотя некоторые и называють уже его вторымъ Ломоносовымъ, но для сего сравненія надлежитъ ожидать важнаго какого-нибудь сочиненія, и послѣ того заключительно сказать, будеть ли онъ вгорой Ломоносовъ, или останется только Петровымъ и будетъ имѣть честь слыть подражателемъ Ломоносова» (стр. 163). Этоть отзывь взбёсиль Петрова, и онь ответиль сатирой на «Словарь», ноторая можеть служить образцомъ его сатирическаго остроумія:

..... Я шлюсь на Словаря, Въ немъ имя ты мое найдешь безъ фонаря! Смотритко, тамо я какъ солнышко блистаю! На самой маковкъ Парпаса превитаю! То правда, косна желвь тамъ сдълана орломъ Кукушка лебедемъ, ворона соколомъ; Тамъ монастырскіе запечны лежебоки Пожалованы всъ въ искусники глубоки; Коль върить Словарю, то сколько есть дворовъ, Столь много на Руси великихъ авторовъ; Тамъ подлой на ряду съ писцомъ стоить алыр-

Съ баклагой ебитенцикъ, и водоливъ съ бадьей; А все то авторы, все мужи имениты, Да были до сихъ поръ оплошностью забыты: Теперь свътъ умному обязанъ молодцу, Что полну ихъ именъ составилъ намятцу; Въ дни древни, въ старину жилъ былъ де царь Ватуто,

Онъ быль, да жиль, да быль, и сказка-то вся

Такой то въ эдакомъ писатель жилъ году; Ни строчки на своемъ не издалъ онъ роду; При всемъ томъ слогъ имълъ, повърьте, мололенкой:

Вналь греческій языкъ, китайской и турецкой. Тоть умныхъ сколько-то наткалъ проповъдей: Да ихъ въ печати изть. О! быль онъ грамотый, въ семь годь цвъль Оома, а въ эдакомъ Ерема; Какая же по немь осталася поэма? Слогъ пылокъ у сего и разумъ такъ летучъ, Какъ молнія въ эниръ сверкающа изъ тучъ. Сей первый издаль въ свъть шутливую піэсу, По точнымъ правиламъ и хохота повъсу. Сей надпись начерталъ, а этотъ патерикъ; Въ томъ разума былъ пудъ, а въ этомъ четверикъ.

Тоть истину храпиль, чтиль сердцемь добродётель,
Друзьямь быль вёрный другь и бёднымь благодётель;
Въ великомъ тёлё духь великой же имёль,
II видя смерть въ глазахь, быль мужествень и смёль.
Словарникь знаеть все, въ комъ умъ глубокъ, въ комъ мелокъ,
Кто съ нимъ ватажился, быль другъ ему и брать,
Во святцахъ тоть его не меньше какъ Сократь.

Костровъ прославилъ себя переводомъ мести пъсенъ «Иліады» мести-стопнымъ ямбомъ. Переводъ жестокъ и дебелъ, Гомера въ немъ иътъ и признаковъ; но онъ такъ хорошо соотвътствовалъ тогдашнимъ понятіямъ о поззіи и Гомеръ, что современники не могли не признавать въ Костровъ огромнаго таланта.

Изъ старой до-Державинской школы пользовался большой извъстностью подражатель Сумарокова — Майковъ. Онъ написалъ двъ трагедіи, сочинялъ оды, посланія, басни, въ особенности прославился двумя такъ-называемыми «комическими» поэмами: «Елисей, или раздраженный Вакхъ» и «Игрокъ Ломбера». Гречъ, составитель послужныхъ и литературныхъ списковъ русскихъ литераторовъ, находитъ въ поэмахъ Майкова «необыкновенный піптическій даръ»; но мы, кромѣ площадныхъ красотъ и веселости дурного тона, ничего въ нихъ не могли найти.

Съ Державина начинается новый періодъ русской поэзін, и какъ Ломоносовъ былъ первымъ ея именемъ, такъ Державинъ былъ вторымъ. Въ лицъ Державина поэзія русская сдінала великій шагь впередъ. Мы сказали, что въ некоторыхъ стихотворныхъ пьесахъ Ломоносова, кромъ замъчательнаго по тому времени совершенства версификаціи, есть еще и одушевленіе, и чувство; но здісь должны прибавить, что характеръ этого одушевленія и этого чувства обнаруживаеть въ Ломоносовъ снорве оратора, чъмъ поэта, и что элементовъ художественныхъ рёшительно не замътно ни въ одномъ его стихотвореніп. Державинъ, напротивъ, чисто художническая натура, поэть по призванію; произведенія его преисполнены элементовъ подзін какъ некусства, и если, несмотря на то, общій и преобладающій характеръ его поэзін-риторическій, въ этомъ виновать не онъ, а его времи. Въ Ложоносовъ боролись два призванія поэта и ученаго, и последнее было сильные перваго; Державины быль только поэть, и больше ничего Въ стихотвореніяхъ его уже нечего удивляться одушевленію и чувству, - это не первое и не лучшее ихъ достоинство: они запечатльны уже высшимъ признакомъ искусства-про-

блесками художественности. Муза Державина сочувствовала музь эллинской, цариць всьхъ музь, и въ его анакреонтическихъ одахъ промелькивають пластические и граціозные образы древней антологической поэзін; а Державинъ между тъмъ не только не зналъ древнихъ языковъ, но и вообще дишенъ быль всякаго образованія. Потомъ въ его стих створеніях в нерадко встрачаются образы н картины чисто русской природы, выраженные со всей оригинальностью русскаго ума и рѣчи. И если все это только промелькиваеть и проблескиваеть, какъ элементы и частности, а не является цълымъ и оконченнымъ, какъ созданія выдержанныя и полныя, такъ что Державина должно читать всего, чтобы изъ разсеянныхъ месть въ четырехъ томахъ его сочинений составить понятіе о характеръ его поэзін, а ни на одно стихотворение нельзя указать, какъ на художественное произведение, причина этому, повторяемъ, не въ недостаткъ или слабости таланта этого богатыря нашей поэзіп, а въ историческомъ положени и литературы, и общества :того времени. Посъянное Ека териной II возросло уже посль нея, а при ней вся жизнь русскаго общества была сосредоточена въ высшемъ сословін, тогда какъ всв прочін были погружены во мракв неввжества и необразованности. Следовательно, общественная жизнь (какъ совокупность извъстныхъ правилъ и убъжденій, составляющихъ душу всякаго общества человъческаго) не могла дать творчеству Державина обильныхъ матеріаловъ. Хотя онъ и воспользовался всёмь, что только могло оно ему дать, однако этого было достаточно только для того, чтобъ поэзія его, по объему ея содержанія, была глубже и разнообразніве поэзін Ломоносова (поэта временъ Елисаветы), но не для того, чтобъ онъ могь сделаться поэтомъ не одного своего времени. Сверхъ того, такъ какъ всякое развитіе совершается постепенно и последующее всегда испытываеть на себъ неизбъжное вліяніе предшествовавшаго, то Державинъ не могъ, вопреки своей, поэтической натурь, смотрыть на поэзію иначе, какъ съ точки зрѣнія Ломоносова, и не могь не видъть выше себя не только этого учителя русской литературы и поэзій, но даже Хераскова и Петрова. Однимъ словомъ: поэзін Державина была первымъ шагомъ къ переходу вообще русской поэзіи отъ риторики къ жизни, но не больше.

Мы здась только повторнемь, для связи настоящей статьи, resumé нашего воззранія на Державина: кто хочеть доказательствь, такъ отсылаемь къ нашей стать о Державина

Важное мёсто долженъ занимать въ исторіи русской литературы еще другой писатель

екатерининскаго въка: мы говоримъ о Фонвизинъ. Но здъсь мы должны на мьнуту воротиться къ началу русской литературы Кромв того обстоятельства, что русская датература была въ своемъ началъ нововведеніемъ и пересадкой, начало ея было ознаменовано еще другимъ обстоятельствомъ, которое темъ важите, что оно вышло изъ историческаго положенія русскаго общества и имвло сильное и благодътельное вліяніе на все дальнъйшее развитіе нашей литературы до этого времени, и досель составляеть одну изъ самыхъ характеристическихъ и оригинальныхъ чертъ ея. Мы разумфемъ здрсь ея сатирическое направление: Первый по времени поэть русскій, писавшій варварскимъ языкомъ и силлабическимъ стихосложениемъ, Кантемиръ, былъ сатирикъ. Если взять въ соображение хаотическое состояние, въ которомъ находилось тогда русское общество. эту борьбу умирающей старины съ возникающимъ новымъ, то недьзя не признать въ поэзіп Кантемира явленія жизненнаго и органическаго, и ничего нътъ естественнъе, какъ явление сатирика въ такомъ обществъ.

Съ легкой руки Кантемира сатира вивдрилась, такъ сказать, въ нравы русской лигературы и имѣла благодѣтельное вліяніе на нравы русскаго общества. Сумароковъ ве гъ ожесточенную войну противъ «кр: павнаго зелья»—лихоимцевъ; Фонвизинъ казнилъ въ своихъ комедіяхъ дикое невъжество стараго покольнія и грубый лоскъ повертно тнаго и внѣшняго европейскаго полуобразованія новыхъ покольній. Сынъ XVIII выка, умный и образованный, Фонвизинъ умълъ смъяться вићстћ и весело, и ядовито. Его «Посланіе къ Шумилову» переживеть всъ толстыя поэмы того времени. Его письма къ вельможъ изъ-за границы, по своему содержанию, несравненно дъльнъе и важнъе «Писемъ Русскаго Нутешественника»: читая ихъ, вы чувствуете уже начало французской революцін въ этой страшной картинъ французскаго общества, такъ мастерски нарисованной нашимъ путешественникомъ, хотя, рисуя ее, опъ, какъ и сами французы, далекъ быль оть всякаго предчувствія возможности или близости страшнаго переворота. Его исповъдь и юмористическія статейки, его вопросы Екатеринъ II, все это исполнено для насъ величайшаго интереса, какъ живан дътопись прошедшаго. Языкъ его, хотя еще не Карамэннскій, однако уже близокъ къ Карамзинскому. Но, по предмету нашей статьи, для насъ всего важнъе двъ комедін Фонвизина-«Недоросль» и «Бригадиръ». Объ онъ не могуть называться номедіями въ художественномъ смыслѣ этого слова: это скорће плодъ усилія сатиры стать комедіей, но этимъ-то и важны опъ: мы видимъ въ

нихъ живой моментъ развитія разъзанесенной ка Русь идеи поэзіи, видимъ ея постепенное стремленіе къ выраженію жизни, дъйствительности. Въ этомъ отношеніи самые недостатки комедій Фонвизина дороги для насъ, какъ факты тогдашней общественности. Въ ихъ резонёрахъ и добродътельныхъ людяхъ слышится для насъ голосъ умныхъ и благонамъренныхъ людей того времени, — нхъ понятія и образъ мыслей, созданные и направленные съ высоты престола.

Хемницеръ, Богдановичъ и Капнистъ тоже принадлежать уже ко второму періоду русской литературы: ихъ языкъ чище, и анижный риторическій педантизмъ замѣтенъ у михъ менъе, чъмъ у писателей ломоносовской школы. Хемницеръ важнее остальныхъ двухъ въ исторіи русской литературы: онъ быль первымъ баснописцемъ русскимъ (ибо притчи Сумарокова едва ли васлуживають упоминовенія), и между его баснями есть нъсколько истинно прекрасныхъ и по языку, и по стиху, и по наивному остроумію. Богдановичъ произвелъ фуроръ своей «Душенькой»: современники были отъ нея безъ ума. Для этого достаточно привести, какъ свидътельство восторга современниковъ, три следующія надгробія Дмитріева творцу «Душеньки»:

Привъсьте къ урив сей, о граціи! вънецъ: Здъсь Богдановичь спить, любимый нашъ пъвецъ.

Въ спокойствіи, въ мечтахъ его текли всё лівта, Но опъ внимаемъ былъ владычицей полсвета, И въ памяти его Россія сохранить. Сынъ Феба! возгордись: здівсь музъ люби-

мецъ спитъ.

III. На руку преклонясь вечернею порою, -Амуръ невидимо здёсь часто слезы льеть И мыслить, отягчень тоскою:

Кто "Душеньку" теперь такъ мило воспость? Ко второму изданію сочиненій Богдановича, вышедшему уже въ 1818 году, приложено множество энитафій и элегій, написанных во время оно по случаю смерти ивида «Душеньки» (а онъ умерь въ 1802 году). Между ними особенно замъчательны три; первая принадлежить издателю Платону Бекетову, человъку умному и не безызвъстному въ литературъ, вотъ она:

Зефиръ ему перо неъ крылъ своихъ давалъ, Амуръ водилъ рукой: онъ "Душенъку" писалъ.

Вторая написана: близкимъ- родственникомъ автора «Душеньки», Иваномъ Богдановичемъ:

Не нужно надписьми могилу ту пестрить, Гдв "Душенька" одна все можеть замёнить. Третьи принадлежить анониму и написана по-французски: Quoique bien tu sois l'auteur, De ce poème enchanteur. Tu seras un téméraire, Si tu mets au bas ton nom, Bogdanoviz! pour bien faire Il faut signer Apollon.

Кстати: въ предисловін ко второму изданію сочиненій Богдановича издатель говорить, что перваго изданія (1809—1810) не успъло разойтись и 200 экземиляровъ, какъ въ Москву вступилъ непріятель; сочиненія Богдановича, разумъется, подверглись общей участи всёхъ книгь въ это смутное время. и нотому вноследствін уцелевніе экземпляры перваго изданія сочиненій Богдановича, витсто двинадцати рублей, продавались въ книжныхъ лавкахъ по шестидесяти рублей!... Восторженное удивление къ Богдановичу продолжалось долго. Самъ Пушкинъ съ любовью и увлечениемъ не разъ дълалъ къ нему обращения въ стихахъ своихъ. А между тымъ для насъ теперь поэма эта лишена всякаго признака поэтической предести. Стихи ея, необыкновенно гладкіе, легкіе для своего времени, теперь и тяжелы, и неблагозвучны; напвность разсказа и нѣжность чувствъ приторны, а содержание ребячески ничтожно. И ни въ содержаніи, ни въ формъ «Душеньки» Богдановича нътъ и тъни поэтического мина и пластической красоты эллинской. Что жъ было причиной восторга современниковъ?-Не что другое, какъ необычайная для того времени легкость стиха, состоявшаго изъ не однообразнаго количества стопъ, отсутствие тяжелаго и напыщенно-восторженнаго тона, начинавшаго надобдать, и при этомъ соблазнительная вольность содержанія картинъ, ваконно допущенная шутливымъ родомъ стихотворенія и льстившая фантазіи и чувству читателей.

Капнистъ писалъ оды, между которыми иныя отличались элегическимъ тономъ. Стихъ его отличался необыкновенной легкостью и гладкостью для своего времени. Въ элегическихъ одахъ его слышатся душа и сердце. Но этимъ и оканчиваются всѣ достопиства его поэзін. Онъ часто злоупотребляль своей грустью и слезами, пбо грустиль и плакаль въ одной и той же одћ на нѣсколькихъ страницахъ. Капнистъ знаменитъ еще, какъ авторъ комедін «Ябеда». Это произведеніе незначительно въ поэтическомъ отношения, но принадлежить къ исторически важнымъ явленіямь русской литературы, какъ смілое и ръшительное паденіе сатиры на крючкотворство, ябеду и лихоимство, такъ страшно терзавшія общество прежняго времени.

Теперь мы приблизились къ одной изъ интереснъйнихъ эпохъ русской литературы. Посъянное и насажде пое Екатериной II начало возрастать и приносить илоды. По мъръ того, какъ цивилизація и просвъщеніе стали утверждаться на Руси, начала распросграняться и дитературная образованность. Вследствіе этого появленіе преобразовательныхъ талантовъ, имъвшихъ вліяніе на ходъ и направление литературы, стало чаще и обыкновениве, чёмъ прежде, а новые элементы стали скорбе входить въ литературу. Въ то время, какъ Державинъ былъ уже въ апогев своей поэтической славы, оставаясь на одномъ и томъ же мъсть, не двигансь ни взадъ, ни впередъ; въ то время, какъ были еще живы Херасковъ, Петровъ, Костровъ, Богдановичъ, Княжнинъ и Фонвизинъ; въ то время, когда еще Крыловъ быль юношей по 21 му году, Жуковскому было тольво шесть лёть отъ роду, Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на свъть,-въ то время одинъ молодой человъкъ 24 лътъ отправился за границу. Это было въ 1789 году, а молодой человъкъ этотъ былъ Карамзинъ. По возвращении изъ-за границы онъ издавалъ въ 1792 и 1793 годахъ «Московскій Журналь», въ которомъ пом'вщали свои сочиненія Державинъ и Херасковъ. Въ 1794 году онъ издалъ въ двухъ частяхъ альманахъ «Аглая» и альманахъ «Мон Безделки» (въ двухъ частихъ); въ 1797—1799 годахъ онъ напечаталъ трп тома «Аонидъ», а въ 1802 и 1803 годахъ издавать основанный имъ журналъ «Въстникъ Европы», который въ 1808 году издаваль Жуковскій. Въ 1804 г. въ первый разъ была представлена въ Петербургъ трагедія Озерова-«Эдинъ въ Анинахъ»; а въ 1805, 1807 и 1809 годахъ были въ первый разъ представлены его трагедін-«Фингалъ», «Димитрій Донской» и «Поликсена». Съ 1793 по 1807 годъ начали появляться комедін и другіе драматическіе опыты Крыдова, а около 1810 года появились его басни. \*) Съ 1815 года начали понвляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Ба-

Карамэниъ имѣлъ огромное вліяніе на русскую литературу. Онъ преобразоваль русскій языкъ, совлекши его съ ходуль латинской конструкціи и тяжелой славянщины и приблизивъ къ живой, естественной, разговорной русской рѣчь. Своимъ журналомъ, своими статьями о разныхъ предметахъ и повъстями онъ распространялъ въ русскомъ обществъ познанія, образованность, вкусъ и охоту къ чтенію. При немъ и вслъдствіе его вліянія тяжелый педантизмъ и школярство смѣнились сентиментальностью и свѣтской легкостью, въ которыхъ много было страннаго, но которыя были вижнымъ шагомъ впередъ для литературы и общества. По-

въсти его ложны въ поэтическомъ отношения, но важны по тому обстоятельству, что наклонили вкусъ публики къ роману, какъ изображению чувствъ, страстей и событи частной к внутренией жизни людей. Карамзинь писалъ и стихи. Въ нихъ нътъ поэзи, и они были просто мыслями и чувствованими умнаго человъка, выраженными въ стихотворной формъ; но они простотой своего содержания, естественностью и правильностью языка, легкостью (по тому времени) версификации, новыми и болъе свободными формами расположения были тоже шагомъ впередъ для русской поэзи.

Но для нен гораздо болъе сдълалъ другъ и сподвижникъ Карамзина-Дмитріевъ, который быль старше его только интью годами. Дмитріевъ не быль поэтомъ въ смыслы лирика; но его басни и сказки были превосходными и истинно-поэтическими пропзведеніями для того времени. Пъсни Дмитріева нѣжны до приторности, -- но таковъ быль тогда всеобщій вкусь. Оды Дмитріева сильно отзываются риторикой; но, несмотря на то, онв были большимъ успвхомъ со стороны русской поэзін. Громозвучность и нареніе, составлявшія тогда необходимое условіе оды, въ нихъ довольно умеренны, а выраженіе просто, не говоря уже о правильности языка и тщательной отделке стиха. Формы одъ Дмитріева оригинальны, какъ, напримъръ, въ «Ермакъ», гдв поэтъ ръшился вывести двухъ спбирскихъ шамановъ, изъ которыхъ старый разсказываеть молодому, при шумѣ волнъ Иртыша, о гибели своей отчизны. Стихи этой пьесы для нашего времени и грубы, и шереховаты, и непоэтичны, но для своего времени они были превосходны и отъ нихъ вънло духомъ новизны. Что же касается до манеры и тона пьесы, -- это было рѣшительное нововведеніе, и Диптріевъ потому только не быль прозванъ романтикомъ, что тогда не существовало еще этого слова. Вообще въ стихотвореніяхъ Дмитріева, по ихъ формъ и направленію, русская поэзія сдёлала значительный шагь къ сближению съ простотой и естественностью, словомъ-съжизныю и действительностью: ибо въ нежно вздыхательной сентиментальности все же больше жизни и натуры, чемъ въ книжномъ педантизмѣ. Рѣчи, которыя поэть влагаеть въ уста шамановъ, исполнены декламаціей и стараются блистать высокимъ слогомъэто правда; но мысль въ жалобахъ и разсказахъ шамана на берегу Иртыша выказать подвигь Ермака-это уже не риторическая, а поэтическая мысль. Туть еще нъть поэзіи, но есть уже стремленіе къ ней, и видно желаніе проложить для поэзіи новые

<sup>\*)</sup> Въ каталогъ Смирдина не означено перваго изданія басенъ Крылова, а второе вышло въ 1815—1816 годахъ.

Въ это время въ русской литературъ замътно уже пробуждение духа критицизма. Нѣкоторые старые авторитеты начали уже покачиваться. Въ 1802 году Карамзинъ написалъ статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ». Въ ней ни слова не сказано о живыхъ писателяхъ—о Державинъ и Херасковъ, ибо это считалось тогда неприличнымъ; также ни слова не сказано о Петровъ, хотя уже со дня смерти его прощло божье трехъ лътъ; можно догадываться, что Караманнъ не хотыль возстановлять противъ себя почитателей этого поэта, къ которымъ принадлежали всъ грамотные люди, и въ то же время не хотелъ хвалить его противъ своего убъжденія. Эта литературная уклончивость была въ харакгерѣ Карамзина. Въ «Пантеонѣ» было въ первый еще разъ высказано справедливое суждение о Тредьяковскомъ. Вотъ что говорить о немъ Карамзинъ:

"Если бы охота и прилежность могли замънить дарованіе, кого бы не превзошель Тредьяковскій въ стихотворствъ и красноръчіи? Но упрямый Аполлонъ въчно скрывается за облакомъ дяя самозванцевь-поэтовъ и сыплеть лучи свои единственно на тъх, которые родились съ его печатью. Не только дарованіе, но и самый куст не пріобрютавтся; и самый куст есть дарованіе. Ученіе образуеть, но не производить автора. Тредьяковскій учился во Франціи у славнаго Роллеця; зналь древніе и новые языки; читаль всёхь лучшихъ авторовъ и написалъ множество томовъ въ доказательство, что онъ... ко имъж способности писать."

Суждение Карамзина о Сумароков мягче и уклончивъе, нежели о Тредьяковскомъ; но тъмъ не менъе оно было страшнымъ приговоромъ колоссальной славъ этого пигмен.

"Сумароковъ еще сильнъе Ломоносова дъйствоваль на публику, избравь для себя сферу обширнъйшую. Подобно Вольтеру онъ хотьлъ блистать во многихъ родахъ, и еовременники называли его нашимъ Расиномъ, Мольеромъ, Лафонтеномъ, Буало. Потомство не такъ думаеть; но, зная трудность первыхъ опытовъ и невозможность достигнуть вдругъ совершенства, оно съ удовольствіемъ находить многія красоты въ твореніяхъ Сумарокова и не хочеть быть етрогимъ критикомъ его недостатковъ. Уме оиміамь не курится передь кумиромь; но не тронемъ мраморнаго подножія; оставимъ въ цвлости и надинсь: Великій Сумароковъ!... Соорудимъ новыя статун, если надобно; не будомъ разрушать тахь, которыя воздвигнуты благородной ревностью отцовъ нашихъ!. «

Замвиательно, что Карамзинъ ставилъ въ недостатокъ трагедіямъ Сумарокова то, что «онъ старался болье описывать чувства, нежели представлять характеры въ ихъ эстетической и правственной истикъ», и что, «называя героевъ своихъ именами древнихъ русскихъ кинзей, не думалъ соображать свойства, дъле и языкъ ихъ съ характеромъ времени.» Нельзя не увидъть въ такихъ за-

мвчаніяхъ сужденія необыкновенно умнаго человіка и великаго шага впередь со стороны литературы и общества. Правда, Карамзинъ находить многіє стихи въ трагедіяхъ Сумарокова «ніжными и милыми», а иные даже «сильными и разительными»; но не забудемъ, что всякое сознаніе развивается постепенно, а не родится вдругь, что Карамзинъ и такъ уже видіять неизміримо дальше литераторовъ старой школы, и сверхъ того онъ, можеть быть, боялся, что ему совсімъ не повірять, если онъ скажеть истину вполнів или не смягчить ея незначительными въ сущности уступками.

Остроумная и вдкая сатира Дмитріева «Чужой Толкь» также служить свидѣтельствомъ возникшаго духа классицизма. Она устремлена противъ громогласнаго «одопѣнія», которое начинало уже досаждать слуху. Поэть заставляеть въ своей сатирѣ говорить одного старика съ такой «любезной простотой дѣдовскихъ временъ»:

Что за диковинка? лътъ двадцать ужъ прошло, Какъ мы, напрягши умъ, наморщивши чело, Со всеусердіемъ все оды пищемъ, пишемъ, А ни себъ, ни имъ похваль нигдъ не слышимъ!

Ужели выдаль Фебь свой именной указь, Чтобъ не дерзаль никто надъяться изъ насъ Быть Флакку, Рамлеру и ихъ собратьи равнымъ,

И етолько жъ, какъ они, во пъснопъньи славнымъ?

Какъ думаешь!.. Вчера случилось мнъ сличать И ихъ, и нашу пъснь: въ ихъ... нечего читать!

Листочекь, много три, а любо какъ читаешь-Не знаю, какъ-то самъ какъ будто бы летаешь!

Судя по краткости, увѣренъ, что они Писали ихъ рѣзвясь, а не четыре дви; То какъ бы намъ не быть еще и ихъ счаст-

Когда мы во сто разъ прилеживи, теривливви?

Въдь нашъ начнетъ писать, то веб забсви прочы

Надъ царою стиховъ просиживаетъ ночь, Потбетъ, думаетъ, чертитъ и жжетъ бумагу; А неогда беретъ такую онъ отвагу, Что цълий годъ сидитъ надъ одою одной! И подлинно, ужъ весь приложетъ разумъ

Ужъ прямо самая торжественная ода! Я не могу сказать, какого это рода, Но очень подная—иная въ двъсти строфъ! Судите жъ, сколько тутъ хорошихъ есть стишковъ!

Къ тому жъ, и въ правилакъ: скерва причтеть вступленье,

Туть предложеніе, а тамъ и заключенье— Точь-въ точь, какъ говорять учены по церквамъ!

Со всемь темь неть читать охоты—внжу самъ.

Возьму ли, напримъръ, я оды на побъды, Какъ покорили Крымъ, какъ въ моръ гибли шводы!

Вев туть подробности сраженья нахожу, Гдв было, какъ, когда, короче я скажу:

Въ стихахъ роляція! прекрасно!.. а зъваю! Я, бросивши ее, другую раскрываю. На праздникъ, иль на что подобное тому: Тутъ найдешь то, чего бъ нехитрому уму Не выдумать и ввъкъ: зари багряны перспы. И райскій крикъ, и Фебъ, и небеса отверсты! Такъ громко, высоко!. а пътъ, не веселитъ Н сердца, такъ сказать, ни чуть не шевелитъ.

Одинъ изъ собесъдниковъ берется объяснить старику причину такого грустнаго явленыя. Эта причина, увы! и теперь еще не совсъмъ состарълась, и теперь еще не совсъмъ анахронизмъ! Слушайте:

Я самъ языкъ боговъ, ноззію люблю
И нашей, какъ и вы, утвшенъ также мало;
Однако жъ здъсь въ Москвъ толкался я не
мало
Межъ нашихъ Пиндаровъ, и всъхъ ихъ замъчалъ:
Вольшая часть изъ нихъ—лейбъ-гвардіи капралъ,
Асессоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,
Иль изъ кунстъ-камеры антикъ въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, должностной...

А вотъ и объяснение причины дъятельности нашихъ поэтовъ:

Къ тому жъ у древнихъ цвль была, у насъ другая:
Горацій, напримъръ, восторгомъ грудь питая. Чего желаль? О, онъ—онъ бралъ не свысока: Въ въкахъ безсмертія, а въ Римъ лишь вънка Изъ лавровъ, иль изъ миртъ, чтобъ Делія сказала: "Онъ славенъ,—чрезъ него и я безсмертна сгалаї"
А нашихъ многихъ цвль: иль дружество съ князькомъ, Который отъ роду не читывалъ другова, Кромъ придворнаго подчасъ мвсящеслова, Иль похвала свопхъ пріятелей, а имъ Печатный каждый листъ быть кажется святымъ

Приписывая неуспъхи нашихъ поэтовъ убъжденю, что если у кого есть природный даръ, тогъ имъетъ право ничему не учиться и быть невъждой, —злой аристархъ презабавно описываетъ, какъ писались въ старину громкія оды:

И воть какъ писываль поэть природный оду: Лишь пушекъ громь подасть пріятну въсть народу, Что Римникскій Алкидъ поляковъ разгремиль, Иль Ферзенъ ихъ вождя, Костюшку, полонить—
Опъ тотчасъ за перо и разомъ вывель ода! Потомъ въ одинъ присъсть: такого дия и годи!

"Туть какь?. Пою!.. Иль ньть, уже это старина: "Не лучше ль: дамадь мню, Фебъ?... Иль такт: не ты одна "Подпала подъ пяту, о чалмоносна Порта? "Но что же мнв прибрать въ ней въ риему кромв чорта? "Ивть, пътъ, не хорошо: я лучше поброжу, "И воздухомъ себя открытымъ освъжу". Пошелъ, и на пути такъ въ мысляхъ разсуждаетъ: "Начало инкогда пъвдовъ не устращаетъ;

"Что хочешь, то мели! Воть штука, какъ хв "Что придеть! Не знаю, съ къмъ срав

"Съ Румянцевымъ его, нль съ Грейгомъ, иль съ Орловымъ? "Какъ жаль, что древнихъ я не читывалъ! а

"Не ловко что то все!—Да просто нанишу: "Ликуй, герой! ликуй! герой ты! возглашу. "Изрядно! туть же что? Туть надобень вос-

"Скажу: кто замку мни етиности расторгов. "Я вижу молній блески! Я слышу съ горна свита

И то, и то. А тамь? извыстно, многи люта! "Бравнссимо! и плань, и мысли, все ужь есты! "Да здравствуеть поэты! Осталося присъсты! "Да только написать, да и печатать смъло!" Въжить на свой чердакь, чертить и въ шляпъ дъло:

И оду ужъ его тисненью предаютъ, И въ одъ ужъ его намъ ваксу продаютъ. Вотъ такъ пиндарилъ онъ, и всъ ему подобны,

Едва ли вывъски надписывать способны!

Право, не дурно было бы, еслибъ какой-нибудь даровитый поэтъ нашего времени написалъ современный «Чужой Толкъ» и объяснилъ, какъ пишутся теперь романы, повъсти и «патріотическія драмы»...

Дмитріевъ заставляеть въ своей сатиръ говорить плохого стихотвория—

Пою!... Иль нътъ.

А между тымь это «ною», вмысть съ «лирою» такъ часто попадается и въ стихахъ
самого Дмитріева, и въ стихахъ Карамзина.
Это перешло отъ писателей предшествовавшихъ двухъ школъ—Ломоносовской и Державинской, которыя подъ «литературой» разумъли и «пъснопъніе»: кто бы, что бы ни
писалъ—въ стихахъ или въ прозъ,—онъ
пълъ, а не писалъ. Державинъ въ стихотвореніи своемъ «Прогулка въ Царскомъ Селъ»
дълаетъ такое обращеніе къ Карамзину:

И ты, сидя при розть. Такъ, дней весенпихъ сынъ, Пой, Карамзипъ!—и въ прозть Гласъ слышенъ соловьинъ.

Въстихотвореніяхъ Дмитріева и Карамзина русская поэзія сдѣлала вначительный шагъ впередъ и со стороны направленія, и со стороны формы; но изъ-подъ риторическаго вліянія далеко еще не освободилась. Фебы, лиры, гласы, усѣченія, піптическія вольности и болье или менѣе прозаическая фактура только ослабились въ ней, но не исчезли; они удержались въ ней по преданію, которое дошло даже и до Пушкина, какъ увидимъ это послѣ. Но важно то, что если поэзія и удержала риторическій характеръ, зато какъ она. такъ и вообще беллетристика русская

пріобрѣли новый характеръ вслѣдствіе направленія, даннаго имъ Карамзинымъ и Дмитріевымъ: мы говоримъ о сентиментальности. Не Карамзинъ съ Дмитріевымъ изобрёли ее; они только привили ее къ русской литературъ. Она преобладала въ литературъ и въ нравахъ всей Европы XVII и XVIII Насчетъ сентиментальности много въка. можно сказать смёшного и забавнаго; но мы хотимъ судить о ней, а не потешаться ею. Она-важное явленіе въ отношенін къ историческому развитію человічества, котораго процессъ всегда совершается переходами изъ крайности въ крайность. Феодальная дикость и грубость правовъ Европы среднихъ въковъ совершенно исчезли только при Людовикъ XIV,-представитель новаго, противоноложнаго эпохъ рыцарства, времени; но, исчез нувъ, эта феодальная дикость естественно уступила мъсто изнъженности чувствъ. Мужчины и женщины исчезли: ихъ замѣнили пастухи и пастушки; поэты вздыхали, охали и ахали; красавицы стонали, какъ горлинки: madame Дезульеръ воспѣвала барашковъ и голубковъ, наивно завидуя ихъ праву любиться открыто, не стыдясь добрыхъ дюдей. Это вздыхательное и чувствительное направленіе существовало въ Европѣ до тѣхъ самыхъ поръ, какъ страшныя бури и грозныя волиенія политическія, разразившіяся надъ ней въ концъ прошлаго въка, не измънили ея характера и нравовъ. Россія не знала возродившейся Европы до славной для себя эпохи 1814 года, и результаты этого новаго знакомства обнаружились въ ея литературѣ только со времени появленія Пушкина и начала войны романтизма съ классицизмомъ, До того же времени наши поэты и литераторы продолжали поклоняться старымъ авторитетамъ: Мерзляковъ критиковалъ съ голоca Лагариа и переводиль идиллін madame Дезульеръ; Озеровъ подражалъ Расину; въ Крыловъ видъли подражателя Лафонтена; Батюшковъ низкопоклоницчалъ передъ какимъ-нибудь Парни, котораго далеко превосходиль талантомъ; Жуковскій вполовину шель особымь путемь, вполовину покорялся вліянію Карамзинской школы. Итакъ, русская литература нознакомилась и сощлась съ европейской сентиментальностью почти въ ту минуту, какъ Европа навсегда разсталась съ своей сентиментальностью. Эта встръча была необходима и полезна для русской литературы и нравовъ ен общества. Въ Евроив сентиментальность смвнила феодальную грубость правовъ; у насъ она должна была сменить остатки грубыхъ правовъ до-Петровской эпохи. Это понятно тамъ, гда не телькопросвъщение и литература, но и общительность и любовь были нововведениемъ. Сентиментальность, какъ раздражительность гру-

быхъ нервовъ, разслабленныхъ и утонченныхъ образованіемъ, выразила собой моменть ощущенія (sensation) въ русской литературь, которая до того времени носила на себъ характеръ книжности. Смъшны теперь намъ эти романическія имена: Нина, Каллиста, Леонія, Эмилія, Лилета, Леонъ, Милонъ, Модестъ, Эрастъ, но въ свое время они имъли глубокій смысль: въ нихъ выразилась человъческая наклонность къ рома. ипческой мечтательности, къ жизни сердцемъ. Въ лиць Карамзина русское общество обрадовалось, въ первый разъ узнавъ, что у него, этого общества, есть душа и сердце, способныя къ нажнымъ движениямъ. Это называлось тогда «наслаждаться чувствительностью». Кто могъ плакать въ умиленіи оть пъсни Дмитріева «Стонеть сизый голубочекь», тоть, конечно, понималъ поэзію дучше того, кто видьль ее только въ торжественныхъ одахъ на разныя иллюминаціи. Поэзія предшествовавшей школы пугала женщинъ, а стихи Дмитріева, Карамзина и Нелединскаго-Мелецкаго женіцины знали наизусть, ими восцитывались цёлыя поколёнія. Карамзина читали всв грамотные люди, претендовавшіе на образованность; многихъ изъ нихъ только Карамзинъ и могъ заставить приняться за чтеніе книгь и полюбить это занятіе, какъ пріятное и полезное.

Въ одинъ годъ съ Карамзинымъ (1765) родился Макаровъ, —человѣкъ, которому суждено было играть въ русской литературъ роль созвъздія Карамзина, хотя они и не были знакомы другь съ другомъ. Въ 1803 году Макаровъ издавалъ журналъ «Московскій Меркурій», статьи котораго отличались такимъ же направленіемъ и такимъ же языкомъ, какъ и статьи Карамзина. Макаровъ быль одарень вкусомь, талантами; путешествовалъ по Европв и вообще принадлежалъ къ умнъйшимъ и образованнъйшимъ людямъ своего времени. Сравните его разборъ сочиненій Дмитріева и разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича: оба эти разбора писаны какъ будто однимъ п темъ же человъкомъ. Макаровъ защищалъ Карамзина противъ извъстнаго въ то время фанатическаго пуризма русскаго языка. Выступилъ Макаровъ на поприще литературы въ 1795 году съ прекраснымъ переводомъ, впрочемъ, посредственнаго романа «Графъ де Сентъ-Меранъ, или Новыя Заблужденія Ума и Сердца» Онъ же перевелъ двъ первыя части «Анте норовыхъ путешествій по Греціи и Азія: Лантье, изданныя имъ въ 1802 г. Къ сожальнію, этоть примьчательный человыть не долго жиль: онь умерь въ 1804 году.

Капинстъ, по вліянію на него Карамзина, долженъ быть причтенъ къ числу писателей Карамзинской школы, въ которой замвчательны также: Подшивалось и Бепитскій, хорошіе прозапки; Нелединскій-Мелецкій, прославившійся н'яжными п'яснями, въ которыхъ много непритворной чувствительности; Долгорукій, издававшій свои стихотворенія подъ сентиментальнымъ титуломъ «Бытіе Moero Сердца», поэть чувствительный и сатирическій, нерідко отличавшійся неподдільнымъ русскимъ юморомъ; Милоновъ, замъчательный сатирикъ; Воейковъ, стихотворецъ, переводчикъ эклогъ Виргилія, описательныхъ поэмъ Делиля, обезсмертившій себя однимъ извъстнымъ въ рукописи стихотвореніемъ, потомъ журналисть, прославившійся полемикой; Кокошкинъ и Хмельницкій, переводчики и подражатели Мольера; Василій Пушкинъ, стихотворецъ, и Владиміръ Пзмай-

ловъ, прозанкъ. Озеровъ и Крыдовъ являются, особенно последній, самостов тельными деятелями въ Карамзинскомъ періодъ нашей литературы, хотя и принадлежать къ школъ преобразователя русскаго языка. Послъ Сумарокова на поприщъ драматической литературы со славой подвизался Княжнинъ. У него не было самостоятельнаго таланта, но какъ онъ былъ человькъ умный, образованный, знавшій иностранные языки и хорошо владевшій русскимъ, то и пользовался съ успъхомъ богатой трапезой французскаго театра, явия свои трагедін и комедін изъ отрывковъ французскихъ драматурговъ, которые переводилъ почти слово въ слово. Сочиненія этого трудолюбиваго писателя представляють собой значительный успёхъ русской драматической поэзін со стороны вкуса и языка: онъ дадеко оставиль за собой предшественника своего, Сумарокова. Но еще дальше его самого оставиль за собой Озеровъ. Это быль талантъ положительмый, и появление его было эпохой въ русской литературъ, которая имьла въ немъ своего Расина. Неспособный рпсовать страсти и характеры, онъ увлекаль живымъ изображеніемъ чувствъ. Трагедія его -сколокъ съ французской, и потому не удивительно, что теперь онъ забыть театромъ совершенно, и его не играють и не читають; но въ исторіи русской литературы онъ никогда не будеть забыть. Языкъ русскій въ трагедіяхъ Озерова сдёдаль большой шагь впередъ. Въ одно время съ Озеровымъ явился Крюковскій, котораго трагедія «Пожарскій» имъла необыкновенный успъхъ, но не по литературному достоинству, а по похвальнымь чувствамь патріотизма, которыя не могли не пробудить сочувствія въ эпоху борьбы Россін съ Наполеономъ.

Крыловъ нисалъ комедін, весьма зам'вчательныя по остроумію; но слава его, какъ баснописца, не могла не затмить его славы, какъ комика. Крыловъ далеко оставиль за

собой и Хеминцера, и Дмитріева и достигь въ басив возможнаго совершенства. Басии Крылова — сокровищинца русскаго практическаго смысла, русскаго остроумія и юмора, русскаго разговорнаго языка; онъ отличаются и простодушіемъ, и народностью. Крыдовъ вполив народный писатель и теперь уже воспитатель не менбе тридцати поколбній. Басня, какъ родъ поэзіц, - довольно ложный родъ: ея явленіе возможно только у народа, находящагося еще въ младенчествъ, и потому ея родина-Востокъ. У грековъ она во-время явилась съ Эзономъ. Французы, хотьвшие въ литературъ во всемъ подражать древнимъ, ръшили, что у нихъ должна быть басня, потому что она была у грековъ; а мы, русскіе, во всемъ подражавніе французамъ, рышили, что и у насъ должна быть басня, потому что у французовъ есть басня. Впрочемъ, у насъ басня явилась съ Хемницеромъ болье кстати и болье во-время, чъмъ у французовъ явилась эта съ Лафонтеномъ. Этотъ ложный родъ удивительно привился къ французской литературь и получилъ тамъ особенную народную форму; басив посчастливилось и у насъ: во Франціи она имъла Лафонтена, у насъ-Крылова, а за это ей можно простить ен ложность, какъ рода поэзін. Знатоки говорять, что архитектура во вкусь рококо-ложная архитектура; положимъ такъ, но Расгрелли тъмъ не менъе великій художникъ. Чемь бы не была басня, но Лафонтенъ и Крыловъ по справедливости составляють славу и гордость своихъ отечественныхъ литературъ.

Мы выше сназали, что съ 1805 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюшкова. Каждый изъ этихъ поэтовъ и составляль собой школу въ русской литературъ, и вносиль въ нее новые элементы жизни; но явленіе обоихъ мало было чувствуемо въ продолженіе Карамзинскаго періода; настоящая пора ихъ дъятельности началась послъ знаменитаго 1814 года: тогда и вліяніе ихъ стало ощутительнъе.

II.

Карамзинъ и его заслуги.—Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуковскій и Батюшковъ.—Значеніе романтизма и его историческое развитіе

Карамзинымъ началась новая эпоха русской литературы. Преобразованіе языка отнюдь не составляеть исключительнаго характера этой эпохи, какъ думають многіе. Какъ бы ни была велика реформа, произведенная къмъ-нибудь или сама собой происшедшая въ языкъ, —она никогда не можеть быть фактомъ особенной важности. Языкъ, взятый самъ по себъ, есть только посред-

ствующій матеріаль, и его движеніе можеть быть только формальное. Но всегда важно движеніе языка вслёдствіе движенія мысли: и воть гдв важность реформы, произведенной Карамзинымъ, и вотъ почему Карамвину принадлежить честь основанія новой эпохи русской литературы. Карамзинъ ввелъ русскую литературу въ сферу новыхъ идей, и преобразованіе языка было уже необходимымъ слъдствіемъ этого дъла. Загляните въ журналы, въ романы, въ трагедіи и вообще стихотворенія эпохи, предшествовавшей Карамзину: вы увидите въ нихъ какую-то стоячесть мысли, книжность, педаптизмъ и риторику, отсутствіе всякой живой связи съ жизнью. Карамзинъ первый на Руси замъниль мертвый языкъ книги живымъ языкомъ общества. До Карамянна у насъ на Руси думали, что книги пишутся и нечатаются для однихъ «ученыхъ», и что неученому почти такъ же не пристало брать въ руки книгу, какъ профессору танцовать. Оттого содержа ніе книгъ, по тогдашнему мнѣнію, должпо было быть какъ можно болъе важнымъ и дельнымъ, г. е. какъ можно более тяжелымъ и скучнымъ, сухимъ и мертвымъ. Болъе всёхъ подходилъ тогда къ идеалу великаго поэта-Херасковъ, потому что былъ тяжелъ и скученъ до невыносимости Онъ восивлъ въ двухъ огромныхъ поэмахъ два важныя событія паль русской исторіи, и воспѣлъ ихъ, не справляясь съ исторіей, не стараясь быть ей върнымъ. Исторіи русской онъ даже и не зналъ фактически. Россія освободилась отъ татарскаго ига не какимъ-нибудь решительнымъ ударомъ, который бы нанесенъ быль татарамъ соединенными силами всей Руси, миновенно и мощно возставшей противъ общиго врага. Куликовская битва остались безъ рѣшительныхъ послёдствій: по крайней мірь, она не помъшала татарамъ выжечь Москву; въ царствование же Іоанна III не было нпкакой великой военной битвы съ татарами, хотя и была битва, такъ сказать, дипломатическая. Татарское иго распалось само собой вслёдствіе внутренняго разслабленія царства Батыя. И потому русская исторія никого не можеть назвать освободителемъ земли Русской отъ ига татарскаго. Іоаннъ Грозный взятіемъ Казани и Астрахани только добиль остатки издыхающаго монгольскаго чудовища. Но Хераскову нуженъ былъ герой для его ноэмы, потому что безъ героя не бываетъ поэмы. И опъ нашель его въ Іоаннъ Грозномъ, простодушно смъшавъ его съ Іоанномъ III, въ царствованіе котораго была торжественно сознана независимость Руси отъ татаръ. «Ученые» того времени были безъ ума отъ поэмы Хераскова; они знали ее чуть не наизусть, - а теперь всикій счель бы за нодвигь, если бы ему уда-

лось осилить чтеніемъ оть начала до конпа это тяжелое, стопудовое произведение. Не удовольствовавшись поэмой, Херасковъ не хотель лишить своихъ читателей и романа; онъ написалъ романъ «Кадмъ и Гармонія» и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи». Но, Боже мой, что жъ это былъ за романъ. Аллегорическое олицетворение гонимой и подъ конецъ торжествующей добродьтели, образы безъ лицъ, событія безъ пространства и времени! Но потому-то это и быль романь въ духѣ своего времени, -- романъ, который могли читать и «ученые», не унижая своего достоинства,--и потому же романы эти названы были «поэмами». Карамзинъ первый на Руси началъ писать повъсти, которыя заинтересовали общество и казались пустыми и ничтожными для педантовъ, —повъсти, въ которыхъ дъйствовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обывновеннаго повседневнаго быта. Конечно, въ такихъ повъстяхъ, какъ «Бъдная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Островъ Борнгольмъ», «Рыцарь нашего времени». «Чузствительный и Великодушный» и проч., никто не будеть теперь искать творческаго воспроизведенія д'виствительности, пикто не будеть читать ихъ какъ художественныя произведенія ради эстетическаго наслажденія, никто не будетъ ими восхищаться; но вивств съ темъ никто изъ мыслящихъ людей не скажеть, чтобь въ повъстихъ Карамзина пе было своего неотъемлемаго интереса и для нашего времени — интереса историческаго. Чуждыя творчества, они все-таки не чужды таланта, ума, одушевленія, чувстваи въ нихъ, какъ въ зеркалъ, върно отражается жизнь сердца, какъ ее понимали, какъ она существовала для людей того времени. Что же касается до художественности, требовать ея отъ повъстей Карамзина было бы несправедливо и странно, сколько потому, что Карамзинъ не былъ поэтомъ и не обнаруживалъ особенныхъ притязаній на таланть поэтическій, столько и потому, что въ его время даже въ Европъ не существовало романа и повъсти какъ художественнаго произведенія. XVIII вікъ создаль себь свой романь, въ которомъ выразиль себя въ особенной, только одному ему свойственной, формъ: философскія повъсти Вольтера и юмористические разсказы Свифта и Стерна—вотъ истинный романъ XVIII въка. «Новая Элопза» Руссо выразила собой другую сторону этого въка отрицанія и сомнівнія-сторону сердца, и потому она казалась больше пророчествомъ будущаго, чёмъ выраженіемъ настоящаго, — п многіе изъ людей того времени (въ томъ числь Карамзинъ) видьяи въ «Новой Элоизъ» только одну сентиментальность, которой одной восхищались. Въ остроумныхъ романахъ француза Пиго-Лебрёна и нъмца Крамера въеть преобладающій духъ XVIII въка. Но въ особенномъ ходу и въ особенномъ уваженін у толпы были въ прошломъ въкв романы Радилейфъ, Дюкре-дю-Мениля, мадамъ Жанли, мадамъ Коттэнъ, и т. п. Надо признаться, что по таланту Карамзинъ не былъ ниже этихъ людей, и если не дальше, то и не ближе ихъ видёль. Переводомъ повъстей Мармонтеля и нёкоторыхъ повъстей Жанли Карамзинь оказаль русскому обществу столь же важную услугу, какъ и своими собственными повъстями. Это значило ни больше, ни меньше, какъ познакомить русское общество съ чувствами, образомъ мыслей, а следовательно, и съ образомъ выраженія образованнъйшаго общества въ міръ. Новыя идеи естественно требовали и новаго языка. Карамзина обвиняли въ галлицизмахъ выраженій, не видя того, что если это была вина съ его стороны, то прежде всего его должно было обвинять въ галлицизмахъ мыслей, -- но въ этомъ былъ виновать не онъ, а та всемірноисторическая роль, которая назначена міродержавнымъ промысломъ французскому народу, и которая даетъ ему такое нравственное вліяніе на всѣ другіе народы цивилизованнаго міра. Скоръе д д іно поставить въ великую заслугу Карамзину его галломанство: черезъ него ожила нашалитература. Если бы Караменнъ былъ только преобразователемъ языка (не будучи прежде всего нововводителемъ идей), онъ ограничился бы только отрицаніемъ устарылыхъ словь и выраженій, большей чистотой и отделкой въ формв, но складъ рѣчи, словомъ, -- слогъ его остался бы Ломоносовскимъ, и онъ не былъ бы создателемъ современнаго новаго языка. Въ этомъ отношеніи языкъ Фонвизина ръзко отдъляется оть языка Ломоносовскаго и близко подходить къ языку Караменнскому; но темъ не менъе Фонвизинъ относится къ писателямъ Ломоносовскаго періода русской литературы и нисколько не можеть считаться преобразователемъ русскаго языка. Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ не понимаетъ Карамзина и не умфетъ достойно оцфинть его подвига, кто думаеть въ немъ видъть только преобразователя и обновителя русскаго языка. Это значить унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзинъ создалъ на Руси образованный литературный языкъ, и создалъ потому, что Карамзинъ былъ первый на Руси образованный литераторъ, а первымъ образованнымъ литераторомъ сдёлался онъ потому, что научился у французовъ мыслить и чувствовать, какъ следуеть образованному человъку. «Письма Русскаго Путешественника», въ которыхъ онъ такъ живо и увлекательно разсказаль о своемь знакомстве съ Европой,

легко и пріятно познакомили сь этой Евроной русское общество. Въ этомъ отношении «Инсьма Русскаго Путешественника»—произведение великое, несмотря на всю поверхностность и всю мелкость ихъ содержанія: ибо великое не всегда только то, что само по себъ дъйствительно велико; но иногда и то, что достигаеть великой цёла, какимъ бы то ни было путемъ и средствомъ. Можно сказать съ увъренностью, что именно своей легкости и поверхностности обязаны «Письма Русскаго Путешественника» своимъ великимъ вліяніемъ на современную имъ публику: эта публика не была еще готова для интересовъ болье важныхъ и болье глубокихъ. Въ своемъ «Московскомъ Журналъ», а потомъ «въ «Вѣстникѣ Европы» Караманнъ первый даль русской публикь истинно журнальное чтеніе, гдв все соотвытствовало одно другому: выборъ пьесъ-ихъ слогу, оригинальныя пьесы-переводнымъ, современность и разнообразіе интересовъ-умѣнію передать ихъ занимательно и живо, и гдѣ были не только образцы легкаго свътскаго чтенія, но и образцы литературной критики, и образцы умънья слъдить за современными политическими событіями и передавать ихъ увлекательно. Вездъ и во всемъ Карамзинъ является не только преобразователемъ, но и начинателемъ, творцомъ. Сама «Исторія Государства Россійскаго» — этотъ важнѣй трудъ его, есть не что иное, какъ начало, первый основной камень зданія историческаго изученія, историческихъ трудовь въ Россіи. «Исторія Государства Россійскаго» не есть исторія Россіп: это скор'є исторія Московскаго государства, ошибочно принятаго историкомъ за какой-то высшій идеаль всякаго государства. Слогъ ея не историческій: это скорве слогь поэмы, писанной мёрной прозой, поэмы, типъ которой принадлежить XVIII въку. Тъмъ не менъе безъ Кярамзина русскіе не знали бы исторіи своего отечества, ибо не имѣли бы возможности смотръть на нее критически. Какъ первый опыть, написанный даровитымъ литераторомъ, «Исторія Государства Россійскаго» твореніе великое, котораго достоинство и важность никогда не уничтожатся: вытъсненная исторической и философской критикой изъ рода твореній, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества, «Исторія» Карамзина навсегда останется великимъ памятникомъ въ исторіи русской литературы вообще и въ исторін литературы русской исторіи.

Есть два рода д'ятелей на всякомъ поприщ'я; одни своими д'ялами творять новую эпоху, д'яйствують на будущее; другіе д'яйствують въ настоящемъ и для настоящаго. Первые бывають не признаны, не поняты, не оц'япены и часто даже гонимы и ненави-

димы своими современниками: ихъ апоесоза создается въ будущемъ, когда уже самыя кости ихъ истятють въ могият; вторыевсегда любимцы и властелины своего времени, но, уваженные, превознесенные и счастливые при жизни своей, они цолучають уже совсемъ не то значение после ихъ смерти, а иногда переживають свою славу. Безъ сомньнія, первые выше вторыхъ, ибо это натуры великія и геніальныя, тогда какъ вторые-только сильно и ярко даровитыя натуры. Первые, если они дейстують на литературномъ поприщѣ, завѣщеваютъ потомству творенія вічныя, неумирающія; вторые-пишуть для своихъ современниковъ, и ихъ произведенія для будущихъ покольній получають уже не безусловное, но только историческое значеніе, какъ памятники извъстной эпохи. Къ числу дъятелей второго разряда принадлежить Карамзинъ... Это мивніе выговаривается не въ первый разъ, и не нами первыми оно выговорено; но оно возбуждало противъ себя живое противодъйствіе; нельзя даже сказать, чтобы и теперь еще не было людей, которымъ оно кръпко не по душь. Этихъ людей можно разделить на два разряда. Къ первому принадлежатъ еще оставшіеся досель въ живыхъ современники Карамзина, видъвшіе пли разсвъть его славы, или помнящіе апогею его славы. Застигнутые потокомъ новаго, они естественно остались върны тъмъ первымъ, живымъ впечатлѣніямъ своего лучшаго возраста жизни, которыя обыкновенно решають участь человъка, разъ навсегда заключая его въ извъстную нравственную форму. Эти люди, живущіе памятью сердца, не могуть выйти изъ убъжденія, что Карамзинъ быль великій геній, и что его творенія вічны и равно свъжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго. Это заблужденіе,—но такое заблужденіе, которому нельзя отказать не только въ уваженіи, но и въ участін, ибо оно выходить изъ памяти сердца, всегда святой и почтенной. Вполнъ цьня и уважая великій подвигь Карамзина, мы тымь не менье хотимь видыть дыло вы его настоящемъ свътъ и его истинныхъ границахъ, не умаляя и не преувеличивая; и потому не можемъ читать этихъ стиховъ съ восторгомъ людей, проникнутыхъ сердечнымъ върованіемъ въ непреложную истинность ихъ мысли:

Лежить вънецъ на мраморъ могилы; Ей молится Россін върный сынъ; И будить въ немъ для дълъ прекрасныхъ силы Святое имя: Карамзинъ. \*)

Но въ то же время мы далеки и отъ всянаго непріязненнаго чувства, которое производится противоположностью убъжденія и которое естественно могло бъ быть вызвано въ насъ этими стихами: мы не только понимаемъ, но и уважаемъ источникъ этого восторга, не совсъмъ согласнаго съ дъйствительностью факта. Поэтъ выше говоритъ о «лучшемъ времени своей жизни»:

0! въ эти дни, какъ райское видѣнье. Быль съ нами онг, теперь ужъ не земной, Онъ для меня живое провиданье.

Онз съ юности товарищъ твой.
О! какъ при немъ все сердце разгоралось!
Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ!
Въ младенческой душт его, казалось,
Небесный ангелъ обиталъ!

Эги стихи напоминають намъ другіе, болье трогающіе нась:

Сыны другого поколѣнья, Мы въ повомъ-прошлогодній цвіть; Живыхъ намъ чужды впечатлёнья, А нашимъ въ нихъ сочувствій нътъ. Они, что любимъ, разлюбили, Страстямъ ихъ насъ не волновать! Ихъ тамъ не было, гдъ мы были. Гдъ будуть—намъ ужъ не бывать! Нашъ міръ-имъ храмъ опустошенный, Имъ баснословье-наша быль, И то, что пепель намъ священный, Для нихъ одна нъмая пыль. Такъ мы развалинамъ подобны, И на распутін живыхъ Стоимъ, какъ памятникъ падгробный Среди обителей людскихъ.

Грустное положеніе! но таковъ законъ историческаго хода времени. Рано или поздно онъ постигаетъ въ свою очередь каждое покольніе!

Увы! на жизненныхъ браздахъ Мгновенной жатвой, покольнья, По тайной волю провидынья, Восходять, зрыють и падуть; Другія имъ во слюдь идуть... Такъ наше вътренное племя Растеть, волнуется, кинить И къ гробу праотцевъ тьскить. Придеть, придеть и наше время, И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытьснять и насъ.

Въ этомъ болъе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ, открывается трагическая сторона жизни и ея пронія! Прежде фазической старости и физической смерти постигаеть человека нравственная старость и смерть. Исключение изъ этого правила остается слишкомъ за немногими... И благо темъ, которые умьють и въ зиму дней своихъ сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствіе ко всему великому и прекрасному бытія, - которые, съ умиленіемъ вспоминая о лучшемъ своемъ времени, не считаютъ себя среди кинучей, движущейся жизни современной действительности какими-то заклятыми тенями прошедшаго, но чувствують себя въ живой, родственной связи съ настоящимъ и благословеніями приватствуютъ свътлую зарю будущаго... Влаго имъ, этимъ

<sup>\*) &</sup>quot;Стихотворенія Жуковскаго". ТАУІ, стр. 30.

вѣчно юнымъ старцамъ! не только свѣжее утро и знойный полдень блестятъ для нихъ на небѣ: Господь высылаеть имъ и успоконтельный вечеръ, да отдохнутъ они и въ его

кроткомъ величи...

Какъ бы то ни было, но свътлое торжество побъды новаго надъ старымъ да не омрачится никогда жосткимъ словомъ или горькимъ чувствомъ враждебности противъ падшихъ. Побъжденнымъ — состраданіе, за какую бы причину ни была проиграна ими битва! Падшій въ борьбъ противъ духа времени заслуживаетъ больше сожальнія, нежели проигравшій всякую другую битву. Признавшій надъ собой поб'єдителемъ духъ зремени заслуживаеть больше, чёмъ сожавые, заслуживаеть уважение и участие,и мы должны не только оставить его въ поков оплакивать предшедшихъ героевъ его времени и не возмущать насмѣшливой улыбкой его священной скорби, но и благоговъйно остановиться передъ нею...

Другое дёло ті слічне поклонники старыхъ авторитетовъ, которые видятъ одинъ факть, не понимая его идеп, стоять за имя, не зная, какое значение привязать къ нему и для которыхъ дороги только старые имена, какъ для нумизматовъ дороги только истертыя монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Воть они-то и составляють тоть второй разрядь безусловныхъ поклонниковъ старыхъ авторитетовъ. Для нихъ и Шекспиръ-титанъ творческой силы, и Ломоносовъ - также титанъ творческой силы, а почему?-Потому что оба эти имени-имена уже старыя, къ которымъ они, педанты и старовъры литературные, давно уже прислушались и привыкли. По той же самой причинъ для нихъ возмутительно видъть имена Карамзина и Лермонтова, поставленныя рядомъ; справясь съ литературной табелью о рангахъ, они видятъ большую разницу-не въ характеръ дъятельности, не въ родъ таланта Карамзина и Лермонтова, а въ лътахъ и титлахъ этихъ писателей, и говорять о послёднемъ: «куда ему — молодъ больно!» Равнымъ образомъ они убъждены, въ простоть ума и сердца, что творенія Карамзина не только по формв, но и по содержанию ихъ, могуть для нашего времени имъть такой же интересь, какой имели они для своего времени. Разумъется, эти педанты и буквовды не стоятъ ин возраженій, ни споровъ, и можно оставлять безъ отвёталихъ задорные крики. Что бы ни говорили они, для всъхъ мыслящихъ людей ясно, какъ день Божій, что творенія Карамзина могуть теперь составлять только болье или менье любопытный предметь изучения въ исторіи русскаго языка, русской литературы, русской общественности, но уже нисколько не имбють

для настоящаго времени того интереса, во торый заставляеть читать и перечитывать великихъ и самобытныхъ писателей. Въ сочиненіяхъ Карамзина все чуждо нашему времени—и чувства, и мысли, и слогъ, и самый языкъ. Во всемъ этомъ ничего нътъ нашего, и все это навсегда умерло для насъ.

Дентельность Карамзина была по преимуществу дъятельностью литератора, а не поэта, не ученаго. Онъ создаль русскую публику, которой до него не было:-подъ «публикой» мы разумьемъ извъстный кругь читателей. До Карамзина нечего было читать по-русски, потому что все не многое, написанное до него, несмотря на свои хорошія стороны, было ужасно тяжело и торжественно, и годилось для однихъ «ученыхъ», а не для общества. Карамзинъ умълъ заохотить рускую публику къ чтенію русскихъ книгь. Какъ мы замътили выше, въ этомъ помогъ ему не новый, созданный имъ языкъ, а францувское направленіе, которому подчинился Карамзинъ, и котораго необходимымъ слъзствіемь быль его легкій и пріятный языкъ. Въ первой статъв мы уже упоминали о Дмитріевь, какъ о сподвижникь Карамзина. Дъйствительно, Дмитріевъ для стихотворнаго языка сделаль почти то же, что Карамзинъ для прозапческаго, и сделаль это такимъ же точно образомъ, какъ Карамзинъ; поязія Дмитріева, по ея духу и характеру, в слъдовательно, и по формь, есть чисто французская поэзія XVIII вѣка. Съ Карамзинымъ кончился Ломоносовскій періодъ русской литературы, періодъ тяжелаго и высокопарнаго книжнаго направленія, и весь періодъ оть Карамзина до Пушкина следуеть называть Карамзинскимъ.

Но этоть періодь имбеть свои подраздівленія, ибо въ продолженіе его литература обогащалась новыми элементами и двигалась впередъ. Къ этому періоду принадлежить Крыловъ, который одинъ могъ бы быть представителемъ цълаго періода литературы. Онъ создаль національную русскую басию и темъ первый внесъ въ литературу русскую элементь народности. Но какъ въ басив веливій русскій баснописець имѣль образцомъ великаго французскаго баснописца, — какъ въ ней опъ быль какъ бы продолжателемъ дъла, начатаго Хемницеромъ и продолженнаго Дмитріевымъ, и какъ сверхъ того родъ его поэзіи не быль такимъ родомъ, черезъ который можно бъ было стать во главъ литературной эпохи, -- то Крыловъ по справедливости можеть считаться однимъ изъ блистательнай пихъ двятелей Карамзинскаго періода, въ то же время оставаясь самобытнымъ творцомъ новаго элемента русской поэзікнародности. Другое дъло - Озеровъ: несмотря на дарование ярко замвчательное, онъ былъ

результатомъ направленія, даннаго русской литературъ Карамзинымъ. Въ трагедіяхъ Озерова преобладающій элементь—сентиментальность. По формъ же онъ-сколокъ съ французской трагедін. Нётъ нужды распространяться здёсь о Капнисть, Василіп Пушкинт, Владимірт Измайловт, Крюковскомъ, Милоновъ и другихъ людяхъ съ большимъ или меньшимъ талантомъ, игравшихъ большую или меньшую роль въ Караменнскій періодъ: всё они были созданы духомъ Карамзина и выразили направленіе, данное имъ русской литературъ. Въ своемъ мъстъ мы упомянемъ о болье самостоятельныхъ и болье замычательных писателяхь этой эпохи, каковы: Гибдичъ, Мерзляковъ и князь Вяземскій. Теперь же спѣшнмъ перейти къ двумъ внаменитостимъ не только этого періода, но и вообще русской литературы Жуковскому

и Батюшкову. Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и коснълости. Въ ней всегда было движение впередъ, даже въ Ломонссовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ не только не подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще и отстали оть него, хотя явились и послъ, зато какая же чудовищиая разница между Ломоносовымъ и Державинымъ, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между комедіями Сумарокова и комедіями Фонвизина, между прозой не только Сумарокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Княжнинымъ! Карамзинскій періодъ ознаменовался несравненно сильнъйшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже упомянули о Крыловъ, какъ о поэтъ Карамзинской эпохи, внесшемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементъ-народность, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзін Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было бы достаточно для того, чтобъ ему самому быть главой и представителемъ целаго періода литературы; но (какъ мы уже замётили выше) ограниченность рода поэзін, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творенія Карамзина; онъ будуть читаться до тъхъ поръ, пока русское слово не перестанеть быть живой рачью живого народа; но, несмотря на то, въ исторін русской литературы Крыловъ всегда будеть занимать свое мъсто между замъчательный ними дъятелями того періода русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Въ нъкоторомъ отношени такова же была

ковскаго. / Таланта Жуковскаго также стало бы, чтобъ явиться главой и представителемъ цёлаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можеть быть, еще болье важный элементь въ русскую поэзію, чёмъ элементь, внесенный Крыловымь; Жуковскій проложиль себ'в соб. ственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковскаго возросла, воспиталась на почвв, въ то вреия никому изъ русскихъ невѣдомой и недоступной, -и, несмотря на то, было бы дёломъ чистаго произвола отмётить именемъ Жуковскаго какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видъть въ немъ опять-таки одного изъ знаменитьйшихъ или даже и самаго знаменить йшаго дъятеля въ томъ періодъ русской литературы, главой и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Вънецъ поэзіп Жуковскаго составляють его переводы и заимствованія изъ пімецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моменть самаго сильнаго и плодовитаго движенія впередъ русской литературы Карамзинскаго періода. Но у Жуковскаго есть и оригинальныя произведенія, особення патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того онь быль знаменить еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозъ. И вотъ съ этой-то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамянна, во многихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотвсренін Жуковскаго (въ особенности патріоту.ческія пьесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніевсе это нисколько не отступаеть оть идеала поэзін XVIII вѣка,—пдеала поэзін, который такъ присущъ и родственъ былъ Карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Что же касается до Жуковскаго, онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношения къ стилистикъ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядь на предметы, складъ ума, характеръ слога и языкавсе это чисто Карамзинское. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоить только прочесть критическіе разборы Жуковскаго сатиръ Кантемира и басенъ Крылова, статьи его: «Марына Роща», «Три Сестры», «Кто истинно добрый и счастинный человекъ», «Писатель въ обществъ» и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозъ у Жуковскаго тоже отличается совершенно Карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что многія статьи переведены съ ньмецкаго. Намъ, можетъ быть, возразять, что «Рафаэлева Мадонна» есть тоже оригинальная статья въ прозѣ Жуковскаго, но что въ

въ исторіи русской литературы и роль Жу-

ней уже нътъ ничего Карамзинскаго. Правда; но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году, - въ то время, когда вліяніе Карамзіна на русскую литературу уже ослабъло съ одной стороны. усилившись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались Вообще въ то время Жуковскій сталь двйтновить какъ-то самостоятельное, освобоцившись отъ вліянія Карамзина. Надобно еще живтить, что въ это время вліяніе на литеразуру и сли а Прконскаго достигни своего зыся аго зазвини, тогда какъ до этого времеин Жуковекая обыть ичкъ будо въ твин. Ему удивлиллев, его хвалили; по онъ все-таки писаль для «чемпогихъ». И какъ тогда поинмали его! Его называли «балладистомъ», ... йіндұнанди п акатом крати итбина амон ас Иму подражали, но въ чемъ? - въ формв, а не въ духв. -и рядъб земысленныхъ и неавыму былладь быль пледомь этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пъвцу народной славы,—и «Пъвцы во станъ» и «На кремув» доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтіл Жуковскій получилъ именно то значение, какое онъ всегда имьлъ. Тогдашияя молодекь, развившаяся подъ вліншемъ великихъ событій 1814 года, съ жадностью бросилась на ифменкую литературу, съ которой Жуковскій давно уже породинать русскій умъ и русскую музу. Всь заговорили о романтизмѣ, о новой теоріи поэзіп; вей возстали противъ владычества псевдо-классической фракцузской поэзін. Въ поэзін русской явились луна и туманы, уныніе и грусть, смерть и гробъ. Но въ это время уже кончинси Карамзинскій періодъ русской литературы, и черезъ десять лётъ сама «Исторія» Карамзина сдѣлалась предметомъ неумъренныхъ и не всегда справедливыхъ нападокъ. Лучезарная звъзда поэтпческой славы Луковского веныхнула и загорьдась прио уже въ новомъ періодъ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковскаго, още во всей порв его діятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературъ... И однако жъ необъятно велико значение этого неэта для русской поэзін и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Но, къ сожальнію, эти похвалы уже леть тридиать изть поются какъ-то на одинъ голосъ и состоятъ изъ одинхъ и техъ же словъ, изъ одинхъ и тьхъ же выраженій. А педь дело критики совебыть не въ томъ, чтобъ провозгласить писателя великимъ талантомъ или геніемъ:

это скорве дило общественнаго мивнія, чемъ критики. Дело критики-привести въ сознаніе, путемъ анализа, общественное мненіе и неказать значене, смыслъ таланта или генія, опреділить тотъ жизненный элементь, который составляеть неключительное свойство его произведений и которыми онъ обогатилъ родную лигературу и жизнь своего общества. Въ «Отечественных в Занискахъ» впервые было сказано, что втелуга Жуковскаго состоить въ томъ, что онъ ввель въ русскую поэзію романтизмъ, и что истинными романтикомъ русскимъ былъ совсвиъ не Пушкинъ (какъ объ этомъ кричали лъть двадцать), а Жуковскій. Слово истины не падаетъ даромъ, и наше мивніе подхватили ирколорые «илениче» (ве проливоположность «безыменнымъ») критики, -тъ самые, которые право критики основывають не на талантв и чувствв изящиаго, а по-китайски-на экзаменахъ и числь и цвътъ мандаринскихъ шариковъ. Но сказать даже и отъ себя (не только повторить чужое мивніе), что Жуковскій ввель романтизмъ въ русскую поозію, еще не значить все сказать: должно раззить и доказать это положеніс. И мы теперь очень рады, что, назначивь статью о Пушкиню стель широкія рамы, можемъ представить во введении къ ней картину исторического развития всей литературы русской, а вийсти съ темъ и привести въ исполнение давнишнес желание наше-вполнъ развить и высказать нашъ взглядъ на поэта, которому мы такъ много обязаны вь дъль собств ннаго нашего развитія, съ мыслью о которомъ сливается для насъ столько прекрасныхъ и живыхъ воспомпнацій, - поззія котораго давно срослась съ нашимъ сердцемъ, и къ которому теперь мы въ то же время чужды всякихъ восторженныхъ предубъжденій... Мы падвемся, что для публики подобная статья не можеть не быть интересна, ибо ей дорогъ предметь ел, --а отъ кого же услышить она о немъ живое, современное слово? Неужели отъ задорливыхъ педантовъ, которые кричать только объ именности и безыменности, какъ о правъ притиковать, и всякое чужое мивніе считають или деракимъ, или продажнымъ, потому только, что коть оно и не ихъ мивніе, однако жъ находить себъ сочувствие и отзывъ въ ущербъ ихъ педантическимъ возгласамъ, всегда подписаннымъ ихъ собственнымъ именемъ?... Дожидайтесь отъ нихъ!...

Батюшковъ также пользуется на Руси большимъ и заслуженнымъ вниманіемъ и также ждетъ себъ критической оцѣнки. Имя его связано съ именемъ Жуковскаго: они дъйствовали дружно въ лучшіе годы своей жизни; ихъ разлучила жизнь, но имена ихъ

венда кипъ-т вибеть ложитея подъ него критика и историка русской литературы. В тюнковъ имбеть важное значене въ русской литературъ—конечно, не такое, какъ Куковскій, но тъмъ не менье самобытное. Онъ явился на ноприще ибсколько нозже туковскаго и занимаетъ мъсто въ литературъ тотчасъ ность него. Поэтому весьма удобно опредълить его значене (не теряясь въ подробностяхъ) въ одной статъ тъ Тумовски въ подробностяхъ) въ одной статъ тъ теперь.

Муковскій введь вт русскую повію романтизмъ. Что же чакое романтизмъ вообще и романтамъ Жуковекаго въ се бенпости? Воть копросъ, отъ рамения когораго зависить опредълсије значенія, какое мветь Жуковскій вы русской литературі... У насъ много говорили, толковали и спориди о романтизмь. «Моск оскій Телеграфъ» быль журнамомъ, какъ бы издававшимся для романтизма, -а журналь эготь сущ стзоваль съ 1825 по 1834 годъ. Но если толки о романтилив копчились на Руси съ «Московсиныть Телеграфомь», то начались они пораздо раньше, именно въ исходя второго десятильня техущаго стольни. Но отъ всего этого волусь не уяснился, и романтизм в попреднему остался таннотвеннымъ и загадочнымъ и едмет мъ. Его попяли, какъ противоноложность ф; апцузскому исевдоглассицизму. Отсюда остественно вынила шибка: какь подъ плассицизмомъ разумыли известную условную форму искусства, такъ нодъ романтизмомъ стали разумьть нарушеніе правиль эт й условной формы. И погому, кто соблюдаль во трагедін знаменитыя гри единства, героями он дълздь только царей и ихъ наперспытоть, заставляя ихъ говорить напыценно и важно,--тоть считался илассикомъ; кто же въ своей драмъ переносияв действіе изв одного честа вы другое, на ивскольких в странцияхъ сосредоточивать событие, совершившееся въ промежуткъ не одного десятка льтъ, число актовъ своей драмы не хотыть ограничивать запытной суммой инти, а дъйствующими лицами въ ней позволять быть людямъ всякаго званія, — тотъ считалея ультра - романтикомъ. Взглидъ «Телеграфа, на романтизму быль именно таковъ. Лучинить доказательствомъ этого служать теперешнія драмагическія надьлія бывшаго издателя «Московскаго Телеграфа»: подобно классическимъ трагедіямъ добраго стараго времени, драмы Полевого такъ же точно сколки и рабскія копіи, только съ другихъ образцовъ, и въ нихъ не видно даже таланта подражательности, а видна одна способность передразниванья и смѣлаго заимствованія, — между тѣмъ какъ именно передразниванье и заимотвование

мавилъ Полевой въ непростительный грд. певдо - классическимъ поэтамъ. Очевидно, что онъ классическимъ поэтамъ. Очевидно, что онъ классинизмъ и романтизмъ подкладъ во внѣшней формѣ. Пушкина поэмы, мелкія стихотворенія, самая фактура стиха, все было ново и нисколько пе походило на образцы существовавшей до него русской поэзіи: и за это-то именно Полевой виѣста съ другими провозгласилъ Пушкина романтикомъ. нисколько не полозрѣвая романтикомъ.

Льяствительно, у ромым поскей но за песточно дочжна быть своя форма, не походан на форму классической, но это и тому, что всикая оригле альная идея имбеть свои, ей присуную, оригинальную форму, всяки самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однако жь какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ форма, инпогда нельзя постичь заключеннаго въ исй духа; насбороть, только отправляясь отъ духа, можно постичь и самый духъ, и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается въ его плей, а не въ про-

Романтизмъ — принадлежность не одного только пекусство, не одней только поэзін: его неточникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и испусктва, и позви-въ жизни. Жезнь тамъ. гдь человить, а гдв чело физ, тамъ и романизаць. Вы третийность и суще-· венивышемь своемь значения розинтизмь есть не что иное, какъ внутрений міръ тупи человъка, сокровенная жизчь его с таиз. Въ груди и сердив человым заглючается тын і івечный петочнисть рочантивма: чув 120, люзовь есть проявление вал дойство романтизая, и потому почти вачий человань - розвиликъ. Исключение остается чолько чли за эгонстами, которые пром!, себа инкого любыть не могуть, или за нодыин, въ которыхъ звященное верно симнатія и ангипанів задаванно и заглушено пан правственной неразвиностью, или мэте із напада нуждами бъдной и грубой жизии. Вотъ сам е периот, естественно поняне о роман изыв-

Зак был сердца, какъ и сваены сезума, всегда один и тъ же, и потому тел обать, со натуръ стоей, всегда былъ, есть и оудет одинь и тогъ же. Но гото разумъ, такъ сердце живуть, а жить—значить развиваться, дв таться впередъ: поэтому человъкъ не межеть одинаково чуветвотать и мыслить з то жизнь свою; но его образъ чувствования з мышления измъняется сообразно гозрастатъ его жизни: юноша инсте поизмаетъ предметы и иначе чувствуетъ, нежели отрокъ; возкужальй человъкъ много разнится въ этомъ отношения отъ юноши, старецъ отъ мужа, котя всъ они чувствуютъ однимъ и тъмъ же

сердцемъ, мыслять однимъ и тъмъ же разумомъ. Это различие въ характеръ чувства и мысли вытекаеть изъ природы человъка и существуеть для каждаго: оно связано съ его непабъжнымъ свойствомъ расти, мужать и старъться физически. Но человъкъ имъетъ не одно только значеніе существа индивидуальнаго и личнаго. Кромъ того онъ еще членъ общества, гражданинъ своей земли, принадлежить къ великому семейству человъческато рода. Поэтому онъ-сынъ времени и всепитанникъ исторіи: его образъ чувствованія и мышленія видонзмівняется сообразно съ общественностью и національностью, къ хоторымъ онъ принадлежить, съ историческимъ состояніемъ его отечества и всего человическаго рода. Итакъ, чтобъ вирние определить значение романтизма, мы должны указать на его историческое развитие. Романтизмъ не принадлежитъ исключительно одной только сферъ любви: любовь есть только одно изъ существенныхъ проявленій романтизма. Сфера его, какъ мы сказали, -- вся внутренняя, задушевная жизнь чедовіка, та таннственная почва души и сердца, откуда подымаются вев неопредвленныя стремленія къ дучшему и возвышенному, стараясь находить себь удовлетворение въ идеалахъ, творимыхъ фантазіей. Здёсь для примера укажемъ только на то, какъ проявлялась любовь-по преимуществу романтическое чувство-въ историческомъ движеніи человічества.

Востокъ-колыбель человъчества и царство природы. Человекъ на Востоке-сынъ природы: младенцемъ лежить онъ на груди ел и старцемъ умираетъ на ея же груди. Восгокъ и теперь остался въренъ основному закону своей жизни-естественности, близкой къ животности. Любовь на Востокъ навсегда осталась въ первомъ моментъ своего пропвленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаеть не болье, какъ чувственное, на природъ основанное, стремление одного пола нь другому. Само собой разумьется, что первый и основной смыслъ дюбви заключается въ заботливости природы о поддержании и размножении рода человъческаго. Но если бъ въ любви людей все ограничивалось только этимъ расчетомъ природы, -- люди не были бы выше животныхъ. Следственно, это чувственное стремленіе въ любви человіка одного пола къ человъку другого пола есть только одинъ изъ элементовъ чувства любви, его первый моменть, за которымъ въ развити слёдують высшіе, более духовные и нравственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первомъ моментъ любви и въ немъ найти полное осуществление этого чувства. Отсюда вытекаеть семейственпость, какъ главный и основной элементь жизни восточныхъ народовъ. Имъть потом-

ство-первая забота и высочаниее блаженство восточнаго жителя: не имъть дътейэто для него знаменіе небеснаго проклятія, нравственнаго отверженія. По закону іудейскому, безплодныя женщины были побиваемы каменьями, какъ преступницы. Отцы тамъ женили сыновей своихъ еще отроками; братъ долженъ былъ жениться на вдовъ своего брата, чтобы «возстановить свия своему брату». Отсюда же выходить и восточная полигамія (многоженство). Гаремы существовали на Востокъ всегда, и ихъ нельзя считать исключительно принадлежащими исламизму. Обитатель Востока смотрить на женщину, какъ на жену или какъ на рабыню, но не какъ на женщину, потому что отъ женщины мужчина всегда добивается взаимности, какъ необходимаго условія счастливой дюбви,-оть жены или рабы онъ гребуеть только покорности. Для него - это вещь, очень пскусно приноровленная самой природой для его наслажденія: кто же станеть церемониться съ вещью? Мивы-самое върное свидътельство романтической жизни народовъ. Въ минахъ Востока мы не находимъ еще ни идеала красоты, ни идеала женщины. Всь мием по преимуществу выражають одно неутолимое вождельніе, -- одно чувство: сладострастіе, —одну идею: вічную производительность природы.

Гораздо выше романтизмъ греческій. Въ Греціп любовь является уже въ высшемъ моменть своего развитія: тамъ она-чувственное стремленіе, просв'єтленное и одухотворенное идеей красоты. Тамъ уже въ самомъ началь миоическаго сознанія за явленіемъ Эроса (любви, какъ общей сущности міровой жизни) тотчасъ слідуеть рожденіє Афродиты-красоты женской. Афродита собственно была не богиней любви, но богиней красоты. Когда родилась она изъ волнъ морскихъ и вышла на берегъ, къ ней сейчасъ присоединились дюбовь и желаніе. Этоть граціозный миоъ достаточно объясняеть собой сущность и характеръ эллинскаго понятія объ отношеніяхъ обоихъ половъ. Грекъ обожаль въ женщинь красоту, а красота уже порождала любовь и желаніе; следовательно, любовь и желаніе были уже результатомъ красоты. Отсюда понятно, какъ у такого нравственно-эстетического народа, какъ греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная миномъ Ганимеда, могла существовать не какъ крайній разврать чувственности (единственное условіе, подъ которымъ она могла бы являться въ наше время), а какъ выражение жизни сердца. Примёры такой любви были очень нередки у грековъ. Вотъ одинъ изъ самыхъ поравительныхъ. Павзаній говорить, что онъ нашель въ одномъ месть статую юноши, на-

званную антэросъ (взаимную любовь), и разсказываеть услышанную имъ отъ жителей того мъста легенду о происхождении этой статуп. Одинъ юноша, тронутый необыкновенной красотой другого, почувствоваль къ нему непреодолимо страстное стремдение. Встрётивъ въ отвётъ на свое чувство совершенную холодность и напрасно истощивъ мольбы и стоны къ ея побъжденю, онъ бросился въ море и погибъ въ немъ. Тогда прекрасный юнеша, вдругь проникнутый и пораженный силой возбужденной имъ страсти, почувствовалъ къ погибшему такое сожаление и такую любовь, что и самъ добровольно погибъ въ волнахъ того же моря. Въ честь обонхъ погибщихъ и была воздвигнута ста-

туя-антэросъ.

У грековъ была не одва Венера, но три: Уранія (небесная), Пандемось (обыкновенная) и Апострофія (предохраняющая пли отвращающая). Значеніе первой и второй понятно безъ объясненій; значеніе третьей было-предохранять и отвращать людей отъ гибельныхъ злоупотребленій чувственности. Изъ этого видно, что нравственное чувство всегда лежало въ самой основъ національнаго эллинскаго духа. Однако жь это инсколько не противоръчить тому, что преобладающій элементь ихъ любви было неукротимое, страстное стремленіе, требовавшее или удовлетворенія, или гибели. Поэтому они смотръли на Эрота, какъ на бога страшнаго и жестокаго, для котораго было какъ бы забавой губить дюдей. Множество трагическихъ легендъ любви у грековъ вполнѣ оправдываеть такой взглядь на Эрота-это маленькое крылатое божество съ коварной улыбкой на младенческомъ лицв, съ гибельнымъ лукомъ въ рукъ и страшнымъ колчаномъ за плечами. Кому не извъстно преданіе о любви Сафо къ Фаону и о скалъ Левкадской? А сколько легендь о страстной любви между братьями и сестрами, -- любви, которан оканчивалась или смертью безъ удовлетворенія, или казнью раздраженныхъ боговъ въ случав преступнаго удовлетворенія! Овидій передаль потомству ужасную дегенду о такой любви дочери къ отпу. Старая ияня несчастной ввела ее въ темнотъ на ложе отца, упоеннаго виномъ и неподозрѣвавшаго пстины,--и сперва Эвмениды, а потомъ превращение было наказаніемъ боговъ, постигнимъ несчастную. Но сколько граціи и гуманности въ греческой любви, когда она уввичивалась законной взаимностью! Недаромь въ прелестномъ миет Эрога и Психен греки выразили поэтическую мысль брачнаго сочетанія любви съ душой! Павзаній разсказываеть о статув стыдливости трогательную, исполненную души и граціи романтическую легенду. Статуя эта изображала дівушку,

которой преклоненная голова была накрыта покрываломъ. Вотъ смыслъ этой статуи: когда Одиссей, женившись на Пенелопъ, ръшился возвратиться изъ Лакедемона въ Итаку, Икаръ, престарблый царь, тесть его, не вы нося мысан о разлука съ дочерью, со сле зами умолиль его остаться. Улиссь уже готовъ быль взойти на корабль, - старецъ пал: къ его ногамъ. Тогда Улиссъ сказалъ ему, чтобы онъ спросиль свою дочь, кого она выбереть между ними-огца или мужа; Пенедона, не говоря ни слова, покрылась покрываломъ, н старецъ изъ этого безмолвнаго и граціозно-женственнаго отвёта понядъ, что мужъ для нея дороже отца, хотя страхти нежеланіе оскорбить чувство родительской любви и сковали уста ея... Это романтизмъ! Въ учени вдохновеннаго философа, боже ственнаго Платова, греческое созерцаніє любви возвышается до небеснаго просвытленія, такъ что ничего не оставляеть въ победу надъ собой среднимъ векамъ, этой удьтра-романтической эпохъ...

"Наслажденіе красотой (говорить этоть величайшій романтикъ не только древней Грецік но и всего міра) въ этомъ міра возможно в человъкъ только по воспоминанію той единов, истинной и совершенной красоты, которую душа припомпнаеть себъ въ первопачальной ся родинъ. Вотъ почему зрълище прекраснаго на земль, какъ восноминание о красоть горней, способствуеть тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты... Красота была свётлаго вида въ то время, когда мы счастливымт хоромъ слъдовали за Діемъ, въ блаженномъ видъніи и созерцанін, другіе же — за другими богами; мы эръли и совершали блаженнъйшеснзъ всъхъ таниствъ; пріобщались ему всецълые непричастные бъдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посътили; погружались въ видънія совершенныя, простыя, не страшныя, но радостным, и созерцали ихъ въ свъть чистомъ, сами будучи чисты и незапятнаны тъмъ, что мы, нынь влача съ собой, называемътъломъ, мы, заключенные въ него какъ въ раковину... Красота одна получила здёсь этоть жребій быть пресвытной и достойной любви. Не вполив по священный, развратный стремится къ самой красотъ, не взирая на то, что носить ея имя: онъ не благоговъетъ передъ ней, а подобно четвероногому ищеть одного чувственнаго наслажденія, хочеть слить прекрасное съ своимъ твломъ... Напротивъ того, вновь посвященный. увидъвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещеть; его объемлеть страхь; потомь, соверцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаеть и, если бы не боялся, что назовуть его безумпымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...

Нельзя не согласиться, что никогда романтизмъ не является въ такомъ дучезарномъ и чистомъ свътъ своей духовной сущности, какъ въ этихъ словахъ величайшаго изъ мудрецовь классической древности...

Но все это показываеть только глубокость эдлинскаго духа, часто въ созерцаніяхъ своихъ опережавнаго самого себя, в

не телько не противорбинть, но сие подтверждаеть летину, что навось из прасоть составляеть высшую сторону жизин грековъ. А богини прассты. - какъ мы уже зам'ятили выше, - сопровождалась у нихъ любовью и жеданіемъ... Чувство красоты, какъ только красоты, а не красоты и души вмветь, песть еще высшее проявлено романтием. Женщина существовала для грека въ тей те њко мъръ, въ какой была она прекрасна. в зя назначеніе было удоглетворять чусству изящнаго сладострастія. Самая стыдливость ея служила къ усилению страстнаго упоения мужчаны. Елена «Плады» — представительница греческой женщины: и боги. и смертные пногда называють ее безетыдной и превранной, по ей покровительствуеть сама Кипрада и собств чной рукой возводить ее на л те Александра боговиднаго, позорно бъж. зшаго съ поли битгы; за нее сражаются и цари, и народы, гибнеть Троя, пылаеть П понть - священная обитель парственнаго старца Пріама... Гъ пьесахъ, такъ превосжелно переведенныхъ Батюнковымъ изъ греческой антологін, можно видіть характеръ о:ношеній любящихся, какъ, наприміръ, въ э: й эпиграммт:

Свершилось: Никаторъ и пламенный Эрогъ За чанией ваке. 20й Аглаю побългли... О радость! здысь они сей и ясь разрышнай, Стыдинвости дъвической онлоть. Вы вилите: кругомъ разетияты небрежно Одежды изинныя надменьой красоты, Покровы леткіе изъ дымки бълосивжиой, И обугь стройная, и свыше цвыты: Здъсь всъ разначины роскопнато убора, Свидътели любви и счастьи Никогора!

Въ этой высекъ спвачена вси сущност: ромянтилма по греческому возарбнію: этоизлиное, проиналутое граціей наслажденіс. Вабсь женинна - только красота, и больш ни тего; здесь дюбовь-минута поэтическаго страстнаго упоенія, и больше ничего. Страсы насытплась -- п сердце детигь къ новым, предметамъ красоты. Грекъ сбожалъ крассту, и венгая преврасная женщина имфав щ тво на его обожание. Гренъ былъ вфренъ кі псоть в менцанк, но не этой красоть кли эчой женщинь. Когда женщина лишалась блоска своей красоты, она терпла вмёств съ пимъ и серице любившаго ее. И если грекъ ценилъ ее п въ осень дней оя, то все же оставаясь върнымъ своему воззрънио на да бовь, какт на чазинное на папценіе:

Себъ дь оплавиты утрату юныхъ двей? Та въ прасотъ не потычалась, И для любои моей Отъ времены еще предестные явилась, Твой другь че дорожить геознати й красой, Неарълон въ т: чиствахъ дюбовнаго испусства: Вель индан в раз на отпринени и измет,

И робить поцьлуй бозв чувства. іс іля виадиления ісбан,

Ты сграсть вдохьешь и вы мертвый камень И въ осень двей троихъ не погасаеть и замень Текущій съ жизнію въ крови...

Скольно страсти и задушевной граніи ч brok sumpanab!

Въ Лапев правитея узыбка на устахъ. Ея илънительны для сердна разговоры; Но мир мильи са погуплении взоры И слезы горести внезанной на очахъ. Я в сумерки вчера, одущевленный страстью У пого ей любви вев клятым новторяль, И съ поцвауемъ къ сладострастью

На ложе роскопи тихопько увлекалъ... Я тапль, и Ланса мавла.. Но вдругь уньста, побтранвла,

И слезы градомъ наъ очей! Смущенный, я прижаль ее къ груди моей: "Пго едилалось, слажи, по едилалось ст тобою?"

- Спокойна, пичего, безсмертными клянусы Я мыслію была встревожена одною: Вы вет обманчивы, и я... тебя страшусь.

Романтическая дира Эллады умъла восибвать не одно только счастье любви, какъ страстное и пзащите наслаждение, и не одну муку перазтытеннов страсти: она умъла плакать еще и надъ урной милаго праха. и элегія, — этоть ультра-романтическій родъ поззіп, — была создана ею же. събтлой музой Эллады. Когда отъ страстно любящаго сердца емерть отнимала предметь любин прежде, чёмь жизнь отнемала любовь, -грекъ учёлъ любить скорбной начинно сердца:

Въ обители вичтожества унылой. О, пезабвенная! прими потеки слеж-И воиль отчаниья падъ хладною могилей, И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ.

Ахъ, тщетно все! изъ въчной съни Ничъмъ не призовенъ твоей прискоройси тъни: Добычу не отдасть завистинвый Анда. Здвеь опъмьніе; все холодно молчиті: Надгробный факсав мой аншь мраин освъ-

Что. что вы сдълали, властители небесъ? Скажите, что праса такъ рано погибаеть? Но ты, е мать-земля! съ сей данью горькихъ

Прими почившую, поблекций цвътъ весений, Прими и уснов й въ гостепримной съим!

Но приміры ремантизма греческаго не въ одной только сферь любви. «Иліада» усвяна ими. Всполанто Ахиллеса.

Въ сердца интавшаго скорбь о красно-опоясанной дввъ, Силой Атрида отъчной.

Когда уводять отъ кего Бризенду, страниы!

силой и могуществомъ герай -

Бросиль друзей Ахиллесь и далеко оть всткъ одиновій. Сълъ у пучины съдой и, вапрая на Поитъ

темвогодима, Руки въ слезахъ простиретъ, умоляя любез-HVIO MAICE.

Эта сила, эта монь, когорти скорбыть и плачетт о чанессиюй сердну раге, выбото того чтобъ страшно мстить за нее, — что же это такое, если не романтизмъ? А тънь несчастивна Патрокла, явившаяся Ахиллу во снъ?

Только Пелидъ на берегу неумолкио-шуми-

Тяжко стенящій лежаль, окруженный толной мирмидоняць,

Ницъ на нолянъ, гдъ волны лишь шумныя билися въ берегъ,

Тамъ надъ Пелидомъ сонъ, сердечныхъ тревогъ укротитель, Сладкій разлился: герой истомиль благород-

Гектора быстро гоня подъ высокой стяной

Иліона. Тамъ Ахиллесу явилась душа несчастливца Патрокла.

Патрокла, Призракъ, величіемъ съ нимъ и очами прекрасными сходный;

Та жъ и одожда, и голось поть самый, сердцу знакомый...

Тънь Патрокла умоляетъ Ахилла о погребонии и о томъ еще, когда придетъ часъ Ахилла. то чтобъ коети ихъ нокоились въ одной урнъ... Ахиллъ отвъчаетъ возлюбленной тъни радостной готовностью совершить ея «завъты кръпкіе» и молитъ ее приблизиться кънему для дружнаго обънтія...

Рекъ, п жадные руки любимца обнять распростеръ онъ;

Тщетно: душа Мекетида, како облако дыма, сквозь землю

Ст воемт ушла. И вскочилъ Ахиллъ, пораженный видъньемъ.

И руками всилеснуль, и печальный такъ говориль опъ:

"Воги! такъ подлинно есть и въ андовомъ домъ подземномъ "Духъ человъка и образъ, но опъ совершет-

"Духт человъка и образъ, по опъ соверше: но безплотиви!

"Цълую почь, я видълъ, душа несчастиница Патрокла "Все надо мною стояла, степающій, плачущій

"Все мий завиты твердила, ему совершенно подобись!"

Это ли не романтизмъ?

А старецъ Пріамъ, добывающій руки убійцы діятей своихъ и умоляющій его о выкупів Гекторова тіла?

Старецъ, никъмъ непримъченный, вхедить въ покой и. Пелиду

Въ ноги упавъ, обымаетъ колтиа и руки цътуетъ,

Страшныя руки, дётей у него погубившіл многихъ...

"Всцомии отца своего, Ахиллесъ; безсмерт иммъ подобный.

"Старца такого жъ, какъ я на порогъ старости скоро́ной! "Межетъ быть, въ самый сей мигъ, и его окру

живши, сосъди "Ратью тъснять, и пекому старца отъ гора

"Но по крайней онъ мъръ, что живъ ты, п знал и спыша,

зная и слыша, "Сердце тобой веселить и вседневие льстится палеждой

"Милаго сына узръть, возвратившагося въ домъ изъ-подъ Троп, "Я же, несчастивний смертный, сыновъ возрастить браноносныхъ

"Въ Троъ святон, и изъ нихъ, ни единаго миъ не осталосы!

"Я пять десять ихъ имълъ при нашествіи рати ахейской: "Ихъ девятнадцать братьевъ оть матери бы-

"Прочихъ родили другія любезныя жены въ

многимъ Арей истребитель сломилъ имъ песчастнымъ колѣна,

"Сынъ осталея одинъ, защищалъ онъ и градъ нашъ, и гр: жданъ;

"Ты умертвилъ и его, за отчизну сражавшагося храбро

"Гектора! Я для него прихожу ка-кораблямъ мирмидонскимъ;

"Выкупить тъло его, приношу драгоцънный и выкупъ

"Храбрый, почти ты боговъ, надъ моимъ влополучіемъ сжал ся,

"Вспомнивъ Пелел родителя! я еще болье жалокъ!

"Я пенытую, чего на землъ не испытывалъ смертный:

"Мужа, убійцы дътей моих», руки къ устамъ прижимак:"

Такъ говоря, возбудилъ объ огив въ немъ печальныя думы;

За руку старца онъ взявъ, отъ себя стклонитъ его тихо.

Оба они вепоминая: Пріамъ знаменитаго сына, Горестно нламаль у погъ Ахиллесовыхъ въ прахъ простертый;

Царь Ахиллесъ, то отца веноминая, то друга Патрокла.

Плакалъ--и горестный стонъ ихъ кругомъ раздавался по дому.

Заключимъ нябии указанія на романтивмъ греческій прекрасной эниграммой, переведенной Бателиковымъ же изъ греческой антологіи: она называется — «Яворъ жъ Прохожему»:

Смогрите, виноградъ кругомъ меня какъ

Какъ любитъ мой полуиставвшій пень; Я ивкогда ему даваль отрадну твиь; Завяль: по виноградь со мной не разстается. Зевеса умоли.

Прохожій, если ты для дружества способень, Чтобъ другь твой моему быль изкогда по-

И почель твой любиль, оставились на земли. Вь основъ всякаго романтизма кенремънно лекить мистицизил, болье или менье мрачный. Это объяспиется тымь, что преобладающій элементь романтизма есть вічное и неопредълениее стремлечіе, не уничтожаемое инкакамь удов, егре спісмь. Источникь ремантизма, какь мы уже замътнан выше, - есть THRUCTBEHREA виутренность груди, мистическая сущность быощагося провые сердна. Поэтому у грековы вов божества любви и неъсвисти, симпатіи и антипатіп были божества подвечния. тиганическія, дість Урана (пебат п. Ген (вемли), а Уранъ и Гел были дъти Хаоса. Титаны додго оснаривали могущество боговъ одилийскихъ, и хотя громали Зевеса они были инзринуты

въ тартаръ, но однъ изъ нихъ-Прометей, предсказалъ паденіе самого Зевеса. Этотъ миеь о въчной борьбъ титаническихъ силъ съ небесиими глубоко знаменателенъ: пбо онь означаеть борьбу естественныхъ, сердечныхъ стремленій человѣка съ его разумнымъ созпаніемъ, и хотя это разумное сознаніе, наконецъ, восторжествовало въ образъ олимпійскихъ боговъ надъ титаническими силами естественныхъ и сердечныхъ стремленій, — по оно не могло уничтожить ихъ, пбо титаны были безсмертны подобно олимиійцамь; -Зевесь только могь заключить ихъ въ подземное царство вѣчной ночи, оковавъ цвиями, но и отгуда они успвли же, наконецъ, потрясти его могущество. Глубоко знаменательная мысль лежить въ основъ Софокловой «Антигоны». Героиня этой трагедін падаеть жертвой любви своей къ брату, враждебно столкнувшейся съ закономъ гражданскимъ: ибо она хотъла погребсти съ честью тело своего брата, въ которомъ представитель государства видёль врага отечества и общественнаго спокойствія. Эта страшная борьба романтическаго эдемента съ эдементами редигіозными, государственными и мыслительными, -- борьба, въ которой заключается главный источникъ страданій бъднаго человъчества, кончится тогда только, когда свободно примирятся божества титаническія сь божествами олимпійскими. Тогда настанеть новый золотой выкь, который столько же будеть выше перваго, сколько состояніе разумнаго сознанія выше состоянія естественной, животной непосредственности. Самый мистическій, слёдственно, самый романтическій поэть Грецін быль Гезіодьодинь изь первоначальныхь поэтовь Эллады; и потомъ самый романтическій поэтъ Греціи быль трагикъ Эвринидъ - одинъ изъ последнихъ ея поэтовъ.

Впрочемъ, романтизмъ не былъ преобладающимъ элементомъ въжизни грековъ: онъ даже подчинялся у нихъ другому, болье преобладающему элементу-общественной и гражданской жизни. Поэтому романтизмъ греческій всегда ограничивался и уравновівшивался другими сторонами эллинскаго духа и не могъ доходить до крайностей нелъпаго. Изъ миновъ Тантала и Сизифа видно, какъ чуждо было духу греческому остановиться на идев неопредвленнаго стремленія. Танталъ мучится въ подземномъ мірѣ безконечно ненасытимой жаждой; Сизифъ долженъ безпрестанно падающій тяжкій камень поднимать снова; эти наказанія, такъ же какъ и самыя титаническія силы, им'єють въ себъ что-то безмърное, тяжко-безконечное; въ нихъ выражается ненасытимость внутренне-личнаго естественнаго вождельнія, которое въ своемъ безпрерывномъ повторе-

нін не достигаеть до спокойствія удовлетворенія: пбо божественный смысль грековь понималь пребываніе въ неопреділенномъ стремленін не какъ высочайшее божество, въ смысль новьйшей романтики, но какъ проклятіе, и заключиль его въ тартаръ.

Не такимъ является романтизмъ въ средніе віка. Хотя романтизмъ есть общее духу человъческому явленіе, во вст времена и для всёхъ народовъ присущее, но онъ считается какой-то исключительной принадлежностью среднихъ въковъ и даже носить на себъ имя народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль въ эту великую и мрачную эпоху человъчества. И это произошло не отъ ощибки, не отъ заблуждения: средніе віна-дійствительно романтическіе по превосходству. Въ Грецін, какъ мы видели, романтизмъ былъ силой мрачной, всегда движущейся, въчно борющейся съ богами Олимпа и въчно держащей ихъ въ страхъ; но эта сила всегда была побъждаема высшей силой олимпійскихъ божествъ: въ средніе віка, напротивь, романтизмь составляль безпримърную, самобытную силу, которая, не будучи ничемъ ограничиваема, дошла до последнихъ крайностей противорвчія и безсмыслицы. Этимъ страннымъ міромъ среднихъ вѣковъ управлялъ не разумъ, а сердце и фантазія. Казалось, что міръ снова сдёлался добычей разнузданныхъ элементарныхъ силъ природы: сорвавшіеся съ цёней титаны снова ринулись изъ тартара и овладели землей и небомъ, — и надъ всёмъ этимъ снова распростерлось мрачное царство хаоса... Всего удивительные, что это движение совершалось въ противоръчии съ своимъ сознаніемъ. Одимпійскія силы у грековъ выражали общее и безусловное, а титаническія были представителями и ндивидуальнаго, личнаго начала. Въ средніе выка всь начала назывались чужими, противоположными имъ именами. Движеніе ихъ было чисто сердечное и страстное, а совершалось опо не во имя сердца н страсти, а во имя духа; движение это развило до последней крайности значение человвческой личности, совершилось же оно не во имя личности, а во имя самой общей, безусловной и отвлеченной идеи, для выраженія которой недоставало словъ-ихъ замъняли символы и условныя формы. Въ этомъ странномъ мірѣ безуміе было высшей мудростью, а мудрость - буйствомъ; смерть была жизнью, а жизнь-смертью, и міръ распался на два міра-на презпраемое здівсь и неопредъленное таинственное тамъ. Все жило и дышало чувствомъ безъ действительности, порываніемъ безъ достиженія, стремленіемъ безъ удовлетворенія, надеждой безъ совершенія, желаніемь безь выполненія, страст-

пой, безпокойной діятельностью безъ ціли и результата. Хотели чувствовать для того только, чтобъ стремиться, желать-чтобъ желать, а дъйствовать-чтобъ не быть въ поков. На твло смотрвли не какъ на проявленіе и орудіе духа, а какъ на вериги и темницу духа, не разделяли мивнія древнихъ, что только въ здоровомъ тёлё можеть обитать и здорован душа, но, напротивъ, были убъждены, что только изможденное и устаръвшее до времени тело могло быть одарено ясновидениемъ истины... Чудовищныя противоръчія во всемъ! Дикій фанатизмъ шель объ руку съ святотатствомъ; злодейство и преступленіе смінялись покаяніемъ. крайность котораго, казалось, превосходила силы духа человъческаго; набожность и кощунство дружно жили въ одной и той же душь. Понятіе о чести сдылалось красугольнымъ камнемъ общественнаго зданія; но честь полагали въ формъ, а не въ сущности: рыцарь, неявившійся на вызовъ смерти, видель честь свою погибшей; но выходя на большія дороги грабить купеческіе обозы, онъ не боядся увидьть опозореннымъ гербъ свой... Любовь къ женщинъ была воздухомъ. которымъ люди дышали въ то время. Женщина была царицей этого романтическаго міра. За одинъ взглядь ея, за одно ея слово-умереть казалось слишкомъ ничтожной жертвой, победить одному тысячислишеомъ легкимъ деломъ. Провхать десятки версть, на дорогь помять бока и поломать свои кости въ поединкъ, въ проливной дождь и бурю простоять подъ окномъ «обожаемой дівы», чтобъ только увидіть въ окив промедькнувшую твиь ея - казалось высочайшимь блаженствомъ. Доказать, что «дама его сердца» прекрасные и добродытельнъе всъхъ женщинъ въ міръ, доказать это людямъ, которые никогда не видали его дамы, и доказать имъ это силой руки, гибкостью тела, лезвіемъ меча и остріємъ пикиказалось для рыцаря священнымъ деломъ. Онъ смотрълъ на свою даму, накъ на существо безплотное; чувственное стремление къ ней онъ почель бы профанаціей, грёхомъ, она была для него идеаломъ, и мысль о ней давала ему и храбрость, и силу, Онъ призываль ея имя въ битвахъ, онъ умираль съ ея именемъ на устахъ. Онъ быль ей верень всю жизнь, - и если бъдля этой върности у него не хватило любви въ сердцъ, онъ легко замъниль бы ее аффектаціей. И это страстнодуховное, это трецетно-благоговъйное обожаніе избранной «дамы сердца» нисколько не мъщало жениться на другой или быть въ самой гръховной связи съ десятками другихъ женщинъ, не мвнало самому грубому, циническому разврату. То идеаль, а то действительность: зачёмы же имь было мёшать другь

другу?.. Надо отдать въ одномъ справедливость среднимъ въкамъ: они обожали красоту, какъ и греки; но въ свое понятіе о красотъ внесли духовный элементъ. Греки понимали красоту только какъ красоту строгоправильную, съ изящными формами, оживленными граціей; красота среднихъ въковъ была красотой не одной формы, но и какъ чувственное выдажение нравственныхъ качествъ, болье духовная, чымъ тылесная, -- красота, для художественнаго возсозданія которой скульптура была уже слишкомъ бъднымъ искусствомъ, и которую могла воспроизводить только живопись. Для грековъ красота существовала въ целомъ, и потому ихъ статуи были нагія или полунагія; красота среднихъ въковъ вся была сосредоточена въ выражении лица и глазъ. Нельзя не согласиться, что понятіе среднихъ въковъ о красотъ-болье романтическое и болье глубокое, чвить понятие древнихъ. Но средние въка и туть не умъли не неказить дъла крайностью и преувелачениемъ: они слишкомъ любили туманную неопредъленность выраженія въ лиць женщины, и въ ихъ картинахъ она является какъ будто совсемъ безъ формъ, совсёмъ безъ тёла, какъ будто тёнью, призракомъ какимъ-то. Въ понятіи о блаженствъ любви средніе віка были діаметрально противоположны грекамъ. Вступить въ любовную связь съ дамой сердца — значило бы тогда осквернить свои святьйшія и задушевиващія върованія; вступить съ ней въ бракъ-унизить ее до простой женщины, увидёть въ ней существо земное и тълесное... Да соединеніе съ любимой женщиной и не казалось тогда какой-то необходимостью. Любили для того, чтобъ любить, и мистика сердечныхъ движеній отъ мысли любить и быть любимымъ была самымъ полнымъ удовлетвореніемь любви и наградой за любовь. Если бъ конюхъ влюбился въ дочь гордаго барона,его ожидало бы неземное счастье, небесное блаженство; онь даже не хотьль бы и знать, любять ли его: для него достаточно было сознанія, что онъ любить. Воть уже подлинно счастье, нотораго не могла лишить судьба, сокровище, котораго никто не могь похитить!.. И хорошо делали те, которые ограничивались илатоническимъ обожаніемъ молча, съ фантазіями про себя: бракъ всегда бываль гробомъ любви и счастьи. Бъдная дъвушка, сделавшись женой, променивала свою корону и свой скипетръ на оковы, изъ царицы становилась рабой, и въ своемь муже, дотоль преданный пемъ рабь ен прихотей, находила деспотическаго властедина и грознаго судью. Безусловная покорность его грубой и дикой воль дылалась ен долгомъ, безропотное рабство — ел добродътелью, а терпвніе — единственной опорой въ жизни.

Пьяный и бъщеный, онъ мстиль ей за дурное расположение своего духа, онъ могъ бить ее, равно какъ и свою собаку, въ сердцахъ на дурную погоду, минавшую ему охотиться. При малъйшемъ полозръніи въ невърности онъ могъ ее заръзать, удавить, сжечь, зарыть янвую въ землю, п-увы!-такія петорін не были въ средніе въка слинкомъ рідкими или исключительными событівми! И воть онадарина общества и повелительнина храбрыхъ и сильныхъ! И воть онъ - чудовищими и нельный романтизмы средониль выковы, столь поэтическій, какъ стремленіе, и столь отвратительный, какъ осуществление на дель! Но довольно о немъ. Съ инмъ всв болве или менье знакомы, ибо о немъ даж и по-русски писано много. Но мы еще возвратимен къ нему, говоря о поэзін Жуков-

Романтизмъ среднихъ вановъ не умиралъ и не исчезаль: вапротивъ, онъ царить еще надъ современнымъ намъ обществомъ, по уже измънистій я, и выродившійся; а будущее готовить ему еще большее изминение. Что же убило его въ толъ видь, въ какомъ существоваль онъ въ средніе въка? — Свътъ просвъщения, разогнавний въ Европъ мракъ невъжества, - усибхи цивилизаціи, открытіе Америки, изобратение киптопечатания и пороха, римское право и вообще пручение классической древности. Странное дело! Въ Греци романтизмъ јазрушилъ свътлый міръ олимийскихъ боговъ: пбо что же были ученія и таннства элевзинскія, какъ не романтизмъ глубскомысленный и мистический? Туманиьм, неопредел иным предчувствия высшей духовной сущности, пробудивнияся въ лушт г; ековт, - находились вь явной противоположности съ резко-определениямъ, яснымъ, во въ то же время и инфанимъ міромъ олимпийскихъ боговъ. А такъ какъ сами боги эти лишь по отпу всходили отъ духа, по матери же, исключая Аноллова и Артемиды,--рождены были изъ надръ земли, божества довременно-татанического, то и духъ одинновъ, не удовлетворяясь одимийнами, обратилен ив подземпимъ титапическимъ си...мъ. которыя такъ симпатически гармонировали съ міромъ его задушевной жизин, съ сто сердцемъ. Ніткогда попранное могущество древнихъ тизаническихъ боговъ возстало теперь прображенное, прілвшее въ себя всю жизнь дуни, неудовлетворявшейся видимымъ. Это была та же древияя олементарвая природа, но уже пришедшая въ гармонію, превикнутая высшей духовностью, не гибельная и пожирающая, но другсотвенная человыму, сосреж точенная въ кроткихъ мистическихъ образахъ Цереры и Вакха, которые въ илеваниемихъ мистерияхъ являлись уме божествами подземнаго міра, тапиствен-

ными и всеобъемлющими. Издъ вліяніемъ элевзинскихъ таниствъ развилась поззія Эсхила, столь враждебная Зовсу, и нозвія Эвринида, - развилась вся философія Греціи, и въ особенности философія величайшаго изт. романтиковъ — Платона. Сдедовательно, въ Грецін романтизмъ, какъ выраженіе подземныхъ титаническихъ силъ, игралъ роль де мона, подконавшаго царство Зевеса. Въ но вомъ же мірѣ романтизмъ сталъ представителемъ царства титаническаго, мрачнаго цар ства страданій и скорби, инчівмъ пеутолимымъ порывомъ сердца; а газрушителемъ этого романтизма, демономъ сомивиня и отрицанія явилось наретво Зевеса, т. е. царство свътлаго и свободнаго разума. Та жисторія, только совершенно насбороть! Всьмъ извъстно, какіе страшные удары нанесены были среднимъ въкамъ демономъ проніп! Какое страниное въ этомъ отношении произведение «Донъ-Кихоть» Сервантеса! Реформатское движение было явнымь убійствомъ среднихъ въковъ. XVIII въкъ доръзаль его радикально. Эготь умивінній п величайний изъ встхъ выновь быль особенно страшенъ для средиихъ въковъ...

Вследствіе страшныхъ потрисеній и ударовъ, нанесенныхъ романтизму ХУШ-мъ выкомъ, романтизмъ явился въ наше время совершенно перерожденнымъ и преображенпымъ. Романтизмъ нашего времени езть сыпъ романтизма среднихъ въковъ, но онъ же очень средни и романгизму греческому, Говоря точиве, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецелость романтизма всехъ вековъ и ветхъ фазисовъ развитія человіческаго рода: въ нашемъ романтизмъ, какъ лучи солнца въ фокусъ зажигательнаго стекла, сосредоточились вей моменты романтизма, развившагося въ неторіи челов'вчества, и образовали совершение новое ислое. Общество все еще держится принципами стараго, средне-въноваго романеними, образившагося уже въ пустыя формы за отсутствіемъ умершаго содержанія; но доди, имьющіе право называться «солью земли», уже силятся осуществить идеалъ новар романтизма. Наше время есть эпоха гарм наческаго уравновышенія всіхъ сторонъ человіческаго духа. Стороны духа челозьческаго непечисины въ ихъ разнообразін; по главныхъ сторонъ том но двъ: сторона внутренияя, залушевная, сторона серица, слегомъ, ром: нанка,и сторона сознающаго себи разима, сторона общаго, разумыя подъ эт. мь словемь сочетавіе интересовъ, выходивихъ на сферы индивидуальности и личности. Вы гармоніп, т. е. во взаимномъ соприносновении одной съ другою этихъ двукъ сторонъ духа, заключается счастье современнаго человька. Романчизмъ есть вън ая потробность духовной

природы человъка; ибо сердце составляетъ основу, коренную почву его существования, а безъ любын и ненависти, безь симнатіи и антипатін человыкь есть призракъ. Любовь поэзія и солице жизни. Но горе тому, кто въ наше времи здание счастья своего вздумаеть построить на одной только любви и въ жизни сердна вознадъется найти полное удовлетвореніе всёмъ своимъ стремленіями! Въ наше время это значило бы отказалься оть своего человвиеского достониства, изъ мужчины сделаться-самцомъ! Міръ действительный имбеть равныя, эсли еще побольшія права на человіна, и въ этомъ мірѣ человъкъ является прежде всего сыном: своей страны, гразданиномъ своего отечества, горячо принимающимъ къ сердцу его мнтересы и ревностно поберающимъ, по мърв силъ своихъ, его преуспыванию на пути правственнаго развитія. Любовь из человъчеству, понимаемому въ его историческомъ вначеній, должна быть живоносной мыслыо. которан просвітляла бы собой любовь его къ родинъ. Историческое созерцание должилежать въ основа этой любви и служить указателемъ для двятельности, осуществляющей эту любовь. Знапіе, покусство, гражданская деятельность-все это составляетъ для современнаго человька ту сторону жизни, которая должна быть только въ живой органической связи съ стороной романтики. или внутренняго задушевнаго міра чедові. ка, -- но не замъняться ею. Если человъкъ вахочетъ жить только сердцемъ, во имя одной любви, и въ женщинъ найти цъль и весь смыслъ жизин, -- онъ непремънно дойдетъ до результата, самаго противоположнаго любви, т. е. до самаго холоднаго эгонама, который живеть только для себя и все относить къ себъ. Если, напротивъ, человінь, припрівь жизнью сердца, захотіль бы весь отдаться интересамъ общемъ, онъ или не избъжалъ бы тайной тоски и чувства внутренией неполноты и пустоты, или если не почувствоваль бы ихъ, то внесъ бы въ міръ высокой діятельности сухов и холодное сердце, при которомъ не бываетъ у человіка ин высокихъ помысловъ, ни плодотворной деятельности. Итакъ, эгонямъ и ограниченность, пли неполнота-въ объихъ этихъ крайностяхъ; очевидно, что только изъ гармоническаго ихъ соприкосновения одней другою выходить возможность полнаго удовлетворенія, а слідственно, и возможность свойственнаго и присушаго душт человъка счастьи, основаннаго не на песчаномъ берегу случайности, а на прочисмъ фундаменть сознанія. Въ этомъ отношенін мы гораздо ближе къ жизни древьихъ, чънъ ив жизии срединхъ въковъ. в гораздо выше тъхъ и другихъ. Поо въ нашемъ идеа-

ль общество не угнетаеть человька насчеть естественныхъ стремленій его сердца, а серлце не отрываеть его отъ живой общественной дьятельности. Это не значить, чтобъ общество позволяло тенерь человъку между прочимъ и любиться, но это значить, что уже нътъ или по крайней мъръ болье не должно быть борьбы между сердечными стремленіями и общественнымъ устройствомъ, примиренными рязумно и свободно. И въ наше время жизнь и деятельность въ сферф общаго есть необходимость не для одного мужчины, но точно такъ же и для женщины: нбо наше время сознало уже, что и женщина такъ же точно человыть, какъ и мужчина, и сознало это не въ одной теоріи (какъ это же сознавали и средніе вѣка), но п въ дѣйствительности. Если же мужчинь нозорно быть сам-, помъ на томъ основанія, что онъ-челоывать, а ис животное, то и женщинв позорно быть самкой на томъ основанін, что она -человъкъ, а не животное. Ограничить ж: кругъ ея дѣятельности спромностью и невинностью въ состоянія дівическомъ, спальней и кухней съ состояни замужества (какъ это было въ средніе віка) - не значить ли это лишить ее правъ человбка, а изъ женщины едваать самкой? Но, скажуть намы: женщина-мать, а назначение матери свято и высоко, она-воспитательница дітей своихъ. Препрасно! Но въдь воспитывать не значить только выкармливать и выняньчивать (первое можеть сдалать корова или коза, а второе ванька), но и дать направленіе сердцу и уму, - а для этого развів не нужно со стороны матери характера, науки, развятія, доступности ко всьмъ человіческимъ интересамъ?... Нътъ, міръ знавія, некусства, словомъ, міръ общаго долженъ быть столько же открыть женщинь, какъ и мужчинь. на томъ основанін, что и она, какъ и онъ, прежде всего-человъкъ, а нотомъ уже любовинца, жена, мать, хозийка, и проч. Встадетвіе этого отношенія обонхъ половъ къ любви и одного къ другому въ любы двалотся совевмь другими, пемели какими они были прежде. Женщина, которан умбетъ только любить мужа и дьтей евонхъ, а больше ин о чемъ не имбетъ понятія и больше ви къ чему не стремится, -- такъ же точно смъщна, жалка и недостойна мобви мужчины, какъ смъщонъ, жалокъ и недестоинъ дюбен женщины мужчина, который только на то и способенъ, чтобъ влибиться, да любить жену и дітей своихъ. Такъ какъ истинно-челевическая любовь тенерь можеть быть основана только на взаемнемъ уважении другъ въ другж человвческаго достоинства, а ис на одномъ капризв чувства и не на однов

прихоти сердца, -- то и любовь нашего времени имжеть уже совсёмь другой характерь, нежели какой имъла она прежде. Взаимное уваженіе другъ въ другь человьческаго достоинства производить равенство, а равенство-свободу въ отношеніяхъ. Мужчина перестаеть быть властелиномъ, а женщинарабой, и съ объихъ сторонъ установляются одинаковыя права и одинаковыя обязанности; послѣднія, будучи нарушены съ одной стороны, тотчасъ же не признаются болве и другой. Върность перестаеть быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердць: ньть болье чувства-и върность теряеть свой смысдъ; чувство продолжается-врность опять не имфеть смысла: нбо что за заслуга быть върнымъ своему счастью!

Мы сказали выше, что романтизмъ нашего времени есть органическое единство всёхъ моментовъ романтизма, развивавшагося въ исторіи человічества. Приступая къ развитію этой мысли, зам'втимъ прежде, что теперь для всякаго возраста и для всякой ступени сознанія должна быть своя любовь, т. е. одинъ изъ моментовъ развитія романтизма въ исторіи. Смішно было бы требовать, чтобъ сердце въ восемнадцать льтъ любило, какъ оно можетъ любить въ тридцать и сорокъ, или наоборотъ. Есть въ жизни человъка пора восточнаго романтизма; есть пора греческаго романтизма; есть пора романтизма среднихъ въковъ. И во всякую пору человъка сердце его само знаетъ, какъ надо любить ему и какой любви должно оно отозваться. И съ каждымъ возрастомъ, съ каждой ступенью сознанія въ человькі измѣняется его сердце. Измѣненіе его совершается съ болью и страданіемь. Сердце вдругъ охладъваеть къ тому, что такъ горячо любило прежде, и это охлаждение повергаеть его во всё муки пустоты, которой нечемь ему наполнить, -- раскаянія, которое все-таки не обратить его къ оставленному предмету, -- стремленія, котораго оно уже боится, и которому оно уже не върить. И не одинь разъ повторяется въ жизни человька эта романическая исторія, прежде чёмъ достигнеть онь до правственной возможносги найти своему успокоенному сердцу надежную пристань въ этомъ вѣчно-волнуюнемся морт неопределенных внутреннихъ стремленій. И тяжело дается человіку эта нравственная возможность: дается она ему цыной разрушенныхъ надеждъ, несбывшихся мечтаній, побитыхъ фантазій, ціной уничтоженія всего этого романгизма среднихъ вѣковъ, который истиненъ только, какъ стремленіе, и всегда ложень, какъ осуществленіе! И не каждый достигаеть этой нравственной возможности; но большая часть па-

даеть жертвой стремленія нь ней, падаеть съ разбитымъ на всю жизнь сердцемъ, нося въ себъ, какъ проклятіе, память о другомъ разбитомъ навсегда сердцѣ, о другомъ павъки погубленномъ существованіи... И здъсьто заключается неисчерпаемый источникъ трагическихъ положеній, печальныхъ романтическихъ исторій, которыми такъ богата современная действительность, наша грустная эпоха, которой недостаеть еще спль ни оторваться совершенно оть ромактизма среднихъ въковъ, ни возвратиться вновь и вполнь вродиннивни обратия этого обантельнаго призрака... Но иные спасаются оть общей участи времени, находя въ самомъ же этомъ времени не всеми видимыя и не всёмъ доступныя средства къ спасенію. Это спасеніе возможно не пначе, какъ только черезъ совершенное отрицание неопредвленнаго романтизма среднихъ въковъ; однако жъ это не есть отрицание отъ всякаго идеализма и погружение въ прозу и грязь жизни, какъ понимаетъ ее толца, но просвытльніе идеей самыхъ простыхъ житейскихъ отношеній, очеловіченіе естественныхъ стремленій. Для человька нашего времени не можетъ не существовать предесть изящныхъ формъ въ женщинъ, ни обаятельная сила эстетически-страстнаго наслажденія. И, несмотря на то, это будеть не одна чувственность, не одна страсть, но вмёстё съ тёмъ и глубокое цёломудренное чувство, привязанность нравственная, связь духовная, любовь души къ душь. Это будеть растеніе, котораго прекрасный и роскошный цевть проливаеть въ воздухъ аромать, а корень кроется во влажной и мрачной почвь земли. Восточная любовь основана на различіи половъ: основаніе это истинно, и недостатокъ восточной любви заключается не въ томъ, что она начинается чувственностью, но въ томъ, что она также и оканчивается чувственностью. Мужчинъ можно влюбиться только въ женщину, женщинь -- только въ мужчину: следовательно, половое различие есть корень всякой любви, первый моменть этого чувства. Грекь обожаль вь женщинь красоту, какь только красоту, придавая ей въ вѣчныя сопутницы грацію. Основа такого воззрѣнія на женщину истинна и въ наше время, и надо имъть дубовую натуру и заскорузлое чувство, чтобъ смотръть на красоту, не плъняясь и не трогаясь ею; но одной красоты въ женщинь мало для романтизма нашего времени. Романтизмъ среднихъ въковъ пошелъ далье превнихъвъ понятін о красоть: онь отказался оть обожанія красоты, какъ только красоты, и хотёль видъть въ ней душевное выражение. Но эте выражение поняль опъ до того неопределенно и туманно, что древняя иластическая кра-

сота относилась къ идеалу его красоты, какъ прекрасная дъйствительность къ прекрасной мечть. Понятіе нашего времени о красоть выше созерцанія дрегняго и созерцанія среднихъ въковъ: оно не удовлетворяется красотой, которая только что красота и больше ничего, какть эти прекрасныя, но холодныя мраморныя статун греческія съ безцвѣтными глазами; но оно также далеко и отъ безплотнаго идеала среднихъ вѣковъ. Оно хочетъ видить въ красотъ одно изъ условій, возвышающихъ достоинство женщины, и вмъстъ съ темъ піцеть въ лице женщины определеннаго выраженія, опредбленнаго характера, опредъленной идеи, отблеска опредъленной стороны духа. Въ наше время умный человькъ, уже вышедшій изъ пеленъ фантавіи, не станетъ искать себь въ женщинь идеала всёхъ совершенствъ, — не станетъ потому, во-первыхъ, что не можетъ видъть въ самомъ себъ идеала всъхъ совершенствъ, и не захочеть запросить больше, нежели сколько самъ въ состояни дать, а во-вторыхъ, потому, что не можетъ, какъ умный человькь, върпть возможности осуществленнаго идеала всахъ совершенствъ, ибо онъопять-таки какъ умный, а не фантазпрующій человівь, - знаеть, что всякая личность есть ограничение «всего» и исключение «многаго», какими бы достоинствами она ни обладала, и что самыя эти достопиства необходимо предполагають недостатки. Найти одну или, пожалуй, нъсколько нравственныхъ сторонъ, и умъть ихъ понять и оцънить-вотъ идеалъ разумной (а не фантастической) любви нашего времени. Красота возвышаетъ нравственныя достоинства; но безъ нихъ красота въ наше время существуетъ только для глазъ, а не для сердца и души. Въ чемъ же должны заключаться нравственныя качества женщины нашего времени?—Въ страстной натурь и возвышенно-простомъ умь. Страстная натура состоить въ живой симпатін ко всему, что составляетъ нравственное существованіе человіка; возвышенно-простой умъ состоить въ простомъ пониманіи даже высокихъ предметовъ въ тактъ дъйствительности, въ смълости не бонться истины, ненябъленной и непарумяненной фантазіей. Въ чемъ состоить блаженство любви по поиятію нашего времени?—Въ наше время о полномъ безусловномъ счастій въ любви могуть мечтать только или отроки, или духовно-малольтнія натуры. Это, во-первыхъ, потому, что міръ романтизма не можетъ вполнѣ удовлетворить порядочнаго человька, а во-вторыхъ, потому, что наше время какъ-то вообще неудобно для всякаго счастья, а тъмъ менъе для полнаго. Возможное счастье любви въ наше время зависить оть способности дорожить одареннымъ благородной душой су-

ществомъ, которое, при сердечной симпати къ вамъ, столько же можетъ понимать васъ такъ, какъ вы есть (ни дучше, ни хуже), сколько и вы можете нонимать его, и понимать въ томъ, что составляетъ принадлежность нравственнаго существованія человіка. Видъть и уважать въ женщинъ человъка-пе только необходимое, но и главное условіе возможности любви для порядочнаго человъка нашего времени. Наша любовь проще, естественные, но и духовные, нравственные любви встхъ предшествовавшихъ эпохъ въ развитіи человъчества. Мы не преклонимъ кольнъ передъ женщиной за то только, что она прекрасна собой, какъ это делали греки; но мы и не бросимъ ея, какъ наскучившую намъ игрушку, лишь только чувство наше насытилось обладаніемъ. Это не значить, чтобъ наше сердце не могло иногда охладъвать безъ причины; но для насъ нътъ большаго несчастія, какъ, взявъ на себя правственную ответственность въ счастіп женщины, растерзать ея сердце, хотя бы и невольно. Мы ни съ камъ не станемъ драться, чтобъ заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и добродътели, какъ это дълали рыцари; но мы уважаемъ ся дъйствительныя права и, не дълая ея своей царицей, не захотимъ видъть въ ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) насъ существо... Мы не увидимъ въ ней, какъ въ среднія въка, какого-то безплотнаго существа высшей природы, но вполнъ признаемъ ее человѣкомъ... Мать нашихъ дѣтей, она не унизится, но возвысится въ глазахъ нашихъ, какъ существо, свято выполнившее свое святое назначение, и наше понятіе о ея нравственной чистоть и непорочности не имъетъ ничего общаго съ тъмъ грязно-чувственнымъ понятіемъ, какое придаваль этому предмету экзальтированный романтизмъ среднихъ въковъ: для насъ нравственная чистота и невинность женщинывъ ен сердцв, полноть любви. въ ен душв, полной возвышенныхъ мыслей..., Идеаль нашего времени-не дѣва пдеальная и неземная, гордан своей невинностью, какъ скупецъ своими сокровищами, отъ которыхъ ни ему, ни другимъ не лучше жить на свътъ; нъть, идеалъ нашего времени -- женщина, живущая не въ мірь мечтаній, а въ дыйствительности осуществляющая жизнь своего сердца, не такая женщина, которая чувствуеть одно, а дълаеть другое. Въ наше время любовь есть идеальность и духовность чувственнаго стремленія, которое только ею и можеть быть законно, нравственно и чисто; безъ нея же оно и въ самомъ бракъ есть униженіе человіческаго достопиства, гріховный позоръ и растление женщины... Много нужно было времени, битвъ, боре-

шћ, переворотовъ и страдавы, чтобъ явилась человічеству згря посаго р мантизна и настала для него эпоха освобождений отъ романтизма срединхъ высовы. Давно уже условія жизин и основи общества были другія, непохожка на тв. которыми ковики озлан средніе віки, но романтивмь среднихъ візкоръ все еще держалъ Евроиу въ своихъ душныхъ оковахь, и -- Боже мой! -- какъ еще тия многихъ тибельны клечди этого искаженпаго и выродивнагося призрака!... ХУНН выкь нанесь ему ударь странивый и разнисельный; по дёло темъ по кончилось: какъ зампа веныхиваеть ярче передътъма, когда ей нато угаснуть, такъ стлынве въ началь нынгыняго вына везеты . было, изъ свочо гроба этотъ покойникъ. Всико- ел имое пого-. ическое двржение инобходимо порожилеть реакцію своей грайн з ти: воть причана внезаппаго проявления романтизма среданхъ въковъ въ литературь XIX г. ва. Онь в скресъ въ странъ, которой уметвенную миза. составляеть теорія, созерданіе, мистицизмъ и фантаверство, и которой дъйствительную жазнь составляеть ноша еть бюрге: ства. гофратства и филистерства. - въ Гомании. Бъ кониъ XVIII въка тамъ ли си ведикій поэть, одной стороной своего меобъятияго генія принадлежавній челорьчеству, а другой — иви чиой національности. Мы говоримъ о Щиллеръ, позлія которито по адметь своей двойственностью при первомь взильць. Па-90съ ся составляеть чувство любви къ человечеству, основанное на разучь и создании; въ этомъ отношении Шитлера кожло назвать поэтомъ гуманности. Въноззін Шиллера сердце его ввчно неходить самой живой, вламенной в благородной кровые любви къ человаку и челогачеству, ненависти къ фанализму религизмому и національному, къ предраззудкамъ, къ кострамъ и бичамъ, которые разланоть людей и заставляють ихъ забывать, что онп - братья другь другу. Провозвъстникъ высокихъ идей, жрецъ свободы духа, на разумной любви основанной, поберникъ честаго разума, пламенный и восгорженный поклонивкъ просвищенной, изящной и гуманной древности, - Шиплеръ въ то же время-романтикъ въ смыслѣ среднихъ пъковъ! Странное противоръчіе! А между тыль это противоржие не подлежить никаному с мигиню. Мы думаемъ, что первой стороной своей поэзін Шиллеръ принадлежить человъчеству, а второй онъ заплатилъ невольную дань своей національности. Шиллеръ высокъ въ своемъ созерцаніи любви: но это любовь мечтательная, фантастическая: она бонтся земли, чтобъ не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ, именно въ той полосъ атмосферы, гдъ воздухъ ръдокъ и неспособенъ для дыханія, а лучи

смина свътять не гръя... Женщина Шилпра - это не живое существо съ горячей чровью и прекраснымъ таломъ, а бладный призракъ; это не страсть, а аффектація. Конщина Шиллера любить больше головой, чтив сеодцемь, и она у него на пьедесталъ и нодъ стекляннымъ колпакомъ, чтобъ не нахнулъ на нее вътеръ п не коснулся ел прахъ земли. Въбалладахъ своихъ Шиллеръ воекреен па всек піститу средних в'яковъ со Реей безогчетностью содержанія, со вебмъ просто сущемъ его невыхества. Послъ Шиллера образовалась въ Германіи цілля нария романическая, представителями которой были братьи Шистели, Тикъ и Новались. Это все были натуры болье или менье даровитыя, но безъ велкой искры генія, и они ухватились со всемъ изромъ прозелитовъ за слабую сторону Шиллера, думая найти въ ней все и х гоноча, сколько хва. тило ен силъ, о возо мовлении въ новомъ мір'в формъ жизни среднихь вічовъ. Самъ Гёте -челевыть высшаго закала, поэть мысли и здраваго разсудка, въ легению среднихъ въковъ выспазалъ страданія современнаго человвка («Флусть»); а въ своемъ «Вертерв» явился онъ родантиком в тоже въ духв среднехъ въковъ. Многія блилицы его (какъ, наприм., «Тъсной наов», «Рыбать» и проч.) дышать романтизмомъ того времени.—Это движение, возникимее въ Германіи, сообщилось всей Европь. Въ Англіп авился поэть всего менъе романтическій и всего болье распространивній страсть къ феодальнымъ временамъ. Вальтеръ-Скоттъ- самый положительный умъ; героп его романовъ всв влюблены, но качъ - этого онь не раскрываетъ; его двло любить и женить, а до мистики и страсти, до его развитія и харамтера онъ инклуда не касается. А между твиъ онъ почти безвыходный жилецъ среднихъ въковъ: онъ съ такой страстью и такой словоохотливостью очисываеть и кольчугу, и гербъ, и рыцарскую залу, и замокъ, и монастырь той эпохи... Вынь въ Англін другой, еще болье великій поэть и романтикъ по преимуществу; но тотъ надълалъ много вреда и нисколько не принесь пользы среднимъ въкамъ. Образъ Прометея во всемъ колоссальномъ величіи. въ какомъ исредала его намъ фантазія грековъ, явился вновь вътипическомъ образъ Байрона; но онъ былъ провозвастинкомъ новаго романтизма, а старому нанесъ страшный ударъ. Во Франціи тоже явилась романтическая школа вы духв среднихъ въковъ; она состояла не изъоднихъ поэтовъ, но и мыслителей, и силилась воскресить не только романтизмъ, но и католицизмъ, --что было съ ея стороны очень последовательно. Представителями романтической поэзіи во Франціи были въ особенности

два поэта—Гъго и Дамартинь. Оба они истоицили воскресний романтизмъ среднихъ вѣдовъ, и оба нали, засынанные мусоромъ безобразнаго зданія, которое тщетно усиливатись выстроить наперекоръ соврем иной дѣятельности. Имъ недоставало цемента, такъ ирѣнко свизавщаго колоссальные готическісоборы среднихъ вѣрълъ. Вобще неестеэтвенная попытия соскресить романтизмъ среднихъ вѣковъ давно уже сдѣталась анахронизмомъ во веся Епропъ. Это была калелто странная всилика, на которой опалили себѣ крылья замѣтальные талангы, и которая много и вредила скоимъ геніямъ.

Но у насъ этоть вомантизмъ, непусственно воспрешенный на мануту въ Евронь, имъть зовсьмъ другое значеніе. Россія реформов Петра Великаго до того приминулась ко жизни Евроны, что не могла не ощущать на себъ вліннія пропеходивникъ такь умственныхъ движеній. У Россін не было своихъ средиихъ въковъ, и въ литературъ ся не могло быть сам бытнаго романтызма, -а б зъ романтизма новоги то же, что тыло безь души. Въ анакреонтическихъ стихот воненіяхъ Державина проблесьитель роментизмъ греческій, но не болье вакъ только щ облескивалъ. Впрочемъ, если бы въ то время явился на Русп поэть, вполив прочиннутый гречесиямъ созерцаніемъ и внолить владывній иластицизмомъ греческой формы, - то и въ такомъ случав русская литература выразила бы собой только одинъ моментъ романивзма, за которымъ оставалось бы ожидать другого. Карамзинъ, катъ мет уже не резъ замбчали, внесь въ русскую литературу одементъ сентиментальности, которая-не что иное, какъ пробуждение ощущения (sensation), первый моменть пробуждающейся духовной жизни. Въ сентиментальности Карамзина ощущение является какой-то отчасти бользиенной раздражительностью нервовъ. Отеюда это обиліе слезъ и истинных в, и дожных в. Такъ бы то ни было, эти слезы были великимъ шагомъ впередъ для общества; нбо ито можетъ планать не только о чужихъ страданіяхъ, но и вообще о страданіяхь вымышленныхъ, тотъ, конечно, больше человъкъ, нежели тотт, кто илачетъ тогда только, когда его больно быють. Поднакожь ощущение есть тольво приготовление къ духовной жизни, только возможность романтизма, но еще не духовная жизнь, не романтизмы: то и другое обнаруживается какъ чувство (sentiment), имъющее въ основъ своей мысль. Одухотворить нашу литературу могь только романтизмъ среднихъ въковъ, болъе близкій и болье доступный обществу, нежели греческій романтизмъ, требующій для своего уразумвнія особеннаго посвященія путемъ науки. Въ Жуковскомъ русская литература

нашла своего посплытеля вы тепиства романтизма среднихъ въковъ. Назначение сентиментальности, введенной Караманнымь въ русскую литературу, было - расшевелить общество и приготовить его нь жизии сердца и чувства. Поэтому явленіе Жуковскаго векорь посль Карамзина очень понятно и внольть согласно съ законами ностепеннаго развитія латературы, а черезъ нее -общества. Равнымъ образомъ нонят нъ путь, которымь исковскій привель въ намь романтизмъ. Это былъ имъ подрожения и соимэтворанія — еданственный возможный путь атя литературы, не имівшей и не могшей -отои и авгои йони пторибо ав видом атами рін свесії страны. Над био было случиться лить, чтобь поэтическая натура Жук векаго носила въ себв сильную родственную симпатие кь музь Шпллера и вы эсобенности къ ед романтической слоронъ. Жуковскій поветкомился съ своимъ з обливиъ поэтомъ при его жизии, когда слава его была на своей высшей течть, - и вышель на попраще русской лиг ратуры почти непосредственно за смертью Индасса. Хоти Жуковелій всегда дібіствовиль макь не быннопинно дароватый перевичань, но на него не должно смотрять только какть из превосходнаго переводиная. Онъ переводилъ особенно корошо то, что гармонии остью ст внутренией настроиностью его дост и в. STOME OTHORISM OF LINE OF BOATS THE тойбко находиль его - у Шиллера по преимуществу, но вывств съ темъ п у Г те. Магиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ-Скотта, Томаса Мура. Грен и другичь ивмецкихъ и англійскихъ полговь. Миог. є овъ даже не стольке перевлиль, сполько передвлываль; иное ваниствоваль местами и вставлять въ свои оригинальный пьесы. Однимъ словомъ. Жуковскій быль переводчикомъ на русскій языкь не Шиллеја или другихъ какака анбудь поэтовъ Германіи п Англія: ивть, Жуковскій быль переводчичикомъ из русскій изыкъ ром штизма спетнихь выковъ, воспрешенного въ пачаль XIX ввих пвинциимя и англійскими полгами, проимущественне ще Шяллегомь. Вогь зна чение Жуковением ч его зазлуга вы русской JHT PRETYPS.

Жуковеній начать звоє полическое поприще балладами. Эготь родь поэзін имъ начать, создань и утвержденть на Руси: современники юности Жуковскаго смотрым на него преимущественно какъ на авгора балладъ, и въ одномъ своемъ посланіи Ватюнковъ назвать его «балладинюмъ». Подъ балладой тогда разумыли краткій равсказъ о любви, большей частью несчастной; могилу, кресть, привидьніе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и выдьмъ считати принадлежностью этого рода поэзін, — больше же инчего не подозрѣвали. Но въ балладъ Жуковскаго заключался болбе глубокій смысль, нежели могли тогда думать. Баллада и романсьнародная птсня среднихъ въковъ, прямое и напвное выражение романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по преимуществу романтическія. Первой балладой, обратившей на Жуковскаго общее вниманіе, была «Людмила», передъланиая имъ изъ Бюргеровой «Леноры», которую онъ впоследствии перевель. «Ленора» доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себъ славу! Такое время миновалось даже для Россін. По «Людмила» Жуковскаго явилась кстати: она нивла успвхъ въ родв того, какимъ воснозьзовались «Душенька» Богдановича и «Бъдная Лиза» Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладъ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто илохіе стихи, какихъ ръшительно нътъ въ другихъ балладахъ Жуковскаго; но и «Людмила» въ то время могла быть написана только Жуковскимъ, — и стихи этой баллады не могли не удивить всёхъ своей легкостью, звучностью, а главное - своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады — самое романтическое, во вкуст среднихъ втковъ: дъвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полъ битвы, ронщеть на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый прівзжаеть за нею на конъ и увозить ее - въ могилу, и хорътеней воетъ надъ нею эту моральную сентенцію:

> Смертныхъ ропоть безразсуденъ; Царь всевышній правосуденъ; Твой услышаль стонъ Творецъ: Чась твой биль, насталь конець.

Выло время (и оно давно-давно уже прошло для насъ), когда эта баллада доставляла намъ какое-те сладостно страшное удовольствіе, и чемъ больше ужасала насъ, темъ сь большей страстью мы читали ее. Дъти нынешняго времени стали умне, -и мы не думаемъ, чтобъ теперь даже и между ними могли найтись почитатели «Людмилы». А между темъ, повторяемъ, она самое романтическое произведение въ духъ среднихъ въковъ. И если бы мы не помнили, какъ она коротка казалась намъ во время оно, несмотря на свои двёсти пятьдесять два стиха, — то не могли бы теперь довольно надивиться тому, какъ достало у поэта теривнія и силы написать столь длинную балладу въ такомъ родъ... Но у всякаго времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не станемъ восхищаться «Бедной Лизой», одна-

ко жъ эта повъсть въ свое время исторгла много слезъ изъ прекрасныхъ глазъ, прославила Лизинъ Прудъ и испестрила кору растущихъ надъ нимъ березъ чувствительными надписями. Старожиды говорять, что вся читающая Москва ходила гулять на Лизинъ Прудъ, что тамъ были и мѣста свиданія любовниковъ, и мѣста дуэлей. И много было писано потомъ повестей въ такомъ роде; но ихъ тотчасъ же забывали по прочтеніи, а до насъ не дошли даже и названія ихъ,-знакъ, что только талантъ умфетъ угадывать общую потребность и тайную думу времеми. Всв произведенія, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться въ исторіи: это курганы, указывающіе на путь народовъ и на мъста ихъ роздыховъ... Къ такимъ произведеніямъ принадлежить «Людмила» Жуковскаго. Сверхъ того романтизмъ этой баллады состоить не въ одномъ нелѣцомъ содержанін ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта, но въ фантастическомъ колорить красокъ, которыми оживлена мъстами эта дътски-простодушная легенда, и которыя свидетельствують о тадантъ автора. Такіе стихи, какъ, напримъръ, следующіе, были для своего времени откровеніемъ тайпы романтизма:

Слышу шорохъ тихихъ твней: Въ часъ полуночныхъ видвий, Въ дымъ облака, толной, Прахъ оставя гробовой Съ поздиниъ мъсяца восходомъ, Легкимъ, свътлымъ хороводомъ, Въ цвнь воздушную свились—Ботъ за ними понеслись; Вотъ поютъ воздушны лики: Будто въ листьяхъ павилики Вьется легкій вътерокъ; Вудто плещетъ ручеекъ.

Или воть эта фантастическая картина ночной природы:

Вотъ и мъсяцъ величавый Всталь надъ тихою дубравой: То изъ облака блесиетъ, То за облако зайдеть; Съ горъ простерты длины тъни; И лъсовъ дремучихъ съни, И зерцало зыбкихъ водъ, И небесъ далекій сводъ Въ свътлый сумракт облечены... Спять пригорки отдалениы, Боръ заснулъ, долина спитъ... Чу!.. полночный чась звучить. Потряслись дубовъ вершины; Воть повъяль оть полины Перелетный вътерочъ... Скачеть по полю вздокъ...

Такіе стихи вполнів оправдывають восторгь и удивленіе, которыми была ніжогда встрічена «Людмила» Жуковскаго: тогдашнее общество безсознательно почувствовало вь эгой балладів новый духъ творчества, новый мірь поэзіи—и общество не опиблось.

«Свътдана», оригинальная баллада Жуковскаго, была признана за его chef-d'оеuvre, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 году, стало быть, тридцать лъть назадъ тому) тигуловали Жуковскаго «пъвцомъ Свътданы». Въ этой балладъ Жуковскій хотъль быть народнымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послъ. Содержаніе «Свътданы» извъстно всъмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критина, какая когда-любо написана была о «Свътданъ», заключается въ посвятительномъ куплетъ баллады:

Въ ней большія чудеса, Очень мало складу.

«Алина и Альсимъ», кажется, принадлежить къ числу оригинальныхъ балладъ Жуковскаго. Она отличается какимъ-то простодушіемъ въ тонѣ, несвойственнымъ нашему времени и вызывающамъ на уста не совсѣмъ добрую улыбку; но ен содержаніе, несмотря на романтизмъ, исполнено смысла и должно было имѣть самое разумное вліяніе на свое время. Вѣроятно, такіе стихи, какъ слѣдующіе, не одними прекрасными устами повторялись набожно:

Что пользы въ платье дорогое Себя рядить? Богатство на землъ прямое Одно: любить.

Картина свиданія Алины съ Альсимомь, представшимъ передъ ней подъ видомъ продавца золотыхъ вещей, нарисована кистью грустной и меланхолической; нѣкоторые стихи проникнуты самымъ обантельнымъ романтизмомъ, какъ, напримѣръ, эти:

Блистала красота младая
Въ его чертахъ:
Но блъденъ; борода густая;
Печать въ глазахъ.
Мила для взорове живость цетта,
Знакъ мныхъ дней;
Но блюдный цетть, тоски примъта,
Еще милый.

Развязка баллады — дътская мелодрама: кинжаль, убійство невинныхъ и терзаніе совъсти убійцы. Мы думаемъ, что такимъ окончаніемъ испорчена баллада, имъвшая для своего времени великое достоинство.

Не внаемъ, что подало поводъ Жуковскому написать «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ»; но мысль «Вадима», составляющаго вторую часть этой огромной баллады, заимствована имъ изъ романа Шписа «Старикъ вездѣ и нигдѣ». Мѣсто дѣйствія этой баллады въ Кіевѣ и Новѣгородѣ; но мѣстныхъ и народныхъ красокъ— никакихъ. Это инсколько не русская, но чисто романтическая баллада въ духѣ среднихъ вѣковъ. Мы еще возвратимся къ ней.

Говорять, что «Эолова Арфа»—оригинальное произведение Жуковскаго: не знаемъ; по по крайней мъръ достовърно то, что она—

прекрасное и поэтическое произведение, гдв сосредоточенъ весь смыслъ, вся благоухающая прелесть романтики Жуковскаго. Эта любовь, несчастная по неравенству состояній, младенчески невинная, мечтательная и грустная, это свидание подъ дубомъ, полное тихаго блаженства и трепетнаго предчувствія близкаго горя, и арфа, повъщенная «залогомъ прекрасныхъ минувшихъ дней», и явленіе милой тени одинокой красавице, сопровождаемое таннственными звуками и возвъстившее утрату всего милаго на землъ: все это такъ и дышитъ музыкой съвернаго романтизма, неопредъленнаго, туманнаго, унылаго, возникшаго на гранитной почвѣ Скандинавіи и туманныхъ берегахъ Альбіона... Надо живо помнить первыя лѣта своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своимъ порывистымъ пламенемъ, — надо живо помнить эти дии сладкой тоски, мечтательнаго раздумья и тревожнаго порыванія въ какой-то таинственный міръ, которому сердце вѣрить, но котораго уста не могуть назвать, - надо живо помнить это время своей жизни, чтобъ понять, какое глубокое впечатление должны производить на юную душу эти прекрасные стихи последняго куплета банлады:

И нътъ уже Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей
Восходятъ туманы,
И свътитъ, какъ еъ дымъ, луна безъ
личей

Двъ видятся тъни: Сліявшись, летять Къ знакомой имъ съни...

И дубъ шевелится и струны авучатъ. Минвана—не гордая красавица юга, съ роскошными формами тыла, огненными глазами, цвътущая здоровьемъ, пышущая страстью; нътъ, это блъдная красота съвера, тихая и кроткая, похожая на какое-то мидое воздушное виденіе; красота, трогающая своей бользненностью, очаровывающая своей томностью, идеаль романтической красоты и въ особенности идеалъ красоты Жуковскаго... Со стороны художественной въ этой балладъ есть одинъ важный недостатокъ: если нельзя сказать, чтобы она была растянута, то и нельзя сказать, чтобъ она была сжата столько, сколько бы это нужно было для полнаго и сильнаго впечатленія.

«Рыцарь Тогенбургь»—прекрасный и вёрный переводь одной изъ дучшихъ балладъ Шиллера. Рыцарь любить дѣвушку, которая не понимаетъ чувства любви; тревоги военной жизии и жаркія схватки съ мусульманами не охладили въ рыцарѣ его несчастной страсти; возвратившись на родицу, онъ узнаеть, что она —монахиня; тогда онъ скрывается въ убогой нельѣ по сосѣдству монастыря, какъ гробъ схоронившаго въ себѣ всѣ надежды его на блаженство жизии,—

И душъ его унылой
Счастье тамъ одно:
Дожидаться, чтобъ у милой
Стукнуло окно.
Чтобъ прекрасная явилась,
Чтобъ отъ вышвиы
Въ тихій долъ лицомъ склонилась,
Ангелъ тишины.

Въ одно прекрасное утро злонолучный рыцарь умеръ, смотря на окно... Подлинно-«рыцарь печальнаго образа»!.. Какъ жаль, Что Шиллеръ воскресиль его не совстмъ въ пору да во-время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокія и прозаическія, мы жальемъ объ этомъ рыцарь, но не какъ о человъкъ, постигнутомъ рокомъ и несущемъ на себъ тяжкое бремя дъйствительнаго несчастья, а какъ о сумасшедшемъ... Поистинъ бъдняжка для насъ немного смъщенъ и жалокъ... Что дълать? въ этомъ отношеній мы совершенно классики и нисколько не романтики. Во-первыхъ, мы не въримъ, чтобъ все назначение мужчины заключалось только въ любви, и чтобъ всъ силы души его должны были сосредоточиться въ одномъ этомъ чувствъ; во-вторыхъ, мы мало уважаемъ върность до гроба и считаемъ ее натяжкой воли, аффектаціей, а не свободно горящимъ огнемъ чувства; въ-третынхъ, мы не въримъ возможности любви нераздъльной, -и если можемъ допустить ее, то не иначе, какъ болъзнь или помъщательство. Любовь вспыхиваеть отъ сближенія, взаимность раздражаеть и поддерживаеть ея эпергію; невниманіе и холодность вызывають чувство оскорбленнаго самолюбія, униженнаго достоинства-и уничтожають возможность любви. Есть люди и въ наше время, которые готовы увърить себя въ какомъ угодно чувствъ, и которые никогда не будуть имъть благородной смълости сознаться передъ самими собой, что ихъ чувство у нихъ не въ сердцъ, не въ крови, а въ головъ и фантазіи. Они думають, что изм'єнить разъ овладъвшему ими чувству постыдно, и цълую жизнь натягиваются силой воли держать себя въ этомъ чувствѣ. A force de forger...и ихъ вымышленное чувство въ самомъ дълъ даеть имъ призракъ радости и тоски, какъ будто бы и дъйствительное чувство. Бъдняки рисуются передъ самими собою и не нарадуются своей глубокой и сильной натуръ, которая если полюбить разъ, то ужъ навсегда, и скорве умреть, чвить изменить своему чувству. Они не знають, что вь этой добродътели давно уже побъдилъ ихъ знаменитый витязь донъ-Кихотъ, который до могилы остался вёрень своей прекрасной Дульцинев, котораго одна мысль объ этой очаровательной дам' его сердца укрыпляла на великіе подвиги, на битвы съ мельницами и баранами, дълан его и несчастнымъ, и блаженнымъ... А что такое донъ-Кихотъ?-

Человёкъ вообще умный, благородный, съ живой и дёятельной натурой, но который вообразиль, что ничего не стоить въ XVI вёкъ сдёлаться рыцаремъ XII вёка—стоить только вахотёть...

Мы выше замѣтили, что романтизмъ не есть досгояние и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: онъ-въчная сторона патуры и духа человъческаго; онъ не умеръ послъ среднихъ въковъ, а только преобразился. Итакъ, нашъ новъйшій романтизмъ не думаеть отрицать любви, какъ естественнаго стремленія сердца, но только требуеть, чтобъ это стремление не было подземной, темной, адской сплой, вовлекающей человька, какъ пасть гремучей змви, въ бездну погибели. Не отнимая у чувства свободы, нашъ романтизмъ требуетъ, чтобъ в чувство въ свою очередь не отнимало у человека свободы, а свобода есть разумность. Гдъ же разумность въ болъзненномъ чурствъ, приковавшемъ одного человъка къ другому, когда этотъ другой свободенъ? Въ такомъ случав Богъ съ ней—съ любовью! Широка жизнь, и много дорогь на ен безконечномъ пространствъ, и любую изъ нихъ можеть выбрать себь свободная двительность мужчины. Грустно видъть человъка, который потерялъ все, что любилъ, и котораго сердце этой потерей навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудить такого человъка: его скорбь имъетъ имя, она дъйствительнаонъ оплакиваетъ то, что звалъ своимъ, чъмъ быль счастливь Но сдёлаться жертвой призрака, мечты, прихоти больного воображенія, каприза неразумнаго сердца, сосредоточить всь свои желанія на женщинь, которая о насъ не думаеть, посвятить всю жизнь свою на то, чтобъ украдкой изрѣлка смотрѣть на. нее въ почтительномъ разстоянии, -- какая унизительная, какая презрѣнная роль! Въ одной сказкъ сумасброднаго романтика Гофмана человъкъ влюбляется въ автомата и гибнеть жертвой этой любви: не похожъ ли на него рыцарь Тогенбургь?... Въ средніе въка понимали любовь какъ какое-нибудь неизбъжное, роковое предназначение. Романтизмъ нашей эпохи понимаетъ дъло проще, безъ всякаго мистицизма. Онъ не думаетъ, чтобъ для мужчины существовала только одна женщина въ мірь, а для женщинытолько одинъ мужчина въ мірь. Выборъ предмета любви основанъ на капризъ сердца; любовь зависить оть сближенія, а сближеніеотъ случайности. Не удалось здесь-удастег тамъ; не сощлись съ одной, сойдетесь съ другой. Это опять не значить, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по воль своей: это значить только то, что если каждый можеть любить только извъстный идеаль, но никогда никокой идеаль не является

въ мірь въ одномъ экземплярь, но существуеть въ большемъ или меньшемъ числъ видоизм'вненій и оттівнковъ. Нашъ романтизмъ клопочеть не о томъ-однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобъ не разбить другого, предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастья его жизни. Вы любили только разъ въ жизни и были до гроба върны одной только привязанности: прекрасно! Но не дъдайте ивъ этого общаго для всёхъ правида! Одинъ такъ, другой иначе, тотъ -- одинъ разъ въ жизни, а этотъ--десять разъ; оба равно правы, лишь бы только на совъсти которагонибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье. Ньть преступленія любить ньсколько разъ въ жизни, и нътъ заслуги любить только одинъ разъ; упрекать себя за первое и хвастаться вторымъ-равно нелѣпо...

Когда двъ эпохи такъ противоположно расходится во взглядь на один и ть же предметы, то поэзія старой эпохи теряеть свою силу для новой. Если какая-нибудь эпоха выразила собой одинъ изъ моментовъ всемірно-историческаго развитія, то ея поэзія всегда имбеть свою историческую важность: но только ея собственная поэзія, а не поддъльная подъ нее. И потому готические соборы среднихъ въковъ и въ наше время сильно дъйствують на душу, а баллады Шиллера, несмотря на всю поэтическую предесть ихъ, ни для кого не занимательны. Скажемъ болъе: чъмъ выше по своему художественпому достоинству такія баллады, какъ «Рыцарь Тогенбургъ», тъмъ большее сожальние возбуждають онѣ въ читателѣ нашего времени, что столько пушечныхъ зарядовъ нотрачено по воробьямъ... Разумфется, это можно ставить въ упрекъ Шиллеру, но отнюдь не Жуковскому: ибо первый въ приведенныхъ нами стихотвореніяхъ старался воскресить давно умершіе интересы, когда современная жизнь кипъла великими вопросами, и историческій духъ, какъ подземный кроть, подрываль старыя основы новой действительности; а второй усваиваль юной, едва рождавшейся литератур'в илодотворные для нея элементы, и юное, едва возрождавшееся общество знакомиль съ новыми, необходимыми ему интересами. Итакъ, чтобъ еще поливе и опредвлениве высказать сущчость и характеръ романтизма среднихъ въсовъ, а вмьсть съ нимъ и романтики Жуковскаго, -- бросимъ бъглый взглядъ на содержаніе еще нікоторых балладь его.

Одинъ добрый пустынникъ разъ завелъ къ себъ въ лъсную келью заблудившагося путника, — потомъ узналъ въ немъ свою любезную, послъ чего, сорвавъ съ себя накладную бороду, Эдвинъ поклялся житъ и умереть вмъстъ съ Мальвиной. Это, въроятио,

случилось такъ давно, что теперь трудно и повърить, чтобъ когда-нибудь могло случиться. —Эдвинъ любилъ Эльвину, но богатый отецъ его запретилъ ему видъться съ обдной дъвушкой. Что тутъ дълать? Не читавшіе этой баллады могутъ подумать, что Эдвинъ былъ школьникъ, котораго отецъ могъ высъчь за непослушаніе. Ничего не бывало! Онъ былъ малый на возрасть, уже знакомый со страстями:

Увы, Эдвинъ! Въ какой борьбъ въ немъ страсти! И ни одной нътъ силы побъдить...

Какъ не признать отцовской власти? Но какъ же не любить?

Такъ вотъ что затрудняло и заставляло его страдать! Его отець быль отець по понятіямъ среднихъ віковъ, т. е. человікъ, который за бъдный даръ жизни считалъ себя въ правъ лишать сына счастья по произволу своей прихоти, другими словамисчиталь сына своимъ рабомъ, своей вещью... Въ наше время отецъ имъетъ совсъмъ другое значеніе: его связываеть съ дѣтьми не столько кровь, сколько духъ; онъ считаетъ своей заслугой не то, что даль дътямъ своимъ физическое существование, но то, что онъ далъ имъ черезъ воспитание, основанное на любви, нравственную жизнь. Если бъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ расчетовъ, -- всѣ бы увидели, что отецъ любитъ себя, а не сына. и тъмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо если нътъ любви, связывающей отца съ дътьми, то у дътей иъть и отца. Но въ средніе въка думали объ этомъ иначе, и отецъ считалъ своимъ священнымъ правомъ быть деспотомъ, а сынъ-своей священной обязанностью быть вещью дражайшаго родителя. Такъ думалъ нашъ Эдвинъ. а потому и слегъ съ горя въ постель, ръшившись смертью окончить жизнь свою; но прежде ему хотвлось взглянуть на Эльвину, которая, принявъ его последній вздохъ, тоже не захотела больше жить и едва успела добъжать до своей матери, какъ и умерла Воть какъ любили прежде и какъ тогда опасно было «дражайшимъ родителямъ» разлучать върныя сердца! Но вмъсть съ тъмъ должно замётить, что въ то время, когда появились на русскомъ языкѣ обѣ эти баллады, онъ были важны для воспитанія въ обществъ человъческихъ чувствъ и не могли не дъйствовать на правственное образованіе новыхъ покольній.—Варвикъ, похититель короны и убійца своего царотвеннаго воснитанника, законнаго наслёдника престола, наказанъ наводненіемъ; спасаясь въ челнокъ, онъ принужденъ протянуть руку утопающему младенцу-призраку погубленнаго имъ царевича, который и увлекаеть его

въ волны. Стихи этой баллады чудесные, описанія картинныя, ціль нравственнаявсе хорошо, только ни мало не правдоподобно...-Рыцарь Адельстанъ купилъ у сатаны счастье любви объщаніемъ расплатиться съ нимъ за это своимъ первенцомъ; но лишь подаль онъ ему младенца, какъ и очутплен самъ въ его когтяхъ, а младенецъ спасся какимъ-то чудомъ: Стихи этой баллады звучные, живописные; содержание поучительно, но не для людей грамотныхъ и сколько-нибудь образованныхъ, а именно для того класса людей, который по безграмотности совсёмъ не читаетъ балладъ...-Славный боецъ былъ Гаральдъ; но не въ добрый часъ захотълось ему напиться воды изъ ручья-выпилъ и окаментль: это была злая шутка со стороны фей, которыя обольстили и увлекли спутииковъ Гаральда... Какъ хорошо, что въ наше прозапческое время фен перевелись, и мы можемъ пить воду, не бонсь окаменъть!..-Слуга, убивъ своего паладина, надълъ на себя его доспёхи и, по причинё ихъ тяжести, утонуль въ ръкъ, куда сбросилъ его конь убитаго рыцаря: достойное наказаніе убійць!-Одинъ жестокій епископъ сжегъ въ сарав, какъ мышей, бълный народъ, просившій у него хлъба въ голодный годъ, и за то былъ наказанъ мышами же, которыя събли живьемъ самого его... Чудные въка были эти времена феодализма! Всякая добродътель въ нихъ немедленно награждалась, и всякій порокъ немедленно наказывался. Пострадать невинно тогда не было никакой возможности: въ чемъ бы ни обвиняли васъ-хотя бы въ отцеубійствь, -- но если вы были убъждены въ своей невинности, вамъ стоило только опустиль руку въкинятокъ и быть увереннымъ, что рука ваша не обожжется, а этимъ чудомъ и другихъ убъдить въ чистотъ вашей совъсти... Должно быть, теперь свойство горячей воды много измѣнилось: проклятая равно сварить и виновную, и невинную руку. Воть и извольте жить въ такія времена, да читать баллады, въ чудесахъ которыхъ разувъряеть вась эта положительная дъйствительность! Хуже всего то обстоятельство, что въ наше прозаическое время чтеніе чудесныхъ балладъ не доставляеть никакого удовольствія, но наводить анатію и скуку... Вотъ, напримъръ, какъ короша «Валлада, въ которой описывается, какъ одна старушка вхала на черномъ конъ вдвоемъ, и кто сидълъ впереди». Жуковскій превосходно перевель ее съ англійскаго (кажется, изъ Соути); но въдь дочесть ее до конца, право, нътъ силъ. Старушка эта была-страшная колдунья, сколько можно судить но ея собтвенной исповеди:

> "Здёсь вмёсто дня была миё почи мгла; Я кровь младенцевъ проливала,

Власы невъсть въ огнъ волшебном жгла, И кости мертвыхъ похищала."

Боясь дьявола, который долженъ по уговору прійти за ея тіломъ (ужь не знаемъ, зачімъ понадобилось лукавому тёло старухи, когда душа ея была и безъ того въ его когтяхъ), старуха просить сына своего, чернеца, отстоять молитвами ен кости отъ покушеній нечистаго. Однако жъ тотъ взялъ свое, на черномъ конъ похитивъ старую колдунью. И подвломъ ей; но воть бъда: мы ръшительно не въримъ ни колдунамъ, ни колдуньямъ, и если ни за что въ свъть не позволимъ имъ проливать кровь нашихъ младенцевъ, то охотно позволимъ имъ жечь вь волшебномъ и какомъ угодно огнъ остриженные волосы нашихъ невъстъ (если имъ вздумается обръзать свои волосы) и похищать кости нашихъ мертвыхъ. Впрочемъ, колдуны нашего времени, колдуны классическіе, гораздо умиве колдуновъ романтическихъ: если кровь младенцевъ, волосы (или, ножалуй, даже и власы) невъсть и кости мертвых не дають имъ денегъ, они не станутъ и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвыхъ собственно, то для ихъ спокойствія въ матери-сырой-земль гораздо опаснъе всякихъ колдуновъ студенты медицинскихъ факультетовъ и вообще люди, завимающіеся врачебной наукой: ни одинь изъ этихъ господъ не усомнится спрятать въ свой карманъ выглянувшій изъ земли черепъ, въ подной увъренности (которой, по совъсти и здравому разсудку, нельзя не оправдать и не одобрить), что покойный владълецъ черепа не будеть въ претензіи на такое поруганіе, и что для него ръшительно все равногнить ли въ земль, или въ ученомъ кабинетъ споспынествовать успыхамь благодытельнаго для человъчества знанія. Итакъ, чтобъ восхититься балладой, въ которой описывается путешествіе старухи-колдуньи въ адъ съ чортомъ и на чорть, надо имьть способность съ поднявшимися на головъ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать веф глуныя бредни черни о колдунахъ и чере тяхъ, —а способность эта можетъ быть тольке плодомъ самаго грубаго невъжества, отъ котораго теперь освобождается мало-но-малу даже и чернь. Такія баллады могли бы пугать развѣ только нѣжное и впечатлительное (impressionable) воображение дътей: но кто же захочеть нравственно губить дътей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады?.. Это было бы далеко превзойти въ преступленіи старую колдунью, которая

... Кровь младенцевъ проливала, Власы невъстъ въ огиъ волшебномъ жгла, И ко**с**ти мертвыхъ похищала.

И однако жъ Жуковскій такъ былъ въренъ своему романтическому направленію въ духѣ

среднихъ въковъ, что баллады самаго страннаго содержанія перєведены имъ уже послів 1820 года. Къ числу такихъ балладъ принадлежить и баллада о старухъ колдуньъ, ъхавшей въ адъ съ дъяволомъ на чортъ. Переведенная имъ «Ленора» напечатана была въ 1831 году. - Какъ на образецъ неумвреннаго и несвоевременнаго романтизма, укажемъ на балладу «Изолина». Ифвецъ Алонзо возвратился изъ Палестины и началъ пъть подъ окнами своей Изолины; но узнавъ, что она умерла, онъ самъ сію же минуту умираеть, а Изолина воскресаеть оть его пъсни: вотъ и все! - Еще болъе характеризуеть романтизмъ среднихъ вѣковъ баллада «Допика», которой содержание состоить въ томъ, что въ прекрасную невъсту рыцаря ни съ того, ни съ сего вдругъ вселился бъсъ и оставилъ ее при алтаръ, куда пришла она вънчаться, но оставилъ ее вмъсть съ ея жизныо... Вотъ онъ, романтизмъ среднихъ въковъ, мрачное царство подземныхъ демонскихъ силъ, отъ которыхъ пѣтъ защиты самой невинности и добродътели! Греческій романтизмъ никогда не доходиль до такихъ нельпостей, унижающихъ человеческое достопнство. -- Баллады: «Братоубійца», «Королева Урака и пять Мучениковъ» и «Покаяніе» суть не что иное, какъ католическія легенды среднихъ въковъ. Последняя—лучшая изънихъ и по стихамъ, и по содержанію. «Замокъ Смальгольмъ», прекрасная баллада Вальтеръ - Скотта, прекрасными стихами переведенная Жуковскимъ, поэтически характеризуетъ мрачную и исполненную злодъйствъ и пресгупленій жизнь феодальныхъ временъ. По языку это одно изъ удивительнъйшихъ произведеній Жуковскаго.

Въ собствение-лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и передъланныхъ Жуковскимъ съ нѣмецкаго языка, открывается еще болье, чьмъ въ балладахъ, сущность и характерь его романтизма. Что такое этогь романтизмъ? Это-желаніе, стремленіе, порывь, чувство, вздохъ, стонъ; жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастьи, которое, Богъ знаетъ, въ чемъ состояло; это міръ, чуждый всякой действительности, населенный тінями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тъмъ не менье неуловимыми; это-уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видить передъ собой будущаго; наконецъ, это-любовь, которая питается грустью и которая безъ грусти не имела бы чемъ поддержать свое существованіе. Поищемъ въ стихахъ Жуковскаго оправданія нашего неопредбленнаго и туманнаго опредъленія его поэзін. Подробный разборъ каждаго

стихотворенія далеко бы завлекъ насъ; и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ парадлель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его по⇒зіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковскаго не что иное, какъ разныя варіаціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Ко всѣмъ ниъ ндутъ какъ эпиграфъ<sup>®</sup>два послѣдніе стиха, которыми оканчивается пьеса «Тоска по Миломъ»:

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась; Одна о минувшемъ тоска мив осталась.

«Таинственный Посытитель» есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковскаго. Прочтемъ его.

Кто ты, призракъ, гость прекрасный? Къ намъ откуда прилеталъ? Везотвътно и безгласно, Для чего отъ насъ пропалъ? Гдъ ты? Гдъ твое селенье? Что съ тобой? Куда исчезъ? И зачъмъ твое явленье Въ подпебесную съ небесъ?

Не Надежда ль ты младая, Приходящая порой Изъ невъдомаго края Подъ волнебной пеленой? Какъ она, неумолимо Радость милую на часъ Показалъ ты, съ нею мимо Пролетъть и бросить насъ.

Не Любовь ли намъ собою Тайно ты изобразилъ? Дни любви, когда одною Міръ одной прекрасенъ былъ? Ахъ! тогда сквозь покрывало Неземнымъ казался опъ.. Сиятъ покровъ; любви не стало; Жизнь пуста, п счастье—сонъ.

Не волшебница ли Дума Здъсь въ тебъ явилась намъ? Удаленная отъ шума И мечтательно къ устамъ Приложивши перстъ, приходитъ Къ намъ, какъ ты, она порой, И въ минувшее уводитъ Насъ безмолвно за собой.

Иль въ тебъ сама святая
Здѣсь Поэзія была?..
Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покрова принесла;
Для небесь лазурно ясный,
Чистый, бѣлый для земли;
Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.

Иль Предчувствие сходило Къ намъ во образв твоемъ И понятно говорило О небесномъ, о святомъ? Часто въ жизни то бывало: Кто-то свътлый подлетитъ И подыметь покрывало, И въ далекое манить.

Поняли ль вы, кто такой этоть «таннственный посътитель?» Самъ поэть не знаеть, кто онь, и думаеть видёть въ немъ то Надежду,

то Любовь, то Туму, то Поэзію, то Предчувствіє... Но эта-то неопредёленность, эта-то туманность и составляєть главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Понытаемся объяснить ее.

Есть въ человъкъ чувство безконечнаго; оно составляетъ основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной діятельности. Безъ стремленія къ безконечному нътъ жизни, нътъ развитія, нътъ прогресса. Сущность развитія состопть въ стремленін и достиженін. Но когда человъкъ чего-нибудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется этимъ вполнъ; напротивъ, торжество достиженія бываеть въ его душь непродолжительно и скоро побъждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, неудовлетворенія ничамь въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человекъ бываеть счастливее, пока онъ борется съ препятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побъдой борьбы, праздникомъ достиженія. Пначе и быть не можеть. Чёмъ глубже натура человека, тъмъ сильнъе въ немъ стремление, и тъмъ менье способень онь къ удовлетворенію

И неестественнымъ стремленьемъ Весь міръ въ мою тѣснился грудь; Картиной, звукомъ, выраженьемъ— Во все я жизнь хотълъ вдохнуть. И въ пѣжномъ съмени сокрытый, Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ... Но, ахъ, сколь мало въ пемъ развито! И малое—сколь бѣдный цвѣтъ!

говорить Шиллерь. Таково свойство безконечнаго: духъ человъка въ состоянии охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявленін, въ условіяхъ временной последовательности, и потому, достигая чего-нибудь, онъ тотчасъ же видить, что не достигнуль всего. Тогда онъ отрицаеть достигнутое имъ нвчто, какъ не выражающее безконечнаго, и думаеть достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоить сущность жизни, какъ безпрерывнаго развитія, безпрерывнаго движенія впередъ. И когда это стремление осуществляется въ сферъ практическаго міра, когда оно есть въчное дъланіе, безпрерывное творчество, тогда стремление это есть действительная сила человъка, тогда для него есть цъль, и если достижение не удовлетворяетъ такого человъка, тъмъ не менъе оно для него-прогрессъ, и новое стремление его выше предшествовавшаго, новая цёль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла дёйствительности, чуждыя практического міра д'ятельности, живушія въ отвлеченной идев: такія натуры стремление къ безконечному принимають за одно съ безконечнымъ и хотять во что бы

то ни стало найти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дѣятельныхъ, незнакомыхъ со стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цѣлями житейскими. Но тѣмъ не менѣе они—люди односторониіе, ибо пружину дѣйствія принимаютъ за само дѣйствіе и за цѣль дѣйствія: это такая жеомибка, какъ если бъ кто, желая узнать, который часъ, вмѣсто того чтобъ посмотрѣть на циферблатъ, открылъ внутренность часовъ и началъ смотрѣть на спиральную цѣпочку.

Итакъ, содержаніе поэзіи Жуковскаго, ея павосъ составляеть стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу—за цібль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вічно стремится, никогда не достигая, вічно спрашиваеть самое тебя, никогда не давая отвіта:

Иль опять отъ вышины
Въсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старицы?
Или тамъ, куда летитъ
Птичка, странникъ поднебесный,
Все еще сей неизвъстный
Край желаннаго сокрыть?..
Кто жъ къ невъдомымъ брегамъ
Путь невъдомый укажетъ?
Ахъ! найдется, кто миѣ скажетъ
Очарованное Тамъ?

Озарися, долъ туманный; Разступися, мракъ густой; Гдъ найду исходъ желанный? Гдъ воскресну я душой? Испещренные цвътами, Красны холмы вижу тамъ... Ахъ, зачъмъ я не съ крылами! Нолетълъ бы я къ холмамъ.

Воть два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній: не варіаціи ли это на мотивъ «Тапиственнаго Посѣтителя..?» И въ доказательство этого можно бы привести по отрывку почти изъ каждаго стихотворенія Жужковскаго...

Есть въ жизни человъка время, когда опъбываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человъкъ можеть потомъ одъдаться способнымъ къ стремленію дъйствительному, имъющему цъли и результать, онъ этимъ будетъ обязанъ тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и безсознательныхъ порывовъ была и у человъчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ въковъ. Если въромантизмъ современной Европы нъть мрака и много свъта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ въковъ. И

если мы въ поэзіи Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредъленнаго содержанія, больше зрёлости и мужественности мысли, чёмъ въ поэзін Жуковскаго, — это потому, что Пушкинъ имелъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковскій своей поэзіей пополниль въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ въковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ въковъ, и романтическая поэзія начала XIX въка. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда-не простое упоминовение въ исторін отечественной литературы, но въдное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметь имбеть двв стороны, и находить въ немъ не одно хорошее-совсемь не значить осуждать его. Романтизмъ среднихъ въковъ, разумъется, не годится для нашего времени: теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ быль истиной. Быль и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моментъ, когда для нихъ романтизмъ среднихъ въковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ семенемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзін. Великъ подвигъ того, кто удовлетвориль этой потребности; но темъ не менте мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу, -- должны сознать его въ настоящемъ его вначенін, увидіть всй его стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію, надо показать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видъ.

Любовь пграеть главную роль въ поэзін Жуковскаго. Какой же характерь этой любы? въ чемъ ея сущность?—Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорѣе потребность, жажда любы, стремленіе въ любы, и потому любовь въ поэзін Жуковскаго—какое-то неопредѣленное чувство. Это—

Унынія прелесть, волненье надежды, И радость, и трепеть при встръчь очей, Ласкающій голось—души восхищенье, Могущество тихихь, таинственныхь словь, Присутствія радость, томленье разлуки.

Скажуть: все это несомивным примыты, обще признаки любви. Согласны; но потомуто и видимь мы въ этомь неопредъленность, что это слишкомъ общи примыты. Любовь—обще-человыческое чувство; но въ каждомъ человыкы оно принимаеть свой оригинальный оттынокъ, свою индивидуальную особенность,—въ произведенияхъ поэта тымъ болые. Мы слышимъ въ поэзи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ,—и сочувствуемъ этому горю безъ утышения, этой

скорби безъ выхода, этому страданію безъ исціленія; но не видимъ живого голоса, столь дорогого сердцу поэта: для насъ, это—видініе, призракъ... Въ слідующихъ стихахъ мы встрічаемъ идеалъ и предмета любви, и самой любви, — ицеалъ, созданный нашимъ поэтомъ:

Въ тотъ часъ, какъ тишиною Земля облечена, Въ молчанін вселенной Одна обвороженной Душъ она слышна; Къ устамъ твоимъ опа Касается дыханьемъ; Ты слышишь съ содроганьемъ Знакомый звукъ ръчей, Задумчивыхъ очей Встръчаешь взоръ пріятный, И запахъ ароматный Плънительныхъ кудрей Во грудь твою ліется. И мыслишь: ангелъ вьется Незримый надъ тобой. При ней – задумчивъ, сладкой Исполненный тоской, Ты робокъ, лишь украдкой Стремишь къ ней томный взоръ. Въ немъ сердце вылетаетъ; Несмъль твой разговоръ; Твой умъ не обрътаетъ Ни мыслей, ни ръчей; Задумчивость, молчанье-И страсти мечтанье-Языкъ души твоей; Забыты вст желанья...

Все это очень върно, но только до извъстной степени. Есть пора въ жизни человъка, когда только въ этомъ заключены самыя страстныя желанія его сердца, самые пламенные сны его фантазін; но эта пора скоро проходить, и сердце человъка загорается новыми желаніями. Юноша не можеть любить, какъ любить отрокъ на переходь въ юпошество: его мечты дъйствительныя, и стыдливое молчаніе, и несмілый разговоръ не долго въ состояніи удовлетворять его. Кромъ того сама любовь, какъ все живое, растеть, движется, желанія влекуть и стремять за собой другія жеданія, и это продолжается до тёхъ поръ, пока любовь не приметь опредъленнаго характера, и любящіеся не придуть въ определенныя отношенія другь къ другу. Вообразимъ себѣ чету любящихся, которые всю жизнь свою только и делають, что стыдливо потупляють явон взоры, какъ скоро встретятся, и ведуть другь сь другомь несмёлый разговоры въдь это была бы довольно странная картина, хотя и обантельная въ своемъ началъ... Жуковскій въ этомъ отношеній ужъ слишкомъ романтикъ въ смыслѣ среднихъ въковъ: ему довольно только носить чувство въ своемъ сердцѣ, и опъ бережетъ и лелѣетъ его такимъ, какимъ запіло оно въ его сердце; онъ испугался бы его измъняемости и увидель бы въ ней непостоянство... Мы

уже разъ замѣтили въ «Отечественныхъ Запискахъ», что есть натуры, которыхъ вся жизнь—выраженіе какого-нибудь возраста человѣтескаго, и что Крыловъ въ своихъ басняхъ—вѣчно юный младенецъ, а Жуковскій въ своихъ романтическихъ произведеняіхъ—никогда не старѣющійся юноша...

Мы сдълали бы большой недосмотръ, если бъ, говоря о поэзіи Жуковскаго, не обратили винманія на скорбь и страданіе, какъ на одинь изъ главивйшихъ элементовъ всякой романтичской поэзіи, и поэзіи Жуковскаго въ особенности. Посмотрите, какія мечты и образы вѣчно занимають ее! Тамъ «дѣва въ черной власяницѣ» молится на кладбищѣ передъ образомъ Богоматери и непремѣнно отходитъ въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполнѣ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родѣ:

Дорогой шла дввица;
Съ ней другъ ея младой:
Волъзвенны ихъ лица,
Наполненъ взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И въ очи, и въ уста—
И снова расцвътаютъ
Въ нихъ жизнь и красота.
Минутное веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:
Она проснулась въ кельт;
Въ тюрьми проснулся онъ

Такое направление поэзін Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человъчества, -- то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ исцівленія, борьбы безъ надежды и страданія безь выхода. Поэтому въ поэзін Жуковскаго вопли сердечныхъ мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихой сердечной музыкой, и его поэзія любить и голубить свое страданіе, какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать півцомъ сердечныхъ утратъ, — и кто не знаеть его превосходной элегіп на «Кончину Королевы Виртембергской» - этого высокаго католическаго реквізма, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и таинства утрать?.. Это въ высшей степени романтическое произведение въ духѣ среднихъ въковъ. Оно всегда прекрасно; но если вы хотите насладиться имъ вполнъ и глубокопрочтите его, когда сердце ваше постигнеть гкорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себѣ друга, который раздѣлить съ вами ваше страдание и дастъ ему языкъ

Всь сочинения Жуковскаго можно раздылить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы и оригинальныя, которыхъ немного, и не столько переведен-

ныя, сколько усвоенныя его музой; потомъ собственно переводы и, наконецъ, оригинальныя произведенія, которыя не могуть быть названы романтическими.

Къ последнимъ принадлежатъ посланія п разныя патріотическія пьесы, писанныя на извъстные случан. Это самая слабая сторона поэзін Жуковскаго; въ ней онъ неверенъ своему призванію, и потому холоденъ и исполненъ риторики. Прочтите его «Пъснь Барда надъ гробомъ Славянъ-Побъдителей», «На смерть Графа Каменскаго», «П'ввца во Станъ Русскихъ Воиновъ», «Пъвца въ Кремль» и проч.—и вы не узнаете Жуковскаго. Несмотря, на звучный и крвикій стихъ, вы почувствуете себя утомленными к скучающами, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Причина этому, разумвется, не отсутствіе въ сердив поэта святой любви къ родинв. Но кто же могь бы отрицать это чувство, напримъръ, въ Крыловъ? А между тьмъ Крыловъ не написалъ ни одной оды, ни одного патріотическаго стихотворенія въ дирическомъ родъ. Онъ получилъ отъ природы таланть для басни: въ такомъ случав онъ хорошо сделалъ, что не писалъ одъ и трагедій. Жуковскій по натурѣ своей - романтикъ, и ничто такъ не внѣ его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвь основанныя. «Пъвцу во Станъ Русскихъ Воиновъ» Жуковскій обязанъ своей славой: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта: и это произведение было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываеть это?-только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понимають ее теперь (а понимали ее тогда, какъ риторику въ стихахъ). Въ «Пъвцъ во Станъ Русскихъ Воиновъ» иёть даже чувства современной дъйствительности: въ этой пьесь вы не услышите ни одного выстрела изъ пушки или изъ ружья, въ ней нътъ и признаковъ порохового дыма, -- въ ней летають и свистять не пули, а стрёлы, генералы являются воинами не въ киверахъ или фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и коньями; къ довершенію этой пародіи на древность, всв они-съ щитами... Все это признакъ риторики; ибо поэзія проста: она не чуждается новенныхъ предметовъ дъйствительности, не боится сдёлаться оть нихъ прозой, но поэтизпруетъ самыя прозаическія вещи. неужели жерла пушекъ, изрыгающія И огонь и смерть тысячамъ; неужели дула ружей, посылающія издалека върную смерть; неужели трехгранный штыкъ, стальной ствной низлагающій сомкнутые ряды, — неужели все это имфеть въ себъ менье поэзіи, чъмъ кольчуги, щиты, стрълы и конья древности?... Напротивъ, последніе-детскія игрушки въ сравнении съ первыми, бладная проза въ сравненін съ страшной и грандіозной поэзіей. И потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ Наполеономъ дрались совсѣмъ не славяне, а русскіе! Скажуть: но развъ русскіе не славянскаго племени народъ? -- Положимъ, что и такъ; но развъ всъ народы западной Европы не тевтонскаго илемени; а кто скажетъ, что русскіе дрались подъ Бородинымъ съ тевтонами, на томъ основаніи, что Галлія нікогда была завоевана франками, а франки были народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были у славянь? Да сверхъ того бардъ Жуковскаго очень похожъ на скандинавскаго скальда. Вообще, ничего не чужда до такой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національныхъ элементовъ. Можетъ быть, это недостатокъ, но въ то же время и достоинство: если бъ національность составляла основную стихію поэзіи Жуковскаго, -- онъ не могъ бы быть романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена романтическими элементами. Поэтому всъ усилія Жуковскаго быть народнымъ поэтомъ возбуждають грустное чувство, какъ эрвлище великаго таланта, который, вопреки своему призванію, стремится итти по чуждому ему

Лучнія мѣста въ нѣкоторыхъ патріотическихъ пьесахъ Жуковскаго—тѣ, въ которыхъ онъ является вѣрнымъ своему романтическому элементу. Таково, напримъръ, въ «Пѣвпѣ во Стапѣ Русскихъ Вонновъ»:

Чюбви сей полный кубокъ въ даръ! Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жаръ: Любовь одно со славой. Кому здёсь жребій удёленъ Звать тайну страсти мплой, Кто сердцу сердцемъ обреченъ, Тоть сміло съ бодрой силой На все великое летить; Нътъ страха, нътъ преграды: Чего, чего не совершить Для сладостной награды? Ахъ, мысль о той, кто все для насъ, Намъ спутникъ неизмънный Вездъ знакомый слышимъ гласъ; Зримъ образъ незабвенный; Она на бранныхъ знаменахъ, Она въ пылу сраженья; И въ шумъ стана, и въ мечтахъ Веселыхъ сновиденья. Отвъдай врагъ исторгнуть щить, Рукою данный милой; Святой объть на немъ горить: Твоя и ва могилой! О, сладость тайныя мечты! Тамъ, тамъ за синей далью, Твой ангель, дава красоты, Одна съ своей печалью Грустить, о другь слезы льеть; Душа ея въ молитвъ,

Боится въсти, въсти ждеть: Увы! не палъ ли въ битвъ?" И мыслить: "Скоро ль, дружній глась, Твои мив слушать звуки? Лети, лети, свиданья часъ. Смънить тоску разлуки." Друзья! блаженнъйшая часть Любезнымъ быть спасеньемъ, Когда жъ предълъ нашъ въ битвъ пастъ-Погибнемъ съ наслажденьемъ; Святое имя призовемъ Въ минуту смертной муки; Къмъ мы дышали въ міръ семъ, Съ той нътъ и тамъ разлуки; Туда душа перенесеть Любовь и образъ милой... О други, смерть не все возьметь; Есть жизнь и за могилой.

Слѣдующее мѣсто есть не что пное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ въковъ, какъ будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?.. Довъренность Творцу! Чтобъ ни было, незримый Ведеть нась къ лучшему концу Стезей непостижимой. Ему, друзья, отважно въ слёдъ! Прочь пизкое! прочь злоба! Духъ бодрый на дорогъ бъдъ, До самой двери гроба; Въ высокой долъ-простота, Нежадность въ наслажденьи, Въ союзъ съ ровнымъ-правота, Въ могуществъ-смиренье; Обътамъ-върность; чести-честь; Покорность правой власти; Для дружбы все, что въ мірт есть; Любви-весь пламень страсти; Утьха-скорби; просьбъ-дань; Погибели-спасенье; Могущему пороку-брань, Безсильному-презранье; Неправдъ-грозный правды глась; Заслугъ-воздаянье; Спокойствіе въ последній чась; При гробъ-упованье.

Посланія—странный родъ, бывшій въ большомъ употребленіи у русской поэзіи до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались пестистопными ямбами; вотъ главная характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковскаго отличаются оть другихъ хорошими стихами и не чужды прекрасныхъ мѣстъ въ романтическомъ духѣ. Таковы, наприм., слёдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу ль? мив ужасовь могила не являеть; И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаеть, Чтобъ Промысла рука обратно то взяла, Чъмъй безрадостно въ семъ міръ бременияся, Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился, Которую давно надежда не златитъ. Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ, Считаю ль радости минувшаго—какъ мало! Нътъ! счастье къ бытію меня не пріучало; Мой юношескій цвътъ безъ запаха отцвълъ. Едва въ душъ моей для дружбы я созрълъ—И что же! предо мной увядшаго могила; Душа, не восцылавъ, свой пламень утасила; Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту, Везумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздъленья И певозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнъ замъчательны: они исполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится воиль души,-и они доказывають фактически, что не Пушкинъ, а Жуковскій первый на Руси выговориль элегическимъ языкомъ жалобы человъка на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковскій быль первымъ поэтомъ на Руси, котораго поэзія вышла изъжизни. Какая разница въ этомъ отношенін между Державинымъ и Жуковскимъ! Поэзіп Державина столь же безсердечна, сколько сердечна поэзія Жуковскаго. Оттого торжественность и высокопарность сдёлались преобладающимъ характеромъ поэзін Державина, тогда какъ скорбь и страданія составляють душу поэзів Жуковскаго. До Жуковскаго на Руси накто и не подозрѣваль, чтобъ жизнь человѣка могла быть въ гъсной связи съ его поэзіей, и чтобъ произведенія поэта могли быть вмість п дучшей его біографісй. Тогда люди жили весело, потому что жили внѣшней жизнью и въ себя не загладывали глубоко.

> Пой, пляши, кружись, Параша! Руки въ боки подпирай!

восклицаль Державинь.

Прочь от насъ, Катонъ, Сенека, Прочь, угрюмый Эпиктеть! Безъ утъхъ для человъка Пустъ, несносенъ былъ бы свътъ!

восклицаль Дмитріевъ. Эти пѣвцы и тогда умѣли плакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковскій, какъ поэтъ по преимуществу романтическій, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣной тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на диѣ своего растерзаннаго сердца, во глубинѣ своей груди, истомленный тайными муками...

Въ посланіи къ Тургеневу мы встрѣчаемъ стель же поразительное мѣсто, какъ и то, которое сейчасъ выписали изъ посланія къ Филалету:

. . . . . И мы въ сей край незримый Летимъ душой за милыми во слъдъ; Но къ намъ отъ пихъ желанной въсти нътъ; Лишь тайное живеть въ насъ ожиданье... Когда жъ, когда?.. Другъ милый, упованье! Гробами ихъ рубежь озпаченъ тотъ, На коемъ насъ свободы геній ждетъ Съ спокойствіемъ, безчувствіемъ, забвеньемъ. Пришедъ туда, о другъ, съ какимъ презръньемъ Мы бросимъ взоръ на жизнь, на гнусный свътъ, Гдт милому одинг минувшій цетт, Гдж доброму слыдовь по счастью нють, Ідт мнюніе нада совтстью властитель, Ідт все, мой дригь, иль эксертва, иль губитель!.. Дай руку, брать! какъ знать, кула нашъ путь Насъ приведетъ и скоро ль опъ свершится, II что еще во мгув судьбы таится. Но дружба намъ пвъздой отрады будь; О прочемъ здвсь эстанемся безпечны; Нам счастыя иттел зато и мы не вычны.

Въ посланияхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встръчаются вромъ прекрасныхъ романтическихъ мъстъ, и высокия мысли безъ всякаго отношения къ романтизму. Такъ, напр., [въ послании (121— 139 стр. 2-го тома) встръчаемъ слъдующе стихи:

Такт! и на бъдствія земныя положиль Онъ свътлозарную печать благотворенья! Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенья Взрываеть, какъ бразды, земныя племена, Въ нихъ жизни свъжія бросаеть съмена, И, обновленныя, пышать расцвътають! Какъ бури въ зной поля, бъды ихъ возрождають!

Въ слъдующемъ за тъмъ послани встръчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россіи:

Тебъ его младенческія льта! Отъ ихъ пеленъ ко входу съ бури свъта Пускай тебъ во слъдъ онъ перейдеть Съ душой, на все прекрасное готовой; Наставленный: достойнымъ счастья быть, Великое съ величіемъ сносить, Не трепетать, встръчая рокъ суровый, И быть въ дълахъ времевъ своихъ красой. Лъта пройдуть, подвижникъ молодой, Откинувши младенчества забавы, Онъ полетить въ путь опыта и славы... Да встрътить онъ обильный честью въкъ! Да славнаго участникъ славный будеть! Да на чредъ высокой не забудеть Святвишаго изъ званій: человтька! Жить для въковъ въ величін народномъ, Для блага встахъ-свое позабывать, Лишь въ голосъ отечества свободномъ Съ смиреніемъ дъла свои читать: Вотъ правила царей великихъ внуку. Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго особенно зам'янтельны «Теонъ и Эсхинъ» и баллада «Узникъ», если только они—его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи «Сочиненій Жуковскаго» только при немногихъ переводныхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъподъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродилъ по св'ту за счастьемъ—оно уб'єгало его.

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эроть— Лишь сердце опи изпурили; Цвъть жизни быль сорвань; увяжа душа: Въ ней скука смънила надежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ-

Все тъ жъ берега, и поля и холмы, И то же прежрасное небо; Но гдъ жъ озарившая пъкогда ихъ Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходить онь къ другу своему Теону; тогъ сидель въ раздумые на пороге своей хикины, въ виду гроба изъ бълато мрамора; друзья обнялись; лицо Эсхина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбенъ, но ясенъ.

Эсхинъ говоритъ объ обманывающей сердце мечтъ, о счастін, и сирашиваетъ друга—не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указаль, вздыхая, на гробъ...
"Эсхинъ, воть безмолвный свидътель.
Что боги для счастья послали намъ жизнь,—
Но съ нею печать перазлучна.
О пътъ, не ропщу на Зевесовъ закопъ;
И жизнь, и вселенна прекрасны,
Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ сложныхъ

не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ сложныхъ
Я видълъ земное блаженство. [мечтахъ
Что можетъ разрушьть въ минуту судьба,
Эсхипъ, то на свътъ не наше.

но сердца нетлънныя блага: любовь И сладость возвышенных мыслей—Воть счастье; о другь мой, оно не мечта. Эсхинь, я любиль и быль счастивь; Любовью моя освътилась дуща,

И жизнь въ красотъ мив предстана. При блескъ возвышенныхъ мыслей я эрълъ Яснъе великость творенья:

Я вёрилъ, что путь мой лежить по земль Къ прекрасной возвышенной цёли. Увы! я любилъ... и ел уже нёть! Но счастье, вдвоемъ столь живое,

Навъки ль исчезло? И прежије дни Вотще ли столь были прелестны? О, кътъ: никогда не погибнетъ ихъ слъдъ; Для сердца прошедшее въчно;

Страданье въ разлукъ есть та же любовь; Надъ сердцемъ утрата безсильна. И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эсхинъ,

Объть неизмънчой належды: Что гдъ- о въ знакомой, по тайной странъ. Погибшее намъ возвратится?

Кто разъ полюбиль, тотъ на свъть, мой другь, Уже одинокимъ не будеть...

Ахъ, свътъ, гдъ она предо мною цвъла— Онъ тотъ же: все ею снъ полонъ. По той же дорогъ стремлюсь я одинъ.

И къ той же возвышенной цёли, Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ,— Сихъ узъ не разрушитъ могила. Сей мыслью высокой украшена жизнь;

Я взоромъ смотрю благодарнымъ На землю, гдъ столько разсыпано благъ, На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я съ земли рубежа На сторовы лучшія жизни; Сей сладкой падеждою міръ озарень,

Какъ небо сіяньемъ авроры. Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы, И жизнь мит земная священна; При мысли великой, что я человить,

Всегда возвышаюсь душою.
А этотъ безмольный, тапиственный гробъ...
О, другъ мой, онъ върный свидътель.

Что лучшее въ жизни еще впереди, Что втрно желапное будетъ; Сей гробъ, затворенная къ счастю дверь Отворится, жду и надъюсь!

За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня, На мигъ мнъ явившійся въ жизни. О, другъ мой, искавъ измъняющихъ благъ,

Искавъ наслаждени минутныхъ.
Ты върныя блага утратиль своп—
Ты жизнь презирать паучился.

Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и Дай руку: близъ върнаго друга, [свътъ; Съ природой и жизнью опять примирись;

О, върь мив, прекрасна вселенна! Все пебо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ, Все въ жизни къ великому средство: И горесть, и радость—все къ цёли одной:

Хвала Жизнедавцу-Зевесу."

На это стихотворение можно смотрыть, какъ на программу всей поэзін Жуковскаго, какъ на положение осковныхъ принциповъ ея содержанія. Всв блага жизни невърны: стало быть, благо внутри насъ; здёсь все проходить и измъняетъ намъ: стало быть, неизмѣнное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого следуеть, чтобъ мы здъсь сидъли сложа руки, ничего не дълая, нитаясь высокими мыслями и благородными чувствованіями?.. Эта односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблужденіе ультра-романтизма... Какимъ образомъ человъкъ можетъ итти «къ прекрасней, жезвышенной цёли», стоя на однемъ м'єсть и бесёдун съ самимъ собою о лучшей жизни на порогъ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?.. И неужели эта «преврасная, возвышенная цёль» есть только лучшее счастье человека, а лично счастье человека только въ любви къ женщинъ?.. О, если такъ, то, по закону совпаденія крайностей, эта любовь есть величайшій эгоизмъ!.. Смертьдело слепого случая похитила у насъ ту. которой обязаны были мы нашимъ земнымъ счастьемъ: не будемъ приходить въ отчаяніеда и для чего? вёдь это только временная разлука, въдь скоро мы опять женимся на ней-тамъ; сядемъ же на порогъ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ен гроба, будемъ восхищаться «полнымъ славы твореніемъ, красотой вселенной и будемъ утвшать себя мыслью, что все даяз намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизнисредство къ великому, и что горе и радостьвсе къ одной цели!» Неть, и еще разъ-нътъ! Только вполовину истинна такая аскетическая философія! Законно и праведно требованіе челов'ька на личное счастье; разумно и естественно его стремление къ личному счастью; но въ одномъ ли сердив долженъ заключаться весь міръ его счастья? Воть вопрось, на который не даеть намъ рыненія поэзія Жуковскаго. Если бъ вся цыль нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастін, а наше личное счастье заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дійствительно мрачной пустыней, заваленной гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшной существенностью котораго побледнели бы поэтические образы земного ада, начертанные геніемъ суроваго Данте... Но — хвала вычному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человька и еще великій міръ жизни, кром'в внутренняго міра сердца,міръ историческаго созерцанія и общественной дінтельности, — тоть великій мірь, гді мысль становится дёломъ, а высокое чувствованіе-подвигомъ, и гдѣ два противоположные берега жизни-здась и тамъ-сли-

ваются въ одно реальное небо историческаго прогресса, исторического безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго лъданія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ,-и надъ этимъ міромъ носится Духъ Вожій, оглашающій хаосъ и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: «да булеть!», и вызываюшій пиъ свътлое торжество настоящаго - радостные дни новаго тысячельтняго царства Божія на земль... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотриль на этоть океанъ пумно несущейся жизни, кто видель въ немъ не один обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны, да мрачную, лишь молніями освъщенную ночь, кто слышалъ въ немъ не один вопли отчаянія и крпки гибели, но кто не теряль при этомъ изъвида и путеводной звъзды, указывающей на цъль борьбы и стремленія, кто не быль глухъ къ голосу свыше: «борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты-братья твои насладятся имъ и восхвалять въчнаго Бога силъ и правды!» Благо тому, кто, не довольствуясь настоящей действительностью, носиль вь душт своей идеаль лучшаго существованія, жиль и дышаль одной мыслыо-споспъществовать, по мъръ данныхъ ему природой средствъ, осуществленію на землъ ндеала, рано поутру выходилъ на общую работу, и съ мечомъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлой, смотря но тому, что было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братіямь не на одни пиры веселія, но и на плачъ и сътованія... Благо тому, кто, падан въ борьбъ за свътлое дъло совершенствованія, сь упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успоконтельное лоно силы, вызывавшей его на дело жизни, и восклицалъ въ священномъ восторгѣ: «все Тебѣ и для Тебя, а моя высшая награда-да святится имя Твое и да пріндетъ царствіе Твое!...»

Обантельна жизнь сердца; но безъ практической двятельности, источникъ которой заключался бы въ паеосв къ идев, самый богато-надъленный дарами природы человъкъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться дри одной пустотв мечтательныхъ ожиданій и двйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и живого отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

«Узникъ»—одно изъ самыхъ благоуханныхъ романтическихъ произведеній Жуковскаго. Заключенный въ тюрьмъ юноша слышить за стъной голосъ такой же, какъ опъсамъ, узницы:

"И такъ всь блага замвенть Могилой; И бросить свътъ, когда въ немъ жить Такъ мило! Ахъ, дайте въ свъть подышать:
Еще мнъ рано умирать.
Лишь мигъ весеннить бытіемъ
Жила я;
Лишь мигъ на праздникъ земномъ
Была я;
Душа готовилась любить..
И все покинуть, все забыть!"

Юноша сжился душой съ узницей, которой онъ никогда не видалъ. Въ ней вся жизнь его, и онъ не проситъ самой воли. И что нужды, что онъ никогда не видалъ ея, что она для него—не болбе, какъ мечта? Сердце человъка умъетъ обманыватъ и себя, и разсудокъ, особенно если съ нимъ вступитъ въ союзъ фантазія. Нашъ узникъ не хочетъ в знатъ, что бъ заговорило сердце его тогда когда глаза его увидъли бы таинственную узницу.

"Не ты ль—онъ мнить—давно была Любима?
И не тебя ль душа звала, Томима
Желанья смутнаго тоской, Волненьемъ жизни молодой?
Тебя въ пророчественномъ сиъ Видалъ я;
Тобою въ иламенной веснъ Дышалъ я;
Ты миъ цвъла въ живыхъ цвътахъ;
Твой образъ въягъ въ облакахъ."

Молодая узница умерла въ своей тюрьмѣ узникъ былъ освобожденъ;—

Но хладно приняль онъ привътъ

Свободы;

Прекраснаго ужъ въ міръ нътъ: Дии, годы Напрасно будуть проходить... Погибшаго не возвратить... И тихо въ сумракъ ночей Онъ бродитъ, И съ неба темпато очей Не сводить: Ввъзда знакомая тамъ есть: Она къ нему приносить въсть... О миломъ въсть и въ міръ иной Призванье... И дълить съ тайной онъ авъздой Страданье; Ея краса оживлена; Ему въ ней свътится она.

Онъ таялъ, гаснулъ и угасъ... И мнилось, Что вдругъ въ передпослёдній часъ Явилось

Все то, чего душа ждала— И жизнь въ улыбкъ отошла...

«Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ-царевичѣ, о хитростяхъ Кощея-Безсмертнаго и о премудростяхъ Марып-царевны, Кощевой дочери» и «Сказка о спящев Царевнѣ» были весьма неудачными попымами Жуковскаго на русскую народность. О нихъ никакимъ образомъ нельзя сказатъ:

Здёсь русскій духь, здёсь Русью пахнеть.

Вообще быть народнымъ — значило бы для Жуковскаго отказаться оть романтизма, -а это для него было бы все равно, что отказаться оть своей натуры, оть своего духа, словомъ, — отъ самого себя. Въ «Громобов» Жуковскій тоже хотель быть народнымъ, но, наперекоръ его воль, эта русская сказка у него обратилась, какъ-то въ измецкую-чтото въ родъ католической легенды среднихъ въковъ. Лучнія мъста въ ней — романтическія, какъ, напр., это:

> Увы! пора любви придеть: Вамъ сердце тайну скажетъ. Для васъ украсить Божій свътъ, Вамъ милаго покажетъ; И взоръ наполнится тоской, И тихимъ грудь желаньемъ, И, распаленныя душой, Влекомы ожиданьемъ, Для васъ взойдетъ красиве день, И будеть лугь душистый. И сладостиви дубравы твиь, И птичка голосистъй.

«Вадимъ» весь преисполненъ самымъ неопределеннымъ романтизмомъ. Этоть «Новгородскій рыцарь» фдеть, самъ не зная куда, руководимый таниственнымъ звонкомъ... Онъ долженъ стремиться къ небесной красоть, не обольщаясь земной. И воть для обольщенія его предстала ему земная красота въ образъ кіевской княжны...

Лазурны очи опустя, Въ объятіяхъ Вадима Она, какъ тихое дитя, Лежала педвижима; И что съ невинною душой Сбылось-не постигала: Лишь сердце билось, и порой, Вся вспыхнувъ, трепетала; Лишь пламень гаспущій сіяль Сквозь твиь ръсницъ склоненныхъ, И вздохъ невольный вылеталъ Изъ устъ воспламененныхъ. А витязь?.. что съ его душой?.. Увы! сихъ взоровъ сладость, Сихъ чистыхъ, подъ его рукой Горящихъ персей младость, И мягкій шолкъ кудрей густыхъ, По раменамъ разлитыхъ, И свъжій блескъ ланить младыхъ, II усть полуоткрытыхъ Палящій жарь, и тихій глась, И милое смятенье. И ночи таниственный часъ, И вкругъ уединенье-Все чувство разжитало въ немъ... О власть очарованья! Уже исполнены отнемъ Кипящаго лобзанья, На дъвственныхъ ея устахъ Его уста горъли, И жарче розы на щекахъ Дрожащей дввы рдвли; И все... но вдругъ смутился опъ, И въ радостномъ волиенън Затрепеталъ... знакомый звоиъ Раздался въ отдаленьи; И долго жалобпо звенфлъ

Сить въ бездив подпебесной;

И кто-то. чудилось, летелъ Незримый, но изпестный; И взоръ, исполненный тоской, Мелькалъ сквозь покрывало: И подъ воздушной пеленой Печальное вздыхало... Но вдругъ сильнъй потрясся лъсъ, И небо зашумъло... Вадимъ взглянулъ-призракт исчезъ А въ вышинъ. звенъло. И вслъдъ за милою мечтой Душа его стремится...

Колокольчикъ, какъ видите, зазвенълъ очень кстати... Вадимъ отказался отъ кіев ской княжны, а вмёстё съ ней и отъ кіевской короны, освободиль двънадцать спящихъ дъвъ п на одной изънихъженился. Но что было потомъ и кто эти дёвы и что съ ними стало-все это осталось для насъ такой же тайной, какъ и для самого поэта... Право. намъ кажется, что напрасно отказался Вадимъ отъ кіевской княжны. Это напоминаетъ намъ фантастическую сказку Гофмана-«Золотой Горшовъ»: тамъ студентъ Ансельмъ, ценой многихъ лишеній и сумасбродствъ, добивается до неизрѣченнаго блаженства обнять вмѣсто женіцины — змію, которая, какъ ловкая, увертливая змѣя, и ускользаеть изъ его рукъ... Вадимъ, кажется, обнялъ еще меньше, чемъ змею, обпялъ — мечту, призракъ. Но зато онъ былъ въренъ до гроба своей мечть... И то не малое утьшеніе!...

Содержаніе «Ундины» взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота Фукэ; но въ стихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. «Ундина» -- одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея — олицетвореніе стихійной силы природы. Ундинадочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ пскусно нашъ поэтъ умъетъ слить фантастическій міръ съ дъйствительнымъ міромъ, и сколько заповъдныхъ тайнъ сердца умълъ онъ разоблачить и высказать въ такомъ сказочномъ произведенін. По красотамъ поэтическимъ «Ундина» есть такое созданіе, которое требовало бы подробнаго разбора, и потому мы ограничимся указаніемъ на одно изъ самыхъ романтическихъ мѣстъ этой поэмы:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ со жальнью, иль къ счастью, что наше Горе земное не надолго! Здась разумью я горе Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее rone. Горе, которое съ милымъ потеряннымъ благомъ сливаетъ Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не Смерть-вдвоемъ бытіе, а жизнь - порывъ непрестанный Къ той чертъ, за которую милое наше изъ Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ

душь на свёть, въ которыхъ святая печаль, какъ свъча предъ иконою, Ярко г ритъ, пока догоритъ; по она и для

нихъ ужъ Все не та подъ-конецъ, какою была при началъ, Поли я, чистая; много ипого, чужого Между утратою нашей и нами уже протъсни-

Вотг, наконецт, и всю изминяемость здишняго въ сам ф нашей печали мы видимъ... итакъ, скажу къ

сожалъныю.

Наше горе земное не надолго...

Эта поэма принадлежить въ позднъйшимъ произведениямъ Жуковскаго, а оттого ея романтизмъ какъ-то сговорчивъе и дълаетъ болъе уступокъ разсудку и дъйствительности...

Не будемъ распространяться о достопнствъ перевода «Орлеанской Дъвы» Шиллера: это достопнство давно и всеми единодушно признано. Жуковскій своимъ превосходнымъ переводомъ усвоилъ русской литературъ это прекрасное произведение. И никто кромъ Жуковскаго не могь бы такъ передать этого по преимуществу романтического созданія Шиллера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковскій не быль бы въ состояніп такъ превосходно передать на русскій языкъ, какъ превосходно передаль онъ «Орлеанскую Дъву».—Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ должень поставить переводъ балладъ Шиллера: «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы Журавли», «Кассандра», «Графъ Габсбургскій», «Поликратовъ Перстень», «Кубокъ», и пьесы Шиллера же-«Горная дорога»; все это переведено превосходно. Но если что составляеть истичный ореоль Жуковскаго, какъ переводчика, -- это его переводъ следующихъ трехъ пьесъ Шиллера: «Торжество Побъдителей», «Жалоба Цереры» и «Элевзинскій Праздникъ». Если бъ кромъ этихъ пьесъ Жуковскій ничего не перевель, ничего не написалъ, — и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

«Торжество Побъдителей» есть одно изъ величайшихъ и благороднъйшихъ созданій Шилдера. Въ немъ геній этого поэта является съ лучшей своей сгороны. Великая душа Шиллера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувстве ен было воспитано и развито на исторической почвъ. Глубоко проникъ этотъ великій тухъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ краснорѣчиво оплакалъ паденіе ся боговъ, онъ съ такой страстью говориль объен искусствь, ен гражданской доблести, ея мудрости. И нигдъ сь такой полнотой и такой силой не выразиль онъ, не воспроизвель поэтическаго образа Эллады, какъ въ «Торжествъ Побъдителей». Эта пьеса есть аповеоза всей живин, всего духа Греціп: эта пьеса-вивств и поэтическая тризна, и побъдная пъснъ въ честь отечества, боговъ и героевъ. Она написана въ греческомъ дукъ, облита свътомъ мірообъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говорить не отъ себя: онъ воскресиль Элладу и заставиль ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедін слиты въ эт й ньесь Шиллера съ возвышенной и кроткой скорбью греческой элегіи. Въ нейвидится и свътлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Анда, и земля съ ен добромъ и зломъ, съ ел величіемъ и ничтожностью, — и царящая надъ всеми ими мрачная Судьба, верховная владычица боговъ и смертныхъ... Нельзя шире и върнъе воспроизвести нравственной физіономін народа, уже не существующаго столько тысячельтій!

Победоносные греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трон въ свое отечество и собрались къ острогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувнаго. Калхасъ приноситъ жертву богамъ.

Судъ оконченъ; споръ рѣшился, Прекратплася борьба, Все псполипла судьба— Градъ великій сокрушился.

Каждый пэъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событии паденія «священнаго Пріамова града», высказывается какимъ-нибудь сужденіемъ, примѣненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится мпромъ, возвратившись въ свой домъ, и, пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвой въроломства жены. Менелай говоритъ о неизбѣжномъ судѣ всевидящаго Кронида, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Оленда:

Пусть веселый взорь счастивыхь (Онлеевь сынь сказаль) Зрить въ богахъ боговъ правдивыхъ; Судь ихъ часто слъпъ бывалъ: Сколько добрыхъ жизнь поблекла! Сколькихъ низкихъ рокъ щадить!... Нъть великаго Патрокла; Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчась же, по свойству всеобщаго и многосторонняго духа греческаго, разрышается вы веселое и свётлое созерцаніе:

Смертный, вычный Дій Фортуны Своеправной предаль нась; Уловляй же быстрый чась, Не тревожа сердца втупь.

Вообще эти четверостинія, слідующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собой хоръ изъ греческой трагедіи. Олендъ продолжаеть:

Лучшихъ бой похитиль ярый! Въчно памятецъ намъ будь, Ты, мой брать, ты, подъ удары Подставлявшій твердо грудь, Ты, который насъ пожаромь Осажденныхъ защитиль... Но коварнійшему даромъ Щить и мечь Ахилловъ быль. Мирь тебѣ во мглѣ Эрева. Жизнь твою не прахъ пожаль: Ты своею силой палъ, Жертва гибельнаго гнѣва.

Воспоминаніе объ Ахилль дышитъ всей полнотой греческаго соверцанія героизма:

О Ахилли! о мой родитель! (Возгласиль Неонтолемь) Выстрый міра посвтитель, Жребій лучшій взяль ты въ немь. Жимь ег любей племент дълами Влаго первое земли; Будем славны именами И сокрытые ег пыли! Слава дией твоихъ нетлънна: Въ пъсняхъ будеть цвъсть она. Жизнь экивущих небърна, Ябизнь отмишихъ неизмънна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго (du sublime) въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велить умолкнуть злобі; (Діомедь провозгласиль) Слава Гектору во гробі! Онъ краса пергама быль. Онь за край, гді жили діды, Веледушно пролиль кровь. Побъдившимъ—честь побъды! Охранявшему любов! Кто, на судь явясь кровавый, Славно паль за отчій домь, Тоть, почтенный и врагомь. Вудеть жить въ преданьяхь славы!

Но что можеть сравниться съ этой трогательной, этой умиляющей душу картиной «убъленнаго жизнью» Нестора, со словами кроткаго утъщенія подающаго кубокъ страждущей Гекубь! Здѣсь въ рѣзкой характеристической черть схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторъ, жизнью убъленный, Нацъдиль вина фіаль И Гекубъ сокрушенной Дружелюбно выпить даль Пей страданій утоленье, Добрый вакховъ даръ-вино. И веселость, и забвенье Проливаетъ въ насъ опо.. Пей, страдалица! печали Утоляются виномъ: Боги жалостные въ пемъ Подкръпленье сердцу дали. Вспомни матерь Ніобею: Что извъдала она! Сколь ужасная надъ нею Казнь была совершена! Но и съ нею, безотрадной, Добрый Вакхъ не даромъ быль; Онъ струею виноградной Въ мигъ тоску въ ней усынилъ. Если грудь виномъ согръта

И въ устахъ вино кипить, Скорби наши быстро мчить Ихъ смывающая лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: пророчество Кассандры намекаетъ на перемѣнчивость участи всего подлуннаго и на горе, ожидающее самихъ побѣдителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра, Виявъ шеппувшимъ ей богамъ На пустыпный брегъ Скамандра, На дымящійся Пергамъ. Все великое земное Разлетается какъ дымъ: Нынг экребій выпаль Трогь, Завтра выпадетть другимъ.

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать высокую пѣснь раздирающимъ душу диссонансомъ: богатая и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себъ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонію и примиреніе съ жизнью, и потому пьеса Шпллера достойно заключается утѣшительнымъ обращеніемъ отъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный, силь, нась гнетущей, Покоряйся и терии! Спящій съ гробіь, мирно спи! Жизнью пользуйся, живущій!

Такой быль греческій романтизмь: на гробахь и могилахь загоралась для него візчная заря жизни; несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывали отъ его глубокаго и шпрокаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей полноты общаго: на веселыхь пиршествахъ ставиль онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти и, глядя на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробь, мирно спи! Жизнью пользуйся, живущій!

Смерть для грека являлась не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, но прекраснымъ, тихимъ успокоптельнымъ геніемъ сна, кротко и любовно смежавшимъ навѣки утомленныя страданіемъ и блаженствомъ жизни очи...

Переводъ Жуковскаго «Торжества Побъдителей» есть образецъ превосходныхъ переводовъ, —такъ что если при тщательномъ сравнении иныя мъста окажутся не вполнъ върно или не вполнъ сильно переданными, — зато еще болъе найдется мъстъ, которыя въ переводъ сильнъе и лучше выражены. Такъ, напримъръ, у Шиллера сказано просто: «И въ дикое празднество радующихся примъшивали онъ (илъмпыя жены и дъвы троянскія) плачевное пъніе, оплакивая собственныя страданія и паденіе царства». У Жуковскаго это выражено такъ:

Н съ побъдной ивенью диной Ихъ сливался тихій стонъ По тебт, святой, великой, Невозвратный Иліонъ.

«Жалоба Цереры»—тоже одно изъ величайшихъ созданій Шиллера-передана порусски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и «Торжество Побъдителей». Въ этой пьесъ Шиллеръ воспроизвель романтическій образь элевзинской Цереры-нажной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкой подземнаго царства, суровымъ Андомъ:

> Сколь завидна мив, печальной, Участь смертныхъ матерей! Легкій пламень погребальной Возвращаеть имъ дътей; А для насъ, боговъ нетлъпныхъ, Что усладою утрать? Насъ, безрадостно блаженныхъ, Парки строгія щадять... Парки, парки, поспъшите Съ неба въ адъ меня послать; Празъ богини не щадите: Вы обрадуете мать.

Въ поэтическомъ образъ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стиксовой струей, а листь выходить въ область неба и живеть дучами Аполлона, —въ этомъ дивномъ поэтическомъ образъ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтического міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сділаль самый поэтическій намекь на скорбь и утьmeніе божественной матери: этогъ корень, инущій ночной тьмы и питающійся сти совой водой, и этотъ листь, радостно рвущійся на свъть и подымающійся къ небу.--

> Ими таинственно слита Область тьмы съ страною дия, И приходять отъ Коцита Милой въстью для меня: И ко мив въ живомъ дыханьв Молодыхъ цвътовъ весны Подымается признанье, Гласъ родной изъ глубины: Онъ разлуку услаждаетъ, Онъ душъ моей твердитъ, Что любовь не умираетъ И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Сколько скорбной и умилительной любви въ этомъ обращении романтической богини къ любимымъ чадамъ ен материнскаго сердиавъ цвътамъ:

> О, привътствую васъ, чада Расцвътающихъ полей! Вы тоски моей услада, Образъ дочери моей! Вась налью благоуханьемъ, Напою живой росой И съ авроринымъ сіяньемъ Поравняю красотой; Пусть весной природы младость,

Пусть осенній мракъ полей И мою въщаеть радость, и печаль души моей!

Въ «Элевзинскомъ Праздникв» Шиллера есть опять поэтическая апооеоза Цереры; но здёсь эта богиня представлена уже съ другой ея стороны. Въ «Жалобъ Цереры» эта богиня является представительницей греческаго романтизма; въ «Элевзинскомъ Праздникъ» она является божествомъ благотворно дъятельнымъ-очеловъчиваетъ и одухотворяеть подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледёлію, соединяеть ихъ въ общества, даеть имъ боговъ и храмы, низводить къ нимъ ремесла и искусства и постваетъ между ними стмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

В роятно, увлеченный Шиллеровскимъ созерцаніемъ великаго міра греческой жизни, Жуковскій и самъ написаль пьесу въ этомъ же родъ-«Ахиллъ». Въ ней есть прекрасныя міста; но вообще въ греческое созерцаніе Жуковскій внесъ слишкомъ много своего, -и тонъ ея выраженія сділался оттого гораздо болѣе унылымъ и расплывающимся, нежели сколько следовало бы для пьесы, которой содержание взято изъ греческой жизни и которан написана въ греческомъ духв. Равнымъ образомъ къ недостаткамъ этой пьесы принадлежить еще и то, что она больше растянута, чемъ сжата, а потому утомляеть въ чтенін. Но, несмотря на то, въ ней есть красоты, иногда напоминающія ньесы Шиллера въ этомъ родь, и вообще «Ахиллъ» Жуковскаго — одно изъ

замъчательныхъ его произведеній.

Какъ романтикъ по натуръ, Шиллеръ созерцалъ греческую жизнь съ ея романтической стороны, и вотъ причина, почему многіе недальновидные критики не хотели въ его произведеніяхъ греческаго содержанія видъть върное воспроизведение духа Эллады; но это уже была вина ихъ, недальновидныхъ аритиковъ, а не вина Шиллера. Вольно же было имъ и не допозрѣвать, что въ Греціи быль свой романтизмъ! Жуковскій-тоже, какъ романтикъ по натуръ, былъ въ состояній превосходно передать пьесы Шиллера греко-романтического содержанія. По этой же причинъ его переводы такихъ пьесъ Гёте болже неудачны, чёмъ удачны; ссыдаемся на «Мою Богиню» (т. VI, стр. 65). Это понятно: Гёте смотрълъ на Грецію совсёмъ съ другой стороны, нежели Шиллеръ; последній болье видель ся внутреннюю, романтическую сторону; Гёте видель больше ея опредвленную, свытлую, олимпійскую сторону. Оба великіе поэта смотр'вли върне Грецію, каждый види разныя, но ея же собственныя стороны. Когда же Гёте сходился

от Шиллеромъ въ созерцаніи греческой жизни (какъ, напримъръ, въ «Прометев» и «Коринеской Неваста»), —онъ отыскиваль въ немъ и выражалъ болъе философскую его сторону. И въ этомъ отношении Гёте былъ въренъ своему духу. Романтическое паправленіе Жуковскаго совершенно вив сферы Гетева созерцанія, и потому Жуковскій мало переводиль изъ Гёте, и все переведенное или заимствованное изъ него неремвняль посвоему, за исключениемъ только чисто-романтическихъ въ духв среднихъ въковъ пьесъ Гёте, каковы, наприм'єрь, баллады: «Л'єсной Царь» и «Рыбакъ». И если талантъ Жуковскаго, какъ переводчика, совершенно внъ сферы поэзін Гёте, — отсюда нисколько еще не слёдуеть, чтобъ причиной этого была высота генія Гёте. Жуковскій переводиль же превосходно Шиллера, а геній Шиллера ничёмъ ни ниже генія Гёте. Вообще мысль считать Шиллера ниже Гёте-и нельпа, и устарьла. Жуковскій-необыкновенный переводчикъ, и потому именно способенъ върно и глубоко воспроизводить только такихъ поэтовъ и такія произведенія, съ которыми натура его связана родственной симпатіей.

«Идеалы» Шиллера переведены не совсёмы удачно. Переводы этоты относится кы первой поры поэтической дёятельности Жумовскаго. Ужы одно то, что, переводя эту пьесу, оны перемынилы название ея «Идеалы» на «Мечты»—одно ужы это показываеть, какы не глубоко вникы оны вы мыслы ея. Многие стихи вы этой пьесы просто нехоропии; многия выражения лишены точности и опредыленности. Воты для доказательства пъ

лый куплеть:

И неестественнымъ стремленьемъ Весь міръ въ мою тъснился грудь; Картиной, звукомъ, выраженьемъ, Во все я жизнь хотъль вдохнуть, И въ нъжномъ съмени сокрытой, Сколь пышнымъ мню казался свъть... Но, ахъ; сколь мало въ немъ развито! И малое—сколь бъдный цвътъ!

Какъ-то чувствуется само собой, что вмёсто «выраженіемъ» надо было поставить «словомъ»; послёдніе четыре стиха такъ неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шиллера.

Другимъ образомъ, но также неудачно, переведена пьеса Байрона, начинающаяся въ переводѣ стихомъ: «Отымаетъ наши радости». Жуковскій далъ ей совсѣмъ другой смыслъ и другой колоритъ, такъ что Байроновскаго въ пей ничего не осталось, а замѣненнаго переводчикомъ, послѣ даже прозаическаго, но върнаго перевода, нельзя читатъ съ удовольствіемъ. Вотъ самый близкій прозаическій переводъ пьесы Байрона:

"Нътъ радостей, какія можеть дать намъ міръ, въ замъну тъхъ, которыя онь отнимаеть у насъ Соч. Бълинскаго. Т. III. въ то время, когда ужъ жаръ первыхъ мыслей остынетъ въ печальномъ увяданіи чувствъ. Не одна только свёжесть ланитъ вянетъ скоро,— нътъ, свёжій румянецъ сердца исчезаеть прежде самой юности.

И эти немногія души, которымъ удаєтся упільть послів ихъ разрушеннаго счастья напильнають на мели преступленій или упесмися вь океань буйных страстей. Ихъ путоводный компась изломань, или стрілка его напрасно указываеть на берегь, къ которому ихъ разбитая ладья никогда не причалить.

Тогда-то сходить на душу тоть мертвенный холодь, подобный самой смерти; сердце не можеть сочувствовать страданіямь другихь, не смветь думать о своихь собственныхь страданіяхь; ручей слезь покрывается тяжетой меданой корой; а если и блестять еще очи, то ото блескъ льда.

Хотя остроуміе порой ярко сверкаеть еще въ устахъ, и смъхъ развлекаеть сердце въ часи полуночи, которые не дають уже прежней надежды на успокоене, но все это какъ листы ижюща, обвивающеся вокругъ развалившейся башни: зеленые и дико-свъжіе сверху, сърые и землистые снизу.

О, если бъ могъ я чувствовать, какъ чувствовать прежде, быть тёмъ. чёмъ быль... или плакать объ исчезнувшемъ, какъ, бывало, плакалъ... Какъ бы ни быль мутенъ и нечистъ ручей, найденый нечаянно въ пустынъ, онъ кажется сладостнымъ и отраднымъ: такъ отрадны были бы миъ чои слезы среди опустошенной стени моей жизни."

Сличите хоть второй куплеть нашего буквальнаго прозаическаго перевода съ стихотворнымъ переводомъ Жуковскаго:

Наше счастіе разбитое Видимъ мы нгрушкой волнъ; И въ далекій мракъ сердитое Море мчитъ нашъ бёдный чолнъ Стрёлки нётъ путеводительной, Иль вотще ея магнитъ Въ бурю къ пристани спасительной Чолнъ безпарусной манитъ.

То ли это?... Въ последнихъ двухъ куплетахъ еще более искажена мысль Байрона.

Но странное діло!—нашь русскій півець тихой скорби и унылаго страданія обрыль въ душћ своей крѣпкое и могучее слово для выраженія страшных подземных мукъ отчаянія, начертанныхъ молніеносной кистью титаническаго поэта Англін! «Шильонскій Узникъ» Байрона переданъ Жуковскимъ на русскій языкъ стихами, отзывающимися въ сердцъ какъ ударъ топора, отдъляющій отъ туловища невинно осужденную голову. Здёсь въ первый разъ крвпость и мощь русскаго языка явилась въ колоссальномъ видъ и до Лермонтова болье не являлась. Каждый стихъ въ переводъ «Шильонскаго Узника» дышить страшной энергіей, и надо совершенно потеряться, чтобъ выписать лучшее

изъ этого перевода, гдв каждая страница есть равно дучшая. Но мы напомнимъ здвсь нашимъ читателямъ только эту ужасную картину душевнаго ада, въ сравнени съ которымъ адъ самого Данте кажется какимъто раемъ:

Но что потомъ сбылось со мной, Не помню... свыть казался тьмой, Тьма свётомъ; воздухъ исчезалъ; Въ опъпенънін стоялъ, Везъ памяти, безъ бытія, Межъ камней хладныхъ камнемъ я; И видълось, какъ въ тяжкомъ сев, Все блъднымъ, темнымъ, тусклымъ миж; Все въ смутную слилося твнь; То не было ни ночь, ни день, Ни тяжкій свёть тюрьмы моей, Столь ненавистный для очей: То было тьма безъ темноты: То было бездна пустоты, Безъ протяженья и границъ, То были образы безъ лицъ, То странный міръ какой-то быль, Везъ неба, свъта и свътиль, Безъ времени, безъ дней и лътъ, Везъ промысла, безъ благъ и бъдъ, Ни жизнь, ни смерть, какъ сонъ гробовъ, Какъ океанъ безъ береговъ. Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и нъмой.

Много было расточено похвалъ переводу отрывка изъ поэмы Томаса Мура «Дивъ и Пери»; но переводъ этотъ далеко ниже похвалъ: онъ тяжелъ, прозанченъ, и только мъстами проблескиваетъ въ немъ поэзія. Впрочемъ, можетъ быть, причиной этого и самъ оригиналъ, какъ не совсъмъ естественная поддълка подъ восточный романтизмъ. Несравненно выше, по достониству перевода, почти никъмъ незамъченная поэма «Судъ въ Подземельъ».

«Овенный Кисель», «Красный Карбункуль», «Деревенскій Сторожь въ Полночь», «Сраженіе съ Змѣемъ», «Неожиданнее Свиданіе», «Путешественникъ и Поселянка» (изъ Гёте), «Нормандскій Обычай», «Тлѣнность», «Война Мышей съ Лягушками», «Цейксъ и Гальціона» и отрывки изъ «Энеиды» и «Иліады» принадлежать къ числу замѣчательныхъ переводовъ Жуковскаго. Въ отрывкахъ изъ «Иліады» стихъ легче, чѣмъ стихъ Гнѣдича; но въ послѣднемъ, по нашему мнѣнію, болѣе жизни, болѣе греческаго духу и колорита. Вирочемъ, Жуковскій эти отрывки изъ «Иліады» перевель съ латинскаго.

Сдёлаемъ перечень всёмъ пьесамъ Жумовскаго и переводнымъ, и подражательнымъ
и оригинальнымъ, которыя мы считали или
лучшими, или самыми характеристическими
его произведеніями. Изъ балладъ: «Рыцарь
Тогенбургъ», «Ивиковы Журавли», «Лѣсной
Царь», «Кассандра», «Три Пѣсни», «Графъ
Габсбургскій», «Узникъ», «Эолова Арфа»,
«Ахиллъ», «Поликратовъ Перстень», «Старый Рыцарь», «Роландъ Оруженосецъ»,

«Плаваніе Карла Великаго», «Кубокъ», «Замовъ Смальгольмъ», «Перчатка», «Покаяніе», «Отрывки изъ испанскихъ романсовъ о Сидъ». Изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ: «Тоска по (миломъ», «Цветокъ», «Песнь Араба надъ могилой коня», «Пловецъ», «Счастливъ тотъ, кому забавы», «О, милый другъ, теперь съ тобою радость», «Минувшихъ дней очарованья», «Жалоба», «Върность до гроба», «Голось съ того свъта». «Ночь», «Утышеніе въ слезахъ», «Къ мьсяцу», «Ивсня Бъдняка», «Весеннее Чувство», «Утьшеніе», «Таинственный Посвтитель», «Мотылевъ и Цвѣты», «Къ мимопролетъвшему знакомому генію», «Желаніе», «Младенецъ», «Сонъ», «Пчастье во снъ», «Къ востоку, все къ востоку», «Розы расцвътають», «Замокъ на берегу моря», «Горная дорога», «Пъвецъ», «Жизнь», «Узникъ къ мотыльку, влетъвшему въ его темницу», «Эливіумь», «Путешественникъ», «Славянка», «Вечеръ», «На кончину Королевы Виртембергской», «Сельское Кладбище», «Море», «Праматерь Внукв», «Къ Филону», «Двъ Пѣсни», «Провидьніе», «Мечта», «Побъдитель», «Три путника», «Видініе», «Теонъ и Эсхинъ», «Счастье», «Ночной Смотръ», «Утренняя Звёзда», «Лётній Вечеръ».

Многія изъ этихъ пьесъ уже не могутъ нивть такого интереса, какой имели прежде, и не могуть читаться съ такимъ восторгомъ и упоеніемъ, съ какимъ читались прежде; но причина этого заключается совсёмъ не въ талантъ Жуковскаго, а въ содержании и духъ этихъ пьесъ. У всякаго времени есть своя задушевная дума, то радостная, то тяжелая, есть свои потребности и свои интересы, а потому и своя поэзія. Неувядаемость поэзін каждой эпохи зависить оть идеальной значительности этой эпохи, отъ глубины и общности идеп, выраженной ея исторической жизнью. Долве всехъ живуть такія произведенія искусства, которыя во всей полнотъ и во всей силъ передають то, что было самаго истиннаго, самаго существоннаго и самаго характеристического въ эпохъ. Все же, что не выполняеть этихъ условій или выполняеть ихъ неудовлетворительно,все такое теряеть свой интересь въ другую эпоху и мало-по-малу навъки смывается волнами шумно-несущейся жизни. И немногое, слишкомъ немногое выносится наверхъ воднами этого глубокаго и безбрежнаго океана, и какъ много тонетъ въ его бездонной глубинв!...

Многія пьесы Жуковскаго, совершенно отжившін для нашего времени, все-таки имбють свой историческій интересь, и безь нихь полное изданіе сочиненій Жуковскаго не имбло бы общаго характера поэзіп Жуковскаго. Таковы: «Людмила», «Алина и

Альсимъ», «Девнадцать Спящихъ Дввъ», «Пѣвецъ во стапѣ Русскихъ Воиновъ», и проч. — Посланія Жуковскаго заключають въ себъ мъстами и отрынками характеристическія черты времени, въ которое они писаны; сверхъ того въ нихъ, какъ замътили мы выше, встръчаются поэтическіе проблески и замъчательныя мысли. Особенно слабыми пьесами (иныя по формъ, иныя по содержанію, иныя по тому и другому) считаемъ мы следующія: «Песнь барда надъ гробомъ Славянъ-побъдителей». «Пѣвецъ въ Кремлѣ», «Пиршество Александра, и сила гармоніи» (изъ Драйдена), «Гимнъ» (подражаніе Томсену), «Библія», «Сонъ Могольца», «Эпимесидъ», «Орелъ и Годубка», «Добрая мать», «Сиротка», «Подробный Отчеть о Лунь» (какое-то странное resumé всего говореннаго поэтомъ о лунь въ разныхъ стихотвореніяхъ его). «Алонзо», «Доника», «Ленора», «Королева Урака», «Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка вхала на черномъ конв вдвоемъ, и кто сиделъ впереди», «Две были и еще одна», «Фридолинъ» (прекрасный переводъ странной по содержанію пьесы Шиллера), «Сказка о Царъ Берендев и Сказка о Спящей царевнъ». Что насается до «Аббаддоны» — это мастерской, превосходный переводъ изъ самой натянутой, какая только была въ свътъ, и совершенно забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковскаго, если бъ не упомянули о дивномъ искусствъ этого поэта живописать картины природы и влагать въ нихъ романтическую жизнь. Утро ди, полдень ди, вечеръ ди, ночь ди, вёдро ди, буря ди, или пейзакъ, все это дышитъ въ яркихъ картинахъ Жуковскаго какой-то таинственной, исполненной чудныхъ силъ жизнью... Примёры дучше всего объяснятъ нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвътущія равнины Старинный Ирлингфоръ, И пышныя съ высотъ его картины Повсюду видёль взоръ. Авонъ, шумя подъ древними стънами, Ихъ прной обощать И низкій брегь съ лівсистыми холмами Въ струяхъ его дрожалъ. Тамъ пламенълъ бреговъ на тихомъ Закать сквозь рёдкій лёсь: Изтрепеталъ во дремлющемъ Авонъ Съ звъздами сводъ небесъ. Вдали, вблизи разсыпанныя села Дымились по утрамъ, Отъ ръзвыхъ стадъ долина вся шумъла И творилъ лъсь рогамъ. Сприиль съ поти прохожій совратися На Ирлингфоръ взглянуть. И, красотой его плъняся, Онъ забывалъ свой путь. ("Варвикъ".)

Владыка Морвены, Жиль въ дъдовскомъ замкъ могучій Ордаль. Надъ озеромъ ствны Зубчатыя замокъ съ ходна возвышаль. Прибрежны дубравы Склонялись къ водамъ, И **стла**лся кудрявый Кустарникъ по злачнымъ окрестнымъ хол-Спокойствіе съней Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ гарушалъ: Рогатыхъ оленей И вепрей, и ланей могучій Ордаль Съ отважными псами Гоняль по колмамь; И долы съ холмами Шумя отвъчали зовущимъ рогамъ. На темные своды Багрянымъ щитомъ покатилась луна; И озера воды Струистымъ сіяньемъ покрыла она; Отъ замка, отъ съней Дубравъ по брегамъ Огромные тъней Легли великаны по гладкимъ водамъ. Прохладою дышитъ Тамъ вътеръ вечерній и въ листьяхъ шумить, И вътки колышетъ, И арфу лобзаетъ... но арфа молчитъ. Творенія радость, Настала весна-И въ свъжую младость, Красу и веселье земля убрана. И яркимъ сіяньемъ Холмы осыпаль вечервющій день; На землю съ молчаньемъ Ужъ синіе своды

На землю съ молчаньемъ
Сходила ночная росистая твнь;
Ужъ синіе своды
Влистали въ звъздахъ;
Сравнялися воды,
И вътеръ улегся на сиящихъ листахъ.
("Эолова Арфа".)

И воть... насталь послёдній день; Ужь солице за горою;

И стелется вечерня твиь Прозрачной пеленою; Ужъ сумракъ... смерклось... воть луна Влеснула наъ-за тучи; Легла на горы тишина, Утихъ и лъсъ дремучій; Ръка сравнялась въ берегахъ; Зажглись свътила ночи; И сонъ глубокій на поляхъ; И близокъ часъ полночи... И все въ ужасной тишинъ; Окрестность какъ могила: Вотъ... каркнулъ воронъ на стънъ; Вотъ... стая псовъ завыла; И вдругъ... протяжно полночь бьетъ: Нашли на небо тучи; Ръка надулась; боръ реветь; И мчится пракъ летучій... Напрасно вветь ввтерокъ Съ душистыя долины; И свъть луны сребрить потокъ Сквозь темны липъ вершины; И ласточка зари восходъ Встръчаеть щебетаньемъ; роща въ тънь свою зоветь Листочковъ трепетаньемъ:

И шумъ бътущихъ съ поля стадъ Съ пастушьним рогами Вечерній мратъ животворять, Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и послёдній день Край пеба озлащаеть; Сквозь темную дубраву сёнь Влистанье пропиклеть; Все тихо, веселю, свътло: Все изгой сладкой дышить; Ръка просрачна, какъ стекло; Едва, едва колышеть Листами легкій вётерокь; Въ поляхъ благоуханье; Къ цвётку прилипнуль мотылекъ И пьеть его дыханье... ("Громобой".)

И воцарилась всюду тишина; Все спить... лишь изръдка въ далекой мглъ промчится

невнятный глась... или колыхнется волна...
Иль сонный листь зашевелится.
Я на брегу одинь... окрестность вся молчить...
Какъ привидьніе, въ тумані предо мною
Семья младыхъ березъ недвижимо стоить
Надъ усыпленною водою.

Вхожу съ волненіемъ подъ пхъ священный кровъ;

Мой слухь въ сей тишинъ привътный голосъ слышитъ:

Какт бы эвирное тамт въетт межс листовт, Какт бы невидимое дышитт; Какт бы сокрытая подт юныхт древт корой, Съ сей очарованной мъшаясь тишиною, Душа незримая подтемлетт голост свой

Съ моей бествовать душой. И нъкто урнъ сей безмольный присъдитъ; И, минтся, на меня вперилъ опъ томны очи; Везъ образа лицо, и зракъ туманный слить

Съ туманнымъ мракомъ полуночи. Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лътъ, Опять въ видъніи прекрасномъ воскресаетъ; И все, что жизнь сулитъ, и все, чего въ ней нътъ.

Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ... ("Славянка".)

Такихъ примъровь мы могли бы выписать и еще больше, но думаемъ, что и этихъ слишкомъ достаточно, чтобъ показать, что изображаемая Жуковскимъ природа—романтическая природа, дышащая таинственной жизнью души и сердца, исполненная выстиаго смысла и значения.

Стихъ Жуковскаго неизмъримо выше стиха всъхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодін и вмъстъ съ тъмъ какой-то сжатой кръпости и энергіи. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіи Жуковскаго. И, несмотря на то, еще многаго недоставало этому стиху: онъ еще далеко не совсѣмъ свободенъ, не совсѣмъ глубокъ. Содержаніе поэзіи Жуковскаго было такъ односторонне, что стихъ его не могъ отразить въ себѣ всѣ свойства и все богатство русскаго языка. Батюшеовъ тоже не мало сдѣлалъ для русскаго стиха; но, несмотря на соединенныя заслуги этихъ двухъ поэтовъ, созданіе вполиѣ поэтическаго и

вполнъ художественнаго стиха принадлежало Пушкину. Кромв односторонности содержанія поэзін Жуковскаго, не должно забывать, что поэтическая діятельность его двойственна: въ одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой — подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и особенно подъ вліяніемъ пдей Карамзина. Правда, онъ и въ натріотическія стихотворенія, и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-таки отзывается болье или менье фактурой старыхъ мастеровъ нашей поэзіп. Попадаются въ стихотвореніяхъ Жуковскаго стихи тяжелые и темные, какъ, напримъръ, эти:

> Ихъ одобревье намъ награда, А порицаніе—ограда Отг убивающія дарг Надменной мысли совершенства.

Иногда разстановка словъ напоминаеть **Ло-**моносова, какъ, напримъръ;

А ты, дарующій и тропъ, и власть царямъ, Ты, на совътъ ихъ сидящій благодатью, Ознаменуй Tвоей  $\partial$ гола мои nечатью.

Есть, наконець, стихи (правда, ихъ понскать да поискать), въ которыхъ вёсть духъ Хераскова, какъ, напримёръ;

Въгуть во прахъ и громь, и шлемь, и щить, Впреди, съ тылу, съ болось и рядоль (?) страхъ бъжить.

Жуковскій не могь не имъть сильнаго вліянія на Пушкина; но, въ свою очередь, и Пушкинъ имълъ сильное вліяніе на Жуковскаго: всв стихотворенія, написанныя имъ уже по истеченіи второго десятильтія текущаго въка, отличаются несравненно лучшимъ языкомъ и стихомъ. Къ общимъ недостаткамъ поэзін Жуковскаго принадлежить часто невыдержанность въ цёломъ: рёдкая пьеса его не тернеть многаго изъ своего достоинства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія «На Смерть Королевы Виртембергской» можеть служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куилеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своей растянутой прозаичностью ослабляющіе впечатльніе цьлаго.

Неизмъримъ подвигъ Жуковскаго и вежико значение его въ русской литературъ Его романтическая муза была для дикой стеин русской поэзіи элевзинской богиней Церерой: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таннствомъ страданін, утратъ, мистическихъ откровеній и полнаго тревоги стремленія «въ оный таинственный свётъ», которому нётъ имени, нётъ мёста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою

родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человъка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цъли, когда горячія желанія съ быстротой сміняють одно другое, и сердце, желая многаго, не кочетъ ничего; когда опредъленность убпваеть мечту, удовлетвореніе подсккаеть крылья желанію, когда человікь любить весь міръ, стремится ко всему и не въ состоянии остановиться ни на чемъ; когда сердце человъка порывисто бъется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свътлому небу, желая забыть о существованіи земного праха. Въ эту пору жизни человъка любовь робка и стыдлива, жаждеть одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаеть полнаго обладанія. Правда, въ этой поръ много односторонности, много ложнаго, больше фантазін, чёмъ сердца, и за ней непремънно должна слъдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобъ человькъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственной красотой, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобъ онъ могь понять, что въчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа въ теле... Но эта пора юношескаго энтузіазма есть необходимый моменть въ нравственномъ развитіи человіка, —и вто не мечталь, не порывался въ юности къ неопредъленному идеалу фантастическому совершенства, истины, блага и красоты, тоть никогда не будеть въ состояния понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вічно будеть онъ влачиться низкой душой по грязи грубыхъ потребностей тыла и сухого, холоднаго эгоизма. Пора безотчетного романтизма въ дужь среднихъ высовъ есть необходимый моментъ не только въ развити человака, но и въ развити каждаго народа и целаго чедовъчества. Средніе въка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а следовательно, всего человечества, и этоть моменть всемірно-историческаго развитія выразился въ искусстві среднихъ віковъ. Мы, русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имели своихъ среднихъ вековъ: Жуковскій даль намь ихъ въ своей поэзін, которан восинтала столько покольній и всегда будеть такъ красноръчиво говорить душъ и сердцу человъка въ навъстную эпоху его живни. Жуковскій — это поэть стремленія, душевнаго порыва къ неопределенному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могуть восхи-

щать всёхъ и каждаго во всякій возрасть: они впитно говорять душа и сердцу въ-извъстный возрасть жизни или въ извъстномъ расположении духа: воть настоящее значение поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будеть имъть. Но Жуковскій кромъ того имъеть великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдълалъ ее доступной для общества, даль ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имъли бы Пушкина. Сверхъ того есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нъмецкая поэзія—намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждой національностью. Еще въ дътствъ мы черезъ Жуковскаго пріучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русской рѣчью.

## Ш.

Обзоръ поэтической дъятельности Батюшкова; характоръ его поэзіи.—Гньдичъ; его переводы и оригинальныя сочиненія.—Мерзляковъ.—Князь Вяземскій. — Журналы конца карамзинскаго періода.

Батюшковъ далеко не имъетъ такого значенія въ русской литературь, какъ Жуковскій. Последній действовать на нравственную сторону общества посредствомъ искусства; искусство было для него какъ бы средствомъ къ воспитанію общества. Заслуга Жуковскаго собственно передъ искусствомъ состояла въ томъ, что онъ далъ возможность содержанія для русской поэзіи. Батюнковъ не имѣлъ почти никакого вліянія на общество, пользуясь великимъ уваженіемъ только со стороны записныхъ словесниковъ своего времени, и хотя заслуги его передъ русской поэзіей велики, однако жъ онъ оказаль ихъ совсьмъ иначе, чемъ Жуковскій. Онъ успыть написать только небольшую книжку стихотвореній, и въ этой небольшой книжкв не всь стихотворенія хороши и даже хорошія далеко не всъ равнаго достопнства Онъ не могь имъть особенно сильнаго вліянія на современное ему общество и современную ему русскую дитературу и поэзію: вліяніе его нє обнаружилось на поэзію Пушкина, которая приняла въ себя или, лучие сказать, поглотила въ себя всв элементы, составлявше жизнь твореній предшествовавших в поэтовъ. Державинъ, Жуковскій п Батюшковъ имѣли особенно сильное вліяніе на Пушкина: они были его учителями въ поэзін, какъ это вилно изъ его лицейскихъ стихотвореній. Все, что было существеннаго и жизненнаго въ

поэзіи Державина, Жуковскаго и Батюшкова,—все это присуществилось поэзіи Пушкина, переработанное ен самобытнымь элементомь. Пушкинъ былъ прямымъ наслёдникомъ поэтическаго богатства этихъ трехъ маэстро русской поэзіп,—наслёдникомъ, который собственной дёятельностью до того увеличилъ полученные имъ капиталы, что масса пріобрётеннаго имъ самимъ подавила собой полученную и пущенную имъ въ обороть сумму. Какъ ум'юли и могли, мы старались показать и открыть существенное и жизненное въ поэзіи Державина и Жуковскаго; теперь остается намъ сдёлать это въ отношеніи къ поэзів Батюшкова.

Направление поэвін Батюшкова совстмъ противоположно направлению поэзін Жуковскаго. Если неопредъленность и туманность составляють отличительный характерь романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ,-то Ватюшковъ столько же классикъ, сколько Жуковскій романтикъ: ибо опредъленность и ясность-первыя и главныя свойства его поэзін. И если бъ поэзія его при этихъ свойствахъ обладала хотя бы столь же богатымъ содержаніемъ, какъ поэзія Жуковскаго,— Ватюшковъ, какъ поэтъ, былъ бы гораздо выше Жуковскаго. Нельзя сказать, чтобъ поэзія его была лишена всякаго содержанія, не говоря уже о томъ, что она имъетъ свой совершенно самобытный характеръ; но Батюшковъ какъ будто не сознавалъ своего призванія и не старался быть ему вірнымъ, тогда какъ Жуковскій, руководимый непосредственнымъ влеченіемъ своего духа, былъ въренъ своему романтизму и вполнъ исчерпалъ его въ своихъ произведеніяхъ. Свътлый и опредъленный міръ изящной, эстетической древности-воть что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ изъ русскихъ ноэтовъ художественный эдементъ явился преобладающимъ элементовъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но видимъ глазу; хочется ощупать извивы и складки его мраморной дранировки. Жуковскій только черезъ Шиллера познакомился съ древней Элладой. Шиллеръ, какъ мы замѣтили въ предшествовавшей статьт, смотрель на Грецію преимущественно съ романтической стороны ея,-и русская поэзія не знала еще Греціи съ ен чисто художественной стороны, не знала l'реціи, какъ всемірной мастерской, черезъ которую должна пройти всякая поэзія въ мірѣ, чтобъ научиться быгь изящной поэзіей. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескивають черты художественнаго ръзца древности, но только проблескивають, сейчась же теряясь въ грубой и неуклюжей обработкъ цълаго, и эти проблески

античности темъ больше делаютъ чести Державину, что онъ по своему образованію п по времени, въ которое жилъ, не могъ имъть никакого понятія о характер'в древняго искусства, и если приближался къ нему въ проблескахъ. то не иначе, какъ благодаря только своей поэтической натуръ. Это покавываеть между прочимь, чёмь бы могь быть этотъ поэтъ и что бы могъ онъ сдёлать, если бъ явился на Руси въ другое, болъе благопріятное для поэзіп время. Но Батюшковъ сблизился съ духомъ изящнаго искусства греческаго сколько по своей натуръ, етолько и по большему или меньшему знакомству съ нимъ черезъ образование. Онъ быль первый изъ русскихъ поэтовъ, побывавшій въ этой міровой студін мірового искусства; его перваго поразили эти изящныя головы, эти соразмърные торсы — произведенія волшебнаго різца, исполненнаго благородной престоты и спокойной пластитеской красоты. Батюшковъ, кажется, зналъ латинскій языкъ и, кажется, не зналь греческаго; неизвъстно, съ какого языка персвелъ онъ двънадцать пьесъ изъ греческой антологіи: этого не объяснено въ коротенькомъ предисловін къ изданію его сочиненій, сділанномъ Смирдинымъ; но приложенные къ статъв «О Греческой Антологіи» французскіе нереводы этихъ же самыхъ пьесь позволяють думать, что Батюшковъ перевель ихъ съ французскаго. Это последнее обстоятельство разительно показываеть, до какой степени натура и духъ этого поэта были родственны эллинской музь. Для тыхь, кто понимаеть значеніе искусства, какъ пскусства, и вто понимаетъ, что искусство, не будучи прежде всего искусствомъ, не можетъ имъть никакого дъйствія на людей, каково бы ни было его содержаніе, -для тахъ должно быть понятно, почему мы принисываемъ такую высокую цёну переводамъ Батюшкова двёнадцати маленькихъ пьесокъ изъ греческой антологіи. Въ предшествовавшей стать в мы выписали большую часть антологическихъ его ньесъ; затьсь приведемъ для примъра одну самую короткую:

Сокроемъ навсегда осъ зависти людей Восторги пылкіе и страсти упоенья; Какъ сладокъ поцёлуй въ безмолвіи ночей, Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Такого стиха, какъ въ этой пьескъ, не было, до Нушкина, ин у одного поэта, кромъ Батюшкова; мало того: можно сказать ръпштельнъе, что до Пушкина ни одинъ поэтъ, кромъ Батюшкова, не въ состояни былъ показать возможности такого русскаго стиха. Послъ этого Пушкину стоило не слишкомъ большого шага впередъ начать писать такими антологическими стихами, какъ вотъ эти:

Я върю; я любимъ; для сердца нужно върить. Нътъ, милая моя не можетъ лицемъритъ; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцъпытый даръ, Нарядовъ и ръчей пріятная небрежность И ласковыхъ именъ младенческая въжность.

Вообще надо замѣтить, что антологическій стихотворенія Батюшкова уступить антологическимь пьесамь Пушкина только развѣ въ чистотѣ языка, чуждаго произвольныхъ усѣченій и всякой неровности и шероховатости, столь извинительныхъ и неизбѣжныхъ въ то времи, когда явился Батюшковъ. Совершенство антологическаго стиха Пушкима — совершенство, которымъ онъ много обязанъ Батюшкову — отразилось вообще на стихѣ его. Приводимъ здѣсь снова два посъбдніе стиха выписанной нами антологической пьесы:

Какъ сладокъ поцёлуй въ безмолый ночей, Какъ сладко тайное любови наслажденье!

Вспомните стихотвореніе Пушкина: «Зима. Что дёлать намъ въ деревнъ? Я встръчаю». Стихотвореніе это нисколько не антологическое, но посмотрите, какъ послъдніе стихи его напоминають своей фактурой антологическую пьесу Батюшкова:

И дѣва въ сумерки выходить на крыльцо: Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо! Но бури сѣвера не вредны русской розѣ. Какъ жарко поцѣлуй пылаеть на морозѣ! Какъ дѣва русская свѣжа въ пыли снѣговъ!

Влагодаря Пушкину, тайна антологическаго стиха сдёламась доступна даже обыкновеннымъ талантамъ; такъ, напримъръ, многія / антологическія стихотворенія Майкова не уступають въ достоинствъ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, между тёмъ какъ Майковъ не обнаружилъ никакого дарованія ни въ какомъ родъ поэзін, кромъ антологическаго. Послв Майкова встрвчаются превосходныя стихотворенія въ антологическомъ родъ у Фета. Майковъ нашелъ себъ подражателя въ Крешевъ, антологическія стихотворенія котораго не совсёмъ чужды поэтическаго достоинства, - и явись такія стихотворенія въ началь второго десятильтія настоящаго въка, они составили бы собой эпоху въ русской литературъ; а теперь ихъ никто не хочеть и замічать, - что не совсімть неосновательно и несправедливо. Какого же удивленія заслуживаеть Батюшковь, который первый на Руси создаль антологическій стихъ, только развѣ по языку, и то весьма не многимъ, уступающій антологическому стиху Пушкина? И не въ правъ ли мы думать, что Батюшкову обязанъ Пушкинъ своимъ антологическимъ, а вследствіе этого и вообще своимъ стихомъ? Жуковскій не могь не имъть большого вліянія на Пушкина; кому не извѣстно его обращеніе къ нему, какъ къ своему учителю, въ «Русланъ и Людмилъ»?

> Поэзіи чудесный геній, Пъвецъ таниственныхъ видъній, Любви, мечтаній и чертей, Могилъ и рая върный житель, И музы въпренной моей Наперсникъ, пъстунт и хранитель!

Дальньйшіе стихи этого отрывка, несмотря на ихъ туточный тонъ, показывають, какъ сильно дъйствовали на дътское воображение Пушкина даже и «Двынадцать Спящих» Дъвъ». Но вліяніе Жуковскаго на Пушкана было больше нравственное, чёмъ артистическое, и трудно было бы найти и р взать въ сочиненіяхъ Пушкина следы этог вліянія, исключая развѣ лицейскія его лихотворенія. Пушкинть рано и скоро педежиль содержаніе поэзім Жуковскаго, и его асный, определенный умъ, его артистическая натура гораздо болье гармонировали съ умомъ и патурой Батюшкова, чёмъ Жуковскаго. Поэтому вліяніе Батюшкова на Пушкина видиће, чемъ вліяніе Жуковскаго. Это вліяніе особенно зам'тно въ стих'ь, столь артистическомъ к художественномъ: не имъ Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себъ такой стихъ.

Батюшкову по натурѣ его было очень сродно созерцание благь жизни въ греческомъ духъ. Въ любви онъ совсъмъ не романтикъ. Изящное сладострастіе-воть пасосъ его поэзін. Правда, въ любви его, кром'в страсти и граціи, много нѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементь ся всегда-страстное вождельніе, увънчиваемое всей ньгой, всьмъ обаяніемъ исполненнаго поэзіи и граціи наслажденія. Есть у него пьеса, которую можно назвать аповеозой чувственной страсти, доходящей въ неукротимомъ стремлени вождельнія до бышенаго и въ то же время въ высшей степени поэтическаго и граціознаго безумія. Этимъ страстнымъ вдохновеніемъ обязанъ нашъ поэтъ самой древности, и содержаніе взято имъ изъ ея циоолосической жизни: оно въ пркихъ краскамъ рисуетъ веселое празднество п обаятельно-буйныхъ, очаровательно-безстыдных жрицъ Вакка:

Всв на праздникъ Эригоны Жрицы Вакховы текли; Вътры съ шумомъ разнесли Громкій вой ихъ, плескъ и стоны. Въ чащъ дикой и глухой Нимфа юная отстала; Я за ней—она бѣжала Легче серны молодой. Эвры волосы вавѣвали, Перевитые плющемъ, Нагло ризы поднимали и свивали ихъ клубкомъ. Стройный станъ кругомъ обвитый

Хмвля желтаго ввицомъ, И пылающи ланиты Розы яркимъ багрецомъ, И уста, въ которыхъ таетъ Пуриуровый виноградъ— Все въ ненстовой прельщаетъ, Въ сердце льетъ огонь и ядъ! Я за ней... она бъжала Легче серны молодой;— Я настигъ: она упела! И тимпанъ подъ головой! Жрицы Вакховы промчались Съ громкимъ воплемъ мимо насъ; И по рощъ раздавались "Эвое!" и нъги гласъ.

Такіе стихи и въ наше время превосходны; при первомъ же своемъ появленіи они должны были поразить общее вниманіе, какъ предвъстіе скораго переворота въ русской поэзіи. Это еще не Пушкинскіе стихи, но пость нихъ уже надо было ожидать не другихъ какихъ-нибудь, а Пушкинскихъ... Такъ все готово было къ явленію Пушкина, —и, конечно, Батюшковъ много и много способствоваль тому, что Пушкинъ явился такимъ, какимъ явился дъйствительно. Одной этой васлуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобъ ими его произносилось въ исторіи русской литературы съ любовью и уваженіемъ.

Судя по родственности натуры Батюшкова съ древней музой и по его превосходному поэтическому таланту, можно было бы подумать, что онъ обогатиль нашу литературу множествомъ художественныхъ произведеній, написанныхъ въ древнемъ духъ, и множествомъ мастерскихъ переводовъ съ греческаго и латинскаго:-- ничуть не бывало! Кромъ двънадцати пьесъ изъ греческой антологін, Батюшковъ ничего не перевель изъ греческихъ поэтовъ, а съ датинскаго перевелъ только три элегін изъ Тибулла и то вольнымъ переводомъ. Переводъ Батюшкова мъстами слабъ, вялъ, растянутъ и прозаиченъ, такъ что тяжело прочесть пълую элегію вдругь; но м'єстами этоть же переводъ такъ хорошъ, что заставляеть сожальть, зачымь Батюшковь не перевель всего Тибулла, этого латинскаго романтика. Каковъ бы ни былъ переводъ этотъ въ цъломъ, но мъста, подобныя следующимъ, выкупили бы его недостатки:

Единственный мой богь и сердца внастелинъ, Я былъ твоимъ жрецомъ, Киприды милый

До гроба я носиль твои оковы нажны, И ты, Амурь, меня въ жилища безмятежны, Въ Элизій приведешь таинственной стезей, Туда, гда вачный май межъ рощей и иолей; Гда расцейтаеть нардъ киннамона лозы И воздухъ напоенъ благоуханьемъ розы; Тамъ слышно панье птицъ и шумъ біющихъ

Тамъ дъвы юныя, сплетяся въ хороводъ, Мелькаютъ межъ древесъ, какъ легки привидёнья; И тогь, кого постигь, въ минуту упоенья, Въ объятіяхъ любви неумолимый рокь, Тоть посить въ челё изъ свёжихъ мирть ий-

Но ты ынъ върная, другъ милый и безцънный, И въ мирной хижинъ, отъ взоровъ сокровенной, Съ наперсинией любви, съ подругою твоей, На мигъ не покидай домашнихъ алтарей. При шумъ вимнихъ въюгъ, подъ сънъю безопасной,

Подруга въ темну ночь зажжетъ свътильникъ ясной

И, тихо вретено кружа въ рукъ своей, Разскажетъ повъсти и были старыхъ дней. А ты, склоняя слухъ на сладки небылицы, Забудешься, мой другъ; и томныя зеницы Закроетъ тихій сонъ, и пряслица изъ рукъ Падетъ... и у дверей предстанетъ твой супругъ, какъ небомъпосланный внезапно добрый геній. Въги навстръчу мнъ, бъги изъ мирной сънж, Въ прелестной наготъ явись моимъ очамъ, Власы разсъяны небрежно по плечамъ, Вся грудь лилейная и ноги обнаженны... Когда жъ Аврора намъ, когда сей день блаженный

На розовыхъ коняхъ, въ блистаньи принесетъ И Делію Тибуллъ въ восторгъ обойметъ?

Элегія, изъ которой сдёлали мы эти выписки, не означена никакой цифрой. Она вся переведена превосходно, и если въ ней много незаконныхъ усъченій и есть хотя одинъ такой стихъ, какъ:

Вогами свержены во области бездонны,-

то не должно забывать, что все это принадлежнть болье къ недостаткамъ изыка, чьмъ къ недостаткамъ изыка, чьмъ къ недостаткамъ поэзіи; а во время Батюшкова никто не думалъ видьть въ этомъ какіе бы то ни было недостатки. Если переводь III-ей элегіи Тибулла и уступить въ достоинствъ переводу первой, тьмъ не менье онъ читается съ наслажденіемъ; но XI элегія переведена Батюшковымъ болі неудачно, чьмъ удачно: немногіе хорошіе стихи затоплены въ ней потокомъ вялой и растанутой прозы въ стихахъ.

Кромъ двънадцати пьесъ изъ греческой антологін и трехъ элегій изъ Тибулла, паматникомъ сочувствія и уваженія Батюшкова въ древней поэзіи остается только переведенная имъ изъ Мильвуа поэма «Гезіодъ и Омиръ, соперники». Не имія подъ руками французскаго подлинника, мы не можемъ сравнить съ нимъ русскаго перевода; но не много нужно проницательности. чтобъ понять, что подъ перомъ Бетюшкова эта поэма явилась болёе греческой, чёмъ въ оригиналъ. Вообще эта поэма не безъ достоинствъ, хотя въ то же время и не отличается слишкомъ большими достоинствами, какъ бы этого можно было ожидать отъ ен сюжета.

Что мёшало Батюшкову обогатить русскую литературу превосходными произведеніями съ духѣ древней поэзіи и превосходными переводами, мы сважемъ объ этомъ ниже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась родственно не къ одной Элладь: ей, какъ южному растенію, еще привольнее было подъ благодатнымъ небомъ роскошной Авзоніи. Отечество Петрарки и Тасса было отечествомъ музы русскаго поэта. Петрарка, Аріость и Тассо, особливо посл'єдній, были любимѣйшими поэтами Батюшкова. Смерти Тассо посвятилъ онъ прекрасную элегію, которую можно принять за апо-9еозу жизни и смерти пъвца «Терусалима»; стихотвореніе «Къ Тассу» родъ посланія, довольно большого, хотя и довольно слабаго. также свидътельствуеть о любви и благого. вънін нашего поэта въ птвцу Годфреда; сверхъ того Батюшковъ перевелъ, впрочемъ, довольно неудачно, небольшой отрывокъ изъ «Освобожденнаго Іерусалима». Изъ Петрарки онъ перевелъ только одно стихотвореніе—«На смерть Лауры», да написалъ подраженіе его ÎX канцонъ — «Вечеръ». Всёмъ тремъ поэтамъ Италін онъ посвятилъ по одной прозаической статьй, гдб излиль свой восторгь къ нимъ, какъ критекъ. Особенно замъчательно, что онъ какъ будто гордится, словно заслугой, открытіемъ, которое удалось ему сдёлать при многократномъ чтенін Тассо: онъ нашель многія мѣста и цѣные стихи Петрарки въ «Освобожденномъ Іерусалимь», что, по его мивнію, доказываеть любовь и уважение Тассо къ Петраркь. И при всемъ томъ Батюшковъ такъ же слишкомъ мало оправдалъ на деле свою любовь къ итальниской поэзін, какъ и къ древней. Почему это-увидимъ ниже.

Страстность составляеть душу поэзін Батюшкова, а страстное упоеніе любви—ея навось. Онъ и переводиль Парни, и подражаль ему; но въ томъ и другомъ случав оставался самимъ собой. Слъдующее подражаніе Парни— «Ложный Стыдъ»—даеть полмое и върное понятіе о павось его поэзік:

Помнишь ли, мой другь безцённый. Какъ съ Амурами, тишкомъ, Мракомъ ночи окруженный, Я къ тебъ прокрадся въ домъ? Помнишь ли, о другь мой пржими! Какъ дрожащая рука Отъ поради неизражной Защищалась, -- но слегка? Слышенъ шумъ-ты испугалась; Свътъ блеснулъ и въ мигъ погасъ; Ты къ груди моей прижалась, Чуть дыша... блаженный часы! Ты пугалась; я смъялся. "Намъ ли въдать, Хлоя, страхъ? "Гименей за все ручался, . И Амуры на часахъ. "Все въ безмолвін глубокомъ, "Все почило сладкимъ сномъ! "Дремлеть Аргусъ томнымъ окомъ

"Подъ морфеевымъ крыломъ!" Рано утреннія розы Запылали въ небесахъ... Но любви безцънны слезы, Но улыбка на устахъ; Томно персей волнованье Подъ прозрачнымъ полотномъ, Молча новое свиданье Объщали вечеркомъ. Если бъ Зевсова десница Мнъ вручила ночь и день: Поздно бъ юная денница Прогоняла черну тънь! Поздно бъ солнце выходило На восточное крыльцо; Чуть блеснуло бъ, и сокрыло За лъсъ рдяное лицо; Долго бъ твии пролежали Влажной ночи на поляхъ; Долго бъ смертные вкушали Сладострастіе въ мечтахъ. Дружбъ дамъ я часъ единый, Вакху часъ и сну другой: Остальною жъ половиной Подълюсь, мой другь, съ тобой!

Въ прелестномъ посланіи къ Ж\*\*\* и В\*\*\*
«Мои Пенаты» съ токой же яркостью высказывается преобладающая страсть поэзіи Батюшкова. Окончательные стихи этой прелестной пьесы представляють наящный эпикурезмъ Батюшкова во всей его поэтической обаятельности:

Пока бѣжить за нами Богъ времени съдой И губить лугь съ цвътами Безжалостной косой, Мой другь, скорви за счастьемъ Въ путь жизни полетимъ, Упьемся сладострастьемъ И смерть опередимъ; Сорвемъ цвъты украдкой Подъ лезвіемъ косы, и ланью жизни краткой Продлимъ, продлимъ часыі Когда же Парки тощи Нить жизни допрядуть, И насъ въ обитель нощи Ко прадвдамъ снесутъ-Товарищи любевны! Не сътупте о насъ! Къ чему рыданья слезны, Наемныхъ ликовъ гласъ? Къ чему сін куренья, И колокола вой, И томны исалмопънья Надъ хладною доской? Къ чему?.. но вы толнами При мъсячныхъ лучахъ Сберитесь, и цвътами Усвите мирный прахъ; Иль бросьте на гробницы Воговъ домашнихъ ликъ, Двъ чаши, двъ цъвницы, Съ листами навиликъ; И путникъ угадаетъ Везъ надписей влатыхъ, Что пракъ тутъ почиваетъ Счастливцевъ молодыхъ!

Нельзя согласиться, что въ этомъ эпикуреизмѣ много человѣчнаго, гуманнаго, хотя, можетъ быть, въ то же время много и одно-

сторонняго. Какъ бы то ни было, но здравый эстетическій вкусь всегда поставить въ большое достоинство поэзін Батюшкова ея опредъленность. Вамъ можетъ не понравиться ея содержаніе, такъ же, какъ другого можеть оно восхищать: но оба вы по крайней мъръ будете знать-одинъ, что онъ не любить, другой-что онь любить. И ужь, конечно, такой поэть, какъ Батюшковъ, больше поэть, чёмъ, напримёръ, Ламартинъ съ его медитаціями и гармоніями, сотканными изъ вздоховъ, оховъ, облаковъ, тумановъ, паровъ, тъней и призраковъ... Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется въ словахъ, не кружится на одной ногъ вокругъ самого себя, но движется, растеть само изъ себя, подобно растенію, которое, проглянувъ изъ земли стебелькомъ, является пышнымъ цвёткомъ, дающимъ плодъ. Можеть быть, немного найдется у Батюшкова стихотвореній, которыя могли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до нашей цъли-познакомить читателей съ Батюшковымъ, если бъ не указали на это предестное его стихотвореніе--«Источникъ»:

Буря умолкла, и въ ясной лазури Солнце явилось на западъ намъ: Мутный источникъ, слъдъ яростной бури, Съ ревомъ и съ шумомъ бъжитъ по полямъ! Зафа! приблизься: для дъвы невинной Пальмы подъ тънью здъсь роза цвътетъ; Падая съ камня, источникъ пустынный Съ ревомъ и пъной сквозь дебри течетъ!

Дебри ты, Зафиа, собой озарила! Сладко съ тобою въ пустыиныхъ краяхъ, Пъсни любови ты мнъ повторила— Вътеръ унесъ ихъ на тихихъ крылахъ! Голосъ твой, Зафиа, какъ утра дыханье, Сладостно шепчетъ, несясъ по цвътамъ: Тише, источникъ, прерви волнованье, Съ ревомъ и съ пъной стремясь по полямъ!

Голосъ твой, Зафиа, въ душё отозвался: Вижу улыбку и радость въ очахъ! Діва любви! я къ тебе прикасался, Съ медомъ пель розы на влажныхъ устахъ! Зафна краснёеть?.. О другъ мой невинный, Тихо прижмися устами къ устамъ! Вудь же ты скроменъ, источникъ пустынный, Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!

Чувствую персей твоихъ волнованье, Сердца біенье и слезы въ очахъ, Сладостио дѣвы стыдливой роптанье! Зафна! о Зафна, смотри, тамъ въ водахъ Выстро несется цвѣтокъ розмаринный; Воды умчались,—цвѣточка ужъ нѣтъ! Время быстрѣе, чѣмъ токъ сей пустынный, Съ ревомъ, который сквозь дебри течетъ.

Время погубить и предесть, и младость!.. Ты улыбнулась, о два любви! Чувствуешь въ сердцъ томленье и сладость, Сильны восторги и пламень въ крови!.. Зафиа, о Зафиа!—тамъ голубь невинный Съ страстной подругой завидують намъ... Вздохи любви—источникъ пустынный Съ ревомъ и шумомъ умчить по полямъ!

Нужно ли объяснять, что лежащее въ основъ этого стихотворенія чувство, въ началъ тихое и какъ бы случайное, въ каждой новой строфъ все идеть crescendo, равръшансь гармоническимъ аккордомъ вздоховъ любви, унесенныхъ пустыннымъ источникомъ... И сколько жизни, сколько граціи въ этомъ чувствъ!..

Но не однѣ радости любви и наслажденія страсти умѣль воспѣвать Батюшковъ: какъ поэть воваго времени, онъ не могь въ свою очередь не ваплатить дани романтизму. И какъ хорошъ романтизмъ Батюшкова: въ немъ столько опредѣленности и ясности! Элегія его—это ясный вечеръ, а не темная ночь,—вечеръ, въ прозрачныхъ сумеркахъ котораго всѣ предметы только принимаютъ на себя какой-то грустный оттѣнокъ, а не теряютъ своей формы и не превращаются въ призраки... Сколько души и сердца въ стихотвореніи «Послѣдняя Весна», и какіе стихи!

Въ поляхъ блистаетъ май веселый! Ручей свободно зажурчалъ И яркій голось филомелы Угрюмый боръ очароваль: Все новой жизни пьеть дыханье! Пъвецъ любви, лишь ты унылъ! Ты смерти върной предвъщанье Въ печальномъ сердцъ заключилъ; Ты бродишь слабыми стопами Въ послъдній разъ среди полей, Прощаясь съ ними и съ лъсами Пустынной родины твоей. "Простите, рощи и долины, "Родныя ръки и поля! "Весна примла, и часъ кончины "Неотразимой вижу я. "Такъ Эпидавра прорицанье "Въщало мив: въ последній разъ "Услышишь горлицъ воркованье "И гальціоны тихій глась; "М гальцоны тихии глась;
"Зазеленвыть гибки лозы,
"Поля одвнутся въ цввты,
"Тамъ первыя увидишь розы
"И съ ними вдругъ увянешь ты.
"Ужъ близокъ часъ... цввточки милы,
"Къ чему такъ рано увядать? "Закройте памятникъ унылый, "Гдъ прахъ мой будетъ истлъвать; "Закройте путь къ нему собою "Оть взоровь дружбы павсегда. "Но если Делія съ тоскою "Къ нему приблизится: тогда "Исполните благоуханьемъ "Вокругъ пустынный пебосклонъ "И томнымъ листьевъ трепетапьемъ Мой сладко очаруйте сонъ! Въ поляхъ цвъты не увядали, И гальціоны въ тихій часъ Степанья рощи повторяли, А бъдный юноша... погась! И дружба слезъ не уронила На прахъ любимца своего; И Делія не посътила Пустынный памятникъ его: Лишъ пастырь въ тихій часъ деникцы, Какъ въ поле стадо выгонялъ, Унылой пъснью возмущалъ Молчанье мертное гробницы.

Грація—пеотступный спутникъ музы Батюшкова, что бы она ни пъла—буйную ли радость вакханаліи, страстное ли упоеніе въ любви, или грустное раздумье о прошедшемъ, скорбь сердца, оторваннаго отъмилыхъ ему предметовъ. Что можетъ быть граціозное этихъ двухъ маленькихъ элегій.

О память сердца! ты сильнёй Разсудка памяти печальной, И часто сладостью своей Меня въ странъ плъняешь дальпой. Я помню голосъ милымъ словъ, Я помию очи голубыя, Я помню локоны златые Небрежно выющихся власовъ. Моей пастушки несравненной Я помню весь нарядъ простой И образъ милой, незабвенной Повсюду странствуеть со мной. Хранитель геній мой-любовью Въ утъху данъ разлукъ онъ: Засну ль-приникнеть къ изголивых И **усладить** печальный сонъ.

Зефиръ послъдній свъяль сонь Съ ръсницъ, окованныхъ мечтами; Но я-не къ счастью пробужденъ Зефира тихими крылами. Ни сладость розовыхъ лучей Предтечи утренняго Феба, Ни кроткій блескъ лазури неба, Ни запахъ, въющій съ полей, Ни быстрый леть коня ретива По скату бархатныхъ луговъ, И гончихъ лай, и звонъ роговъ Вокругь пустыннаго залива; Ни что души не веселить, Души встревоженной мечтами, И гордый умъ не побъдить Любви холодными словами.

Заивчательно, что у Батюшкова есть прекрасная небольшая элегія, которая не что иное, какъ очень близкій и очень удачный переводъ одной строфы изъ четвертой пъсни Байронова «Чайльдъ-Гарольда». Вотъ по возможности близкая передача въ прозъ этой строфы (CLXXVIII): «Есть удовольствіе въ непроходимыхъ лесахъ, есть прелесть на пустынномъ берегу, есть общество вдали отъ докучныхъ, въ соседстве глубокаго меря, и ропотъ волнъ его есть своя мелодін. Я тамь не менае люблю человака, но н темъ более люблю природу вследствіе этихъ свиданій съ ней, на которыя я спішу, забывая все, чёмъ бы я могъ быть или чемъ быль прежде, для того, чтобы сливаться со вселенной и чувствовать то, что я никогда не въ состояніи выразить, но о чемъ однако жъ не могу и молчать. -- Вотъ переводъ Батюшкова:

Ксть наслажденіе и въ дикости лівсовъ, Есть радость на приморскомъ брегів, И есть гармонія въ семъ говорів валовъ. Дробящихся въ пустынномъ бізгів. Я ближняго люблю,—по ты природа-мать, Для сердца ты всего дороже! Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать И то, чёмъ былъ, какъ былъ моложе, И то, чёмъ нынё сталъ подъ холодомъ годовъ, Тобою въ чувствахъ оживаю: Ихъ выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ, И какъ молчать объ нихъ не знаю.

Козловъ перевелъ и слъдующія пять строфъ и выдаль это за собственное произведеніе: по крайней мъръ въ третьемъ изданіи его сочиненій не означено, откуда взято первое стихотвореніе во второй части «Къ Морю», посвященное Пушкину. Къ довершенію всего переводъ такъ водянь, что въ немъ нътъ никакихъ признаковъ Байрона. Сравните три послъдніе стиха перваго куплета съ переводомъ Батючкова:

Природу я душою обнимаю, Она милъй; постичь стремлюся я Все то, чему нътъ словъ, но что таить нельзя.

то ли это?...

Безпечный цоэть-мечтатель, философъ эникуреецъ, жрецъ любви, нъги и наслажденія, Батюшковъ не только умѣлъ задумываться и грустить; но зналъ и диссонансы сомнѣнія, и муки отчаянія. Не находи удовлетверенія въ наслажденіяхъ жизни и нося въ душѣ страшную пустоту, онъ восклицаль въ тоскѣ своего разочарованія:

Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ, Всъ дни утратами считаемъ; на крыльяхъ радокти летимъ къ своимъ друзьямъ, И что жъ? – ихъ урны обнимаемъ!

Такъ все адъсь суетно въ обители суеть!
Пріязнь и дружество непрочно!
Ногдъ; скажи, мой другь, прямой сіясть свъть?
Что въчно, чисто, вепорочно?
Напрасно вопрошалъ и опытность въковъ
И Кліи мрачавая съртижали;
Напрасно вопрошалъ всъхъ міра мудрецовъ,—

Они безмольны пребывали.
Какъ въ воздухъ перо кружится здёсь и тамъ,
Какъ въ вихръ тонкій прахъ летаетъ,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ

И втиче пристани

И въчно пристани не знаетъ: Такъ умъ мой носреди волненій погибалъ. Всё жизни прелести затмились; Мой геній въ горести свётильникъ погашалъ, И музы свётлыя сокрылись.

Бросая общій взглядь на поэтическую діятельность Батюшкова, мы видимь, что его таланть быль гораздо выше того, что сдіялано имь, и что во всіять его произведеніяхь есть какан-то недоконченность, неровность, незріялость. Съ превосходнійними стихами мізшаются у него пногда стихи старинной фактуры, дучшія пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаическихъ и растянутыхъ мізсть. Въ его поэтическомъ призваніи Греція борется съ Италіей, югь съ сіверомъ, ясная радость съ унылой думой, дегкомысленная жажда на-

слажденія вдругь сміняется мрачнымь, тяжелымъ сомнъніемъ, и тирская багрянида эппкуренца робко прячется подъ власяницу суроваго аскета. Отсюда происходить, что поэзія Батюшкова лишена общаго характера, и если можно указать на ея паеосъ, то недьзя не согласиться, что этоть паеось лишенъ всякой увъренности въ самомъ себъ и часто походить на контрабанду, съ онасеніемъ и боязнью провозимую черевъ таможню піэтизма и морали. Батюшковъ быль учителемъ Пушкина въ поэзін, онъ имѣлъ на него такое сильное вліяніе, онъ передаль ему почти готовый стихь, -- а между тьмъ что представляють намъ творенія самого этого Батюшкова? Кто теперь читаеть ихъ, кто восхищается ими? Въ нихъ все принадлежитъ своему времени и почти ничего нъть для нашего. Артисть, художникъ по призванью, по натуръ и по таланту, Батюшковъ неудовлетворителенъ для насъ и съ эстетической точки зрвнія. Откуда же эти противоръчія? Гдъ причина ихъ?--Нетрудно дать отвёть на этоть вопросъ.

Творенія Жуковскаго-это цалый періодъ нашей литературы, цылый періодъ нравственнаго развитія нашего общества. Ихъ можно находить односторонними, но въ этойто односторонности и заключается необходимость, оправдание и достоинство ихъ. Съ произведеніями музы Жуковскаго связано нравственное развитие каждаго изъ насъ въ извъстную эпоху нашей жизни, п потому мы любимъ эти произведенія, даже и будучи отделены оть нихъ неизмеримымъ пространствомъ новыхъ потребностей и стремленій: такъ возмужалый человъкъ любитъ волненія и надежды своей юности, надъ которыми самъ же уже смъется. Жуковскій весь отдался своему направленію, своему призванію. Онъ-романтикъ во всемъ, что есть лучшаго въ его поэзіи, и не романтикъ только въ неудачныхъ своихъ опытахъ, число которыхъ, впрочемъ, уступаетъ числу дучнихъ, т. е. романтическихъ его произведеній. Батюшковъ написалъ по нѣскольку пьесъ на нъсколько мотивовъ-и вотъ все. Мы въ этой стать выписали почти все лучшее изъ произведеній Батюшкова: такъ немного у него лучшаго! Направление и духъ поэзи его гораздо опредъленные и дыйствительные направленія духа поэзін Жуковскаго; а между темъ кто изъ русскихъ не знаетъ Жуковскаго, и многіе ди изъ нихъзнають Батюшкова не по одному только имени?

Главная причина всёхъ этихъ противоречій заключается, разумется, въ самомъ талантъ Батюшкова. Это былъ талантъ замечательный, но боле яркій, чемъ глубокій, боле гибкій, чемъ самостоятельный, боле граціозный, чемъ энергическій. Батюшкову немногаго недоставало, чтобъ онъ могъ переступить за черту, раздѣляющую большой талантъ отъ геніальности. И вотъ почему онъ всегда находился подъ вліяніемъ своего времени. А его время было странное время,—время, въ которое новое явилось, не смѣняя стараго, и старое и новое дружно жили другъ подлѣ друга, не мѣшая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на вѣру, по преданію, благоговѣло передъ его богами. Посмотрите, какъ безсознательно восхищался Батюніковъ представителями русскаго Парнаса:

Пускай веселы твии Любимыхъ мнв првиовъ, Оставя тайны свии Стигійскихъ береговъ Иль области ээирны, Воздушною толцой Слетять на голосъ лирный Весъдовать со мной!.. П мертвые съ живыми Вступили въ хоръ единъ!.. Что вижу? ты предъ ними Парнасскій исполинъ. Пъвецъ героевъ, славы, Встедь вихрямъ и громамъ, Нашъ лебедь величавый, Плывешь по небесамъ. Въ толив и музъ, и грацій То съ лирой, то съ трубой, Нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій Сливаеть голось свой. Онъ громокъ, быстръ и силенъ. Какъ Суна средь степей, И нъженъ, тихъ, умиленъ, Какъ вешній соловей. Фантазіи небесной Давно любимый сынг (?), То повъстью прелестной Плъняетъ Карамзинъ, То мудраго Платона Описываеть намъ, И ужинъ Агатона, И наслажденья храмъ; То древню Русь и нравы Владиміра времянъ, И въ колыбели славы Рожденіе славянь. За ними сильфъ прекрасный, Воспитанникъ Харитъ, На цитръ сладкогласной О "Душенькъ" бренчитъ; Мелецкаго съ собою Улыбкою зоветь И съ нимъ, рука съ рукою, Гимнъ радости поеть,... Съ эротами играя, Философъ и піить Близъ Федра и Пильпая Тамъ Дмитріевъ сидить: Бесвдуя съ звврями, Какъ счастливый дитя, Нарнасскими цвътами Скрылъ истину шутя. Ва нимъ въ часы свободы Поють среди цватовъ Два баловия природы. Хемницеръ и Крылсвъ. Наставники-пінты, О фебовы жрецы.

Вамъ, вамъ плетутъ Хариты Везсмертные вънцы! Я вами здъсь вкущаю Восторги піэридъ, И въ радости взываю: О музы! я пінтъ!

Что такое эти стихи, если не крикъ безэтчетнаго восторга? Для Батюшкова всв писатели, которыми привыкъ онъ восхищаться съ дътства, равно ведики и безсмертны. Державинъ у него-«нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій», какъ будто бы для него мало чести быть только нашимъ Пиндаромъ или только нашимъ Гораціемъ. Если Батюшковъ тутъ же не назвалъ Державина еще и нашимъ Анакреономъ, - это, в ролтно, потому, что Анакреонъ, какъ длинное имя, не пришлось въ мъру стиха. Батюшковъ съ Гораціемъ быль знакомъ не по слуху, и не видёль, что между Гораціемъ-поэтомъ умиравшаго, развратнаго языческаго общества, и между Державинымъ, поэтомъ, для котораго еще не было никакого общества, нъть ръшительно ничего общаго! Если Батюшковъ и не зналъ по-гречески, -- онъ могъ имъть понятіе о Пиндарѣ по латинскимъ и нѣмецкимъ переводамъ; но это, видно, не помогло ему понять, что еще менье какого бы то ни было сходства между Державинымъ и Пиндаромъ,-Пиндаромъ, котораго вдохновенная, возвышенная поэзія была голосомъ цёлаго народа-п какого еще народа!... Если Батюшковъ не упомянуль въ этихъ стихахъ о Херасковъ п Сумароковъ, это, въроятно, потому, что первому изъ нихъ были уже нанесены страшные удары Мерзляковымъ и Строевымъ (П. М.), а второй мало-но-малу какъ-то самъ истерся въ общественномъ мивніи. Впрочемъ, это не мъщаетъ Батюшкову титуловать Хераскова громкимъ именемъ пѣвца «Россіады» и приписывать ему какую-то «славу писателя». Разсуждан о такъ-называемой «легкой поэзін», Батюшковъ такъ разсказываеть ея исторію на Русп:

Такъназываемый эротическій и вообще легкій родъ поэзін воспріяль у насъ пачало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихь предшественниковь были маловажны: языкь и общество еще не были образованы. Мы не будемъ исчислять всёхъ видовъ, раздъленій и измъненій легкой поэзіи, которая менъе или болъе принадлежить къ важнымъ родамъ: но замътимъ, что на поприщъ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ правственномъ міръ, ничто прекрасное и доброе не теряется, приносить со временемъ пользу и дъйствуетъ непосредственно на весь составъ языка. Стихотворная повъсть Богдановича, первый и прелестный цвытокь легкой поэзіи на языкы нашемь. ознаменованный истиннымъ и великимъ (!) талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Дмитрієва, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украсила разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія (?) оживилась неувядаемы-

ми цвътами выраженія; басни его, въ которыхъ онъ боролся съ Лафонтеномъ и часто побъждать его; басни Хемницера и оригинальныя басни Крылова, которыхъ остроумные, счастливые стихи сдвлались пословицами, ибо въ нихъ виденъ и тонкій умъ наблюдателя свъта, и ръдкій таланть; стихотворенія Карамзина, исполненныя чувства, образець ясности и стройности мыслей; Гораціанскія оды Капниста; вдохновенныя страстью пъсни Нелединскаго; прекрасныя подражанія древнимъ Мералякова; баллады Жуковскаго, сіяющія воображеніемъ, часто своенравнымъ (?), по всегда пламеннымъ, всегда сильнымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, напитапнаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей: наконецъ, стихотворенія Муравьева, гдъ изображается, какъ въ зеркалъ,прекрасная душа его; посланія князя Долгорукова, исполненныя живости; нъкоторыя посланія Воейкова, Пушкина и другихъ новъйшихъ стихотворцевъ, писанныя слогомъ чистымъ и всегда благороднымъ: всв сіи блестящія произведенія дарованія и остроумія менте или болте приближались къ желанному совершенству, и всъ-нътъ сомевнія-принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили.

Такъ! скажемъ мы отъ себя, въ этомъ нътъ сомнёнія: сочиненія всёхъ этихъ поэтовъ принесли свою пользу въ дель образованія стихотворнаго языка; но нъть и въ томъ сомпънія, что между нхъ стихомъ и стихомъ Жуковскаго и Батюшкова легло цълое море разстоянія, и что «Душенька» Богдановича, сказки Дмитріева, гораціанскія оды Капниста, подражанія древнимъ Мерзлякова, стихотворенія Востокова, Муравьева, Долгорукова, Воейкова и Пушкина (Василія) только до появленія Жуковскаго и Батюшкова могли считаться образцами легкой поэзін и образцами стихотворнаго языка. Батюшковъ ни однимъ словомъ не даетъ чувствовать, что прославляемыя имъ сочиненія любимыхъ имъ писателей принадлежать извъстному времени и носять на себъ, какъ необходимый отпечатокъ, его недостатки. И потомъ, что за взглядъ на относительную важность каждаго изь нихъ: Дмитріевъ у него выше Крылова, народнаго русскаго баснописца, котораго многіе стихи обратились въ пословицы, какъ и многіе стихи изъ «Горя отъ ума», тогда какъ басни Дмитріева, не-смотря на ихъ неотъемлемое достоинство, теперь совершенно забыты. И немудрено: въ нихъ Дмитріевъ является не болье какъ счастливымъ подражателемъ и переводчикомъ Лафонтена; но онъ чуждъ всякой оригинальности, самобытности и народности. Стихотворенія Карамзина, которыя гораздо ниже стихотвореній Дмитріева и которыя послів стихотвореній Жуковскаго тотчасъ же сдёлались невозможными для чтенія, Батюшковъ находить «исполненными чувства и образцами ясности и стройности мыслей». Кто теперь знаеть стихотворенія Муравьева?—Батюшковь вь восторгъ отъ нихъ. Ломоносовъ для него

быль однимь изъ величайнихъ поэтовъ міра. Опыты въ легкой поэзіп предшественниковъ Ломоносова и Сумарокова были маловажны, по словамъ Батюшкова: стало быть, опыты Ломоносова и Сумарокова были уже не маловажны. Но что же легкаго написаль Ломоносовъ и что же порядочнаго сочинилъ Сумароковъ?.. И такъ смотрълъ на русскую литературу человькь, знакомый съ французской, нъмецкой, итальянской, англійской (?) и латинской литературами, въ подлинникъ читавшій Руссо, Шенье, Шиллера, Петрарку, Тасса, Аріоста, Байрона (?), Тибулла п Овидія!.. Но всего поразительнье въ этоми, отношенін «Письмо» Батюшкова «къ И. М. М. А. о сочиненіяхъ г. Муравьева». Діло идеть о сочиненіяхъ Миханда Никатича Муравьева, бывшаго товарища министра народнаго просвъщенія, попечителя Московскаго университета; онъ родился въ 1757, а умеръ въ 1827 году, и оставилъ послъ себя намять благороднаго человіка и страстнаго любителя словесности. Какъ писатель. М. Н. Муравьевъ принадлежалъ къ Ломоносовской школь. Слогь и языкъ его не Карамзинскій, хотя и казался для своего времени образцовымъ. Въ сочиненіяхъ его дъйствительно видно много любви къ просвъ щенію, душа добрая и честная, характеръ благородный; но особенно литературнаго или эстетическаго достоинства они не имъютъ. Когда вышли въ свъть сочинения Муравьева, изданныя послё смерти его подъ титуломъ: «Опыты исторіи словесности и нравоученія», -Батюшковъ написалъ письмо, о которомъ мы упомянули выше. Въ этомъ письмѣ онъ горько упрекаеть тогдашнихъ журналистовъ за ихъ модчание о такой превосходной книгъ, каковы сочинения Муравьева. Въ числъ этихъ сочиненій, состоящихъ изъ отдільныхь статей, есть нёсколько такь-называемыхъ «разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ», въ которыхъ авторъ пренаивно сводитъ Ромула съ Кіемъ, Карла Великаго—съ Владиміромъ, Горація—съ Кантемиромъ и заставляеть ихъ спорить, а къ концу спора согласиться, что Россія не уступаеть въ силь и просвъщении ни одному народу въ міръ... Батюшковъ въ восторгъ отъ этихъ мертвыхъ разговоровъ: онъ отдаетъ имъ преимущество даже передъ разговорами Фонтенеля. Французскій писатель (говорить онъ) гонялся единственно за остроуміемъ: действующія лица въ его разговорахъ разрѣшають какуюнибудь истину блестящими словами: они, кажется намъ, любуются сами тъмъ, что сказали. Подъ перомъ Фонтенеля нерѣдко древніе герои преображаются въ придворныхъ Людовикова времени и напоминають намъ живо учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ недостаетъ парика, манжетъ и

красныхъ каблуковъ, чтобъ шаркать въ королевской передней, какъ замѣчаетъ Вольтеръ-не помню въ которомъ мъсть. Здъсь совершенно тому противное; всякое лицо говорить приличнымъ ему языкомъ, и авторъ знакомить насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемпромъ, съ Гораціемъ и проч.>--Но, увы!-- именно этого-то и нётъ въ разговорахъ Муравьева. Исторические собесъдники Фентенеля похожи по крайней мъръ хоть на придворныхъ Людовика XIV, а герои Муравьева рѣшительно ни на кого не похожи, даже просто на людей. Вообще Батюшковъ прославляетъ Муравьева какъ-те риторически: иначе чемъ объяснить эту схоластическую фразу «онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ. Есть еще у Муравьева рядъ стиховъ нравственнаго содержанія, названныхъ у него общимъ именемъ «Обитатель Предмъстія». Нзыкъ этихъ статеекъ довольно чистъ и ближе подходить къ Карамзинскому, чемъ къ Ломоносовскому; содержание много говорить вь пользу автора, какъ человька съ самыми добрыми расположеніями души и сердца; но и все туть: ни идей, ни возэрвній, ни картинъ, ни слога. Батюшковъ говоритъ: «Сім разговоры (мертвыхъ) и Письма Обитателя Предмёстія могуть замёнить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія иностранныхъ писателей. Вотъ какъ!.. Вообща давно уже замъчено, что у насъ на свитой Руси не умъють въ мъру ни похвалить, ни похудить: если превозносить начнуть, такъ уже выше лѣса стоячаго, а если бранить, такъ уже прямо втопчутъ въ грязь... «Другіе отрывки (продолжаеть Батюшковъ) принадлежать вы высшему роду словесности. Между ними повъсть «Оскольдъ», въ которой авторъ изображаетъ походъ съверныхъ народовъ на Царыградъ, блистаетъ красотами.» Какими же?—Красотами самой натянутой и надутой риторики. Къ числу такихъ повъстей-поэмъ принадлежать: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи Хераскова, «Мареа Посадница» Карамзина. Самъ Батюшковъ написалъ пренеленую вещь въ такомъ же духв: она называется «Предславъ и Добрыня, старинная повъсть. Въ заключеніе статьи своей о сочиненіяхъ Муравьева Батюшковъ выписываетъ эти стихи разбираемаго имъ автора:

Ты (муза) утро дней моихъ прилежно посъщала, Почто жъ печальная распространилась мгла,

И яспый полдень мой покрыла черной твиью! Иль лавровъ по слъдамъ твоимъ не соберу И въ пъсняхъ не прейду къ другому поколънью Или я весь умру?

«Нѣть (восклицаеть Батюшковъ), мы надѣемся, что сердце человѣческое безсмертно.

Всв пламенные отпечатки его въ счастиквыхъ стихахъ поэта побеждають самое время. Музы сохраняють въ своей памяти пъсин своего любимца, и имя его перейдеть къ другому покольнію съ именами, съ священными именами мужей добродьтельныхъ.» Увы! предсказание критика не сбылось: восхвалиемый имъ авторъ былъ уже забыть еще въ то время, какъ онъ сулилъ ему безсмертіе... Что это означаеть: односторонность ума, недостатокъ вкуса?--Нисколько! Немного людей, столь богатыхъ счастливыми дарами духовной природы, какъ Батюшковъ. Онъ былъ сынъ своего времени, вотъ гдъ причына его недостатковъ. Средствами своей натуры онъ быль уже далье своего времени; но мыслыю, сознаніемъ онъ шель за нимъ, а не впереди его. Опъ зналъ много языковъ и много читалъ на нихъ, но смотрёлъ на вещи глазами «Вѣстника Европы» блаженной памяти, п даже современной исторіи учился по газетнымъ реляціямъ, а потому Наполеонъ въ глазахъ его былъ не болье, какъ новый Атилла, Омаръ, всесвътный зажигатель и разбойникъ. Еще страннье его взглядъ на Руссо: этоть взглядъ до наивности близорукъ и подслеповать. Батюшковъ видѣлъ въ Руссо только мечтателя и софиста. Странное дъло! Наши русскіе поэты, даже не обдъленные образованиемъ, знакомые съ Европой черезъ ея языки, почти всегда отличались какой-то ограниченностью взгляда и понятій при замічательномъ, а иногда великомъ талантъ... Это мы еще будемъ имъть случай замътить...

Но едва ли не жесточе всвхъ постигла эта участь Батюшкова. Онъ весь заключенъ во мнвніяхъ и понятіяхъ своего времени, а его время было переходомъ отъ Карамзинскаго классицизма къ Пушкинскому романтизму (Пушкина въдь считали первымъ русскимъ романтикомъ!). Батюшковъ съ уваженемъ говоритъ даже о меценатствъ и замъчаетъ въ одномъ мъстъ, что одинъ вельможа удостаиваетъ музъ своимъ покровительствомъ, вмъсто того чтобъ сказатъ, что онъ удостаивается чести быть полезнымъ музамъ.

Какъ на самую рёзкую, на самую характеристическую черту эстетическаго и критическаго образованія Батюшкова, укажемъ на статью его «Аріостъ и Тассъ». Это ивчто вродь критическихъ статей нашихъ старинныхъ аристарховъ о «Россіадъ» Хераскова. Какъ хорошо это мъсто! какой чудесный этотъ стихъ! какое живое описаніе представляетъ собой эта глава—вотъ характеръ критики Батюшкова. Объ идеяхъ, о цъломъ, о въкъ, въ которомъ написана поэма, о ея недостаткахъ—ии слова, какъ будто бы ничего этого въ ней и не бывало! больше всего

восхищается Батюшковъ описаніемъ одной битвы, которое, судя по его же прозаическому переводу, довольно надуто. Эта картина напоминаетъ ему стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены тъла: Иный съ размаха мечъ занесъ на сопостата, Но прежде прободенъ, удара не скончалъ. Иный, забывъ врага, прельщался блескомъ

Но мертвый на корысть желанную упаль. Иный, отъ сильнаго удара убъгая, Стремглавъ на низъ слетълъ и стонет подъ

Иный, произенъ, угасъ, противника сражая. Иный врага повергъ и умеръ самъ на немъ.

Кромѣ того, что Батюшковъ эти дебелые и безобразные стихи находитъ прекрасными, онъ еще видить въ разстановкѣ словъ: стонетъ, угасъ и умеръ, какую то особенную силу. «Замѣтимъ мимоходомъ для стихотворцевъ (говорить онъ), какую силу получаютъ самыя обыкновенныя слова, когда они постановлены на своемъ мѣстѣ.»

Таковы были литературныя и эстетическія понятія и убъжденія Батюшкова. Они достаточно объясняють, почему такъ нерёшительно было направление его поэзін и почему написанное имъ такъ далеко ниже его чудеснаго таланта. Превосходный таланть этоть быль задушень временемь. При этомъ не должно забывать, что Батюшковъ слишкомъ рано умеръ для литературы и поэзін. Кажется, его литературная діятельность совершенно прекратилась съ 1819-иъ годомъ, когда онъ быль въ самой цвътущей поръ умственныхъ силъ-ему тогда было только 32 года отъ роду (онъ родился въ 1787 году). Мы не знаемъ даже, прочелъ ли Батюшковъ хотя одно стихотвореніе Пушкина. «Русланъ и Людмила» появилась въ 1820 году. Такъ Пушкинъ, въ свою очередь, не прочелъ ни одного стихотворенія Лермонтова. П, можеть быть, для Батюшкова настала бы новая пора дучшей и высшей діятельности, если бъ враждебная русскимъ музамъ судьба не отнила его такъ рано отъ ихъ служения. Появленіе Пушкина им'єдо сильное вліяніе на Жуковскаго: можеть быть, еще сильныйшее вліяніе им'єло бы оно на Батюшкова. Выходъ въ свътъ «Руслана и Людмилы» и возбужденные этой поэмой толки и споры о классицизмѣ и романтизмѣ были эпохой обновленія русской литературы, ея окончательнаго освобожденія пзъ-подъ вліянія Ломоносова и началомъ эмансипаціи изъ-подъ вліянія Карамзина... Несмотря на всю свою поверхностность, эта эпоха развязала крылья генію русской литературы и поэзін. И, въроятно, таланть Батюшкова въ эту эпоху явился бы во всей своей силь, во всемь своемь блескь.

Но не такъ угодно было судьбъ. И потому намъ лучше говорить о томъ, что было, нежели о томъ, что бы могло быть. Написанное Батюшковымъ, какъ мы уже сказали,—
далеко ниже обнаруженнаго имъ таланта, далеко не выполняетъ возбужденныхъ имъ же самимъ ожиданій и требованій. Неопредъленность, неръшительность, неоконченность и невыдержанность борются въ его поэзіп съ опредъленностью, ръшительностью и выдержанностью. Прочтите его превосходную элегію «На развалинахъ замка въ Швеціи»: какъ все въ ней выдержано, полно, окончено! Какой роскошный и вмёсть съ тъмъ упругій, крыній стихъ!

Тамъ воннъ нѣкогда, Одена храбрый внукъ, Въ бояхъ приморскихъ посъдѣлый, Готовилъ сына въ брань, и стрѣлъ пернатыхъ Вроню завѣтиу, мечъ тяжелый [пукъ, Онъ юношѣ вручалъ израненой рукой, И громко восклицалъ, поднявъ дрожащи длани: "Тебъ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани, Всегда п всюду твой!

"А ты, мой сынь, клянись мечомъ твоихъ И Геллы клятвою кровавой, [отцовъ, На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ, Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!" И пылкій юноша мечь прадъдовъ лобзалъ И къ персямъ прижималъ родительскія длани, И въ радости, какъ конь, при звукъ новой брани, Кипълъ и трепеталъ!

Война, война врагамъ отеческой аемли! Суда на утро восшумъли, Запънились моря, и быстры корабли На крыльяхъ бури полетъли! Въ долинахъ Нейстріи раздался браней громъ, Туманный Альбіонъ изъ края въ крайнылаетъ, И Гелла день и ночь въ Валгаллу провожаетъ Погибшихъ блъдный соимъ.

Ахъ, юношаі спѣши къ отеческимъ брегамъ, Назадъ лети съ добычей бранной; Ужъ вѣетъ кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ Герой, побъдою избранный. [судамъ, Ужъ скальды пиршества готовять на холмахъ, Ужъ дубы въ пламени, въ сосудахъ медъ сверкаетъ,

И въстникъ радости отцамъ провозглащаетъ Побъды на моряхъ.

Здёсь, въ мирной пристани, съ денницей золо-Тебя невъста ожидаеть, [той Къ тебъ, о юноша, слезами и мольбой, Воговъ на милость преклоняеть... Но вотъ, въ тумань тамъ, какъ стая лебедей, Вълъютъ корабли, несомые волнами; О въй, попутный вътръ, въй тихими устами Въ вътрила кораблей!

Суда у береговъ, на нихъ уже герой Съ добычей женъ иноплеменныхъ; Къ нему сившитъ отецъ съ неввстою младой\*) И лики скалъдовъ вдохновенныхъ. Красавица стоитъ безмолветвуя въ слезахъ, Едва на жениха взглянуть украдкой смветъ, Потуия ясный взоръ, красиветъ и блюдиветъ, Какъ мъсяцъ въ небесахъ.

Не такова другая элегія Батюшкова— «Тънь Друга»; начало ен превосходно:

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона; Казалось, онъ въволнахъ свинцовыхъ утопалъ, За кораблемъ вилася гальціона, И тихій гласъ ея пловцовъ увеселялъ. Вечерній вътръ, валовъ плесканье, Однообразный шумъ и трепетъ нарусовъ, И кормчаго на палубъ взыванье Ко стражъ, дремлющей подъ говоромъ вавес сладкую задуминвость питало. [ловъ, Какъ очарованный, у мачты я стоялъ, И сквозъ туманъ и ночи покрывало Свътила съвера любезнаго искалъ.

Повторимъ уже сказанное нами разъ: послѣ такихъ стиховъ нашей поэзіи надобио было или остановиться на одномъ мѣстѣ, или, развивансь далѣе, выражаться въ Пушъкинскихъ стихахъ; такъ естественъ переходъ отъ стиха Батюшкова къ стиху Пушъкина. Но окончаніе элегіи «Тѣнъ Друга» но соотвѣтствуетъ началу: отъ стиха—

И вдругъ... то былъ ли сонъ? предсталъ товарищъ миъ,

начинается громкая декламація, гдѣ не замѣтно ни одного истиннаго, свѣжаго чувства и ничто не протрясаеть сердца внезанно охлажденнаго и постепенно утомляемаго читателя, особенно, если онъ читаеть эту элегію вслухъ.

Этимъ же недостаткомъ невыдержанности отличается и знаменитая его элегія «Умирающій Тассъ». Начало ен отъ стиха: «Какое торжество готовитъ древній Римъ?» до стиха: «Тебѣ сей даръ... пѣвець Ерусалима!»—превосходно; слѣдующіе затѣмъ двѣнадцать стиховъ тоже прекрасны; но отъ стиха: «Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на иышный Римъ» начинаются риторика и денламація, хотя мѣстами и съ проблесками глубокаго чувства и истипной поэзіи. Чудесны эти стихи:

И ты, о въчный Тибръ, поитель всёхъ илеменъ, Засъянный \*) костьми граждань вселенной, Васъ, вясъ привътствуеть изъ сихъ унылыхъ мъстъ

Безвременной кончинъ обреченный! Свершилось! Я стою надъ бездной роковой И не вступлю при плескахъ въ Капитолій; И лавры славные надъ дряхлой головой Не усладять пъвца свиръпой доли.

Но что такое, если не пустое разглагольствіе, не надутая риторика и не трескучая декламація—воть эти стихи?

Увы! съ тъхъ поръ добыча злой судьбины, Всъ горести узналъ, всю бъдность бытія, Фортуною изрытыя пушны Разверзлись подо мной, и грому не умолкалу!

<sup>\*)</sup> Поэть нашего времени вмѣсто "сь невѣстою младой" сказаль бы: "сь невѣстой молодой",— и оно, разумѣется, было бы лучше; но во время Батюшкова большую полагали красоту въ славяниямѣ словъ. считая его особенно приличнымъ для такъ-называемаго "высокаго слога".

<sup>\*)</sup> Эпитетъ "засъяннаго костьми" не точенъ въ отношеніи къ Тибру: это можно было сказать только о холмахъ, на которыхъ построенъ Римъ, или о землъ Италіи вообще.

Изъ весн въ весь, изъ страну (?) въ страну гонимый,

Я тщетно на землѣ пристанища искалъ: Повсюду перстъ ея неотразимый! Новсюду молніи *карающей* (?) пѣвца!

Такая же риторическая шумиха и отъ стиха: «Друзья, но что мою стъсняетъ страшно грудь?» до стиха: «Рукою музъ и славы соплетенный». Слъдующіе затымъ шестнадцать стиховъ очень не дурны, а отъ стиха: «Смотрите! онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ» до стиха: «Средь ангеловъ Елеонора встрътитъ» опять звучная и пустая декламація. Заключеніе превосходно, подобно началу:

И съ именемъ любви божественной погасъ; Друзъя надъ нимъ въ безмолвіи рыдали, День тихо догоралъ... и колокола гласъ Разнесъ кругомъ по стогнамъ въсть печали. "Погибъ Торквато пашъ! воскликнулъ съ

плачемъ Римъ. "Погибъ пъвецъ, достойный лучшей доли!" На утро факеловъ узръли мрачный дымъ И трауромъ покрылся Капитолій.

Въ отношени къ выдержанности, какая разница между «Умирающимъ Тассомъ» Батюшкова и «Андреемъ Шенье» Пушкина, хотя объ эти элегіи въ одномъ родъ!

Послѣ Жуковскаго Батюшковъ первый заговориль о разочарованіи, о несбывшихся надеждахь, о печальномъ опыть, о потухающемъ пламенникъ своего таланта...

Я чувствую, — мой даръ въ поэзін погасъ, И муза пламенникъ небесный потушила; Печальна опытность открыла

Пустыню новую для глазъ; Туда влечеть меня осиротълый геній, Въ поля безплодныя, въ непроходимы съни,

Гдв счастья нвть слвдовь, Ни тайных радостей неизъяснимых сновь, Любимцамъ фебовымъ отъ юности извъстныхъ, Ни дружбы, ни любви, ни пъсней музъ пре-

лестныхъ, Которыя всегда душевну скорбь мою, Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали. Нътъ, нътъ! себя не узнаю Подъ новымъ бременемъ нечали.

Что Жуковскій сдёлаль для содержанія русской поэзін, то Батюшковъ сділаль для ея формы: первый вдохнулъ въ нее душу живу, второй далъ ей красоту идеальной формы. Жуковскій сділаль несравненно больше для своей сферы, чёмъ Батюшковъ для своей, — это правда; но не должно забывать, что Жуковскій, раньше Батюшкова начавъ дъйствовать, и теперь еще не сошелъ еъ поприща поэтической деятельности, а Батюшковъ умолкъ навсегда съ 1819 года, тридцати-двухъ лётъ отъ роду... Заслуги Жуковскаго и теперь передъ глазами всъхъ и каждаго; имя его громко и славно и для новъйшихъ покольній, о Батюшковь большинство знаеть теперь по наслышкъ и по воспоминацію; но если немногія прекрасныя

Соч. Бълинскаго. Т. III.

стихотворенія его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина въ поэзів достаточно для его славы; а если въ двухъ томахъ его сочиненій еще ивть его безсмертія,—оно твмъ не менте сіяеть въ исторіи русской поэзіи...

Замъчательнъйшими стихотвореніями Батюшкова считаемъ мы слёдующія: «Умираютій Тассь», «На развалинахь замка въ Швецін», три «Элегіи изъ Тибулла», «Воспоминанія» (ст.)ывокъ), «Выздоровленіе», «Мой Геній», «Тынь друга», «Веселый Чась», «Пробужденіе», «Таврида», «Последняя Весна», «Къ Г-чу», «Источипкъ», «Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ», «О, пока безпенна младость», «Гезіодъ и Омиръсоперники», «Къ Другу». «Мечта», «Бесъда Музъ», «Карамзину», «Мон Пенаты», «Отвътъ Г-чу», «Къ II-ну», «Посланіе И. М. М. А.», «Къ N. N.», «Пъснь Гаральда (м. лаго», «Вакханка», «Ложный страхъ», «Радость» (подражаніе Касти), «Къ Н.», «Подражаніе Аріосту», «Пзъ Антологіи» двънадцать пьесъ изъ греческой антологіи. Мы означили здѣсь всѣ пьесы, по чему-либо и сколько-нибудь замьчательныя и характеризующія поэзію Батюшкова, но не упомянули о двухъ, которыя въ свое время пропавсдили, какъ говорится, фуроръ, -- это: «Ильнный» (Въ мъстахъ, гдъ Рона протекаетъ) и «Разлука» (Гусаръ, на саблю оппраясь). Объ онъ теперь какъ-то странно опонилнись, оссбенно послёдняя безъ улыбки нельзя читать ихъ. И между тъмъ объ онъ написаны хорошими стихами, какъ бы для того, чтобъ служить доказательствомъ, что не можетъ быть прекрасна форма, которой содержание пошло, не могуть долго нравиться стихи, которыхъ чувства ложны и приторны. Прекрасными стихами также написана моральная пьеса «Счастливецъ» (подражание Касти); но мораль сгубила въ ней поэзію. Сверхъ того въ ней есть куплеть, который разсмъшиль даже современниковь этой пьесы, столь снисходительныхъ въ дель поэзіи:

> Сердце наше кладезь мрачной: Такъ покоенъ сверху видъ; Но пустить ко дну... узкасно! Крокодилъ на немъ лежить!

Какъ прозанкь, Батюшковъ занимаетъ въ русской литературъ одно мъсто съ Жуковскимъ. Это превосходнъйшій стилисть. Лучшія его прозанческія статьи, по нашему мныню, слъдующія: «О характеръ Ломоносова», «Вечеръ у Кантемира», «Ньчто о Поэтъ и Поэзін», «Прогулка въ Академію Художествъ», «Путешествіе въ Замокъ Спрей» Также очень интересны всъ его статьи, на званні я во второмъ изданіи общимъ именемъ «Писемъ» и «Отрывковъ»: онъ знакомять съ личностью Батюшкова, какъ чело

въка. Статья «Двъ Аллегоріи» характеризуеть время, въ которое она написана: авторъ начинаеть ее признаніемъ, что всѣ аллегорін вообще холодны, но что его аллегорін говорять разсудку, а потому и хороши. Онъ забылъ, что всъ аллегоріи потомуто и нельны и холодны, что говорять одному разсудку, претендуя говорить сердцу и фантазіи... «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіп» показываеть, что фантазія Батюшкова была поражена двумя крайностями — югомъ и съверомъ, свътлей, роскошной Италіей и мрачной, однообразной Скандинавіей. Эта статья написана какъ будто бы въ соотвътствіе съ элегіей «На развалинахъ замка въ Швецін». Языкъ и слогъ этой статьи слыли за образцовые, и вообще она считалась лучшимъ произведеніемъ Батюпікова въ прозв. А между твиъ она есть не что пное, какъ переводъ изъ «Harmonies de la Nature» Ласепеда; отрывокъ, переведенный Батюшковымъ, можно найти въ любой французской хрестоматін, подъ названіемъ: «Les forêts et les habitants des régions glaciales». Сказанное Ласепедомъ о Съверной Америкъ Батюшковъ храбро приложиль въ Финляндіп-и дело съ концомъ. Удивляться этому нечего: въ тъ блаженныя времена подобныя заимствованія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились... Въ статьяхъ своихъ: «Прогулка въ Академію Художествъ» и «Двѣ Аллегоріи» Батюшковъ является страстнымъ любителемъ искусства, человъкомъ, одареннымъ истинно артистической душой.

Пмя Батюшкова невольно напоминаеть намъ другое любезное русскимъ музамъ имя, имя друга его-Гнѣдича, тадантъ и заслуги котораго столько же важны и знамениты, сколько-увы!-и не оцвиены досель. Не беремся за трудъ, можетъ быть, превосходящій наши силы; но посвятимь нѣсколько словъ намяти человъка даровитаго и незабвеннаго. Съ именемъ Гивдича соединяется мысль объ одномъ изъ тъхъ ведикихъ подвиговъ, которые составляють въчное пріобрътение и въчную славу литературъ. Переводъ «Иліады» Гомера на русскій языкъ есть заслуга, для которой нёть достойной награды. Знаемъ, что наши похвалы покажутся многимъ преуведиченными; но «многіе» много ди понимають и умѣють ди вникать, углубляться и изучать? Невъжество и дегкомысліе поспѣшны на приговоры, и для нихъ все то мало и ничтожно, чего не разумьють они. А чтобъ быть въ состоянии оценить подвигъ Гнедича, потребно много и много разуменія. Чтобъ быть въ состояніи опънить переводъ «Иліады», прежде всего надо быть въ состоянии понять «Иліаду», какъ художественное произведеніе, -- а это

не такъ-то легко. Теперь уже и Шекспиръ требуеть комментаріевь, какь поэть чуждой намъ эпохи и чуждыхъ намъ нравовъ,тыть болье Гомерь, отделенный оты насъ тремя тысячами деть. Мірь древности, мірь греческій педоступенъ намъ непосредственно, безъ изученія. «Иліада» есть картина не только греческой, но и религіозной Греціи; а у насъ, на русскомъ языкъ, нътъ не только порядочной, но и сколько-нибудь сносной греческой миоэлогін, безъ которой чтеніе «Пліады» непонятно. Сверхъ того некоторые ученые люди, знающіе много фактовъ, но чуждые идеи и лишенные эстетического чувства, за какое-то удовольствие считають распространять нел'вныя понятія о поэмахъ божественнаго Омпра, переводя ихъ съ подлинника слогомъ русской сказки объ Емель-Дурачкъ. Съ подлинника-говорять они гордо! Дъйствительно, для разумънія «Пліады» знаніе греческаго языка-великое діло; но оно не дасть человѣку ни ума, ни эстетическаго чувства, если въ нихъ отказала ему природа. Тредьяковскій знадъ много языковъ, но отъ того не былъ ни умиве, ни разборчивње въ дълъ изящнаго; а Шекспиръ, не зная по-гречески, написалъ поэму «Венера и Адонисъ». Такого рода ученые, увъряющіе, что греки раскрапінвали статуи боговъ (что действительно делали древніетолько не греки, а жители Помиеи, не задолго передъ Р. Х., когда вкусъ къ изящному быль во всеобщемъ упадкв), — такого рода ученые, знающіе по-гречески и полатыни, напоминають собой переведенную съ нёмецкаго Жуковскимъ сказку: «Кабудъ-Путешественникъ» («Переводы въ прозъ В. Жуковскаго» ч. III, стр. 92). Вотъ эти и подобные имъ господа изполять увърять, что Гивдичь перевель «Пліаду» напыщенно, надуго, изысканно, тяжелымъ языкомъ, смѣсью русскаго съ славянщиною. А другіе и рады такимъ сужденіямъ; не смъя напасть на тысячельтнее имя Гомера, они восторгались «Иліадой» вслухъ, эввая отъ нея про себя: и вотъ имъ дають возможность свалить свое невъжество, свою ограниченность и свое безвкусіе на дурной будто бы переводъ. Нътъ, что ни говори эти господа, а русскіе владіють едва ли не лучшимь въ мірѣ переводомъ «Пліады». Этоть переводь, рано или ноздно, сдълается книгой классической и настольной и станеть краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполнъ понимать вообще искусство. Переводъ Гивдича имветъ свои недостатки: стихъ его не всегда легокъ, не всегда исполненъ гармонін, выраженіе не всегда кратко к сильно; но всв эти недостатки вполнъ выкунаются въяніемъ живого эллинскаго духа, разлитаго въ гекзаметрахъ Гнъдича. Слъдующее двустнийе Пушкина на переводъ «Иліады»—не пустой комплиментъ, но глубокопоэтическая и глубоко-истинная передача производимаго этимъ переводомъ впечаттъпія:

Слышу умолкпувший звукъ божественной эллинской ръчи, Старца великаго тънь чую смущенной душой.

Глубоко-артистическая натура Пушкина умѣла сочувствовать древнему міру и понимать его: это доказывается многими его произведеніями на древній ладъ; стало быть, авторитетъ Пушкина, въ дѣлѣ суда надъ переводомъ Гнѣдича, не можетъ не имѣть вѣса и значенія,—и Пушкинъ высоко цѣнилъ переводъ Гнѣдича. Вотъ еще стихотвореніе Пушкина, свидѣтельствующее о его уваженіи къ труду и имени переводчика «Иліады»:

Съ Гомеромъ долго ты бесъдовалъ одинъ; Тебя мы долго ожидали; И свътелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ.

И вынесь намъ свои скрижали. И что жъ? ты насъ обрълъ въ пустынъ подъ шатромъ,

Въ безумствъ суетнаго пира, Поющихъ буйну иъснь и скачущихъ кругомъ Отъ насъ созданнаго кумира. Смутились мы, твоихъ чуждаяся лучей. Въ порывъ гиъва и печали, Ты проклялъ насъ, безсмысленныхъ дътей, Разбилъ листы своей скрижали.

Нать! ты не прокляль нась. Ты любишь съ высоты

Скрываться въ тинь долины малой; Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты Журчанью ичелъ надъ розой алой.

Нѣть, не настало еще время для славы Гнѣдича; оцѣнка подвига его еще впереди: ее приведеть распространяющееся просвѣщеніе, плодъ основательнаго ученія...

Гивдичъ какъ бы считалъ себя призваннымъ на переводъ Гомера; мы увърены, что только время не позволило ему перевесть и «Одиссею». Гомеръ быль его любимъйшимъ иввцомъ, и Гивдичъ силился создать апооеозу своему герою въ поэмѣ «Рожденіе Гомера». Поэма эта написана въ древнемъ духь, очень хорошими стихами, но длинна и растянута: совсёмъ не кстати приплетены въ ней судьбы Гомера въ новомъ міръ. Переводъ идиллін Өеокрита «Спракузянки, или праздникъ Адониса», съ присовокупленнымъ къ нему въ видъ предполовія разсужденіемъ объ идиллін, есть двойная заслуга Гивдича; переводъ превосходенъ, а разсуждение глубокомысленно и истинно. Но кто оценить этогь подвигь, кто пойметь глубокій смыслъ и художественное достоинство идиллін Өеокрита, не им'я попятія о значеніи, какое имълъ для древнихъ Адонисъ, и

о праздникахъ въ честь его?.. «Рыбаки», оригинальная идиллія Гибдича, есть мастерское произведение, но оно лишено истины въ основанін: изъ-подъ рубища петербургскихъ рыбаковъ виднѣются складки греческаго хитона, и русскими словами, русской рѣчью прикрыты понятія и созерцанія чисто древнія... При всемъ этомъ въ «Рыбакахъ» Гньдича столько поэзіи, жизни, прелести, такая роскопть красокъ, такая наивность выраженія! Замѣчательно, что эта идиллія написана въ 1821 году, а въ 1820 году были уже изданы идилліи Панаева! Не знаемъ, въ которомъ году переведена Гнъдичемъ идиллія Өеокрита и написано предисловіе къ ней: если въ одно время съ появленіемъ идилліи Панаева, то поневол'є подивишься противоръчіямъ, изъ которыхъ состоить русская литература...

Кромѣ «Рыбаковъ», у Гнѣдича мало оригинальныхъ произведеній; нѣкоторыя изъ нихъ не безъ достоинствъ, но нѣтъ превосходныхъ, и всѣ они доказываютъ, что онъ владѣлъ несравненно большими силами бытъ переводчикомъ, чѣмъ оригинальнымъ поэтомъ. Замѣчательно, что стихъ Гнѣдича часто бывалъ хорошъ не по времени. Слѣдующее стихотвореніе «Къ К. Н. Батюшкову», написанное въ 1807 г., вдвойнѣ интересно: и какъ образецъ стиха Гпѣдича, и какъ фактъ его отношеній къ Батюшкову:

Когда придешь въ мою ты хату, Гдъ бъдность въ простотъ живеть? Когда поклонишься пенату Который дни мон блюдеть? Приди, раздълимъ сивдь убогу, Сердца виномъ воспламенимъ, И вмъстъ-пъснопънья богу Часы досуга посвятимъ, А вечеръ скучный долготою, Въ веселыхъ сократимъ мечтахъ; Надъ всей подлунной стороною Мечты промчимся на крылахъ. Туда, туда, въ тоть край счастливыя, Въ тв земли солнца полетимъ, Гль Рима прахъ краспоръчивый Иль градъ святой Ерусалимъ. Узримъ средь дикой Палестины За божій гробъ святую рать, Гдъ цвътъ Европы, паладины, Летъли въ битвахъ умирать. Иввець ихъ Тассь, тебв любезный, Съ къмъ твой давно сроднился духъ, Сладкоръчивый, гордый, нъжный, Нашъ очаруетъ взоръ и слухъ. Иль мой пъвецъ-царь пъснопъній Не умпрающій Омиръ, Среди безчисленныхъ видъній Откроеть намь весь древній мірь. О, пъснь волшебная Омира Насъ въ мигъ перенесетъ, пъвцовъ, Въ край героическаго міра И поэтическихъ боговъ. Зевеса, мечущаго громы, И всёхъ безсмертныхъ вкругъ отца, Пиры ихъ свътлые, и домы Увидимъ въ пъсняхъ мы слъща. Иль посётниъ Морвенъ Фингаловъ,

Гу Сельму, домъ его отцовъ, Гдв на пирахъ сто арфъ звучало, II пламенъло сто дубовъ; Но гдъ давно лишь вътеръ ночи Съ пустынной шепчется травой, II только звъздъ безсмертныхъ очи Тамъ свътять съ блъдною луной. Тамъ Оссіанъ теперь мечтаетъ О битвахъ, о двлахъ былыхъ; II лирой-тын вызываеть Могучихъ праотцовъ своихъ. II вотъ Тренморъ, отець героевъ, Чертогъ воздушный растворивъ, Летить на тучахъ, съ сонмомъ воевъ, Къ пъвцу и взоръ, и слухъ склочивъ. За вимъ тънь легкая Мальвины, Съ златою арфою въ рукахъ, Обнявшись съ тънію Манны, Илывуть на легкихъ облакахъ. Но, вдругъ, возможно ли словами Пересказать, пль описать, О чемъ случается съ друзьями Подъ часъ веселый помечтать? Счастливъ, счастливъ еще несчастный, Съ которымъ хоть мечта живетъ; Въ дняхъ сумрачныхъ, день сердцу ясный Онъ хоть въ мечтаніяхъ найдеть. Жизнь наша есть мечтанье тъпи; Нъть сущихъ благь въ земныхъ странахъ. Приди жъ, подъ кровомъ дружней съпи Повеселиться хоть въ мечтахъ.

Въ то время такіе стихи были довольно рѣдки, хотя Жуковскій и Батюшковъ писали нееравненно лучшими. «На Гробъ Матери» (1805), «Скоротечность Юности» (1806), «Дружба» замѣчательны, какъ и приведенная выше пьеса Гнѣдича. Знаменито въ свое время было стихотвореніе его «Перуанецъ къ Испанцу» (1805); теперь, когда отъ поэзіи требуется прежде всего вѣрность дѣйствительности и естественности, теперь оно отзывается риторикой и декламаціей на манеръ блѣдной Мельпомены XVIII вѣка; но нѣкоторые стихи въ немъ замѣчательны энергіей чувства и выраженія, несмотря на прозапчность.

Гивдичъ перевелъ изъ Байрона (1824) еврейскую мелодію, переведенную впосладствін Лермонтовымъ («Душа моя мрачна, какъ мой вѣнецъ»); переводъ Гнѣдича слабъ; видно, что онъ не понялъ подлинника. Гнъдичь принадлежить по своему образованію къ старому, до-Пушкинскому поколѣнію нашихъ писателей. Оттого всѣ оригинальныя пьесы его длинны и растянуты, а многія прозапчны до последней степени, какъ, напримъръ, «Къ И. А. Крылову». Оттого же онъ перевелъ прозой Дюсисовскаго «Леара» или передълалъ Шекспировскаго «Лира»-не помнимъ хорошенько; оттого же онъ перевелъ стихами Вольтеровскаго «Танкреда». Но переводъ его «Простонародныхъ пъсенъ нынъшнихъ грековъ», изданный въ 1825 году, есть еще прекрасная заслуга русской литературъ. Жаль, что нътъ полнаго изданія сочинение Гивдича. Сделанное имъ самимъ

въ 1834 году очень не полно: въ немъ нѣтъ «Леара», нѣтъ «Иліады», нѣтъ в в еде ні я къ «Простонароднымъ пѣснямъ нычышнихъ грековъ» и с ра в н е ні я ихъ съ русскими пѣснями; нѣтъ статьи его о древнемъ стихосложеніи, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы»; нѣтъ переведчныхъ шестистоннымъ ямбомъ 7, 8, 9, 10 и 11-й пѣсенъ «Иліады»; нѣтъ «Разсужденія о причинахъ, замедляющихъ просвѣщеніе въ Россій». Такой писатель, какъ Гиёдичъ, стоилъ бы изданія полнаго собранія литературныхъ трудовъ его.

Къ знаменитъйшимъ дъятелямъ литегатуры Карамзинскаго періода принадлежи ъ Мерзляковъ. Онъ извъстенъ, какъ поэтъ (оды), какъ переводчикъ (переводы изъ древнихъ стихами), какъ пъсенникъ (русскія пъсни) и какъ теоретикъ словесности и критикъ. Оды его-образецъ надугости, прозаичности выраженія, длинноты и скуки. Переводы его изъ древнихъ заслуживають вниманія. Мерзляковъ не перевелъ ничего большого вполнъ, но изъ большихъ произведеній только отрывки, какъ-то изъ «Иліады», «Одиссен», изъ трагиковъ-Эсхила, Софокла и Еврипида. Всв эти опыты, конечно, не безполезны; но они не дають понятія о своихъ оригиналахъ. Мерзляковъ не владълъ стихомъ: языкъ его жестокъ и прозаиченъ. Сверхъ того на древнихъ онъ смотрълъ сквозь очен французскихъ критиковъ и теоретиковъ, отъ Буало до Лагариа, и потому видьль ихъ не въ настоящемъ ихъ свъть, хотя и читаль ихъ въ подлинникъ. Къ первой части изданныхъ имъ въ 1825 году, въ двухъ частяхъ, «Подражаній и переводовъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъзприложено разсуждение «О началь и духь древней трагедіи и о характерахъ трехъ г; еческихъ трагиковъ»; изъ этого разсужденія очень ясно видно, какъ мало понималъ Мерзляковъ начало и духъ древней трагедіи и характеръ трехъ греческихъ трагиковъ...

О, жертвы общаго отчизны заключенья, Въ дии славы върныя и върны зъ дни плъпенья,

Подруги юныя, не отрекитесь вы Еще подпорой быть сей рабственной главы, Которая досель гордилься вънцами: Царицы болъ нътъ; — невольница предъ вами! Но я, какъ прежде, вамъ и нынъ мать и другъ!.. И бъдствія мон, и старости недугъ— Единый жребій нашъ: вотъ право для злосчастныхъ

На помощь и любовь душъ злобъ непричастныхъ!

Прострите руки мив, приподнимите... Ахъ! Нътъ силъ, болъзнь и хладъ во всъхъ моихъ костяхъ!—

Въщайте, что совътъ вождей опредъляеть: Куда насъ грозный судъ судьбины посылаетъ? Куда еще влачить срамъ, скорбъ свою и плъвъ? Иль островъ сей для насъ могилой обреченъ?

Кто бы-думали вы-говоритъ такими дебе-- Риман н безтолковыми стеханий. Гекуба, въ трагедін Эвринида!... Хорошій же быль поэть этоть Эвринидь, если онь погречески такъ же выражался, какъ заставляеть его выражаться по-русски переводчикъ!... Впрочемъ, нъкоторые псреводы изъ древнихъ Мерзлякова не безъ достоинства. Онъ перевелъ виолиъ «Освобожденный Герусалимъ» Тасса, и перевель его привилегированнымъ въ старину размъромъ для эпическихъ поэмъ-шестистопнымъ ямбомъ. Нереводъ этотъ тяжелъ и дубовать, безъ всякихъ достоинетвъ. Причина этому опять двоякая: Мерзляковъ не владелъ стихомъ и на эпическія поэмы смотрёль сь Херасковской точки зрћнія, какъ на что-то натяпуто-высокое, надуго-великолбиное и дубовато-тяжелое. Насмѣшники увѣряютъ, будто въ его переводь «Освобожденнаго Герусалима» есть CTHXL:

Вскипълъ Бульонъ, течетъ во храмъ.

Не ручаемся за достовърность такого указанія: мы не имъли силы одольть чтеніемъ весь переводъ...

Въ русскихъ пъсняхъ Мерзлякова больше чувствительности, чъмъ чувства. Лучшія изъ нахъ написаны имъ уже послъ двадцатыхъ годовъ текущаго стольтія. Вообще онъ не безъ достопнствъ и выше пъсенъ Дельвига, хотя и далеко ниже пъсенъ Кольцова.

Какъ эстетикъ и критикъ, Мерзляковъ заслуживаеть особенное внимание и уваженіе. Ученикъ Буало, Баттё и Лагарна, онъ слъдовалъ теоріи, которая теперь уже внъ спора и даже насмъщекъ; но онъ слъдовалъ ей и проповёдывать ее, какъ умный и красноръчивый человъкъ. Ложны были его основанія, но онъ быль имъ вездъ въренъ и развивалъ пхъ последовательно и живо. Словомъ, въ этомъ отношении на Мерзлякова можно смотръть, какъ на умнаго представителя литературныхъ понятій цілой эпохи. Въ ошпбкахъ его виновато его время; достоинства его принадлежать ему самому. Воть почему его теоретическія и критическія статьи и теперь пріятно читать, хоть и нисколько не соглашаешься съ ними. Въ 1812 году Мерзляковъ читалъ публично въ Москвъ теорію изящнаго, въ домъ киязя Б. В. Голицына. Чтенія эти были напечатаны въ «Въстникъ Европы» 1813 года. Не знаемъ, были ли возобновлены когда эти чтенія, но въ издававшемся имъ въ 1815 году журналъ «Амфіонъ» напечатано только чтеніе, въ которомъ онъ опредъляеть изящное, понимая его такъ: «При надлежащей стройности, правильности и точности подражанія, занимательность предмета, основанная на этношении его въ намъ самимъ».

Первыми нашимя критиками были Карамзинъ и Макаровъ. Особенно славились въ свое время — разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича, а Макарова — сочиненій Дмитріева. Критика эта состояла въ воехищенія отдільными містами и въ порицаніи отдільныхъ же мість, и то больше въ стилистическомъ отношеніи. Обыкновенно восхищались удачнымъ стихомъ, удачнымъ звукоподражаніемъ и порицали какофонію или грамматическія пеправильности. Не такова уже критика Мерзиякова. Ложная въ основаніяхъ, она уже толкуєть объ идев, о приомъ, о характерахъ; она строга, сколько можеть быть строгой. Для критики Мерзлякова ппсатели русскіе уже не всѣ равно велики, но одинъ выше, другой ниже, и всй не безъ недостатковъ. Она благоговъеть передъ Сумароковымъ п тѣмъ съ неменьшей суровостью выставляеть его недостатки. Она видить въ Херасковъ знаменитаго поэта и отъ нея плохо принилось его «Россіядъ». Огромный разборъ «Россіяды», написанный Мерзляковымъ, возбудилъ общій ропоть, котя этотъ разборъ написанъ не только съ уваженіемъ, но и съ любовью къ Хераскову. Кригика Мерзлякова была смёла не но времени и при томъ нерѣшительна, а потому однихъ оскорбила, другихъ ужаснула, третьихъ не удовлетворила и немногимъ понравилась. Во всякомъ случай эта критика принадлежить къ любопытивйшимъ фактамъ исторін русской литературы. Она напечатана въ цълыхъ семи книжкахъ «Амфіона».

Но еще любопытньйший факть исторіи русской литературы представляеть собой журналь, издававшійся въ 1815 году молодымь человькомь, студентомь Московскаго университета — Павломь Строевымь. Журналь этоть назывался «Ссвременный Наблюдатель Россійской Словесности» и заключаль въ себъ статьи преимущественно критическаго содержанія. Изъ такихъ статей самой умной, живой, юношески смѣлой и благородной, самой интересной была: «О «Россіядь», поэмь Хераскова» (Письмо къдъвиць Д.). Не можемь не выписать здѣсь начала перваго письма:

"Что скажете теперь, поборники славы Хераскова,-пишете вы, милостивая государыня,-Мерзияковъ покажетъ истинныя достопиства его поэмы". Эти слова сильны въ устахъ вашихъ. Хотя я не ищу славы быть поборникомъ Хераскова, однако жъ мнъніе мое объ его поэмъ, мнъ кажется, не совсъмъ не справедливо. Охотно бы желаль согласиться съ вами; но нъкоторыя обстоятельства увъряють меня въ противномъ. Я говорю не съ теми вашего пола, кон, выслушавъ лекцію какого-инбудь профессора, все похважяють, все превозносять. Вы, милостивая государыня, сами занимаетесь словесностью; вы читали древнихъ и новыхъ писателей; имъете отличный вкусъ и ръдкія позпація. Какія пріятныя воспоминанія производять во мив тв зимніе вечера, когда мы предъ пылающимъ каминомъ разсуждали о русскихъ сочиненіяхъ. Споры наши бывали иногда жарки, я съ вами не соглашался, представлялъ доказательства, и вы, съ нъжной улыбкой, называли меня Катономъ въ словесности. Кто подумають, чтобы дввушка въ цвътущихъ лътахъ своего возраста и въ наше время занималась словесностью; чтобы дввушка, говорю я, знала языкъ Гомеровъ и Виргиліевъ. Я вижу руманецъ стыдливости на щекахъ вашихъ, но похвалы мон не лестны; онъ невольно вырываются изъ устъ монхъ. Въ какой восторгъ приведенъ я быль вашимь желаньемь возобновить наши сужденія, но-увы!-они останутся только на бумагь; ничто не можеть замънить вашего присутствія. Разговоры въ письмахъ будутъ сухи: сладостное красноръчіе дъвушки, пріятная улыбка лучше всякихъ логическихъ доказательствъ.

"Нътъ сомитнія, что Мерзляковъ предпринялъ полезный трудъ, разобравъ "Россіяду"; жаль только, что она не можеть стоять на ряду съ произведеніями, обезсмертившими имена своихъ сочинителей. Я думаю, даже немпогіе имъли терпъніе прочитать ее. Отчего же ее такъ хвалятъ? Оттого, что вкусъ публики у насъ еще не установился. Дамонъ прославляетъ Hoваго Стерна-десять человъкь, не читавшихъ даже сей комедін, съ нимъ соглашаются; Клитъ называеть его сочинениемъ глупымъ-и сотен готовы повторить его ругательства. Безспорно, Сумароковъ былъ единственнымъ стихотворцемъ своего времени; но кто станетъ нынъ восхищаться его сочиненіями? Между тъмъ Сумарокова считають стихотворцемъ образцовымъ, достойнымъ нашего подражанія. Закорентлыя мивнія опровергать трудно; это то же, что силиться вырвать огромный дубъ, въ продолжение цълыхъ въковъ пускавшій въ пъдра земли свои кории. Конечно, сін мивнія ослабвють п совершенно лишатся своего достоинства, но это требуеть времени. Между тёмъ истинныя дарованія остаются иногда въ неизвъстности. Тысячи рукоплещуть при представленіи Недоросля; но многіе ли понимають истинныя достойнства сей комедія? Многіе ли знають, что она достойна стоять на ряду съ Мизантропами и Тартюфами? Не стыдно ли даже намъ, что мы не имъемъ полнаго собранія сочиненій Фонвизина. сего безсмертнаго писателя, коимъ по всей справедливости мы можемъ гордиться. То, что я сказаль о Сумароковь, можно отнести къ Хераскову и къ нъкоторымъ другимъ стихо-творцамъ. Они пріобръли похвалы отъ своихъ современниковъ, коихъ вкусъ былъ еще необразованъ. Сіи похвалы безпрестанно повторялись, и стихотворцы пріобръли великую славу.

Павелъ Строевъ доназалъ ясно и неопровержимо, что «Россіяда» и по содержанію, и по формѣ — супцій вздоръ; что псторическое событіе въ ней искажено, характеры перевраны, чудесное нелѣпо, поэтическія краски сухи и холодны, выраженіе двко. Въ заключеніе овъ находить во всей «Россіядъ» только десять с р я д у хорошахъ стиховъ.

Какимъ превратностямъ подверженъ здѣшпій свѣть!

Въ немъ блага твердаго, въ немъ върной славы нътъ:

Великіе моря, лѣса и грады скрылись, И царства многія въ пустыни претворились; Гремѣлъ побѣдами, владѣлъ вселенной Римъ. Но слава римская исчезла яко дымъ, И небо пикому блаженства не вручало, Котораго бъ лучей ничто не номрачало. Не можетъ счастія не меркнуть красота; И въ солицъ, и въ лунъ есть темныя мъста.

И это дъйствительно лучшіе и единственно хорошіе 'стихи во всей «Россіядъ». Какой страшный урокъ былъ преподанъ этимъ юношей разнымъ ученымъ колпакамъ!...

При именахъ Жуковскаго и Батюшкова нельзя не вспомнить имени князя Вяземскаго. Онъ действоваль какь полть и какъ критикъ, и въ обоихъ случаяхъ дѣятельность его всегда вызывалась какимъ-нибудь обстоятельствомъ. Всё стихотворенія его-то, что французы называють pièces de circonstance. Общій характеръ ихъ- свѣтскій, салонный; но между ними нѣкоторыя показывають въ поэть живого свидьтеля вечера жизни Державина, воспитанника Карамзина, друга Жуковскаго и Батюшкова. Какъ авторъ двухъ статей критическаго содержанія— «О характеръ Державина» и «О жизни и сочиненіяхъ Озерова», князь Вяземскій болье замъчателенъ, нежели какъ поэтъ. Въ этихъ статьяхъ онъ является крптикомъ въ духъ своего времени, но безъ всякаго педантизма, судить свободно, не какъ ученый, а какъ простой человъкъ съ умомъ, вкусомъ и образованіемъ, и излагаеть свои мысли съ увлекательнымъ жаромъ и краснорфчіемъ, изящнымъ языкомъ. Съ появленія Пушкина для князя Вяземскаго настала новая эпоха дѣятельности: стихотворенія его, не измінившись въ духв, измънились къ лучшему въ формъ; а прозанческія статьн его (какъ, напримъръ, разговоръ классика съ романтикомъ, вмѣсто предисловія къ «Бахчисарайскому Фонтану») много способствовали къ освобожденію русской литературы отъ предразсудковъ французскаго псевдо-классицизма.

Съ 1813 года начали проникать въ русскіе журналы темные слухи о какомъ-то романтизмъ. Въ «Духъ Журналовъ» даже переведена была грозная статья противъ Августа Шлегеля, въ зашиту классическаго французскаго театра. Вмѣстѣ съ романтизмомъ, стали вкрадываться въ наши журналы слухи о какомъ-то великомъ англійскомъ поэтъ Биронъ, пли Бейронъ, или Байронѣ. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 года было напечатано маленькое стихотвореньице Пушкина «На смерть Кутузова». Въ «Россійскомъ Музеумѣ, или Журналѣ Европейскихъ Новостей» на 1815 годъ, издававшемся В. Измайловымъ, то и дело печатались лицейскія стихотворенія Пушкина. Но въ ученикъ и подражатель Державина, Жуковскаго и Батюпкова никто еще не предузнаваль будущаго великаго поэта Россіи... Въ 1820 году появилась въ свътъ первая поэма Пушкина «Русланъ и Людмила», а въ журналт «Сынъ Отечества» съ этого времени стали появляться мелкія его стихотворенія... Тогдато возгорѣлась ожесточенная война на перыяхъ между классицизмомъ и романтизмомъ и начался крутой переворотъ въ литературныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ... Карамзинскій періодъ русской литературы кончился...

## IV.

Имълъ онъ пъсенъ дивный даръ И голосъ шуму водъ подобный

Великія рѣки составляются изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несуть имъ обиліе водъ своихъ. И кто можетъ разложить химически воду, напримъръ, Волги, чтобъ узнать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько рѣкъ, и большихъ, и малыхъ, Волга пышно катитъ свои собственныя волны, и вст, зная о ея безчисленных похищеніяхъ, не могуть указать ни на одно изъ нихъ, илывя по ен широкому раздолею. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болѣе: она приняла ихъ въ себя, какъ свое законное достояніе, и возвратила ихъміру въ повомъ, преображенномъ видъ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковскаго п Батюшкова не было бы и Пушкина, что онъихъ ученикъ; но нельзя сказать, и еще менъе доказать, чтобъ онъ что-нибудь заимствоваль отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гдѣ-нибудь и въ чемъ-нибудь онъ не быль нензмѣримо выше ихъ. Поэзія Державина была преждевременной, а потому и неудавшейся попыткой на народную поэзію. Могучій геній Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найти въ народной жизни своего отечества какіе-нибудь элементы, какое-нибудь содержание иля поэзін. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронажства, лести и угодничества; по о всякой другой поэзін не имьло рышительно никакого понятія и, слыдовательно, не имъло въ ней никакой потребности, никакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мнъніи, котораго тогда не было ни признака, ни твни, особенно въ деле литературы: нетъ, слава Державина была основана на просвъщенномъ винманіи немногихъ къ его таланту. И если во всей Россіп того времени было человькъ десять или двадцать, болье или менье умъвшихъ цънить этотъ высокій таланть, то остальные, человінь сто или двъсти, изъ которыхъ состояла тогдашняя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая

собственнаго крика. Гав жъ туть было явиться истинной поэзіи и ведилому поэту? Правда, природа производить таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, пужны они или нътъ; но въдь великіе поэты творятся не одной природой: они творятся и обществомъ, т. е. историческимъ положеніемъ общества. Думать, что поэта составляеть олинъ талантъ -- значитъ грубо отпбаться. Разумвется, прежде всего поэтомъ двлаетъ человъка талантъ; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и эбразованіе, и направленіе, которые задмсять эть общества, среди котораго является ноэть. Чтобъ поэтически воспроизводить действительность, мало одного природнаго таланта, -- нужно еще, чтобъ подъ рукой поэта была поэтическая действительность. Хорошо было грекамъ творить ихъ изящныя, исполненныя идеальной красоты статуи, когда греческіе художники и на площадяхъ, и на улицахъ, и на ынкахъ безпрестанно встречали то мужчинь съ головой Зевеса, съ станомъ Аполлона, то женщинъ съ выражениемъ величаво-строгой красоты Паллады, съ роск миными формами Афродиты или обантельной прелестью Харить. Только итальянскимъ живописцамъ среднихъ въковъ быль доступенъ гдеать Мадонны, ибо типъ ея они видели безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотой отечества. Странное дело! Всв понимають, что нельзя сдёлаться великимъ живописцемъ, имън какой бы то ни было великій таланть, если въ годы изученія искусства нътъ хорошихъ натурщиковъ; всъ понимають, что великій живописець, творя идеальную красоту, все-таки нуждается во время своей работы въ образцѣ дѣйствительности; а никто не хочетъ понять, что точно такъ же и для великихъ поэтовъ образцомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ действительность. Природа творить великихъ полководневъ, когда ей угодно, а не только на случай войны: но безъ войны и великій полководецъ проживеть весь свой выкъ, даже и не подозръван. что онъ-великій полководець: только во времена сильныхъ движеній общественныхъ люди, одаренные отъ природы большими военными способностими, далаются великими полководцами. Чопорный, натянутый Расинъ въ древней Греціи былъ бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эврипидомъ; а во Францін въ царствованіе Людовика XIV и самъ страстный, глубокомысленный Эвринидъ былъ бы чопорнымъ и натяпутымъ Распномъ. Таково вліяніе исторіи и общества на таланть! У насъ этого не хотять и знать. Кричать о Державинъ, что онъ-геній; стиховъ его давно уже совсёмъ не читаютъ, а считаютъ чуть не безбожниками техъ, кто осмедивается говорить, что теперь поэзія Державина-слишкомъ непитательная и невкусная пища для эстетическаго вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и, смвемъ надвяться, доказанное нами, что при всей огромности таланта, который мы и не думаемъ отрицать, и предъ которымъ мы умвемъ благоговъть больше, нежели всв крикуны и лицемвры, воліющіе противъ насъ, - Державинъ не принадлежитъ къ темъ вечно-юнымъ геніямъ, которыхъ созданія никогда не старіются, всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящей и интересной попыткой, для успъха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образованіе самого поэта. Это поэзія, носящая на себѣ всѣ родовые признаки своего времени, а потому для насъ, русскихъ, имъющая свой историческій интересь; но какь время этой поэзін, тавъ сама эта поэзія чужды венваго дійствительнаго и опредъленнаго идеальнаго содержанія, которое дается только сильно развитой народной жизнью. Лучшее, что есть въ поэзін Державина, — это намеки на поэзію, часто недостигающіе ціли по ихъ неопредъленности и темнотћ; проблески поззін, часто погасающіе въ водяной массъ риторики; словомъ, --это несвязный дътскій поэтическій лепеть, но еще не поэзія. Въ поэвіп Державина есть и полетистая возвышенность, и могучая крѣпость и яркость великолеппыхъ картинъ, и несмотря на ея подражательность, есть что-то отзывающееся стихіями северной природы; но все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, върныхъ и выдержанныхъ по концепціи и отличающихся художественной полнотой и оконченностью, но отрывочно, містами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзін, а только стремленіе къ поэзіп.

Задумчивая и мечтательная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главнаго недостатка поэзін Державина: она исполнена содержанія, но вмёсть съ темъ лишена разнообравія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія въ ея историческомъ развитін, какъ Жуковскому, и между темъ въ созданіяхъ Жуковскаго поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницей и провозвастницей тайнъ внутренней жизни. Жуковскій романтикъ въ духъ среднихъ въковъ, а не художникъ. По своей натурѣ онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во всь сферы жизни и воспроизводить ея явленія въ ихъ разнообразіп и свойственной каждому изъ нихъ особности. Ему чуждо это свойство Протея принимать всѣ виды и формы и оставаться въ то же время самимъ собою, — это свойство, въ которомъ заключается

сущность поэзін, какъ некусства. Поэзія Жуковскаго была отголоскомъ его жизни, вздохомъ но уграченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтической тризной надъ умершимъ для очарованія сердцемъ Позія души и сердца, она чужда всъхъ другихъ питересовъ и рѣдко выходить изъ-за магическаго круга неопределенныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній Это ея ведичайшій недостатокъ, но это же и ея величайшее достоинство. Она была деобходима не для самой себя, а какъ средство къ развитію русской поэзін, она явилась не какъ готован уже поэзія, подобно Палладь, родившейся во всеоружін, а какъ моментъ возникавшей русской поэзін. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей недоставало; указала ей на богатые и неистощимые источники европейской поэзіи, которой явленія умьла съ непостижимымъ искусствомъ усвоивать русскому языку. Сверхъ того Жуковскій далеко подвинуль впередъ и русскій языкъ, придавъ ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзін Батюшкова преобладаеть элементь чисто художественный. Это видно и въ фактуръ его стиха, и вообще въ пластическомъ характерѣ формъ его произведеній; это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти сгремленіи его къ наслажденію, къ въчному пиру жизни; это же видно и въ разнообразін предметовъ его поэтическихъ пренимущества поэзін Батюшкова передъ поэзіей Жуковскаго; но поэзія Жуковскаго несравненно богаче поэзін Батюшкова содержаніемъ. Поэзія Батюшкова скользить по жизни, едва зацепляясь за нее; содержание ея весьма скудно и бъдно. Самая художественность стиха его не достигла полнаго своего развитія: Батюніковъ любилъ произвольныя усвченія прилагательныхъ; между превосходнъйшими стихами у него встрѣчаются негладкіе и даже непоэтическіе; сверхъ того, върный преданіямъ русской поэзін и примъру отца ея-Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ риторики.

Вотъ въ короткихъ словахъ все, что было сказано нами въ предшествовавнихъ трехъ статъяхъ. Приступая, наконецъ, къ критическому обозрѣнію поэтической дѣнтельности Пушкина, мы почли за нужное повторитъ сказанное нами въ прежнихъ статъяхъ, чтобъ яснѣе показатъ чигателямъ историческую связъ Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами.

Мы видыли, что эти поэты, оказавшіе такія великія услуги рождающейся русской поэзіи, только способствовали ея рожденію, но не родили ея, болье были предтечами поэта, чымь поэтами. Безъ сравненія сь Пушкинымъ, каждый изъ нихъ—поэть; но если

сравнивать жать съ нимъ, нельзя не согласиться, что между ними и Пушкинымъ такое же отношеніе, какъ между большими рѣками и еще несравненно большей, которая составляется изъ ихъ соединенныхъ водъ, поглощаемыхъ ею.

Пушкинъ явился именно въ то время, когда только что сдёлалось возможнымъ явленіе на Руси поэзін, какъ искусства. Двінадилтый годь быль великой эпохой въжизни Россіи. По своимъ следствіямъ, онъ быль величайшимь событіемь въ исторіи Россіи послѣ царствованія Петра Великаго. Напряженная больба на смерть съ Наполеономъ пробудила дремавшія силы Россіи и заставила ее увидъть въ себъ силы и средства, которыхъ она дотолъ сама въ себъ не подоврѣвала. Чувство общей опасности сблизило между собой сословін, пробудило духъ общности и положило начало гласности и публичности, столь чуждыхъ прежней патріархальности, впервые столь жестоко поколебанной. Чтобъ видѣть, какое огромное вліяніе имѣли на Россію веливія событія 1812—1814 годовъ, достаточно прислушаться къ толкамъ старожиловъ, которые съ горестью говорятъ, что съ двънадцатаго года и климатъ въ Россім измінился къ худинему, и все стало дороже: добряки не понимають, что дороговизна эта была необходимымъ следствіемъ увеличивавшихся нуждъ образованной живни, следовательно, признакомъ сильно двинувшейся впередъ цивилизацін. Въ это время. вследствие ею же вызванныхъ событий, Франція, столько времени боровшаяся со всей Европой и ознакомившаяся въ этой борьбъ со своими сосъдями, уже начала отрекаться оть своихъ литературныхъ предразсудковъ. Она увидъла, что у сосъдей ея есть не только умъ и талантъ, но и богатыя литературы; она поняла, что Корнель и Расинъ еще не исключительные представители творческаго изящества, а Шекспиръ, Гёте и Шиллеръ совсемь не представители замечательныхъ дарованій, искаженныхъ дурнымъ вкусомъ и незнаніемъ истинныхъ правиль искусства; она догадалась даже, что ни классическая "Ars Poetica" Горація, ни подражательная ей "L'Art Poétique" Буало, ни теорія Баттё, ни критика Лагариа уже не могуть быть эстетическимъ Кораномъ, и что въ туманныхъ умозрѣніяхъ нѣмцевъ вообще и романтическихъ созерцаніяхъ Шлегелей въ частности есть много истиннаго и върнаго касательно пскусства. Словомъ, романтизмъ вторгся п во Францію, тесня и изгоняя ея псевдоклассическій китанзмъ, основанный на гордой мысли, что только одинмъ французамъ Богь даль и умъ, и вкусъ, отказавъ въ этихъ дарахъ всемъ другимъ націямъ. Франція жадно прислушивалась къ мрачнымъ и гро-

мовымъ зчукамъ лиры Байрона, предчувствуя вънихъ свое собственное возрожденіе къ новой жизни, и поэтические разсказы Вальтеръ-Скотта о среднихъ векахъ появлялись уже на французскомъ языкъ почти въ то же времи, какъ появлялись въ Лондонъ на англійскомъ. Паденіе военнаго терроризма Наполеона развязало Францін руки не только въ политическомъ отношении, но и въ отношении къ наукъ и литературъ: ненавидимые и гонимые имъ «идеологи» свободно и ревностно принялись за свое деле; литература и поэзія ожили. Это имфло прямое и сильное вліяніе на нашу литературу. Когда увънчанная славой Россія начала отдыхать отъ своихъ побъдъ и торжествъ и процеттть миромъ въ «гордомъ и полномъ довърія поков», наши обветшалые и заильсневылые журналы т(г) времени и патріархъ ихъ, «Въстникъ Европы», начали терять свое вліяніе и перестали со своими запоздалыми идеями быть оракулами читающей публики. Явилась новая публика съ новыми потребностими, -- публика, когорая изъ самыхъ источниковъ иностранныхъ, а не изъ заплъсневълыхъ русскихъ журналовъ, начала черпать понятія и сужденія о литературѣ и искусствахъ и которая начала следить за успъхами ума человъческаго, наблюдая ихъ собственными глазами, а не черезъ тусклыя очки устаръвникъ педанговъ. Около двадцатыхъ годовъ въ «Сыпь Огечества» начались споры за романтизмъ; вскоръ послъ того появились альманахи, какъ прибъжище новыхъ литературныхъ потребностей и новаго интературнаго вкуса, которые съ 1825 года нашли своего представителя и выразителя въ «Московскомъ Телеграфѣ». Впрочемъ, да не подумають читатели, чтобъ въ этомъ поверхностномъ quasi-романтизмъ мы видъли какую-то великую истину, действительность которой и теперь не подвержена сомивню. Нъть, такъ-называемый романтизмъ двадцатыхъ годовъ, этотъ недоучившийся юноща съ немного растрепанными волосами и чувствами, теперь смѣшонъ со своими старыми претензіями; его «высшіе взгляды» теперь сдёлались косыми, близорукими, а сбивчивыя и неопределенныя теоріи превратились въ пустыя фразы и обветшалыя слова. Но всякому свое! Справедливость требуеть согласпться, что въ свое время этотъ псевдоромантизмъ принесъ великую пользу литературъ, освободивъ ее отъ болотной стоячести и заплъ невтлости и указавъ ей столько широкихъ и свободныхъ путей. Доказательствомъ этого можетъ служить, что лучше поэтические труды Жуковскаго совершены имъ или около, или после двадцатыхъ годовъ, какъ-то: переводъ «Торжества Побъдителей», «Жалобы Цереры», «Элевзинскаго Праздника», «Орлеанской Дівы», «Ундины» п проч. Даже самый стихъ Жуковскаго сдъдаль съ того времени большой шагь впередъ. Батюшковъ умеръ для русской литературы въ самое время этого періода, и потому новое литературное направление не имело на него вліянія. Темъ не мене можно предполагать съ достовърностью, что безъ этого несчастнаго случая въ жизни Батюшкова его ожидала бы эпоха обильнъйшей и высшей діятельности, нежели та, какую онъ успъль обнаружить, и что только тогда узнали бы русскіе, какой великій таланть имѣли они въ немъ. При всей художественности, при всей пласгичности стиха Батюшкова, ему все еще чего-то недостаеть: видно, что этотъ шагь суждено. было сдёлать человёку новому и свѣжему, незатвердъвшему въ литературныхъ преданіяхъ. Этимъ человѣкомъ быль Пушкинъ...

Приступая къ критическому обозрѣнію твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологического порядка, въ какомъ являлись они. Пушкинъ отъ всёхъ предшествовавшихъ е чу поэтовъ отличается именно тымь, что по его произведениямь можно слыдить за постепеннымъ развитіемъ его не только какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ человъка и характера. Стихотворенія, написанныя имъ въ одномъ году, уже рѣзко отличаются и по содержанію, и по форм'в отъ стихотвореній, написанных въ следующемъ, и потому его сочиненій никакъ нельзя издавать по родамъ, какъ издаются сочиненія Державини, Жуковскаго и Батюшкова, особенно перваго и последняго. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говоритъ сколько о великости творческаго генія Пушкина, столько и объ органической жизненности его поэзін, — органической жизненности, которой источникъ заключался уже не въ одномъ безотчетномъ стремленіи къ поэзіи, но въ томъ, что почвой поэзін Пушкина была живая дъйствительность и всегда плодотворная идея. Между темъ въ безобразномъ посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина 1838 года (восемь томовъ) стихотворенія расположены по родамъ, раздъление которыхъ основывалось на произволѣ лица, которому была поручена редакція. Воть почему въ нашей статьь, несмотря на то, что въ заглавіи ея выставлено изданіе 1838 года, мы будемъ руководствоваться паданными при жизни самого поэта изданіями 1826, 1829, 1832 и 1835 годовъ. Но прежде всего мы остановимся на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ, помѣщенныхъ въ ІХ-мъ томѣ, 1841 года. Нѣкоторые господа сильно нападали на издателей трехъ последнихъ томовъ сочиненій Пушкина за помъщеніе его «лицейскихъ» стихотвореній, говоря, что это сделано для на-

полненія книжекъ хоть какимъ-нибудь матеріаломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считаль достойными печати, - значить оскорблять его память. Ничто не можеть быть нельпре такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынскій, Козловъ, Давыдовъ и другіе, но все-таки думаемь, что изъ уважения къ нимъ же не слъдуеть печатать ихъ слабыя произведенія, тьмъ болье, что они никому и ни въ какомъ отношении не могуть быть интересны, а между тымь могуть повредить извыстности этихъ авторовъ. Но когда дело идетъ о такихъ поэтахъ и писателяхъ, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонвизинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Грибовдовъ и въ особенности Пушкинъ и Лермонтовъ -- то каждая строка, написанная ихъ рукой, пр інадлежить потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминаетъ собой или черту ихъ времени, или фактъ объ ихъ образѣ мыслей и характерѣ.

«Лицейскія» стихотворенія Пушкина, кромъ того, что показывають, при сравнени съ последующими его стихотвореніями, какъ скоро вырось и возмужаль его поэтический геній, -- особенно важны еще п въ томъ отношенін, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему и этами; изъ нихъ видио, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова, прежде чемъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые, -- сколько помнимъ мы, — появилось стихотвореніе Пушкина («Отечество въ слезахъ-познало вѣсть ужасну!») въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 г. Онъ написаль его, когда ему не было и четырнадцати лътъ отъ роду, при получении извъстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 г. въ «Россійскомъ Музеумь», -- журналь, издававшемся Владиміромъ Измайловымъ. Всъ они являлись тамъ съ подписью только начальныхъ буквъ имени и фамиліи Пушкина, и всь они, по подлиннымъ рукописямъ покойнаго поэта, помъщены въ 1Х-мъ томъ его сочиченій между «лицейскими» стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ «Сынъ Отечества», и большая часть ихъ вошла уже въ сдъланныя имъ самимъ изданія его сочиненій.

«Лицейскія» стихотворенія не богаты поззієй, но часто удивляють красотой и изяществомь стиха. Фактура этого стиха совсёмь не Пушкинская: она принадлежить Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзіи, Пушкинъ, едва щестнадпатилътній юноша, —иногда не только не уступаль имъ въ стихъ, но еще едва ди не смълъе и не бойчъе владъль имъ. Изъ нихъ только три пьесы уже слишкомъ плохи. а именно: «Бова» (отрывокъ изъ поэмы), «Красавиць, которая нюхала табакъ», и «Безвъріе». Первая пьеса написана Пушкинымъ явно въ подражаніе «Ильѣ Муромцу» Карамзина, которому она, впрочемъ, нисколько не уступаетъ въ достоинствѣ стиха и вымысла. Подобно «Ильй Муромцу» Карамзина, «Вова» не конченъ, въроятно, по одной и той же причинь: мысль объихъ этихъ пьесъ такъ дътски ложна и поддъльна, что изъ нея ничего не могло выйти целаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ея до конца. По самому началу «Бовы» видно, что «Илья Муромецъ» Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Пушкина, разманилъ его затъять эту поэму:

> Часто, часто я бесъдовалъ Съ болтуномъ страны эллипскія, И не смълъ осиплымъ голосомъ Съ Шопелевомъ и съ Рифматовымъ Воспъвать героевъ съвера. Несравненнаго Виргилія Я читаль и перечитываль, Не стараясь подражать ему Въ нъжныхъ чувствахъ и гармоніи. Разбиралъ я нъмца Клопштока И не могъ понять премудраго; Не хотвлъ я воспъвать, какъ онъ-Я хочу, чтобъ меня поняли Всв отъ мала до великаго. За Мильтономъ и Камоэнсомъ Опасался я безъ крылъ парить, Но вчера, въ архивахъ рояся, Отыскалъ я книжку славную, Золотую, незабвенную, Прочиталъ-и въ восхищеніи Про Бову пою царевича.

Не правда ли, что это очень напоминаетъ знакомое и презнакомое всъмъ начало «Ильи Муромца»? — Пьеса «Красавицъ, которая нюхала табакъ» отличается сатирическимъ и сентиментальнымъ характеромъ, столь свойственнымъ нашей старинной поэзіи. Она написана до того плохими стихами, что намъ, привыкшимъ подъ Пушкинскимъ стихомъ разумъть высшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкинымъ, котя бы и тринадцатилътнимъ. «Безвъріе» — цидактическая пьеса, которыя сотнями пизались въ блаженное старое время, — риторическое распространеніе какой-нибудь темых плохими стихами.

Въ дътскихъ и юнопиескихъ опытахъ Пушкина замътно вліяніе даже Капписта и Василія Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковскаго и особенно Батюшкова; но вліянія Державина почти совсѣмъ незамътно. Это не значить, чтобъ въ натуръ Пушкина, какъ художника, не было ипчего родственнаго съ поэтической натурой Державина, или чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями.

Напротивъ, Пушкинъ блигоговълъ передъ Пержавинымъ. Въ запискахъ своихъ онъ съ такой любовью разсказываеть, какъ на лицейскомъ публичномъ экзамень читалъ онъ. въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои «Воспоминанія въ Царскомъ Сель» и восхитиль ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать лётъ. Этогъ сдучай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ своей жизни. Онъ упоминаетъ о немъ въ одномъ изъ своихъ «лицейскихъ» стихотвореній— «Къ Жуковскому»; тутъ же съ юношескимъ восторгомъ упоминаетъ и объ одобреніи Карамзина, Дмитріева п того доэта, къ которому обращено было это посланіе, -- одобреніе, которымъ они привътствовали его дътскіе опыты. Въ другое, поздивишее время, въ эпоху мужественной зрелости своего генія, Пушкинь, говоря о своей музь, сдълаль поэтическій намекь на лучшее воспоминание своей юности:

> И свёть ее съ улыбкой встрётиль; Успёхь насъ первый окрымиль. Старикъ Державивъ насъ заметиль И, въ гробъ сходя, благословиль.

Но при всемъ этомъ громогласный одовоспывательный характерь Державинской поэзіп быль столько не въ натурѣ и не въ духъ Пушкина, что на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ нѣтъ почти никакихъ слѣдовъ ся вліянія. Только одна кантата «Леда», изъ всёхъ «лицейскихъ» стихотвореній, отзывается языкомъ Державина, но вмёстё и Батюшкова; а самый родъ пьесы (кантата) напоминаеть одного Державина. Этимъ почти и оканчивается все сближеніе. Но если сравнить въ «Онѣгинѣ» и другихъ позднъйшихъ произведеніяхъ Пушкина картины русской природы-именно осени и зимы, то нальзя не увидьть, что онв носять на себв отпечатокъ какой-то родственности съ Державинскими картинами въ томъ же родъ. Этого нельзя доказать сравнительными выписками нзъ того и другого поэта; но это очевидно для людей, которые способны проникать далье буквы и отыскивать аналогію въ духв поэтическихъ произведеній. Проблескивающіе по временамъ и м'встами элементы Державинской поэзіи суть живопись съвернорусской природы; народность, сатира и художественность, все это составляеть полноту и богатство поэзіи Пушкина, и все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредёленія. Державинская поэзія въ сравнении съ Пушкинской-это заря предразсвътная, когда бываеть ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы съ свётомъ: брежжеть неверный полумракъ, обманчивый полусвътъ, вдали на небъ какъ будто бълъетъ полоса свъта и въ то же время догорають готовыя погаснуть ноч-

ныя звізды, а всі предметы являются въ неестественной величинъ и ложномъ видъ. Пушкинская поэзія въ сравненіи съ Державинской-это роскопиный, полный сіянія п блеска полдень літняго дня: всв предметы земли озарены свътомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредъленномъ, ясномъ видь, и самая даль только делаеть ихъ болье поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная по эзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во-время явившаяся и вполнъ достигшая своей опредъленности, роскошно и благоуханно развившаяся поэвія Державинская...

Пьесы «Къ Паташѣ», «Разсудовъ и Любовь», «Къ Машъ́», «Слеза», «Погребъ», «Истина», «Застольная Пъсня», «Делія», «Стансы» (изъ Вольтера), «Къ Деліи», «Къ ней», «Мѣсяцъ», «Я Лилу слушалъ у клавира», «Къ Жуковскому», «Пирующіе Друзья», «Къ Дельвигу», «Фіалъ Анакреона», «Къ Дельвигу», «Фавнъ и Пастушка», «Къ Живописцу», «Сновидъніе» «Романсъ», всь эти пьесы по изобрьтенію, по формь и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминають собой предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху русской литературы, или по крайней мъръ ту школу поэзін русской, которая не испытывала на себь вліянія этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримъръ, пьеса «Къ Живописцу» написана какъ будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу написать портретъ его Милены или Плениры; а пьесы: «Слеза», «Погребъ», «Истина» написаны какъ будто на мотивъ извъстной прелестной пъсенки Дениса Давыдова «Мудрость», которая начинается куплетомъ:

> Мы недавно отъ печали, Лиза, я да Купидонъ, По бокалу осущали. Да просили мудрость вонъ.

Чгобъ дать понятіе о духѣ этой школы, представителями которой были Капинсть, Нелединскій-Мелецкій, В. Пушкинь, Давыдовь, мы выпишемъ коротенькое стихотвореніе Пушкина «Сновидѣніе»:

Недавно обольщень прелестнымъ сновидъньемъ, Въ вънцъ сілющемъ царемъ я врълъ себя; Мечталось, я любилъ тебя— И сердце билось наслажденьемъ. Я сграсть свою у ногъ въ восторгахъ изъяс-

мечты! ахъ! отчего вы счастья не продлили? Но боги не всего теперь меня лишили: Я только царство потерялъ.

Въ посланін «Къ Жуковскому» Пушкинъ разсуждаеть въ довольно прозаическихъ стихахъ о литературныхъ вопросахъ, особенно занимавшихъ дядю его, Василія Пушкина,

п ту эпоху, которой В. Пушкинъ быть однимъ изъ представителей. В. Пушкинъ въ прозаическихъ, но иногда очень острыхъ сатирахъ нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славниофиловъ—враговъ Карамзина—того премени. Въ посланіи своемъ «Къ Жуковскому» мололой Пушкинъ, подъ вліяніемъ диди своего, также нападаетъ на риомачей и славянофиловъ и судитъ о русской литературъ.

Риомачей называетъ онъ «варягами»:

Далеко дикихъ лиръ несется разкій пой: Варяжскіе стихи визжить варяговъ сгрой.

Тѣ слогомъ Никова печатаютъ поэмы, Одни славянскихъ одъ громады громоздятъ. Другіе въ бѣшеныхъ трагедіяхъ хрипятъ; Тотъ, вѣрный своему мятежному союзу, На сцену возведя зѣвающую музу. Везсмертныхъ геніевъ сорвать съ Нарпаса милтъ:

Рука содрогнулась, ударь его скользить. Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ: Куплетомъ раневъ онъ, низвержевъ въ прахъ журналомъ.

При свистахъ критики къ собратьямъ онъ
бъжитъ,

И маковый вънецъ Оспису ими свитъ. Всъ, руку наложивъ на томъ Телемахиды, Клянутся отомстить сотрудниковъ обиды, Волнуясь, возстаютъ неистовой толной. Въда, кто въ свъть рожденъ съ чувствитель-

ной душой, Кто тайно могъ плънить красавицъ нъжной лирой.

Кто смъло просвисталь шутливою сатирой, Кто выражается правдивымъ языкомъ, И русской глупости не хочеть бить челомъ: Опь врагъ отечества, онъ съятель разврата, И ръчи сыплются дождемъ на суностата.

Читая эти стихи, невольно переносишься въ то блаженное время нашей литературы, о которомъ теперь, за исключеніемъ пожилыхъ и записныхъ литераторовъ, немногіе имьютъ понятіе. Въ этомъ посланіи слотъ, фактура стиха, понятія, взглядъ на вещи—все принадлежитъ времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядъло ихъ явденіе. Но тутъ есть нѣчто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, какъ представителю уже новаго покольнія: это жестокая нападка на Тредъяковскаго и въ особенности на Сумарокова:

Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ, Везъ силы, безъ огия, съ посредственнымъ

Предразсужденіямъ обязанный въщомъ И съ Пинда сброшенный и проклятый Раси-

Ему ли, карлику, тягаться съ исполниомъ? Ему ль оспаривать тотъ лавровый въпецъ, Въ которомъ возблисталъ беземертный нашъ пъвецъ,

Веселье россіянь, полуночное диво? Нъть! въ тихой Леть онь потонеть молчаливо! Ужь на чель его забвенія печать. Предбудущимь выкамь что могь онь передать? Страшилась грація цинической свирѣли, И персты грубые на лирѣ костепѣли.

Замвиателенъ еще въ этомъ посланіи юношескій жаръ и рьяность, съ какими Пушкинъ иризываетъ талантливыхъ иввцовъ на
брань съ писаками. Онъ указываетъ имъ на
Феба, сражающаго Ппоона, и требуетъ мисенія за погибшаго жертвой зависти Озерова:

Ліющая съ пебесъ и жизнь, и въчный свъть, Стрълою гибели десница Аполлона Сражаеть, наконець, ужаснаго Пиеона; Смотрите! пораженъ враждебными стрълами, Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными

крылами, Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, месть! Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали въсть.

Летите на враговъ—и Фебъ, и музы съ вами! Разите сарварост кросасыли стихали, Невъжество, смирясь, потупить хладный взоръ:

Спъсивый риторовъ безграмотный соборъ... Въ заключение молодой поэтъ рѣшается, не боясь гоненій и зависти невѣждъ и риомачей, «ученью руку давъ», смѣло итти прямой дорогой... Это значило возвѣстить о себъ довольно громко: послѣдствія показали, что этотъ юноша имѣлъ полное на то право...

Въ пьесахъ: «Наслажденіе», «Къ принцу Оранскому», «Сраженный рыцарь», «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» и «Наполеонъ на Эльбѣ» замѣтно вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядѣ на предметъ видна зависимость ученика отъ учителя.

«Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» написаны звучными и сильными стихами, хотя вся ньеса эта не болѣе, какъ декламація и риторика. Такими же стихами написана и иьеса «Наполеонъ на Эльбѣ», содержаніе которой теперь кажется забавно, дѣтскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона «свирѣпо прошептать» разный ругательства на самого себи, превозносить своихъ враговъ, а о себѣ замомъ отзывается какъ объ ужасномъ таичаіз sujet. Между прочимъ Наполеонъ у него «свирѣпо» прошептываетъ:

"Полночи царь младой! ты двинуль ополченья, И гибель вслёдъ пошла кровавымъ знаменамъ, Отозвалось могучаго паденье—И миръ землё, и радость небесамъ, А миъ—позоръ и поношенье!"

Чему удивлиться, что шестиадцатильты мальчикь такъ смотрыть на Наполеона въто время, какъ на него такъ же точно смотрыли и престарылые, и возмужавшие поэты! Гораздо удивительные, что этотъ мальчикъ черезъ пять лыть послы того сказаль о Наполеоны:

Надъ урной, гдъ твой прахъ лежить. Народовъ пенависть почила И лучь безсмертія горить! Да будеть омрачень позоромь Тоть малодушный, кто въ сей день Безумпымь возмутить укоромь Его развъцчанную тѣнь! Хвала! онь русскому народу Высокій жребій указаль, И міру вѣчную свободу Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Эти стихи и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освѣжительная гроза, раздались въ 1821 году надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ мѣстъ, и многіе поэты, престарѣлые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднявъ встревоженныя головы вверхъ, словно гуси на громъ...

Но между «лицейскими» стихотвореніями гораздо болбе ознаменованныхъ сильнымъ вліяніемъ Батюшкова. Таковы пьесы: «Кт. Натальв», «Къ молодой Актрисв», «Князю А. М. Горчакову», «Осгаръ», «Эвлега», «Воспоминаніе» (Пущину), «Сонъ» (отрывокъ), «Къ Молодой Вдовъ», «Мое Завъщанье Друзьямъ». «Натздникъ», «Къ Г...у», «Мечтатель», «Къ П...у», «Къ Б...ву», «Городокъ». Даже въ пьесахъ, написанныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замѣтно въ то же время п вліяніе Батюшкова: такъ гармонировала артистическая натура молодого Пушкина съ артистической натурой Батюшкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до какой степени силенъ былъ въ Пушкинъ художническій инстинкть. Какъ ни много любиль онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно увлекался обаятельностью ея романтическаго содержанія, столь могущественной надъ юной душой, но онъ нисколько не колебался въ выборѣ образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ, и тотчасъ же безсознательно подчинился исключительпому вліянію последняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается въ «лицейскихъ» стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактуръ стиха, но и въ складъ выраженія, и особенно во взглядь на жизнь и ея наслажденія. Во всьхъ ихъ видна и риоеніе чувствъ, столь свойственныя музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мъстами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкинъ заняль у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делію, и манеру пересыпать свои стихотворенія минологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія «цитерская сторона, девственная лидея» и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, заимствеванныя имъ изъ Парии. и потомъ посланіе «Къ II-ну», и сравните сь нимъ пьесы Пушкина «Къ Натальв» и

«Къ Молодой Вдовъ», вы увидите въ нихъ Пушкина ученикомъ Батюшкова. По отдълкъ и стиху первое стихотворение слишкомъ отзывается детской неэрилостью; но слыдующее и по стихамъ напоминаетъ Ватюшкова. Пьесы: «Осгаръ» и «Эвлега» навъяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большой извъстностью дъйствительно прекрасное посланіе Батюшкова къ Жуковскому-«Мон Пенаты». Оно родило множество подражаній. Пушкинъ написаль въ родъ и духъ этого стихотворенія довольно большую пьесу «Городокъ». Подобно Багюшкову, Пушкинъ въ этомъ стихотвореніи говорить о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мъсто на полкахъ его избранной библіотеки. Только онъ говорить не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которой запечатлъна эта пьеса, въ ней есть нъчто н свое, Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая вольность, чуждая того, что французы называютъ pruderie, и столь свойственная Пушкину. Онъ нисколько не думаеть скрывать отъ свъта того, что всь дълають съ наслажденіемъ наединѣ, но о чемъ всѣ при другихъ говорятъ тономъ строгой морали; онъ называеть всёхъ своихъ любимыхъ писателей. Юношеская заносчивость, безпрестанно придирающаяся сатирой къ бездарнымъ писакамъ и особенно главѣ ихъ, извъстному Свистову, также характеризуетъ Пушкина.

Въ нъкоторыхъ изъ «лицейскихъ» стихотвореній сквозь подражательность проглядываеть уже чисто Пушкинскій элементь поэзін. Такими пьесами считаемъ мы слъдующія: «Окно», «Элегіп» (числомъ восемь), «Горацій», «Усы», «Желаніе», «Заздравный Кубокъ», «Къ товарищамъ передъ вынускомъ». Онъ не всъ равнаго достоинства, но некоторыя по тогдашнему времени просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815—1817) двенадцать томовъ «Образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ и потомъ (1822—1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, доподненіями и умноженіемъ и, наконецъ, не удовольствуясь этимъ, напечатало (1821— 1822) «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозъ, вышедпинхъ въ свътъ отъ 1816 по 1821 годъ, и «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ, вышедшихъ въ свътъ съ 1822 по 1825 годъ». Большая часть этихъ «образцовыхъ» сочиненій весьма легко могли бы почесться образчиками бездарности и безвкусія. «Вос-

поминания въ Царскомъ Селѣ» Пушкина были действительно одной изъ лучшихъ пьесъ этого сборника, а Пушкинъ никогда не помъщалъ этой пьесы въ собраніи своихъ сочиненій, какъ будто не признавая ее своей, хогя она и напоминала ему одну изъ лучшихъ минуть его юности! И потому стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить, имали бы полное право, особенно тогда, смѣло итти за образцовыя и не въ такомъ сборникь; — только черезъ мъру строгій художинческій вкусъ Пушкина могь псключить изъ собранія его сочиненій такую пьесу, какъ, напримъръ, «Горацій». Переводъ изъ Горація или оригинальное произведеніе Пушкина въ гораціанскомъ духі, -что бы ни была она, только никто изъ старыхъ, ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говорилъ такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ върно не передавалъ индивидуальнаго характера гораціанской поэзік, какъ Пушкинъ въ этой пьесъ, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живого Горація?—

> Кто изъ боговъ мев возвратилъ Того, съ къмъ первые походы И браней ужась я дълиль, Когда за призракомъ свободы Насъ Бруть отчаянный водиль; Съ къмъ я тревоги боевыя Въ шатръ за чащей забывалъ, И кудри плющемъ увитыя Спрійскимъ мирромъ умащаль? Ты помнишь чась ужасной битвы, Когда я, трепетный квирить, Бъжалъ, нечестно брося щить, Творя объты и молитвы? Какъ я боялся, какъ бъжалъ! Но Эрмій самъ внезапной тучей Меня покрыль и въ даль умчаль И спасъ отъ смерти неминучей. А ты, любимецъ первый мой, Ты снова въ битвахъ очутился... II нынъ въ Римъ ты возвратился, Въ мой домикъ темный и простой. Садись подъ тънь монхъ пенатовъ! Давайте чаши! не жалъй Ни винъ моихъ, ни ароматовъ! Готовы чаши; мальчикъ! лей; Теперь некстати воздержанье: Какъ дикій скиоъ, хочу я цить И, съ другомъ празднуя свиданье, Въ винъ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотвореніи видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всё сферы жизни, во всё вёка и страны,—виденъ тотъ Пушкинъ, который при концё своего поприща иёсколькими терцинами въ духё Дантовой «Божественной комедія» познакомилъ русскихъ съ Дантомъ больше, чёмъ могли бы это сдёлать всевозможные переводчики,—какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникъ... Въ слёдующей маленькой элегіи уже виденъ

будущій Пушкпнъ—не ученньъ, не подражатель, а самостоятельный поэть:

Медлительно влекутся дли мои, Н каждый мигъ въ увядшемъ сердцё множитъ Всъ горести несчастанной любви И тяжкое безуміе тревожитъ. Но я молчу; не слышенъ ронотъ мой. Я слезы лью... мив слезы утъшенье. Моя душа, объятая тоской, Въ нихъ горькое находить наслажденье. О, жизни сов ы лети, не жаль тебя! Исчезни въ тьмф, пустое привидёнье! Мяв дорого любви моей мученье, Пускай умру, но пусть умру—любя!

Въ пьесъ «Къ товарищамъ передъ випускомъ» въетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіп. И стихъ, и понятіе, и способъ выраженія—все ново въ ней, все имъетъ корнемъ своимъ простой и върный взглядъ на дъйствительность, а не мечты и фантазіи, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всъ они достигнутъ и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естествените бываетъ съ людьми:

Разлука ждетъ насъ у порогу; Зоветъ насъ свъта дальній шумъ, И каждый смотритъ на дорогу Въ волненым юныхъ пылкихъ думъ. Иной лодъ киверъ сирятавъ умъ, Уже въ воинственномъ нарядъ Гусарской саблею махиулъ: Въ крещенской утренней прохладъ Красиво мерзиетъ на парадъ, А гръться ъдетъ въ караулъ, Другой, рожденный быть вельможей, И илута знатнаго въ прихожей Покорнымъ плутомъ аритъ себя.

Несмотря на всю неэрілость и дітскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкниа, изънихъ видно, что онъ глубоко и сильно сознаваль свое призваніе, какъ поэта, и смотріль на него, какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призваніи, и онъ говорить въ посланіи къ Дельвигу:

Мой другъ! и я пъвецъ! и мой смиренный путь Въ цвътахъ украсила богиля пъснопънья, И миъ въ младую боги грудь Вліяли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтическаго безсмертія казалась ей лучшей цілью бытія:

> Ахъ, въдаетъ мой добрый геній, Что предпочелъ бы я скоръй Безсмертію души моей Везсмертіе своихъ твореній.

Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень много въ его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ. Между ними замѣчательно стихотвореніе «Къ моей Чернильниць»:

Подруга думы праздной, Чернильница моя! Мой въкъ однообразный Тобой украсиль я. Какъ часто, другь, веселья Съ тобою забывалъ. Условный част похмпыя II прадзничный бокаль! Подъ стнью хаты скромной, Въ часы печали томной, Выла ты предо мной Съ лампадой и мечтой. Въ минуты вдохновенья Къ тебъ я прибъгалъ И музу призывалъ На пиръ воображенья. Сокровища мон На днъ твоемъ таятся... Тебя я посвятилъ Занятіямъ досуга И съ ленью примирилъ: Она твоя подруга! Съ тобой успъхъ узналъ Отшельникъ пензвъстный... Завътный твой кристаллъ Храпить огонь небесный; И подъ-вечеръ, когда Перо по книжски бродить, Безъ всякаго труда Оно въ тебъ нахочитъ Концы моихг стиховъ И вторность выраженья, То звуковъ или словъ Нежданное стеченье, То подкой шутки соль, То странность ривмы новой, Песлыханной дотоль

Вотъ уже какъ рано проснулся въ Пушкпић артистическій элементь: еще отр комъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницѣ концы свонхъ стиховъ, думалъ онъ о върности выраженья и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странностью дотолѣ неслыханной повой риемы! Къ какимъ же чертамъ принадлежатъ вольность и смѣлость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ иосланіи онъ говоритъ:

Устрой гостямъ пирушку; На столикъ вощаной Поставь пивную кружку И кубокъ пуншевой.

За исключеніемъ Державина, поэтической натуръ котораго никакой предметь не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не ръшился бы говорить въ стихахъ о пивной кружкь, п самый пуншевый кубокъ каждому изъ нихъ показался бы прозаическимъ: въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивъ, а объ амброзін и другихь благородныхъ, но не существующихъ на бѣломъ свѣтѣ напиткахъ. Затеявъ писать какую-то новгородскую повьсть «Вадимъ», Пушкинъ, въ отрывкъ изъ нея, употребиль стихъ: «Но тынъ обросъ крапивой дикой». Слово ты н ъ, взятое прямо изъ міра славянской и новгородской жизни, поражаетъ сколько своей смёлостью, столько и поэтическимъ пистинктомъ поэта. Изъ прежнихъ поэтовъ, едва ли бы кто не испугался пошлости и прозапчности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти, повидимому, мелкія черты изъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, чтобъ ими указать на будущаго преобразователя русской поэзін и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видіть какую-то смёлость въ употреблении слова тынъ; но мы говоримъ не о теперешнемъ, а о прошломъ времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій риемачь смёло унотребляеть въ стихахъ всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздёлялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусь строго запрещаль употребление послёднихъ. Нуженъ былъ таланть могучій и смёлый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературъ. Теперь смъщно читать нападки тогдашнихъ аристарховъ на Пушкина, - такъ они мелки, ничтожны и жалки; во аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина-псказителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго дитературнаго и поэтического безвкусія...

Изъ тѣхъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и нанболѣе самостоятельными его произведеніями, нѣкоторыя впослѣдствіи онъ измѣнилъ и передѣлалъ, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненій. Такова, напримѣръ, пьеса «Друзьямъ».

> Къ чему, веселые друзья, Мое тревожить вась молчанье? Зацъвъ послъднее прощанье, Ужъ муза смолкнула моя. Напрасно лиру взяль я въ руки Бряцать веселья на ппрахъ, И па ослабленныхъ струнахъ Искалъ потерянные звуки. Богами вамъ еще даны Златые дни, златыя ночи, И на любовь устремлены Огнемъ исполненныя очи! Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечерь скоротечный, И вашей радости безпечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Впоследствін Пушкина така переделала эту пьесу:

Богами вамъ еще даны Златые дни, златыя ночи, И томныхъ дъвъ устремлены На васъ внимательныя очи. Играйте, пойте, о друзья! Утратьте вечеръ скоротечный, И вашей радости безнечной Сквозь слезы улыбнуся я.

Черезъ уничтожение первыхъ восьми стиховъ и перемъну одиннадцатаго и двънадцатаго изъ безобразнаго куска мрамора вышла прелестная статуэтка... Мы не знаемъ, были ли переправлены Пушкинымъ други изъ «лицейскихъ» его стихотвореній, или

они съ перваго раза удачно написались, — только значительное число ихъ вошло въ собраніе его сочиненій, изданныхъ въ 1826 и 1829 году. Такъ какъ собраніе 1826 года, вышедшее маленькой книжкой, потомъ все вошло въ следующее четырехъ-томное изданіе (1829—1835), составивъ первую его часть, — то мы и будемъ ссылаться въ нашемъ разборѣ только на это последнее изданіе, темъ болье, что оно выходило въ светь подъ редакціей самого Пушкина.

Итакъ, въ первый томъ п отчасти во второй «Сочиненій Александра Пушкина» (1829) много вошло его «лицейскихъ» стихотвореній 1815—1817 годовъ, и потомъ такихъ его стихотвореній, которыя писаны имъ вскоръ по выходъ изъ лицея и которыя вмѣстѣ съ «лицейскими», вошедшими въ первый томъ изданія, можно охарактеризовать именемъ переходныхъ. Въ нихъвиденъ уже Пушкинъ, но еще болъе или менъе върный литературнымъ преданіямъ, еще ученикъ предисствовавшихъ ему мастеровъ, хотя часто и побъждающій своихъ учителей; поэть даровитый, но еще не самостоятельный и —если можно такъ выразиться — объщающій. Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ видна живая историческая связь Пушкина съ предшествовавшей ему литературой, и они перемъшаны съ пьесами, въ которыхъ виденъ уже зрълый таланть и въ которыхъ Пушкинъ является истиннымъ художникомъ, творцомъ новой поэзіп на Руси.

Такими переходными пьесами считаемъ мы следующія: «Къ Лицинію», «Гробъ Анакреона», «Пробужденіе», «Друзьямъ», «Пѣвецъ», «Амуръ и Гименей», «Ш\*\* ву», «Торжество Вакха», «Разлука», «П\*\*\*ну», «Дельвигу», «Выздоровленіе», «Прелестниць», «Жуковскому», «Увы, зачьмь она блистаеть», «Русалка», «Стансы Т-му», «В-му», «Кривцову», «Черная шаль», «Дочери Карагеоргія», «Война», «Я пережилъ мои мечтанья», «Гробъ юноши», «Къ Овидію», «Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ», «Друзьямъ, «Гречанкъ», «Сводъ неба мракомъ обложился», «Тельга жизни», «Прозерпина», «Вакхическая пѣсня», «Козлову», «Ты и вы» и нѣсколько эпиграммъ, которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатилъ невольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи къ портретамъ были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзіи, которому въ піптикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковскій не писали эпиграммъ; но Батюшковъ былъ до нихъ большой охотникъ и, въроятно, его-то примъръ особенно увлекъ Пушкина.

Замъчательно, что во второй части собранія стихотвореній Пушкина уже меньше переходныхъ пьесъ, а въ третьей ихъ совсемъ нътъ: въ ней содержатся только пьесы. проникнутыя насквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отличающіяся всёмъ совершенствомъ художественной формы его созрѣвшаго и возмужавшаго генія. Въ первой части всего больше переходныхъ пьесъ; но въ ней же между переходными пьесами есть довольно и такихъ, которыя по содержанію и по формъ обличають уже оригинальность и самостоятельность, составляющія характерь Пушкинской поэзін. Чтобы иснье было нашимъ читателямъ, что мы разумвемъ подъ «переходными» стихотворенінми Пушкина, мы поименуемъ и противоположныя имъ чисто Пушкинскія пьесы, находящіяся въ первой части; они начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкъ: «Мечтателю», «Уединеніе» (которое, впрочемъ, только по содержанію, а не по формь, можно отнести къ числу чисто Пушкинскихъ иьесь), «Домовому», «N. N.», «Недокопченнан картина», «Возрожденіе», «Погасло дневное свътило», и въ особенности начинающіяся съ 1820: «Виноградъ», «О діва-роза, я въ оковахъ», «Доридѣ», «Редетъ облаковъ летучая гряда», «Неренда», «Дорида», «Ч\*\*\*ву», «Мой другъ, забыты мной слёды мпнувшихъ лътъ», «Умолкну скоро я», «Муза», «Діонея», «Діва», «Приміты», «Земля и Море», / «Красавица передъ зеркаломъ», «Алексвеву», «Ч\*\*\*ву», «Люблю вашъ сумракъ неизвъстный», «Простишь ли миъ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ Морю», «Коварность», «Ночной Зефиръ» и «Подражаніе Корану». Обо всёхъ этихъ пьесахъ наша рвчь впереди; скажемъ сперва ивсколько словъ только о «нереходныхъ».

Въ переходныхъ пьесахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, -ученикомъ, побъдившимъ своихъ учителей. Стихъ его уже лучне, чъмъ у нихъ, и пьесы, въ цёломъ, отличаются большей выдержанностью. Собственно Пушкинскій элементь вънихъ составляеть элегическая грусть, преобладающая въ нихъ. Съ перваго раза заметно, что грусть более къ лицу музе Пункина, болье родственна ей, чымь веселая п шаловливая шутливость. Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается уныдымъ чувствомъ, которое, какъ ринальный аккордъ въ музыкальномъ сочиненін, одинъ остается на дунгь, изглаживан въ ней всв предшествовавния впечатлъния. Маленькое стихотворение «Друзьямъ» можетъ елужить образцомъ такихъ пьесъ и доказательствомъ справеднивости нашей мысли.

Поэть говорить о шумномь дий разлуки, о буйномь пири Вакха, о кликахь безумной юности, при громй чашь и звуки лирь, и о той широкой чашь, которая, удовлетворяя скиескую жажду, вмыщала въ свои широки края цылую бутылку,—и вдругь эта веселая, шаловливая картина пеожиданно заключается такой элегической чертой:

Я пиль и думою сердечной Во дни минувшіе леталь, И горе жизни скоротечной, И сны любви воспоминаль.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьице и жной, но слабой души: это всегда грусть души мощной и крѣикой, и тъмъ обаятельные дыйствуеть она на читателя, темъ глубже и сильнъе отзывается въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ его сердца, и тъмъ гармоничнъе потрясаеть его струны. Пушкинъ никогда пе расплывается въ грустномъ чувствъ; оно всегда звенитъ у него, но не заглушая гармонін другихъ звуковъ души и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, онъ какъ будто вдругь встряхиваеть головой, какъ левь гривой, чтобъ отогнать оть себя облако унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даеть ей какой-то особенный освъжительный и укрвиляющій душу характеръ. Такъ и въ приведенной нами сейчась пьесь внезапное чувство мгновенной грусти тотчасъ же смѣнилось у него бодрымъ и широкимъ размахомъ прояспъвшей души:

> Меня смёшила ихъ измёна: И скорбь исчевла предо мной, Какъ исчеваеть въ чашахъ́иёна Подъ зашип'ввшею струей.

Изъ переходныхъ пьесъ Пушкина лучтія гѣ, въ которыхъ болѣе или менѣе проглядываетъ чувство грусти, такъ что пьесы, вовсе лишенным его, отзываются какой-то прозациностью, а при немъ и незначательным пьесы получаютъ значеніе. Такъ, напримѣръ, пьеска «Я пережилъ мои желанья», какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя своимъ послѣднимъ куплетомъ:

Такъ поздинмъ хладомъ пораженный, Какъ бурп слышенъ зимній свисть, Одинъ на вёткъ обнаженной Тренещегь запоздалый листъ.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтическаго раздумыя въ предестномъ стихотвореніи «Гробъ Юноша»!

> А онъ увяль во цвётё летт! И безь него друзья пирують. Другихь ужь полюбить усивы. Ужь рёдко, рёдко именують Его въ бесёдё юныхь дёвь. Изъ милыхь жень, его любившихт. Одна, быть можеть слезы льеть.

И намять радостей почившихъ Привычной думою зоветь... Къ чему?...

Все окончаніе этой прекрасной пьесы, заключающее въ себъ картину гроба юноши, дышеть такой свётлой, ясной и отрадной грустью, какую знала и дала знать міру только поэтическая душа Пушкина... Пьеса «Къ Овидію» въ ціломъ сбивается нісколько на старпнный дидактическій тонъ посланій, но въ немъ много прекраснаго, и особенно начиная съ стиха: «Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ», до стиха: «Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворенія составляєть его элегическій тонъ.

Изъ переходныхъ стихотвореній Пушкина слабъйшими можно считать: «Русалку», «Черную Шаль», «Сводъ неба мракомъ обложился». •Русалка» прекрасна по идей, но поэть не совладаль съ этой пдеей, — и кто хочеть понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзін эта пдея, тоть долженъ видёть превосходное произведение нашего даровитаго живописца Моллера. Въ этой картинъ художникь воспользовался заимствованной вы у поэта идеей несравненно лучие, чёмъ самъ поэть. «Русалка» Пункина отзывается юношеской незрѣлостью; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное создание эрълаго таланта.—«Черная Шаль» при своемъ появленін возбудила фуроръ въ русской читающей публикь, но, подобно «Гусару» Батюшкова, теперь какъ-то опошлилась и чрезвычайно нравится любетелямъ «пъсенниковь». Теперь очень не рёдкость услышать, какъ поеть эту пьесу какой-нибудь разгульный простолюдинъ вмёсть съ песней О. Глинки: «Вотъ мчится тройка удалая», или: «Ты не повършиь, какъ ты мила»... «Сводъ неба мракомъ обложился ссть не что пное, какъ отрывокъ изъ новгородской поэмы «Вадимъ», которую затьваль, было, Пушкинь вь своей юности и которой суждено было остаться неоконченной. Одинъ отрывокъ помъщенъ между «лицейскими» стихотвореніями, въ IX том'ь, подъ названіемъ «Сонъ», и Пушкинъ не хотёлъ его печатать. Стихъ отрывка «Сводъ неба мракомъ обложился» хорошъ, но прозанченъ. Герон, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкъ, -славяне; одинъ-старикъ, другой-прекрасный юноша съ кручиной въ глазахъ-

> На немъ одежда слявянина И на бедръ слявянскій мечь, Славянъ вотъ очи голубыя, Вогъ ихъ и волосы златые, Волнами падшіе до плечъ.

Старикъ-человѣкъ бывалый:

Видалъ онъ дальнія страны, По сушв, по морю носился,

Во дин былые, въ дин войны На западъ, на югъ бился, Дъля добычу и труды Съ суровымъ племенемъ Одена И поредъ нимъ враговъ ряды Бъжали, какъ морская пъиз Въ часъ бури, къ чернымъ берегамъ. Винмать опъ радостнымъ хваламъ И арфамъ скальдовъ изступленныхъ, И очи дъвъ иноплеменныхъ Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не ть славяне, которые втихомолку отъ исторіп и украдкой оть чедовъчества жили да поживали себъ въ степяхъ, болотахъ и дебряхъ нынѣшней Россіи; но славяне Карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни малейшему сомнению только въ «Исторіи Государства Россійскаго». Изъ такихъ славянъ нельзя было сдёлать поэмы, потому что для поэмы нужно дъйствительное содержавіе, и ея гороями могуть быть только действительные люди, а не ученыя фантазін и не историческія гипотезы... Кто видаль славянскіе мечи? Дреколья и теперь можно видіть... Кто видалъ славянскую боевую одежду временъ баспословнаго Вадима или баснословнаго Гостомысла?... Лапти и сермяги можно и теперь видать...

«Ифень о Въщемъ Олегь»—совсыть другое дьло: поэть умьль набросить какую-то поэтическую туманность на эту болье лирическую, чёмъ эпическую пьесу, туманность, которая очень гармонируеть съ исторической отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія и съ неопредѣленностью глухого преданія о нихъ. Отгого пьеса эта исполнена поэтической предести, которую особенно возвышаетъ раздитый въ ней элегическій тонъ и какой-то чисто русскій свладь изложенія. Пушкинъ умѣлъ сдѣлать интереснымъ даже коня Олегова,—и читатель раздёляеть съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боевого товарища:

Воть вдеть могучій Олегь со двора. Съ нимъ Игорь и старые гости, И видять: на холмв, у брега Дивпра, Лежать благородныя кости: Ихг моють дожди, засыпаеть ихь пыль, И втетеръ волнуетъ надъ ними ковыль...

Вся пьеса эта удивительно выдержана въ тонъ и въ содержании; последний куплетъ удачно замыкаеть собой поэтическій смыслъ цёлаго и оставляеть на душё читателя полное впечатлѣпіе:

> Ковши круговые запънясь шипять На тризнъ плачевной Олега: Киязь Игорь и Ольга на холмв сидять; Дружина пируеть у брега; Бойцы поминають минувшіе дни И битвы, гдв вмвств рубились опи.

Нельзя того же сказать о всёхъ переходныхъ пьесахъ Пушкина въ отношени къ выдержанности и цёлостности; во мпогихъ изъ нихъ не чувствуень, чтобъ онё были кончены на мёсть, или чтобъ въ нихъ не было сказане лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, что бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто Пушкинскія, и совершеннымъ этсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ рёзко отдёляется отъ всёхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ.

Исчисляя пьесы Пушкина въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замъчательнъйшихъ — «Наполеонъ». Это стихотвореніе двойственно: въ нѣкоторыхъ куплегахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ нѣкоторыхъ чувствуещь что-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стилами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

Надъ урной, гдъ твой прахъ лежить, Народовъ ненависть почила, И лучъ безсмертія горить.

Искуплены его стяжанья II вло воинственныхъ чудесъ Тоскою душною изгнанья Подъ сънью чуждою небесъ! и впойный островь заточенья Полночный парусъ посътпть, П путникъ слово примиренья На ономъ камив начертить, Гдф, устремивъ на волны очи, Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей, И льдистый ужасъ полуночи, И небо Франціи своей; Гдв иногда въ своей пустывъ, Забывъ войну, потомство, тронъ, Одинъ, одинъ о миломъ сынъ l'ъ изгнаныи горькомъ думалъ онъ. Да будеть омрачень позоромъ Тогъ малодушный, кто въ сей день Безумнымъ возмутитъ укоромъ Его развънчанную тънь! Хвала!. онъ русскому народу Высокій жребій указаль. II міру въчную свободу Изъ мрака ссылки завъщалъ.

Но все остальное въ этой пьесъ какъ-то ръзко отзывается тономъ декламаціи и нъсколько напряженной восторженностью, подъ которой скрывается болье раздраженія, чымь вдохновенія. Впрочемъ, и туть много оригинальнаго, что было до Пушкина неслыхано и невидано въ русской поэзіи, какъ, напримъръ, выраженія: «осужденный властитель, могучій баловень побъдъ, изгнанникъ вселенной, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своеправная воля, блистательный позоръ» и тому подобныя.

Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведении Пушкина — «Андрей Шенье», которое помѣщено во второй части и было написано уже въ 1825 году. Пять куплетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются декламаціой, которая совсѣмъ не въ натурѣ Пушкинскаго

духа и которая показываеть, какъ долго удерживалось на немъ вліяніе воспитавшей его старой школы русской поэзін. Конецъ этой пьесы тоже нѣсколько натянуть; но середина, отъ стиха: «Не узрю васъ, дни славы, дни блаженства» до стиха: «Ты, слава, звукъ пустой» — исполнены всей очаровательности Пушкинской поэзін.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немь особенно: это — «Демонъ», пьеса, которая при своемъ появленіи поразила всѣхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?.. Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло надъ ней свой судъ. Есть что то простодушно-юношеское въ ся выраженіи, и теперь нельзя безъ улыбки читать этихъ, нѣкогда столь дивныхъ, стиховъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы Всѣ впечатлѣпья бытія— И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы, И ночью пѣнье соловья— Когда возвышенныя чувства, Свобода, слава и любовь, И вдохновеныя искусства Такъ сильно волновали кровь.

и проч. Самъ этотъ демопъ, который преврасное звалъ мечтой, презиралъ вдохновеніе, не върилъ любви и свободъ, насмъщливо смотрълъ на жизнь,—самъ онъ теперъ давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ средней руки,—и теперъ совсъмъ не нужно быть демономъ, чтобъ отъ души смъяться надъ той любовью, той свободой, надъ которыми онъ смъялся. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ теперъ сгращенъ развъ только для слишкомъ юнаго чувства и неопытные теперъ уже не стращатся и другого демонъ, постращнъе Пушкинскаго. Но о «демонъ» мы еще будемъ говорить.

Предлагаемая статья есть не что иное, какъ только введение въ статън собственно о Пушкинъ. Мы имъли въ виду показать псторическую связь Пушкинской поэзіи съ поэзіей предшествовавшихъ ему мастеровъ; старались охарактеризовать Пушкина, какъ только еще ученика въпоэзіп. Предоставляемъ судить нашимь читателямь, до какой степени усићли мы въ этомъ. Главный трудъ нашъ еще впереди. Многіе, можеть быть, недовольны, что эти статьи долго тянутся и безпрестанно прерываются статьями посторонними. Такой упрекъ быль бы не совсимъ основателенъ. Задуманный и начатый нами рядъ статей нисколько не принадлежить къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальныхъ критикъ: это скорве обширная критическая исторія русской поэзін, а такой трудъ не мо-

жеть быть совершень наскоро и какъ-нибудь, но требуетъ изученія, обдуманности и труда, и времени. Въ лучшихъ ппостранныхъ журналахъ иногда рядъ статей объ одномъ предметь тянется не одинъ годъ, и публика писколько не въ претензіп за эту медленность. Оценить критически такого поэта, какъ Пушкинъ, — трудъ не маловажный, тъмъ болъе, что о немъ мало сказано, хотя и много инсано. Обыкновенно восхищались отдёльными містами и частностями, или нападали на частные недостатки,--и потому охарактеризовать особенность поэзін Пунікина, опредълить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и последовавшими его поэтами-значить предпринять трудъ совершенно новый. Какъ мы выполнимъ его-не наше дъло судить о томъ; по крайней мёрё мы хотимъ дёлать, что можемъ и что обязаны, взявшись за изданіе журнала. Несовершенство труда извинительно; но итть оправданій для льности и равнодушія къ благороднымъ, важнымъ питересамъ и вопросамъ, — равнодушія, происходящаго или отъ невѣжества. или отъ корыстнаго расчета, или отъ того и другого вмѣстѣ...

## V.

Въ гармоніи соперникъ мой Быль шумъ лісовъ, иль вихорь буйной, Иль иволги напівь живой, Иль почью моря гуль глухой, Иль шопоть річки тихоструйной.

Взглядъ на русскую критику.—Понятіе о современной критикъ.—Изслъдованіе павоса поэта, какъ первая задача критики.— Павосъ поэзіи Пушкина вообще.—Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина.

Прежде, нежели приступниъ къ разсмотрънію тахъ сочиненій Пушкина, которыя запечатльны его самобытнымь творчествомь, почитаемъ пужнымъ изложить наше воззрѣпіе на критику вообще. Досель въ русской литературь существовало два способа критиковать. Первый состояль въ разборъ частныхъ достоинствъ и недостатковъ сочиненія, изъ котораго обыкновенно выписывали лучшія или худнія мѣста, восхищались ими или осуждали ихъ, а на цълое сочинение, на его духъ и идею не обращали никакого винманія. Съ этимъ способомъ критики русскую литературу познакомили Карамзинъ и Макаровъ; первый-своимъ разборомъ сочиненій Богдановича, второй — сочиненій Динтріева. Такой способъ критики, счевидно, поверхностенъ и мелоченъ, даже ложенъ. ибо если критикъ смотрить на частности поэтическаго произведенія безь отношенія ихъ въ цёлому, то

необходимо долженъ находить дурнымъ хорошее и хорошимъ дурное, смотря по произволу своего личнаго вкуса. Подобная критика могла существовать только въ эпоху стилистики, когда на сочиненія смотръли исключительно со стороны языка и слога, и восхищались удачной фразой, удачнымъ стихомъ. ловкимъ звукоподражаніемъ и т. п. Тепері. такая критика была бы очень легка, ибо для того, чтобъ отличить хорошіе стихи отъ слабыхъ или обыкновенныхъ, теперь не нужно елишкомъ много вкуса, а довольно навыка и дитературной сибтливости. Но, какъ все въ мірѣ начинается съ начала, то и такая критика для своего времени была необходима и хороша, и въ то время не всякій могъ съ успъхомъ за нее браться, а успъвали въ ней только люди съ умемъ, талантомъ и знаніемъ дьла. Съ Мерзлякова начинается новый періодъ русской критики: онъ уже хлопоталъ не объ отдёльныхъ стихахъ и мъстахъ, но разематривалъ завязку и изложение цёлаго сочиненія, говориль о духѣ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Это было значительнымъ шагомъ впередъ для русской критики, темъ более, что Мерзляковъ критиковалъ съ жаромъ, основательностью и замьчательнымь краснорычіемь. Но, несмотря на то, его критика была безплодна, потому что была несвоевременна: онъ критиковалъ на основаніяхъ Баттё, Блера, Лагарпа, Эшенбурга, — основаніяхъ, которыя, не болье какъ черезъ инть лътъ, и въ самой Рос ін сдълались анахронизмомъ. Съ двадцатыхъ годовъкритика русская начала предъявлять претензін на философію п высшіе взгляды. Она уже перестала восхищаться удачными звукоподражаніями, красивымъ стилемъ или ловкимъ выраженіемъ, но заговерила о народности, о требованіяхъ віка, о романтизмів, о творчествь и тому подебныхъ, дотоль неслыханныхт новостяхъ. И это было также важнымъ шагомъ впередъ для русской критики, ибо если она еще и сама темно и сбрвчиво понимала свои требованія, повторяемыя ею съ чужого голоса, тъмъ не менье она произвела ими живую резицію исевдо-классическому паправленію литературы. Сверхъ того она прорва ла плотину авторитетства, когорая держали лигературу въ анатической неподвижности и иден замыняла именами. Такъ, напримъръ, првсемъ умѣ, дарованіяхъ, учености и образє ванности, которыми обладаль Мерзликовъ, онь отъ души считаль Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами. Романтическая критика первая осмелилась скватьправду объ этихъ писателяхъ и столкнуаь съ пьедестала ихъ глиняные кумиры, котторые сейчась же и развалились оть этого толчка; въдь глина — не мъдь и не мраморъ! Конечно какъ псевдо-класентеская критика Моса-

злякова въ своей старческой неподвижности не умъла видъть такой же разницы между истиннымъ поэтомъ Державинымъ и риторомъ-поэтомъ Ломоносовымъ, между огромнымъ поэтомъ Державинымъ и прозаическими стихотворцами Сумароковымъ, Петровымъ и Херасковымъ, между самобытнымъ и даровитымъ Фонвизинымъ и между холоднымъ заимствователемъ чужеземныхъ вдохновеній Княжиннымъ, между народнымъ и геніальнымъ баснописцемъ Крыловымъ п даровитымъ переводчикомъ и подражателемъ Лафонтена Дмитріевымъ, — такъ же точно п минмо-романтическая критика не замічала, вь запальчивости своего юношескаго одушевленія, неизмірнмой разницы между Пушкинымъ и вышедшими по следамъ его блестящими и даже вовсе не блестящими талантами и талантиками, и, подобно первой, въ короткое время надълала, вмъсто огромныхъ глининыхъ кумировъ, множество фарфоровыхъ и фаянсовыхъ статуэтокъ. Но, несмогря на то, она дала просторъ уму и фантазін, освободивъ ихъ отъ Прокрустова ложа авторитета и стёснительныхъ условленныхъ правиль. Жизненность романтической критики болье всего доказывается тымь, что она продолжалась менье десяти льть и родила изъ себя другую, болье строгую, хотя и не болье твердую и опредъленную критику. Передъ тридцатыми годами и особенно съ тридцатыхъ годовъ русская критика заговорила другимъ тономъ и другимъ языкомъ. Ея притязанія на философскія воззрѣнія сдѣлались настойчивъе; она начала цитовать, кстати и некстати, не только Жанъ-Поля Рихтера, Шиллера, Канта и Шеллинга, но даже и Платона, заговорила объ эстетическихъ теоріяхъ и грозно возстала на Пушкина и его школу. Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая ивсколько леть сряду провозглашала Пушкина «свернымъ Байрономъ» (какъ будто бы англійскій Байронъ родился на югь, а не на съверъ Европы) и «представителемъ современнаго человѣчества», даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ «высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка»... Несмотря на смѣшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности. Смѣшная же сторона состоитъ въ неопределенности и шаткости требованій, которыя эта критака предъявляла съ такой суровостью и профессорской важностью. Тогда ожидали отъ поэта не того, для чего быль онъ призванъ своей природой и требованіями времени, а подтверждения и оправдания теоріп, которую составиль себ'в господинь критикъ, и если творенія поэта не улегались плотно на Прокрустовомъ ложв теоріи

критика, критикъ или вытягивалъ ихъ за ноги, или обрубалъ имъ ноги (даже и головусмотря по обстоятельствамъ), или, наконецъ, объявляль, что поэтт ничтожень, маль, чуждъ высшихъ взглядовъ и отсталъ отъ вѣка. Такъ одинъ «ученый» критикъ тридцатыхъ годовъ, сравнивая Пушкина съ Байрономъ, нашелъ, что герои поэмъ Пушкина относятся къ героямъ поэмъ Байрона, какъ мелкіе бѣсенята къ сатанъ, и что, ergo, Пушкинъ никуда не годится. Этому ученому критику и въ голову не входило, что Пушкинъ такъ же точно не быль обязань быть Байрономъ, какъ Байренъ — Гомеромъ, и что Пушкина должно разсматривать, какъ Пушкина, а не какъ Байрона. Обманутому вившнимъ сходствомъ формы поэмъ Байрона, этому ученому критику еще менье входило въ голову, что между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направленіи и духѣ таланта, и что, следовательно, туть неуместно было какое бы то ни было сравнение. Другой критикъ, не ученый, но зато съ высшими взглядами, объявиль Пушкину опалу за то, что тотъ отсталъ отъ въка, т. е. отъ туманнонеопредъленныхъ теорій критика. Наконецъ. явился вскоръ послъ того третій крптикъ, изъ ученыхъ, который о какомъ бы русскомъ поэть ни заговориль, безпрестанно обращался къ итальянскимъ поэтамъ, съ которыми у русскихъ поэтовъ ничего общаго не было и быть не могло. Такимъ образомъ, если исевдоклассическая критика была ложна оттого. что основывалась только на старыхъ авторитетахъ, ничего не зная о явленіп и существовании новыхъ, а мнимо-романтическая критика была слаба оттого, что, за неимѣніемъ времени, слишкомъ поверхностно, больше по наслышкъ, чъмъ изучениемъ, познакомплась съ новыми авторитетами, - то критика тридцатыхъ годовъ была неосновательна отъ избытка эклектическаго знакомства со множествомъ теорій и образновъ.

Тдв же безопасный проходъ между Спихлой безсистемности и Харибдой теорій? Судите поэта безъ всякихъ теорій, —ваша критика будетъ отзываться произволомъ личнаго вкуса, личнаго мивнія, которое важно
для однихъ васъ, а для другихъ—не законъ;
судите поэта по какой-нибудъ теоріи, —вы
разовьете, и, можетъ быть, очень хорошо,
свою теорію, можетъ быть, очень хорошую,
но не покажете намъ разбираемаго вами
поэта въ его истинномъ свътъ. Какой же путь
должна избрать критика нашего времени?

Гёте гдь-то сказаль: «Какого читателя желаю я?—такого, который бы меня, себя и цылый міръ забылъ и жиль бы только въ книгь моей.» Нѣкоторые ньмецкіе аристархи оперлись на это выраженіе беликаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эсте-

тической критики. И однако жъ односторонность Гётевой мысли очевидиа. Подобное требование очень выгодно для всикаго поэта, не только великаго, но и маленькаго: принявъ его на въру и безусловно, крптика только н телала бы, что кланялась въ ноясъ то тому, то другому поэту, ибо, такъ какъ все имъеть свою причину и основание - даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотрѣть на произведение поэта безъ всякаго отношения къ его личности, забывъ о самомъ себъ и о цьломъ мірѣ, --естественно, что творенія этого поэта-будь они только ознаменованы большей или меньшей степенью таланта-явятся непогрѣшительными и достойными безусловной похвалы. При нёмецкой апатической теринмости ко всему, что бываеть и делается на быломъ свъть, при нъмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можеть сделаться ни чёмъ, -мысль, высказанная Гете, поставляеть некусство цълью самому себъ и черезъ это самое освобождаеть его оть всякаго соотношения съ жизнью, которая всегда выше пскусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Дъйствительно. нъмецкая критика, при разсматриваніи произведеній искусства, всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно вращается въ тъсной сферѣ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобъ обращаться изрідка къ характеристикъ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. И оттого жизнь давно уже оставила техъ нёмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождають такой критикъ! Но, съ другой стороны, мысль Гёте имьеть глубокій смысль, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый акть въ процессъ крптики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучить его. Если вы съ къмъ-нибудь горячо спорите о важномъ предметь, для васъ ничего не можеть быть больные, какъ если противникъ вашъ, не давая себъ труда вслушиваться въ ваши слова и взвъщивать ваши доводы, будеть придавать имъ другое значеніе и, следовательно, отвечать вамъ не на ваши, а на свои собственныя мысли, справедливости которыхъ и не думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтобъ съ вами спорили и понимали васъ, какъ должно, то и сами должны быть добросовъстно випмательны къ своему противнику и принимать его слова и доказательства именно въ томъ значенія, въ какомъ онъ обращаетъ ихъ къ вамъ. Но еще добросовъстные и строже должно прилагаться это правило къ критикв: разбираемый вами поэть, какъ лицо судимое,

часто безотвътное, не можеть въ минуту вашего кривотолкованія остановить васъ и доказать вамъ, что вы не такъ его поняли. Сверхъ того, все имбетъ свою причину и свое основаніе, а человікъ, но самолюбію или по пристрастію къ извъстнымъ увлекшимъ его пдеямъ, любитъ всему давать свои причины н основанія, которыя потому пменно и покажутся ему петиными, что онп-его, а не чы-нибудь. Этой слабости подвержены не одни только ограниченные люди и невѣжды, но п умы сильные, широкіе, особенно если они нетериаливы и не хладнокровно пытливы. Иногда человъку мѣшаетъ видѣть вещи въ настоящемъ ихъ свъть даже то, что составляеть его истинное достопиство. Что, напримъръ, выше и почтеннъе въ человъкъ, какъ не способность глубокаго убъждения?-А между тъмъ она-то и заставляетъ человъка враждебно смотръть на всякую мысль, противоръчащую его убъжденію, — и часто онъ темъ упряме отвергаеть ся истипность, чьмъ односторониће его убъжденіе, которое такъ твено елилось со вевыъ его существомъ, что онъ не въ состояни отделить его отъ себя. И однако жъ всякое изследование непремънно требуетъ такого хладнокровія п безпристрастія, которыя возможны человѣку только при условін полнаго отрицанія своей личности на время изследованія. Поэтому, чтобъ произнести суждение о какомъ-набудь поэть, тымь болье о великомь, должно сперва изучить его, а для этого должно войти въ міръ его творчества не иначе, какъ забывъ его, себя и все на свътъ. Въ этотъ міръ не должно виссить никакихъ требованій, никакихъ заранье приготовленныхъ понятій и вопросовъ, никакихъ страстей, а тымь менье — пристрастій, никакихь убыжденій, а тімь меніе-предубіжденій. Надо совершенно отказаться оть роли судьи и актера, и ограничиться только ролью посторонняго любопытнаго свидьтеля и эрптеля. Такъ точно, если вы въйзжаете въ чужую землю съ цълью изучить ен нравы и обычан, вы должны забыть на время, что вы гражданинъ своей земли, и сдълаться совершеннымъ космополитомъ. Иначе обычаи этой чуждой вамъ страны будете вы оценять на курсъ обычаевъ вашего отечества и естественно найдете въ ней хорошимъ только то, что сходно съ обычаями вашего отечества, а все противоположное или не похожее на нихъ безусловно признаете дурпымъ. Вей народы потому только и образують своей жизнью одинъ общій аккордъ всемірно-исторической жизни человёчества, что каждый изъ нихъ представляетъ собой особенный звукъ въ этомъ аккордъ, ибо изъ совершенно одинаковыхъ звуковъ не можетъ выйти аккордъ. Какъ самое худшее, такъ и самое

лучиее въ каждомъ наредъ есть то, что принадлежить только одному ему и что противоположно худшему и лучшему или по крайней мфрф несходно съ худинимъ и лучшемъ всякаго другого народа.) Общее выше частнаго, безусловное выше индивидуального, разумъ выше личности, - это истина песомитиная, противъ которой нечего сказать; но въдь общее выражается въ частномъ, безусловное-въ индивидуальномъ, а разумъ-въ личности, и безъ частнаго индивидуальнаго и личнаго общее безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая действительность. Творческая діятельность поэта представляеть собой также особый, цёльный, замкнутый въ самомъ себъ міръ, который детжится на своихъ законахъ, имъстъ свои причины и свои основы, требующія, чтобъ шхъ прежде всего приняли за то, что опъ суть на самомъ дълъ, а потомъ уже судили о нихъ. Всъ произведенія поэта, какъ бы ни были разнообразны и по содержанію, и по форм'є, им'єють общую всімъ имъ физіономію, запечатліны только имъ свейственной особностью, ибо всю они истекли изъ одной личности, изъ единаго и нераздельнаго я. Такимъ образомъ, приступан къ изученію поэта, прежде всего должно уловить въ многоразличии и разнообразіи его произведеній тайну его личности, т. е. т. особности его духа, которыя принадлежать только ему одному. Это, впрочемъ, значитъ не то, чтобъ эти особности были чемъ-то частнымъ, исключительнымъ, чуждымъ для остальныхъ людей: это вначитъ, что все общее человъчеству никогда не является въ одномъ человѣкѣ, но каждый человѣкъ, въ большей или меньшей мёрё, родится для того, чтобъ своей личностью осуществить одну изъ безконечно разнообразныхъ сторонъ необъемлемаго, какъ міръ и вѣчность, духа человъческиго. Въ этой миссін въчной инкарнацін занлючается все достопнство, вся важность личности: ибо она есть осуществленіе, реализація. дійствительность духа. Личность одна не можетъ всего обнять, и потому, будучи этимъ, она уже не есть то или это; представляя собой начто, она уже есть исключение изъ всего. Личности безчисленны и разнообразны, какъ стороны духа человьческаго; каждая существуеть потому, что необходима, следовательно, каждая иметь законное право на существование. Поэтому ничего исть несправедливье, какъ мерять чью-либо личность аршиномъ другой личности, которан всегда или противоноложна, или чемъ-нибудь развится отъ нея. Есть въ мір'в люди хладнокровные, люди пылкіе и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осторожные: пылкій скажеть ложь, если скажетъ, что хладнокровные люди излишни въ мірь и что лучше было бы, если бъ ихъ не

было; точно такъ же ложно будетъ подобное суждение и хладнокровнаго о пылкомъ.

Итакъ, источникъ творческой двятелиности поэта есть его духъ, выражающійся въ его личности, и перваго объясненія духа и характера его произведеній должно искать въ его личности. А это возможно только при строгомъ соблюдении требования, которое дълаеть Гёте оть своего читателя. Всякая личность есть истина, въ большемъ или меньшемъ объемъ, а истина требуетъ изслъдованія спокойнаго и безпристрастнаго, требуеть, чтобъ къ ен изследованію приступали съ уваженіемь къ ней, по крайней мара безъ припятаго заранте решенія найти ее ложью. Но, скажуть, если всякая личность есть истина, то и всякій поэть, какь бы ни быль ничтоженъ, долженъ быть изучаемъ по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во-первыхъ, не всякій, кто пишеть стихи, выражаеть свою личность: выражаеть ее тоть, кто родился поэтомъ; во-вторыхъ, не всякая личность, но только замфчательная, стоить изученія; вътретьихъ, не всякій человькъ есть личность, но многіе люди, по своей безличности, походять на плохо оттиснутую гравюру, въ которой, какъ ни бейся, не отличишь дерева отъ коппы свна, лошади отъ дома, а деревяннаго чурбана отъ человѣка. Природа ли производить или воспитание и жизнь дёлають ихъ такими, -- это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы насъ. если бъ мы вздумали объ этомъ разсуждать; намъ довольно только сказать, что есть на свътъ безличныя личности, что ихъ, къ несчастью, гораздо больше, чёмъ личныхъ, и что чемъ личность поэта глубже и сильнее. темъ онъ более поэтъ. Приступить съ такими важными спорами къ суду надъ маленькимъ поэтомъ-все равно, что описать жизнь какого-нибудь столопачальника въ земскомъ судѣ слогомъ Плутарха, автора бюграфій Александра Македонскаго, Цеваря и другихъ великихъ людей дрегности, или, съвъ въ лодку, чтобъ покататься по болоту, поставить передъ собой компасъ и раздожить морскую карту. Но темъ более должно остерегаться приступать безъ особеннаго вниманія къ изучению великаго поэта, въ творенияхъ котораго отражается великая личность. Если вы изучили ее съ строгимъ безпристрастіемъ и поняли върно, вы уже не носитесь по волё вётра въ воздушныхъ простран (твахъ своей прихотливой фантазін, но стоите твердой ногой на прочной почвь; вы уже не требуете отъ поэта того, чего бы хотѣлось вамъ, но оценяете то, что онъ самъ вамъ даль, вы не смешиваете съ нимъ себя или другія личности, но видите его самого такимъ, какимъ онъ есть, не навязываете ему своихъ убъжденій или предубъжденій. по

взвъщиваете его илен, его понятія. Вы сроднились съ нимъ, истому что изучили его: вы полюбили его, потому что поняли. Вы знаете, почему онъ шелъ этимъ путемъ, а не другимъ; вы не объявите его ничтожнымъ, потому что въ немъ нътъ ничего общаго съ Байрономъ или другимъ любимымъ вами поэтомъ; вы не скажете о немъ, что онъ отсталь отъ въка, потому что не читаетъ вашего журнала и не върптъ вашимъ залетнымъ, но и сбивчивымъ, туманнымъ и неопределеннымъ предчувствіямъ, которыя вы смъло выдаете за пден и высшіе взгляды. Нъть, вы будете судить о немъ на основания его личности, будете отъ него требовать голько того, что могь бы онъ сдёлать на основаніи уже сділаннаго имъ. Когда вы кончите его изучение, проникните въ сокровенный духъ его поэзін, уловите тайну его личности, тогда правило Гёте, что читатель поэта долженъ забыть читаемаго имъ поэта, самого себя и весь міръ, вы имѣете право откинуть прочь, какъ уже лишнее и непужпое. Ваша личность снова вступаетъ въ свои права, и вы изъ ученика дълаетесь судьей. Вы требуете отъ поэта, чтобъ онъ быль въренъ не вами предписанному ему направленію, но своему собственному, чтобъ онъ не противоръчилъ себъ самому, своей собственной натуръ, не уклонялся отъ своего призванія (ибо вы поняли его призваніе изъ его же собственныхъ твореній, а не навязали ему его оть себя), словомъ, вы требуете отъ него той внутренней последовательности, которая составляетъ необходимое условіе всякой разумной діятельности. И если вы находите, что онъ сдёлалъ меньше, чёмъ бы могъ сделать, меньше, нежели сколько самъ далъ право требовать отъ него, что онъ измънялъ стремленію собственнаго духа, вы сміло изречете ему свой приговоръ, и это однако жъ не помъщаетъ вамъ отдать ему полную справедливость въ томъ, что составляеть его неотъемлемую заслугу. Вы отличите въ его твореніяхъ недостатки произвольные отъ недостатковъ, которые тъсно соединены съ достоинствами его поэзін и составляють ихъ оборотную сторону. При этомъ вы строго вникните въ обстоятельства, которыя, независимо отъ его воли, не могли не имъть большаго или меньшаго вліннія на его дъятельность и больше всего на духъ времени, въ которое онъ явился, на нравственное состояние, въ которомъ онъ засталь общество, и покажете, шель ли онъ наравнъ съ своимъ временемъ, былъ ли его хорегомъ, или только старался подпѣвать подъ его пѣсни. Обстоятельства его частной жизни только тогда войдуть въ ваше разсмотрѣніе, когда они будуть въ живой связи съ его твореніями. Есть поэты, которыхъ жизнь тёсно свя-

зана съ ихъ поэзіей, и есть поэты, которыхъ важна только нравственная жизнь. Этого различія, вытекающаго изъ свойства личности, не должно терять изъ вида. Гёте также нельзя мёрять на мёрку Байрона, какъ и Байрона нельзя мърять на мърку Гете: это были натуры діаметрально противоположныя одна другой, и кто бы осудиль Гёте, что онъ жиль и писалъ не въ такомъ духв, какъ Байронъ, или наоборотъ, тотъ сказалъ бы величайшую нельпость. Это все равно, что отъ могучаго слона требовать быстроты и ловкости тигра, или наоборотъ; и слонъ, и тигръ, каждый посвоему хорошъ и необходимъ въ цени природы. Натуры Гёте и Шиллера были діамегрально противоноложны одна оть другой, к однако жъ самая эта противоположность была причиной и основой взаимной дружбы и взаимного уваженія обоихъ великихъ поэтовъ: каждый изъ нихъ поклонялся въ другомъ тому, чего не находилъ въ себъ. Задача критики состоить совскив не въ томъ, чтобъ ръшить, почему Гёте жиль и писаль не такъ, какъ жилъ и писалъ Шиллеръ; но въ томъ, почему Гёте жиль и писаль, какь Гёте, а не какъ вто-нибудь другой...

Но какимъ же образомъ уловить тайну личности поэта въ его твореніяхъ? Что должно ділать для этого при изученін произведеній его?

Пзучить поэта — значить не только ознакомиться, черезъ усиленное и повторяемое чтеніе, съ его произведеніями, но и перечувствовать, пережить ихъ. Всякій истинный поэть, на какой бы степени художественнаго достоивства ни стояль, а темъ более всякий великий поэть никогда и ничего не выдумываеть, но облекаеть въ живыя формы обще-человъческое. И потому въ созданіяхъ поэта люди. восхищающиеся ими, всегда находять что-то давно знакомое имъ, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только емутно и неопредбленно предощущали, или о чемъ мыслили, но чему не могли дать яснаго образа, чему не могли найти слова, и что, следовательно, поэть умёль только выразить. Чемъ выше поэгь, т. е. чемъ обще-человъчественнъе содержание его поэзін, тъмъ проще его созданія, такъ что читатель удивляется, какъ ему самому не вошло въ годову создать что-нибудь подобное: въдь это такъ просто и легко! Сочиненія, въ которыхъ люди ничего не узнають своего и въ которыхъ все принадлежить поэту, не заслуживають никакого вниманія, какъ пустяки. На этой то общности, по которой создание поэта столько же принадлежить всему человвчеству, сколько и ему самому, -на этой-то общности и основывается возможность всемъ и каждому, въ комъ есть человическое (т. с. духовное, разумное), переживать произва-

денія художника, изучая ихъ. Пережить творенія поэта-значить перепосить, перечувствовать въ душъ своей все богатство, всю глубину ихъ содержанія, перебольть ихъ болъзнями, перестрадать ихъ скорбями, переблаженствовать ихъ радостью, ихъ торжествомъ, ихъ надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи нівкоторое время подъ его нсключительнымъ вліяніемъ, не полюбивъ смотреть его глазами, слышать его слухомъ, говорить его языкомъ. Нельзя изучить Байрсна, не бывъ нъкоторое время байронистомъ въ душъ, Гёте-гётистомъ, Шиллера-шиллеристомъ, и т. д. Конечно, такое добровольное подчиненіе чуждому вліянію есть еще только экстатическое увлечение поэтомъ, а не спокойное, строгое и истинное его понимание-и до этого пониманія можно дойти только черезъ переходъ изъ восторженнаго увлеченія къ хладнокровно-спокойному созерцанію, но это увлечение поэтомъ есть первый и необходимый моменть въ процессь его изученія. И потому нельзя въ одно время изучить болѣе одного ноэта, нельзя на это время не считать его выше всёхъ другихъ поэтовъ, нельзя не утратить своей способности понимать произведенія другихъ поэтовъ и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обойметь и наполнить собой человъка. что сделается костью оть костей его, плотью оть плоти его, - въ душь человька уже ньтъ мвста для другой мысли!

Обще-человическое безгранично только въ своей идев; но осуществляясь, оно принимаеть извёстный характерь, извёстный колорить, такъ сказать. Оттого, хотя всв ведикіе поэты выражали въ своихъ созданіяхъ обще-человъческое, однако жъ творенія каждаго изъ инхъ отличаются своимъ собственнымъ характеромъ. Великъ Шексипръ и великъ Байронъ; но рѣзкая черта отличаетъ творенія одного оть твореній другого. Чёмъ выше поэть, темъ оригинальные мірь его творчества, и не только великіе, даже просто замьчательные поэты тымь и отдичаются оть обыкновенныхъ, что ихъ поэтическая дъятельность ознаменована цечатью самобытнаго и оригинальнаго характера. Въ этой характерной особенности заключается тайна ихъ личности и тайна ихъ поэзін. Уловить и опредълить сущность этой, особности — значить найти ключь къ тайнѣ личности и поэзіп поэта. Въ чемъ же должно искать этого

Каждое поэтическое произведение есть илодъ могучей мысли, овладъвшей поэтомъ. Если бъ мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дъятельности его разсулка, мы убили бы этимъ не только пскусство, но и самую возможность пскусства. Въ самомъ дълъ, что мудренаго было бы сдълаться по-

этомь, и кто бы не въ состояніи быль сдідаться поэтомъ по нужде, по выгоде или по прихоти, если бъ для этого стоило только придумить какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную же форму? Нътъ, не такъ это дълается поэтами по натуръ и призванію! У того, кто не поэть по натурь, пусть придуманная мысль будеть глубока, истинна, даже свята, произведение все-таки выйдеть мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, —и никого не убъдить оно, а скоръе разочаруетъ каждаго въ выраженней имъ мысли, несмотря на всю ен правдивость! Но между тымъ такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуеть она отъ поэтовъ! Придумайте ей на досугъ мысль получше, да потомъ и обделайте ее въ какой-нибудь вымысель, словно брильянть въ золото! Вотъ и дело съ концомъ! Нетъ. не такія мысли и не такъ овладівають поэтомъ и бывають живыми зародыщами жи выхъ созданій. Искусство не допускаеть къ себъ отвлеченныхъ философскихъ, а тъмъ менье разсудочных идей: оно допускаеть только плеи поэтическія, а поэтическая плея -это не силлогизмъ, не догматъ, не правило, это-живая страсть, это-и воосъ. Что такое паеосъ? Творчество не забава, и художественное произведение-не плодъ досуга или прихоти; оно стоить художнику труда: онь самъ не знаеть, какъ западаеть въ его душу зародышь новаго произведенія; онь но сить и вынашиваеть въ себъ зерно поэтической мысли, какъ носить и вынашиваеть мать младенца въ утробъ своей; процессъ творчества имжеть аналогію съ процессомъ дъторожденія и не чуждъ мукъ, разумъется, духовныхъ, этого физическаго акта. И потому, если поэтъ ръшится на трудъ и подвигъ творчества, значить, что его къ этому движегь, стремить какая-то могучая сила, какая-то непобъдимая страсть. Эта сила, эта страсть—паносъ. Въ паносъ поэть является влюбленнымъ въ ндею, какъ въ прекрасное, живое существо, страстно проникнутымъ ей, —и онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ и не какой-либо одной способностью своей дунии, но всей полнотой и цълостью своего нравственнаго бытія,-потому идея является въ его произведенін не отвлеченной мыслью, не мертвой формой, а живымъ созданіемъ, въ которомъ живая красота формы свидьтельствуеть о пребливания въ ней божественной пден, и въ которой ньть черты, свидьтельствующей о синвкъ или спайкъ, -- иътъ границы между идеей и формой, но та и другая является цьлымъ и единымъ органическимъ созданіемъ. Иден истекають изъ разума; но живое творить и рождаеть не разумь, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеей отвле-

ченной и поэтической: первая-плоль ума, вторая—илодъ любви, какъ страсти. Но отчего же, скажуть, называть это павосомъ, а не страстью?-Оттого, что слово «страсть» заключаеть въ себъ понятіе болье чувственное. тогда какъ слово «паносъ» заключаетъ въ себъ понятіе болье нравственное. Въ страсти много индивидуального, личного, своекорыстнаго, темнаго: въ ней можетъ быть даже низкое и подлое, потому что можно питать страсть не только къ женщинъ, по и къ женщинамъ, не только къ славъ, но и къ почестямъ, можно интать страсть къ деньгамъ, къ вину, къ гастрономін. Въ страсти много чисто чувственнаго, кровнаго, нервическаго, телеснаго, земного. Подъ «павосомъ» разумъется тоже страсть, и при томъ соединенная съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ и всякая другая страсть; но панось всегда есть страсть, возжигаемая въ душѣ человѣка и деей и всегда стремящаяся къ идев, следовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Павосъ простое умственное постижение идеи превращаеть въ любовь къ идеъ, полную энергіи и страстнаго стремленія. Въ философін идея является безплотной; черезъ навосъ она превращается въ тьло, въ дъйствительный фактъ, въ живое созданіе. Оть слова на вось или патось (pathos) происходить слово патетическій, напболье употребляемое въ отношевін къ драматической поэзіп, какъ къ напболье исполненной навоса по своей сущности. Но мы дучие объяснимъ значение павоса указаниемъ на него въ великихъ произведеніяхъ искус-

<u> Паоосъ Шекспировской драмы «Ромео и</u> Джюльета» составляеть идея любви, — и потому пламенными волнами, сверкающими яркимъ светомъ звездъ, льются изъ усть любовниковъ восторженныя патетическія ръчи... Это навосъ дюбви, потому что въ лирическихъ монологахъ Ромео и Джюльеты видно не одно только любование другь другомъ, но и торжественное, гордое, исполненное упоенія, признаціе любви, какъ божественнаго чувства. Въ тахъ монологахъ Ромео и Джюльеты, когда ихъ любви начало угрожать несчастье, бурнымъ потокомъ изливается энергія раздраженнаго чувства, вдругъ встрѣтившее препятствіе своему вольному и широкому разливу.—Навосъ «Гамлета» составляеть борьба негодованія на порокъ н преступление съ безсилиемъ вступить съ ними въ открытый и отчаянный бой, какъ того требуеть сознание долга. Гамлеть въ покойномъ королъ страстно любилъ отца и высоко уважалъ великаго человѣка; -- этотъ король въроломно, измъннически убитъ — и къмъ же?--шутомъ и пьяницей, человъкомъ бездушнымъ и подлымъ, который укралъ у сво-

его родного брата и корону, и жизнь, и честь его жены, Гамлетовой матери, которая, по ничтожеству своего характера, делить съ убійцей своего царя и брата, а ея мужа, неправедно добытую власть и оскверненное прелюбодьниемъ ложе!... Сколько причинъ для Гамлета метить неумолимо, страшно за поруганное право, за гръхъ цареубійства и братоубійства, за порокъ матери, за украденную подъ полой корону, за добродътель, за величе, за себя самого!.. Онъ знаетъ, что ему должно ділать, на что его вызвала судьба.и онъ робъеть предстоящаго подвига, блёднъетъ страшнаго вызова, колеблется п только говорить, вмёсто того чтобъ делать, въ своей позорной первинтельности. Но если елаба его воля, то душа его столько же велика, сколько и чиста. Опъ это сознаеть, -- и съ какой горечью, съ какой страстью высказывается его презрѣніе къ самому себъ вь этихъ большихъ монологахъ, которые тотчась, какъ сиъ остается одинъ и сдерживаемое досель чувство получаеть свободу, вырываются изъ него, словно огромная ръка, скинувиная съ себя вешній ледъ и затопляющая окрестныя поля... Въ этихъ патетическихъ монологахъ выказывается весь наоосъ эгой трагедія, выступаеть наружу та внутренния эксцентрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо, чтобъ сложить съ души своей тяготившее ее бремя... Такихъ примъровъ можно было бы привести много, но для объясненія наплей мысли довольно и этихъ друхъ.

Итакъ, каждое <u>поэтическое произвед</u>еніе должно быть плономъ паооса, должно быть проникнуто имъ. Безъ паооса нельзя пснять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу и возможность начать п кончить пногда довольно большое сочинение. Поэтому выраженія: «въ этомъ произведеніи есть идея, а въ этомъ нѣтъ идеп», не совсѣмъ точны к опредъленны. Вывсто этого должно говорить: «Въ чемъ состоить паоось этого произведенія?» или «въ этомъ произведеніи есть павось, а въ этомъ нѣтъ». Это будеть гораздо опредълените и точите: потому что многіе ошибочно принимають за идею то, что можеть быть идеей вездь, кромь произведенія, гдь ее думають видьть, и гдь она въ самомъто дель является просто резонерствомъ, коекакъ прикрытымъ спивными лохмотьями бъдной формы, изъ-подъ которой такъ и сквозить его нагота. Павосъ-другое дело. Надо быть совершенно лишеннымъ всякаго эстетического такта, чтобъ увидъть павосъ въ произведении холодномъ; мертвомъ, въ которомъ идея съ формой слиты какъ масло съ водой или сшиты на живую нитку бълыми стежками.

Какъ ни многочисленны, какъ ни разно-

образны созданія великаго поэта, но каждое изъ нихъ живетъ своей жизиью, а нотому и имбеть свой навось. Темъ не мене весь міръ творчества поэта, вся-полнота его поэтической деятельности тоже имьеть свой единый пасось, къ которому пасосъ каждаго отдельнаго произведенія относится какъ часть къ цьлому, какъ отганокъ, видоизмънение главпой иден, какъ одна изъ-ея-безчисленныхъ сторойъ. И это относится не къ однимъ одностороннимъ поэтамъ, каковъ былъ, напр., Байронъ, но также и къ такимъ, которыхъ произведенія удивляють своей многосторонностью и многоразличіемъ направленій, каковъ, напр., Шекспиръ. И это очень естественно: всякая личность единична; у ней можетъ быть много интересовъ и направленій, но всегда подъ преобладающимъ вліяніемъ одного главнаго; а такъ какъ личность есть живой и непосредственный источникъ творческой діятельности, то и всі произведенія поэта должны быть запечатліны едпнымъ духомъ, пропикнуты единымъ навосомъ. И вотъ этотъ-то паоосъ, разлитый въ полноть творческой дьятельности поэта, есть ключь къ его личности и къ его поззии. Первымъ деломъ, первой задачей критика должна быть разгадка, въ чемъ состоитъ навосъ произведений поэта, котораго взялся онъ быть изъяснителемъ и оценицикомъ. Безъ этого онъ можетъ раскрыть нікоторыя частныя красоты или частные недостатки въ произведеніяхъ поэта, наговорить много хорошаго à propos къ нимъ; но значение поэта и сущность его поэзін останутся для него такъ же тайной, какъ и для читателей, которые думали бы найти въ его критпкъ разрѣшеніе этой тайны. Сверхъ того, онъ рискуетъ быть или пристраетнымъ хвалителемъ, или, что одно и то же, пристрастнымъ порицателемъ поэта, принисать ему достопиства и недостатки, которыхъ въ немъ нътъ, или не замътить тъхъ, которые въ немъ есть. Но главное-опъ всегда ошибется въ общемъ выводъ своихъ изслъдованій о поэть. Именно такимъ образомъ грвинла противъ поэтовъ русская критика тридцатыхъ годовъ. Такъ, наприм., одинъ критикъ того времени поставиль въ величайшую вину поэзіп Жуковскаго то, что она совершенно лишена народности. Если бъ онъ поняль, что пасосъ поэзін Жуковскаго есть романтизмъ-плодъ жизии западной Европы въ средне въка и, слъдовательно, элементъ, котораго совершенно чужда русская народность, онъ не сталь бы нападать на знаменитаго поета за то, что составляеть его величайшую заслугу.

Говоря о такомъ многостороннемъ и разнообразномъ поэтъ, какъ Пушкивъ, нельзя не обращать вниманія на частности, нельзя не указывать въ особенности на то пли другое

даже изъ мелкихъ его стихотвореній, и темъ менье можно не говорить отдельно о каждой изъ большихъ его пьесъ; нельзя также не дълать изъ него большихъ или меньшихъ выписокъ; но, ограничивнись только этимъ, критикъ не далеко бы ушелъ. Прежде всего нуженъ взглядъ общій не на отдельныя пьесы, а на всю поэзію Пушкина, какъ на особый и цільні міръ творчества. Этоть общій взглядь будеть, въ лабиринть разнообразныхъ и многочисленныхъ твореній поэта, аріадицной нитью и для критика, и для его читателей; при помощи этого взгляда сдвлаются полятными и всь частности, и не будетъ нужды обращать вниманія на каждую изъ нихъ, а только на главивнини. Разумъется, этотъ общій взглядъ долженъ быть основанъ на върномъ уразумении павоса поэта. Но какъ объяснить и определить паөось - предварительно ли это сдёлать, такъ чтобы указаніями на отдільныя пьесы только подтверждать свою мысль, или начать аналитически и изъ разбора частностей дойти до опредъленія павоса? Мы думаемъ, что первое лучие, ибо творенія Пушкина такъ извъстны всъмъ и каждому, что можно говорить объ общемъ значении его поэзін, не боясь не быть понятымъ. При томъ же наше дело-раскрыть передъ читателями не процессъ нашего изученія Пушкина, а оправдать результать этого изученія.

Много и многими было писано о Пушкинь. Всв его сочийения не составляють и сотой доли порожденныхъ пми печатныхъ толковь. Один споры классиковъ съ романтиками за «Руслана и Людинду» составили бы порядочную книгу, если бы ихъ извлечь изъ тогдашиихъ журналовъ и издать вмъстъ. Но это было бы интересно только какъ исторический фактъ лигературной образованности и литературныхъ правовъ того времени, — фактъ, узнавъ который, нельзи не воскликнуть:

Свъжо предавіе, а върится съ трудомъ.

И таковы всё толки наших аристарховъ о Пушкинь, и хвалебные, и порицательные; изъ нихъ ничего не извлечень, инчёмъ не воспользуенься. Исключеніе остается только за статьей Гоголя «О Пушкинь» въ «Арабескахъ», изданныхъ въ 1835 году. Объ этой замъчательной статьъ мы еще не разъ вспомянемъ въ продолженіе нашего разбора.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собой разумбется, что одинъ онъ этого сдблать не могъ. Въ первыхъ нашихъ статьяхъ мы изложили весь ходъ изящной слевесности на Руси, показали начало и развите ея поязіи, уча-

стіе, какое принимали въ этомъ предшествовавшіе Пушкину поэты, равно какъ п ихъ заслуги. Повторимъ здѣсь уже сказанное нами сравнение, что всв эти поэты относится къ Пушкину, какъ малыя и великія ріки-къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важиве ръкъ; но безъ нихъ оно не могло бы обравоваться. Такое сравнение не можеть быть оскорбительно для поэтовъ, предшествовавшихъ Пушкину, особенно если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая двятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрълые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинъ, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвътъ льть и силы. Чтобъ изложить нашу мысль сколько возможно яснёе и доказательнее, мы посвятили особую статью на разборъ не только ученическихъ стихотвореній ребенка-Пушкина, но и стихотвореній юноши-Пушкина, носящихъ на себъ слъды вліянія предшествовавшей школы. Эти последнія стихотворенія несравненно ниже техъ, въ которыхъ онъ явился самобытнымъ творцомъ, но въ то же время они и далеко выше образцовъ, подъ влінніемъ которыхъ были написаны. Тогда же мы замѣтили, что въ первой части «Стихотвореній Александра Пушкина» (1829) пьесъ, писанныхъ подъ вліяніемъ прежней школы, больше, чёмъ во второй, а въ третьей ихъ уже нътъ вовсе, но что и въ первой части почти на половину находится самобытныхъ стихотвореній Пушкина. Эта первая часть заключаеть въ себь стихотворенія, писанныя отъ 1815 до 1824 года; они расположены по годамъ, и потому можно видъть, какъ съ каждымъ годомъ Пушкинъ являлся менве ученикомъ и подражателемъ, хотя и превзошедшимъ своихъ учителей и образцовъ, и болье самобытнымъ поэтомъ. Вторая часть заключаеть въ себъ пьесы, писанныя отъ 1825 до 1829 года, и только въ отдёлё стихотвореній 1825 года замътно еще пъкоторое вліяніе старой школы, а вы ньесахы следующихь затыть годовь оно уже исчезло совершенно. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся вліяніемъ прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на Руси поэзія прежде Пушквна; но, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не вършшь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, новъ и свъжъ міръ его поэзіи! Туть нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто столь неуклюжій и прозаическій, нередко бываеть въ поэтическомъ отношени могучъ, прокъ, но въ отношеній къ просодій, грамматикъ, синтаксису и особенно къ акустическимъ требованіямь языка онъ ипже стиха не только Дмитріева, но и Карамзина; стихъ Дмитріева и даже Озерова во всёхъ этихъ отношеніяхъ неизмъримо ниже стиха Жуковскаго и Батюшкова, — п было время, когда нельзя было не върить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дощель до крайней и последней степени совершенства, — и между тымь этоть стихь относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковскаго и Батюшкова... Правда, вноследствін, т. е. при Пушкинъ, стихъ Жуковскаго много усоверпіенствовался и въ переводь «Шильйонскаго Узника», а также отчасти и въ переводъ «Суда въ Нодземельи» походилъ на крвикую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную крыпость, эту необыкновенную сжатость н тяжело-упругую энергію ему сообщиль тонь поэмы Байрона и характеръ ея содержанія,п Пушкинъ, если бы онъ написалъ поэму въ такомъ тонъ и духъ, конечно, умълъ бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковскаго, - чему можеть служить доказательствомъ его поэма «Мѣдный Всадникъ». Обращансь къ общей характеристикъ стиха Жуковскаго и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствін эстетическаго чутья и такта можно не видъть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихъ: ибо подъ стихомъ разумьемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли, форму, которая одна прежде и больше всего другого свильтельствуеть о действительности и силь таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется; -- стихъ, который, какъ тьло человька, есть откровеніе, существленіе души-иден; -стихъ, которому нельзя выучиться, нельзя подражать, нодъ который всякая поддълка, какъ бы ин была она ловка и искусна, всегда будетъ мертва, относясь къ нему, какъ пскусно-сдъланная восковая статуя или автомать относится къ живому человеку. И потому стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его пьесахъ вдругъ какъ бы сдъдавшій крутой новороть или ръзкій разрывъ въ исторіи русской поэзін, нарушившій преданіе, явившій собой что-то небывавшее, непохожее ии на что прежнее, -- этотъ стихъ быль представителемъ новой, дотолъ небывалой поэзіп. И что же это за стихъ! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельной игрой романтической риемы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полноть; онъ ньженъ, сладо-

стенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густь, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовоненъ, какъ весна, кръпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукъ богатыря. Въ немъ и обольстительная, невыразиман прелесть и грація, въ немъ ослепительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодіи и гармоніи языка и риема; въ немъ вся нъга, все упоеніе творческой мечты, поэтического выраженія. Если бъ мы хотели охарактеризовать стихъ Нушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный, артистическій стихъ, — и этимъ разгадали бы тайну павоса всей поэзіи Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглощаеть всего вашего вниманія: не ей исключительно удивляетесь вы: вась болбе всего поражаетъ и занимаетъ раздитое въ поэзіп Гомера древне-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Вы на Олимпъ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевь; вы очарованы этой благородной простотой, этой изящной патріархальностью героическаго въка народа, нъкогда представлявшаго въ лица своемъ цалое человачество; но поэтъ остается у васъ какъ бы въ сторонь, и его художество вамь кажется чымь-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмъ, и потому вамъ какъ будто не приходить въ голову остановиться на немъ и подиваться ему. Въ Шекспиръ васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокій сердцев'єдець, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ, разсуждая о великомъ математикъ, указывають на его заслуги наукъ, не говоря объ удивительной силъ его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзін Байрона прежде всего обойметь вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смелость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзін Гёте передъ вами выступаеть поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинь внутренняго міра души человѣка. Вь поэзін Шиллера вы преклонитесь съ дюбовью и благоговениемъ дередъ трибуномъ человъчества, провозвъствикомъ гуманности, страстнымъ поклониикомъ всего высокато и правственно-прекраснаго. Въ Пушкинъ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всеми чарами поэзін, призваннаго для искусства, какъ дли искусства, псполнепнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящего все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всв достопиства, всв недостатки его

поэзін, — и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенной полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слёдствіе, какъ оборотную сторому его же достоинствъ...

Призваніе Пушкина объясняется исторіей нашей литературы. Русская поэзія—пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выражениемъ жизни въ общирномъ значеніи этого слова, обнимающаго собой весь міръ физическій и правственный. До этого ее можеть довести только мысль. Но, чтобъ быть выраженіемъ жизпи, поэзія прежде всего должна быть поэзіей. Для искусства нъть никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозанчно. Такое произведеніе похоже на женщину съ великой душой, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тымъ немножко любви сделало бы счастливее, чемъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивление. Произведенія непоэтическія безплодны во всьхъ отношенияхъ; между тъмъ какъ произведенія на половину прозапческія бывають полезны для общества и для частныхъ людей; но они дійствують и въ этомъ отношенін только на половину. Гдв помнять начадо поэзіп, гдт поэзія явилась не какъ плодъ національной жизни, а какь плодъ цивилизацін, тамъ для полнаго развитія поэзін нужно прежде всего выработать поэтическую форму; нбо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіей, а потомъ уже выражать собой то и другое. Воть причина явленія Пушкина такимъ, какимъ онъ былъ, и вотъ почему онъ ничњиъ другимъ быть не могъ. До него у насъ не было даже предчувствія того, что такое искусство, художество, которое составляеть собой одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа чедовъческаго. До него поэзія была только краснорфчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась накъ удобное средство для доброй цьли, какъ бълила и румина для бльднаго лица старушки-истины. Это мертвое понятіе о пользь поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъназываемую дидактическую поэзно и было выражено Мерзляковымъ въ следующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счастливецъ обольщенъ, пьетъ горькое цъленье, Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

√ Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченной пилюлей, подслащеннымъ лѣкарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія толь-

ко проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массъ риторической воды. Много было сдёдано для языка, для стиха, кое-что было сдълано и для поэвіп; но поэзіп, какъ поэзіп, то есть такой поэзін, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы по віей, такой поэзіп еще не было! Пушкинъ былъ призванъ быть живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси. Н такъ какъ его назначение было завоевать, усвонть навсегда русской земль поэзію какъ пскусство, такъ, чтобъ русская поэзія имъла потомъ возможность быть выражениемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейти въ риемованную прозу, — то естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться псключи-

тельно художникомъ.

/Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъхудожникомъ. Поэтому даже самыя первыя незръдыя юпошескія его произведенія, каковы: «Русланъ и Людинла», «Братья Разбойники», «Кавказскій Пленникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», отмітили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзін. Всь, не только образованные, даже многіе просто грамотные люди, увидёли въ нихъ не просто повыя полтическія произведенія, но совершенно новую поззію, которой (ни не знади на русскомъ языкъ не только сбразца, но на которую они не видали никогда даже намека. У и эти ноэмы читались всей грамотной Россіей; онъ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дъвушками, охотницами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ, украдкой отъ учителя, сидъльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. II это делалось не только въ столицахъ, но даже и въ убздныхъ захолустьяхъ. Тогда-то поняли, что различие стиховъ отъ прозы заключается не въ рпомъ и размъръ только, но что и стихи въ свою очередь могутъ быть и поэтические, и прозаические. Это значило уразумьть поэзію уже не какъ что-то внышнее, но въ ен внутренней сущности Явись теперь на Руси поэтъ, который былъ бы неизмъримо выше Пушкина, -- его появление уже не могло бы падёлать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтувіазмъ, потому что посл'в Пушкина поэзіяуже не невидапная, не неслыханная вещь. И но тому же самому теперь уже слишкомъ слабый усибхъ могь получить поэть, который, не уступая Пушкину въ талантъ, даже превосходи его въ этомъ отношении, былъ бы, подобно ему, преимущественно художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ миого этого

художества, которымъ такъ резко отделились онъ отъ произведеній прежинхъ школъ, то еще болье художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и, слъдовательно, обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свъть. Это понятно: поэма требуеть той зрилости таланта, которую даеть опыть жизни,—и этой зрѣлости ивть нисколько въ «Русланв и Людмилв», «Братьяхъ-Разбойникахъ» и «Кавказскомъ Плыникъ», а въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» замътенъ только успъхъ въ искусствъ; но юность-самое лучшее время для лирической поэзін. Поэма требуеть знанія жизни и людей, требуеть созданія характеровъ, слъдовательно, своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуеть богатства ощущеній, — а когда же грудь человіка нанболье богата ощущеніями, какъ не въ льта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствь «сливать послушныя слова въ стройные размъры и замыкать ихъ звонкой риомой», но въ тайнъ поззін. Душъ Пушкина присущна была прежде всего та поэзія, которан не въ книгахъ, а въ прпродь, въ жизни, присущно художество, печать котораго лежитъ на «полномъ твореніи славы». Разумь—это духъ жизни, дуна ея; поэзія-это улыбка жизни, ея свѣтлый взглядь, играющій всёми переливами быстро смёняющихся ощущеній. Вывають жевіцины, одаренныя отъ природы ръдкой красотой, но которыхъ сгрого правильныя черты лица поражають какой-то сухостью, а движения лишены граціи; такія женщины могуть быть по-своему ослѣпительно блестящими и возбуждать удивленіе, но пхъ появленіе не заставить ничье сердце забиться оть невъдомаго водненія, ихъ красота не родить любви, а красота, не сопутствуемая харитой любви, лишена жизин, лишена поэзін. Такъ точно и природа, и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, если бъ онь не были насквозь проникнуты ползіей; не любовьюнебеснымъ огнемъ жизни, а холодной сыростью могилы выло бы оть нихъ. Пусть свътила небесныя образують собой стройные міры; не тімь только возвышають они душу созерцающаго ихъ человѣка, но позвіей своего таинственнаго мерцація, но дивной красотой живой игры своихъ блёдно огинстыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходъ Пивагоръ видълъ не одну математику въ факть, но и слышалт гармонію міровъ... Если бъ солице только гредо и светило, оно было бы не бо-

лье какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаетъ на землю яркій, весело дрожащій, радостно пграющій лучь, —и земля встръчаетъ этотъ лучъ улыбкой, а въ этой улыбкъ-невыразимое очарованіе, неуловимая поэзія... Природа полна не однѣхъ органическихъ силъ, -- она полна и поэзіи, которая напболье свидътельствуеть о ея жизни: въ ся въчномъ движенін, въ колыханіл ся льсовь, въ трепеть серебристаго листа, на которомъ любовно играетъ лучъ солица, въ ропоть ручья, вьянін вътра, волнующаго волотистую жатву, разлить для человька таинственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые, радсстные, какъ пъснь взвивающагося подъ небо жаворонка... Человъкъ еще болье исполненъ поэзіп. Отчего вамъ такъ хочется расцёловать этого ребенка, шумно пграющаго на лугу; отчего такъ плъняютъ васъ и его блестяще чистой радостью глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и развость его движеній?— Что общаго между вами, пзмученнымъ жизнью, опытомъ и житейскими заботами,-вами, человъкомъ пожилымъ и мудрымъ, п между имъ, ничего не поинмающимъ. почти безсознательнымъ существомъ? Зачимъ же, торопливо бъжа по важному дълу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились на лугу, забывъ ваши важныя дела, и съ улыбной умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояситло, забота на мигь слетела съ него, и улыбка счастья на мгновеніе освѣтила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солнца, проникнувний сквозь щель въ мрачное подземелье и трепетно заигравшій на сыромъ его полу?.. Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на васъ поэзіей жизни... Вотъ прекрасная молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредъленнаго выраженія — это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мысли и стремленій, словомъ, ничто не говорить вамъ въ этомъ лиць ни о какомъ різко выцечатавшемся правственномъ качествъ: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью – и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанію быть любимымъ ей; вы спокойно дюбуетесь прелестью ея движеній, граціей ея манеръ, — и въ то же время въ ея присутствін сердце ваше бьется какъ-то живће, и кроткая гармонія счастья мгновенно разливается въ душь вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себъ есть качество и заслуга, и при томъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродътель, но и красота также прекрасна п любезна, и одно другого стоить; одно друкого заменить не можеть, но то и другое въ

одинаковой степени составляеть потребность нашего духа. Воть почему древніе греки въ своемъ поэтическомъ политеизмѣ обожествили не только истину, знаніе, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, цѣломудріе, но и красоту, сопровождаемую харигами любви и желанія... По ихъ религісзному созерцанію, исполненному поэзіи и жизни, богиня красотью бладала таинственнымъ поясомъ,—

. . . . всё обаянья вы немъ заключались: Въ немъ и любовь, и желанія, въ немъ и знакомства, и просьбы, Льстивыя рёчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобы выразить всю силу неотразимаго влиния на душу и сердце человъка поэзіи Гомера, греки говорили, что онъ похитилъ поясъ Афродиты...

Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладыть поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущение, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзіп. Онъ созерцаль природу и дъйствительность подъ особеннымъ угломъ зрвнія, и этотъ уголь быль исключительно поэтическій. Муза Пушкина это-дівушкааристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородной простотой, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще бол'ве возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сделадась ей вгорой природой.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пуш кана не восходять далье 1819 года, и съ каждымъ слёдующимъ годомъ увеличиваются въ числъ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ внимание на тъ маленькия пьесы, которыя и по содержанію, и по формѣ отличаются ха рактеромъ античности, и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пушкинъ художника до превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзін. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли. полнота и оконченность цёлаго, нёжность и мягкость отдёлки въ этихъ пьесахъ обнаруживають въ Пушкинъ счастливаго ученика мастеровъ древниго пскусства. А между тъмъ онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокій художинческій инстинкть замьняль ему изучение древности, въ школь которой воспитываются всь европейскіе поэты. Этой поэтической натурь ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферь жизни быть какъ у себя лома; жизнь и природа, гдв бы ни встретиль он

ихъ, евободно и охотно ложились на полотнъ подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подр жаній греческимъ поэтамъ, не говоря уже о попыткъ Кострова перевести «Иліаду» и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ, но, несмотря на все это, за исключениемъ отрывковъ изъ нереводимой Гибдичемъ «Иліады», на русскомъ языка не было ни одной строки, ни одного стиха, который бы можно было принять за намекъ на древнюю поззію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствъ съ музой эллинской и который превосходно перевель итсколько пьесь изъ антологін. Пушкинъ почти ничего не переводиль изъ греческой антологіи, но писаль въ ея духв такъ, что его оригинальныя пьесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагь впередъ нередъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонъ Пушкина большое преимущество и въ достопнствъ стиха. Посмотрите, какъ эллински или какъ артистически (это одно и то же) разсказалъ Пушкинъ о своемъ художественномъ призванін, почувствованномъ имъ еще въ лъта отрочества; эта пьеса называется «Муза»:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила И семиствольную цъвницу мнъ вручила; Она впимала миъ съ улыбкой и слегка По звопкимъ скважинамъ пустото тростника Уже наигрывалъ я слабыми перстами И гимны важные, внушенные богами, И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ. Съ утра до вечера въ нъмой тъни дубовъ Прилежно я внималъ урокамъ лъвы тайной; И, радуя меня наградою случайной, Откинувъ локоны отъ милаго чела, Сама паъ рукъ монхъ свиръль она брала: Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ

И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ. Да, несмотря на счастливые опыты Ба-

да, несмотря на счастливые опыты Ватюшкова въ ангологическомъ родь, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина! Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умёдъ сдёдать изъ шестистоннаго

недвя не дивиться въ осооенности тому, что онъ умёдъ сдёлать изъ пестистопнаго ямба—этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчанлись, какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ паросскимъ мраморомъ, для чудныхъ изваний, в и д и м ы хъ с д у х о мъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ,—и вамъ покажется, что вы в и д и т е передъ собой превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волиъ, лобзающихъ Тавриду, На утренней заръ я видълъ Неренду. Сокрытый межъ деревъ, едва я смълъ дохнуть; Надъ яслой влагою полубогиня грудь Младую, облую, какъ лебедь, воздымала И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустич ское богатство, мелодія и гармонія русска о языка въ первый разъ явились во всемъ блескі въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы въ этомъ отношеніи сравниться съ этой пьеской:

Я върю, — я любимъ; для сердца нужно върить Нътъ, милая моя не можеть лицемърить; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцънный даръ, Нарядовъ и ръчей пріятная небрежность И ласковых ричей младенческая нижность.

Правда, послёдній стихь есть не болёв, какъ вёрный переводъ стиха Андре́ Шенье—«Et des noms carressants la mollesse enfantine»; но если гдъ имѣеть глубокій смыслъ выраженіе: «онъ береть свое, гдъ ни увидить его», то, конечно, въ отношеніи къ этому стиху, который Пушкинъ умѣлъ сдѣлать своимъ.

Твмъ же античнымъ духомъ вветъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между инми особенно превосходны пьесы «Трудъ» и «Чистый доснится подъ; чаши блистаютъ» (первая оригинальная, вторая изъ Ксепофана Колофонскаго). Мы ограничимся выпиской, тоже превосходной, но только маленькой пьесы, принадлежащей, впрочемъ, къ самому поздивищему времени поэтической двятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая два бранила; Къней на плечо преклопенъ, юноша вдругъ задремалъ.

Дъва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелъя, И улыбалась ему, тихія слезы лія.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической деятельности особенно много писаль ихъ. Это понятно: созерцаніе дюбви и наслажденій жизни въ духѣ древнихъ особенно соотвѣтствуетъ эпохъ юности каждаго человъка. Вотъ перечень всьхъ антологическихъ стихотвореній Пушкина: «Виноградъ», «О дъва-роза, я въ оковахът, «Доридь», «Ръдветь облаковъ летучая грнда», «Нерепда», «Дорида», «Муза», «Діонея», «Діва», «Приміты», «Красавица передъ зеркаломъ», «Ночь», «Сафо», «Кобылица молодая», «Царскосельская статуя», «Отрокъ», «Риома», «Трудъ», «Чистый лоснится полъ», «Славная флейта», «Оеонъ», «Юношу, горько рыдая», «LVIII ода Анакреона», «Богь веселый винограда», «Юноша, скромно пируй», «Мальчику» (изъ Катулла), «Узнаемъ коней регивыхъ» (изъ Анакреона), «Леила». Послъднія семь, послъ превосходной пьесы «Юношу, горько рыдаи», не отличаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но следующія две просто неудачны: «Кто на снѣгахъ возрастилъ Өеокритовы нѣжныя розы» и «На переводъ Иліады».

Перечтите пьесы: «Домовому», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Умолкну скоро н», «Земля и Море», «Алексвеву», «Ч\*\*\*ву», «Зачыть безвременную скуку», «Люблю вашъ сумракъ неизвъстный», и еще болже пьесы: «Простишь ли миж ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ морю»,—вглядитесь и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ оборотъ мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэзію, безукоризненное искусство, полное художество, безъ малейшей примъеч прозы, какъ старое крънкое вино безъ малъйшей примъси воды. Въ ивкоторыхъ изъ нихъ вы можете придраться къ мысли, не достаточно глубокой, къ взгляду на вещи, елинкомъ юному или слишкомъ отзывающемуся эпохой; но со стороны поэзін выраженія и поэзін созерцанія вамъ нечего будеть осудить. Сравните и эти пьесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзін: между ними не будеть никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображение тъхъ пьесъ Пушкина, которыя мы означили именемъ переходныхъ и о которыхъ говорили подробно въ предшествовавшей статъв. Это не значить, чтобъ въ произведеніяхъ прежнихъ школъ не было ничего примъчательнаго, илп чтобъ они были вовсе лишены ноэзін: напротивъ, въ нихъ много примъчательнаго, и они исполнены поэзін, но есть безконечная разница въ характеръ ихъ поэзіи и характеръ поэзін Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ въ отношении къ произведеніямъ Пушкина-то же, что народная пъсня, исполненная души и чувства, народнымъ напввомъ пропътан простолюдиномъ, въ отношеній къ дирической пѣснѣ поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и пропетой великимъ певцомъ.

Сравнимъ для доказательства пьесу замѣчательнъйшаго изъ прежинхъ поэтовъ, «Пѣсия», съ ньесой Пушкина «Несчастный день потухъ»:

О, милый другь, теперь съ тобою радость! А я одипь—и мой печаленъ путь; Живи, вкушай невинной жизин сладость; Въ душъ не измънись; достойна счастья будь... Но не отринь, въ толиъ плъняемыхъ тобою, Ты друга прежияго, увядшаго душою; Веселье ихъ дъли—ему отрадой будь; Его. мой другь, не позабудь.

О, милый другь, намъ рокъ вельль разлуку; Дин, мъсяцы и годы пролетять, Вотще къ тебъ простру отъ сердца руку,—

ни голось твой, ни взорь меня не усладять; но вдали съ тобой дуна моя согласна. Любовь ни времени, ни мъсту не подвластна; Всегда, вездъ ты мой хранитель ангель будь, меня, мой другь, не позабудь.

Соч. Бълнискаго. Т. ПТ.

О, милый другь, пусть будеть практ колодный То сердце, гдё любовь къ тебт жила: Есть лучшій мірь; тамъ мы любить свободны; Туда душа мол ужъ все перенесла; Туда всечастное стремить меня желапье; Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье; Сей вёрой сладкою полна въ разлукъ будь—Меня, мой другь, не позабудь.

Чувство, составляющее паносъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а следовательно, и истины; оно можеть быть напущено на человъка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазіп; но и напущенное чувство, по странному противорѣчію человвческой природы, такъ же можетъ быть петочникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охогно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сентиментальность и отсутствие всикой страстности, есть голосъ души, языкъ сердца, краспоръчіе чувства; но оно--пе поэзія. Его ферма болье краспорьчива, чёмь поэтична; въ его выраженін, бользненно грустномъ и расилывающемся, есть что-то прозапческое, темное, лишенное мягкости и нѣжности кудожественной отделки. А между темъ это одно изъ лучшихъ произведений старой школы русской поэзін и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пъесой Пункина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Ненастный день потухъ; ненастной ноче мгла По пебу стелется одеждою свинцовой; Какъ привидъніе, за рощею сосповой

Лупа туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мив наводиты!
Далеко тамь дуна въ сіянін восходить;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой

Подъ голубыми небесами... Вотъ время: по горъ теперь идетъ она Къ брегамъ, потопленнымъ шумящими волпа-

Тамъ, подъ завътными скалами, [ми; Теперь она сидить исчальна и одна... Одна... имкто предъ ней не плачеть, не тоскусть; Никто ея колъпъ въ забвеньи не цълуетъ; Одна... ничьимъ устамъ она не предаеть Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бълосивжимхъ

Никто ея любви небесной пе достоинъ. Не правда ль, ты одна... ты плачешь... я спокоенъ.

Но если

Здёсь не то: въ павосё стихотворенія столько жизни, страсти, истины!.. Луна, восходящая надъ сосновой ронцей, наноминаеть поэту другую дуну, которая въ это томительное для его души время восходить далеко, тамъ, где природа такъ россощно прекрасиа, — и поэть предается невольно мечте о ней, которая въ эту пору одна идеть къ берегу моря и садится подъ его

екалами... Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляеть его успоканвать себя мыслыю, что она-одна, и что ему должно быть спокойнымъ... П сколько жизни, какой энергическій порывъ страсти высказывается въ словъ: «но если», отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихъ, даже отдъльно взятомъ, такъ п виденъ следъ художническаго ръзца, оживлявшаго мраморъ!-Какая безконечная разница!..

Чтобъ еще болже показать эту разницу (а это мы считаемъ особенно важнымъ и необходимымъ по смыслу статьи нашей), сдъдаемъ еще сравненіе. Воть два куплета изъ дучшихъ въ большой и прекрасной пьесъ Жуковскаго, принадлежащей уже къ поздньйшему времени его поэтической дъятель-

О наша жизнь, гдъ върны лишь утраты, Гдъ милому мгновенье лишь дано, Гдъ скорбь безъ крыль, а радости крылаты, И гдъ на въкъ минувшее одно... По что жъ мы здъсь мечтами такъ богаты, Когда мечтамъ не сбыться суждено? Внимая гласъ надежды, намъ поющей, Не слышимъ мы шаговъ бъды грядущей.

Здъсь радости-не наше обладалье, Пролетные плънители земли. Лишь по пути заносить къ намъ преданье О благахъ, намъ объщанеыхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный страданье; Ему на часть судьбы насъ обрекли; Влаженство намъ по слуху лишь знакомецъ; Земная жизнь-страданія питомець.

Это уже не «напущенное» чувство; нътъ, это вопль страшно потрясенной души, это голось растерзаннаго, истекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болье красноръчіе, чъмъ поэзія. Стихъ тянется какъ-то тяжело и однообразно, во всей формъ этого стихотворенія есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замътно преобладание метафоры. Разумвется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаеть пьесы Пушкина «19 октября»? Послъ обращеній кь каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Пируйте же, пока еще мы туть! Увы! нашъ кругъ часъ отъ часу ръдвегъ: Кто въ гробъ спитъ, кто дальній сирответь; Судьба глядить, мы вянемь; дни бъгуть; Невидимо склоняясь и хладъя, Мы близимся къ началу своему... Кому жъ изъ насъ подъ старость день лицея Торжествовать прійдется одному-Несчастный другы средь новыхъ покольній Докучный гость и лишній и чужой,

Онъ вспомнитъ насъ и дин соединеній, Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Какая глубокая и вмёстё съ тёмъ свётдая скорбы! каждая мысль сама по себь такъ исполнена поэзін, независимо отъ формы, вполнъ художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всіхъ друзей своихъ другь, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ покольній, дрожащей рукой закрывающій глаза при восноминаніи о своихъ друзьяхъ,это не просто поэтические стихи, это поэтическая картина! Но не въ духъ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствъ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодраго чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной Тогда сей день за чашей проведеть, Какъ нынъ я, затворникъ вашъ опальной, Его провель безь горя и заботь.

Пушкинъ не даетъ судьбь победы надъ собой, онъ вырываеть у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истинный художникъ, онъ владълъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ действительности, который на «здёсь» указываль ему какъ на источникъ и горя, и утешенія, и заставлялъ его искать цёленіе въ той же существенности, гдв постигла его бользнь. И право въ этой силь, оппрающейся на внутреннемъ богатствъ своей натуры, болье въры въ Промысель и оправданія путей его, чімь во всьхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Намъ скажутъ, можетъ быть, что мы сравнили между собою только по нъскольку куплетовъ, вырванныхъ изъ большихъ пьесъ, а не цълыя пьесы. Выписка вполнъ такихъ огромныхъ пьесъ была бы неумъстна въ журнальной статьт; при томъ же пьесы эти должны быть слишкомъ известны каждому образованному читателю. Кто хочеть, пусть самъ сравнить ихъ въ ціломъ: онъ тогда увидить еще яснье, что и въ цъломъ огромное преимущество на сторонъ ньесы Пушкина, потому что, несмотря на ея значительную величину, она вездъ ровна, вездъ выдержана и какъ будто въ одну минуту, легко и свободно, излилась изъ взволнованной души поэта, —между тъмъ какъ поэма Жуковскаго очень неровна, потому что не чужда мъсти растянутыхъ, холодныхъ и вялыхъ, почему ее трудно прочесть заразъ. Первая пьест это-арія, пропътая пъвцомъ, который вполн владбеть своимъ голосомъ, не даетъ пропасть ни одной ноткъ, не ослабъетъ ни на одно мгновеніе отъ начала до конца аріи... Вторая пьеса это-арія, пропѣтая мѣстами превосходно, а мъстами холодно и даже фальшиво. Мы нарочно остановились на этомъ

обстоятельствь, потому что особениая принадлежность поэзін Пушкина и одно изъ главивникъ преимуществъ его передъ поэтами прежнехъ школъ — полнота, окопченность, выдержанность и стройность созданій. Поэзія чувства, поэзія естественная не отличается этимъ качествомъ: въ ней всегда видно усиліе высказать чувство, и оттого стройность и соразмёрность исчезають въ плодовитости. Въ поэзін художественнойсоразмірность, стройность, полнота и ровность бывають уже естественнымъ следствіемъ творческой концепція, художественной мысли, лежащей въ основании поэтическаго произведенія. У Пушкина никогда не бываеть ничего лишняго, ничего недостающаго, но все въ мъру, все на своемъ мъстъ, конецъ гармонируетъ съ началомъ, и прочитавъ его пьесу, чувствуещь, что отъ нея нечего убавить и къ ней нечего прибавить. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, Пушкинъ является по преимуществу хуложникомъ.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всь предметы были равно исполнены поэзіи. Его «Онъгинъ», напримъръ, есть поэма современной, дъйствительной жизни не только со всей ен поэзіей, но и со всей ен прозой, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лъто, и гнилан дождливан осень, и морознан зима; тутъ и столица, и деревни, и жизнь столицанаго денди и жизнь мирныхъ помъщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ;

гуть и мечтательный поэть Ленскій, и тривіальный забіяка и сплетникъ Зарецкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлой въ рукв, дверь кофейной, —и всё они, каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзіп. Пушкину не нужно было вздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукой здъсь на Руси, на ея илоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея въчно-сърымъ небомъ, въ ел печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бъдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или лъта, и, чигая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ по крайней мёрё на то время, пока не увидите его же картины весны или лъта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно, Но мив она мила, читатель дорогой: Прасою тихою, блистающей смиренно, Какъ пелюбимое дитя въ семъв родной, Късебъменя влечетъ Сказатъвамъ откровенно: Паъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной; Въ ней много добраго, любовникъ не тще-

Умълъ я отыскать мечтою своеправной. Какъ это объяснить? Мив нравится она, Какъ, въроятно, вамъ чахоточная дъва Порою правится. На смерть осуждена, Бъдняжка клонится безъ ропота, безъ гивва; Улыбка на устахъ увяпувшихъ видна; Могильной пропасти она не слышить зъва, !!граетъ на лицъ еще багровый цвътъ, Она жива еще сегодня завтра нътъ. Унылая пора! очей очарованье! Пріятна миб твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье, Вь багрець и въ золото одътые лъса, Въ ихъ съняхъ вътра шумъ и свъжее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И ръдкій солнца лучъ, и первые морозы, И отдаленныя съдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта—этой «карикатуры южныхь зимъ»: она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декораціонныя деревыя въ театрѣ похожи на настоящія деревыя въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, другь прелестный. Пора, красавица, проснись: Открой сомкнуты пъгой взоры, На встръчу съверной Авроры. Звъздою съвера явись! Вечоръ, ты помнишь, вьюго злилась, На мутномъ небъ мгла носилась: Луна, какъ блъдное иятно, Сквозь тучи мрачныя желтьла, И ты печальная сидъла-А нынче.. погляди въ окно: Подъ голубыми небесами Великолъпными коврами, Блестя на солнцъ, снъгь лежить: Прозрачный льсь одниь чериветь, И ель сквозь иней зелептеть, И ръчка подо льдомъ блестить. Вся комната янтарнымъ блескомъ Озарена Веселымъ трескомъ Трещитъ затопленная печь. Пріятно думать о лежанкъ. Но знаешь: не вельть ли въ санки Кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему спъту Другь милый, предадимся бъгу Нетерпъливаго коня, И навъстимъ поля пустыя, Лѣса, недавно столь густые. и берегъ милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно върна русской дъйствительности, изображаеть ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомь основаніи общій голось нарекъ его русскимь національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только на половину върнымъ. Народный поэтъ тотъ, котораго весь народъ знаеть, какъ, напримъръ, знаеть Франція своего Беранже;

національный поэть - тоть, котораго внають всь сколько-нибудь образованные классы, какъ, напримъръ, нъмцы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ поетъ себъ доселъ «Не бълы то снъжки», не подозръвая даже того, что поеть стихи, а не прозу... Следовательно, съ этой стороны смешно было и говорить объ эпитеть «народный» вь примънении къ Пушкину, или къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово «національный» еще обширнье въ своемъ значенін, чёмъ «народный». Подъ «народомъ» всегда разумьють массу народонаселенія, самый низшій и основный слой государстви. Подъ «націей» разумьють весь народъ, всь сословія, отъ низшаго до высшаго, составляющія государственное тело. Національный поэть выражаеть въ своихъ твореніяхъ и основную, безразличную, неуловимую для опредъленія субстанціальную стихію, которой представителемъ бываетъ масса народа, и определенное значеніе этой субстанціальной стихін, развившейся въ жизни образованнъйшихъ сословій націн. Національный поэтъ-великое дѣло! Обращаясь къ Пушвпну, мы скажемъ, по поводу вопроса о его нащональности, что онъ не могъ не отразить въ себъ географически и физіологически народной жизни, ибо былъ не только русскі і, но при томъ русскій, наділенный отъ природы геніальными сплами; однако жъ въ томъ, что называють народностью или національностью его поэзін, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій такть. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ действительности, который составляеть одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэму «Русалка»: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму с наменный Гость»: она и по природъ страны, и по нравамъ своихъ героевъ такъ и дышить воздухомъ Испаніи; прочтите его «Египетскія ночи»: вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ прим'єровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываеть, если не его художинческую многосторонность? Если онъ съ такой истиной рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались верностью природе? Чтобъ изследовать основательные этотъ вопросъ, мы ечитаемъ нужнымъ сделать довольно большую выписку изъ статьи Гоголя «Нѣсколько словъ о Иушкинф.

"При имени Пушкина тотчасъ освияеть мысяь о русскомъ національномъ поэтв. Въ самомъ дълъ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можеть болье папваться паціональнымъ; это право решительно принадлежить ему. Въ немъ, какъ будто въ лексикопъ, закиючълось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болъе всъхъ, онъ далъе раздвинулъ ему границы и болъе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можеть быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человъкъ въ его развитін, въ какомъ онъ, можеть быть, явится чрезъ двъсти льть. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотв, въ такой очищенной красотв, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптического стекла.

"Самая его жизнь-совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда позабывшись стремится русскій и которое всегда нравится свъжей русской молодежи, стразились на его первобытныхъ годахъ в тугленія въ свътъ. -- Судьба какъ перочно забросила его туда, гдв границы Россін отличаются ръзкой, величавой характерностью, гдъ гладкая неизмъримость Россін персрывается подъ облачными горами и обвътается югомъ Исполинскій, покрытый въчнымъ снъгомъ, Кавказъ среди знойныхъ доливъ поразилъ его; опъ, можно сказать, вызваль силу души эго и разорвалъ последнія цени, которыя еще тяготели на свободныхъ мысляхъ. Его плинила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; и съ этихъ поръ кисть его пріобрела тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смълость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую зитать Россію. Рисуеть ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъ-слогъ его моднія; онъ также блещеть, какъ сверкающія сабли, и летить быстрве самой битвы. Онъ одинъ только пъвецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всей душой и чувствами; онъ проникнутъ и папитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великол впными крымскими ночами и садами. Можетъ быть, оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламениве тамъ, гдъ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означиль всю силу свою, и оттого про-изведенія его, напитапныя Кавказомъ, волей черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудпую магическую силу: имъ изумлялись даже тв, которые не имъли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смёлое болёе всего доступно, сильнъе и просториъе раздвигаетъ душу, а особливо юпости, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имълъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всъ кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имъло въ себъ что-то электрическое, и стопло только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ творении, уже оно расходилось новсюду.

"Онъ при самомъ пачалъ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ парода. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей

націочальной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такь, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами. Если должно сказать о тыхъ достоинствахъ, которыя составляють принадлежи ст. Пушкина, отличающую его отъ другихъ ноэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстроть описанія и въ пеобыкновенномъ искусствъ немпогими чертами означить весьпредметь. Его эпитеть такъ отчетисть и смёль, что иногда одинъ замъняеть цълое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цълой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесь вмыщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкипа.

"Но последнія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всъмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно возносящейся изъ-за облакъ вершиной, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изследованію жизни и правовъ своихъ соотечественниковъ и вахотель быть вполне національным в поэтомъ, -его поэмы уже не всёхъ поразили той яркостью и ослепительной смелостью, какими дышить у него все, гдв ни являются Эльбрусь, горцы,

Крымъ п Грузія.

"Явленіе это, кажется, не такъ трудно разръшить: будучи поражены смёлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всъ читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерывь, чтобы отечественныя и историческія происшествія являлись предметомь его поэзін, позабывая, что нельзя тёми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болъе спокойный и гораздо менъе исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лицъ своемъ націю, очень странна вь своихъ желаніяхъ; она кричить: "изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинъ; представь дъла нашихъ предковъ въ такомъ видъ, какъ они были". Но попробуй поэть, послушный ея вельнью, изобразить все въ совершенной истинъ и такъ какъ было, она тогчасъ заговоритъ: "это вяло, это слабо, это не хорошо, ни мало это не похоже на то, что было. Масса народа похожа въ этомъ случав на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всвхъ ея педостатковъ. Русская исторія только со времени послъдняго ея направленія при императорахъ пріобрътаеть яркую живость; до того характеръ народа большей частью былъ безцвътень;разнообразіз страстей ему мало было извъстно. Поэтъ невиноватъ, но и въ народъ тоже весьма извинительно чувство придать большій размъръ дъламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себъ не сохраняеть сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его сторопъ, а вмъстъ съ нимъ и деньги; или быть върну одной истинь, быть высокимь тамь, гдв высокъ предметь, быть ръзкимь и смълымъ, гдъ истиню ръзкое и смълое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдъ не кипптъ происшествіе. Но въ этомъ случав прощай, толпа! ея не будеть у него, развъ когда самый предметь, изображаемый имь, уже такъ великъ и ръзокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избраль поэть, потому что хотыль остаться поэтомъ и потому что у всякаго, кто только чувствуеть въ себъ искру святого призванія,

есть топкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой таланть такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъвъ своемъ вониственномъ костюмъ, вольный какъ воля, самъ себъ и судья, и господинъ, гораздо ярче какого-пибудь засъдателя, и, несмотря на то, что онъ заръзалъ своего врага, притаясь въ ущельи, или выжегь цълую деревию, однако же онъ болве поражаеть, сильные возбуждаеть въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракъ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, нустилъ по міру множество всякаго рода кръпостныхъ и свободныхъ душъ.--Но тотъ и другой-они оба явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имъть право на наше вниманіе, хотя по естественной причинъ то, что мы ръже видимъ, всегда сильнъй поражаетъ наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть не больше. какъ перасчетъ поэта нерасчетъ предъ его многочисленной публикой, а не передъ собой. Онъ ни чуть не теряеть своего достоинства, даже, можетъ быть, еще болье пріобрътаеть его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цънителей. Миъ пришло на память одно происшествіе изъ мосго дітства. Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планъ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнъ; знатоки и судъи мон были окружные сосъди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головой и сказалъ: хорошій живописець выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы листья были свъжіе, хорошо растущее, а не сухое. Въ дътствъ мнъ казалось досадно слышать такой судъ, но послъ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толив. Сочиненія Пушкана, тдъ дышить у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можеть совершенно понимать тоть, чья душа носить въ себъчисто русскіе элементы, кому Россія родина, чья дуща такъ нъжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пъсни и русскій духъ, потому что, чъмъ предметь обыкновенные, тъмъ выше нужпо быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оцвнены послъднія его поэмы? Опредълилъ ли, понялъ ли кто "Бориса Годунова", это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней неприступной поэзін, отвергиувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа?по крайней мъръ печатно нигдъ не произнеслась имъ върная оцънка и онъ остались до ныпъ не тронуты."

Все это очень справедливо, особенно опродъление національнаго поэта. «Поэть даже можеть быть и тогда національнымъ, когда описываеть совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорять они сами.» И, если хотите, съ этой точки зрвнія Пушкинь болье національно-русскій поэть, нежели кто-либо изъ его предшественивновъ; но дело въ томъ,

что нельзя определять, въ чемъ же состоитъ эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ чувствоваль и писаль такъ, что его соотечественникамъ казалось, будго это чувствуютъ и говорять они сами. Прекрасно! Да какъ же чувствуютъ и говорять они? чёмъ отличается ихъ способъ чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй? Вотъ вопросы, на которые не можетъ дать ответа настоящее, ибо Россія по преимуществу—страна будущаго...

Обращансь снова къ нашей мысли о художественности, какъ преобладающемъ паносъ поэзін Пушкина, замътимъ еще его удивительную способность дълать поэтическими самые прозаическіе предметы. Что, напримъръ можетъ быть прозаичите выбзда въ саняхъ модчаго франта въ сюртукъ съ бобровымъ воротникомъ? Но у Пушкина это-поэтическая картина:

Ужь темно; въ санки онъ садится: "Пади! пади!" раздался крикъ; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротникъ.

Или что можеть быть прозанчиве такой мысли, что-де въ городь не было мостовой и всь тонули въ грязи, но что уже въ немъ начали дълать мостовую? Страшно и подумать втискать такую мысль въ стихъ! Но Пушкинъ этого не иобоялся, и у него вышла поэтическая картина въ прекрасныхъ поэтическихъ стихахъ:

Въ году недъль пять-шесть Одесса, По волъ бурнаго Зевеса, Потоплена, запружена. Въ густой грязи погружена. Въ густой грязи погружена. Всъ домы на аршинъ загрязнутъ, Лишь на ходуляхъ иѣшеходъ по улицъ дерзаетъ вбродъ; Кареты, люди тонутъ, вязнутъ, И въ дрожкахъ волъ, рога склоня, Смъняетъ хилаго коня. Но ужъ дробитъ каменья молотъ, Скоро звонкой мостовой Покроется спасенный городъ, Какъ будго кованной броней.

Для Пушкина также не было такъ-называемой и изкой природы; поэтому опъ не затруднялся накакимъ сравнениемъ, никакимъ предметомъ, бралъ первый попавшися ему подъ-руку, и все у него являлось поэтическимъ, а потому прекраснымъ и благороднымъ. Какъ хорошо, напримъръ, это взятое изъ низкой природы, сравнение:

Стократь блажень, кто предань въръ, кто, хладный умь угомонивъ, Покоится въ сердечной пъгъ, Какт пьяный путникъ на ночлегъ.

Или какъ прекрасна у него вотъ эта «низкая природа»:

> Иныя нужны мив картины: Люблю песчаный косогорь, Передъ избушкой двъ рябины, Калитку, сломанный заборъ. На пебъ съренькія тучи, Передъ гумномъ соломы кучи,

Да прудъ подъ сѣпью липъ густыхъ— Раздолье утокъ молодыхъ; Теперь мила миѣ балалайка, Да пълный топотъ трепака Передъ порогомъ кабака; Мой идеалъ теперь—хозяйка, Мой желанія—покой, Да щей горшокъ, да самъ большой...

Тотъ еще не художникъ, котораго поэзія трепещеть и отвращается прозы жизни, кото могутъ вдохновлять только высокіе предметы. Для истиннаго художника—гдъ жизнь, тамъ и поэзія.

/ Талантъ Пушкина не быль ограниченъ тесной сферой одного какого-нибудь рода поэзін: превосходный лирикъ, онъ уже готовъ былъ сделаться превосходнымъ драматургомъ; какъ внезапная смерть остановила его развитие. Эпическая поэзія также была свойственнымъ его таланту родомъ поэзіи. Въ последнее время своей жизни онъ все болье и болье наклонялся къ драмь и роману и по мѣрѣ того отдалялся отъ лирической поэзін. Равнымъ образомъ онъ тогда часто забываль стихи для прозы. Это самый естественный ходъ развитія велигаго поэтическаго таланта въ нап в время. Лирическая поэзія, обнимающая собой міръ ощущеній и чувствъ, съ особенной силой кипящихъ въ молодой груди, становится тесной для мысли возмужалаго человъка. Тогда она дълает-

Дъйствительность современнаго намъ міра полнъе, глубже и шире въ романъ и драмъ —О поэмахъ и драматическихъ опытахъ Пушкина мы будемъ говорить въ слъдующей статъъ, а теперь остановимся на его лирическихъ произведеніяхъ.

ся его отдыхомъ, его забавой между дёломъ.

Пушкина нѣкогда сравнывали съ Байрономъ. Мы уже не разъ замъчали, что это сравнение болье чъмъ ложно, ибо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натуръ, а слъдовательно, и по навосу своей поэзін, какъ Байронъ и Пушкинъ. Мнимое сходство это вышло изъ ошибочнаго понятія о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, исполненную тревогъ и бъдъ его юность, думали видъть въ немъ духъ гордый, неукротимый, титаническій. Основываясь на какомъ-нибудь десяткъ ходившихъ по рукамъ его стихотворений, исполценныхъ громкихъ и смълыхъ, но тъмъ не менње неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видеть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было бы бодѣе ошибиться во мивніп о человъкъ! Въ тридцать льтъ Пушкинъ распрощался съ тревогами своей кипучей юности не только въ стихахъ, но и на дель. Надъ «рукописными» своими стишками онъ потомъ самъ смѣялся. Но все эте въ сторону; главное дело въ томъ, что на тура Пушкича (и въ этомъ случав самое

върное свидътельство есть его поэзія) была внутреппяя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какін бывають следствіемь страстно дентельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живой, могучей мысли, въ жертву которой приносится и жизнь, и таданть. Опъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученю, ни къ какой доктринь; въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и въ природъ, видълъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не пначе, п къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если бъ его натура была другая, и онъ шель по этому несвойственному ей пути, то безъ сомивнія это было бы въ немъ больше, чемъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношении былъ только въренъ своей натуръ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждають нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмёстё съ тёмъ такъ челозвино, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художнически спокойной, стель граціозной! Что составляеть содержание медкихъ пьесъ Пушкина? Мочти всегда любовь и дружба, какъ чувства, напослее обладавшія поэтомъ и бывния непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни.√Онъ ничего не отрицаеть, инчего не прокличаеть, на все смотрить съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкноверно свътла и прозрачна; она умиряетъ муки души и иблить раны сердца. Общій колорить поэзіп Пушкина и въ особенности дирической — внутренняя красота человъка и лельющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здась разумьеми не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нътъ. каждое чувство, лежащее въ основании каждаго его стихотворенія, изящко, граціозно и вертуозно само по себь: этс не просто чувство человька, но чувство человъка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нъжное, благоуханно и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себъ человъка, и такое чтение особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола! Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладеть на лицо жизни бълилъ и румянъ, но показываеть ее въ ея естественной, истинной красоть; въ поэзіп Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Понтому поэзія Пушкина не онасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе. -- ложь, которая ставить человъка во враждебныя отношенія съ дъйствительностью, при первомъ столкновенін съ ней, и заставляеть безвременно п безилодно истощать свои силы на гибельную съ ней борьбу. И при всемъ этомъ, кром' высокаго художественнаго достопиства формы, такое артистическое изящество чечеловъческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтверждение нашей мысли?-Почти каждое стихотворение Пушкина можетъ служить доказательствомъ. Если бъ мы захотели прибегнуть къ выпискамъ, имъ не было бы конца. Намъ стоило бы только поименовать цілый рядь стихотвореній; но, чтобъ мысль наша имела надъ читателемъ убъждающую силу живого впечатльнія, выпишемъ здѣсь нѣсколько пьесъ совершенно различнаго тога и содержанія.

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя сифдаетъ! На дъвственныхъ устахи улыбка замираетъ. Давно твоей иглой узоры и цвъты Не оживлялися. Безмолвно любишь ты Грустить. О, я знатокъ въдъвической печали! Давно глаза мон въ душъ твоей читали Любви не утаншь: мы любимъ, и какъ насъ, Дъвицы нъжныя, любовь волнуеть васъ. Счастливы юноши! Но кто, скажи, межъ нами, Красавець молодой съ очами голубыми, Съ кудрями черными? Красивешь?... Я молчу, Но знаю, знаю все; и, если захочу, То назову его: Не онъ ли въчно бродитъ Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводитъ? Ты втайнъ ждешь его. Пдетъ, и ты бъжишь, И долго вслед, за нимъ незримая глядишь. Никто на праздникъ блистательнаго мая Межъ колесницами роскошными летая, Никто изъ юношей свободиви и смълви Не властвуетъ конемъ по прихоти своей.

Это сама прелесть, сама гранія, полная души и нѣжности, страстная и «илѣнительная», выражансь любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другого русскаго поэта не найдете вы стихотворенія, въ которомъ бы такъ счастливо сочетались изящно-гуманное чувство съ иластически изящной формой.

Когда любовію и нъгой упосиный, Безмолено предъ тобой кольнопреклоненный, Я на тебя глядель и думаль: ты моя,— Ты знаешь, милая, желаль ли славы я; Ты знаешь: удалень отъ вътреннаго свъта, Скучая суетнымъ прозваніемъ поэта, Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ Жужжанію дальнему упрековъ и похвалъ. Могли ль меня молвы тревожить приговоры, Когда, склонивъ ко мит томительные взоры И руку на главу мив тихо наложивъ, Шептала ты: скажи, ты любишь; ты счастливъ? Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой другъ, меня не позабудешь? А я стъсненное молчаніе храниль, Я наслажденіемъ весь полонъ былъ, и мнилъ, Что нъть грядущаго, что грозный конь разлуки Не придеть никогда... И что же? Слезы, муки, Измъны, клевета, все на главу мою Обрушилося вдругъ... Что я? гдв я? Стою. Какъ путпикъ, молпіей постигнутый въ пусты-И все передо мной затмилося! И нынъ Я новымъ для меня желаніемъ томимъ: Желаю славы я, чтобъ именемъ моимъ Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чтобъ ты Окружена была: чтобъ громкою молвою Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ; Чтобъ, гласу върному внимая въ тишинъ, Ты помипла мой послъднія моленья Въ саду во тьмъ ночной, въ минуту разлученья.

Это чувство юноши; но воть оно же—уже чувство человька возмужалаго,—и въ немъ та же трогающая душу гуманность. та же артистическая прелесть:

Я васъ любить: любовь еще, быть можеть, Въ душт моей угасла не совствъ; Но пусть она насъ больше не тревожить: Я не хочу печалить васъ ничтвъ. Я васъ любиль безмольно, безнадежно, То робостью, то ревностью томимъ; Я васъ любиль такъ искренно, такъ итжно, Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Наконецъ, это изящно-гуманное чувство отзывается чёмъ-то благоуханно-святымъ въ испытанномъ, но не побёжденномъ жизнью поэтё:

Нѣть, нѣть, не должень я, не смѣю, не могу Волненіямь любви безумно предаваться! Спокойствіе свое я строго берегу И сердцу не даю пылать и забываться. Нѣть, нолно мнѣ любить. Но почему жъ порой не погружуся я въ минутное мечтанье, Когда печаянно пройдеть передо мной младое, чистое, небесное созданье,— Пройдеть и скроется? Ужель не можно мнѣ Глазами слѣдовать за ней, и въ тишниѣ Влагословлять ее на радость и на счастье, И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей: Веселья, мпръ души, безпечные досуги, Все—даже счастіе того, кто набранъ ей, Кто милой дѣвѣ дасть названіе супруги?...

Кромѣ уже поименованныхъ и частью выписанныхъ нами самобытныхъ пьесъ изъ первой части, перечтите тоже слѣдующія, которыя поименуемъ мы теперь въ хронологическомъ порядкѣ: «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновенье», «Зимняя дорога», «Огвѣтъ О. Т\*\*\*», «Ангелъ», «Соло-

вей», «Влизъ масть, гда царствуеть Венсція здатая», «Наперсникъ», «Предчувствіе», «Цвѣтокъ», «Не пой, красавица, при мнѣ», «Городъ пышный, городъ бёдный») «Птичка», «Ипостранка», «На холмахъ Грузін лежить ночная твнь., «Не плвняйся бранной славой», «Повдемъ, я готовъ», «Когда твок младыя льта», «Зима, что дьлать намъ въ деревић?», «Кадмычкѣ», «Что въ имени тебъ моемъ?», «Брожу ли я вдоль улицъ шулныхъ», «Отвъть Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Цыганы», «Мадопна», «Зимвій вечеръ», «Каковъ я прежде быль, таковъ и нынь я», «Анчарь», «Подъвзжая подъ Ижоры», «Примъты», «Красавица» (въ альбомъ Г\*\*\*), «Признаніе» (къ Александрѣ Ивановнъ О--й), «Желаніе», «Пажъ, или иятнадцатильтній король», «Ея глаза», «Разставаніе», «Романсь» («Предъ испанкой благородной»), «Последніе цветы», «Кто знаеть край, гдѣ небо блещеть». Здѣсь не названа только «Разлука» (Для береговъ отчизны дальной»).--не названа для того, чтобъ сказать, что едва ли граціозно-гуманнан муза Пушкина создавала что-нибудь благоуханнъе, чище, святъе и вмъстъ съ тъмъ изящите этого стихотворенія по чувству и по формъ.

Какъ на последнее доказательство преобладанія въ Пушкинъ художественнаго элемента надъ всеми другими, какъ доказательство, что онъ, взявшись за перо, по волъ или по неволь, уже не могь не быть художникомъ даже въ свътскомъ комплиментъ, въ привътствін, возложенномъ приличіемъ, указываемъ на пьесы: «Баратынскому изъ Бессарабін», «Примите Невскій Альманахъ», «Княгинѣ З. А. Волконской», «Отвътъ Катенину», «И. В. С\*\*\*», «Огвъть А. И. Готовцевой», «Е. Н. У\*\*\*вой», «Сътованіе», «А. Д. Баратынской», «Д. В. Давыдову» (при посылкъ исторіи Пугачевскаго бунта), «Къ женщинь поэту», «В.С. Ф\*\*\*» (пои полученін поэмы его, «Въ Альбомъ» («Долго сихъ листовъ завътныхъ»).

Мы сказали, что чтеніе Пушкина должно сильно д'вйствовать на воснитаніе, развитіе и образование изящно-гуманнаго чувства въ человъкъ. Да; не во гнъвъ будь сказано нашимъ литературнымъ старовърамъ, нашимъ сухимъ моралистамъ, нашимъ черствымъ, инти-эстетическимъ резонерамъ, -- пикто, ръшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжаль себътакого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ (если въ нихъ было и еще не умерло зерно эстетическаго и человъческаго чувства) читателей, какъ Пушкинъ, потому что мы не знаемъ на Руси болъе нравственнаго, при великости таланта, поэта, какъ Пушкинъ. Старовъры еще не могутъ

забыть — кто Ломоносова, кто Сумарокова. кто того, кто другого. Что касается до моралистовъ и резонеровъ (между которыми много найдете людей ограниченныхъ, хотя и добрыхъ и даже благонамъренныхъ, но еще болье фарисеевъ и тартюфовъ), -- они. ратун противъ Пушкина, какъ безиравствен наго ноэта, обыкновенно любять ссылаться или на шаловливыя въ эротпческомъ родъ произведенія его юности и на поэму «Русданъ и Людмила», не чуждую многихъ поэтическихъ вольностей, или на стихотворенія-«Демонъ», «Даръ напрасный, даръ случайный». Но перваго они не ставять же въвину Державину--автору «Мельника» и многихъ довольно вольныхъ анакреонтическихъ стихотвореній, ибо, не смотря на нихъ, считаютъ его въ высшей степени «нравственнымъ» поэтомъ. Равнымъ образомъ, восхищаясь «Душенькой» Богдановича, они тоже не думають находить ее «безнравственной». Чёмь же Пушканъ виновать передъ ними?-Этого они сами не понимають, и потому оставимь ихъ въ поков... Относительно же «Демона» мы еще будемъ говорить о томъ, что Пушкинскій демонъ не изъ самыхъ опасныхъ, и что это -скоръе чертенокъ, нежели чортъ. Прибавимъ къ этому только, что и не будучи демоническимъ поэтомъ, Пушкинъ имълъ право и не могь не знать иногда муки сомнёнія: ибо этой муки совершенно чужды только натуры мелкія, ничтожныя, сухія и мертвыя. Пьеса «Даръ напрасный, даръ случайный» есть не что иное. какъ порождение одной изъ тъхъ тяжелыхъ минуть нравственной апатіп и душевнаго отчаянія, которыя неизбіжны, какъ минуты, для всякой живой и сильной натуры; но она отнюдь не есть выражение павоса Пушкинской поэзін, а скорве -- случайное противоръчіе павосу его поэзіп. Призваніе Пушкина, характеръ и направление его поэзін гораздо болье выражаются въ этомъ стихотвореніи:

Въ часы забавъ, иль праздной скуки, Бывало, лирѣ я моей Ввърялъ изнъженные звуки Безумства, лѣни и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звонъ я прерывалъ, Когда твой голось величавой Меня внезацио поражалъ. Я лиль потоки слезь нежданныхъ, И ранамъ совъсти моей Твоихъ ръчей благоуханныхъ Отрадень чистый быль елей. И нынъ съ высоты духовной Мив руку простираешь ты, И сплой кроткой и любовной Смиряешь буйныя мечты. Твоимъ отнемъ душа палима, Отвергла мракъ земныхъ суетъ, И внемлетъ арфъ серафима Въ священномъ ужасъ поэтъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаній міра, и такъ какъ она безусловно признаеть его настоящее положение, если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходиморазумнымъ, - поэтому она отличается характеромъ болье созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болъе, какъ чувство или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорђуји жизни; но она смотрить на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (resignatio), какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей действительности и веры въ возможность его осуществленія. Такой взглядь на міръ вытекаль уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящной елейностью, кротостью, глубиной и 1203вышенностью своей поэзін, и въ этомъ же взглядь заключаются недостачки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрвнію Пушкинь принадлежить къ той школь мскусства, которой пора уже миновала соверптенно въ Европъ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремление изследованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сділались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Воть въ чемъ время опередило поэзію Пушкана и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможень только какъ удовлетворительный ответь на тревожные, болевненные вопросы настоящаго. Эту мысль мы полнъе и ясиъе разовьемъ въ стать о Лермонтовъ, въ которой постоянно будемъ имъть въ виду сравнение обоихъ этихъ поэтовъ.

Въ стихотвореніп «Чернь» заключается художническое profession de foi Пушкина. Онъ презпраеть чернь и, на ея приглашеніе исправлять ее звуками лиры, отвъчаеть словами, полными благородной гордости и энергического негодованія:

!Годите прочь! какое дъло Поэту мирному до вась? Въ развратъ каменъйте смъло: Не оживить вась лиры глась; Душъ противны вы какъ гробы Для вашей глупости и злобы Имъли вы до сей поры Вичи, темницы топоры: Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ! Во градахъ вашихъ съ удицъ шумныхъ Сметають сорь-полезный трудь! Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношенье, Жрецы ль у вась метлу беруть? Не для экитейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ: Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Дъйствительно, смъшны и жалки тъ глупцы, которые смотрятъ на поэзю, какъ на искусство втискивать въ размъренныя строчки съ

риомами разныя правоучительным мысли, и требують отъ поэта непремьнно, чтобъ онъ восивваль имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидьть поэзію вта самомъ вдохновенномъ произведении, если въ немъ нътъ общихъ правоучительныхъ мъстъ. Но если до истины можно доходить не темъ, чтобъ соглашаться съ глупнами, то и не темъ, чтобъ противоръчить имъ, — а тымъ, чтобъ. забывая о ихъ существованін, смотрѣть на предметь глазами разума. Не только поэты съ ихъ «вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами», но и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваетъ поэтовъ, не имъди бы никакого значенія, если бъ набожная толпа не соприсутствовала алтарямъ и жертвоприношеніямъ. Толпа, въ смыслѣ массы народной, есть прямая хранительнина народнаго духа, непосредственный источникъ тапиственной исихен народной жизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состояни порождать изъ себя ведикихъ поэтовъ, не стоитъ названія народа или націп-съ него довольно чести называться просто племенемъ. Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можетъ ни быть, ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромъ людей ограниченныхъ п духовно-малолътнихъ, не обязываеть поэта воспъвать непремънно гимны добродътели и карать сатпрой порокъ; но каждый умный человькъ въ правъ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отв'єты на вопросы времени, или по крайней мѣрѣ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презпрая толпу, тотъ рискуеть быть единственнымъ читателемъ своихъ произведений. И дъйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдъ онъ просто воплощаеть въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдъ хочетъ быть мыслителемъ и ръшителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе «Поэть», въ которомъ онъ развиваеть мысль, что поять, пока не потребуетъ его Аполлонъ къ священной жертвъ, ничтожнъе всъхъ инчтожныхъ дътей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный зовъ. душа его стряхиваеть съ себя нечистый сонъ жизни, какъ пробудившійся орель; но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишить поэтами, которые пошлы, когда не пишутъ, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; но тъмъ не менье всь видять въ нихъ теперь не болье, какъ великихъ людей на малыя дёла: всё знають. что эти господа скоро выписываются и изъза денегъ громкими фразами увъряють другихъ въ томъ, чему некогда сами верили, но

чему теперь уже сами первые не върять. Наше время преклонить кольни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучшій комментарій на его творенія, а творенія—дучшее оправдание его жизни. Гёте не принадлежаль къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіей; но практическій п историческій пидифферентизмъ не даль ему сдёлаться властителемь думь нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлюшаго генія. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служение, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тамъ не менње были причиной постепеннаго охлажленія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Прагда, самый неумфренный восторгь возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношении, пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чёмъ совершените становился Пушкинъ, какъ хуложинкъ, тъмъ болъе скрывалась и исчезала его личгость за чуднымъ роскошнымъ міромъ его поэтическихъ соверцаний. Публика съ одной стороны не была въ состояние оценать художественнаго совершенства его последнихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ правъ была искать въ поэзін Пушкина болье правственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Между тѣмъ пзбранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурой к призваніемъ: онъ не палъ, а только сдёлался самимъ собою, но по несчастью въ такое время, которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, отъ котораго вышгрывало искусство и мало пріобрѣтало общество. Какъ бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могъ выйти изъ заколдованнаго круга своей личности,-и со всей добросовъстностью человъка и художника написалъ свое превосходное стихотвореніе «Поэту»:

Ноэть, не дорожи любовію народной! Восторженных похваль пройдеть минутный шумъ:

Услыщинь судъглупца и смъхътолны холодной; но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ. Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный: умъ, Усовершенствуя плоды высокихъ думъ, но требуя наградъ за подвигъ благородной. Онъеъ самомъ тебъ. Ты самъ свой высшій судъ; Всъхъ строже оцънить умъешь ты свой трудъ. Ты имъ доволенъ ди, ваыскательный художникъ?

Посолент? Такь пускай толна тебя бранить, и плюеть на алтарь, гдё твой огонь горить, и въ дётской рёзвости колеблеть твой треножникъ.

II Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величи непонятаго и оскорблем-

наго художника. И когда онъ писалъ свои дучтии творения—«Скупого Ръцаря», «Египетския Ночи», «Русалку», Мъднаго Всадника», «Галуба», «Каменнаго Гостя», онъ всего менфе равсчитывалъ на восторгъ публики и потому не торонился издаватъ ихъ...

Изъ мелкихъ произведеній его болье другихъ отличаются присутствіемъ глубокой и яркой мысли, и вмёстё съ темъ національнаго чувства, въ истинномъ значения этого слова, стихотворенія; посвященныя памяти Петра Великаго. Имя Петра Великаго должно быть нравственной точкой, въ которой должны сосредоточиться всё чувства, всё убёжденія, всь надежды, гордость, благоговініе н обожаніе всёхъ русскихъ: Петръ Великійне только творецъ бывшаго и пастоящаго величін Россін, но и всегда останется путеводной звіздой русскаго народа, благодаря которой Россія будеть всегла птти своей настоящей дорогой къ высокой цели нрав ственнаго, человъческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ нигдъ не является ни столько высокимъ, ни столько національнымъ поэтомъ, какъ въ техъ вдохновеніяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени твориа Россіи. Эти стихотворенія достойны своего высокаго предмета. Жаль только, что ихъ слишкомъ мало. Изъ поэмъ Петръ является въ «Полтавѣ» и «Мѣдномъ Всад Л пикъ»: объ нихъ мы будемъ говорить въ следующей статье. Изъ мелкихъ стихотвореній Петру посвящены только дві пьесы,но это перлы поэзіи Пушкина. Кром'є простоты и величія въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженія, есть что-то русское, народное въ самомъ тонъ и складъ этихъ пьесъ. Кто изъ образованныхъ русскихъ (если онъ только дъйствительно русскій) не знаеть превосходной пьесы, носящей скромное и, повидимому, незначительное название «Стансовъз? Эта пьеса драгоцениа русскому сердцу въ двухъ отношенияхъ: въ ней, словно изваянный, является колоссальный образъ Петра; въ связи съ нимъ находимъ въ ней поэтическое пророчество, такъ чудно и вполнъ сбывавшееся, о блаженствъ нашихъ дней:

> Въ надеждъ славы и добра Гляжу впередъ я безъ боязги: Начало славныхъ дней Пегра Мрачили мятежи и казии, Но правдой онъ привлекъ сердца, Но правы укротиль наукой И быль отъ буйнаго стръльца Предъ вимъ отличенъ Долгорукой. Самодержавною рукой Онъ смвло свяль просвещенье, Не презиралъ страны родной: Онъ зналь ея предназначенье. То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ, Онъ всеобъемлющей душой На тронъ въчный быль работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ, Во всемъ будь пращуру подобент: Какъ опъ пеутомимъ и твердъ, И памятью, какъ опъ, незлобенъ.

Какое величіе и какая простота выраженія! Какъ глубоко знаменательны, какъ возвышенно благородны эти простыя житейскія слова-плотникъ и работникъ!.. Кому неизвестна также превосходная пьеса Пушкина-«Пиръ Петра Великаго»? Это-высокое художественное произведение и въ то же время — народная преня. Воть передъ такой народностью въ поэзіи мы готовы преклопяться; воть это-патріотизмъ, передъ которымъ мы благоговъемъ... А ужъ воля ваша, ни народности, ни натріотизма не видимъ мы ни искорки въ новъйшихъ «драматическихъ представленіяхъ» и романахъ съ хвастливыми фразами, съ квашеной капустой, кулаками и подбитыми лицами...

Никто изъ русскихъ поэтовъ не умълъ съ такимъ непостижимымъ пскусствомъ спрыскивать живой водой своей творческой фантазін немножко дубоватые матеріалы народныхъ нашихъ пъсенъ. Прочтите «Жениха», «Утопленника»; «Въсовъ» и «Зимній Вечеръ»—и вы удивитесь, увидя, какой очаровательный міръ поэзін уміль вызвать поэть своимъ волиебнымъ жезломъ изътакихъ скудныхъ стихій... Эти пьесы въ тысячу разъ лучше его же такъ-называемыхъ сказокъ, -- этихъ уродливыхъ искаженій и безъ того уродливой поэзін... но о нихъ рачь впереди. И если такихъ пьесъ, какъ «Женихъ», «Утопленникъ», «Бъсы» и «Зимній Вечеръ», у Пушкина немного, въ этомъ, конечно, виноваты ограниченность и бъдность сферы нашей народной поэзіи. Но Пушкинъ умаль извлечь пзъ нея дивную поэму, на половину фантастическую, на половину фактически-положительную, и въ обоихъ случанхъ удивительно по-тически върную дъйствительность русской жизни. Мы говоримъ о «Русалкъ», о которой, впрочемъ, рѣчь также впереди.

Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзін, рѣзко отдѣляющимъ ее отъ прежней школы, принадлежить его художническая добросовъстность. Пушкинъ ничего не преувеличиваеть, ничего не укращаеть, ничвиъ не эффектируеть, никогда не взводить на себя великольнныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездъ является такимъ, каковъ быль действительно. Такъ, напримеръ, онъ узнаеть о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину странной скорби, невыносимой муки!... Но сердце наше - въчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подъйствовала на Пушкина роковая въсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томилась, увядала...

Увяла, наконецъ, и върно надо мной Младая тънь уже летала; Но недоступная черта межъ нами есть.

Напрасно чувство возбуждаль я; Нав равнодушных усть я слышаль смерти

И равнодушно ей внималь я: Такъ воть кого любиль я пламенной душой Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ, Съ такою нъжною, томительной тоской.

Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ! Гдв муки, гдв любовь? Увы! въ душть моей Для бъдной легковърной тъни,

Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ни слезъ, ни изсин.

Да, непостижимо сердце человъческое, и, можеть быть, тоть же самый предметь внушилъ впоследствии Пушкину его дивную «Разлуку» («Для береговъ отчизны дальней»)... Въ отношении художнической добросовъстности Пушкина, такова же его превосходная пьеса «Воспоминаніе»: въ ней онь не рисуется въ мантін сатанинскаго величія, какъ это делають часто мелкодушные талантики, но просто какъ человѣкъ оплакиваеть свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совъсти... Та же художническая добросовъстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любять щеголять мелкіе таланты, изукрашиван ихъ небывалыми красками и изъ русской природы смёло дълая пародію на нтальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнъйшихъ и, въроятно, по этой причинъ, наименте замъченныхъ и оцъненныхъ пьесъ Пушкина—«Капризъ»:

Румяный критикъ мой, насмъшникъ толсто-

Готовый выкъ трунить надъ нашей томной музой,

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимь ли съ проклятою хандрой. Что жь ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить

И пъсенкою насъ веселой позабавить? Смотри, какой здъсь видъ: избущекъ рядъ убогой,

За ними черноземъ, равнины скатъ отлогой, Надъ ними сърыхъ тучъ густая полоса. Гдъ жъ нивы свътлыя? гдъ темные лъса? Гдъ ръчка? На дворъ у низкаго забора Два бъдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора, Два только деревца, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совсъмъ обнажено, А листъя на другомъ размокли и, желтъя, чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея. И только. На дворъ живой собаки пътъ. Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двъ бабы вслъдъ.

Везъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка

🗷 кличеть издали лениваго попенка.

Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворияъ Скоръй, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилы

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природъ. Онъ созерцалъ ее удивительно върно и живо, но не углублядся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуеть ее, но не мыслить о ней. II это служить новымь доказательствомъ того, что паоосъ его поэзін былъ чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно дійствовать на воспитание и образование чувства въ человічкі. Если съ кімь изь великихь европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имбеть нъкоторое сходство, такъ болъе всего съ Гёте, и онъ, еще болье, нежели Гёте, можеть действовать на развитие и образованіе чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество передъ Гете и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, въренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны-въ эгомъ же самомъ неизмъримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ: ибо Гёте-весь мысль, и онъ не просто изображалъ природу, а заставляль ее раскрывать передъ нимъ ея завътныя и сокровенныя тайны. Отсюда ядилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и-

> Была ему звъздная кинга ясна, И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинскаго созерцанія природы могуть служить пьесы: «Туча» и «Обваль». Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесь, объ онъ—живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношении, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаеть Шекспира. Это доказывають даже мелкін его пьесы, какъ н поэмы и драматическіе опыты: Взглянемъ въ этомъ отношеніи на первыя. Превосходнъйшія пьесы въ антологическомъ родъ, запечатльнныя духомъ древне-эллинской музы, подражанія Корану, вполив передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзінблестящій адмазь въ поэтическомъ вінці Пушкина! «Въ крови горитъ огонь желанья», «Вертоградъ моей сестры», «Пророкъ» и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненной глубокаго смысла и названной «Отрывкомъ», представляютъ красоты восточной поэзін другого характера и высшаго рода, принадлежать къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протея. Мы гово-

рили уже о «Женихв», «Утопленникв» «Бвсахъ» и «Зимнемъ вечерѣ», —пьесахъ, образующихъ собой отдёльный міръ руссконародной поэзіи въ художественной формь. «Пѣсия Западныхъ Славянъ» болѣе чѣмъ что-чибудь доказывають пепостижимый поэтическій тактъ Пушкина и гибкость его таланта. Извъстно происхождение этихъ пъсенъ и продълка даровитаго француза Мериме, вздумавшаго носмѣяться надъ колоритомъ мъстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкъ эти поддъльныя пъсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онъ дышать всей роскошью мъстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе, — неизбѣжное, впрочемъ, свойство всехъ народныхъ произведеній. — «Подражанія Данту» можно счесть за отрывочные переводы изъ «Божественной Комедіи», и они дають о ней лучшее и върнъйшее понятіе, чъмъ всь досель сдъланные по-русски переводы въ стихахъ и прозъ. «Начало поэмы» («Стамбулъ гяуры нынѣ славять») какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный! И то ли еще увидимъ въ этомъ отношении въ большихъ пьесахъ Пушкина!

Сделаемъ теперь общій взглядъ на всё мелкія стихотворенія и поговоримъ о нёкоторыхъ въ частности. О стихотвореніяхъ, заключающихся въ первой части, мы говорили почти обо всёхъ. При началё поэтическаго поприща Пушкина живо интересовала современная исторія,—направленіе, которому онъ скоро совершенно измёнилъ. Онъ вослёдъ смерть Наполеона; въ превосходной пьесё своей «Къ морю» онъ принесъ достойную дань памяти Байрона, охарактеризовавъ его личность этими немногими, но сильными чертами:

Твой образъ былъ на немъ означенъ, Овъ духомъ созданъ былъ твоимъ: Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ, Какъ ты ничвмъ неукротимъ...

Андре Шенье быль отчасти учителемь Пушкина въ древней классической поэзіп, и въ элегіи, означенной именемъ французскаго поэта, Пушкинъ многими прекрасными стихами върно воспроизвелъ его образъ. Въ превосходной пьесъ «19 октябри» мы знакомимся съ самимъ Пушкинымъ, какъ съ человъкомъ, для того, чтобъ любить его, какъ человъка. Вси эта пьеса посвящена имъ воспоминанію объ отсутствующихъ друзьяхъ. Многія черты въ ней принадлежатъ уже къ прошеднему времени: такъ, напримъръ, теперь, когда уже вывелись восторженные юноши-поэты въ родъ Ленскаго (въ «Опѣгинъ»), никто не говоритъ «о Шиллеръ, о славъ, о

дюбви», по пьеса отъ этого тымь дороже для насъ, какъ живой памятникъ прошлаго.

«Сцена изъ Фауста» есть не переводъ изъ великой поэмы Гёте, а собственное сочиненіе Пушкина въ духѣ Гёте. Превосходная пьеса, но павосъ ея не совсимъ Г гевскій. Прекрасная маленькая пьеска: «Воронъ къ ворону летить» есть передёлка на русскій ладъ баллады Вальтеръ-Скотта. Пьесы, составляющія третью часть, болье проникнуты грустью, но не элегической; это даже не грусть, а скоръе важная дума пенытаннаго жизнью и глубоко всмотръвшагося въ нее таланта. Чувство гуманности во мпогихъ пьесахъ этой части доходить до какого-то внутренняго просеттивнія. Таковы въ особенности пьесы: «Когда твои младыя лъта» и «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ». Заключение послъдней превосходно: есть что-то похожее на пантенстическое міросозерцаніе Гёте въ последнемъ куплеть: томимый грустнымъ предчувствіемъ близкаго конца, поэтъ говорить, что ему хотьлось бы заснуть навъки въ родномъ крав, хотя для безчувственнаго тела везде равно истлевать-

> И пусть у гробового входа Младая будеть жизнь играть, И равнодушная прпрода Красою въчною сіять!

Изъ этого, какъ изъ многихъ, особенно большихъ, пьесъ Пушкина видно, что онъ поставлялъ выходъ изъ диссонансовъ жизни и примиреніе съ трагическими законами судьбы не въ заоблачныхъ мечтаніяхъ, а въ оппрающейся на самое себя силъ духа...

Въ третьей же части находится превосходное стихотвореніе «Къ Вельможъ». Это -полная, дивными красками написанная картина русскаго XVIII вѣка. Нѣкоторые крикливые глупцы, не понявъ этого стихотворенія, осм'єдивались въ своихъ полемическихъ выходкахъ бросать тынь на характеръ великаго поэта, думая видъть десть тамъ, гдъ должно видъть только въ высшей степени художественное постижение и изображеніе целой эпохи вь лице одного изъ замѣчательнѣйшихъ ея представителей. Стихи этой пьесы-само совершенство, и вообще вся пьеса-одно изъ лучшихъ созданій Пушкина; поэть, съ дивной верностью изобразивъ то время, еще болье оттыняеть его черезъ контрастъ съ нашимъ:

Все измѣнилося. Ты видѣлъ вихорь бури, Падепіе всего, союзъ ума и фурій, Свободой грозною воздвигнутый законъ, Подъ гильотиною Версаль и Тріанонъ, И мрачнымъ ужасомъ смѣненныя забавы. Преобразился міръ при громахъ новой славы, Давно Ферней умолкъ. Пріятель твой Вольтеръ, Превратности судебъ разительный примъръ, Не успоконвшись и въ гробовомъ жилищъ. Донынф странствуетъсъкладбица на кладбище. Баропъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ,

зициклопедій скептическій причеть, И колкій Бомарше, и твой безноскій Касти, Всё, всё уже прошли. Ихъ миёнья, толки, страсти Забыты для другихь. Смотри, вокругъ тебя Все новое кипить, былое истребя Забыты для другихь. Смотри, вокругъ тебя Все новое кипить, былое истребя Забыты для другихь. Смотри, ваденья, Клаза опомишлись младыя поколёнья. Кестокихъ опытовъ сбирая поздній плодъ. Эни тороиятся съ расходомъ свесть приходт Имъ некогда шутить, объдать у Темиры, Иль спорить о стихахъ. Звукъ повой, чудной лиры, Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ.

Вообще третья часть заключаеть въ себъ дучшія медкія пьесы Пушкина, не говоря уже о двухъ превосходнъйшихъ драматическихъ очеркахъ-«Моцартъ и Сальери» и «Пиръ во время чумы». Въ самомъ стихъ виденъ большой успъхъ. П между тъмъ аристархами того времени эта часть была принята очень дурно. «Кавказъ», «Обвалъ», «Монастырь на Казбекъ», «На ходмахъ Грувін лежить ночная мгла», - «Не плѣняйся бранной славой», «Когда твои младыя лъта», «Зима. Что дълать намъ въ деревиъ», «Зимнее Утро», «Калмычкь», «Что въ имени тебѣ моемъ», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Въ часы забавъ, иль праздной скуки», «Къ Вельможъ», «Поэту», «Отвётъ Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Бъсы», «Трудь», «Цыгане», «Мадонна», «Эхо». «Клеветникамъ Россін», «Бородинская Годовщина», «Узники», «Зимній вечеръ», «Даръ напрасный, даръ случайный», «Каковъ я прежде быль, таковъ п нынё я», «Анчаръ», «Примъты»: во всъхъ этихъ ньесахъ критиканы 1832 года увидёли несомненные признаки паденія Пумкина!... Тото были люди со вкусомъ!...

Четвертая часть преимущественно занята русскими сказками и «Пъснями Западныхъ Слагянъ»; мелкихъ пьесъ немного, но онъ всь превосходны. «Гусаръ», «Будрысъ и его Сыновья», «Воевода»—мастерскіе переводы изъ . Мицкевича»; «Красавица», двъ пьесы «подражаній древнимъ» и «Элегія» («Безумныхь лать угасшее веселье») принадлежать къ дучшимъ произведеніямъ Пушкина. Кромъ того въ четвертой части напечатанъ «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ», явившійся въ первый разъ въ видѣ предисловія къ первой главѣ «Евгенія Онѣгина». Этоть «Разговоръ» отзывается первой эпохой поэтической дъятельности Пушкина и не совсемь кстати попаль въ четвертую часть его сочиненій.

Къ позднъйшимъ сочинениямъ Пушкина, которыя бы должны были составить пятую часть его мелкихъ стихотвореній, принадлежатъ: «Туча», «Аквилонъ», «Пиръ Петра Великаго», «Полководенъ» (одно изъ превосходивйшихъ созданій Пушкина), «Покровъ, упитанный язвительною кровью» (изъ

А. Шенье). Въ ІХ-й томъ изданныхъ по смерти его сочиненій вошли пікоторыя изъ старыхъ, непопавшихъ по недосмотру въ первые тома, и некоторыя изъ новыхъ произведеній, которыхъ авторъ не хотѣль печаталь, а некоторыя и изъ действительно последнихъ его произведений Во всякомъ случав лучшія пзъ шихь: «Памятникъ», «Разлука», «Не дай мить Богъ сойти съ ума». «Три ключа», «Пажъ или пятнадиатил/ттий король», «Подражаніе птальянскому», «Подражаніе арабскому» («Отрокъ милый, отрокъ ивжный»). «М. А. Г.», «Лицейская Годовщина», «Къ Гивличу» (Съ Гомеромъ долго ты беседоваль одинь), «Разставаніе», «Романсъ». «Ночью во время безсонницы», «Заклинаніе», «Капризъ», «Подражаніе Данту», «Огрывокъ», «Последніе цветы», «Кто знаеть край, гдв небо блещеть», «Осень», «Начало по-мы», «Герой», «Молитва», «Опять на родинь», да еще пропущенныя вовсе: «Нъть, ньть, не должень я, не смыю, не могу» и «Признаніе» (А. П. O-й).

До какого состоянія внутренняго просвётлінія возвысился духъ Пушкина въ посліднее время, могуть служить фактомъ дві маленькія пьески—«Элегія» и «Три Ключа»;

Везумныхъ лётъ угасшее веселье Мив тижело, какъ смутное похмелье; По, какъ вино, печаль минувшихъ дней Въ моей душе, чёмъ старе, темъ сильней. Мой путь унылъ. Сулитъ мнё трудъ и горе Грядущаго волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать! Я жить хочу, чтобь мыслить и страдать И, въдаю, мив будуть наслажденья Межь горестей, заботь и тревольненья: Порой онять гармоніей уньюсь, надъ вымысломь слезами обольюсь, И, можеть быть, на мой закать печальной Блеснеть любовь улыбкою прощальной.

Въ степи мірской, печальной и безбрежьой, Тайнственно пробились три ключа: Ключь юности—ключь быстрый и мятежной, Книнтъ, обжитъ, сверкая и журча; Кастальскій ключь волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ; Послёдній ключь—холодный ключъ забвенья, Онъ слаще всёхъ жаръ сердца утолитъ.

Заключимъ нашъ обзоръ мелкихъ лирическихъ пьесъ Пушкина мивніемъ о нихъ Гоголя, мивніемъ, въ которомъ, конечно, сказано больше и лучше, нежели сколько и какъ сказали мы въ цьлой статьв нашей:

"Въ мелкихъ своихъ сочивеніяхъ—этой прелестной антологіи—Пушкинъ разпостороненъ необыкновенно и является еще обширнъе, виднъе, нежели въ поэмахъ. Нъкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ ръзко ослъпительны, что ихъ снособенъ понимать всякій, но зато большая часть изъ нихъ, и при томъ самыхъ дучшихъ, кажется обыкновенной для мпогочисленной толны. Чтобъ быть способну понимать ихъ, нужно имъть слишкомъ тонкое обоняніе; нуженъ вкусъ выше того, который можеть понимать только

одив слишкомъ ръзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нъкоторомъ отношени сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который всть птичку не болве наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, которато вкусъ кажется совстмъ неопредълениымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать издёлія крепостного повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній -рядъ самыхъ осленительныхъ картинъ. Это тоть ясный міръ, который такъ дышить чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струв какой-нибуль серебряной ръки, въ которомъ быстро и ярко мелькають ослепительныя плечи, или бълыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздья винограда, или мирты и древеспая свиь, созданная для жизип. Тутъ все: и наслажденіе и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здёсь нёть этого каскада краснорвчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаеть паденіемъ всей массы, по если отділить ее, опа становится слабой и безсильной З гвсь нътъ прасноричия, здъсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается невдругъ; все лаконнзмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначають все. Въ каждомъ словъ бездиа пространства: каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходить то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь нъсколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имветъ сочинение, въ которомъ слишкомъ просвъчиваетъ одна главная пдея.

"Мив всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болъе довърялъ, покамъстъ еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметь. Эти мелкія сочинснія можно назвать пробнымъ камнемъ, на готорыхъ можно испытать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго его критика. Непостижние дъло! казалось, какъ бы имъ не быть доступными всёмъ! Они такъпросто возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастиы и вмъсть такъ дътски-чисты. Какъ бы не понимать нхъ! Но, увы! это неотразимая истина: чёмъ болёе поэтъ становится поэтомъ, чёми болье изображаеть онъ чувства, знакомыя поэтамъ, тъмъ замътнъе уменьшается кругъ обступившей его толны и, наконець, такъ становится тесень, что онь можетъ перечесть по пальцамъ всехъ своихъ истиппыхъ цвинтелей."

## V

## Поэмы: «Русланъ и Людмила», «Кавказскій Пльнникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Братья-Разбойники».

Нельзя ни съ чёмъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первой поэмой Пушкина—«Русланъ и Людмила». Слинкомъ немногимъ геніальнымъ твореніямъ удавалось производить столько шуму, сколько произведа эта дётская и нисколько не геніальная поэма. Поборники новаго увидёли въ ней колоссальное произведеніе, и долго постё того величали они Пушкина забавнымъ титлюмъ «иёвца Руслана и Людмилы». Предломъ «иёвца Руслана и Людмилы».

ставители другой крайности, слъпые повлонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ «Руслана и Люлмилы». Они увильли въ ней все, чего въ ней нътъ-чуть не безбожіе, и не увидёли въ ней ничего изътого. что именно есть въ ней, то есть хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мъстами, проблесковъ поззін. Перелиступте, отъ скуки, журналы 1820 года, -- и вы съ трудомъ повърите, что все это писалось и читалось не болье, какъ какихъ-нибудь 24 года назадъ... И это относится не къ однемь порицательнымь, но и къ хвалительнымъ статьямъ, которыми наводинлись журналы того времени вследствіе появленія «Руслана и Людмилы». Впрочемъ, подобное явленіе столько же понятно, сколько естественно и обыкновенно. Люди, которымъ не дано способности леглубляться вр слиность вещей, раздёляются на старовёровъ и на верхоглядовъ. Первые стоять за старое и слъдуютъ мудрому правилу: «все старое хорошо, потому что оно-старое, а все новое дурно, потому что оно-новое»; вторые стоять за новое и следують мудрому правилу: «все новое хорошо, потому что оно-новое, а все старое дурно, потому что оно-старое». Несмотря на всю противоноложность этихъ двухъ партій, снѣ очень похожи одна на другую, потому что источникъ ихъ воззрънія, при всемъ своемъ различін, одинъ и тотъ же: это - нравственная слъпота, препятствующая видъть сущность предмета. Старовъры, какъ люди всегда дряхлые, если не годами, то душой, управляются привычной, которая заміняеть имъ размышленіе и избавляеть ихъ отъ всякой умственной работы. Привыкнувь съ молодости слышать, что такой-то писатель великъ, они не заботятся узнать, почему онъ ведикъ и точго ли онъ великъ, и готовы считать безбожникомъ всякаго, кто осмвлился бы усомнить (н въ величін этого писателя. Такимъ-то образомъ до появленія Пушкина у нашихъ словеснивовъ слыни за великихъ писателей Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Богдановичъ,и въ ихъ глазахъ Державинъ по тому же самому быль великь, почему и Сумароковъ съ Херасковымъ, то есть по неоспоримому праву давности, а совсемъ не потому, чтобъ они умели чувствовать и постигать красоты его поэзін. У кого есть эстетическій вкусь и кто способенъ находить красоты въ Державинь, тоть уже не можеть восхищаться Сумароковымъ, Херасковымъ или Петровымъ, а словесники, о которыхъ мы говоримъ, равно благоговёли передъ Сумароковымъ п Херасковымъ, какъ и передъ Державинымъ; Ломоносова же считали одни наравит съ

Державинымъ, другіе ставили выше Державина, а третьи оставались въ недоумкини, кому изъ нихъ отдать нальму первенства Ясный знакъ, что всеми этими мибинями управляла привычка, одна привычка и больше ничего... Каково же было дожить этимъ старымъ дітямъ привычки до такого страштаго поруганія, когда общій голось публики нарекъ знаменитымъ поэтомъ какого-то Александра Пушкина, который, по метрическимъ книгамъ, жилъ на свътъ не болъе двадцати одного года! Къ вящиему соблазну реченный Пушкинъ осмълился писать такъ, какъ до него пикто не писалъ на Руси, возымълъ неслыхачную дерзость или наче отъявленное буйство-итти своимъ собственнымъ путемъ, не взявъ себъ за образецъ ил одного изъ законодателей парнасскихъ, великихъ поэтовъ пностранныхъ и россійскихъ, каковы: Гемеръ, Пиндаръ, Виргилій, Горацій, Овидій, Тассъ, Мильтонъ, Корнель, Расинь, Буато, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Дмитріевъ п проч. А извъстно и въдомо было въ тъ времена каждому, даже и не учившемуся въ семинаріи, что таланть безъ подражанія геніямъ, утвержденнымъ давностью, гибнетъ втунь жертвой собственнаго своевольства. Самъ Жуковскій, хотя онъ и крѣнко насолиль словесникамъ своими балладами и своимъ романтизмомъ, самъ Жуковскій держался Шиллера; а Батюшковъ именно потому и быль отличнымъ поэтомъ, что подражаль Парии и Мильвуа, которые, вмёсть взятые, не годились ему и въ парнасскіе камердинеры... По всемъ этимъ резонамъ долой Пушкина! Или онъ, или мы; а вмъсть сь нимъ намъ тесно на земле!... И это продолжалось не менье десяти лътъ сряду. Однакожъ Пушкинъ устоялъ, и теперь развъ только какія-нибудь литературныя аномалін, которыхъ одно имя возбуждаеть смёхъ, вопіють еще нерѣдко противъ законности правъ Пушкина на титло великаго поэта; но они противопоставляють ему уже не Сумарокова съ Херасковымъ, а своихъ собственныхъ, нарочно для этого случая испеченныхъ геніевъ, которые

> . . . немножечко деруть, Зато ужь въ роть хмельного не беруть, И всъ съ прекраснымь поведеньемъ.

Такъ всегда время побъкдаетъ предразсудки людей, и на ихъ развалинахъ возстановляетъ побъдоносное знамя истины; но тъмъ не менъе для будущаго времени всегда остается та же работа. Въ продолжене почти пятнадцати лътъ всъ и р и вы кли къ имени Пушкина и къ его славъ, а погому всъ и и о въ р и л и, накопецъ, что Пушкинъ—великій поэтъ. Но отъ этого дъло не исправилось

для будущихъ поэтовъ, п ихъ всегда будутъ принимать не съ одними кликами восторга, но и съ свистками, и съ каменьями, до тъхъ поръ, пока не привыкнуть къ ихъ именамъ и ихъ славъ. Развъ теперь не тоже самое сбывается на нашихъ глазахъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ, что было съ Пушкинымъ? Есть люди, которые, но какому-то внутреннему безсознательному побужденію, съ жадностью читають каждое новое произведение Гогоди и чуть не наизусть знають всё прежнія его сочиненія, а между тімь приходять въ непритворное негодование, если при нихъ Гоголя называють великимь поэтомъ... Поюждите еще и всколько-привыкнуть, и тогда-горе человьку, который сдылаеть хотя бы дъльное замъчание не въ пользу Гоголи... Такова ужъ натура этихъ людей! Они кланяются только побёдителю и признають власть только того, кого боятся...

Но не лучше старовъровъ и верхогляды, которые рукоплещуть только торжеству настоящей минуты и не хотять знать о заслугв, которую сами же прославляли за нъсколько дней передъ тъмъ. Для нихъ хорошо только новое, и въ литературѣ они видятъ только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, какъ всѣ водевили, для нихъ важнѣе и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя оть Ума» Грибовдова, и «Ревизора» Гоголя. Они совсемъ не то, что люди движенія, которые въ своей крайности, восторгаясь новымъ дитературнымъ явленіемъ, отрицають всякую заслугу со стороны прежнихъ писателей. Петь, верхогляды совсемь не фанатики: они не отрицають важности старыхъ писателей и старыхъ сочиненій, а просто не хотять ихъ знать; старо же для нихъ все, что появилось хотя за день до какой-нибудь пошлости, занявшей ихъ сегодня. Каждый изъ нихъ знаетъ по именамъ всёхъ замёчательныхъ русскихъ поэтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не читалъ ни Ломоносова, ни Державина, ни Карамзина, ни Дмитріева, ни Озерова. Они читаютъ только современное, новое, хотя бы оно состояло изъ сущихъ пустявовъ.

Мы не говоримъ здёсь о тёхъ приверженнахъ старины, которые отстанваютъ старое противъ поваго по привязанности къ школѣ, къ принципамъ, въ которыхъ воспитались Въ людяхъ этого разряда много смёшного к жалкаго, но много и достойнаго любви и уваженія. Это не дѣти прпвычки, о которыхъ мы говорили выше; это—дѣти извѣстной доктрины, извѣстнаго ученія, извѣстной мысли. Рашнымъ образомъ и противоположные имъ пюклонники новаго, какъ новой мысли, новато созерцанія, поваго духа, заслуживають любовь и уваженіе, несмотри на ихъ крайности и смѣшныя, одностороннія убѣжденія. Фа ва-

тиямъ не есть истина, но безъ фанатизма исть стремленія къ истинь. Фанатизмъ—болізнь, но відь болізнь есть принадлежность только живого, а не мертваго: камень или

трунъ не знають болфзин... Причиной энтузіазма, возбужденнаго «Русланомъ и Людмилой», было, конечно, и предчувствіе новаго міра творчества, который от крываль Пункциъ всёми своими нервыми произведеніями, но еще болье это было просто обольщение невиданной дотол'в новинкой. Какъ бы то ин было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская лигература не представляла инчего подобнаг. «Руслану и Людмиль». Въ этой позмы все было пово: и стихи, и порвія, и шутка. и сказочный характеръ выбств съ серьезными картинами. Но был-чаго негодования, возбу жденнаго сказкой Пушкина, нальзя было бы совсьмъ понять, если бы мы пе знали о существованін старовіровь, дітей привычки. На что озлидись они? На ивсколько вольныя картины въ эротическомъ духѣ? -- Но они давно уже знакомы были съ ними черезъ Державина и въ особенности черезъ Богдановича... При томъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вину, напримъръ, Аріосту, Царни. несмотря на то, что вольности въ «Русланъ и Людмилъ« - сама скромность. само цыломудріе въ сравненін съ вольностими этихъ инсателей. Это были инсатели старые: го ахъ славъ давно уже всъ привыкли, и нотому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавиће всего, что «Душенька» Богдановича была признаваема старовърами за произведение классическое, то есть такое, какое уже выдержало пробу времени и высокое достопнство котораго уже не подвержено никакому сомнѣнію. Судя по этому, имъ-то бы и надобно было особенно восхититься поэмой Пушкина, которая во всёхъ отношеніяхъ была неизміримо выше «Душеньки» Богдановича. Стихъ Богдановича прозапченъ, вяль, водянъ, языкъ обветшалый и сверхъ того до-нельзя искаженный, такъ-называвшимися тогда «пінтическими вольностями»; поэзін почти нисколько; картины блідны, сухи. Словомъ, несмотря на всю незначительность «Руслана и Людмилы», какъ художественнаго произведенія, смішно было бы доказывать неизмфримое превосходство этой поэмы передъ «Душенькой». Сверхъ того, она навѣяна была на Пушкина Аріостомъ и русскаго въ ней кромъ именъ нътъ ничего; романтизма, столь ненавистнаго тогданнимъ словесникамъ, въ ней тоже нътъ ни искорки; романтизмъ даже осмѣянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкъ противъ «Двинадцати Спящихъ Дівъ». Короче: поэма Нушкина должна была составить торжество псевдо-классической нартін того времени. Но не туть-то было! При второмъ изданіи «Руслана и Людмилы», вышедшемъ въ 1828 году, принечатано нѣсколько ругательныхъ статей на эту поэму, написанныхъ въ 1820 году; неречтите вхъ—и вы не повърите глазамъ своимъ! Дли образчика такихъ критикъ выписываемъ отрывокъ одной изъ нихъ, нанечатанной въ «Въстникъ Европы 1820 года по случаю номъщеннаго въ «Сынъ Отечества» отрывка изъ «Руслана и Людмилы», еще до появления этой ноэмы виолиъ;

"Теперь прошу обратить ваше вниманіе на повый ужасный предметь, который, какт у Камоэнса Мысть бурь, выходить изъ пъдръ морскихъ и показывается посреди Океяна Россійской словосности. Пожазуйста, напечатайте же мое письмо: быть можеть, люди, которые грозять нашему теритыйо новымъ бъдствіемъ, опомнятся, раземъютен—и остановять намъреніе сдълаться наобрътателями новаго рода русскихъ сочиненій.

"Дьно воть въ чечь: вамъ извъстно, что мы отъ предковъ получили небольное бъдное наелъдство лигературы, т.е. сказки и писни народныя. Что объ шихъ сказать? Есля мы бережемъ старинныя монеты даже самыя безобразрия, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомпънія! Мы любимь воспоминать все отпосящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастинвому времени дітства, когда какая-нибудь пъсия или ссазка служила намъ невиниой збавой и составляла все богатстве познаній. Видите сами, что я не прочь отъ соби, анія и нанскапія русскихъ сказокъ и пъсень; не когда узналья, что наши словесиями приняли старинныя ивени севенить съ другой стерены, громко закричали о величін, инавности, силь, красотахъ, богатствъ нашихъ старинныхъ пъсенъ, начали переводить ихъ на ивмецкій языкъ и, наконецъ, такъ влюбились въ сказки и пъсни, что въ стихотвореніямъ XIX въка заблистали  $E_{Fg}$ сланы и Вовы на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный!

"Чего добраго ждать отъ повторенія болве жалкихъ, нежели смвшныхъ лепетапій?... чего ждать, когда наши поэты начинають народировать Кирим Данилова?

ровать Кирину Динилова? "Возможно ин просвъщенному, или хоть немно-

го свъдущему человъку теривть, когда ему предлагають ковую поэму, писанную въ подражаніе Еруслану Лазаревичу? Навольте же за-глянуть въ 15 п 16 NN Сына Отечества. Тамъ нензвъстные пінть на образчика выставляеть намъ отрывокъ изъ ноэмы своей Людмила и Русланг (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будеть содержать цълая поэма: по образчил, хоть кого выведеть изъ терпънія. Піпть оживляеть мужичка самь съ ноготь, а борода съ локоть. придаеть еще ему безконечные усы ("С. Отеч." стр. 121), показываеть намъ въдьму, шапочкуневидимку и проч. Но воть что всего драгоценнъе: Русланъ набзжаетъ въ полъ на побитую рать, видить богатырскую голову, подъ которой лежить мечь-кладенець: голова съ нимъ разглагольству тъ. сражается... Живо помию, какт, все это, бывало, я слушаль отъ няньки моей: теперь на старости сподобился вновь то же услышать отъ поэтовъ нынвиняго времени... Для большей точности или чтобъ лучше выразить всю прелесть стариниаго нашего изснослогія, поэтъ и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разсказяцку, напримъръ:

. . . Шутите вы со мною. Всёхъ убавлю васъ бородою!... Каково?

. . . Объткалъ голову кругомъ 11 сталъ предо носомо молчаливо, Щекотито ноздри копіемъ...

сочинения в. г. вълинскаго.

Картина, достойная Кирши Данилова! Далве чихнула голова, за ней и эхо чихаетъ... Вотъ что говоритъ рыцарь:

Я ъду, ъду, не свищу, А какъ наъду, не спущу...

"Потомъ рынарь ударяеть голову въ щеку тиженой рукавичей... Но увольте меня отъ подробнаго описанія, и позвольте спросить: если бы въ Московское Влагородное Собраніе какънистдь втерея (предполагаю невозможное возможнымь) тость съ бородою, въ армякъ, въ лаптяхъ и закричалъ он зычнымъ голосомъ: здорово, ребята! Неуже и бы стали такимъ проказникомъ любоваться! Бога ради, позвольте мив, старику, сказать публикв посредствомь вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появлении подобныхъ странностей. Зачвиъ допускать, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между пами? Шутка грубая, неодобряемая вкусомъ просвъщеннымъ, отвратительна, и ни мало не смъшна и не забавна. Dixi

Житель Бутырской слободы."

Итакъ, ясно, что «бутырскаго» критика оскорбиль прежде всего сказочный характерь поэмы «неизвъстнаго піпты», т. е. Пушкина. Но какой же, если не сказочный, характеръ Apiocтова «Orlando furioso»? Правда, рыцарскій сказочный мірь заключаеть въ себь несравненно больше поэзін и занимательности, чёмь бёдный мірь русскихь сказокь; но что касается до сказочныхъ нельпостей, столь оскорбившихъ вкусъ бутырскаго критика, -- ихъ довольно въ поэмъ Аріоста, -- и онъ, право, стоятъ «мужика самъ съ ноготь, а борода съ локоть», пли головы богатыря. Но, видите ли, Аріость-писатель классическій, котораго слава уже утверждена была слинкомъ двумя стольтіями: стало быть, къ нему и къ его славъ уже привыкли... Вольно же было Пушкину сочинить новую поэму, которой не было еще и года отъ роду, какъ ее ужъ вь нухъ разругали... При томъ же Аріоста самъ Вольтеръ объясилъ «величайшимъ изъ новьйшихъ поэтовъ»: стало быть, носль такого авторитета, какъ авторитетъ Вольтера, смело можно было хвалить Аріоста, не боясь попасться впросакъ. Въдь литературные авторитеты, подобно Корану, на то и существують, чтобъ люди могли быть умны безъ ума, сведущи безъ ученія, знающи безъ труда и размышленія и безошибочно правы безъ помощи здраваго смысла. Воть другое дело, если бъ кто изъ признанныхъ авторитетовъ, напримерь, Ломоносовь или Поповскій, могли объявить свое мивніе въ пользу «Руслана и Людмилы», тогда всѣ единодушно признали бы эту сказку геніальнымъ произведеніемъ! Хорошая порука—важное дѣло, и чужой умъ-всегда спасеніе для тіхть, у кого ність

своего... Что бутырскій критикь нашель пошлыми не только выраженія «удавить бородой, стать передъ носомъ, щекотать ноздри копьемъ» и «ѣду, не свищу, а наѣду, не спущу», но и «умирающій лучъ солнца», это опять процеходило отъ привычки къ облизаниымъ прозаическимъ общимъ мъстамъ предшествовавшей Пушкину повзін, и оть непривычки къ благородной простоть и близости къ натуръ. Все привычка! Одинъ бутырскій критикъ до того ожесточился противъ «Руслана и Людмилы», что риемы «языкомъ» и «копіемъ» назвалъ мужицкими... Видите ли: строго придрались даже къ версификаціи Пушкина, они, эти безусловные поклонинки већу русских поэтовъ до Пушкина, которые изо всёхъ силь и со всевозможнымъ усердіемъ уродовали русскій языкъ незаконными усъченіями, насиліемъ грамматики и разными «пінтическими вольностями». Каковъ бы ни быль стихъ въ «Русланъ и Людмилъ», но въ сравнении со стихомъ «Душеньки» Богдановича, сказокъ Дмитріева, «Странствователя и Домосъда» Батюшкова и даже «Двънадцати Спящихъ Дѣвъ» Жуковскаго, онъсамо изищество, сама поэзія. Оскорбленная привычка этого не замѣчала, а если замѣчала, то для того только, чтобъ, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту въ пепростительную вину то, что считала чуть не достопиствомъ въ старыхъ. Какъ человъкъ съ огромнымъ талантомъ, эту привы: чивость возбудиль къ себъ и Грибовдовъ. При «Въстникъ Европы» одинъ бутырскій критикъ состоялъ въ должности явнаго зопла всёхъ новыхъ яркихъ талантовъ; поэтому «Горе отъ ума» возбудило всю желчь его. Такъ, между прочимъ, было сказано по поводу отрывка изъ «Горя отъ ума», помъщеннаго въ альманахъ «Талія»: «Смъемъ надъяться, что всь, читавшіе отрывокъ, позволять намъ оть лица всёхъ просить Грибоедова издать всю комедію.» Бутырскій критикъ «Вістника Европы», указавъ на эти слова, восклицаетъ: «Напротивъ, лучше попросить автора не издавать ея, пока не переменить главнаго характера и не исправить слога.»

Мы указываемъ на всё эти диковинки, разумёется, не для того, чтобъ доказать ихъ чудовищную нелёность: игра не стоила бы свёчъ, да и смёшно было бы снова позывать къ суду людей, и безъ того уже давно проправнихъ тяжбу во всёхъ инстанціяхъ здраваго смысла и вкуса. Нётъ, мы хотёли только охарактеризировать время и нравы, которые засталъ Пушкинъ на Руси при своемъ появленіи на поэтическое поприще, а вмёстё съ тёмъ и показать, какую роль чудовищенривычка играетъ тамъ, гдё бы должны были играть роль только умъ и вкусъ. Оставимъ же въ сторонё эти допотопныя исконаемыя древ-

ности, заключающіяся въ затвердѣлыхъ пластахъ «Вѣстника Европы», и обратимся къ

«Руслану и Людмиль».

Бутырскіе крптики, какъ мы виділи, особенно оскорбились въ «Русланъ и Людмилъ» тымь, что показалось имъ въ этой позмыколоритомъ мъстности и современности въ отношенін къ ея содержанію. Но именно этогото совсемъ и нетъ въ сказке Пушкина: она столько же русскан, сколько и нѣмецкая или китайскаи. Кирша Даниловъ не виновать въ ней ни душей, ни теломъ, ибо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ русскихъ пъсенъ больше русскаго духа, чемъ во всей поэмв Пушкина, хотя онъ въ своемъ поэтическомъ прологѣ къ ней и сказалъ: «Тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнеть». Въроятно, Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, какъ писалъ «Руслана и Людмилу»: ппаче онъ не могъ бы не увлечься духомъ народно-русской поэзіи, и тогда его поэма имфла бы по крайней мфрф достоинство сказки въ русско-народномъ духѣ, и при томъ написанной прекрасными стихами. Но въ ней русскаго-один только имена, да и то не вев. И этого руссизма нътъ такъ же и въ содержаніи, какъ и въ выраженіи поэмы Пушкина. Очевидно, что она—плодъ чуждаго вліянія и скорѣе пародія на Аріоста, чѣмъ подражаніе ему, потому что надёлать німецкихъ рыдарей изъ русскихъ богатырей и витязей-значить исказить равно и нёмецкую, и русскую действительность. Намъ такъ мало осталось памятниковъ отъ до-историческихъ временъ Руси, что Владиміръ Красное-Солнышко столько же для насъ миоъ, сколько Владиміръ, просвътитель Руси, историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, въ которыхъ является действующимъ лицомъ языческій Владиміръ, явпо сложены въ позднъйшія времена. И потому Пушкинъ отъ преданія только и воспользовался, что словомъ «Солице», приложеннымъ къ имени Владиміра. Пожива небогатан! Во всемъ остальномъ его Владиміръ-Солнце-пародія на какого-нибудь Карла Великаго. Таковы же Русланъ, и Рогдай, и Фарлафъ: дъйствительность ихъ, историческая и поэтическая, такой же точно пробы, какъ и дійствительность Финна, Наниы, богатырской головы и Черномора. Пушкинъ съ особенной радостью ухватился, было, за такъ-навываемаго «въщаго Баяна», понявъ слово «баянъ» какъ нарицательное и равнозначительное словамы: «скальдъ, бардъ, менестрель, трубадуръ, миннезингеръ». Въ этомъ онъ раздёляль заблуждение всёхъ нашихъ словесниковъ, которые, нашедъ въ «Словь о Нолку Игоревь» вышаго баяна, соловья стараго времени, который «аще кому хотине ивень творити, то расте-

кашется мыслью по древу, сфрымъ волкомъ но земли, шизымь орломъ подъ облакы»,заключили изъ этого, что Гомеры древней Руси назывались баянами. Что въ древней Руси были свои пѣсенники, сказочники, балагуры и прибауточники такъ же, какъ и геперь въ простомъ народѣ бываютъ подобные, -- въ этомъ нътъ сомнънія; но по смыслу текста «Слова» ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баянъ «Слова» такъ неопредёленъ и загадоченъ, что на немъ нельзя построить даже и остроумныхъ догадокъ, на которыя такъ щедры досужіе антикваріи, а тімь менье можно заключить изъ него что-нибудь достовърное. И потому весь баянъ Пушкина -- ни болъе, ни менъе, какъ риторическая фраза. О прологѣ къ «Руслану и Людмилѣ» дьйствительно можно сказать: «Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ»; но этотъ прологъ явился только при второмъ изданіи поэмы, то есть черезь восемь льть посль перваго ея изданія, стало быть, -тогда, какъ Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзін. Первые семнадцать стиховъ, которыми начинается «Русланъ и Людмила», отъ стиха «Дъла давно минувшихъ дней» до стиха: «Низко кланяясь гостямъ», действительно «пахнуть Русью»; но ими начинается и ими же и оканчивается русскій духъ всей этой поэмы; больше въ ней его слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Мы даже подозрѣваемъ, что не были ль эти семнадцать счастливыхъ стиховъ поводомъ къ присочиненію къ нимъ всей поэмы... Какъ бы то ни было, только поэма эта-шалость сильнаго, еще незрѣлаго таланта, который, кипя жаждой деятельности, схватился безъ разбора за первый предметъ, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы-шуточный. Поэть не принимаеть никакого участія въ созданныхъ его фантазіей лицахъ. Онъ просто чертилъ арабески и потвишался ихъ забавной странностью. Оттого, какъ самъ Пуш кинъ справедливо замъчалъ впоследствін, она холодна. Въ самомъ дълъ, въ ней много грацін, нгривости, остроумія; есть живость движенія и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодъ о Финнъ проглядываетъ чувство; оно вспыхиваеть на мпнуту въ воззванін Руслана къ усвянному костьми полю, по это воззвание оканчивается нъсколько риторически. Все остальное холодно.

Зообще «Русланъ и Людмила» для двадцатыхъ годовъ имѣла то же самое значеніе, какое «Дупіенька» Богдановича для семидесятыхъ годовъ. Разумѣется, великъ перевъсъ на сторонѣ поэмы Пупікпна и въ отношеніи къ превосходству времени и къ превосходству таланта. Но наше время далеко впереди

объихъ этихъ энохъ русской литературы,и поэтому если «Душеньку» теперь ивть никакой возможнести прочесть отъ начала до конца по доброй волв. а не но нуждь, которан можеть заставить прочесть и «Телемахиду», то «Руслана и Людинду» можно тольпо нерелистывать отъ нечего дълать, но уже нельзя читать, какъ что-пибудь дёльное. Ея литературно-историческое значение гораздозаживе гначенія художестве лаго. По своему годержанию и отдълкъ она принадлежитъ въ шелу переходныхъ пьесъ Пушкина, кото--и эта от доп атеклавтого ачетнация ахыч ный классицизмъ: въ иихъ Пункинъ ивляется улучшеннымъ, усовершенствованнымъ Батюнковымъ. Въ «Русланв и Людинть, какъ мы уже сказали выше, ибть ни изнака романтизма: даже ощутителенъ не-1 сетатокъ поэзін, несмотря на все изящество зыраженія и всю прелесть стиха, неслыханныя до того времени. Скажемъ больше: даже со стороны формы-какъ немного она выше обветшалыхъ формъ прежней позвіп. -есть звенья, соединяющія «Руслана и Людиклу» оъ прежней школой поэзін; мы разумбемъ здбеь употребленіе словъ «брада, «глава» и произвольпое употребление усъченныхъ прилагательныхъ, которыхъ въ поэмѣ Пункина найдется больше десятка, Словомъ, если бъ не недостагонъ самомыслительности и не избытокъ привычки, такъ-называемые классики того времеин должны были бы торжествовать, какт свою нобъду налъ такъ-называвинимися тогда романтикаме, появление «Руслана и Людми-.пл»,---на Пушкинъ сосредоточить всѣ належды своей нартін, а истиннаго представителя романтизма, следовательно, самаго опаснаго ихъ врага, видьть въ Жуковскомъ. Въ замомъ дель, некоторые изъ нихъ были накъ будто близки къ этому взгляду. Въ «Въстникъ Европы» 1824 года одинъ классикъ разсердилл за то, что Верстовскій, положивній на музыку «Черную Шаль» Пушинна назваль ее каптатой.

"Почему (говорить бутырскій классикъ) Верстовскій возвель простую цъсню на степень кангаты? Такого ли содержанія бывають каптаты оботвенно такъ вазываемыя? Такими ли видимъ ихъ у Драйдена, у Жанъ-Баптиста Руссо и у другихъ поэтовъ знаменитыхъ? (Хороши знаменитости-Драйденъ и Жанъ-Баптистъ Руссо!). Истощивъ средства свои на страсти, бунтующія въ душъ безвъстнаго человъка, что употребитъ опъ, когда нужно будетъ силою музыки возвысить значительность словь въ тъхъ каптатахъ, гдъ историческія или миоологическія во многихъ отношеніяхъ намъ извъстныя и для всъхъ просвъщенныхъ людей занимательныя лица страдають или торжествують?—Въ пъсив Пушкина представляется намъ какой-то молдаванинъ, убившій какую-то любимую имъ красавицу, когорую соблазниль какой-то армянинь. Достойно ли это того, чтобъ искусный композиторъ изыскиваль средства потрясать сердца слушателой, чтобъ для ивсии тратилъ сокровища музыки? Не значить ли это возделенуть огромный пьедссталь для маленькой красивой куплы, отя быона была сделана на Севрской фабрикы Уга дываю причины, побудившія Верстовскаго къ сему подвигу, и знаю напередъ одинъ изъ отвътога: "А. Пушкинъ принадлежит къ чи лу первоклассныхъ поэтовъ нашихъ." Что касаетея до стихотворства, я самъ отдаю ему совершенную справедливость; стихи его отмънно гладки, илавны, чисты; не знаю, кого изъ начихъ сравинвать съ чимъ вы искусствъ стоносложенія: скажу болье: Пушкинь не охотникъ щеголять эпитетами, не бросается ни въ сентиментальность, ни въ таинственность. ни въ надутость, ни въ пустословіе: онъ живъ и стремителент въ разсказъ; употребляетъ слова въ надлежащемъ ихъ смыслъ; наблюдаеть умную соразмърность въ раздъленіи мыслей: все это составляеть внишнюю (?) красоту его стихотвореній. Гдв жь однако тв качества, которыя, по словамъ Горація, составляють ноэта? гдв mens divinior? гдв os magna sonaturum?" (№ 1, crp. 70 и 71).

Замвчаете ли, что нашь бугырскій критикь видьль кое-что въ Пушкина, и если не увидълъ всего, ему помъщала привычка. Пущкинъ не любилъ щеголять эпитетами, не бросался ин въ сентиментальность, ин въ таниственность, ни въ надугость, ни въ нустословіе: онъ живъ и стреметеленъ въ разсказъ, употребляетъ слова въ надлежащемъ нкъ смыслъ, наблюдаеть умкую соразмърнасть въ разделении мыслей: все это действительно составляло неотъемлечыя качества Иушкинской поэзін и качества селикія; ьо видите ли-по мибино бутырскаго классика, это не больше, какъ внёшняя (?) красота стихотворенія Пушкина, потому что гдів же въ HHXT mens divinior (божественгое безуміе, изступленіе, восторічь), гдв os magna sonaturum? А что такое разумъли подъ этимъ наши исевдо-классическіе критики? Воть что:

"Кто завъсу миъ въчности расторгъ! Я вижу молийй блеекъ! Я слышу съ горая свъта И то, и то!..

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитріева «Чужой Толкъ»—и вы еще лучше поймете, что наши классики разумбал подъ mens divinior. Хотя многіе изъ первыхъ произведеній Пушкина (какъ, напримѣръ, «Черная Шаль», «Наполеонъ», «Андрей Шенье») не чужды декламацін и риторической напряженности, но для нашихъ классиковъ этого было мало; они не могли увидьть въ Пушкинь mens divinior, —такъ привыкли они къ напыщенной шумих одоп вый своего времени! Посмотрите, изъ чего хлопотали бъдняжки: изъ названій, изъ словъ-«ода, кантата, пьсня» и т. п. Мы сами слышали однажды, какъ глава классическихъ критиковъ, почтенный, умный и даровитый Мерзляковь, сказаль съ канедры: «Пушкинъ пищеть хорошо, но, Бога ради, не называйте его сочиненій поэмами!» Подъ словомъ «поэма» классики привыкди видъть что-то чрезвычайно важное. Съ

кантатами» ихъ познакомили Драйденъ и Жанъ-Бантистъ Руссо: стало быть, то уже не кантата, что не было рабской коніей съ какой-инбудь кантаты эгихъ двухъ риторовъстихотворцевъ. И какимъ образомъ страсти безвъстнаго человъка могли быть предмет мъ такого высокаго рода поэзін, какъ кантата?-съ нихъ было бы за глаза довольно и изжной изсенки въ родь: «Стонеть сизый голубочекь»: вёдь въ залы входять только господа, а слуги остаются въ передней! Въ то время высокій и свишенный сань человѣка не признавался ни за что, и человъкъ считался ниже не только титулярнаго совътника, но и простого канцеляриста. Какъ же можно было видъть равнодушно, что талантливый композиторъ тратитъ сокровища музыки на чувство какого-то армянина...

А между тымъ бутырскіе классики были близки и къ тому, чтобы увидыть въ Жуковскомъ истиннаго своего врага, какъ это можно замытить изъ слыдующихъ строкъ:

"Будучи однимъ изъ почитателей (но не слъныхъ и раболенныхъ) таланта нашего отличнаго стихотворца, В. А. Жуковскаго, я такъ же, какъ и прочіе мои соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведеніями. Такъ, м. г. м., и я, хотя не имъю чести быть орлиной породы, смёль прямо смотрёть на солнце, любовался блескомъ его и согръвался живительной его теплотой до тахъ поръ, нока западные, чужеземные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свыть его отъ слабыхъ глазъ монхъ, слабыхъ потому, что не могуть видьть свыта сквозь мракъ и туманъ. Говоря языкомъ общепонятнымъ, я съ восхищеніемь чигаль и перечитываль "Півніа во станів русскихъ воиновь", переводъ Греевой элегін, "Людмилу", "Свътлану", "Эолову арфу", многія мъста изъ "Двънадцате Сиящихъ Дъвъ" и разныя другія стихотворенія Жуковскаго. Но съ нъкотораго времени, когда имя его стало появляться подъ стихотвореніями, въ которыхъ все нъмецкое, кромъ буквъ и словъ, -- восторгъ и удивление во мив уступили мъсто сожалънию о томъ, что стихотворецъ съ такими превосходными дарованіями оставиль красоты и приличія языка: оставиль тв средства, которыми онъ усыновиль русскимъ "Людмилу", "Ахилла" и столько другихъ произведеній словесности чужестраниой... оставилъ, и для чего же? Чтобы ввести въ нашъ языкъ обороты, блестки ума н безпонятную выспрепность нын-виннуъ и-вмиевъ стихотворцевъ-мистиковъ! Если первыя баллады Жуковскаго породили толиу подражателей, которые только жалкимъ образомъ его передразнивали, не умъя подражать красотамъ, разсыпаннымъ щедрой рукой въ прежинхъ его произведеніяхъ, то мудрено ли, что теперь люди съ превосходными дарованіями или вовсе и безъ дарованій съ жадностью подражають въ немъ тому, что находять по свомъ силамъ?.. Истинный таланть должень принадлежать своему этечеству; человъкъ, одаренный таковымъ талантомъ, если избијаетъ поприщемъ своимъ словесность, долженъ возвысить славу природнаго языка своего, раскрыть его сокровища и обо. атить оборотами и выраженіями ему свойствецными; геній им'веть даже право вводить повые,

но не иноплеменные, и никогда не выпускать изъ виду свойства и приличія языка отественнаго." ("В. Е." 1821, т. CXVII, стр. 19—21)

По и туть, ясно, привычка помінала увидіть діто такі, какі оно было: Сугырскій классикь не видаль романтизма въ самых умітра-романтических і пьесахь Жуковскаго, каковы: «Людмила», «Світлана», «Эолова Арфа», «Двінадцать Синщихъ Дівъ», но увиділь его въ позднійшихъ, лучшихъ и по содержанію, и по формі, произведеніяхъ Жуковскаго. Подлинно, въ младенческое время литературы и старцы поневолії бывають дітьми...

Восторги, возбужденные Русланомъ и Людмилой», равно какъ и необыкновенный успыхъ этой поэмы, несмотря на всю лътскость ея достоинствъ гораздо естественнье и понятиве, чемъ простные нападки на нее бутырскихъ классиковъ. Не говоря ужио томъ, что всякая удачная новость осліплиетъ глаза, въ «Руслапъ и Людмиль» русская поэзія действительно сділала огромны і шахъ впередъ, особенно со стороны технической. Вев восхищались ен прекраснымъ язывомъ, стихами: всегда легкими и звучными, а иногда и истинно-поэтическими, граціозной шуткой, разсказомъ плавнымъ, увлекател:нымъ, живымъ и быстрымъ, всей этой игривой затыливостью, шаловливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и соовліяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывалось ен заглавіе и самое соденжаніе, есгественности, поэтической мысли, вполнъ художественной отдълки. Образца для нея не было на русскомъ изыкъ, а если и были прежде попытки въ этомъ родь, по такія ничтожных, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цёны съ «Руслана и Людмиды». У кого изъ прежинхъ поэтовъ можно было найтистихи, подобные, напримъръ, этимъ:

И вотъ невъсту молодую Ведуть на брачную постель; Огни погасли... и ночную Лампаду зажигаеть Лель. Свершились милыя надежды, Любви готовятся дары; Надутъ ревнивыя одежды на цареградскіе ковры... Вы слынитель влюбленный шомоть И поцълуевъ сладкій звукъ, и прерывающійся ропоть Послъдней робости?...

Пли:

Но прежде юношу ведуть Къ ведикольшной русской баны. Ужъ волыы дымным текуть Въ ея сереб; яные чаны; Разостланъ роскошью коверь; На немъ усталый ханъ пожится: Прозрачный паръ надъ пимъ клубится; Потуня нъги полиый взоръ, Преместныя, полунагія, Въ заботъ нъжной и пъмой.

Вкругъ хана дёвы молодыя Твенятся ръзвою толной. Надъ рыцаремъ инля машетъ Вётвями молодыхъ березъ. И жаръ отъ нихъ душистый пашетъ; Другая сокомъ вешнихъ розъ Усталы члены прохлаждаетъ. И въ ароматахъ потопляетъ Темнокудрявые власы. Восторгомъ витязъ упоенной Уже забылъ Людмилы плънной Недавно милыя красы; Томится сладостнымъ желаньемъ; Бродящій взоръ его блеститъ, И, полный страстнымъ ожиданьемъ, Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.

Конечно, теперь смёшно заблужденіе люлей того времени, которые въ «Русланъ и Людмилъ» думали видёть полтическое возсозданіе народно-русскаго сказочнато міра: но въ двадцатыхъ годахъ, право, немудрено было, въ первый разъ читая такіе стихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какойто небывалой, фантастической бани увидёть «Великольпную русскую» баню. Кому не извъстно великольпіе нашихъ бань, гдъ въ такомъ употребленіи «сокъ весеннихъ розъ», а «вътви молодыхъ березъ» прозавчески называются въннками?

Эпилогъ къ «Руслапу и Людмилѣ» исполненъ элегической поэзін; но, какъ и прологъ къ этой же поэмѣ, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послѣнея; при ней же явился только во второмъ ен изданіи, въ 1828 году.

Потому ли, что изумительные успахи Пушкина и быстрый ходъ его распространяющейся славы слишкомъ озадачили бутырскихъ критиковъ и классиковъ, или потому, что они уже сами начали привыкать къ поэзіи Пушкина,-только противъ «Кавказскаго Плънника» уже почти совстмъ не было воплей, а, напротивъ, ему раздавались вездъ только хвалебные гимны. Даже въ «Вѣстникѣ Евроны» 1823 года была помѣщена похвальная критика этой поэмы (вышедшей въ 1822 году). Эта критика особенно замѣчательна и въ свое время весьма прославилась темъ, что ея сочинитель, при всемъ своемъ стараніи и усердін, никакъ не могъ догадаться, что сдівлалось съ черкешенкой и что означають этп прекрасные поэтические стихи:

Вдругъ волны глухо зашумъли И слышенъ отдаленный стонъ. На днкій брегъ выходить онъ. Глядить назадъ.. брега яснъли И опъненные бълъли; Но нъть черкешенки младой Ни у бреговъ, ни подъ горой... Все мертво... на брегахъ уснувшихъ Лишь вътра слышенъ легкій звукъ, И при лунт въ волнахъ блеснувшихъ Струистый исчезаетъ кругъ...

Такова была тогда привычка къ прозаич-

ческій, и потому уже самому слинкомъ ясный обороть назывался темнымъ и неопредёленнымъ. Да, Пушкину предстоять подвигъ воспитать и развить въ русскомъ общестив чувство изящнаго, способность понимать художество, — и онъ вполнъ совершилъ этотъ великій подвигъ!

«Кавказскій Пленникъ» быль принята публикой еще съ большимъ восторгомъ, чъмъ «Русланъ и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполнъ достойна была того пріема, которымъ ее встрѣтили. Въ ней Пуш кинъ явился вполнъ самимъ собой и вмъсть съ темъ вполив представителемъ своей эпохи: «Кавказскій Пленникъ» насквозь проникпуть ея навосомъ. Впрочемъ, навось этой поэмы двойственный: поэть быль явно увлеченъ двумя предметами поэтической жизнью дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъэлегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнью. Изображение того и другого слилось у него въ озну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его воинственными жителями въ первый разъ былъ воспроизведенъ русской поэзіей, п только въ поэмъ Пушкина въ первый разъ русское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружію. Мы говоримъ «въ первый разъ»: пбо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозанческихъ, посвященныхъ Державинымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковскаго къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прозанческому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ не достаточно для того, чтобъ получить какое нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятіе объ этой поэтической сторонь. Мы въримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намѣреніемъ выппсаль въ примечаніяхъ къ своей поэме стили Державина и Жуковскаго, и съ полной искренностью, отъ чистаго сердца, хвалить ихъ; но темь не менье онь оказаль имь черезъ это слишкомъ плохую услугу: ибо послъ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа никто не повърить, чтобъ въ тъхъ выпискахъ шло дело о томъ же предмете... Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Пунк кина картинъ Касказа и горцевъ: кто не знаеть ихъ наизусть? Скажемъ только, что несмотря на всю незрѣлость таланта, кото рая такъ часто проглядываетъ въ «Кавказскомъ Пленнике, несмотря на слишкомъ юношеское одушевление зралищемъ горъ и жизнью ихъ обитателей, -- многія картины Кавказа въ этой поэмѣ и теперь еще не потеряли своей поэтической ценности. Принимансь за «Кавказскаго Плѣнинка» съ гордымъ намвреніемъ слегка перелистывать его, вы незамьтно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца и говорите: «все это юно.

незрѣло, и однако жъ такъ хорошо!» Какое же дъйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великолъпно-роскошныя картины Кавказа при первомъ появлении въ свътъ поэмы! Оъ тъхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдёлался для русскихъ завётной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчернаемой поэзіи, страной кипучей жизни и смълыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дёлё существозавшее родство Россін съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоценной кровью сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ — эта колыбель поэзіи Пушкина— едівлался потомъ ч колыбелью поэзіи Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вмістить въ свою поэму, какъ эпизодъ кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а следовательно, и прозаически, и потому онъ тесно связалъ свои живыя картины\_Кавказа\_съ\_дъйствіемъ поэмы. Опъ рисуеть ихъ не отъ себя, но передаеть ихъ, какъ впечатлънія и наблюденія плънникагероя поэмы, и оттого онъ дышать особенной жизнью, какъ будто самъ читатель видить ихъ собственными глазами на самомъ мѣстѣ. Кто быль на Кавказѣ, тоть не могь не удивляться върности картинъ Пушкина: взгляните хотя съ возвышенностей, при которыхъ стоить Пятигорскъ, на отдаленную цынь горъ,-и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которыхъ вамъ, можетъ быть, не случалось вспоминать цёлые годы:

Великольныя картины!
Престолы втиные сныговь,
Очамъ казались ихъ вершины
Недвижной цынью облаковь,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
Въ вънцъ блистая ледяномъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Бълълъ на небъ голубомъ.

Описанія дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ-дышатъ чертами ярко върными. Но черкешенка, свявывающая собой объ половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только вибинимъ образомъ върно дъйствительности. Въ изображеній черкешенки особенно выказалась вся незрѣлость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положение, въ которое поставилъ поэтъ два главныя лица своей поэмы, черкешенку и пленника, -- это положение, наиболье плънившее публику. отзывается мелодрамой и, можетъ быть, по тому самому такъ сильно увлекло самого молодого поэта. Но — такова сила истиннаго таланта! — при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узелъ поэмы, при всей его безцвѣтности въ отношеніи къ дъйствительности — въ ръчахъ черкешенки н плѣнника столько элегической истины чувства, столько сердечности, столько страсти и страданія, что ничѣмъ нельзя оградиться отъ ихъ обаятельнаю увлеченія, при самомъ ясномъ сознаніи въ то же время, что на всемъ этомъ лежитъ печать какой-то дѣтскости. Съ особенной силой дѣйствуетъ на душу читателя сцена освобожденія плѣнника черкешенкой, и эти стихи—

Нылу дрожащей взявъ рукой, Къ его ногамъ она склонилась: Визжить жельзо подъ пилой, Слеза невольная скатилась— И цъпь распалась и гремитъ...

Чувство свободы борется въ этой сценъ съ грустью по судьбѣ черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, плънникъ не могь не предложить своей освободительницъ того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно стказываль ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавиць, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышить свободнее по мере того, какъ пленнику въ тумане начинаютъ сверкать русскіе штыки, а до его слуха до ходять оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но что же такое этотъ илвиникъ? - Это вторая подовина двойственнаго содержанія и двойственнаго паноса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успѣхомъ не меньше, если не больше, чёмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плінникъ это-«герой того времени». Тогданніе критики справедливо находили въ этомъ лицв и неопредъленность, и противоръчивость съ самимъ собой, которыя дилали его какъ бы безличнымъ; но онп не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плънника и возбудилъ собой такой восторгъ въ публикъ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видълъ въ немъ болѣе или менѣе свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарование, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнейшей деятельности, это кипфніе крови при душевномъ холодь, это чувство пресыщения, последовавщее не за роскошнымъ ппромъ жизни, а смънившее собой голодъ и жажду, эта жажда дъятельности, проявляющаяся въ совершенномь бездъйствін и апатической ліни, --словомъ, эта старость прежде юпости, эта дряхлость прежде силы, все это - черты «героевъ нашего времени» со временъ Пушкина. Но не Пупікинъ родилъ или выдумаль ихъ: онъ только первый указаль на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до

него, а при немъ ихъ было уже много. Они не елучайное, но необходимое, хотя и печальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоциътовъ не поэзія Пушкина или чья бы то ни было, но общество. Это оттого, что общество жив ть и развивается какъ всякій индивидуумъ: у него есть свен эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а инода-и старости. Позля гусская до Пушкина была отголоскомъ, выраженіемъ младенчества русскаго общества. И потому это была поэзія до напвности невинная: она гремьла одами на излюминаціи, писала ибжные стипки ке милымъ и была совершенно счастлига этими идиллическими занятими. Действительпостью ея была мечта, а нотому ея дъйствительность была самая аркадская, въ котороп невинное бленніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцелун наступковъ и наступекъ и сладкія слезы чувствительных душь прерывались только не менте невинными везгласами: «пою» или «о ты, священна дебродътель!» и т. п. Даже романтизмъ того времени быль такъ напвио-невиненъ, что пекалъ эффектовъ на кладбищахъ и пересказываль съ восторгомъ старыя бабыт сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, вѣдьмахъ, колдуньяхъ, о дъвъ, за ропотъ на судьбу заживо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу. и тому подобные невинные пустики. Въ трагедін тогданняя поэзія очень пристойно выилисывала чинный минуэть, дёлая изъ Донского какого-то крикуна въ римской тогв. Въ комедін она преследовала именно те пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществъ не было, и не дотрагивалась именно до тъхъ, которыми оно было полно,такъ что комедін Фонвизина являются въ ятомъ отношения какими-то исключениями изъ общаго правила. Въ сатиръ тогдашняя поэзія нападала скорфе на пороки древнегреческаго и римскаго или старо-французскаго общества, чёмъ русскаго. Невинность была всесовершеннъйшая, а оттого, разумьется, эта поэзія была и нравственной вт высшей степени. Общество инло, бло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-иынышнему умати веселиться, и передъ неутомимыми плясунами тогдашняго времени самые задорные пынфиние танцоры-просто старики, которые похороннымъ ло вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобъ полъ трешалъ и окия дрожьди. Быть безусловно счастливымъ, этопривилетія младенчества. Младенецъ играеть жизнью - плещется въ си свътлой волнъ и безотчетно любуется брызгами, которыя производять его развыя движенія; онъ всемъ восхишается, все находить дучшимъ, нежели оно есть на самомъ дълъ,--и если ему скоро

надобдаеть одна нгрушка, то такъ же скоро планиетъ его друган. Не таковъ уже возрасть отрочества-нереходь оть дётства къ юношеству. Правда, и туть человъкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тъ игрушки: мьняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваеть ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находитъ осуществленія своего неопредъленнаго желанія, пъ которомъ самъ себъ не можетъ дать отчета. Лишеніе игрушки - для него горе, пбо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца н-ума вспыхнваеть полнымъ пламенемъ, и сграсти вступаютъ въ борьбу съ сомнаниемъ. Тутъ много радостей, но столько же, если не больше, и горя: пбо полное счастье только въ непосредственчости бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юность-полное пробужденіе сознанія, корень котораго всегда-горекъ; сладкіе же плоды его-для будущихъ покольній, какъ богатое и выстраданное наследіе отъ предковъ потомкамъ...

«Кавказскій Плінникъ» Пушкина засталь общество въ неріодѣ его отрочества и почти на переходъ изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинъ былъ самъ этимъ илънникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведении идеалъ, мучивший по та, какъ его собственный недугъ, для поэта значить навсегда освободиться оть него. Это же лицо является и въ слъдующихъ поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ «Кавказскомъ Пленнике»: следя за нимъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментъ развитія, и видите, что оно движется, идеть впередъ, делается сознательиве, а потому и интереснве для васъ. Твмъто Пушкинъ, какъ великій поэть, и отличался оть толпы своихъ подражателей, что, не измъняя сущности своего направленія, всегда крыпко держась дыйствительности, которой быль органомь, всегда говориль новое. между тымь какъ его подражатели и теперь еще хринлыми голосами допъвають свои старыя и всемь надобинія прени. Въ этомъ отношенін «Кавказскій Пленникъ» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете. что она могла быть написана только въ измаршемъ выступають тамъ, гдт бы надо бы- , втетное время, и подъ этимъ условіемъ опа всегда будеть казаться прекрасной. Если бъ въ наше время даровитый поэтъ написалъ поэму въ духв и тонв «Кавказскаго Плвиника», -- она была бы безусловно ничтожитышимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношении и далеко превосходила Пушкинскаго «Кавказскаго Иленинка», который въ сравнении съ ней все бы остался такъ же корошъ, какъ и безь нея.

Лучная критика, какая когда-либо была написана на «Кавказскаго Пленника», принадлежить самому же Пушкину. Въ статъв его «Путешествіе въ Арзерумъ» находится следующія слова, начисанныя имъ черезъ семь льть посль изданія «Кавиазскаго Плінника»: «Здісь нашель я измаранный списокъ «Кавказскаго Плънинка» и, признаюсь, перечель его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, ненолно; но многое угадано и выражено върно.» Не знаемъ, къ какому времени относится слъдующее суждение Пушкина о «Кавказскомъ Плънникъ», но оно очень интересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ сміло уміль Пушкинь смотрѣть на свои произведенія: «Кавказскій Пленникъ - первый неудачный опыть характера, съ которымъ и насилу сладилъ; онъ былъ принятъ лучше всего, что я ни написаль, благодаря ивкоторымь элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но зато II. п А. Р., и и-мы вдоволь падъ нимъ носмѣились.» Слова: «характеръ, съ которымъ я насилу сладилъ», особенно замѣчательны: они показывають, что поэть силился изобразить вив себя (объектировать) настоящее состояніе своего духа, и по тому самому не могь вполив этого сделать.

Въ художественномъ отношении «Кавказскій Пленинкъ» принадлежить къ числу техъ произведеній Пушкина, въ которыхъ онъ являлся еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіп. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзін, но еще нътъ художества. Содержание всегда бываетъ соотвътственно формь, и наоборотъ; недостатки одного тесно свизаны съ недостатками другой, и наобороть. Въ отдълкъ стиховъ «Кавказскаго Плънника» замътно еще, хотя и меньше, чёмъ въ «Руслане и Людмиле», вліяніе старой школы. Встрѣчаются неточныя выраженія, какъ, напримірь, въ стихі: «Удары шашекъ ихъ жестокихъ», или «Гдв обиялъ грозное страданіе»; попадаются слова: глава, младой, власы. Вступленіе нѣсколько тяжеловато, какъ и въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ»; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозанческихъ почти совсемь неть, поэзія выраженія почти везде пеобыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзін Пушкина вообще съ предіпествовавшей ему поэзіей, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ «Кавказскомъ Плвнникъ» самое презапческое понятіе, что черкешенка учила плъчника языку ея родины:

Съ неясной ръчію сливаеть Очей и знаковъ разговоръ; Поеть ему и пъсни горъ, И пъсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаеть языкь чужой

Нѣкоторын выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительной върностью дѣйствительности времени, котораго пѣвномъ и выразителемъ былъ поэтъ. Иримѣръ того и другого представляють эти прекрасные стихи:

Людей и свыть извъдаль онго, Узналь невырней жизни цыну, Въ сердаать друзей наше ть измъну, Въ мечтать любви—безумный с нт.! Наскуча жертой быть привычной Давно презръдной суеты И непрівачи двуязычной, И простодущий клелеть,—Отступникъ свыта, духъ природы, Покинуль онъ родной предвлъ И въ край далекій полетъль Съ веселымь призракомъ свободы.

Въ этихъ немиотикъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но різко-характеристическая картина пробудившагося сознанія общества въ дицѣ одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе, — и все, что люди почитаютъ хорошимъ по привычкъ, тяжело нало на душу человъка, и онъ въ явной враждъ съ окружающей его дъйствительностью, въ борьбь съ самимъ собой; недовольный ничемъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ. за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіи: «быть жертвой иростоду шпой клеветы!» Вѣдь клевета не всегда бываеть действіемь злобы: чаще всего она бываеть плодомъ невиннаго желанія разсыяться заинмательнымъ разговоромъ, а иногда и плодомъ доброжелательства и участія столь же искреиняго, сколько и неловкаго. И все это поэть умёль выразить однимъ смёлымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые илчали являться такіе эпитеты!

По мивнію Пушкина, «Бахчясарайскій Фонтанъ» слабве «Кавказскаго Плънника»: съ этимъ нельзя вполив согласиться. Въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ» (вышедшемъ въ 1824 году) замътенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: етихъ лучие, поэзія роскошийе, благоуханийе. Въ основи этой поэмы лежить мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ-силу только вполит развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладаль съ нею и можеть быть, оттого-то и быль къ ней уже слишкомъ строгъ. Въ дикомъ татаринъ, пресыщенномъ гаремной любовью, вдругь вспыхиваеть болве человьческое и высокое чувство къ женщинъ, которая чужда всего, что составляеть предесть владыки и что можетъ плънять вкусъ азіат-1, скаго варвара. Въ Марін-все европейское, романтическое: это дьва средних в вковъ, существо кроткое, скромное, дътски-благочестивое. И чувство, иевольно внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рынарское, которое перев рнуло вверхъ дномъ татарскую натуру деспота-разбойника. Самъ не понимая, какъ, почему и для чего, онъ уважаетъ святыню этой беззащитной красоты, онъ варваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія, онъ ведетъ себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ палалинъ среднихъ въковъ:

Герей несчастную щадить: Ея унынье, слезы, стопы Тревожать хана краткій сонь; для нея смягчаеть онъ Гарема строгіе законы. Угрюмый сторожъ ханскихъ женъ Не днемъ, ни ночью къ ней не входитъ, Рукой заботливой не онъ На ложе сна ее возводить, Не смъеть устремиться къ ней Обидный взоръ его очей: Опа въ купальнъ потаенной Одна съ невольницей своей; Самъ ханъ бонтся дъвы плънной Печальный возмущать покой. Гарема въ дальномъ отдаленыи Позволено ей жить одной: И мнится, въ томъ уединеньи Сокрылся нъкто неземной.

Большаго отъ татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивой Заремой. Ніть и Заремы:

Гарема стражами и вымыми Вь пучину водь опущена. Вь ту ночь, какъ умерла княжна, Свершилось и ея страданье. Какая бъ ни была вина, Ужасно было наказанье!..

Смертью Маріп не кончились для хана мули неразділенной любви:

Дворець угрюмый опустыть. Его Гирей опять оставиль; Съ толной татаръ въ чужой предъль Онъ злой набыгь опять направиль: Онъ снова въ буряхъ боевыхъ Несстся мрачный, кровожадный Но въ сердцъ хана чувствъ иныхъ Таится пламень безотрадный. Онъ часто въ съчахъ роковыхъ Подъемлеть саблю, и съ размаха Недвижимъ остается вдругъ, Глядитъ съ безуміемъ вокругъ. Блёднёетъ, будто полный страха, И что-то шенчетъ и порой Горючи слезы льеть ръкой:

Видите ли: Марія взяла всю ж знь Гирея; встрьча сь нею была для него минутой перерожденія, и если онъ отъ новаго, невъдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдълался человькомъ, то уже животное въ немъ умерло, и онъ пересталъ быть татариномъ сотте il faut. Итакъ, мысль поэмы—перерожденіе (если не просвътльніе) дикой души черезъ высокое чувство любви. Мысль вели-

кая и глубокая! Но молодой поэть не справидся съ нею, и характеръ его поэмы въ ея самыхъ патетическихъ мёстахъ является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находиль, что «сцена Заремы съ Маріей имъеть драматическое достоинство», тъмъ не менте ясно, что въ этомъ драматизмъ проглядываетъ мелодраматизмъ. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное пзступление страсти, въ которыя всегда впадлюгъ молодые поэты и которыя всегда восхищають молодыхъ людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматическіе элементы въ таланть молодого поэта, но не болье, какъ элементы, развитія которыхъ слъдовало ожидать въ будущемъ. Такъ въ эффектной картинъ молодого художника онытный взглядъ знатока видитъ несомнънный залогь будущаго великаго живописца, несмотря на то, что картина сама по себъ не многаго стопть; такъ молодой даровитый трагическій актеръ не можеть скрыть крикомъ и різкостью свопхъ жестовъ избытка огня и страсти, которые кинять въ его душь. но для выраженія которыхъ онъ не выработаль еще престой и естественной манеры. И потому мы гораздо больше согласны съ Пушкинымъ касательно его мивнія насчеть стиховъ: «Онъ часто въ съчахъ роковыхъ» и пр. Вотъ что говорить онъ о нихъ: «А. Р. хохоталъ надъслъдующими стихами (NB мы выписали ихъ выше...). Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрагаются, хохочуть дико, скрежещуть зубами, и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама.»

Несмотря на то, въ поэмъ много частностей обантельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Маріи (особенно Маріп) прелестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ наивпость нъсколько юношескаго одушевленія. Но дучшая сторона поэмы-это описанія пли, лучше сказать, живыя картины магометанскаго Крыма: онъ и теперь чрезвычайно увлека: тельны. Въ нихъ нъть этого элемента высокости, который такъ проглядываеть въ «Кавказскомъ Пленнике» въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онв непобъдимо очаровывають этой кроткой и роскошной поэзіей, которыми запечатліна соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда върны мъстности. Картина гарема, дётскія шаловливыя забавы ленивой и уныло-однообразной жизни одалисокъ, татарская пѣсня-все это и теперь еще такъ живо, какъ свъжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзін, напримъръ, въ этихъ стихахъ:

Настала почь; покрылись тънью Тавриды сладостной поля; Вдали подъ тихой лавровъ съпыю

Я слышу приве соловы; За хоромъ звёздъ луна восходить, Опа съ безоблачныхъ небесъ На долы, на холмы, на лёсъ Сіянье томное наводить. Покрыты бёлой пеленой, Какъ тёни легкія мелькая, По улицамъ Бахчисарая, Изъ дома въ домъ, одна къ другой Простыхъ татаръ спёшатъ супруги Дёлить вечерніе досуги.

Описаніе евнуха, прислушивающагося подозрительнымъ слухомъ къ мал'яйшему шороху, какъ-го чудно сливается съ картивой этой фантастически-прекрасной природы. и музыкальность стиховъ, сладострастіе созвучій нѣжатъ и лел'яютъ очарованное ухо чи-

> Но все вокругъ него молчитъ; Одни фонтапы сладкозвучны Изъ мраморной теминцы быютъ. И съ милой розой неразлучны Во мракъ соловьи поютъ..

Здёсь даже неправильныя усёченія не портять стиховъ. И какой истинно-лирической выходкой, исполненной павоса, замыкаются эти роскошно-сладострастныя картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темиыя красы Ночей роскошнаго Востока! Какъ сладко льются ихъ часы Для обожателей пророка! Какая иъга въ ихъ домахъ, Въ очаровательныхъ садахъ, Въ тиши гаремовъ безопасныхъ, Гдъ подъ вліяніемъ луны Все полно тайпъ и тишины, И вдохновеній сладострастныхъ!

При этой роскопп и невыразнмой сладости позвін, которыми такъ полонъ «Бахчисарайскій Фонтанъ», въ немъ плѣняетъ еще эта легкая, свѣтлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навѣянная на поэта чуднопрозрачными и благоуханными ночами Востока, и поэтической мечтой, которую возбудило въ немъ преданіе о тапиственномъ фонтанѣ во дворцѣ Гиреевъ. Описаніе этого фоптана дышитъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: бдкими годами Еще не сгладилась она. За чуждыми ея чертами Журчить во мраморт вола И каплеть хладными слезами, Не умолкая никогда. - Такъ плачеть мать во дви печали О сынт, падшемть на войнт. Младыя дтвы вт той странт Преданье старивы узнали, И мрачный памятникъ онть Фонтаном слезт именовали.

Слёдующіе стихи (до конца) составляють превосходнёйшій музыкальный финаль позмы; словно resumé, они сосредоточивають въ себё всю силу впечатлёнія, которое должно

оставить въ душѣ читателя чтеніе цѣлой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ, и легкая, свѣтлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навѣянная немолчнымъ журчаніемъ «Фонтана Слезъ» и представлявшая разгоряченной фантазіи поэта таинственный образъ мелькавшей летучей тѣнью женщины... Гармонія послѣднихъ двадцати стиховъ упоительна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу, и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь таврическія волны Обрадують мой жадный взоръ. Волшебный край, очей отрада! Все живо тамъ: хотны, лъса, Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріютная краса И струй, и тополей прохлада-Все чувство путника манитъ, Когда, въ часъ утра безмятежной, Въ горахъ дорогою прибрежной, Привычный конь его бъжить, И зеленъющая влага Передъ нимъ и блещетъ, и шумитъ Вокругъ утесовъ Аю-дага.

Вообще «Бехчисарайскій Фонтанъ»—роскошно поэтическая мечта юноши. и отпечатокь юности лежить равно и на педостаткахь его, и на достоинствахъ. Во всякомъ случай, это — прекрасный, благоухающій цвётокъ, которымъ можно любоваться безотчетио и безтребовательно, какъ всёми юношескими пропаведеніями, въ которыхъ полнота силъ замёняетъ строгую обдуманность концепціи, а роскошь щедрой рукой разбросанныхъ красокъ—строгую отчетливость выполненія.

Теперь намъ предстоитъ говорить о поэмъ, которая была поворотнымъ кругомъ уже созрѣвшаго таланта Пушкина на путь петинно-художественной дъятельности: это-«Цыгане». Въ «Русланъ и Людмилъ» Пушкинъ является даровитымъ и шаловливымъ ученикомъ, который во время класса, украдкой отъ учителя, чертитъ затьйливыя арабески, плоды его причудливой и ръзвей фантазін; въ «Кавказскомъ Пленнике» и «Бахчисарайскомъ Фонтанъ это - молодой поэтъ, еще неопытными пальцами пробующій извлекать изъ музыкальнаго инструмента самобытные звуки, плоды первыхъ, горячихъ вдохновеній; но въ «Цыганахъ» онъ-уже художникъ, глубоко вглядывающійся въ жизнь и мощно владъющій своимъ талантомъ. «Цыганами» открывается средняя эпоха его поэтической деятельности, къ которой мы причисляемъ еще «Евгенія Опѣгина» (первыя шесть главъ), «Полтаву», «Графа Нулина», такъ же какъ съ «Бориса Годунова» начинается последняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей художнической дінтельности,

въ которой мы причисляемъ и всв поэмы, после его смерти напечатанныя. Въ следующей статъе мы разсмотримъ «Цыганъ», «Полтаву», «Евгенія Онегина» и «Графа Нулина», а эту статью заключимъ взглядомъ на «Братьевъ-Разбойниковъ ималенькую поэмих, которую по многимъ отношеніямъ считаемъ престраннымъ явленіемъ.

На первомъ изданіи «Цыганъ», вышедшемъ въ 1827 году, выставлено въ заглавін: «писано въ 1824 году»; то же самое выставлено и въ заглавін вышедшихъ въ 1827 же году «Братьевъ-Разбойниковъ», которые первоначально были напечатаны въ одномъ альманахѣ 1825 года. Стало быть, обѣ этп поэмы написаны Пушкинымъ въ одинъ годъ. Это странно, потому что ихъ разделяеть неизмъримое пространство: «Цыгане» — про изведеніе великаго поэта, а «Братья-Разбойники» - не болье, какъ ученическій опыть Въ нихъ все ложно, все натянуто, все мелодрама, и ни въ чемъ пътъ петины, отчего эта поэма очень удобна для пародій. Будь она написана въ одно время съ «Русланомъ н Людмилой»—она была бы удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, ибо въ ней стихи бойки, ръзки и размашисты, разсказъ живой и стремительный. Но как в произведение, современное «Цыганамъ», эта поэма-неразгаданная вещь. Ея разбойники стень похожи на Шиллеровыхъ удальцовъ третьяго разряда изъ шайки Карла Моора. тотя но виминости событія и видно, что оно могдо случиться только въ Россіи. Языкъ разсказывающаго повъсть своей жизни разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а понятія слишкомъ низки для человѣка изъ образоганнаго со ловія; отсюда и выходить лекламація, проговоренная звуччыми и сильными стихами. Грезы больного разбойника и монологи, обращаемые имъ въ бреду къ Грату, — ръшительно мелодрама. Поэмка бъдна даже поззіей, которой такъ богато все, что ни выходило изъ-подъ пера Пушкина, даже «Русланъ и Людмила». Есть въ «Братьнхъ-Разбойникахъ» даже илохіе стихи и прозаические обороты, какъ, напримъръ: «Межъ ними зрится и бъглецъ», «Насъ другъ и другу приковали».

## VII

Поэмы: «Цыгане», «Полтава», «Графъ Пулинъ..

«Цыгане» были приняты съ общими похвалами, но въ этихъ похвалахъ было чтото робкое, первиштельное. Въ новой поэмъ Пушкина подозръвали что-то великое, но не умъли понять, въ чемъ оно заключалось, и, какъ обыкновенно водится въ такихъ случаяхъ, расилывались въ восклицанияхъ и не

жаліли знаковъ удивленія. Такъ поступили журналисты; публика была прямодушиве и добросовъстиве. Мы хорошо помнимъ это время, поминмъ, какъ многіе были непрінтно разочарованы «Цыганами» и говорили, что «Кавказскій Ильнинкъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ» гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэтъ вдругъ переросъ свою публику и однимъ орлинымъ взмахомъ очутился на высоть, недоступной для большинства. Въ то время, какъ онъ уже самъ безпощадно смѣялся надъ первыми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бредили пленникомъ, черкешенкой, Заремой, Маріей, Гиреемъ, братьями-разбойниками. и только по какой-то робости похваливали «Цыганъ», или боясь скомпрометировать себя, какъ образованныхъ судей изящнаго, или дътски восхищаясь пъснью Земфиры и сценой убійства. Явный знакъ, что Пушкинъ уже пересталь быть выразителемь нравственной настроенности современнаго ему общества, и что отсель онъ явился уже воспитателемъ будущихъ покольній. Но покольнія возникають и образуются не днями, а годами, и потому Пушкану не суждено было дождаться восинтанных его духомъ покольній -- своихъ истинныхъ судей. «Цыгане» произвели какое-то колеоаніе въ быстро-возраставшей до того времени славь Пушкина; но посль «Цыганъ» каждый новый успьхъ Пушкина быль новымъ его паденіемъ, и «Полтава», последнія и лучнія главы «Оньгина», «Борисъ Годуновъ» были приняты публикой холодно, а ибкоторыми журналистами съ ожесточениемъ и съ оскорбительными криками безусловнаго неодобренія.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было вы нихъ о «Цыганахъ»: вы удивитесь какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! Тутъ найдете только о Байренѣ, о цыганскомъ илемени, о небезгръщности ремесла—водить медвъди, объ усиъщномъ развити таланта ивъна «Руслана и Людмилы», удивленіе къ цъйствительно удивительнымъ частностямъ поэмы, нападки на будто бы греческій стихъ: «И отъ судебъ защиты нѣтъ», осужденіе будто бы вялаго стиха: «И съ камня па траву свалился»—и многое ръ этомъ родѣ; но ни слова, ни намека на идею поэмы.

А между тъмъ ноэма заключаетъ въ себъ глубокую идею, которая большинствомъ была совсъмъ не понята, а немногими людьми, радушно привътствовавшими поэму, была понята ложно, — что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Нушкина. И послъднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думаль сказать не то, что сказать въ самомъ дълъ. Это особенно доказываеть, что непо-

средственно творческій элементь въ Пушкипъ былъ несравненно сильнъе мыслительнаго сознательнаго элемента, такъ что онибки последняго, какъ бы безъ ведома самого поэта, ноправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцания сама собой торжествовала надъ пеправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ: «Цыгане» служатъ неопровержимымъ доказательствомъ справедливости нашего мигьнія. Идея : Цыганъ вся сосредоточена въ геров этой поэмы - Алеко. А что хотвлъ Пушкинъ выразить этимъ линомь? - Не трудпо отвить: всякій, даже съ перваго, поверхисстнаго взгляда на поэму, увидить, что въ Алеко Пушинить хотель показать образецъ человъта, который до того и оникнутъ сознаніемъ челові ческаго достоинства, что въ общестр исомъ устройствъ видитъ одно только унижение и позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни. Алеко въ дикой цыганской волъ ищеть того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предразсудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Воть что хотьяъ Пушкинъ изобразить въ линь своего Алеко; но усиблъ ли онъ въ этомъ, то ди именно пзобразилъ опъ?-Правла, поэть настаничеть на этой мысли, и видя, что поступокъ Алеко съ Земфирой явно ей противоръчить, сталиваеть всю вину на фоковыя сграсти. живущія подъ разодрагиными шатрами», и на «судьбы, отъ которыхъ нигдъ нъть защиты». Но весь ходъ поэмы, ея развязка п особенно пграющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана неоспоримо показывають, что, желая и думая изъ этой поэмы создать аповеозу Алеко, какъ поборника правъ человъческаго достопиства, поэть вместо этого сделаль страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ надъ инмъ судъ пеумолимо трагическій и вмість съ тімь горько проническій.

Кому не случалось встрвчать въ обществъ | и вы увидите, что мы правы. людей, которые изъ всёхъ силь быотся прослыть такъ-называемыми «либералами» и которые достигають не болье, какъ незавиднаго прозвища жалкихъ крикуновъ? Эти люди всегда поражають наблюдателя самымъ простодушнымъ, самымъ комическимъ противоръчіемъ своихъ словъ съ поступками. Много можно было бы сказать объ этихъ людяхъ характеристического, чёмъ такъ рёзко отдичаются они отъ всёхъ другихъ дюдей; но мы предночитаемъ воспользоваться здысь чужой, уже готовой характеристикой, которая соединяеть въ себъ два драгоцънныя качества-краткость и полноту: мы говоримъ объ этихъ удачныхъ стихахъ покойнаго Дениса Давыдова:

А глядишь-нашъ Мирабо . Стараго Гаврилу, за намятое жабо, Хлещетъ въ усъ да въ рыло; 1 гладишь-нашь Лафаэть, Бруть или Фабрицій Мужичковъ подъ прессъ кладетъ Вмъсть съ свекловицей.

Такіе люди, конечно, смішны и съ нихъ довольно легонькаго водевиля или сатирической пъсенки, ловко сложенной Давыдовымъ; не поэмы они не стоять. Никакъ нельзя сказать, чтобъ Алеко Пушкина быль изъ этихъ людей, но и нельзя также сказать, чтобъ онъ не быль имъ сродип. Великая мысль является въ действительности двейственно-комически и трагически, смотря по личнымъ качествамъ людей, въ которыхъ она выражается. Дурная страсть въ человъкъ ничтожномъ или забавна, какъ глупость, или отвратытельна, какъ мерзость; дурная страсть въ человъкъ съ характеромъ и умомъ ужасна: первая наказывается хохотомъ или презръніемъ, смінаннымъ съ омерзеніемъ; вторая служить для людей трагическимь урокомъ, потрясающимъ душу. Вотъ почему для первой довольно легонькаго волевиля или сатирической ивсенки, много уже, если комедін; для второй нужна сатира Барбье, и ея не погнушается даже трагедія Шекспира. Глупець, который корчить изь себя Мирабо, есть не что иное, какъ маленькій эгонямь, который не любить для себя тъхъ самыхъ ственительных формъ, которыми любить душить другихъ. Дайте этому эгонзму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, енлиныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истану, пока она не противоръчить ему, - и передъ вами весь Алеко, — такой, какимъ создалъ его Пучинилъ. Не страсти погубили Алеко. «Страсти»слишкомъ неопредбленное слово, нока вы не назовете ихъ по именамъ: Алеко погубиля! одна страсть, и эта страсть - эгопамъ! Проследите за Алеко въ развити целой поэмы,

Приведя встреченного за ходмомъ, подле цыганскаго табора, Алехо, Земфира говорить своему отцу между прочимъ:

> Онъ хочеть быть, какъ мы, цыганомъ; Его преслъдуеть законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только таинственнымъ, загадочнымъ лицомъ, не болье; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можеть показаться ни преступникомъ вследствіе эгонзма, ни жертвой несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхностности, готовъ сразу принять его за мученика идеи. Но воть таборъ снядся; Алеко уныло смотрить на опуствлое поле и не смветъ растолко

вать себв тайной причины своей грусти. Онь, наконець, волень, какъ Божья птичка, солнце весело блещеть надъ его головой: о чемь же его тоска? Поэтъ пророчить ему, что страсти, нъкогда такъ свирвио игравшія имъ, только на время присмирвли въ его измученной груди и что скоро онъ снова проснутся .. Опять страсти! но какія же? А воть увидимъ...

Можеть быть, Алеко только вийшиних образомь, по чувству досады, разорваль связи съ образованнымь обществомь, и ему тяжка исполненная лишеній дикая воля біднаго бродящаго племени, ибо, какъ мудро замітить ему старый цыгань,

. . Не всегда мила свобода Тому, кто къ нъгъ пріученъ.

Нътъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой

> Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо-неспокойно, Такъ чуждо мертвыхъ кашихъ нъгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной, Какъ пъснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жальетъ ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ,—Алеко отвъчаетъ:

О чемъ жалъть? Когда бъ ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой не дышать утренней прохладой, ни вешинмъ запахомъ луговъ, Любви стыдятся, мысли гонять, Торгуютъ волею своей, Главы предъ идолами клонять И просять денегъ да утелей. Что бросиль я? Намънъ волненье, Предразсужденій приговорь, Толиы безумное гоненье Или блистательный позоръ.

Какой энергическій, полиый мощнаго негодованія голосъ! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ павосомъ рѣчь! Съ какой неотразимой силой увлекаеть душу это пророчески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можешь не верить, чтобъ человокъ, обладающій такой силой жечь огнемъ устъ своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда, - существомъ, исполненнымъ свътлаго разума и пламенной любви къ пстинъ, глубокой скорби объ униженіи человічества... Вы видите въ пемъ героя убъжденія, мученика высшихъ, недоступныхъ толпъ откровеній... Какъ высоко стоить онъ надъ этой презрѣниой толпой, которую такъ нещадно поражаетъ громомъ своего благороднаго негодованія!.. Но здѣсь-то и скрывается великій урокъ для оцінки истиннаго достоинства; здесь-то и можно видеть, какъ легко

быть героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственный счеть, -- какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не ипаче, какъ подтвержденнымъ дёлами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодованія проклятіе не только на какое-нибудь общество или какой-шибудь народъ, но и на цёлое человъчество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ дълъ. И потому изрекать анавему такъ же не всякій имфеть право, какъ и изрекать благословеніе; это могуть только пріявшіе евыше власть и посвящение. Какъ поучать другихъ имъетъ право только знающій самъ то, чему берется поучать, -- такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можеть только тоть, кто самъ уже твердой стопой привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себъ —не болъе, какъ звукъ пустой: оно важно только какъ выражение мысли; а мысль сама по себъ-не болье, какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь, какъ идеальная сущность действительности. Все, что не подходить подъ мёрку практическаго примъненія, пожно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать вниманіе не только на то, действительно ли истинно сказанное, но п на то, къмъ оно сказано. По этой же причинь въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ ипогда и старыя истины получають новую форму и новую силу убъжденія, какъ будто бы онъ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя, оригинально выраженныя мысли пропадають безъ дъйствія, какъ будто истертыя общія мѣста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ, доходитъ дъло и до страстей, появление которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко

одольваеть ревность.

Эта страсть свойственна или людямъ по самой натуръ эгоистическимъ или дюдямъ неразвитымъ правственно, Считать ревность необходимой принадлежностью любви—непростительное заблужденіе. Человъкъ и ра вественно развитый любить спокойно, увъренио, потому что уважаетъ предметь любви своей (любовь безъ уваженія для него невозможна). Положимъ, что онъ замъчаетъ ть себъ охлажденіе со стороны любимаго предмета, какая бы ни была причина этог охлажденія изъ исчисленныхъ поэтомъ:

Кто устоить противь разлуки, Соблазиа повой красоты, Противь усталости и скуки Иль своеправія мечты? это охлаждение заставить его страдать, потому что любящее сердце не можетъ не страдать при потерф любимаго сердца; но онъ не будеть ревновать. Ревность, безъ достаточнаго основанія, есть бользнь людей ничтожныхъ, которые не уважаютъ ни самихъ себя, ни своихъ правъ на привязанность любимаго ими предмета; въ ней высказывается медкая тиранія существа, стоящаго на степени животнаго эгонзма. Такая ревность невозможна для человъка правственноразвитого; но такимъ же точно образомъ невозможна для него и ревность на достаточномъ основаніи: ибо такая ревность непремѣнно предполагаетъ мученія подозрительности, оскорбленія и жажды мщенія. Подозригельность совершенно излишня для того, кто можеть спросить другого о предметь подозрвнія съ такимъ же яснымъ взоромъ, съ какимъ и самъ отвътитъ на подобный вопросъ. Если отъ него будуть скрываться, то любовь его перейдеть въ презръніе, которое если не избавить его оть страданія, то дасть этому страданію другой характеръ и сократить его продолжительность; если же ему скажуть, что его болве не любять, -тогда муки подозрѣнія тѣмъ менѣе могуть имьть смысль. Чувство оскорбленія для такого человіка также невозможно, пбо онъ знаеть, что прихоть сердца, а не его недостатки причиной потери любимаго сердца, и что это сердце, переставъ любить его, не только не перестало его уважать, но еще сострадаеть, какъ другь, его горю и винить себя, не будучи въ сущности виновато. Что касается до жажды мщенія-въ этомъ случав, опа была бы понятна только какъ выражение самаго животнаго, самаго грубаго и невъжественнаго эгонзма, который невозможенъ для человъка нравственно-развитого. И за что туть метить? — за то, что полюбившее васъ сердце уже не бъется любовью къ вамъ! Но развъ любовь зависить отъ воли человъка и покоряется ей? И развъ не случается, что сердце, охладъвшее къ вамъ, не герзается сознаніемъ этого охлажденія словно тяжкой виной, страшнымъ преступленіемъ? Но не помогуть ему ни слезы, ни стоны, ни самообвиненія, и тщетны будуть всв усилія его заставить себя любить вась попрежнему... Такъ чего же вы хотите отъ любимаго вами, по уже не любящаго васъ предмета, если сами сознаете, что его охлажденіе къ вамъ теперь такъ же произошло не отъ его воли, какъ не отъ нея произонила прежде его любовь къ вамъ? Хотиге ли, чтобъ этотъ предметъ, скрывая насильственно свое къ вамъ охлажденіе, обманывалъ васъ, радп вашего счастья, притворной любовью? — Но такое желаніе со стороны вашей могло бы выйти только изъ самаго грубаго, животнаго

эгоизма: ибо если вы человікь, существо нравственно-развитое, то вы должны думать к заботиться гораздо больше о счастьи связаннаго съ вами отношеніями любви предмета, чёмъ о своемъ собственномъ. И при томъ надо быть слишкомъ пошлымъ человъкомъ, чтобъ допустить обмануть и успоконть себя принужденной любовью, и надо быть слишкомъ подлымъ человъкомъ, чтобъ, понимая такую любовь, какъ она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастье въ жертву своему собственному — и какому счастью!... Когда любовь съ которой-нибудь стороны кончилась, вмъсть жить нельзя: пбо тоть не понимаеть любви и ея требованій и за любовь принимаетъ грубую, животную чувственностъ, кто способенъ пользоваться ея правами отъ предмета, хотя бы и любимаго, но уже нелюбящаго. Такая «любовь» бываеть только въ бракахъ, потому что бракъ есть обязательство, - и, можеть быть, оно такъ тамъ и нужно; но вълюбви такія отношенія суть оскорбленіе и профанація не только любви. но и человъческаго достопиства. Всъ такіе случан невозможны для человъка нравственно-развитого.

Есть миого родовъ образованія и развитін, и каждое изъ нихъ важно само по себъ, но всвхъ ихъ выше должно стоять образованіе нравственное Одно образование дълаетъ вась человѣкомъ ученымъ, другое-человѣкомъ свътскимъ, третье - административнымъ, военнымъ, политическимъ и г.д.; но правственное образование дълаетъ васъ просто человъкомъ, т. е. существомъ, отражающимъ на себь отблескь божественности, и потому высоко стоящимъ надъ міромъ животнымъ. Хорошо быть ученымъ, поэтомъ, воиномъ, законодателемъ и проч., но худо не быть при этомъ человѣкомъ; быть же человѣкомъзначить имъть подное и законное право на существование и не будучи ничемъ другимъ, какъ только человѣкомъ. Въ чемъ же состоить нравственное образование, нравственное развитие? Такъ какъ человъкъ не только существуеть, но еще и мыслить, то всякій предметь, въ отношенін къ нему, существуеть не только практически, но и теоретически, и человъкъ только тогда вполнъ владбегь предметомъ, тогда схватываеть его съ этихъ объихъ сторонъ. Но одно практическое обладание предметомъ еще значитъ что-нибудь, тогда какъ одно теоретическое ровно ничего не значить. И потому теоретическая правственность, открывающаяся въ одинхъ системахъ и словахъ, но не говорящая за себя, какъ дёло, какъ фактъ, выходящая только изъ созерцаній ума, но неимьющая глубокихь корпей въ почвв сердца, — такая правственность стопть без-

правственности и должна называться китайскон или фарисенской. Истинная нравственность прозябаеть и растеть изъ сердца, при илодотворномъ содъйствін свътлыхъ лучей разума. Ея мърило — не слова, а практическая діятельность. Въ сфері теорій и соверцаній быть героемъ добродітели въ тысячу разъ легче, нежели въ дімствительности выслужить чинъ коллежского регистратора или, пообъдавъ, почувствовать себя сытымъ. Такъ какъ сфера нравственности, есть по преплушеству сфера практическая, з практическая сфера образуется преимуществение изъ взаичных отношений людей другь къ другу. — то здрсь-то, въ этнхъ отношеніяхъ, и больше пигдъ, должно исчать примътъ правственнаго или безирав стреннаго человіна, а не въ томъ, какъ человінь разсуждаєть о правственности или какой спетемы, как то учелія и какой категорін правственности онъ держится. Слова, ганъ бы ви были краспорфинвы, хотя бы произносились страстнымъ голосомъ и сопров ждались не только подыристыми жестами, но при случав и горячими слезами, -- слова сами по себф исе-таки стоять не больше вечней другой болтовии: здёсь, какъ и вездё, діло—въ ділі. Одинь поъ высочайнихъ ц есященнийшихъ принциповъ истиной правственности заключается въ религозномъ угаженін къ человьческому достопнству во всякомъ человъть, безъ различія лица, прежле всего за то, что онъ — человекъ, и потомъ уже за его личныя достоинства, по той мфрф, въ каной она ихъ имбетъ, - въ живомъ, симиатическомъ создании своего братства сэ вступ. кто пазывается челов в комъ. Вотъ что разумъни мы подъ словомъ «нравственно-развитый челокекъ», говоря о томъ, какимъ образомъ показалъ бы себя такой человъкъ въ отношении къ любимой имъ особъ, когда она почему бы то ни было разлюбить его. Естественно, что никогда не выказывается такъ рфзко-определенно нравственность или безнравственность человъка, какъ въ техъ случаяхъ, где онъ судить своего ближняго по отношению къ самому себъ и гдъ въ эти отношенія вмъщивается страсть: нбо въ такихъ случаяхъ ему предстоить быть къ самому себъ строгимъ безъ эффектовъ, безпристрастнымъ безъ гордости, справедливымъ безъ унижения, между тъмъ какъ въ такихъ-то именно обстоятельствахъ человъкъ, по чувству эгонзма, и увлекается крайностями, т. е. или бываетъ въ себъ пристрастно снисходительнымъ, обвиняя во всемъ своего ближняго, или, что бываетъ рыке, изъ самаго безпристрастія спосто и своей къ себъ строгости дълаеть эффектичю мелодраму. Поэтому наше приложение иден нравственности къдълу любви очень удобно

для решенія вопроса, потому что любовь, какъ одна изъ сильивйшихъ страстей, увлекающихъ человъка во всъ крайности больше. чъмъ всякая другая страсть, - можетъ служить пробнымъ камиемъ нравственности. Если человыть, находищійся въ положенін Алеко, подавшаго намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ, есть истипно правственный человькъ, то въ любимой имъ особъ онъ съ большей страстью, чёмь въ коми-нибудь другомь, уважаетъ права свободной личности, а сабдовательно, и невольныя естественныя стремленія ея сердца. Въ такомъ случав натурально, что ея внезапнаго къ нему охлаждения онъ не приметъ за преступление или такъ-называемую на языкъ пошлыхт. романовъ «невърность», и еще менъе согласптся принять отъ нея жергву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безълюбви и для его счастья ставаться отъ счастья новой любви, можетъ бы ь, бывшей причиной ен къ нему охланденія. Еще болье естественно, что въ такомъ случав ему остается сдёлать только одно:со вевыть самоотвержениемъ души любящей, со всей теплотой сердии, постигшаго святую танну страданія, благословить его или ее на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если н'ять сплъ освободиться отъ него, глубоко схоронить отъ всехъ, и въ особенности отъ него или отъ нея, въ своемъ сердцв. Такой поступокъ немногими можеть быть оценень, какъ выражение истинной правственности; многіе, воспитанные на романахъ и повъстяхъ съ ревностью, измънами, кинжалами и ядами, найдутъ его даже прозапческимъ, а въ человъкъ, такимъ образомъ поступившемъ, увидять отсутствіе понятія о чести. Действительно, по понятіямъ, искаженно перешединмъ къ намъ оть среднихъ въковъ, мужчинъ надо кровью смыть подобное безчестіе и, какъ говорить Алеко, «хищнику и ей, коварной, вонзить кпижаль въ сердце», а женщинѣ прибѣгнуть къ яду или къ слезамъ и безмолвной тоскв; но не должно забывать, что то, что могло имъть смыслъ въ варварские средние въка,въ наше просвъщенное время уже не имъетъ никакого смысла. Въ образованномъ человъкъ нашего времени Шекспировъ Отелло можеть возбуждать сильный интересъ, но съ тымь однако жь условіемь, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужт считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человікъ нашего времени только разсмъется отъ новыхъ Отелликовъ въ родѣ Марселя въ нелѣпой повъсти Эжена Сю «Крао» и безыменнаго господина въ отвратительной повъсти Дюма «Une Vengeance». Но люди, которымъ

нужно доказать, что въ наше время кинжалы, яды в джже пистолеты, вследствее ревности, суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты или результаты бользненнаго бозумія, животнаго эгонзма и дикаго нев'єжества, - такіе люди не стоять того, чтобъ тратить на нихъ слова. Слава Богу, такихъ мюдей теперь уже немного, и теперь гораздо больше людей, которые принимають слова за одно съ дълами; вотъ имъ-то предложимъ мы вопросъ, ближе относящийся къ предмету нашей статьи; что сказать о человъкъ, который, по его словамъ, идетъ наравит съ въкомъ и для этого толкуеть о правъ человвческомъ (нарушаемомъ его сосвдомъ по имьнію) и объ эмансипацін женіцины, но который, если его жена позволить себъ сдъдать въ отношени къ нему сотую долю того, что безъ всякаго позволенія ділаеть онъ въ отношении къ ней, — сейчасъ перемъняетъ тонъ и готовъ коть за дубьё приняться?... Не правда ли, что, глядя на него, невольно заноень вполголоса съ Давыдовымъ:

> А глядишь: нашъ Мирабо Стараго Гаврилу, За измятое жабо, Хлещеть въ усъ да въ рыло....

Воть почему не смѣхъ, а смѣшанное съ ужасомъ отвращение возбуждаютъ слова Алежо въ отвѣтъ на простодушный, трогательный и поэтический разсказъ стараго цыгана о Маріулѣ:

Да какъ же ты не поспъщилъ Тотчасъ во слъдъ неблагодарной, И хищнику, и ей, коварной, Кинжала въ сердце не вонзилъ,

Итакъ, вотъ онъ—страдалецъ за униженное человъческое достоинство, —человъкъ, который презрълъ предразсудки образованной общественности и нашелъ счастье въ цыганскомъ таборъ!... Турокъ въ душъ, онъ считалъ себя впереди цълой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъ дичности!... И какъ великъ, какъ истинно (т. е. внутренно, духовно) свободенъ передъ нимъ старый цыганъ, этотъ сынъ природы, бъдности, незнающій въ простотъ сердца викакихъ теорій нравственности! Сколько позін и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвътъ Алеко:

Къ чему? вольнъе птицы младость. Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всъмъ дается радость: Что было, то не будеть вновь!

Отвътъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго цыгана окончательно и вполнъ раскрывають тайну его характера:

Я не таковъ. Нътъ, я, не споря, Отъ правъ монхъ не откажусь; Или хоть мщеньемъ наслажусь. Соч. Вълинскаго. Т. III. О, пътъ! когда бъ надъ бездной морм Нашелъ я спящаго врага, Клянусь, и тутъ моя нога Не пощадила бы зледъя; Я въ велны моря, не блъднъя, И беззапутнаго бъ толкнулт; Внезапрый ужасъ пробужденья Свиръпымъ смъхомъ упрекнулъ, И долго мнъ его паденья Смъшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владъла душой Алеко, но что всъ его мысли и чувства и дъйствія вытекали, во-первыхъ, изъ сознания своего превосходства надъ толпой, состоящаго въ умѣ болье блестящемъ и созерцательномъ, чъмъ глубокомъ и дъятельномъ; во-вторыхъ, изъ чудовищнаго эгонзма, который гордъ самимъ собой, какъ добродътелью. «Эта женщина (какъ разсуждаетъ эгопзиъ Алеко) отдалась мнъ, и я счастливъ ея любовью, слъдовательно, я имью на нее вычное и ненарушимое право, какъ на мою рабу, на мою вещь. Она измѣнила-и я не могу уже быть счастливъ ея любовью: она должна упоигь меня сладостью мщенія Ея обольститель лишилъ меня счастья, и долженъ за это заплатить мнъ жизнью.» / Не спрашивайте Алеко, наказаль ли бы онь самь себя смертью, если бъ онъ самъ измѣнилъ любимой имъ женщинъ и съ свойственной эгопстамъ жестокостью стголкнуль ее отъ груди своей: не трудно угадать, какъ бы поступиль и что бы заговориль Алеко въ подобномъ обстоятельствъ. Эгонамъ изворотливъ, какъ хамелеонъ: мало того, что такой человькь, какь Алеко, въ подобномъ случав сталь бы рисоваться передъ самимъ собой, какъ великодушный и невинный губитель чужого счастья, —онъ, пожалуй, еще почель бы себя въ правъ мстить смертью оставленной имъ женщинъ, которая преследуеть его своими докуками, упрекамп, слезами и моленьями, съ чего-то вообразивъ, что пиветъ на него какія-то права, какъ будто бы онъ созданъ не для жизни, а для ея удовольствія и, подобно дитяти, лишенъ воли. Не спрашивайте его также, имбеть ли на его жизнь право человбкъ, у котораго онъ отбилъ любовницу; съ свойственнымъ эгонзму безстыдствомъ Алеко въ такомъ случав началъ бы предъ вами вптіевато диберальничать и доказывать нышными фразами, что на женщину имбеть законное право только тоть, кто, любя ее, любимъ ею, и что онъ, Алеко, первый бы устуниль великодушно свою любовницу тому, кого бы она полюбила. Изъ этого-то животнаго эгонзма вытекаеть и животная метительность Алеко. Человькъ нравственный и любящій живеть для иден, составляющей навосъ цълаго его существованія; онт. можеть и горько презпрать, и сильно ненавильть, но скоръе по отношению къ своей идеь, чёмъ къ своему лицу. Онъ не снесеть обиды и не позволить унизить себя, но это не мышаеть ему умыть прощать личныя обиды: въ этомъ случав онъ не слабъ, а только великодушенъ. Натуры блестящія, но въ сущности мелкія, потому что эгонстическія,чужды стремленія къ пдев или пдеалу: онв во всемъ ставять сосредоточіемъ свое милое Я. Если они и заберуть себь въ голову, что живуть для какой-то идеи, то не возвышаются до идеи, а только нагибаются до нея, думають не себя облагородить и освятить проникновеніемъ пдеей, но идею осчастливить своимъ султанскимъ выборомъ. И тогда ихъ иден въ ихъ глазахъ потому только истинна, что она-нхъ идея, и потому всякій, не признающій ся истинности, есть ихъ личный врагь. Но, будучи осворблены въ льть личной страсти, эти люди думають, что въ ихъ лиць оскорбленъ весьміръ, вся вселенная, и никакая месть не кажется имъ незаконной. Таковъ Алеко!

Скажуть, что создание такого дица не дълаеть чести поэту, тёмь болбе, что онъ ясно хотвлъ сдвлать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбой человіка. Дійствительно, это было бы такъ, если бъ поэтъ не противопоставилъ стараго цыгана лицу Алеко, можеть быть, безсознательно повинуясь тайной внутренней логикъ непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы «Цыгане» должно искать не въ одномъ лицъ, а тъмъ менъе только въ лиць Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмъ Пушкина какъ бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противоръчіе съ самимъ собой было причиной его гибели, -и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія, примиряется съ преступникомъ. Адеко не убиваетъ себя; онъ остается жить, —и это решение действуеть на душу читателя сильнье всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравнение Алеко съ подстреленнымъ журавлемъ, печально остающимся на полъ въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобълетъть къ благословеннымъ краямъ юга, выше всякой трагической сцены. Сидя на камив, окровавленный, съ ножемъ въ рукахъ, «блѣдный лицомъ», Алеко молчить, но молчание краснорѣчиво: въ немъ слытится нѣмое признаніе справедливости постигшей его кары, и, можеть быть, съ этой самой минуты въ Алеко звёрь уже умерь, а человёкь воскресь...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Что жъ дълать! такова, видно, натура этого человъка, что она могла возвыситься до очеловъ-

ченія только цёной страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судё надъ падшимъ и наказаннымъ, а лучше тёмъ строже будемъ къ самимъ себё, пока мы еще не пали, и заранёе воснользуемся великимъ урокомъ. Если бъ Алеко устоялъ въ горлости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: пбо видёли бы въ немъ все того же звёря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ васлуженность своей кары, —и мы должны видёть въ немъ человёка: а человёкъ человёка какъ осудитъ?...

Убитан чета уже въ землъ.

..... Когда же ихъ закрылъ Послъдней горстію земной, Онъ молча, медленно склонился И съ камия на тразу свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотъ своей изображение самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послъдние стиха, на которые такъ нападали критики того времени, какъ на стихи вилые и прозаические! Гдъ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имълъ горячій споръ съ къмъ-то изъ своихъ друзей за эти два стиха и, наконецъ, вскричатъ: «Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!» Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можеть гордиться всякая литература. Есть въ этомъ цыганъ что-то патріархальное. У него н'єть мыслей: онъ мыслить чувствомъ, -и какъ истинны, глубоки, человъчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонъ ръчи его столько простоты, наивности, достоинства, самоотрицанія (résignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ въренъ онъ себъ во всемъ, -- тогда ли, какъ разсказываеть своимъ простодущнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидіи; или когда въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзіи пъсни Земфиры припоминаеть стараго друга; или когда, утышая Алеко въ охлажденіи Земфиры, по своему, но такъ върно и истинно объясняетъ ему натуру и права женскаго сердца и разсказываетъ трогательную повёсть о самомъ себё, о своей любви къ Маріуль и ея измінь, которую онъ, въ своей цыганской простоть, такъ чедовъчно, такъ гумманно нашелъ совершенно законной... Но въ сценъ похоронъ и прощанія съ Алеко онъ является, самъ того не подозрѣвая съ своей цыганской дикости, въ истинно-грагическомъ величіи и кротко изрекаеть несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

550

-1-

лб, 9T0 одизорукихъ и

ограниченныхъ, для невъждъ-моралистовъ, которые привыкли видеть нравственность только въ азбучныхъ сентенціяхъ...

Нѣкоторые критики того времени особенно нападали на эпилогь, находя его похожимъ на хоръ изъ какой-нибудь греческой трагедін. Греческаго въ этомъ эпилогів ність ничего, а осужденія онъ заслуживаеть. Въ немъ рефлексія поэта взяла на минуту верхъ надъ непосредственностью творчества, п вследствіе этого онъ примелся совершенно не кстати къ содержанію поэмы, въ явномь противоръчіи съ ея смысломъ:

> Но счастья нътъ и между вами, природы бъдные сыны! И подъ издранными шатрами Живуть мучительные сны. И ваши свии кочевыя Въ пустыняхъ не спаслись отъ бъдъу И всюду сграсти роковыя, II огь судебь защиты нъть.

Къ чему тутъ судьбы и къ чему толки о томъ, что счастья нътъ и между бъдными дътьми природы? Несчастье принесено къ нимъ сыномъ цивилизаціи, а не родилось между ними и черезъ нихъ же. Но главное: поэту следовало бы въ заключительныхъ стихахъ сосредоточить мысль всей поэмы. такъ энергически выраженной стихомъ: «Ты для себя лишь хочешь воли». Но, какъ мы выше замътили, Пушкинъ-поэть былъ гораздо выше Пушкина-мыслителя. Если бы въ духѣ Пушкина оба эти элемента были равносильны, и если бъ къ этому роскошный цейть его поэзіи иміль своей почвой вполні развившуюся многовьчную цивилизацію, тогда, конечно, Пушкинъ былъ бы равенъ величайшимъ поэтамъ Европы...

Можеть быть, инымъ покажется недостаткомъ въ «Цыганахъ» то, что въ этой поэмъ дикій цыгань, такь сказать, пристыжаеть высотой своихъ созерцаній и чувствованій понятія сына цивилизаціи, и такимъ образомъ заставляетъ насъ видеть идеалъ нравственно-просвътленнаго человъка въ бродя-

дикаръ. Это несправедливо. Алеко есть изъ явленій цивилизаціи, но отнюдь не ый ея представитель. Сверхъ того, неря на всю возвышенность чувствовани раго цыгана, онъ-не высшій идеаль челоса: этоть идеаль можеть реализироваться лько въ существъ сознательно-разумномъ, не въ непосредственно-разумномъ, не вымедшемъ изъ-подъ опеки у природы и обычая. Иначе, развитіе человічества черезъ цивилизацію не имбло бы никакого смысла, и люди, чтобъ сделиться разумными и справедливыми, должны бы въ цикомъ состояніи видъть свое призвание и свою цъль. Человъчество должно было номириться съ природой, но не иначе, какъ достигии этого примиренія свободно, путемъ духовнаго, противоположнаго природь, развития. Для того-то и распался нікогда человікь съ природой и объявиль ей борьбу на смерть, чтобъ стать выше ея, и потомъ, даже примирившись съ ней, быть выше ея, какъ духъ выше матеріи, сознающій разумъ выше без-Бываютъ сознательной действительности. собаки, одаренныя не только удивительнымъ инстинктомъ, подходящимъ близко къ смыелу, но и удивительными добродътелями, какъ-то върностью и привязанностью къ человѣку, простирающимися до готовности жертвовать жизнью за человъка. И въ то же время бывають люди не только съ весьма ограниченными способностями, но и съ положительно низкими страстями и злой, развращенной волей. И однако жъ самый илохой человъкъ выше самой лучшей собаки, хотя онъ и внушаеть къ себъ одно презръніе и отвращеніе, тогда какъ послъдняя пользуется общимъ удивленіемъ и любовью: такъ и самый худшій между интеллектуально развитыми черезъ цивилизацію людьми въ царствъ разума занимаетъ высшую ступень, нежели самый лучшій изъ людей, взлельянныхъ на лонь природы; послъдній всегда-не болье, какъ прекрасная случайность или существо, обязанное своими достоинствами случайному дару удавшейся организаціи, тогда какъ самые недостатки и пороки перваго болье или менъе отражають на себѣ необходимый моменть въ историческомъ развитии общества или даже цълаго человъчества. Добродътели послъдняго не зависять отъ прошедшаго, и потому не дають результатовь въ будущемъ: это таланть, скрытый въ землю, оть котораго человъчество не богатъетъ. И потому жизнь непосредственно естественнаго человъка ни въ какомъ случат не можетъ обогатить человъчества великимъ урокомъ. И если въ поэмъ Пушкина старый цыганъ способствуеть, самъ того не зная, къ преподанію намъ великаго урока, то не само

собой, а черезъ Алеко, этого сына цивиль зации. Здёсь онъ какъ бы играетъ роль ко ра въ греческой трагедіи, который иногда изрекаетъ великіи истины о совершающемся передъ его глазами событіи, не принимам самъ въ этомъ событіи никакого деятельнаго участін.

Сколько «Цыгане» выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепировкъ характеровъ, по развитію действія и по художественной отдълкъ. Нельзя сказать, чтобъ вежхъ этихъ отношеніяхъ поэма не отзывалась еще чемъ-то... не то, чтобъ незрълымъ, но чёмъ-то еще не совсёмъ дозрёлымъ. Такъ, напримеръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодого цыгана, несмотря на все ихъ достопнство отзываются ньсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдълкъ всей поэмы недостаетъ твердости и увъренности кисти, какъ въ тъхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совсемъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества. Въ «Цыганатъ» есть даже погръшности въ слогъ. Такъ, напримъръ, въ стихъ: «Тогда старикъ, приближась, рекъ», слово ревь отзывается тяжелой книжностью, равно какъ и эпитеть «подъ издранным и шаграми», витето изодранными. Но два стиха-

> Медвадь, баглець родной берлоги, Косматый гость его шатра,—

можно назвать ультра-романтическими, потому что все неточное, неопредъленное, сбивчивое. неясное, бъдное положительнымъ смысломъ, при богатствъ кажущагося смысла,-все такое должно называться романтическимъ, тогда какъ все опредълительно и точно прекрасное должно называться классическимъ, разумън подъ «классическимъ» древне-греческое. Что такое «бытленъ родной берлоги»? Не значить-ли это, что медвъдь бъжаль безь позволенія и безъ паспорта изъ своей берлоги? Хорошо бъгство для того, кто взять насильно, при помощи дубины и рогатины! Этотъ медвъдь похищенецъ, ели можно такъ выразиться, но отнюдь не бъглецъ. Что такое «косматый гость шатра»? Что медвъдь добровольно поселился въ шатрѣ Алеко? Хорошъ гость, котораго ласковый хозиннъ держить у себя на цени, а при случав угощаеть дубиной! Этоть медвыдь скорье плънникъ, чъмъ гость

По всему сказанному мы относимъ «Пыганъ» вмъстъ съ «Полтавой» и первыму шестью главами «Евгенія Онъгина» къ чи слу поэмъ, въ которыхъ видна только близость. но еще пе достиженіе той высокой надки мъстн устах: мнънію, пъе подоби.

а предавіе, и не о поэт'в римскомъ (цыганъ ничего не смыслить ни о поэтахъ, ни о римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикв, который быль «младъ и живъ нез д о б н о ю душой, имѣлъ дивный даръ пѣсенъ и подобный шуму водь голось». Сверхъ того «Цыгане» Пушкина—не романъ и не повъсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повъстью, и между поэмой. Поэма рисуеть плеальную действительность и схватываеть жизпь въ ен высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона н, порожденныя ими, поэмы Пушкина. Романъ и повъсть, напротивъ, изображають жизнь во всей ея прозапческой деятельности, независимо отъ того, стихами или прозой они пишутся. И потому «Евгеній Оньгинъ» есть романъ въ стихахъ, но не поэма; «Графъ Нулинъ» — повъсть въ стихахъ, но не поэма. Въ «Онъгинъ» и «Нулинъ» мы видимъ лица дёйствительныя и современныя намъ; въ «Цыганахъ» всъ лица плеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещуть свътомъ очей, пбо они одного цвета съ лицомъ: такъ же мраморны или мёдяны, какъ м лицо. Такимъ образомъ эпизодъ въ родъ разсказа стараго цыгана объ Овидіп въ «Цыганахъ», какъ поэмъ, столь же возможенъ, естественъ и умъстенъ, сколько былъ бы онъ страненъ и смъщонъ въ «Онъгинь» или «Нулинв», хотя бы онъ былъ вложенъ въ уста тому или другому герою той или другой повысти. И что бы ни говорили о неумъстности этого эпизода непризванные критики, — ихъ толки будугь свидетельствовать только о безвкусін и мелочности ихъ взгляда на искусство. Энизодъ объ Овидін заключаеть въ себъ гораздо больше поэзіи, нежели сколько можно найти ее во всей русской литературѣ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духѣ того времени, когда вышли «Цыгане», извлекаемъ изъ записки Пушкина слѣдующее мѣсто: √«О «Цыганахъ» одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдъу Покойный Р. неголовалъ, зачѣмъ Алеко водитъ медвѣды

и сще собираеть деньги съ глазћющей публики. В. повторилъ то же замъчание (Р. просилъ меня сдёлать изъ. Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примъръ благородиће). Всего бы лучше сдълать изъ него чиновника или пом'вщика, а не цыгана. Въ такомъ случав, правда, не было бы и всей поэмы: «ma tanto megtio». Вотъ при какой публикъ явился и дійствовалъ Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцінкі заслугь Пушкинг «Цыгане» были первы з усиліемъ, перво читкой Пушкина создать что-нибудь важное и зраное какъ по идев, такъ н по исполненію. Мы показали, до какой степени удалось ему это: «Цыгане» оставили далеко за собой все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэть великія силы; но въ то же время въ этой поэмѣ виденъ только могучій порывъ къ истинно-художественному творчеству, но еще не полное достижение желанной цёли стремления. Черезъ два года послѣ «Цыганъ» (т. е. въ 1829 году) вышла нован поэма Пушкина-«Полгава», въ которой ръзко выразилось усиле поэта оторваться, оть прежней до роги и твердой ногой стать на новый путь творчества. Но гдъ видно усиліе, тамъ еще нътъ достижения: достигнуть желаемаго значить — спокойно, свободно, следовательно, безъ всякихъ усилій овладьть имъ. Поэтому въ «Полтавъ» видны какая-то нервшительность, какое-то колебаніе, вслёдствіе которыхъ изъ этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но въ то же время и нестройное, странное, неполное. «Полтава» богата новымъ элементомъ-народностью въ выражени; почти всякое мъсто, отдъльно взитое въ ней, превосходить все, написандое прежде Пушкинымъ, по силъ, полнотъ и роскоши поэтического выражения, и въ то же время въ этой поэмъ нътъ единства, она не представляеть собой цёлаго. Содержаніе ея до того огромно, что одна смілость поэта коснуться такого содержанія есть уже заслуга, темъ болъе что, многія частности показывають, что поэть достоинь быль своего предмета, — и все-таки, читая «Полтаву» и дивясь ея великимъ красотамъ, спрашиваешь себя: что же это такое? Разсмотрвніе причинъ такого явленія очень дюбопытно, и мы постараемся изследовать этотъ вопросъ столько подробно и удовлетворительно, сколько это въ нашихъ силахъ.

Какъ недостатки, такъ и достоинства «Полтавы» были равно пепоняты тогданними критиками и тогданней публикой. Между тімъ ни одно провзведеніе Пушкина, послів «Руслана и Людмилы», не возбуждало такихъ споровъ и толковъ, какъ «Полтава». Ее бранили съ ожесточеніемъ, безъ всякаго

уваженія къ лицу великаго поэта; и съ техъ поръ нъкоторые критики, обрадовавшись своей собственной смёлости и своему открытію, что и Пушкина можно бранить, какъ какого-нибудь обыкновеннаго стихотворца, не унускали случая пользоваться своей похвальной смёлостью и своимъ счастливымъ открытіемъ. Такимъ образомъ въ разныхъ жур налахъ и на разные голоса, но одинаково неприлично и несправедливо, были разруганы—«Полтава», «Графъ Нулинъ», «Борисъ Годуновъ», седьмая глава «Евгенія Онъгина», третья часть мелкихъ стихотвореній и пр. Мы увидимъ, каковы были эти критики или, лучше сказать, эти брани, нотому что критика не есть брань, а б ань не есть критика. Обратимся къ «Полтавъ».

Главный недостатокъ «Полтавы» вышелъ изъ желанія поэта написать эпическую поэму. Хотя Нушаннъ принадлежаль къ той новой литературной школь, которая отреклась отъ преданій изевдо-классицизма; хотя онъ поэтому и смъился надъ «чахоточнымъ отцомъ немного тощей «Энеиды», въ первой главь «Онъгина» шутя объщаль написать «поэму пьсенъ въ двадцать пять», а седьмую главу его кончилъ этой острой эпиграммой на завътное «пою» старинныхъ эпическихъ поэмъ:

Но здвеь съ побвдою поздравимъ Татьяну милую мою, И въ сторону свой путь направимъ, Чтобъ не забыть о комъ пою... Да кстати здвеь о томъ два слова: "Пою прімпеля младова И множество его причудъ. Влагослови мой долгій трудъ О ты, эпическая муза! И втрный посохъ мнъ вручисъ, Не дай блуждать мнъ вкось и вкривь. Повольно. Съ плечъ долой обуза! Я классицизму отдаль честь: Хоть поздно, а вступленье есть...

однако все это еще не доназываеть, чтобъ легко было отръшиться начисто отъ преобладающихъ преданій этой эпохи, въ которую мы родились и развились. Несмотря на то, что Пушкинт самъ былъ великимъ реформаторомъ въ русской литературъ, -- литературныя преданія тімь не меніве отяготіли надъ нимъ, что можно видъть изъ его безусловнаго уваженія ко всёмъ представителямъ прежней русской литературы. Итакъ, въ «Полтавь» ему хотьлось сдылать опыть эпической поэмы въ новомъ духв. Что такое эппческая поэма!-- Пдеализированное представление такого исторического события, въ которомъ принималь участіе весь народъ, которое слито съ религіознымъ, нравственнымь и политическимъ существованиемъ народа и которое инбло сильное влінніе на судьбы народа. Разумается, если это событів касалось не одного народа, по и целаго человъчества, - тъмъ ближе поэма должна подходить къ идеалу эноса. Такъ смотръли на эпическую поэму всв образованные люди со временъ упадка древне-греческой національности и возникновенія александрійской школы почти до начала XIX стольтія, следовательно, более двухъ тысячъ летъ. А отчего произошло такое понятіе объ эпозъ?--отъ того, что у грековъ была «Иліада» и «Одиссея». — больше не отъ чего. Причина довольно забавная, но темъ не мене понятная, ибо таково всегда вліяніе народа, им'вющаго всемірно-историческое значеніе, на всѣ другіе народы: они подражають ему рабски во всемъ, начиная отъ искусства до покроя платья. У грековъ была «Иліада», которая нѣкоторымъ образомъ служила имъ книгой откровенія, изъ которой вытекала вся ихъ поздибиная поэзія и которую читали не одни ученые, но зналъ наизусть каждый эллинъ, понимавшій сколько-нибудь достоинство и счастье быть эллиномъ. Стало быть, почему же не имъть такой поэмы, напримеръ, и римлянамъ? Но какъ же бы это сдълать, если такой поэмы у римлянъ не явплось въ полуисторическую эпоху ихъ политического существования?-Очень просто: если ея не создаль духъ и геній народа, ее долженъ создать какойнибудь записной поэть. Для этого ему стоить только подражать «Иліадь». Въ ней воспъто важнъйшее событіе изъ традиціонной исторін грековъ — взятіе Трои: стало-быть, надо порыться въ льтописяхъ своего отечества, чтобы поискать такого же. Да воть чего же лучие-основание Латинскаго государства въ Италіи черезъ мнимое пришествіе Энея въ Италію. Въ подробностяхъ тоже остается только копировать «Иліаду» и «Одиссею» съ небольшими переменами, какъ, напримеръ, Гомеръ начинаетъ свою поэму: «Муза, воспой» и пр., а вы начните просто, отъ себя: «пою-де такого-то мужа», и пр. Если же могла быть у римлянъ эпоцея, такимъ легкимъ образомъ сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у всёхъ новейшихъ народовъ? И вотъ у итальянцевъ явился «Освобожденный Іерусалимъ», у англичанъ-«Потерянный Рай», у пспанцевъ-«Араукана», у португальцевъ — "Lusiades" («Лузптане»?), у французовъ — «Генріада», у нѣмцевъ — «Мессіада», у насъ, русскихъ, недоконченная «Петріада», да еще (если упомянуть ради смѣха) пресловутыя, стопудовыя «Россіада» и «Владиміръ». Происхожденіе всёхъ этихъ поэмъ такъ же незаконно, какъ и образца ихъ «Энеиды». Она явилась вслёдствіе «Иліады»; но вѣдь «Иліада» была столько же непосредственнымъ созданіемъ цълаго народа, сколько и преднамъреннымъ, сознательнымъ произгедениемъ Гочера. Мы считаемъ в грашительно несправедлив е мижне, будто бы «Пліада» есть не что иное, какъ сводъ народныхъ рансодовъ: этому слишкомъ ръзко противоръчить ся строгое единство и художественная выдержанность. Но въ то же время нельзя сомніваться, чтобы Гомеръ не воспользовался болье или менье готовыми матеріалами, чтобы воздвигнуть изъ нихъ и инсиж помонилле стинтемы пынкатом и эллинскому искусству. Его художественный геній быль плавильной печью, черезь когорую грубая руда народныхъ преданій и поэтическихъ пъсенъ и отрывковъ вынила чистымь золотомъ. Гомеръ написаль объ свои поэмы черезъ 200 леть после совершенія воспётыхъ въ нихъ событій, а событія эти совершались почти за 1200 лёть до Р. Х., следовательно, во времена миоическія, да и самъ Гомеръ жилъ въ эпоху до-историческую. отсюда и происходить девственная наивность его поэмъ, вследствие которой и доселе описанный имъ міръ, несмотря на его чудесность, носить на себъ печать дъйствительности. При томъ же «Одиссея» послѣ «Иліады» ясно доказываеть невозможность въ одномъ произведении исчериать всю жизнь народа, и потому сторона героизма и доблести выражена въ «Иліадь», а гражданская мудрость—въ «Одиссев». «Энеида» написана, напротивъ, во времена перезрѣлости и паденія народа; она есть произведеніе одного человъка, безъ всякаго участія народа, и почти безъ помощи поэтическихъ преданій. Какая же это эпонея въ родъ «Иліады» и что у ней общаго съ «Иліадой»? Это просто-старческое произведение, которое силилось показаться младенческимъ. И при томъ навосъ римской жизни быль совсёмь другой, чемъ павосъ греческой; слидовательно, Эней - ложно-римскій герой. Настоящій герой римскій это-даже не Юлій Цезарь, а разв'в братья Гракхи; настоящій же эпось римскій —эте кодексъ Юстиніана, оказавшаго римлинамъ услугу въродъ той, которую Пизистрать оказаль грекамъ, собравъ во-едино отрывки Гомеровыхъ поэмъ. Несмотря на то, что герой «Энеиды» носить названіе благочестиваго (pius), а ен творецъ-дѣвственнаго (Virgillius), эта поэма явилась во времена упадка нравственности, во времена всеобщаго національнаго разврата, когда древняя правда и доблесть римская погибли навсегда, когда литература жила не геніемъ народнымъ, а покровительствомъ Мецената, когда Горацій въ прекрасныхъ стихахъ воспъвалъ эгоизмъ, малодушіе, низость чувствъ. И хотя никакъ нельзя отрицать многихъ важныхъ достоинствъ въ «Энеидъ», написанной прекрасными стихами и заключающей въ себъ многія драгоцьныя черты издыхавшаго древняго міра, тімъ не меніве эти достоинства относятся просто къ памичнику древней литературы, оставленному даровитымъ поэтомъ, но не къ эпической поэмв,-и, какъ эпическая поэма, «Эненда» весьма жалкое произведение. То же самое можно сказать и обо всёхъ другихъ поныткахъ въ этомъ родъ. «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса написанъ по академической формв и, въ угодность академіи, былъ своимъ авторомъ нъсколько разъ переуродованъ. Воспътое въ немъ событе касалось всего христіанскаго міра, но поэть жиль послів этого событія почти пятьсоть літь спусти, когда итальянцы давно уже перестали вършть не только необходимости сражаться съ сарацинами или турками за что-нибудь другое, кром'в денегь, но даже и святости святьйшаго отца-папы. Прекрасныя октавы (затверженныя даже народомъ) и отдёльныя красоты въ «Освобожденномъ Іерусалимв» всетаки не спасають его оть несчастія быть неудачной попыткой на эпическую поэму. «Потерянный рай», кром' достоинства поэтическихъ частностей, замъчателенъ еще, какъ литературный отголосокъ мрачнаго пуританизма и грозныхъ временъ Кромвеля; но какъ эпическая поэма, онъ длиненъ, скученъ и уродливъ. Сама «Генріада» имъетъ значеніе совсёмъ не эпической поэмы, а какъ протесть противь католической нетерпимости, - что доказывается выборомъ героя, который быль протестанть въ душъ, и во времена самаго дикаго фанатизма умъть быть человъкомъ, въ разумномъ значени этого слова. «Мессіада» замічательна, какъ памятникъ пемецкаго трудолюбія, терпенія и отвлеченнаго мистицизма; это произведепіе, тщательно обработанное въ литературномъ отношении, но ужасно растянутое, тяжелое и скучное. Только «Божественная комедія» Данте подходить подъ идеалъ эппческой поэмы, къ которому такъ тщетно стремились всъ псчисленныя нами. И это потому, что Данте не думалъ подражать ни Гомеру, ни Виргилію. Его поэма была полнымъ выраженіемъ жизни среднихъ въковъ съ ихъ схоластической теологіей и варварскими формами ихъ жизни, гдъ боролось столько разнородныхъ элементовъ. Если въ поэмъ Данте играеть такую роль Виргилій — это произошло вслъдствіе самыхъ естественныхъ и неизбъжныхъ причинъ: Виртилій пользовался даже въ средніе вѣка какимъ-то суевърнымъ уваженемъ въ Италін, такъ что сами монахи чуть не причислили его къ лику католическихъ святыхъ. Форма поэмы Данте такъ самобытна и оригинальна, какъ и вёющій въ ней духъ, - и только развы колоссальные готические соборы могуть соперничать съ ней въ чести быть великими поэмами среднихъ вѣковъ. Между тѣмъ въ поэм'в Данте не воспъвается никакого зна-

менитаго историческаго событія, имёвшаго великое вліяніе на судьбу народа; въ ней даже нъть пичего героическаго, и ея карактеръ по препмуществу-схоластически-теологическій, какимъ напболье отличались средніе въка. Слъдовательно, то, что котъли видъть только въ эпическихъ поэмахъ на манеръ «Эпенды», можеть быть и въ сочиненінхъ совсёмъ другого рода: не знаменитое событіе, а духъ парода или эпохи долженъ выражаться въ твореніи, которое можеть войти въ одну категорію съ поэмами Гомера. И нотому смъло можно сказать, что нъмцы имъють свою «Иліаду» не въ жалкой «Мессіадь» Клопштока, а развы въ «Фаусть» Гёте. Изъ всего этого мы выводимь слъдствіе, что мысль-воспѣвать знаменитое историческое событіе, и изъ этого ділать эпическую поэму принадлежить къ эстетическимъ заблужденіямь человьчества, и что на этомъ зыбкомъ основани ничего нельзя создать, особенно въ наше время, когда въ исторической жизни умирающее прошедшее борется съ возникающимъ новымъ, когда вслъдствіе этого все такъ нерѣшительно, разъединено слабо и безхарактерно, и когда дъйствують только отдъльныя личности, но не массы. Вообще духъ среднихъ въковъ особенно былъ враждебенъ эпопев, потому что онъ сильно развиль чувство индивидуальности и личности, столь благопріятное драмі и столь противоположное эпосу, въ которомъ главный герой естественно-само событе, подчиняющее себъ волю отдъльныхъ лиць, а не отдёльныя лица, борющіяся съ событіемъ. Оттого въ новомъ мірѣ даже романъэтоть истинный его эпось, эта истинная его эпическая поэма, — тъмъ больше имъеть успъха, чъмъ больше проникнуть элементомъ драматическимъ, столь противоположнымъ эпическому. И хотя, вслъдствіе разъ принятаго и навсегда утвердившагося ложнаго мивнія, эпическая поэзія, по преданію отъ древности, ошибочно приложенному въ требованіямъ новаго міра, и считалась высшимъ родомъ поэзін и высочайшимъ произведеніемъ человьческаго генія, — однако этимъ высшимъ родомъ поэзін въ немъ всегда была, такъ какъ и теперь есть, драма, если уже въ поэзіп непремінно одинь который-нибудь родь долженъ быть высшимъ.

Конечно, Пушкинъ былъ столько поэтъ и столько умный человъкъ, что не могъ понимать эпосъ по мъркъ не только какой-пибудь дюжинной «Россіады», но даже и умной и щегольской «Генріады», которыхъ несчастная форма уже слишкомъ устаръла и опошлилась для времени, когда онъ пвился. Но въ то же время отъ возможности эпической поэмы въ новой формъ онъ не могъ совершенно отречься. И потому, естественно, его

идеаль эпической поэмы заключался въ неоклассицизмѣ или илиссицизмѣ, подновденномъ такъ называемымъ романтизмомъ. Художественный такть Пушкина не могь допустить его выбрать содержание для энической поэмы изъ русской исторіи до Петра Великаго, — п потому онъ остановился на величайшей эпох'в русской исторін-на царствованін великаго преобразователя Россін, и воспользовался величайшимъ его событіемъ-полтавской битвой, въ торжествъ которой заключалось торжество всёхъ трудовь, всёхъ подвиговъ, словомъ, всей реформы Петра Великаго. Но въ ноэмъ Пушкина, состоящей изъ трехъ пъсенъ полтавская битва, равно какъ и герой ел. Петръ Великій, является только въ последней (третьей) пъснъ; тогда какъ двъ заняты любовью Мазепы къ Марін и его отношеніями къ ея родственникамъ. Поэтому подтавская битва составляеть какъ бы эпизодъ изълюбовной исторіи Мазены и ен развизку: этимъ явно унижается высокость такого предмета и эпическая поэма уничтожается сама собой! А между тъмъ эта поэма поситъ название «Полтавы»; слёдственно, ея героемъ, ея мыслью должна бы быть полтавская битва, ибо названіе поэтическаго произведенія всегда важно, потому что оно всегда указываеть или на главное изъ его дъйствующихъ лицъ, въ которыхъ воплощается мысль сочиненія, или прямо на эту мысль. Вотъ первая отпока Пушкина, и ошибка великая! Но, можеть быть, намъ возразять, что Пушкинъ совсемь не думалъ писать эпической поэмы, и что герой его поэмы--Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возражение тъмъ естественнье, что Пушкинь, какъ говорили и даже писали въ то время, сперва хотълъ назвать свою поэму-«Мазепой», но почему-то послъ, когда приступилъ къ ея печатанію, переименовалъ ее въ «Полтаву». Положимъ, что это такъ, но и съ этой точки зрения «Полтава» будеть произведениемъ ошибочнымъ въ ея общности или целомъ. Какую мысль хотыть выразить поэть черезь эту исторію любви, смішанной съ политическими замыслами и черезг нихъ пришетшей въ соприкосновение съ полтавской битвой?-Неужели эту: какъ опасно обольщать, особенно на старости лѣтъ, юную невинность? И неужели мысль всей поэмы кроется въ мелодраматическомъ смущении Мазены при видъ опуствлаго Кочубеева хутора, мимо котораго промчался онъ съ шведскимъ королемъ съ поля полтавской битвы? И стоило ли для такой мысли, конечно, очень похвальной и нравственной, но тъмъ не менъе слишкомъ частной и нисколько не исторической, -- стоило ли для неи изображать полтавскую битву и Петра Великаго? Не думаемъ! Конечно,

любовь Мазены къ дочери Кочубея имветь историческое значение по отношению къ доносу озлобленнаго Кочубея на Мазену; но вь отношени къ полгавской битвь она, эта любовь, не болье какъ эпизодъ, какъ историческая подробность, — и полтавская битва пиветь огромное значение сама по себь, не только безъ любви Мазены, но и безъ самого Мазены! Если бъ поэтъ главной своей мыслью имълъ любовь Мазены, онъ долженъ бы полтавскую битву ввести въ свою поэму, какъ эпизодъ, важный только по его отношенію къ лицу одного Мазепы, оставивъ въ тъни колоссальный образъ Петра и упомянувъ развѣ только о мелодраматической смерти казака, влюбленнаго въ Марію, который вздилъ съ доносомъ Кочубея къ Петру, а въ полтавской битве безумно бросился на Мазепу и, на смерть пораженный Войнаровскимъ, умеръ съ именемъ Маріп на устахъ. Иначе весь эпизодъ полтавской битвы необходимо долженъ былъ выйти какой-то особой поэмой въ поэмъ, безъ всякаго соотношенія къ любовной исторіи Мазены—какъ оно и дъйствительно вышло, ко вреду цълой поэмы. А это ясно доказываеть, что Пушкинъ хотълъ, во что бы ни стало, воспользоваться елучаемъ къ созданію чего-то въ родъ эпической поэмы; полтавская же битва, такъ кстати пришедшаяся къ любовной исторіи Мазепы, была такимъ соблазнительнымъ случаемъ, что поэть не могь пропустить его для осуществленія своей мечты. Но въ этой мечть о возможности эпической поэмы и заключается причина зыбкаго основанія «Полтавы», ибо даже изъ самой полтавской битвы нельзя едилать поэмы. Эта битва была мыслыо и подвигомъ одного человѣка; народъ принималъ въ ней участіе, какъ орудіе вь рукахъ Великаго, котораго понять и оценить могло только потомство и для котораго судъ потомства едва начался только со временъ Екатерины Второй. Всобще изъ жизни Петра Великаго геніальный поэть могь бы сділать не одну, а множество драмъ. но рѣшительно ни одной эпической поэмы. Петръ Великій слишкомъ личенъ и характеренъ, слъдовательно, слишкомъ драматиченъ для какой бы то ни было поэмы. Сверхъ того, для поэмъ годятся только лица полунсторическія и полумивическія; отдаленность эпохи, въ которую они жили, способствуеть совокупить все извъстное о ихъ жизни въ нъеколькихъ поэтическихъ мгновеніяхъ. Въ жизни же историческаго лица, не отдаленнаго отъ насъ пространствомъ въковъ и чуждыми намъ условіями быта, всегда бываеть слишкомъ много техъ прозапческихъ подробностей, которыхъ нельзя выбрасывать, не впадая въ напыщенность и высокопарность.

Птакъ, изъ «Подтавы» Пушкина эпиче-

ская поэма не могла выйти по причина невозмежности энической поэмы въ наше время, а романтическая пеэма, въ родъ Байроновской, тоже не могла выйти по причинъ желанія поэта слить ее съ невозможной эпической поэмой. И потому «Полтава» явилась поэмой безъ героя. Мы уже доказали, что смѣшно было бы считать Петра Великаго героемъ поэмы, въ которой главная и большая часть действія посвящена любовной исторіи Мазены. Но и самъ Мазена также не можеть считаться героемъ «Полтавы». Байронъ въ своей исполненной энергіи и величія поэмь, названной именемъ Мазепы, изобразиль это лицо исторически невърно; но какъ онъ въ этомъ изображения быль вѣренъ поэтической истинь, то изъ его Мазены вышло лицо колоссально-поэтическое: тамъ мы видимъ одно изъ тёхъ титаническихъ лицъ, которыя въ такомъ изобилін порождаль глубокій духь англійскаго поэта... Но Пушкинъ, дучте Байрона знавшій Мазепу, какъ историческое лицо, хотелъ быть въренъ исторіи, и въ этомъ сдёлалъ большую ошибку, ибо, скажите Бога ради, что за герой поэмы, о которомъ самъ поэтъ говорить:

Что радъ и честно; и безчестно Вредить онъ недругамъ своимъ; Что ни единой онъ обиды; Съ тъхъ поръ какъ живъ, не забывалъ, Что далеко преступны виды Старикъ надменный простиралъ; Что онъ не въдаетъ святыни, Что онъ не помнитъ благостыни, Что онъ не любитъ ничего, Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду, Что ирезираетъ онъ свободу, Что нътъ отчизны для иего.

Герой какого бы ни было поэтическаго произведенія, если оно только не въ комическомъ духв, долженъ возбуждать къ себъ сильное участіе со стороны читателя. Если бъ этоть герой быль даже злодьй,-и тогда онь должень действовать на читателя силой своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа. Но въ Мазенъ мы видимъ одну низость интригана, состаръвшагося въ козняхъ. Чувствуя это, Пушкинъ хотътъ дать прочное основание своей поэмъ и дъйствиямъ Мазены въ чувствъ мщенія, которымъ поклялся Мазена Петру за личную обиду со стороны последняго. Мы узнаемъ это изъ разговора Мазены съ Орликомъ наканунъ полтавской битвы:

Нетъ, поздно, Русскому царю Со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно моя судьба. Давно горю Степенной злобой. Подъ Азовымъ Олнажлы я съ царемъ суровымъ Во ставкъ ночью цировалъ. Полны виномъ жибъли чащи, Кипъли съ ними речи наши. Я слово смелое сказалъ...

Смутились гости молодые-Парь, вспыхнувъ, чашу уронилъ, И за усы мон съдые Меня съ угрозой ухватилъ. Тогда, смирясь въ безсильномъ гиввъ; Отмстить себъ я клятву даль; Носилъ ее-какъ мать во чревъ Младенца носить. Срокъ насталь... Такъ, обо мив воспоминанье Хранить онъ будетъ до конца Петру я послань въ наказанье,-Я тернъ въ листахъ его вънца. Онд даль бы грады родовые И жизни дучшіе/часы, / Чтобъ спова, какъ во дни былые, Держать Мазепу за усы. Но есть еще для насъ надежды... Кому бъжать, ръшить заря.

Нъть нужды говорить о художественномъ достопнствъ этого разсказа: въ немъ виденъ великій мастеръ. Все въ немъ дышитъ правами тѣхъ временъ, все вѣрно исторіи. Но хотя этотъ разсказъ и основанъ на историческомъ преданія, онъ темъ не менее нисколько не поясняеть характера Мазепы, не даетъ единства дъйствію поэмы. Можно основать поэму на паност дикаго, безщаднаго міценія; но это міценіе въ такомъ случав должно быть рычагомъ всёхъ действій лица, должно быть цёлью самому себё. Такое мщеніе не разбираеть средствъ, не боится препятствія и не колеблется отъ страха неудачи. Но Мазепа быль очень расчетливъ для такого мщенія; если бъ онъ зналъ, что его измѣна не удастся,-мало того, если бъ онъ наканунъ полтавской битвы, предвидя ея развязку, могъ еще разъ обмануть Петра и разыграть роль невиннаго, -- онъ перешелъ бы на сторону Петра. Неть, на измену подвигла его надежда успъха, надежда получить изъ рукъ шведскаго короля хотя и вассальскую, хотя только съ призракомъ самобытности, однако все же корону. Это ли мщеніе? Н'ять, мщеніе видить одно-своего врага, и готово вмёсте съ нимъ броситься въ бездну, погубить врага хотя бы цвной собственной погибели. Слова Мазены, что «русскому царю поздно съ нимъ мириться», могуть быть приняты не за что иное, какъ за хвастоветво отчаннія. Петръ быль совсемь не такой человъкъ, который удостоиль бы Мазепу чести видьть въ немъ своего врага и рѣшился бы, даже ради спасенія своего нарства, мириться съ нимъ: онъ видель въ Мазенъ не болье, какъ возмутившагося своего подданнаго, измънника. Мазена этого не могь не знать къ своему несчастью: онъ быль человъкъ ума тонкаго и хитраго. Но если бъ даже и на мщеніи Мазепы основань быть весь планъ поэмы Пушкина, то къ чему же въ ней любовная исторія Мазены, если не къ тому, чтобъ разъединить интересъ поэмы? Но, можеть быть, мысль поэта заключается во взаимной дюбви Мазены и Марін? Старикъ, страстно влюбленный въ молодую дѣвушку, тоже страстно въ него влюбленную, - это мысль глубоко-поэтическая, и надо скавать, что Пушкинъ умёлъ нарисовать ее кистью великаго живописца. Нѣкоторые изъ критиковъ того времени сильно возставали противъ возможности и естественности такой любви; но ихъ нападки не стоять не только возраженій, даже какого бы то ни было вниманія. Эти господа забыли объ «Отелло» Шекспира, поэта, который въ знани человъческаго сердца и страстей имъетъ, конечно, большій, чёмъ они, авторитеть. Но Шекспиръ представиль такую любовь какъ фактъ, не изследуя его законовъ, потому что другой нравственный вопросъ долженъ былъ составить навосъ его драмы. Нашъ поэть, напроті въ, анализируетъ самую возможность и естественность такого явленія. И надо сказать, что въ этомъ отношении онъ истинно Шекспировски внесъ свъточъ поэзін во мракъ вопроса и даль на него такой удовлетворительный отвёть, какого можно ожидать только отъ великаго поэта:

Мгновенно сердце молодое Горить и гаснеть. Въ немъ любовь Проходить и приходить вновь, Въ немъ чувство каждый день иное не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями Пылаеть сердце старика, Окаменълое годами. Упорно, медленно оно Въ огиъ страстей раскалено; но поздній жаръ ужъ не остынеть и съ жизнью лишь его покинеть!

Лалье мы увидимъ, что любовь Маріи къ Мазент развита и объяснена еще подробите, глубже, съ мастерствомъ, передъ которымъ невольно останавливается пораженный удивленіемъ читатель. Но на любовь Мазепы къ Марін все-таки нельзя смотръть, какъ на панось поэмы: пообота любовь не заставила его ни на минуту поколебаться въ его мрачныхъ замыслахъ. Бъгство Маріи страшно смутило Мазепу, но оно не имъло никакого вліянія на ходъ и развитіе поэмы. Смущеніе Мазены при видѣ Кочубеева хутора п потомъ при видѣ сумасшедшей Маріи кажется намъ мелодраматической подставкой со стороны поэта. Можеть быть, это происходить еще и оттого, что послё такого событія, какъ полтавская битва съ ея следствіями, интересь любви уже не можеть не ослабъть. Здъсь опять видна главная ошибка поэта, хотъвшаго связать романтическое дъйствіе съ эпопеей. И воть почему «Полтава» не производить на читателя того единаго, полнаго, совершенно удовлетворяющаго впечатленія, которое должно производить всякое глубоко-концепированное и строго обдуманное поэтическое твореніе.

Но отдельныя красоты въ «Полтаве» изумительны. Если «Цыгане» далеко превзошли вев предшествовавшія имъ произведенія Пушкина и по идев, и по исполненію,то «Полтава», уступая «Цыганамъ» въ единствъ плана, далеко превосходить ихъ въ совершенствъ выраженія. Изъ встхъ поэмъ Пушкина въ «Полтавѣ» въ первый разъ стихъ его достигъ своего полнаго развитія, внодив сталь Пушкинскимъ. Критвки того времени не безъ основанія придирались къ двумъ или тремъ неправильно усъченнымъ прилагательнымъ, которыя такъ неожиданно напомнили собой «піптическія вольности» прежней школы, напримёръ: сонну вмёсто сонную, тризну тайну вмёсто тризну тайную; на нъсколько смелыхъ нововведений, какъ, напримъръ, въ стихъ: «Онъ, должный быть отцомъ и другомъ». Но мы укажемъ п еще на нѣсколько незамѣченныхъ ими погрѣшностей, какъ, напримъръ, на неумъстные славянизмы-- «младой, благостыни, главы», и въ особенности на два поражающія своей неточностью выраженія: первое, въ монологв Мазены противъ Кочубея, котораго, Богъ знаеть почему, называеть онъ «вольнодумцемъ», и въ разговоръ свиръпаго (и вообще весьма прозаически выражающагося во всей поэмъ) Орлика, который совътуеть Кочубею на допросъ «питаться мыслю суровой». Но воть и все. За исключеніемь этого, стихи въ «Подтавь» -- верхъ совершенства.

Обращаясь къ отдёльнымъ красотамъ «Полтавы», не знаешь, на чемъ остановитьсятакъ много ихъ. Почти каждое мъсто, отдъльно взятое наудачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всёхъ этихъ мъсть, и укажемъ только на нъкоторыя. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тёмъ пе менёе его изображение (отъ стиха: «Между полтавскихъ казаковъ» до стиха: «II взоры въ землю опускаль») представляеть собой необыкновенно мастерскую картину. Следующій затемь отрывокь оть стиха: «Кто при звъздахъ и при лунъ» до стиха: «Царю Петру отъ Кочубея» выше всякой похвалы: это вмёстё и народная пъсня, и художественное создание. - Кочубей, ожидающій въ темниць своей казни, его разговоръ съ Орликомъ (за исключениемт того, что говорить самъ Орликъ), все эте начертано кистью столь широкой, могучей, и въ то же время спокойной и увъренной, что читатель не знаеть, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ен эстетической прелести. Можно ди читать безъ упоенія, столько же полнаго грусти, сколько

и наслажденія, эти стихи:

Тиха украниская воч .. Прозрачно небо. Зивзды блещутъ. Своей дремоты превозмочь Не хочеть возлухь. Чуть тренещуть Сребристыхъ тополей листы. Лупа спокойно съ высоты Надъ Бълой Церковью сіяетъ И нышныхъ гетмановъ сады И старый замокъ озаряетъ. И тихо, тихо все круг мъ; Но въ замкъ шопотъ п смятенье. Въ одной изъ башенъ. подъ окномъ, Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьи, Окованъ Кочубей сидитъ И мрачно на небо глядитъ. Заутра казнь. Но безъ боязни Онъ мыслить объ ужасной казни; О жизни не жалветь опъ: Что смерть ему? желанный сонъ. Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый. Дрема долить. Но, Боже правый! Къ ногамъ влодъя, молча, пасть, Какъ безсловесное созданье! Царемъ быть отдану во власть Врагу даря на поруганье! Утратить жизнь—и съ нею честь, Друзей съ собой на плаху весть, Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья, Ложась безвиннымъ подъ топоръ, Врага веселый встретить взоръ И смерти кинуться въ объятья, Не завъщая никому Вражды къ злодъю своему!.. И вспомниль онъ свою Полтаву, Обычный кругъ семьи, друзей. Минувшихъ дней богатство, славу, И пъсни дочери своей, И старый домъ, гдъ онъ родился, Гдъ зналъ и трудъ, и мирный сонъ, И все, чёмъ въ жизни насладился, Что добровольно бросилъ онъ, И для чего?

Отвътъ Кочубея Орлику на вопросъ послъдниго о зарытыхъ кладахъ былъ расхваленъ даже присяжными хулителями «Полтавы», в потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаютъ, а Мазена въ это время сидитъ у ногъ сиящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ вижу я: кому судьбою Волненья жизни суждены, Тотъ стой одинъ передъ грозою, Не призывай къ себъ жены: Въ одиу телъгу вирячь не можно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно: Теперь плачу безумства дань.

Въ тоскъ страниныхъ угрывеній совъсти злодьй сходить въ садь, чтобъ освъжить пылающую кровь свою, — и обаятельная росконь лътней малороссійской ночи, въ контрастъ съ мрачными душевными муками Мазены, блещеть и сверкаетъ какой-то страшно-фантастической красотой:

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо Звёзды блещуть. Своей дремоты превозмочь Не кочеть воздухъ. Чуть трепещуть Сребристыхъ тополей листы. Но ирачны странныя мечты Въ душь Мазены: звёзды ночи.

Какъ обвинительныя очи, За нимъ насмёшливо глядитъ, И тополи, стъснившись въ рядъ, Качая тихо головою, Какъ судьи, шепчут межъ собою, И лътней теплой ночи тьма Душна, какъ черная тюрьма. Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ Какъ бы изъ замка слышить онъ.--То быль ли сонь воображенья, Иль плачь совы, пль звъря вой, Иль нытки стонъ, иль звукь неой-Но только своего волненья Преодольть не могъ стари!ъ, И на протяжный слабый крикъ Другимъ отвътствовалъ-твиъ крикомъ, Которымъ опъ въ весельи дикомъ Поля сраженья оглашаль, Когда съ Забълой, съ Гамалъемъ, И-съ нимъ... и съ этимъ Кочубе**о**чъ Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорять, что хвалить мудренье, чымь бранить! Чтобъ быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ-и еще какимъ! И потому мы, въ сознаніи нашего безсилія, скажемъ убогой прозой, что если эта картина мученій совъсти Мазепы можетъ подозрительному уму показаться нъсколько мелодраматической выходкой (по той причинъ, что Мазенъ, какъ закоренелому глодію, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и краснъть, подобно юношъ, оть привъта красоты),-то мастерство, съ которымъ выражены эти мученія, выше всякихъ похвалъ и утомляеть собой всякое удивленіе. Сцена между женой Кочубея и ен дочерью замъчательно хороша по роли, какую играеть въ ней Марія. Вопрось изумленной, еще неочнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаетъ и въ то же время страшится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, этотъ вопрось: «Какой отецъ? какая казнь?», равно какъ н всё вопросительные и восклицательные отвъты. — исполненъ драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличается простотой и спокойствіемъ, которыя въ соединенія съ ея страшной върностью дъйствительности производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатлёніе, если бъ творческое вдохновение поэта не ознаменовало ен печатью изящества. Этоть палачь, который, гулян и веселяся на роковомъ номость, алчно ждеть жертвы и то, играючи, береть въ бълыя руки тяжелый топоръ, то шутитъ съ веселой чернью, - и этогь безпечный народъ, который по совершени казни идеть домой, толкуя межъ собой про свои въчныя работы: накая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотрадно тяжелая мысль во всемъ этомъ!

Но что всё эти разсіянныя богатой рукой поэта красоты передъ красотами третьей пісни! И не удивительно: павось этой третьей пісни устремленть на предметь колоссально-велиній... Туть мы видимъ Петра и полтавскую битву... Мастерской кистью изобразиль поэть преступные, мрачные помыслы, кипівшіе въ душі Мазепы; его притворную болізнь и внезапный переходъ съ одра смерти на поприще властительства; гибвъ Петра, его сильныя и быстрыя міры къ удержанію Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу ХІІ-му:

Н ты, любовникъ бранной славы, Для шлема кинувшій вѣнецъ. Твой близокъ день: ты валь Полтавы Вдали завидѣлъ, наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистью имирокой и смілой; она исполнена жизни и движенія: живописець могь бы писать съ нея, какь съ натуры. Но явленіе Петра вт этой картині, изображенное огненными красками, поражаеть читателя, говори собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенья, подымающимъ волосы на голові, — производить на него такое впечатлініе, какъ будто бы онъ видить передъ глазами совершеніе какого-нибудь таинства, какъ будто бы инкій богь, въ лучахъ нестерпимой для взоробъ смертнаго славы, проходить передъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный гласъ Петра: "За дёло, съ Богомъ!" Изъ шатра, Толной любимцевъ окруженный, Выходить Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасенъ. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, Онъ весь, какъ божія гроза. Идетъ... Ему коня подводять. Регивъ и смиренъ върный конь; Почуя роковой огонь, Дрожить, глазами косо водить мчится въ прахъ боевомъ, Гордясь могучинъ съдокомъ. Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаеть. Какъ пахарь, битва отдыхаетъ Кой-гдв гарцують казаки; Ровняясь, строятся полки, Молчить музыка боевая; На холмахъ пушки, присмиръвъ, Прервали свой голодный ревъ. II се-равнину оглашая, Палече грянуло ура: Полки увидъли Петра. И онъ промчался предъ полками, Могущъ и радостенъ, какъ бой. Онъ поле пожиралъ очами... За нимъ во слъдъ неслись толной Сім итенцы гивада Петрова-Въ пречинахъ жребія земного. Въ трудахъ державства и войны Его товарищи, сыны: И Шереметевъ благородный, И Врюсъ, и Боуръ, и Ръппинъ, И, счастья баловень бозродный, Полудоржавный властелинъ

Представьте себѣ великаго творческаго генія, который столько лёть носиль, и лелеяль въ душћ своей замыслы преобразованія цѣлаго народа, который столько трудился въ потъ царственнаго чела своего, - представьте его въ ту рѣппительную минуту, когда онъ начинаеть видъть, что его тяжба съ въками, его гигантская борьба съ самой природой, съ самой возможностью готова увънчаться полнымъ успъхомъ, представьте себъ его преображенное, сіяющее побъднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія, и вы будете видёть передъ собой живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случаћ живописи стоило бы побороться съ поэзіей,—и великій живописець могь бы за честь себѣ поставить перевести на полотно въ живыхъ краскахъ живые стихи Пушкина, чтобъ рёшить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіей. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творчествъ, а только въ творчески свободномъ переводъ одного и того же предмета съ изыка поэзіи на языкъ живописи, чтобъ сравнительно показать средства и способы того и другого искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобрътать-для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра-эта главивитая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сражение, замъчательное по огромности военныхъ силъ, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: нетъ, это была битва за существованіе цёлаго народа, за будущность целаго государства, это была повърка дъйствительности замысловъ столь великихъ, что, въроятно, они самому Петру въ горькія минуты неудачь и разочарованія казались несбыточными, какъ и почти всемъ его подданнымъ. И потому на лицъ послъдняго солдата должна выражаться безсознательная мысль, что совершается чтото великое, и что онъ самъ есть одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главиая часть ея; въ отдалении поэть показываетъ другую часть, меньшую, безъ которой картина его не имъла бы полноты:

И передъ синими рядами Своихъ воинственныхъ дружинъ, Несомый върными слугами, Въ качалкъ, блъденъ, недвижим Страдая раной, Карлъ явился. Вожди героя шли за нимъ. Онъ въ думу тихо погрузился, Смущенный взоръ изобразилъ Необычайное волненье; Казалось, Карла приводилъ Желанный бой въ недоумънье... В другъ слабымъ манюмъ руки На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ погробностяхъ битвы особенно замъчателенъ эпизодъ о волненіи дряхлаго и уже безсильнаго Палія, завидъвшаго врага своего—Мазену. Но эпизодъ смерти казака, влюбленнаго въ Марію, несмотря на превосходные стихи, до приторности исполненъ мелодраматизма и вовсе неумъстенъ. Мы уже говорили, что самая мысль ввести въ поэму этого казака, чтобъ было съ къмъ Кочубею отправить доносъ Петру на Мазену, мелодрам итически эффектна; ради нея поэтъ неказилъ историческое событіє: доносъ быль отосланъ не съ казакомъ, а съ старымъ монахомъ, Никаноромъ.

Картина битвы заключается еще картиной, сл. которой тоже за честь бы могь поставить себь побороться великій живопи-

сецъ:

Пируеть Петръ. И гордъ, и ясень, и полонъ славы взоръ его, И дарскій пиръ его прекрасенъ При кликахъ войска своего Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ Своихъ вождей, вождей чужихъ, И славныхъ плънниковъ ласкаетъ, И за учителей своихъ Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно прекрасныхъ подробностяхъ еще цълой части поэмы, паеосъ которой составляеть любовь Маріи къ Мазенъ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмъ, и ея, конечно, стало бы на особую отдъльную

поэму.

Въ историческомъ фактъ любви Мазепы и Маріи Пушкинъ воспользовался только идеей любви старика къ молодой девушев и молодой дввушки къ старику. Въ подробностяхъ и даже въ изображении дочери Кочубен онъ отступаль отъ исторіи. Поэтому весь этогь факть онъ передёлаль по своему пдеалу,-и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированной. Онъ перемънилъ даже ея имя-Магроны на Марію. Когда Матрона убъжала къ старому гетману, -онъ, боясь соблазна и толковъ, пересладъ ее въ родительскій домъ, гдѣ мать Матроны катовала (палачила, пстязала, съкла) ее. Но это, какъ и естественно, только еще больше раздражало энергію страсти б'єдной дъвушки. Мазепа любилъ ее, писалъ къ ней страстныя письма, но въ отношении къ ней не приняль никакого твердаго решенія: то умоляль о свиданіяхь, то сов'єтоваль итти въ монастырь.

Какъ бы то ни было, но основане, сущность отношеній Мазены и Маріи въ позм'в Пушкина историческія и еще бол'ве истинныя—поэтически,—и Пушкинь ум'яль ими воснользоваться какъ истинно ведикій поэть, хоти онъ ихъ и идеализировалъ по-

своєму.

Не только первый пухъ лапить, Да русы кулри молодыя. Порой и старца строгій видь, Рубцы чела, власы с'ядые Въ воображенье красоты Влагають страстныя мечты.

Подобное явленіе р'ядко, но тімь не мен'ь дъйствительно. Важность его заключается въ законахъ человъческаго духа, и потому по редкости его можно находить удивитель. нымъ, но нельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видить въ мужчинъ своего защитника и покровителя; отдаваясь ему — сознательно или безсознательно, но во всякомъ случав она дълаетъ обмѣнъ красоты или прелести на силу н мужество. Послѣ этого, очень естественно, если бывають женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются нривственнымъ могуществомъ мужчины, украшеннымъ властью и славой, - увлекаются имъ безъ соображенія неравенства літь. Для такой женщины самыя съдины прекрасны, и чъмъ круче нравъ старика, тъмъ за большее счастье к честь для себя считаеть она вліяніемъ своей красоты и своей любви укрощать его порывы, дълать его ровнъе и мягче. Само безобразіе этого старика-красота въ глазахъ ея. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ беззавътно отдалась старому воину, суровому мавру — великому Отелло. Въ Марін Пушкина это еще понятиве: пбо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, рѣшительнымъ. Она быда бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодвемъ, какъ Мазепа, но съ героемъ въ истинномъ значении этого слова. И какъ бы ни велика была разница ихъ лътъ, —ихъ союзъ быль бы самый естественный. самый разумный. Ошибка Марін состояла въ томъ, что она въ душъ, готовой на все злое для достиженія своихъ целей, думала увидъть душу великую, дерзость безирав ственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ен несчастьемъ, но не виной: Марія, какъ женщина, велика вр этой ошибкв. На этомъ основания намъ понятна ея любовь, понятно-

Зачёмъ бёжала своенравно Она семейственныхъ оковъ, Томилась, тайно воздыхала И на привъты жениховъ Молчаньемъ гордымъ отвечала; Зачёмъ такъ тихо за столомъ Она лишь гетману внимала, Когда бесёда ликовала И чаша пёнилась виномъ; Зачёмъ она всегда пёвала Тъ пёсни, кои онъ слагалъ, Когда онъ бёденъ былъ и малъ, Когда молва его не знала,

Зачёмы съ неженскою душой Она любила конный стрэй, И бранный звоны литавры, и клики Предъ бунчукомы и булавой Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокь, которыми изобразиль поэть страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здісь Пушкинть, какъ поэтъ, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко вонзиль онъ свой художественный взоръ въ тайну вымакаго женскаго сердца и ввелъ насъ вы его святилище, чтобъ внішнее сділать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактъ дійствительности открыть общій законъ, въ явленіи—мысль...

Марія, бъдная Марія, **Краса черкасскихъ дочерей!** не знаешь ты, какого змія Ласкаешь на груди своей! Какой же властью непонятной Къ душъ свиръпой и рав ратной Такъ сильно ты привлечена? Кому ты въ жертву отдана? Его кудрявыя съдины, Его глубокія морщины, Его блестящій, впалый взоръ, Его лукавый разговоръ Тебъ всего, всего дороже: Ты мать забыть для нихъ могла, Соблазномь постланное ложе Ты отчей свии предпочла! Своими чудными очами Тебя старикъ заворожилъ; Своими тихими ръчами Въ тебъ онъ совъсть усыпиль; Ты на него съ благоговъньемъ Возводишь ослёпленный взоръ, Его лелвешь съ умиленьемъ-Тебъ пріятень твой позоръ; Ты имъ въ безумномъ упоеньи, Какъ цъломудріемъ, горда-Ты прелесть нъжную стыда Въ своемъ утратила паденьи... Что стыдъ Марін? Что молва? Что для нея мірскія пени, Когда склоняется въ колъни Къ ней старца гордая глава, Когда съ ней гетманъ забываеть Судьбы своей и трудъ, и шумъ, Иль тайны смълыхъ, грозныхъ думъ Ей, дъвъ робкой, открываеть?

Но въ такой великой натурѣ любовь можетъ быть только преобладающей страстью, которая въ выборѣ не допускаетъ никакого совмѣстничества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душѣ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаетъ въ сердцѣ Маріи мѣста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объ отцѣ и матери.

И дней невинных ей не жаль, И душу ей одна печаль Порой, какъ туча, затмеваетъ: Она унылыхъ предъ собой Отца и мать воображаетъ; Она сквозь слезы видитъ ихъ

Въ бездётной старости однихъ, И, ментся, пъснямъ ихъ внимаетъ... О, если бъ въдъла она. Что ужъ узнала вся Украйна! Но отъ нея сохранена Еще убійственная тайна.

Намъ скажуть, что въ дъйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидъла своихъ родителей и клялась въчно «дюбыты и сердечне кохаты Мазену на влость ен воротамъ». Но въдь въ дъйствительности-то родители Матроны катовали ее... Ионятно, почему Пушкинъ ръшился поэтически отступить отъ «такой» дъйствительности...

Но нигдѣ личность Маріи не возвышается въ поэмъ Пушкина до такой аповеозы, какъ въ сценъ ея объясненія съ Мазепой, --сценъ, написанной истинно Шекспировской кистью. Когда Мазепа, чтобъ разсѣять ревнивыя подозрѣнія Маріи, принужденъ былъ открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываеть: ньть больше сомньній, ньть безпокойства; мало того, что она въритъ ему, въритъ, что онъ не обманываеть ее: она върить, что онъ не обманывается и въ своихъ надеждахъ... Ея ли женскому уму, воспитанному въ затворничествъ, обреченному на отчужденіе оть дійствительной жизни, ей ли знать, какъ опасны такія стремленія, и чёмъ оканчиваются они! Она знаетъ одно, въритъ одному,-что онъ, ея возлюбленный, такъ могущъ, что не можеть не достичь всего, чего бы только захотель. Блескъ короны на съдыхъ кудряхъ любовника уже ослъпилъ ея очи, — и она восклицаеть съ увъренностью дитяти, сильнаго и разумнаго одной любовью, но не знаніемъ жизни:

> О, милый мой, Ты будешь царь земли родной! Твоимъ съдинамъ какъ пристанетъ Корона царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвъсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и вмъстъ съ тъмъ какая простота! Этотъ отвътъ Маріи: «Я! люблю ли:», это желаніе уклониться отъ отвъта на вопросъ, уже ръшенный ея сердцемъ, но все еще страшный дли нея—кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву для снасенія другого, —и потомъ, ръшительный отвътъ, при видъ гнъва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца.

Явленіе сумасшедшей Маріи, неумъстное въ ходь поэмы и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совъсть Мазепы, превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послъднія слова ен безумной ръчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго психологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скоръй... ужъ поздно. Ахъ, вижу, голова моя Полна волнежіх пустого: Я принимала за другого Тебя, старикъ. Оставь меня. Твой взоръ насмъшливъ и ужасенъ, Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ: Въ его глазахъ блестить любовь, Въ его ръчахъ такая пъта! Его усы бълъе спъга, А на твоихъ засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портреть, но ничего лучше не создала она лица Маріи. Что передъ ней эта препрославленная и столько восхищавшая всёхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна—это смѣшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?..

Но «Полтава» принадлежить къ числу превосходивищихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріп. Лишеннан единства и мысли плана, а потому недостаточная и слабая въ цъломъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямъ. Она заключаеть вь себь нъсколько поэмъ, и потому самому не составляеть одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочинении, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья пъснь ен сама по себъ есть нъчто особенное, отлъльная поэма въ эпическомъ родь. Но изъ нея нельзя было сдёлать эпической поэмы: если бы поэть и даль ей обширнвиший объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходнъйшихъ картинъ, но не поэмой. Чувствуя это, поэтъ хотълъ связать ее съ исторіей любви, имьющей драматическій интересъ, но эта связь не могла не выйти чисто внъщней. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогъ, въ которомъ ноэтъ говорптъ сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того въка, потомъ о Петръ Великомъ, далъе-о Карль XII, о Мазень, о Кочубев съ Искрой, и оканчиваеть все это Маріей... Несмотря на то, «Полтава» была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина. Какъ архитектурное зданіе, она не поражаеть общимъ впечатленіемъ, неть въ ней никакого преобладающаго элемента, къ которому бы всъ другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдельности есть превосходное художественное произведение. И никогда еще до того времени нашъ поэть не употреблялъ такихъ драгоцінныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отделываль ихъ съ большимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и энергін въ его стихъ! Какая живая соответственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское въ тонв разсказа,

нь духв и обороть выраженій! И между тымь какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать посильное свое остроуміе, назваль палача білоручкой, а всю картину казни-отвратительной! Воть ужъ подлинно бёлоручка! Другой носмёнлся, какъ надъ нелѣпостью, надъ любовью старика Мазены къ молодой девушке и находиль оправданіе этого факта развів только въ русской пословиць: сёдина въ бороду, а бысъ въ ребро. Третій доказываль, что всь дыйствующія лица «Полтавы» карикатуры на основаніи отзывовъ Мазепы о Карлѣ XII и Петръ Великомъ!.. И все это тогда читалось; многіе даже върили дъльности такихъ отзывовъ!...

Теперь намъ следовало бы говорить о «Евгеніи Онъгинъ», но статья наша и такъ вышла велика, а «Евгеній Оньгинъ», кромь своего огромнаго объема, имфетъ въ русской литературъ и въ русской жизни столь важное значеніе, что о немъ надо или говорить много, или совсёмъ не говорить. И потому мы отлагаемъ его разборъ до следующей статьи, а эту кончимъ бъгдымъ взглядомъ

на «Графа Нулина». 🥕

«Графъ Нулинъ»—не болбе, какъ легкій сатирическій очеркъ одной стороны нашего общества, но очеркъ, сделанный рукой въ высшей степени художественной. Сказкой «Модная Жена» Дмитріевъ нѣкогда чуть не стяжаль вънка безсмертія. Сказка его дъйствительно прекрасна; ее и теперь нельзя читать безъ удовольствія; но вінки безсмертія въ наше время очень вздорожали,и хотя «Графъ Нулинъ» безконечно выше и лучше «Модной Жены» Дмитріева, однако не имъ будеть безсмертенъ Пушкинъ: для «Графа Нулина» достаточно чести быть не больше, какъ листикомъ въ лавровомъ вънкъ его. Въ лицъ графа Нулина поэтъ съ неподражаемымъ мастерствомъ лаобразиль одного изъ тъхъ пустыхъ людей высшаго свътскаго круга, которые такъ обыкновенны въ жизни. Наталья Павловна-типъ молодой помъщицы новыхъ временъ, которая воспитывалась въ пансіонь, въ дьль моды не отстаеть оть віка, хотя живеть въ глуши, о хозяйствъ не имъетъ никакого понятія, читаеть чувствительные романы и зѣваеть въ обществъ своего мужа-истиннаго типа степного медвъдя и псаря. Въ\_этей повъсти все такъ и дышитъ русской природой, съренькими красками русскаго деревенскаго быта. Здёсь цёлый рядъ картинъ въ фламандскомъ вкусѣ,--и ни одна изъ нихъ не уступить въ достоинствъ любому изъ техъ произведеній фламандской живописи, которыя такъ высоко ценятся знатоками. Что составляетъ главное достоинство фламандской школы, если не умънье представлять

578

Ć. 1-II

6

прозу действительности подъ поэтическимъ угломъ зрвнія? Въ этомъ смыслв «Графъ Нулинъ есть цылая галлерея превосходнъйшихъ картинъ фламандской школы. И если мы сказали, что не «Графомъ Нулинымъ будеть безсмертенъ Пушкинъ, это не значить, чтобъ мы на поэму его смотръли, какъ на легонькое литературное произведеньице, какъ на остроумную шутку; нътъ, это значить только, что у Пушкина слишкомъ много гораздо большихъ правъ на безсмертіе, чемъ «Графъ Нулинъ», и что эта поэмка, которая могла бы составить главный капиталь извъстности для иного поэта, у Пушкина есть только роскошь, избытокъ, который тратится безъ вниманія и безъ сожалънія.

Нельзя не подивиться легкости, съ какой поэть схватываеть въ «Графъ Нулинъ» самыя характеристическія черты русской жизии. Воть, напримъръ, портреть Параши, горничной Натальи Павловны:

...Параша эта
Наперсинца ел затъй:
Шьетъ, моетъ, въсти переноситъ,
Изношенныхъ канотовъ проситъ,
Порою барина смъщитъ,
Порой на барина кричитъ
И лжетъ предъ барыней отважно.

Да, это типъ всъхъ русскихъ горинчныхъ, которыя служатъ барынямъ новаго, т. е. нансіонскаго, образованія!

Говорить ли, что вся поэма исполнена ума, остроумія, легкости, граціи, тонкой иропіи, благороднаго тона, знанія дійствительности, написана стихами въ высшей степени превосходными? Пушкинъ иначе и не уміль писать, —а «Графъ Нулинъ» есть одно изъудачныйшихъ его произведеній.

Эта поэма въ первый разъ была напечатана въ «Сѣверныхъ цвѣтахъ» 1828 года, а отдёльно вышла въ 1829 г. Тогда-то опрокинулась на нее со всёмъ остервенёніемъ педантическая критика. Главной виной поставлено была «Графу Нулину» пустота будто бы его содержанія. По уб'іжденію этой критики, поэзін должна заниматься только важными предметами, каковые обрѣтаются въ одахъ Ломоносова, его «Петріадь», одахъ Петрова и стопудовыхъ пінмахъ Хераскова. Ей, этой неотесанной критикъ, и въ голову не входило, что все это высокопарное и торжественное песнопеніе, взятое массой, далеко не стоить одной страницы изъ «Графа Нулина». Потомъ поставлена была въ великое преступленіе «Графу Нулину» неприличная вольность его содержанія и изложенія, будто бы оскорбляющая хорошій тонъ світскаго общества. Бъдная критика! она любезности училась въ дѣвичьихъ, а хорошаго тона набиралась въ прихожихъ: удивительно

ли, что «Графъ Нутанъ» такъ жеогоко оскорбилъ ен тонкое чувство приличія? Бъдная критика! она и до сихъ поръ добродушно убъждена въ своемъ знаніи большого свъта и пещадно преслъдуетъ «Мертвыя Души» за нарушеніе условій хорошаго тона, — а большой свъть, неблагодарный, до сихъ поръ не хочеть и подозръвать существованія ен, бъдной критики, и съ такимъ же наслажденіемъ прочелъ «Мертвыя души», съ какимъ нъкогда читалъ «Графа Нулина», не види ии въ томъ, ни въ другомъ произведеніи ничето противнаго и оскорбительнаго тому, что называетъ онъ «хорошимъ тономъ» и «приличіемъ».

## VIII.

## «Евгеній Онтгинъ».

Признаемся: не безъ нъкоторой робости приступаемь мы къ критическому разсмотрънію такой поэны, какъ «Евгеній Онвгинъ» И эта робость оправдывается многими причинами. «Онытынь» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его-фантазін, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такой полнотой, евътло и ясно, какъ отразилась въ «Онъгинъ личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здёсь его чувства, понятія, идеалы. Оценить такое произведеніе значить оцінить самого поэта во всемъ объемь его творческой двительности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствъ «Онъгина», эта поэма имкеть для насъ, русскихъ, огромное историческое и обще-ственное значение. Съ этой точки эрънія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ «Онвгинв» слабымъ или устарѣлымъ, —даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И пасъ приводитъ въ затрудненіе пе одно только сознание слабости нашихъ силь для върной оценки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мъстахъ «Онъгина», съ одной стороны, видъть недостатки, съ другой-достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней кригики, которая признаеть въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки или безусловныя достоинства, и которая не понимаеть, что условное и относительное составляють форму безусловнаго, воть почему пекоторые критики добродушно были убъждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій таланть и въ то же самое время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы

внолив художественно и могло бы внолив удовлетворить требованіямъ эстетическаго внусл нашего времени. Но въ отношеній къ «Онвгину» наши сужденія могуть ноказаться многимъ еще болье противорычащими, нотому что «Оньгинъ» со стороны формы есть произведеніе въ высшей стецени художественное, а со стороны содержавія самые его недостатки составляють сто величайшія досгоинства. Вся наша статья объ «Оньгинь» будеть развитіемъ этой мысли, какой бы ни ноказалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ «Опытенть» мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, начтаго въ одномъ изъ интересныйшихъ моменговъ его развития. Съ этой точки зрвнін «Енгеній Опргинъ» есть поэма историческая въ полномъ смыслъ слова, хотя въ чисть ен героевъ нътъ ни одного историческаго лица. Историческое достопнство этой поэмы тымъ выше, что она была на Руси и первымъ, и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родъ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознаща: заслуга безмърная! До Пушкина русская поэзія была не болье, какъ понятливой и перепичивой ученицей европейской музы, -- и потому всѣ произведенія русской поэзін до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копин, нежели на свободным произведенія самобытнаго вдохновенія. Сама Крыловъ-этоть талантъ, столько же сильный и яркій, сколько и національнорусскій, долго не иміль смілости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомь, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзін Державина ярко проблескивають и русская рычь, и русскій умъ, но не больше, какъ проблескивають, потоиляемые водой риторическипонятыхъ пноземпыхъ формъ и понятій. Озеровъ написаль русскую трагедію, даже историческую — «Димитрія Донского», но въ ней русскаго и историческаго — одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковскій написаль дві русскія баллады «Людмилу» и «Свътдану»; но первая изъ нихъ есть передылка ивмецкой (и при томъ довольно дюжинной) баллады; а другая, отличаясь дыствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же времи вся проникнута пъмецкой сентиментальностью и пъмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюпікова, вѣчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ. Всѣхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключешія, что въ русской жизни нѣть и не можеть быть никакой поэзіп, и что русскіе по-

Соч. Бълинскаго. Т. III.

эты должны за вдохновеніемъ скакать на пегасћ въ чукіе крал, даже на востокъ, не только на западъ. Но съ Пушкинымъ русска: поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опыснымъ мастеромъ. Разумветси, этс едьпалось не вдругь, потому что вдругь ничего не дълается. Въ поэмахъ: «Русланъ п Людмила» п «Братья-Разбойники» Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предпественникамъ, но не въ позвіп только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое паображение русской дъйствитель. ности. Этимъ ученичествомъ и объясняется, почему въ «Русланъ и Людмилъ» такъ мало русскаго и такъ много птальянскаго, а «Разбойники» такъ похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Жеинты, наппеанная имъ въ 1825 году, въ которомъ ноявилась и первая глава «Онъгина». Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержанія пасквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чвмъ о «Руслань и Людмиль», можно сказать:

Здёсь русскій дука, адёсь Русью нахнеть.

Танъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти всёми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства.

На утро сваха пь нимъ на дворъ Нежданная приходить, Наташу хвалигь, разговеръ Съ отцомъ ел заводитъ: У вась товарь, у насъ кунець, Собою парень молодецъ И статиый, и проворяой, Не вздорной, не зазорной. Вэгатъ, уменъ, ни передъ къмъ Не кланяется въ поясъ, А какъ бояринъ между твиъ Живеть, не безпокоясь; А подарить невъстъ вдругъ И лисью шубу, и жемчугъ, II перстии золотые, II платья парчевыя. Катаясь, видълъ онъ вчера Ее за воротами; Но по рукамъ ли, да съ дворя Да въ церковь съ образами?" Она сидить за пирогомъ Да рвчь ведеть обинякомъ, А бъдная невъста Себъ не видитъ мъста. "Согласенъ, говорить отецъ, Ступай благополучно, Моя Наташа, подъ вънецъ: Одной въ свътелкъ скучно. Не выкъ дівпцей выковать, Не все касатив распъвать, Пора гивздо устроить. Чтобъ дътушекъ поконть."

И такова вси эта баллада отъ перваго до последняго слова! Въ народныхъ русскихъ пъсняхъ, вителько ваключено ен въ этой балладе! Но не въ такихъ произведенихъ

. жи видъть образцы проинкнутыхъ націочыны дух мъ поэтическихъ созданий, ту лика не безъ основанія не обратила осоин го виндания на эту чудную балдаду. Міръ, съ пърно и ярко изображенный въ ней. ли комъ доступенъ для всякаго таланта уже п. с. ликомъ ръж и его особенности. Сверхъ с го онъ такъ тъсень, мелокъ и немногослои ил это истилный таланть не долго будеть г ен онаводить его, если не захочеть, чтобъ но роизведения были односторония, однорь вы, скучны и, наконець, пошлы, несмои на вев ихъ достоинстра. Всть почему то Биъ еъ талантемъ дълаетъ обыкновенно тье одной или, много, двухъ понытокъ комъ радь; дли него это-дъло между мъ, затриниое больше изъ желанія ись свей силы и на этомъ пен; ищъ, непать есобеннаго уваженія къ этому поу. Лермонтова «Ифеня про царя Ивана певича, молодого опричания и удалого : Билашинкова», не превосхода Пушаго «Кениха» со стороны формы, слишмного превосходить его со стороны жанія. Это — поэма, въ сравненій съ коничтожны вев богатырския народно ія поэмы, є бранныя Киршей Данило-. П между тымь «Ибеня» Лермонтова не болве, какь опыть таланта, проба и очевидно, что Лермонтовъ накогда го больше не написаль бы въ этомъ Въргой пасна Лермонтовъ взяль все. голько могъ ему представить сборникъ и Данилова. — и новая понытка въ этомъ была бы по необходимести новтореніемъ го и того же-старын погудки на новый , Чувства и страсти людей этого міра однообразны въ своемъ проявленіп; ственныя отношения людей этого міра просты и не сложны, что все это легко рпывается до дии одиниъ произведениемъ наго таланта. Разнообразіе статей, тонто резконечности отгрики чувствъ, резенно многосложным отношения людей, обзвенныя и частныя, -- воть гдв богатая а для цвътовъ поэзін, и эту почву мо-; приготовить только сильно развиваюся или развивавшаяся цивилизація. Проденія въ родѣ« Jeanne» Люржъ Занда возны только во Франціи, потому что тамъ илизація, въ многосложности ея элеменэ, всь сословія поставила въ тесное и трически взаимнодъйствующее отношедругь къ другу. Наша поэзія, напротивъ, яна искать для себя матеріаловъ почти почительно въ томъ классъ, который по му образу жизни и обычаямъ предстаеть болье развитія и умственнаго движе-ИИ если національность составляеть одно высочайшихъ достоинствъ поэтическихъ изведеній, — то безъ сомивнія истинно-

національныхъ произведеній должно искать у насъ только между такими поэтическими созданіями, которыхъ содержаніе взято изъ жизни сословія, создавшагося по реформ'в Петра Великаго и усвоившаго себъ формы образованнаго быта. Но большинство публики до сихъ поръ понимаеть это двло иначе. Назовите народнымъ или національнымъ произведеніемъ «Руслана и Людмилу», — и съ вами всь согласятся, что это дъйствительно народное и національное произведеніе. Еще болье будуть согласны съ вами, если вы назовете народнымъ произведеніемъ всикую пьесу, въ которой действують мужики и бабы, бородатые кунцы и мъщане, или въ которомъ дъйствующія лица пересыпають свой незатъйливый разговоръ русскими пословицами и поговорками и, вдобавокъ, пропускаютъ между ними риторическія, на семинарскій манеръ, фразы о народности и т. п. Люди, болье умные и образованные, охотно (и при томъ весьма основательно) видять народную русскую поройо въ басняхъ Крылова, и даже готовы видьть ее (что уже не такъ основательнот не только въ сказкахъ Пушкина («О царъ Салтанъ» и «О мертвой цареви (это уже вовсе неосновательно) въ сказкахъ Жуковскаго («О царъ Берендев до кольнъ борода» и «О спящей царевив»). Но немногіе согласятся съ вами и для многихъ покажется страннымъ, если вы скажете, что первая истинно національно-русская поэма въ стихахъ была и есть «Евгеній Онъгинъ» Пушкина, и что въ ней народности больше, нежели въ какомъ угодно другомъ народномъ русскомъ сочинения. А между тъмъ это такая же истина, какъ и то, что дважды два — четыре. Если ее не всв признають національной-это потому, что у насъ издавна укоренилось престранное мивніе, будто бы русскій во фракъ или русская въ корсетьуже не русскіе, и что русскій духъ даеть себя чувствовать только тамъ, гдт есть зипунъ, лапти, сивуха и кислая капуста. Въ этомъ случав у насъ многіе даже и между такъназываемыми образованными людьми безсознательно подражають русскому простонародью, которое всякаго чужестранца изъ Европы называеть «нъмцемъ». И воть гдъ источникъ пустой боязни нъкоторыхъ, чтобъ мы всъ не онъмечились! Всъ европейские народы развивались какъ одинъ народъ, сперва подъ свнью католическаго единства, духовнаго (въ лицъ паны) и свътскаго (въ лицъ избраннаго главы священной Римской Имперіи), а потомъ подъ вліяніемъ однихъ и техъ же стремленій къ последнимъ результатамъ цивилизацін, - однако тѣмъ не менѣе между французомъ, нѣмцемъ, англичаниномъ, итальянцемъ, шведомъ, испанцемъ-такая же существенная разница, какъ и между русскимъ и индинемъ. Это струкы одного и того же инструмента — духа человъческаго, но струны разнаго объема, каждан съ своимъ особендымъ звукомъ, и потому-то онв издають полиые гармоническіе аккорды. Если же пероды западной Европы, всв равно происходяще отъ великаго тевгонскаго имемени, большей частью сміннавшагося съ романскими инеменами, всв равно развившиеся на почвъ одной и той же религін, подъ вліяніемъ однихъ и техъ же обычаевъ, одного и того же общественнаго устройства, и потомъ вей равно воспользовавниеся богатымъ наследіемъ древнеклассическаго міра, -если, говоримъ, всь народы западной Европы, составляюще собой единое семейство, трмъ не менье разко отличаются одинъ отъ другого, то естественное ли діло, чтобь русскій пародъ, вознишній на другой почев, подь другимь небомъ, имывтій свою пет рію, ни въ чемъ не похожую на исторію ин одного западно-егропейскаго народа, естественно ли, чтобъ русскій народъ, усвоивъ себь одежду и обычан европейскіе, могъ утратить свою національную самобытпость и ноходить, какъ две канли воды, на каждаго изъ европейскихъ народовъ, изъ которыхъ каждый другь отъ друга різко отличается и физической, и правственной физіономіей?.. Да это нельпость нельпостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особенности илемени или парода заилючается въ почвъ п илиматъ занимаемой имъ страны; а много ли на земномъ шарв странъ одинаковыхъ въ геологическомъ и климатологическомы отношенияхь? И ногочу, чтобь напоръ европейскихъ обычаевъ и идей могъ лишить русскихъ ихъ національности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материкъ Россін превратить въ гористый; безконечное его пространство сдълать меньшимъ по крайней мфрф въ десять разъ (за псключеніемъ Сибпри). ІІ много кром'в того нужно бы сдёлать такого, чего нельзя сделать, и о чемъ фантазировать на досугв прилично только Маниловымъ. Далве: бъдна та народность, которая трепещеть за свою самостоятельность при всикомъ соприкосновеніи съ другой народностью! Наши самозванные патріоты не видять, въ простотв ума и сердца своего, что, безпрестанно боясь за русскую національность, они тімъ самымъ жестоко оскорбляють ее. Но когда слылалось всегда побъдоноснымъ русское войско, если не тогда, какъ Петръ Великій одёль его въ европейское платье и пріучиль его сообразной съ этимъ платьемъ военной дисциплинв? Какъ-то естественно видьть толпу крестьянъ, дурно вооруженныхъ, еще хуже дисциплинированныхъ, по случаю войны недавно оторванныхъ отъ избы и сохи, --какъ-то естествен-

но видьть ихъ бъгущими въ безпорядкь ст поля битвы; - точно такъ же, какъ есте ственно видьть полки солдать, даже и ник военной пеудачь, или храбро умирающими на полѣ битвы, или отступающими въ грозномъ порядкь. Нѣкоторые изъ горячихъ сл . вянолюбовъ говорятъ: «Посмотрите на въч ца, -- онъ вездъ нъмецъ, и въ Россіи, и за Франціп, и въ Индін; французъ тоже весдь французъ, кула бы не запесла его судьба; а русскій въ Англін-англичанниъ, во Францін-французь, въ Германін -нъменъ.» Ділствительно, въ этомъ есть своя сторона истины, которой нельзя оснарывать, но которая служить не къ униженію, а къ чести русскихъ. Это свойство удачно примвияться ко венкому народу, ко всякой странъ отнюдь не есть иск почительное свойство только образованныхъ сословій въ Россіи, но свойство всего русскаго илемени, всей съверной Руси. Этимь свойствомь русскій человінь отличается и отъ всьхъ другихъ славянскихъ илеменъ, п. можетъ быть, ему-то и обязанъ онъ евоимъ превосходствомъ надъними. Извъстно, что наши русские солдаты -удивительные природные философы и политики и нигдъ ничему не удивляются, но все находять очень естественнымъ, какъ бы это все ни было -гиандп и амкітиноп ахи онколоновитоди камъ. Чтобъ слишкомъ не распространяться объ этомъ предметь, ссылаемся, для краткости, на замъчание Лермонтова объ удивительной способности русскаго человака примвияться къ обычаны техъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. «Не знаю (соворить авторъ «Героя Нашего Времени»). достойно норицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываеть неимовърную его гибкость и присутствие этого яснаго здраваго смысла, который прощаеть зло вездь. гдь видить его необходимость или невозможность его уничтоженія.» Здісь діло пдеть о Кавказв, а не о Европв: но русскій человыкь везды тоть же. Угловатый нымець. тяжеловато-гордый Джонь-Буль уже самыми ихъ ухватками и манерами никогда и нигдъ не скроютъ своего происхождения; а послѣ француза только русскій можеть по наружности казаться просто человіномъ, не нося на своемъ лбу національнаго клейма или наспорта. Но изъ этого отнюдь не слъдуеть, чтобъ русскій, умін въ Англіп походить на англичанипа, а во Франціи — на француза, хоть на минуту пересталь быть русскимъ или хоть на минуту шутя могь сдълаться англичаниномъ или французомъ. Форма и сущность не всегда - одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себь, но оть сущности своей отръшиться совсьмъ не такъ легко, какъ променять охабень на фракъ.

та хоты го съ гріева, въ поі туть поэтиденії.

викры panаемой ценія элишпоэта 6 910 VIKY10 канія ee,шна ≥ Th IT-RESE (a)11:1-11.15 OCTE )H.,-B1113= VX.P 4Г.07 Tpedenero 17355-30C= aro HI

> то оть, ўть оо-

I II

1 [V

ıЫ

111-

Hill

ше

Ja

)----

Между русскими есть много галломановъ, англомановъ, германомановъ и разныхъ другихъ «мановъ». Посмотринь на нихъ: точно такъ, еъ которой стороны ил зайди-англичанинъ, французъ. нъмецъ, да к только. Если англеманъ, да еще богатый, то и допади у него англизированныя, и жокен, и грумы, словно сейчасъ изъ Лепдона правезенные, и паркъ въ англійскомъ влусв, и портеръ онъ пьетъ исправно, любитъ ростбифъ и пуддингъ, на комфорта помвинанъ. и даже боксируеть не хуже любого англійскаго кучера. Если галломанъ-одътъ какъ модная картинка, по-французски говорить не хуже парижанина, на все смотритъ съ равночитель презрвніемъ, при случав почитаетъ долгомъ быть и любезнымъ, и остроумнымъ. Если германоманъ-больше всего любить испусство, какъ искусство. науку--какъ науку, романтизируетъ, презираетъ толпу, не хочетъ внъшняго счастья и выше всего ставитъ созерцательное блаженство своего внутренняго міра... Но пошлите вебхъ этихъ господъ пожить-англомановъ въ Англію, галломановъ-во Францію, германомановъ-въ Германію, да и посмотрите, такъ ли охотно, какъ вы, поспъщать англичане, французы и ньмиы признать своими соотечественинами нашихъ англомановъ, галломановъ и германомановъ... Нътъ, не попадугь они въ соотечественники этимъ народамъ, а только развъ прослывутъ между ними притчей во языпъхъ, сдълаются предметомъ всеобщаго оскорбительнаго вниманія и удивленія. Это потому, повторяемъ, что усвоить чуждую форму совсемъ не то, что отръшиться отъ собственной сущности. Русскій за границей легко можеть быть принять за уроженца страны, въ которой онъ временно живеть, потому что на улиць, въ трактиръ, на балу, въ дилижансъ о человъкъ заключають по его виду; но въ отношенияхъ гражданскихъ, семейныхъ, но въ положенияхъ жизни исключительныхь-другое дело: туть поневоль обнаружится всякая національность, и каждый поневоль явится сыномъ своей и пасынкомъ чужой земли. Съ этой точки зрънія русскому гораздо легче прослыть за англичанина въ Россіи, нежели въ Англіи. Но въ отношении къ отдъльнымъ личностямъ еще могутъ быть странныя псключенія; въ отношенін же къ народамъ-никогда. Доказательствомъ могуть служить тв славянскія племена, которыхъ историческія судьбы были тьсно связаны съ судьбами западной Евроны: Чехін отовсюду окружена тевтонскимъ племенемъ; властителями ея вътечение цълыхъ стольтій были ньмцы; развилась она вмьсть съ ними, на почвѣ католицизма, и упредила ихъ и словомъ, и дёломъ религіознаго обповленія-и что же?-чехи до сихъ поръ сла-

вине, до сихъ поръ-не только не германцы, но и не совсемъ европейцы...

Все сказанное нами было необходимымъ отступленіемъ для опроверженія неосновательнаго мивнія, будто-бы, въ діль литературы, чисто русскую народность должно искать только въ сочиненияхъ, которыхъ содержаніе злимствовано изъжизни низишихъ и необразованныхъ классовъ. Вследствіе этоге страннаго мнвнія, оглашающаго «не русскимъ» все, что есть въ Россіп лучшаго и образовани миаго, - всявдствіе этого дапотно-сермяжнаго мивнія какой-нибудь грубый фарсъ съ мужиками и бабами есть національно-русское произведеніе, а «Горе оть Ума» есть тоже русское, но только уже не національное произведеніе; какой-нибудь илощадной романъ, въ родъ «Разгулья купеческихъ сынковъ въ Марьиной рощь», есть хоти и плохое, однако тімъ не менье національно-русское произведеніе, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тъмъ не менъе русское, но не національное произведеніе... Нать, и тысячу разъ наты Пора, наконець, вооружаться противъ этого мнънія всей силой здраваго смысла, всей энергіей неумолимой логики! Мы далеки уже оть того блаженнаго времени, когда исевдоклассическое направленіе нашей литературы допускало въ изищныя созданія только людей высшаго круга и образованныхъ сословій и если иногда позволяло выводить въ поэмъ, драмъ или эклогъ простолюденовъ, то не иначе, какъ умытыхъ, причесанныхъ, разодъгыхъ и говорящихъ не своимъ языкомъ. Да, мы далеки отъ этого исевдо-классическаго времени; но пора уже отдалиться намъ и отъ этого псевдо-романтического паправленія, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять въ поэмахъ и драмахъ не только честныхъ людей низшаго званія, но даже воровъ и плутовъ, вообразило, что истинная національность скрывается только подъ зипуномъ, въ курной пзбѣ, и что разбитый на кулачномъ бою носъ пьянаго лакея есть истинпо шекспировская черта, а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаковъ чего-нибудь похожаго на народность. Пора, наконецъ, догадаться, что, напротивъ, русскій поэтъ можетъ себя показать пстинно-національнымъ поэтомъ, только изображая въ своихъ произведеніяхъ жизнь образованныхъ сословій: ибо, чтобъ найти національные элементы въ жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, -- для этого поэту нужно и имъть большой таланть, и быть національнымъ въ душъ. «Истинная національность (говорить Гоголь) состоить не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можеть быть даже и тогда націоналень, ко-

тда описываеть совершенно сторонній міръ, но гладить на него глазами своей національной стихін, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественинкамъ его кажется, будто это чувст. ують и говорять они сами.» Разгадать тайну народной психен-для поэга значить умыв равно быть вірнымъ дійствительности при изображенін и визшихъ, и срединхъ, и выснихъ сословій. Кто умбетъ схватывать різкіе оттынки только грубой простонародной жизии, не уміж схватывать боліве тонкихъ и сложныхъ оттыковъ образованной жизни,тоть инкогда не будеть великимъ поэтомъ, и еще менве пиветъ право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэть равно умбеть заставить говорить и барина, и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизии образованныхъ сословій, не заслуживаеть названія національнаго, - значить, оно ничего не стопть и въ художественномъ отношени, потому что неверно духу изображаемой имъ действительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ «Горе оть Ума» и «Мертвыя Душп», но и такія, какъ «Герой нашего времени», суть столько же національныя, сколько превосходныя поэтическія созданія.

П первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ быль «Евгеній Онъгинъ» Пушкина. Въ этой ръшимости молодого поэта представить нравственную физіономію наиболье оевропенвшагося въ Россін сословія нельзя не видіть доказательства. что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онь понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взяль эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всёмъ холодомъ, со всей ея прозой и пошлостью. И такая смёлость была бы менфе удивительной, если бы романъ затьянъ былъ въ прозв; но писать подобный романъ въ стихахъ въ такое время, когда на русскомъ языкъ не было ни одного перидочнаго ремана и въ прозъ, -- такая смылость, опразданная огромнымъ успъхомъ, была несомившнымъ свидътельствомъ геніальности поэта. Шравда, на русскомъ языкъ было одно прекрасное (по своему времени) произведение, въ родъ новъети въ стихахъ: мы говоримъ о «Модной Женъ» Дмитріева; но между ею и «Онъгпнымь» нать ничего общаго уже потому только, что «Модную Жену» такъ же дегко счесть за вольный переводъ или передёлку съ франчувокаго, какъ и за оригинально-русское про-

изведеніе. Если паъ сочиненій Пушкина хоть одно можеть имыть что нибудь общаго съ прекрасной и остроумной сказкой Диптріева, такъ это, какъ мы уже и замьтили въ постьдней статьь, «Графь Нулинъ»; но и туть сходство заключается совсемь не въ поэтическомъ достоинствъ обоихъ произведеній. Форма романовъ въ родѣ «Онѣгина» создана Байрономъ; по крайней мъръ манера разсказа, смісь прозы и повзін вы изобр скаемой дыствительности, отступленія, обращенія поэта къ самому себъ и особенно это слинкомъ ощутительное присутствіе лица поэта вь созданномъ имъ произведения, - все-это есть дьло Бапрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственнаго содержанія совстмъ не то, что самому изобръсти ее,тьмъ не менье при сравненіи «Оньтина» Пупікина съ «Донъ-Жуаномъ», «Чайльдъ-Гарольдомъ» и «Беппо» Байрона нельзя найти ничего общаго, кром'в формы-и манеры. Не только содержаще, но и духъ поэмъ Байрона уничтожаетъ всякую возможность существеннаго сходства между ними и «Онвгинымъ» Пушкина: Байронъ инсалъ о Европъ для Европы; этотъ субъективный духъ, сголь могучій и глубокій, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько къ изображению современнаго человъчества, сколько къ суду надъ его прошедшей и настоящей исторіей. Повторяемъ, туть нечего искать и тъни какого-либо сходетва. Пушкинъ писалъ о России для Россін, — и мы видимъ признакъ его самобытнаго и геніальнаго таланта въ томъ, что, върний своей натурь, совершенно противоположной натуръ Байрона, и своему художническому пистинкту, — онъ далекъ быль отъ того, чтобы соблазниться создать что-нибудь въ Байр новекомъ родь, пиша русскій романъ. Сдалай онъ это,-и толпа превознесла бы его выше звъздъ; слава мгновенная, но великая, быда бы наградой за его дожный tour de force. Но, повторяемъ; Пушкинъ, какъ поэтъ, былъ слишкомъ великъ для подобнаго шутовского подвига, столь обольстительнаго для обыкновенныхъ талантовъ. Опъ заботплся не о томъ, чтобъ походить на Байрона, а о томъ, чтобъ быть самимъ собой и быть върнымъ той действительности, до него еще пепочатой и нетронутой, которая просплась подъ перо его. II зато его «Онъгинъ» — въ высшей степени оригинальное и національно-русское производеніе. Вмёсть съ сопременнымъ ему геніальнымъ твореніемъ Грабоваова — «Горе отъ Ума» \*), стихотворный романь Пункана чо-

<sup>\*) &</sup>quot;Горе отъ Ума" быте написано Грибовдовимь въблиность его въ Тирансв, деть23 года, но написано възмерню. По возвращения въ Россию, въ 1823 году. Грибовдовъ чодвергнулъ свою комедио значигельнымъ исправлениямъ.

дожиль прочиоз основание новой русской поэзін, новой русской литературь. До этихъ двухъ произведений, какъ мы уже и замътили выше, русскіе поэты еще уміли быть поэтами, восиввая чуждые русской действительности предметы, и почти не умали быть поэтами, принимансь за изображение мрарусской жизии. Исключение остается только за Державинымъ, въ поэзін котораго, какъ мы уже не разъ говорили, проблескивають некорки элементовъ русской жизни; за Крыдовымъ и, наконецъ, за Фонвизинымъ, кототый, впрочеми, быль въ своихъ комедіяхъ больше даровитымъ концетомъ русской действительности, нежели ея творческимъ воспроизводителемъ. Несмотря на всв недостатки, довольно важные, комедін Грибобдова, -- она, какъ произведение сильнаго таманта, глубокаго и самостоятельнаго ума, была первой русской комедіей, въ которой нать инчего подражательнаго, нътъ дожныхъ мотивовъ и неестественныхъ красокъ, но въ которой п цьлое, и подробности, и сюжеть, и характеры, и страсти, и дъйствія, и митнія, и языкъ все насквозь проникнуто глубокой истиной русской дъйствительности. Что же касается до стиховъ, которыми написано «Горе отъ Ума», — въ этомъ отношенія Грибовдовъ надолго убилъ всякую возможность русской комедін въ стихахъ. Нуженъ геніальный таланть, чтобъ продолжать съ успёхомъ вачатое Грибовдовымъ діло: мечъ Ахилла подъ силу только Аяксамъ и Одиссеямъ. То же можно сказать и въ отношении къ «Опъгину», хотя, впрочемъ, ему и обязаны своимъ появленіемъ нікоторыя, далеко неравныя ему. но все-таки замвчательныя попытки, -- тогда какъ «Горе отъ Ума» до сихъ поръ высится чь нашей литературь геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Примъръ неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россія выучила наизусть еще въ рукописныхъ спискахъ, болъе чъмъ за десять льть до появленія ея въ печати! Стихи Грибовдова обратились въ пословицы и поговорки; комедія его савлалась непсчерчаемымъ источникомъ примъненій на событія ежедневной жизпи, неистопинымъ рудникомъ эпиграфовъ! И хотя никакъ нельзя довазать прямого вліянія со сторопы языка п даже стиха басенъ Крылова на изыкъ и стихъ комедін Гриботдова, однако нельзя и совершенно отвергать его: такъ въ органически историческомъ развити литературы все сцъилиется и связывается одно съ другимъ! Басни Хемницера и Дмитріева относятся къ баснямъ

Вь первый разъ большой отрывокъ изъ нея быль напечатань въ альманахъ "Талія", въ 1825 году. Первая глава "Онфгина" появилась въ печати въ 1825 году, когда, въроятно, у Пушкива было уже готово нфсколько главъ этой поэмы.

Крыдова, какъ просто талантливын произведенія относятся къ геніальнымъ произведеніямъ, -- но темъ не мене Крыловъ много обязанъ Хемницеру и Дмитріеву. Такъ и Грибовдовъ; онъ не учился у Крылова, не подражаль ему: онъ только воспользовался его завоеваніемъ, чтобъ самому итти дальше своимъ собственнымъ путемъ. Не будь Крылова въ русской литературь, чтихъ Грибовдо. ва не быль бы такъ свободно, такъ вольно, развизно оригиналенъ, словомъ, не шагнулъ бы такъ страшно далеко. Но не этимъ только ограничивается подвигь Грибойдова: вмість съ «Опътанымъ» Пушкина его «Горе отъ Ума» было первымъ образцомъ поэтическаго изображенія русской дійствительности въ обшпрномъ значени слова. Въ этомъ отношеніп оба эти произведенія положили собой основание последующей литературь, были школой, изъ которой вышли и Лермонтовъ, и Гоголь, Безъ «Онъгина» былъ бы невозможенъ «Герой нашего времени», такъ же какъ безъ «Онъгина» и «Горе отъ Ума». Гоголь не почувствоваль бы себя готовымъ на изображение русской действительности, исполненной такой глубпиы и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до «Онъгина» и «Горя отъ Ума», еще и теперь не исчезла изъ русской литературы. Чтобъ убёдиться въ этомъ, стоитъ только обречь себя на смотръніе или на чтеніе новыхъ драматическихъ пьесъ, даваемыхъ на русскомъ театръ объяхъ столицъ. Это не что иное, какъ искажениля французская жизнь, самовольно назвавшанся русской жизнью, это-псковерканные французскіе характеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую повъсть Гоголь имълъ сильное вліяніе, но комедін его остались одинокими, какъ и «Горе отъ Ума». Значитъ, изображать върно свое родное, то, что у насъ передъ глазами, что насъ окружаетъ, чуть ли не трудиве, чемъ изображать чужое. Причина этой трудности заключается въ томъ, что у насъ форму всегда принимаютъ за сущность, а модный костюмь-за европеизмъ; другими словами-въ томъ, что народность смъшивають съ простонародностью и думають что кто не принадлежить къ простонародью, то есть кто пьетъ шампанское, а не пънникъ, и ходитъ во фракъ, а не смуромъ кафтанъ, -- того должно изображать то какъ француза, то какъ пспанца, то какъ англичанина. Нъкоторые изъ нашихъ литераторовъ, имън способность болъе или менъе върно списывать портреты, не имжють способности видъть въ настоящемъ ихъ свътъ ть лица, съ которыхъ они пишутъ портреты: мудрено ли, что въ ихъ портретахъ нётъ никакого сходства съ оригиналами, и что, читая ихъ романы, повъсти и драмы, невольно спрашиваешь себя:

Съ кого они портреты пишуть? Гдв разговоры эти слышуть? А если и случалось имъ, Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Таланты этого рода—плохіе мыслители: фацтазія у нихъ развита на счетъ ума. Они не понимають, что тайна національности каждаго народа заключается не въ его одеждъ и кухнь, а въ его, такъ сказать, манерь понимать вещи. Чтобъ вфрно изображать какоенибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность, -а это нельзя иначе сделать, какъ узнавъ фактически и оцънивъ философски ту сумму правилъ, которыми держится общество. У всякаго народа двь философіи: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая -- ежедневная, домашияя, обиходная. Часто объ эти философіи находятся болье или менье въ близкомъ соотношении другъ къ другу; и кто хочеть изображать общество, тому надо нознакомиться съ объими, но исследнюю особенно необходимо изучить. Такъ точно, кто хочеть узнать какой-нибудь народъ, тота. прежде всего долженъ изучить его-въ его семейномъ, домашнемъ быту. Кажется, что бы за важность могли имъть два такія слова, какъ, напримъръ, а вось и живетъ, а между тымь они очень важны и, не понимая ихъ важности, пногда нельзи понимать иного романа, не только самому написать романъ. И вотъ глубокое знаніе этой-то обиходной философіи и сдёлало «Онтгина» и «Горе оть Ума» произведениями оригинальными и чисто русскими.

Содержаніе «Онѣгина» такъ хорошо извъстно всъмъ и каждому, что нътъ никакой надобности излагать его подробно. Но, чтобъ добраться до лежащей въ его основании идеи, мы разскажемъ его въ этихъ немногихъ словахъ. Воспитанная въ деревенской глуши, молодая мечтательная девушка влюбляется въ молодого петербургскаго-говоря нынышнемъ языкомъ-льва, который, наскучивъ свътской жизнью, прівхалъ скучать въ свою деревию. Она рашается паписать ка нему письмо, дынащее наивной страстью; онъ отвъчаетъ ей на словахъ, что не можетъ ее любить, и что-не-считаеть себя созданнымъ для «блаженства семейной жизни». Потомъ изъ пустой причины Онъгинъ вызванъ на дуэль женихомъ сестры нашей влюбленной геронни и убиваеть его. Смерть Ленскаго надолго разлучаеть Татьяну съ Онвгинымъ. Газочарованная въ своихъ юныхъ мечтахъ, бъдная дъвушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходить замужъ за генерада, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ин за кого. Онъгинъ встрвчаетъ Татьяну въ Петербургв п

едва узнаеть ее: такъ перемънилась она. гакъ мало осталось въ ней сходства между простенькой деревенской дівочкой и великольной петербургской дамой. Въ Оньгинъ вспыхиваеть страсть къ Татлянь, онь пишеть къ ней письмо, и на этотъ разъ она уже отвічаеть ему на слевахь, что хотя и любить его, тъмъ не и ное принадлежать ему не можетъ-по гордости добредвтели. Вотъ и все содержание «Онъгина» Мистіе находили и теперь еще находять, что туть нътъ никакого содержанія, потому что романъ начемъ не кончается. Въ самомъ дътв, тутъ пфтъ ни смерти (ни огъ чахотк :, ни отъ кинжала), ни свадьбы - этого привилегированнаго конца всёхъ романовъ, повёстей и драмъ, въ особенности русскихъ. Сверхъ того, сколько тутъ несообразностей! Нока Татьяна была девушкой, Опетинъ отстиалъ холодностью на ся страстное признаніе; но когда она стала женициной, - онъ до безумія влюбился въ нее, даже не будучи увтренъ, что она его любитъ. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характеръ у этого человів и холодно чигаеть онъ мораль влюбленной въ него девушка, вмасто того чтобъ взять да тотчасъ и влюбиться въ нее самому, и потомъ, испросивъ не формъ у ея дражайшихъ родителей ихъ родительского благословен. навъки нерушимаго, совокупиться съ неъ узами законнаго брака и сдълаться счастливъйшимъ въ мірѣ человѣкомъ. Потомъ: Онѣгинь ин за что убиваеть быднаго Ленсчаго, этого юнаго поэта съ золотыми надеж лмп п радужными мечтами, -и хоть бы разъ заплакаль о немъ или по крайней мъръ проговорилъ патетическую рѣчь, гдъ упочиналось бы объ окровавленной тени и проч. Такъ или почти такъ судили и судять еще и теперь объ «Онвгинв» многіе изъ почтеннъйшихъ читателей; по крайней мъръ намъ случалось слышать много такихъ сужденій, которыя во время оно бъсили насъ, а теперь только забавляють. Одинъ великій критикъ даже печатно сказаль, что въ «Онфгинъ» нътъ цълаго, что это просто поэтическая болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Великій критикъ основывался въ своемъ заключенін, во-первыхъ, на томъ, что въ концв поэмы нъть ни свадьбы, ни похоронъ, н, ьовторыхъ, на этомъ свидътельствъ самого поэта:

Промчалось много, много дней Съ твхъ поръ, какъ юпая Татьяна И съ ней Опътинъ въ смутномъ стъ Являлися впервые мно.— И даль свободнаго романа Я сквозъ магическій кристальъ Еще не ясно различалъ.

Вединій критикъ не догадался, что поэть, благодаря своему творческому инстинкту, могь написать полное и оконченное сочинене, не

обдумавъ предварительно его плана, и умёлъ естановиться именчо тамъ, гдё романъ самъ собой чудесно заканчивается и развизывается— на картинъ потерявнагоси и ель сбъяснения съ Татьяной Ольгина. Но мы сбъ этомъ скажемъ въ своемъ мёсть, равно какъ и о томъ, что инчего ио можетъ бытъ сстественные отпошеній Оньгина къ Татьянъ стественные отпошеній Оньгина къ Татьянъ въ продолженіе всего романа, и что Опътинъ совемъ не извергъ, не развратный человёкъ хотя въ то же времи и совемъ не герой добродьтели. Къ числу заслугь Пушкина принадлежить и то, что онъ вывелъ изъмоды и чудовинъ порока, и героевъ добродьтели, рисут вмьето нихъ просто людей.

Мы пачали статью съ того, что «Опрына» есть поэличеки пфриая драствительности картина русскаго общества въ извёстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т. е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее-общество. Велъдствіе реформы Петра Великаго въ Россіи должно было ображиваться общество, совершенно отдъльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производить общества: чтобъ оно сф ранровалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существованіе, и нужно было образоваче, которое давало бы ему не одно вибинее, но и внутреннее единство. Екатерина П жалованной грамотой отредыния вы 1785 году права и обязаниести дворянства. Это обстоягельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству-единственному сословію, которое при Екатеринъ II-й достигло высшаго своего разватія и было просв'вщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслъдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотой 1785 года, за вельможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумбемъ слово образовываться. Въ царствование Александра Благословеннаго значение этого, во всъхъ отношенияхь лучшаго, сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все болве и болъе проникало во всъ углы огромной провинии, усъянной помъщичьими влядъніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородный наслажденія бытія становились уже потребностно, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одной охотой, р скошью и пирами, даже не одними танц ми и картами; оно говорило и читало по-французски; музыка и рисованіе тоже ьходили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дітей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъ-эти поэты, въ свсе время извъстные только одному двору, то-

гда сделались болъе или менъе извъстилми п этому возникающему обществу. Но что всего важиће-у него явилась своя дитература, уже болье легкая, живая, общественная и свътская, нежели тяжелая школьная и книжиля. Еели Иовиковъ распространиль изданіемъ книгь и журналовъ всякаго рода охоту кь чтенію и канжиую торговлю. п черезъ это создалъ массу члгагелей, то Карамзинъ своей реформой языка, направленіемъ, духомъ и формой своихъ сочиненій породиль литературный виусь и создаль публику. Тогда и поэзи вошла, какъ эломенть, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толнами бросились на «Лизинъ прудъ», чтобъ «слезой чувствительности > почтить намять горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлівнныя умомъ, вкусомъ, остротой и граціей, имъли такой же успъхъ и гакое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденныя имп сентиментальность и мечтательность, несмотря на пхъ смѣшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедін Озерова придали еще болъе силы и блеска этому направленію. Басни Крыдова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дъгьми. Вскоръ появился юноша поэть, который въ эту сентиментальную дитературу внесь романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремленія въ область чудеснаго и невъдомаго. к который познакомиль и породинав русскую музу съ музой Германін и Англін. Вліяніе дитературы на общество было гораздо важнье, нежели какъ у насъ объ этомъ думають: литература, сближая и слружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежить никакому сомнънію, что классъ дворянства быль и по преимуществу представителемь общества, и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образования всего общества. Увеличение средствъ къ народному образованію, учрежденіе уппверситетовъ, гимназій, училищь заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года был великой эпохой для Россін. Мы разумьемъ здвев не только вившиее величее и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутрениее преуспівние въ гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, неже и отъ царствования Петра

до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ. потрясни всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудиль ея спящія силы и открыль въ ней повые, дотол'в неизв'естные источники силь, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну огромную массу коспѣвшія въ чувствъ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудилъ народное сознание и народную гордость, и всемь этимъ способствоваль зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мивнія; кром'я того 12-й годъ нанесъ сильный ударъ коснівощей старині: всладствіе его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не выёзжая за заповёдную черту ихъ владеній; глушь и дичь быстро исчезии вивств съ потрасенными остатками старины. Съ другой стороны, вся Россія, въ лиць своего побъдоносного войска, лицомъ къ лицу увиделась съ Европой, пройдя по ней путемъ победъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію п укрѣпленію возникшаго общества. Въ двадилтыхъ годахъ текущаго стольтія русская литература от в подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ, - и въ «Онфгинб» онъ рфшился представить намъ внутреннюю жизпь этого сословія, а вмёсть съ нимъ и общество, въ томъ видь, въ накомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т. е. въ двадцатыхъ годахъ-текущаго-стольтія. И здысь нельзя не подивиться быстроть, съ которой движется внередъ русское общество: мы смотримъ на «Опъгина», какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы. мотивы этого времени уже такъ чужды намъ, такъ вив идеаловъ и мотивовъ нашего времени... «Герой нашего времени» быль повымъ «Онъгннымъ»: едза прошло четыре **г**ода, — и Печоринъ уже не современный идеаль. И вогь въ какомъ смыслѣ сказали мы, что самые недостатки «Онъгина» суть въ то же время и его величайшия достопиства: эти недостатки можно выразить однимъ словомъ--«старо»; но развѣ вина поэта, что въ Россіи все движется такъ быстро?-и развъ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ върно умълъ схватить действительность извёстнаго мгновенія изъ жизни общества? Если бъ въ «Опътпиъ» нпчто не казалось теперь устаръвшимъ или отсталымъ отъ нашего времени, -- это было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмѣ нѣтъ истины, что въ ней изображено не дъйствительно существовавшее, а воображаемое общество: въ такомъ случай, что жъ бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?...

Мы уже коснуднеь содержанія «Онѣгина»; обратимся кь разбору харантеровъ дъйствующихъ лицъ этого романа. Несмотря на то, что романъ носить на себв имя своего героя, -въ романъ не одинъ, а два героя: Онъгинъ и Татына. Въ обонкъ ихъ должно видеть представителей оббихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэть очень хорошо сділаль, выбравъ себі героя изъ высшаго круга общества. Онъгинъотнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества быль только въкъ Енатерины II); Онъгинъ — свътскій человькъ. Мы знаемъ, наши литераторы не любять свъта и свътскихъ людей, хотя и помъщаны на страсти изображать ихъ. Что касается лично до насъ, мы совсемъ не светскіе люди п въ свътъ не бываемъ; но не питаемъ къ нему никакихъ мыщанскихъ предубъкденій. Когда высшій світь изображается такими писателями, какъ Пушкинь, Грибовдовь, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ,мы любимъ литературное изображение большого свъта такъ же. какъ изображение всякаго другого свъта и не свъта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Только въ одномъ случав не можемъ теривть больного свъта: именно, когда изображають его сочинители, которымъ должны быть гораздо знакомбе нравы кондитерскихъ и чиповничьихъ гостиныхъ. чемъ аристократическихъ салоновъ. Позвольте сдёлать еще оговорку: мы отнюдь не смышпваемъ свытскости съ аристократизмомъ, хотя и чаще всего они встръчаются вывств. Будьте вы человъкомь какого вамъ угодно происхожденія, держитесь какихъ вамъ угодно убъжденій, -свытскость васъ не испортить, а только улучинть. Говорять: въ свыть жизнь тратится на медочи, самыя святыя чувства приносятся въ жертву расчету и приличіямъ. Правда; но развѣ въ среднемъ кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разумъ не приносятся въ жертву расчету и приличію? О, неть, тысячу разь неть! Вся разница средняго свъта отъ высшаго состоить въ томъ, что въ первомъ больше мелочности, претензій, чванства, ломанія, мелкаго честолюбія, принужденности и лицеміврства. Говорять: въ свътской жизии много дурныхъ сторонъ. Правда; а разви въ не-свитекой жизни-одив только хорония стороны? Говорять: свыть убиваеть вдохновение, и Шекспиръ, и Шиллеръ не били свътскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни мъщанами - они были просто людьми, гакъ же точно, какъ п Байронъ-аристократь, светскій человекь, своимь вдохновеніемъ болье всего обязань быль тому, что онъ быль человъкъ. Вотъ почему мы не котимъ подражать и которым в нашимъ литера

торамъ въ ихъ предубъжденіяхъ противъ страниаго для нихъ невидимки-большого евъта. и вотъ почему мы очень рады, что Пушкинъ героемъ своего романа взяль свътскаго человъка. И что же тутъ дурного? Выстій кругь общества быль въ то время уже въ апотев своего развитія; при томъ свътскость не помішала же Онігнну сойтись съ Ленскимъ-этимъ напболье страннымъ и смъшнымъ въ глазахъ свъта существомъ. Правда, Онбгину было дико въ обществъ Лариныхъ; но образованность еще болье, нежели свътскость, была причиной этого. Не споримъ, общество Лариныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совсьмь не свытскіе люди, было бы въ немъ не совстмъ довко, - темъ болте, что мы рышительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарив, о винв, о сънокосъ, о родиъ. Высшій кругь общества въ то время до того былъ отдёленъ отъ всьхъ другихъ круговъ, что непринадлежавшіе къ нему люди поневоль говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европъ говорили объ антиподахъ и Атлантидъ. Вследствие этого Онъгинъ съ первыхъ же строкъ романа быль принять за безиравственцаго человъка. Это мивніе о немъ и теперь еще не совсемъ нсчезло. Мы помнимъ, какъ горячо многіе читатели изъявляли свое негодование на то, что Онъгинъ радуется бользни своего дяди и ужаслется необходимости корчить изъ себя опечаленнаго родственника,

> Вадыхать и думать про себя: Когда же чорть возьметь тебя:

Многіе и теперь этимъ крайне педовольны. Изъ этого видно, какимъ важнымъ во всёхъ «Сингано» «Сингина» «Онъгинъ» для русской публики, и какъ хорошо сдвлаль Пушкивъ, взявъ свътскаго человъка въ герои своего романа. Къ особенностямъ людей свётскаго общества принадлежить отсутствіе лицемърства, въ одно и то же время грубаго и глунаго, добродушнаго и добросовъстнаго. Если какой-нибудь быдный чиновникъ вдругъ видить себя наследникомъ богатаго дяди-старика, готоваго умереть.-съ каними слезами, съ какой униженной предупредетельностью будеть онъ ухаживать за дядюшкой, - хотя этотъ дядюнка, можеть быть, во всю жизнь свою не хотыль ии знать, ни вильть племянника, и между ними ничего не было общаго. Однако жъ не думайте, чтобъ со стороны племянника это было разсчетливымъ лицемърствомъ (разсчетливое лицемърство есть порокъ всёхъ круговъ общества, и свътскихъ, и не-свътскихъ); ивть, вследствіе благодетельнаго сотрисенія всей нервной системы, произведеннаго видомъ близкаго насчедства, нашъ илемянникъ не шути пришелъ въ умилене и почувствовалъ иламенную любовь къ дидюнкъ, хотя и не воля дяди, а законъ, далъ ему право на наслъдство. Стало быть, это лицемърство добродушное, пекреннее и добросовъстное. Но вздумай его дилоника вдругъ, ни съ того, ни съ сего, выздоровъть: куда бы дъвалась у нашего илемянинка родственная любовь, и какъ бы ложнаи горесть вдругъ смънилась истинной горестью, и актеръ превратился бы въ человъка! Обратимся къ Онъгину. Его дядя былъ ему чуждъ во всехъ отношеніяхъ. И что можетъ быть общаго между Онъгинымъ, который уже—

. . . . . равно зъвалъ Средь модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помѣщикомъ, который въ глуши своей деревни

> Лъть сорокъ съ ключищей бранился, Въ окно смотрълъ и мухъ давилъ?

Скажуть: онъ его благодътель. Какой же благодътель, если Онъгинъ былъ законнымъ насявлинкомъ его пмвнія? Туть благодвтельне дяди, а законъ, право наслъдства. Каково же положение человъка, который обязанъ играть роль ограниченнаго, состраждущаго и нѣжнаго родственника при смертномъ одрѣ совершенво чуждаго и посторонняго ему человъка? Скажуть: кто обязываль его нграть такую низкую роль? Какъ кто? Чувство деликатности, человъчности. Если, почему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себъ человъка, котораго знакомство для васъ и тяжело, и скучно, развъвы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онвгина проглядываеть какая-то насмышливая легкость,въ этомъ виденъ только умъ и естественность, потому что отсутстве натяпутой, тяжелой торжественности въ выражении обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свътскихъ людей это даже не всегда умъ, а чаще всего-манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера — отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь, по ихъ мивнію, важномъ случав. Всв знають, что воть эта барыня жила съ своимъ мужемъ, какъ кошка съ собакой, и что она радехонька его смерти, и сама она очень хорошо понимаеть, что в в это знають, и что никого ей не обмануть, но оть этого опа еще громче охаеть и ахаеть, стонеть и рыдаеть, и темъ безотвязнее мучить всехъ и каждаго описаніемъ доброд'ятелей покойнаго, счастья, какимъ онъ дарилъ ее, и злополучія, въ какое повергъ ее своей кончипой. Мало того: эта барыня готова это же самог

сто разъ повторить передъ господиномъ благонамъренной паружности, котораго всв знаютъ за ен любовника. И что же—какъ этотъ господинъ благонамъренной наружности, такъ и всв редственинки, друзьи и знакомые горькой, неутъшной вдовы слушаютъ все это съ печальнымъ и огорченнымъ видомъ,—и если иные подъ рукой смъются, зато друге отъ души с о к р у ш а ю т с я. И—повторяемъ— это не глупость и не разсчетливое лицемърство: это чросто — принципъ мъщанской, простонадодной морали. Никому изъ этихъ людей не ъриходитъ въ голову спросить себи и другихъ:

Да изъ чего же вы бъспуетеся столько?

Мало того: они считають за грёхъ подобный вопросъ, а если бы рённились сдёлать его, то сами надъ собой расхохотались бы. Имъ не въ догадъ, что если туть есть о чемъ грустить, такъ это о попилой комедіи добродушнаго лицемёрства, которую всё такъ усердно и такъ пекренно разыгрываютъ.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же вопросу, сдъдаемъ небольшое отступленіе. Въ доказательство, какимъ важнымъ явленіемъ не въ одномъ эстетическомъ отношеніи былъ для нашей публики «Онъгинъ» Пушкина и какими новыми, смълыми мыслями казались тогда въ немъ теперь самыя старыя и даже робкія полу-мысли—приведемъ изъ него этотъ куплетъ:

Гмъ! Гмъ! читатель благеродный, Здорова ль ваша вся родия? Позвольте: можетъ быть, угодио Теперь узнать вамъ отъ меня, Что значатъ именно родные. Родные люди вотъ какіе: Мы ихъ обязаны ласкать, Любить, душевно уважать, И, по обычаю народа, О Рождестей ихъ навъщать, Члобъ въ остальное время года О насъ не думали они . . . . Итакъ, дай Богъ имъ долги дип!

Мы поминиъ, что этотъ невинный куплетъ со стороны большей части публики навлекъ упрекъ въ безиравственности уже не на Онъгина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовъстное лицемърство, о которомъ мы сейчасъ говорили? Братья тягаются съ братьями объ имъніп и часто питають другь къ другу такую остервенћаую ненависть, которая не возможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нерѣдко бываетъ инчъмъ инымъ, какъ правомъ-бъдному подличать передъ богатымъ изъ подачки, богатому-презпрать докучнаго бъдляка и отделываться отъ него ничемъ; равно богатымъ-завидовать другъ другу въ усибхахъ жизни; вообще же-право вмѣшиваться вь чужія діла, давать непужные и безполез-

ные совілы. Гді ин поступите вы, какъ человъкъ съ характеромъ и съ чувствомъ своего человическаго достопиства, везди вы оскорбите принципъ родства. Вздумали вы жениться — просите совъта; не попросите его-вы опасный мечтатель, вольнодумець; попросите-вамъ укажутъ невъсту; женитесь на ней и будете несчастны - вамъ же скажуть: «то-то же, братець, вотъ каково безъ оглядки-то предпринимать такія важныя діла; я відь говориль...» Женитесь по своему выбору-еще хуже бъда.-- Бакія еще права родства? мало ли ихъ! Вотъ, напримъръ. этого господина, такъ похожаго на Ноздрева. будь опъ вамъ чужой, вы не пустили бы даже въ свою конюшню, опасаясь за нравственность вашихъ лошадей; но онъ вамъ родственникъ, — и вы принимаете его у себя въ гостиной и въ кабинетъ, и опъ вездъ позоритъ васъ именемъ своего родственника. Родство даетъ прекрасное средство къ занятію и развлеченію: случилась съ вами бъда,и вотъ для вашихъ родственниковъ чудесный случай съёзжаться къ вамъ, ахать, охать, качать головой, судить, рядить, давать совъты и наставленія, дълать упреки, а потомъ вездъ развозить эту новость, порицая и браня васъ за глаза, въдь извъстно: человъкъ бъдъ всегда виноватъ, особенно въ глазахъ своихъ родственниковъ. Все это ин для кого не ново, но то бъда, что это всѣ чувствують, но немногіе это сознають: привычка къ добродушному и добросовъстному лицем врству побъждаеть разсудокъ. Есть такіе люди, которые способны смертельно обидьться, если огромная семья родии, прітавъ въ столицу, остановится не у нихъ; а остановись она у нихъ, - они же будутъ не рады; но ропща, бранясь и всёмъ жалуясь подъ рукой, они передъ родственной семейкой будуть расточать любезности и возьмутъ съ нея слово-опять остановиться у нихъ и вытъснить ихъ, во ими родства, изъ ихъ собственнаго дома. Что это значить? Совствить не то, чтобы родство у подобныхъ людей существовало какъ принципъ, а только то, что оно существуетъ у нихъ, какъ фактъ; внутренно, но убъждению никто изъ нихъ не признаетъ его, но по привычкъ, по безсознательности и по лицемърству вст его и изнаютъ.

Пушкинъ охарактеризовалъ родство этого рода въ томъ видъ, какъ оно существуетъ у многихъ, какъ оно есть въ самомъ дѣлѣ, слѣдовательно, справедливо и истинно,—и на иего осердилисъ, его пазвали безнравственнымъ; стало быть, если бы онъ описалъ родство между нѣкоторыми людьми такимъ, какимъ оно не существуетъ, т. е. невѣрно в ложно,—его похвалили бы. Все это значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что нравственна одна ложь и неправда... Вотъ къ

чему ведеть добродушное и добросовьстное лицем врство! Нвув. Пушкинъ поступиль правственно, первый сказавъ негину, погому что нужна благородная емьлость, чгобъ первому рышиго я склать истину. И сколько такихъ негинъ сказано въ «Оприлав»! Многія нав нихъ и не новы, и даже не очень глубоки; но если бы Пушкиль не сказаль ихъ двадиать льтъ назадь, онв теперь быти бы п новы, и глубоки. И потому ведика заслуга Пушкнаа, что онъ первый высказалъ эги устаръзния и уже не глубокія геперь истины. Онъ бы могь инсказать истинь болье безусловныхъ и болье глубокихъ, но въ такомъ случав его произведение было бы лишено петиности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ея выраженіемъ Геній никогда не упреждаеть своего времени, но всегда только угадываеть его не для всёхъ видимое содержаніе л смысть.

Бланая часть публики совершенно отрицала въ Оньгинь душу и сердце, видьла въ немь человь и хлоднаго, сухого и эгонста по натурь. Нельзя ошносчиве и кривве понять человька! Эгого мало: многіе добродушно върили и върять, что самъ поэть хотьть изобразить Оньгина холоднымъ эгоистомъ. Эго уже значить—имъя глаза, ипчего не видьть. Свытская жизнь не ублал въ Оньгинь чувства, а только охолодила къ безплодиымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Всиоминте строфы, въ которыхъ поэть опилываеть свое знакомство съ Опытинымъ:

> Условій свыта свергнувъ бремя, Какъ онг, отставъ отъ суены, Съ нимъ подружится и въ то время Мив правились его черты. Мочтамь невольная преданность, Неподражательная страиность И ръзній отлаженный умь. • Ч быль озлоблень, онь упромъ; Страстей пгру мы знали оба; Томи на жизнь обощхъ насъ; Въ обоихъ сердца жаръ погасъ; Обоихъ ожидала злоба Стьной фортуны и людей На самомъ утръ начимъ дней. Кто жиль и мыслиль, готь не можеть Въ душъ не презпрать людей; Кго чувствоваль, того тревожить Призракъ невозвратимыхъ дней: Тому ужъ нътъ очарованій, Того змія воспоминалій, Того расканные грызсть. Все это часто придаетъ Большую прелесть разговору. Сперва Опъгина языкъ Меня смущаль; но я привына Къ его язвительному спору, И къ шуткъ съ желчью пополамъ, И пъ злости мрачныхъ эпиграмять. Пакъ часто летнею порою, Когда и озрачно и свътло Ночное небо надъ Невою, II водъ веселое стекло Не огражаеть ликъ Діаны, Воспомия пречениет линт романы,

Воспомия преженою любовь, Путавительны, безпечны вновь, Цыханьемъ ночи благоск юнной Везмолвно унивались мы! Какь вь люсь зеленый изь тюрьмы Перенесень кололинкь сонной. Такь уносились ил мечгой Къ началу жизии молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ по крайней мёрь то, что Опетинь не быль ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душъ его жила поэзія, и что вообще онь быль не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечгамъ, чувствительность и безпечность при созерцании красоть природы и при воспоминаний о романахъ и любви прежинхъ лътъ: все это говорить больше о чувствъ и поэзіп, нежели о холодности и сухости. Дело только въ томъ, что Онъгинъ не любилъ расилываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ, нежели говориль, и не всякому открыватся. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человымь съ озлобленнымъ умомъ бываеть и поленъ не только людьми, но и самимъ собой. Дюжинные люди всегда довольны собой, а если имъ везеть, то и всвми. Жазнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ, она все даеть имъ, благо немногаго просять они отъ нея-корми, пойла, тепла, да койкакихъ пгрушекь, способныхъ твинть пошлое и мелкое самолюбыще. Разочарование въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себъ (если только оно петинно и просто, безъ фразъ и щегольства «нарядной печалью») свойственно только людямъ, которые, желая «многаго», не удовлегворяются «ничымь». Читатели помнять описаніе (въ VII главь) кабинета Онъгина: весь Опъгинъ въ этомъ описани. Особенно поразительно исключение изъ опалы двухъ или трехъ романовъ,

> Вь которыхъ отразился въкл, И современный человъкъ Изображенъ довольно върно Съ его безиравственной душой, Себялюбивой и сухой. Мечтанью преданный безмърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кипящимъ въ дъйствіи пустомь.

Скажуть: это портреть Опегина. Пожамуй, и такъ; но это еще боле говорить въ пользу правственнаго превосходства Опегина, потому что опъ узналъ себи въ портреть, который, какъ дзв канли воды, и хожь на столь многихъ, но въ когоромь узнають себя столь немногие, а большая часть «украдкой киваетъ на Петра». Опегинъ не любовился самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо сградалъ отъ его поразигельнаго сходства съ дътьми инпършияго въка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдёлали Опегина похожимъ на этотъ портреть, а въкъ.

Связь съ Лепскимъ— этимъ юнымъ мечтаселемъ, который такъ поправился нашей публикъ, всего громче говоритъ противъ мнимаго бездушія Онъгина.

Онъгинъ презираетъ людей,

Но правиль пъть безъ исключеній: Ниыхъ онъ очень отличалъ, 11 вчужет чувство уважаль. Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой: Поэта пылкій разговоръ, И умъ еще въ сужденьяхъ зыбкой, И врано втохновенниц взорт-Опъгину все было пово; Опъ охладительное слово Въ устахъ старался удержать, И думаль: глупо мыв мышать Вго минутному блаженству И безъ меня пора придета; Пускай покамъсть онъ живетъ Да върптъ міра совершенству; Просимы горичий юныхъ льтъ И юный жаръ, и юный бредъ. Межъ лими все рождало споры И къ размышленію влекло: Племенъ минувшихъ договоры, Плоды гаукъ, добро и зло, И предразсудки въковые, И гроба гайны роковыя, Судьба и жизнь, въ свою чреду, Все подвергалось ихъ суду.

Дёло говорить само ва себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушіе Онбегнна, какъ человёка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей поиять такъ вёрно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчернаемъ весь вопросъ.

Чудакъ печальный и онасный, Созданье ада иль небесъ, Сей ангелъ, сей надменный бъсъ, Что жъ онъ?—ужели подражанье, Ничтожный призракъ, иль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ илащъ Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексиконъ... Ужъ не народи ли онъ?

Все тоть же ль онъ, иль усмирился? Иль корчить такъ же чудака? Скажите, чъмъ онъ возвратился? Что намъ представить онъ пока? Чвмъ ныпв явится? Мельмотомъ, Космонолитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой, Иль маской щегольнеть иной? Иль просто будеть добрый малой, Какъ вы да я, какъ целый светь? По крайней мъръ мой совъть: Отстать отъ моды обветшалой. Довольно онъ морочилъ свётъ... —Знакомъ онъ вамъ? — "И да, и нюто". —Зачъмъ же такъ неблагосклонно Вы отзываетесь о немъ? За то ль, что мы неугомонно Хлопочемъ, судниъ обо всемъ, Что пылких душт неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляеть, иль сминишть: Что умъ, любя просторъ, тъснитъ; Что слишкомь часто разговоры Принять мы рады за дъла;

Что глупость вътрена и зла; Что важивымъ людямъ важны вздоры, И что посресственность одна Намъ по плещу и не странна? Влаженъ кто во время созръть, Кто ностепеню жизын холодъ Съ лътами вытериьть умълъ; Кто странивимъ снамъ не предавался; Кто черии свътскои не чуждался; Кто въ двадцать лътъ былъ срактъ хазатъ

А въ триднать выгод о женать; Кто въ пятьдесять освободился Отъ частныхъ и другихъ долговъ; Кто славы, денегь и чинсвъ Спокойно въ очередь добился: О комъ твердили целый въкъ: "N. N. прекрасный человъкъ" Но грустно думать, что напрасно Была намъ молодость дана, Что измъняли ей всечасно, Что обманула насъ она: Чго наши лучшія желанья, Что наши свъжія мечтанья Истявли быстрой чередон, Какъ листья осенью гичлой Неспосно видъть предъ собою Одинхъ объдовъ длинный рядъ, Глядъть на жизнь пакъ на обрядъ, И вслъдъ за чингою толною Итти, не раздъляя съ ней Ип общихъ мивній, ин страстей.

Эти стихи-ключь въ тайнт характера Опфгина. Онъгриъ- не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человъкъ, а просто-«добрый малый, какъ вы да и, какъ цыний свыть». Поэть справедливо называеть «обветшалой модой» вездв находить или вездѣ пскать все геніевъ, да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Опъгинъдобрый малый, но при этомъ недюжинный человакъ. Онъ не годится въ генін, не лаветь въ великіе люди, но безділтельность и пошлость жизни душать его, онъ даже не знаетъ. чего ему надо, чего ему хочется, но онъ знаеть, и очень хорошо знаеть, что ему не надо, что ему не хочется того, чёмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбиван посредственность. И за то-то эта самолюбиван посредственность не только провозгласила его «безиравственнымъ», но и отняда у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онъгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совстмъ такое воспитание. Влестящій юноша, онъ быль увлечень светомъ, подобно многимъ; но скоро наскучилъ ниъ и оставиль его, какь это делають слишкомъ немногіе. Въ душъ его тлълась искра надежды-воскреснуть и освъжиться въ тиши уединенія, на лон'в природы; но онъ скоро увидель, что перемена месть не изменяеть сущности нъкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

59

(It)

HI.

CT

ну

pt

TIC

HI

HC

11

H(

 $\Pi$ 

Ţ.

7

C

n

6

7

[ва дии ему казались новы Уедиченныя поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихаго ручья; На трегій—рещ і, х ямъ и поле ёго не занимали боль, Потомъ ужъ наводили сонь; Потомъ ужъ наводили сонь; Потомъ увидилъ ясно онъ, Что и въ деревли скука та же, Хоть ивть ин улиць, ни дворцовъ, Ни карть, ни баловь, ни стиховъ. Хандра ждала его на стражъ. И бъгата за нимъ спа, Какъ тънь иль върная жена.

Мы доказали, что Опътинъ не холодный, ле сухон, не боздушный человыкъ, но мы до сихъ поръ избътали слова эгонетъ, ч такь какъ избыговъ чувства, потребность изящнаго не исключають эгонама, то мы скажемъ теперь, что Онвтинъ-еградающій эгопеть. Эгонеты бывають двухъ родовъ. Эгонсты перваго разрада—люди беза, вся ніхъ заносчивых или мечгательных в присиманий; очи не пенямають, какъ можеть человікъ любить кого-инбудь громв вамого себя, и потому оги нисколько не стараются скрывать своен идаменной дюбви къ собственнымъ ихъ особамь; если ихъ дви идутъ плохо-- они худощавы, бльдны, з пл. низки. подлы, предатели, клеветники: если ихъ дъла идуть хорошо-они толеты, жириы, румины, веселы, дебры, выгодами далиться ин съ къмъ не станутъ, но угощать готовы не голько полезныхь, даже и вовсе безполезлыхъ имъ людей. Это эгонеты по натура или по причинь дурного воспитанія. Эгонсты второго разряда почти инкогда не бываютъ голеты и румяны; по большей части этотъ народъ больной и всегда скучающій. Бромясь веюту, везть ница то счастья, то разэвния, они нигдь не находять ин того, ни другого съ той пауты, какъ оботыценія эмости оставляють ихь. Эти люди часто доходить до страети нь добрымь дьйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; по обда въ томъ, что они и въ добра хотятъ некать то сластья, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слѣдовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живуть въ обществъ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своей дъятельностью къ осуществленью идеала истяны и блага, - о няхъ безъ запинки можно сказать, что сустность и межное самолюбіе, заплушивъ въ нихъ добрые элементы, сдълали ихъ эгоистами. Но нашъ Онегинъ не припадлежить ни къ тому, ин къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгонстомъ но неволь; въ его эгоизм в должно видъть то, что древние называли «fatum». Благая, благотворная, полезная дъягельность! Зачьмъ не предался ей Онегинь? Зачемь не искаль онь въ ней

своего удовлетворенія? Зачімь? зачімь?— Затімь, милостивые государи, что пустымь людимь-легче-спрашивать, нежели дільнымъ отвічать...

Одинь среди своихъ владвий, дгобъ только время проводить Сперва задумать нашъ Евгеній. Порядокъ новый учредить. Въ своей глунии мудрецъ пустынной, Яремь опъ баранны старинной Оброкомъ дегкимъ замвиклъ; Мужнить судьбу олагословиль, Заго въ углу своемъ надулся, Увидя въ этомъ странивий вредъ, Его разечетливый с съдъ Другой лукаво ультонулся, И въ голосъ всю рашили тага, Что онъ опасныйній чудакт. Спачала вев къ нему ъзжали; Но такъ какъ съ задияго крыльца обыклонение подавати Ему донского жеребца, Лишь только вдоль большой дороги Заснышить ихъ домашии дроги: Наступкомъ оскороясь такимъ, Вев дружбу прекратили сь нимъ. "Сосъдъ нашъ пеучъ, сумасородитъ, "Онъ фармазонъ; онъ пьетъ одно "Станан мъ красное вино; "Онъ дамамъ иъ ручив не подходить; "Вес да да иют. не скажеть да-съ

"Иль июто-съ". Таковъ быль общій глась. Что-инбудь дълать можно только въ обществъ, на основании общественныхъ потребностей, указываемыхъ самой дёйствительностью, а не теоріей; но что бы сталь ділать Онвгинъ въ сообществъ съ такими прекрасными сосвдими, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика; но со стороны Ольгина туть еще немного было едълано. Есть люди, которымъ если удастея что-нибудь сдёдать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказывають объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цёлую жизнь. Онегинь былъ не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ — для него было не Богь знаетъ чъмъ.

Случай свель Опргина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онвгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой послъ перваго визита, Опъгинъ зѣваеть; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемь, что опъ Татьяну принялъ за невъсту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошнокъ, удивляется его выбору, говоря, что если бъ онъ самъ былъ поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человъку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобъ понять разницу между объими сестрами, - тогда какъ нламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсёмъ не идеальное и поэтпческое созданіе, а просто хорошенькая и простеньжия дівочка, которая совсімь не стоила того, чтобъ за нее рисковать убить пріятеля или самому быть убитымъ. Между тъмъ какъ Онъгинъ зъвалъ — «по привычкъ», говоря его собственнымъ выражениемъ, и нисколько не ваботясь о семейства Лариныхъ, — въ этомъ семействъ его прівздъ завязаль страніную внутреннюю драму. Большинство нублики было крайне удивлено, какъ Онъгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее, - и сще болбе, какъ тотъ же самый Онвгинъ, который такъ колодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной дівушки, потомъ страстно влюбился въвеликольничю свытекую даму? Въ самомъ діль, есть чему удивляться. Не беремен рышить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фикт в возможмость неихологическаго вопроса, мы темъ не менъе писколько не находимъ удивител нымъ. самаго факта. Во-первыхъ, вопросъ почему влюбился или почему не влюбился, или почему въ то гремя не влюбился, - такей вопрось мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имбетъ свои законыправда; по не такіе, изъ которыхъ легко было бы составить полный систематическій колексъ. Сродство натуръ, правственная симнатія, еходство понятій могуть и доле должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементь чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправдание нъсколько тривіальней, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше яснаго сокола», -- кто отвергаеть это, тоть не поннмаеть любви. Если бъ выборъ въ любви рѣшался только волей и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ пъсколькихъ равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этстъ основывается на невольноми влечении сердца. Но бываетъ и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ дли другого, остаются равнодушны другь къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себъ не подъ-пару. Поэтому Онъгинъ имълъ полное право, безъ всякаго опасенія поднасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дьвушки и полюбить Татьяну-женіцину. Въ томъ и другомъ случав онъ поступилъ равно ни правственно, ни безправственно. Этого вполив достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-чт). Онъгинъ былъ такъ умень, тонокъ и опытень, такъ хорошо понималь людей и ихъ сердце, что не могь не понять изъ письма Татьяны, что эта бъдная

дърушка одарена страстивить сердцеми, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дътски простодущиа, и что она нисколько не нохожа на тъхъ кокетокъ, которыя такъ надоблиему съ ихъ чувствами то легкими, то поддъльными. Онъ бългь живо тронутъ ине-момъ ея:

Языкъ дъвическихъ мечтаній Въ немъ думы роемъ возмутиль; И всномнилъ онъ Татьяны милой И блъдный цвътъ и видъ уны той; И въ сладостный безгръшный сонъ Душою погрузился онъ. Выть можеть, чувствін пылъ стар чной Имъ на минуту овладъль; Но обмануть онъ не хотъль Довърчность души неричи т.

Въ письмъ своемъ къ Татьянъ (въ VIII главъ) онь говорить, что, замъги въ нен искру нъжности, онъ не хотълъ ей повърить (т. е. заставилъ себя не повърить), не далъ хода милой привычкь и не хотьль разстаться съ своей постылой свободой. Но если онъ оціння одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видилъ другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такой младенчески прекрасной любовью и увлечься ею до желаныя отвычать на нее-значило бы для Онфгина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него протпена. Поэтъ, выразнений въ Онъгинъ много своего собственнаго, такъ изъясняется на этотъ счетъ, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлоноты, печа и, Зъвоты хладная чреда Ему не свились пикогда, Межъ тъмъ какъ мы, врати Гимена, Въ домашней жизни зримь одниъ Рядъ утомительныхъ картинъ, Романъ во вкусъ Лафонгена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигь Татьяну, что даже и не подумаль о послёднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перегорввний въ страстяхъ, изведавний жизнь и людей, еще кипъвшій какими-то самому ему неясными стремленіями, -- онъ, котораго могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могно бы выдержать его собственную пронію, - онъ увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь такъ, какъ онъ уже не могь смотрьть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нащель онъ потомъ въ Татьянъ? Или прихотливое дитя. которое плакало бы оттого, что онъ не можеть, подобно ей, дітски смотріть на жиснь и дітски пграть въ любовь,—а это, согла-ентесь, очень скучно; или существо, которос, увлекиннеь его превоеходствомъ, до того подчинилось бы ему, не нонимая его, что не имъло бы ни своего чувства, ин своего смысла, ин своей воли, ин своего характера. Посліднее спокойніте, но зато еще скучніте. И это ли пораїя и блаженство любви!.

Разлученный съ Татияной смертью Ленскаго. Опътинъ лишилем всего, что хотя сполько-инбудь связывало его съ людьми.

У(игъ на поедальсь вруга. Домить (сав пыли, безь трудовь, Домиалияти-шести головь. Темлев из 6 адвисиви десуга, Безь слупбы, бель жевы, безь двив, имъ овлада то бесп и безве, Охота къ перемънъ мъстъ (Бесьма мучительное сгейство, Немвогихъ добровольными крестъ).

Между прочимъ былъ онъ и на Кавказъ и смотрълъ на блъдный ров тъней, толинвшійся около пълебныхъ струй Машука:

Питая герьки размышленья, Среди печальной ихъ семьи, Овъгниъ ваоромъ сожа сънья Глядъль на дымныя струи И мыслиять, грустью отуманенъ: "Вачъмъ и пулей въ грудь не раненъ! Зачъмъ не хылый я старикъ, Какъ этотъ бъдный откупцикъ? Зачъмъ, какъ тульскій засъдатель, Я не лежу въ нараличъ? Зачъмъ не чувствую въ плечъ Хоть ремативма? Ахъ, Создатель! Я молодъ, жизнь во мнъ крънка. Чего мпъ ждать! тоска, тоска!...

Какая жизнь! Воть опо, то сграданіе, о которямъ такъ много пишутъ и въ стихахъ, и въ прозв, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ дълв знають его; воть оно, страдание истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ драпировки, безъ фразъ, -- страданіе, которое часто не отнемаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тъмъ ужаснье!.. Спать ночью, въвать днемъ, видыть, что всю изъ чего-то хлопочутъ, чъмъ-то заняты, одинъ-деньгами, другой — женитьбой, третій — бользнью, четвертый-нуждой и кровавымъ потомъ работы,видьть вокругь себя и веселье, и печаль, и смёхъ, и слезы, видёть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Въчному Жиду, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаеть о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствъ: это страданіе не всъмъ понятное, не оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное

страданіе модной причудой. И чёмъ естествениве, проще сграданіе Опвгина, чвив дальше оно отъ всякой эффектности, тъмъ оно менће могло быть понято и оцънено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лътъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, пичего не едьлавь, дойти до такого безусловнаго отриданія, не перейдя ни черезъ какія убъжденія: это смерть! Но Онъгнну не суждено было умереть, не отвъдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не вамедлила возбудить дремавшія въ тоскі силы его дука. Встративъ Татьяну на бала въ Петербурга, Онъгинъ едва могъ узнать ее, такъ перемънилась она! Мужъ Татьяны, такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

... И всъхъ выше И носта и илечи поднималъ Вошедийй съ нею генералъ.—

мужъ Татьяны представляеть ей Онѣгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мнѣнію, должна повиснуть на шеѣ у Онѣгана. Но какое разочарованіе для нихъ!

Киягиня смотрить на него... И что ей душу ни смутило, Какъ сильно ни была ова Удивлена, поражева, Но ей ничто не измънило: Въ ней сохранился тотъ же тонъ; Быль такъ же тихъ ся поклонъ. Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась, Иль стала вдругь блъдна, красна... У ней и бровь не шевельнулась, Не сжала даже губъ она. Хоть онъ глядълъ пельзя прилеживи, Но и слъдовъ Татьяны прежней Не могь Онвгинъ обръсти. Съ ней ръчь хотълъ онъ завести И-и не могъ. Она спросила, Давно ль онъ здёсь, откуда онъ, И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ? Потомъ къ супругу обратила Усталый взглядъ; скользпула вонъ... И недвижимъ остался онъ. Ужель та самая Татьяна, Которой онъ наединъ, Въ началъ нашего романа. Въ глухой, далекой стороиъ, Въ благомъ пылу нравоученья, Читалъ когда-то наставленья, Та, отъ которой онъ хранитъ Письмо, гдв сердце говорить, Гдъ все наружу, все на волъ. Та дъвочка... иль это сонъ?.. Та дівочка, которой онъ Препебрегаль въ смирениой долъ, Ужели съ нимъ сейчасъ была Такъ равнодушна, такъ смъла?

Что съ инмъ? въкакомъонъстранномъснъ? Что шевельнулось въ глубинъ Души холодной и лѣпивой? Досада? суетность? иль вновь Забота юности- любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-и деалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самын высокін страсти примъсь мелкихъ чувствъ, и потому цумаемъ, что до са да и с у етно стъ имъли свою долю въ страсти Онъгина. Но мы ръшительно несогласны съ этимъ мнъніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толиъ, благо принлось ей по илечу:

О, люди, всё похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечетъ; Васъ неперестанно змій зоветъ Къ себё, къ таниственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай. А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемь о достоинствъ человъческой натуры, и убъждены, что человъкъ родится не на зло, а ка добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человъкъ, но въ обществъ; такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслѣ формы человъческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ никъ только и видишь много преступленій. Эт. ть же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; ночему у каждаго народа и каждаго въка свои понятія о нрабственности, законномъ и преступномъ. Человъчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всь люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собой въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, ваконномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругь земли, а земля вокругь солица обращается, и во множествъ математическихъ аксіомъ. До тіхъ же поръ преступленіе будеть только по наружности преступленіе, а внутренно, существенно-непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видъли въ своихъ дътяхъ своихъ рабовъ и считын себя въ правѣ насиловать ихъ чувства и склонности самын священныя. Теперь, если дъвушка, чувствуя отвращение къ господину благонамъренной наружности, за котораго ее хотять насильно выдать, и любя страстно человъка, съ которымъ ее насильно разлучають, последуеть влеченю своего сердца и будетъ любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ или въ чей чинъ влюблены ея дражайшіе родители: неужели

она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости вившнихъ условій, какъ сердце, и начто такъ не требуеть безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви,-что оно такое, если оно согласовано съ внѣшними условіями?-Пѣсня соловья или жаворонка въ золотой клёткв. Что та кое блаженство любви, признающей тольке власть и прихоть сердца?-Торжественная прсне соловья на закать солнца, въ таинственной съни склонившихся надъ ръком ивъ; вольная пъснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствъ бытія, то мчится вверхъ страной, то падаеть съ неба, то. трепеша крыльями, не двигаясь съ мъста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эопръ... Птица любить волю; страсть есть поэзія и цвъть жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца бе будетъ воли?

Письмо Онъгина къ Татьянъ горить страстью; въ немъ уже пъть пронін, нъть свътской умъренности, свътской маски. Онъгинъ знаеть, что онъ, можеть быть, подаеть поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смешнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты,-и въ такомъ случав, конечно, роль Онъгина была бы очень смъшна и жалка. Но въ свътъ наружность никогда и ни въ чемъ не убъждаеть: тамъ всё слишкомъ хорошо владеють искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онъгинъ могь не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собой, и свътъ научиль ее только пскусству владьть собой и серьезнъе смотръть на жизнь. Благодатная натура не гибнеть оть свъта, вопреки мньнію мыщанскихь философовь; для гибели души и сердца и малый свъть представляеть точно столько же средствъ, сколько и большой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свъть должна была казаться Оньгину Татьяна, уже не мечтательная дівушка, повітрявшая луні н звездамъ свои задушевныя мысли и разгадывавшая сны по книгъ Мартына Задеки, но женіцина, которая знаеть ціну всему, что дано ей, которая много потребуеть, не много и дасть. Ореолъ свётскости не могь не возвысить ее въ глазахъ Онбгина: въ свете, какъ и везде, люди бывають двухъ родовъ-одни привязываются къ формамъ и въ ихъ исполнении видятъ назначение жизни, -- это чернь; другіе отъ світа занмствують знаніе людей и жизни, такть дійствительности и способность вполив вдадеть всэмь, что дано имъ природой. Татьяна

принадлежала къ числу последнихъ, и значеніе свытской дамы только возвышало ла значение, какъ женщины. При томъ же въ глазахъ Онъгина любовь безъ борьбы не имъла никакой прелести, а Татьяна не объшала ему легкой побъды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побъду, безъ расчета, со всёмъ безумствомъ искренней страсти, которан такъ и дышитъ въ каждомъ словъ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатльнія. Посль ніскольких посланій, встрътившись съ ней, Онъгинъ не замътилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лиць-на немъ отражался лишь слъдъ гнъва... Онъгинъ на цълую зиму заперся дома и принялся читать:

И что жъ? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желанія, печали Тъснились въ душу глубоко. Онъ межь печатными строками Читаль духовными глазами Другія строки. Въ нихъ-то онъ Былъ совершенно углубленъ. То были тайныя преданья Сердечной, темной старины, Ни съ чвиъ пе связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздоръ живой, Иль письма дъвы молодой. И постепенно въ усыпленье И чувствъ, и думъ впадаетъ онъ, А передъ нимъ воображенье Свой пестрый мечеть фараонъ. То видить онъ: на таломъ снъгъ, Какъ будто спящій на ночлегъ, Недвижимъ юноша лежитъ. И слышить голось: что жь? убить! То видить онъ враговъ забвенныхъ, Клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измънницъ молодыхъ, И кругъ товарищей презрънныхъ; То сельскій домъ-и у окна Сидить она... и все она!...

Мы не будемъ распространяться теперь о сценъ свиданія и объясненія Онъгина съ Татьяной, потому что главная роль въ этой сценъ принадлежитъ Татьянъ, о которой намъ еще предстоить много говорить. Романъ оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онъгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдв же романь? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца? — Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ пътъ конца, потому что въ самой действительности бывають событія безь развязки, существованія безь цёли, существа неопредёленныя, инкому непонятныя, даже самимъ себъ, словомъто, что по-французски называется les êtres manqués, lés existences avortées. Il эти существа часто бывають одарены большими нравственными преимуществами, большими луховными силами; объщають много, испол-

няють мало или ничего не исполняють. Это зависить не оть нихь самихь; туть есть fatum, заключающийся въ дъйствительности, которой окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во зласти человъка освободиться. Другой поэтъ представиль намъ другого Онъгнна подъ именемъ Печорина; Пушкинскій Онъгниъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зъвоть; Лермонтовскій Печоринъ бъется на смерть съ жизнью и насильно хочеть у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ—разница, а результать одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь и дъятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталось съ Онъгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болъе сообразнаго съ человъческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всъ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую холодную апатію? — Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотъть больше ничего знать...

Онегнив — характеръ действительный вътомь смысле, что въ немь неть ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только гъдействительности и черезъ действительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно противоположный характеръ совершенно противоположный характеру Онегина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Тогда это было совершенно новое явлене, и люди такого рода тогда действительно начали появляться въ русскомъ обществъ.

Съ душою прямо геттицгенской, прасавець въ полномъ цвътъ лътъ, Поклонникъ Канта и поэтъ, Онъ изъ Германіи туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Пухъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженвая ръчь И кудри черныя до плечъ.

Онъ пъль любовь, любов послушный, И пъснь его была ясна, Какъ мысли дъвы простодушной, Какъ сонъ младенца, какъ луна Въ пустыняхъ пеба безмятежныхъ, Богиня тайпъ- ц вядоховъ пъжныхъ. Онъ пъль разлуку и печаль, И нючло и пуманну даль, И нючло в пъль тъ дальны страны, Глъ долго въ лонъ тишины Лились его живыя слезы; Онъ пълъ поблеклый жизни цептъ Безъ малаго съ восьмиадцать лютъ.

Ленскій быль романтикъ и по натурѣ, и по духу времени. Нѣтъ нужды говорить, что

то было существо доступное всему прекрас**гому**, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время «онъ сердцемъ милый былъ невѣжда», вѣчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ен. Дъйствительность на него не имъла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазін. Онъ полюбилъ Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужъ, она едклалась бы-вторымъ неправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти-и за поэта, товарища ен дътскихъ игръ, и за довольнаго собой и своей лошадью улана? - Ленскій украсиль ее достоинствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое-Ольга была очаровательна, какъ и већ «барышни», пока онъ еще не едълались «барынями»; а Ленскій видъль въ ней фею, сильфилу, романтическую мечту, ни мало не подозрѣвая будущей барыни. Онъ написалъ «надгробный мадригалъ» старику Ларину, въ которомъ, вфрный себь, безъ всякой иронін, ум'яль найти поэтическую сторону. Въ простомъ желанін Опѣгина подшутить надъ нимъ онъ увиделъ и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранъе воспетая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онтгина, который, какъ говоритъ поэтъ,

Быль должень оказать себя Не мячикомь предразсужденій, Не пылкимь мальчикомь, бойцомь, Но мужемь сь честью и умомь,—

но тпранія и деспотизмъ свётскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собой героевъ. Подробности дуэли Опѣгина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакалъ его паден.е

Друзья мон, вамъ жаль поэта: Во цвътъ радостныхъ надеждъ, Ихъ пе свершивъ еще для свъта, Чуть изъ младенческихъ одеждъ, Увялъ! Гдв жаркое волненье, Гдъ благородное стремленье И чувствъ, и мыслей молодыхъ, Высокихъ, ивжныхъ, удалыхъ? Гдъ бурныя любви желанья И жажда знаній и труда, И страхъ порока и стыда, И вы, завътныя мечтанья, Вы, призракъ жизни неземной, Вы, сны поэзіп святой! Быть можеть, онъ для блага міра Иль хоть для славы быль рождень; Его умолкнувшая лира Гремучій, пепрерывный звонъ Въ въкахъ поднять могла. Поэта, Быть можеть, на ступеняхъ свъта, Ждала высокая ступень

Его страдальческая тын, Выть можеть, унесла съ с опо Святую тайну, и для насъ II ибъ животворящій гласъ, Г. за могильною чертою съ ней не домчится пимиъ пременъ Благословенія племенъ. А можетъ быть и то: поэта Обыкновенный ждаль удъль. Прошли бы юношества лѣта: Вь немъ пыль души бы охладълъ; Во многомъ опъ бы измънился, Разстался бъ съ музами, женился: Въ деревив, счастливъ и бототъ, Носиль бы стеганный халагь, Узналь бы жизнь на самомъ деле, Подагру бъ въ сорокъ лътъ имълъ, Пиль, вль, скучаль, толствль, хирвль И, наконецъ, въ своей постели Скончался бъ постеди дътей, Плаксивыхъ бабъ и лъкарей.

Мы убъждены, что съ Ленскимъ сбылоск бы непремьнно послыднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ быль молодъ и во-время для своей репутаціп умеръ. Это не была одна изъ трхъ натуръ, для которыхъ жить-значить развиваться и итти впередъ. Это, повторяемъ, быдъ романтикъ, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ делать, кроме какъ распространить на цёлую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфъ. Люди, подобные Ленскому, при всёхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тъмъ, что они или исрерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранять навсегда свой первоначальный типъ, дълаются этими устарълыми мистиками и мечтателями, которые такъ же непріятны, какъ и старыя идеальныя дівы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копаясь въ самихъ себъ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрять на все, что дёлается въ мірѣ, и твердять о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душой въ надзвъздную сторону мечтаній и не думать о сустахъ этой земли, гдъ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего. что такъ обаятельно прекрасно быто въ Ленскомъ; въ нихъ нътъ дъвственной чистоты его сердца, въ никъ только претензи на великость и отрасть марать бумагу. Вся сни поэты, и стихотворный балласть нь журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, савые пустые н пошлые люди.

Татьяна... но мы поговернить о ней въ следующей статью.

TX.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ нервый, въ своемъ романъ, поэтически весиро-

тэж сит увл чин сла По

CK

011

t mit

ль русское общество того времени, и въ з Онъгина и Ленскаго показалъ его глав-. т. е. мужскую, сторону; но едва ли не ге подвигъ нашего поэта въ томъ, что первый поэтически воспроизвель, въ ли-Татьяны, русскую женщину. Мужчина во хъ состояніяхъ, во всехъ слояхъ русскаго цества играеть первую роль; но мы не жемъ, чтобъ женщина играла у насъ втоэ и низшую роль, потому что она ровно какой роли не играетъ. Исключение остаеттолько за высшимъ кругомъ, по крайней ов до извъстной стецени. Давно бы пора іъ сознаться, что, несмотря на нашу расть во всемъ копировать европейские ман, несмотря на наши балы съ танцами, змотря на отчаяние славянолюбовъ, что г совсемъ переродились въ немцевъ,--смотря на все это, пора намъ, наконецъ, пзнаться, что еще и до сихъ поръ мыохіе рыцари, что наше вниманіе къ женинъ, паша готовность жить и умереть для я до сихъ поръ какъ-то театральны и отлваются молной свытской фразой, и при имъ еще не собственнаго нашего изобрънія, а заимствованной. Чего добраго! теерь и «поштенное» купечество съ бородой, гь которой попахиваеть «маненько» канугой и лучкомъ, даже и оно, идя по улиць ь «хозяйкой», ведеть ее подъ руку, а не олкаеть въ спину кольномъ, указывая досту и заказыван зівать по сторонамъ; но ома... Однако зачемъ говорить, что бываетъ ома? зачымь выносить соръ изъ избы?.. Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, криимъ мы и въ стихахъ, и въ прозъ: «женцина-царица общества; ея очарователь. нымъ присутствіемъ укращается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свътскаго): вездъ мужчины — сами по себь, женщины — сами по себъ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами, какъ будто жертвуетъ собой изъ въжливости; потомъ встаетъ и съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжкой работы, идеть въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно вздохнуть и освъжиться. Въ Европъ женщина — дъйствительно царица общества: весель и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говорить, чемъ съ другими. У насъ наоборотъ: у насъ женщина ждеть, какъ милости, чтобъ мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ замънено жеманствомъ, если у насъ всъ любять поэзію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ

говорить съ ней много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее или даже и огласять ея женихомъ? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть въ бъду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будеть діваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмъщекъ друзей вашихъ, отъ напвныхъ и добродущныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ когда заключать, что вы хотите жениться не ней: если ея родители не будуть видьть вт васъ выгодной партіи для своей дочери, онг откажуть вамь оть дома и строго запретята дочери быть любезной съ вами въ другихт домахъ; если они увидятъ въ васъ выгоднур партію, нован біда, страшніе прежней: раскинуть съти, ловушки, и вы, пожалуй, увилите себя сочетавшимся законнымъ браком? прежде, нежели успъете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилое: все это? Если же вы человъкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете «нетерію», которую долго будете помнить. Отчего все это происходить?-Отгого, что у наст. не понимаютъ и не хотятъ понимать, что та кое женщина, не чувствують въ ней никако: потребности, не желають и не ищуть ез словомъ, оттого, что у насъ нътъ женщинь У насъ «прекрасный полъ» существует только въ романахъ, повъстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дъйствительности опъ раздвляется на четыре разряда: на дввочекъ на невъстъ, на замужнихъ женщинъ и, на конецъ, старыхъ дъвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дътьми, никто не интересуется: последнихъ всё боятся и ненавидять (и часто по-дівломъ); слівдовательно, нашъ прекрасный поль состоить изъ двухъ отделовъ: изъ лъвицъ, которыя должны выйти замужъ, и изъ женщинъ, которыя уже замужемъ. Русская дівушка—не женщина въ европейскомъ смыслъ этого слова, не человъкъ: она не что другое, какъ невѣста. Еще ребенкомъ опа называеть своими женихами всъхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ демъ, и часто объщаеть выйти замужь за своего напашу или за своего братца; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры й братья, и мамки и няньки, и весь окружаю щій ее людь, что она-невъста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лёть, и мать, упрекая ее въ лености, въ неумѣпіи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говорить ей: «не стыдно ли вамъ, сударыня: вѣдь вы уже невѣста!» Удивительно ли послъ этого, что она не умъеть, не можеть смотрыть на себя какъ на жанственное существо. какъ на человъка, н

дости, иногда даже и до глубокой старости вев думы, вев мечты, вев стремленія, вев молитвы ея сосредоточены на одной idée fixe: на замужествь, — что выйти замужь—ея единственное, страстное желаніе, цъль и смыслъ ен существованія, что вив этого она ничего не понимаеть, ни о чемъ не думаеть, ничего не желаеть, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотритъ опять не какъ на человъка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ? — Съ восемнащати лътъ она начинаетъ уже чувствовать, то она-не дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастіе своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться говаръ, лишняя мебель, которая, того и гляди, знадеть съ цёны и не сойдеть съ рукъ. Что же остается ей дёлать, если не сосредоточить всыхъ своихъ способностей на искусствъ довить жениховъ? И тъмъ болье, что голько въ одномъ этомъ отношении и развиваются ея способности, благодаря урокамъ здражайшихъ родителей», милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаеть и бранить свою дочь попечительная маменька?-За то, что она не умъетъ довко держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могуть быть для нея выгодной партіей. Чему она больше сего учить ее? -- кокетиичать по расчету, впритворяться ангеломъ, прятать подъ мягкой, лосиящейся шерсткой кошачы лапки, кошачы когти. И какова бы ни была по своей натуръ быдная дочь, -- она невольно входить въ роль, которую дала ей жизнь и въ таниство которой ее такь прилежно, такъ основательно посвящають. Дома ходить на неряхой, съ непричесанной головой, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платышкъ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревив въдь кто же насъ увидитъ, мромь двория, -а для нея стоить ли ридиться? пли нь вдоль дороги завидьлся экипажь, объщающій неожиданныхъ гостей, — наша невыта подымаеть руки и долго держить ихъ надъ головой, крича впопыхахъ: «госги Вдуть, гости вдуть!» Огь этого руки изъ красныхь дёлаются бёлыми: «затёя сельской остроты!» Затымь весь домь вь смятенін: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное былье надывають шерстяныя или шелковыя платья, пять лёгь назадь тому сшитыя. О чистоть былья заботигься смълно: въдь бълье подъ платьемъ, и его никто не видить, а рядиться-извъстное дьло-надо для другихъ, а не для себя. Но воть, рано или поздно, наконецъ, тайныя отремленія и жаркіе об'єты готовы свершить-

ся: кандидать-невъста-уже дъйствительная невъста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имбетъ на нее виды. И ей кажется, что она дъйствительно влюблена въ него. Бользиенное стремление къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердив, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракь. При томъ же, когда дело къ спеху и торопятъ, то поневолъ влюбитесь сразу, не имъя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но «дражайшіе родители» учили свою дочь только некусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянию замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдёлать ее способной къ выполнению этой обязанности, — они не подумали. И хооппо стълали: нътъ ничего безполезнъе и даше вреднее, какъ наставления, хотя бы и самыя лучшія, если опи не подкрыпляются прамврами, не оправдываются въ глазахъ ученика всей совокупностью окружающей его дъйствительности. «Я вамъ примъръ, сударыня! - безпрестанно повторяеть дикаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь преспокойно конпрусть свою мать, го товя въ своен особъ свъту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ея мужъчеловъкъ богатый, онъ будеть доволенъ своей женой: домъ у нихъ какъ полная чаща, всего много, хотя все безвкусно, нельпо, грязно, пыльно, въ безпорядкъ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ дом' подымается возня, делается вавилонское столпотворение въ лицахъ); дворня огромная, слугь бездна, а не у кого допроситься стакана воды, не кому подать вамъ чашку чаю... А недавняя невъста, теперь молодая дама?-О, она живегь въ «полномъ удовольствін!» она, наконецъ, достигла цыли свой жизни, — она уже не спрота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домъ: она хозяйка у себя дома, сама себъ госножа, пользуется полной свободой, вздить, куда и когда хочеть, принамаеть у себи, кого ей угодно: ей уже не нужно болже притворяться то невинной овечкой, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелввать, мучить мужа, дътей, слугь. У ней бездна затъй: карета-не карета, шаль-не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живеть барыней-аристократкой, никому не уступаеть, но всъхъ превосходить, и мужь ея едва успъваеть закладывать и перезакладывать имъніе... Дитя новаго покольнія, она убрала по в зможности пышно, хотя и безвичено, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаеть въ нихъ

даже вавую-го полу-чистегу, нолу-спрагвость: вёдь это вемнагы для гестей, вемнагы парадныя, ксмнаты на-показъ; полное торжество грязи можеть быть тольно въ спальвей и дътской, въ кабинетъ мужа, — словсмь, во внутреннихъ комнатахъ, кула гости не холять. А у ней безпрестанно гости, возлъ нея безарестанно вружскъ; но она плъняеть гостей своихь не свытскимъ умомъ, не граціей своихь манерь, не очарованіемь своего увлекательваго разговора, -- въгъ, ови полья старается псказать вмь, что у нен всего много, что она богата, что у ней все лучше-и убранство комнать, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто нибудь, что такихъ, какъ она, не много... Содержаніе разговоровъ составляють сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богъ благословилъ ея замуже тзо-что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будеть воспитывать дътей своихъ?-Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своей маменькой: пока малы, они прозябають въ детской, среди мамокъ и нянекъ, среди горинчныхъ, на лонъ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила правственности, развить въ нихъ благо родные инстинкты, объяснить имъ различіе домового отъ лешаго, ведьмы отъ русалки. растолковать разныя примѣты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснъя, пріучить безпрестанно ъсть, никогда не навдаясь. И милыя дъти очень довольны сферой, въ которой живуть: у нихъ есть фавориты между прислугой, н есть нелюбимые; они живуть дружно съ первыми, ругають и колотять посліднихь. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дълай что хочеть съ мальчиками, а девочекъ поучатъ прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-франпузски-и воспитание кончено; тогда имъ одна наука, одна забота-ловить жениховъ.

Но если наша невъста выйдеть за челоловъка небогатаго, котя и не бъднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умѣнія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревиъ никогда ничего не дълала (потому что барышня въдь не холопка какая-нибудь, чтобъ стала что-нибудь ділать), ничімь не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домв, -- этого она пигдв не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ-значить сдёлаться барыней; стать хозяйкой — значить повелёвать всёми въ домё и быть полной госпожей своихъ поступковъ. Ея дело-не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имжете вы право требовать отъ нея, чтобъ она была не твиъ, чвиъ сами же вы ее сдълали? Можете ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невъсту и жену, и ничего болье? Развъ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этой гармоніей женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которыя такъ кротко, успоконтельно и обаятельно действують на жестокую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь имать друга въ женщинъ, въ которую вы совсъмъ не влюблены, сестру-въженщинъвамъ посторонней?-Нётъ, если вы входите въ женскій кругь, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиной, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами-ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческій: она для васъ-капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ; если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, иннька, много, много, если одалиска.

Конечно, изъ всего этого бывають исключенія; но общество состоить изъ общихъ правиль, а не изъ неключеній, которыя всего чаще бывають бользиенными наростами на тыть общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждають собой наши такъ-называемыя «идеальныя дівы». Оні обыкновенно страстныя любительницы чтенія, и читають много и скоро, Едять книги. Но какъ и что читаютъ онъ, Боже великій!... Всего достолюбезнее въ идеальныхъ девахъ увъренность ихъ, что онъ понимають то, что читають, и что чтеніе приносить имъ большую пользу. Всв онв обожательницы Пушкина, - что однако жъ не мъщаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту Бенедиктова; иныя пзъ нихъ съ удовольствіемъ читають даже Гоголя, что однако жъ нисколько не мъщаеть имъ восхищаться повъстями Марлинскаго и Полевого. Все, что въ холу, о чемъ пишутъ и говорять въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онъ видятъ свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, т. е. идеальность, - видять ее даже и тамъ, гдъ ен вовсе нътъ или гдъ она осмѣивается. У всѣхъ у нихъ есть завътныя тетрадки, куда онъ списываютъ стишки, которые имъ понравятся, мысли, жоторыя поразять ихъ въ книгв. Онв дюбятъ гулять при лунь, смотрьть на звызды, слыдить за теченіемъ ручейка. Онъ очень наклонны къ дружбъ, и каждая ведетъ дъятельную переписку съ своей прінтельницей, которан живеть съ ней въ одной деревнъ, а иногда и въ одномъ домѣ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискъ (огромными тетрадищами) сообщають онв другь другу свои чувства, мысли, впечатлёнія. Сверхъ того каждая изъ нихъ ведеть своей дневныкъ, весь наполненный «выписными чувствами», въ которыхъ (какъ во встхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужеска и женска пола) нътъ ничего живого, истиниаго, только претензіи и идеальничанье. Онъ презирають толпу и землю, питаютъ непримирнмую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанья вовсе отрышиться отъ матеріи. Для этого онъ морять себя голодомъ, не тдять иногда по целой неделе, жгутъ на свъчкъ пальцы, кладутъ себъ на грудь подъ платье снѣгу, пьють уксусъ п чернила, отучають себя оть сна,-и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того усивнають разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ однуживую и самую матеріальную болячку... Въдь крайности сходятся! Вст простыя человическія и особенно женскія чувства, какъ, напр., страстность, способная къ увлеченію чувствъ, дюбовь материнская, склонность къ мужчинъ, въ которомъ нътъ ничего необыкновеннаго, геніальнаго, который не гонимъ несчастіємъ, не страдаетъ, не боленъ, не бъленъ, -- всъ такія простыя чувства кажутся вмь пошлыми, ничтожными, смѣшными и презрънными. Особенно интересны понятія «идеальныхъ дѣвъ» о любви. Всѣ онѣжрицы любви, думають, мечтають, говорять и пишутъ только о любви. Но онт признаютъ только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанація любви въ ихъ глазахъ; счастьеопошленіе любви. Имъ непремѣнно надо любить въ разлукъ, и ихъ высочайшее блаженство — мечтать при лунъ о предметь своей любви и думать: «можеть быть, въ эту минуту и оно смотрить на луну и мечтаеть обо мив; такъ для любен нётъ разлуки!» Жалкія рыбы съ холодной кровью, идеальныя дівы считають себя птицами; плавая въ мутной водъ искусственной нервической экзальтаціп, онѣ думають, что парять въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», онъ любять только себя; онв и не подозрѣваютъ, что только тышать свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантавіи, думая быть жрицами

любви и самоотверженія. Мпогія изъ пихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругь изменяють свои убъжденія, и изъ идеальныхъ дѣвъ скоро дълаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способностяхъ ебманывать себя призраками фантазіп доходить до того, что онв на всю жизнь остаются восторженными дъвственицами, и такимъ образомъ до семидесяти летъ сохраняютъ способность къ сентиментальной экзальтаціи, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женіцинъ рано или поздно образумливаются; но прежнее ихъ ложное направленіе навсегда ділается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурно-заліченной болізни, отравляеть ихъ спокойствіе и счастье. Ужасиве всвяв другихъ тв изъ идеальныхъ дъвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракъ съ предметомъ любви своей видятъ выспее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствін всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онъ создаютъ себъ пдеалъ брачнаго счастья, —и когда увидять невозможность осуществленія ихъ нельнаго идеала, то вымещають на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными девами всёхъ родовъ бывають по большей части девицы, которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмысто живыхъ существъ, изъ нихъ выходять нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная действительность въ самомъ дълъ очень пошла, и ими невольно овладъваетъ неотразимое убъждение, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой действительности. А между тъмъ самобытное, не на почвъ дъйствительности, не въ сферъ общества совершающееся развитіе всегда доводить до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двъ крайности: или быть пошлыми на общий манеръ, быть пошлыми какъ всѣ, или быть пошлыми оригинально. Онъ избираютъ вослъднее, но думають, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дълъ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечгательную пошлость. И что всего груствъе: между подобными несчастными созданіями бывають натуры, нелишенныя истичной потребности болже или менье человъчески-разумнаго существованія и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно-увѣчныхъ явленій парѣдка удаются пстинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платится за свою псключительность п дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры геніальныя, не подозрѣвающія сво-

ей геніальности, онв безжалостно убиваются безсо нательнымь обществомь, какъ очистительная жертва за его собственные гръхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы керотко знакомы съ почтет нымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъ—не то, тобъ ужъ очень глупъ, да и не звърь, а что-то въ родъ полипа, принадлежащаго въ дно и то же время двумъ царствамъ природь.—растигельному и живогному.

Онь быль простой и добрый баринь, И тамь, гдь прахь его лежить, Надгробный памятникь гласить: Смиренный гръшникъ Дмитрій Ларинъ, Господній рабъ и бригадиръ, Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ.

Этоть мирь, вкушаемый подъ камнемъ, быль продолжениемъ того же самаго мира, которымъ «добрый баринъ» наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Вывають на свъть такіе люди, въ жизни и счастіп которыхъ смерть не производить ровно никакой перемъны. Огецъ Татьяны принадлежаль къ числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни сравнительно съ своимъ супругомъ. До зъмужества она обожала Ричардсона, не потому, чтобъ прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины наслышалась. о Грандиссонъ. Помолвленная за Ларина, она втайнъ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вънцу, не спросившись ен совъта. Въ деревнь мужа она сперва терзалась и на лась, а потомъ привыкла къ своему пол нію п даже стала имъ довольна, особенно съ тъхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

> Она важайа по работамъ, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы, Ходила въ баню по субботамъ, Служанокъ била осердясь, Все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью Она въ альбомы нъжныхъ дъвъ, Звала Полиною Прасковью И говорила нарасиввъ; Корсеть носила очень узкій, II русскій H, какъ N французскій, Произносить умъла въ носъ. Но скоро все перевелось: Корсеть, альбомъ, княжну Полнну, Стишковъ чувствительныхъ тетрадь Она забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину И обновила, наконецъ, На ватъ шлафоръ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жвли чудесно, какъ живутъ на этомъ свъть ивлые милліоны людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостими

Подъ вечеръ иногда сходилась Сосъдей добрая семья, Нецеремонные друзья, И потужить, и позлословить, И посм'яться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумной О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ, Конечно, не блисталъ ни чувствомъ, Ни поэтическимъ отнемъ, Ни остротою, ни умомъ, Ни общежитія искусствомъ, Но разговоръ ихъ милыхъ женъ Еще былъ менъе ученъ.

И вотъ кругъ людей, среди которыхъ ро дилась и выросла Татьяна! Правда, туть были два существа, рѣзко отдѣлявшіеся отъ этого круга-сестра Татьяны, Ольга, и женихъ последней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частью по привычкъ, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, нистинктивное чувство говорило ей, что онилюди другого міра, что они не поймутъ ея. И дъйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣвалъ, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуръ и могла ему казаться скоръе странной и холодной, нежели поэтической Ольга еще менье Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга - существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно-и понятно по привычкѣ, и которое все зависьто отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утъщилась, вышла за улана и изъ граціозной и милой діввочки сделалась дюжинной барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измѣненіями, которыхъ требовало время. Но совствить не такъ легко определить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянъ нътъ этихъ бользненныхъ противорьчій, которыми страдають слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ будто вся изъ одного цъльнаго куска, безъ всякихъ придблокъ и примъсей. Вся жизнь ея проникнута той цельностью, тымь единствомь, которое въ мірь искусства составляеть высочайщее достоинство художественнаго произветель Страстно влюбленная, простан деревенская дъвушка, потомъ свътская дама, Татьяна во всъхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портреть ея въ дётствё, тактымастерски написанный поэтомъ, впоследстви является только развившимся, но не измынившимся.

Дика, печальна, молчалива, Какъ лапь лёсная боязлива, Она въ семъв свозй родной Казалась дёвочкой чужой. Она ласкаться пе умъла Къ отцу, пе къ матери своей; Дитя сама, въ толив двтей Играть и прыгать не хотвла, И часто цвлый день одна Сидвла молча у окна.

Задумчивость была ен подругой съ колыбельных дней, украшая однообразіе ен жизни; нальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дътскія шалости; ей быль скученъ и шумъ, и звонкій смъхъ дътскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балконт Предупреждать зари восходъ, Когда на блёдномъ небосклонт Звъздъ исчезаетъ хороводъ, И тихо край земли свътлъетъ, И, въстинкъ утра, вътеръ въетъ, И всходитъ постепенно день. Зимой, когда почная тънь Полміромъ долт обладаетъ, И долт въ праздной тишинт, При отуманенной лунъ, Востокъ лънный почиваетъ, Въ привычный часъ пробуждена Вставала при свъчахъ она!

Птакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія—чтенію романовъ, — и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяной и окружающимъ ее міромъ! Татьяна—это рѣдкій, прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разсѣлинѣ дикой скалы,

Незнаемый въ травъ глухой Ни мотыльками, ни ичелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгь, гораздо больше идуть къ Татьянъ. Какіе мотыльки, какія пчелы могли знать этотъ цветокъ или иленяться имъ? Разве безобразные слёпни, оводы и жуки, въ роде Пыхтина, Буянова, Пътушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можеть пленять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурой, и которыхъ такъ мало на свъть, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свъть. Этимъ последнимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенской свѣжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видёть кротость, послушливость и безотвётность въ отношени къ будущему мужу, -- качества, драгоцінныя для ихъ грубой животности, не говоря уже о расчетахъ на приданое, на родство и т. н. коящие же въ серединъ между этими двули разрядами людей всего менъе могли дънить Татьяну. Надобчо сказать, что всв это серединныя существа, занимающія місто между высшими натура-

ми и чернью человичества, эти таланты, служащие связью геніальности съ толпой, по большей части — все люди «идеальные», подъстать идеальнымъ дъвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думають о себь, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все дёло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита на счеть всёхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство; но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущения и вѣчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умъ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываеть дѣльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, -- это то, что въ нихъ нътъ страстей, за исключениемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ темъ, что они бездъятельно и безплодно погружены въ созерцание своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, по такъ же не холодныя, какъ и пе горячія, они дъйствительно обладають жалкой способностью вспыхивать на минуту отъ всего и ни отчего. Поэтому они только и толкують, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнъ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ нхъ сердце, не подозрѣвая, что все это дѣйствительно буря, но только не на морь, а въ стакань воды. И ньть людей, которые бы менье ихъ способны были оцьнить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человъка, глубоко чувствующаго, неподдъльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всѣ въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что во всякомъ случав она холодна, какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничемъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходитъ въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не даскается, ни съ къмъ не дружится. никого не любить, не чувствуеть потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное-не говорить ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ собственныхъ въ особенности?.. Если вы сосредоточены въ себъ и на вашемъ лицъ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, -мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкимп чувствами, тотчасъ объявять васъ существомъ колоднымъ, эгонстомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставять при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имьете наклонность пронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, котя бы то было изъ цёломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъни играть,

Повторяемъ: Татьяна — существо-исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бъдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастін взаимности, любовь такой женщины - роввое, свытлое пламя; въ противномъ случав, -- упорное пламя, которому сила воли, можеть быть, не позволить прорваться наружу, но которое тымъ разрушительные и жгучые, чымь больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тъмъ не менте страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполнъ пожертвовала бы собою дётямь, вся отдалась бы своимь материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвь, въ строгомь выпо и нін своихъ обязанностей нашла бы свое величайшее наслажденіе, свое верховное блаженство. И все эго безъ фразт, безъ разсужд ній, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ виншлимъ безстрастіемъ, съ этой наружной холодностью, которыя составляють достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личи сть, поемотримъ на тъ особенности, которыя составляють характеръ.

Создаеть человька природа, но развиваеть и образують его общество. Никакія обстоятельства жизни не спасуть и не защитять человъка отъ вліянія общества, нигдъ не скрыться, никуда не уйти ему отъ него. Самое успліе развиться самостоятельно, вит вліянія общества, сообщаеть человьку какую-то странность, придаеть ему что-то уродливое, въ чемъ опять видна печать общества же. Вотъ почему у насъ люди съ дарованіями и хорошими природными расположеніями часто бывають самыми несносными людычи, и воть почему у насъ только геніальность спасаеть человька отъ пошлости. По этому же самому у насъ такъ мало истинныхъ и такъ много книжныхъ, вычитанныхъ чувствъ, страстей и стремленій, словомъ, такъ мало истины и жизни въ чувствахъ, страстяхъ и стремленіяхъ и такъ много фразерства во всемъ этомъ. Повсюду распространяющееся чтеніе приносить намъ ведичайщую пользу: въ немъ наше спасеніе и участь нашей будущности; но въ немъ же, съ другой стороны, и много вреда, такъ же какъ и много пользы для настоящиго. Объяснимся. Наше общество, состоящее изъ образованныхь сословій, есть плодъ реформы. Оно помнитъ день своего рожденія, потому что оно существовало оффиціально прежде, нежели стало существо-

вать дійствительно; потому что, наконець, это общество долго составляль не духъ, а нокрой платья, не образованность, а привилегія. Оно началось такъ же, какъ и наша литература: коппрованіемъ иностранныхъ формъ безъ всякаго содержанія, своего или чужого, потому что отъ своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были въ состояни. Были у французовъ трагедін: давай и мы писать трагедін, н Сумароковъ въ одномъ лицъ своемъ совмъстилъ и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Былъ у французовъ знаменитый баснописецъ Лафонтенъ, и опить тотъ же Сумароковъ, по словамъ его современниковъ, своими притчами далеко обогналъ Лафонтена. Такимъ же точно образомъ въ самое короткое время обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Гораціями, Анакреонами, Гомерами, Виргиліями и т. п. Иностранныя произведенія всв наполнены были любовными чувствами, любовными приключеніями: и мы давай тымь же наполнять наши сочиненія. Но тамъ поэзія книги была отраженіемъ поэзіп жизип, любовь стихотворная была выраженіемъ любви, составлявшей жизнь и поэзію общества: у насъ любовь вошла только въ книгу, да въ ней и осталась. Это болве или менъе продолжается и теперь. Мы любимъ читать страстные стихи, романы, повъсти, и теперь подобное чтеніе не считается предосудительнымъ даже для дввушекъ. Иныя изъ нихъ даже сами кропають стишки, и иногда недурные. Игакъ, говорить о любви, читать и писать о ней у насъ любять многіе; но любить... Это дело другого рода! Оно, конечно, если съ позволенія родителей, если страсть можеть увънчаться законнымъ бракомъ, то почему же и не любить! Многіе не только не считают: этого излишнимь, но даже считають необходимымь, и, женясь на приданомъ, толкують о любви.. Но любить потому только, что сердце жаж; е ь любви, любить безъ надежды на бракь, вевмъ жертвовать увлекающему пламени страсти - помилуйге, какъ можно! въдь эго значигъ сдълать «исторію», произвести скандаль, стать сказкой общества, предметомъ оскорбительнаго вниманія, осужденія, презрівнія; сверхъ того приличіе, правила нравственности, общественная мораль.. А! такъ вы люди сколько осторожные и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачъмъ же вы противоръчите себъ своей охотою къ стихамъ и ромачамъ, стоей страстью то то поэзія, а то къ патетической дро между собою, жизнь; зачёмь огой: пусть пусть каждая зія снабжизнь дремлеть . OTE STO жаетъ ее занимател другое дѣло!..

Но худо то, что изъ этого другого дъла необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнью и поэзіей нътъ естественной, живой связи, тогда изъ ихъ враждебио отдёльнаго существованія образуется поддёльно-поэтическая и въ выстей степени бользненная, уродливая дыйствительность. Одна часть общества, върная своей родной апатіи, спокойно дремлеть въ грязи грубо-матеріальнаго существованія; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, изъ всёхъ силъ клопочеть устроять себъ поэтическое сущесті озаніе, сочетать поэзію съ жизнью. Это у нихъ дълается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзін въ обществы, они беруть ее изъ кингъ и по ней соображають свою жизнь. Поэзія говорить, что любовь есть душа жизни: итакъ, -- надо любить! Силлогизмъ въренъ, само сердце за него вивств съ умомъ! И воть нашъ идеальный юноша или наша идеальная дъва ищеть въ кого бы влюбиться. По долгомъ соображенін, въ какихъ глазахъ больше поэзін,—въ голубыхъ или черныхъ, предметъ, наконецъ, избранъ. Начинается комедія-и нешла потьха! въ этой комедін есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при луп'в, и отчанніе, и ревность, и блаженство, и объяснение, - все, кромъ истины чувства... Удивительно ли, что послъдній акть этой шутовской комедіи всегда оканчивается разочарованіемъ, и въ чемъ же?въ собственномъ своемъ чувствъ, въ своей способности любить?.. А между тъмъ подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила добраго, благороднаго и умнаго помъщика Манчекаго едъжаться рыцаремъ донъ-Кихотомъ, надъть бумажную кольчугу, взобраться на тощаго Россинанта и пустыться отыскивать по свъту- прекрасную Дульцинею, мимоходомъ сражаясь съ баранами и мельницами? Между покольніями отъ двидцатыхъ годовъ до настоящей минуты сколько было у насъ разных донъ-Кихот вы? У насъ были и есть донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убъжденій, славянофильства и еще Богь знаеть чего, всего не перечесты! Выше мы говорили объ идеальныхъ дъвахъ; а сколько можно сказать интереснаго объ идеальныхъ юношахъ! Но предметь такъ богатъ и неистощимъ, что лучше не касаться его, чтобъ совсемъ не потерять изъ виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избъгла горестной участи подпасть подъ разрядъ ндеальныхъ дъвъ, о хоторыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляеть собою колоссальное исключение въ міръ подобныхъ явленій,—и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ.

Татьяна возбуждаеть по смёхы, а живоез сочувствіе, но это не потому, чтобь онак вовсе не походила на «идеальныхь дёвь», а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собой все, что есть смёшного и пошлаго въ идеальности этогорода, и Татьяна осталась естественно простой въ самой искусственности и уродинвости формы, которую сообщила ей окружающая ее дъйствительность. Съ одной стороны—

Татьяна върпла преданьямъ, Простонародной старины, И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, И предсказаніямъ луны. Ее тревожили примъты: Таинственно ей всъ предметы: Провозглашали что-нибудь, Предчувствія тъснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бро-

Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединение грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ со страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уважениемъ къ глубокому творенію Мартына. Задеки возможно только въ русской женщинъ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жакдъ любви; ничто другое не говорило ея душъ; умъ ен спалъ, и только развъ тажкое горе жизни могло потомъ разбудить его,да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить его расчету благоразумной морали... Дъвические дни ея ничъмъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было тыхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которын держать въ равновъсіи нравственныя силы человька. Дикое растеніе, вполны предоставленное самому себё, Татьяна создала себъ свою собственную жизнь, въ пустоть которой тымь митежнье горыль пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничёмъ не быль занить.

> Давно ея воображенье, Сгорая нвтой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно сердечное томменье. Твенило ей младую грудь:: Пуша ждала... кого-вноудь.. И дождалась. Открылись очи;: Она сказала: это оно! Увы! теперь и дии, и ночи, И жаркій, одинокій сопь— Все полно имь; все дівів мила Безь умолку волшебной силой Твердить о немь.

Теперь съ какимъ она вниманьемъ, Читаетъ сладостими романъ, Съ какимъ живымъ, очарованьемъ, Пьетъ обольстительный обманъ! Счастливой силого мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юлін Вольмаръ, Малекъ-Адель и де-Линаръ, II Вертеръ, мученикъ мятежной, И безподобный Грандиссонъ, Который намъ наводить сонъ, Всъ для мечтагельницы нъжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онъгинъ слились. Воображаясь геропней Своихъ возлюбленныхъ творцовъ, Кларисой, Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишинъ лъсовъ Одна съ опасной книгой бродить: Она въ ней ищеть и находить Свой тайный жарь, свои мечты; Плоды сердечной полноты, Вздыхаетъ п. себт присвоя Чужой восторгь, чужую грусть, Въ забвеньи шепчетъ наизусть Письмо для милаго героя.

Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачьмъ было воображать Онъгина Вольмаромъ,: Малекъ-Аделемъ, де-Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вер теръ: не все ли это равно, что Еруслайъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона)? Затъмъ, что для Татьяны не существоваль настояшій Онъгниъ, котораго она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значеніе, на прокать взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна даже не могла ни понимать, ни знать. Зачёмъ было ей воображать себя Кларисой, Юліей, Дельфиной? Загьмъ, что она и саму себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онъгина. Повториемъ: создание страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существования, Татьяна, какъ дичность, является намъ подобною не изящной греческой статув, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статув, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ кинги она была бы совершенно намымъ существомъ, и ея пылающій и сохнущій языкъ не обрѣлъ бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онъгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія, все же началась она пъсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менъе могла полюбить кого-нибудь изъ извъстныхъ ей мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругъ является Онвгинъ.

Онъ весь окруженъ тайной: его аристократизмъ, его свътскость, неоспоримое превосходство надъ всемъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнолушие ко всему, странность жизни - все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дъйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ея къ рътительному эффекту перваго свиданія съ Онъгинымъ. И она увидъла его, и онъ предсталь предъ ней молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрѣшимая тайна для ея перазвитаго ума, весь обольщение для ея дикой фантазін. Есть существа, у которыхъ фантазія имбеть гораздо болье вліянія на сердце, нежели какъ думають объ этомъ. Татына была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоитъ только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и опъ ваши; но есть женщины, которыхъ внимание мужчина можетъ возбудить къ себъ только равнодушіемъ, холодностью и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь или какъ резульгатомъ митежно и полно пережитой жизни: быная Татына была изъ числа такихъ женщинъ...

Тоска любви Татьяну гонить,
И въ садъ идеть она грустить,
И въдругъ недвижны очи клонить,
И лънь ей далже ступить:
Принодиялася грудь, ланиты
Мгновеннымъ пламенемъ нокрыты,
И въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ...
Настанеть почь; луна обходить
Дозоромъ дальній сводъ небесъ,
И соловей во мглъ древесъ
Напъвы звучные заводить,
Татьяна въ темнотъ не синтъ
И тихо съ вяней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ няней—чудо художественнаго совершенства! Это цълая драма, проникнутая глубокой истиной. Въ ней удивительно върно изображена русская барышня въ разгаръ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъеще новой, еще неопытной страсти. Кому эткрыть свое сердце!—сестръ?—она не такъ бы поняла его. Няня вовсе не пойметь; но лотому то и открываеть ей Татьяна свою тайну—пли, лучше сказать, потому-то и ис скрываеть она отъ няни своей тайны.

"Разскажи мив, пяня, про ваши старые года:
Еыла ты влюблена тогда?"
— И, полно, Таня! Въ эти якта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница свекровь.—
"Ла какъ же ты вънчалась, пяня?"

и.

I-

ľЪ

ıy

Т

OB

OIC

H

— Такх, видно, Бого велгло. Мой Ваня Моложе быль меня, мой свыть, А было мив тринадцать льть. Недвин двв ходила сваха Къ моей родиб, и, наконець, Влагословиль меня отець. Я горько плакала со страха; Мив съ плачемь косу расилели, И съ пъньемъ въ церковь повели, И воть ввели въ семью чужую...

Воть какъ пинеть истинно-народный, пстинно-національный поэтъ! Въ словахъ инни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренией домашией жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдълано великимъ поэтомъ одной чертой, вскользь, мимоходомъ брошенной!.. Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

И, полно, Таня! Въ эти лъта Мы не знавали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница свекровь!

Какть жаль, что именно такан народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о народности—и добиваются одной площадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ нанвный и благородный; но его источникъ не въ сознаніи, а въ безсознательности: бъдная дъвушка не знала, что дълала. Послъ, когда она стала знатной барыней, для нея совершение исчезла возможность такихъ нацвио-великодупиныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всьхъ русскихъ читателей, когда появилась третья глава «Опътина». Мы вмъстъ со всъми думали въ немъ видъть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ ноэть, кажется, безъ всякой пронін, безъ всякой задней мысли и писаль, и читаль это письмо. Но съ тъхъ поръ много воды утекло... Шисьмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже отзывается немножко какой-то дътскостью, чёмъ то «романическимъ». Иначе п быть не могло; языкъ страстей быль такъ новъ и недоступенъ нравственно-нъмотствующей Татьянь; очене умьла бы ни понять, ин вырачи собственныхъ своихъ ощущемій, если бы не прибъгда къ помощи впечатльній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку ж безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искрепнимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собой:

> Я къ вамъ пишу—чего же болѣ? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, въ вашей волѣ Меня презрѣньемъ наказать. Но вы, къ моей несчастной делѣ

Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотьла; Повърьте: моего стыда Вы не узнали бъ никогда, Когда бъ надежду я имъла Хоть редко, хоть въ неделю разъ, Въ деревиъ нашей видъть васъ, Чтобъ только слышать ваши рвчи, Вамъ слово молвить, и потомъ Все думать, думать объ II день, и ночь до новой г PAN. Но, говорять, вы нелюдимъ, Въ глуши, въ деревиъ, все вамъ скучно, А мы... ничемъ мы не блестимъ, Хоть вамъ и рады простодущно. Зачьмъ вы посътили насъ? Въ глуши забытаго селенья Я никогда не знала бъ васъ, Не знала бъ горькаго мученья Души неопытной волненья Смиривъ со временемъ (какъ знать?), По сердцу я нашла бы друга, Выла бы върная супруга И добродътельная мать

Прекрасны также стихи въ концъ письма:

..... Судьбу мою Отныпѣ я тебѣ вручаю, Передъ тобою слевы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я адьсь одна, Пикто меня не понимаеть; Разсудокъ мой панем гаетъ, И молча гибнуть я должна,

Все въ письмъ Татьяны истинно, но не все просто: мы выписали только то, что и истинно, и просто вмъсгъ. Сочетание простоты съ истиной составляетъ высшую красоту и чувства, и дъла, и выражения...

Замѣчательно, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея рѣшимость написать и послать это письмо:
видно, что поэтъ слишкомъ хорошо вналъ
общество, для котораго писалъ...

Н зналь красавиць недоступныхъ, Холодиыхъ, чистыхъ, какъ зима. Неумолимыхъ, неподкупныхъ, Непостижимыхъ для ума: Ихъ добродътели природной, Дивился я ихъ спъси модной, И, признаюсь, отъ нихъ бъжалъ, И, минтся, съ ужасомъ читалъ Надъ ихъ бровями надпись ада: Оставь надежду навсегда. Виушать любовь для нихъ бъда, Пугать людей для нихъ отрада. Быть можеть, на брегахъ Невы Подобныхъ дамъ видали вы. Среди поклонниковъ послушныхъ Другихъ причудинцъ я видалъ, Самолюбиво-равнодушныхъ Для вздоховъ страстныхъ и похвалъ, И что жъ нашелъ я съ изумленьемъ? Онъ, суровымъ поведеньемъ Пугая робкую любовь, Ее привлечь умъли вновь, По крайней мъръ, сожальныемъ, По крайней мъръ, звукъ ръчей Казался иногда пъживй. И сь легковърнымъ ослъпленьемъ Онять любовникъ молодой

Бъжить за милой сустой. За что жъ виновиъе Татьяна? За то ль, что вь милой простотъ Она не въдаетъ обмана И въритъ избранной мечть? За 10 ль, что любить безъ искусства, Послушная влеченью чувства; Что такъ довърчива она, Что отъ небесъ одарена Воображениемъ мятежнымъ, Умомъ и волею живой, И своенравной головой, И сердцемъ пламеннымъ и нъжнымъ? Ужели не простите ей Вы легкомыслія страстей! Кокетка судитъ хладнокровно; Татьяна любигъ не шутя II предается безусловно Любви, какъ малое дитя. Не говорить она: отложимъ-Любви мы цёну тёмъ умножимъ, Върнъе въ съти заведемъ; Сперва тщеславіе кольнемъ Надеждой, тамъ недоумъньемъ Измучимъ сердце, а потомъ Ревинвымъ оживимъ огнемъ; А то, экучая наслажденьемъ, Невольникъ хитрый изъ оковъ Всечасно вырваться готовъ.

Воть еще отрывокь изъ • жегина», кот выключень авторомь изъ этой поэмы ченно наприланъ въ IX томъ:

> вы, которчя любили ъ позволенія родныхъ, сердце нъжное хранили Аля внечативній молодыхъ, Чля радости, для нівги сладкой— Дъвицы! если вамъ украдкой Случалось тайную печась Съ письма любезнаго срывать, Иль робко въ дерзостныя гуки Завътный локовъ отдавать, дтвлоясод агком эжад акН В минуту горькую разлуки Прожащій поцвлуй любви, Въ слезахъ, съ волневіемъ въ крови,— Не осуждайте безусловно Татьяны вътренной (?) моей; Не повторяяте хладнокровис Рышенье чонорных судей. А вы, о дывы безь упрека! Которыхъ даже ръчь порока Страшитъ сегодня какъ змъя-Совътую вамь то же я: Кто знаеть? пламенной тоскою Сгорите, можеть быть, и вы-И завтра легкій судъ молвы Пришишеть модному герою Побъды новой торжество: Любви васъ ишеть божество.

Только едва ли найдеть, прибавимъ мы отъ себя прозой. Нельзя не жалъть о поэтъ, который видить себя принужденнымъ такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъ—и въ чемъ же?—въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе—что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болье нельзя не жалъть объ обществъ, передъ которымъ поэтъ видъль

себя принужденнымъ оправдывать геронню своего романа въ томъ, что она—женщина, а не деревяшка, выточенная по подобію женщины. И всего грустиве въ этомъ то, что передъ женщинами въ особенности старается онъ оправдать свою Татьяну... И зато съ какой горечью говорить онъ о нашихъ женщинахъ сездв, гдв касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Какъ выдается вотъ эта строфа въ первой главв «Онвтина»:

Причудинцы большого свёта! Всёхъ прежде васъ оставиль онъ. И правда то, что въ наши лёта Довольно скученъ высшій тонъ, хоть, можетъ быть, иная дама Толкуетъ Сея и Бентама; По вообще ихъ разговоръ— Несносный, хоть невинвый вздоръ. Къ тому жъ опё такъ непорочны, Такъ величавы, такъ умны, Такъ благочестія полны, такъ осмотрительны, такъ точны, Такъ неприступны для мужчинъ, Что видъ ихъ ужъ рождаетъ сплинъ.

Эта строфа невольно правелеть камь на памнів следующіе стаки, невошелшіе въ поэму и напечаганные особо (г. ІХ).

> Морозь и солнце—чудный дены Но нашимь дамамь видно лівнь Сойти сь крыльца и надь Невою Влеснуть холодной красотою: Свлять—напрасно ихь манить Пескомь усыпанный гранать. Умна вссточная система. И правь обычай стариковь: Свъ редились для гарема. Иль для неволи...

Но и на Востокъ сеть поэзан вы жазна, страсть заврадывается и въ гаремы... Зато у насъ царствуеть строгая нравственность, по крайней мъръ внёшняя, а за вей иносла бываеть такая не поэтическая поэзан жизна, которою если воспользуется поатъ то, вснезно, ужъ не для поэмы...

Если бымы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на всъ черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случай ни нашемъ выпискамъ, ни нашей стать не было бы конца. Но мы считаемъ это изличнимъ, потому что эта поэма давно оценена эубликой, и все лучшее въ ней у всякаго на Ды предположили себъ другую цъль: раскрыть ис возможности отношение поэмы къ обществу, которое она изображаеть. На этоть разъ предметь нашей статьи - характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъобъяснение Онъгина съ Татьяной въ отвътъ на ея письмо. Какъ подраствовало на нее это объяснение, понятно: всё надежды бъдной дъвушки рушились, и она еще глубже затве-

10

17.9

4 -

a-

CE.

32,

ъ.

Ы

Ta

ч-

-He

BY,

ЗЪ

- Rd

H-

ep-

dT5

пее

10H

BO-

рилась въ себъ для внъшняго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горъть тьмъ упориве и напряжениве, чъмъ глуше и безвыходить. Несчастье даеть новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображениемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онъ любять свое горе, лельють свое страданіе, дорожать имъ, можеть быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы они своимъ счастьемъ, если бъ оно выпало на ихъ долю... И при томъ, въ глухомъ лъсу нашего общества, гдъ бы и скоро ли бы встрътила Татьяна другое существо, которое, подобио Онвгину, могло бы поразить ея воображение и обратить огонь ен души на другой предметь? Вообще несчастная, нераздъленная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явленіе довольно бользненное, причина котораго, по елишкомъ ръдкимъ и, въроятно, чисто физіологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой на счеть другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазін, падають тяжело на сердце и терзають его иногда еще сильнье, нежели страданія, корень которыхъ въ самомъ сердцъ. Картина глухихъ, никъмъ не разделенныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главъ съ удивительной истиной и простотой. Посъщение Татьяной опустьдаго дома Онъгина (въ седьмой главъ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всехъ предметахъ котораго лежаль такой ръзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозянна, принадлежить къ лучнимъ мъстамъ поэмы и драгоценнейшимъ сокровищамъ русской поэзін. Татьяна не разъ повторила это посъщеніе.

И въ молчаливомъ кабинеть, Забывъ на время все на севть, Осталась, наконецъ, одна, И долго плакала она. Потомъ за книги принялася. Сперва ей было не до нихъ; Но показался выборъ ихъ Ей страненъ. Чтенью предалася Татьяна жади ю дущой. И ей открылся міръ иной.

И пачинаеть понемногу Моя Татьяна понимать Теперь ясийе, слава Богу, Того, по комъ она вздыхать Осуждена судьбою властной.

Ужель загадку разрышила, Ужели слово найдено?..

Игакъ, въ Татьянв, наконецъ, совершился актъ, сознанія: умъ ел проснулся Она поняла, наконецъ, что есть для человъка пнтересы, есть страданія и скорби кромв инте-

реса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоять эти другіе интересы и страданія, и если поняла, послужило ли это ей къ облегчению ея собственныхъ страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, голов й, потому что есть идеи, которыя надо пережить и душой, и тъломъ, чтобъ понять ихъ вполив, и которыхъ нельзя изучить въ книгъ. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное впечатлъніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотръть на страсти, какъ на гибель жизни, убъдило ее въ необходимости покориться дъйствительности. какъ она есть, и если жить жизны сердца, то про себя, въ глубинъ своей дуни. въ тиши уединенія, во мракъ ночи, посвященной тоскъ и рыданіямъ. Посъщеніе дома Онегина и чтение его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дъвочки въ свътскую даму, которое такъ удивило и поразило Опъгина. Въ предисстновавшей стать в мы уже говорили о письм в Онъгина къ Татьянъ в о результатъ всъхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объяснению Татьяны съ Онъганымъ. Въ этомъ объяснения все существо Татьяны выразилось вполив. Въ этомт объяснении высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокой натурой, развитой обществомъ, - все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной натуры, резонерство и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродітелью, подъ которой замаскирована рабская боязнь общественнаго мнкнія, и хитрые силлогизмы ума, світской моралью парализировавшаго великодушныя движенія сердца... Рычь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

Онъгинъ, поминте ль тотъ часъ, когда въ саду въ алев насъ Судьба свела, и такт смиренно Урокъ вашъ выслушала я? Сегодня очередь моя Онъгинъ, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была. И я любила васъ; и что же? Что въ сердъв вашемъ я нашла? Какой отвътъ? Одну суровость. Не правда ль? Вамъ была не новость Смиренной дъвочки любовь? И ныче— Боже!—стынетъ кровь, какъ только вепомню взглядъ колодной И эту проповъдь...

Въ самомъ дёлё, Онёгинъ быль виновать передъ Татьяной въ томъ, что онъ не полюбиль ее тогда, какъ она была меложе и лучие и любила его! Вёдь для любви только и нужно,

молодость, красота и взаимность! Воть ятія, заимствованныя изъ плохихъ сенентальныхъ романовъ! Нѣмая деревени дъвочка съ дътскими мечтами-и свъти женщина, испытанная жизнью и страемъ, обрътшая слово для выраженія свочувствъ и мыслей, какая разница! И всег, по мнѣнію Татьяны, она болѣе споа была внушить любовь тогда, нежели рь, потому что она тогда была моложе п ие... Какъ въ этомъ взглядь на вещи па русская женщина! А этотъ упрекъ, тогда она нашла со стороны Онвгина суровость? «Вамъ была не новость смиой дівочки любовь?» Да это уголовное тупленіе-не подорожить дюбовью нравннаго эмбріона!.. Но за этимъ упрекомъ асъ следуетъ и оправдание:

Я не виню: въ тотъ страшный часъ Вы поступили благородно. Вы были правы предо мной; Я благодарна всей душой...

новная мысль упрековъ Татьяны соъ въ убъждени, что Онъгинъ потому со не полюбить ее тогда, что въ этомъ кло для него очарования ссблазна; а теприводитъ къ ея ногамъ жажда скандай славы... Во всемъ этомъ такъ и протся страхъ за свою добродътель...

Тогда-не правда ли?-въ пустынъ, Вдали отъ суетной молвы, Я вамъ не правилась... Что жъ нынъ Меня преслъдуете вы? Зачъмъ у васъ я на примътъ? Не потому ль, что въ высшемъ свъть Теперь являться я должна, Что я богата и знатна; Что мужъ въ сраженьяхъ изувъченъ; Что насъ за то ласкаетъ дворъ? Не потому ль, что мой позоръ Теперь бы всёми быль замёчень, И могъ бы въ обществъ принесть Вамъ соблазнительную честь? Я плачу... Если вашей Тани Вы не забыли до сихъ поръ, Го знайте: колкость вашей брани, Холодный, строгій разговоръ, Когда бъ въ моей лишь было власти, предпочла бъ обидной страсти этимъ письмамъ, и слезамъ. Съ моимъ младенческимъ мечтамъ Гогда имели вы хоть жалость, Соть уважение къ лътамъ... 1 нынче?--что къ моимъ ногамъ засъ привело? Какая малосты! акъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ выть чувства мелкаго рабомь?

этихъ стихахъ такъ и слышится треі свое доброе имя въ большомъ свътъ, такующихъ затъмъ представляются неныя доказательства глубочайшаго прекъ большому свъту... Какое противо-И что всего грустите, то и другое въ Татьянъ... А мнв, Опвгинь, пышность эта Постылой жизни мишура, мои усивки вы вихрв свыта, мой модный домт и вечер: — Что вы нихь? Сейчась стдеті я рада Всю эту ветошь масварада, весь этоть блесть, а шумъ, и тадъ за потку книгь, за ликіх сацъ. За наше сёдное жилище. За ть мыста, гдв въ мервый рагь. Опвгинь, видёла я васт, да за смиренное кладбище. Гдв нынче кресть и тыпь вытвей надъ бъдной иннею моей.

Повторяемъ: эти слова такъ же некритво;ны и искрении, какъ и предшественска: имъ. Татьяна не любить свъта и жа стастье почла бы навсегда оставить его для же, сътъ; но пока она въ свътъ—его миъніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ея добродътелью...

А счастье было такъ возможно, Такъ близко!.. Но судьба моя Ужъ рѣшена. Неосторожно, Выть можетъ, поступила я; Меня съ слезами заклинаній Молнла мать; для бѣдной Тани Всъ были жребіи равны... Я вышла замужъ. Вы должны, Я васъ прошу, меня оставить; Я знаю: въ вашемъ сердиѣ есть И гордость, и прямая честь Я васъ люблю (къ чему лукавить?), Но я другому отдана,— И буду въкъ ему върна

Последніе стихи удивительны — подлинно «конецъ вѣнчаетъ дѣло»! Этотъ отвѣтъ могъ бы итти въ примъръ классическаго «высокаго» (sublime) наравив съ ответомъ Медеи: «moi!» и стараго Горація: «qu'il mourit!» Вотъ истинная гордость женской добродътели: «Но я другому отдана», — именно отдана, а не отдалась! Вёчная вёрность - кому ц въ чемъ? Върность такимъ отношеніямъ, которыя составляють профанацію чувства и чистоты женственности, потому что нъкоторыя отношенія, неосвящаемыя любовью, въ высшей степени безправственны... Но у насъ какъ-то все это клентся вмъсть: поэзія — к жизнь, любовь — и бракъ по расчету, жизнъ сердцемъ — и строгое исполнение вившинихъ обязанностей, внутренно ежечасно нарушаемыхъ... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена въ жизни сердца; любить-для нея жить, а жертвовать — значить любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила намъ Въру въ «Геров Нашего Времени», женщину слабую по чувству, всегда уступающему ему, и прекрасную, высокую въ своей слабости. Правда, женщина поступаеть безнравственно, принадлежа вдругъ двумъ мужчинамъ, одного любя, а другого обманывая: противъ этой истины не можегь быть никакого спора; но въ Вере этотъ

гръхъ выкупается страданіемъ отъ сознанія своей несчастной ролп. И какъ бы могла она поступить рашительно въ отношения къ мужу, когда она видъла, что тотъ, кому она всю себя пожертвовала, принадлежаль ей не вполнь и, любя ее, все-таки не захотьль бы слить съ ней свое существование? Слабая женщина. она чувствовала себя подъ вліяніемъ роковой силы этого человъка съ демонической натурой, и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ея по своей натуръ и по характеру, не говоря уже объ огромной разница въ художественномъ изображении этихъ двухъ женскихъ лицъ: Татьяна - портретъ го весь ростъ; Въра-не больше, какъ силуэтъ. И, несмотря на то, Вѣра—больше женщина... но зато п больше исключение, тогда какъ Татьяна-типъ русской женщины... Восторженные пдеалисты, изучившіе жизнь и женщину по повъстямъ Марлинскаго, требують отъ необыкиовенной женщины презранія къ общественному мижнію. Это ложь: женщина не можеть презирать общественнаго мижнія, но можеть имъ жертвовать скромно, безъ фразъ, безъ самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятія, которое она береть на себя, повинуясь другому высшему закону,—закону своей натуры, а ея натура любовь и самоотвержение...

Итакъ, въ лиць Онъгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какой истиной, съ какой върностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествъ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собой картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовь: все это такъ извъстно нашей публикъ и такъ давно оценено ею по достопнству... Затемъ одно: личность поэта, такъ полно н ярко отразившаяся въ этой поэмъ, вездъ является такой прекрасной, такой гуманной, но въ то же время по преимуществу артистической. Вездъ вы видите въ немъ человъка, душой и тёломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездъ видите русскаго пом'вщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классъ на все, что противоръчитъ гуманности; но принципъ класса для неговъчная истина... И потому въ самой сатиръ его такъ много любви, самое отрицание его такъ часто похоже на одобрение и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ во второй главъ, и особенно портреть самого Ларина... Это было причиной, что въ «Онъгинъ» многое устаръло теперь. Но безъ этого, можетъ быть, и не вышло бы

изъ «Онфина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого обредълениато факта для отрещания мысли, въ самомъ же этомъ обществъ такъ быстро развивающейся...

«Онътинъ» писанъ быль въ продолжение нъсколькихъ лътъ, -- и потому самъ пожъ росъ вмъсть съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интересние и зрыже. Но поствднія двв главы різко отділяются от первыхъ шести: онъ явно принадлежатъ уже къ высшей, зралой эпоха художественнаго развитія поэта. О красотії отдільныхъ мість нельзя наговориться довольно; при томъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ прпнадлежатъ: ночная сцена между Татьяной и няней, дуэль Опътина ст. Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ последанкъ двукъ главакъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первед половина седьмой главы (описаніе весны, воспомпиание о Ленскомъ, посъщение Татьяной дома Онъгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступления, дълаемыя поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себф исполнены необыкновекной граціи, задушевности, чувства, 7 па. остроты; дичность поэта въ нихъ явля тем такой любящей, такой гуманной. Въ своей поэмь онъ умьль коснуться такъ многате, намекнуть о столь многомъ, что принадлежить исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! (Онъгина) можно назвать энциклопедіей русской жизни и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма бына принята съ такимъ восторгомъ публикой и имела такое огромное вліяніе и на современную ей, и на последующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этот, шагъ былъ бегатырскимъ размахомъ, и послъ него стояніе на одномъ мъсть сделалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и проводить съ собой новыя потребности, новыя иден, пусть растеть русское общество и обгоняетъ «Онъгина»: какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будеть оно любить эту поэму, всегда будеть останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключение нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатленіемь на душу читателя лучше насъ выскажуть то, что бы хогьлоск

> Увы! на жизненныхъ браздахъ, Мгновенной жатвой, покольныя. По тайной воль Провиденья,

намъ высказать:

Восходить, арвють и надуть; другіт имъ во следі ндуть... Такь раше вътренное илемя Растеть, волнуется, кисигь И къ гробу прадъдовъ твенитъ. Придеть, придеть и наше время, И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытвенять и насъ. Покамъетъ унивантесь ею, Сен легкой жизино, друзья! Ея ничтожность разумью И къ ней привезанъ мало я; Для призраковъ закрылъ я въжды; Но отдаленныя надежды Тревожать сердце иногда: Безъ непримътнаго саъда Мив было съ грустио міръ оставить. Живу, пишу не для похвалъ; По я бы, кажется, желалъ Почальный жребій свой прославить, Чтобъ обо мит, какъ върный другъ, Напомнилъ хоть единый звукъ. И чье-инбудь онъ сердце тронеть; И сохраненная судьбой. Быть можеть, въ Летв не потонеть Строфа, спагаеман мной; Выть можеть, лестная надежда!-Укажегь будущій невъжда На мой прославленный портјетъ, И мольигь: "то-то быль поэгь!" Прими жъ мое благодаренье, Поклонинкъ мирныхъ аонидъ, О ты, чьи намить сохранитъ Мон легучия творенья, Чья благосклонная рука Потреплеть давры старика!

## Х. «Борисъ Годуновъ».

зершенно новая эпоха художицческой тьности Пушкина началась «Полтавой» орисомъ Годуновымъ». Хотя первая г въ 1829 году, а послѣдній въ 1831 -тьмы не менъе ихъ должно считать современными другь другу произведепотому что Борисъ Годуновъ» напибылъ гораздо раньше 1831 года, и зная сцена между Пимеломъ и Самозванбыла напечатана въ «Московскомъ икь» 1828 года; небольшая сцена между имъ и Самолванцемъ, -- въ «Съвер-Цевтахъ на 1828 годъ, вышединхъ ?7 году. «Полтава», со стороны худоіности, относится къ «Борису Годукакъ стремление относится къ дости-Нублика приняла «Полтаву» хонежели прежнія поэмы Пушкина; . Голуновъ» былъ принятъ совершендно, какъ доказательство совершенденія таланта, еще недавно столь ветакъ много сдълавшаго и еще такъ бъщавшаго. Какъ тогда, такъ и те-«Бориса Годунова» были жаркіе, пои; но какъ тогда, такъ и теперь, сихъ поклонниковъ было очень малоэ, а число порицателей огромно. Козъ нихъ правы, которые виноваты?

Тъ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что дъйствительно ин въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигалъ Пушкинъ до такой художественной высоты, — и ии въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борисъ Годуновъ». Эта пьеса для него была истинно Валерлооской битвой, въ которой онъ развернулъ во всей инрогъ и глубниъ свой геній и, несмотря на то, все-таки потериълъ рынительное пораженіе.

Прежде всего скажемъ, что «Борисъ Гоцуновъ» Пушкина — совсемъ не драма, а развъ эническая поэма: въ разговорной формь. Дфиствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорять, и мастами говорять превосходно; но она не живутъ, не дъйствують. Слишите слова, часто исполненныя высокой поэзін, но не видите ни страстей, ии борьбы, ни дъйствій. Эго одинь изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина: но этотъ педостатокъ не вина поэта: его причина - въ русской петорін, изъкоторой поэть заимствовать содержание своей драмы. Русская исторія до Петра Великаго тьмъ п отличается отъ истории западно-евронейскихъ государствъ, что въ ней преобладаетъ чисто випческій или, скор ве, квістическій характеръ, -тогда какъ въ тъхъ преобладаетъ харчктеръ чисто-драматический. До Истра Великаго въ Россіп развивалось начало семейственное и редовое; но не было и признаковъ развитія дичнаго: а можеть ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей? Что составляетъ содержание Шексинровскихъ драматическихъ хронпкъ? - борьба личностей, которыя стремятся къ втасти и оспариваютъ ее другъ у друга. Эго бывало и у насъ: весь удъльный неріодъ есть не что пное, какъ ожесточенная борьба за великокняжескій и за удбльные престолы; въ періодъ Московского царства мы видимъ сриду трехъ претендентовъ такого рода; но все-таки не видимъ никакого драматическаго движенія. Въ періодъ удбловъ одинъ князь свергалъ другого и овладъваль его удъломъ; потомъ, побъжденный имъ снова, уступаль ему его владеніе, потомъ опять захватывалъ его; но въ удель оть этого ровно ничего не измьпялось: перемінялись лица, а ходь и сущность дёль оставались тв же, потому что нп одно новое лицо не приносило съ собой никакой новой идеи, никакого новаго принципа. Отсюда объясняется, почему пародонаселеніе того или другого княжества, того или другого города, съ одинаковой ревностью билось и за стараго князя противъ новаго, и за новаго противъ стараго. И одному Богу извъстно, чъмъ бы кончилась для Руси эта усобица, если бы такъ встати не

подосивли татары. Съ одней стороны, ихъ жестокое и позорцое иго гибельно подъйствовало на пре стоенную сторону русскаго племени, а съ другой-было для него благодътельно потому, что чувствомъ общей опасности и общаго страданія связало разъединенныя русскія княжества и способствовало развитію государственной централизація черезъ преобладание Московскаго княжения надъ већин другими. Единство болће вићинее, нежели внутреннее, но темъ не мене все же оно спасло Россію! Іоаниъ III, котораго не безъ основанія нікоторые историки называють великимъ, былъ творцомъ неподвижной криности Московскаго царства, положивъ въ его основу идею восточнаго абсолютизма, столь благодфтельнаго для абстрактнаго единства созданной имъ новой державы. И этотъ великій, повидимому, переворотъ совершился тихо и мирно, безъ всякихъ потрясеній. Іоаннъ III обнаружиль въ этомъ дёль геніальную односторонность, переходившую почти въ ограниченность, твердую волю, силу характера; онъ постоянно стремился къ одной цёли, дёйствоваль неослабно, но не боролся, потому что не встретиль никакого действительнаго и энергическаго сопротивленія. Діло обошлось безъ борьбы, и такимъ образомъ одно изъ самыхъ драматическихъ событій древней русской исторіи совершилось безъ всякаго драматизма. Драматизмъ, какъ по-тическій элементъ жизин, заключается въ столкновени и сшибкъ (коллизіи) противоположно и враждебно направленныхъ другъ противъ друга идей, которыя проявляются какъ страсть, какъ паоосъ. Идея самодержавнаго единства Московскаго царства, въ лицъ Іоанна III торжествующая надъ умпрающей удъльной системой, встрътила въ своемъ сезусловно нобъдоносномъ шествін не противниковъ сильныхъ и ожесточенныхъ, па же готовыхъ, а развъ нъсколько безсильныхъ и жалкихъ жертвъ. Роды удёльныхъ князей потомковъ Рюрика скоро выродились въ простую боярщину, которая передъ престоломъ была покорна наравий съ народомъ, но которан стала между престоломъ и народомъ не какъ посредникъ, а какъ непроницаемая ограда, раздёлившая царя съ народомъ. Разрядныя книги служать неоспоримымъ доказательствомъ, что въ древней Россін личность пикогда и пичего не значила, но все значиль роль, и торжество боярина было торжествомъ цълаго рода боярскаго. Такимъ образомъ удёльная борьба княжескихъ родовъ переродилась въ дворскую борьбу боярскихъ родовъ. Но эта борьба не представляеть инкакого содержанія для драматического поэта, потому что при дворъ московскомъ одинъ родъ торжествовалъ надъ другимъ въ милости царской, но ин одинъ

изъ торжествующихъ родовъ не вносилъ ни въ думу, ни въ администрацію никакой новой иден, никакого новаго принципа, никакого новаго элемента. Новый любимецъ вездъ гналъ своихъ прежнихъ противниковъ и ихъ родичей, постригалъ ихъ насильно въ монахи, сажаль въ тюрьмы, разсылалъ по далгнимъ городамъ, то въ позорную певолю, то въ почетную опалу. И такимъ образомъ боролись и мънялись лица, а не идеи. Подобная борьба и подобныя сміны могли мпого значить для боярскихъ родовъ, для дворской интриги и крамолы, но для государства он'в ровно ничего не значили; историческая же драма можеть брать содержание только изъ государственной жизни. Царствование Грознаго, повидимому, больше всего представляеть матеріаловъ для драмы, какъ зрілище нещадной войны, объявленной абсолютизмомъ боярской крамодь, но это только такъ можетъ казаться и едва ли такъ было на самомъ ділі, пбо мы не видимъ, чтобы Грезный чемъ-нибудь думаль замьнить гонимый имь принципь боярщины. Словомъ, видно ожесточение къ боярскимъ родамъ, но нътъ въ то же время никакого особеннаго вниманія къ народу; тутъ замътно, слъдовательно, личное чувство, а не идея, не принципъ, не убъждение. Стало быть, и туть нать ничего для драмы... Но воть язляется Годуновъ, — и чёмъ бы ин достигь онъ престола-злодъйствомъли, какъвъэтомъ увъренъ Карамзинъ, или только смѣлымъ и гибкимъ умомъ безъ преступленія, -- во всякомъ случав онъ также не внесь въ русскую жизнь никакого новаго элемента, и его возвышение, равно какъ и его падение ничего не значили для будущихъ судебъ русскаго народа: безъ Годунова все пошло бы такъ же точно, какъ и съ Годуновымъ. У Самозванца были разные политическіе замыслы, которые могли бы пзмвинть ходь нашей исторіи: но эти замыслы были не что иное, какъ удалыя мечты челевъка рынительнаго, пылкаго, умпаго, но, что называется, безъ царя въ годовъ, а погому они и кончились такъ, какъ ельдовало кончиться мечтамъ. Шуйскій хотыть изъ боярщины образовать аристократію; но какъ это желаніе было плодомъ не мысли, а трусости и низости, -- оно и кончилось бъдой для Шуйскаго и ровно ничемъ не кончилось для государства... Итакъ, вотъ сряду три лица, которыя уже по необыкновенностк употребляемыхъ ими способовъ для достиженія верховной власти должны были бы внести въ государственную жизнь новыя основанія, и которыя ровно ничего не внесли въ нее, н прошли въ исторіи безъ следа, какъ будто бы ихъ и не было... Не такъ бывало въ государствахъ западной Европы. Для англичинъ, напримъръ, было великимъ событіемъ царствованіе Іоанна Безземельнаго, этого слабаго и ничтожнаго брата Ричарда Львинаго Сердца, овладъвшаго властью въ отсутствій героя, который гонялся въ Палестинь за безнолезными лаврами. Во Франціи, напримъръ, очень важно было рышеніе вопроса: кто булеть управлять Людовикомъ VIII—его маті-Катерина Медичи, или кардиналъ Решиль? Такихъ примъровъ можно было бы найти множество; но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Игакъ, если въ «Берисћ Годуновъ» Иушкина почти ивтъ никакого драматизма,—это рама не поэта, а исторіи, изъ которой опъ взякть содержаніе для своей «эпическей домы». Можеть бытъ, отъ этого ещь в этрану,чилея только одной попыткой въ этомъ роді».

А между тымъ Борисъ Годуновъ, можетъ быть, больше, чемъ какое-нибудь другое лино русской ист , ін, годился бы если не для драми, то хоть для ноэмы въ драматической фермв, — для новмы, вы которой такой поэти. какъ Пушкинъ, могъ бы развернуть всю силь своего галанта и избъжать тыхъ огромных в недостатковъ и въ историческомъ, и въ эсте тическомъ отношении, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенил, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ последовалъ Карамзину,и езъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматич скимъ злодбемъ, котораго мучитъ совьеть и который въ своемъ злодъйствъ нашелъ себъ кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сделать!..

Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Карамянна, въ то же время можно и даже должно безпристрастными глазами видъть мъру, объемъ и границы его заслугь. Человыть многосторонне-даровитый, Карамзинъ писалъ стихи, повъсти, былъ преобразователемъ русскаго языка, публицистомъ, журналистомъ, можно сказать, создалъ и образоваль русскую публику и, следовательно, упрочилъ возможность существованія и развитія русской литературы; наконецъ, далъ Россіи ея исторію, которая далеко оставила за собой вет прежнія попытки въ этомъ родь, и безъ которой, можетъ быть, еще и теперь знаніе русской исторіи было бы возможно только для записныхъ тружениковъ науки, но не для нублики. И во всемъ этомъ Карамзинъ обнаружилъ много таланта, но не геніальности, и потому все сдёланное имъ весьма важно, какъ факты исторіи русской лигературы и образованія русскаго общества, но совершенно лишено безусловнаго достоин-

ства. Важивиній его трудь безъ сомивнія есть «Исторія Государства Россійскаго», которая читается и перечитывается до сихъ поръ, когда уже всв другія его сочиненія пользуются только почетной памятью, какъ произведенія, им'ввнія большую ціну въ свое время. И действительно, до техъ поръ, пока русская исторія не будеть изложена совершенно съ другой точки зрвнія и съ тімъ умъньемъ, которое дается только талантомъ,до тьхъ поръ «Исторія» Карамзина поневоль будеть единственной въ своемъ родв. Но ужо и теперь ея недостатки видны для всехъ, ме жеть быть, еще больше, нежели ея достоньства. Въ недостаткахъ фактически нельзя винить Карамзина, приступившаго къ своему великому труду въ такое время, когда историческая критика въ Россіп едва начиналась, и Карамзинъ долженъ былъ, пина исторію, еще заниматься исторической разработкой матеріаловъ. Гораздо важиве недостатки его исторіи, происшедшіе изъ его способа смотръть на вещи. Сначала его исторія-ноэма въ родъ тьхъ, которыя писались высокопарной прозой и были въ большомъ ходу въ конца прошлаго вака. Потомъ, мало-по-малу входя въ духъ жизни древней Руси, онъ, можеть быть, незамьтно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древне-русской жизни. Съ Іоанна III Московское царство, въ глазахъ Карамзина, становится высшимъ идеаломъ государства,вмъсто исторіи до-Петровской Россіи, онъ ппшеть ея панегирикъ. Все въ ней кажется ему безусловно великимъ, прекраснымъ, мудрымъ и образцовымъ. Къ этому присоединяется еще мелодраматическій взглядь на характеръ историческихъ лицъ. У Карамзина ни въ чемъ нътъ средины; у него нътъ людей, а есть только или герои добродвтели, или злодын Этотъ мелодраматизмъ простирается до того, что одно и то же лицо у него сперва является свътлымъ ангеломъ, а потомъчернымъ демономъ. Таковъ Грозный: пока имъ управляють, какъ машиной, Сильвестръ и Адашевъ, онъ — сама добродътель, сама мудрость; но умираеть царица Анастасія,и Грозный вдругь является бичомъ своего народа, безумнымъ злодвемъ. Историкъ пересказываеть всв ужасы, сделанные Грознымъ, и взводить на него такіе, которыхъ онъ и не дълалъ, заставляя его убивать два раза въ разныя эпохи однихъ и тъхъ же людей. Жертвы Грознаго часто говорять ему передъ смертью эффектныя рѣчи, какъ будто бы переведенныя изъ Тита Ливія. Такого же мелодраматического элоден сделаль Карамзинь и изъ Бориса Годунова. Подверженный увлеченію, которое больше всего вредить историку, онъ объ убіеніи царевича Димитрія говоритъ угвердительно, какъ о деле Годунова,

какъ будго бы въ этомъ уже невозможно никакое сомнъніе. Юноша Годуновь, прекрасный лицомъ, свътлый умомъ, блестящій краснорьчіемъ, зять палача Малюты Скуратова, и въ рядахъ опричины умѣлъ остаться чистымъ отъ разврата, злодъйства и крови. Черта характера необыкновеннаго! Но въ ней еще не видно строгой и глубокой добродътели: по крайней мъръ послъдующая жизнь Годунова не подтверждаеть этого. Будучи царемъ, онъ не долго сдерживалъ порывы своей подозрительности и скоро сдълался мучителемъ и тираномъ. Вообще, если онъ при Грозномъ не запятналъ себя кровью,--въ этомъ видно больше ловкости, умънья и расчета, нежели добродътели. Годуновъ былъ необыкновенно уменъ, и потому не могь не глушаться злодействомъ, совершеннымъ безъ нужды и безъ причины. Впрочемъ, мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Годуновь быль лицемерный злодей; петь, мы хотимъ только сказать, что можно въ одно и то же время не быть ни злодъемъ, нп героемъ добродътели и не любить злодъйства въ одно и то же время по чувству и по расчету... Карамзинскій Годуновъ-лицо соверщенно двойственное, подобно Грозному: онъ и мудръ и ограниченъ, злодъй и добродътельный человъкъ, и ангелъ и демонъ. Онъ убиваетъ законнаго наслёдника престола, сына своего перваго благодётели и брата своего второго благодътеля, мудро правитъ государствомъ п, принимая корону, клянется, что въ его царствъ не будетъ нищихъ и убогихъ, и что последней рубашкой будеть онъ дълиться съ народомъ. И честно держить онъ свое объщаніе: онъ дълаеть для народа все, что только было въ его средствахъ и силахъ сделать. А между темъ народъ хочеть любить его-и не можеть любить! Онъ приписываеть ему убіеніе царевича; онъ видить въ немъ умышленнаго виновника всъхъ бъдствій, обрушивщихся надъ Россіей; взводить на него обвиненія самыя неліпши и безсмысленныя, какъ, напримъръ, смерть датскаго царевича, нареченнаго жениха его милой дочери. Годуновъ все это видить и

Пушкинъ безподобио передалъ жалобы Карамзинскаго Годунова на народъ:

Мий счастья ийть. Я думаль свой народь Въ довольствін, во слав'в успоконть, Щедротами любовь его синскать, но отложиль пустое попеченые: Живая власть для черни ненавистна,—Они любить ум'йють только мертвыхъ. Везумны мы, когда народный плескъ Иль ярый вопль тревожить сердце наше. Вогь насылаль на землю вашу гладь: народъ завыль, въ мученыхъ погнбая; Я отвориль имь житицы; я злато Разсыпаль имь; я пмъ сыскаль работы,—Они жъ меня, бъснуясь, проклинали!

Пожарный огнь ихъ домы истребилъ; Я выстроилъ имъ новыя жилища,— Они жъ меня пожаромъ упрекали! Вотъ черпи судъ, ищи жъ ея любви!

Это говорить царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народъ свой. Теперь послушаемъ голоса, если не народа, то цътаго сословія, которое тоже, кажется, не безъ основанія, жалуется на своего царя:

Воть—Юрьевъ день задумаль уничтожить, Не властны мы въ помъстіяхъ своихъ, Пе смъй согнать лънивоа Радъ не радъ, Корми его. Не смъй переманить Работника! Не то—въ прикавъ холопій. Ну, слыхано ль хоть при царъ Иванъ Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозвенецъ Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдетъ потъха.

Въ чемъ же заключается источникъ этого противоръчія въ характеръ и дъйствіяхъ Годунова? Чъмъ объясняеть его нашъ историкъ и вслъдъ за нимъ нашъ поэтъ? Мученіями виновной совъсти!... Вотъ, что заставляетъ говорить Годунова поэтъ, рабски върный историку:

Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ Среди мірскихъ печалей успоконть; ничто, инчто... едина развъ совъсть. Такъ, здравая, она восторжествуетъ надъ злобою, надъ темной клеветою; но если въ ней единое пятно, Единое случайно завелося, Тогда бъда: какъ язвой моровой, Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ. Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ, И все тошнитъ, и голова кружится, и мальчики кровавые въ глаз ихъ... И радъ бъжать, да некуда... ужасно! Да, жалокъ тотъ, въ комъ совъсть нечиста...

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкій и ограниченный взглядь на натуру человька! Какая бъдная мысль—заставить Злодъя читать самому себъ мораль, вмъсто того чтобъ заставить его всъми мърами оправдывать свое злодъйство въ собственныхъ глазахъ! На этотъ разъ историкъ сыгралъ съ поэтомъ илохую шутку... И вольно же было иоэту дълаться эхомъ историка, забывъ, что ихъ раздъляетъ другъ огъ друга цълый въкъ!... Оттого-то въ философскомъ отношени этотъ взглядъ на Годупова спльно напоминаетъ собой добродушный павосъ Сумароковскаго «Димитрія Самозванца»...

Прежде всего замѣтимъ, что Карамзинъ сдълаль великую ошибку, позволивъ себъ до того увлечься голосомъ современниковъ Годунова, что въ убіенін царевича видель неопровержимо и несомнънно доказанное участіе Бо иса... Изъ нашихъ словъ, впрочемъ. отнюдь не следуеть, чтобы мы прямо и решительно оправдывали Годунова отъ всякаго участія въ этомъ преступленін. Нѣтъ, мы вт криминально-историческомъ процессъ Годунова видимъ совершенную недостаточность доказательствъ за и противъ Годунова. Судъ исторіи долженъ быть остороженъ і. безпристрастень, какъ судъ присяжныхъ по Гголовнымъ деламъ. Грешно и стыдно утвердить недоказанное преступление за такимъ замьчательнымъ человъкомъ, какъ Борисъ Годуновъ. Смерть царевича Димитрія—дѣло темное и неразръшимое для потемства. Не утворждаемь за достовфрное, по думаемъ, что съ большей основательностью можно считать Годунова невиннымъ въ преступленін, нежели виновнымъ. Одно уже то сильно говорить въпользу этого мибнія, что Годуновъ,человъкъ умный и хитрый, администраторъ искусный и дипломать тонкій, -- едва ли бы совершилъ свое преступление такъ неловко, нельпо, нагло, какъ свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохѣ, въ родѣ Димитрія Самозванца, который увлекался только минутными движеніями своихъ страстей и хотълъ пользоваться настоящимъ, не думая о будущемъ. Годуновъ имъть всь средства совершить свое преступленіе тайно, ловко, не навлекая на себя явныхъ подозрѣній. Онъ могъ воспитать царевича такъ, чтобъ сделать его неспособнымъ къ правленію и довести до монашеской рясы; могь даже искусно оспаривать законность его права на наслѣ ство, такъ какъ царевичь быль плодомь седьмого брака Іоанна Грознаго. Самое в роятное предноложеніе объ этомъ темномъ событіи нашей исторіи должно, кажется, состоять въ томъ, что нашлись люди, которые слишкомъ хорошо поняли, какъ важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшаго ему доступъ къ престолу, и которые, не сговариваясь съ нимъ и не открывая ему своего умысла, думали этимъ страшнымъ преступленіемъ оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это нацоминаеть намъ сцену изъ «Антонія и Клеопатры» Шекспира, на палубъ Помпеева корабля, гдѣ Менасъ, сторонникъ Помпен, вызывается сдёлать его властелиномъ всего міра, давъ ему возможность овладіть тремя пирующими у него соперниками: Цезаремъ, Антоніемъ и Лепидомъ (дѣйств. II, сцена 7). И если услужники Годунова были догадливње и умнње Менаса, то нельзя не видьть, что они оказали Годунову очень дур-

ную услугу не въ одномъ правственномъ отношенін. Если же Годуновъ впутренно, втайнь, доволень быль ихъ усл г й, нельзи не согласиться, что на этоть разъ нь былт очень близорукъ и недальновиденъ. Радоваться этому преступленію - значило для него радоваться тому, что у его в а товъ быдо, наконецъ, страшное противъ него оружіе, которымъ они при случай хорошо могли воспользоваться. Ифтъ, еще разъ ифтъ: скорфе моно предположить (какъ ни странно подобное предположение). что царевичъ погибъ отт руки враговъ Годунова, которые, сваливъ на него это преступление, какъ только для него одного выгодное, могли разсчиты ать на върную его погибель. Какъ бы то ни было, върно одно: ни историкъ «Государства Россійскаго», ни рабски следовавній ему авторъ «Бориса Годунова» не имвли ни малъйшаго права считать преступление Годунова доказаннымъ и неподверженнымъ сомнънію.

Но- скажуть намь-у( в кденіе Карамзина оправдывается единодушнымъ голосомъ современниковъ Годунова, убъжденіемъ всего народа въ его время; а м-дь гласъ Вожійгласъ народа! Такъ; но в Есь главный фактъ есть убъждение тогдашняго народа въ представленін Годунова, а готовность, расположеніе народа къ этому убѣжденію, -- расположеніе, причина котораго заключалась въ нелюбви, даже въ ненависти народа къ Годунову. За что же эта ненависть къ человъку, который такъ либилъ народъ, столько сделаль для него, и котораго самъ нароль сначала такъ любилъ, повидимому?—Въ томъто и діло, что туть съ обінхъ сторонъ быда лишь «любовь, повидимому»—и въ этомъ заключается трагическая сторона личности Годунова и судьбы его. Если бы Пушкинъ видёлъ эту сторону, -- тогда, вмёсто характера въ половину мелодраматическаго, у него вышель бы характерь простой, естественный, понятный и вмёстё съ тёмъ трагически-высокій. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы въ строгомъ значеніи этого слова; но зато была бы превосходная драматическая поэма или эпическая трагедія.

Итакъ, разгадать историческое значение и историческую судьбу Тодунова—значитъ объяснить причину: ночему Годуновъ, по видимому, столь любившій народъ и столи много для него сдѣлавшій, не былъ любимт народомъ? Попытаемся объяснить этотъ во просъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и неръшительность мъръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они принисываютъ смущенію виновной совъсти. Этотъ взглядъ чисто-мелодраматическій и въ

четорическомъ, и въ поэтическомъ отношеніи, особенно въ примѣненіи къ такому нообыкновенному человѣку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмъ Пушкина самъ Годуновъ объясняетъ причину народной къ себъ ненависти такъ:

Живая власть для черни ненавистна. Они любить умфють только мертвыхъ. Безумны мы, когда народный плескъ Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Это оправдание—не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая рѣчь великаго человъка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ генін, раздосадованнаго пеудачей. Нъть, народъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатін къ живой власти: его любовь или его нелюбовь къ ней-высшій Судъ! Гласъ Божій-глась народа!

Изъ всъхъ страстей человъческихъ, послъ самолюбія, самая сильная, самая свирьпаявластолюбіе. Можно навѣрное сказать, что ни одна страсть не сгонла человічеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвіщенныя и ународовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединени съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно решить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человѣкѣ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія у народовъ необразованныхъ властолюбіе имфетъ другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ самосохраненія; гдь, не будучи первымъ, такъ дегко погибнуть ни за что. тамъ всякому вдвойнѣ хочется быть первымъ, чтобъ никого не бояться, но встхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всёхъ или многихъ невозможно быть первымъ,то право перваго естественнымъ ходомъ исторін везді утвердилось потомственно въ одномъ родъ, на основании права въ прошедшемъ или преданія. Время освятило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всьхъ и у многихъ всякую возможность губить другь друга и цёлый пародъ притязаніями на верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго Провидениемъ рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе:, родъ признанъ высшимъ надо вевми по праву свыше, и равные между собой охотно повинуются высшему передъ всеми ими. Но когда царствующій родъ прекращается послѣ наслъдственнаго владычества въпродолжение иъсколькихъ въковъ, и когда право высшей власти захватываеть человькь, вчера бывшій равнымъ со всёми передъ верховной властью, а сегодня долженствующій начать собой новую династію, тогда естественно разнуздывается у всёхъ страсть властолю-

бія. Каждый думаеть: если онг могъ быть избранъ, почему же я не могъ? Чёмъ онъ лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбецъ силой и хитростью заставляетъ молчать всихъ и все: страсти умолкають, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нътъ въ отношения пріобр'ятенія верховной власти освященнаго вѣками права законнаго наслѣдія, тому. чтобъ заставить въ себѣ видѣть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всеми, на право генія. Только на условін этого права толна согласится безусловно признать владычество человъка, который въ гражданскомъ отношеніи еще вчера стоядъ наравий съ ней. Было ли за Годуновымъ это право? Нѣтъ! Н вотъ гдв разгадка его исторического значения и его исторической судьбы: онъ хотьль играть роль генія, не будучи геніємъ, — и зато палъ трагически и увлекъ за собой паденіе своего

Такой человькъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояние трагедін. И чтобы могь сділать Пушкинъ изъ своей поэмы, если бъ взглянулъ на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дѣятельности ии проявился геній, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, въстникъ обновленія жизни. Его назначение-ввести въ жизнь повые элементы и чрезъ это двинуть ее впередъ на высшую ступень. Явленіе генія—эпоха въ жизни парода. Генія уже ньть, а народъ долго еще живеть въ формахъ жизни, имъ созданной, долго — до новаго генія. Такъ Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Іоаняъ Калить и утвержденное геніемъ Іоанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ не геній въ исторіи, чье твореніе умираеть вмѣстѣ съ нимъ: геній по пути исторін продагаеть гдубокіе слёды своего существованія долго посль своей смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человекъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умълъ нопасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умёнье объясняется отчасти довко разочитанной женптьбой на дочери палача, Малюты Скуратова. Въ этой чертъ высказывается ловкій царедворецъ, но генія еще не вилно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человёкъ сумёлъ бы расчесть выгоды такога брака въ царствование Грознаго; но геній, можеть быть, и не рышился бы на такой расчеть, тая въ себъ огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому

народу, владыкой котораго впоследствін едёлался Годуновъ. Повторяемъ: расчеть тонкій, хитрый, но не геніальный; въ немъ впденъ придворный питриганъ, а не будущій великій государь... Годуновъ ділается зятемъ наслъдника, а по смерти Грознагочленомъ верховной думы, п Грозный ему въ особенности, мимо старинихъ бояръ, завыцаль блюсти царство. Никакія выдымы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его голов' было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастье онъ могъ припять за лучшее изъ всёхъ предсказаній! Онъ уничтожилъ верховную думу и офиціально быль названь правителемъ государства: голько для вида подаваль голось въ царской думь, но рышаль всь дыла самовластно, принималь пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свить цъловать свою руку... На тронъ сидълъ царь по имени, молчальникъ и молелыцикъ въ сущности, который вручиль своему родственнику и любимцу всю властъ свою, «избыван мірскія суеты и докуки»... Чего недоставало Годунову?-только престола... И онъ достигь его.

Какъ правитель и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ миого ума и много способности, но нисколько генія. Въ томъ и другомь случав это быль не больше, какъ умный и способный министръ,-но не Сюлли, не Кольберъ, которые умъли открыть новые источники государственной силы тамъ, глъ никто не подозраваль ихъ: нёть, это быль министръ, который съ успъхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колев, на основаніп сохраненія statu quo. Насильственная смерть царевича, -- кто бы ни быть ея причиной,--уже бросила на него тынь подозрвнія въ глазахъ народа, и это подозрвніе всьми сплами возбуждали и поддерживали враги его-бояре, которые естественно никакъ не могли простить ему присвоение того, на что каждый изъ нихъ считаль себя точно въ такомъ же, какъ п онъ, правъ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вноситъ новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управлялъ не отъ своего имени. Подобная попытка могла бы разстроить вев его планы и погубить его. Но когда снъ одълался царемъ, —тогда онъ непремънно должень быль явиться реформаторомь-зиждителемъ, чтобъ заставить и народъ, и враговъ своихъ-бояръ-забыть, что еще недавно быль онъ такимъ же, какъ и они, подданнымъ. Но что же онъ сделалъ для Россіи, сдълавшись ея царемъ? - и какимъ царемъ-самовластнымъ, воля котораго для карода была воля Божья! Чего бы нельзя было сдёлать съ такой властью, подкрепляемой геніемъ! Но и сдёлавшись царемъ, Го-

дуновъ остался тъмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Өеголь. Надъ окружающими его боярами онъ имълъ личныхъ преимуществъ не больше, какъ на столько, чтобъ оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность н посредственность, но не настолько, чтобъ покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода. Онъ ловко разыграль комедію, по счастливому выраженію Пункина, «морщившись передъ короной, какъ пьяница передъ чаркой вина»; онь заставиль себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживаль какой-то ужась кь мысли о верховной власти, и долго заставляль себя умолять. Но эта комедія даже черезчуръ тонко была разыграна, и въ ней проглядываетъ не образъ великаго человѣка, который всегда прямо идеть къ своей цёли, даже и тогда, когда идетъ въ ней не примой дорогой, а образъ «маленькаго великаго человька», смылаго интригана. Это сейчась же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рѣшено, и вѣнчаніе осталось уже только обрядомъ, который не онасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запіль «Те Deum»: въ этой поспътности виденъ великій человікь, достагшій своей ціли и принимающій власть не какъ нищій копейку, съ низкими поклонами, но съ увъренностью н гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сикстъ не началъ разсыпаться въ объщаніяхь: буду-де таковъ-то и таковъ, сдълаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дълать, никому не угождая, ни къ кому не подлаживаясь, и заставляя трепетать тъхъ, которые никого не трепетали и которыхъ всв трепетали... Не такъ поступиль Годуновъ. При вѣнчаніи на царство онъ клянется быть отцомъ народа, показываеть свою рубашку, говоря, что всегда будеть готовь раздёлить ее съ последнимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требоваль оть него этихь объщаній и клятвъ? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезмърная радость о достижени давно желанной цёли, если не благодарность, рожденная этой радостью, - благодарность за блестящее бремя не по силамь, за великое титло не по достоинству, за высшую власть не по заслугъ?... Не такъ принимаетъ подобную власть геній, великій человікь: онъ береть ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дёлая объщаній, не давая клятвъ въ порывѣ дурно скрытаго восторга. Вскорѣ послѣ Годунова

въ русской исторіи снова новторилось зрілище объщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій въ благодарность за корону, которой онъ сознавалъ себя внутренно недостойнымъ, предлагаль боярщинь права, которыхь она оть него не просила и взять не хотьла... Но вотъ Годуновъ-дарь. Ласкамъ народу ньтъ конца, милости на всьхъ льются ръкой... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, внимание на массу народа, на его низиній и, следовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нажная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь. Народъ долженъ бы былъ боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ вськъ бывшихъ до него царей русскихъ... Въ такомъ случав, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Опъ могъ спокойно презирать ее: на стражв его стоила лучшая и надеживащая изъ всъхъ инвейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій — любовь народная... и въ самомъ дъль, народъ славилъ царя благодушнаго, ласковаго, правосуднаго, мплостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова-и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головъ только, а не въ сердцъ: умъ и воображение народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борись удвояеть свои благодьянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Бориса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, твиь убитаго паревича начала его преследовать; Борисъ дылаеть счастливый отпорь наглому нашествію на Россію крымскаго хана, проникшаго до станъ самой Москвы, а народъ говорить, что самъ Борисъ призвалъ хана, чтобъ отвратить общее внимание отъ смерти царевича и дешевой ціной прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмінилъ его дівочкой; а когда маленькая царевна умерла, прощелъ слухъ, что Годуновь отравиль ее, боясь, чтобъ Өедоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Ворпсъ казнилъ зажигателей в помогь погорывшимъ; а народъ обвиняль его самого въ зажигательствъ п жальль о казненныхъ, какъ о певинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преследовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могь онъ выдуматьэто значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали

бояре; но народъ ловелъ ихъ жаднымъ ухомъ.

Но вотъ вънчание на царство ослъпило народъ: и Борисъ, и самъ народъ приняли удивленіе за любовь... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержаль своей роли и сорваль съ себя маску, не имън силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собой Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ, это презрънный, подлый брать его-Семенъ Годуновъ. Ласкан и награждая явно, онъ мучитъ и казнитъ тайно, и все по поводу слуховъ, все по подозрѣнію въ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умысловъ. Бъльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаетъ снова, выщинавъ ому всю бороду по одному волоску, -- какое татарское наказаніе!.. Тюрьмы были набиты биткомъ, шпіонство сдёлалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большей частых все умирали скоропостижно; этотъ человъкъ нн умьль быть даже тпраномь открыто, какъ Грозный, и тиранствоваль во мракъ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россін; народъ гибнеть тысячами, шайки разбойниковъ грабять и рѣжутъ безнаказанно; Ворисъ строго наказываетъ скупщиковъ хліба, сыплеть на народъ деньгами, даетъ пріютъ голоднымъ и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ, строить башию Ивана Великаго, чтобъ дать народу работу, - словомъ, онъ честно, върно псполняеть свою клятву-дылить съ народомъ последнюю рубашку свою... И все напрасно, все тщетно!.. Проносятся слухи о Самозванцъ; наконецъ, Самозванецъ уже поддерживается Польшей, пдетъ въ Россію, къ нему передаются русскіе толпами; а Годуновъ ничего не дълаетъ, ничего не предпринимаетъ, онъ только собпразтъ и жжетъ манифесты Самозванца и требуеть отъ Шуйскаго клятвы, что царевичь точно умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могь бы раздавить Самозванца-и палъ подъ его ударами. Подозрѣваютъ, что онъ отравилъ себя ядомъ: можетъ быть; но также можетъ быть, что онъ умеръ скоропостижно отъ страшнаго напряженія силь, вслёдствіе внутреннихъ волненій. Въ обоихъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извѣстіе о Самозванцѣ Годуновъ приняль даже очень холодно; этс можеть служить доказательствомъ не одному тому, что онъ быль увъренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служить доказательствомъ, какъ мало онъ былъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положеніе. Онъ бы долженъ знать, что тінь царевича-самый ужасный врагъ его во всякомъ случав, былъ онъ убійцей царевича, или нътъ: въ первомъ случат эта тънь была его неизбъжной карой за преступленье; во второмъ-она была превосходнымъ предлогомъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова: но если народъ не любилъ его-этого было уже слишкомъ достаточно, чтобъ для народа преступленіе его было ясиће дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличв съ матерыю, - на него никто не обращаль випманія: вёдь онъ быль плодомъ седьмого брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждалъ ни участія. ни уваженія, Прозный хотель ее отослать отъ себя и жениться въ восьмой разъ, но смерть пом'вшала ему выполнить это нам'вреніе. Когда же царевичь быль убить, и народная ненависть запылала, - младенецъ, святой мученикъ, сдедался предметомъ народнаго благоговънія...

На всъхъ дъйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучинхъ, лежитъ печать отверженія. Всъ дъла его неудачны, не благодатны, потому что всв они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а расчетомъ, и потому въ-ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народъ не обманулся ею и отвътилъ на нее ненавистью. Удивительное существо - народъ! Почти всегда невъжественный, грубый, ограниченный, слъпой, - онъ непограшительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту-не болѣе, и кто не любить его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его,-тотъ можетъ осыпать его деньгами, умирать за него, - онъ будеть имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любить его не по расчету, а по внутренней инстинктуальной потребности любить, тоть можеть итти вопреки всымь его желапіямъ, — и за это народъ будеть его осуждать, будеть на него роптать и въ то же время будеть любить его. Какъ Годуновъ служить живымъ доказательствомъ первой истины, такъ Пегръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумаль страшную реформу, ношель наперекоръ духу, преданіямъ, исторіи, обычаямъ, привычкамъ народа, - и не только умивишіе изъ людей его времени имали полное право смотрѣть на его реформу, какъ на сам; ю несбыточную в противную здравому смыслу фантазію, по, вфронтно, и у него самого бывали горькія мпнуты сомпанія и разочарованія, когда и самъ онъ думалъ то же. Реформа его встретила сильную оппозицію - не со стороны только мятежныхь стрыльцовь и невыжественных раскольни.

ковъ: эта оппозиція была слишкомъ безсильна передъ его двойнымъ правомъ дъйствовать самовлаетно-правомъ наследства и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ палатей лени и невъжества станилъ онъ на трудъ живой п дъятельный. Народъ, повінуясь ему безусловно осуждаль его дійствія и ронталь на него, по вмфстф съ тфмъ и любилъ его до готовности отдать за него последнюю каплю своей крови... Между темъ Петръ никогда не ділалъ ему обіннацій, не давадъ клятвъ, но шелъ гордо и прямо, требуя повпновенія, а не умоляя о немъ; но зато все объщанное народу Годуновымъ онъ исполнялъ на дѣлѣ, п еще гораздо лучше, потому что действоваль въ этомъ случат не по расчету, а по влеченію сердца... Таковъ геній: затіявь діло, которое, по воймь расчетамъ человъческой мудрости, не могло не казаться безуміемь, онь доводить его до конца, торжествуя валь всеми препятствіями... Въ чемъ состоитъ тайна этого усиъха? — въ творческой силъ, присущей организму генія, какъ пистинктъ, больше ни въ чемъ! Геній часто действуеть инстинктивно, безумно, и всегда успъваеть, между тёмъ какъ талантъ разсчитываетъ върно, соображаетъ тонко, дъйствуетъ мудро, — всѣ это видятъ и всѣ одобряютъ его цёль и средства, никто не сомнъвается въ успъхъ, -а между тъмъ, глядь, - вся эта мудрость сама собой обратилась въ безуміе, п великолбиное зданіе, воздвигавшееся съ такимъ ту у юмъ, очутилось карточнымъ домикомъ: дунулъ вътеръ-и пътъ его... Вотъ талантъ, который берется за роль генія...

Борисъ Годуновъ не былъ человъкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ, напротивъ, это былъ человъвъ ума великаго, который палой головой стояль выше своего народа. Борись быль даже выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ ръшился онъ выдать дочь за иностраннаго и иновтрнаго-приниа; говорять, хотель и сына женить на иностранной принцессь; это вовленло бы Россию въ болве живыя и плодотворныя отношенія съ Европой, нежели въ какихъ она была съ ней до того времени, и потому имъло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борисъ уважалъ просвъщение, тщательно, сколько было въ его средствахъ, воспитывалъ дътей своихъ, особенно сына: хотелъ основать въ Москвъ университеть и посладъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ понять необходимость опереться преимущественно на любовь народа, и показываеть, какъ уменъ былъ этотъ несчастный любимецъ счастья. Но всѣ предпріятія его не состоялись, именно потому (а не почемукритическія статьи.

нибудь другому), что у него былъ только умъ и даровитость, но не было геніальности, -тогда какъ судьба поставила его въ такое положение, что геніальность была ему необходима. Будь онъ законный, наслёдный царь, -- онъ быль бы однимъ изъ замѣчательнайшихъ нарей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить statu quo, улучшая, но не изміняя его,—а для этого и безъ геніальности достало бы у него ума и способности-и онъ много сдълалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ быль выскочка (рагуени) и потому долженъ быль быть геніемь или пасть-и паль... Ведя Русь по старой колев, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колев, потому что старая Русь не могла простить ему того, ято видела его бояриномъ прежде, чемъ увидела царсмы своимъ. Чтобъ утвердиться самому на престолъ и упрочить его за своимъ нотомствомъ, ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой иден, никакого принципа. Онъ быль только умнъе своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь, доказательство-его тиранія и борода Бѣльскаго... А между тымь онь чувствоваль, что по его положению ему необходимо быть преобравователемъ, но вмісті съ тімь, какь чело-≥ькъ не геніальный, думалъ, что для этого достаточно только прибавить кое-что новаго. И воть онь учреждаеть въ Москвъ патріаршій престоль и сажаеть на него не лучшаго, а преданнъйшаго изъ духовныхъ лицъ, который и короноваль его впоследствии. Это пововведение было совершенно въ духъ того времени, - новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видѣлъ за нимъ... Другое нововведение было еще болье въ современномъ ему духъ, и по тому самому было вредно для Россін того въка и для новой Россіи, и гибельно для самего Годунова: мы говоримъ о томъ законь Годунова, который увьковычень русской пословицей: «Вотъ тебъ, бабушка, и Юрьевъ день!» Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражиль обв стороны, которыхь оно касалось, — и пом'ящиковъ, и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могутъ теперь выснать изъ своего помъстья льниваго или развратнаго холопа и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не дълаетъ, или за то, что онъ воруетъ и пьетъ. Вторые--говоря языкомъ римскаго права, изъ personae сдълались res. Значить, до Годунова у насъ не было криностного сословія, и въ этомъ отношеніц не мы у Европы, а Европа у насъ могла бы съ большой для себя пользой позаимствоваться. Вместо крепостного права, у насъ было только помъстное право—право владъть землей и обрабатывать ее руками пролетаріевъ на свободныхъ съ ними условіяхъ, обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ быль такъ въ духѣ тѣхъ временъ, что утвердился и укоренился надолго — до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово «рабъ» и измънившей положеніе этого сословія. И вотъ чъмъ пережилъ себя Годуновъ въ потомствь...

У великаго человъка и сердце великое. Идя своей дорогой и енираясь на свою силу, онъ ничего не бонтся; онъ разить своихъ враговъ, но не мститъ имъ; въ ихъ паденіи иля него заключается торжество его дела, а не удовлетвореніе обиженнаго самолюбія. Петръ Великій умінь карать враговъ своего дела и умель прощать личныхъ враговъ, если видълъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не діломъ личнаго міценія, и онъ каралъ открыто, среди бълаго дня, но не отравлялъ во мракъ; принявъ публично доносъ, публично изследовалъ дело и публично наказывалъ, если доносъ оказывался справедливымъ. Когда бунтъ стрелецкій заставиль его воротиться изъ путенествія, - кровь стрільцовъ лилась рікой въ глазахъ грознаго царя, и онъ не боялся показаться тираномъ, потому что не быль имъ. Не такъ дъйствовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надъясь даской п милостью обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятные о себѣ толки; но, видя, что это не дъйствуеть, -- не вытерпѣль, и тогда настала эпоха террора, шпіонства. доносовъ, пытокъ и скоропостижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, п потому онъ не могъ не мучиться подозръніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ миденіемъ и, наконецъ, не сдълаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замъчательный, а не великій человікь, умный и талантливый администраторъ, но не геній.

Итакъ, върно понять Годунова исторически и поэтически—значитъ понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ—виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или невиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человъкомъ, тогда какъ его положеніе непремънно требовало отъ него геніальности. Это просто и ясно.

Отчего же не поняль этого Пушкинъ? Или недостало у него художнической проницательности, поэтическаго такта?—Нътъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и бегусловно покорился ему. Вообще падобно замътить, что чъмъ большь покималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тъмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношении. Пушкинъ былъ слиш-

комъ русскій человікь, и потому не всегда вкрно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобъ что-нибудь верно оценить разсудкомъ, необходимо это что-нибунь отдълить отъ себя и хладнокровно посмотреть на него, какъ на что-то чуждое себь, внь себя находящееся,-а Пушкинъ не всегда могь дёлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напримъръ, опъ въ душт былъ больше помъщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря въ своихъ запискахъ о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждаетъ одного изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ собернымъ двяніемъ объ уничтоженіи мъстинчества. Первыми своими произведеніями онъ прослыль на Русп за русскаго Бойрона, за человъка отрицанія. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить болъе анти-байронической, болье консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Веноминая о тыхь его «стинкахь», которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,-нельзя не улыбиуться ихъ дътской певинности и не воскликнуть:

То кровь кипить, то силь избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думають. Пора его «стинковъ» скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ, что ему надо быть только художникомъ, и больше ничъмъ, ибо такова его натура, а следовательно, таково и призвание его. Онъ пачаль съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, совътуя ему лучше докончить «Илью Богатыря», нежели приниматься за исторію Россіи, а кончилъ тімъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написаль подъ вліяніемъ этого историка и посвятиль «драгоценной для россіянъ намяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ его вдохновенный.» Нельзя не согласиться, что есть чтото офиціальное и канцелярское въ самомъ складь и языкь этого посвященія, написаннаго по Ломоносовской конструкців, съ завътнымъ «сей». Кстати о сихъ, оныхъ и таковыхъ: Пушкинъ всегда употреблялъ ихъ по любви къ преданію, хогя къ его сжатому, опредъленному, выразительному и поэтическому языку они такъ же илохо шли, какъ грязныя пятна идуть къ модному платью свътскаго человъка, собравшагося на балъ. Но когда «Библіотека для Чтенія» воздвигала гоненіе на эти «старопечатныя» слова, Пушкинъ еще болье, еще чаще началъ употреблять ихъ къ явному вреду своего слога. Въ этомъ поступкъ не было духа противоръчія, ни на чемъ неоснованнаго; напротивъ, туть действ в иль духъ принципа - сленого уваженія къ преданію. Если уваженіе ку

преданію такъ сильно выразилось въ отнощешін къ симъ, онымъ, таковымъ и коимъ, то естественно, что оно еще сильнъе цолжно было проявляться въ Пушкинъ въ отношении къживымъ и мертвымъ авторитегамъ русской литературы. Пушкинъ не зналъ, какъ и возвеличать поэтическій талантъ Баратынскаго, и видёлъ большого поэта даже и въ Дельвигъ; Катенинъ, по его мивнію, воскресилъ величавый геній Корнеля-безділица!.. Изъ старыхъ авторитетовъ Пушкинъ не любиль только одного Сумарокова, котораго очень неосновательно ставилъ инже даже Тредьяковскаго. Всякая сколько-нибудь рвзкая, хотя бы въ то же время и основательная критика на известный авторитеть огорчала его и не нравилась ему, какъ посягательство на честь и ставу родной литературы. Но въ особенности не знало мѣры его уважение и, можно сказать, его благоговьніе къ Карамзину, чему причиной отчасти было и то, что Пушкинъ былъ окруженъ людьми Карамзинской эпохи и самъ былъ воспитанъ и образованъ въ ея духв. Если онъ мощно, победоносно выходиль изъ духа этой эпохи, то не иначе, какъ поэтъ, а не какъ мыслящій челов'вкъ, и не мысль дізала его великимъ, а поэтическій инстинктъ. Конечно, Пушкина не могли бы такъ сильно покорить мелкія произведенія Карамзина, и Пушкинъ не могь находить особенной поэзія въ его стихотвореніяхъ и пов'єстяхъ, не могъ особенно увлечься пріятнымъ и сладкимъ слогомъ его статей и ихъ и правлениемъ; но Карамзинъ не одного Пушкина, - нъсколько покольній увлекъ окончательно своей «Исторіей Государства Россійскаго», которая имыла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до гого проникнулся имъ, что сделался решительнымъ рыцаремъ «Исторіи» Карамзина и оправдываль ее не просто какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, л осгаться такимь навсегда.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрѣль на Годунова глазами Карамзина, и не столько заботился объ истинѣ и поэзіп, сколько о томъ, чтобъ не погрѣшить противъ «Исторіи Государства Россійскаго»? И потому его поэтическій инстинкть виденъ не въ цѣлости (l'ensemble), а только въчастностяхъ его трагедіп. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго элодѣя, мучимаго совѣстью, лишилось своей цѣлости и полноты; изъ живописнаго изображеця, какихъ бы должно было оно быть, оно сдѣлалсс мозаической картиной и

лучие сказать, статуей, которая вырублена не изъ одного цъльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, меди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого Пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ человъкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодвемъ, и нътъ другого ключа къ этимъ противорвчіямъ, кромв упрековъ виновной совъсти... Отъ этого, за отсутствіемъ истинной н живой поэтической идеи, которая давала бы цёлость и полноту всей трагедіи, «Борисъ Годуновъ» Пушкина является чьми.-то неопределеннымъ и не производитъ почти никакого резкаго, сосредоточеннаго впечатлівнія, какого въ праві ожидать отъ нея читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотами, безпрестанно восхищающійся ея удивительными частностями.

И дъйствительно, если, съ одной стороны эта трагедія отличается большими недостатками, то, съ другой стороны, она же блистаеть и необыкновенными достоинствами. Первые выходять изъ ложности идеи, положенной въ основание драмы; вторыя-взъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ будто не умълъ, если бъ п хоталь, и дурную идею воилотить не ва превосходную форму. Прежде всего спросимъ всёхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ русскей литературой до Пушкинскаго «Бориса Годунова», изъ русскихъ читателей или русскихъ поэтовъ и литераторовъ, имълъ ли кто-нибудь какое нибудь понятіе о языкь. которымъ долженъ говорить въ драмѣ русскій человікь до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послъ «Бориса Годунова» явидась ди на русскомъ языкъ хотя одна драма, содержание которой взято изъ русской исторіи, и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили порусски? И читая всьхъ этихъ «Ляпуновыхъ». «Скониныхъ-Шуйскихъ», «Баторіевъ», «Іоанновъ Третьихъ», «Самозванцевъ», «Царей Шуйскихъ», «Еленъ Глинскихъ», «Пожарскихъ», которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столътія наводнили русскую литературу и русскую сцену, - что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появлявшихся до Пушкинскаго «Бориса Годунова»: чего же можно и требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всёхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже посль «Бориса Годунова»? II не можно ли подумать скоръе, что это немецкія пьесы, только переложенныя на русскіе нравы?-Словно гигантъ между пигмеями до сихъ поръ высится между множествомъ quasi-русскихъ трагедій

Пушкинскій «Борист Годуновъ», въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величии строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикой похвалъ и удивленія на сцену въ кельв Чудова монастыря между отцемъ Пименомъ и Григорьемъ... Въ самомъ делъ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналь года за четыре или льтъ за иятъ до появленія всей трагедін, и поторая тогда же надълала много шума, - эта сцена въ художественномъ отношении, по строгости стиля, по неподдъльной и неподражаемон простотъ, выше вскуъ похвалъ. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда не бывалое, инкъмъ непредчувствованное. Правда, Ппменъ ужъ слишкомъ идеализированъ въ его нервомъ монологѣ, и потому чімь болье поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тімъ болте грышить авторъ противъ истины и правды дъйствительности: не русскому, но и никакому европейскому отшельнику-лътописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли-

Свидътелемъ Господь меня поставилъ И кинжному некусству вразумилъ: Когда-инбудь монахъ трудолюбивый Найдеть мой трудъ усердный, безымянный;- Засоттить онъ, какъ я, свою лампаду, И пыль въковъ отъ жартій отряжнувъ, Правдивыя сказанья перепишетъ.

На старости я сызнова живу; Минувшее проходить предо мною— Давно ль оно неслось, событій полно, Волнуяся, какъ море-океань? Теперь оно безмольно и спокойно: Немного лиць мнъ память сохранила, Немного словъ доходить до меня А прочее погибло безвозвратно.

Ничего подобнаго не могь сказать русскій отшельникъ-лѣтописецъ конца XVI и начала ХУП въка; слъдовательно, эти прекрасныя слова - ложь, но ложь, которая стоить истины: такъ исполнена она поэзіп, такъ обаятельно дъйствуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родъ сказали Корнель и Расинъи однако жъ просвъщеннъйшая и образованнъйшая нація въ Европъ до сихъ поръ рукоплещеть этой поэтической джи! И де диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мъста и нравовъ есть истина относительно человъческаго сердца, человъческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотрѣть на свое призванье, какъ лътописецъ; но если бъ въ его время такой взглядь быль возможень, Пименъ выразился бы не иначе, какъ именно такъ, какъ заставиль его высказаться Пушкинь

Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены рѣшптельно все, что можно осуждать какъ ложь въ отношени къ русской дѣйствительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко вѣрно и торической истинѣ, какъ только могъ это сдѣлать лишь геній Пушкина — истинно-націона: в чаго русскаго поэта. Какая. напримѣръ, глубоко вѣрная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да въдають потомки православныхъ Земли родной минувщую судьбу, Свеихъ царей великихъ поминаютъ За ихъ труды, за славу, за добро— А за гръхи, за темпыя дъянья Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще въ этой сценѣ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Инмена и Григорыя; одинъ— идеалъ безмятежнаго спокойствія въ простотѣ ума и сердца, какъ тихій свѣтъ лампады, оза; яющей въ темномъ углу иконы византійской живописи; другой—весь безпокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же греза. Проспувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ иншетъ свою лѣтопись, — и въ это время рисуетъ идеалъ историка, который въ то время былъ невозможень, другими словами, выговариваетъ превосходивйшую поэтическую ложь:

Ни на четь высокомъ, ни во взорахъ Нельзя прочесть его сокрымыхъ думъ; Все тоть же видъ смиренный, величавый, Такъ точно дъякъ, въ приказахъ носъдълый, Спекойно зрить на правыхъ и виновныхъ, Дебру и злу внимая равнодушно, Не въдая ни жалости, ни гизва.

Затемъ онъ разсказываетъ старцу о «бесовскомъ мечтанін», смушавшемъ сонъ его:

Мив сиплося, что явстинца крутая Меня вела на башню; съ высоты Мив видълась Москва что муравейникъ; Винзу народъ на илощади кинвлъ И на меня указывалъ со емъхомъ; И стыдно меъ, и сгращно становилось, И, надая стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій Самозванецъ... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Вотъ еще два монолога—факты глубоко вѣрнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играеть; Смпряй себя молитвой и постомъ, И сны твои видъній легкихъ будутъ Исполнены. Допынъ—если я, Невольною дремотой обезсиленъ, Не сотворю молитвы долгой къ ночи— мой старый сонъ не тихъ и не безгръшенъ; миъ чудятся то шумные пиры, То ратный станъ, то схватки боевыя, Везумныя потъхи юныхъ лътъ!

Григорій.

Какъ весело провель ты свою младосты Ты воеваль подъ башиями Казани, Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ, Ты видълъ дворъ и роскошь Іоанна! Счастливъ! а я отъ отроческихъ лътъ По келіямъ скитаюсь, бъдный инокъ! Зачъмъ и мив не тъшиться въ бояхъ, Не пировать за царскою транезой? Успълъ бы я, какъ ты, на старость лътъ Отъ суеты, отъ міра отложиться, Произнести монашества обътъ И въ тихую обитель затвориться.

Слъдующій загьмъ длинный монологъ Пимена о суетъ свъта и проимуществъ затворнической жизни-верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнеть! Ничья, никакая исторія Россіи не дасть такого яснаго, живого соверцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсуждение отшельника. Картина Іоанна Грознаго, пскавшаго успоксенія «въ подобін монашескихъ трудовъ»; характеристика Өеодора и разсказъ о его смерти,все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до:Петровской эпохи! Вообще вся эта превосходная сцена сама себъ есть великое художественное произведение, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторін, если ужъ оніз должны писаться, —и если не всегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературъ, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который посль Пушкина могь бы подвизаться на этомъ поприщь?.. А при этомъ еще пельзя не подумать, не истощиль ли Пушкинъ своей трагедіей всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только-съ другими именами и названіями повторить одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно однообразнымъ?..

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоить изъ отдільныхъ частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто пезависимо отъ цілаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ, который созданъ Шекспиромъ. Кромъ превосходной сцены въ Чудовомъ монастыръ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть мпого прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая—въ кремлевскихъ палатахъ между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически, и поэтически върно обрисо-

ванъ характеръ Шуйскаго: вторая—сцена народа и дьяка Щелканова на площади; третья—въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, натріархомъ и боярами. Въ этой сценѣ превосходно обрисовано добросовъстное лицемърство Годунова,—въ томъ смыслѣ добросовъстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всѣхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдѣ характеръ послъдняго все болье и болье развивается, его слова—

Теперь не время помнить, Совътую порой и забывать,—

такъ оригинальны, что должны со временемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родъ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патріархомъ и игуменомъ, написанная прозой: это одинъ изъ драгоцъппъйшихъ перловъ трагедіи.

Мы уже говорили по поводу шестой сцены о цёлой трагедіи: въ ней Борисъ является влодёмь, сперва сваливающимъ вину своихъ неудачъ и оскорбленій на неблагодарность народа, и после разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совесть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно драматическіе злоды инкогда не разсуждають сами съ собой о мевыгодахъ нечистой совести и о притности добродётели. Вмёсто этого они действують, чтобъ дойти до цёли или удержаться у ней, если уже донли до пея.

Седьмая сцена въ корчмъ на литовской границъ превосходна. Жаль только, что желаніе выказать ръзче дерзость Отреньева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедін принадлежить восьмая—въ домъ Шуйскаго. Превехолно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современшковъ. Выше мы уже выписали этотъ монологъ.

Слёдующая затёмъ большая сцена представляеть собой двъ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примърный семьининъ, иъжный отецъ; онъ утёпаетъ дочь, овдовъвшую невъсту, говоритъ съ сыномъ о сладкомъ илодъ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно,—и Борисъ является въ этой сценъ во всемъ свътъ своихъ дучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленіи Самозванца. Странное волненіе, об паруженное Борисомъ при этомъ извъстін,

основано поэтомъ на виновной совъсти Годунова, — и его поспъшность къ рышительнымъ
мърамъ противоръчитъ исторической истинъ:
извъстно, что Годуновъ вначалъ принялъ
слишкомъ слабыя мъры противъ Отрепьева,
въроятно, не считая его за опаснаго врага.
Но, если смотръть на эту сцену съ точки зрънія Пушкина, въ ней много драматическаго
движенія, много страсти. Борисъ въ страшномъ волиенія, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что волненіе можетъ ему стоить головы, ни на минугу не
перестаетъ быть придворной лисой.

Сцена въ Краковъ, въ домъ Вишпевецкаго, между Самозванцемъ и іезуптомъ Черпиковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы—«сыны славянъ», некстати вложенной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдъ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ поликомъ Собаньскимъ и поэтомъ,—не представляетъ никакихъ особенно ръзкъхъ чертъ.

За маленткой, но прелестной сценой въ замкі Миншка въ Самборт следуеть знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванетъ является удальцомъ, который готовъ забыть свое дъло для любви, а Марина - холодной, честолюбивой женицией. Вообще эта сцева очень хороша; по въ ней какъ будто чего то недостаеть или какъ будто проглядывають какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тёмь не менте прогз водять на читателя не ссв вы выгодное для сцены впечатлъніе. Кажется, не преувеличилъ ди поэтъ дюбовъ Самозванца къ Маринъ, не сдълолъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человъка какую-то глубокую страсть? Самозванець въ этой сценъ единикомъ псидененъ и благороденъ; порывы его саншкомъ чисты: въ нимъ не видно будущаго растителя несчаствой дочери Годунова... Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванна, его безумное признание передъ Мариной въ самозванствъ совершенно въ его характерь, пылкомъ, отгажномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но ръшительно и спесобномъ ни на что веннюе, ни на какой глубоко обдуманный планъ; совершенно въ его характеръ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характеръ человъческое чувство любви къ женщинъ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценъ.

Спена на литовской границь между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламаціи, выдаваемой за павосъ, что трудно повърить, чтобъ она была написана Пушкирымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патріархомъ и боярами, можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрвнін на участіє Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее пначе, она покажется искусственной, и потому ложной. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшія черты: это рѣчь патріарха о чуреахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи стараго настуха отъ слѣноты. Вторая черта — ловкій обороть, которымъ хитрый Шуйскій выводить Годунова изъ замѣшательства, въ какое приведо его неожиданное предложеніе патріарха.

Спена на равнивъ, близъ Новгорода-Съверсият, опетъ интересна своей живостью, характеромъ Мержерета и даже нестрой смъсью языковъ и лицъ. Спена юродивато на кремлевской идощади можетъ бытъ соигена даже за превосходную, но только съ Иушкинской точки эръня на виновную совъсть Бориса. Въ сценъ подъ Съвскомъ Самозватець обрисованъ очень удачно, особенно хорона эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо мив какъ судять въ вашемъ станъ?

А говорять о милости твоей. Что ты-дескать (будь не во гићвъ) и воръ, А молодецъ.

Самозванецъ, *слъясь*. Такъ это я на дълъ Имъ докажу.

Въ сценъ въ царскихъ палатахъ, между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свътъ. Годуновъ сбирается уничтожить мъстипчество (!!). Басмановъ этому, разумъется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно рышаетъ:

Нътъ, милости не чувствуетъ народъ. Твори добро—не скажетъ онъ спасибо; Грабь и казни—тебъ не будетъ хуже.

Басмановъ за ът величаеть его «высокимъ державнымъ духомъ», желаеть ему поскорѣе управиться съ Отрепьевымъ, чтобъ потомъ «сломить рогъ родовому боярству». Но вотъ Борисъ умираеть, вотъ даеть онъ поствднія наставленія своему наслѣднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?— Изъ нихъ замѣчательно только одно:

Не измъняй теченья дълъ. Привычка— Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, виденъ царь умиый, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если бъ престолъ достался ему по праву наслъдія, —но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобъ усидъть на захваченномъ тронъ...

Крикъ мужика на амвоиф лобнаго мъста «вилать Борисова щенка» ужасенъ; - это голесъ всего народа или, лучше сказать, го лосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ неечастнаго честолюбца. взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремвино хотьль туть выразить голось судьбы, обрекшей на гибель родъ злодия, цареубійцы... Можеть быть, это было такъ; но спраниваемъ: который изъ Годуновыхъ болье грагическое лицо-цареубійца, наказанный за злодъянія, или достойный человічсь, чадній за недостаткомъ геніальности? Трагическое лицо непременно должно возбуждать кь собъ участіе. Самъ Ричардъ III, -- это чудовище влодейства, возбуждаеть къ себъ участіе пеполинской мощью духа. Какъ злодей, Борисъ не возбуждаеть къ себѣ инкакого участія, потому что онъ-злодьй мелкій, малодушный; но, какъ человъкъ замвчательный, такъ сказать, увлеченный судьбой взять роль не по себь, онъ очень и очень в збуждаеть къ себъ участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалфень о немъ...

Превосходно окончаніе трагедін. Когда Мосальскій объявиль народу о смерти дѣтей Годунова, — «народь въ ужасѣ молчить»... Отчего же онъ молчить? развів не самъ онъ хотѣль гибели Годуновскаго рода, развів не самъ онъ кричаль: «вязать Борисова щенка»... Мосальскій продолжаеть: «Что жъ вы молчите? Кричите: да здравствуеть царь Димитрій Ивановичь!»—«Народъ безмолвствуеть».

Это послёднее слово трагедін, заключающее въ себё глубокую черту, достойную Пексипра... Въ этомъ безмолвін народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новой жертвой—надъ тёми, кто погубиль родъ Годуновыхъ...

## XT.

Домикъ въ Коломиъ. — Родословная моего Героя (отрывокъ изъ сатпрической поэмы).-Мъдный Всадникъ.—Галубъ.—Египетскія ночи. — Анджело. — Сцена изъ Фауста. — Пиръ во время чумы. — Моцартъ и Сальери. - Скупой Рыцарь. - Русалка. - Каменный Гость. - Сцены изъ рыцарскихъ временъ. - Сказки: о Царъ Салтань; о Мертвой Царевнъ и о Семи Богатыряхъ; о Золотомъ Пътушкъ; о Рыбакъ и Рыбкъ; о Купцъ Кузьмъ Остолопъ и о Работникъ его Балдь - Повпети: Арапъ Петра Великаго; Повъсти Бълкина; Пиковая Дама;-Капитанская дочка; Дубровскій. — Льтопись села Горохина. - Кирджали. - Исторія Пугачевскаго бунта. - Журнальныя статьи. - Заключеніе.

При разборѣ остальныхъ сочиненій Пушкина, о которыхъ нами не еще говорено, мы нъсколько отступимь отъ того хронологическаго порядка. въ какомъ ноявлялись въ свътъ эти сочиненія, чтобы, окончивъ съ поэмами, драматическія произведенія обозръть вмъстъ.

«Домикъ въ Колемиъ» — игрушка, еделанная рукой великаго мастера. Несмотря на видимую незначительность ея со стороны содержанія, эта шуточная повість тімь не менье отличается большими достоинствами со стороны формы. Остроты, шутки, разсказъ. въ одно время и легкій, и занимательный, мъстами проблески чувства, на всемъ какойго особенный колорить и, наконецъ, превосходный стихъ-все это тотчасъ же обличаеть великаго мастера. Когда нечанино попадается вамъ подъ руку эта, теперь уже столь старая пьеса, и взоръ вашъ небрежно падаеть на первую попавшуюся строфу или стихъ, -- все равно, съ начала это или съ середины, не только вы незамѣтно для самого себя непремънно прочтете до конца, п на душт вашей отъ этого чтенія останется впечатлъние легкое, но невыразимо сладостное, хотя бы вы уже сто разъ читали и перечитывали эту пьесу прежде. Многихъ удивить подобное мивніе; но «Домикъ въ Коломнъ» мы считаемъ однимъ изъ замъчательныхъ произведеній, въ которомъ, подъ дегкой, небрежной формой и при видимой незначительности содержанія, скрыто много покусства. Эта пьеса доказываеть ту простую истину, что жизнь, лишь бы искусство върно воспроизводило ее, всегда высоко для насъ занимательна, и что люди, ищуще въ произведеніяхъ искусства только эффектныхъ сюжетовъ, не понимають ни жизни, ни искусства. Поэтическія произведенія такъ же имьють свой колорить, какъ и произведенія живописи, и если колоритъ въ картинахъ принтся такъ высоко, что иногда только онъ одинъ и составляеть все ихъ достоинството такъ же точно колорить долженъ цѣниться и въ поэтическихъ произведенияхъ. Правда, онъ меньше всего доступенъ большинству читателей, которые по обыкновенію прежде всего хватаются за содержаніе, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжинныя произведенія принимаются ими за великія, а великія—за дюжинныя. Мы ув'ьрены, что есть много читателей, которымъ «Домикъ въ Коломив» очень нравится, но которые твиъ не менве считають его только миленькой, но очень ничтожной вещью. Такъ всегда судить большинство

«Родословная моего Героя», названная отрывкомъ изъ сатирической повъсти, вмъстъ съ «Графомъ Нулинымъ» и «Домикомъ въ Коломив» составляетъ типъ особеннаго рода поэмъ, которыя такъ любитъ новая «натуральная» школа нашей литературы, пошед-

Соч. Бълинскаго. Т. III.

шая, какъ извъстно, не отъ Карамзина и Дмитріева, а отъ Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что ихъ больше другихъ любятъ въ наше время. И немудрено: въ нихъ поэтъ не прячется за своими героями или за событіемъ, но прямо отъ своего лица торащается къ читателю съ тъми вопросами, зоторые равно интересны и для самого поэта, и для читателей. Въ поэмахъ этого рода даже важное и патетическое само по себъ выказывается съ оттънкомъ ирони, юмористически, и иногда тъмъ сильнъе дъйствуетъ на питателя, чъмъ небрежнъе говоритъ поэтъ.

Нельзя сказать положительно, хотълъ ли Пушкинъ написать целую поэму и почемунибудь остановился на началь, но нътъ никакого сомнѣнія, что отрывокъ «Родословная моего Героя» во всякомъ случав представляеть собой нѣчто цѣлое, потому что выражаетъ мысль совершенно полную и опредвленную. Суди по словамъ автора, отрывокъ этотъ можно принять за сатиру на людей, которые потому только не уважають знатности породы, что сами не могуть похвалиться ею (по крайней мъръ Пушкинъ тугь ясно даеть чувствовать, что не понимаеть другой возможности равнодушія къ гербамъ и пергаментамъ); но, всмотръвшись ближе въ его произведение, нельзя не увидъть, что это очень острая сатира, написанная поэтомъ на самого себя. Съ неподражаемымъ остроуміемъ шутить поэть надъ предками своего героя, излагая его генеалогію:

Пзъ пихъ Езерскій Варлаамъ Гордыней славился боярской; За споръ то съ тъмъ онъ, то съ другимъ Съ большимъ безчестьемъ выводимъ Бывалъ изъ-за трапезы царской, но снова шелъ подъ тяжкій гивъъ И умеръ, Сицкихъ пересъвъ.

Этогъ намекъ на мъстничество, составлявшее point d'honneur нашей боярщины, блещетъ истинно Вольтеровскимъ остроуміемъ, которое, конечно, не возбудитъ въ читателъ особеннаго уваженія къ «родословнымъ»; но вслъдъ затъмъ пронія поэта бросается совсъмъ въ противоположную сторону.

> Но извините; статься можеть, Читатель, вамъ я досадилъ; Вашъ умъ духъ въка просвътилъ. Васъ спъсь дворянская не гложеть, И нужды пътъ вамъ пикакой До вашей книги родовой. Кто бъ ни быль вашь родоначальникъ,-Метиславъ, князь Курбскій, иль Ермакъ. Или Митюшка цъловальникъ,-Вамъ все равно. Конечно, такъ: Вы презираете опщами, Ихъ славой, честію, правами Великодушно и умно; Вы отреклись отъ нихъ давно Прямого просвъщенья ради, Гогдясь (какъ общей пользы другь)

Красов "собственныхъ васлугъ", Ввтальй двоюроднаго дяди, Иль приглашениемъ на балъ, Туда, гдъ дъдъ вашъ не бывалъ.

Эти мысли изумительны своей наивностью, состойной тёхъ времент, когда Варлаама в рекато за споры то съ тамъ, то съ друямъ съ безчестемъ выгодили изъ-за царкаго стела. Изъ чего мл почеть поэть? пронвъ чего возстаетъ онъ? - Противъ того, чео самъ не могъ не осміять. Что за упрекъ зкой: «Васъ сибсь дв ринская не гложеть»? .еужто спъсь дверянская или мъщанская ть добродьтель, а не порокъ-признакъ **убости** нравовъ и исвъжества?.. Вамъ все івно, кто бы ни быль вашь родоначаль-... саниониМ аминальности исп аккия—амі оть книзя такъ з смъшно, какъ и стыдиться происхождения ъ целовальника, потому что какъ въ пермъ случав васлуга, такъ во второмъ-прелленіе-суть чистілиная случайность. Не энсхождение, а жизнь приносить человку ть или безчестіе. Иначе Сусанинъ или чинь были бы низкими дюдьми въ сравни со всякимъ глупенькимъ и пошленьгъ князькомъ, какихъ довольно бываетъ быломь свыть между книзьями, достойнывеякаго уваженія по ихъ личнымъ доинствамъ. Поэтъ обвиняетъ родословныхъ ой нашего времени въ томъ, что они преають своими отцами, ихъ славой, праваи честью, - упрекъ столько же ограниный, сколько и неосновательный. Если звънъ не ченинтен тъмъ, что происходить прямой линіи от инкого нибудь великаго выка, неужели это непремынно значить, онь презпраетъ своего великаго предка, славу, его великія діта? Кажется, тутъ ствіе выведено совстять произвольно. зираль предковъ, когда они и инчего не али херошаго, -- смённо и глупо: можно важать ихъ, если не за что уважать, но о же время не презирать, если не за презирать. Гдь нътъ мъста уваженію, . не всегда есть мъсто презрѣнію: уваея хорошее, презпрается дурное; но отгвіе хорошаго не всегда предполагаеть утствіе дурного, и наобороть. Еще смішгордиться чужимъ ведичіемъ или стызя чужой низости. Первая мысль предно объясиена въ превосходной басив това «Гуси»; вторая ясна сама по себъ. стно, что целовальникъ (въ древности неяжные чиновники) не отличались осой честностью, не отличаются и нынь, продавцы вина въ интейныхъ домахъ; им сыпъ пъловальника, по своей наоказался неспособенъ къ званию своеца, и вмёсто того, чтобъ обмёривать

свой-пожалуй, не великимъ, даже не даровитымъ, а просто честнымъ челов комъ,скажите: зачемъ ему сгыдиться, что онъ сынъ своего отца?.. При томъ же мы ниеколько не споримъ, что Тамерланъ былъ большой аристократь, -по крайней мъръ при его жизни въ этомъ никто не смёлъ усоминться подъ опасеніемъ быть посажену на колъ; но прежде, нежели сдълался великимъ ханомъ, онъ былъ кузнецомъ, заплатившимъ за покражу овцы увьчьемь ноги. Такъ и всякій родъ начать быль одинмь человівкомъ незнатнаго происхождения, у котораго въ родив былъ не одинъ сапожинкъ или по :ной. Но все это истины немного пошлыя, потому именно, что онв ужъ слишкомъ пстинны. Тымь, повидимому, страниве, что великій поэть видіть въ нихъ ложь, а во лки-петину. Но здёсь въ поэтв оказален человъкъ, не могшій, на зло себь, отръшиться отъ предразсудковъ, надъ которыми самъ смъилси... По далъе-

Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно Собратья надо мной трунять, Я мъщанить, какъ вамъ навъстно. И въ этомъ слыслю (въ какомъ же?)демократъ. Но каюсь, новый Ходаковской, Любно отъ бабушки мосновской Я телки слушать о родиъ, О толстобрюхой старинъ.

Признаніе поистипть наивное! На вкусь товарніца ніть, говорить русская пословица; но кому накое діло до чужихь вкусовь, и кто свои личные и при томь странные вкусь вь правів выдавать другимь за законь? Одинь любить говорить съ московской бабушкой о родів и о «толстобрюхой старинів»; другой любить разсуждать съ своимъ крівностнымъ псаремъ о личныхъ качествахи и добредітеляхь его гончихь, оба правы, в мы никому изь нихъ мышать не намірены а только считаемъ себя въ правів попросить обожьть не навязывать намів своихъ вкусовъ, какть правиль правственности и добродітели.

Мнъ жаль, что нашей славы звуки Уже намъ чужды.

Дъйствительно, жаль, если правда, что звуки нашей славы нашь чужды. Только едва ли правда: равнодушіе къ «толстобрюхой старинь» и равнодушіе къ пародной славь—совствиь не одно и то же. Если поэть хотйлъ этимъ упрекомъ намекнуть на то, что мы какъ молодой, исполненный надеждъ народъ больше заняты своимъ настоящимъ и больме смотримъ на свое будущее, нежели на прошедшее,—то ему слъдовало бы выразиться яснъе и понять лучше причину этого явленыя, совершенно необходимаго и нисколько

Что спроста Изъ белев мы авземь въ tiers-état...

Полно, епроста ли? Мы вообще убъждены, что ни одно историческое явление по дъдается спроста, и ин въ одномъ не виноваты люди. Предки нашихъ баръ шли все въ сору, хоттян быть только барами и жили широко, не заботясь о булущеми, а ихъ двин принуждены были понять, что барство поддерживается прежде всего деньгами, и что безъ денегъ барство - суета суетъ! Тутъ видна скорће смътливость и догадливость, нежели простога. Фабрики, компаніи, акціи, спекуляціп, предпріятія, обороты — все это вещи, межеть быть, діметинтельно инсколько до ври топратическія, заго уже и совсёмъ не простоватыя... Въ и-ше время простаковъ мало, и простакь въ наше время именно тоть, кого гложеть какая-инбудь спись...

> Что намъ не въ прокъ пошли науки, И что ен сибо намъ за то Не спажеть, кажегся, пикто.

Да изъ чего же следуеть, что науки пошли намъ не въ прокъ? ужъ не изъ того ли, что оне избавили насъ отъ дворянской сиъси?... Странный выводъ!... Впрочемъ, понедши отъ ложнаго начала, нельзя не дойти до ложныхъ выводевъ. Странное зредище: великій поэтъ видять зло въ усивхахъ просвещенія, которое безъ насильственныхъ переворотовъ смягчило грубость правовъ и селизило между собой дотолё раздёленным сословія!...

Мив жаль, что техь родовь боврекихъ Б гвдивогъ блескъ и никиетъ духъ: Мив жаль, что нетъ книзей Пожарскихъ, что о другихъ прона тъ и слухъ; что ихъ и но чтъ и фигълривъ; что русскій въпремый бовринъ (баринъ!) Считаетъ грамоты царей За ныльный сборъ календарей; что въ нашемъ теремъ забытомъ Растегъ пустынная трава, что геральдическитъ конытомъ Тенерь лягаетъ и оселъ: Духъ въка вотъ куда зашелъ!

Многимъ казалось ужасно остроумной выдодка о демократическомъ конытѣ осла, дягающаго геральдическаго льва, и они такъ
восхитт инсь ею, что повърили древности этото геральдическаго льва, по напвному невнанію, что существов ніс нашей геральдики есть искусственное и не простирается даже за полувѣкъ отъ настоящаго дня... Отъ
этихъ стиховъ такъ и вѣетъ «Литературной
Галетой» 1830 года... Ничего не можетъ
быть нелѣпѣв, какъ приложеніе къ нашему
русскому быту фактовъ исторіи Западной
Европы, съ ен католическими и рыцарскими
преданіями, вовсе для насъ чуждыми и инсколько къ намь не плущими. И оттого

слова: «пристократическій», «демократическій», ветръчающимся изрідка въ русских в стихахъ и русской прозб, тьмъ смышаве и забавиве, чемъ серьезиве смотрять онп... Пушкина, кажется, очень занимало общественное положение Байрона, гордившагос: тымь, что въ его жилахъ текла королевска з провь, и болье д рожившаго своимы звані-мъ порда, нежели своимъ значеномъ перваг поэта Европы XIX выка. По Байронъдругое діло. Онъ — англичанинъ; его предразсудан имбли значение историческое и національное. Если бъ опъ и не сділался великимъ человъкомъ, онъ все бы остался важнымъ лицомъ въ своемт отечествъ: обладателемъ огромнаго паследства, по праву рожденія членомъ палаты дордовъ... Аристократизмъ-въ этомъ слова заплючается вся политическая конструкція Англін, какъ государства, и потому тамъ къ нартій тори принадлежать не одии дворяне, но и люди вебхъ другихъ сословій, которые въ сохраиенін statu quo видять для себя великій вопросъ: быть или не быть?.. Какъ потомка старинной фамилін, Пушкана зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего интереснаго; по какъ по та Пушкина узнала вся Россія и теперь гордитсь. имъ, напъ сыномъ, дълающимъ честь своен матери... Кому нужно знать, что бъдный дворынанъ, существующій своими литературньми трудами, богать длиниымъ рядомъ предковь, мало павъетныхъ въ исторіи? Гораздо интересиве было знать, что напышеть новаго этоть геніальный по ть...

Забавны въ сатирическомъ смыслѣ последніе стихи отрыжка:

Вэть почему, архивы рол, Я разопраль въ досужный часъ Всю родостовную героя, о комъ затъяль свой разеказъ И адъсь потомству заповъдать. Езерсий самъ же твердо въдаль, Что дъдъ его, великій мумет, Имъть двънадцать именть душь; Изъ нихъ отцу его досталась осьмая часть, и та сполца Выла давно запожена И ежегодно продавалась; А самъ онъ жалованьемъ жилъ И регистраторомъ служилъ.

Увы! Sic transit gloria mundi! На кого же гуть пенять, на кого жалопаться? Какіе туть аристократы и демократы? Туть діло должне ити просто о мотокетві, о незнаніи хозявства, о неразечетликой жизни на авось, о естественномь раздребленіи имічій черезъ право паслідства... Тымь, которые туть прочгради, остается одно — вступить въ tiersétat, но не спроста, а для того, чтобъ, вонервыхъ, чтобъ иміть боліве вірным средства къ сутобъ иміть боліве вірным средства къ су-

ществованію... Вмѣсто этой юмористической повѣсти, Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользѣ свекло-сахарныхъ заводовъ или о превосходствѣ плодоперемѣнной системы земледѣлія надъ трехпольной, какъ Домоносовъ написалъ посланіе с пользѣ стекла, начинающееся этими наивными стихами:

Не право о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ, Которые стекло чтутъ пиже минераловъ.

А между тыть «Родословная Моего Героя» написана стихами до того прекрасными, что ныть никакой возможности противиться ихъ обаянію, несмотря на ихъ содержаніе. И потому эта пьеса — истинный шалашъ. построенный великимъ мастеромъ изъ драгоцьннаго паросскаго мрамора...

Теперь перейдемь къ тремъ лучшимъ, въ тудожественномъ отношении, поэмамъ Пушкина — «Мъдному Всаднику», «Галубу» н «Египетскимъ Ночамъ».

«Мѣдный Всадникъ» многимъ кажется какимъ-то страннымъ произведеніемъ, потому что тема его, повидимому, выражена не вполнѣ. По крайней мъръ страхъ, съ какимъ побъжалъ помъшанный Евгеній отъ конной статуи Петра, нельзя объяснить инчъмъ другимъ, кромъ того, что пропущены слова его къ монументу. Иначе, почему же вообразилъ онъ, что грозное лицо царя, возгоръвъ гнѣвомъ, тихо оборотилось къ нему, и почему, когда стремглавъ побъжалъ онъ, ему все слышалось,

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой!...

Условьтесь въ томъ, что въ напечатанной поэмѣ недостаеть словъ, обращенныхъ Евгеніемъ къ монументу, — и вамъ сдѣлается ясна идея поэмы, безъ того смутная и неопредѣленная. Настоящій герой ея—Петербургъ. Оттого и начинается она грандіозной картиной Петра, задумывающаго основаніе новой столицы, и яркимъ изображеніемъ Петербурга въ его теперешнемъ видѣ.

На берегу пустынных волны Стояль Онь, думь великихы полны, И вы даль глядыль. Преды нимы широко Рыка неслася; быдный челны По ней стремился одиноко. По мшистымы, топкимы берегамы Черейли избы здысь и тамы. Пріють убогаго чухонца; И лысь, невыдомый лучамы Вы туманы спрятаннаго солнца, Кругомы шумыль.

И думаль Онь:
"Отсель грозить мы будемь шведу;
"Здёсь будеть городь заложень,
"На эло надменному сосёду;
"Природой здёсь намъ суждено
"Въ Европу прорубить окно,

"Ногою твердой стать при морй; "Сюда, по новымъ имъ волнамъ, "Вст флаги въ гости будутъ къ памъ-.Н зайируемъ на просторъ!" Прошло сто лъть-и юпый градъ, Полночныхъ странъ краса и диво, Изъ тьмы льсовъ, изъ топи блать Вознесся пышно, горделиво: Гдъ прежде финскій рыболовъ, Печальный насыновъ природы, Одинъ у визкихъ береговъ Бросаль въ невъдомыя воды Свой ветхій неводъ, пынъ тамъ По оживленнымъ берегамъ Громады стройныя твенятся Дворцовъ и башенъ; корабли Толпой со всъхъ концовъ вемли Къ богатымъ пристанямъ стремятся; Въ гранить одълася Нева; Мосты повисли надъ водами; Темнозелеными садами Ея покрылись острова-И передъ младшею столицей Главой склонилася Москва, Какъ передъ новою царицей Порфироносная вдова.

Не перепечатываемъ вполнѣ этого описанія, исполненнаго такой высокой и мощной поэзіц; но, чтобъ прослѣдить идею поэмы въ ея развитіи, напомнимъ читателю заключеніе:

Красуйся, градъ Петровъ, и стой Неколебимо, какъ Россія! Да умирится же съ тобой И побъжденная стихія: Вражду и плънъ старинный свой Пусть волны финскія забудуть И тщетной злобою не будутъ Тревожить въчный сонъ Петра! Была ужасная пора: Объ ней свъжо воспоминанье... Объ пей, друзья мои, для васъ Начну свое повъствованье. Печаленъ будетъ мой разсказъ.

Содержаніе этого разсказа составляеть описаніе страшнаго наводненія, постигшаго Петербургъ въ 1824 году: Это плачевное событіе имѣетъ прямое отношеніе къ постороенію Петромъ Великимъ Петербурга, не по одной этой причинѣ столь дорого стонвшаго Россіи. Съ исторіей наводненія, какъ историческаго событія, поэтъ искусно слилъ частную исторію любви, сдѣлавшейся жертвой этого происшествія. Герой повѣсти—Евгеній, — имя, такъ сдружившееся съ перомъ нашего поэта, который съ грустью описываетъ его незначительность, не соотвѣтствующую его поиятіямъ о родословіи:

Прозванье намъ его не нужно— Хотя въ минувши времена Оно, быть можетъ, и блистало И, подъ перомъ Карамзина, Въ родиыхъ преданьяхъ прозвучало. Но нынъ свътомъ и молвой Оно забыто. Нашъ герой Живетъ въ Коломиъ; гдъ-то служитъ; Дичится знатиыхъ и не тужитъ Ни о покойницъ родиъ, Ни о забытой старииъ.

Сидитъ нечаленъ надъ горой.
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какія мысли въ немъ проходять?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дальняго куда
Младыя сны его уводять?
Какъ знать? Незрима глубь сердець!
Въ мечтаньяхъ отрокъ свосволень,
Какъ вѣтеръ въ небъ...

Въ самомъ деле, что онъ такое-поэтъ, художникъ, жрецъ науки или просто одна изь тыхь внутреннихь, глубоко сосредоточенныхъ въ себъ натуръ, рождающихся для мирныхъ трудовъ, мирнаго счастья, мирнаго и благодьтельнаго влиния на окружающихъ сто людей? Какъ знать это кому-инбудь, если онъ самъ того не знаетъ? Явись онъ въ цивилизованиомъ обществъ, - хотя съ трудомъ. съ борьбой, наублавъ тысячи ошибокъ, но созналь бы онъ свое пазначение, нашель бы его и отдался бы ему. Но онъ родился среди патріархально-разбойническаго, дикаго и невъжественнаго племени, съ которымъ у него нътъ ничего общаго, - и ему пътъ мъста на земль, онъ отверженъ, проклять; его родные-враги его... Отецъ Тазита-чеченецъ душой и теломъ, чеченецъ, которому непонятны, которому ненавистны всв нечеченскія формы общественной жизни, который признаетъ святой и безусловно истинной только чеченскую мораль, и который, слъдовательно можеть въ сынѣ любить только истаго чеченца. Въ отношении къ сыну онъ не дъйствуетъ, пначе, какъ заодно съ чеченскимъ обществомъ, во имя его національности. Трагическая коллизін между отцомъ и сыномъ, т. е. между обществомъ и челов в комъ, не могла не обнаружнися скоро. Разъ Тазитъ, въ своихъ горныхъ разъ-Бздахъ, встрътилъ армянина съ товарамии не ограбиль, не убиль или не привель его домой на арканъ. Другой разъ повстръ. чаль онь бълаго раба-и оставиль его невредимымъ; въ третій-

Отепъ

Кого ты видълъ?

Сынт

Убійцу брата.

Отецъ.

Убійцу сына моего?.. Тазить! гдё голова его? Дай, нагляжусь!

Сынъ.

Убійна былъ Одинъ, параненъ, безоруженъ...

Отепъ.

Ты долга крови не забыль... Врага ты навзинчь опрокинуль... Не правда ли? ты шашку выпуль. Ты вь горио сталь ему воткнуль Н тонк на тихо повернуль? Упился ты его стенаньемь, Его зманнымъ издыханьемъ?.. Гдъ жъ голова, подай!.. Нътъ силъ...

Но скиъ молчить, потупл очи, И сталъ Галубъ черняе почи И сыну грозно возопилъ:

"Не оспверняй монхъ очей!

"Поди ты прочь—ты мий пе сынь!
"Ты не чеченець—ты старуха,
"Ты трусь, ты рабь, ты армянинь!
"Будь проклять мной, поди—чтобь слуха
"Никто о ребкомъ не имъть,
"Чтобъ въчно ждаль ты грозней встрёче,
"Чтобъ мертвый брать тебя на плечи
"Окровавленной кошкой съль
"И къ бездиъ гналь тебя пещадно:
"Чтобъ ты, какъ раненый олень,
"Бъжаль, тоскуя безотрадно:
"Чтобъ дъти русскихъ деревень
"Тебя веревками ноймали
"И какъ волчонка загерзали—
"Чтобъ ты... бъти, бъти скоръй!

Здёсь, въ лице отца, говорить общество. Такія чеченскія псторіп случаются и въ цивилизованныхъ обществахъ: Галилея въ Италіп чуть не сожгли живого за его несогласіе съ чеченскими понятіями о міровой системь. Но тамъ человъкъ знаніемъ опередилъ свое общество и, если бъ былъ сожженъ, могъ бы имъть хоть то утъшение передъ смертью, что пдеп-то его не сожгутъ невъжественные палачи... Здёсь же человёкъ вышель изъ своего народа своей натурой. безъ всякаго сознапія объ этомъ, — самое трагическое положеніе, въ какомъ только можеть быть человъкъ!.. Одинъ среди множестве, и ближние его-враги ему: стремится онъ . ъ людямъ н съ ужасомъ отскакиваетъ отъ нихъ, какъ отъ змън, на которую наступилъ нечаянно... И впиптъ, и презираетъ, и проклинаетъ онъ себя за это, потому что его сознаніе не въ силахъ оправдать въ собственныхъ его глазахъ его огчуждение отъ общества... И вотъ она-въчная борьба общаго съ частнымъ, разума-съ авторитетомъ и преданіемъ, человъческого достоинства - съ общественнымъ варварствомъ! Она позможна и между чеченцамп!..

Превосходны, выше всякой похвалы, послъдніе стихи «Галуба», представляющіе живое изображеніе черкесских правовъ и трогательную картину отчужденнымъ отъ общества любовниковъ:

Они въ толив четою странной стоятъ, не види пичего. И горе имъ: онъ—сымъ изгнагими. Она—любовница его... О, было время! съ ней украдкой Видался юноша въ горахъ: онъ инлъ огонь отравы сладкой Въ ея смятеньи, въ ръчи криткой. Въ ел ногупленныхъ очахъ. Когда съ домариняго перогу Она смотръда на дорогу,

И вдругь садилась и бледивля, И отвъчая не глядъла, И разгоралась, какъ заря; Или у водъ когда стояла, Текущихъ съ каменныхъ вегшинъ, II долго кованный кувшинть Волною звонкой наполняла... И онъ, не властный превозмочь Волненій сердца, разъ приходитъ Къ ея отцу, его отводитъ И говорить: "Твоя мий дочь "Давно мила; по ней тоскуя, "Одинъ и сиръ давно живу я; "Влагослови любовь мою; "Я бъденъ, но могучъ и молодъ; "Я агнецъ дома, звърь въ бою; "Къ намъ въ саклю не впущу я голодъ; тебъ я буду сынъ и другъ , Послушный, преданный и пъжный, "Твоимъ сыпамъ кунакъ надежный, "А ей приверженный супругъ...

л! бёдный юноша говориль все это, не я самъ себя. Онъ былъ могучъ и молодъ, его много было отваги и храбрости,онъ жальль бъжавшаго раба, не могъ ть израненнаго и обезоруженаго врага: , не быль чеченцемь, и въ его саклъ поплся бы голодъ... И за то онъ отвержень; ержена и та, которая имъла несчастіе тобить его! Что съ ними стало, намъ неересно знать. Они должны погибнутьвърно; но какъ погибнуть, что до того!.. довательно, поэму эту можно считать цьи оконченной. Мысль ея видна и выена вполнъ.

Египетскія ночи»—въ одно и то же вреи повъсть, писанная прозой, и поэма, анная слихами. Повъсть прекрасная. Хагеръ Чарскаго, русскаго поэта и свътсо человька, который знаеть цвну искусу и таланту и со встмъ тъмъ стыдится рена своего; характеръ импровизатора, страсто, вдохновеннаго жреца искусства, унижено, низкопоклоннаго итальянца, жаднаго къ бытку ницаго; характеръ нашего больо свъта, его странныя отношенія къ усству, — все это выдержано съ удивиэлой верностью, до мельчайшихъ подробгей, -- до некрасивой дівушки, по прикаю матери написавшей тему импровиза-7. Но что сказать о поэмь-"Cleopatra зиоі amanti"?.. Въ «Мъдномъ Всадникъ» гь показаль намъ величественный образъ образователя Россін и современный Пеіургь; въ «Галубь» перенесь нась въ у кавказскихъ дикарей, чтобъ показать. и тамъ есть человвческое достоинство, кденное на трагическое страданіе; въ ипетскихъ ночахъ» волшебнымъ жезломъ й поэзін онъ переносить насъ въ среду :няго римскаго міра, одряхлівшаго, утранаго вев вврованія, вев надежды, хо-

Во всвхъ этихь траль Позмиль видимо тым Пушкина, узнаемъ въ немъ ему только свойственные колорить и стиль; но ни въ одной изъ нихъ не повторяеть онъ себя,-напротивъ, въ каждой явлнетъ изумленному взору пашему совершенно новый міръ: «М'єдный Всадникъ» - весь современная Русь, «Галубь -- весь Кавказъ, «Египетскія ночи», это-воскресшій, подобно Помпев и Геркулануму, древній міръ на закать его жизни... О стихахъ импровизатора не говоримъ; это 1

чудо некусства ...

Три послудайя означенныя нами поэмы въ художественномъ отношении неизмвримо выше всёхъ прежнихъ поэмъ Пушкина. Въ нихъ виденъ вполнѣ развившійся и выработавшійся художественный стиль, который долженъ быть принадлежностью всякаго великаго поэта. Что-то глубоко-грустное, но вмъсть и величаво-спокойное лежить въ поэтическомъ колорить, разлитомъ на этихъ твореніяхъ. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ лирическихъ стихотвореній поэть не даромъ сравнилъ печаль души своей съ виномъ, которое тымь крыпче, чымь старые. Мы прибавимъ отъ себя, что вино, чемъ старее, темъ не только крвиче, но и вкусиве, и ароматнъе... Продолжая сравнение, начатое самимъ же поэтомъ, скажемъ, что послъднія произведенія его, утративъ конфектную сдадость первыхъ, пріобрили вкусъ и благовонную букетистость дорогого стараго вина...

«Анджело составляеть переходъ отъ эническихъ поэмъ къ драматическимъ; по крайней мъръ діалогъ пграетъ въ этой пьест большую роль. «Анджело» былъ принять публикой очень сухо, и по-дёломъ. Въ поэмі видно какое-то усиліе на простоту, отчего простота ея слога вышла какъ-то искус ственна. Можно найти въ «Анджело» счаст ливыя выраженія, удачные стихи, если хо тите,---много искусства, но искусства чи сто-техническаго, безъ вдохновенія, без: жизни. Короче, эта поэма недостойна та ланта Пушкина. Больше о ней нечего ска

Теперы перейдемы кы драматическим опытамъ Пушкина, которые онъ столь бли стательно началъ своимъ «Борпсомъ Год новымъ». Драматическій элементь сильн пробивался и въ первыхъ поэмахъ его-«Бахчисарайскомъ Фонтанъ», «Цыганахт и «Полтавъ», такъ что по нимъ уже можи было видеть, что онъ можетъ пріобрьст такіе же успахи и въ драматической поэзі какіе пріобръть уже въ лирической и эп ческой. Сцена изъ «Бориса Годунова», н печатанная еще вь 1828 году, оправда

О па Постой, тебћ сказать должна я— Не помпю что.

Киязь. Припомии.

О на. Для тебя
Я все готова... Нёть, не то... Постой...
Нельзя, чтобы навъки въ самомъ дёлё
Меня ты могъ покинуть... Все не то...
Да. вспомнила: сегодия у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся...

За этой страшной трагической сценой следуеть другая, не менёе ужасная. Подарки князя глубоко оскорбили несчастную. Она отдаеть отцу его мёнюкъ съ деньгами.

Да, бишь, забыла я: тебб отдать Вельять онг это серебро за то, Что быль хорошь ты до него, что дочку Ва инмъ пускаль таскаться, что ее Держаль не строго... Въ прокъ тебъ пойдетъ Моя погибель!...

Мельникъ (въ слезахъ). До чего я дожилъ! Что Богъ привелъ услышать!

Бёднякъ въ немъ замеръ, проснулся отецъ... несчастная бросилась въ Днѣпръ... Мы на свадьбѣ, картина которой съ удивительной вѣрностью передана поэтомъ во всемъ ея простодушіи старинныхъ русскихъ нравовъ. Хоръ дѣвушекъ—прелесть... Вдругъ, среди напвнаго веселья, раздается фантастическій голосъ...

По камушкамъ, по желтому песочку Пробъгала быстрая ръчка; Въ быстрой ръчкъ гуляютъ двъ рыбки, Ивъ рыбки, двъ малыя плотицы. А слыхала ль ты, рыбка сестрица, Про въсти-то наши про ръчныя? Какъ вечоръ у насъ красная дъвида утопи-

Утопая, милаго друга проклинала?

Общее смятение. Князь велить конюшему отыскать мельничиху; ея, разумбется, не находять...

Прошло двънадцать лътъ. Княгиня жалуется на охлаждение къ ней мужа; няня утъшаетъ ее, не подозръвая, что въ грубой и невъжественной простотъ ея добродушныхъ словъ скрывается ужасная, роковая истина:

Княгинюшка! мужчина, что ивтухы: Кури-куку! махъ, махъ крыломъ—и прочь; А женщина—что бъдная насъдка: Сиди себъ да выводи цыплятъ. Пока женихъ—ужъ онъ не насидится, Ни пьетъ, ни встъ, глядитъ—не наглядится; женился,—и заботы настаютъ: То надобно сосъдей навъстить, То на охоту ъхать съ соколами. То на войну не легкая несетъ, Туда, сюда—а дома не ендится.

Не есть ли это законная кара сильному нолу за беззаконное рабство, въ которомъ онъ держить слабый поль? Такъ по крайней мёрё можно думать по окончанію любовныхъ похожденій героя поэмы, этого русскаго донъ-Хуана... Наскучивъ женой, онъ вспомниль о прежней любви, раскаялся, какъ въ глупости, что бросилъ дочь мельника, не

понимая, что она потому только стала ему мила, что ея нътъ съ нимъ, что его жена не мила ему...

Сцена на берегу Днъпра. Ночь. Раздается хоръ русалокъ, напоминающій своимъ фантастически-дикимъ паеосомъ оргін Valse infernal изъ «Роберта Дьявола»:

Веселой толною Съ глубокаго дна Мы ночью всилываемъ, Насъ грѣетъ луна. Любо намъ ночной порею Дно рѣчное покидать. Любо вольной головою Высъ рѣчную разрѣзать, Подавать другъ дружкъ голосъ, воздухъ звонкій раздражать, И зеленый влажный волосъ Въ немъ сушить и отряхать.

Одна.

Тише! птичка подъ кустами Встрепенулася во мглъ.

Другая. Между мъсяцемъ и нами Кто-то ходить на землъ.

Этотъ «кто-то» — князь, котораго влекутъ къ этимъ мъстамъ воспоминанія прежней счастливой дюбви. Вдругъ онъ встръчается съ отцомъ погубленной имъ дъвушки.

Старикъ. Здорово, Здорово, зять!

Кпязь. Кто ты?

Старикъ. Я здёший воронъ!

Князь. Возможно ль? это мельникъ!..

Старикъ.
Какой я мельникъ! Говорять тебъ, Я воронъ, а не мельникъ. Чудный случай: Когда (ты помнишь?) бросилась она Въ ръку, я побъжаль за нею слъдомъ И съ той скалы спрыгнуть хотъль, да

Почувствоваль: два сильныя крыла Мить выросли внезапио изт-подъмышект И въ воздухъ сдержали. Съ той поры То здъсь то тамъ летаю, то клюю Корову мертвую, то на могилъ Сижу да каркаю.

Отосланная княземъ свита является опять къ нему, по приказанію обезпокоенной княгини. Это вниманіе со стороны уже нелюбимой имъ жены раздражаетъ его, и досада его изливается обыкновеннымъ въ такихъ случаяхъ восклицаніемъ, однимъ и тёмъ же съ тёхъ поръ, какъ стоитъ міръ, какъ существуютъ въ немъ охладѣлые любовники и постоянныя любовницы, и наоборотъ:

Несносна
Ея заботливость! Иль я ребенокъ,
Что шагу мит пельзя ступить безъ няньки?
Въ последней сцепъ князь встречается съ своей дочерью-русалкой, которая послана

матерью уловить его... Ка: ъ жаль, что эта

пьеса не исичена! Хотя ся копецъ и понятенъ. князь долженъ погибнуть, увлеченный русалками на дио Днвира. Но какими бы фантастическими красками, какими бы дивными образами все это было сказано у Пушкина — и все это погибло для насъ!... «Русалка» въ особенности обпаруживаетъ необъкновенную зрелость таланта Пушкина: велици талантъ только въ эноху полнаго своего развитія можеть въ фантастической сказкв высказывать столько обще-человыческаго. Льютвит льнаго, реальнаго, что, читали ее, думень читать совсьмъ не сказку, а в локую трагелію...

Теперь мы приблизнанеь из перту создапій Пушкина, къ богатьйнісму, рося шивйнему алмач въ его поэтическомъ вънкъ... Для кого существуеть некусство какъ пскусство, въ его пдеаль въ его отвлеченной сущности, для того «Каменный Гость» и можеть не казаться, бызь веннаво сравнения, дучинить и высинить въ художествениомъ огношения созданемь Пушкина... Какая дивная гармоны между идеей и формой. какой снихъ, прозрачный, мягкій и упругій, какъ водна, благозвучный, какъ музыка! какая кисть, шпрокая, смілая, какъ будто небрежная, какая антично-благородная простота стиля! какія росконныя картины волисоной страны, гдв ночь лимономь и лавромъ пахнетъ! Принимансь перечитывать это чудное создание испоства, восклидаешь мысленно къ поэту:

Влагословенный край, ильнительный продылы! Тамь лавры зыблются, тамь апельенны эрбють... О, разекаки житы памь, какь женытамь умьють Съ любовью набожность умильно сочетаць, Изъ-подь мавтилы знакь условий полавац; Скажи, какт издаеть письмо иль-за ръшетки, Какт элатомъ усыплень падэ фъ ревиняюй тетки; Скажи, какт въ дваддать лъть любовникъ подъ

Тренещеть и кинить, олутанный изащемь...

Такая тема не можеть пользаваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающихъ она не имбеть ровие инкакой цбиы; для нонимающихъ невозможно дюбить ее безъ страсти, безъ энтузіазма. Но первыхъ миого, послъднихъ мало, и потому она сущеструеть для немногихъ...

Герой ея — липо мионческое, пенанскій Фаусть. Плея донь-Хуана могла родиться только въ странів, гді жить — значить любить и драться, а быть счастливымь и великимь — значить быть любимымь и храбрымь, — въ странів, гдів религісзность доходить до фанагизма, храбрость — до жестокости, любовь — до изступленія, гдів романическая настроенность дізасть героемъ и кавалера, и разбойника. Но донь-Хуанъ такой, какимъ является онь у Пушкина, —

не изступленный любовинкъ, не мрачнуй дуалисть: онъ одаренъ всемъ, чтобъ сводить съ ума женщинъ и не знать никакихъ препятствій удовлетворенію своихъ желаній. Красавецъ собой, стройный, ловкій, онъ весель п остерь, искренень и лживь, страстень и холоденъ, уменъ и повъса, красноръчивъ н дерзокъ, храбръ, смёлъ, отваженъ. Какъ во всякой высшей натурь, въ немъ есть чтото импонирующее. Можетъ быть, это сила его воли, широкость и глубина его души. Для него жить-значить наслеждаться; ноереди своихъ побыть, онъ сейчасъ готовъ умереть; умертвить же соперника въ честномъ бою и насладиться любовью въ приеутствін трупа, ему ровно ничато не залнтъ. Онъ вкрить въ свою звезду и полому на велиаго, кто вызоветь его, мотрить заранве какъ на убитаго. Такіе люди опасны для женщинъ и не знають, то лакое пеусићу въ любви и полокитствъ, женщина больше всего обожаеть въ мужчинь силу, мужественность, могущество. Она любить, чтобъ онъ былъ съ ней не только ивженъ, но и дерзокъ. Донъ-Хуанъ имбетъ въ себв все эго. Въ глазахъ женщины овъ левъ между мужчинами, не въ новъйшемъ, пошломъ значеній этого слова, означающаго франта и модинка, а въ смыслъ превосходства, храбрости и мужества.

Донъ-Хуанъ является ночью въ Мадридь, Изъ его разговора съ слугой мы узнаемъ. что онъ быль въ ссыкив за дуэль и воротился тайкомъ. Онъ справиваетъ у Лепо-

редло, могутъ ли узнать его?

Да, докъ-Хуана мудрено признать! Такихъ, какъ онъ, такая о́ездна!

Изъ этой грубой похвалы слуги видно яспо, чго такое донт-Хуанъ для всего Мадрида. Мъсто, въ которомъ они находились въ то время, напоминаетъ донъ-Хуану женщину, которую онъ, кажется, любилъ больше другихъ,—и онъ говоритъ задумчиво:

Бъдиал Инеза! Ея ужъ нътъ! Какъ я любе**лъ се!** 

Чудную пріятность Я находиль въ ен неч льномъ взорѣ И номергивлимь губкамъ Это странно. Ты, кажется, ее не находиль Красавицей. И точно.—мало было Въ нен истипно прекраснато. Глаза, Один глаза, да взглядъ... такого взгляда ужъ никогда я не встръчалъ. А голось у ней быль тихъ и слабъ, какъ у больной: А мужъ ея быль неголяй суровый— Узналъ я поздно... Въдная Инеза!

Вь этихъ немногихъ стихахъ цёлый портретъ женицины, вся исторія ея жизин... Самое воспоминаніе о ней, столь полное любви п грусти, уже говоритъ, какова должна была быть эта жен цина, которая, пе будучи кра-

чаницей, умъла привизать къ себъ такого человъка. Но грусть воспоминания не долго занимаетъ донъ-Хуана.

Ленорелло. Что жъ? всявдъ за ней другія были.

> Донъ-Хуанъ. Правда.

Ленорелло. Аживы будемъ, будуть и другія. Донъ-Хуанъ

H 70.

На этотъ разъ опъ хочетъ итти къ Лауръ. Но является монахъ, и отъ него наши авантаретъ узнаютъ, что на монастырское кладъные ссичасъ должна прити донья-Анна, чтобъ плакать на монать своего мужа, убигаго нашимъ героемъ. Донъ-Хуанъ успътъ замътнъ только ен узенькую пожку; по этого довольно для него, чтобъ ръшиться узнать ее покороче; а пока онъ спъщитъ къ Лауръ.

Лаура-актриса, жрица искусства и наслажденія. Въ ней пітъ притворства и лицемърія; она вся паружу. Молодая и прекрасная, она не думаеть о будущемъ и живеть для настоящей минуты. Она въчно окружена мужчинами и обходится съ ними безъ церемоній, иногда даже съ какимъ-то граціознымъ цинизмомъ. У ней гости; они въ восторгь оть ен игры въ этотъ вечеръ; только одинъ между ними мраченъ. Это донъ-Карлосъ, у котораго денъ-Хуанъ убилъ брата. Она сибла ивеню («Я здвеь, Инезилья») и сказала, что эту пъсню сочинилъ «ся върный другь, ея вътренный любовинкъ, донъ-Хуанъ. Это имя приводить донь-Карлоса въ бышенство, и онъ ругаетъ его безбожникомъ и мерзавцемъ, а ее-дурой. Она грозитъ велъть слугамъ своимъ заръзать его: не опъ уснокаивается, и они мирятся. Гости уходять и она говорить Карлосу:

> Ты, бёшеный, останься у меня. Ты миё понравился; ты донь-Хуана Напомниль миё, какъ выбраниль меня И стиспуль зубы съ скрежегомъ.

Оставишеь съ ней, Карлосъ, вмѣето лести и дюбезности, заводитъ мрачные разговоры; теперь ты молода, говорить онъ ей, окружена поклонниками, а лѣлъ черезъ шесть, когда глаза твон внадутъ и сѣдина блеспетъ въ косъ, что тогда съ тобой будетъ? — Этотъ человѣкъ тоже истый испанецъ, какъ и донъ Хуанъ, только другимъ образомъ. Онъ мраченъ и въ молодости, мраченъ насдинѣ съ прекрасной женщиной, которай сказала ему, что она его любитъ; къ старости же изъ цего былъ бы готовъ отличный инквизиторъ, который съ полнымъ убъжденіемъ и спокойной совъстью жегъ бы еретиковъ и съ особеннымъ насла»

жденіемъ бичеваль бы самого себи... Лаура въ старости сділалась бы дуэньей и мастерски помогала бы ввіренной си блительности жені проводить за нось мужа, а, можеть бь ть, пошла бы въ монастырь: но пока она не хочеть слышать о вздорі — о будущемъ.

Является донъ-Хуавъ: Лаура въ радеств бросается ему на шею; Барл съ вызываетъ его — и надаетъ мертвый.

Допъ-Хуанъ. Вставай, Лаура, кончено.

Лаура. Что тамъ? Убитъ? Предрасно! въ комнатъ моей! Что дълать миъ теперь, поъъса, дъяволъ! Куда я выброму его?

Донъ-Хуанъ. Быть можеть, Опъ живъ еще.

Лаура. Да! живъ! гляди, проклатый, Ты прямо вт серлце ткиулъ--небось, не мимо. И провы нейдеть изъ треугольной ранки, А ужъ не дышитъ-каково!

Въ слъдующей сценъ донъ-Хуанъ въ монашеской рясь уже разговариваетъ съ доньей-Анной. Она проситъ его согланить молитвы съ ся молитвами.

Мит, мит молиться съ вами, донна-Анна! Я не достонит участи такой. Я не дерзну порочными устами Мольбу святую вашу повторять; Я только начали съ благоговъньемъ Смогрю ла влет, кледа, склонившиев тако, вы кудри черным ил мраморт блиданий Разсиплете и минтся мит, что тайно Гробницу эту ангелъ посътилы; Въ смущенномъ сердит я не обръгаю Тогда моленій. Я ли люсь безмольно И думаю: счастинъ, чей хладный мрамеръ Согрътъ ея дыханіемъ небеснымъ И окронленъ любви ем слезами.

Чго это-языкъ коварной лести, или годосъ сердна? Мы думаемъ, и то, и другое вивств. Отличе людей такого рода, какъ донъ-Хуанъ, въ томъ и состоитъ, что онп умьють быть искренно-страстными въ самой лжи и непритворно холодными въ самой страсти, когда это нужно. Донъ-Хуанъ распоряжается своими чувствами, какъ полководецъ солдатами: не онь у нихъ, а они у него во власти и служатъ ему къ достижению цьли. Донья-Анна изумлева сгранностью такихъ рвчей въ устахъ монаха; по донъ-Хуант идетъ далъе и съ изумительной дерзостью признается ей, что енъ не монахъ, но пока прикрывается вымышленнымъ пменемъ. Спена эта ведена съ непостижамымъ пскусствомъ. Донья-Анна гонитъ его прочь, а между тычь хочеть знать, кто же онь, э чего онъ требустъ...

Смерии!

О, пусть умру сейчась у ванных пога, пусть бъдный прахъ мой адъсьже похоровять не подпъ прахъ милаго для васъ, не туть—не близко—далъ глъ-нчбудь. Тамъ—у дверей—у самаго порога,

Чтобъ камня моего могли коснуться Вы легкою погой или одеждой, Когда сюда, на этотъ гордый гробъ, Иридете кудри наклонять и плакать...

Допья-Анна защищается все слабве и слабве; у ней вырывается кокетливый вопросъ: «И любите давно ужъ вы меня?» Самолюбіе ен затронуто—до сердца недалеко... Она назначила ему свиданіе у себи дома завтра вечеромъ...

Донья-Анна-такъ же истая испанка, какъ и Лаура, только въ другомъ родь. Та-баядера европейскихъ обществъ, а эта-ихъ матрона, обязанная обществомъ быть лице мърной и пріученная къ лицемърству. Она дівочка; посіщеніе монастырей, набожныя занятія и слезы надъ гробомъ мужа (суроваго старика, за котораго вышла насильно и котораго никогда не любила) суть единственная отрада, единственное утъщение ея, бъдной, безутъшной вдовы... Но она женщина, и при томъ южная: страсть у нея-дъло минуты, и ни позоръ общественнаго мивнія, ни лютая казнь не помъщають ей отдаться вполнъ тому, кто умълъ заставить ее полюбить...

Донъ-Хуанъ въ восторгѣ отъ своего успѣха. Хоть онъ и привыкъ къ побѣдамъ, но эту онъ считалъ труднѣе, чѣмъ оказалось, потому что донья-Анна возбудила въ немъ спльную страсть. Повѣса въ радости своей велитъ Лепорелло звать статую командора къ донъѣ-Аннѣ на завтраший вечеръ. Статуя киваетъ ему головой въ знакъ согласія; Лепорелло въ ужасъ. Донъ-Хуанъ самъ зоветь ее—и съ ужасомъ видитъ, что она кивнула и ему...

Но донъ-Хуанъ не такой человѣкъ, чтобъ что-нибудь могло остановить его. Онъ у вдовы. Рѣчи его страстны, нѣжны, льстивы, вкрадчивы; искусно сумѣлъ онъ, возбудивъ ей женское любопытство, объявить доньѣ-Аннѣ собственное имя... Онъ хочетъ, чтобъ его любили для него самого, чтобъ его обнимала жена убитаго имъ мужа. Но она уже любить его, и его дерзость еще больше увлекаетъ ее. Не торопясь, глупо, онъ проситъ на разставанье только одного холоднаго и мирнаго поцѣлуя—и получаетъ поцѣлуй... Но вотъ входитъ статуя, со словами: «Н на зовъ явился».

Донъ-Хуанъ. О, Боже! допна-Анна!

Статуя. Брось ее; Все кончено. Дрожишь ты, допъ-Хуапъ?

Донъ-Хуапъ. Я? ивтъ! я звалъ тебя, и радъ, что вижу.

Статуя. Дай руку.

Донъ-Хуанъ. Вотъ опа... о, тяжело Пожатье каменной его десницы! Оставь меня, пусти, пусти мить руку!.. Я гибпу—кончено—о, донна-Анна!...

Онъ провадивается. Это фантастическое основаніе поэмы на вмішательстві статуи производить непріятный эффекть, потому что не возбуждаеть того ужаса, который обязано бы возбуждать. Въ наше время статуй не боятся п вибинихъ развязокъ, deus ex machina, не любять; но Пушкинь быль связанъ преданіемъ и оперой Моцарта, неразрывной съ образомъ донъ-Хуана. Дѣлать было нечего. А драма непременно должна была разръшиться трагически — гибелью донъ Хуана; иначе она была бы веселой повъстью -не больше, и была бы лишена идеи, лежащей въ ен основании. Что такое донъ-Хуанъ?-Каждый чоловъкъ, чтобъ жить не одной физической жизнью, но и нравственной вмъств, долженъ имъть въ жизни какой-нибудь интересъ, что-нибудь въ родѣ постоянной склонности, влеченія къ чему-нибудь. Пначе жизнь его будеть или не подна, или пуста. Въ дюдяхъ высшей природы этотъ интересъ, эта склонность, это влеченіе проявляется какъ могущественная страсть, составляющая ихъ силу. Одинъ находитъ свою страсть, паносъ своей жизни въ наукъ, другой-въ искусствъ, третій - въ гражданской дъятельности, и т. д. Донъ-Хуанъ посвятилъ свою жизнь наслажденію любовью, не отдаваясь однако жъ ни одной женщинъ исключительно. Это путь ложный. Не говоря уже о томъ, что мужчинъ невозможно наполнить всю жизнь свою одной любовью, —его одностороннее стремление не могло не обратиться въ безнравственную крайность, потому что для удовлетворенія ея онъ долженъ былъ губить женщинъ по ихъ положению въ обществъи онъ сдълалъ себъ изъ этого ремесло. Оскорбленіе не условной, но истинно-правственной идеи всегда влечеть за собой наказаніе, разумѣется, нравственное же. Самымъ естественнымъ наказаніемъ донъ-Хуану могла бы быть истинная страсть къ женщинъ, которая или не раздёляла бы этой страсти, или сдълалась бы ея жертвой. Кажется, Пушкинъ это и думаль сдёлать: по крайней мере такъ заставляеть думать послёднее, изъ глубины души вырвавшееся у донъ-Хуана восклицаніе: «О, донна-Анна!», когда его увлекаетт статуя: но эта статуя портить все дело, въ чемъ, какъ мы замътили выше, нашъ поэть не виноватъ нисколько

Итакъ, несмотря на это, «Каменный Гость» въ художественномъ отношеніи есть лучшее созданіе Пушкина,—а это много, очень много!

«Сцены изъ рыцарскихъ временъ» пред ставляютъ мѣщанина, возгнушавшагося своимъ состояніемъ и желавшаго попасть въ благородные, а между тѣмъ чуть не попавшагося на впсѣлицу. Такія псторіи случались въ средніе вѣка, и Пушкинъ мастерски изложилъ одну изъ нихъ въ форм'в сценъ, писанныхъ прозой. Однако жъ эти сцены не им'вютъ достоинства глубокой идеи, которую поэтъ скор'ве бы могъ найти въ борьб'в общинъ противъ феодаловъ... Впрочемъ, въ этихъ сценахъ естъ превосходиам пъсим («Жилъ на свът'в рыцарь б'вдный»), въ которой сказано больше, нежели во всей цълосги этихъ сценъ.

Сказки Пушкина: «О царѣ Салтань», «О зомертвой царевнѣ и семи богатырихъ», «О золотомъ пѣтушкѣ», «О купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о работникѣ его Балдѣ» были илодомъ довольно ложнаго стремденія къ народности. Народныя сказки хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ. Но «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ», о которой мы не упоминули въ числѣ прочихъ сказокъ, заслуживаетъ псключенія, потому что въ ней есть положительныя достопиства. Это не народная сказка: народу принадлежитъ только ея мысль, но выраженіе, разсказъ, стихъ, самый колоритъ—все принадлежитъ поэту.

Повъсти въ прозъ Пушкина, хотя и далеко не могуть равняться въ достоинстви съ лучинми стихотворными его произведеніями даже перваго періода его д'вятельности, однако твмъ не менве принадлежатъ къ замвчательнымъ произведениямъ русской литературы. Первый его опыть въ этомъ родь напечатанъ былъ въ «Сверныхъ Цвътахъ на 1829 годъ, подъ названіемъ: «IV глава изъ Петорическаго Романа». Въ X том'в полнаго собранія его сочиненій напечатано щесть главъ и начало седьмой этого романа, подъ названіемъ: «Арапъ Петра Великаго». Въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» IV-я глава напечатана не вполнь; но это едва ли не интересный шій отрывовъ изъ всёхъ семи главъ. Будь этотъ романъ конченъ такъ же хорощо, какъ начать, мы имъли бы превосходный историческій русскій роу ч, изображающій нравы величайшей эпохи русской исторіи. Поэтъ въ числъ дъйствующихъ лицъ своего романа выводить въ немъ на сцену и великаго преобразователя Россін, во всей народной простотв его пріемовъ и обычаевъ. Не понимаемъ, почему Пушкинъ не продолжалъ этого романа. Онъ имълъ время кончить его, потому что IV-я глава написана имъ была еще прежде 1829 года. Эти семь главъ неоконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всв исторические романы Загоскина и Лажечникова, неизмъримо выше и лучше всикаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и вевхъ ихъ, вмъсть взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченнаго «Арапа Петра Великаго», бъдны и жалки повъсти Кукольника, содержание которыхъ взято изъ эпохи Пегра Великаго и

которыя все-таки не лишены достоинства. Но это вовсе не похвала «Арапу Петра Великаго»: великому небольшая честь быть выше пигмеевь,—а больше ого у насъ не съ къмъ сравнивать.

Въ 1831 году выпли «Повъсти Вълкияа», колодно принятыя публикой и еще холоднье журналами. Дъйствительно, хотя и нельзи сказать, чтобъ въ нихъ уже вовсе не было инчего хорошаго, все-таки эти повъсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родъ повъстей Карамзина, съ той только разинцей, что повъсти Карамзина имъли для своего времени великом значеніе, а повъсти Бълкина были ниже своего времени. Особенно жалка изъ нихъ одна— «Барышия - престъянка», неправдоподобная, водевильная, представляющая помъщичью жизнь съ идиллической точки зрънія...

«Пиковая Дама» — собственно не повъсть, а мастерской разсказъ. Въ ней удивительно върно очерчена старая графиня, ея воспитанница, ихъ отношенія и сильный, но демонически-эгоистическій характеръ Германа. Собственно это не повъсть, а анекдотъ; для повъсти содержаніе «Пиковой Дамы» слишкомъ пеключительно и случайно. Но разсказъ.

повторяемъ, верхъ мастерства.

«Качитанская дочка»—начто въ рода «Она гина» въ прозъ. Поэтъ пзображаетъ въ ней правы русскаго общества въ царствованіе Екатерины. Многія картины по върности, истипь содержанія и мастерству изложенія—чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера-француза и въ особенности его дядьки изъ псарей, Савельича, этого русскаго Калеба,—Зурина, Миронова и его жены, ихъ кума Ивана Игнатьевича, наконецъ, самого Пугачева, съ его «господами енаралами»; таковы многія сцены, которыхъ, за пхъ множествомъ, ь пересчитывать. Нине находимъ нуж чтожный, безцвётный характеръ героя повёсти и его возлюбленной Марын Ивановны и мелодраматическій характеръ Швабрина хотя принадлежать кървзкимъ недостаткамъ повъсти, однако жъ не мъщають ей быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы.

«Дубровскій»—pendant къ «Канитанской дочкв». Въ обвихъ преобладаетъ паносъ помвинивато принципа, и молодой Дубровскій представленъ Ахилломъ между людьми этого рода,—роль, которая ръшительно не удалась Гриневу, герою «Капитанской дочки». Но Дубровскій, несмотря на все мастерство, которое обнаружилъ авторъ въ его пвображеніи, все-таки остался лицомъ мелодраматическимъ и невозбуждающимъ къ себъ участія. Вообще вся эта повъсть сильно отзывается мелодрамой. Но въ ней есть

дивныя вещи. Старинный быть русскаго дворянства, въ лицъ Троекурова, изображенъ сь ужасающей върностью. Подъячіе и судопроизводство того времени тоже принадлежить къ блестящимъ сторонамъ повъсти. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего луч піе-характеръ геропни, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь и французскіе романы сильно развили въ ней не чувство, не страсти, а фантазію, и она считала себя дъйствительно геронней, готовой на всь жертвы для того, кого полюбить. Покуда ей приходилось только играть въ романъ, она делала возможныя безумства; но дошло до дена-и она принядась за мораль и добродътель. Выть похищенной любовникомъ-разбойникомъ у алтаря, куда насильно притащили ее, чтобъ обвънчать съ развратнымъ старичишкой, - казалось для нея очень «романическимъ», следовательно, чрезвычайно заманчивымъ. Но Дубровскій опоздаль, — и она втайнь этому обрадовалась и разыграла роль върной жены, следовательно, опять героинп...

«Льтопись села Горохина»—путка острая. въ которой, впрочемъ, есть и серьезныя вещи, какъ, напримъръ, прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія...

«Кпрджали»—мастерской разсказъ пстиннаго происшествія.

Объ «Псторін Пугачевскаго Бунта» мы не будемъ распространяться. Скажемъ только, что этотъ историческій опыть—образцовое произведеніе и со стороны исторической, и со стороны слога. Въ послёднемъ отношенія Пушкинъ вполнѣ достигъ того, къ чему Карамзинъ только стремился. «Исторія Пугачевскаго Бунта» показываетъ, что еслибъюнъ успѣль написать исторію Петра Великаго,—мы имѣли бы великое историческое созданіе...

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ Пушкинъ отразился со всёми своими предразсудками; въ нихъ виденъ человѣкъ, не чуждый образованности своего въка, но по какому-то странному упорству добровольно оставшійся при идеяхъ Карамзина, очень почтенныхъ... для своего времени, которое давно прошло. По этому и по другимъ причинамъ многія изъ его журнальныхъ статей ниже вся кой критики. Но некоторыя изъ нихъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательны; таковы, на примаръ: «Домоносовъ», «О Мильтонъ и Шатобрінновомъ переводв Потеряннаго Рая», «Рославлевъ». Очень любонытны его «Отрывки: литературныя, критическія, грамматическія замічанія»; въ нихъ онъ весь. Но

полемическія его статьи—верхъ совершенства. Таковы: Отрывокъ изъ «Литературныхъ Лѣтопнсей» и «Торжество Дружбы, или Оправданный Александръ Аноимовичъ Орловъ» и нѣсколько словъ о мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ». \*\*)

Трудъ нашъ конченъ. О достопнствѣ его или недостаткахъ судить публикѣ; мы скажемъ только, что это еще первая понытка разобрать критически весь кругъ поэтической и литературной дъягельности одного изъ величайшихъ поэтовъ Россіи. Мы смотрѣли на его произведенія съ любовью, но безъ ослѣпленія и предубѣжденій въ его пользу или противъ него. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше пасъ: мы первые посиѣшимъ отдать имъ должную дань хвалы и поучиться у нихъ.

Заключаемъ. Пушкинъ былъ по препмуществу поэтъ-художникъ и больше ничьмъ не могъ быть по своей натуръ. Онъ даль намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіп принадлежить ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумья подъ этимъ словомъ безконечное уважение къ достоинству человъка, какъ человъка. Несмотря на генеалогические свои предразсудки, Пушкинъ по самой натуръ своей быль существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человѣкомъ». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характеръ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много детски-кроткаго, мягкаго и нежнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придетъ время, когда онъ будеть въ Россіи поэтомъ классическимъ, но гвореніямъ которого будуть образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...

Конечно, придеть время, когда потомство воздвигнеть ему вѣковѣчный памятникъ; но тѣмъ страннѣе для его современниковъ, что они не имѣютъ еще порядочнаго изданія его сочиненій... Скоро десятъ лѣтъ минетъ послѣ трагической кончины нашего великаго поэта, а мы не имѣемъ даже сноснаго собранія его твореній!.. Пора бы подумать объ этомъ.

<sup>\*)</sup> Эти статьи не вошли въ полное собраніе сочиненій Пушкина, -- въроятно, для большой полнопы...

Араматическія сочиненія и переводы Н. А. Полевого. Часть третья. "Гамлеть".—"Уголино". Спб. 1843.

Мы уже говорили о первыхъ двухъ частяхъ драматическихъ «представленій» Подевого; но вышедшая теперь третья часть ихъ вновь приводитъ насъ въ раздумье о драматическомъ поприщъ этого Шекспира Александринскаго театра, и потому намъ ельдовало бы опять поговорить о немъ; но, не желая повторять уже однажды сказаннаго нами и умѣя отдавать должную справедливость основательнымъ и хорошо изложеннымъ мивніямъ, кому бы ни принадлежали они, -мы выписываемъ здъсь изъ первой книжки «Москвитянина» 1843 года сужденія этого журнала о патріотическихъ драмахъ Полевого, -- въ полной увъренности, что вев порядочные люди такъ же безусловно согласится съ этимъ сужденіемъ, какъ мы съ нимъ согласились.

"Всъ драмы Полевого, имъвшія успъхъ, доказывають, что у насъ всякое произведеніе, вовсе чуждое художественнаго достоинства, но основанное на патріотическомъ чувствъ, будетъ всегда имъть успъхъ въ нашей публикъ. Зрители, смотря на такую драму, рукоплещуть не пьесъ, не автору, а свъимъ собственнымъ чувствамъ, которыя въ нихъ затронуты, а затронуть ихъ въ русскомъ народъ пе много налобно искусства. Писатели съ огромнымъ талантомъ не посягаютъ на изображеніе такихъ высокихъ чувствъ, боясь уронить ихъ недостаткомъ силъ въ некусствъ или вызвать незаслуженное ими рукоплесканіе; писатели безъ надежды на свой талантъ не смотрятъ на то и, во что бы ни было, хотятъ спискать одобреніе.

"Патріотическая драма, угеждающая вкусу народа и любимымъ его чувствамъ, у насъ не переводилась. Вспомнимъ Великодушіе, Рекрумскій Наборъ Ильниа, За Богомъ Молипва, а за Царемъ служова не пропадаетъ Иванова. Князь Шаховской умпожилъ также репертуаръ особенно восноминаніями двънаддатаго года. Полевой, вспомнившій дъйствіе, какое эти драмы произвели на публику, возобновилъ этотъ родъ во всъхъ его подробностяхъ, съ тъми же достоинствами и недостатками. Лица его цъликомъ берутся изъ прежнихъ драмъ, выкроены по той же мъркъ и говорятъ тъмъ же самымъ

"Доказательствомъ справедливости нашего мнънія о драмъ Полевого, что она усивхомъ своимъ обязана чувствамъ натріотическимъ, а

не своему литературному достоиству, можетъ служить одна изъ напечатанныхътеперь пьесъ-Солдатское Сердце или Биваки въ Сиволаксъ Въ ней выведено событе изъ жизни Булгарина, какъ сознается самъ авторъ, хотъвшій поель натріотическихъ драмъ прославить и добрый подвигь своего искренняго друга. Драма упала, по признанію самого же автора. Какая была этому причина? На афишкъ не было объявлено, что драма представляетъ подвигъ изъ вренной жизни Булгарина; да если бы и было объявлено, то публика петербургская такъ любитъ Булгарина, какъ онъ самъ насъ неръдко въ томъ увъряетъ, что подобное объявленіе, конечно, не повредило бы усивху пьесы. Враги же его, върно, не такъ ужъ сильны, чтобы могли составить заговоръ противъ его драмати ческой аповесзы, написанной, въ знакъ дружбы, Полевымъ. Нътъ. причина не въ томъ Въ драмъ выведено событіе изъ простой жизни частнаго человъка, ужъ безъ всякихъ патріо-тическихъ чувствъ, безъ громкихъ или завлекательныхъ именъ Державина, Хемницера, Сумарокова... туть требовалось одно простое искусство, безъ всякой помощи посторонней, и драма упала, потому что искусства не было.

"Когда нътъ у автора въ запасъ патріотическихъ чувствъ, чтобы привлечь нашу публику, то онъ прибъгаетъ къ павъстнымъ историческимъ именамъ нашей литературы, выводитъ безъ всякаго угрызенія совъсти Державина, Хемницера или уродуеть Тредьяковскаго, Сумарокова, вызываеть рукоплесканія себ'в громкими стихами нашего лирика, или баснями Хеминцера. или заставляеть смёнться насчеть дурныхъ стиховъ Тредьяковскаго, уродливо прочтенныхъ актеромъ, или пародируетъ между Триссотиномъ и Вадіусомъ, замънивъ ихъ именами Сумарокова и Тредьяковскаго... Мотивы все не новые, давно употребленные княземъ Шаховскимъ и другими... Только жаль, что тутъ вмъщиваются имена такія, которыми мы должны дорожить и которыя надобно выводить осторожно... Не пріятно же слышать, какъ Державинъ и Хеминцеръ, наперерывъ другъ передъ другомъ, хвастаютъ своими стихами на глазахъ всей публики.

"Друзья Полевого, говоря объ его драмахъ, всегда прибавляють: "если бы Полевой не писалъ для сцены, что было бы съ русскимъ театромъ?" Весьма достойно замѣчанія, какъ Полевой, владьющій умомъ смѣтливымъ и оборотливымъ, являлся всегда тамъ, гдѣ совершалось паденіе какого-нибудь рода словесности... Упали журналы въ Москвъ и Петербургъ и, состаривниеъ, лъниво мѣняли свои страницы... Полевой явился кстати съ своимъ "Телеграфомъ"... Умеръ Карамзинъ, не завъщавъ никому историческаго пера своего... Полевой тутъ какъ тутъ съ "Исторіей Русскаго Народа"

Упала русская драма на нашен сцень. Двятельный и остроумный князь Шаховекой сходить съ нея съ безконечнымъ роемъ своихъ произведений. Кукольшикъ дълаеть трагическия усилія, чтобы поддержать нашу Мельномену, во и тотъ покидаетъ роль драматика. Сцена почти пуста и живеть только передълками съ французскаго... Полевой и туть посифваеть и строить какую-инбудь драму изъ обломковъ патріо сической драмы Пльппа и федорова, изв прежнихъ мотивовъ князя Шаховского, изъ ужасовъ неистовой мелодрамы французской, воеч онаведенной имъ вь "Уголино", изъ пред-итуъ дътсиихъ своихъ военоминацій о драмъ Коцебу, съ примъсью иткоторыхъ новыхъ изъ Дюма, Гюго, Шиллера. Шексипра, а пиогда изъ оперь, какъ, папримъръ, "Фрейщица" и проч. Вотъ пропехождение драмы Полевого... Это постный ужинь, который хозяннь дома, за неимъијемъ свъжей провизји, на скорую руку с стапоставинися обътдиовъ отъ своей объденной транезы и предлагаеть неожиданно павхавшимь гостямь... Они и тому рады, по извъстной пословицъ русстаг жальбосольства о безрыбьъ...,

Ничего не можеть быть справедливье и безпристрастиве этого сужденія, такъ замыеловато и остро высказаннаго! Есть истины до того очевидныя и неопровержимыя, что въ нихъ не могутъ не соглашаться люди самыхъ противоположныхъ характеровъ, самыхъ не сходныхъ убъжденій и направленій, словомъ, -- люди, которымъ какъ будто назначено ни въ чемъ не согланаться другъ съ другомъ. Такова, напримъръ, истина сужденія «Москватянина» о патріотическихъ и всякихъ другихъ «представленіяхъ» Полевого: мы, ни въ чемъ не согласные съ «Мосивитяниномъ», признаемъ его мнъніе о драмахъ Полевого неоспоримо истичнымъ,и думаемъ, что если самъ Булгаринъ, этотъ искренній другь Полевого, не согласится теперь съ этимъ мивніемъ, то развв по какимъ-ппоудь непредвиденнымъ обстоятель ствамъ настоящей минуты... Что же касается до мифнія «Москвитянина» объ изворотливой и сматливой литературной даятельности Полевого, всегда поспышающей строить и созидать на развалинахъ падшихъ зданій, изъ мусориыхъ матеріаловъ самыхъ этихъ развалинъ, - то это мивніе, съ которымъ мы безусловно согласны, еще прежде «Москвитянина» высказано самимъ Булгаринымъ, съ которымъ мы тогда же въ этомъ согласились. А было это, помнится, еще въ 1839 г., и «Отечественныя Записки» въ свое время сообщили публика этотъ любонытный факть безпристрастія Булгарина въ дълъ литературнаго сужденія о другь; но какъ повторение основательныхъ мнѣній, чьи бы они ни были, служить къ ихъ распространенію и утвержденію, то мы вновь сообщимъ читателямъ интересное мнѣніе Булгарина, - тъмъ болъе, что это нужно намъ въ настоящемъ случав для доказательства

единодушнаго согласія вебхъ и каждаго въ дъль слишкомъ очевидныхъ истинъ.

"Почтенный Н. А. Полевой пишеть, какъ говорять, полосами. О чемъ ръчь въ публикъ, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналовъ, Н. А. издавалъ журналъ; была мода на Шеллингову философію и политическую экономію-онъ писалъ о философіи и политической экономіи. Настала мода на романы-онъ сталъ писать романы. Альманахи ввели въ моду оригинальныя повъсти-Н А. сталт. писать повъсти. Заговорили объ исторіи, вотъ есть и исторія; наконець, вкусь высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой нишеть трагедін, драмы, драмагическія продставленія, драматическія были и водевили, пишеть онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбиралъ время, чтобы читать и учиться! Н. А. Полевойчеловъкъ умный и удивительно смышленый. Онъ не можетъ написать инчего рашительно дурного, а между тъмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ напишетъ-во всемъ пробивается го таланть, то сметливость, то ловкое подражаніе, и все приноровлено ка понятіяма большинства. Невозможно быть безпристрастнъе насъ къ И. А. Полевому, и, не взирая на прошедшее, мы всегда отдаемъ справединвость его таланту, му, тру кольобно, а больше всего его смътливости, въ которой онь не имъеть равнаго въ нашей литературъ."

Совершенная правда! Такъ какъ пришлось къ слову, замътниъ тутъ же, что этой, дъйствительно удивленія достойной, смітливостью обладаеть между русскими литераторами не одинъ Полевой: отдавая ему полную справедливость, мы не должны же быть несправедливы и къ Булгарину, тоже обладающему замачательнымъ талантомъ въ этомъ родъ. Вся разница въ характеръ таланта: Полевой больше устремляется, какъ справелливо замѣчаетъ «Москвитянинъ», туда, гдъ совершилось паденіе какого пибудь рода словесности: Будгаринъ, напротивъ, является неожиданно большей частью посла какогонибудь успъха посредствомъ литературнаго оборота. Въ то время какъ мода на альманахи заставляла Полевого писать повъсти,ихъ писалъ и Булгаринъ: успъхъ альманаховъ заставилъ Булгарина издать «Талію»; удачная подписка на неоконченную доселъ «Исторію Русскаго Народа» им'вла своимъ слъдствіемъ неудачную и тоже не оконченную «Россію» Булгарина; успъхъ «Посредника» родилъ «Эконома»; успъхъ «Нашихъ» произвель «Картинки Русскихъ Нравовъ»; подитипажная исторія Суворова Полевого породила «Романтическія Сцены изъ Жизни Суворова» съ политипажами же, которые, говорить Булгаринь, скоро явятся въ съвтъ; успъхъ драматическихъ «представленій» Полевого на Александринскомъ театръ породилъ неуспъшную, впрочемъ, «Шкуну Нюкарлеби». Подражая всему успъшному, Булгаринъ иногда огорчается, если видитъ, чтозадуманное имъ «успъшное» упреждается чужимъ «успъшнъмъ», особенно «успъшнъй нимъ». Такъ, напримъръ, «Юрій Милославскій» упредилъ выходомъ «Димитрія Самозванца»—и зато навлекъ на себя довольно грозную критику въ «Съверной Пчелъ». Равнымъ образомъ Булгаринъ не любитъ соъмъстинчества.

Возвратимся къ «представленіямъ» Подевого въ изданномъ нынѣ третьемъ ихъ томѣ.

Этотъ третій томъ содержить въ себь представленіе «Гамлета» — драматическое Вилліама Шекспира—и «Уголино»—драматическое представление Николая Полевого, но его можно счесть за сочинение, ибо сущность всякаго произведенія составляєть его духъ, а въ переведенномъ Полевымъ «Гамлеть» Шекспира ньть нисколько IПекспировскаго духа: переводчикъ замфиилъ его собственнымъ своимъ. Поэтому «Гамдетъ» такъ же точно есть сочинение Полевого, какъ и «Уголино»: въ обоихъ одинъ духъ, одна манера, и если Шекспиръ болъе или менье виновать въ «Гамлеть» Полевого, то онъ же болбе или менбе виновать и въ «Уголино»; ибо въ какомъ отпошении находится «Гамлетъ» Полевого къ «Гамлету» Шексппра, въ такомъ же точно отпошения находится «Уголино» Полевого въ «Ромео я Юліп» Шекспира... Многіе считають эго отношение весьма похожимъ на отношение пародін къ оригиналу... Мы сказали, что сущпость всякаго произведенія заключается въ его духѣ, и потому должны характервзовать духъ «Гамлета» и «Уголино». Съ этой точки зрвнія оба эти произведенія чрезвычайно интересны, потому что оба они-родовыя, типическія явленія въ области русской литературы.

Иныя слова, по особеннымъ обстоятельствамъ, получають впоследствін совсемь другое значеніе, нежели какое им'вли вначал'в и какое назначила имъ выражать этимологія языка. Такъ, наприміръ, русское слово «чувствительный» сперва означало человъка съ чувствомъ, съ душой, следовательно, оно имъло похвальное значение. Но сентиментальность, овладъвшая нашей литературой и нашимъ обществомъ въ концъ прошлаго и началь текущаго стольтія, дала слову «чувствительный» проническое значеніе, такъ что теперь говорять «человыкь съ чувствомъ» и уже не говорять «чувствительный человъкъ», ибо послъднее означаеть слезливаго вздыхателя, аркадскаго пастушка въ соломенной шляпъ, съ розовыми лентами на груди, - лицо нѣкогда извъстное въ русской литературъ подъ именемъ Эраста Чертополохова. Такимъ же точно образомъ у нъмцевъ

выраженіе «прекрасная душа» (schöne Seele) н происшедшее отъ него неловкое въ русскомъ переводъ слово «прекраснодушіе» (Schönseeligkeit) получили въ послъднее время совершенно противоположное значеніе. Слово «прекрасная душа» у нъмцевъ выражаеть собой понятіе о тёхъ слабыхъ и поверхностныхъ характерахъ, которые исполнены энтузіазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могуть понять хорошенько, въ чемъ состоить и что такое это «высокое» и «прекрасное», отъ котораго они всегда въ такомъ восторгъ. Сердце у этихъ людей дъйствительно доброе, ума въ нихъ также отрицать нельзя; но они лишены всякаго такта действительности. Они узнають высокое и прекрасное только въ книгь, и то не всегда; въжизни же и въ дъйствительности они иногда не узнають ни того, ни другого и отъ этого скоро во всемъ разочаровываются (любимое ихъ словцо!), холодьють душой, старьются во цвыть льть, останавливаются на полудорогъ и оканчиваютъ тымь. что или (и это по большей части) примиряются съ дъйствительностью, какова бы она ни была, т. е. съ облаковъ прямо падають въ грязь, или делаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно они смёшны и жалки въ томъ и другомъ случай; но въ первомъ они бывають иногда ужъ и не жалки, а скоръе страшны своимъ примиреніемъ съ дъйствительностью... Не разо гаровываться имъ невозможно, ибо у нихъ идеалъ не имъетъ ничего общаго съ дъйствительностью и неспособенъ къ осуществленію на дълъ. Если этогъ идеалъ — дъва, то непремѣнно неземная, которая не ѣстъ, не пьеть и не хвораетъ, питансь одними высокими чувствами, дюбовью, восторгомъ, вдохновеніемъ и проч. И потому въ дъвахъ они наиболъе разочаровываются: неспособные понять и оценить ничего, что просто, безъ претензій и безь эффектовь прекрасно, они всего чаще привязываются къ пичтожнымъ созданіямъ и умножають числе несчастныхъ браковъ по страсти. Если этотъ идеалъ-другъ, то горе ему: самолюбіе-бользнь «прекрасныхъ душть» - потребуеть отъ него, чтобъ онъ отказался отъ себя и безпрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдаль бы его страданіями, радовался его радостями, а о себъ не думаль бы вовсе; въ противномъ случав, онъ —эгонсть, холодная душа, «разочарователь». Идеалъ блаженства любви «прекрасныхъ душъ» -- пустыня вдали отъ людей, природа, прогулки при лунъ, вздохи, попълуи ибольше всего - совершенное бездъйствіе. Они ввчно стремятся туда, а здъсь недовольны всемъ: люди ихъ не почимаютъ, жизнь для нижь пошла, ибо въ ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и трудъ. Труда они не любять въ особенности: въ немъ такъ много прозы, а они хотятъ дышать одной поэзіей.

Но чтобы сделать верный очеркъ того, что нъмпы называють «прекрасной душой». нужна цылая статья. Итакъ, удовольствуемся однимъ намекомъ: догадливые поймутъ насъ. У насъ были понытки ввести въ употребленіе слово «прекраснодушіе», которыя остались тщетными, и по справедливости: у ньмцевь это слово получило такое значение черезъ развитие самой общественности такъ же, какъ у насъ слово «чувствительный». Мы думаемъ, что слова «романтикъ» и «мечтатель довольно близко подходять подъ значеніе нъмецкаго выраженія «прекрасная душа» (schöne Seele). Кто хочеть познакомиться съ характерами и натурами романгиковъ-мечтателей — темъ рекомендуемъ изъ романовъ Полевого «Аббаддонну», а изъ повъстей: въ особенности «Живописца», «Блаженство Безумія» и «Эмму»; это тонкіе, здые картины и очерки романтиковъ и мечтателей. Но всёхъ ихъ выше-«Гамлетъ» и «Уголино»: это просто сатирическая апоөөоза романтическихъ душъ и мечтательныхъ характеровъ. Мы не будемъ распро страняться въ доказательствахъ: перечтите въ «Уголино» сцены любви между Нино и Вороникой, - и вы сами увидите, что улика на лицо. Одна уже мысль жить въ пустына аркадскими пастушками, занимаясь одной любовью, - въ высшей степени «романтическая» и «мечтательная». Этоть Нино съ своей Вероникой просто-Маниловъ съ своей супругой; онъ держить въ рукѣ конфетку и говорить супругь: «Разинь, душенька, ротикъ, я тебъ положу этотъ кусочекъ»...

Что касается до «Гамлета», то достопнство его, какъ перевода, вполнѣ оцѣнено великимъ знатокомъ Шексиира, покойнымъ профессоромъ Харьковскаго университета, И. Н. Кронебергомъ, и въ другой статьъ сыномъ его, А. Н. Кронебергомъ. Но нѣтъ худа безъ добра: изъ перевода вышло сочиненіе Полевого, и это послужило къ успѣху пьесы на нашей сценѣ, гдѣ Шексппръ такъ, какъ онъ есть (не обсахаренный и не разсиропленный), еще недоступенъ. Но зато пѣкоторые потому только и прочли превосходный переводъ «Гамлета» Вронченко и поняли его, что видѣли на сценѣ «Гамлета» Полевого... и то заслуга!

Въ четвертой части «Драматическихъ Сочиненій и Нереводовъ» Полевого содержат-

сп три драмы: «Смерть или честь!», «Елена Глинская» и «Мать-испанка». Всёмъ извёстно, что Полевой взялъ содержаніе драмы «Смерть или честь» изъ повёсти, но не всё знають, можеть быть, почему именно онъ взялъ его изъ повёсти. Тё, которые полагають, что онъ поступилъ такъ по общему всёмъ нашимъ доморощеннымъ драматургамъ недостатку воображенія, очень ошибаются. Воть собственныя слова Полевого:

"Мнъ хотълось испытать важность въ наше время драмы-собственно (?...) въродъ драмы Лессинга, Иффланда, Дидерота и съ тъмъ вмъстъ увъриться, справедливо ли мизніе пъкоторых критиковъ, будто изъ пообъсти или романа не можетъ быть заимствовано сценическое представление, въ чемъ ссылались на множество неудачныхъ опытовъ? Содержание сей драмы ваято изъ повъсти Мишель-Массона "Le Grain de Sable", помъщенной въ изданномъ имъ собраніи повъстей подъ заглавіемъ: "Daniel le Lepidaire ou les Contes de l'atelier". (Парижъ, 1833 года)."

Кто же тѣ «нѣкоторые крптики», которые утверждали, что изъ повѣсти нельзи едѣлать истинно хорошей драмы?... Да первый—самъ же Полевой! Не тотъ Полевой, который не додалъ шести книжекъ «Русскаго Вѣстнива»,—не тотъ, который выкрапваетъ изъ чего попало плохія драмы, создаетъ комедіи въ родѣ «Войны Федосы Сидоровны съ китайцами» и восиѣваетъ «деньги», но тотъ, который издавалъ «Телеграфъ», который ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убѣжденія, порицалъ направленіе драмъ Шаховскаго и Кукольника и не восиѣвалъ «денегъ»...

Намъ особенно нравятся тѣ драмы Полевого, въ которыхъ онъ изображаетъ всльможъ и вообще людей высшаго тона. Здѣсь онъ неподражаемъ. Смотря на его графинь и баронессъ, не скажешь, что онѣ вчера еще были кухарками своихъ мужей, которые въ свою очередь только что сошли съ запятокъ; слушая, какъ разсуждаютъ у Полевого герцогини и герцоги, не подумаещь, что ошибся дверью и попалъ вмѣсто гостиной въ лакейскую... «Смерть или честъ» — драма самаго высшаго тона: въ ней дъйствуютъ графы, министры, самъ герцогъ и весь дворъ его.

Допустимъ, что примъчаніе, на которое мы указали выше, придумано не для того, чтобъ придать побольше важности слабому тщедушному созданію и прикрыть благовиднымъ предлогомъ несовсёмъ хорошо рекомендующееся литературное похищеніе; согласимся, что дёйствительно не другое что-нибудь, а только желаніе увёриться — можно ли изъ повёсти сдёлать драму, — заставило Полевого заимствовать содержаніе драмы «Смерть или честь» изъ повёсти. Но воть вопросъ: что заставило Полевого заимствовать содержаніе

«Елены Глинской» у Шежепира и Вальтеръ-Скотта? Въ чемъ увъриться желалъ Полевой, пародируя «Макбета» и насильственно перетаскивая въ свое сшивное произведение нисколько неподходящую къ тогдашнему русскому быту сцену изъ «Кенильвортскаго Замка»? Зачёмъ также Полевой передёлалъ евою «Мать-испанку» изъ романа Мейснера «Ръдкая Мать», а «Парашу-Сибпрячку» изъ повъсти Метра «Молодая Сибирячка»,-словомъ, для чего синилъ онъ вст свои драматическія представленія и пов'єсти, историческія были и небылицы, анекдоты и сказки изъ чужихъ лоскутьевъ?.. Ради какого испытанія, наконецъ, еще недавно, въ последнемъ блистательнъйшемъ твореніи своемъ, «Ломоносовъ», исказилъ Н. Полевой повъсть брата своего, К. Полевого, и повториль въ своей передёлкі гуртомъ всі нффекты, которыми въ продолжение и сколькихъ летъ озадачивалъ публику Александринского театра поодиночкъ?... Вопросы неразръшимые, на которые едва ли и самъ Полевой возьмется отвъчать удовлетворительно...

Параша. Разсказт вт стихахт Т. Л. Спб. 1843.

Теперь, когда Лермонтова ужъ нътъ, а прекрасное дарованіе Майкова пока не объщаеть итти дальше антологического рода, поэзія русская если не умерла, но уснула, какъ это всегда съ ней бываетъ, какъ скоро тотъ, кому дано свыше быть ея покровителемъ, или скончается во цвътъ лътъ, или измънитъ надеждамъ, которыя подастъ о себъ. Теперь стихи встръчаются только въ журналахъ; между ними попадаются и такіе, въ которыхъ есть чувство и замътно большее или меньшее дарованіе; но они всѣ лишены присутствія могучей мысли. А такъ какъ поэзія русская давно уже пережила свой періодт. прекрасныхъ чувствъ и сладостныхъ мечтаній, и еще съ Пушкина начала періодъ мысли,-то теперь проходять мимо вниманія публики такія стихотворенія, которыми прежде легко было бы въ одинъ день стяжать славу великаго генія. Другими словами: могучимъ властителемъ душъ нашего времени уже перестали быть «стишки»-въ потребности публики ихъ смёнила поэзія мысли. Это особенно стало замѣтно послѣ Лермонтова. Вогь почему если теперь и нельзя пожаловаться на бёдность въ стихотворныхъ произведеніяхъ, то нельзя и сказать, чтобъ было что читать по этой части. День появленія въ журналѣ неизвѣстнаго стихотворенія Лермонтова-теперь эпоха въ исторіи русской литературы: стихотворение читаютъ, перечитывають, списывають, вытверживають на память. Стихотворенія, не принадлежа-

піл Лермонтову, тоже прочитывають, даже похваливають, но съ тѣмъ, чтобъ совершенно забыть ихъ по выходѣ новой книжки журнала. Многіе заключають изъ этого, что вмѣстѣ съ Лермонтовымъ умерла и русскан поэзія. Что касается до насъ, мы не раздѣлемъ этого мпѣнія и думаемъ, что русскан поэзія не умерла, а только уснула по обыкновенію, и что по временамъ она будетъ просыпаться и разсказывать намъ свои прекрасные сны—до тѣхъ поръ, пока не явится на Руси новый поэтъ...

Небольшая книжка, на-дняхъ появавшаяся въ Петербургъ подъ скромнымъ названіемъ «разсказа въ стихахъ», есть именно одинъ изъ такихъ прекрасныхъ сновъ на минуту проснувшейся русской поэзіи, какіе давно уже не видълись ей. Увъренные въ глубокомъ снѣ нашей поэзіп, мы взялись за «Парашу» съ явнымъ предубъжденіемъ, думая найти въ ней или сентиментальную повъсть о томъ, какъ онъ любилъ ее, или какъ она вышла замужъ за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о своевременныхъ нравахъ, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивленіе, когда вмісто этого прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокой идеей, полнотой внутренняго содержанія, отличающуюся юморомъ и проніей!... Однако жъ, несмотря на то, увтренность наша въ тяжеломъ снъ русской поэзіи была такъ велика, что мы не повърили первому впечатльнію и прочли снова, еще лучше! И теперь, когда отъ многократнаго повторенія чтенія мы почти знаемъ наизусть прекрасное поэтическое произведеніе, такъ неожиданно, такъ отрадно освъжившее душу нашу отъ прозы и скуки ежедневнаго быта, — спѣшимъ познакомить публику съ явленіемъ, которое имбетъ полное право на ея впиманіе.

Хоть авторъ «Параши» (И. С. Тургеневъ), скрывши свою фамилію подъ дитерами Т. Л., и обозначилъ свое произведение скромнымъ именемъ «разсказа въ стихахъ», однако оно твиъ не менте-«поэма», въ томъ смыслъ, какой усвоенъ Пушкинымъ произведеніямъ такого рода. Итакъ, мы будемъ называть «Парашу» поэмой: оно и короче, и гораздо справедливъе, если вспомнить, что «Чернецт», «Эдда», «Наталья Долгорукая», «Борскій» и тому подобные стихотворные разсказы величались поэмами. Содержаніе «Параши» въ смыслъ «сюжета» до того просто и не многосложно, что его можно разсказать въ двухъ словахъ: на увздной барышнъ женится помъщикъ сосъдъ, -- вотъ и все. Но это не содержаніе, а только канва содержанія; само же содержание поэмы такъ полно п богато, что его нельзя нередать во всей его жизни, во всей благоуханной свёжести его ноэзін, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозапческой рачи своими поэтическими стихами.

Прежде всего мы должны обратить випманіе читателей на эпиграфъ поэмы паъ Лермонтова:

"И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно".

Этотъ эппграфъ выбранъ авторомъ не въ пеполненіе давно заведеннаго обычая заманивать любопытство читателей загадочнымъ емысломъ чужой рёчи; нётъ, стихъ Лермонтова, какъ мы увидимъ, находится въ живой связи со смысломъ цёлой поэмы и столько же служитъ объясненіемъ поэмъ, сколько и самъ объясняется ею. Поэма начинается описаніемъ помёщичьяго дома съ безобразисй наружностью, съ садомъ, пехожимъ на огородъ, но съ гротомъ, который любила посёщать героиня поэмы.

Ел отецъ — помъщикъ беззаботный, Сперва служилъ— и долго; наконецъ, Въ отставку вышелъ— и супругой плотной обзавелся: теперь большой дълець! Живетъ въ ладу съ своими мужниками... Онь очень добръ и очень илутоватъ, Торгуется и пьетъ чаёкъ съ купцами. Какъ водится его супруга—кладъ, О, сущій кладъ! и уминца какая! А женщина она была простая Съ лицомъ, весьма похожимъ на пирогъ; Ее супругъ любилъ какъ только могъ.

Дочери этой достойной четы никто не назваль бы красавицей, но она была стройна, походка ен была легка и плавна, прекрасная нога ловко обута, и если рука была немного велика, зато пальцы были прозрачны и тонки.

Ея лицо мив нравилось... оно Задумчивою грустію дышало; Всегда казалось мив: ей суждено Страданій въ жизни испытать не мало... И что жъ? мив было больно и смвшно: Вёдь въ наши дни спасительно страданье...

Но глаза больше всего въ Парашѣ нравились автору—

заглядь этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ—
но не блестъль онъ блескомъ торопливымъ;
то быль онъ ясень, какъ весенній лучъ,
то холодомъ проникцутъ горделивымъ,
то чуть блисталь, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.
Но ваглядъ ея задумчиво-спокойный
я больше всѣхъ любилъ: я видълъ въ немъ
Возможность страсти горестной и знойной—
Залогъ души, любимой Божествомъ.

Она была пе безъ странностей, свейственныхъ «увзднымъ барышнямъ»; но не имъла ничего общаго съ восторженными двицами, мечтательницами и охотницами до сладенькихъ стишковъ:

Она была насм'янлива, горда, А гордость—доброд'ятель, господа... Здёсь мы находимся въ большомъ затрудненіи: поэть такь увлекательно, такъ поэти чески описываеть внутрениюю тревогу дѣвственной души своей героини, что намъ совѣстно было бы пересказывать это пашей убогой прозой, а выписывать стихи—значить переписывать всю поэму... Но это такъ хорошо, что нѣтъ возможности не выписать.

. . Каждый день, Я вамъ сказалъ - опа въ салу скиталась; Она любила гордый шумъ и тънь Старинныхъ липъ-н тихо погружалась Въ отрадную, забывчивую лънь Такъ весело качалися березы, Облитыя сверкающимъ лучемъ... И по щекамъ ея катились слезы Тамъ медленно-Богъ въдаетъ о чемъ. То подойдя къ убогому забору. Она стояла по часамъ... и взору Тогда давала волю... но глядить, Бывало, все на бъдный рядъ ракить. Тамъ черезъ ровный лугь, отъ ихъ села Въ верстахъ пяти, дорога шла большая; II, какъ змъя, свивалась и ползла И, дальній люсь украдкой огибая, Ея всю душу за собой влекла. Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ, Земля чужая вдругъ являлась ей... II кто-то милый голосомъ призывнымъ Такъ чудно пълъ и говориль о ней. Таниственной исполненные муки, Надъ ней, звеня, носились эти звуки... II вотъ, искалъ ея молящій взоръ Другихъ небесъ-высокихъ, пышныхъ горъ П тополей, и трепегныхъ оливъ... Искаль земли плъпительной и дальней.. Вдругъ русской пъсни грустный переливъ Напомнить ей о родинъ печальной; Она стоить, головку наклонивь, И надъ собой дивится — и съ улыбкой Себя бранить; и медленно домой Пойдеть, вздохнувъ... то сломить прутикъ

То бросить вдругь... разсвянной рукой Достанеть книжку—развернеть, закроеть, Любимый шенчегь стихь... а сердце ноеть, Лицо блёднёеть... въ этоть чудный чась Я, признаюсь, хотёль бы встрётить вась, О, барышня мояг. Въ тёли густой Широкихъ липъ стоите вы безмолвно; Вздыхаете; надъ вашей головой Склоничась вётвы... а ваше сердце полно Мучительной и грустной тишиной. На васъ гляжу я: прелестью стенною Вы дышите—вы нашей Руси дочь... Вы хороши, какъ вечеръ предъ грозою, Какъ майская томительная почь.

Кто получиль отъ природы благодатную способность понимать поэзію, какъ поэзію,— не въ одніхъ стпхахъ, не въ одніхъ книгахъ, по и въ жизни, и въ природѣ, — тъ согласятся съ нами, что въ этомъ отрывкъ каждое слово такъ и дышитъ всей роскошью, всѣмъ обаяніемъ пстинной поэзіи.

Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, пропеходитъ отъ раздражительности нервъ и живости воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостью красокъ, той рѣзкой угловатостью формъ, которые мечутся въглаза толив и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ

болье, повидимому, заключаеть въ себъ поэзія, тъмъ пустве она внутри самой себя, пбо она вся въ воображении и ничего общаго сь дыйствительностью не имфеть; мысли ея похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ен похожи только до техъ поръ, пока смотришъ на нихъ: отведите глаза, и въ вашемъ воображени не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія. — Другая поэзія, какъ талантъ, имњетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дъйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны ея мысли всегда оригинальны, даже и не будучи новыми, ибо онъ не пойманы извив и на-лету, а возникли и выросли въ душъ поэта. Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но требують, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взогу открывается во всей глубина своей ихъ простая, тихая и пъломудренная красота. Печать оригинальности составляеть ихъ неразлучную принадлежность; она есть следствие способности схватывать сущность, а слъдовательно, и особенность каждаго предмета. И потому описанія ея запечатліны достовърностью, такъ что, если бъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы темъ не менъе убъждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можеть служить образпомъ такихъ произведеній. Вотъ вамъ кар тина неаполитанскаго лъта:

Прежаркій день-но вовсе не такой, Какихъ видалъ я на далекомъ югъ: Томительно-глубокой синевой Все небо пышеть; какъ больной въ недугв, Земля горить и сохиеть; подь скалой Сверкаеть море блескомь нестерпимымъ-И движется, и дышеть, и молчить... И всв цввта подъ твмъ неутомимымъ, Могучимъ солицемъ рдъютъ... дивный видъ! А воть зарывшись весь въ песокъ блестящій. Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій Любуется имъ съ завистью-я самъ Имъ тоже любовался по часамъ.

Въ этихъ тринадцати стихахъ такая каргина, что вамъ ничего не остается ожидать къ ея дополнению, хотя въ то же время вы внаете, что тысячи другихъ поэтовъ могли бы ту же картину представить вамъ совсемъ иначе, совстмъ другими словами. Природа неистощима въ своемъ разнообразіи, и дъло не въ томъ, что поэзія представляла ее вр сколеко можно общивнетр и стожнетр картинахъ, а въ томъ, чтобъ она умъла схватить особенность каждаго ея явленія. Лъто-вездъ лъто: вездъ отъ него жарко, и душно, и пыльно; по въ Неаполъ свое лъто, въ Россіи-свое. Первое вы сейчасъ видѣли; вотъ второе:

У насъ не то хоть и у насъ не радъ Бываешь жару... точно, жаръ глубокій, Гроза вдали сбирается, трещитъ Кузнечики непстово въ высокой, Сухой травъ; въ тени сноповъ лежатъ Жиецы; посы разинули вороны; Грпбами пахнеть въ рощъ; тамъ и сямъ Собаки лають; за водой студеной Идеть мужикъ съ кувшиномъ по кустамъ Тогда люблю ходить я въ лъсъ дубовый, Сидъть въ тъни спокойной и суровой Иль иногда подъ скромнымъ шанашомъ Весъдовать съ разумнымъ мужичкомъ.

Въ такой-то день Нараша встрътилась съ охотившимся молодымъ человъкомъ. Мы пропускаемъ большую часть прекрасно изложенных поэтомъ подробностей этой встрьчи. Скажемъ только, что охотникъ началъ свой разговоръ съ Парашей не восклицаніемъ: «о, діва чудная!» или другой какойнибудь пошлостью въ этомъ родъ, но адресовался къ ней съ очень простымъ вопро сомъ: «умодяю васъ, скажите, который теперъ часъ?» потомъ: «чей эго домъ?», а тамъ объявилъ ей, что покойный дёдъ былъ очень

друженъ съ ея отцомъ.

Портреть незнакомца превосходно очерченъ авторомъ. Эго одинъ изъ техъ великихъмаленькихъ людей, которыхъ теперь такъ много развелось, и которые улыбкой презрѣнія и насмѣшки прикрывають тощее сердце, праздный умъ п посредственность своей натуры. Онъ былъ за границей и вынесъ оттуда множество безплодныхъ словъ и сомнъній... У нъкоторыхъ журналовъ теперь вошло въ манію нападать на такихъ путещественниковъ, и они съ тержествомъ указывають на нихъ, какъ на живое доказательство, что нечего за добромъ тздить на Западъ. Авторъ «Парани» думаетъ объ этомъ иначе, и, соглашаясь съ нимъ, мы вдругъ вспомнили сказку, некогда переведенную Жуковскимъ, «Кабудъ Путешественникъ»... Къ особенностямъ героя поэмы иринадлежить и то, что, будучи влюбчивымъ, онъ былъ снокоенъ и горделивъ, а потому и счастливъ въ женщинахъ, удачно обманывая и такихъ между инми, которыхъ самъ не стоилъ; еще: не будучи особенно умнымъ, онъ вполнъ владълъ умомъ. дарованнымъ ему отъ Бога. Говоря о страсти своего героя сгибаться передъ знатью, авторъ очень остроумно признается въ томъ, что любитъ пустой блескъ большого свъта, не увлекаясь имъ и смотря на него безъ желанія; онъ очень остроумно подшучиваеть надъ моральными выходками противъ большого свъта цепризнанныхъ, безхвостыхъ львовъ и львиць, т. е. людей, которые бранять большой свёть за то, что тоть не хочеть ихъ знать. Люблю, говоритъ авторъ,

Люблю я пышныхъ комнатъ стройный рядъ И блескъ и прихоть роскоши старинной... А женщины... люблю я этоть ваглядъ Разсъянный, насмъшливый и длинный;

Люблю простой, обдуманный нарядъ... Я этихъ губъ люблю надменный очеркъ, Задумчиво приподнятую бровь, Душистыя записки, быстрый почеркъ, Душистыя записки, быстрый почеркъ, Душистую и быструю любовь; Люблю я эту поступь, эти плечи, Небрежныя, заманчивыя ръчи... "Но (скажутъ миъ) виъ свъта пикогда Вы не встръчали женщины прекрасной?" Такихъ особъ встръчалъ я иногда, И даже въ двухъ влюбился очень страстно; Какъ полевой цвътокъ онъ всегда Такъмилы, но, какъ онъ, свой легкій запахъ Онъ теряютъ вдругъ... И Воже мой, Какъ пе завянуть имъ въ неловкихъ лапахъ Чиновинка, довольнаго собой?

Эти стихи не обойдутся автору даромъ: его объявять за нихъ «аристократомъ», скажутъ, что внёшній блескъ предпочитаетъ онъ душѣ и сердцу, и т. п. По обыкновенію, въ этомъ случав ему припишуть то, чего онъ и не думалъ, и горячо будутъ оспаривать его въ томъ, чего онъ не говорилъ. Дъло туть идеть не о душт и сердцт: поэть го ворить совсемь не о внутренией святынь женщины, а о ея поэтической вившиности. которой могуть не дорожить только натуры сухія и грубыя. Поэзія формы, изящество вившности, столь очаровательныя въ жен щинъ, могутъ почесться исключительными явленіями внѣ большого свѣта. Женщины другихъ круговъ общества смотрятъ на красоту и изящество, какъ на средство поскоръе выйти замужъ. Достигнувъ этой вождельнной цыли, оны скоро перестають и пъть, и плакать, и читать сладенькие стишки, и кокетливо наряжаться, и поэтически держать себя; онъ предаются прозъ жизни, скоро поливють, пристращаются къ утреннему дезабилье, забывають музыку, луну, стихи. мечту и т. д. Оттого до замужества почти каждая изъ нихъ — ангелъ доброты, діва чудная, неземная, Полина или Надина, а послѣ замужества — солидная дама съ вѣсомъ въ обществъ, женщина съ характеромъ, Пелагея Петровна и Надежда Алексвевна. Туть есть и другая причина. Юность сама по себъ есть уже поэзія жизни, и въ юности каждый бываеть лучше, нежели въ остальное время своей жизни; женщины въ особенности. Надо имъть слишкомъ много глубины и силы въ натурћ, чтобъ не охолодъть въ прозъ жизни, сберечь чувство и душу отъ холода дёйствительности и сохранить юность сердца и въ лѣта зрѣлости, и въ годы старости. Но такія натуры слишкомъ рѣдки, и поэзія юности слишкомъ ридко бываеть ручательствомъ за поэзію дальнъйшихъ вопросовъ. Бракъ есть ръшительная эпоха въ жизни мужчины и еще более въ жизни женщины: для обоихъ этогробъ поэзін н колыбель пошлой прозы и очерствънія души и чувства. Авторъ «Па-

раши» превосходно охарактернзовалъ эпитетомъ «довольнаго собой» цёлый разрядъ людей, особенно страшныхъ и гибельныхъ для благоуханной поэзіи женсгвенных существь. Люди разделяются не только на умныхъ в на дураковъ: тъ и другіе равно ръдки, и между ними занимаетъ мъсто огромный разрядъ пошлыхъ людей. Эти люди по большей части умны и не глупы, иногда же между ними попадаются люди не безъ ума и не безъ способностей; но главное ихъ качество въ томъ и другомъ случав-довольство самими собой. Эти господа не знають, что такое раскаяніе, стремленіе къ идеаду и тоска отъ невозможности достичь его, что такое горе безъ несчастія и страданіе при хорошемъ положеніи дёль и добромъ здоровьв. Какъ бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ея мужемъ слёдается одинъ изъ такихъ господъ, ей остаются только двъ неизбъжныя дороги: или медленно зачахнуть, или помириться съ жизнью, какъ она есть... Последнее всего чаще случается. Въ высшихъ кругахъ общества при этомъ не исчезаеть поэзіп вившности, и нарядъ остается навсегда обдуманно простъ, взглядъ разсвянъ, насмѣніливъ и дологъ, и любовь душиста и быстра, какъ записки и почеркъ; но въ среднихъ кругахъ общества внышная пошлость върно отражаетъ внутреннюю, и милые полевые цвътки быстро вянуть въ неловкихъ лапахъ довольнаго собой чиновника...

На другой день въ домѣ отца Параши ждутъ гостя. Старикъ надѣтъ фракъ; дочь въ тайномъ волненіи; ея прическа такъ мила, перчатки такъ свѣжи... Безонецъ, гость является. Онъ говоритъ со стариками, очаровываетъ ихъ, съ Парашей ии слова; но все въ немъ дышало «сознаніемъ внезапнаго сближенья».

И предаваясь дивной тишинъ, Онъ ьаслаждался страстно и вполнъ.

Поэть даже заставляеть его «пылать святымь и чистымь жаромь» и увфряеть, что онь быль любимь... Предупреждая сомивне читателей, авторъ спрашиваеть ихъ:

Скажите—ваша память мнв поможеть— Какъ мнв назвать ту страстную тоску, Ту грустную, невольную тревогу, Которая береть вась понемногу... Къ чему памъ лицемърить, о, друзья! Ее любовью называю я.

Наступаеть ночь; хозяннь приглашаеть гостя погулять по саду и съ своей супругой понемногу отстаеть отъ молодой четы. Душа Параши не совсёмъ спокойна, а онъ ис начинаеть разговора за тёмъ, что боится внезапныхъ ощущеній и чувствительныхъ порывовъ, за тёмъ, что былъ смущенъ своимъ положениемъ: онъ клядся въ дюбви только тогда, когда не любилъ; начиная жечувствовать жаръ любовной лихорадки, онъ зарывалъ свою любовь, какъ кладъ. Жаль! прелестныя читательницы, охотницы до сладенькихъ стишковъ и восторженныхъ сценъ, върно, ожидали туть пламеннаго объяснения, при лунь и звъздахъ; но герой поэмы-ужасный прозапкъ: если онъ и допускалъ возможность исключеній, то въ попілость в рилъ твердо н всегда, и ръдко ошпбался, а о другомъ міръ не вмълъ никакого понятія. Что же касается до самого поэта, то чувствительныя и восторженныя читательницы навърное имъ еще менве довольны, нежели героемъ поэмы, и объявять его человѣкомъ безъ души и сердца, демономъ, который не въритъ любви и презпраетъ прекрасное и высокое... Предоставляемъ ему самому зашищаться противъ этого грознаго суда и обратимся къ прерванной нити разсказа.

Сказавъ, что герою поэмы въ саду съ уъздной барышней было едва ли отрадиве, чъмъ въ аду, авторъ заставляетъ его постепенно таять и объявляетъ—влюбленнымъ! Какъ и почему это сдълалось? Поэтъ удовлетворительно отвъчаетъ на эти вопросы:

Во-первыха: ночь прекрасная была, Ночь лътняя, спокойная, нъмая; Не свътила луна, хоть и взошла; Ръка, во тъмъ таинственно сверкая, Текла вдали... Дорожка къ ней вела: А листья въ тишинъ толной незримой Лепечуть. Воть они сошли въ оврагъ, II словно ихъ движеніемъ гонимый, Передъ ними разступался мягкій прахъ... Противиться не могь онъ обаянью-Онъ волю далъ безпечному мечтанью, И улыбался мирно, и вздыхалъ. А свъжій вътръ въ глаза ихъ лобызалъ. А во-вторыхъ: Параша не молчитъ И не вздыхаеть съ приторной ужимкой, Но говорить, и просто говорить. Опа такъ мило движется-какъ дымкой Прозрачной тънью трепетно облить Ея высокій стань... опъ отдыхаеть: Ужь онъ и радь, что съ ней они вдвоемъ,— Заговориль, а сердце въ ней пылаетъ Невъдомымъ, томительнымъ огнемъ. Ихъ запахомъ встръчаетъ кустъ пезримый И, словно тоже страстію томимый, Вдали, вдали-на рубежъ степей Гремить, поеть и плачеть соловей. И, можеть быть, онь началь понимать Всю прелесть первыхъ трепетныхъ движеній Ея души-и сталъ въ немъ умирать Крикливый рой смёшных предубъжденій; Но ей одной доступна благодать Любви простой, и дътской, и стыдливой... Иття о любеи не думает она— Но, какт листокт блестящій и стыдливый, Ее несеть широкая волна... Все въ этотъ мигь кругомъ ей улыбалось, Надъ ней одной все небо наклонялось, И, колыхаясь медленно, трава Ей вслёдь шентала милыя слова...

Уважая домой, нашъ герой думалъ про себя: «Я радъ сосёдямъ... Онъ—человёкъ

богатый... дочь у пихъ одна и «при томъ она мила». Думая такъ, онъ гналъ отъ себя другія, неумъстныя мечты, отголоски давно минувшихъ дней... А что же Параша? Ей казалось, что все прежнее, вся жизнь ея измънилась; во сиъ ей видълся онъ, а поэту слышился надъ ней, спящей, какой-то «насмъшливый» голосъ, который говоритъ:

"Въ теплый вечеръ въ ульяхъ чистыхъ "Зръють свътлые соты; "Въ теплый вечеръ липъ дупистыхъ "Раскрываются цвёты; "И тогда по нимъ слезами "Потечетъ прозрачный медъ-Вьется жадно надъ цвътами "Пчелъ ликующій народъ... "Наклоняя сладострастно "Свой усталый стебелекъ, "Гостя милаго напрасно "Ни одинъ не ждетъ цвътокъ. "Такъ и ты цвъла стыдиво, . П въ тебъ, дитя мое. \_Созръвало прихотливо "Сердце страстное твое.. "И теперь, въ красъ расцвъта, "Обаянія полна, "Ты стоишь подъ солнцемъ лъта "Одинока и пышна. "Такъ склонись же, стебель стройный; "Такъ раскройся жъ, мой цвътокъ; "Прилеттель женихъ... достойный "Въ твой забытый уголокъ.

Однако жъ странно: почему эти прекрасные стихи такъ неожиданно смѣняются такимъ прозапческимъ стихомъ — «съ достойнымъ женихомъ»?.. Не забывайте, что эти стихи прозвучалъ насмѣшливый голосъ... Чей же это голосъ? — Должно быть, сатаны: эта догадка тѣмъ основательнѣе, что самъ поэтъ вслѣдъ затѣмъ заставляетъ сатану «поникнуть угрюмой головой надъ любящей четой». Но не ожидайте сцены обольщения: нашъ поэтъ—писатель благонравный, а герой его поэмы не былъ Донъ-Хуанъ—въ этомъ увѣряетъ насъ самъ авторъ:

Мой Виктерь не быль Донь-Хуаномъ... ей Не предстояли грозныя волненья. "Тъмъ лучше", скажутъ мнъ: "разгулъ страстей

"Опасень"... Точно; лучше, безъ сомнънья, "Спокойно эксить и приживать дътей,— Н не давать, особенно въ началь, Щекамъ пылать... склоняться головъ... А сердцу забываться—и такъ даль. Не правда ль? Общепринятой моль Я покоряюсь молча... поздравляю Парашу—я судьбъ ее вручаю— Подобной жизнью будетъ жить она; А, кажется, хохочетъ сатана.

Мой Викторт пересталь любить давно...
Въ немъ сызмала горъли страсти скупо;
Но, впрочемъ, тъмъ же свътомъ ръшено,
Что по любви жениться—даже глупо.
И воть въ кого ей было суждено
Влюбиться... Что жъ? онъ человъкъ прежрасный

И-какъ умфеть-самъ влюбленъ въ нее;

Ея души задумчивой и страстной Сбышись надежды всв... соыдося все, Чему она дать имя не умвла, О чемъ молиться смвла и не смвла... Сбылося все... и оба влюблены... По осе жет миз слышент холоть сатаны.

Да чему же обрадовался лукавый?.. Не приготовляеть ли онъ измъны, ревности, кинжала, яда и другихъ золъ, которыми нарушается супружеское счастье?.. Ничего не бывало! Вы правы, чубствительныя и восторженныя читательницы, говоря, что авторъ «Параши»—человъкъ прозанческій и холодный... Въ самомъ дълъ, оставивъ сатану, онъ вдругъ извъщаетъ васъ, что онъ долго былъ въ отсутствіи, лътъ черезъ иять посътилъ влюбленныхъ. Четвертый годъ, какъ они была супругами, и Викторъ какъ-то странно потолстълъ; но ее встревожилъ приходъ поэта, напомнивъ ей о прежнемъ, и она даже сгрустнула и поплакала:

Но грусть замужней женщины смъщна. Какъ руческъ извилистый, но плавный, Катилась жизнь Прасковьи Николавны!

Мужъ ее любилъ. «Можетъ быть, вы скажете, что онъ не стоилъ ея любви?» говорить поэтъ, и отв'ч етъ такъ: «кто знаетъ!»

Но-Боже! то ли думаль я, когда, Исполненный нъмого обожанья, Ея душъ я предрекалъ года Святого, благодатнаго страданья! Съ надеждами разставшись навсегда, Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ, Но въ ней ла — тъ послъднюю мечту И на нее съ таниственнымъ волненьемъ Глядъль, какь на любимую звъзду... И что жъ? я былъ обманутъ такъ невинно, Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно, Что въ пстинъ своихъ желаній я Сталь сомнъваться, милые друзья. И вотъ что ей сулили ночи той, Той летней ночи страстныя мгновенья, Когда съ такой тревожной быстротой Въ ея душъ смънялись вдохновенья... Прощай, Параша!... Время на покой; Перо къ концу спъшить нетерпъливо... Что жъ мнъ сказать о ней? Признаться вамъ— Ее никто не назоветъ счастливой Вполет .. она вздыхаеть по часамъ, И въ памяти хранитъ, какъ совершенство. Невинности нельпое блаженство! Я скоро съ ней разстался... и едва ль Ее увижу вновь... ее миъ жаль...

Если и теперь не для всёхъ будеть понятенъ хохотъ сатаны, то мы, право, не знаемъ, какъ и объяснить его... Этотъ сатана долженъ быть знакомъ руссимъ читателямъ, потому что они встрёчались съ нимъ и въ «Онёгинъ», и въ «Горъ отъ Ума», и въ «Ревизоръ», и въ повъстяхъ Гоголя, и въ «Героъ Иашего Времени», и вмёстъ съ нимъ смёялись или грустили надъ неточнымъ и превратнымъ употребленіемъ разныхъ ежелиевно употребляемыхъ словъ. Въ «Парашь»

навлекло на себя насмънку бъса слово «любовь» и неумвніе многихь любить, и умвніе ихъ дълать комедію изъ всякаго чувства. Наши ю по ши и дъвы въ любви всего менъе тумають о дюбви, по и тв, и другія ищуть вь ней счастья, а счастье любви полагають вь союзь съ нимъ и съ ней. Любовь, какъ всякое сильное чувство, какъ всякая глубокая страсть, есть сама себв цель; для любящихся она — долгъ, гребующій служенія и жертвъ, и, предаваясь чувству, они не отступають назадь, что бы ни судила имъ развязка ихъ романа — счастливый ли союзъ, или терновый вѣнецъ страданія и безвременную могилу... Но есть люди, которые очень уважають чувство, пока оно сулить имъ върное счастье и пока оно не требуетъ отъ нихъ ничего, кромъ прекрасныхъ словъ и поэтическихъ восторговъ... И потому участь такихъ людей рашаетъ не страсть, не чувство, а теплая лътняя ночь и одинская прогулка, располагающія къ ніть, мечтательности, и заставляющія расплываться душой п сердцемъ. И какъ иначе? для страсти надо воспитаться, развиться. А для этого надо возрасти въ такой общественной сферв, въ которой духовная жизнь черезъ дыханіе входить въ человвка, а не изъкнигь узнается имъ. Только тогда изъ его страсти можеть выйти или серьезная повъсть, или высокая драма, а не жалкая комедія, не карикатурная пародія для потёхи сатаны...

Но, можеть быть, все это инымъ читателямъ покажется довольно темпо, и они найдуть очень серьезной развязку повъсти. Въ самомъ дъдъ: влюбились и женились, оба молоды и съ достаткомъ, оба приличная партія другъ другу; дай Богъ такъ всякому!.. И то правда! Такимъ читателямъ мы ничего не находимся отвътить, и рецензенту остается только извиниться передъ инми словами поэта:

Но вы добры, я слышаль, и меня, По глупости, простите ради Бога

Другіе, можеть быть, стануть благоразумно разсуждать, что выйди Параша, вмъсто Виктора, за человъка съ душой возвышенной, сердцемъ страстнымъ и проч.,—она не утратила бы благоуханія души своей и въ пошломъ спокойствій не забыла бы жаркаго волненія сердца и сладости страданія... Нѣть, если бъ она была выше своей судьбы, не спокойствіе, а страданіе было бы удѣломъ ентотъли мы сказать, но вспоминвъ что предупредительный поэтъ лучше насъ рѣшиль этотъ вопросъ, мы ограничимся повтореніемъ его словъ:

Мив жаль си... быть можеть, если бъ рокъ Ее повель другой—другой дорогой... Но рокъ—такъ всъми принято—жестокъ, А потому и поступаетъ строго.

Выписанным нами мѣста изъ поэмы достаточно говорятъ за дарование и мастерэтво автора. Стихъ обнаруживаеть необыкновенный поэтическій таланть; а върная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящиая и топкая пронія, подъ которой скрывается столько чувства, — все это показываеть вь звторв, кромв дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всв скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то же, что талантъ — по крайней мёрё безъ нея петь таланта. Многіе пайдуть въ поэмі сліды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это неудивительно, ибо живая историческая послъдовательность литературныхъ явленій всегда емышивается толпой съ холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящіе попимають, что быть подъ неизбъжнымъ вліяніемъ великимъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упроченное ими литературъ и обществу, и рабски подражать -- совствить не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизнечно развивающагося, второе - безталантности. Можно подделаться подъ стихъ и подъ манеру писателя, но не подъ духъ и натуру его. ибо можно цълый въкъ проживать съ чужими словами и чужими манерами, но отъ собственнаго духа и собственной натуры отречься нельзя, каковы бы они ни быливелики или малы... Въ стихахъ Т. Л. столько жизни и поэзіи, въ созерцаніи его столько истины и верности, что туть всякая мысль о подражательности недіна. Вся поэма пронивнута такимъ строгимъ единствомъ мысли, тона, колорита, такъ выдержана, что обличаеть въ авторъ не только творческій таланть, но и зрелость, и силу таланта, умъющаго владъть своимъ предметомъ. Вообще нельзя не замѣтить по случаю этой поэмы, какіе великіе усп'яхи въ посл'яднее время сделали наша поэзія и паше общество: чтобъ убъдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить о поэмахъ, являвшихся до « Пыганъ» Пушкина... Пронія и юморъ, овладъвние современной поэзіей, всего лучше доказывають ея огромный успёхъ: пбо отсутвтвіе проніп и юмора всегда обличаеть д'єтское состояние литературы.

Словно гармоническимъ аккордомъ оканчивается поэма послъдней строфой, оставляя на душъ глубокій слъдъ взволнованной думы:

А если кто разсказъ пебрежный мой Прочтеть—и вдругь, задумавшись невольно, На мигъ одинъ поникнетъ головой И скажеть миъ спасибо: миъ довольно... Тому давно—стоялъ я надъ кормой, У плыли мы вдоль города чужого:

Я быль одинъ на палубъ... волна Вздымала насъ и опускала спова... И вдругъ миъ кто-то машетъ изъ окна: Кто онъ, когда и гдъ мы съ пимъ видались, Не могъ и вспомнить... быстро мы промча-

Ему въ отвъть и я махнулъ рукой - И городъ тихо скрылся за горой.

Дай Богъ, чтобъ наша встрьча съ талангомъ автора. «Параши» не была также случайна, но превратилась въ знакомство продолжительное и прочное. Грустно было бы думать, что такой талантъ — не болѣе, какъ вспышка юности, китъніе молодой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обчануть возбужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта геропня его поэмы...

Исторія Государства Россійскаго. сочиненіє Н. М. Карамянна. Изданіє ІІ. Эйнерлинга. Канга III. (Томы IX, X, XI и XII). Спб. 1843.

Карамзинъ воздвигнулъ своему имени прочный памятникъ «Исторіей Государства Россійскаго», хотя и успіль довести ее только до избранія на царство дома Романовыхъ. Какъ всякій важный подвигь ума и діятельности, историческій трудъ Карамзина пріобрыль себь и безусловныхъ, восторженныхъ хвалителей, и безусловныхъ порицателей. Разумется, тв и другіе равно далеки отъ истины, которая въ серединъ. Для Карамзина уже настало потомство, которое, будучи чуждо личныхъ пристрастій, судить ближе къ истинь. Главная заслуга Карамзина, какъ историка Россін, состоить совстмъ не въ томъ, что онъ написалъ истинную исторію Россіи, а въ томъ, что онъ создалъ возможность въ будущемъ истинной исторіи Россіи. Были и до Карамянна опыты написать исторію, но тьмъ не менье для русскихъ исторія ихъ отечества оставалась тайной, о которой такь или сякъ толковали одни ученые и литераторы. Карамзинъ открылъ цёлому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имбеть исторію, и что исторія его отечества должна быть для него интересна, и знаніе ея не только полезно, но и необходимо. Подвигь великій! и Карамзинъ совершилъ его не столько въ качествѣ историческаго, сколько въ качествъ превосходнаго беллетрическаго таланта. Въ его живомъ и искусномъ литературномъ разсказѣ вся Русь прочла исторію своего отечества и въ первый разъ получила о ней понятіе. Съ той только минуты сдёлались возможными и изучение русской истории, и ученая разработка ея матеріаловъ: ибо только съ той минуты русская исторія сдъ-

лалась живымъ и всеобщимъ интересомъ. Повторяемъ: великое это дело совернилъ Карамзинъ препмущественно своимъ превосходнымъ беллетрическимъ талантомъ. Карамзинъ вполнъ обладалъ ръдкой въ его время способностью говорить съ обществомъ языкомъ общества, а не кнпги. Бывшіе до него историки Россіи не были изв'єстны Россіи, потому что прочесть ихъ исторію могло только одно испытанное школьное теривніе. Эни были илохи, но ихъ не бранили. «Исторія» Карамзина, напротивъ, возбудила противъ себя жестокую полемику. Эта полемика особенно устремляется на собственно историческую или фактическую часть труда Карамзина. Большая часть указаній критиковъ дъльна и сигаведлива; но укоризненный тонъ ихъ дълаетъ вреда бельше самимъ критикамъ, нежели Караманну. Трудъ его должно разсматривать не безусловно, а принимая въ соображение разныя временныя обстоятельства. Карамзинъ, воздвигая зданіе своей псторін, быль не только зодчимь, но и каменщикомъ, подобно Аристотелю Фіорагенти, который, воздингая въ Москвъ Успенскій соборъ, въ то же время училъ чернорабочихъ обжигать кирпичи и растворять известь. П потому фактическія ошибки въ «Исторіи» Карамзина должно замѣчать для пользы русской исторіи, а обвинять его въ нихъ не должно. Гораздо важнѣе разборъ его понятій объ исторіи вообще и взглядъ его на исторію Россіи въ частности, равно какъ и манера его повъствовать. Но и здъсь должно брать въ соображение временныя обстоятельства: Карамзинъ смотрѣлъ на исторію въ духъ своего времени — какъ на поэму, писанную прозой. Занявъ у писателей XVIII въка ихъ литературную манеру изложенія, онъ быль чуждь ихъ критическаго, отрицающаго направленія. Поэтому онъ сомнівался, какъ историкъ, только въ достовърности нъкоторыхъ фактовъ; но нисколько не сомнъвался въ томъ, что Русь была государствомъ еще при Рюрикъ, что Новгородъ быль республикой, на манеръ кароагенской, и что съ Іоанна ІІІ-го Россія является государствомъ, столь органическимъ и исполненнымъ самобытнаго богатаго внутренняго содержанія, что реформа Петра Великаго скорве кажется возбуждающей собользнование, чъмъ восторгъ, удивленіе и благодарность. Въ одномъ мѣстъ своихъ сочиненій Карамзинъ ставить въ вину Сумарокову, что тоть, въ трагедіяхъ «называя героевъ своихъ именами древнихъ князей русскихъ, не думалъ соображать свойства дёла и языкъ ихъ съ характеромъ времени.» И что же? такой же упрекъ можно едълать самому Карамзину: герои его «Исторіи» отчасти напоминають собой героевъ

трагедій Корнеля и Расина. Переводя ихъ ръчи, сохранившіяся въ льтописяхъ, онъ лишаетъ ихъ грубой, но часто поэтической простоты, придаеть имъ характеръ какой-то витіеватости, риторической плавности, симметріи и заботливой стилистической отділки, такъ что эти ръчи въ его переводъ являются похожими на переводъ рѣчей римскихъ полководцевъ изъ исторіи Тита Ливія. Сличите отрывки въ подлинникъ изъ писемъ Курбскаго къ Іоанну Грозному съ Карамзинскимъ. переводомъ ихъ (въ текств и примъчаніяхъ). н вы убъдитесь, что, переводя ихъ, Карамзинъ сохранялъ ихъ смыслъ, но характерт н колорить даваль совсёмь другой. Историческая повъсть Карамзина «Мароа Посадница» можетъ служить живымъ свильтельствомъ его историческаго созерпанія: героп его — герон Флоріановскихъ поэмъ, и они выражаются обработаннымъ языкомъ витіеватаго историка римского-Тита Ливія. Русскаго въ нихъ иттъ ничего, кромт словъ, какъ, напримъръ, въ ръчи боярина московскаго на новгородскомъ вѣчѣ и въ отвѣтѣ ему Мароы, въ которомъ она ссылается на исторію Рима и упоминаеть о готахъ, вандалахъ и эрулахъ!!..

Скажутъ, мы говоримъ о повъсти Карамзина. а не объ исторін: нѣтъ, мы говоримъ о взглядѣ его на русскую исторію и жизнь нашихъ предковъ... И однако жъ мы далеки отъ дътскаго намеренія ставить въ упрекъ Карамзину то, что было недостаткомъ его времеми. Нътъ, лучше воздадимъ благодарность великому человъку за то, что онъ, давъ средства сознать недостатки своего времени, двинуль впередъ последовавшую за нимъ эпоху. Если когда-нибудь явится удовлетворительная исторія Россіи-этимъ обязано будеть русское общество историческому же труду Карамзина, упрочившему возможность явленія нстинной исторіи Россіи. Но и тогда «Исторія» Карамзина не перестанеть быть предметомъ изученія и для историка, и для литератора, и новый историкъ Россіи не разъ сошлется на нее въ трудъ своемъ... Какъ памятникъ языка и понятій извъстной эпохи «Исторія» Карамзина будеть жать вічно.

Стихотворенія Мильквева. Москва. 1843.

Иронія составляєть одинь изъ преобладающих элементовь современной поэзіи. Это понятно: поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности, вѣрное зеркало жизни,—а гдѣ же больше ироніи, какъ не въ самой дѣйствительности? кто же больше и здѣе смѣется

надъ самимъ собой, какъ же жизнь? Посмотрите, какъ любитъ она противоръчіе, жертвой котораго бываеть безпрестанно бѣдная человъческая личность! Вотъ, напримъръ, два актера: одинъ-«безумецъ», «гуляка праздный», неподозръвающій ни святости искусства, ни его высокаго назначенія, невъжда безграмотный, ленивецъ, добродушный хвастунъ, — и между тъмъ въ грязной натуръ скрыты богагые самородки великихъ чувствованій, могучихъ страстей; эта безумная голова озаряется горящимъ ореоломъ вдохновенія, п рыдаеть, и колеблется многочисленная толна при звукахъ голоса этого самовластнаго чародья, и каждый уносить съ собой изъ театра тъ высокія откровенія, тъ таинственные глаголы жизни, для принятія которыхъ нужно посвящение... За что же этотъ даръ, это могущество слова, взора и жеста, эта чудоды сгвенная сила? За что, за какой подвигъ такая чысокая награда! Иронія, пронія, пронія... Вотъ другой актеръ: страсть къ искусству-его жизнь; изучение искусства-занятіе, забота, трудъ всей его жизни; стремленіе къ славъ-бользнь его души... И воть появляется онъ передъ толпой, разбёленный и разрумяненный, съ важнымъ видомъ, и ловко, сміло, съ граніей повертываеть картонной булавой гладіатора или картоннымъ мечомъ Александра Македонскаго, величаво говорить съ другомъ своимъ Алхимересомъ объ измѣнѣ Амалафриды, -- театръ дрожитъ отъ рукоплесканій, вызовамъ нѣтъ конца... Но отчего же въ этомъ восторга толпы слышенъ одинъ шумъ и крикъ? отчего она съ такимъ же точно восторгомъ черезъ минуту посль того принимаетъ пошлый водевиль, н ни одинъ человъкъ изъ нея не выходитъ изъ театра съ поникшей головой, съ грустнымъ раздумьемъ на челъ?.. Художникъ упоенъ, восхищенъ своимъ торжествомъ; онъ такъ низко, такъ почтительно кланяется вызывающей толив... Но отчего же такъ раздражаеть его всякое двусмысленное суждение «немногихъ», — его, который такъ доволенъ «всѣми»? Отчего же такъ уязвляеть его легкая улыбка «немногихъ»? Что онъ видить въ ней?-Пронію видить въ ней онъ, жертва ироніп, самъ воплощенная пронія дійствительности... Послѣ этого какъ понятны эти слова пушкинскаго Сальери:

Гдъ жъ правота, когда священный даръ, Когда безсмертный геній—не въ награду Любви горящей, самоотверженья, Трудовъ, усердія, моленій посланъ, А озаряетъ голову безумца. Гуляки праздиаго?..

Это значить совсёмь не то, чтобъ жизнь состояла изъ однихъ противорёчій, и чтобъ геній всегда быль «праздный гуляка», а

самоотвержение труда и изучения всегда было признакомъ ограниченности и бездарности: нёть, мы хотимъ сказать только, что дёйствительность часто любить отступать отъ своихъ разумныхъ законовъ, часто любитъ пошутить сама надъ собой. Въ этомъ-то и состоить ея пронія. Вездё и повсюду видимъ мы эту пронію; везді и повсюду видимъ мы жертвы этой пронів, везді и повсюду-и въ природь, и въ исторіи, и въ судьбъ индивидуумовъ. Вотъ дъвушка, одаренная столь дивной красатой, что, кажется, весь міръ долженъ преклониться передъ нею... И что же?-пногда (и чаще всего) оказывается, что душа ея пуста, сердце холодно, умъ ограниченъ, и велико только ея мелочное самолюбіе... Вотъ дъвушка, вся созданная изъ великодушнаго самопожертвованія, изъ горящей любви и высокаго стремленія, созданная для того, чтобъ осчастливить жизнь достойнаго человъка, быть наградой за великій подвигь жизни, но, увы! никто не добивается этого счастья. этой награды: она дурна собой, ей не дано волшебнаго обаянія женственности, съ ней говорягь, какъ съ умнымъ мужчиной,.. Заглянемъ ли въ исторію — и тамъ пронія царить надъ людьми. Никогда, говорятъ знатоки военнаго дела, никогда Наполеонъ не развертываль въ такой ширинт и глубинт своего военнаго генія, какъ передъ своимъ паденіемъ, — п все-таки палъ, низринутый какойто невидимой рукой, какой-то странной проніей действительности... Сколько людей съ торжествомъ и славой выступило на историческое поприще; но одна минута, -и лавровый вёнокъ смёнялся шутовскимъ колнакомъ, — и эти люди оказывались столь же малыми для исторической арены, сколько были они велики для обыкновеннаго круга жизни. Стало быть, имъ не было мъста ни тамъ, ни здъсь, —и тамъ, и здъсь имъ суждено было погибнуть жертной проніи... Не мало представляеть такихъ жертвъ ироніи область искусства и литературы. Этотъ мрачный законъ проніп особенно часто тягответь надъ такъ-называемыми «самоучками» п в )обще надъ людьми, которые вдругъ измъняють назначенную имъ судьбой дорогу жизни. и измѣняютъ вслъдствіе сознанія тайнаго внутренняго призванія къ некусству. Дѣйствительно, тайный внутречній голось зоветь и манить ихъ къ блестящей мечть, разлаваясь въ глубинъ души ихъ звуками Вадимова колокольчика: грудь ихъ полна тревогой, и даже во сив слышать они слова: «встань изъ грязи, въ которую бросила тебя судьба, мужайся и иди впередъ, - лавры побъды, удивленіе толпы и безсмертіе въ въкахъ ожидають тебя!» Ужасенъ этоть голось, ибо нельзя узнать, чей онъ-ангела-храпптеля, или чер-

наго демона; такой вогрось рынается только временемъ и фактами, - а въ этомъ-то и состоить пронія жизни. Правда, характеръ петиннаго призванія тімь отличается оть ложной тревоги, что въ немъ преобладаетъ сторона разсудка, тогда какъ въ постъдней дъйствуетъ преимущественно фантазія; но въ томъ-то и заключается возможность ошибки, что мечты фантазін часто очень похожи на проявление дъйствительности, и что въ этихъ мечтахъ есть своя доля дёйствительности. Человъкъ не доволенъ своимъ положеніемъ, имъ овладъваетъ сильное неодолимое стремленіе вырваться изътвенаго круга, въ когорый поставила его судьба: это еще не значитъ, чтобъ внутренній голосъ этого человъка звалъ его сдылаться великимъ двятелемъ въ сферф исторін или искусства; чаще всего этогъ внутрений голось означаеть не болье, какъ стремление сдёлаться просто человъкомъ, развить въ себъ всъ данныя Богомъ духовныя силы: но въ томъ-то и состоитъ пронія кизип, что люди не всегда могутъ или умьють понять истинный смысль своихъ стремленій, и принимають за тревогу генія зовъ чь человъческому достопнотву.

Литературная діятельность имбеть въ себів гораздо больше обаятельнаго, чамъ что нпбудь, можетъ быть, потому именно, что она представляетъ собой одно изъ важивишихт. попринцъ для таланта. Вотъ ночему молодые дюди съ пылкимъ воображениемъ и горячей кровью хотять у насъ быть непременно поэтами. Для нихъ всв люди разделяются на два разряда: на людей великихъ, т. е. поэтовъ, и на людей обыкновенныхъ, т. е. не поэтовъ. Если они почувствують въ груди своей эту неопредъленную тревогу, которая производится горячей кровью, нылкимъ воображениемъ, маленькимъ избыткомъ чувства, искоркой ума, а главное -- молодостью, -- они сейчасъ хватаются за неро и иншуть стихи либо романъ. «Я поэть»за право сказать себъ это слово, они готовы пожертвовать всемъ; но какъ это право не требуеть особенно дорогихъ жертвъ, по крайней мёрё свыше того, что стоить одна или двъ дести писчей бумаги да отважная досужесть измарать ее размъренными строчками или размашистой прозой, —то многіе изъ нихъ легко добиваются счастья быть печатно посвященными въ поэты со стороны пріятельскаге журнала. Потомъ они издають книжечку своихъ стихотвореній. Пріятельскій журналь заранье извъщаеть о выходъ этой книжечки, какъ о деле необыкновенномъ, потомъ расхваливаеть книжечку; публика засыпаеть за нею, —а сатана хохочетъ... И вотъ вамъ иронія жизни! Изъ такихъ бедныхъ стихотворцевъ

особе. н.) жалки такъ-называемые поэты по призванно, поэты-самоучки и т. п. Между ними есть люди действительно съ призваніемъ-быть людьми порядочными и образованными, съ потребностью развить въ себъ природные дары; между ними бываютъ даже люди съ внутренними вопросами, на которые могли бы дать имъ отвъть наука и нравственное развитіе; но они предпочитають искать болье легкаго и болье пріятнаго разръшенія своихъ вопросовъ, и находягь его-въ поэзін, но не въ поэзін великихъ геніевъ творчества, а въ своихъ бъдныхъ и жалкихъ впршахъ. Процессъ творчества они считають какой-то кабалистикой: они думають, что если найдеть на человіна дурь вло новенія, то онъ безъ ума уменъ, безъ науки сведущъ й можетъ видать безъ глазъ, слышать безъ ушей. А тутъ еще удивленіе людей, лавровый вінокъ славы. безсмертіе въ вѣкахъ, —все это за такую дешевую цѣну! II пишетъ нашъ поэтъ, н издаетъ онъ, наконецъ, книжечку своихъ стихотвореній; но міръ спокоенъ, люди п не подозрѣваютъ, что между ними явился геній...

Къ числу такихъ явленій книжнаго міра принадлежать «Стихотворенія Мильквева». Цзь посвященія книги и приложеннаго къ ней письма поэта къ Василію Андреевичу жуковскому мы узнаемъ, что Мильквевъ родился и выросъ на берегахъ Иртыша, чувствовалъ въ себъ неодолимое стремленіе вырваться изъ теснаго, душнаго и ограниченнаго круга, въ который поставила его судьба, въ сферу болве высшую, болве человъческую, которую онъ почему-то полагаль для себя въ поэтической дъятельности; и что, наконецъ, ободренный вниманіемъ В. А. Жуковскаго и пользуясь его просвыценнымъ покровительствомъ, перевхалъ изъ Сибири въ Россію. Вообще все письмо Милькъева къ В. А. Жуковскому проникнуто простотой, умомъ и достоинствомъ. Къ интереснъйшимъ потребностямъ этого письма принадлежать тв, изъ которыхъ мы узнаемъ, что Мильквевъ чувствовалъ решительное желаніе сділаться поэтомъ при чтеніп Шлутарха, когда ему было шестнадцать лёть; онъ не имълъ никакого понятія о правилахъ стопосложенія, и до уразумінія ихъ долженъ быль дойти собственной проницательностью. Такъ же понядъ онъ и правида ореографія русской. Безъ сомитнія, все это стопло ему большихъ трудовъ и большихъ усилій, какъ человъку, лишенному всъхъ пособій, какія представляють собой учителя и учебники. Изъ этого видно, что Мпльквевъ-то, что называется «поэть самородный», «поэть-самоучка». Самородные поэты особенно замьчательны потому, что на ихъ твореніяхъ, какъ бы ни были они грубы и необдѣланны, всегла лежитъ печать оригинальности, столь часто чуждой обыкновеннымъ талантамъ. Таковъ былъ Кольцовъ, стихотворенія котораго, дышанія самобытнымъ вдохновеніемъ и талантомъ, до того оригинальны, что нѣтъ тикако, возможности поддѣлаться подъ ихъ

простую и наивную форму. Но, увы! не къ такимъ поэтамъ принадлежитъ самородный поэтъ Милькъевъ, если только принадлежитъ онъ къ какимъ-нибудь поэтамъ Не только самобытности и оригинальности—въ его стихахъ нътъ даже того, что прежде всего составляетъ достоинство всякихъ порядочныхъ стиховъ: нътъ таланта поэтическаго.

## Литературный заяцъ.

**T3** 

C' H

LT P II M P II M P

В

C'

p

Į.

H

31

Ç

Г

б

Π

П

J

Б

П

Ħ

I.

Ε

9

r

Можно бы написать большую книгу объ авторскомъ самолюбін вообще и о сочинительскомъ самолюбіи въ особенности. Первому бывають подвержены люди сь талантомъ; второму-посредственность и бездарность. Въ обоихъ случаяхъ это страсть-источникъ величайшихъ страданій для одержимыхъ ею. Впрочемъ, таланть, какъ бы ни былъ болъз ненно раздражителенъ, всегда имъетъ свои минуты торжества, которыя по возможности ослабляють эдкую силу страданія оть неудачь нии отъ несправедливыхъ приговоровъ, внушаемыхъ пристрастіемъ и невѣжествомъ. Но когда бездарный человькь, одержимый бысомъ сочинительства, въ то же время исполненъ раздражительнаго самолюбія, которое, будучи въ заговоръ съ его безвкусіемъ и невъжествомъ, убъждаетъ его въ томъ, что его произведенія превосходны и единодушно порицаются всёми только по недоброжелательству, зависти и ослеплению: тогда взору наблюдателя представляется явленіе, столько же жалкое и страшное внутри, сколько смъшное и комическое снаружи. Подобныя явленія подлежать изследованію и психолога, и врача. Задорный писака-истинный мученикъ; онъ не знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью, и вездь, во всемъ видить злыя противъ него намбренія. Вы сказали при немъ, что не любите читать, — онъ обидълся; другой сказалъ при немъ, что не хотель бы быть литераторомъ, — онъ обидълся; третій сказалъ при немъ, что не любить романовъ и повъстей, —онъ обидълся; четвертый похвалилъ при немъ какое-нибудь новое произведение (не его, разумъется), -- онъ обидълся... Несчастный, его мучить всякій чужой успъхъ, его терзаеть появление всякаго замвчательнаго таланта; онъ ревнуеть даже славъ первоклассныхъ европейскихъ поэтовъ!.. А въ «своей литературъ» онъ играеть роль зайца, котораго вей травять изъодного удовольствія травить. Выйдеть илохое сочиненів, совсёмъ не имъ написаннов: его срав-

нивають съ тъмъ или съ другимъ изъ его сочиненій. Имя его вѣчно, кстати и некстати, подъ перомъ рецензентовъ. То онъ издаеть сочинение за сочинениемъ, то на время примолкаеть, выжидаеть,--и вдругь, думая, что всь забыли его старые грёхи, смёшить журналы и нублику изданіемъ новаго жалкаго дътища своей бъдненькой фантазіп. Видя, что всьхъ не задобришь, онъ выбираеть одинъ изъ наиболье насмъхавшихся надъ нимъ журналовъ-и начинаеть льстить ему некогати въ своихъ сочиненияхъ; но неумоличый журналъ тымь больше издевается надъ нимъ... Что дълать? Бъднякъ ръшается самъ едьлаться критиканомъ и рецензентомъ. «Меня бранили, -- говорить онъ: -- буду же и я бранить другихъ. Но ему въ то же время хочется казаться безпристрастнымъ, и (нь считаеть долгомъ своимъ хоть что-ипбудь похвалить во всякой вздорной книжонкъ. Впрочемъ, по сочувствію бездарности, онъ явалить только одно посредственное, ничтожное, и охуждаеть только геніалі ное и талантливое, да ужъ развъ что-инбуд, очень безсмысленное и безграмотное. Но онъ охуждаеть съ «легкой проніей», а въ самомъ дідъ сонно, вядо, плоско, съ беззубыми остротами и пошлыми шуточками. Однако жъ и это ему не удается. Рецензій его не принимаеть ни одинъ журналь; онъ издаеть ихъ отдёльными тетрадками, которыя доставляють обильную пищу насмёшливости журналовъ, а сами не идуть, не раскупаются... Чудакомъ овладвваеть отчаяніе: изъ полемическаго рыцаря печальнаго образа онъ становится полемическимъ Orlando Furioso. Ему остается одно: найти пріють въ какомъ-нибудь пяданіи. Наконецъ-о радость! издатель какогонибудь литературнаго сора, видя въ нашемъ зайцъ большой полемическій задоръ, предлагаеть ему безвозмездно трудиться въ своемъ изданіи. Несчастный заяцъ радъ и самъ платить последнія деньжонки, чтобъ только печатали его статейки, даромъ же онъ готовъ работать съ плеча день и ночь. Издатель тоже радъ ему: онъ употребляеть его

даромъ и только поправляеть его статьи; самолюбивый заяць блёднёеть и дрожить за всякое вычеркнутое или поправленное слово; но прошлыя неудачи дёлають его поневолё уступчивымъ: лишь бы не отняли у него новможность бранить тёхъ, которые такъ долго смеились надъ нимъ,—онъ готовъ переносить отъ своего хозяина все... Но зато гренещите вы, враги его! Онъ ушь больше не говорить о безпристрастіи, о справедливости... Но, увы! враги его, которыхъ онъ думалъ видёть подъ своими ногами, уничто-

женныхъ, умирающихъ, ого враги опять весело смёются, потому что ничего нётъ смёшите и пріятите, какъ безсильная злоба, какъ пухлое изверженіе надувшейся бездарности...

Что же будеть дёлать заянь, когда убвдится въ своемь безсили? что ожидаеть его, несчастнаго?.. Да, это мобопытный типъ, драгоценный предметь для литературно-физіологическаго очерка съ картинками, подъ названіемъ: «Литературный Заяць»...

## РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

Женнтьба. Оригинальная комедія вт двухт дтйствіяхт, сочиненіе Н.В.Гоголя (автора "Ревизора")

Въ ожидани выхода полнаго собранія сочиненій Гоголя скажемъ здёсь нёсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». Подколесинъ-не просто вялый и неръшительный человъкъ съ слабой волей, которымъ можетъ всякій управлять: его нерѣшительность преимущественно выказывается въ вопросъ о женитьбъ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дълу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идеть о намъреніи, Подколесинъ ръшителенъ до героизма; но чуть коснулось исполненія—онъ трусить. Это недугь, который знакомъ слишкомъ многимъ людимъ, поумнъе и пообразованнъе Подколесина. Въ карактеръ Подколесина авторъ подмътилъ и выразилъ черту общую, следовательно, идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тоть нахалъ, которому не уступить - значить ръшиться на исторію, конечно, не опасную. но зато неприличную, а одно стоить другого. Кочкаревъ-добрый и пустой малый, нахалъ и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ на ты Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по-своему мебель въ комнать, да еще будеть ругать, если тотъ не усердно будетъ помегать ему распоряжаться въ своемъ домћ. Кочкаревъ навяжетъ другу своего портного, своего сапож нина не потому чтобъ убъжденъ быль въ ихъ превосходствѣ, а для того тел ко, чтобъ сказать: «я рекомендоваль». Кочкаревъ хочетъ, чтобъ все шло и дѣлалось черезъ него, и чтобъ всѣ говорили: «этотъ человъхъ на всъ руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до пота лица, перенести, что угодно. Другъ его сбирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примътъ домъотлич в ішій во всёхъ отношеніяхъ, именно такой, макой нуженъ его другу: онъ самъ. правду сказать, и не быль въ этомъ домѣ, чо готовъ сейчасъ же расписать расположе

ніе его комнать, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, каждаго стропила. Если другь не захочеть смотреть этого дома, онь потащить его, будетъ упрашивать, умолять, а въ случав решительного отказа - разссорится съ другомъ по-своему: назоветь его и свиньей: и «подлецомъ». Первыя слова его свахъ, которую засталь онь у Подколесина, были, «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьбъ другихъ. Но не туть-то было: проведавь о чужомь дёлё, онь уже похожъ на гончую собаку, почуявшую зайца; чтобъ похлонотать, онъ описываеть женитьбу самыми обольстительными красками, какін только можеть ему дать его грубая фантазія. И потому, если актеръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намъреніи Подколесина жениться, сдълаетъ значительную мину, какъ человъкъ, у котораго есть какая-то цёль, --то онъ испортить всю роль съ самаго начала. Въ концъ пьесы Коч аревь, взбесившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите, пожалуйста, вотъ я на всёхъ сошлюсь: ну, не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего быюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что онъ мић? родня, что ли? И что я ему такоенянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себъ покою, нелегкая прибрала бы его совсвиъ?--просто чорть знасть изъ чего! поди ты, спроси иной разъ человъка, изъ чего онъ что-нибудь дълаеты!» "Ъ этихъ словахъ-вся тайна характера Кочкарева. — Жевакинъ — не вривляка, не шуть: это старый селадонь, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда бы ни занесла его судьба—хоть въ Китай, не только въ Сицилію,—онь в**езд'я** замътить одно только: «розанчики этакіе». Кромъ «розанчиковъ» для него ничто из свъть не существуетъ. -- А нучкинъ---че-ловькъ, живущій и бредящій однимъ-выс

шимъ обществомъ, котораго онъ никогда и во сив не видчвать и съ которымъ у него ньть инчего общаго. Онъ почитаеть себя образ взинымъ человвкомъ и, услышавъ о Спинали, сейчась захотыть узнать, говорять ли тамъ «барышни» по-французски. Барышни, фр: нцузс ій языкъ и обхожденіе высшаго общества -въ этомъ для него и смыслъ жизни, и цыль жизни, и кромъ этого для него ничто не существуеть. Много попадается Анучкиныхъ на быломъ свътв: они-то громче всёх хлопають актерамъ и вызываютт, пкъ; они-то восхищаются всявимъ илоскимъ и грубымъ двусмысліемъ въ водевнић и осуждають пьесы за неприличный топъ; онп-то не любятъ ни на сценъ, ни иъ кингахъ людей пизкаго званія и грубыхъ выраженій. Анучкинъ-въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на теагръ нужно много ума и таланта. Пятое дъйствующее лицо-Япчница (экзекуторы). Это-челокикъ грубый, матеріальный: но онъ живеть и служить въ Петербургь-сгало быть, не похожь на провинціальнаго медвідя. В зобще для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актерамъ всего нужнее напвность, отсутствіе всякаго желанія и усилія сміншть Если человъкъ имъетъ смъшную или слабую сторону, онъ тымъ и возбуждаеть смыхъ, что не предполагаеть въ себъ инчего смъщного или страннаго. Въ обществъ никто не станеть стараться смёшить другихъ на свой счеть, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо Свахи въ «Женитьбь» — одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданій Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещеточный разговоръ должны быть прежде всего схвачены актрисой, выполняющей эту роль; мальйшан вялость, тяжеловатость сейчась испортять дёло. Это баба, наметавшаяся въ своемъ реместь; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутить никакое возраженіе: у нея готовь отвіть на всякій вопрось. Невъста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не цьетъ ли онъ. «А пьеть, не прекостовлю, пьеть! Что же дёлать? ужъ онь титулярный совытникь, зато такой тихій, какъ шелкъ», отвічаеть сваха и, въ утъщение, прибавляетъ: «Впрочемъ, что же такого, что иной разъ выпьеть лишнее? Въдь не в ю же недълю пьянъ-иной день выберется и трезвый.» Про другого она говорить: «Немножко запкается, зато ужъ такой скромный.»

Сколько юмора, какой нзыкъ, какіе характеры, какан типическая върность натуръ: Но, увы, словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ овладъли нашей сценой пошлын комелін съ пряничной любовью и неизбъжной свадьбой! — пазывается у насъ «сюжетемъ». Смотря на наши комедів и водевили и приниман ихъ за выраженіе дійствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышитъ, что ею! И какой любовью—безкорыстной, безъ всякаго расчета на приданое, на связи и попровительство!...

Ломоносовь, наи жизнь и поэзія. Драматическая постьсть во пяти дластвіять, со прозт и стижах, соч. Н. А. Полевого. Дластвів первоє: рывакь; дластвів впоров: поэть: дластвів претье: цвин жизни; дластвів четвертов: поэть и люди; дластвів пятов: реликій человькь.

Полевой и Ободовскій завладёли сценой Александринскаго театра, впиманіемъ и восторгомъ его публики. И если нельзя не завидовать даврамъ этпхъ достойныхъ драматурговъ, то нельзя не завидовать и счастью публики Александринскаго театра; она счастливъе и англійской публики, которая нитла одного только Шексппра, и германской, которая имѣла одного только Шиллера: она, въ лицъ Полевого и Ободовскаго, имъетъ вдругь и Шекспира, и Шиллера! Полевой-это Шекспиръ публики Александринскаго театра, Ободовскій-это ея Шиллеръ. Первый отличается разнообразіемъ своего генія и глубовимъ знаніемъ сердна человъческаго: второй — избыткомъ дирическаго чувства, которое такъ и хлещетъ у него черезъ край потокомъ огнедышащей лавы. Тамъ, гдъ у Полевого не хватаетъ генія или оказывается недостатокъ въ сердцевъдкнів, онъ обыкновенно прибъгаеть къ бадетнымъ сценамъ и, подъ звуки жалобно протяжной музыки, устранваеть патетическія сцены разставанія нѣжныхъ дѣтей съ дражайшими родителями или върнаго супруга съ обожаемой супругой. Тамъ, гдъ у Ободовскаго изсякаеть на минуту самородный источникъ бурно-пламеннаго чувства, онъ прибъгаеть къ пляскъ, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патріотической драмы отхватывать въ присядку қакой-нибудь національный танецъ. Обвиняють Ободовскаго въ подражаніи Полевому; но въдь и Шиллеръ нодражалъ Шекспиру! Обвиняють Полевого въ похищеніяхъ у Шекспира, Шиллера, Гёте, Мольера, Гюго, Дюма и прочихъ; но это не только не похищенія-даже не запиствованія; пявъстне, что Шексппръ бралъ свое, гдъ не находилъ его: то же дълаетъ и Полевой, въ качествъ Шекспира Адександринслаго театра. Полевой пишеть и драмы, и комедін, и водевили; Шекспиръ писалъ только драмы и комедін: стало быть, геній Полевого еще разнообразнъе, чъмъ геній

Шекспира. Шиллеръ писалъ одив драмы и не писаль комедій: Ободовскій тоже пишеть однъ драмы и не пишеть комедій. Полевой началъ свое драматическое поприще подражаніемъ «Гамлету» Шексппра; Ободовскій началь свое драматическое поприще переводомъ «Дона Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, Полевой началь свое драматическое поприще уже въ летахъ зрелаго мужества, а до техъ поръ, подобно Шекспиру, съ успъхомъ упражнялся въ разныхъ родахъ искусства, свойственныхъ незръдой юности, и, подобно Шекспиру, началъ свое литературное поприще нъсколькими лирическими пьесами, о которыхъ въ свое время извъстиль росс йскую публику Свиньинь. Ободовскій, подобно Шиллеру, началь свое драматическое поприще въ лета пылкой юности. Намъ возразять, можеть быть, что Шекспиръ не прибъгалъ къ балетнымъ сценамъ, и Шиллеръ не заставлялъ плясать своихъ героевъ; такъ: но въдь нельзя же ни въ чемъ найти совершеннаго сходства; при томъ же балетныя сцены и пляски можно можно отнести скорте къ усовершенствованію новышаго драматическаго искусства на сценъ Александринскаго театра, чёмъ къ недостаткамъ его. После Шексинра и Шиллера драматическое искусство должно же было подвинуться впередъ, -- и оно подвинулось: въ драмахъ Полевого, съ приличной важностью менуэтной выступки, а въ драмахъ Ободовскаго, съ дробной быстротой малороссійскаго трепака, -- въ ч мъ сверхъ того выразились и степенныя літа перваго сочинителя, и порывистая юность вгорого. Что же касается до несходствъ,ихъ можно найти и еще нъсколько. Шексперъ началъ свое поприще несчастно: Полевой счастливо; Шекспиръ не обольщался своей славой и смотрёль на нее съ улыбкой горькаго британскаго юмора: Полевой вполнъ умъеть цънить пожатые имъ на сценя Александринскаго театра лавры. Шиллеръ былъ гонимъ въ юности и уважаемъ въ лета мужества: Ободовскій быль ласкаемъ и уважаемъ со дня вступленія своего на драматическое поприще, и т. д.

Если бы не усердіе и трудолюбіе этихъ достойныхъ драматурговъ, — русская сцена нала бы совершенно, за неимѣніемъ драматической литературы. Теперь она только и держится, что Полевымъ и Ободовскимъ, которыхъ поэтому можно назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно они дѣйствуютъ такъ: когда сцена истощится, они пишугъ новую пьесу, и пьеса эта дается разъ пятъдесятъ сряду, а потомъ уже совсѣмъ не дается. Такъ недавно тѣшилъ Ободовскій публику Александринскаго театра своей безподобной драмой «Русская

Боярыня XVII стольтія»; такъ недавно твшилъ Полевой публику Александринскаго геатра «Еленой Глинской», а на прошлой масляниць потьшаль ее «Ломоносовымь», который быль дань ровно девятнадцать разъ, и который уже едва ли данъ будетъ въ двадцатый разъ. Сама «Съверная Пчела» (эрн 35 №) выразилась объ этомъ такъ: «Дайте десять разъ сряду пьесу, и она уже старая! Всв ее видели, всв наслажнались ею, и занимательность пропала. А пусть бы играли ту же пьесу два раза въ недёлю, она была бы свѣжа въ теченіе года. Вотъ придеть масляница, и къ посту пьеса превратится въ Демьянову уху.» Полно, правда ли это? Намъ кажется, что для такой пьесы, какъ «Ломоносовъ», очень выгодно быть представленной девятнадцать разъ въ продолженіе двадцати дней, по пословиць: куй жельзо, пока горячо. Что изящно, то всегда интересно, и занимательность хорошей пьесы не можеть пропасть ни съ того, ни съ сего. «Горе оть ума» и «Ревизоръ» и теперь даются, и всегда будугь даваться. А «Ломоносовъ» и Ко пошумять, пошумять недёли двъ-три, да и умругъ скоропостижно, пропадуть безъ въсти.

Ксенофонть Полевой сдёлаль изь жизни Ломоносова нѣчто среднее между повѣстью н біографіей. Онь вёрно придерживался тікь немногихъ и главныхъ фактовъ жизни Ломоносова, которые дошли до нашего времени, върно держался духа, разлитаго въ твореніяхъ Ломоносова, и очень искусно замьстиль пробылы вь жизни Ломоносова возможными и въроятными распространеніями и вымыслами, которые не противорьчать ни извъстнымъ фактамъ жизни, ни духу гвореній Ломоносова. Такимъ образомъ у К. Полевого вышла книга, искусно изложенная. Н. Полевой, соревнующій всімъ пропедшимъ успъхамъ, отъ водевиля Аблесимова, драмъ Иванова и Ильина, до многочисленныхъ драматическихъ опытовъ князя Шаховского, поревноваль и усибху брата своего, К. Полевого, - и изъ хорошей книги выкроиль плохую драму, въ которой, ради драматической шумихи дурного тона и трескучихъ эффектовъ, нарушилъ историческую истину и изъ характера отца русской учености и литературы сдълаль жалкую карикатуру. Жизнь Ломоносова нисколько не драматическая, и К. Полевой очень хорошо поступиль, сдълавъ изъ нея нъчто среднее между біографіей и пов'єстью. Ломоносовъ быль человькь съ душой поэтической; мы охотно допускаемъ въ немъ и талантъ поэтическій; но кому же не изв'єстно, что наука была преобладающей страстью его, и что заслуги его въ области науки несравненно значительнее и выше, чемъ въ области поэзіи и краснорѣчія? Полевой, не разъ печатно говорившій, что Ломоносовъне поэть, сдёлаль въ своей драмъ Ломоносова по преимуществу поэтомъ и на его поэтическомъ стремленіи основаль павось своей драмы. Какъ вамъ покажется это противоръчіе критика съ поэтомъ (пбо Подевой, не шутя, считаеть себя поэтомъ)? Но это противоръчіе не единственное: Полевой въ продолжение почти десятилътняго изданія своего «Телеграфа» постоянно и съ какимъ-то ожесточеніемъ преслідоваль драматическіе труды князя Шаховского, а теперь самъ неутомимо подвизается на его поприщь, и при томъ въ томъ же духъ, въ тёхъ же понятінхъ объ искусствъ, только съ меньшимъ талантомъ, нежели князь Шаховской. И такихъ противоръчій между Полевымъ, какъ бывшимъ критикомъ, и между Полевымъ, какъ теперешнимъ дъйствователемъ на поприщъ изящной словесности, можно найти много. Откуда же пронсходять эти противоречія, въ чемъ ихъ источникъ, гдъ ихъ причина? По нашему мивнію, эти противорвчія суть ивчто кажущееся, въ самомъ же дёлё ихъ нётъ. Какъ критикъ, Полевой не выше Полевого-романиста и драматурга. Критика Полевого отличалась вкусомъ, остроуміемъ, здравымъ смысломъ, когда въ нее не вмъшивались пристрастіе и оскорбленное сочинительское самолюбіе; но законы изящнаго, глубокій смыслъ искусства всегда были и навсегда остались тайной для критики Полевого. Воть почему теперь пріятнѣе перечитывать его рецензіи, чамъ его критики, и вотъ почему въ его критикахъ теперь уже не находять мыслей и даже не могуть понять, о чемъ въ нихъ толкуется, и видять въ нихъ одни фразы и слова. Кто глубоко понимаеть сущность искусства, тоть благоговъйно чтитъ пскусство и никогда не ръшится унижать его литературной деятельностью безъ призванія, безъ таланта. Но положимъ, что могуть иногда быть подобныя нравственныя аномалія, и что человінь, глубоко понимающій искусство, можеть имъть иногда слабость чувствовать въ себъ призваніе, котораго ему не дано и видъть въ себъ таланть, котораго въ немъ нътъ, все же въ его произведеніяхъ, какъ бы ни были они холодны, сухи и скучны, будугь видны его понятія объ искусствъ. Но драмы Полевого-живое опровержение того, что онъ писываль, бывало, о чужихъ драмахъ, а критика его — ръшительное ауто-да фе для его драмъ. Нътъ, поверхностная критика Полевсто была зерномъ его теперешнихъ драмъ, и между ею и ими нътъ большого противоръчія. Критикъ Полевой быль моложе, следовательно, живке и сильнке нравственно; драматургъ Полевой – уже сочинитель, который

все для себи рішиль и опреділиль, кото рому нечего больше узнавать, нечему больше учиться; воть и вси разница...

И однако жъ основать драму жизни Ломоносова на исключительномъ стремленіи къ поэзін, понимая Ломоносова совстмъ не какъ поэта, -- это противоръчіе уже не эстетикъ, а развѣ здравому смыслу. Но что Полевойчеловькъ умный, въ этомъ никто не сомиввается, и мы увърены, что онъ самъ прежде другихъ видёлъ несообразность въ основной идев своей «драматической повъсти». Зачъмъ же допустилъ онъ эту несообразность? Очевидно, что здёсь увленла его непреодолимая охота быть драматургомъ вопреки призванію и способностямъ. Какъ умный человъкъ, онъ понималъ очень хорошо, что ньть никакой возможности заинтересовать толпу идеей стремленія къ наукѣ, и что стремленіемъ къ поэзіи можно запитересовать толпу, хотя она и не понимаеть, что такое поэзія. Конечно, это показываеть вь сочинителъ легкость и неглуб кость эстетическихъ, ученыхъ и литературныхъ убъжденій. Что за любовь, что за уваженіе къ искусству, если хлопанье, крики и вы овы толпы могуть ихъ ослаблять и уничтожать

Когда идея, взятая въ основаніе произведенія, ложна сама въ себъ, то и при талантъ автора произведеніе не можеть быть удачно; если же туть дѣло идеть о сочинителъ безъ призванія и способности, то изъ произведенія выходить нельпость. Если эта нельпость исполнена трескучихъ и грубыхъ эффектовъ и выставляется на удивленіе толпы, то она можеть имъть сильный, хотя и мгновенный успъхъ...

Но мы отдалились отъ предмета статьи-«праматической повёсти» Полевого; обратимся къ ней. Разсказывать ея содержанія мы не будемъ, потому что это содержаніеповтореніе тіхъ изношенныхъ эффектовъ и пстертыхъ общихъ мёсгь, изъ которыхъ уже сто разъ вленяъ Полевой свои «драматическія представленія». Первый акть вертится весь на любви-не Ломоносова, слава Богу, а Вавилы къ Насть, на которой отецъ хочеть заставить Ломоносова жениться. Любовь-самый ложный мотивъ въ русской драмв, когда дело идеть о женитьбъ. Въ мужицкомъ быту не бываеть французскихъ водевилей. Это ложы! Второй акть опять состоить изъ любви-Ломоносова къ дочери его хозяйки, Христинъ. Скряга и ростовщикъ Кляузъ далъ матери Христины денегъ взаймы и, зная, что ей нечёмъ заплатить, хочеть заставить ее выдать за него дочь свою пли пойти въ тюрьму. Когда уже старуху тащуть въ тюрьму, Ломоносовъ кстати является съ деньгами, платить долгь, выгоняеть Кляуза, признается г-жь Энслебенъ въ любви къ ея дочери, просить ея рукп. Какъ все это старо, поило и приторно! Въ третьемъ актъ Ломоносовъ презпраетъ Вольфа, не холить къ нему на лекцін, терпить нужду и говорить фразы. Пришедши разъ домой, онъ видить, что жена его спить у колыбели дочери, горестно задумывается, цълуетъ дочь, становится на кольни, читаеть молитву и, разыгравъ эту менуэтную сцену, уходить въ Россію. Эпизодъ завербованія въ третьемъ актъ лишенъ всякой правдоподобности, всякой исторической истины и всякаго смысла. Въ четвертомъ актъ Полевой хотълъ изобразить въ лицъ Ломоносова отношение поэта въ людямъ; людей онъ дъйствительно представилъ довольно полными, но въ Ломоносовъ показалъ не поэта, не ученаго, а какого-то брюзгу, который на словахъ города береть, а на дълъ малодущенъ и слабохарактеренъ, какъ плаксивый ребенокъ. Въ иятомъ акть. Полевой показываеть намъ большой свёть; воть это ужь совсёмь напрасно! Его большой свъть похожъ на пирушку подгудявшихъ сочинителей средней руки, которые подъ хмёлькомъ мирятся послё своихъ грязныхъ ссоръ, обнимаются, цълуются называють другь друга «почтеннёйшими» и даже пляшуть въ присядку, подогнувъ свои мелодраматическія кольни. Кстати: на вельможескомъ баль, изображенномъ чудной кистью Полевого, плящеть Тредьяковскій, подъ наиввь глуныхъ стиховъ своихъ. Что даже и вельможи стараго времени любили иногда потъшиться ученымъ народомъ, который по большей части быль горькимъ пьяницей и добровольнымъ шутомъ, - это фактъ; но чтобы у вельможи на баль могь плясать въ присидку Тредьяковскій, -- это, в'вроятно, принадлежить къ поэтическому вымыслу Полевого. Но нападки на Полевого нъкоторыхъ литераторовъ за Тредьяковскаго совершенно несправедливы. Мы помнимъ, что за это нападала на Лажечникова и «Библіотека для Чтенія», а въ драмѣ Полевого характеръ Тредьяковскаго тесть повторение созданнаго Лажечниковымъ характера Тредьяковскаго въ «Ледяномъ Домъ». Говорять, что Тредьяковскій могь писать плохіе стихи и все-таки быть порядочнымъ человъкомъ. Не знаемъ, такъ ли это, но вотъ анекдотъ о Тредьяковскомъ изъ записокъ Пушкина:

"Тредьяковскій пришель однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. "Ваше высокопревосходительство! Меня Александръ Петровичъ такъ удариль въ правую щеку, что она до сихъ поръ у меня болитъ". "Какъ же, болитъ правая щека, а ты держишься за лъвую?"—Ахъ, В. В., вы имъете резонъ", отвъчалъ ему Тредьяковскій и перепесъ руку на другую сторопу. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дълъ Волынскаго сказано, что сей однажды въ какъй-то праздинкъ потребовалъ оду у при-

дворнаго пінты Василія Тредьяковскаго; по ода была не готова, и пылкій статсь-секретарь наказаль тростью оплошнаго стихотворца.«

Хорошъ порядочный человінь! Скажуть: то было такое время! Однако жь въ такое же время Ломоносовь писаль къ Шувалову, хотівшему помирить его съ Сумароковымь: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельможь, но ниже у Госнода моего Бога дуракомъ быть не хочу.»

**Игрони**. Оригинальная комедія вт одному дігйствін. Соч. Гоголя.

Драматическіе опыты Гоголя пре, ставляють собою какое-то исключительное явление въ русской литературъ. Если не принимать въ соображение комедін Фонвизина, бывшія въ свое время исключительнымъ явлен омъ, и «Горе отъ Ума», тоже бывшее иск. ю ительнымъ явленіемъ въ свое время, -- драматическіе опыты Гоголя среди драматической русской поэзін съ 1835 г. до настоящей минуты - это Чимборазо среди низменныхъ, болотистыхъ мёсть, зеленый и роскошный оазисъ среди песчаныхъ степей Африки. Послѣ повъстей Гоголя съ удовольствіемъ читаются повъсти и нъкоторыхъ другихъ писателей; но послъ драматическихъ пьесъ Гоголя ничего нельзя ни читать, ни смотрѣть на театрѣ. И между тымь только одинъ «Ревизоръ» имълъ огромный успъхъ, «Женитьба» и «Игроки» были приняты или холодно, или даже съ непріязнью. Не трудно угадать причину этого явленія: литература наша хотя и медленно, но все же идеть впередъ, а театръ давно уже остановился на одномъ мъстъ. Публика читающая и публика театральная-это двѣ совершенно различныя публики, ибо театръ посъщають и такіе люди, которые пичего не читають и лишены всякаго образованія. У Александринскаго театра своя публика, съ собственной физіономіей, съ особенными понятіями, требованіями, взглядомъ на вещи. Успѣхъ пьесы состоить въ вызовъ автора, и въ этомъ отношеніп не успѣвають только или ужъ черезчуръ безсмысленныя и скучныя пьесы, или ужъ слишкомъ высокія созданія искусства. Следовательно, ничего неть легче, какъ быть вызваннымъ въ Александринскомъ театръ, — и Едъйствительно, гламъ вызовы и громки, и многократны: почти каждое представление вызывають автора, а вного по два, по три, по пяти и по десяти разъ. Изъ этого видно, какіе патріархальные нравы царствуютъ въ большей части публики Александринскаго театра! За границей вызовъ бываеть наградой подвига и признакомъ неожиданно великато успъха, то же, что тріумфъ для римскаго полководца. Въ Александринскомъ театръ вызовъ означаетъ страсть пошумъть и покричать на свои деньги-чтобъ не даромъ онъ пропадали; къ этему надо еще прибавить способность восхищаться всякимъ вздоромъ и простодушное неумъніе сортировать по степени достоинства однородныя вещи. Отсюда происходить и страсть вызывать актеровъ. Иного вызовуть десять разъ, и ужъ ръдкаго не вызовуть ни разу. Вызывають актеровъ не по одному разу и въ Михапловскомъ театръ, но очень ръдко, какъ и слъдуеть, именно въ техъ только случаяхъ, когда артисть, какъ говорится, превзойдеть самого себя. Въ Михайловскомъ театръ тоже аплодирують, кричать «браво» и въ остроумныхъ пьесахъ выражають свой восторгъ смёхомъ; но все бываеть тамъ кстати, именно тогда только, когда нужно, и во всемъ присутствуетъ благородная умъренность - признакъ образованности и уваженія къ собственному лостоинству человіка. Кого легко раземъщить, тому непонятна истинная острота, истинный комизмъ. Пьесы, восхищающія большую часть публики Александринскаго театра, раздъляются на поэтическія и комическія. Первыя изъ нихъили переводы чудовищныхъ нъмецкихъ драмъ, составленныхъ изъ сентиментальности, пошлыхъ эффектовъ и ложныхъ положеній, — пли самородныя произведенія, въ которыхъ надугой фразеологіей и бездушными возгласами унижаются почтенныя историческія имена: пъсни и плиски кстати и некстати, доставляющія случай любимой актрись пропеть или проплясать, и сцены сумасшествія составляють необходимое условіе драмъ этого рода, возбуждають крики восторга, бъшенство рукоплесканій. Пьесы комическія всегда - или переводы, или передълки французскихъ водевилей. Эти пьесы совершенно убили на русскомъ театръ и сценическое некусство, и драматическій вкусъ. Водевиль есть легкое, граціозное дитя общественной жизни во Франціи: тамъ онъ имбеть смысль и достоинство; тамъ онъ видить для себя богатые матеріалы въ ежедневной жизни, въ домашнемъ быту. Къ нашей русской жизни, къ нашему русскому быту водевиль идеть, какъ санная взда и овчинныя шубы къ жителямъ Неаполя. И потому переводный водевиль еще имбеть смыслъ на русской сцень, какъ любопытное зрълище домашней жизни чужого народа; но передъланный, переложенный на русскіе нравы или, лучше сказать, на русскія имена, водевиль есть чудовище безсмыслицы и нельпости. Содержаніе его, завязка и развизка, словомъбаснь (fable) взяты изъ чуждой намъ жизни, а между тъмъ большан часть публики Александринскаго театра увърена, что дъйствіе вроисходить въ Россіи, потому что дей-

ствующія лица называются Иванами Кузьмичами и Степанидами Ильинишнами. Грубый каламбуръ, плоская острота, плохой куплеть дополняють очарованіе. Какое же туть можеть быть драматическое искусство? Оно можеть развиваться только на почвъ родного быта, служа зеркаломъ дъйствительности своего народа. Но эти незаконные водевили не требують ни естественности, ни характеровъ, ни истины; а между тъмъ они служатъ прототипомъ и нормой драматической литературы для публики Александринскаго театра. Артисты его (между кот рыми есть люди съ яркими дарованіями и замічательными способностями), не имён ролей, выражающихъ взятые изъ дъйствительности и творчески обработанные характеры, не имъютъ нужды изучать ни окружающей ихъ дъйствительности, которую они призваны воспроизводить, не своего искусства, которому они призваны служить. Не играя пьесъ, проникнутыхъ внутреннимъ единствомъ, они не могуть сдылать привычки къ единству и цълостности (ensemble) хода представленія, и каждый изъ нихъ старается фигурировать передъ толной отъ своего лица, не думая о пьесь и о своихъ товарищахъ. Мы несправедливы были бы по крайней мёрё къ накоторымъ изъ нихъ, если бъ стали отрицать въ нихъ всякій порывъ къ истинному искусству; но противъ теченія плыть нельзя, и видя холодность и скуку толны, они понево т принимаются за ложную манеру, ради рукоплесканій и вызововь. И воть, когда имъ случится пграть пьесу, созданную высокимъ талантомъ изъ элементовъ чисто русской жизни, они дълаются похожими на иностранцевъ, которые хорошо изучили нравы и языкъ чуждаго имъ народа, но кототорые все-таки не въ своей сферъ и не могуть скрыть поддълки. Такова участь пьесъ Гоголя. Чтобъ наслаждаться ими, надо сперва понимать ихъ, а чтобъ понимать ихъ, нужны вкусъ, образованность, эстетическій такть, върный и тонкій слухъ, который уловить всякое характеристическое слово, поймаеть на-лету всякій наменъ автора. Одно уже го, что лица въ пьесахъ Гоголя—люди, а не маріонетки, характеры, выхваченные изъ тайника русской жизни, — одно уже это дълаетъ ихъ скучными для большей части публики Александринскаго театра. Сверхъ того въ пьесахъ Гоголя нътъ этого пошлаго, избитаго содержанія, которое начинается пряничной любовью, а оканчивается законнымъ бракомъ; но вмѣсто этого въ нихъ развиваются такія событія, которыя могуть быть, а не такія, какихъ не бываеть и какія не могуть быть. Простота и естественность недоступны для толпы.

«Игроки» Гогоди давно уже напечатаны; слъдовательно, нътъ никакой нужды разска-

755

зывать ихъ содержаніе. Скажемъ только, что это произведеніе, по своей глубокой истинів, по творческой концепціп, художественной отділків характеровъ, по выдержанности въ пізломъ и въ подробностяхъ, не могло имість никакого смысла и интереса для большей части публики Александринскаго театра.

Полчаса за кулисами. Ігомедія во одномо дібиствіи. Соп. Н. А. Полевого.

О, неутомимый нашь «драматическій представитель»! когда находите вы время писать гакое множество «драматическихъ иредставленій»! О вы, который написали намъ неконченную «Исторію Русскаго Народа» для взрослыхъ людей, и потомъ, тоже неконченную, «Исторію Россін для малольтнихъ читателей»; оставшуюся въ рукописи «Исторію Петра Великаго» — въроятно, для взрослыхъ людей, и потомъ напечатанную «Исторію Петра Великаго»—кажется, для малольтнихъ читателей; вы, который объщали издать многое множество до сихъ поръ непзданныхъ кенгъ, вы, который написали нёсколько романовъ, много повъстей, издали нъсколько томовъ юмористическихъ статеекъ, нъсколько томовъ переводныхъ повъстей и всякой всячины, помъщавшейся въ вашемъ журналь; вы, который писали о философін, объ исторін, о политической экономіи, о невещественномъ капиталь, о политикь, объ агрономіи и сельскомъ хозяйствъ, о санскритской и китайской грамматикахъ, о лингвистикъ, о литературахъ и языкахъ всего земного шара, объ эстетикъ, и проч., и проч., гдь же и перечислить намъ все, что вы знаете, и о чемъ вы писали на въку своемъ! Скажите намъ, о, нашъ Вольтеръ и Гёте по всеобъемлемости свъдъній, многосторонности генія и разнообразію произведеній! скажите намь, когда усивли вы написать столько «драматических» представленій»? Они родятся у васъ, какъ грибы послъ дождя; вы производите ихъ дюжинами! Не изобръли ли вы паровой машины для изготовленія этого товара, -- машины, въ которой перемалываются Шекспиръ, Шиллеръ, Вальтеръ-Скотть, Коцебу, князь Шаховской, Б. Ф. (Ө)едоровъ и вашъ собственный геній, и изъ смёсн всего этого выходять «драматическія представленія»? Воть сейчась любовались мы вашимъ «Волшебнымъ Боченкомъ», до краевъ наполненнымъ чистымъ золотомъ истинно-Шекспировской фантазін, истинно-Шекспировскаго юмора-и не успъли мы отдохнуть отъ могущественныхъ и сладостныхъ впечатльній вашей бочанной пьесы, какъ вы, неутомимый чародьй, ведете нась въ новой ньесь на полчаса за кулисы, гдь, въроятно, увидимъ мы чудеса...

Такъ думали мы про себя въ антрактв между «Разсказомъ Курдюковой» и пьесой Полевого «Полчаса за кулисами». Взвившійся занавъсъ прерваль наши думы. Вглядываемся, вслушиваемся... ба! да это что-то знакомое! г.јв-то мы читали это... А! да это старая пьеса «Утро въ кабинетв знатнаго барина», изъ «Новаго Живописца Общества и Литературы», издававшагося при «Московскомъ Телеграфв». Любопытные могуть найти ее вы тридцать трезсей части «Московскаго Телеграфа» (1830); въ отдильно изданномъ въ 1832 году «Новомъ Живописцъ Общества и Литературы» ен почему-то нать... «Полчаса за кулисами» отличается оть «Утра въ кабинеть знатнаго барина» только собственными именами действующихъ лицъ: Беззубовъ последняго названъ въ первомъ дюкомъ де-Папон; остальное также немножко офранцужено. Итакъ, новому «драматическому представленію» Полевого тринадцать леть. Порадовавшись неожиданному свиданію съ старымъ знакомымъ, мы подивились экономін сочинителя, у котораго всякая дрянь идеть въ дело.



## Оглавленіе III-го тома.

притическія статьи.	
	и Рыбив; о Купцв Кузьмв Оотолопв и о Ра-
сочиненія Евгенія Баратынскаго. Сумерки. Мос- сква. 1842. Стихотворенія. Двъ части. Мос- ква. 1835. Сочиненія Державина. Четыре части. Спб. 1843. Сочиненія Зенеиды Р—вой. Спб. 1843. Четыре части	Велинаго; Повъсти Бълнина; Пиновая Дама;— Капитанская Дочка; Дубровскій.— Льтопись сола Горохина.— Кирджали. Исторія Пугачев- скаго бунта.— Журнальныя статьи.— Заклю-
Русская литература въ 1842 году Русская литература въ 1843 году Парижсия Тайны. Романъ Эжена Сю. Перевелъ В. Строевъ. Спб. 1844. Два тома, восемь частей. Сочиненія князя В. Ө. Одоевскаго. Спб. 1844. Три части. Сочиненія Аленсандра Пушкина. Спб. Одиннаддать томовъ 1838—1841 г. І. Обозръніе русской литературы отъ Державина до Пушкина.  И. Карамзинъ и его заслуги.—Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуновскій и Батюшковъ. Значеніе романтизма и его историческое развитіе. И. Обзоръ поэтической дъятельности Батюшковъ. П. Обзоръ поэтичнальныя сочиненія. П. Обзоръ поэтической дъятельности Батюшковъ. П. Обзоръ поэтической дъятельности Батошковъ. П. Обзоръ поэтической дъятельнос	II. Busniorpaфia.
рамзинскаго періода	Антературный заяць

